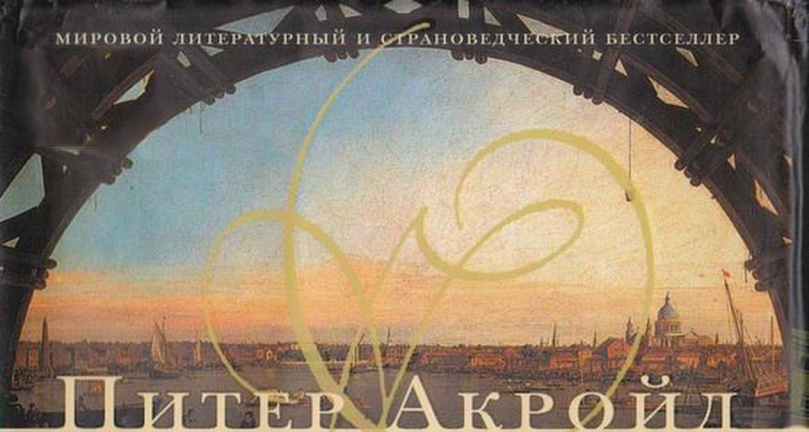
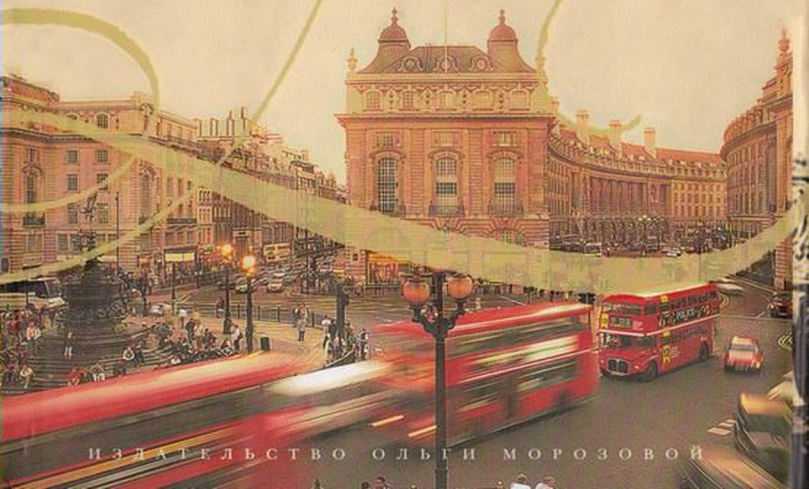
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР



ПИТЕР АКРОЙД

ЛОНДОН

БИОГРАФИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЬГИ МОРОЗОВОЙ

Лондон: биография

Питер Акройд

Аннотация
Питер Акройд. ЛОНДОН. БИОГРАФИЯ
Хронология
Город как тело
С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО 1066 ГОДА
  Глава 1. Море!
  Глава 2. Камни
  Глава 3. Свят, свят, свят!
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
  Глава 4. «Я поставляю над вами законы»
ГОРОД КОНТРАСТОВ
  Глава 5. Вечно шумящий
  Глава 6. Молчание — золото
ГОРОД В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
  Глава 7. Гильдии и союзы
ДАЛЬШЕ И ВЫШЕ
  Глава 8. Довольно мрачные и узкие
  Глава 9. Темно в глазах от многолюдья
  Глава 10. Карты и антиквары
ТОРГОВО-РЕМЕСЛЕННЫЕ УЛИЦЫ И ПРИХОДЫ
  Глава 11. Темз-стрит, где твои сыры?
ФРАГМЕНТ ЛОНДОНА

Глава 12. Перекресток
ЛОНДОН КАК ТЕАТР
Глава 13. Давай! Давай! Давай! Давай! Давай!
Глава 15. Театральный город
Глава 16. Буйные забавы
Глава 17. Музыку!
Глава 18. Знаки времен
Глава 19. И это тоже лондонцы
ПЛАМЯ И МОР
Глава 20. Чума на вашу голову
Глава 21. Красный город
ПОСЛЕ ПОЖАРА
Глава 22. Один лондонский адрес
Глава 23. Восстановление
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Глава 24. Ньюгейтская баллада
Глава 25. О самоубийствах
Глава 26. Места заключения
Глава 27. Галерея мошенников
Глава 28. Самое чудовищное из преступлений
Глава 29. Лондонская опера
Глава 30. «Вареные раки» и прочее
Глава 31. Виселицы и висельники
НЕНАСЫТНЫЙ ЛОНДОН
Глава 32. Всасывающая воронка
Глава 33. Урок кулинарии

Глава 34. Кушайте здесь или берите на дом
Глава 35. Рыночное время
Глава 36. Отходы жизни
Глава 37. Глоток-другой
Глава 38. Клаббинг
Глава 39. Замечание о табаке
Глава 40. Дурной запах
Глава 41. Ты меня возбуждаешь
Глава 42. Как кости лягут
ЛОНДОН КАК ТОЛПА
Глава 43. Власть оравы
Глава 44. Что новенького?
ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ЛОНДОНА
Глава 45. Купите вашей дамочке цветочков
Глава 46. И о погоде
Глава 47. Туманный денек
НОЧЬ И ДЕНЬ
Глава 48. Да будет свет
Глава 49. Ночь в городе
Глава 50. Городское утро
ЛОНДОНСКИЕ РАДИКАЛЫ
Глава 51. Кларкенуэлл, где твой родник?
ЖЕСТОКИЙ ЛОНДОН
Глава 52. В круг! В круг!
МАГИЯ БЕЛАЯ, МАГИЯ ЧЕРНАЯ
Глава 53. Я увидел кого-то нездешнего

Глава 54. Знание — сила
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА
Глава 55. Лондон скоро и до нас доберется
Глава 56. Пребудет бесподобным
ЛОНДОНСКИЕ РЕКИ
Глава 57. Темзу вы с собой не заберете
Глава 58. Темная Темза
Глава 59. Они погребены
ПОД ЗЕМЛЕЙ
Глава 60. Что там, внизу?
ВИКТОРИАНСКИЙ МЕГАЛОПОЛИС
Глава 61. Сколько миль до Вавилона?
Глава 62. Дикие существа
Глава 63. Если бы только не дома в промежутке
ЛОНДОНСКИЕ ОТВЕРЖЕНЦЫ
Глава 64. Они с нами навеки
Глава 65. Подайте хоть малую малость
Глава 66. Их голоса перевесили мой
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ
Глава 67. Женское начало
Глава 68. Мальчишки и девчонки, затеем-ка игру
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Глава 69. Время не подскажете?
Глава 70. Дерево на углу
ВОСТОК И ЮГ

Глава 71. Вонючее скопище
Глава 72. Южная городьба
СТОЛИЦА ИМПЕРИИ
Глава 73. Не потому ли, что лондонец я?
Глава 74. Зенит империи
ПОСЛЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Глава 75. Пригородные грезы
БЛИЦ
Глава 76. Военные вести
ОБНОВЛЕНИЕ ГОРОДА
Глава 77. Судьба, а не расчет
ВИДЕНИЯ КОКНИ
Глава 78. Нереальный город
Глава 79. Resurgam
Сокращенная библиография
Именной указатель

Аннотация

Многие из написанных Акройдом книг так или иначе связаны с жизнью Лондона и его прошлым, но эта книга посвящена ему полностью. Для Акройда Лондон — живой организм, растущий и меняющийся по своим законам, и потому «Лондон» — это скорее биография города, чем его история. В книге есть главы об истории тишины и об истории света, истории детства и истории самоубийства, истории кокни и истории алкогольных напитков. Возможно, «Лондон» — самое значительное из когда-либо созданных описаний этого города.

Питер Акройд
ЛОНДОН
БИОГРАФИЯ

Посвящается Иэйну Джонстону и Фредерику Николасу Робертсону

Перевод с английского Владимира Бабкова и Леонида Мотылева

Хронология

54 до н. э.	Первая британская экспедиция Цезаря.
41	Вторжение римлян в Британию.
43	Наименование города Лондиниумом.
60	Сожжение Лондона Боудиккой.
61-122	Перестройка Лондона.
120	Лондонский пожар в эпоху Адриана.
ок. 190	Постройка великой стены.
407	Уход римлян из Лондона.

457	Бегство из Лондона бриттов под натиском саксов.
490	Саксонское владычество в Лондоне.
587	Лондонская миссия Августина.
604	Создание в Лондоне епархии и постройка собора Св. Павла.
672	Упоминание о «Лондонском порте». Рост Лунденвика.
851	Лондон штурмуют викинги.
886	Альфред отвоевывает и восстанавливает Лондон.
892	Лондонцы отбивают нападение датского флота.

959	Большой пожар в Лондоне. Сгорел собор Св. Павла.
994	Лондон осажден датским войском.
1013	Вторая осада Лондона. Город взят Свеном.
1016	Кнут осаждает Лондон в третий раз. Нападение отбито.
1035	Лондонцы избирают королем Гарольда I.
1050	Перестройка Вестминстерского аббатства.
1065	Освящение Вестминстерского аббатства.
1066	Захват Лондона Вильгельмом Завоевателем.
1078	Постройка Белой башни.

1123	Рахере воздвигает церковь Сент-Бартоломью.
1176	Постройка каменного моста.
1191	Создание лондонской «коммуны».
1193–1212	Правление первого мэра Лондона — Генри Фицэйлуина.
1220	Перестройка Вестминстерского аббатства.
1290	Изгнание евреев. На Чипсайде и Чаринг-кроссе воздвигнуты кресты в память о королеве Элеоноре.
1326	Лондонская революция — свержение короля Эдуарда II.

1348	«Черная смерть» уничтожает треть лондонского населения.
1371	Основан Чартерхаус.
1373	Чосер живет над Олдгейтом.
1381	Восстание Уота Тайлера.
1397	Ричард Уиттингтон — первый избранный мэр.
1406	Эпидемия чумы.
1414	Восстание лоллардов.
1442	Стрэнд вымощен.
1450	Восстание Джека Кейда.
1476	Уильям Кэкстон создал первую типографию.
1484	Эпидемия «потницы» в Лондоне.

1485	Триумфальное вступление в Лондон Генриха VII после битвы при Босворте.
1509	Восшествие на престол Генриха VIII.
1535	Казнь Томаса Мора на Тауэр-хилле.
1535–1539	Разграбление лондонских монастырей и церквей.
1544	Великая лондонская панорама Уингарда.
1576	Постройка «Театра» в Шордиче.
1598	Публикация «Обзора Лондона» Стоу.
1608–1613	Прорыт канал Нью-ривер.
1619–1622	Постройка Иниго Джонсом Банкетинг-хауса.

1642–1643	Сооружение земляных валов и укреплений для защиты от королевской армии.
1649	Казнь Карла I.
1652	Появление первой кофейни.
1663	Постройка театра «Друри-лейн».
1665	Великая чума.
1666	Великий пожар.
1694	Создание Английского банка.
1733	Река Флит заключена в трубу.
1750	Постройка Вестминстерского моста.
1756	Прокладка Нью-роуд.

1769	Постройка моста Блэкфрайарс.
1769–1770	Агитация Уилкса и его сторонников.
1774	Акт о строительстве.
1780	Мятеж лорда Гордона.
1799	Создание «компании Вест-Индского дока».
1800	Основание Королевского хирургического колледжа.
1801	Численность лондонского населения достигла миллиона.
1809	На Пэлл-Мэлл появилось газовое освещение.
1816	Сходки радикалов на Спафилдс. Волнения в Спитлфилдс.

1824	Основана Национальная картинная галерея.
1825	Нэш перестраивает Букингемский дворец.
1829	Образована «лондонская столичная полиция».
1834	Здание парламента уничтожено огнем.
1836	Основан Лондонский университет.
1851	В Гайд-парке открылась Великая выставка.
1858	Год «великой вони». Начало работ по созданию новой системы канализации под руководством Джозефа Базалджетта.
1863	Начал действовать первый в мире метрополитен.

1878	Внедрение электрического освещения.
1882	Появление электрического трамвая.
1887	«Кровавое воскресенье». Разгон демонстрации на Трафальгар-сквер.
1888	В Уайтчепеле орудует Джек-потрошитель.
1889	Создание Совета Лондонского графства.
1892	Начата прокладка Блэкуоллского туннеля под Темзой.
1897	Возникновение первых автобусов.
1901	В Лондоне 6,6 миллиона жителей.

1905	Эпидемия тифа. Открыто движение по Олдуичу и Кингсуэй.
1906	Демонстрация суфражисток на Парламент-сквер.
1909	Открытие универсального магазина Селфриджа.
1911	Осада дома на Сидни-стрит.
1913	Начала проводиться Челсийская цветочная выставка.
1915	На Лондон падают первые бомбы.
1926	Всеобщая забастовка.
1932	Постройка Дома радиовещания на Портленд-плейс для корпорации «Би-би-си».

1935	Создание вокруг Лондона «зеленого пояса».
1936	Сражение на Кейбл-стрит.
1940	Начало «лондонского блица».
1951	Фестиваль Британии на южном берегу Темзы.
1952	Большой смог.
1955	Открытие аэропорта Хитроу.
1965	Упразднение Совета Лондонского графства. Создание Совета Большого Лондона.
1967	Закрытие Ост-Индского дока. Постройка Сентерпойнта.

1981	Брикстонские волнения. Образована компания «Доклендс девелопмент корпорейшн».
1985	Волнения в Бродуотер-фарм.
1986	Завершение строительства кольцевой дороги М25. Упразднение Совета Большого Лондона. «Большой взрыв» на фондовой бирже.
1987	Постройка здания Канари-уорф.
2000	Выборы мэра.

Город как тело

Представление о Лондоне как о человеческом теле и необычно, и поразительно. Его можно связать с символическими образами Града Господня — мистического тела, члены которого — люди, голова — Иисус Христос. Лондон облекали также в форму вольно раскинувшего руки юноши; хотя образцом для фигуры послужило римское бронзовое изделие, она воплотила в себе энергию и ликование города, неустанно распространяющегося вширь великими волнами прогресса и веры в себя. Вот где оно бьется — «Лондона жаркое сердце».

Переулки города подобны капиллярам, парки его — легким. В дождь и туман городской осени блестящие камни и булыжник старых улиц словно кровоточат. Уильям Гарвей, ходя по улицам в бытность свою хирургом больницы Сент-Бартоломью, заметил, что шланги пожарных насосов выбрасывают воду такими же толчками, как вскрытая артерия выбрасывает кровь. В говоре кокни метафорические представления о частях тела лондонца циркулировали еще столетия на-

зад: gob (комок) в значении «рот» зафиксировано в 1550 году, paws (лапы) в значении «руки» — в 1590 году, mug (кружка) в значении «лицо» — в 1708 году, kisser (от kiss — целовать) в значении «рот» — в середине XVIII века.

Больница XVII столетия, где работал Гарвей, находилась рядом со смитфилдской скотобойней, и это соседство рождает иной образ города. Он ненасытен и плотояден, охоч до людей, жратвы, товаров и питья; он потребляет и испражняется, движимый неутихающей жадностью и вечным вожделением.

Для Дэниела Дефо Лондон был огромным телом: «В нем все обращается, оно все извергает и под конец за все расплачивается». Вот почему этот город часто изображали чудовищем — жирным и отечным великаном, который губит больше, чем порождает. Голова непомерно велика, лицо и руки уродливо деформированы и «лишены всякого пристойного образа». Поистине это «опухоль», «исполинский нарост». Сотрясаемое лихорадкой, задыхающееся от пепла, тело это влечется от Великой чумы к Великому пожару.

Как ни воспринимай Лондон — пробудившимся от сна свежим юношей или уродливым великаном, — мы в любом случае должны видеть

в нем организм, подобный человеческому, со своими собственными закономерностями жизни и роста.

А раз так — вот его биография.

Иные возразят: подобная биография не может составить часть подлинной истории города. Соглашаюсь и признаю этот дефект; в оправдание себе скажу, что подчинил стиль исследования характеру предмета. Лондон — лабиринт наполовину из камня, наполовину из плоти. Его нельзя представить себе во всей полноте, его можно лишь пережить на опыте как дикую местность, состоящую из множества переулков, проездов, дворов и магистралей, где способен заблудиться даже самый искушенный лондонец. Еще одно любопытное свойство этого лабиринта состоит в том, что он непрерывно меняется и растет вширь.

Биография Лондона, кроме того, не может быть подчинена хронологии. Лондон предвосхитил построения нынешних теоретиков, предположивших, что линейное время — фикция, порожденная человеческим воображением. В городе сосуществует много различных форм времени, и с моей стороны было бы глупо насиловать их характер ради того, чтобы создать традиционное

повествование. Вот почему эта книга по-донкихотски скачет во времени, вот почему она сама образует лабиринт. Если история лондонской бедности поставлена рядом с историей лондонского безумия, то взаимосвязи, возможно, дадут больше пищи для размышлений, чем любое историческое исследование в общепринятой форме.

Главы истории напоминают маленькие калитки у Джона Беньяна посреди «трясин отчаяния» и «долин унижения». Поэтому я порой схожу с узкой проторенной тропы в поисках тех высот и глубин городского опыта, что не знают истории и, как правило, не поддаются рациональному анализу. Я верю, что та толика понимания, какой я обладаю, сделает мой рассказ достаточно убедительным. Я не Вергилий, приглашающий пытливых Данте в путешествие по четко очерченному, круговому царству. Я всего-навсего спотыкающийся лондонец и хочу провести других маршрутами, по которым ходил всю жизнь.

Читателям этой книги придется блуждать в пространстве и в воображении. По пути они могут потерять ориентировку, испытать минуты неуверенности; иные странные фантазии или теории могут вызвать у них оторопь. На некоторых улицах подле них будут медлить, моля о

внимании к себе, необычные или болезненно ранимые люди. Они столкнутся с аномалиями и противоречиями — ведь Лондон настолько велик и неуправляем, что заключает в себе едва ли не все на свете; они столкнутся с сомнениями и неясностями. Но их ждут и минуты откровения, когда город предстанет перед ними вместилищем тайн людского мира. Самое мудрое тогда — склониться перед необъятностью. Отправимся же, полные предчувствий, куда указывает милевой придорожный камень: ***В Лондон.***

Лондон Март 2000

Питер Акройд

С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО 1066 ГОДА

Глава 1
Море!

Если вы дотронетесь до постамента конной статуи короля Карла I на Чаринг-кроссе, ваши пальцы могут наткнуться на окаменелые останки морских лилий, морских звезд или морских ежей. Существует фотография этой статуи, сделанная в 1839 году; даже от попавших в кадр наемных экипажей и мальчишек в цилиндрах веет далеким прошлым, но как же невообразимо давно жили эти крохотные морские обитатели! В начале было море. Одна из популярных некогда песенок называлась «Почему бы в Лондоне не плескаться морю?», но тут и спрашивать нечего: ведь пятьдесят миллионов лет назад на месте нашей столицы действительно гуляли морские волны.

Водная стихия и поныне напоминает о себе следами, оставленными ею на древних камнях Лондона. На портлендском камне, из которого сложены Кастомс-хаус и церковь Сент-Панкрас-Олд-черч, различимы диагональные напластования, возникшие благодаря океанским течениям;

на стенах Британского музея и Мэншн-хауса, резиденции лорд-мэра, попадаются вкрапления доисторических ракушек. Сероватый мрамор вокзала Ватерлоо хранит отпечатки морских водорослей, а характерные борозды на стенах подземных переходов свидетельствуют о мощи давно отбушевавших ураганов. По камням моста Ватерлоо можно изучать ложе верхнеюрского моря. Таким образом, нас до сих пор окружают шторма и течения, и, как писал Шелли, Лондон, этот «великий океан», «извергает на берег останки жертв и воет, требуя еще».

Лондон всегда был гигантским океаном, в котором нелегко уцелеть. Купол собора Св. Павла порой словно дрожит над седым волнующимся морем тумана, а темные потоки людей струятся по мостам, Лондонскому и Ватерлоо, и растекаются по узким столичным улицам. Социальные работники в середине XIX века говорили о спасении «утопающих» в Уайтчепеле и Шордиче, а романист той же эпохи Артур Моррисон пишет о «множестве людей, потерпевших крушение», которые вопиют о помощи. Генри Пичему, написавшему в XVII столетии книгу «Искусство жить в Лондоне», этот город видится «бескрайним морем, полным бушующих ветров, опасных

отмелей и рифов», а Луи Симон в 1810-м с удовольствием прислушивался к «размеренному неумолкаемому рокоту его волн».

Если посмотреть на город издалека, вы увидите море крыш; людские потоки в его темной глубине заметны не более, чем обитатели какого-нибудь неведомого океана. Но на самом деле здесь вечно бурлит беспокойная жизнь со своими водоворотами и течениями, пеной и брызгами. Уличный шум похож на гул морской раковины, а в прошлом, когда город погружался в плотный туман, его жители словно бродили по морскому дну. Даже городские огни ничего не меняют, и Лондон по-прежнему остается тем, что Джордж Оруэлл описывал как «океанское ложе, над которым скользят светящиеся рыбы». Это привычный образ столицы, особенно часто встречающийся в романах XX века — поры, когда чувство безнадежности и подавленности придавало городу черты загадочной, безмолвной пучины.

Однако, подобно морю и виселице, Лондон не отказывает никому. Те, кто пускается в плавание по его просторам, ищут богатства и славы, хотя нередко захлебываются в его волнах. Джонатан Свифт сравнивал биржевых маклеров с торговцами, дожидающимися кораблекрушения, чтобы

обобрать мертвецов, а на зданиях многих фирм в лондонском Сити можно увидеть модели корабля или лодки, используемые в качестве флюгера или талисмана. Три самые распространенные эмблемы на городских кладбищах — это раковина, корабль и якорь.

Скворцы на Трафальгар-сквер ничем не отличаются от тех скворцов, что гнездятся на обрывистых берегах Северной Шотландии. Лондонские голуби ведут свое происхождение от диких сизых голубей, которые жили среди крутых утесов на севере и западе этого острова. Для них городские здания — те же скалы, а улицы — простирающееся у их подножий бескрайнее море. Но главная печать родства — это безмолвные, но красноречивые следы, оставленные на теле Лондона, столь долго властвовавшего в торговле и на море, древними приливами и волнами.

А когда расступились волны, обнажилась лондонская земля. В 1877 году — в викторианскую эпоху на подобные проекты не жалели сил и средств — у южного конца Тоттнем-корт-роуд был прорыт гигантский колодец глубиной в 1146 футов. Он пронизал толщу сотен миллионов лет, достигнув первобытных ландшафтов места, на котором теперь расположен город, и благодаря

его свидетельствам мы знаем о залегающих под нашими ногами слоях девонского, юрского и мелового периодов. Над ними лежат 650 футов меловых пород, выходящих на поверхность в Даунсе и Чилтернских округах, по краям Лондонского бассейна — этого похожего на мелкое блюдце углубления, в котором покоится столица. Мел покрыт толстым слоем лондонской глины, а тот, в свою очередь, покрывают отложения гравия и кирпичной глины. Из всего этого и вырос город практически в прямом смысле: обыкновенная глина, мел и кирпичная глина на протяжении почти двух тысячелетий служили материалом для возведения жилых и общественных зданий Лондона. Город словно поднялся из своей первобытной основы, породив человеческие обиталища из косного вещества доисторических времен.

Из этой глины путем прессования и обжига изготавливают так называемый лондонский кирпич особого желтовато-коричневого или красного цвета, послуживший материалом для постройки многих столичных домов. Он поистине воплощает собой genius loci, «гений места», и Кристофер Рен утверждал, что «из земли в окрестностях Лондона при надлежащем умении можно

изготавливать кирпич не хуже римского… и в нашем климате он наверняка окажется более стойким, чем любой камень». Уильям Блейк называл лондонские кирпичи «добротными памятками», подразумевая под этим, что превращение глины и мела в стены человеческих жилищ, являясь одним из аспектов развития цивилизации, тем не менее прочно привязывает город к его первобытному прошлому. Лондонские дома XII века сделаны из пыли, которая носилась над этим местом еще в ледниковую эпоху, 25 000 лет тому назад.

В лондонской глине можно найти и более осязаемые свидетельства ее долголетия — скелеты акул (в Ист-энде бытовало поверье, что акульи зубы помогают от колик), череп волка на Чипсайде и кости крокодилов в Излингтоне. В 1682 году Драйден писал об этом ныне забытом и невидимом лондонском достоянии:

Находим чудищ тех, что породил
Во время давнее твой плодородный ил.

Восемь лет спустя, в 1690-м, близ места, где затем вырос вокзал Кингс-кросс, были найдены останки мамонта.

По прихоти погоды лондонская глина лег-

ко превращается в грязь, и в 1851 году Чарлз Диккенс заметил: «…на улицах столько грязи… что неудивительно было бы встретить мегалозавра длиной футов в сорок, ковыляющего по Холборн-хиллу, словно гигантская ящерица». В 1930-х Луи-Фердинанд Селин назвал автобусы на Пиккадилли-серкус «стадом мастодонтов», вернувшихся в края своего прежнего обитания. Герой «Отца-Лондона» Майкла Муркока, идущий по пешеходному мостику рядом с Хангерфордским железнодорожным мостом, видит на месте Лондона конца XX века «чудовищ, пасущихся у болота среди гигантских папоротников».

Скелет мамонта 1690 года был лишь первой из целого ряда подобных находок в Лондоне и его окрестностях. Гиппопотамы и слоны лежат под Трафальгар-сквер, львы — на Чаринг-кроссе, а буйволы — близ церкви Сент-Мартин-ин-де-филдс. На севере Вулиджа нашли бурого медведя, на старом кирпичном заводе в Холлоуэе — макрель, а в Брентфорде — акул. Среди представителей дикой лондонской фауны есть северные олени, гигантские бобры, гиены и носороги, которые когда-то паслись на заболоченных берегах Темзы. И это прошлое еще не ушло окончательно. Не так уж давно туманы, наползающие на город

с древних вестминстерских болот, погубили фрески в часовне Сент-Стивен. Рядом с Национальной галереей и теперь можно различить то, что осталось от уступа между средней и верхней террасами Темзы в эпоху плейстоцена.

Даже в ту пору эти края не были необитаемы. Вместе с костями мамонта на Кингс-кроссе археологи обнаружили осколки кремневого топора, отнесенные ими к эпохе палеолита. С известной долей достоверности мы можем утверждать, что люди жили и охотились на месте будущего Лондона в течение полумиллиона лет, хотя история здешних поселений, пожалуй, короче. Первый великий лондонский пожар запылал четверть миллиона лет назад в лесах к югу от Темзы. Тогда эта река уже текла по своему нынешнему руслу, хотя выглядела совсем иначе: она была очень полноводна, в нее впадало множество мелких речушек, а по ее берегам росли густые леса и тянулись болота и топи.

Предыстория Лондона дает почву для бесчисленных догадок, и размышления о человеческих поселениях в тех местах, где затем, много тысяч лет спустя, были проложены улицы и выстроены дома, доставляют удовольствие особого рода. Нет никаких сомнений в том, что люди селились

в этих краях на протяжении по крайней мере пятнадцати тысяч лет. Огромное количество кремневых орудий, найденное на раскопках в Саутуорке, видимо, является продукцией мезолитического производства; в Хемпстед-хите были обнаружены признаки охотничьей стоянки того же периода; в Клэпеме нашли неолитический горшок. На местах этих древних поселений были найдены ямы, в том числе вырытые под столбы, а также человеческие останки и следы празднеств. Наши далекие предки пили нечто вроде медовухи или пива. Подобно своим далеким потомкам, они повсюду оставляли за собой горы мусора. С нашими современниками их роднила и привычка собираться вместе для исполнения религиозных обрядов. Много тысяч лет эти древние люди поклонялись великой реке как высшему существу и предавали ее водам тела своих именитых собратьев.

В период позднего неолита на большей частью заболоченных почвах северного берега Темзы, среди зарослей ивняка и осоки поднялась пара холмов-близнецов, покрытых гравием и кирпичной глиной. Эти холмы высотой в сорокпятьдесят футов были разделены долиной, по которой текла речушка. Теперь они известны

нам под названиями Корнхилл и Ладгейт-хилл, а речка — это ныне погребенный под землей Уолбрук. Так возник Лондон.

Предполагается, что имя города — кельтского происхождения; с такой гипотезой нелегко примириться тем, кто считает римлян основателями первого поселения на этом месте. Однако значение слова остается предметом споров. Оно может быть производным от Llyn-don — город или крепость (don) на озере или реке (Llyn), — но тут пахнет скорее средневековым валлийским, чем кельтским. Возможно, название происходит от Laindon, «долгий холм», или от кельтского lunnd, «болото». Одна из наиболее интересных догадок с учетом склонности лондонцев к насилию, ставшей позднее общеизвестной — происхождение этого названия от кельтского прилагательного londos, означающего «свирепый».

Существует и более поэтическая гипотеза, гласящая, что город получил свое название в честь короля Луда (Lud), который, согласно легенде, правил здесь во времена римского вторжения. Он проложил улицы города и заново возвел его стены. После смерти короля похоронили рядом с воротами, носившими его имя, и город стал известен как Kaerlud или Kaerlundein, то есть «го-

род Луда». Ученые со скептическим складом ума склонны относиться к таким легендам с недоверием, но сказания тысячелетней давности порой содержат в себе глубокие и важные истины.

Тем не менее происхождение имени города остается тайной. (Любопытно, между прочим, что название полезного ископаемого, теснее всего связанного с этим городом, — уголь (coal) — тоже имеет неясные корни.) Это слово с его силлабической мощью, подобно раскату грома, прокатилось по всей английской истории в десятках вариантов — CaerLudd, Lundunes, Lindonion, Lundene, Lundone, Ludenberk, Longidinium и так далее. Выдвигались даже предположения, что это имя древнее самих кельтов и родилось в далеком неолитическом прошлом.

Не обязательно считать, что человеческие поселения или укрепления стояли именно на Ладгейт-хилле и Корнхилле, а там, где теперь проложены широкие авеню, тянулись деревянные настилы, но преимущества этого места, пожалуй, были столь же очевидны в третьем или четвертом тысячелетии до нашей эры, сколь ясны они стали позднее кельтам и римлянам. Холмы представляли собой хорошо защищенную естественную возвышенность, окаймленную рекой

с юга, болотами с севера, непроходимыми топями с востока и другой рекой, позже названной Флитом, с запада. Здесь была плодородная почва, обильно орошаемая ручьями, пробивающимися сквозь гравий. Темза в этом районе была вполне судоходна, а устья Флита и Уолбрука образовывали естественные гавани. Древние английские дороги тоже проходили поблизости. Таким образом, с самых ранних пор Лондон был удобным местом для организации торговли, рынков и обмена. На протяжении большей части своей истории лондонский Сити оставался центром мировой коммерческой деятельности; пожалуй, не мешает иметь в виду, что здесь могли совершаться сделки еще в каменном веке.

Все это догадки, хотя и не совсем беспочвенные; более же весомые свидетельства были обнаружены в позднейших грунтовых наслоениях. За долгие периоды, именуемые поздним бронзовым веком и ранним железным веком и охватывающие почти целое тысячелетие, осколки и фрагменты чашек, горшков и орудий труда усеяли всю территорию Лондона. Признаки доисторической деятельности открыты в местах, которые называются теперь Сент-Мэри-Экс и Грешем-стрит, Остин-фрайарс и Финсбери-серкус,

Бишопсгейт и Ситинг-лейн, — всего около 250 находок, сосредоточенных в районе двух главных холмов, а также соседних с ними Тауэр-хилла и Саутуорка. Из самой Темзы были извлечены сотни металлических предметов, а на ее берегах обнаружены многочисленные следы металлургического производства. В эту эпоху родились великие сказания о Лондоне. Кроме того, последняя ее фаза — век кельтов.

В I веке до н. э. Юлий Цезарь дал описание окрестностей Лондона, говорящее о наличии в этих краях богатой, развитой и высокоорганизованной племенной цивилизации. Здешнее население было «весьма многочисленным», и по всей округе «теснились человеческие жилища». Значение и роль холмов-близнецов в этот период не могут быть установлены с определенностью; возможно, они считались священными, а может быть, благодаря своему выгодному положению несли на себе укрепления, защищающие торговые площади вдоль реки. Есть все основания считать, что этот участок Темзы был центром торговли и производства: здесь продавались как железные орудия, так и изысканные бронзовые изделия, и купцы из Галлии, Рима и Испании везли сюда самосскую глиняную посуду, вино и

пряности в обмен на зерно, металл и рабов.

В истории этого периода, описанной Гальфридом Монмутским (он завершил свою работу в 1136 году), Лондон, бесспорно, играет роль главного города на всем острове Британия. Но, согласно мнению современных ученых, труд Гальфрида опирается на утраченные тексты, апокрифические измышления и необоснованные выдумки. К примеру, в людях, которых Гальфрид называет королями, наши современники предпочитают видеть племенных вождей; он датирует события с помощью библейских параллелей, а они пользуются определениями вроде «позднего железного века»; он считает конфликты и социальные перемены результатом действия человеческих страстей, тогда как авторы новейших отчетов о доисторических временах полагаются на более абстрактные принципы торговли и технического развития. Возможно, эти подходы и противоречат друг другу, но они вряд ли так уж несовместимы. Например, историки ранней Британии считают, что на территориях к северу от района Лондона осело некое племя тринованто в. Гальфрид же, что весьма любопытно, утверждает, что вначале город назывался Trinovantum. Он также упоминает о храмах в самом Лондоне, однако даже если

они и существовали, эти частоколы и деревянные сооружения давно уже погребены не только под камнями римского города, но и под кирпичом и цементом более поздних эпох.

Впрочем, ничто не уходит бесследно. В первые четыре десятилетия XX века исследователи доисторических времен приложили особенно много усилий к тому, чтобы побольше разузнать о скрытом прошлом нашей столицы. В таких книгах, как «Утраченный язык Лондона», «Легендарный Лондон», «Доисторический Лондон» и «Ранние обитатели Лондона», были тщательно изучены и по достоинству оценены следы, оставшиеся от Лондона эпохи кельтов и друидов. Эти исследования практически оборвались с началом Второй мировой войны, а после нее проблемы городского планирования и восстановления стали важнее размышлений о далеком городском прошлом. Но плоды проведенной работы уцелели и заслуживают пристального внимания. Тот факт, что нынешние названия некоторых улиц выдают свое кельтское происхождение — таковы, например, Колин-Дип-лейн, Панкрас-лейн, Мейден-лейн, Ингол-роуд, — пожалуй, не менее красноречив, чем любая из материальных находок, обнаруженных на раскопках древне-

го города. Давно забытые дороги определили направление современных магистралей; например, перекресток в излингтонском Эйнджеле находится на месте пересечения двух доисторических британских дорог. Олд-стрит, ведущая к Олд-форду, Мейден-лейн, которая идет в Хайгейт через Пентонвилл и Баттл-бридж, дорога от Аппер-стрит в Хайбери, — все они повторяют древние маршруты и тракты, похороненные под толщей земли.

Однако самой сложной и запутанной из тем, имеющих отношение к этому периоду, остается друидизм. То, что он занимал важное место в жизни кельтов, не подлежит сомнению; Юлий Цезарь, чье мнение по этому вопросу может считаться достаточно авторитетным, утверждал, что религия друидов была основана (inventa) в Британии и что ее кельтские приверженцы отправлялись на этот остров, дабы приобщиться к ее тайнам. Друидизм представлял собой высокоразвитую, хотя и довольно замкнутую религиозную культуру. Конечно, мы можем предположить, что в дубовых лесах к северу от холмов-близнецов было удобно совершать обряды и жертвоприношения; один из историков древности, сэр Лоренс Гомм, считает даже,

что храм или святилище друидов находились на самом Ладгейт-хилле. Но тут много ложных следов. Некогда все сходились на том, что местом религиозных собраний был Парламент-хилл близ Хайгейта, но в действительности найденные там свидетельства не относятся к доисторическим временам. Чизлхерстские пещеры на юге Лондона, якобы выкопанные друидами для проведения астрономических наблюдений, почти наверняка имеют средневековое происхождение.

Выдвигалась гипотеза, что район Лондона контролировался с трех священных курганов под названиями Пентон-хилл, Тотхилл и Уайт-маунд, иначе Тауэр-хилл. Всякую теорию такого рода легко отмести как несерьезную, однако существуют любопытные параллели и совпадения, делающие данную гипотезу более интересной, нежели обычные фантазии современных психогеографов.

Известно, что в доисторическую эпоху на священном месте должны были находиться источник, роща и колодец (или ритуальная шахта).

Есть упоминания о «кустарниковом лабиринте» в парке Уайт-Кондит-хауса, расположенном на пентонвилльской возвышенности, а священный холм или роща как раз и являются вариантами

лабиринта. Неподалеку находится знаменитый колодец Садлера. В недавние дни вода из этого колодца подмывала оркестровую яму театра «Садлерс-уэллс», но во времена Средневековья она считалась священной: тогда колодец опекали церковники из Кларкенуэлла. На пентонвилльской возвышенности тоже когда-то был водный резервуар; до недавних пор там располагался Лондонский совет по делам водного хозяйства.

Еще один лабиринт находился в Вестминстере, в местечке, некогда называвшемся Тотхилл-филдс; он изображен на панораме, выполненной Холларом в середине XVII века. Здесь также имеется священный ручей, берущий исток в «святом колодце» вестминстерского Динс-ярда. На этом месте очень давно появилась ярмарка, подобная парку на Уайт-Кондит-филдс; первое сохранившееся упоминание о ней относится к 1257 году.

Таким образом, перечисленные места схожи друг с другом. Существуют и другие красноречивые совпадения. На старых картах близ Тотхилл-филдс часто изображается так называемый Сент-Хермит-хилл, то есть «Холм отшельника». У начала Пентонвилл-роуд и по сей день есть улица Гермес-стрит. Возможно, стоит также отметить, что в одном из домов на этом месте жил врач,

торговавший лекарством под названием «бальзам жизни»; позднее этот дом был превращен в обсерваторию.

На Тауэр-хилле был родник с чистой пенящейся водой, якобы обладавшей целебными свойствами. Здесь остался средневековый колодец и были обнаружены следы захоронения, относящегося к позднему железному веку. Лабиринта нет, но и с этим местом связаны кое-какие кельтские легенды; если верить «Валлийским триадам», голова Брана Благословенного, героя кельтской мифологии, была погребена внутри Уайт-хилла, чтобы защитить королевство от его врагов. Мифический основатель Лондона Брут тоже был якобы похоронен на Тауэр-хилле, в священной земле, откуда вплоть до XVII столетия проводились наблюдения над небесными светилами.

Этимология названий Пентон-хилла и Тот-хилла довольно ясна. *Pen* по-кельтски означает «голова» или «холм», а *tow* — вариант слова *tor/tot/twt/too*, означающего «источник» или «взгорок» (Уиклиф, например, употребляет слова *tot* или *tote*, когда ведет речь о горе Сион). Люди с более романтическим складом ума полагают, что *tot* происходит от имени египетского бога Тота, воплотившегося затем в Гермесе — греческой

персонификации ветра или звучания лиры.

Итак, гипотеза формулируется следующим образом: лондонские холмы, имеющие столь много общих черт, суть бывшие точки расположения друидских святилищ. Кустарник — священный эквивалент дубовой рощи, в то время как колодцы и источники говорят о поклонении богу воды. Получается, что Лондонский совет по делам водного хозяйства был расположен весьма удачно. Парки развлечений и ярмарки — это современное эхо доисторических празднеств и сборищ, которые происходили на той же земле. Таким образом, знатоки древности возвели Тотхилл, Пентон-хилл и Тауэр-хилл в ранг священных мест Лондона.

Конечно, общепризнано, что Пентонвилл получил свое название в честь Генри Пентона — дельца XVIII века, отстроившего этот район. Может ли одно место быть, по сути, двуликим, существовать в разных временах и в разных представлениях о реальности? Возможно ли, что истинны *обе* версии происхождения слова «Пентонвилл»? В честь кого назван Биллингсгейт — в память кельтского короля Белинуса (он же Белин), как полагает великий ученый XVI века Джон Стоу, или по имени господина Белинга, который

некогда владел этой землей? Действительно ли Ладгейт носит имя Луда, кельтского бога воды? Тут и впрямь есть над чем поразмыслить.

Столь же важно искать свидетельства преемственности. Вполне вероятно, что бритты поклонялись каким-то своим божествам задолго по того, как друиды стали верховными жрецами в их культуре, а кельтские формы ритуала, похоже, в свою очередь пережили и римскую оккупацию, и последующие вторжения саксов. В записях собора Св. Павла примыкающие постройки именуются «Camera Dianne», то есть «Грот Дианы». Летописец XV столетия вспоминает времена, когда «Лондон поклонялся Диане», богине охоты, что может служить по крайней мере одним из объяснений странной ежегодной церемонии, проходившей в соборе вплоть до XVI столетия. Там, в христианском храме, воздвигнутом на священной земле Ладгейт-хилла, водружали на кол голову оленя и носили ее по всей церкви, а по том, на ступенях перед входом, отдавали ее священникам в цветочных венках. Так лондонские языческие обряды уцелели до исторических времен — подобно тому как скрытое язычество сохранилось в душах самих лондонцев.

Можно упомянуть и еще об одной унаследо-

ванной нами черте первобытной религиозности. Древние представления о загадочной «силе» или священной ауре некоторых мест были переняты христианами: так появились их «святые колодцы» и характерные ритуалы ироде «обивания границ». Однако те же мотивы мы находим в сочинениях великих лондонских визионеров, от Уильяма Блейка до Артура Макена, — сочинениях, в которых сам город выступает в роли священного места с его собственными радостными и печальными тайнами.

Именно в этот кельтский период, маячащий подобно химере на рубежах известного нам мира, уходят своими корнями великие легенды о Лондоне. Исторические записки сообщают лишь о племенных войнах, которые велись в пору существования высокоорганизованной и даже утонченной культуры. Иными словами, тогдашние туземцы отнюдь не были дикарями, и греческий географ Страбон описывает одного посла бриттов как хорошо одетого, умного и приятного человека. Он так свободно говорил по-гречески, что «можно было подумать, будто он вырос в Лицее». Это подходящий фон для историй, в которых Лондону приписывается статус главного города страны. Легендарный основа-

тель Лондона Брут был погребен в его стенах. Локрин держал свою возлюбленную, Эстрильдис, в потайной каморке под землей. Бладуд, занимавшийся колдовством, смастерил крылья, чтобы летать над Лондоном, однако упал на крышу храма Аполлона, расположенного в самом центре города — возможно, на самом Ладгейт-хилле. Другого короля, Дунвалло (он сформулировал древние законы святилища), похоронили у подножия лондонского храма. К тому же периоду относятся истории о Лире и Цимбелине — мифических королях Британии, героях одноименных шекспировских пьес. Еще красочнее легенда о великане Гремаготе, который посредством какого-то хитрого волшебства был превращен в близнецов Гога и Магога, ставших духами-хранителями Лондона. Часто выдвигалась гипотеза о том, что каждый из этих свирепых братьев, чьи статуи много веков стояли в Гилдхолле, здании ратуши лондонского Сити, охранял по одному из лондонских холмов-близнецов.

Эти легенды изложены Джоном Мильтоном в его «Истории Британии», опубликованной чуть более трех сотен лет назад. «После сего Брут выстроил в избранном месте Troia nova, Новую Трою, со временем обратившуюся в Trinovantum, ныне

Лондон, и начал вводить законы; а первосвященником в Иудее был тогда Хели; и правил Брут всем Островом двадцать четыре года, и почил, и был погребен в сей новой Трое». Брут был правнуком Энея, спустя несколько лет после падения Трои возглавившего исход троянцев из Греции; в пору его скитаний в изгнании ему приснился сон, в котором богиня Диана обратилась к нему с пророчеством: остров далеко на западе, за пределами страны Галлии, «обетован твоему народу; ты должен плыть туда, Брут, и основать город, который станет второй Троей». «И среди потомков твоих будут короли, что повергнут в трепет весь мир и покорят иные могущественные народы». Лондону суждено стать центром мировой империи, но, как и Троя, он пострадает от ужасного пожара. Любопытно, что на изображениях Великого лондонского пожара 1666 года проводится подчеркнутая параллель с падением Трои. Это и впрямь главный миф о происхождении Лондона, который можно найти в стихах «Таллизена», относящихся к VI веку и восхваляющих британцев как уцелевших потомков обитателей Трои, а также в сочинениях Эдмунда Спенсера и Александра Поупа. Поупу, родившемуся на Плау-корт близ Ломбард-стрит, представлялась в видениях

фантастическая городская цивилизация; однако такой облик прекрасно подходит городу, о котором Бруту было впервые поведано во сне.

Серьезные ученые отвергали историю о Бруте, считая ее просто сказкой, однако, как справедливо написал Мильтон во введении к своей собственной истории, «многажды случалось так, что в повествованиях, доселе считавшихся измышленными, обнаруживались следы и крупицы некоей истины». Некоторые исследователи полагают, что мы можем датировать скитания якобы мифического Брута периодом около 1100 года до н. э. В терминах современной историографии это соответствует позднему бронзовому веку, когда в окрестностях Лондона поселились новые племена; они строили большие укрепления и вели героическую жизнь, полную пиров, состязаний и жестоких битв, которая получила отражение в позднейших легендах. В Англии были найдены осколки стеклянных бус, похожих на троянские. Из Темзы выловили черный кубок с двумя ручками; он был изготовлен в Малой Азии приблизительно в 900 году до н. э. Так что имеются некоторые признаки, говорящие о том, что Западная Европа вела тогда торговлю с Восточным Средиземноморьем, и есть все основания

предполагать, что фригийские, а позже финикийские купцы достигали берегов Альбиона и появлялись на рынках Лондона.

Материальные свидетельства связи с самой Троей и той областью Малой Азии, где находился этот обреченный древний город, можно отыскать и в других местах. Диоген Лаэртский отождествлял кельтов с ассирийскими халдеями; и действительно, знаменитые британские эмблемы с львом и единорогом могут иметь халдейское происхождение. Цезарь с некоторым удивлением отметил, что друиды пользуются греческими буквами. В «Валлийских триадах» есть описание племени, перебравшегося на берега Альбиона, или Англии, откуда-то из окрестностей Константинополя. Наводит на размышления и то, что франки и галлы также считали троянцев своими предками. Хотя и не исключено, что какое-то племя мигрировало из района павшей Трои в Западную Европу, представляется более вероятным, что кельты ведут свое происхождение от обитателей Восточного Средиземноморья. Поэтому легенда о Лондоне как новой Трое и по сию пору имеет своих приверженцев.

Истории всякой цивилизации начинается с мифов и преданий, и лишь со временем удается

определить степень их достоверности.

Одно яркое вещественное напоминание о Бруте и его троянском флоте, возможно, еще существует. Если вы пройдете на восток по Каннон-стрит, то увидите напротив железнодорожной станции, в стене Китайского банка, металлическую решетку. Она защищает нишу, в которой стоит камень примерно двух футов в высоту с едва заметным желобком у верхушки. Это Лондонский камень. Много веков в народе верили, что Брут привез его с собой как талисман.

«Покуда цел камень Брута, будет процветать и Лондон», — гласила одна лондонская пословица. Безусловно, этот камень очень древний; первое упоминание о нем было обнаружено Джоном Стоу в «благоначертанном Евангелии», некогда принадлежавшем королю Этельстану, правителю западных саксов начала X века: отдельные земли и владения охарактеризованы там как «лежащие поблизости от Лондонского камня». Согласно «Викторианской истории графств», прежде он стоял в самом центре старого города, но в 1742 году его переместили с середины Каннон-стрит в стену церкви Сент-Суитин. Там он пребывал до Второй мировой войны; хотя немецкий снаряд полностью разрушил церковь в 1941

году, Лондонский камень остался нетронутым. Он состоит из оолита, непрочного минерала, и потому едва ли мог бы сохраниться с доисторических времен, однако высшие силы даровали ему долгую жизнь.

Поэт XV столетия Фабиан в своих стихах воспевает этот божественный камень, столь чистый, что «многих угроз избежал… не пострадав николи». Но его истинное значение по-прежнему не выяснено до конца. Одни историки полагают, что он отмечал место публичных встреч, на которых возвращались долги, тогда как другие видят в нем римский milliarium, или дорожную веху. Однако Кристофер Рен указывал, что для последней цели у камня чересчур массивное основание. Более вероятна его связь с правосудием. Персонаж ныне забытой пьесы 1589 года «Пасквиль и Марфарий» говорит: «Положите этот счет на Лондонский камень. Да будет сие сделано торжественно, под барабаны и фанфары», и еще: «Если им угодно в эти темные зимние вечера прилепить свои бумаги на Лондонский камень». То, что этот камень был глубоко почитаем, не подлежит сомнению. Уильям Блейк верил, что на месте его нахождения совершались друидские обряды и закалываемые жрецами жертвы «испускали на

Лондонском камне громкие стоны», но, скорее всего, его роль была менее мрачной.

Когда на Лондон напал знаменитый мятежник Джек Кейд, он и его сторонники отправились к этому камню; Кейд коснулся его своим мечом и воскликнул: «Теперь Мортимер, — так он себя называл, — станет повелителем сего города!» Первым мэром Лондона в конце XII столетия был Генри Фицэйлуин де Лондонстоун, тезка Лондонского камня. Поэтому представляется вероятным, что этот древний камень стал каким-то образом символизировать силу и власть города.

Теперь, почерневший и забытый, он лежит на обочине оживленного проспекта; мимо него катили деревянные телеги, кареты, портшезы, коляски, кабриолеты, омнибусы, кебы, велосипеды, трамваи и автомобили. Когда-то он был талисманом, оберегающим Лондон от несчастий, а может быть, остался им и теперь.

Но всяком случае, это реликвия, связанная с древними легендами о Лондоне и о его основании. Для кельтских народностей в подобных сказаниях воплощалась слава города, когда-то известного как волшебная страна Кокейн. В этой заповедной, изобильной земле странник мог найти сокровища и обрести счастье. Этот миф

стал почвой для позднейших легенд (например, о Дике Уиттингтоне) и тех неведомо кем сочиненных присказок, в которых лондонские улицы описываются как «вымощенные златом». Однако лондонское золото оказалось менее долговечным, чем Лондонский камень.

Глава 2
Камни

Кусок первоначальной Лондонской стены со средневековыми добавлениями и сейчас можно видеть у Тринити-плейс чуть севернее лондонского Тауэра; часть самого Тауэра была встроена в эту стену, воплотившую собой пожелание Уильяма Данбара: «Да будут каменны те стены, что оградят тебя со всех сторон!» У основания она имела почти десять футов в толщину, а в высоту — более двадцати; помимо этих фрагментов стены, возле Тринити-плейс уцелел каменный контур внутренней башни, в которой находилась деревянная лестница. Она вела на парапет, откуда открывался вид на болота к востоку от города.

С этого места призрачную стену — стену, какой она некогда была, — можно восстановить в воображении. Она тянется на север к Куперс-роу, где ее остаток еще торчит во дворе пустого здания — он возвышается над автомобильной стоянкой, устроенной под домом. Стена проходит сквозь бетон и мрамор этого дома, потом дальше, через кирпич и железо виадука на вок-

зале Фенчерч-стрит, до очередного уцелевшего куска на Америка-сквер. Он прячется в подвале современного здания, которое и само украшено парапетами, башенками и квадратными башнями; полоса блестящей красной плитки весьма живо напоминает плоскую красную черепицу, которой было покрыто римское сооружение. Тут стена ненадолго обретает имя «Кроссуолл» и проходит сквозь центральный офис фирмы под названием «Эквитас». Потом она идет через Вайн-стрит (на автомобильной стоянке под номером 35, прямо на линии ныне невидимой стены, установлена камера наблюдения) к Джури-стрит, которая почти точно следует курсу бывшей стены, пока не упирается в Олдгейт; можно сказать, что все здешние здания как бы представляют собой новую стену, отделяющую восток от запада. Здесь мы находим Сентурион-хаус и аптеку «Бутс».

Ступени подземного перехода у станции метро «Олдгейт» ведут вниз, на уровень Лондона эпохи позднего Средневековья, но мы следуем за стеной по Дьюкс-плейс до самой Бивис-маркс; рядом с пересечением двух этих магистралей располагается теперь часть того «стального кольца», которое сменило прежние городские

укрепления. На карте XVI века Бивис-маркс идет практически вдоль стены, да так оно и осталось: планировка улиц в этом районе не менялась в течение многих сотен лет. Уцелели даже переулки, такие, как Хенидж-лейн. На углу Бивис-маркс и Сент-Мэри-Экс высится беломраморное здание с большими окнами; над его входом красуется надменный золотой орел, напоминающий королевский штандарт. И вновь камеры наблюдения отмечают путь стены по Камомайл-стрит, в сторону Бишопсгейт и Уормвуд-стрит.

Она исчезает под двором церкви Сент-Ботольф, за домом, облицованным белым камнем и темным стеклом, но потом ее фрагменты выныривают у церкви Оллхаллоуз-он-де-уолл, построенной, по древнему обычаю, с целью освятить городские укрепления. Здесь современная магистраль наконец получает название «Лондонская стена» — Лондон-уолл. Над номером 85 по Лондон-уолл, совсем рядом с местом, где недавно обнаружили бастион IV века, возвышается похожая на средневековую башенка из песчаника, но на пути бывшей стены от Бломфилд-стрит до улицы Мургейт стоят в основном дома конца XIX века, занятые различными учреждениями. Когда-то с северной стороны Лондонской стены

находилась Вифлеемская лечебница, или Бедлам, но теперь исчезла и она. Однако невозможно не чувствовать присутствие или силу этой стены, когда идешь по спрямленной дороге, впервые проложенной в поздний период римского владычества. Затем, после Мургейта, появляется новая Лондонская стена, выстроенная на развалинах Второй мировой войны. Бомбежки вскрыли множество давно погребенных под землей остатков древней стены, и здесь до сих пор можно видеть ее поросшие мхом и травой обломки как римского, так и средневекового происхождения. Но бок о бок с этими старинными камнями выросли сверкающие мрамором и полированным камнем новые здания, которых теперь так много в городе.

Там, где раньше был большой римский форт — у северо-западного угла стены — теперь маячат эти новые крепости и башни: Роман-хаус, Британник-тауэр, Сити-тауэр, Олбан-гейт (которую, лишь слегка изменив название, можно было бы переименовать в Альбион-гейт, то есть «Врата Альбиона»), а также бетонные и гранитные башни Барбикана, снова придавшие этому месту, где когда-то стояли лагерем римские легионы, облик суровый и безжалостный. Даже широкие

тротуары в этом просторном районе находятся примерно на той же высоте, на какой прежде тянулись парапеты городской стены.

Затем стена поворачивает на юг, и ее длинные куски до сих пор можно видеть на участке местности, понемногу спускающемся к Олдерсгейту. На протяжении большей части отрезка от Олдерсгейта до Ньюгейта и далее, до Ладгейта, она остается невидимой, однако ее путь можно проследить по некоторым ориентирам. Чуть севернее бывшей стены, в Постманс-парке, находится статуя знаменитого античного чудовища Минотавра. Потемневшие, покрытые выбоинами стены Сешнс-хауса рядом с Олд-Бейли отмечают положение внешнего периметра древних укреплений, а более поздняя, выходящая на задворки Олд-Бейли стена Амен-корт — все те же кирпич и известка — похожа на мираж, вынырнувший из глубин прошлого. Потом мы пересекаем Ладгейт-хилл с конца Сент-Мартинс-Ладгейт, выходим на Пилгрим-стрит, минуем с тыла Паджентмастер-корт — теперь линия «Сити-Темз-линк» повторяет путь быстро бежавшей здесь когда-то речушки Флит — и упираемся в Темзу, где стена когда-то резко обрывалась.

Лондонская стена огораживала площадь при-

близительно в 330 акров. Путешествие по всему ее периметру заняло бы около часа, и современный пешеход одолеет этот маршрут примерно за такое же время. Идущие вдоль стены улицы по-прежнему годятся для передвижения, да и большая часть самой стены существовала вплоть до 1760 года. До тех пор город имел вид крепости, и в исландских сагах он называется Lundunaborg, то есть «форт Лондон». Стена постоянно ремонтировалась, словно сила и жизнестойкость самого города зависели от того, сохранится ли эта древняя каменная кладка; рядом с ней возводились церкви, и отшельники сторожили ее ворота. Люди с более мирскими интересами пристраивали к ней дома и деревянные хижины, так что повсюду можно было видеть (а порой и обонять) характерное сочетание гнилого дерева и покрытых плесенью камней. Более современный эквивалент этой комбинации — кирпичные арки железных дорог XIX века, под которыми ютились магазинчики и гаражи.

Даже разрушенная, стена продолжала жить: ее каменные бока составляли одно целое со стенами некоторых церквей и других общественных зданий. Один кусок стены, на Куперс-роу, стал частью подземного таможенного склада для

товаров, не оплаченных пошлиной, и фундаментом для новых домов. Например, полукруглый дом близ Америка-сквер, спроектированный Джорджем Дансом-младшим в 1770-х и построенный в конце XVIII века, покоится на секции древней стены. Так более молодые дома танцуют на развалинах старого города. Фрагменты стены и связанные с ней предметы постоянно обнаруживались заново на протяжении XIX и XX веков, когда последовательные стадии ее существования впервые объединились перед взором исследователей в нечто целое. Например, в 1989 году на восточной ее стороне были найдены восемь человеческих скелетов конца римского периода, ориентированные в разных направлениях; откопали также скелеты нескольких собак. Этот район носит название Хаундсдич, то есть «Собачья канава».

Многие считают, что римский Лондон возник одновременно с Лондонской стеной, но захватчики правили городом еще за 150 лет до возведения стены, и в течение этого долгого промежутка город пережил несколько бурных, а то и кровавых этапов своего развития.

Войска под командованием Юлия Цезаря вторглись на британские земли в 55 году до н. э. и очень

скоро заставили обитающие в окрестностях Лондона племена признать римское владычество. Почти сто лет спустя римляне вернулись с более продуманным планом захвата и порабощения. Возможно, их отряды пересекли реку в Вестминстере, или Саутуорке, или Уоллингфорде; их временные лагеря могли быть разбиты в Мейфэре или в районе площади Элефант-энд-Касл. Для нашего рассказа важно лишь то, что в конце концов их командиры и хозяйственники выбрали Лондон в качестве главной базы из-за стратегических преимуществ местности и полезной в коммерческом отношении близости реки. Было ли здесь прежде другое поселение, чьи обитатели убежали от римлян по деревянным гатям в болота и леса, неизвестно. Но в любом случае представляется вероятным, что захватчики очень быстро оценили выгоды этого места. Берега здешнего эстуария омывались продолжительным приливом.

Так здесь, на юге Британии, возник центр морской торговли, к которому сходилась по суше целая сеть дорог, просуществовавших почти две тысячи лет.

Примерная планировка этого первого города с двумя главными улицами из гравия, идущими параллельно реке по восточному холму, бы-

ла определена в результате раскопок. Одна из главных улиц шла по берегу Темзы — ее путь примерно повторяют нынешние Каннон-стрит и Истчип, — вторая же, проложенная ярдов на сто севернее, соответствует восточному участку Ломбард-стрит на подходе к Фенчерч-стрит. Вот подлинные истоки современного города.

Кроме того, был мост. Деревянный римский мост находился приблизительно на сто ярдов восточнее первого каменного Лондонского моста и соединял точку, расположенную западнее церкви Сент-Олаф в Саутуорке, с началом Редерес-лейн (или Пудинг-лейн) на северном берегу; точную дату его постройки теперь определить нельзя, но, по-видимому, это было грандиозное и даже фантастическое на вид сооружение, тем более казавшееся таковым местным племенам, порабощенным римлянами. Половина лондонских легенд связана с его возведением; на новой деревянной переправе творились чудеса и случались мистические прозрения. Поскольку мост построили исключительно ради того, чтобы укротить реку, он как бы поставил под сомнение могущество речного божества. Видимо, божество это пришло в ярость из-за покушения на свое полновластие; отсюда все обертоны мести

и разрушения, звучащие в знаменитой песенке «Рухнул Лондонский мост, рухнул Лондонский мост…».

Неясно, был ли Londinium изначально римским военным лагерем, но нет сомнений в том, что он быстро превратился в центр снабжения. Можно представить себе множество маленьких домиков с глиняными стенами, соломенными крышами и земляным полом, ряд переулочков, соединяющих две основные улицы, наполненных запахами и шумами оживленного поселения. Здесь были кабачки, мастерские, лавки и кузницы — все в одной куче, тогда как на берегу реки склады и мастерские теснились вокруг квадратной бревенчатой пристани. Свидетельства существования этой пристани были найдены в Биллингсгейте. На основных улицах, по которым проходил каждый приезжий, стояли трактиры и торговые заведения. Сразу за городской чертой были круглые хижины старинного британского типа, отведенные под склады, а по периметру город окружали деревянные загоны для скота.

Прошло совсем немного лет от основания города (которое может быть датировано примерно 43–50 годами н. э.), а римский историк Тацит уже писал о нем как о кишащем людьми, которых он

называет «negotiatores», и процветающем в коммерческом отношении. Таким образом, меньше чем за одно десятилетие Лондон превратился из простого центра снабжения в развитой город.

Negotiatores — это не обязательно купцы, но люди, занятые тем, что именовалось словом *negotium*, то есть коммерческой деятельностью и торговлей. Их можно назвать торговцами и дельцами. Таким образом, в этой сфере вырисовывается известная преемственность — можно даже сказать, линия неуклонного прогресса. В сверкающих зданиях, которые возвышаются ныне на месте бывшей Лондонской стены, сидят маклеры и торговцы, являющиеся (в прямом и переносном смысле) потомками тех, кто обосновался в Лондоне в I веке н. э. В лондонском Сити всегда властвовали императивы денег и купли-продажи. Вот почему именно здесь стоял дом прокуратора — высшего римского чиновника, ведавшего финансами провинции.

Итак, основа Лондона — сила. Здесь всегда казнили и угнетали, а бедных всегда было больше, чем богатых. Много раз город навлекал на себя ужасную кару и в нем бушевали пламя и мор. Уже через какой-нибудь десяток лет после его основания первый великий пожар полно-

стью уничтожил все лондонские постройки. В 60 году н. э. королева древнебританского племени иценов Боудикка с ее свирепыми воинами опустошила город огнем и мечом, мстя тем, кто пытался продавать в рабство иценских женщин и детей. Тогда город впервые продемонстрировал свою ненасытную тягу к истреблению человеческих жизней. Свидетельства бойни, учиненной Боудиккой, — красные следы окиси железа в слое жженой глины, дерева и золы. Цвет Лондона — красный, это цвет пламени и разрушения.

Было по меньшей мере еще одно нападение местных племен на римский город — оно произошло в конце III века, но к той поре городские укрепления стали уже достаточно надежными. Сразу же после набега Боудикки начались работы по восстановлению города. Если вы выйдете на большой перекресток в Сити, где Грейсчерч-стрит отделяет Ломбард-стрит от Фенчерч-стрит, то окажетесь лицом к лицу с главным входом римского форума с лавками и мастерскими по обе стороны от него. Новый форум был выстроен из кентского песчаника, привезенного на лодках по Медуэю, и со своими оштукатуренными стенами и красной черепичной крышей представлял собой как бы кусочек Рима на чужой земле.

Однако это не единственный сохранившийся след влияния римской цивилизации. Офис главного кассира в здании Английского банка, построенном в XVIII веке, является подобием римского храма и очень похож на базилику, находившуюся слева от древнего форума. В течение долгих столетий Лондон превозносили или проклинали, называя его новым Римом, — имелись в виду, соответственно, его могущественность или развращенность, — и можно с уверенностью сказать, что основатели города наложили непреходящую печать на его облик.

Лондон начал расти и процветать. В конце I века н. э. на месте прежних форума и базилики были воздвигнуты более внушительные здания; одна только базилика превосходила по размерам собор Св. Павла, выстроенный Реном в XVII веке на Ладгейт-хилле. На северо-западе — там, где теперь находится Барбикан, — возвели большой форт. В городе были общественные бани и храмы, лавки и торговые ряды; на месте нынешнего Гилдхолла был амфитеатр, а чуть южнее собора Св. Павла — стадион для скачек: по странному стечению обстоятельств проходящая там улица вот уже почти две тысячи лет сохраняет свое название — Найтрайдер-стрит, то есть «улица

Всадника».

Другие улицы утратили первоначальные названия, но сохранили прежнее направление. На углу Айронмонгер-лейн и Прудент-пассидж были обнаружены следы идущей с востока на запад римской дороги и строений вдоль нее — по крайней мере семи зданий, стоявших в ряд и, очевидно, имевших одно и то же промышленное назначение. После уничтожившего их очередного пожара и последовавшего за ним промежутка лет в пятьсот, то есть уже в начале IX века, на их месте у старой римской дороги возвели новые здания. В XII веке, когда в исторических записках впервые появляется название «Айронмонгер-лейн», дома по-прежнему стояли на северной обочине улицы, проложенной более тысячи лет тому назад. Этими же домами пользовались вплоть до XVII века — возможно, город не знал более долговечных построек.

Многие улицы этого района — например, Милк-стрит, Вуд-стрит и Олдерменбери — представляют собой уцелевшие следы римской планировки. Любопытно и то, что крупные лондонские рынки на Чипсайде и Истчипе до недавних пор находились там, где когда-то проложили свои дороги первые римские захватчики. За пятьдесят лег, к

концу I века н. э., цель основателей Лондона была достигнута. Он стал не только торговым центром страны, но и ее административной и политической столицей. В этом центре международных связей и коммерции действовали имперские законы о торговле, браке и обороне — законы, пережившие самих римлян. Во всех существенных отношениях это был город-государство со своим собственным независимым правительством, хотя и состоящий в прямых отношениях с Римом; эта независимость, или автономия, не раз найдет отражение в его последующей истории.

В самый бурный период его развития, в конце I века н. э., в городе, по-видимому, насчитывалось около тридцати тысяч жителей. Это были солдаты, купцы и предприниматели, ремесленники и художники, кельты и римляне — словом, очень пестрое общество. Богатые купцы и чиновники строили себе роскошные дома, но жильем среднего лондонца была небольшая комнатка — спальня и она же гостиная, с мозаикой или росписью по стенам. Иногда мы даже слышим разговоры этих людей.

Как и следовало ожидать, уцелели некоторые письма, касающиеся финансовых вопросов и торговли, но попадаются и менее официальные

сообщения. «Прим сделал десять плиток. Довольно!» «Последние две недели Аусталис что ни вечер гулял сам по себе… Срам!» «Лондон, близ храма Исиды…» «Сию плитку расписал Клементин». Это самые древние из дошедших до нас слов лондонцев, нацарапанные на осколках плитки и глиняной посуды, которые чудом сохранились среди гор мусора, вываленного на городскую землю за много столетий. Были обнаружены и более благочестивые надписи с поминаниями усопших и воззваниями к богам. Кроме того, были найдены печати для «рекламок» оптических дел мастера, предлагающих средства от слезливости глаз, воспалений и слабого зрения.

Мы можем увидеть прошлое яснее, если попытаемся реконструировать его по разрозненным остаткам. Огромная кисть бронзовой руки, длиной в тринадцать дюймов, была найдена под Темз-стрит, а голова императора Адриана, тоже больше натуральной величины, — в водах самой Темзы, поэтому можно догадаться, что город украшали огромные статуи. Обнаружены фрагменты триумфальной арки с каменными фресками, изображающими богов и богинь; итак, Лондон — город храмов и монументальной архитектуры. Были в нем и общественные купальни, одна из

которых находилась довольно далеко от Сити, на Норт-Одли-стрит. Когда рабочие в конце XIX века наткнулись на нее в подземном сводчатом помещении, она была еще наполовину залита водой. Памятные статуи и кинжалы, священные урны и серебряные слитки, мечи, монеты и алтари — все это выражает дух города, в котором торговля и насилие были неотделимы от искренней религиозности. Но красноречивыми бывают и более мелкие детали. На дне речки Уолбрук нашли более сотни перьев: здесь бесчисленные служащие попросту выбрасывали из окон использованные стило. Это образ жизненной суеты, вполне подходящий к любому периоду лондонской истории.

Однако несокрушимость и преуспеяние Лондона в этот период не столь уж бесспорны. Как одушевленное существо, Лондон рос и распространял вокруг свое влияние, но он также переживал времена утомления и расслабленности, когда гений этого места прятал голову. Признаки подобного спада мы можем найти на тех же восточных берегах Уолбрука, где имперские чиновники швыряли в воду свои перья. Здесь в 1954 году были обнаружены остатки храма, посвященного Митре, а впоследствии и другим языческим богам. Римским лондонцам было не чуждо раз-

нообразие верований; например, есть надежные свидетельства того, что религиозные воззрения древних кельтских племен вошли составной частью в оригинальную римско-кельтскую форму религиозного поклонения. Но мистический культ Митры с его обрядами инициации и тайными ритуалами для избранных предполагает, по крайней мере теоретически, что порой в души граждан закрадывались смятение и неуверенность.

Самый плодотворный период развития римского Лондона охватывает годы I и II столетий нашей эры, но за ним следует неоднозначная эпоха чередования прогресса и упадка. Отчасти этот упадок связан с двумя великими бичами Лондона, огнем и чумой, но происходила и постепенная деградация имперской власти по мере ослабления и упадка самой империи. Приблизительно в 200 году н. э., лет за пятьдесят до возведения храма Митры, вокруг Лондона была выстроена огромная стена. Она говорит о смутных временах, но сам факт ее постройки свидетельствует о том, что город по-прежнему располагал гигантскими собственными ресурсами. Большие области внутри стены оставались незанятыми или были отведены под пастбища, но в более фешенебель-

ном районе близ реки стояли прекрасные дома и храмы. Первый лондонский монетный двор был создан в III веке — еще одно проявление истинной природы города. В том же веке была возведена стена вдоль реки, замкнувшая кольцо городской обороны.

Кем же были и чем занимались сами горожане в последние десятилетия жизни римского Лондона? В основном они были римско-британского происхождения, и порой ими правили британские «короли». Но население Лондона с самого своего возникновения было смешанным, и на улицах города можно было встретить представителей разных национальностей, включая выходцев из туземных кельтских племен, которые за три столетия приспособились к новому порядку. Этот римский город просуществовал столько же лет, сколько минуло с эпохи последних Тюдоров до нынешнего дня, но у нас от него остались лишь молчаливые и разрозненные свидетельства — чашки и игральные кости, банные скребки и колокольца, таблички для письма и жернова, брошки и сандалии. Как заставить эти вещи заговорить?

Конечно, на протяжении долгой истории города бывали периоды войн и смуты. О многом мы

не имеем сведений, но один-два красноречивых эпизода до нас дошли. Мрак расступается, и перед глазами на миг встает та или иная картина, чтобы затем вновь затеряться в таинственном лабиринте исторического процесса, частью коего она является. Римский полководец Аллект приплыл в Британию, чтобы подавить местный мятеж; победив восставших, он обосновался в Лондоне. Кельтский вождь Асклепиодот в свою очередь выступил против имперского победителя; за пределами города произошла кровавая битва, верх в которой взяли кельты. Опасаясь расправы, остатки римских отрядов укрылись за городскими стенами и заперли ворота. Пошли в ход осадные орудия, и в защитных укреплениях была проделана брешь; кельты хлынули туда, и командир последнего легиона взмолился о пощаде. По взаимному уговору римлянам разрешили отступить к кораблям, но одно племя или часть племени нарушили соглашение; они напали на римских солдат, обезглавили их в соответствии с кельтским ритуалом и, по рассказу Гальфрида Монмутского, бросили головы «в городской ручей… по-саксонски именуемый Галоброк». В 1860-х годах на дне давно ушедшей под землю речки Уолбрук нашли множество черепов.

Остальное окутано тайной.

Но по этому единственному эпизоду нельзя заключить, что история Лондона есть история борьбы племен против общего римского врага. Все прочие свидетельства говорят об ином — о смешении народов, поощряемом взаимовыгодной торговлей и обеспечившем почти непрерывное развитие коммерции и административной деятельности. Наверное, к тому времени уже сложился тип лондонского жителя — возможно, с тем особым «землистым» цветом лица, который так часто отмечался в позднейшие годы. Нет сомнений, что лондонцы говорили на вульгарной латыни с примесью местных наречий, и их религиозные верования, должно быть, представляли собой столь же пеструю и своеобразную смесь. Храм Митры — лишь один пример проникновения сюда эзотерической религии, бывшей в основном прибежищем купцов и профессиональных администраторов, но в городе была известна и христианская вера. В 313 году н. э. некий Рестит посетил Арльский собор в качестве епископа Лондонского.

Экономическая деятельность в городе была столь же разнообразна и имела практический характер; коммерческие и военные заведения

по-прежнему активно функционировали, но археологические данные свидетельствуют о том, что многие общественные здания были заброшены и многие жилые районы обратились в фермерские угодья. Наличие ферм и виноградников в черте города может показаться странным, но до самых времен царствования Генриха II половина Лондона представляла собой открытую местность с раскинувшимися повсюду полями, садами и огородами. Остались также следы довольно массивных каменных зданий — по-видимому, фермерских домов, — относящиеся к III и IV векам. Похоже, здесь мы сталкиваемся с парадоксом обитания сельских землевладельцев в самом городе. Очевидно, Лондон был по-прежнему достаточно силен, чтобы противостоять разбойным племенам: в 368 году н. э. аттакотты разорили большую часть Кента, но на Лондон напасть не отважились.

В 410 году н. э. Рим наконец убрал свою оберегающую длань; подобно руке, найденной на Темз-стрит, она была скорее бронзовой, чем золотой. Есть сведения о набегах на город англов и саксов, но нет записей о каком-либо крупном поражении или смене власти. Однако имеются некоторые свидетельства упадка. Когда-то на

Лоуэр-Темз-стрит были бани; в начале V столетия их забросили. Стекла были разбиты, а ветер снес крышу; позже, когда крыша рухнула, стали понемногу разрушаться стены восточного ряда построек. Среди их развалин нашли саксонскую брошь: ее уронила какая-то женщина, пробиравшаяся по этим чуждым ей руинам.

Появление саксов датируется началом V века, когда, по выражению историка Гильдаса, британские земли лизал «свирепый и красный язык». В некоторых городах «посреди улиц лежали обвалившиеся верхушки величественных башен, обломки высоких стен, священных алтарей, куски человеческих тел». Но на самом деле англы и саксы уже жили в районе Лондона, и археологические свидетельства показывают, что к концу IV века отряды воинов германского происхождения охраняли Лондон под имперским знаменем.

Тем не менее некогда считалось, что с появлением саксов город пришел в упадок и обезлюдел. На самом же деле в Лондоне, оставленном Римом, не было никакой кровавой резни. В отдельных местах обнаружили слой «темной земли», принятый за свидетельство разрухи и упадка, но современные специалисты полагают, что темная почва говорит скорее об освоении этих краев

пришельцами, чем о разрушениях. Есть и другие признаки того, что в течение всего этого периода, еще недавно именовавшегося «мрачным Средневековьем», Лондон был обитаем. Один из поразительным образом уцелевших исторических документов позволяет заключить, что положения лондонского права, введенные римлянами, — особенно те, что касались завещаний и прав собственности, — соблюдались на протяжении всего Средневековья. Иными словами, существовала непрерывная административная традиция, вовсе не нарушенная вторжением саксов.

Древние хроники утверждают, что Лондон оставался главным городом и цитаделью бриттов. В исторических сочинениях Ненния и Гильдаса, Гальфрида Монмутского и Беды Достопочтенного он постоянно упоминается как независимый город, а также как обычное место пребывания британских королей; здесь монархи короновались и всходили на престол и здесь же устраивались общие собрания жителей. Кроме того, город был главным оплотом обороны, за стенами которого бритты искали убежища в лихую годину. Здесь оседала британская и римская знать; город был важным портом на одном из величайших морей

христианского мира. О древних британских королях — в том числе о Вортигерне, Вортимере и Утере — говорится как о живших и правивших в Лондоне.

Однако в этих ранних хрониках очень трудно провести границу между изложением действительных фактов и произвольными домыслами. Например, Мерлин в них произносит множество пророчеств о будущем города. В Лондоне находим мы и другую великую фигуру, существующую где-то на стыке мифа и истории, — короля Артура. Согласно Матфею Вестминстерскому, Артура короновал архиепископ Лондонский. Лайамон добавляет, что после этой церемонии новоиспеченный король вступил в Лондон. Характерной чертой городской цивилизации той поры была ее утонченность; Гальфрид Монмутский, к примеру, отмечает «роскошь» декоративного искусства, шедеврами которого изобиловал город, а также достаток и учтивость королевских подданных. В обширном прозаическом эпосе Мэлори под названием «Le Morte d'Arthur»[1], у которого было несколько оригинальных источников, Лондон часто фигурирует как столица королевства. В пору

[1] Примечания: 1
«Смерть Артура».

дурных предчувствий после смерти Утера Пендрагона, отца короля Артура, «Мерлин, пришед к Архиепископу Кентерберийскому, увещевал его известить всех знатных людей королевства и всех благородных ратников, дабы стеклись они в Лондон» и собрались «в наивеличайшей церкви Лондона — был ли то Св. Павел или нет, французская книга не дает понятия». В более поздних книгах Прекрасная Дева из Астолата теряет невинность на берегах Темзы, сэр Ланселот едет из Вестминстера в Ламбет через ту же реку, а Гиневра «явися в Лондон» и «взяти Тауэр Лондонский».

Менее противоречивые свидетельства историков и летописцев добавляют подробностей к картине, рисуемой этими красочными легендами. Церковные записи сообщают, что в 429 году в Лондоне либо в Веруламии, римском городе в Англии, был созван синод; поскольку целью этого авторитетного собрания было осуждение еретических взглядов британского монаха Пелагия, ясно, что в краях, граничащих с Лондоном, по-прежнему процветала богатая религиозная культура.

Лет двенадцать спустя, как утверждается в одной хронике того времени, британские зем-

ли приняли саксонское владычество. Хотя этот источник умалчивает о судьбе Лондона, последний, видимо, сохранил свою независимость как город-государство. Тем не менее к середине VI века он, скорее всего, также подпал под власть саксонских правителей. Просторные участки обнесенной стеной земли использовались как пастбища, в больших общественных зданиях, несомненно, шла рыночная торговля или содержался скот, а люди, живущие среди грандиозных руин уже отдаленного прошлого, строили здесь свои деревянные хижины и лавки. Есть чудесная саксонская поэма о развалинах как раз такого британского города; они именуются «enta geweorc», то есть творениями гигантов, — эти не пощаженные временем памятники великой расе, ушедшей «hund cnect» (сотню поколений) тому назад. Описание разрушенных башен и пустых залов, обвалившихся крыш и покинутых купален проникнуто смесью печали и восхищения. Есть здесь и намек на другую истину. Этот древний каменный город стерли с лица земли время и «wyrde» — судьба; он не погиб от свирепого набега и не был разграблен мародера ми. Следовательно, саксы не обязательно были разрушителями, и в этой поэме чувствуется искреннее уважение к

древности и к «beohrtanburg» — «светлому граду», где некогда обитали герои.

В общих чертах мы можем представить себе, как выглядел новый, саксонский Лондон. Был выстроен кафедральный собор, а королевский дворец находился там, где теперь пролегают Вуд-стрит и Олдерменбери. В записках VII века упоминаются «королевские палаты» в Лондоне, и два столетия спустя он по-прежнему был известен как «знаменитое место и царственный град»; расположение королевского дворца рядом со старым римским фортом на северо-западе города позволяет предположить, что его укрепления также поддерживались в хорошем состоянии. Но есть и еще более красноречивое свидетельство преемственности. Одной из самых важных археологических находок недавних лет является открытие римского амфитеатра на месте нынешнего Гилдхолла; это именно то место, где саксы устраивали свои фолькмоты (народные собрания), поскольку оно всегда описывалось как расположенное к северо-востоку от собора. Из этого следует, что саксонские граждане почти наверняка использовали древний римский амфитеатр в своих собственных целях; тот факт, что они сидели и спорили на каменных скамьях,

возведенных более чем два столетия назад, позволяет увидеть их связь с отдаленным прошлым в любопытном и неожиданном свете. Конечно, не менее красноречиво и то, что на этом же месте построена нынешняя ратуша — Гилдхолл. Тут мы имеем, во всяком случае, преемственность управления. Соответственно, кажется вполне вероятным, что большой, обнесенный стенами город по-прежнему оставался центром власти и влияния.

Это помогает объяснить существование процветающего саксонского городка Лунденвика — «вик» означает «рынок» — в районе, теперь известном нам как Ковент-гарден. Иными словами, типичное саксонское поселение выросло прямо под стенами могучего города.

Мы можем представить себе несколько сот человек, живших и работавших в районе между Ковент-гарденом и Темзой. Недавно были найдены их печи для обжига и гончарные изделия, а также шпильки и стеклянные стаканы, гребни, каменные инструменты и гирьки для ткацких станков. На Эксетер-стрит близ Стрэнда обнаружено место, где разделывали туши, а на Трафальгар-сквер — остатки фермерских домов. Таким образом, все данные наводят на мысль

о том, что процветающий торговый район был окружен небольшими поселениями фермеров и ремесленников. Названия саксонских поселков еще слышатся в названиях современных районов Лондона, возникших на тех же местах, — в качестве примеров можно назвать Кенсингтон, Паддингтон, Излингтон, Фулем, Ламбет и Степни. Сама форма и прихотливые изгибы Парк-лейн определяются старым расположением узких земляных наделов саксонских фермеров. Таково же происхождение улицы Лонг-Эйкр. Получается, что это был немалый поселок, и, по-видимому, именно о Лунденвике, а не о Лондоне Беда говорил как о «торговом центре на берегу Темзы… куда съезжаются по воде и суше представители многих народов».

В документах, датированных 673–685 годами, идет речь о правилах, которые следовало соблюдать кентским жителям, ведущим в Лунденвике меновую торговлю. Золотые монеты с чеканкой LONDUNIU использовались как раз в тот же период, так что различие между административным Лондоном и коммерческим Лунденвиком, возможно, и не проводилось. Аналогичным образом шел постоянный процесс ассимиляции коренного населения (бриттов) и пришлых саксов, чему

способствовали частые смешанные браки и мирная торговля. Свидетельства этого мы находим в надежнейшем из источников — самом языке, поскольку многие старые британские слова можно обнаружить в «саксонском» английском. Среди них — «basket», «button», «coat», «gown», «wicker» и «wire»[2], поэтому разумно предположить, что искусство ткачества и плетения, скорее всего, было унаследовано саксами от бриттов. Другое английское слово говорит о смешанном населении Лондона: название Уолбрук произошло от «Weala broc» — «валлийский ручей», что позволяет догадаться о наличии в древнем городе четко определенного района, где жили «коренные бритты».

Беда Достопочтенный сообщает, что Londuniu был столицей восточных саксов, но в средний период саксонского правления город, видимо, признавал владычество каждого из королей, властвовавших в том регионе, среди которых были короли Кента, Уэссекса и Мерсии. Вдобавок к тому, что укрепленный город был обычной резиденцией царствующих особ, можно, пожалуй, считать, что он представлял собой своего

[2] Примечания: 2

«Корзина», «пуговица», «куртка», «платье», «плетенье» и «проволока» *(англ.).*

рода коммерческую «награду», достающуюся удачливому лидеру. Однако с учетом такой переменчивости центральной власти не стоит, по-видимому, удивляться тому, что главной опорой преемственности была христианская церковь. В 601 году, спустя четыре года после прибытия святого Августина Кентерберийского, папа Григорий объявил Лондон главной епархией всей Британии; еще через три года Этельберт Кентский воздвиг кафедральный собор Св. Павла. Далее следует скупая хроника церковного управления. В год постройки собора Августин, архиепископ Британский, назначил Меллита епископом Лондона; после этого лондонцы формально стали христианами, но тринадцать лет спустя произошла смена монаршего правления и Меллита изгнали из города. Таким образом, природная склонность местного населения к язычеству на короткий промежуток снова взяла верх, и лишь затем Римско-католическая церковь постепенно утвердила здесь свое господство.

А потом пришли датчане. Прежде чем отправиться на юг, они разграбили Линдисфарн и Джарроу. «Англосаксонская хроника» сообщает, что в 842 году произошла «великая битва в Лондоне» и викинги были отброшены назад. Девять

лет спустя они вернулись, разорили Кентербери, поднялись по Темзе и напали на Лондон — их флот насчитывал 350 кораблей. Участок городской стены вдоль реки наверняка уже находился в плачевном состоянии, но даже если бы саксы могли починить эти укрепления, они не в силах были бы остановить захватчиков. Лондон был взят и разграблен. По-видимому, к тому времени многие жители успели покинуть город; остальных, по обычаю викингов, предали мечу, а их хижины и лавки — огню. Некоторые историки считают 851 год поворотным в истории Лондона, но это, пожалуй, значит недооценивать живучесть города, многократно возрождавшегося из руин и пепла. Такие возрождения для него чрезвычайно характерны.

Захватчики вернулись снова через шестнадцать лет. Их огромная армия двинулась по Мерсии и Восточной Англии с целью покорить Уэссекс; в 872 году они построили под Лондоном укрепленный лагерь — очевидно, чтобы защитить свои военные корабли на реке. Вероятно, они рассчитывали установить контроль над Лондоном и бассейном Темзы, дабы взимать дань с соседних королевств. Сам город они определенно заняли, превратив его в военный гарнизон и

склад. Они оставались здесь четырнадцать лет. Следовательно, в эту пору город не пустовал, как полагают некоторые, а вновь превратился в оживленный центр управления и снабжения. Скандинавский предводитель Хальфдере чеканил свою собственную серебряную монету — любопытно, что образцом для нее послужили римские монеты. Традиция делания денег (в буквальном смысле) не прерывалась в Лондоне с тех отдаленных времен, что лишний раз подтверждает органическую устойчивость его финансовой жизни. Монеты в Лондоне чеканились для Альфреда в его роли зависимого от захватчиков короля Уэссекса. Коренным жителям, видимо, повезло меньше, чем Альфреду: судя по количеству денежных кладов, зарытых на первом году скандинавской оккупации, богатые лондонцы по возможности спасались бегством так же, как и простые англичане.

Затем, в 883 году, Альфред организовал нечто вроде осады, приведя английскую армию под стены города. Лондон был соблазнительным трофеем, и три года спустя Альфреду удалось получить его. Фактически именно в Лондоне было официально провозглашено его владычество над всем регионом, когда «весь английский народ, ко-

торый не был под пятою датчан, покорился ему». Иными словами, Лондон по-прежнему оставался символом власти, даже в период его оккупации скандинавами. Датчане попросили мира, и им отвели территорию к востоку от реки Ли. Таким образом, Лондон стал пограничным городом, и Альфред затеял работы по его восстановлению и укреплению. Стены были отремонтированы, набережные отстроены заново, и весь Лунденвик с его кипучей деятельностью оказался под защитой бастионов возрожденного города; именно в эту пору Лунденвик входит в историю под названием Олдуич, то есть «старый торговый городок».

Лондон в очередной раз стал новым, поскольку Альфред установил график работ, который вполне можно считать прообразом современного городского планирования. Он построил внутри стен дорогу, соединяющую Олдгейт и Ладгейт; ее примерное направление еще можно проследить по улицам нынешнего Сити. Другие новые улицы были проложены близ верфей Куинхайта и Биллингсгейта.

Лльфред изменил лицо города и вновь сделал Лондон пригодным дни обитания.

Видимо, город был достаточно велик и силен,

чтобы противостоять нападениям викингов в последующие годы; burgwara, или горожане, даже выходили на битвы с ними в 893 и 895 годах. В последнем случае лондонцы сделали вылазку с целью разрушить или ограбить вражеские суда. Тот факт, что викинги не смогли отомстить англичанам, нанеся ответный удар, говорит о надежности городских укреплений.

Наверное, восстановление могущества Лондона не может быть поставлено в заслугу одному лишь Альфреду, хотя врожденный дар городского проектировщика обеспечил ему видную роль в этом процессе. Он отдал Лондон во владение своему зятю Этельреду и пожаловал земли внутри стен светским вельможам и крупным церковникам. Тогда и возникла та странная разбивка территории, следы которой мы видим в делении нынешнего Сити на округа и приходы. Участок лондонской земли мог быть ограничен речушками или остатками римских руин, но, пожалованный однажды английскому лорду или епископу, он превращался в его личный soke, или удел. Для защиты и освящения каждого определенного участка лондонской земли воздвигались церкви из дерева, известняка или песчаника; эти священные сооружения, в свою очередь, стано-

вились центрами маленьких жилых сообществ торговцев, ремесленников и прочего люда.

Начало X века было мирным периодом, хотя лондонцы иногда помогали Альфреду в его попытках освободить те области Британии, где еще правили датчане. В исторических записях указывается только последовательность мерсийских королей, подчинявшихся Лондону. В 961 году был большой пожар, после которого разразилась эпидемия чумы; кафедральный собор Св. Павла погиб в огне, и мы видим в этом очередное проявление рока, властвующего над городом и периодически дающего о себе знать. Еще один великий пожар случился двадцать один год спустя, одновременно с нападением на побережье Дорсета трех скандинавских кораблей. Последующие годы ознаменовались целым рядом нападений викингов на процветающий город; несомненно, Лондонский монетный двор с его запасами серебра был особенно лакомой приманкой. Но восстановленные Альфредом укрепления были достаточно надежны, чтобы сдержать натиск врага; в 994 году датчане направили в Темзу флот из девяноста пяти кораблей, стремясь блокировать и победить город, но их оттеснила армия лондонцев. Согласно «Англосаксонской хрони-

ке», эти ополченцы нанесли датчанам «больший урон, чем те когда-либо предполагали потерпеть от городских жителей». Важно заметить, что по ходу этих битв и осад Лондон обзавелся собственной армией, гарантирующей ему известную независимость; ему вообще были свойственны признаки отдельного королевства или суверенного государства, которые он на протяжении многих столетий никогда не утрачивал целиком.

Итак, лондонские воины постоянно сопротивлялись датчанам, и существуют записи о захватах ими чужеземных кораблей и уводе их в город. Лондонцы выбирались и в Оксфорд, чтобы помочь своим землякам-провинциалам, и, хотя викингам порой удавалось прорваться в кольцо городских стен, Лондон стоял твердо. Он по-прежнему оставался процветающим портом, и в 1001 году один исландский поэт записал свои впечатления от гавани, где купцы из Руана, Фландрии, Нормандии, Льежа и других мест платили строго определенную пошлину за ввоз товара; они привозили сюда шерсть, ткани, древесину, рыбу и топленый жир; с маленьких кораблей взималась дань всего в полпенни, а мореходы закупали там поросят и баранов на обратный путь.

В 1013 году датский предводитель Свен возгла-

вил большое войско скандинавов и двинулся на Лондон, «ибо королем там был Этельред». «Лондонцы не сдались, — повествует „Англосаксонская хроника“, — но встали грудью на защиту своего города». Однако этого оказалось мало, и после затяжной осады город был взят датчанами. Правящий монарх спасся бегством, но на следующий год вернулся с самым неожиданным союзником — норвежцем Олафом. Воины Олафа подвели свои суда к Лондонскому мосту, привязали их веревками и тросами к его деревянным опорам, а затем, с помощью прилива, умудрились сдвинуть их и свалить весь мост в Темзу — печально известный эпизод из истории этого знаменитого сооружения. В последние годы на этом участке реки были найдены железные топоры и мечи. Если верить исландской саге, «на горожан, увидевших, что их река захвачена неприятельским флотом, а всякое сообщение между внутренними районами прервано, напала паника». Поскольку их освободили от очень недолго правившего короля, да вдобавок еще и чужестранца, такая реакция вызывает сомнения, но потеря моста, конечно, нанесла серьезный ущерб торговле и сети городских коммуникаций. Но сага кончается оптимистически, или,

во всяком случае, торжественно: «И ты сокрушил их мосты, о да! ты, самый неистовый из сыновей Одина, искуснейший и непобедимый в битвах! Тебе суждено было обладать землями могущественного града Лондона». Самого Олафа впоследствии причислили к лику святых, и в Лондоне построили шесть церквей в почитание его памяти, причем одну из них — на юго-восточном углу моста, который он некогда разрушил. Церковь Сент-Олаф на Харт-стрит, где молился Сэмюэл Пипс, стоит и по сию пору.

В течение трех последующих лет англичане и скандинавы участвовали в целом ряде осад, битв и набегов; в этой долгой войне Лондон неизменно оставался главнейшим оплотом силы и власти. После смерти Этельреда в 1016 году, согласно «Англосаксонской хронике», «все бывшие в Лондоне члены совета и горожане избрали королем Эдмунда», откуда можно заключить, что король был торжественно избран на фолькмоте, представлявшем собой нечто вроде общегородской сходки. Отвоевав корону в том же 1016 году, Кнут обложил данью весь народ, причем Лондон обязан был поставлять одну восьмую от общей суммы.

Тем временем датчане, занимающиеся мирной

торговлей, осели под стенами города в районах, которые когда-то были заняты саксами. Церковь Сент-Клемент-Дейнс в устье Стрэнда отмечает место их поселения; возможно даже, что племенное сообщество датчан существовало здесь в течение нескольких поколений, но именно во времена Кнута эта деревянная церковь стала каменной. Считается, что здесь же погребен сын Кнута, Гарольд Заячья Лапа, а один рунический памятник сообщает, что три датских предводителя также «лежат в Лунтунуме». Таким образом, мы вновь сталкиваемся с наличием процветающего рыночного центра под охраной городских стен. Уильям Малмсберийский полагает, что после долгого соседства с датчанами «граждане Лондона почти целиком переняли их обычаи»; это дает нам очередной пример культурной ассимиляции.

Один обычай сохранился полностью. Когда-то близ церкви Сент-Клемент стоял каменный крест, отмечавший магическое ритуальное место. Здесь, «у Каменного Креста», собирался открытый суд и взимался налог с владельцев окрестных земель; плата за один близлежащий участок земли вносилась подковами и железными гвоздями. Некоторые считают, что этот обычай — эхо какого-то языческого обряда, но

он дожил и до наших дней. В начале XXI века в Суде Казначейства — то есть в Доме правосудия, находящемся неподалеку от места расположения древнего креста, — в качестве части налога, причитающегося короне, торжественно сдают шесть лошадиных подков и шестьдесят один сапожный гвоздь.

Итак, датчане и лондонцы процветали в тот период, в исторических записях которого фигурируют только деяния «граждан Лондона» и «армии Лондона» как независимого и прочного самоуправляющегося сообщества. Когда был помазан на царство бледнокожий и набожный Эдуард (впоследствии прозванный «Исповедником»), составитель «Англосаксонской хроники» записал, что «все люди избрали его королем Лондона». И действительно, Лондон, «qui caput est regni et legum, semper curia domini regis»[3], обладал официальным статусом законодательного центра и оплота королевской власти.

[3] Примечания: 3

«Главный оплот королевства и закона, постоянная резиденция государя» *(лат.).*

Глава 3
Свят, свят, свят!

Эдуард Исповедник оставил по себе памятник более долговечный, нежели его родовой капитал: он удалился во дворец в Вестминстере и основал монастырь.

Церковь, предшественница монастыря, вела свое существование со II века, но лондонские знатоки древности полагают, что когда-то на ее месте стоял языческий храм, посвященный Аполлону. И действительно, в непосредственной близости от этого места обнаружили римский саркофаг и фрагмент напольной мозаики. В любом случае Вестминстер — а точнее, Торни-айленд, где находятся теперь парламент и монастырь — был очень важным пунктом, поскольку именно здесь дорога из Дувра вливалась в Уотлинг-стрит, ведущую на север. При низкой воде здесь можно было пересечь реку и скакать дальше по великим римским трактам. Однако топография — это не только расположение дорог. Поля Тотхилл-филдс рядом с Вестминстером были частью священного района, где издревле вершились религиозные

обряды; в одном документе 785 года говорится об «ужасном месте под названием Вестминстер» (слово «ужасный» подразумевает в данном случае священный ужас перед божеством).

Поэтому нет ничего удивительного в том, что основание Вестминстерского аббатства окутано тайной и мистическими легендами. В VII столетии, в ночь перед освящением первой саксонской церкви, построенной на этом месте, сам святой Петр явился некоему рыбаку и был перевезен через реку из Ламбета; затем он переступил порог новой церкви, и ее тут же залило светом, будто загорелась целая тысяча свечей. Так началась история церкви Сент-Питер. Эдуарда Исповедника также посетил сон, или видение, после которого он велел возвести здесь большое аббатство. Оно стало хранилищем песка с горы Синай и земли с Голгофы, досочки от священных яслей Иисуса и обломков его креста, крови с бока Христа и молока Девы Марии, пальца святого Павла и волос святого Петра. Почти тысячу лет спустя в этом же месте видение снизошло на Уильяма Блейка, узревшего монахов, которые пели, идя к алтарю. За век до того, как поэту было ниспослано это откровение, возвратился из небытия и Эдуард Исповедник: один певчий наткнулся на

разбитый гроб преподобного короля и вытащил оттуда череп. Так святой король обратился в эмблему смерти. Пожалуй, это вполне подходящая история для аббатства, ставшего лондонским «городом мертвых», в котором целые поколения королей, политиков и поэтов лежат в молчаливом содружестве как символ великой тайны, где слиты воедино прошлое и настоящее. Это и есть тайна — и история — самого Лондона.

После основания церкви Сент-Бартоломью-де-Грейт в начале XII столетия Уэст-Смитфилд видел не меньше чудес, чем любой подобный ему район Рима или Иерусалима. В провидческом сне Эдуарду Исповеднику было поведано, что Господь избрал Смитфилд в качестве места, где Ему следует поклоняться; Эдуард отправился туда наутро и предсказал, что эта земля станет свидетельницей богоявления. В то же время в Лондон, уже имевший славу святого города, прибыли три паломника из Греции; приблизившись к Смитфилду, они пали ниц и произнесли пророчество о том, что здесь будет возведен храм, который «прострет свою длань от восхода солнца до заката».

«Книга основания» великой церкви Сент-Бартоломью, из которой взяты эти слова, была

написана в XII веке; она дает много пищи для размышлений, но также является свидетельством благочестия Лондона и лондонцев. Основатель церкви Рахере находился в Италии, когда приснившееся ему животное с четырьмя ногами и двумя крыльями вознесло его на «высокое место», где перед ним предстал святой Варфоломей со следующими словами: «Я, по воле и повелению Святой Троицы и с благосклонного согласия всего сонма святых, избрал место в пригороде Лондона Смитфилде». Рахере велено было воздвигнуть там храм поклонения Агнцу. Он отправился в указанный город, и в беседе со «знатными людьми Лондона» ему объяснили, что «место, виденное им в божественном сне, находится в пределах королевского рынка и закон не дозволяет вторгаться в сии пределы ни представителям власти, ни даже самим наследным принцам». Тогда Рахере испросил аудиенции у Генриха I, дабы поставить его в известность о своей священной миссии; король милостиво выделил ему участок, бывший в ту пору «весьма малым кладбищем».

Затем Рахере «представился юродом», чтобы набрать добровольцев дли грандиозного строительства. Он «привлек к себе множество детей и слуг и с их помощью легко принялся собирать

камни». Камни поступали из разных районов Лондона, и в этом смысле история постройки храма есть наглядное отражение того факта, что церковь Сент-Бартоломью была коллективным творением и мечтой всего города; она буквально повторила его в миниатюре.

Итак, церковь росла, и многие священники собрались здесь, чтобы жить «по крепкому уставу» под началом ее основателя. С момента ее закладки, когда «свет снизошел с небес и сиял над нею на протяжении часа», в стенах церкви совершилось столько чудес, что летописец заявляет: он поведает лишь о тех, которые видел сам. Некоего Вулмера, калеку, передвигавшегося «на двух подпорах, всюду носимых с собою», принесли к св. Варфоломею в корзине; он пал ниц пред алтарем и излечился. «Одна женщина из прихода Сент-Джон» исцелила свои «расслабленные» члены, а некий Уаймонд, который был нем, заговорил. Многие из этих чудес произошли в день св. Варфоломея, так что в городе постоянно действовала аура не только святых мест, но и святого времени. Чудесные исцеления совершались и в «лечебнице при храме», ныне больнице Св. Варфоломея. Таким образом, церковь Сент-Бартоломью представляет собой обиталище святого духа, который

не покидает его вот уже почти девять столетий.

Когда граждане Лондона отправлялись в долгие путешествия «в отдаленные концы света», им угрожало кораблекрушение, но они успокаивали друг друга словами: «Чего опасаться нам, верующим, если добрый Варфоломей, вершитель столь многих чудес, обитает в Лондоне по соседству с нами?.. Уж он-то не откажет в милости своим землякам». В часовне при церкви был «алтарь, освященный в честь наиблаженнейшей и присносущей Девы Марии»; здесь Пресвятая Дева явилась одному мирянину и сказала: «Я стану внимать вашим обетам и молитвам и не лишу вас своей благосклонности во веки веков».

Эта часовня цела и поныне, но паломники туда больше не ходят. Церковь Сент-Бартоломью почти заброшена — она стоит поодаль от кольцевой дороги, ведущей от мясного рынка к больнице и некогда служившей границей Варфоломеевской ярмарки. Однако самого Варфоломея можно по-прежнему считать одним из святых покровителей города, и даже к началу XXI века в Лондоне остались десять улиц и дорог, носящих его имя.

Итак, в давнюю пору Лондон был святым городом, и о Смитфилде мы читаем: «Ужасно место сие для тех, кто понимает; оно есть не что иное,

как обитель Божья и врата небесные для тех, кто верит». Эти слова перекликаются с другими лондонскими историями о чудесах и видениях; здесь, среди городской копоти и смрада, могут внезапно распахнуться «небесные врата».

В Лондоне существует много святых источников с целительной водой, хотя большинство из них давно уже зарыты или разрушены. Под Домом правосудия находится древний источник Сент-Клемент; источник Чада похоронен под улицей Сент-Чад-стрит. Над источником Барнета сначала был выстроен работный дом, а потом больница, так что его целительные свойства не пропали втуне; то же можно сказать о роднике со странным названием Перилос-Понд[4] близ больницы Св. Луки на Олд-стрит. Память о целебном источнике близ Криппльгейта, который некогда охраняли монахи, осталась в названии улицы Монкуэлл-стрит[5], а там, где был источник Черной Марии — рядом с Фаррингдон-роуд, — сейчас находится местечко Багниг-уэллс. Единственный древний источник, который еще можно

---

[4] Примечания: 4
«Гибельный пруд» *(англ.).*

[5] Примечания: 5
«Улица Монашеского Колодца» *(англ.).*

увидеть, — это «родник Клирика» за стеклянным окошком в нескольких ярдах к северу от площади Кларкенуэлл-грин; здесь на протяжении многих веков разыгрывались спектакли религиозного содержания, а также устраивались вполне светские мероприятия — схватки борцов и разнообразные турниры. На месте шордичского святого источника — память о нем хранят Холи-Уэлл-роу и Холи-Уэлл-лейн[6] — вырос один из первых английских театров, построенный Джеймсом Бербеджем более чем за двадцать лет до появления «Глобуса». Источник Садлера тоже был парком для отдыха, а затем превратился в театр «Садлерс-уэллс». Так святой дух родников стал духом театра, и это очень характерно для Лондона.

Хранителями источников часто выбирали отшельников, но их главной заботой были городские ворота и перекрестки. Отшельники взимали пошлину и жили прямо в укреплениях Лондонской стены.

Таким образом, в каком-то смысле они были защитниками Лондона и возвещали своим служением, что это не только град человеческий,

---

[6] Примечания: 6
Holy Well — «Святой источник» *(англ.).*

но и град Божий. По крайней мере, такова была теория, но ясно, что многие становились отшельниками не по призванию, а ради легкой жизни; автор «Видения о Петре Пахаре» Уильям Ленгленд называет их «великими прохиндеями и ленивцами, бегущими тяжкого труда», то есть обманщиками, которые попросту не желали работать. Например, в 1412 году некий Уильям Блейкни был осужден в Гилдхолле за то, что ходил «босой и с длинными власами под личиною святости». И тем не менее образ Лондона, окруженного отшельниками, которые жили в своих маленьких кельях и проводили время за бдениями и молитвами, пленяет воображение.

Фигура отшельника важна и в другом смысле: в историях о Лондоне, к какой бы эпохе они ни относились, полно одиноких и неприкаянных персонажей, еще острее чувствующих свою изолированность на полных суеты городских улицах. Джордж Гиссинг называет таких людей, в тоске возвращающихся в свои одинокие комнаты, «анахоретами будничной жизни». Поэтому городские отшельники раннего периода могут считаться провозвестниками образа жизни, привычного для многих лондонцев более поздних эпох. Тот же отшельнический дух нашел свое

воплощение и в четырех церквах Сент-Ботольф, охраняющих четверо городских ворот: Ботольф был саксонским святым VII века, чье имя ассоциировалось в основном со скитальцами. Таким образом, скиталец и затворник — участники одного и того же краткого паломничества по улицам Лондона.

Но на этих улицах могли звучать и молитвы. До перепланировки Лиссон-гроув в Марилебоне была Парадайс-стрит с примыкающим к ней переулком Гротто-пассидж; в непосредственной близости от них находились Виджил-плейс и Чепел-стрит. Возможно, это район обитания древних отшельников, «святое место», связывавшее город с вечностью. Близ собора Св. Павла можно отыскать Патерностер-роу, Аве-Мария-лейн, Амен-корт и Крид-лейн, и мы вполне можем представить себе шествие с пением молитв на соответствующих улицах[7]. Так в старинных районах Лондона пребывает дух древности, словно заставляющий их время от времени заново переживать свою историю.

По той же причине, например, в окрестностях

[7] Примечания: 7

Английские слова, входящие в названия перечисленных в этом абзаце улиц и площадей, означают «рай», «пещера», «бдение», «часовня»; «Отче наш», «Аве Мария», «аминь», «верую».

древней церкви Сент-Панкрас до сих пор царят уныние и запустение. Это место всегда было уединенным и таинственным: «не ходите здесь в позднюю пору», предупреждает елизаветинский топограф. В этом районе по традиции хоронили убийц, самоубийц и жертв дуэлей, проходивших в Чок-фарм, но они не обрели здесь истинного упокоения: их кости то и дело подвергаются перезахоронению. В последний раз множество человеческих останков было обнаружено в 1863 году во время прокладки железнодорожных путей и строительства вокзала Сент-Панкрас. Могилы прятались под огромным деревом, корни которого обнимали их; издалека могло показаться, что надгробные камни — плоды этого дерева, созревшие и готовые к сбору. На некоторых из этих древних памятников стояли имена католиков: для них это место было святым. Считается, что Сент-Панкрас — первая христианская церковь в Англии, основанная самим Августином; в ней якобы хранится последний колокол, который мог звонить во время мессы. Таким образом, «Панкрас» может быть производным от Pangrace[8], однако более вероятно, что это

[8] Примечания: 8
Всеобщая (или полная) благодать *(англ.).*

имя мальчика-святого происходит от сочетания Pan Crucis или Pan Cross — монограммы или символа самого Христа. Ватиканский историк Максимилиан Миссон утверждает, что «Церковь Сент-Панкрас близ Хайгейта, под Лондоном… есть Глава и Матерь всех христианских церквей». Кто бы мог подумать, что на пустыре к северу от вокзала Кингс-кросс находится столь могущественный религиозный центр?

Как и у других лондонских церквей, у Сент-Панкрас есть свои колокола. У колоколов церкви Сент-Стивен на Рочестер-роу были имена «Благословение», «Слава», «Мудрость», «Благодарение», «Честь», «Сила», «Могущество» и «Поклоняйся Господу Нашему Ныне и Присно, Аминь, Аллилуйя».

Колокольный звон был постоянным и любимым спутником жизни всех лондонцев, и чтобы в это поверить, не обязательно даже вспоминать знаменитый детский стишок:

И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!
А Олд-Бейли, ох, сердит,

Возвращай должок! — гудит[9].

В 1994 году столичные метеорологи сделали заключение, что в эпоху, предшествующую появлению автомобилей, звон колоколов Сент-Мэри-ле-Боу на Чипсайде «должен был быть слышен повсюду и Лондоне». Таким образом, каждый лондонец был тогда истинным кокни[10]. Однако уроженцы Ист-энда, пожалуй, действительно могут с большим правом претендовать на это почетное звание, поскольку самое старое предприятие в их районе — основанная в XV веке Уайт-чепельская литейная, где делали колокола. Горожане спорили, в чьем приходе колокола самые громкие; считалось, что зимой их звон помогает согреться. Иногда выдвигалось предположение, что в день Страшного суда ангелы будут созывать народ не трубным гласом, а звоном лондонских колоколов — иначе-де горожане не поверят, что этот день наконец настал. Звон колоколов всегда органически вплетался в их жизнь и был ее неотъемлемой частью. Когда

---

[9] Примечания: 9

Перевод Е. Кассировой.

[10] Примечания: 10

Считается, что человек, рожденный в пределах слышимости колоколов этой церкви, то есть преимущественно в нынешнем Ист-энде, — истинный кокни, то есть коренной лондонец.

главный герой оруэлловского «1984» вспоминает знаменитую песенку, где фигурируют церкви Сент-Клемент и Сент-Мартин, Шордичская и Сент-Мэри-ле-Боу, ему кажется, что он слышит «колокола исчезнувшего Лондона, который еще существует где-то, невидимый и забытый». Некоторые из колоколов этого исчезнувшего Лондона можно услышать и сейчас.

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Глава 4
«Я поставляю над вами законы»

В последний месяц 1066 года Вильгельм, герцог Нормандский, продефилировал со своими войсками по Сент-Джайлс-Хай-стрит, а затем повернул к югу, на Вестминстер. Он уже разорил Саутуорк и теперь собирался начать осаду Лондонской стены у Ладгейта, где находились тогда главные ворота города. В ту пору часто говорили, что Лондон не боится врагов и выдержит любой натиск благодаря своим укреплениям, однако в результате какого-то тайного сговора группа саксонских дворян отперла ворота. Отряды Вильгельма достигли собора Св. Павла и Чипсайда, но затем «in platea urbis» — на открытом месте или широкой улице — их атаковала толпа, а может быть, целая армия горожан, не пожелавших мириться с вторжением чужеземного предводителя. Хронист конца XI столетия Вильгельм Жюмьежский пишет, что «войска нормандцев немедля вступили с ними в битву, причиня немалую скорбь Городу, ибо лишили жизни весьма многих его сынов и обитателей». В конце концов

лондонцы сдались, но их выступление показывает, что они считали себя жителями независимого города, способного противостоять иностранному вторжению. В этот раз они не преуспели, но на протяжении последующих трех веков лондонцам предстояло непрерывно защищать свой суверенитет как гражданам города-государства.

Так или иначе, битва за Лондон завершилась. Недавно к юго-западу от Ладгейта обнаружили останки одиннадцати человек (причем похоже, что тела были расчленены), а на берегу Уолбрука откопали клад из нескольких тысяч монет того же периода.

Первой задачей нового монарха стало усмирение города. В трех точках по периметру Лондона началось строительство новых фортов — башен Монфише и Бейнардс-касл, а также сооружения, которое известно с тех пор под именем лондонского Тауэра. Но Тауэр никогда не принадлежал Лондону, и горожане считали его вызовом и угрозой их свободе. В своей книге «Созидание Лондона» сэр Лоренс Гомм упоминает о том, как раздражали горожан «насмешки людей, говоривших, что эти стены были возведены, дабы оскорбить их, и что если кто-либо из них отважится начать борьбу за свободу города, его

схватят и заточат здесь».

После Великого пожара 1077 года, который, подобно прежним, опустошил большую часть города, на месте первоначального укрепления была возведена каменная башня; ее строительство продолжалось более двадцати лет, причем центральная власть обязала соседние графства поставлять для него рабочую силу. Сооружение назвали Белой башней (или Белым Тауэром); оно вознеслось ввысь примерно на девяносто футов и доминировало над городом, подчеркивая этим мощь завоевателей. Для легализации участия знатных лондонцев в мероприятиях судебного и административного характера, проходивших в новом Тауэре, были разработаны изощренные ритуалы, однако все это оставалось вне городской юрисдикции. Выстроенный из нездешнего материала — привезенного из Нормандии канского камня с желтоватым оттенком, — Тауэр был символом иноземного правления.

Вильгельм также милостиво соизволил пожаловать Лондону «Хартию», уместившуюся на крошечном пергаменте менее шести дюймов в длину. Она написана на англосаксонском и французском. Адресованная «главам города», она наделяла Лондон правами, которыми он и так

пользовался еще со времен римского владычества. «Знайте, что своею волей я поставляю над вами те же законы, что действовали в дни короля Эдуарда, — гласит этот документ. — И пусть каждый ребенок наследует своему отцу по его кончине. И я не позволю никому причинить вам вред. Бог да хранит вас».

Эта грамота может показаться лишенной смысла, но, как отмечает Гомм в своем «Управлении Лондоном», она знаменует собой возникновение «абсолютно нового политического фактора в истории Лондона». Лондонцам разрешили жить по законам, которые город установил для себя сам, а король утвердил свое господство над древними структурами городской власти.

Однако Вильгельм признал наиважнейший факт — что этот город является ключом как к его собственному преуспеянию, так и к процветанию побежденной им страны. Вот почему с его благословения Лондон сменил свой статус, превратившись из независимого города-государства в столицу этой страны. В 1086 году составители «Книги Страшного суда»[11] обошли Лондон стороной — несомненно, по той причине, что

[11] Примечания: 11

«Книга Страшного суда» — свод материалов всеобщей поземельной переписи в Англии.

сложная финансовая и коммерческая деятельность, ведущаяся в пределах города, не могла разумно использоваться в качестве источника королевских доходов. В то же время нормандский король и его преемники проводили в жизнь грандиозный план общественных работ, призванных подчеркнуть центральную роль Лондона в новой политике. Был перестроен собор Св. Павла, а наследник Вильгельма, его сын Вильгельм Рыжий, начал возведение Вестминстер-холла; в этот же период строилось множество мужских и женских монастырей, а также подчиненных им более мелких обителей и больниц, так что Лондон с его окрестностями словно превратился в одну гигантскую стройплощадку. С тех пор строительство и ремонт городских зданий уже не прекращались. Например, район возле римского амфитеатра был расчищен в начале XII столетия. Первая ратуша в том же районе была закончена к 1127 году, а вторая построена в начале XV столетия.

Самой ранней формой общественного управления был фолькмот, собиравшийся трижды в год — сначала в римском амфитеатре, а под конец на Сент-Полс-кросс. Был также более официальный суд под названием «Гастингс». Эти

институты родились в давнюю пору — еще при саксах и датчанах, когда город был автономным и самоуправляющимся. Территориальное деление Лондона, существовавшее до тех пор, тоже имело весьма почтенный возраст. К XI веку основной территориальной единицей стал уорд, во главе которого стоял его полномочный представитель — олдермен. Уорд был не просто сообществом горожан, управляющих своими собственными улицами и лавками, но еще и военной единицей: в середине лета проводился ежегодный смотр, когда, согласно одному официальному документу эпохи Генриха VIII, «каждый олдермен выводил свой уорд в поля и проверял у людей оружие, следя, чтобы у всякого были меч и кинжал, и те, кому не способно быть лучниками, отправлялись в копейщики». Даже в XIV веке Лондон еще именовался в документах «республикой», и в процитированном описании хорошо организованной армии горожан слышатся отзвуки древней мощи республиканской идеи.

Но если границы уордов внутри города были самыми важными, это не значит, что они были самыми определенными. За уордами шли районы (precinct) со своими собственными гражданскими собраниями, а далее — отдельные приходы

с самоуправляющимися собраниями прихожан. В городе существовала сложная последовательность взаимозависимых властных структур, и эта сеть подчинений и интересов существенно влияла на его жизнь. К примеру, в течение всего XIX столетия не прекращался поток жалоб на косность и упрямство городских властей. Такое сопротивление переменам было наследием тысячелетней давности, которое окутало столицу облаком не менее плотным, чем угольный дым и туман. Оно также создало фон, на котором последующие события выглядят вполне понятными.

Преемник Вильгельма Завоевателя, Вильгельм Рыжий, решил обложить своих подданных еще более изуверскими налогами и пошлинами. Кроме того, борясь с осевшими в Англии норманнскими баронами, он завел обычай отправлять пленников на казнь в Лондон; возможно, этим подчеркивалась роль города как столицы, но это же было и средством утверждения королевской власти.

После смерти Вильгельма Рыжего в 1100 году его брат Генрих I поспешил в Лондон и был провозглашен там новым монархом. В записях о его правлении есть перечень олдерменов 1127 года, представляющий собой такую пеструю

смесь английских и французских имен, что его вполне можно считать доказательством мира и согласия, воцарившихся в отношениях между коренными и «новоиспеченными» лондонцами. Вообще, изучение имен лондонцев той поры, когда староанглийские имена постепенно вытеснялись французскими, дает необычайно богатую информацию. Фамилии тогда отнюдь не были родовыми именами, но давались людям в соответствии с местом их жительства или профессией — таким образом можно было отличить Годвина Бейкера (булочника) от Годвина Ладубура (чеканщика), Годвина Турка (торговца рыбой), Годвина Вустеда (торговца тканями) и Годвина Солла (шляпника). Остальных граждан различали по патронимам или, чаще, по прозвищам. Имя Эдвин Аттер означало «Эдвин, острый на язык»; носитель имени Роберт Баддинг был, видимо, неженкой; Хью Флег значило «Хью, который всегда начеку», у Йоханнеса Флокка были курчавые волосы, Джон Годэйл продавал хороший эль, а Томас Готсол никого не обманывал.

Несмотря на то что всех горожан прочно связывали друг с другом торговые и коммерческие отношения, с королем они ладили не всегда. Для него город был в первую очередь местом, из

которого он мог выжимать доходы. Причина, по которой Генрих редко вмешивался в жизнь Лондона, была проста: он нуждался в процветании города, поскольку тот приносил ему прибыль.

После кончины Генриха в 1135 году исход династической борьбы нескольких претендентов на престол оказался напрямую зависящим от симпатий и преданности лондонцев; племянник Генриха Стефан, граф Блуасский, объявив себя законным наследником, быстро «пришел в Лондон, и народ Лондона принял его… и провозгласил королем в половине зимы». Так свидетельствует «Англосаксонская хроника», а другой древний источник добавляет, что «олдермен и мудрейшие люди созвали фолькмот и, озаботясь по своей воле благом государства, единодушно порешили избрать короля». Иными словами, жители Лондона официально избрали короля всей страны. Неясно, что именно Стефан посулил или пожаловал городу за такую честь, но с тех пор Лондон прочно занял первое место в национальной политике, пользуясь независимостью, почти равной самоуправлению.

Однако коронации самой по себе оказалось недостаточно. После прибытия на английскую землю соперницы Стефана, дочери Генриха Ма-

тильды, в 1139 году и пленения новоиспеченного монарха в битве при Линкольне в 1141 году перед Лондоном вновь встала необходимость выбора. Для рассмотрения притязаний Матильды на престол в Винчестере был собран большой совет, и родной брат Стефана закончил речь в ее поддержку следующими знаменательными словами: «Мы отправили гонцов за лондонцами, коих по важности их города для всей Англии можно считать почти вельможами, и выслали им охранную грамоту». Они явились на следующий день, назвавшись представителями «a communione quam vocant Londoniarum» — то есть «сообщества или общины, именуемой Лондоном». Это свидетельство Вильгельма Малсмсберийского весьма недвусмысленно говорит о значении города. После того как страна распалась из-за междоусобных войн, Лондон перестал быть столицей и снова превратился в город-государство. События поры недолгого правления Матильды усиливают это впечатление. Она попыталась ограничить влияние Лондона и опрометчиво потребовала денег у его богатейших граждан. В результате, когда к Лондону подошла королева Мод, горожане высыпали на улицы с оружием, «точно густые рои пчел из ульев» (так гласят «Gesta Stephani»,

«Деяния Стефана»), дабы поддержать ее. Матильда сбежала от разгневанных горожан и больше не вернулась на престол.

Здесь следует сделать оговорку — хотя бы ради того, чтобы развеять иллюзию полной независимости Лондона. Когда страну раздирали династические свары, город естественным образом принимал на себя ведущую роль, но в мирном, упорядоченном королевстве горожане столь же естественным образом подчинялись монаршей власти. Поэтому в годы правления Генриха II, сына Матильды и преемника Стефана, город стал пользоваться несколько меньшим влиянием. В своей хартии король наделил лондонцев «всеми правами и свободами, коими они пользовались при моем деде Генрихе», но королевские шерифы осуществляли управление во многом под прямым контролем монарха.

Например, убийство Фомы Бекета, совершенное зимой 1170 году в Кентербери, должно было бы задеть лондонцев за живое. Современники знали архиепископа как «Фому Лондонского», и он был единственным канонизированным лондонцем за много столетий; его любовь к цветистым речам и мелодраме тоже типична для жителей этого города. Однако мы не имеем никаких свидетельств

о возмущениях горожан по поводу его убийства. Возможно, Фома — одна из тех поразительных фигур в истории Лондона, которые выпадают из своего времени в вечность.

Однако более мирские ценности, коими Лондон обладал в тот период, воспел не кто иной, как биограф Фомы Бекета — живший в XII столетии Уильям Фицстивен. Его труд написан в новом стиле городских encomia (панегириков), так как процветание крупных городов и жизнь их обитателей были тогда предметом обсуждения во всей Европе; и тем не менее картина, нарисованная Фицстивеном, отличается особой выразительностью. Вдобавок она необычайно важна как первое общее описание Лондона.

Автор описывает шум или «стучание» водяных мельниц в лугах Финсбери и Мургейта, а также крики и возгласы рыночных торговцев, каждый из которых «имеет свое особое место и занимает его всякое утро». Близ Темзы было множество винных лавчонок, где угощались не только прибывшие в порт купцы, но и местные ремесленники; была здесь и большая «публичная харчевня», где слуги могли приобрести для своих хозяев хлеб и мясо, а местные торговцы — сесть за стол и перекусить. Кроме того, Фицстивен

описывает «высокую и толстую стену», которая окружала и защищала весь этот оживленный город, с ее семью двойными воротами и северными башнями; на востоке была еще большая крепость («когда ее строили, в известку была добавлена кровь диких зверей»), а на западе — два «на славу укрепленных замка». За стенами тянулись сады и виноградники с разбросанными там и сям усадьбами знатных и богатых людей. Их огромные дома находились в основном на западных окраинах города, в районе нынешнего Холборна; на севере же были луга и пастбища, граничившие с «бескрайним лесом», единственные остатки которого — Хемпстед и Хайгейт. На северо-западе, прямо под городской стеной, было «гладкое поле», известное нам теперь под названием Смитфилд, где каждую пятницу торговали лошадьми. На огороженных участках поблизости забивали и продавали также свиней и быков. Здешнее население занималось этим почти тысячу лет кряду.

Рассказ Фицстивена примечателен тем, что в нем постоянно подчеркиваются энергия, живость и напористость горожан. Каждый вечер в полях за городской околицей устраивались футбольные матчи, и молодых игроков подбадривали криками их учителя, родители и товарищи-под-

мастерья; каждое воскресенье в то же время проводились потешные турниры, участники которых, вооружившись щитами и копьями, пытались сбить друг друга с коня. Даже развлечения лондонцев носили агрессивный характер. На Пасху посреди Темзы устанавливали дерево и вешали на нем мишень, после чего туда быстро неслась гребная лодка, в которой стоял юноша, вооруженный пикой. Если удалец промахивался, целясь в мишень, он падал в реку к вящему удовольствию зрителей. В самые холодные зимние дни, когда замерзали Мурфилдские болота, любители забав садились на большие глыбы льда, а друзья катали их, толкая эти глыбы перед собой; кое-кто мастерил из берцовых костей животных коньки. Но и здесь присутствовал дух соревнования и агрессии: конькобежцы сшибались, «покуда один или оба не падали, порою не без телесных повреждений», и «весьма часто нога или рука упавшего соперника» оказывалась сломанной. Даже уроки и споры школьников были проникнуты боевым духом и велись «с градом насмешек и нападок». То был мир, где развлекались травлей медведей и петушиными боями (это вполне созвучно сообщению Фицстивена о том, что тогдашний Лондон мог собрать армию в

80 000 человек), мир, где насилие и смех сочетались с тем, что Фицстивен именует «житейским изобилием, неутомимостью в делах, громкой славой и великолепием».

Итак, это была пора достатка и процветания. В порту кипела работа — его отстраивали, расширяя бассейн для стоянки судов, чтобы там могли свободно бросить якорь фламандские, французские и ганзейские купцы, а также их коллеги из Брабанта, Руана и Понтье; в городе торговали мехами, шерстью, вином, тканями, зерном, лесом, скобяными изделиями, солью, воском, сушеной рыбой и сотней других товаров, необходимых для того, чтобы кормить, одевать и обслуживать его постоянно растущее население. Большая часть этого населения и сама активно занималась коммерцией: свой товар непрерывно выбрасывали на рынок скорняки с Уолбрука и ювелиры с Гатранс-лейн, мясники Истчипа и сапожники Кордуэйнер-стрит, торговцы шелками с Уэстчипа и торговцы рыбой с Темз-стрит, свечники с Лотбери и торговцы древесиной с Биллингсгейта, торговцы скобяными изделиями с Олд-Джури и продавцы ножей с Попс-Хед-элли, изготовители четок с Патерностер-роу и виноторговцы с Винтри.

Тогда в городе было гораздо больше шума, чем сейчас, — на его улицах не смолкали крики носильщиков и водовозов, гремели телеги, звонили колокольчики, стучали молотками кузнецы и те, кто изготовлял оловянную посуду, перекликались мастеровые, плотники и бондари, работающие бок о бок на тесных пятачках. Не меньше, чем шума, было и запахов: их источали сыромятни и пивоварни, бойни и лавки, где продавали уксус, харчевни и мусорные кучи, и ко всему этому добавлялась еще вонь помоев, сливаемых в канавы посреди узеньких улиц. В результате получались такие густые миазмы, что их не мог разогнать даже самый сильный ветер. Кроме того, пивовары, пекари и кузнецы все чаще жгли уголь, и это также не улучшало атмосферы.

В этот же период город постоянно строился и перестраивался: в нем не было ни одного района, где не появлялись бы новые магазинчики и крытые рынки, церкви и монастыри, каменные и деревянные дома. В почвенных слоях, относящихся к этому периоду, обнаружены фундаменты и выгребные ямы из известняка, арки из райгитского камня (по названию города Райгит в графстве Суррей), булыжник, буковые сваи, дубовые балки и бревна, а также остатки

стен, канализационных стоков, полов, погребов, колодцев, мусорных ям и строительных опор. Все это говорит об интенсивной и непрерывной созидательной деятельности.

Так же бурно развивались и «пригороды», то есть районы, прилегающие извне к городским стенам. В XII столетии появились крупные монастыри Сент-Джон и Сент-Бартоломью в Кларкенуэлле и Смитфилде, а в XIII веке — церкви Остин-Фрайарс и Сент-Клер, Сент-Хелен и Аур-Леди-оф-Бетлихем. Был перестроен собор Св. Павла и основана больница для бедных при монастыре Сент-Мэри. С промежутком менее чем в двадцать лет закончили возведение своих крупнейших монастырей на западе города белые и черные монахи. В этой части Лондона делались самые капитальные вложения: свободная земля продавалась под обязательство немедленной застройки, а дома и прочая недвижимость сдавались по частям, что приносило более высокий доход. Однако объектом самого грандиозного строительства стал Лондонский мост. Его сделали каменным и превратили в важнейшую торговую и коммуникационную магистраль, которая остается на одном и том же месте почти девять сотен лет.

Сейчас южный конец моста украшают сидящие по обе его стороны мифические птицы — грифоны, раскрашенные в серебряный и красный цвета. Это городские тотемы, которые можно увидеть у многих лондонских дверей и порогов, и они очень подходят городу. Грифон был чудищем, охранявшим золотые копи и спрятанные сокровища; теперь он вынырнул из классической мифологии, дабы охранять город Лондон. Главным божеством этого края всегда были деньги. Так, Джон Лидгейт написал о Лондоне в XV веке: «Не имея денег, разве смогу я процветать?» Александр Поуп вторит ему в XVIII веке, говоря: «Вот он, глас Лондона: давайте денег, да поживей!»

«У Лондона нет иных изъянов, — утверждает Фицстивен, — кроме неумеренного пьянства отдельных глупцов да частых пожаров». В этом он столь же точен, сколь и прозорлив. Впрочем, другие наблюдатели, писавшие в том же XII веке, но чуть позднее, были настроены более критично. Один йоркширский автор, Роджер Хауденский, сообщает, что сыновья богатых горожан собирались по ночам «в большие шайки», чтобы грабить и обижать всех, кто проходил мимо. Винчестерский монах Ричард Девизесский был менее сдержан в своих инвективах: для него Лондон

— гнездилище зла и порока, куда стекаются не только отечественные пустозвоны и сводники, но и отребье всех прочих национальностей. Он описывает переполненные трактиры и харчевни, где постоянно играют в кости и бьются об заклад. Интересно, что он упоминает также theatrum — театр; это позволяет предположить, что для утоления любви лондонцев к зрелищам уже не хватало мистических и «чудесных» представлений в Кларкенуэлле («первые» театры 1576 года, «Театр» и «Куртина», наверняка образовались из зародышей, сведения о которых утрачены). Кроме того, у Ричарда имеется любопытное описание городского населения, включавшего «смазливых мальчиков, неженок, педерастов». Их сопровождали «знахари, танцовщики, колдуньи, вымогатели, ночные бродяги, чародеи, мимы» — здесь перед нами встает пестрота городской жизни, которую чаще воспевали, нежели проклинали такие разные авторы последующих столетий, как Джонсон и Филдинг, Конгрив и Смоллетт. Иными словами, она была присуща Лондону испокон века.

Уильям Фицстивен заметил, что «город поистине великолепен, когда у него хороший правитель (governor)». Само это слово может быть переведе-

но как «руководитель» или «хозяин»; употребляя его, обычно имели в виду короля. Но в годы, следующие непосредственно за написанием хроники Фицстивена, оно стало приобретать и другие значения. Пришло время — в последнем десятилетии XII века, — когда по улицам прокатился клич: «Лондонцы не потерпят над собой иного короля, кроме мэра!» Эти возмущения были прямым результатом отсутствия короля, отправившегося в крестовый поход, в Европу и Палестину. Ричард I явился в Лондон на коронацию, происшедшую в первое воскресенье сентября 1189 года — «в день, отмеченный в календаре как несчастливый»; и действительно, «таковым он и оказался для лондонских евреев, загубленных в сей день». Эти загадочные слова относятся к массовой резне — Ричард Девизесский называет ее «холокостом», — о которой историки, в общем, рассуждать не любят. Часто говорилось, что верховодили в ней должники евреев, и тем не менее трудно переоценить неистовость лондонской толпы — это были свирепые и безжалостные люди, которых не зря сравнивали с роем растревоженных пчел. Автор труда XVI века «Достопримечательности града Лондона» называет местное население «хлопотливыми

пчелами»; согласно Томасу Мору, который писал в тот же период, стоявший на лондонских улицах гомон был «ни громок, ни внятен, но более всего походил на гудение пчелиного роя». В день коронации Ричарда эти пчелы зажалили евреев и их семьи до смерти.

В отсутствие короля, занятого религиозными войнами, лондонская верхушка снова выдвинулась в Англии на ведущую роль. Дух и волю лондонцев еще более укрепило то обстоятельство, что представитель Ричарда Уильям Лоншан поселился в Тауэре и принялся воздвигать вокруг него новые бастионы. В 1191 году, когда брат Ричарда Иоанн захотел овладеть короной, граждане Лондона собрались на фолькмот, дабы рассмотреть его притязания; в этот важный момент они согласились признать его королем, если он, в свою очередь, признает за Лондоном неотчуждаемое право жить «коммуной» как самоуправляющийся город-государство со свободными выборами руководителей. Иоанн дал на это свое согласие. Полученный городом статус не был новым, но правящий монарх впервые признал Лондон общественной организацией, «коей все благородные люди королевства, не исключая и епископов, обязаны присягать на верность».

Это слова Ричарда Девизесского, который считал заключенное соглашение не чем иным, как «пузырем», то есть плодом чванства, и не ждал от него ничего хорошего.

Благодаря французам в слове «коммуна» слышится что-то радикальное или революционное, но революция, о которой мы ведем речь, была инициирована самыми богатыми и могущественными жителями Лондона. По сути, ее результатом стала гражданская олигархия, предоставление власти самым влиятельным семьям — Бейсингам и Роуксли, Фицтедмарам и Фицрейнерам, которые именовали себя аристократами, или «оптиматами». Эта правящая элита воспользовалась сложившейся политической ситуацией, чтобы заново утвердить власть и независимость города, ограниченную нормандскими королями. Итак, мы читаем в обширной городской летописи «Liber Albus» («Белая Книга»), что «знать града Лондона будет ежегодно избирать из своих рядов мэра… при условии, что ее избранник непременно будет представлен Его Величеству королю, а в отсутствие короля — его юстициарию». Таким образом мэр и состоящий при нем совет probi homines (честных людей) из олдерменов получили официальный и весьма высокий статус. Честь

быть первым мэром Лондона выпала Генри Фицэйлуину оф Лондонстоуну, который оставался на этой должности двадцать пять лет, до самой своей смерти в 1212 году.

Почти сразу после установления власти мэра и «коммуны» в Лондоне возродился дух традиции — словно, вернув себе древние силы, город заново обрел и чувство истории. В Гилдхолле начали расти общественные архивы — сюда поступали на хранение завещания, хартии и документы различных гильдий; в этот же период было издано множество законов, указов и распоряжений. Так у Лондона появилось административное «лицо», которому обязаны своим возникновением такие позднейшие организации, как Столичное управление городского хозяйства и Совет Лондонского графства в XIX, а также Совет Большого Лондона в XX веке. Это картина органического развития, не угасшего со временем.

Кроме того, возникла нужда в людях, постоянно занятых на административной службе, — писцах, нотариусах, юристах. Был разработан необычайно сложный аппарат гражданского законодательства и учреждены суды для рассмотрения различных нарушений. Эти суды осуществляли и общее наблюдение за состоянием города — в

частности, Лондонского моста и системы водоснабжения, — тогда как в ведении отдельных уордов находились местная санитария, мощение и освещение улиц. Уорды отвечали также за общественную безопасность и здоровье населения; для этого имелось двадцать шесть самостоятельных подразделений полиции, среди которых были «не получающие платы констебли… бидли, или глашатаи; уличная стража, или ночные дозорные». Дошедшие до нас свидетельства показывают, что эти должности были отнюдь не синекурой: в Лондоне конца XII столетия насчитывалось примерно сорок тысяч жителей, многие из которых вовсе не жаждали подчиняться предписаниям властей и соблюдать правила поведения, навязываемые им «оптиматами».

В 1193 году, когда в Лондоне объявили сбор денег на выкуп отсутствующего короля (краткое восстание его брата было решительно подавлено), многие горожане были очень недовольны этим распоряжением. В следующем году по случаю возвращения в Лондон Ричарда была устроена пышная церемония, но король не замедлил обложить город еще более тяжелыми поборами: однажды он якобы даже заявил, что «продал бы Лондон, если б нашелся покупатель», а это едва

ли могло поднять его репутацию в глазах и так уже изнывающих под бременем бесконечных обложений местных жителей. Скорее всего, самое тяжкое бремя легло на плечи ремесленников и торговцев, стоявших по своему положению ниже «оптиматов», и в 1196 году вспыхнул мятеж этих лондонцев, возглавленных Уильямом Фицосбертом, «Длиннобородым». Борода была длинной, мятеж — коротким. Похоже, что Фицосберт получил поддержку многих горожан; в разных источниках его описывают как демагога и как защитника бедноты. По сути, эти характеристики не так уж несовместимы, однако само восстание отличалось безрассудством и свирепостью, столь обычными для города на Темзе. Фицосберт нашел убежище в Сент-Мэри-ле-Боу на Чипсайде, но в конце концов городские власти извлекли его оттуда и повесили в Смитфилде вместе с восемью другими мятежниками на глазах у его недавних сторонников. Но значение этой короткой вспышки состояло в том, что группа горожан отказалась подчиняться королевским чиновникам и богатым купцам, которые хозяйничали в городе. Она стала предвестием необходимых и неизбежных перемен: городское население начало отвоевывать себе место в управлении общественной

жизнью.

Однако главным очагом напряжения и источником конфликтов по-прежнему оставались отношения между городом и королем. Смерть Ричарда I в 1199 году и воцарение Иоанна никак не смягчили антимонархических настроений, которые были словно органически присущи лондонцам. Продолжалась старая история: жителей города заставляли платить растущие налоги, или «пошлину», на покрытие королевских расходов. Мэр и самые влиятельные горожане пытались насаждать дух согласия — впрочем, отчасти это можно объяснить тем, что многие из них входили в непосредственное окружение короля и не обязательно выиграли бы от ограничения его власти. Но прочие лондонцы роптали все сильнее. Похоже, что король Иоанн, несмотря на данные им прежде обещания, присвоил себе право распоряжаться кое-какой городской собственностью, да и другие права; по словам летописца XIII века Мэтью Париса, после этого горожане превратились чуть ли не в рабов. Однако влияние фолькмота еще не сошло на нет. В 1216 году пять лондонских богачей выдали французскому принцу Людовику тысячу марок с тем, чтобы он приехал в Лондон и был коронован вме-

сто Иоанна. Однако осенью того же года Иоанн умер. Лондонцы отправили Людовика обратно домой и приветствовали юного Генриха III, девятилетнего сына Иоанна, в качестве законного наследника короны.

Пройдемся по улицам Лондона в эпоху долгого царствования Генриха III (1216–1272). Большие дома стояли вдоль них рядом с лачугами, к прекрасным каменным церквам прилепились деревянные палатки, где торговали мелким товаром. Контраст между богатством и бедностью проявлялся и по-другому: из сорока тысяч горожан более двух тысяч принуждены были просить милостыню. Обеспеченные купцы строили себе роскошные хоромы, а в распоряжении нищего лавочника были две комнатки по десять квадратных футов для жилья и работы; у самых состоятельных горожан была превосходная мебель и серебро, а люди скромного достатка имели только орудия своего труда, примитивную кухонную утварь и глиняную посуду.

В документах по расследованию одного убийства (некий молодой человек зарезал ножом свою жену) случайно обнаружился перечень предметов обстановки «среднего» лондонского дома. Несчастливая пара обитала в деревянном домике

из двух комнат, расположенных одна над другой под соломенной крышей. В нижней комнате с дверью, выходящей на улицу, стояли складной стол и два стула, а на стенах «висела кухонная утварь, инструменты и оружие». Среди них были сковорода, железный вертел и восемь латунных горшков. В верхнюю комнату поднимались по лестнице — здесь была кровать с матрацем и двумя подушками. В деревянном сундуке лежали шесть одеял, восемь льняных простынь, девять скатертей и покрывало. Из одежды, которая «хранилась в сундуках и висела на стенах», нашлись три накидки, одна куртка с капюшоном, два платья, еще один капюшон, кожаный рабочий костюм и полдюжины фартуков. Были еще свеча, две тарелки, несколько подушек для сиденья, зеленый коврик и занавески на дверях для защиты от сквозняков. Пол тогда устилали камышом, который, по-видимому, не вошел в опись. Это было маленькое, но уютное жилище.

Те, что победнее, снимали комнатки в домах, стоявших в узких переулках между широкими проспектами. Верхние этажи этих маленьких домов, так называемые соляры, выдавались вперед, так что между двумя рядами соляров едва проглядывало небо. Дома поменьше были в

основном деревянными, с соломенной крышей, и напоминали саксонские и ранненормандские постройки; отчасти в Лондоне сохранилась атмосфера древнего города с его племенным и территориальным делением. Однако после многочисленных пожаров (особенно свирепым был Великий пожар 1212 года) вышел закон, обязывавший домовладельцев строить дома из камня и класть крыши из черепицы. Куски черепицы этого периода найдены в помойных ямах, колодцах, погребах, мусорных кучах и дорожных фундаментах. Однако переход от привычного дерева к камню еще не был полным, и в эту эпоху здания из старого и нового материала еще стояли бок о бок.

О том, как тогда выглядели улицы, можно судить по уцелевшим документам. Например, в жалобах и записках из Гилдхолла мы читаем, что управитель Ладгейта позволил завалить Флит экскрементами до такой степени, что течение в некоторых местах прекратилось; общественная уборная неисправна, и «нечистоты в сем месте разъедают камень стен». Владельцы трактиров в приходе Сент-Брайд выставили наружу пустые бочки и помойные ведра «для нужды всего прохожего люда». Кто-то жаловался на разбитую

мостовую на Хоузьер-лейн, тогда как четырнадцать семейств, живших на Фостер-лейн, имели обыкновение «выбрасывать из окон нечистоты и выплескивать мочу к досаде всех населяющих сей уорд». Пекарей с Бред-стрит обвиняли в том, что у их лавок полно «грязи и мусора», а большой поток «воды с нечистотами и всякой иной дрянью» тек по Тринити-лейн и Кордуэйнер-стрит до Гарликхит-стрит, где, проложив себе путь между лавками Джона Гатерле и Ричарда Уитмена, сбегал в Темзу. Навозная куча на Уотергейт-стрит близ Бер-лейн «известна всем живущим окрест, и они сносят в нее содержимое своих отхожих мест и прочие мерзости». Есть сообщения о тухлой рыбе и гниющих устрицах, о сломанных общественных лестницах и завалах на мостовых, о закоулках, или «потайных углах», где собираются воры и «продажные шлюхи».

Но, пожалуй, самые красноречивые сведения о состоянии улиц можно почерпнуть из многочисленных правил, которые, как свидетельствуют материалы судов, постоянно нарушались. Торговцам предписывалось ставить свои лотки только на середине улиц, между «желобами», или канавами, тянувшимися вдоль обочин. На самых узких улочках эти канавы были прорыты

посередине, так что прохожие волей-неволей прижимались к стенам домов. Мусорщики и уборщики каждого уорда должны были «следить за дорогами, разравнивать их, а также удалять всякую грязь»; эту «грязь» на запряженных лошадьми телегах доставляли к реке и вывозили на лодках, специально предназначенных для этой цели. Особые правила были установлены для вывоза отходов из мест, где забивали скот, — боен, оптового мясного рынка и рынка на Истчипе, — но жалобы на дурной запах все равно шли непрерывной чередой. В «Утопии» Мора (1516) забой скота происходит вне городских стен; эта выразительная деталь говорит о глубоком отвращении, которое вызывал у многих горожан этот промысел.

В «Liber Albus» указано, что свиньям и собакам нельзя позволять бродить по городу; еще более любопытно постановление, что «цирюльники не должны показывать кровь в своих окнах». Никому из горожан не дозволялось носить при себе рогатки для стреляния камнями, и все «куртизанки» обязаны были жить за городской чертой. Это последнее распоряжение нарушалось очень часто. Существовали также сложные правила, касающиеся возведения зданий и стен, с допол-

нительными оговорками для разрешения споров между соседями; здесь снова возникает картина многолюдного, тесно заселенного города. С той же целью обеспечения порядка и безопасности владельцам больших домов предписывалось держать наготове лестницу и бочку с водой на случай пожара; поскольку крыши было велено класть черепичные, а не соломенные, олдермены каждого уорда имели право делать обходы и удалять запрещенную солому с помощью шеста или багра.

О строгом надзоре над всеми горожанами говорит и наличие правил проведения частных и общественных мероприятий. Каждая сторона жизни людей регулировалась огромным количеством законов, постановлений и предписаний. Ни один «чужой человек» не мог провести под крышей горожанина больше одних суток, а поселиться в уорде мог лишь тот, кто «имел добрую репутацию». Прокаженным доступ в город был запрещен. Никому не дозволялось разгуливать по улицам «в запрещенные часы» — то есть после того, как прозвонят вечером в колокола, — иначе гуляка рисковал попасть под арест как «ночной бродяга». Запрещено было также «торговать в трактирах элем и вином после вышеуказанного

вечернего звона… и оставлять в них кого бы то ни было, сидящего или спящего… и никто не должен приводить к себе домой посетителей из общественного трактира, ни днем ни ночью».

В летние месяцы вечерние колокола звонили в девять часов, а зимой — еще раньше, с наступлением темноты. Когда раздавался бой колоколов Сент-Мэри-ле-Боу, а за ним — церквей Сент-Мартин, Сент-Лоренс и Сент-Брайд, трактиры пустели, подмастерья и ученики кончали работу, гасились свечи, а городские ворота закрывались и запирались на засовы. Некоторые подмастерья считали, что звонарь Сент-Мэри-ле-Боу заставляет их чересчур долго трудиться, мешкая с «отбоем», и, как передает Джон Стоу, сочинили такой стишок:

Желтоволосый клирик из Сент-Мэри,
Не спи, а то получишь в полной мере.

На что клирик язвительно отвечал:

Дети Чипсайда, зря вы кричите,
Буду звонить, когда захотите.

По этим строчкам видно, что все горожане хорошо знали друг друга — каждому, например, было известно, что у звонаря желтые волосы. Но самое

впечатляющее — это, пожалуй, образ темного и молчаливого города, забаррикадировавшегося от внешнего мира.

Эту тишину иногда нарушали отчаянные, пронзительные крики. Гражданам вменялось в обязанность «поднимать громкий шум» при любом нарушении порядка, и человеку, который «не поспешал на помощь, услыша таковой шум», грозил суровый штраф. Лондон был городом, где ради поддержания мира и покоя все следили за всеми, и сохранилось множество сообщений о том, как лондонцы поднимали тревогу, когда их сосед издевался над учеником или бил жену.

Однако вполне естественно, что самый обширный корпус законов Лондона — этого города, проникнутого меркантильным духом, — был посвящен регулированию коммерческих отношений. В ту пору существовали сотни правил, регламентирующих все стороны торговой деятельности. Например, продавцы сыра и птицы должны были «стоять между стоков на рынке Корнхилла, дабы не досаждать никому», а продавцам других товаров отводились в городе другие места. Ни одному торговцу не дозволялось «покупать что бы то ни было съестное для перепродажи, пока у Св. Павла не прозвонят к заутрене». Из

двадцати предписаний, относящихся к одним только пекарям, можно выделить следующие: тем, кто изготавливал «торты» (tourte), то есть хлеб, выпеченный на сковороде, не разрешалось продавать белый хлеб, а на каждой буханке пекарь обязан был оставлять «свое клеймо». Закон гласил, что «рыба всякого рода, принесенная в город в корзинах, должна быть так же свежа сверху, как и со дна» и что «ни один незнакомец не должен покупать у незнакомца».

Рыбаки подчинялись сотням правил, определяющих, что, как и где они могут ловить; величина сетей и размеры их ячеек скрупулезно измерялись. Кроме того, существовала сложная система пошлин и налогов: указывалось, что «всякий, кто принесет сыру или птицы на четыре с половиной пенса, должен уплатить полпенни. Если пеший принесет сотню яиц или более, он должен отдать пять яиц». В случае «если мужчина или женщина привезут какую бы то ни было птицу на лошади и дадут ей коснуться земли», с нее или с него причитался больший налог. Это был сложный свод правил, но он преследовал простую цель: обеспечить жителей города приличной пищей и одеждой. С одной стороны, он препятствовал тому, чтобы покупатели и продавцы предъявля-

ли друг другу чрезмерные требования, с другой — защищал право жителей торговать в городе, не опасаясь засилья «чужих», или «незнакомцев». Была у него и еще одна немаловажная цель: систематизировать торговлю, чтобы уменьшить риск появления на рынке фальшивых мер, испорченных продуктов и некачественных товаров.

Однако на улицах этого процветающего, пестрого и деятельного города порой происходили и трагические события. В судебных отчетах этого периода можно прочесть о безымянных нищенках, падавших и умиравших на мостовой, о нередких самоубийствах, о многочисленных роковых случайностях: «утоп в канаве за Олдерсгейтом… упал в чан с горячим суслом». Мы узнаем, что «бедная маленькая женщина по имени Алиса была найдена утопшей за городской стеной. Подозреваемых нет… Некто Элиас де Пуртур, несший сыр, упал замертво на Бред-стрит… Девочка лет восьми была найдена мертвой на церковном дворе Сент-Мэри-Сомерсет. Предполагается, что ее выбросила туда какая-то проститутка. Подозреваемых нет». Самоубийство в этот век набожности могло считаться только результатом помешательства. Изабель де Пампесуорт «повесилась в припадке безумия» в своем

доме на Бред-стрит. Алиса де Уэйнвик «утопилась в Даугейтской гавани, будучи non compos mentis [не в здравом рассудке]». Пьянство было всеобщим, и сообщения о гражданах, выпавших с соляра на землю, нырнувших со ступеней набережной в Темзу или свалившихся с деревянной лестницы, встречаются постоянно. Перечень этих и других печальных происшествий можно найти в книге «Лондонский суд 1244 года». Некоторые записи весьма живо рисуют эпоху. «Некий человек по имени Таррок» был найден мертвым, но «обнаружилось, что в постели усопшего в момент его смерти лежали три человека… и они получили волю», — последнее означает, что с них были сняты все обвинения. В другом случае «Роджер ударил Мод, жену Гилберта, молотком между плеч, а Мозес ударил ее рукоятью меча в лицо, выбив многие зубы. Она оставалась живою до праздника св. Марии Магдалины, а затем умерла».

Эта литания смертей и несчастий говорит о жестокости и насилии, царивших на городских улицах: люди были вспыльчивы, и жизнь ценилась очень дешево. «Генри де Бук убил ножом некоего ирландца, мастера по кладке черепицы, на Флит-Бридж-стрит, и спрятался в церкви

Сент-Мэри-Саутуорк. Он признал свою вину и… отрекся от подданства. Никакого имущества у него не было». Ссора троих мужчин в трактире на Милк-стрит привела к трагедии: на одного из них напали с «ирландским ножом» и «мизерикордом» (кинжалом, которым «милосердно» добивали поверженного врага); смертельно раненный человек добрался до церкви Сент-Питер на Чипсайде, причем никто из свидетелей драмы не предложил ему помощь.

Члены разных торговых гильдий вступали в открытые схватки на улице; например, группа ювелиров напала на шорника — ему раскроили голову мечом и отрубили топором ногу, да еще отколотили дубиной; он умер пять дней спустя. Когда в Олдерсгейте взбунтовались помощники стряпчих, какой-то горожанин «ради забавы» пустил в толпу стрелу, которая убила невезучего зеваку. «День любви», устроенный с целью примирения медников и кузнецов, изготавливавших железные изделия, обернулся всеобщим буйством. Когда компания гуляк ворвалась в трактир и один из посетителей спросил: «Кто эти люди?» — его немедленно зарубили мечом. На улицах то и дело вспыхивали драки, устраивались засады и разгорались споры из-за ничего — или, как тогда

говорилось, «из-за козлиной шерсти». Партии в кости и триктрак часто кончались пьяными потасовками, причем ясно, что некоторые хозяева игорных заведений беззастенчиво обманывали своих клиентов. О многом говорит то любопытное обстоятельство, что представители властей и приходские священники быстро реагировали на религиозные нужды искалеченных или умирающих, однако им очень редко пытались оказать медицинскую помощь, призвав на место происшествия врача или цирюльника, умеющего отворять кровь. Раненых обычно не трогали, предоставляя им жить или умереть, как то будет угодно Провидению.

Много было нападений на женщин; в судебных отчетах описываются случаи, когда жительницы Лондона умирали в результате нанесенных им побоев или становились жертвами жестокого предумышленного убийства. Некая Леттис обвинила виноторговца Ричарда из Нортона в том, что он «изнасиловал ее и лишил девства», но эта жалоба не стала предметом судебного разбирательства. Избиения жен были часты и обычно оставались безнаказанными, но женщины, подвергавшиеся нападениям, иногда в свою очередь проявляли агрессию. Одна пьяная

горожанка принялась выкрикивать оскорбления в адрес строителей, работавших на углу Силверстрит, — она называла их «tredekeiles», что можно перевести как «паршивые тупицы», — и быстро спровоцировала драку, в которой один человек был убит ножом в сердце. Женщины могли взять на себя и отправление правосудия, жестокое даже по лондонским меркам: когда некий бретонец убил вдову в ее постели, «женщины того прихода вышли наружу с камнями и собачьим дерьмом и прикончили убийцу прямо на улице».

Олдермены и дозорные каждого прихода имели дополнительные обязанности, которые проливают любопытный свет на обычаи средневекового Лондона. Например, они обязаны были арестовать всякого, кто появится на улице в маске: считалось, что маску может носить только преступник. Судя по материалам судебных архивов, этим должностным лицам предоставлялось также право снимать двери и окна в любом доме с сомнительной репутацией; есть запись о том, как они «вошли в дом мясника Уильяма Кока на Кокслейн и сорвали одиннадцать дверей и пять окон при помощи молотков и зубил». Показательно, что имя нарушителя, его профессия и название улицы, на которой он проживал, тесно связаны

между собой[12] в характерной для Средневековья манере: отсюда можно заключить, что жители целого района часто занимались одним и тем же ремеслом (в данном случае резали птицу). Другие отчеты также весьма интересны, хотя и повествуют о менее бурных событиях. Ночные сторожа арестовали нескольких учеников за то, что они наполнили бочку камнями и скатили ее под уклон от Грейсчерч-стрит к Лондонскому мосту, «учинив панику среди окрестных жителей».

В судебных записях чуть более позднего периода мы находим сообщения о событиях непристойного, или интимного, характера: их шокирующая откровенность порой словно переносит нас в одну комнату с этими далекими предками современных лондонцев. «Уильям Пегден говорит, что некий Моррис Хор привел некую Сесил, и вышеупомянутый Колуэлл воспользовался телом вышеупомянутой Элизабет, а вышеупомянутая Алиса Дей ожгла [заразила венерическим заболеванием] вышеупомянутую Сесил… И потом вышеупомянутая Алиса Дей немедля подошла, и вскочила на кровать, и что-то сказала Сесил, когда они стали целоваться, и раздвинула ноги

[12] Примечания: 12
Кок (cock) — по-английски «петух».

так широко, что меж них могла бы пройти запряженная повозка».

Преступления бывали самыми вопиющими, но при назначении кары за них судьи, как правило, исходили из интересов общества. Нередко высказывалось мнение, что чиновники средневекового города проявляли больше мягкосердечия, чем их преемники в XVII и XVIII веках, и это в известном смысле правда. Например, такие наказания, как отсечение конечностей, во многих случаях заменялись менее суровыми. Но если речь шла об угрозе общественному порядку, суд становился по-настоящему безжалостным, и виновных в подобных преступлениях зачастую вешали или обезглавливали. К высшей мере почти всегда приговаривали мятежников и тех, кто каким-либо иным образом покушался на королевскую власть; например, один человек был повешен за подделку королевской печати. Головы мятежников и предателей вываривали в кипятке и выставляли на Лондонском мосту, иногда увенчивая их плющом — последний театральный штрих в драме преступления и наказания. Кроме того, если в городе начинались беспорядки и возрастала социальная напряженность, мэр и олдермены прибегали к высшей мере как к са-

мому быстрому способу утихомирить население. Убийство всегда каралось повешением (щадили только женщин, которым удавалось доказать свою беременность), но обычным нарушителям закона в достаточно мирные времена грозили, как правило, тюрьма или позорный столб. Уолтеру Уолдескефу предъявили обвинение в том, что он «играет в бабки почти всякую ночь»; как сообщалось в отчете, он «гулял ночами, хорошо одевался и был щедр на угощение, хотя никто не знает, чем он зарабатывал на жизнь». Через год после ареста он был заколот ножом на Ломбард-стрит и умер в церкви Сент-Суитин на Уолбруке. Агнес де Бьюри арестовали «за торговлю старым мехом на Корнхилле», а Роджера Уэнлока приговорили к тюремному заключению «за продажу пива по два пенни за галлон». Пекарь Джон Мунди «был поставлен к позорному столбу на Корнхилле за то, что выпекал дурной хлеб», и в том же месяце Агнес Дейнте также поставили к позорному столбу за продажу «дурного смешанного масла». Было раскрыто и множество других, самых разнообразных обманов, и их виновники получили по заслугам. Один пекарь проделал дыру в своей доске для разделки теста; когда клиент приносил тесто для выпечки, часть его соскребал

член семьи пекаря, прятавшийся под стойкой. В другом случае бывший слуга официального лица, уволенный своим хозяином, ходил по трактирам и угрожал конфисковать эль; честные трактирщицы платили ему за то, чтобы он оставил их в покое. Наконец его схватили и приковали к позорному столбу.

Некоторые наказания были более экзотическими. Проституткам и «блудникам» (тем, кто якшался с проститутками) выбривали волосы, оставляя полоску в два дюйма над лбом у мужчин и маленький кружок на макушке у женщин. Затем их отводили к соответствующим позорным столбам, где они становились мишенью для нападок и развлечений честных горожан. Если женщину уличали в проституции, ей полагалось «прошествовать от тюрьмы до Олдгейта» в капюшоне из полосатой ткани и с белой свечой в руке; потом ее доставляли к позорному столбу, а затем, после ритуальных оскорблений, вели по Чипсайду и через Ньюгейт в охраняемые дома на Кок-лейн в западном Смитфилде.

Перед теми, кто был приговорен к позорному столбу за продажу недоброкачественных тканей или других товаров, сжигали вещи, которыми они торговали. Джон Уолтер пользовался непра-

вильной меркой при продаже угля; суд повелел приковать его к позорному столбу и в течение часа «жечь под ним его добро». Иногда путешествие к месту наказания сопровождалось дополнительными унижениями: преступника заставляли ехать на лошади задом наперед и надевали ему на голову шутовской колпак. Некоего священника, пойманного in flagrante delicto (на месте преступления), провели по улицам в спущенных штанах, а его церковное облачение в это время несли перед ним. Сэра Томаса де Тербервилла, предателя, вывели на улицу в полосатом балахоне и белых башмаках; его привязали к лошади, а рядом с ним ехали шестеро должностных лиц, с ног до головы одетых в красное, считавшееся «дьявольским» цветом. Таким образом, наказание порой обращалось в праздник; в относительно небольшом и замкнутом городе оно становилось торжеством коммунального духа.

Однако жестокость — можно даже сказать, варварская жестокость — всегда была готова вырваться наружу, и это лучше всего демонстрирует судьба преступников, избежавших петли и позорного столба и угодивших в Ньюгейт. Анализ материалов следствий, проводимых коронером в 1315–1316 годах, показывает, что шестьдесят

два из восьмидесяти пяти человек, причины смерти которых подлежали выяснению, были убиты в Ньюгейтской тюрьме. Естественно, что совершалось множество отчаянных попыток вырваться из этого гибельного места. Как-то раз заключенные прорвались на крышу и «бились с гражданами и удерживали ворота весьма долго», из чего явствует, что охраняли тюрьму, по сути, сами же лондонцы. Пожалуй, нечего удивляться тому, что один из первых уцелевших текстов на лондонском английском, написанный в середине XIII столетия, носит название «Молитва узника».

Был только один эффективный способ избежать гнева горожан, и заключался он в том, чтобы воспользоваться правом убежища. Преступник, которому удавалось ускользнуть от преследователей и спрятаться в какой-либо из множества церквей, мог провести там в безопасности сорок дней. Блюстители закона сторожили церковь на случай внезапного побега, не оставляя своего поста ни днем ни ночью, и отряд горожан дежурил рядом круглые сутки. Кроме храмов, спасение можно было найти в Саутуорке, на южном берегу реки и к востоку от Тауэра — иными словами, там, где кончалась власть города, правонарушитель получал свободу. Это еще одно свидетельство

замкнутости города на себе, хотя в подобных случаях ему не помешала бы более широкая юрисдикция. Находясь в убежище, преступник часто делал признание официальным лицам, а по окончании сорока дней его заставляли «отречься от подданства» и отправиться в изгнание. Затем его принародно объявляли изгоем на фолькмоте.

Так по древним актам и заключениям коронера, судебным постановлениям и приказам, отчетам и архивным записям мы можем восстановить дух средневекового Лондона, царивший на тех улицах и в тех переулочках, где люди обитают и поныне. Но если в тогдашнем городском обществе нередко возникали жестокие столкновения на бытовой почве, то не менее бурной была и его политическая жизнь.

Летописи XIII века изобилуют сообщениями о мятежах, побоищах и уличных стычках. В течение этого периода Лондон почти непрерывно конфликтовал с правящим монархом Генрихом III, тогда как за власть внутри города боролись группы, именовавшие себя оптиматами и популярами, — старые могущественные коммерсанты, представляющие собой олигархическую верхушку, и члены ремесленных и торговых союзов, которые лишь недавно почувствовали свою силу.

Ситуация осложнялась еще и тем, что олигархи тяготели к роялизму, а популяры, иначе называемые «медиокрами», инстинктивно поддерживали знать, открыто враждовавшую с королем. Как обычно, Лондон снова был ставкой в этой игре. Тот, кто получал власть над городом, был близок к власти над всем королевством. Периодически вспыхивавшие в стране междоусобные войны имели свои последствия: в городе возникали партии и кланы, поддерживающие соперников, так что на улицах Лондона разыгрывались битвы, которые были миниатюрным отражением склок национального масштаба. Город поистине являлся воплощением всей Англии.

ГОРОД КОНТРАСТОВ

Глава 5
Вечно шумящий

В Лондоне всегда было шумно — это одна из черт, создающих нездоровый облик города. Это же говорит и о его противоестественности: город рычит, словно гигантское чудище. Но это также свидетельство его энергии и его мощи.

С самого его основания в Лондоне звенели молотки ремесленников и раздавались выкрики продавцов; такого шума не было ни в одной другой части страны, и в некоторых кварталах — например, там, где жили кузнецы и бондари, — грохот стоял почти невыносимый. Но были и другие звуки. В раннем Средневековье к гомону торговцев и стуку ремесленников добавлялся звон колоколов и колокольчиков — мирских, церковных, монастырских, сторожевых и оповещающих о конце рабочего дня.

Может показаться, что колокола должны были звонить гораздо реже после Реформации, когда Лондон перестал быть городом набожных католиков, но все факты говорят о том, что горожане и тогда не утратили своей любви к ним. Одно-

го немецкого герцога, прибывшего в Лондон вечером 12 сентября 1602 года, поразило удивительное сочетание городских шумов. «Достигнув Лондона, мы услышали громкий звон колоколов почти во всех церквах, не утихавший до позднего часа, и то же повторялось в последующие дни до семи или восьми часов вечера. Нам сообщили, что молодые люди занимаются этим ради упражнения и забавы, а порой даже бьются об заклад на крупные суммы, соревнуясь, кто дольше или красивее прочих прозвонит в колокол. В приходах тратят на колокола огромные деньги, ибо тот приход почитается больше всех, где звонят мелодичнее. Передают, что старая королева весьма одобряла сие развлечение, видя в нем признак процветания народа». Этот отрывок заимствован из книги Брюса Р. Смита «Мир звуков Англии в начале современной эпохи», предлагающей своеобразную трактовку лондонской истории. В ней выдвигается предположение, что гармоничный колокольный звон должен был в известном смысле выражать гармоничность самого города, включая «процветание» народа, но на самом деле тут налицо элемент театральности и бравады, к которым были издавна склонны жители Лондона. И действительно, в их любви к громким

звукам сквозит чуть ли не склонность к насилию. Еще один немецкий путешественник написал в 1598 году, что лондонцы «обожают такие оглушительные звуки, как пальба из пушек, барабанный бой и колокольный звон, и посему многие из них… часто поднимаются на колокольню и по нескольку часов кряду звонят изо всей мочи ради удовольствия». Капеллан венецианского посла также сообщал, что «лондонские юноши заключают пари — кому удастся прозвонить в колокола так, чтобы слышно было далее всего». Здесь жажде самовыражения сопутствуют агрессивность и дух соперничества.

В свете всего сказанного, пожалуй, не стоит удивляться тому, что само определение понятия «лондонец» носило, так сказать, акустический характер. Истинным кокни считался тот, кто родился в пределах слышимости колоколов Сент-Мэри-ле-Боу — по свидетельству Джона Стоу, «наизнаменитейшей приходской церкви во всем городе и окрест». Файнс Морисон в 1617 году заявил, что «лондонцев, живущих в пределах звона Ле-Боу, в насмешку зовут кокни и поедателями намасленных тостов». Брюс Смит предположил, что слово «кокни» происходит от флюгера в форме петушка (cock), некогда венчавшего коло-

кольню Сент-Мэри-ле-Боу, и что возникновение соответствия между понятием «лондонец» и колокольным звоном объясняется «болтливостью» или «краснобайством» местных жителей.

По мере роста города рос и уровень городского шума. К началу XV века, как пишет Уолтер Безант в своем «Лондоне», «более шумного города не было в целом свете» — его было слышно в Хайгейте и на суррейских холмах. Деккер в «Семи смертных грехах Лондона» пишет о компонентах этого непрекращающегося шума: «в одном месте стучат молотками; в другом набивают обручи; в третьем звенят посудой; в четвертом с грохотом катят бочку для воды». Здесь шум ассоциируется с активной деятельностью и особенно с зарабатыванием денег. Шум был неизбежным атрибутом труда плотников и бондарей, кузнецов и оружейников. И представители других профессий — грузчики, носильщики, рабочие на верфях — считали шум непременным спутником своего ремесла: только с его помощью можно было утвердить себя и продемонстрировать свою роль в жизни торгового города.

В разных городских районах звучали разные шумы. Например, из литейных Лотбери «слышался шум, несносный для уха прохожего, не

привыкшего к чему-либо подобному», а в квартале кузнецов не умолкал «грохот и звон их молотов и наковален». Был также вездесущий шум лондонских улиц, где, сошлемся опять на Томаса Деккера, «повозки и кареты грохотали невыносимо» и где «на открытых мостовых столько топота, столько говора, столько бега, столько езды, столько хлопанья окон и стука в двери и столь громко требуют напитков, покупают мясо и честят друг друга, что мне всякий раз чудится, будто я обитаю в городе вечной битвы». На фоне такого шума легко родятся образы насилия и агрессии. В 1598 году поэт Эверард Гилпин сочинил сатирические стихи о «забитых людом улицах» Лондона, на которых он наблюдал «мешанину из стольких шумов… стольких разных голосов». Здесь неоднородность Лондона проявляется в характере уличного шума. Но в отсутствие постоянного гула транспорта, без которого нельзя представить себе улицы современного Лондона, человеческие голоса должны были слышаться отчетливей. Деревянные и каменные дома по обе стороны основных магистралей отражали звук голосов, так что одной из главных особенностей города в XVI столетии должен был быть неумолчный гомон толпы, сливающийся в один настойчивый

монолог, который можно определить как разговор города с самим собой.

Существовали места, где голоса достигали такой высоты и громкости, что тоже воспринимались как типично «лондонский» шум. Было известно, что под сводами собора Св. Павла голоса звучат по-другому. Заглянем еще раз в монографию Брюса Смита: «Шум здесь подобен тому, какой издают пчелы: это странное гудение или жужжание, являющее собой смесь шагов и разговоров, нечто вроде тихого рокота или громкого шепота». Королевская биржа, где собирались купцы со всего света, была «гулкая, со сводчатыми потолками, и всякое сказанное в ней слово многократно повторялось эхом». Коммерческий центр отличался усиленной реверберацией, и финансовые сделки порождали нечто похожее на раскаты грома. А в трактиры, посетителями которых были торговцы и коммерсанты, «люди приходили поднять настроение, но вместо того поднимали шум». Таким образом, в храмах власти и торговли стоял навязчивый гул мужских голосов, звучащих на повышенных тонах. Насчет трактиров Сэмюэл Джонсон как-то заметил: «Сэр, в одних только этих заведениях вас встречают тем радушнее, чем больше вы

производите шуму». Это полезное наблюдение скрывает в себе намек на свойственные лондонцам агрессивность и любовь к драматическим эффектам: чем громче вы шумите, тем больше у вас прав считаться истинным лондонцем. В театрах тоже стоял несмолкающий шум: зазывалы расхваливали достоинства спектакля, гудела набившаяся в зал публика, кто-то грыз орехи, а кто-то требовал эля.

А на улицах звонили колокола, грохотали телеги, перекрикивались торговцы, лаяли собаки, хлопали на ветру вывески. Но был и еще один звук, относительно непривычный для лондонцев более поздних поколений, — а именно журчание воды. В XVI столетии по городу бежали ручьи и речки. Звук воды, льющейся из пятнадцати трубопроводов, смешивался с шумом Темзы и плеском ее волн, слышными на всех улочках и дорогах, ведущих к реке. Вода из Темзы перекачивалась в маленькие деревянные трубы с помощью огромных колес, и их бесконечный скрежет тоже вплетался в и без того оглушительный шум города.

В 1682 году это был все тот же постоянный шум, похожий на нескончаемый крик. «Ложусь я в бурю и под гром встаю», — провозгласил в этом

году сэр Джон Олдем. Он говорит о «трезвоне неугомонных колоколов», наряду с которым в городе раздаются

Тирады пьяниц, звон полночный стражи,

Шум в лавках и лоточников призыв.

Автор хочет сказать, что город непрерывно бодрствует: жизнь в нем кипит круглые сутки. Надо иметь в виду, что Лондон XVII века был населен не только людьми, но и животными. Сэмюэла Пипса разбудил как-то ночью «дьявольский гам, поднятый боровом, коровою и собакой». Звуки, которые издавали «столичные» лошади, коровы, собаки, кошки, свиньи, овцы и куры, смешивались с топотом и мычанием огромных стад, перегоняемых в Смитфилд и на другие открытые рынки; Лондон, как тогда говорили, пожирал провинцию, и его чавканье было слышно повсюду.

Многие авторы рассказывают о том, как удивлял и озадачивал лондонский шум людей, приехавших в этот город впервые. С одной стороны, он рассматривался как свидетельство лондонской «вольницы», ибо граница между свободой и анархией здесь всегда оставалась размытой. В городе, насквозь проникнутом эгалитарным духом, каж-

дый был волен занимать свое собственное место, «самовыражаясь» посредством бесконечного шума. Слух чужестранца, изображенного на гравюре Хогарта «Взбешенный музыкант» (1741), атакуют хрюканье борова (возможно, потомка того, который досаждал Пипсу), вопли кошек, трещотка девочки, барабан мальчишки, выклики молочницы, жалобный призыв продавца баллад, занятые своим делом точильщик ножей и изготовитель оловянной посуды, перезвон колоколов, попугай, бродячий музыкант, наигрывающий на гобое, пронзительный крик мусорщика и собачий лай. Все персонажи картины замечательны тем, что представляют собой выразительные и очень знакомые лондонские типы. Здесь Хогарт воспевает шум как неотъемлемую принадлежность городской жизни. Шуметь — это привилегия лондонцев; следовательно, шум есть органическое и неизбежное условие существования города. Например, лишить уличных торговцев и разносчиков права кричать значило бы обречь их на гибель.

Конечно, люди, приехавшие в город по делам, не обязаны были разделять любовь Хогарта к шуму, окружавшему его с самого рождения. Героя романа Тобайаса Смоллетта «Путешествие

Хамфри Клинкера» (1771) ночные шумы приводят в отчаяние. «Каждый час я просыпаюсь, разбуженный страшным шумом ночного дозора, выкликающего часы по всем улицам и бьющего в колотушку у каждых ворот», — иллюстрация того факта, что даже само время может служить причиной шума. И утром тоже: «Меня сгоняет с постели еще более устрашающий грохот деревенских телег и крик зеленщиков, продающих у меня под окнами зеленый горошек»[13]. Торговля, так же как и время, должна громогласно заявлять о себе. Йозеф Гайдн жаловался, что ему придется бежать в Вену, «чтобы иметь возможность поработать в тишине, ибо шум, который поднимают простолюдины, торгующие на улицах своим товаром, просто невыносим».

Однако были и те, кто настолько горячо жаждал причаститься лондонского духа, что приветствовал шум и заключал его в объятия, точно пылкий влюбленный. «Здешний шум, — писал Босуэлл, впервые попавший в Лондон в 1762 году, — толпа, пестрота магазинов и вывесок приятно удивили меня». Он прибыл в столицу через Хайгейт и, добравшись до этой возвышенности, мог уже

[13] Примечания: 13
Перевод А. Кривцовой.

слышать шум. «Попробуйте спуститься по Хайгейт-хилл в летний день, — писала Летиция Лэндон в начале XIX столетия, — и вы увидите огромную массу домов, раскинувшихся темной панорамой, услышите особый нестихающий шум, который уподобляют рокоту далекого океана, хотя он звучит совершенно иначе… а потом скажите, существовали ли когда-либо холм или долина, способные разбудить в душе столь могучее и благоговейное чувство, знакомое нам благодаря шедеврам эпической поэзии». Так шум города вносит свою лепту в его величие.

Это впечатление тревожащего душу, почти трансцендентного звука было, по сути, открытием XIX столетия, когда Лондон превратился в великий урбанистический миф для всего света. Его шум стал вселять в души людей благоговение и ужас; в нем появилось нечто сакральное. В 1857 году Чарлз Манби Смит в своем парадоксально озаглавленном «Малом мире Лондона» характеризовал его как «тот трудноописуемый, но постоянный далекий рокот, который показывает, что Лондон не теряет времени попусту, и который к середине дня перерастет в оглушительный рев, а покуда лишь неуловимо, но непреклонно усиливается». Слово «рев» намекает на присутствие

гигантского зверя, но более важно здесь это описание ровного далекого рокота — словно некой формы медитации или самопознания. В том же повествовании мы читаем о «непрерывном ошеломительном напоре оглушающих звуков, который свидетельствует, что кровь Лондона стремительно бежит по тысяче его сосудов, — явление, впрочем, отнюдь не досаждающее коренному лондонцу, как не досаждает дикарю-индейцу, ютящемуся у подножия водопада, его вечный гул». Это любопытный образ, он роднит Лондон с естественной стихией; в то же время здесь слышится неявный намек на дикость местных жителей, неукрощенных и неукротимых.

С расстояния в три мили, то есть из «отдаленных» пригородов, которым вскоре суждено было оказаться втянутыми в могучий водоворот города, шум Лондона представляется «рокотом морских волн, разбивающихся о каменистый берег, если слушать его вдали от моря».

Это навязчивый образ близости огромного метрополиса. Этот несмолкающий звук сравнивали с Ниагарой, которая неумолимо низвергает с кручи свой вечный поток, и с биением человеческого сердца. Он кажется близким и вместе с тем безличным, как голос самой жизни. То же

ощущение посетило Шелли, когда он написал:

О Лондон — как великий океан,
Чей рев и глух и громок, извергаешь
На берег ты останки жертв и воешь, требуя еще.

Эпитеты «глухой» и «громкий» создают образ безжалостного монстра; глагол «выть» говорит о страхе, боли и ярости в равной мере. В шуме города сквозят алчность и беспомощность, словно в крике ребенка, который никогда не взрослеет. Это древний, но вечно обновляющийся голос.

Знаменитый американский автор XIX века Джеймс Расселл Лоуэлл писал: «Признаюсь, что стоит мне подумать о любимом мною Лондоне, как я вспоминаю о дворце, построенном Давидом для Вирсавии, которая, сидя в нем, слышала бег сотни потоков: потоков мысли, потоков разума, потоков деятельности. Еще одна особенность Лондона поражает меня необыкновенно: это его низкий, непрестанный рокот, не похожий ни на какой иной звук; он впечатляет больше рева бури или водопада, ибо в нем ощущается присутствие человеческой воли и сознательного движения, и я признаюсь, что этот звук напоминает мне смутный гул самого времени».

Таким образом, здесь тоже находит свое проявление мистическое чувство: Лондон становится воплощением самого времени. Великие потоки мысли и разума никогда не прекращают своего бега; изменив метафору, можно сказать, что они напоминают космические ветры. Но действительно ли шум города — это шум самого времени? В подобном шуме должен слышаться звук перетекания будущего в прошлое, этого стремительного и необратимого процесса, происходящего «в данный миг», которого нельзя ни уловить, ни осознать. Тогда это шум гигантской утраты, тот «вой», о котором пишет Шелли. Говоря словами Т. С. Элиота, поэта, чье понимание времени и вечности сложилось под прямым воздействием лондонских впечатлений, «все время неискупимо». Лондон тоже «неискупим», и при желании мы можем ощутить в его шуме бег огромного количества отдельных, «личных» времен, непрерывно утекающих в небытие.

Однако даже в гуле этого могучего потока можно было различить и запомнить звуки, характерные именно для Лондона и ни для какого иного города XIX столетия. Это звучание «немецкого оркестра» с его рожком, тромбоном и кларнетом; это жалобные причитания шарманки; это речи-

татив старого продавца спичек, предлагающего свои «люциферы». Это громыхание телеги мусорщика, влекомой огромными битюгами «в тиарах из звенящих колокольчиков». Это бесконечный цокот копыт, без которого Лондон попросту осиротел. Одна лондонская дама жаловалась: «Я ужасно скучаю по ночному стуку копыт — без *него мне так одиноко».* Был, разумеется, и постоянный стук колес, бесконечно катящихся, будто их инерция никогда не встречала сопротивления. «Для слуха чужестранца, — писал в 1837 году один газетчик, — никогда не утихающий грохот бесчисленных экипажей, которые снуют по улицам Лондона, представляет собой почти невыносимое испытание. Потолковать с приятелем, случайно встреченным на улице, абсолютно невозможно… Из того, что говорит ваш собеседник, вы не разберете ни слова». Джейн Карлейль, поселившаяся в Лондоне вместе со своим мужем Томасом, в 1843 году спрашивала у подруги в письме: «Не странно ли, что у меня в ушах стоит нескончаемый шум, который издают мужчины, женщины, дети, омнибусы, экипажи, кареты, кебы, телеги, подводы, колокола, колокольчики, то и дело стучащие в двери визитеры, почтальоны, лакеи — словом, творится что-то невообрази-

мое?» Ей казалось, будто весь мир сошел с ума. То же чувство сквозит в книге, озаглавленной «Воспоминания о Лондоне 1840-х», где о шуме уличного движения написано так: «Словно стук всех колес всех экипажей на свете слился в один скрежещущий, стонущий, грохочущий рев».

В 1830-х мостовые многих основных магистралей были деревянными — в качестве примеров можно привести Оксфорд-стрит и Стрэнд, — но вездесущий шум был непобедим. В «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» (1886) Р. Л. Стивенсон пишет о «раздающемся со всех сторон глухом рычании Лондона». В жизнеописании Теннисона указывается, что поэт «всегда наслаждался „могучим ревом“ Лондона». «Это разум. Его голос», — сказал он сыну. Шарлотта Бронте тоже слышала этот рев и пришла от него в восхищение. В каждом случае, хотя порой и с известной тревогой, отмечается присутствие некоего живого существа; это одна гигантская жизнь, представляющая собой сумму индивидуальных жизней, так что в конце «Крошки Доррит» маленькая героиня и ее муж «спокойно шли вперед, счастливые и неразлучные среди уличного шума, на солнце и в тени, а люди вокруг них, крикливые, жадные, упрямые, наглые, тще-

славные, сталкивались, расходились и теснили друг друга в вечной толчее»[14]. Те, кто счастлив, молчаливы и похожи на чужаков в городе, но жадные и беспокойные продолжают шуметь — или, скорее, служат рупором, через который льется рев города.

Все это изменилось в течение XX века. Те, кто жил в его начале, еще вспоминают грохот запряженных лошадьми фургонов и апоплексический рык омнибусов вместе с удивительно мирным и уютным цокотом копыт. Возможно, не стоит удивляться тому, что авторы, жившие в городе в первые десятилетия XX века, находили в этих шумах особую прелесть: ведь они, эти звуки, словно предрекали свое собственное скорое исчезновение.

В 1929 году, согласно «Бюллетеню Лондонского общества»[15], Министерство здравоохранения посетила группа членов Британской медицинской ассоциации, заявивших, что «городской шум угрожает здоровью населения». Вместо того чтобы восхвалять шум Лондона как голос самой

---

[14] Примечания: 14

Перевод Е. Калашниковой.

[15] Примечания: 15

Лондонское общество — общественная организация по охране исторических памятников и живописных уголков Лондона.

жизни или, по крайней мере, свидетельство активности горожан, его сочли вредным и даже губительным. Он стал более однородным и монотонным, так что два года спустя в одном отчете указывалось, что «люди начинают возражать против этого утомительного и раздражающего фактора». Он стал также более безличным, и в качестве реакции на «дегуманизацию» шума были введены его измерения в децибелах. Сообщалось о многочисленных источниках шума и перечислялись так называемые «случаи нарушения тишины». Любопытно отметить возникший контраст с «человеческими» источниками шума на хогартовской гравюре «Взбешенный музыкант»: среди новых возмутителей спокойствия в 1930-е годы числились отбойный молоток, автомобильный рожок, строительные механизмы и «резкий и пронзительный свист паровоза». Много внимания уделялось «противоестественности» лондонского шума: «лязг клепальной машины достигает уровня в 112 децибел, тогда как сила грома — не более 70», — что возрождало старое представление о городе, противящемся естественным законам роста и развития. Говорилось также о пагубном воздействии лондонского шума «на мозг и всю нервную систему», резуль-

татом чего являются повышенная утомляемость, ослабление внимания и общая усталость.

Д. Г. Лоуренс оказался особенно чуток к этому изменению характера городских шумов. В первом десятилетии XX века он воспринимал их как выражение «гигантской ревущей души всех приключений», видя в «шуме» или «грохоте» нечто бодрящее, но позже уличное движение стало, на его взгляд, «чересчур плотным». Такова же суть содержания официальных отчетов, из чего следует, что романист затронул по-настоящему актуальную тему. Прежде «рев лондонского уличного движения говорил о романтике приключений человека в океане жизни», но теперь «его гул похож на монотонную пальбу далеких орудий, которые вдребезги разносят землю и самое жизнь, превращая все вокруг в мертвечину».

Во многих описаниях современного лондонского шума подчеркивается его монотонность. По замечанию Вирджинии Вулф, шум уличного движения «сливается в один звук, синевато-стальной, округлый», что хорошо передает искусственность и безличность этого вездесущего шума. В последние годы также не раз сообщалось о низком гуле, который слышен повсюду. Возможно, его издают люминесцентные лампы

или огромные электронные системы, постоянно работающие в городских недрах; однако прочие звуки теперь скрадывает именно этот низкий «фоновый» гул. Шум машин и кондиционеров изменил атмосферу Лондона во всех смыслах, в первую очередь лишив структуру городских звуков ее прежней пестроты и неоднородности. Могучий рев Лондона XIX столетия, потеряв в силе, стал более навязчивым; издалека он кажется непрерывным скрежетом. За этим встает уже не образ моря, но образ машины. Бьющемуся сердцу Лондона больше не припишешь человеческих или природных качеств.

Шум голосов, без которого прежде нельзя было представить себе городские улицы, нынче почти совсем с них вытеснен — разве что иногда раздастся одинокий голос человека, отвечающего по мобильному телефону более громко и отрывисто, чем это бывает в обычном разговоре. Но два свойства меняющегося звукового ландшафта все-таки остались неизменными. В течение многих столетий коренные лондонцы отличались от своих современников тем, что говорили громче их, почти кричали, — и теперь весь Лондон превратился в один сплошной нескончаемый крик. Есть и другой характерный шум. Если вы

в любое время дня остановитесь, к примеру, на Ломбард-стрит, то услышите на этой узкой улочке, как и на любой из соседних, эхо торопливых шагов. Они раздавались в самом центре Сити в течение многих сотен лет, и возможно, что истинно лондонским звуком является именно эхо шагов случайного прохожего, лучше всего передающее постоянство и переменчивость этого великого города.

Глава 6
Молчание — золото

Однако по воскресеньям и праздничным дням Ломбард-стрит погружается в тишину. Во всем старом центре города снова воцаряется молчание.

История тишины — это одна из лондонских тайн. Кто-то сказал, что город не выставляет напоказ тех своих черт, которые более всего заслуживают восхищения, и это замечание прекрасно объясняет природу лондонской тишины. Она наступает неожиданно, и вам вдруг становится хорошо, словно вы вошли с яркого света в затененную комнату. Но поскольку лондонский шум полон энергии и одушевления, постольку тишина в городской жизни всегда двусмысленна. Она может нести с собой мир и безмятежность, но может означать и отсутствие всякого существования. Она может быть негативной силой. История города перемежается моментами тишины: молчания всей округи, когда анонимный автор поэмы «Лондон-разоритель» покидает Чипсайд в 1390 году, молчания толпы, когда Ричарда

III провозглашают королем в 1483 году, тишины запустения после Великого пожара 1666 года.

В Лондоне XVI века тишина наступала за последним предупреждением сторожей, выкрикивающих в полночь:

Проверь свой засов,
Очаг и свечу
И спи до утра.

Конечно, лондонскую ночь, о какой бы эпохе ни шла речь, нельзя назвать абсолютно тихой. Да и вообще, разве можно сказать о лондонской ночи хоть что-нибудь определенное, сейчас или потом? Тут важен контраст — почти в театральном значении этого слова, ибо она ставит преграду естественному пылу горожан. В этом смысле лондонская тишина и впрямь противоестественна. В середине XVII века поэт Абрахам Каули написал стихотворение о том, что город после изгнания из него всех глупцов и нечестивцев «обратился бы почти в пустыню», то есть в нем воцарилась бы тишина, — а это позволяет сделать вывод, что шум и суета неотделимы от глупости и порока. Тогда понятно, отчего Лондон никогда не мог стать тихим городом.

Отмечалось, что отсутствие шума порождает

очередной контраст в городе, и так уже изобилующем контрастами. Путешественник XVIII века заметил, что в переулочках, ведущих от Стрэнда к Темзе, царила «редкая безмятежность». Это постоянный рефрен. Когда американский знаток древности Вашингтон Ирвинг бродил по Темплу[16], «странным образом приютившемуся посередь омерзительной уличной суеты», он зашел в тихий Храм тамплиеров. «Я не знаю более поучительного урока для обитателя сего мира, — писал он, — нежели вот так вдруг свернуть с проспекта, на котором кипит алчная жизнь, и присесть меж этих древних гробниц, где царят сумерки, пыль и забвение». Здесь тишина становится знамением вечности и напоминает о том, что Лондон некогда возник из великой тиши и однажды вновь погрузится в нее.

Таким образом, этот locus solus (оазис) тишины среди невыносимого гама метрополиса XIX века приобрел статус чуть ли не священного места. Еще один американский автор того же столетия, Натаниел Готорн, попал туда, заблудившись в Холборне. Он прошел «в арку, над которой была надпись „Стейпл-инн“… но за ней оказался

[16] Примечания: 16

Темпл — несколько кварталов старинных зданий у набережной Темзы близ Флит-стрит.

укромный дворик, вокруг которого стояли молчаливые жилые дома… Во всей Англии нет более тихого уголка. За долгие сотни лет своего существования Лондон не смог захлестнуть своими ревущими волнами этот маленький островок тишины». Здесь тишина черпала силу из своего противостояния лондонскому шуму и постепенно обратилась в эталон безмолвия — «во всей Англии нет более тихого уголка».

Диккенс хорошо знал этот двор и описал его в «Тайне Эдвина Друда». «Это один из тех уголков, где у пешехода, свернувшего сюда с громыхающей улицы, появляется ощущение, будто уши у него заткнуты ватой, а башмаки подбиты бархатными подметками. Это один из тех уголков, где десятки задымленных воробьев щебечут на задымленных ветках, словно крича друг другу: „Давайте поиграем в деревню!“»[17] Таким образом, в здешней тишине есть элемент нарочитости, словно Лондон заразил ее своей театральностью. Это не естественная тишина, а «игра», — она входит составной частью в один из целого ряда резких контрастов, которые вынужден сносить всякий городской житель. В этом смысле она определен-

[17] Примечания: 17
Перевод О. Холмской.

но двусмысленна: может склонять к мирному созерцанию, а может и вызывать тревогу.

Продолжив свое паломничество по тихим местам — путешествие любителя старины, решившего доказать, что «современный» Лондон не смог обрести полную власть над молчанием прошлого, — Готорн добрался до окрестностей Грейз-инна, здания судебной корпорации. «Очень странно, что удается обнаружить столько древнего безмолвия прямо в пасти этого чудовища — города», — написал он, подтверждая свою интуитивную догадку о том, что шум есть следствие невнимания или невежества. Именно тишина напоминает нам о прошлом и искупает настоящее. «Проходишь под одной из этих арок — и тут же, как по волшебству, суета, грохот, толкотня и суматоха, точно спрессованные в один час из целого века будней, обращаются в некое подобие вечного воскресенья». Здесь тишина выступает аналогом священного дня отдыха. Тишина — это звук не-работы, звук не-делания денег.

Но и здесь кроется двусмысленность, ибо лондонские воскресенья пользуются дурной репутацией дней, полных самого черного уныния и безнадежности. А что, если отчасти они обязаны этим именно тишине? В Лондоне отсутствие

шума и будничной суеты может действовать на нервы. Габриель Мури, французский путешественник XIX века, заметил, что по воскресеньям «город похож на вымерший: всякие следы жизни и бурной деятельности, кипевшей здесь на протяжении шести дней, полностью исчезают». Эту перемену отмечали все. Она была «жуткой» и создавала контраст, подобного которому не встретишь больше нигде на свете. И такова уникальность этого внезапного перехода, что сама тишина как бы подчеркивает многозвучие Лондона XIX века.

Однако существуют и иные формы тишины, словно предвещающие вспышки активности. Автор «Малого мира Лондона» описал (и слышал) их все. Несколько минут на заре — краткий период затишья перед тем, как «цокот лошадиных копыт и стук колес» возвестят о пробуждении города к жизни. А затем, поздним вечером, «мертвая, прямо-таки гробовая тишина воцаряется на опустевших улицах, где лишь несколько часов назад слышались самые разнообразные звуки». В этой «тишине, столь внезапной и полной… сквозит некая торжественность», ибо в ней таится идея смерти как «внезапного и полного» завершения всего и вся. Природа города XIX столетия

наводила на подобного рода «серьезные» размышления именно потому, что она объединяла в себе элементы жизни и смерти. Другими словами, городская тишина — это не тишина сельской местности, где покой кажется естественным и ненавязанным. Лондонская тишина активна; она полна очевидным отсутствием (людей, их деятельности), а потому и очевидным присутствием. Эта тишина чревата неожиданностями.

Вот почему она способна даже разбудить спящего. Однажды некий лондонский репортер спросил у жителя Чипсайда, как тот определяет, когда наступит два часа ночи. «Он скажет и вам, как сказал мне, что в этот час он иногда просыпается из-за тишины в округе». Тишина может заменить будильник. Генри Мейхью отметил «тягостную тишину» некоторых пустынных лондонских улочек, как если бы тишина способна была вызвать душевные или физические страдания. Кроме того, тишина может ассоциироваться с тем, что поэт Джеймс Томсон назвал «трагической судьбой города». Молчаливый камень навевает множество образов. Ночной город, «город мертвых», сравнивали с «доисторическим каменным лесом». Один из авторов большой монографии «Лондон», изданной в 1841 году под

редакцией Чарлза Найта, представил себе «город с молчаливыми улицами и обезлюдевшими домами — как взволновала и поразила бы нас столь трогательная картина!» Наступление такой тишины странным образом тревожит его, словно означает упразднение всякой человеческой активности.

Тишина в городе XIX века может пробудить в душе почти мистическое чувство трансцендентного; Мэтью Арнольд написал несколько строк в Кенсингтон-гарденс, где покой и безмятежность победили «нечестивый гомон толпы» и «шум города»:

> *О вечная душа всего земного!*
>
> *Дай мне хотя б на краткий миг вкусить*
>
> *Того покоя среди гама городского,*
>
> *Что человек не в силах осквернить.*

Таким образом, в этой тишине чувствуется присутствие «души всего земного». Чарлз Лэм считал эту тишину символом всего минувшего и утраченного, тогда как другие авторы полагали, что она есть эманация или манифестация чего-то скрытого и потаенного. Так тишина превращается в очередной аспект того, что один

современный критик назвал «непостижимостью Лондона». Действительно, в XIX и XX веках многие ощущали смутное влечение к тому, что перечислил Джулиан Вулфрис в своей книге «Писать о Лондоне», — к «укромному дворику, забытой площади, незаметному портику», — словно тайна Лондона кроется в его тишине. Это тайна, которую отразил Уистлер в своих «Ноктюрнах» и с которой целые поколения лондонцев встречались на безмолвных улицах и в затерянных переулочках.

Одно из таких благословенных мест, сохранившихся до XXI века, — Фаунтин-корт в Темпле; как и прежде, люди приходят сюда в поисках душевного покоя. Тишина, царящая на кладбище Тауэр-Хэмлетс в центре Ист-энда, тоже глубока и незыблема; тихо бывает на площади у церкви Сент-Олбан-де-Мартир и чуть поодаль от делового Холборна, а еще одно неожиданно тихое местечко — Кистоун-кресент рядом с Каледониан-роуд. Тишина стоит на Керри-стрит в Кентиш-тауне, на Кортни-сквер близ Кеннингтон-лейн, на Арнольд-серкус в Шордиче. А кроме того, есть еще тишина лондонских пригородов, которая ждет, пока ее поглотит напористый, все приближающийся шум метрополиса.

Наверное, эти тихие уголки необходимы для того, чтобы город мог быть гармоничным; наверное, без своей антитезы он не способен по-настоящему самоопределиться. Эта тишина — молчание мертвых, на которых покоится Лондон, символ преходящести всего земного и его неизбежного конца. Так забвение и бодрствование, шум и тишина вечно будут сосуществовать в жизни города. Как сказано в великой урбанистической поэме конца XIX века «Город страшной ночи», принадлежащей перу Джеймса Томсона,

Молчали улицы; лишь эхо повторяло
За нами одинокий звук шагов.

ГОРОД В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Глава 7
Гильдии и союзы

Мор, напавший на Лондон в последние месяцы 1348 года, погубил 40 % его населения. В черте города умерло, по-видимому, до 50 000 человек. Даже десять лет спустя треть земли в пределах городских стен еще оставалась незаселенной. Через одиннадцать лет это бедствие, нареченное Великой чумой или просто Смертью, повторилось, причем рецидив был необычайно жесток. Подобно большинству прочих европейских городов, Лондон находился под угрозой возвращения бубонной чумы до самого конца века. Эта болезнь родилась не в городе, но городские условия благоприятствовали ее распространению; ее переносили крысы, жившие в соломенных и камышовых подстилках средневековых домов, а городская теснота способствовала передаче бактерий воздушно-капельным путем.

Однако Лондон был закален в борьбе с напастями, и в истории этого периода нет никаких зияний. Говорили, что в городе не хватало живых, чтобы похоронить мертвых, но перед уцелевши-

ми открылась широкая дорога к преуспеянию и достатку. Многие, например, разбогатели благодаря нежданному наследству; труд других из-за высокой потребности в рабочей силе стал цениться так дорого, как им и не снилось. Конец XIV века был периодом, когда многие семьи торговцев и ремесленников переселились в большой город с окрестных земель в надежде сколотить себе состояние. Именно этим периодом датируется легенда о Дике Уиттингтоне, возродившая старинный образ Лондона как царства злата — сказочной страны Кокейн.

Настоящий Ричард Уиттингтон был членом гильдии торговцев шелком и бархатом; история Лондона не может быть правильно понята без понимания природы этих братств, члены которых обязаны были не только соблюдать трудовой кодекс, но и выполнять религиозные предписания вкупе с обязанностями прихожан. Хотя Лондон и не считался «градом Божьим» на земле, очень многие теоретики позднего Средневековья верили, что город — это наиболее подходящая для человека среда обитания и символ жизненной гармонии.

Первые торговые гильдии, gegildan (позже получившие название «фритгильдий», что озна-

чает примерно «лесные союзы»), возникли во времена саксов — тогда у этих организаций были также военные и оборонительные функции. В XII столетии некоторые торговцы — например, те, что продавали хлеб и рыбу, — получили разрешение собирать налоги внутри своих «кланов» самостоятельно, без вмешательства королевских чиновников. Возможно, это не было прямой причиной возникновения торговых конгрегаций, но мы обнаруживаем их наличие в отдельных районах примерно в то же самое время: пекари стали жить на Бред-стрит, а торговцы рыбой — на Фрайди-стрит (по пятницам благочестивые католики не ели мяса)[18].

Рост профессиональных гильдий, базирующихся в определенных районах, нельзя отделить от истории соответствующих приходских объединений. Например, кожевники, которые занимались своим отталкивающим ремеслом на берегах реки Флит, образовали собственное «братство» в Доме кармелитов на Флит-стрит. В конце XIII века существовали приблизительно две сотни братств со смешанным религиозно-профессиональным уставом. К примеру, в церкви Сент-Стивен на

[18] Примечания: 18
Bread — хлеб, Friday — пятница *(англ.)*.

Коулмен-стрит зарегистрированы целых три братства; в церкви Сент-Джеймс-Гарликхит также собиралась «малая компания» членов братств. Для эпохи позднего Средневековья очень характерно наличие таких самоуправляющихся независимых союзов, процветавших в быстро развивающемся городе. В начале XIV века был издан королевский указ, официально утвердивший правило, согласно которому ни один человек не мог заняться избранным ремеслом или видом торговли (войти в гильдию), если за него не поручатся шестеро представителей этого ремесла; другое распоряжение гласило, что свободными горожанами могут быть только члены профессиональных товариществ. На практике выходило, что в гильдиях могли состоять только горожане. Благодаря этому гильдии приобрели огромное экономическое влияние в пределах города. Например, согласно одному из предписаний, эль и пиво можно было покупать только у свободных граждан, живущих в черте города.

Но экономическая власть в Лондоне, в свою очередь, обеспечивала ее обладателям политическое и общественное доминирование, поэтому в 1351-м, а затем и в 1377 году профессиональные товарищества избрали городской Совет.

Следует также помнить, что в городе было много «умельцев» и «маленьких людей», которые просто приходили потолковать о делах в свою местную церковь. Религиозные и социальные ограничения, действовавшие в рамках этих профессиональных «мистерий» — слово не имеет священной окраски, так как происходит от французского metier (ремесло, профессия), — нашли свое отражение и в уставах самих гильдий, где подчеркивается значение честности и доброй репутации. Например, в уставах братств Сент-Энн и Сент-Лоренс-Джури было указано, что «если член общества заслужил дурную славу о своем теле и пользует иных жен окроме законной либо одинок, но слывет развратным или невоздержанным на язык», то ему следует вынести предупреждение. После трех подобных предупреждений, буде они не возымеют действия, провинившегося следует изгнать, «дабы он не чернил своими поступками доброе имя членов сего общества».

Другие статьи профессиональных уставов также рисуют нам особенности той эпохи. В тех же уставах указывается, что любой, кто «имеет привычку подолгу лежать в постеле и вставши с нее не работает, дабы раздобыть себе и своей семье на пропитание, а вместо того идет в трактир и

прожигает время впустую за вином и элем либо пускает в ход кулаки и наносит другим всякий ущерб… будет изгнан из сего общества навеки». Очевидно, пьянство и бесцельное шатание по улицам считались несовместимыми с честным трудом; от пустой траты времени на развлечения предостерегал в XVII веке и Дэниел Дефо, автор наставлений, адресованных лондонским торговцам. Подобная же кара (исключение из гильдии) ожидала тех, кто «заработал себе дурную славу» как «вор, или кляузник, или сутяга, или учинитель скандалов»; таким образом, члены гильдий порицали тех, кто нарушал общественный порядок. Видимо, скандалы и ссоры считались греховными в обществе, гармоничность которого поддерживалась лишь ценою больших усилий. Акцент здесь делается на хорошую репутацию и недопущение срама среди своих; это типично для уставов, изобретенных «маленькими людьми» ради сохранения своего «доброго имени», каковое только и могло помочь им в неуклонном старании пробиться вверх в иерархии ремесленных товариществ. Вот почему подмастерья или поденщики иногда пытались объединиться в пику своим нанимателям, хотя городские власти, как правило, успешно препятствовали образованию

любого «союза» рабочих низшего класса. В конце концов пришло время, когда товарищества, занимающиеся производством и продажей различных товаров и продуктов питания, вступили друг с другом в жестокую борьбу за первенство и власть, но по сути это была лишь очередная стадия непрерывного безуспешного стремления представителей «низших» ремесел и профессий выдвинуться на первые роли в общественной и политической жизни города. Такова подлинная история Лондона, которая живет и дышит под покровом внешних событий, нашедших свое отражение в муниципальных хрониках.

Однако невозможно составить себе сколько-нибудь полное представление о средневековом Лондоне без знакомства с той многогранной ролью, которая отводилась Церкви как самому организованному и авторитетному руководителю всей городской жизни. Даже если говорить попросту о материальных благах, высшие церковные чины были самыми крупными землевладельцами и работодателями как вне, так и в пределах городской черты. Многие тысячи людей — как монахов, так и мирян — были обязаны своим пропитанием крупным аббатствам и монастырям в самом городе, но вдобавок эти мощные

организации искони владели другими землями и поместьями, на которые власть города не распространялась. К примеру, епископу собора Св. Павла принадлежало поместье Степни, простиравшееся на востоке до границы с Эссексом, а на юго-западе — до Уимблдона и Барнса; каноники собора владели еще тринадцатью поместьями на территории от Панкраса и Излингтона до Хокстона и Холборна. Такое количество угодий — бесспорное свидетельство не только духовного, но и светского могущества, ведущего свое происхождение с далеких времен: уже в пору дезинтеграции романизированной Англии и упадка римского Лондона эти церковные магнаты стали истинными правителями страны. Глава каждой епархии носил «тогу римского консула», а приходская церковь или монастырь, за неимением иных общественных институтов, стали центрами всей организованной деятельности. Вот почему в самых древних административных записях Лондона подчеркивается влиятельность церковной верхушки. Мы читаем, что в 900 году «епископ и магистраты Лондона от имени горожан составили законы, утвержденные королем»; известно и то, что приоры и аббаты часто становились олдерменами. Между духовной и светской властью

тогда не проводилось различия, поскольку и та и другая, с точки зрения простых людей, были «от Бога».

Сам Лондон был городом церквей — их в нем насчитывалось больше, чем в любом другом европейском городе. В стенах старого Сити было более сотни церквей — имя одной только Девы Марии носили шестнадцать храмов, — и логично предположить, что многие из них впервые построили еще саксы и изначально они были деревянными. Уолтер Безант отмечает в своем «Лондоне», что «в городе не было ни одной улицы без своего монастыря, своего монастырского сада, своей живущей подаяниями духовной общины, своих монахов, своих продавцов индульгенций, своих пономарей и священнослужителей». Это выглядит некоторым преувеличением, но если даже монастыри с садами были и не в каждом переулке, то один взгляд на любую карту убедит нас в наличии больших и малых религиозных организаций на всех главных городских магистралях. Кроме 126 приходских церквей, было тринадцать женских монастырей, включая Сент-Мартин-ле-Гранд и Сент-Джон-оф-Джерусалем; было семь крупных мужских монастырей, включая картезианский на Харт-стрит, и пять поменьше, в число

которых входили Сент-Бартоломью-де-Грейт в Смитфилде и Сент-Сейвиор в Бермондси; наконец, были еще четыре большие женские обители и пять монашеских общин. Что касается лечебниц и приютов для страждущих и нуждающихся, то их насчитывалось как минимум семнадцать в таких разных местах, как Бивис-маркс и Олдгейт, Чаринг-кросс и Сент-Лоренс-Паунтни (среди них был и приют для сумасшедших в Баркинге — отсюда пошло выражение *barking mad*, буквально: «лающий сумасшедший»). Ко всему перечисленному нужно добавить еще частные и общественные часовни и церковные школы. Следует учесть и то, что в XIII и XIV веках все эти священные сооружения постоянно реконструировались, так что набожность лондонцев не вызывает никаких сомнений.

Завещания жителей средневекового Лондона весьма красноречивы, и в последних распоряжениях виноторговца Джона Тоукера (1428), кожевника Роберта Эймери (1410), торговца свечами Ричарда Уайтмена (1428) и слуги торговца свечами Роджера Элмсли (1434) мы находим свидетельства простой, но глубокой набожности. В этих завещаниях фигурируют все атрибуты обыденной лондонской жизни. По наследству

отказываются полотенца и ложки, постели и одеяла; Роджер Элмсли оставляет своим наследникам железную подставку для жарения яичницы, несколько павлиньих перьев и «мою вешалку для полотенец», но его главное желание — быть похороненным «под камнем близ паперти» церкви Сент-Маргарет-Паттенс на Литтл-Тауэр-стрит. Он также озабочен спасением души своего крестника, которому завещает «молитвенник для служения Господу» и «малый ларец для хранения мелких вещей». Во всех завещаниях указываются суммы денег, которые следует отдать бедным, больным или заключенным с условием, что эти несчастные будут молиться за упокой души усопшего. Например, виноторговец Джон Тоукер оставляет часть своих денег священникам из Сент-Милдред на Бред-стрит, «дабы они помолились за упокой моей души», а еще некоторые суммы — заключенным «Ладгейта, Королевской тюрьмы Маршалси» и «страждущим из приютов Пресвятой Девы близ Бишопсгейта, Пресвятой Девы Бедлема, Пресвятой Девы Элсингспайтла, Св. Варфоломея в Смитфилде и Св. Фомы в Саутуорке». Многие из этих учреждений существуют по сей день, хотя и в преобразованном виде, тогда как прочие живы лишь в народной памяти. Джон

Тоукер оставил своему помощнику Генри Томмиссону «мое заведение „Русалка“ на Бред-стрит» — тот самый трактир, где, как полагают исследователи, сиживали за выпивкой Шекспир и Бен Джонсон. История Лондона — это палимпсест из наложенных одна на другую реальностей и неумирающих истин.

Святым покровителем средневекового города был монах VII века Эркенвальд — епископ Лондонский, он восемнадцать лет оставался духовным предводителем восточных саксов, а после его смерти ему начали приписывать сотворение многочисленных чудес. Основным предметом его культа стала деревянная тележка (паланкин), в которой епископ Эркенвальд стал путешествовать по улицам Лондона, когда возраст и болезни уже не позволяли ему ходить пешком. Кусочки и щепки от этого средства передвижения считались наделенными целебной силой, а сам паланкин вместе с мощами святого хранился за главным алтарем собора Св. Павла. Мощи Эркенвальда находились в запаянном свинцовом контейнере «в форме домика с заостренной крышей или церкви» — таким образом, в святилище как бы хранился символический образ самого города.

Культ Эркенвальда пережил несколько столетий — в этом можно усмотреть очередное свидетельство набожности или легковерия горожан. Одно чудо совершилось в Стратфорде, на месте нынешнего промышленного комплекса на реке Ли, а еще ряд чудес, о которых сообщают источники, — в непосредственной близости от самого собора Св. Павла. Чудом может считаться уже то, что останки святого Эркенвальда уцелели в огне множества пожаров, не пощадивших собор, особенно во время Великого пожара 1087 года, после которого они были помещены в серебряную раку, подобающую этому Lundoniae maxime sanctus, или «наисвятейшему из всех лондонцев». Мы читаем, как монахи из аббатства перенесли мощи святого в новую великолепную усыпальницу тайно, под покровом ночи, ибо днем эта операция могла бы вызвать массовую истерию. Такое преклонение перед святыней было свойственно отнюдь не только простому люду. Еще в начале XVI столетия к гробнице святого Эркенвальда совершали паломничество самые преуспевающие лондонские юристы: после того как их провозглашали служителями закона («seijeants of law»), они целой процессией направлялись в собор, дабы почтить память великого

святого.

Легенды о почивших святых могут показаться не относящимися к делу, но они были неотъемлемой частью лондонской жизни. Впервые перенеся мощи Эркенвальда в собор, горожане зачитали следующую декларацию: «Мы сильный и крепкий народ, который… низвергнет и покорит города, знаменитые войсками и оружием, прежде чем откажется от слуги Божьего, нашего защитника… и мы полагаем за честь, что наш славный град и богопослушная паства имеют столь могущественного покровителя». В западной части города XXI века есть улица под названием Эрконуолд-стрит, так что мы до сих пор можем считать покровителем Лондона этого выдающегося святого, чей культ процветал более восьми сотен лет и лишь в последние четыре столетия пребывал во временном забвении.

Итак, средневековый город может быть понят по-разному в зависимости от того, что мы в первую очередь принимаем во внимание — его тягу к насилию или его набожность, его коммерческие императивы или его духовные предписания. В конце каждого трудового дня раздавался колокольный звон и гирьки всех продавцов взвешивались и проверялись у креста на базар-

ной площади. Можем ли мы сказать, что главы Лондонской церкви полностью обмирщились? Или что горожане, алчные до денег и способные на невероятную жестокость, были такими уж одухотворенными? Такая постановка вопроса пробуждает глубокий интерес к жизни средневековых лондонцев. Возможно, деловые хлопоты и бремя будничных забот воспринимались ими через призму вечности. Возможно, жестокость была так распространена лишь потому, что жизнь, в противоположность бессмертной душе, ценилась относительно невысоко. Тогда город видится истинным домом падшего человечества.

ДАЛЬШЕ И ВЫШЕ

Глава 8
Довольно мрачные и узкие

Чрезвычайно живое и подробное описание Лондона эпохи Тюдоров оставил Джон Стоу, великий антиквар-историограф XVI века. Он писал о беспрерывно возникающих вне городских стен новых улицах и зданиях, о «посягательствах застройщиков на большие и малые дороги, на общинные земли». Где прежде теснились сараи или лавчонки, в одной из которых некая старая женщина торговала «семенами, кореньями и травами», теперь стояли новые дома, «во множестве возводимые по обе стороны все дальше и все выше, иные в три, в четыре, в пять этажей». Рост — это неизменное, исконно присущее городу состояние, но, когда оказалась затронута старинная топография окрестностей Кордуэйнер-лейн, знакомых Стоу с детства, он на этот рост посетовал.

Вслед за Джоном Стоу мы можем пройти по Бутчерз-элли (Мясницкому переулку) близ бойни Сент-Николас и Стинкинг-лейн (Вонючего переулка), где он пустился в рассуждения по поводу растущих цен на мясо. В старые дни, писал он,

упитанного быка продавали «самое большее» за 26 шиллингов 8 пенсов, а упитанного ягненка — за шиллинг, ну а «теперешнюю цену все знают, и ее нет нужды приводить». Обилие подобных местных примет резко выделяет Стоу среди хронистов и историков города. О нем было сказано, что «он описывает res in se minutas[19], описывает игрушки и безделицы, будучи столь жадным до угощения, что не может пройти мимо Гилдхолла без того, чтобы его перо отведало добрых тамошних чернил».

Именно это делает его выдающимся наблюдателем городской жизни и выдающимся лондонцем. В его книге «Обзор Лондона» содержится подробный, навеянный непосредственными впечатлениями рассказ о больших и малых улицах, по которым он ходил всю жизнь.

Он родился в 1525 году. Его отец и дед, как, возможно, и более далекие предки, торговали сальными свечами и жили то ли на Треднидл, то ли на Тринидл-стрит; Томас Кромвель, приближенный и советник короля Генриха VIII, захватил там часть сада, принадлежавшего отцу Стоу, и Стоу с горечью отметил, что «внезап-

---

[19] Примечания: 19
Предмет в его мелочах *(лат.)*.

ное возвышение некоторых лиц побуждает их в иных случаях забываться». Указаний на то, где Стоу мог получить образование, почти нет — известно лишь, что он, скорее всего, посещал одну из бесплатных лондонских классических школ. Он вспоминал, как ходил на ферму, принадлежавшую женскому монастырю Майнориз, откуда «я многажды приносил домой молоко, платя по полпенса». Это означает, что в ту пору еще существовали пастбища, подходившие к самым городским стенам. Более о своем детстве и юности он не сообщает ничего. Нам известно, впрочем, что он занимался портняжным делом и приобрел дом у колодца близ городских ворот Олдгейт и недалеко от фермы, где он мальчиком покупал молоко; подлинные его труды тогда, однако, еще не начались.

Антикварные штудии — инстинктивная страсть многих лондонцев, и Стоу остается величайшим образцом лондонского антиквара. Уместно и показательно, что первым его книжным трудом было издание Чосера; наследие этого великого лондонского поэта стало начальным предметом его внимания, после чего он обратил взгляд на город, взрастивший чосеровский гений. Он занялся изучением лондонских архивов, пер-

воначально хранившихся в Гилдхолле, на правах «платного хрониста»; его легко представить себе среди полос пергамента, рукописных свитков и томов с потрескавшимися корешками прилежно пытающимся разобраться в истории родного города. В «Кратком переложении английских хроник», ставшем одним из его первых трудов, он писал: «Вот уже восемь лет как я, видя плачевное состояние наших английских хроник последнего времени, позабыв о личных своих выгодах, посвящаю себя исследованию наших знаменитых древностей». Это может навести на мысль, что ради исторических штудий он оставил портняжное ремесло, однако дошедшие до нас документы показывают, что он некоторое время продолжал прежнюю деятельность. Он сетовал на то, что его кличут «паршивой колючкой», как уничижительно называли людей, зарабатывающих на жизнь шитьем, и он пожаловался однажды в суде, что сосед швырялся в его ученика камнями и кусками черепицы.

«Древности» встречались вокруг него повсюду. В нескольких шагах от его дома, между Биллитерлейн и Лайм-стрит, «примерно в двух фатомах глубины» под землей были погребены стена и каменные ворота. Их обнаружили в 1590 году во

время сноса строений; Стоу исследовал любопытную находку и пришел к выводу, что старинная кладка относится ко временам короля Стефана, правившего с 1135 по 1154 год. Уровень лондонской земли постоянно повышался — город снова и снова застраивался на прахе и руинах былых своих воплощений. Стоу исходил его вдоль и поперек; он признался однажды, что его труды стоили ему «многих миль изнурительных хождений, многих тяжким трудом заработанных пенсов и фунтов, многих бдений над книгами холодными зимними ночами». Он был высоким и худощавым человеком, «приятным и приветливым на вид; его зрение и память были изрядно хороши; он был весьма рассудителен, мягок и любезен со всеми, кто обращался к нему за сведениями».

Сообщать сведения было о чем, ибо в начале XVI века Лондон воистину был раем для исследователя древностей. Стоу многократно упоминает о больших зданиях «былых времен со сводчатыми подвалами и каменными воротами», датируемых XI–XII веками; кое-где сохранились стены, колонны и мостовые эпохи римского владычества. Немалая часть кирпичей и каменной кладки, оставшихся от тех ранних времен, уже была

использована для нового строительства, но нет сомнений, что многие вещественные памятники I века в изрядном числе так или иначе продолжали существовать в последующие периоды лондонской истории. Однако многое разрушалось — в частности, и в то время, когда Стоу вел свои наблюдения. Религиозная Реформация Генриха VIII стала причиной резкой перемены не только в верованиях лондонцев, но и в строениях, которые их окружали. Расшатывалась структура католического сообщества, которую горожане в прошлом так рьяно поддерживали; неуверенность и замешательство лондонцев, в свою очередь, имели следствием изменения в структуре самого города, где монастыри, часовни и приделы Богоматери подвергались разграблению или разрушались совсем. Ликвидация аббатств, церквей и странноприимных домов при монастырях, в частности, означала, что весь город пребывал в лихорадочном состоянии сноса и строительства. Иные его части, судя по всему, напоминали обширные строительные площадки, тогда как другие районы медленно загнивали, приходя, по словам Стоу, «в плачевный упадок».

Лондон, помимо прочего, был городом руин. Стоу упоминает об останках «старинного здания

суда» на Олдерменбери-стрит, которые использовались теперь как «плотницкий склад». Большой дом мэра на улице Олд-Джури последовательно становился синагогой, монастырем, жилищем знатного господина, домом купца и, наконец, «винной таверной» под названием «Ветряная мельница». Часовня превратилась в «склад и лавки, выходящие на улицу, с жилыми покоями над ними», жилища епископов становились доходными домами, и так далее. Согласно другим документальным источникам, обитель цистерцианцев была «разрушена до основания» и на ее месте выросли склады, доходные дома и «печи, где пекутся морские галеты». На месте снесенного монастыря Майнориз, где жили монахини Ордена св. Клары, были возведены склады; церковь, принадлежавшая Братству крестоносцев, превратилась в плотницкую и теннисный корт; храм доминиканцев был переделан в сарай, где хранились повозки и реквизит для уличных представлений (знаменательно, что на этом месте впоследствии возник театр Блэкфрайарс). Монастырь Сент-Мартин-ле-Гранд также снесли, и на его развалинах построили таверну.

Примеров можно привести еще немало, но главное заключается в том, что после Рефор-

мации немалая часть Лондона, каким он был в конце тюдоровской эпохи, лежала в руинах, и среди лавок и жилых домов, тянувшихся по сторонам больших и малых улиц, нередко можно было увидеть кусок стены, ворота или старинную сводчатую оконницу. Даже за пределами стен Сити, там, где между Стрэндом и рекой стояли дворцы епископов и знати, вся эта роскошь была, по словам венецианского посла, «обезображена развалинами множества церквей и монастырей».

Но, при всех сетованиях из-за утраченного, обновление давало повод и для похвалы. Стоу с одобрением отмечает, что на Годдсмитс-роу между Бред-стрит и Чипсайд-кроссом лавки и жилые дома, построенные всего за тридцать пять лет до его рождения, были теперь «украшены с фасада гербами гильдии золотых дел мастеров… установленными на спинах громадных зверей. Все это отлито из свинца, богато раскрашено и вызолочено». Путешественник XV века Доменико Манчини обратил внимание в этом же районе Лондона на «золотые и серебряные кубки, яркие ткани, разнообразные шелка, ковры, гобелены». Все это — характерные черты тюдоровского Лондона. К примеру, снесли старинную церковь,

но на ее месте, отмечает Стоу, воздвигли «превосходное прочное деревянное строение… где проживают люди разнообразных родов занятий». Ликвидировали древний крест, и там, где он стоял, соорудили великолепный питьевой фонтан. Жилище знатного человека превращается в торговое здание, где продают «сукна, грубую шерсть, фланель и тому подобное». Большое каменное строение, возведенное в глубокой древности, постепенно сносится, и на его месте вырастают «различные красивые дома».

Таков образ жизни Лондона эпохи Тюдоров, такова его энергия. Лондонец до мозга костей, Стоу не может удержаться от перечисления садов, мельниц, каменных и деревянных жилых строений, таверн, питьевых фонтанов, конюшен, складов, постоялых дворов, рынков, доходных домов и помещений для собраний гильдий, где протекала жизнь города.

Былой стереотип богатой лондонской усадьбы, центром которой является дом с внутренним двором, уже не соответствует изменившимся условиям; усадьбы такого рода сносятся ради новой застройки или ужимаются под натиском меньших строений, образующих улицы, которые уже в то время характеризовались как «довольно

мрачные и узкие». Даже дома богатых купцов стали компактнее: на первом этаже — лавка и склад, на втором — зал и гостиная, выше — другие жилые помещения. Сплошь и рядом такие дома насчитывали по пять-шесть этажей с двумя комнатами на каждом; строительными материалами были обычные дерево и известка. В бурлящем городе дефицит пространства был таким острым, что беднота готова была жить в подвалах и на чердаках. Оценки численности лондонского населения могут быть только приблизительными, но приводятся такие цифры: в 1565 году 85 000 человек, а спустя сорок лет — уже 155 000; если добавить сюда жителей той зоны вне городских стен, на которую распространялись лондонские «вольности», цифры увеличатся еще более чем на 20 000. Они указывают, выражаясь по-современному, на демографический взрыв.

Цены на недвижимость поднялись так резко, что на снос даже крохотной лавчонки или домика решались очень неохотно. Рост города имел следствием то, что древние рвы, служившие как для обороны, так и для сброса мусора, были засыпаны и застроены. Главные дороги, ведущие к городским воротам, были «улучшены» и вымощены и в самом скором времени обросли

лавками и жилыми домами. Дорога к Олдгейту, к примеру, была, по словам Стоу, «не только полностью вдоль обстроена зданиями», но и «по обе стороны от заставы густо уснащена всяческими ответвлениями». Даже поля за городской чертой, где в прошлом молодые горожане упражнялись в стрельбе из луков или прогуливались среди ручейков, «ныне, хотя миновало всего несколько лет, уже сплошь застраиваются небольшими коттеджами и домами с садиками, а поля по обе стороны отведены под сады, сушильни для тканей, места для игры в шары и прочее».

Перенаселенность стала настолько серьезной проблемой, что в 1580 году Елизавета I издала специальный указ, где констатировалась «склонность города Лондона [по-старинному названного здесь ею *chamber* — „стольным градом“], его предместий и рубежей к медленному расширению через приток людей, желающих в поименованном городе обитать», из-за которой не стало возможности добывать «пищу и иное необходимое для человеческой жизни по умеренным ценам, без чего ни один город долгое время существовать не может». Другой повод для озабоченности давал рост плотности населения в черте города, «где великие множества обитают в

тесных покоях, и в большинстве своем люди эти очень бедны и даже принуждены нищенствовать или прибегать ради пропитания к еще худшим средствам, и они скапливаются вместе и в своем роде задыхаются от обилия взрослых детей и слуг, живущих с семьями в том же доме или в той же небольшой части его». Этот указ — одно из самых ранних письменных свидетельств перенаселенности Лондона, и его можно считать первым более или менее пространным вариантом мрачной характеристики, дававшейся городу во все последующие времена. Средством, которое решила применить королева, был запрет на «всякое новое строительство домов как для собственного житья, так и для сдачи внаймы на расстоянии трех и менее миль от любых ворот поименованного города Лондона». Высказывалась мысль, что это была первая попытка создать вокруг Лондона «зеленый пояс». Это предположение имеет по крайней мере то достоинство, что оно подчеркивает историческую преемственность в общей массе всех по видимости «современных» планов усовершенствования города; впрочем, скорее указ Елизаветы можно счесть попыткой защитить торговую и промышленную монополию лондонцев, живших внутри городских стен,

которых отнюдь не радовало появление новых лавок и мастерских, не подлежавших юрисдикции их властей.

И этом документе обращает на себя внимание и другое: королева и ее советники по лондонским делам запрещают «размещение и жительство более чем одной семьи во всяком доме, какой до сей поры был обитаем». Идея, выражаемая словами «одна семья — один дом», несомненно, была целью, причем недвусмысленно зафиксированной, немалой части усилий по развитию города в XVII и XVIII веках; ее даже характеризовали как специфически лондонское решение вопроса. Решение это специфично, потому что оно исторично по духу; как пишет С. Э. Расмуссен в книге «Лондон: уникальный город», примененное Елизаветой средство отражает «консервативное тяготение к средневековому способу расселения». Подобным же духом проникнут запрет на любое новое строительство, если только дом не возводится «на старом фундаменте». Это пример той преемственности и того ощущения неразрывности и постоянства, что свойственны Лондону по сию пору.

Указ, однако, не достиг цели. Не прошло и трех лет со дня его появления, как городские власти с

прискорбием признали неуклонный рост числа сараев и жилых строений за пределами городских стен. Преемники Елизаветы регулярно издавали новые указы и распоряжения на этот счет, но ни один из них не был исполнен и не имел ни малейшего успеха в сдерживании роста города.

Истина состоит в том, что рост Лондона не мог — и не может до сих пор — сдерживаться чем бы то ни было. На восток город распространялся вдоль Уайтчепел-Хай-стрит, на запад — вдоль Стрэнда. На севере он прирастал, захватывая Кларкенуэлл и Хокстон; на юге Саутуорк и его окрестности становились, выражаясь словами Стоу, «густо уснащены» местами народных развлечений, тавернами, борделями, площадками для игр и театрами. В свою очередь, Судебные инны, расположенные в Холборне, «предместье» между городом и королевскими дворцами Вестминстера, были расширены и украшены.

Однако сообщение между городом и предместьями оставляло желать лучшего. В последние годы правления Генриха VIII большая дорога от Темпла к «деревне Чаринг», впоследствии ставшая Стрэндом, была, как отмечено в парламентских документах, «чрезвычайно ухабиста и топка, очень опасна… очень плоха и грязна, во

многих местах весьма опасна для всех следующих в ту или иную сторону, будь то верхом или пешим ходом». Усовершенствованные средства передвижения не всегда, однако, приветствовались. Появление наемных экипажей, называемых «каретами» или «колясками», дало Стоу повод заметить, что «все теперь перемещаются на колесах — даже те, чьи отцы были вполне довольны пешим хождением».

В XVI веке, как и во все последующие времена, состояние столичного транспорта было источником постоянных жалоб. Стоу замечает, опять-таки с неудовольствием, что «непривычное обилие карет, подвод, повозок и экипажей при узости улиц и переулков не может не быть опасным, и каждодневный опыт это подтверждает»; опасности эти возрастали, когда кучера принимались гнать лошадей, не интересуясь тем, что впереди, или в тех нередких случаях, когда нетрезвые возничие затевали яростные уличные споры о том, кому проехать первым. А шум стоял такой, что «сама земля дрожит и трясется, окна стучат, гремят и дребезжат».

Условия городской жизни, однако, значительно улучшились — по крайней мере для тех, кому пришлись по карману новые «роскошества».

Там, где раньше стояли лавки, покрытые соломенными тюфяками, теперь имелись подушки и прочие постельные принадлежности; даже небогатые горожане ели уже не из деревянной, а из оловянной посуды, и даже дома средней руки могли похвастаться внутренней обшивкой стен, медными светильниками, полотном тонкой выделки и буфетами, полными изделий из зеленого глазурованного фаянса — блюд, кувшинов, горшков. Развилась также мода на кирпичные и каменные камины, что, в свою очередь, повлияло на облик и атмосферу Лондона.

Город отдал часть своей независимости парламенту и королю — вплоть до того, что принимал рекомендации Генриха VIII по поводу кандидатуры на пост мэра; зато он стал признанной столицей единого государства. Муниципальный идеал уступил место национальному — и как могло быть иначе в городе, где немалую часть населения составляли теперь пришлые люди? Новые горожане прибывали из всех частей Англии, от Корнуолла до Камберленда (было подсчитано, что во второй половине XVI века уже каждый шестой англичанин был лондонцем), и число приезжих из других стран росло все быстрей и быстрей, что делало город воис-

тину космополитическим. Смертность была так высока, а рождаемость так низка, что без этого притока торгового и рабочего люда население города неуклонно сокращалось бы. Однако оно все росло и росло за счет пивоваров и переплетчиков из нидерландских провинций, портных и вышивальщиков из Франции, оружейников и красильщиков из Италии, ткачей из Нидерландов и других стран. На Чипсайде жил некий «мавр» (то есть африканец), изготовлявший стальные швейные иглы и никому не желавший выдавать секреты своего ремесла. Мода следовала за людьми, а люди, как могли, старались следовать моде. В годы правления Елизаветы I (1558–1603) возникло бесчисленное множество шелковых лавок, торговавших разнообразными товарами, от золотых ниток до шелковых чулок, и ко времени ее восшествия на престол относится сообщение о том, что ни один сельский джентльмен не рад «головному убору, плащу, камзолу, чулкам, сорочке… если только вещи эти не куплены в Лондоне».

Став средоточием моды, Лондон стал также и средоточием смерти. Смертность была здесь выше, чем в любой другой части страны; двумя главными убийцами были чума и «потница». В

бедных приходах ожидаемая продолжительность жизни равнялась двадцати — двадцати пяти годам, в более богатых — тридцати — тридцати пяти. Разгул смертельных болезней — одно из объяснений того очевидного факта, что Лондон XVI века был молодым городом. Люди, которым не было тридцати, составляли очень большую часть городского населения, и приведенная статистика помогает понять ту неуемную энергию, какой отличалась городская жизнь во всех ее формах.

Самый яркий пример этой неуемности дает буйное племя молодых людей, состоявших в учениках у ремесленников. То был чисто лондонский феномен. Ученики были связаны строгими договорными статьями, и вместе с тем их отличали пыл и чуть ли не лихорадочная возбудимость, то и дело выплескивавшиеся на улицы. Они «либо рассиживаются в тавернах, дурманя головы вином, либо набивают в чипсайдском „Кинжале“ животы пирогами с рубленым мясом; но главная их потеха, как водится у лондонских учеников, — провожать по воскресеньям своих мастеров до церковных дверей, а там покидать их и разбегаться по тавернам». Сохранились сообщения о разнообразных потасовках и «буйствах», жертвами которых становились обычно иноземцы,

«ночные прохожие» и слуги знатных людей, перенимавшие, как считалось, господскую спесь. Распоряжение 1576 года предостерегало учеников от того, чтобы «обидеть, подвергнуть нападению или дурному обращению идущего по улице слугу, пажа или лакея любого господина или знатного лица». Часто возникали беспорядки после футбольных матчей; например, за «возмутительное и буйное поведение во время игры в футбол на Чипсайде» трое молодых людей были посажены в местную тюрьму. Но в пьяные головы могло прийти и нечто более жестокое и угрожающее. Ученики, ремесленники и городские подростки приняли участие в беспорядках 1 мая 1517 года, когда были разграблены дома иностранцев. В последнем десятилетии XVI века смут и мятежей было еще больше, но, в отличие от других крупных европейских городов, Лондон никогда не становился нестабильным или неуправляемым в целом.

Записи, сделанные заграничными путешественниками, свидетельствуют об уникальности тогдашнего Лондона. Человек, приехавший из Греции, отметил, что сокровища Тауэра, «как утверждают, превосходят знаменитые с древних времен богатства Креза и Мидаса»; швейцарский

студент-медик написал, что «не Лондон находится в Англии, а наоборот, Англия в Лондоне — так здесь говорят». Посетителям столицы предлагали стандартную поездку по городу в сопровождении гида: вначале им показывали Тауэр и Королевскую биржу, затем их препровождали в западную часть Лондона осматривать Чипсайд, собор Св. Павла, Ладгейт и Стрэнд, а напоследок их взорам открывалось величественное зрелище Вестминстера и Уайтхолла. Улицы были вымощены не всюду, однако поездка верхом была все же, как правило, предпочтительней плавания по Темзе. Джордано Бруно, мистик и зоркий наблюдатель, оставил яркое описание своих попыток нанять в Лондоне гребное судно. Он и его спутники, желая попасть в Вестминстер, вначале очень долго искали лодку и тщетно кричали: «Гребцы, сюда!» Наконец подошла лодка, где на веслах сидели двое мужчин в возрасте. «После многих вопросов и ответов — откуда, куда, почему, как и когда — они подвели корму к причалу». Итальянцы решили было, что наконец недалеки от цели, но вдруг, одолев примерно треть пути, перевозчики погребли к берегу. Они, мол, достигли своей «остановки» и дальше не поплывут. Эпизод, конечно, незначительный, но он отражает грубость

и упрямство, которые иностранцы считали характерными чертами лондонского поведения. Столь же типично, по-видимому, то, что, выйдя на берег, Бруно обнаружил только чрезвычайно грязную и топкую тропу, по которой он вынужден был двигаться, словно сквозь «мрачную преисподнюю».

В других дошедших до нас свидетельствах подчеркиваются склонность лондонской черни к насилию и ее нелюбовь к иноземцам. Один французский врач, побывавший в Лондоне в 1552 или 1553 году, отметил, что «здешние простолюдины горды и мятежны… эти мерзавцы ненавидят всех чужаков, откуда бы они ни прибыли», и даже «плюют нам в лицо». На иностранцев нападали также банды учеников и подмастерьев; как-то раз один путешественник увидел некоего испанца, который, осмелившись выйти на улицу в национальном костюме, вынужден был искать убежища в чьей-то лавке. Уже упомянутый швейцарский студент-медик выразился, возможно, слишком мягко, когда заметил, что «простонародье отличается некоторой грубостью и недостатком культуры… они знать не желают ничего, что находится за пределами Англии».

Детали, подмеченные иностранцами, помога-

ют получить живое представление о характере города. Один приезжий обратил внимание на обилие коршунов, которые, будучи «совсем ручными», по-хозяйски расхаживали по улицам; они очищали город от падали и отбросов, и мясники швыряли им потроха. С количеством мясных лавок могло сравниться только количество таверн. Было также отмечено стремление горожан обособиться друг от друга. Домовладельцы отгораживались от соседей каменными стенами; нечто подобное наблюдалось в тавернах, где устанавливались деревянные перегородки, «дабы сидящие за одним столом не видели, что делается за другим». В кипучей городской тесноте, в лондонском многолюдье подобные попытки защитить свою частную жизнь были, возможно, естественны и закономерны, однако, сверх этого, они указывают на существенную и постоянную отличительную черту лондонцев.

Другой автор путевых заметок сообщает, что «на улицах мужчины, женщины и дети вечно что-то жуют между обычными трапезами». Те же дети, отвлекаясь от грызения яблок и щелкания орехов, «собирали кровь, протекшую между досками эшафота», после казни отсечением головы на площади Тауэр-хилл. Палач при этом был в

белом фартуке, «похожем на мясницкий». Круг, таким образом, замыкается: нашим глазам предстает город, где владычествуют насилие, кровь, мясо и неуемный всепожирающий аппетит.

Глава 9
Темно в глазах от многолюдья

Одна из улочек средневекового Лондона называлась Дарк-лейн — Темный переулок; там находилась таверна под названием Даркхаус — Темный дом. Этот узкий городской путь был затем переименован в Даркхаус-лейн, и его можно видеть на картах Лондона XVIII века. Сейчас здесь набережная Даркхаус-уорф, над которой возвышается главное здание Гонконгского банка, одетое в темно-синюю сталь и темное стекло. Так город бережет темную свою, потаенную жизнь.

Пыль, грязь, сажа, речные наносы и уголь были источниками постоянного недовольства. «Сколь плотно покои ни замыкай, — жаловался в XVII веке Джон Эвелин, — по возвращении видишь, что все находящиеся в них предметы равномерно покрыты тонким слоем черной копоти». В том же столетии один венецианский священник описал «особого рода мягкую и вонючую грязь, которой город этот изобилует во все времена года, так что он скорее заслуживает наименования Lordo [Грязный], чем Londra [Лондон]». «Грязь города

сего» также характеризовалась как «жирная и черная, похожая на густые чернила». В XVIII веке дорога за Олдгейтом «напоминала глубокое застойное озеро, наполненное грязью»; на Стрэнде грязные лужи достигали в глубину трех-четырех дюймов, так что грязь «летела внутрь экипажей, если окна их были отворены, и забрызгивала понизу стены домов». Когда улицы не были залиты грязью, они задыхались от пыли. Даже в середине XIX века, согласно журналу «Куортерли ревью», в Лондоне не было ни одного мужчины и ни одной женщины, «чьи кожа, одежда и ноздри не были бы с неизбежностью и той или иной степени загрязнены смесью гранитной пыли, копоти и веществ еще более тошнотворных». Говорили, что собору Св. Павла сам бог велел закоптиться, потому что деньги на его строительство дал налог на каменный уголь; непонятно, однако, чем провинились городские животные и птицы, на которых дым и грязь действовали столь же сильно. Оперение горихвосток и ласточек было забито сажей, и считалось, что лондонская пыль затрудняет дыхание и притупляет органы чувств вездесущих пауков. Все существа были так или иначе затронуты; персонаж романа Айрис Мердок «Черный принц», живущий во второй

половине XX века, заявляет: «Я ощущал густую отвратительную лондонскую грязь — ощущал ступнями, ягодицами, спиной».

Но дело не только в грязи материальной. Существует рисунок Джорджа Шарфа, выполненный в конце 1830-х годов и, как все прочие его работы, весьма законченный и подробный. На рисунке изображен Фиш-стрит-хилл, и на переднем плане на фигуры людей и фасады домов легла громадная чернота; фактически это тень от Монумента, находящегося вне рамки рисунка, однако с помощью этой тени Шарф сумел передать нечто присущее природе самого Лондона. Этот город всегда был городом теней.

Как писал в 1931 году Джеймс Боун, автор книги «Прогулки по Лондону», «впечатление создается присутствием больших теней там, где их, казалось бы, не должно быть, — теней, повсюду бросающих свою черноту». Таков и образ Лондона в стихах Верлена: «l'odieuse obscurity… quel deuil profond, quelles tenebres!.. la monstrueuse cite»[20]. Немалой части шифера, использованного в лондонских зданиях, присуще то, что геологи называют тенями давления, но тени эти мало-

[20] Примечания: 20

«Отвратительная темнота… какая глубокая печаль, какой мрак!.. чудовищный город» *(фр.).*

заметны по соседству с почерневшими стенами из портлендского камня. Один иностранный путешественник заметил, что улицы Лондона так темны, что горожане, кажется, рады, как дети в лесу, поиграть в прятки, используя перепады освещения; летом 1782 года Карл Мориц писал, что «дома в большинстве своем поразительно темны и мрачны». Мрачность эта произвела на него сильное впечатление: «В этот миг я не мог мысленно уподобить наружный облик Лондона облику какого бы то ни было города из всех, где я побывал».

В Средние века в городе насчитывалось почти два десятка Грязных переулков, Грязных холмов и Грязных улиц; не обошлось без Чернильного тупика, Поганого переулка и Мертвецкой площади. Ломбард-стрит в Сити — в самом центре капиталистического империализма — была улицей чрезвычайно мрачной. В начале XIX века кирпич ее домов был таким черным от дыма, что трудно было понять, где кончается стена и начинается дорожная грязь. Ныне — в XXI веке — эта улица все так же узка и мрачна, и ее каменные стены эхом отзываются на торопливые шаги прохожих. Она почти с таким же правом заслуживает наименования «черное сердце Лондона», как в XIX

столетии, когда эти слова написал Натаниел Готорн. Его соотечественник Генри Джеймс, в свою очередь, отметил «мертвенный мрак», но он упивался этим мраком, как будто был «урожденным лондонцем». В 1870-е годы Ипполит Тэн нашел лондонскую тьму просто-напросто «ужасающей»; на отдалении дома выглядели «чернильными пятнами на промокательной бумаге», а на более близком расстоянии становилось видно, что их «высокие, плоские, прямые фасады сложены из потемневшего кирпича». Лондонская тьма, судя по всему, запала Тэну в душу: у него возникают сумеречные образы «фабрики, вырабатывающей животный уголь» (с ней он сравнил лондонское жилище), «отвратительно закопченных портиков», стен, где «каждая выемка зачернена», «длинных рядов слепых окон», колонн, чьи канелюры «забиты чем-то жирным и мерзким, как будто по ним стекала липкая грязь».

С тьмой этой были накоротке и другие авторы. Чарлз Бут, рассказывая в проникнутом сочувствием многотомном исследовании «Жизнь и труд лондонцев» об Уайтчепеле XIX века, отмечает, что столы бедняков «черны» от мух, облепляющих любую поверхность, и что на внешних стенах домов на уровне бедра видна «широкая грязная

полоса, показывающая место, где, прислонясь, вечно стоят мужчины и подростки».

Картины болезни и апатии, которые рисует Бут, еще более сгущают темноту Лондона, словно бы воплощающую в себе тень, отбрасываемую богатыми и могущественными на неимущих и обездоленных. Воздействие индустриальной революции — в Лондоне, правда, менее ощутимое, чем в некоторых северных промышленных городах, — сделало эту тень еще более темной. Развитие фабрик и рост числа мелких мастерских, сопровождаемые увеличением потребления угля в городе, который уже в начале XVIII века был промышленным центром Европы, усугубляли лондонский мрак.

Слово «темный» может означать и «неясный, тайный», и названия многих трудов, посвященных городу, подчеркивают это ощущение скрытности; среди них — «Неизвестный Лондон, его роман и трагедия», «Лондон, о котором никто не знает» и «Лондонские тени». Скрытность эта относится к самой сути города. Джозеф Конрад в «Тайном агенте» (1907), назвав город «наполовину потерянным в ночи», откликнулся на слова Чарлза Диккенса, написанные им семьюдесятью годами ранее в «Очерках Боза»: «Чтобы верно

увидеть улицы Лондона в их великолепии, вначале на них нужно взглянуть темной, угрюмой, тяжкой зимней ночью». Тон здесь ироничен, но смысл вполне серьезен. В последней своей оконченной вещи Диккенс вернулся к тем же образам, описывая «черный пронзительный город», «черствый город», «безнадежный город без единого просвета в свинцовом пологе его небес». Тьма принадлежит к самой сути города; она входит в подлинное его «я»; она в буквальном смысле владеет Лондоном.

Глава 10
Карты и антиквары

История Лондона отражена в истории его карт. Их можно воспринимать и как символические образы города, и как попытки обуздать его беспорядок с помощью фигур столь же изменчивых, сколь гармоничных. От первой большой оттиснутой с медных пластин карты середины XVI века до схемы линий метрополитена конца XX века лондонская картография неизменно стремится осмыслить хаос и тем самым умерить его; по существу она стремится познать непознаваемое.

Вот почему первая карта, которой пользовался сам Джон Стоу, всегда была источником удивления и любопытства. Она была награвирована на медных пластинах неизвестной нам рукой, однако все признаки указывают на то, что эта тщательно изготовленная карта была заказана королевой Марией I. В полном виде (до нас дошли только три фрагмента) шириной она была примерно в восемь футов, высотой — в пять футов; она охватывала весь город, включая предместья. В некоторых отношениях она исключительно

подробна: изображены даже весы Леденхолльского рынка, как и собачьи конуры в некоторых садах; аккуратно указаны местоположение того или иного дерева и количество ведер у того или иного колодца; на полях Мурфилдс расстелены для просушки рубахи и постельное белье, на близлежащих пастбищах мужчины упражняются в стрельбе из мушкетов и луков. Видны также церкви и то, что осталось от монастырей, причем многие из них даны настолько подробно, что мы можем отличить деревянные строения от каменных. Шекспировский Джон Гант сравнил омывающее Англию море со «рвом защитным», окружающим дом; мы знаем теперь, что зрители, направлявшиеся к театру «Глобус» через Шордич, миновали как раз такой окруженный рвом дом, который находился вне Лондона на дороге, пересекавшей поля Финсбери. Поскольку карта эта, помимо прочего, является оригиналом, на котором основано большинство карт Лондона XVI и начала XVII веков, в ее контурах мы можем увидеть самый ясный и значительный образ города.

В некоторых отношениях, однако, эта карта неизбежно отходит от реальности. Ради изображения главных улиц картограф пожертвовал лабиринтом мелких переулков и дорог; город,

можно сказать, подвергся чистке. Чтобы карта производила более однородное и приятное впечатление, ее автор пренебрег также количеством и разнообразием строений. Горожане, изображенные за работой или за игрой, даны в несоразмерно крупном масштабе, и это наводит на мысль, что картограф хотел подчеркнуть человеческий аспект города. Как бы то ни было, это замечательная гравюра, и не случайно она стала вдохновляющим образцом для авторов более поздних карт того времени.

Например, одна цветная карта Лондона, относящаяся к середине эпохи Тюдоров и известная под названием «Карта Брауна и Хогенберга», представляет собой уменьшенную копию величественного оригинала. Здесь городу придана компактность, и, хотя в его линиях на карте нет ничего символического или аллегорического, они в силу некой инстинктивной потребности авторов гармонируют с природным окружением; речные суденышки плывут по торговым и иным делам грациозным строем, а главные городские улицы словно бы имитируют водный путь с его естественными изгибами. Карта изображает «прекрасный город», как Лондон назван в одном из источников того времени, однако есть у нее и

другой многозначительный аспект: на переднем плане, вне всяких пропорций, стоят четверо лондонцев. Мужчина постарше одет по-купечески, на нем плоская шапка и кафтан с меховой опушкой; по правую руку от него стоит его ученик в короткой верхней одежде, напоминающей дублет, с мечом и небольшим круглым щитом; жена купца облачена в незатейливое голубое платье поверх испанской юбки с фижмами; на ее служанке простое платьишко и передник. Скромные фигуры — но они стоят на холме, возвышающемся над Лондоном, как подлинные его представители. Карту в целом можно рассматривать как рекламный образ коммерческой мощи Лондона, тогда как суда на Темзе позади четырех лондонцев подчеркивают его статус портового города.

Сходным образом обе величественные панорамы Лондона, созданные до того, как пожар 1666 года полностью уничтожил его былой облик, делают реку отправным элементом замысла. Панорама Холлара 1647 года затмила речные виды, созданные Антони ван ден Уингардом, однако работа Уингарда имеет то достоинство, что показывает кипучую жизнь на Темзе. Лодочники гребут, рыбаки ловят рыбу. Какие-то путники ждут у Старгейтского конского перевоза, другие

движутся по Саутуорк-Хай-стрит к Лондонскому мосту.

Более мощно выполненная гравюра Холлара — это, вероятно, самая красивая и гармоническая из всех лондонских панорам. В этом произведении Лондон предстает неким всемирным городом, чьи горизонты едва видны глазу. Художник стоит на крыше церкви Сент-Мэри-Оувери на южном берегу Темзы, поэтому передний план гравюры занимают впечатляющие скопления крыш и фасадов у Лондонского моста. Дымовые трубы и окна, черепичные и деревянные крыши общей массой своей выражают мощное присутствие города, уже утвердившегося и за южным концом моста; на Темзе, помимо бесчисленных небольших лодок, можно насчитать почти восемьдесят крупных судов, а сама река являет собой огромное вместилище света и пространства, придавая Лондону некую особую монументальность. На южном берегу, где среди крыш и дымовых труб Холлар открывает нашему взгляду два коротких отрезка улиц, различимы и более живые, мелкие подробности. Мы видим собаку, всадника, гуляющие пары, там и тут одиночные фигуры; все это навеки замерло, запечатленное художником как часть лондонского узора. С занятого Холларом

высокого наблюдательного пункта виден обнесенный стеной сад, а за ним два круглых здания, помеченные надписями «Глобус» и «Медвежья травля». Еще дальше лежат поля, где пасутся лошади. Северный берег Темзы покрыт лесом крыш и церковных шпилей; хотя шпиль собора Св. Павла был сожжен молнией примерно восемьюдесятью годами раньше, его здание по-прежнему доминирует на заднем плане, выделяясь на фоне неба. Оно высится над улицами и речными берегами, где люди либо работают, либо дожидаются судна или кареты. На востоке — от Тауэра до Шадуэлла — идет сплошное строительство, на западе видимая полоса города простирается до Уайтхолла. Создается впечатление кипучей деятельности в величественной перспективе, впечатление города в одеянии славы. Дополняют картину фигуры античных божеств, которые словно бы представляют нам панораму и сами же ей аплодируют; в частности, над собором Св. Павла парит фигура Аполлона.

Это, возможно, прекраснейшее изображение Лондона из всех и, безусловно, лучший запечатленный облик города, каким он был до Великого пожара 1666 года. Более поздние карты, выполненные Норденом, а также Ньюпортом и

Фейторном, по стилю и духу напоминают первую грандиозную карту, гравированную на меди. Точно так же знакомая всем нам современная схема лондонского метро лишь развивает и дополняет первую такую схему, созданную в 1933 году с вполне конкретной целью. Ранняя схема метро не слишком точна по части местоположения станций и рисунка линий, но она оказалась настолько приятной эстетически, что в главном очертания эти не претерпели с той поры никаких изменений.

В 1658 году Вацлав Холлар создал еще одну гравюру, на сей раз изображающую западную часть города. Мы видим, что за прошедшие годы очередные участки полей, расчерченных изгородями и сельскими тропинками, уступили место площадям, улицам и зданиям. Есть дома в несколько этажей, есть поменьше и поскромнее, однако все они вписываются в приятный симметричный рисунок, которого, конечно, в действительности не было. Задним числом обращает на себя внимание и другое. Улицы и открытые участки полностью лишены человеческих фигур и каких-либо иных признаков активной жизни: город стал слишком большим для того, чтобы можно было даже символически обозначить присутствие в нем

жителей, и он уже кажется некой громадной застроенной пустыней, безмолвно ожидающей уничтожения пламенем Великого пожара.

Размах этого уничтожения, этого опустошения виден по другой гравюре того же Холлара. Она была окончена в 1667 году и являет нашему взгляду сметенный с лица земли город: четыреста с лишним акров выбеленных очертаний. Схематически изображены развалины церквей, тюрем и главных общественных зданий, прочее же — пустое пространство с темными островами пощаженных огнем участков.

Спустя считанные дни после пожара появились, однако, различные карты нового, воображаемого Лондона. Это были чисто визионерские творения. В определенной мере они напоминают схемы городов, величественно застраивавшихся уже в XIX веке по заранее разработанным проектам, — например, Парижа или Нью-Йорка. Многие из лондонских градостроительных планов XVII века предусматривали решетчатую систему пересекающихся главных улиц, в которой важнейшие общественные здания связывались между собой большими авеню. Рен и Эвелин замышляли гуманный и цивилизованный город, возводимый по предначертанной схеме; некоторые

их современники изобретали математически изощренные системы улиц и площадей. Эти благородные планы не могли, однако, воплотиться в жизнь, поскольку противоречили самой природе города, его внутренней сути. Древние основания Лондона лежат на такой глубине, что их не может затронуть никакой пожар, и дух этого места остался каким был.

Вопреки картографическим образам, Лондон не является ни цивилизованным, ни благородным, ни милосердным городом. Он извилист, нечеток и жесток. Он хотя бы потому не мог быть отстроен заново согласно точному математическому плану, что долгая история его улиц и домовладений означала наличие запутанной сети собственников со своими притязаниями и привилегиями у каждого. Это социальный и топографический факт, но он, в свою очередь, проливает свет на другой, не менее ощутимый аспект Лондона. Этот город покоится не на необходимости того или иного рода, а на прибыли и спекуляции, и поэтому никакой мэр и никакой монарх не в состоянии ничего поделать с его глубинной органической волей.

Вот почему карта восстановленного Лондона, опубликованная через десять лет после пожара,

показывает город, возвращенный приблизительно к исходному состоянию. Возникла одна новая крупная артерия, ведущая от реки к Гилдхоллу — новая Куин-стрит, переходящая в новую Кинг-стрит, — но сеть окрестных улиц (Милк-стрит, Вуд-стрит, Олдерменбери, Олд-Джури и так далее) возродилась в прежнем виде. После введения более жестких строительных правил, связанных с противопожарными мерами, большие улицы были расширены, однако в главных своих элементах топография района не изменилась.

Карта, однако, демонстрирует новшество иного рода. Работавшие над ней топографы Джон Огилби и Уильям Морган заявили, что нанесут на нее «все малые и боковые улицы, все переулки, тупики и дворы, все церкви и погосты», используя научные принципы «измерения и топографической съемки» посредством теодолитов и угломеров. Впервые город сделался объектом научных обмеров, вследствие чего его невозможно уже стало изобразить как некое эстетическое или гармоническое целое. Парадоксально, но он стал теперь фрагментарным, хаотическим, непознаваемым. Двадцать страниц, где представлены результаты всех этих топографических манипуляций, расчерчены прямоугольниками

и испещрены цифрами: *i90… B69… C54* и тому подобное; все это предназначено для облегчения поиска и идентификации, но создает общую картину сложной головоломки. Попытка взглянуть на Лондон сквозь призму абстрактных размеров и расстояний делает город непредставимым.

В порядке компенсации развилась мода на путеводители, где Лондон предстает понятным и близким. Отметим среди них «Исторические замечания и наблюдения» Куча (1681), «Современное состояние Лондона» де Лона и «Путеводитель по Лондону» Кольсони (1693). Вышли, кроме того, такие труды, как «Древности Лондона и Вестминстера» с описаниями городских рвов, ворот, школ, больниц, церквей и административных районов.

В XVIII веке подобная литература, делающая упор на «все самое примечательное по части ВЕЛИЧИЯ, ЭЛЕГАНТНОСТИ, ИНТЕРЕСА или же ПОЛЬЗЫ», расцвела пышным цветом. Публиковались также издания, цель которых — дать посетителю или новому жителю Лондона указания о том, как ему вести себя в городе. В одном из них, например, читаем, что, если носильщик портшеза грубит, седоку следует «заметить номер портшеза, как Вы поступили бы с наемной

каретой, и обратиться с жалобой в вышеуказанное учреждение, после чего начальство примет исправительные меры». «Лондонский сборник полезных советов и путеводитель» за 1790 год дает сходный совет, отмечая при этом, что за сквернословие на улице простолюдин подлежит штрафу в один шиллинг, а джентльмен — в целых пять шиллингов. О количестве присужденных к штрафу, однако, ничего не сказано.

Следующая попытка создать исчерпывающую карту Лондона, предпринятая в 1783 году Джоном Роком, высвечивает трудности, ставшие теперь неизбежными: результаты тригонометрических расчетов разошлись с результатами реальных измерений, и в названиях улиц возникла полная путаница. Работа заняла семь лет, и в ее ходе Рок оказался на грани банкротства. План города получился огромным по размерам, и издатели предложили тем, кто захочет его приобрести, наматывать его дома на валик, чтобы он «не мешал расстановке прочей мебели». Однако его ни в коей мере нельзя считать исчерпывающим. В нем опущены мелкие или сочтенные маловажными детали, отсутствуют топонимы и не предпринято попытки изобразить отдельные здания. Для карты, охватывающей около десяти тысяч акров

плотно застроенной земли, это неудивительно, и публикаторы тактично попросили подписчиков без стеснения сообщать обо всех замеченных «неточностях и упущениях». Во многом этот план является импрессионистским: реальные переулки, жилые дома, лавки просто растушеваны в нем серым цветом, сведены к изящным переливам теней. Как пишут авторы «Истории Лондона в картах», плану свойственно «стойкое очарование», но это лишь очарование отдаленности.

В конце XVIII века была изготовлена самая большая карта из всех, когда-либо напечатанных в Англии, — карта, которая передавала огромность, свойственную Лондону уже в то время. Карта Ричарда Хорвуда площадью в девяносто четыре квадратных фута содержала номера домов, названия улиц, отдельные строения. Работа длилась девять лет, и через четыре года после публикации карты Хорвуд, переутомленный и измученный заботами, умер в сорокапятилетнем возрасте. Некоторые из неизбежных трудностей, с которыми он столкнулся, могут быть оценены по количеству поправок в четырех последовательных изданиях. За тринадцать лет поля по соседству с Коммершл-роуд были постепенно застроены отдельными зданиями

и террасами (сплошными рядами однотипных домов). На протяжении двадцати лет количество домов на Майл-энде утроилось. Постоянный и безудержный рост Лондона, можно сказать, убил его картографа.

Цель Хорвуда была во многом утилитарной. Работа шла при финансовой поддержке компании «Феникс», занимавшейся страхованием от огня и бывшей одним из самых видных городских учреждений. Карта рекламировалась как незаменимое подспорье для «возбуждения дел о выселении и восстановлении прав на недвижимость, для сдачи внаймы и передачи в собственность помещений, и так далее». В этом отношении предприятие оказалось успешным — хотя бы потому, что все последующие попытки нанести на карту отдельные строения города провалились из-за необъятности задачи. Например, первый из атласов Лондона, подготовленных Государственным картографическим управлением (работа над ним завершилась в 1850 году), содержал 847 листов; для публикации масштаб был уменьшен, но вскоре выяснилось, что он стал слишком мелок и поэтому неудобен как для приезжих, так и для жителей города. Этот и более поздние атласы Лондона середины и конца

викторианского периода показывают улицы просто как сеть линий, а закрашенные участки изображают магазины, конторы, жилые дома и общественные здания, причем различий между типами строений не проводится.

Эти издания — прямые предшественники нынешних атласов с алфавитными указателями, которым нужны сотни страниц, чтобы отобразить город, не могущий быть узнанным или понятым через посредство единого центрального образа. Завороженная огромностью Лондона, первый такой атлас создала в середине 1930-х годов Филлис Пирсолл. «Вставая в пять утра и проходя в день по 18 миль», она прошагала по улицам в общей сложности 3 000 миль и обработала 23 000 названий, причем записи свои она хранила под кроватью в коробках из-под обуви. Майкл Хебберт, автор книги «Лондон», сообщает, что все карты были исполнены одним рисовальщиком и что Пирсолл «сама составила и оформила книгу, сама держала корректуру». Ни один издатель, однако, ее трудом не заинтересовался, пока она не доставила экземпляры на тачке сотруднику фирмы «Смит и сын». К 1996 году, когда она умерла, количество лондонских улиц возросло примерно до 50 000.

Город XIX века, уже казавшийся слишком большим для целостного восприятия, начали порой изображать на картах и планах под теми или иными специфическими углами зрения. Печатались, в частности, «карты для пассажиров кеба», позволявшие определить, куда можно доехать за ту или иную плату; карты городского благоустройства, на которых обновленные улицы выделялись ярко-красным цветом; карты «современной лондонской чумы», где каждое питейное заведение было обозначено красной точкой; карты смертности от холеры. Вскоре возникли схемы линий метрополитена, трамвая и других новых видов транспорта. Лондон, таким образом, превратился в город карт, которые накладывались одна на другую на манер исторического палимпсеста. Город рос не переставая и переливался при этом всевозможными цветами; цвета смерти, алкоголя и бедности соперничали на его картах с цветами благоустройства и рельсовых путей.

«Неизменно вплоть до нынешнего времени, — писал в 1869 году Генри Джеймс, — на меня давило ощущение огромности Лондона как таковой, его невообразимой величины, давило так, что мой парализованный разум отказывался воспринимать частности». Однако подлинный

лондонский антиквар находит для этих частностей место в своей памяти, где они живут и выживают помимо всех планов и схем. «В дни моей юности, — писал Джон Стоу в XVI веке, — помню, набожные люди нашего города, мужчины и женщины, имели обыкновение часто, и в особенности по пятницам, неделю за неделей ходить этим путем [в Хаундсдич] ради того единственно, чтобы раздать благочестивую милостыню; всякий бедняк или беднячка, лежа на одре болезни у окна, что глядит на улицу, откроет окошко так, чтобы с улицы было видно». Это отчетливая, впечатляющая картина, которую являет нам город зрелищ и ритуалов. И дальше: «Я не помню, чтобы за последние пятьдесят четыре года мальвазия продавалась дороже полутора пенсов за пинту». Память должна продолжить и довершить труд наблюдения, пусть даже только для того, чтобы «пресечь речи неблагодарных, кои спрашивают: почему ты не записал то, почему не записал это? И не говорят спасибо за сделанное».

Дух Стоу благословлял и благословляет лондонцев позднейших эпох, богатых своими собственными воспоминаниями о времени уходящем и времени минувшем. Вот Чарлз Лэм, бродящий по Темплу в начале 20-х годов XIX века:

«Какими древними выглядели солнечные часы с почти уже истершимися ныне наставительными надписями! Казалось, они одного возраста со Временем, которое они измеряли». Это были, говорит он, «мои самые ранние воспоминания». Десять лет спустя Маколей писал о грядущей поре, когда горожане Лондона, «древнего и необъятного, тщетно будут искать среди новых улиц, площадей и железнодорожных вокзалов то место», что в юные годы было средоточием их жизней и судеб. Ли Хант в книге «Город» (1848) сказал о Лондоне: «Здесь нет, возможно, такого места, где прошлое не присутствовало бы ощутимо и зримо — обликом ли старинного здания или хотя бы названием улицы». В самом начале XIX века лондонский журналист, писавший под псевдонимом Алеф, бродил по Лотбери, вспоминая былую здешнюю «извилистую и темную вереницу надменных зданий», освещенных одними масляными лампами; улица впоследствии многократно меняла облик, но и по сей день остается единственной в своем роде и узнаваемой — главным образом благодаря все той же темноте и все той же надменности.

В свое время было сказано, что ни один камень не покидает Лондона, что все они, попав сюда, потом раз за разом используются, группируясь

по-новому и внося лепту в огромное каменное скопление, на котором покоится город. Парадокс Лондона в сочетании беспрерывной изменчивости и скрытой глубинной неизменности; именно оно, это сочетание, служит источником антикварной страсти к постоянно преображающемуся и расширяющемуся городу, который тем не менее остается своего рода эхо-камерой блуждающих воспоминаний и неисполненных желаний. Возможно, именно поэтому В. С. Притчетт заметил в конце 1960-х годов: «Лондону свойственно наделять человека чувством личного участия в истории». «Странно, — писал он в другом месте, — что, хотя Лондон бесцеремонно разделывается со своим прошлым, лондонец ничего не забывает полностью». Любая прогулка по лондонским улицам может поэтому стать путешествием в прошлое, и никогда не переведутся лондонцы, испытывающие к этому прошлому страстную, навязчивую тягу. В начале 1920-х годов Артуру Макену, еще одному лондонскому визионеру, бродившему по Камден-тауну, вдруг явился город-призрак 1840 года с его экипажами, запряженными пони, и с тускло освещенными помещениями; эта картина внезапно возникла при виде «маленького каретного сарая и малень-

кой конюшни, в которых живет и открывается взору безвозвратно ушедшее».

Вплоть до недавнего времени можно было найти обитателей Бермондси, которые, по словам одного репортера, были «одержимы историей своего района». Это подлинно лондонская страсть. Если Томас Харди слышал исходящий от древних камней, выставленных в Британском музее, «глас апостола Павла», то лондонцы, внимательные даже к скромным домишкам на маленьких улочках, пытаются уловить здесь голоса тех, кто жил прежде них. Чарлз Лэм припомнил мистера Эванса, работавшего кассиром в здании Компании Южных морей, который красноречиво «рассказывал о старом и новом Лондоне — о старых театрах, о церквах, об ушедших в прошлое улицах; о том, где находился пруд Розамунды; об увеселительном саде Малберри-гарден; о питьевом фонтане на Чипсайде». Миссис Кук, автор книги «Большие и малые улицы Лондона», стояла однажды на Вестминстерском мосту в зимние сумерки, и «по мере того, как убывал свет и поднимался туман, мое зрение упускало облики нынешних зданий и передо мной возникало видение Торни-айленда, каким он был в смутном прошлом». Однако медитации этой наблюдательницы начала XX

века, перенесшейся мысленно в VIII столетие, прерывает нищенка, просящая милостыню. «Мне спать негде нынче ночью, Бог видит — негде, милая дама». Столкновение прошлого и настоящего принимает множество форм. Придя во время Второй мировой войны в пострадавшую от бомбежки часть города, Роуз Маколей пережила в этой новоявленной пустыне ощущение «первобытного хаоса и древней ночи, царивших тут до основания Лондиниума». В XIX столетии Ли Хант заметил, что улица Сент-Полз-черчард — «такое место, где можно раздобыть самую последнюю книжную новинку, а можно найти останки древних бриттов и памятки моря». Вопреки страху, который внушала Генри Джеймсу огромность города, он испытал однажды «потустороннее ощущение встречи с бестелесными призраками старого Лондона». Под Темзой имеется пешеходный туннель, который связывает Дептфорд с Гринвичем и, кажется, хранит в себе некую часть городской тайны; Стивену Грэму, автору преисполненных печали «Лондонских ночей», он «говорил о загадке, которая будет оставаться таковой вечно, — о загадке лондонской тоски, лондонского гнета, лондонской неволи».

Во все времена существовали одинокие лондон-

цы, размышлявшие о прошлом, задумывавшиеся о былых цивилизациях, которые, предваряя судьбу их собственной цивилизации, пали жертвой гниения и распада. Эдуард Гиббон сидел один в своей квартире на Бонд-стрит и под стук проезжающих экипажей думал об упадке Рима. Юный Джон Мильтон бодрствовал далеко за полночь в своей спальне на Бред-стрит, не гася мерцающую у окна свечу и грезя о древнем Лондоне и его основателях. Такие люди рождались в каждом поколении — люди, которые «посвятили жизнь изысканиям в области почтенной древности нашего города». Одним из первых был Роберт Фабиан, лондонский шериф и олдермен, автор «Конкорданса хроник», первое издание которого вышло в 1485 году. Помимо прочего, он привел там хронологию смены флюгеров на соборе Св. Павла. Книга Арнольда «Хроника, или Обычаи Лондона», появившаяся в 1521 году, содержала, кроме городских хартий, «оценку лондонских землевладений» и рецепт засолки осетрины.

Труды самого Стоу последовательно редактировали и дополняли Манди, Дайсон и Страйп, почитавшие и себя добросовестными историографами Лондона, «который родил и взрастил нас». Их дело продолжил Уильям Стьюкли, на-

шедший у церкви Олд-Сент-Панкрас останки лагеря Юлия Цезаря и проведший сквозь Лондон XVIII века линии, которые соответствовали дорогам римлян. Он, как и многие другие лондонцы, «обладал всеми тихими доблестями и кроткими склонностями, подобающими антиквару — человеку, живущему в полувоображаемом мире прошлого». Он умер на Куин-сквер и, согласно его завещанию, был похоронен на скромном кладбище в Ист-Хеме.

Однако наиболее подробные и развернутые антикварные штудии велись начиная с середины XIX века. То было время энциклопедических обзоров, к числу которых относятся шесть огромных томов «Лондона старого и нового» под редакцией У. Торнбери и Э. Уолфорда. Появились буквально сотни других изданий, описывающих все «любопытное» и «знаменитое» в Лондоне, который уже стал крупнейшим и богатейшим городом мира. Кроме того, именно в этот период были завершены различные «истории Лондона», и традиция их написания была продолжена в начальные годы XX века сэром Уолтером Безантом, основателем «Народного дворца»; памятник ему можно видеть ныне под Хангерфордским железнодорожным мостом. Не кто иной, как Безант, сказал на смерт-

ном одре: «Я бродил по Лондону все последние тридцать лет и каждый день находил в нем что-то новое». В подобном духе может высказаться едва ли не всякий, кому дорог Лондон.

В 1870-е годы, когда городские хронисты превозносили величину и многоликость обновленного города, нашлись и те, кто, подобно их предшественникам в прежние века, оплакивал умирание лондонской старины. Поводом к созданию в 1875 году «Общества фотографирования старинных лондонских памятников» стала угроза уничтожения старой таверны «Герб графов Оксфордских» в переулке Уорик-лейн; дополнением к деятельности Общества явилось издание таких книг, как «Лондон ушедший и уходящий» и «Неизвестный Лондон». Помимо Общества были и индивидуальные авторы (многие из них сотрудничали в лондонских газетах), которые исследовали памятники прошлого, таящиеся в старых дворах и на древних площадях. Их труды были продолжены в XX веке такими публикациями, как «Тайная история Лондона», «Исчезнувший город» и «Утраченный Лондон». Этот город всегда рождал в людях ощущение утраты и бренности.

Антикварианизм, впрочем, принимает раз-

личные формы. На рубеже XIX и XX веков сэр Лоренс Гомм, великий историк городского административного устройства, написал ряд работ, где утверждал, пусть даже и без исчерпывающих доказательств, что Лондон со времен римской колонизации сохранял особенности территориального членения и судебной системы. О неизменности природы Лондона было, таким образом, заявлено как раз в пору чрезвычайно быстрых перемен. Труды Гомма были в определенном смысле дополнены трудами Льюиса Спенса, чей «Легендарный Лондон» связывал историю города с рисунком расселения кельтских племен и с магическими обрядами друидов.

Вклад этих людей в осмысление истории Лондона был прискорбным образом преуменьшен и даже осмеян — в частности, в результате появления более точных и «научных» описаний городского роста, составленных при поддержке различных лондонских археологических обществ, чью практическую работу надо признать поистине бесценной. Еще более серьезный вызов антикварианизму был брошен многочисленными социологами и демографами послевоенных лет, которых в ущерб истории прежде всего занимали перестройка города и новые формы

городского планирования.

Антикварианизм можно, таким образом, считать вышедшим из моды; но как тогда расценивать любопытную церемонию, проводимую ежегодно в церкви Сент-Эндрю-Андершафт? Здесь находится гробница Джона Стоу с памятником этому великому антиквару эпохи Тюдоров. В руке он держит гусиное перо, и каждый год в начале апреля лорд-мэр лондонского Сити и тот или иной известный историк идут к памятнику, чтобы вложить в каменную руку Стоу новое перо. Так город чествует одного из своих великих жителей, торжественно заявляя сменой пера о том, что писание лондонской истории будет продолжаться вечно.

ТОРГОВО-РЕМЕСЛЕННЫЕ УЛИЦЫ И ПРИХОДЫ

Глава 11
Темз-стрит, где твои сыры?

В XIX веке поношенную одежду перепродавали евреи. В том же столетии лондонские пекари в основном были шотландцами, тогда как парикмахерами становились почти исключительно коренные горожане. Кирпичники тоже были природными лондонцами, однако нанимались к ним на работу «почти исключительно ирландцы». Чернорабочие происходили из Йоркшира и Ланкашира; родиной немалой части сапожников был Нортгемптон. Сахарное дело и торговля игрушками находились в прошлом почти всецело в руках немцев, которые селились в Уайтчепеле и его окрестностях. Мясники и рыбники, торговавшие соответственно на Смитфилдском и Биллингсгейтском рынках, в большинстве своем были лондонцы, однако торговцы сыром, как правило, приезжали из Гэмпшира, а молочники — из Уэльса; валлийская молочница была в свое время обычным лондонским персонажем. Льняным товаром торговали манчестерцы, лондонцы составляли лишь малую долю их подручных, в

большинстве своем происходивших из Девона и Сомерсета. Словом, представители каждой профессии тяготели к образованию отчетливых анклавов и землячеств.

Эта разгороженность всегда была свойственна лондонской торгово-ремесленной жизни. Так, в XVII веке оптики концентрировались в основном на Ладгейт-стрит, ростовщики — на Лонг-лейн, книготорговцы — на улице Сент-Ползчерчард. В XVIII веке сыр можно было купить на Темз-стрит, игральные карты — на Стрэнде. Вывески для лавок и таверн продавались в переулке Хуп-элли близ Шу-лейн; живописцы держали там запас изображений на все случаи жизни — от чайников до белых оленей и красных львов. Продавцы птиц жили в Севен-Дайалс, каретники — на Лонг-эйкре, скульпторы — на Юстон-роуд, торговцы тканями и одеждой — на Тоттнем-корт-роуд, зубные врачи — на Сент-Мартинз-лейн.

Однако порой улица могла стряхнуть былые ассоциации и «переквалифицироваться». Кэтрин-стрит была в свое время известна как средоточие торговли порнографической литературой, хотя имя святой, давшей улице название, восходит к греческому слову, означающему «чистота». Однако в первые десятилетия XIX века Кэтрин-

стрит стала улицей ресторанчиков, продавцов газет и рекламных агентов. Стрэнд был знаменит изданием газет, пока центр газетного дела не переместился на восток — сначала на Флит-стрит, а затем еще дальше, в обновленный район доков.

Некоторые виды деятельности традиционно связывались с церковными приходами, где они процветали: в приходе Сент-Джордж группировались торговцы домашней птицей, в приходе Сент-Мартин — торговцы кружевом, у церкви Гроба Господня (Холи-Сеплкер-уизаут-Ньюгейт) — живописцы, в Ламбете — торговцы лесом. Колесников можно было найти в Дептфорде, мельников — в Стратфорде, шорников — в Чаринг-кроссе.

Торгово-ремесленные отрасли порой задерживались на старом месте даже в том случае, когда сама улица переставала существовать. «Весьма любопытна цепкость, — писал Уолфорд в „Лондоне старом и новом“, — с которой былые ремесла и виды торговли, наряду с былыми типами жителей, держатся в тех или иных районах». В качестве примера он привел Кранборн-стрит с ее серебряных дел мастерами; улица, как и соседний переулок Кранборн-элли, была уничтожена, но внезапно лавки на только что отстроенной

Нью-Кранборн-стрит «наполнились серебряными тарелками, ювелирными изделиями и безделушками».

Разграничение лондонских районов по родам деятельности проявилось и в том любопытном обстоятельстве, что «лондонский ремесленник редко разбирается более чем в одной узкой отрасли той профессии, которой он обучен», тогда как сельские работники, как правило, мастера на все руки. Это еще один показатель лондонской «специализации». К началу XIX века различия и обособления стали выражаться порой в чрезвычайно мелком дроблении профессий и территорий. Например, в Хокстоне расцвело ремесло отделки одежды и головных уборов мехом и перьями. Уолтер Безант писал в книге «Восточный Лондон», что «число отраслей и подразделений поистине ошеломляет»; «можно спокойно прожить жизнь, зная лишь один мельчайший кусочек своего ремесла… человек умеет обычно что-то одно и только одно, и если вдруг в этой единственной области работу получить не удается, он оказывается в бедственном положении, потому что ничего другого делать не может».

Работники становятся, таким образом, малыми

элементами огромного и сложного механизма, каким является хозяйственная жизнь Лондона. На «Карте промышленных кварталов северо-восточного Лондона» за 1948 год четко выделяются голубые пятна, соответствующие «инструментам Камден-тауна», «тканям Хэкни» и «обуви Южного Хэкни». Темно-синим цветом отмечены «ткани Олдерсгейта» по соседству с «типографским кварталом в Шордиче», который граничит на севере с «мебельным кварталом», а на юге с «тканями Ист-энда». Эти территориальные подразделения, внутри которых действовало много мелких предприятий, названы в «Атласе истории Лондона», изданном газетой «Таймс», «преемниками возникшей еще во времена Средневековья системы ремесленных районов». Позднее, словно бы следуя средневековому образцу, специализироваться в определенных отраслях хозяйства начали и другие, более новые и отдаленные части города. Хаммерсмит и Вулидж прославились инженерным делом и металлами, Холборн и Хэкни — тканями.

Некоторые другие виды деятельности на протяжении столетий дружно мигрируют, переходят на новые территории, словно повинуясь некоему инстинкту или импульсу. Хорошо известно,

в частности, что врачи и хирурги ныне группируются на Харли-стрит. Но в XVIII и начале XIX века местами обитания наиболее видных практикующих медиков были Финсбери-сквер, Финсбери-пейвмент, Финсбери-плейс и Финсбери-серкус, а чуть поодаль жили более молодые или же не столь состоятельные врачи. Все они выехали на протяжении 1840-х и 1850-х годов, и Финсбери стал «социально опустошенным районом». Аналогичная миграция произошла у шляпников. Вначале они обитали в той части Бермондси, что носит название «Лабиринт» (ограниченной Бермондси-стрит, Боро-Хай-стрит и Тули-стрит), но затем вследствие некоего неясного миграционного толчка «грандиозный центр шляпного дела» стал перемещаться на запад, пока не остановился у Блэкфрайарс-роуд. Почему шляпников перестало устраивать Бермондси — неизвестно; можно лишь сказать, что их уход явился результатом действия какого-то скрытого коммерческого механизма. Сходным образом центр мебельного производства передвинулся с Кертен-роуд (Шордич) в Камден-таун.

Феномен торгово-ремесленных улиц и приходов можно проследить и в более широком городском масштабе, обращаясь к «картам

землепользования». Они показывают, что вся территория была в свое время разделена на зоны, обозначаемые как «застроенный район», «глиняные карьеры (заброшенные)», «огороды для выращивания овощей на продажу», «пастбища», «сельскохозяйственные угодья смешанного типа» и «участки севооборота». Границы этих областей образуют чрезвычайно текучий рисунок. Карта продовольственных рынков XVIII века являет нам сходный живой узор; можно подумать, сама топография Лондона определялась безмолвными и незримыми токами коммерции.

Почему к мебельным магазинам, вот уже 150 лет торгующим на Тоттнем-корт-роуд, в последнее время добавились магазины электроники? Почему к часовщикам Кларкенуэлла присоединились консультанты по дизайну и рекламные агентства? Почему Уордер-стрит, место торговли старинными безделушками, стала ныне средоточием киноиндустрии? Промежуточный период в конце XIX века, когда Сохо был центром нотопечатания, возможно, делает этот переход более плавным, но отнюдь не помогает его объяснить. Как и многого другого, в Лондоне не сохранилось ключа, позволяющего постичь его скрытые и таинственные перемены.

ФРАГМЕНТ ЛОНДОНА

Глава 12
Перекресток

Колокола церкви Св. Джайлса-в-полях, согласно одному церковному документу, «находятся в прекрасном состоянии и, несмотря на почтенный возраст, звонят великолепно». Им более трехсот лет, однако их звон по-прежнему можно слышать каждый четверг в час ленча. Впрочем, история этого лондонского прихода куда продолжительней.

Следуя обычной и почти характерной для Лондона практике, нынешнюю церковь Св. Эгидия (Джайлса) построили на месте более древней церкви саксонского периода. Друри-лейн, в старину называвшаяся «via de Aldwich» — «олдуичским трактом» — была главной дорогой, ведшей к Уотлинг-стрит от саксонского поселения Лунденвик в районе нынешнего Ковент-гардена; у ее северного конца стояли сельский крест и часовня, где отправлял обряды «блаженной памяти Иоанн». В самом начале XII века на этом месте возвели часовню и построили лепрозорий; посвященные Джайлсу, покровителю прокаженных, они нахо-

дились среди полей и болот — в стороне от города, опасавшегося заразы. Между тем Св. Джайлс считался также заступником нищих и калек, всех обездоленных и приговоренных к одиночеству. Сам он был хром, но лечиться отказывался ради умерщвления плоти.

Дух страдания и одиночества, первоначально явленный здесь учреждениями XII века, никогда затем не покидал этого места; на протяжении всей истории района в нем находили прибежище бедняки и отверженные. Даже сейчас по этим улицам в изрядном числе скитаются бродяги, а поблизости от церкви, как встарь, расположен приют для бездомных.

Участок, принадлежавший лепрозорию и ставший затем приходом Св. Джайлса (Сент-Джайлс), был, грубо говоря, треугольником, ограниченным нынешними Чаринг-кросс-роуд (в прошлом Хог-лейн, а еще раньше — Элдестрат), Нью-Оксфорд-стрит и Шафтсбери-авеню. До XV века здесь содержались только прокаженные, а затем сюда, судя по всему, стали пускать также увечных и очень бедных; как сказано в обзоре, опубликованном Советом Лондонского графства, это было «специфически лондонское учреждение». Поблизости вырос поселок с лавчонками,

где продавалось все необходимое для обитателей приюта; в документах лепрозория времен позднего Средневековья упоминается, в частности, купец Джервазил Лайндрейп (второе слово означает «торговец льняным бельем»). В эпоху Реформации благотворительное учреждение было ликвидировано, а часовня превратилась в приходскую церковь Св. Джайлса-в-полях (Сент-Джайлс-ин-де-филдс). Первое здание протестантской эпохи было построено здесь в 1631 году, и к этому времени характер района, всегда двойственный и трудноопределимый, изменился. Это место долго занимало промежуточное положение между городом и деревней; в IX веке тут проходил крупный саксонский тракт, и чем богаче становился Лондон, тем интенсивнее делались торговля и дорожное движение, поэтому здесь возникли таверны и постоялые дворы. Скитальцы иного рода появились после изданного в 1585 году указа Елизаветы I, многие иностранцы были изгнаны из города и поселились в его окрестностях. За ними, в свой черед, последовали бродяги и обнищалый люд. Между тем положение прихода Сент-Джайлс — за городом и близко к Вестминстеру — привлекало всяческую знать, строившую здесь величествен-

ные дома, окруженные садами, которые прежде были пастбищами. В XVII веке и позднее этот приход славился поразительными контрастами между богатыми и бедными; последние группировались южнее нынешней Нью-Оксфорд-стрит. Это двойственное, неустановившееся положение сохранялось в течение столетий. «Одни здешние жилища словно бы предназначены для глубочайшей нищеты, — писал в XIX веке историк этого прихода — другие — для крайнего изобилия».

Место это, таким образом, служило и входом, и выходом; оно приветствовало вновь прибывших и давало приют изгнанникам. Во всех отношениях оно было перекрестком. Там, где сходятся ныне Тоттнем-корт-роуд, Чаринг-кросс-роуд, Оксфорд-стрит и Нью-Оксфорд-стрит, стояла виселица, а позднее «клетка», то есть тюрьма.

Под Сент-Джайлс-серкус, как называется теперь это место, пересекаются Северная и Центральная линии лондонского метро. Приход Сент-Джайлс был также перекрестком между временем и вечностью. «На саван для бедной женщины, скончавшейся в клетке», — гласит запись в приходно-расходной книге церковного старосты. Даже после того, как в конце XV века виселица была убрана, Св. Джайлс оставался своего

рода привратником у смертного порога; все осужденные по дороге к «тайбернскому дереву» останавливались у ворот церкви Св. Джайлса-в-полях, метко названных «вратами воскресения», где им давали чашу эля, чтобы поддержать их дух на время пути. День казни можно, пусть и с некоторой натяжкой, назвать местным праздником, поскольку, с одной стороны, приход Сент-Джайлс был знаменит как родина многих палачей того времени, с другой — как второй по значимости поставщик висельников. Как гласят старинные вирши, «те, что у Джайлса родятся, пускай висят, не плодятся».

Последняя выпивка осужденных была уместна здесь и по другой причине: о приходе шла слава — добрая или недобрая, зависело от вкуса — как о месте, изобилующем тавернами, и средоточии пьянства. «Белый олень», открытый в XIII веке, дожил — по крайней мере, названием — до наших дней и благополучно принимает посетителей на углу Друри-лейн, однако многие другие питейные заведения рассыпались в прах — «Мейденхед» на Дайот-стрит, «Совиная чаша» в переулке Кэнтерз-элли, «Черный медведь», «Черная кружка», «Черный барашек», «Лоза и роза»… «Лунная дева» близ Друри-лейн любопытным образом получила

продолжение в «Подводной луне» на Чаринг-кросс-роуд. Налицо еще одна связь с алкоголем: название нынешней Грейп-стрит (Виноградная улица), как считают, произошло от старинного виноградника при лепрозории.

В XVIII веке именно здесь Уильям Хогарт поместил свой «Джин-лейн» — «Пьяный переулок». Традиция последней выпивки — «чаши Св. Джайлса» — сделала этот район, как писал в следующем столетии в «Любопытных местах Лондона» Джон Тимбс, «прибежищем зловонного и грязного отребья». Но никакое описание не сравнится с возмущением и отчаянием, переполняющими гравюру Хогарта. Он определил дух этого места, где нынешние бродяги, сидя маленькими группками, тянут эль из банок. Чахлый молодой человек, пьяная женщина с сифилитическими язвами, самоубийство, торопливые похороны на месте, ребенок, который вот-вот упадет и разобьется насмерть, — изображенное не только выявляет в преувеличенно детализированном виде подлинный характер этого центра смертельного пьянства, но и жутко пророчествует о Грачовнике (Rookeries) — трущобах первой половины XIX века, которые возникли именно здесь спустя примерно пятьдесят лет.

В 1818 году питье навлекло на приход беду иного рода. Огромный чан пивоварни «Подкова», расположенной чуть северней перекрестка, лопнул и выплеснул примерно десять тысяч галлонов пива; стены, повозки, торговые лотки были сметены потоком, и пиво мигом наполнило окрестные подвалы, утопив восемь человек. Джин-лейн стал пивной рекой.

У подвалов, оказавшихся столь опасными, была своя история. Расхожее выражение «подвал в Сент-Джайлсе» означало грязь и нищету. Уже в 1637 году один церковный староста отметил «великое нашествие на приход бедных людей… они семьями живут в *подвалах* и испытывают иные тяготы». Подвальные помещения заслужили скверную репутацию, помимо прочего, из-за расположения прихода: местность здесь считалась «сырой и нездоровой». Парламентским актом 1606 года Друри-лейн и ее окрестности были заклеймены как места «мерзкие и опасные для всех проходящих и проезжающих». В отчете Кристофера Рена говорится о зловонии, источаемом окрестными болотами, водоводами и водяными рвами; в тот же период документы парламентского обследования отмечают «переизбыток влаги», из-за которого район стал «чрезвычайно

болотистым, грязным и опасным».

Он был опасным более чем в одном отношении, поскольку именно Друри-лейн и близлежащие закоулки стали источником заразы, получившей затем название Великой лондонской чумы. В конце 1664 года первые случаи заболевания были отмечены в северной части Друри-лейн напротив Коул-ярда, где обитала четырнадцатилетняя Нелл Гвин, будущая фаворитка короля Карла II. Вспышка болезни, как писал в «Дневнике чумного года» Дэниел Дефо, «обратила на эту часть Лондона многие взоры», и внезапное увеличение количества похорон в приходе Сент-Джайлс заставило всех подозревать, что «этот край города поразила чума». Таким образом, это несчастливое место дало начало великому мору, грозившему уничтожить немалую часть лондонских жителей незадолго до всеобщего очищения огнем Великого пожара. Многие «заразные» дома были принудительно закрыты, их жителям запрещалось выходить на улицу; 7 июня 1665 года Сэмюэл Пипс, «как ни прискорбно», увидел на некоторых деревянных дверях красные кресты. Диковинным образом обвинение в распространении чумы пало именно на эту часть города («Всю эту беду навлек на нас один-единственный

лондонский приход Сент-Джайлс», — писал сэр Томас Пейтон), и представляется вероятным, что в ответе за тогдашнюю недобрую славу прихода был его сомнительный статус приюта для увечных и отверженных. Словно бы в город, грозя жителям смертью, возвращались его отбросы.

Но это еще не был конец несчастливой истории прихода. Волны бедняков, сменяя друг друга, прокатывались сквозь его большие здания, которые с годами превратились в доходные дома с жилыми подвалами. Предположение, что бедняков направлял сюда дух самого святого Джайлса, выглядит не таким уж экзотическим: ведь то, что район славился размахом благотворительной помощи, было прямым следствием его ранней истории, связанной с церковным лепрозорием. В приходских книгах середины XVII века читаем: «Дано *Мег из Тоттнем-корта,* ввиду тяжкой ее болезни, *1 шиллинг 0 пенсов*… Дано *Коблеру, уличному певцу, 1 шиллинг 0 пенсов*… Дано *старому Фрицуигу 0 шиллингов 6 пенсов*… Уплачено за наем комнаты для *помешанной Бесс* за год *1 фунт 4 шиллинга 6 пенсов».* Многократно говорится о денежной помощи, предоставляемой «бедным ограбленным ирландцам», семьям, «прибывшим из Ирландии»; этой нации суждено

было составлять главную часть населения прихода на протяжении двух столетий. Но селились здесь также и французы, и те, кого изгоняли из города за бродяжничество, и чернокожие слуги, уволенные и опустившиеся до нищенства, которых прозвали «черными дроздами Джайлса». Здесь возникла традиция попрошайничества, которую не удалось вытравить по сию пору; уже в 1629 году раздавались призывы забрать «праздношатающихся» в тюрьму, а поколение спустя зазвучали жалобы на то, что район стал прибежищем «*ирландцев* и прочих инородцев, *нищих,* всяческих распущенных и *испорченных личностей».* Три поколения спустя приход был назван «чрезмерно отягощенным беднотой». Всю историю лондонского бродяжничества можно понять, если уделить внимание этому клочку городской территории.

Возможно, сильней всего трогают сердце несчастливые судьбы отдельных людей, запечатленные в анналах благотворительных учреждений. В середине XVIII века близ Дайот-стрит в полуразрушенном доме под лестницей обитал «старик Саймон» с собакой; Дж. Т. Смит, живший чуть позднее, оставил в «Книге для дождливого дня» описание, приводящее на ум

экипировку какого-нибудь бродяги конца XX века: «У него было несколько жилеток и равное число пиджаков разных размеров, вследствие чего он мог спрятать под верхним слоем одежды большую часть узелков с тряпицами всевозможных цветов и разнообразные свертки, которыми он был увешан и где находились книги, коробки с хлебом, сыром и иной пищей, лучинки, трут и мясо для собаки». Наличие рядом собаки или дружба с собакой представляется неизменной чертой лондонского бродяги.

«Старый Джек Норрис, Креветочник-Музыкант» жил примерно семьюдесятью годами позже на той же улице (к тому времени переименованной в Джордж-стрит). Нищий, занимавшийся «бродяжничеством и попрошайничеством» под видом торговли креветками, он умер от голода, или, как выразилось жюри, «погиб от руки Божьей». Некая Энн Хенли весной 1820 года умерла на 105-м году жизни в Смартс-билдингс. «Она имела обыкновение сидеть на Холборне у той или иной двери и продавать подушечки для булавок собственного изготовления. Она была невысока ростом, мягка и скромна в общении, чиста телом и одеждой. Обычно носила серую накидку».

В то время когда пишутся эти строки, на Нью-

Оксфорд-стрит между Эрншо-стрит и Дайот-стрит (которой вернули старое название) сидит крупная бритоголовая женщина; она приносит сумки, полные газет, и беспрерывно разговаривает сама с собой, но никогда не клянчит денег. Почему она день за днем выбирает одно и то же бойкое место — неясно; остается предположить, что, несмотря на все застройки и перестройки, Дайот-стрит не потеряла для таких, как она, былой притягательной силы. Поблизости от поворота на Дайот-стрит сидит и просит подаяния коротко стриженный молодой человек в очках со стальной оправой. На Сент-Джайлс-Хай-стрит, между Эрншо-стрит и Дайот-стрит, мужчины средних лет, заняв крыльцо и дверной проем заброшенного конторского здания, выпрашивают у прохожих «на чашечку чайку». Воистину Сент-Джайлс остался заманчивым местом для нищих и бродяг, в числе которых — женщина, сидящая на углу среди голубей и запаха мочи около Хай-Холборна, и старик, который всегда пьян, но никогда не просит милостыни и занимает место у театра «Доминион-тиэтр», где в свое время была пивоварня. За углом театрального здания молодые бродяги клянчат у прохожих деньги. Они лежат в своих спальных мешках точнехонько напротив

общежития Христианской ассоциации молодых людей — многозначительное соседство, подчеркивающее важную роль, которую по-прежнему играет в жизни прихода странствующий люд.

Поблизости от Сент-Джайлса — там, где большая магистраль Хай-Холборн минует устья Саутгемптон-роу и Проктер-стрит, — бродяги, поодиночке или группами, встречаются неизменно. Воистину они кажутся некими стражами или хранителями района. Они околачиваются и в церковном дворе — волосатые, бородатые, красноногие, грязные, пьяные, подобно поколениям предшественников.

Придерживаясь установки на индивидуализированное повествование, я приведу отрывки из записей приходского архива, по которым видна характерная краткость здешних жизней: «Элизабет Отли и некая Грейс погибли под обломками рухнувшего дымохода в *Партридж-элли*… малолетний ребенок некоего фермера утонул в чане с водой в *Коул-ярде*… умер от колющего удара в глаз, нанесенного лакеем… некая Годдид Уайт, которая утопилась… девица на Хог-лейн повесилась… смерть ребенка, чей труп был частью объеден собакой или кошкой, в Лонгфилде, в доме лорда Саутгемптона… ребенок мужского

пола, убитый и брошенный на задах трактира „Королевская голова“… Присцилла Оуэн отдана под суд за то, что откусила палец мужу, из-за чего он умер».

Здешних жителей описывали и по-другому. Серия гравюр может представить их как символы тех или иных городских пороков, неизбежно ведущих к ранней гибели от пьянства, от болезни или на виселице. Сент-Джайлс, таким образом, снова оказывается обителью смерти. Роковые стадии «Пути проститутки» Хогарта разворачиваются именно здесь, на Друри-лейн, а в близлежащем ночном кабачке за убийство берут под стражу «ленивого ученика», которому суждено кончить дни на виселице. Еще один отрицательный персонаж Хогарта — Том Ниро в «Четырех стадиях жестокости» — мальчиком воспитывается в здешнем приюте. Он тоже гибнет на виселице. Ранняя кончина вообще была здесь обычным явлением: по смертности приход занимал второе место в городе.

Неимущие становились также персонажами иных повествований, в которых истории их жизней пересказывались в духе нервной неоготической сверхчувствительности. Чарлз Диккенс неоднократно посещал этот район — порой один,

порой в компании полицейских инспекторов — и обессмертил одну из его самых знаменитых улиц в своих «Раздумьях на Монмут-стрит». Т. Смоллетт упоминает о «паре оборванцев из трущоб Сент-Джайлса — одна сорочка и одна пара панталон на двоих». В 1751 году Генри Филдинг, еще один великий лондонский романист, опубликовал заметки о здешних непотребствах: «Мужчины и женщины, зачастую даже друг с другом не знакомые, ложатся спать вместе без всякого разбора, ибо за двуспальную кровать тут берут всего три пенса, поощряя их тем самым к любодейству. Приспособленные к блуду, места эти в равной степени поощряют и к пьянству: джин продается здесь по цене *один пенс* за четверть пинты… в одном из этих домов, далеко не самом большом, он [мистер Уэлч, главный констебль Холборна] насчитал пятьдесят восемь человек обоего пола, источавших вонь столь ужасную, что он вскоре был принужден покинуть помещение». Алкоголь, похоть и зловоние образуют в этих заметках весьма забористую смесь, назначение которой — пощекотать нервы тем, кто счастливо избежал личного присутствия в этом районе; подобных сцен и запахов Филдинг не мог вставить ни в какое из своих художественных произведений,

но здесь, под маской объективного репортажа, он дает волю своему интересу романиста к низменным сторонам жизни.

Нет нужды говорить, что жизнь бедняков прихода была действительно ужасающей и что грязные дома свиданий там действительно имелись; однако следует помнить, что великие лондонские романисты, подобные Диккенсу и Филдингу, творили, пользуясь городскими образами, некий диковинный театр теней. Их замкнутые в себе, склонные к навязчивым идеям индивидуальности, взаимодействуя с темными силами города, создавали театрализованный, символический Лондон, который нередко подменял собой подлинную действительность тех или иных его районов.

Самые обостренно-чувствительные повествования об окрестностях церкви Сент-Джайлс-инде-филдс пришлись на первые десятилетия XIX века. То было время «Грачовника» — острова, состоявшего из доходных домов с подвалами и приблизительно ограниченного улицами Сент-Джайлс-Хай-стрит, Бейнбридж-стрит и Дайот-стрит. Внутри этого злосчастного треугольника, существовавшего, пока с целью ликвидации трущоб не была проложена Нью-Оксфорд-стрит,

находились Черч-лейн, Мейнард-стрит, Кэррие-стрит, Айви-лейн и Черч-стрит с мешаниной двориков, тупичков и переулочков, которая превращала район в лабиринт, служивший для здешних обитателей убежищем, где можно было скрыться, раствориться. «Прочим людям лучше было сюда не соваться, — писал Эдвард Уолфорд в „Лондоне старом и новом“, — а если они все же совались, им быстро становилось ясно, что надо поскорей уносить ноги».

«Грачовник» называли также «Малым Дублином» и «Святой землей», поскольку населяли его в основном ирландцы. Здесь жили чернорабочие, подметальщики мостовых, уличные торговцы — но также и воры, фальшивомонетчики, проститутки, бродяги. Переулки были узки и грязны, окна ветхих домов нередко просто затыкались тряпьем или бумагой, внутри было сыро и нездорово. Покосившиеся стены, земляные полы, низкие потолки с пятнами плесени; запах в помещениях был неописуем. В книге Томаса Бимза «Лондонские трущобы» говорится, что эти мрачные улицы были «полны праздношатающихся… женщины с опухшими лицами курили короткие трубочки, мужчины практиковали весь спектр профессий между зеленщиком и птицеловом».

Здесь можно было видеть «замурзанных детей, отощалых мужчин с длинными нечесаными волосами, одетых в лохмотья… собак, больше похожих на волков». Чуть в стороне от богатых столичных улиц из числа самых оживленных и деловых лежали эти области застойной бездеятельности и вялой нищеты; тут проявился один из многих вечных и ужасающих лондонских контрастов. Здешние ночлежки в шутку именовались «операми нищих»[21] из-за царивших в них пьянства и шума.

На протяжении многих поколений здесь, к слову говоря, ежегодно устраивался карнавал нищих. Фактически эту жизнь скрашивали, делая ее выносимой, только блуд и алкоголь. В официальном отчете за 1847 год говорится, что одну комнату в доме «днем занимают лишь три семьи, однако на ночь сюда набивается столько народу, сколько может уместиться». Нередко в небольшой комнате ютилось двадцать и более человек с товарами, которыми они торговали на улицах (чаще всего это были апельсины, лук, селедка и водяной кресс). В одном переулке возле Черч-стрит в комнате, «похожей на коровник»,

[21] Примечания: 21
Обыгрывается название пьесы Дж. Гея «Опера нищего».

«ели, пили и спали семнадцать человек». Пол в этом устрашающем помещении был «сырой и находился ниже уровня двора».

Снова и снова подчеркиваются сырость и зловоние, на которые жаловались еще Рен и его современники. Район кишел переносчиками всевозможных болезней, и неудивительно, что здесь свирепствовали лихорадка, холера и чахотка. Томас Бимз обратил внимание на молодого человека со смертельным чахоточным кашлем — «он был совершенно наг, не имел даже рваной рубашки, и всего-навсего на него было наброшено тонкое одеяло и синяя тряпка, похожая на конскую попону; он их откинул, желая показать нам, что не обманывает». Во многих случаях смертельно больных людей «оставляли умирать в одиночестве без всякого ухода, без всякого внимания — „кончаются, не подавая знака“[22] —…без единого звука на устах, выдающего религиозное чувство, без Бога в окружающем мире…» Никого не было рядом, чтобы прошептать: «Святой Джайлс, помоги им!» — да и что толку? Небесный патрон, можно сказать, бежал из этих краев. Ирландцы вели себя здесь жестоко и безоглядно, ибо

[22] Примечания: 22

Видоизмененная шекспировская цитата («Король Генрих VI», часть II, акт III, сцена 3, строка 29). Перевод Е. Бируковой.

верили, что находятся в «языческом городе», где все позволено. «Грачовник» воплощал в себе наихудшие условия жизни за всю историю Лондона; люди здесь достигали низшей точки, дальше которой была только смерть, и ирландцам казалось, что город и его жители уже пребывают во власти дьявола.

Властвовал над людьми, однако, не столько дьявол, сколько домохозяин. Лондон покоится на коммерческой выгоде и денежном интересе, и его жилищное хозяйство отражает именно эти императивы. Город рос главным образом за счет спекулятивного строительства, разбухая благодаря последовательным волнам вложения капитала и извлечения прибыли, погружаясь в кратковременную спячку в периоды спада. Сент-Джайлс дает нам особенно яркий образец эксплуатации. Маленькая группа владела всем жилым фондом района (например, в квартале, к которому относится Черч-лейн, восемь человек владели примерно 80 % домов), и эти люди сдавали в аренду отдельные улицы. Кто-то за оговоренную сумму брал улицу на год и сдавал в ней дома по одному с понедельной оплатой, а арендатор дома, в свою очередь, сдавал в нем комнаты. Съемщик комнаты брал деньги с тех, кто ютился

в ней по углам. Так поддерживалась неумолимая иерархия нужды и отчаяния, в которой никто не желал брать на себя ответственность за жуткие условия существования. В них винили либо ирландцев, либо испорченность «низших слоев», которые, как считалось, неким образом сами навлекли на себя эти беды.

К карикатурах Хогарта и Филдинга осуждаются скорее жертвы, нежели их притеснители.

Возникло также представление о здешней преступной «толпе», или «ораве» («mob»), — недифференцированной массе темных личностей, подрывающей основы порядка и безопасности. В книге Питера Лайнбо «Лондонские висельники» описывается вооруженный рейд на «ирландский притон», во время которого «всполошилась вся округа, и люди кинулись на нас сотнями — мужчины, женщины, дети. Я сказал, женщины? Нет, какое там — полуголые дьяволицы». Демонизирующая лексика «языческого города» обращена здесь на самих угнетенных. Однако, если взглянуть на «толпу» пристальней, она, возможно, окажется более разнообразной и интересной. Многие полагали, что, поскольку этот район давал пристанище пришлым людям, чуть ли не каждый его житель обитал в нем временно. Но

исследование жилищных реестров и журналов осмотра помещений показывает, что население было относительно стабильным и что его перемещение в рамках самого прихода происходило лишь внутри резко очерченных границ; иными словами, неимущие держались своей малой округи и не стремились ее покинуть. Позднее, когда вследствие плановой перестройки района многие части Грачовника были уничтожены, их обитатели перебрались на соседние улицы, где условия их жизни стали еще более стесненными. Здесь проявилось общее свойство лондонцев: они тяготеют к жизни в относительно ограниченных территориальных пределах. К примеру, до сих пор в Хэкни и в Лейтонстоуне можно найти людей, которые ни разу не совершали «путешествия на запад»; точно так же некоторые обитатели Бэйсуотера или Эктона никогда не посещали восточных районов города. У неимущих Сент-Джайлса этот территориальный императив был выражен чрезвычайно ярко: они жили и умирали все на тех же нескольких квадратных ярдах земли с привычной им системой лавчонок, питейных заведений, рынков и уличных контактов.

Великий социальный топограф Чарлз Бут назвал приход Сент-Джайлс вместилищем

«неквалифицированной рабочей силы», но, подобно слову «mob», термин этот вряд ли вполне справедлив в отношении характера занятости в этой части лондонского «дна». Здесь жили точильщики ножей и уличные певцы, зеленщики и изготовители половиков, дрессировщики собак и подметальщики перекрестков, продавцы птиц и сапожники, торговцы селедкой и печатной продукцией. Процветали в этих краях и более экзотические профессии.

До 1666 года, когда в южной части прихода возникли дома, она представляла собой пустырь, называвшийся Кок-энд-Пай-филдс. Это место не было вполне застроено и до 1693 года, когда были проложены семь улиц, сходившиеся к центральной колонне и образовывавшие звезду. Участок получил название Севен-Дайалс[23]. Возможно, имелась в этом градостроительном факте конца XVII века некая символическая составляющая, которая вполне осязаемо воплотилась в присутствии здесь немалого количества астрологов. Был, например, Гилберт Андерсон, «известный знахарь-шарлатан», живший на Кросс-стрит подле гостиницы «Колыбель и гроб»; был доктор

[23] Примечания: 23

Seven dials — семь циферблатов *(англ.).* На колонне были часы с семью циферблатами, обращенными в разные стороны.

Джеймс Тилбери в «Черном лебеде» у церкви Сент-Джайлс-ин-де-филдс, продававший траву ложечницу, якобы смешанную с золотом; У. Бейнем, обитавший в нескольких шагах от него «в угловом доме против верхнего конца *Сент-Мартинз-лейн* близ *Севен-Дайалс, приход Сент-Джайлс*», брался заранее сообщить клиенту о том, *«кто выиграет конные либо пешие гонки»;* опять-таки, «близ *Севен-Дайалс* в приходе Сент-Джайлс живет дама знатного рода, *седьмая дочь Седьмой Дочери»,* которая может предсказать исход беременности или судебной тяжбы. «ОНА ТАКЖЕ ТОЛКУЕТ СНЫ». Еще один знаменитый алхимик-шарлатан жил «у церкви Св. Джайлса — над дверью вы можете видеть напечатанное объявление». В нем содержалось обещание раскрыть чудотворную тайну серы и ртути. Был еще пользовавшийся сомнительной известностью Джон Эдвардс, который жил «на Касл-стрит в приходе Сент-Джайлс», где он продавал лекарства, пилюли и настойки для лечения как людей, так и животных. Все эти персонажи упомянуты в книге Томпсона «Шарлатаны старого Лондона».

Приведенные примеры того, что теперь принято называть альтернативной медициной, относятся к XVII и началу XVIII века, однако эта

часть Лондона и в дальнейшем сохраняла сомнительную репутацию центра оккультизма и всяческой подозрительной деятельности. В более поздние годы в Сент-Джайлсе обосновывались и франкмасоны, и Общество Сведенборга, и Теософское общество, и Орден золотого рассвета. В нескольких сотнях шагов от Монмут-стрит находится книжный магазин «Атлантида» — попрежнему самый знаменитый в Англии магазин оккультной литературы. Вот вам еще один пример территориального императива, или «гения места», удерживающего жителей с их профессией внутри определенной ограниченной части города.

Джек Эдвардс был не только целителем, но и исполнителем «баллад» (популярных песен, нередко носивших сатирический или обличительный характер), и баллады, сочиненные в Севен-Дайалс, пользовались не меньшей известностью, чем события и люди, которым они были посвящены. Первым, кто стал печатать и распространять дешевые брошюры, тексты песен и бродсайды (отдельные листы крупного формата с напечатанным с одной стороны текстом — чаще всего балладой), во множестве циркулировавшие в XVIII веке на улицах Лондона, был Джеймс Кат-

нак, житель Монмут-корта. Продавалось все это по пенсу за штуку — отсюда словечко catchpenny, буквально — «схвати пенс», отдававшее должное его коммерческой смекалке. Медяки, однако, ему приходилось сдавать в банк, потому что никто, кроме банка, их не брал, опасаясь инфекции, которая могла на них гнездиться. Репутация Севен-Дайалс всегда была темной и тревожной; чтобы пенсы вновь становились блестящими и привлекательными, Катнак кипятил их в поташе и уксусе.

В непосредственной близости от Сент-Джайлса действовали еще пять издателей баллад, публиковавших уличную литературу под такими названиями, как «Несчастливая дама из Хэкни», «Послание от Иисуса Христа», «Предсмертное слово, которое произнес [имярек]». Эти бродсайды были для лондонцев подлинными «новостями» и передавались из рук в руки; во многих случаях новости эти носили подрывной или политический характер и касались событий, непосредственно затрагивавших жителей. Например, в одной из баллад середины XVIII века, изданных в Севен-Дайалс, речь идет о местном работном доме: «Работные дома превращаются в тюрьмы, а их надзиратели — в палачей». Рассказ о смерти

некой миссис Мэри Уистл в этом казенном учреждении вызвал у многих жителей негодование. В балладах содержалось также немало сокрушений по поводу печальной судьбы обездоленных и нищих, многие из которых умирали на тех самых улицах, где печатались посвященные им баллады. В каком-то смысле Сент-Джайлс с его буйным населением и ужасающей смертностью был, можно сказать, альтернативным источником власти. Здесь было самое подходящее место для фальшивомонетчиков, фактически выпускавших альтернативные деньги, подрывая тем самым систему коммерции и финансов, чья мрачная тень столь ощутимо ложилась на неимущих жителей района.

Неудивительно также, что приход был средоточием проституции и ночных заведений. Самыми знаменитыми по этой части были переулки и дворы поблизости от Друри-лейн; именно здесь Генри Мейхью услышал слова женщины «сорока с лишним лет, неряшливо одетой, потасканной и невзрачной на вид», которые вошли в его книгу «Труженики и бедняки Лондона», изданную в 1851–1862 годах. Записи Мейхью — примечательный и трогающий сердце источник как серьезных сведений, так и анекдотов об уличной

жизни. Правдивость и точность этих записей порой вызывали сомнение — во многом потому, что Мейхью принадлежал к поколению авторов середины викторианской эпохи, склонных облекать жителей «исполинского нароста», как порой именовали Лондон, и происходящие с ними события в одежды сентиментальности и жутковатого вымысла. Тем не менее общему направлению и бесхитростной откровенности записей Мейхью, пожалуй, можно доверять, как, например, этому изложению рассказа несчастной женщины: «Я теперь на Чарлз-стрит обитаю, возле Друри-лейн. А раньше жила в Ноттингем-корте и на Эрл-стрит. Да я, Боже ты мой, где только не жила — начать рассказывать, так вы и половине не поверите. Меня вечно носило туда-сюда, как ветром каким… Да что о моей жизни говорить, о никудышной. Вам-то, у кого и честь, и характер, и чувства, и прочее, вам не понять, как все это из таких, вроде меня, выколачивается. Я и не чувствую ничего. *Притерпелась*… Думаю, долго-то не протяну — ну и хорошо. Жить неохота, но и помирать не так шибко хочется, чтобы с собой теперь кончить. Я не такая чувствительная, как некоторые, вот в чем все дело». Мейхью пишет, что она «загрубела и опустилась», — но точнее было бы сказать, что

ее сделал такой город.

Не все, однако, разделяли ее покорность и фатализм. Д. М. Грин в книге «Люди Грачовника» отмечает, что Сент-Джайлс из-за жутких своих условий нес в себе «семена революции». Любопытно в связи с этим, что в 1903 году второй съезд Российской социал-демократической партии состоялся не где-нибудь, а на Тоттнем-корт-роуд; он был организован Лениным, и на съезде произошло размежевание между большевиками и меньшевиками. Лайонел Кохас, автор книги «Ленин в Лондоне», пишет: «Без большого преувеличения можно сказать, что политическая партия большевиков фактически зародилась на Тоттнем-корт-роуд». Таким образом, Сент-Джайлс действительно вынашивал эти самые «семена» яростного социального взрыва — пусть даже эта месть была неосознанной и весьма отдаленной.

Приход Сент-Джайлс и окружающие его улицы был, если пользоваться языком викторианской эпохи, «нарывом» или «гнойником», способным отравить все тело города; молчаливо предполагалось при этом, что язву следует тем или иным образом удалить или выжечь. В 1842–1847 годах сквозь трущобный район проложили крупную магистраль — Нью-Оксфорд-стрит, — и в процессе

перестройки самые скверные переулки и дворы исчезли с лица земли полностью, что сопровождалось исходом их неимущих жителей, которые, правда, большей частью осели всего несколькими улицами южнее. И вновь моралисты того времени использовали физиологическую метафору, характерным и многозначительным образом приветствовав ликвидацию «громадной грязной пахучей кучи». Тем не менее бьющая в ноздри, дурманящая атмосфера этого места отнюдь не была развеяна; изгнанная бедно-та попросту оказалась в худших и еще более стесненных условиях, чем раньше, тогда как жилые дома и магазины новой улицы первые несколько лет пустовали. Район по-прежнему был сырым, мрачным и зловонным, и там мало кто желал жить. Таким он остается и сейчас. Нью-Оксфорд-стрит — одна из наименее интересных магистралей Лондона, улица совершенно лишенная характера, если не считать его проявлением то не слишком завидное обстоятельство, что ее архитектурная доминанта — небоскреб Сентерпойнт. Здание высится над тем местом, где в старину располагались «клетка» и виселица, и его, пожалуй, можно считать их подходящим преемником. Район не имеет ныне ни собственного

лица, ни предназначения; здесь обосновались поставщики компьютеров, торгует гигантский универмаг «Аргос», стоят непримечательные и неотличимые друг от друга офисные здания и магазины для туристов. В закоулках, отдавая дань прошлому района, по-прежнему околачиваются бродяги — и все же там, где раньше кипела жизнь и набухало страдание, теперь царит унылая тишина, от которой даже святой Джайлс не в силах дать избавление.

ЛОНДОН КАК ТЕАТР

Глава 13
Давай! Давай! Давай! Давай! Давай!

«Show! Show! Show! Show! Show!» — «Давай! Давай! Давай! Давай! Давай!» Как сказано в «Лондонском наблюдателе» Неда Уорда, так звучал клич городской толпы XVII века. На лондонских улицах давали множество представлений, но крупнейшая увеселительная ярмарка из всех — Варфоломеевская — проходила в Смитфилде.

Поначалу Смитфилд был просто торговым районом. В одной его части торговали тканями, в другой — скотом; однако его жизнь всегда была бурной, красочной и театральной. В XIV веке здесь устраивались крупные турниры и рыцарские бои; Смитфилд был обычным местом дуэлей и ордалий — «суда Божьего» посредством поединка; здесь вешали и сжигали осужденных. Дух буйного веселья выражал себя здесь и менее свирепыми способами. Часто проводились футбольные игры и борцовские состязания, а в переулке, многозначительно названном Коклейн[24] и находившемся непосредственно за

---

[24] Примечания: 24
Cock на сленге означает «половой член».

торговой площадью, вовсю промышляли проститутки. В число здешних развлечений входили также миракли — религиозно-назидательные представления.

К середине XVI века рынок, где шла торговля тканями, захирел, но за муниципалитетом сохранялась «привилегия ярмарки». Поэтому трехдневная рыночная торговля сменилась ежегодным празднеством, которое длилось четырнадцать дней и эхом отдается в пьесах и романах позднейших столетий: «Чего изволите? Покупайте, покупайте!» Уже в ранний период своей славы ярмарка предлагала посетителям кукольные спектакли, уличные представления, диковинных людей-уродцев, игру в кости и наперсток, танцы и выпивку под полотняными навесами, закусочные, где подавали жареную свинину.

Бен Джонсон обессмертил Варфоломеевскую ярмарку в одноименной пьесе. Он упоминает о звуках трещоток, барабанов, скрипок. На деревянных прилавках были разложены разные разности — мышеловки, имбирные коврижки, кошельки, сумки. Шла торговля игрушками, давались балаганные представления. «Под знаком Башмака и Верхнего Платья» демонстрирова-

лось «ЧУДО ПРИРОДЫ, девица шестнадцати лет, рожденная в Чешире, ростом не более восемнадцати дюймов… Бегло читает, насвистывает, и то и другое весьма приятно для слуха». Поблизости, среди других уродцев и разнообразных балаганчиков, — «мужчина с одной головой и двумя раздельными телами», а также «великан» и «малютка фея». Продавались щенки, певчие птицы, лошади; исполнялись баллады; беспрерывно потреблялись эль и табак. «Ученые люди» составляли за деньги гороскопы, проститутки выискивали клиентов. Джонсон не чурается мелких подробностей и подмечает, например, что для медведей собирают огрызки яблок. Как восклицает один из персонажей, «Господи, спаси! Помогите, держите меня! Ярмарка!»

Что любопытно, ярмарку разрешали и в период пуританской республики — несомненно, главным образом с той целью, чтобы самым беспокойным из горожан было где выпускать пар; но поистине расцвела она после восстановления монархии в 1660 году, когда свобода нравов вновь вошла в моду. Один версификатор того времени пишет о представлениях театра масок, где зрителям являются «вавилонская блудница, дьявол и римский папа», а также о танцующих медведях

и акробатах. Некоторые номера повторялись из года в год — например, «высоченная голландка», которую показывали ежегодно по меньшей мере семнадцать лет, и «невиданная лошадь — хвост вместо головы». Непременно выступали канатоходцы, в том числе знаменитый Скарамуш, который «пляшет на канате, да еще тачку толкает с двумя ребятишками и собакой, да еще утку держит на голове», и столь же известный Джейкоб Холл, способный, раз вставши на канат, «прыгать, и прыгать, и прыгать». Но возможно, самыми популярными были номера Джозефа Кларка, «нашего английского акробата, мастера поз», или попросту «Кларка-выворотня». Он якобы мог «вывихнуть почти что всякую кость и всякий позвонок своего тела, а потом вправить обратно»; он мог так искривиться, что становился неузнаваем даже для ближайших друзей.

Словом, ярмарка бурлила, как и положено ярмарке. Там даже было чертово колесо, которое тогда называлось *whirligig* (вертушка), а позднее *up and down* (вверх-вниз). Как писал в 1709 году в «Лондонском наблюдателе» Нед Уорд, «дети, замкнутые в летучих экипажах, неощутимо возносятся вверх… поднявшись на некую высоту, они затем вновь снижаются в согласии с кру-

говым поворотом сферы, внутри которой они движутся».

Невообразимый шум и гвалт, неизбежные шайки карманников — все это в конце концов переполнило чашу терпения городских властей. В 1708 году двухнедельная ярмарка была сокращена до трех дней в конце августа. Но если ярмарка и стала менее буйной, она отнюдь не стала менее праздничной. Источники того времени отмечают потешные коленца «веселых Эндрю» — клоунов, скоморохов, называемых также «Джеками-пудингами» и «маринованными селедками»; они рядились в шутовские костюмы и шапки с ослиными ушами и аккомпанировали другим артистам на скрипочках. Один из самых знаменитых таких шутов был в неярмарочное время торговцем имбирным печеньем на рынке Ковент-гарден; поскольку за труды на Варфоломеевской ярмарке ему платили по гинее в день, «остальные 362 дня в году он, дабы не убавить себе цену, не смеялся и пропускал шутки мимо ушей».

Бок о бок с «веселыми Эндрю» подвизались лекари-шарлатаны, продававшие простачкам «чудодейственные» лекарства и всевозможные снадобья. На гравюре Марцеллуса Ларона

изображен подобный пройдоха с обезьянкой на поводке, одетый арлекином из итальянской «комедии дель арте». Среди общего гама различим и его голос: «Редкостное средство, укрепляющее и бодрящее сердце в любых невзгодах… необычайный зубной порошок… обороняет желудок от всяческих заражений, нездоровой сырости, зловредных паров». Ярмарка, громыхая, катилась вперед. То, что в 1688 году Джон Беньян рухнул без чувств и умер на углу Сноу-хилла и Кок-лейн, представляется вполне уместным.

Если можно говорить о главном действующем лице ярмарки, таковым, несомненно, был Панч, некоронованный король «кукольных спектаклей, карусельных лошадок, тамбуринов, толп и волынок». Он начал появляться на ярмарочных сценах ближе к концу XVII столетия; выход его объявлял скоморох, и представление сопровождалось звуками скрипки, трубы или барабана. Не будучи чисто лондонским явлением, Панч, однако, стал неизменной принадлежностью столичных ярмарок и уличных спектаклей; вульгарность, склонность к физическому насилию и сексуальный подтекст реприз сделали его узнаваемым городским персонажем. «Нередко он подсаживается к девицам, тесно сидящим

рядышком на скамейке. Красивые вы мои — говорит он, плутовски подмигивая — примите меня в подружки!» Этот толстяк с большим носом и длинной палкой был подлинным воплощением грубой сексуальной шутки; в последующие столетия он, увы, стал плюгавее, писклявее и мало-помалу превратился в развлечение для детишек. Акварель Роулендсона, датированная 1785 годом, изображает кукольный спектакль с участием Панча. Мимо, направляясь в Дептфорд, едут король Георг III и королева Шарлотта, но внимание горожан больше привлекает деревянный балаган, где Панч лупцует жену по голой заднице. Вообще-то он частенько выступал в амплуа подкаблучника, но тут, видно, терпение у него лопнуло. Отчасти, разумеется, акварель Роулендсона представляет собой сатиру на королевскую семью, однако наполняющая ее городская энергия и более сильна, и всеохватна.

Внутри себя Варфоломеевская ярмарка полностью стирала привычные границы между сословиями. Один из доводов против нее состоял в том, что в ярмарочные дни подмастерье и лорд могли участвовать в одних и тех же увеселениях, делать ставки за одними и теми же игорными столами. Это чрезвычайно характерно

для Лондона в целом — города многоликого и на инстинктивном уровне эгалитарного. Не случайно, к примеру, то, что в Смитфилде именно в дни ярмарки давался ежегодный ужин для юных трубочистов. Чарлз Лэм обессмертил это событие в эссе «Хвалебное слово в честь трубочистов», где он пишет, как «сотни ртов изумляли ночь блеском оскаленных в улыбке зубов», в то время как издали доносился «приятный гомон» самой ярмарки. Можно, правда, возразить: подлинно ли эгалитарен этот жест? Не предназначены ли были подобные празднества лишь для того, чтобы сделать для этих чумазых мальчишек их тяжкую долю более приемлемой? Если так, это можно отнести к числу парадоксов Лондона, подбадривающего тех, кого намеревается проглотить.

Панч представлен также на гравюре Хогарта, посвященной Саутуоркской ярмарке. Называемая «ярмаркой Богоматери», она проходила в Боро и на примыкающих к этому району улицах вскоре после Варфоломеевской ярмарки. Однако, поскольку Хогарт анонсировал свою гравюру просто как «Ярмарка» и «Смешное на ярмарке», можно безбоязненно сделать вывод, что он изобразил характерное и привычное лондонское увеселение. Панч у него сидит верхом на «лоша-

ди» с человеком внутри, а та что-то тащит зубами из кармана у клоуна; выше виднеется афиша, рекламирующая «Панч-оперу» и изображающая длинноносого мужчину, который катит жену на тачке к разинутой пасти дракона.

На другом участке ярмарки пестрая группа актеров стоит на деревянном балконе. Надпись на разрисованном холсте возвещает: «Осада Трои — здесь!» Одна из афиш театральной компании Ханны Ли, к которой принадлежат эти актеры, сохранилась до наших дней: «Вдобавок будет показана новая опера-пантомима… с комическими номерами, в которых участвуют Панч, Арлекин, Скарамуш, Пьеро и Коломбина. N.B. Мы начинаем в десять утра и выступаем до десяти вечера без перерыва». Ярмарочный день, как видим, был долог.

По обе стороны от актеров видны акробаты, исполняющие различные номера; канатоходец движется по веревке, натянутой между двумя деревянными постройками, еще один трюкач стремительно съезжает по канату с башни церкви Сент-Джордж-де-Мартер. В левой части гравюры рушится деревянный помост, актеры падают с него на лотки, где идет торговля фарфоровой посудой, и тревожат сидящих за столом игроков

в кости. Изображены карлики, фокусники, восковые фигуры, ученые звери — собаки и обезьяны; девица бьет в барабан, лекарь-шарлатан торгует снадобьями; вор-карманник делает свое дело, глотатель огня — свое. Один из посетителей смотрит в глазок деревянной будочки, где за деньги показывают что-то интересное, и не замечает, что рядом бейлиф арестовывает человека.

Варфоломеевская ярмарка не раз избиралась теми или иными авторами как место событий с участием вымышленных персонажей, однако самое, возможно, известное ее литературное изображение автобиографично по характеру. В седьмой книге своей «Прелюдии» Вордсворт вспоминает о пребывании в Лондоне в 1790-е годы, когда он был молод, и делает Варфоломеевскую ярмарку одним из символов этого города с его «анархией и шумом, варварскими и адскими»[25]. Образы «чудовищны по цвету, движению, очертаниям, виду, звуку»; здесь и «обезьяны, которые, вереща, раскачиваются на шестах», и «дети, кружащиеся на каруселях», и «пожиратель камней», и «глотатель огня». Становится ясно, что

[25] Примечания: 25

Здесь и ниже цитаты из стихотворной «Прелюдии» даны в подстрочном переводе.

на протяжении XVIII и начала XIX века характер увеселений не изменился. В реакции Вордсворта на их «варварский шум» и на их бесформенность проявляется, впрочем, его отношение к городу как таковому. Ярмарка фактически становится у него подобием самого Лондона. Начальные строки «Дунсиады» Поупа, иронически превозносящие «могущественную Мать и ее Сына, который доносит звуки смитфилдских муз до королевских ушей», выражают примерно ту же позицию. Ярмарка со всеми ее вульгарными атрибутами, с ее «зрелищами, машинами и театральными увеселениями, прежде угодными вкусу одной лишь черни», служит для Поупа символом беспорядка и анархии, грозящими опрокинуть ценности гуманного и цивилизованного Лондона. Таким образом, проявления эгалитарной энергии города вызывали у тех, кто писал лишь для узкого круга лондонцев, глубочайшее недоверие.

Во времена, описываемые Вордсвортом, ярмарка постепенно расширяла свою территорию и к 1815 году в одном направлении достигла Сент-Джонс-стрит, в другом почти добралась до Олд-Бейли. Она, кроме того, стала опасным местом, где орудовали воровские банды, известные под названием «шайка леди Холланд»; их члены

«грабили посетителей, избивали ни в чем не повинных прохожих дубинками, набрасывались на людей почем зря». Это уже не были веселые празднества XVIII столетия, и конечно же, ярмарка не соответствовала тому респектабельному климату, что установился к середине XIX века. Варфоломеевская ярмарка не могла долго существовать в Викторианскую эпоху и в 1855 году приказала долго жить, не вызвав в обществе глубокой скорби.

Как бы то ни было, Вордсворт сумел разглядеть в образах ярмарки некий важный и постоянный аспект лондонской жизни. Он распознал — и, распознав, отверг — неотъемлемо присущую городу и бьющую через край театральность, которая вполне довольствовалась просто выражением контраста, чистым показом без всякого внутреннего или остаточного смысла. В той же седьмой книге его «Прелюдии», которая называется «Пребывание в Лондоне», описывается «стремительная пляска на иноземцах всех возрастов цветовых пятен, бликов и форм, вавилонский шум». Вордсворта коробит эта игра различий с ее подвижностью, с ее неопределимостью. Несколькими строками ниже он говорит: «Магазин за магазином, повсюду символы, выставленные

напоказ названия… фасады домов, подобные титульным листам книг»; иными словами, город демонстрирует бесчисленное множество зримых форм, ни одна из которых не выше какой-либо другой. Вордсворт замечает висящие на стенах листы с балладами и громадные рекламные плакаты, слышит крики уличных разносчиков, перечисляет характерные типы горожан: «Калека… Холостяк… Праздный военный» — будто выхватывая все это из некоего громадного и нескончаемого театрального представления.

Однако понимает ли Вордсворт до конца ту реальность, которую он столь ярко описывает? Эти «словно по волшебству меняющиеся декорации», эти «драмы живых людей», эта «громадная сцена», эти «публичные спектакли» и участвующие в них актеры, возможно, как раз и выявляют подлинное лицо Лондона. Присущая ему театральность ведет к «экстравагантности в жестах, выражении лица, одежде», из-за которой люди на больших и малых улицах становятся «подвижными картинами»; даже стоящий на тротуаре нищий повесил на грудь плакат, где изложена история его жизни. Реально ли все это? Возможно, и нет — по крайней мере, вполне может показаться, что нет. Вордсворт полагал, что видит только

«parts» — «составные части» (это слово означает также и «роли»), и не в силах был вывести из их совокупности никакого «ощущения целого». Возможно, то была его личная неудача?

Вордсворт был прав относительно органически свойственной городу театральности, однако на ту же театральность можно взглянуть и с иной точки зрения. Она может стать источником восторга. Чарлз Лэм, великий лондонец, воздал своему городу хвалу, сравнив его с «театром и маскарадом». «Чудо этих зрелищ вовлекает меня в вечерние странствования по многолюдным улицам, и нередко на ярко-пестром Стрэнде при виде такой полноты жизни на глаза мои наворачиваются слезы радости». Маколей дивился «ослепительной яркости лондонских зрелищ»; Джеймс Босуэлл полагал, что они заключают в себе «человеческую жизнь целиком, во всем ее многообразии»; для Диккенса они были «волшебным фонарем», который наполнял его воображение диковинными драматическими образами и мгновенно возникающими сценами. Для каждого из этих лондонцев — рожденных в городе или им усыновленных — театральность Лондона является его важнейшей чертой.

Напор толпы, собравшейся в 1863 году посмот-

реть торжественное открытие первой подземной железной дороги, газеты сравнили с «давкой у театрального подъезда в вечер рождественского представления». Дональд Дж. Олсен, автор книги «Рост Лондона в викторианскую эпоху», уподобил виды, открывавшиеся пассажирам тех времен при движении через город на поезде, «непрерывно идущей в жизни волшебной смене декораций, какая бывает в рождественском представлении». Не случайно именно Лондон всегда считался обиталищем привычных театральных персонажей — «благородного оборванца», «пройдохи из городских», «юного ловкача». В середине XVIII века в витринах магазинов гравюр выставлялись карикатурные изображения лондонских «типов», а самые большие городские модники тех лет использовали соответствующие костюмы для маскарадов и прогулок инкогнито.

Самая знаменитая серия изображений, представляющая лондонские персонажи, — «Уличные крики города Лондона, запечатленные с натуры» Марцеллуса Ларона — была опубликована в 1687 году и показывает немало профессий и родов занятий, основанных на актерском перевоплощении. Многие нищие прибегали к маскараду, чтобы разжалобить идущих мимо «зрителей»;

Ларон, давая свой образец «лондонского нищего», взял в качестве модели вполне определенную женщину. Имени ее он не приводит, однако известно, что ее звали Нэн Миллс; как пишет редактор последнего издания серии, она была «не только хорошей физиономисткой, но и отличной мимической актрисой… она могла изобразить на лице любую разновидность беды или отчаяния». Нет причин сомневаться, что она при этом действительно была бедна и сознавала свое падшее состояние; здесь тоже сквозит тайна Лондона, где страдание и мимикрия, нищета и театр срослись до того, что стали неразличимы.

В Лондоне и преступление с его ритуалами (как и поиск преступника) стало рядиться в театральные костюмы. Джонатан Уайлд, знаменитый лондонский злодей середины XVIII века, заявил: «Маска — это summum bonum[26] нашего столетия»; маршалмены — городские полицейские чуть более позднего времени — носили треугольные шляпы с загнутыми полями и мундиры с блестками на пуговицах. Частному же детективу подобала более тонкая, маскирующая театральность. На ум приходит Шерлок Холмс

---

[26] Примечания: 26
Величайшее благо *(лат.)*.

— персонаж, который мог существовать только в сердце Лондона. По словам доктора Ватсона, у Холмса было в Лондоне «по меньшей мере пять укромных местечек, где он мог изменить внешность». В свою очередь, тайна доктора Джекила и мистера Хайда могла быть передана лишь через посредство «завивающегося кольцами» лондонского тумана, где характер и сама личность человека могли внезапно и по-театральному затмиться или измениться.

Если преступление и розыск не могут обойтись без маскировки, то наказание в Лондоне располагало целым театром суда и страдания. Процедура уголовного суда в Олд-Бейли была разработана по образцу драматического спектакля, и разбирательство называли «гигантским представлением с Панчем и Джуди», на котором судьи сидели в открытом с одной стороны зале, при взгляде снаружи напоминающем задний план театральных декораций.

Поскольку Панч, который в конце концов ухитряется вздернуть на виселицу палача Джона Кетча, является воплощением бесчинства и беспорядка, дух его неизбежно возникает и в обстоятельствах предельно тягостных и мерзких. Подвальный этаж долговой тюрьмы Флит на-

зывали «Варфоломеевской ярмаркой»; в церкви Ньюгейтской тюрьмы была галерея, куда приглашали желающих посмотреть на смертников, добровольно развлекавших зрителей всяческими выходками и вызывающим поведением. Мы читаем, к примеру, о некоем Джоне Ригглтоне, который «имел обыкновение подкрадываться к ординарию [тюремному священнику], когда тот молился с закрытыми глазами, и громко кричать ему в ухо». Это, разумеется, амплуа второго клоуна в рождественском представлении.

В тюремной церкви театр не заканчивался — он продолжался на той небольшой сцене, где происходила казнь. «Обращенные кверху лица взволнованных зрителей, — писал один из авторов «Ньюгейтских хроник», — напоминали лица „богов“, сидящих в верхнем ярусе театра „Друри-лейн“ на второй день Рождества». Другой очевидец отмечает, что перед самым повешением раздались крики: «Снимите шляпу — не видно!», «Не заслоняйте!» — как в театре. Один особенно театральный эпизод случился в 1820 году во время казни Тислвуда и его сообщников по «заговору Кейто-стрит», осужденных за измену. Во исполнение традиционного приговора все они были повешены и затем обезглавлены. «Когда

пришел черед последней головы, палач поднял ее, но по неловкости уронил. Толпа закричала: „Эй, ты, дырявые руки!“» Эта маленькая сценка выявляет особый темперамент лондонской толпы, в равных долях соединяющей в себе юмор и свирепость.

Свойства и возможности города-театра оценили, помимо очевидцев казней, и другие лондонцы. Постройка Иниго Джонсом Банкетинг-хауса, оконченного в 1622 году, стала, как пишет Джон Саммерсон в книге «Георгианский Лондон», «истинным продолжением его сценического труда»; то же самое можно сказать и о других его грандиозных градостроительных проектах. В подобном же ключе работал двести лет спустя Джон Нэш. Целенаправленную деятельность в области городского планирования — разграничение бедной восточной и богатой западной частей города — он замаскировал, создав улицы и площади, воплощавшие принципы «картинности» посредством сценических эффектов. По словам писателя Джорджа Мура, знаменитый изгиб Риджент-стрит сильно смахивает на изгиб амфитеатра; было отмечено также, что время, когда Нэш проводил в жизнь свои «усовершенствования», было и временем грандиозных лондонских панорам и диорам.

Букингемский дворец, если смотреть на него с дальнего конца Мэлла, кажется лишь изощренной декорацией. Здание палаты общин — образец сумрачного неоготического стиля, ассоциирующегося с замысловато построенными пьесами, которые шли в викторианскую эпоху в театрах «Друри-лейн» и «Ковент-гарден». В последнем выпуске путеводителя Певзнера говорится, что здания банков Сити «строились с тем расчетом, чтобы производить на зрителя впечатление и внутренним, и наружным видом», а архитектура 1960-х годов нередко стремилась «сполна, вплоть до театральной крайности, использовать выразительные возможности бетона».

Драматическую натуру Лондона чувствовали не только архитекторы, но и художники. У Хогарта улицы вычерчены согласно принципам сценической перспективы. Во многих его гравюрах (самый примечательный случай — изображение ярмарки) разграничительная черта между актерами и зрителями практически стерта; горожане играют свои роли с еще большим воодушевлением, чем артисты, и эпизоды, происходящие в толпе, отличаются большей театральностью, чем то, что мы видим на подмостках.

Некоторые из самых известных портретов Лон-

дона также позаимствовали эффекты у театра своего времени. Отмечалось, к примеру, что в картине Эдварда Пенни «Ливень в городе» использовано оформление одной из сцен пьесы «Подозрительный муж» в постановке Дэвида Гаррика. Джон О'Коннор, один из выдающихся городских пейзажистов середины XIX века, был, кроме того, прекрасным театральным художником. Редакторы «Лондона в живописи» — самого полного альбома, посвященного лондонской теме — пишут даже, что «живая связь между двумя профессиями [городского пейзажиста и автора театральных декораций] требует дальнейшего исследования». Возможно, впрочем, это не две профессии, а одна.

Может показаться, что едва ли не все лондонцы рядятся в театральные костюмы. Городские анналы, начиная с самых ранних времен, отмечают яркие отличительные знаки и зримые проявления ранга и иерархии в одежде — в частности, цветные полосы и радужную пестроту. Например, при посещении городскими сановниками Варфоломеевской ярмарки в день ее открытия предполагалось, что на них должны быть «фиолетовые мантии на подкладке». Впрочем, упор на цвет и зрительный эффект делали

лондонцы всех рангов и разрядов. В таком многолюдном городе человека только по одежде и можно было распознать: мясника — по «синим нарукавникам и шерстяному переднику», проститутку — по «чепцу, шейному платку и банту на макушке». Вот почему в дни ярмарки смена костюмов перечеркивала всю общественную иерархию. Владелец магазина в середине XVIII века рекламировал традиционные достоинства своих товаров «с напудренной головой, с серебряными подколенными и обувными пряжками, с гофрированными кружевными манжетами тонкой работы». В начале XX века отмечалось, что банковские курьеры, официанты и городские полицейские по-прежнему одеваются как в середине викторианской эпохи, словно бы желая продемонстрировать старинную почтительность и респектабельность. Впрочем, в любой период лондонской истории на улицах можно было увидеть образцы платья и поведения, характерные для нескольких различных десятилетий.

Костюм, однако, мог служить и подспорьем для обмана. Один знаменитый разбойник сбежал из Ньюгейтской тюрьмы, «переодевшись продавщицей устриц»; Мэтью Брамбл, персонаж «Путешествия Хамфри Клинкера» Смоллетта,

замечает, что в Лондоне порой простые рабочие скрывают свой статус, «одеваясь как высшие по положению». Босуэлл, напротив, любил играть «низкие» роли; он рядился «мерзавцем» или солдатом и вел себя на улицах и в тавернах соответственно образу — покупал услуги проституток и развлекался иными способами. Лондон восхищал Босуэлла именно тем, что позволял ему надевать разнообразные маски и убегать с их помощью от своего собственного «я». Не оставалось, как писал Мэтью Брамбл, «никаких различий, никакой субординации», что в точности соответствует столь характерному для Лондона сочетанию эгалитарности и театральности.

Лондон — подлинный театр, причем то с живыми, а то и с мертвыми актерами. В 1509 году, когда по Чипсайду везли тело Генриха VII, на катафалк была водружена восковая фигура его монаршей персоны, облаченная в парадные королевские одежды. Похоронные дроги были окружены плачущими священниками и епископами, а сзади с горящими свечами шли процессией придворные в количестве шестисот человек. Это был своего рода погребальный парад, какими Лондон всегда славился. Похороны герцога Веллингтонского в 1852 году были не менее картинными и рос-

кошными, и очевидец описывает их в сугубо театральных выражениях: по его словам, темный фон, оживляемый яркими пятнами, производит «необычное и чрезвычайно сильное впечатление»; особенно красочен был алый мундир гвардейца-гренадера, «резко контрастировавший с траурным убранством вокруг».

Для торжеств по случаю прибытия зарубежного монарха, рождения принца или военной победы город украшал себя весьма пышно. В 1501 году, когда в Лондон прибыла Екатерина Арагонская, ее встретили раскрашенными деревянными замками на каменных фундаментах, колоннами и статуями, фонтанами и искусственными горами, механическими подобиями зодиака и специально возведенными зубчатыми стенами. Жажду зрелищ, присущую лондонцам на протяжении многих столетий, невозможно переоценить. В 1415 году, вернувшись после победы при Азенкуре, Генрих V увидел перед въездом на Лондонский мост две гигантские фигуры; на самом же мосту «бесчисленные отроки изображали ангельское воинство, одетые в белое, с блестящими крыльями, а волосы их были украшены ветвями лавра»; питьевой фонтан на Корнхилле был увенчан шатром алого цвета, и там, когда монарх при-

близился, «воробьи и другие малые птицы» были во множестве выпущены на волю. У такого же фонтана на Чипсайде девицы, наряженные исключительно в белое, «из чаш, которые держали в руках, выдували на короля золотые лепестки». Изображение солнца, «сияющего превыше всякой твари», было водружено на трон, а «окружившие его ангелы пели и играли на музыкальных инструментах всех родов». При последующих монархах корнхиллский и чипсайдский питьевые фонтаны украшались деревьями, гротами и искусственными холмами, там текли молочные и винные ручьи, улицы увешивались гобеленами и парчой. Как пишет Агнес Стрикленд в одной из первых биографий Елизаветы I, «весь Лондон того времени заслуживает сравнения со *сценой*». Сходным образом один немецкий путешественник отметил, что во время коронации Георга IV король «должен был принимать позы, как главный актер в рождественском представлении»; королевское облачение «разительно напомнило мне костюмы в спектаклях на исторические сюжеты, которые здесь так хорошо ставят».

Есть и другой вид театра, который представляется сродным натуре города. Сами улицы были постоянно действующей ареной, на ко-

торой выступали, к примеру, торговцы, особой скороговоркой расхваливавшие свои товары и зачастую собиравшие внимательную аудиторию. Театры XVI века строились с тем расчетом, чтобы сцена глядела на юг и актеры освещались наилучшим образом; порой, однако, на людных улицах Лондона мимика и жесты актеров менее профессиональных были освещены столь же ярко. Уличные труппы разыгрывали сцены на исторические сюжеты. Сохранились фотографии XIX века, где сняты актеры уличного театра; они бедны и, пожалуй, не безупречно чисты на вид, но на них украшенные блестками трико и сложные костюмы, и стоят они перед ярко раскрашенными задниками. В начале XX века сцены из романов Диккенса разыгрывались на открытых повозках в тех самых местах города, где происходило их действие.

Диккенсу, возможно, это понравилось бы — ведь сам он весь Лондон превратил в подмостки громадного символического спектакля; во многом его драматическое воображение сформировалось посещением театров различного рода, которых в годы его юности было множество — в особенности дешевых балаганчиков, мюзик-холлов и маленьких театриков вокруг

театра «Друри-лейн». В одном из них он увидел «пантомиму» (комическое музыкальное представление на сказочный сюжет) и «отметил, что статисты, изображавшие лавочников, уличную толпу и так далее, были лишены всякой условности и необычайно правдоподобны». Он имеет в виду то обстоятельство, что простые лондонцы — главным образом молодые — часто готовы были заплатить, лишь бы им позволили выйти на сцену в новой пантомиме или в новом спектакле по последней городской драме. Его современник Теккерей в «Ярмарке тщеславия» упоминает о двух юных лондонцах, имеющих «склонность к изображению театральных типов». В сходном духе почти каждая улица Лондона в свое время становилась предметом драматургического внимания — от «Невинной девушки с Чипсайда» до «Калеки с Фенчерч-стрит», от «Заправилы с Биллингсгейтского рынка» до «Ладгейтских влюбленных», от «Даугейтского дьявола» до «Ньюгейтского арапчонка». В спектаклях по этим пьесам, как и по «Варфоломеевской ярмарке» Джонсона, зрители видели тот театр, который отражал природную суть их бытия и природную суть самого города. По сюжету пьесы эти были, как правило, жестокими и мелодраматическими,

но это-то и позволяло им создавать верный образ кипучей городской жизни.

В свою очередь, сама лондонская жизнь могла превращаться в уличный театр — театр зачастую непроизвольный и порой трагический. Люди бедные — а бездомные в особенности — не могут притязать на тайну частной жизни, и, как заметил Гиссинг в романе «Преисподняя» (1889), «происходящие между ними сцены нежности и ярости должны большей частью разыгрываться на людях», так что вопли и перешептывания их явственно слышны посторонним.

Глава 15[27]
Театральный город

Сегодня налицо весьма ясные свидетельства, говорящие о том, что в Лондоне некогда существовал древнеримский театр; он был расположен к юго-западу от нынешнего собора Св. Павла и всего на 150 с небольшим футов восточнее того места близ Паддл-Дока, где ныне находится театр «Мермейд» («Русалка»), Имеются также данные о том, что в 1567 году действовал театр в Уайтчепеле; он располагался за городскими воротами Олдгейт на небольшом от них расстоянии, высота его сцены составляла примерно пять футов, и здание было оборудовано галереями для зрителей.

Несколько позднее возник «Театр» в полях Шордича. Он был построен из древесины и крыт соломой; сооружение было охарактеризовано как «превосходный дом для зрелищ, возведенный в Полях». Там исполнялись «Доктор Фауст» Марло и «Гамлет» Шекспира. «Театр», безусловно, пользовался популярностью — ведь год спустя в двухстах шагах от него появился еще один

---

[27] Примечания: 27
Глава 14, где речь идет о диалекте кокни, в переводе опущена.

театр; он получил название «Куртина», превратившееся много позже в «Зеленый занавес»[28], что соответствует цветному изображению на его фасаде. Театры, подобно тавернам и лавкам, ярко рекламировались, чтобы привлечь внимание горожан.

Эти два театра стали своего рода образцом для их более знаменитых потомков, которые сыграли такую важную роль в культуре елизаветинской эпохи. Все эти театры (за исключением «частного» театра Блэкфрайарс) находились вне городских стен, а два из них, расположенные на северных полях, были сооружены на земле, ранее принадлежавшей монастырю Холиуэлл; название наводит на мысль, что где-то рядом в свое время был «святой источник» («holy well»). Возможно, театры нарочно строили там, где раньше разыгрывались священные действа. Той же причиной может объясняться возникновение театра на месте старинного доминиканского монастыря Блэкфрайарс. Лондонцы всегда знали и учитывали топографию своего города и его окрестностей, и поэтому во многих случаях и во многих сферах жизни та или иная деятельность

[28] Примечания: 28

По-английски *curtain* означает и «куртина» (участок крепостной стены), и «театральный занавес».

оказывается привязана к тому или иному месту. Где находился «theatrum» XII века, нам неизвестно, но предположение о том, что он располагался там же, где в 1580-е и 1590-е годы возникли «Роза», «Лебедь» и «Глобус», выглядит во всяком случае разумным.

Истоки ранней театральной архитектуры уже становились предметом размышлений, и высказывалась мысль, что она взяла за образец оборудованные галереями внутренние дворы гостиниц, где давали представления бродячие труппы менестрелей и актеров. Такие гостиницы назывались «inn-playhouses» («гостиницами-театрами»); на Грейсчерч-стрит их было две («Колокол» и «Скрещенные ключи»), еще одна находилась на Ладгейт-хилле. Она называлась «Belle Sauvage», то есть «Прекрасная дикарка», и, подобно другим, вскоре приобрела отчетливо скверную репутацию. В 1580 году указом Тайного совета лондонским властям было предписано «изгнать актеров из города» и «снести балаганы и игорные дома в пределах, на которые распространяются вольности города Лондона», поскольку присутствие актеров поощряет «безнравственность, азартные игры, невоздержанность… мятежи учеников». Иными словами, театр может

спровоцировать беспорядки, которые, кажется, постоянно тлели под поверхностью городской жизни. Он также увеличивал риск распространения двух страшных лондонских бедствий — огня и эпидемий.

Другие историки театра считают, что подлинным прототипом елизаветинского театра был не гостиничный двор, а арена для травли медведей или для петушиных боев. Несомненно, эти развлечения не были несовместимы с серьезной драматургией. Некоторые театры на время превращались в площадки для медвежьей травли или кулачных боев, а на иных аренах для травли быков или петушиных схваток порой игрались спектакли. Между этими двумя видами зрелищ не было непроходимой границы, и историки высказывали мысль, что на подмостках «Глобуса» и «Лебедя» могли выступать также и акробаты, фехтовальщики, канатоходцы. Эдвард Аллен, великий актер и антрепренер начала XVII века, был также смотрителем королевских медведей. Публичная арена была воистину многолика.

Популярность елизаветинской драмы характеризует восхищавшихся ею лондонцев: они были неравнодушны к яркому, многоцветному ритуалу и очень любили красноречие. Потребность

толпы в периодическом нарушении спокойствия вспышками насилия щедро удовлетворялась сюжетами пьес; природная гордость лондонцев историей своего города принималась во внимание постановщиками тех торжественных драматически-исторических действ, что непременно входили в меню театров. Заставляя Фальстафа и его дружков обретаться на Истчипе, Шекспир воскрешает город, каким он был двумя столетиями раньше. Зрелищность и жестокость, достоинство горожанина и национальная гордость — все это находило естественную среду обитания в театрах Лондона.

Звучали, конечно, знакомые жалобы. В 1596 году, когда Бербедж попытался заново открыть театр «Блэкфрайарс», «знатные господа», жившие в старинных монастырских зданиях, воспротивились — дескать, театр привлечет «людей бродяжничающих и распутных»; к тому же «звуки барабанов и труб» будут мешать службам в окрестных церквах. Когда театр все же наконец, открылся те, кто приезжал посмотреть пьесу Шекспира или Чапмена, должны были покидать свои кареты у западной стены собора Св. Павла или у питьевого фонтана на берегу Флита и оставшуюся часть пути проделывать пешком;

целью этой меры было опять-таки пресечение беспорядков.

Театр «Фортуна» на улице Голдинг-лейн (ныне Голден-лейн) был знаменит своими «воспламенениями» посредством «петард», «грома» и «искусственных молний». С посетителей брали пенс за стоячее место, два за сидячее и три за «удобнейшие мягкие кресла». Как пишет Томас Платтер в «Путешествиях по Англии», «по рядам разносили еду и напитки».

В годы пуританской Республики театры были закрыты — люди, мол, и без того насмотрелись публичных трагедий и больше не нуждаются в их сценических версиях. Театральные представления разыгрывались тогда тайно или под видом чего-то иного. Театр «Красный бык» в Кларкенуэлле — всего в нескольких сотнях шагов к северу от Смитфилда — демонстрировал ходьбу на канате и тому подобное, но ухитрялся все же вставлять в программу «шуточные сценки» и «отрывки из пьес». Тяга рядовых лондонцев к этим зрелищам была столь велика, что один современник писал: «Я наблюдал такой наплыв посетителей в театр „Красный бык“ — не маленький по размерам, — что сколько людей попало на представление, столько же тех, кому не досталось мест, ушло

несолоно хлебавши». Даже после разнообразных запретительных указов 1642 и 1648 годов жалобы на спектакли и актеров не умолкали, из чего мы можем сделать вывод, что лондонские ценители театра по-прежнему могли видеть драматические постановки, по крайней мере в «отрывках».

Можно поэтому предположить, что лондонцы разделяли мнение одного из своих сограждан — Сэмюэла Пипса, заявившего после Реставрации, что театр стал «в тысячу раз лучше и славней, чем когда-либо раньше». Он имел в виду недавно получившие патенты театры «Дорсет-гарденз» и «Друри-лейн», которые были совершенно не похожи на театры старого образца; как писал далее тот же Пипс, «ныне все стало благородно, нигде никакой грубости». Театр сделался более рафинированным, чтобы нравиться королю, двору и тем лондонцам, что разделяли их вкусы и понятия. Диалект кокни теперь не копировался на сцене, как в пьесах Шекспира, а высмеивался, и народный театр прежних десятилетий ушел в прошлое.

И все же те лондонцы, что в большей степени принадлежали миру «кокни», тоже посещали новые театры; их, конечно, вряд ли встречали с распростертыми объятиями в ложах и партере,

где сидели более состоятельные горожане, но им был открыт доступ на галерку, откуда они могли низвергать брань и швырять гнилые плоды как на сцену, так и на головы респектабельной публики. Кокни были, однако, лишь одним из элементов театральной аудитории, в целом пристрастной и легко воспламеняющейся. Создавались «клаки», чтобы повышать в ранге или, наоборот, проваливать новые постановки; среди «благородных господ» вспыхивали драки; спектакль зачастую эффектно переходил в общую потасовку. С другой стороны, мятежам была присуща некая театральность. Когда Дэвид Гаррик в середине XVIII века предложил отменить допуск зрителей в зал за полцены после третьего из пяти актов (спектакли начинались в шесть вечера), в день, на который было назначено это нововведение, театр «Друри-лейн» наполнился безмолвной публикой. П. Ж. Гроле изобразил эту сцену в своей «Поездке по Лондону» (1772). Как только начался спектакль, раздался «общий крик», в ход были пущены «кулаки и дубинки», а затем насилие пошло по нарастающей: зрители «ломали сиденья в партере и на галерке» и «крушили ложи». Фигура льва, украшавшая королевскую ложу, была сброшена на сцену и

упала среди актеров, фигура единорога полетела в оркестр, где «разнесла вдребезги большой клавесин». 19 января 1763 года Босуэлл писал и своем «Лондонском дневнике»: «Мы вступили в зал, заняли позицию посреди партера и, с дубовыми палками в руках и свистками в карманах, способными издавать пронзительные звуки, сидели в полной готовности».

Подобное поведение в столичных театрах продолжалось и в XIX веке. Немецкий князь Герман фон Пюклер-Мускау, посетивший Лондон в 1827 году и позднее карикатурно изображенный Диккенсом в «Посмертных записках Пиквикского клуба» под именем «граф Сморлторк», писал: «Для иностранца самое ошеломляющее в английских театрах — неслыханная грубость и неотесанность публики». Беспорядки 1807 года, вызванные повышением цен на билеты в театре «Ковент-гарден», длились семьдесят вечеров; обстоятельства личной жизни актера Эдмунда Кина, обвиненного в пьянстве и адюльтере, имели следствием четыре вечера дикого буйства в театре «Друри-лейн». Дух групповой солидарности не раз становился причиной драк как в зрительном зале, так и среди актеров. Провоцировало беспорядки также присутствие на сцене иностранцев;

когда в театре «Друри-лейн» появилась труппа парижского «Исторического театра» («Theatre Historique»), публика ринулась на подмостки. В 1805 году, когда комедия «Портные» обидела соответствующее профессиональное сообщество, толпа окружила театр «Ройял» на Хеймаркете. В 1743 году противоборствующие группы привели в театральный зал профессиональных кулачных бойцов, дабы решить спор грубой силой. Это была городская драма во всех смыслах — и все же в самом городе подлинная драма по-прежнему разворачивалась прямо на улицах.

Глава 16
Буйные забавы

Во все времена, пока существовал город, в нем были развлечения и были те, кто развлекал, — от уличных чревовещателей до «человека с телескопом», за два пенса позволявшего желающим взглянуть летней ночью на небеса. Акробаты балансировали на флюгере, который увенчивал шпиль собора Св. Павла; устраивались полуночные выставки собак и крысиные бои; демонстрировали свое искусство уличные жонглеры и фокусники, чьи выступления сопровождались игрой на дудочках и барабанах; на длинных веревках по лондонским улицам водили ученых медведей и обезьянок. В конце XVIII века некто, ходя по Лондону, демонстрировал зайца, танцующего на тамбурине; другой человек показывал «диковинную маску из пчел, покрывавших его голову и лицо». В начале XIX века толпы горожан собирались вокруг балагана «Фантазина», а детей привлекал «Келидаскоп». На площади Тауэр-хилл стояла «хитроумная машина» с большим количеством механиче-

ских фигур и надписью: «Окажите, пожалуйста, поддержку изобретателю»; по Парламент-стрит ослик возил будочку с окошком, в которое можно было увидеть «Битву при Ватерлоо». Где раньше были магазины, торговавшие гравюрами и эстампами, теперь работают залы игральных автоматов, а на месте нынешнего Лондонского зоопарка в свое время принимал посетителей «Зверинец», располагавшийся в здании Эксетер-чейндж на Стрэнде. Доносившийся оттуда рев диких животных порой пугал лошадей, везших экипажи по оживленной магистрали.

В чудесах и курьезах в Лондоне никогда не было недостатка. Джон Стоу отмечает филигранную работу кузнеца, демонстрировавшего ошейник для дрессированной блохи с висячим замочком, ключиком и цепочкой; Джон Эвелин пишет, что видел «Волосатую Женщину», чьи брови покрывали весь лоб, и голландского мальчика, у которого на радужной оболочке каждого из глаз можно было разглядеть слова «Deus Meus» и «Elohim»[29]. В правление Георга II было объявлено, что «с восьми утра до девяти вечера в дальнем конце большого балагана в Блэк-хите

---

[29] Примечания: 29
Мой Бог *(лат.);* Бог *(др. — евр.).*

можно будет увидеть женщину из Западной Англии 38 лет от роду, живую, с двумя головами — одна над другой… Ее удостоили чести личного осмотра сэр Хэнс Слоун и некоторые члены Королевского общества. Дамы и господа могут, если того пожелают, видеть ее в своих домах». Это объявление взято из брошюры, озаглавленной «Веселая Англия в старые времена». Таким образом, несчастное создание таскали по лондонским богатым домам для более пристального осмотра. В начале XIX века любопытствующим часто показывали «сиамских близнецов», хотя под другими названиями подобные «чудовищные пары» демонстрировались и в прежние столетия; в тот же период выставлялся напоказ «живой скелет», который при росте в пять футов и семь с половиной дюймов весил менее шести стоунов[30]. В другой части Лондона любопытствующих забавлял «самый тяжелый из когда-либо живших людей» весом в восемьдесят семь стоунов. Как сказал Тринкуло при первой встрече с Калибаном на волшебном острове, странно напоминающем Лондон, «калеке нищему грош пожалеют, а десять грошей выложат, чтоб поглядеть на дохлого

---

[30] Примечания: 30
То есть менее 38,1 кг.

индейца»[31].

Флит-стрит, которая долгое время была центром лондонской журналистики, порой становилась источником иных — не газетных — городских сенсаций. Драматург Бен Джонсон отметил «новое кукольное представление с Ниневией, Ионой и китом у моста через Флит». В 1611 году здесь за один пенс демонстрировались «мандрагоры с Флит-стрит». В 1702 году в бакалейной лавке «Орел и дитя» на Шу-лейн показывали четырнадцатилетнего мальчика ростом всего в восемнадцать дюймов; поблизости в «Белой лошади» можно было видеть линкольнширского быка высотой в девятнадцать ладоней[32] и длиной в четыре ярда. Великаны и карлики неизменно были к услугам зрителей; всему, что выбивалось из привычных размеров и соотношений, был открыт доступ в «непропорциональный Лондон».

Большой интерес также вызывали «автоматы» и другие механические изделия, словно они неким образом имитировали движения самого города. Забавно узнать из «Дейли адвертайзер» за

---

[31] Примечания: 31
Шекспир, «Буря», перевод О. Сороки.

[32] Примечания: 32
То есть в 193 см.

1742 год, что в таверне «Митра» была выставлена «весьма диковинная карета, которая едет без лошадей. Эта красивейшая, удобнейшая машина устроена так просто и управляется с такой легкостью, что может проделать свыше сорока миль в день».

На Флит-стрит показывали и восковые фигуры. Первой их выставила миссис Сэмон (Salmon), прямая предшественница мадам Тюссо, в заведении под вывеской «Золотой лосось» («Golden Salmon») близ Олдерсгейта; как заметил 2 апреля 1711 года «Спектейтор», «странно было бы, если бы изобретательная миссис Сэмон жила под знаком, скажем, форели». Затем она перебралась на Флит-стрит, где ее коллекция из 140 фигур снискала восторг публики. На первом этаже заведения располагался магазин игрушек, где продавались куклы, изображавшие Панча, крикетные биты и шахматные доски, а на втором и третьем этажах стояли восковые подобия Джона Уилкса, Сэмюэла Джонсона, миссис Сиддонс и других лондонских знаменитостей; по фасаду здания шла надпись, гласившая попросту: «Восковые фигуры». Стоявшая снаружи светло-желтая восковая фигура йоркширской прорицательницы Мамаши Шиптон при нажатии на некий рычаг давала пинка

ничего не подозревающему прохожему.

Подобные статуи, подвижные и неподвижные, служили и более серьезным целям. На протяжении многих столетий в Вестминстерском аббатстве стояли раскрашенные и загримированные восковые изображения умерших монархов и государственных деятелей. Муляж преставившейся Елизаветы I, который, когда его везли в похоронной процессии, вызвал «всеобщие вздохи, стенания и плач», к середине XVIII века пришел в столь жалкое состояние, что королева казалась «полуведьмой, полувампиром». Тем не менее словосочетание «готов для воска» по-прежнему было в ходу; оно было лишено какого-либо неприятного подтекста и означало, что человек за свои заслуги может в будущем удостоиться фигуры в аббатстве.

Миссис Сэмон давно канула в забвение, но музей восковых фигур мадам Тюссо живет и процветает. Что любопытно, во главе подобных музеев всегда стояли женщины, и самой мадам Тюссо принадлежит честь изобретения того, что еженедельник «Панч» назвал «комнатой ужасов». Музей располагается ныне поблизости от столь же впечатляющего Планетария.

Название «Мейфэр» происходит от ежегодной

майской ярмарки, которая проводилась к северу от Пиккадилли; сегодня о прошлом этих мест напоминают лишь проститутки Шепердс-маркета. А вот Хеймаркет сохранил прежние ассоциации. Начиная с XVIII века это была улица увеселений — от «Кошачьей оперы» 1758 года до «Призрака оперы» последнего десятилетия XX века. В 1747 году Сэмюэл Фут, знаменитый актер и имитатор, прочел в театре «Хеймаркет» серию комических лекций; в 1992 году в театре, построенном на том же самом месте, комический актер Джон Сешнз дал очень похожее представление. Лондон обладает своей собственной неугасающей внутренней энергией, которая не поддается рациональному объяснению.

Этот город всегда славился своей живостью, своей неуемностью. В книге Томаса Берка «Улицы Лондона» мы читаем, что горожане на улицах «уже самой походкой своей выражают порыв и неустанный напор». Из «Поездки по Лондону» Пьера Жана Гроле (1772) мы узнаём, что «англичане ходят чрезвычайно быстро; мысли их полностью поглощены делом, они очень пунктуальны в отношении назначенных встреч, и те, кто оказывается у них на пути, неизменно от этого страдают; в постоянном своем стремле-

нии вперед идущий расталкивает всех с силой, пропорциональной его весу и скорости его движения».

Столетие спустя один парижанин заметил, что по всему Лондону «мечутся суетливые, напирающие толпы, о которых самые многолюдные наши бульвары не дают никакого понятия… экипажи движутся вдвое быстрее, любой лодочник или кондуктор омнибуса на одно слово ответит тебе десятью… из каждого действия и из каждой минуты выжимается все мало-мальски ценное до последней капельки». Даже развлечения здесь пронизаны энергией — в Гринвиче «на второй день Пасхи собирается лондонское простонародье; люди катаются по зеленому склону холма, мужчины и женщины вперемешку». Половая и коммерческая энергии, соединяясь, подхлестывают горожан в их вихревом движении. Француз, посетивший Лондон уже в XX веке, пришел к выводу, что «английские ноги движутся быстрей наших, и этот вихрь вовлекает в себя даже стариков». Отчасти «вихрь» представляет собой беспорядочное и бесцельное расточение сил — но, с другой стороны, это проявление безостановочного движения людей, товаров и средств транспорта. Т. Смоллетт в «Путешествии Хамфри

Клинкера» отмечает лишь то, что «они шляются, гарцуют, крутятся, рвутся вперед, толкаются, шумят, трещат, грохочут… всюду сумятица и суетня. Можно подумать, что они одержимы каким-то сумасшествием, которое не позволяет им сохранять спокойствие»[33]. Действительно, иногда казалось, что это некая лихорадка. Морис Эш, автор книги «Структура Лондона» (1972), наблюдая непрерывное «снование туда-сюда», ощутил соблазн заключить, что иного занятия, кроме «передвижения как такового», здесь и нет — иными словами, что город являет собой образец движения ради движения. Приходит на ум сцена «прохождения под мостом» из «Лавенгро» Джорджа Борроу, в которой лондонский лодочник, бесстрашно проносясь с потоком воды под средней аркой Лондонского моста, «вскидывает в знак триумфа одно из весел, мужчина кричит: „Э-ге-гей!“, а женщина… размахивает шалью». Это картина лондонской жизни с ее остротой и насыщенностью.

Когда Саути спросил одну хозяйку кондитерской, почему она и в дурную погоду держит дверь открытой, та ответила, что иначе потеряла бы

---

[33] Примечания: 33
Перевод А. Кривцовой.

немалую часть клиентуры — ведь «очень многие, торопясь мимо, не утруждаются тем, чтобы войти внутрь, — просто хватают булочку или печенье и бросают мелочь». Столетие спустя темп вряд ли замедлился, и одно из последних социологических исследований Лондона — «Взгляд на Лондон 1997 года» — отмечает, что «показатели экономической активности для Лондона неизменно на 1–2 % превышали аналогичные показатели для всего Соединенного Королевства». Это бесконечное движение длится уже более тысячи лет; свежее и постоянно обновляющееся, оно вместе с тем по-прежнему содержит в себе нечто от древности. Поэтому «вихрь», деловитая уличная толкотня — беспорядок лишь кажущийся, и некоторым наблюдателям удалось уловить внутренний ритм, или исторический импульс, который не дает городу остановиться. Здесь заключена тайна: как может быть вечной нескончаемая суета? Это загадка Лондона, неизменно новая и вместе с тем всегда та же.

Однако и в таком неспокойном городе случаются дни затишья. Часто отмечалось, что из всех городов самыми скучными воскресеньями отличается Лондон — возможно, потому, что тишина и отдых не являются его естественным состояни-

ем и даются ему нелегко. Недаром лондонцы в разные времена использовали нерабочие (в буквальном переводе — «святые») дни для «буйных забав». Начиная с раннего Средневековья практиковались стрельба из лука, рыцарские турниры, игра в шары, футбол — а также «метание камней, деревяшек и железок», — однако пристрастия лондонской толпы могли быть и менее здоровыми. Устраивались петушиные и кабаньи бои, травля быков, медведей и собак. Медведям давали ласковые клички — например, Ворчун Гарри, — но обращались с ними жестоко. В начале XVII века один посетитель Банксайда наблюдал, как хлестали слепого медведя: «Пятеро или шестеро, вставши вокруг с бичами, охаживают его без всякой жалости, а убежать ему не дает цепь; он обороняется, прилагая все силы и всю сноровку, сбивая с ног всякого, кто окажется в пределах досягаемости и не успеет отскочить, вырывая из рук бичи и ломая их». Мы можем прочесть о травле лошадей в конце XVII века на Банксайде, когда на «огромную лошадь» напустили нескольких собак; она одержала над ними верх, но затем «чернь в заведении закричала, что это обман, и принялась срывать с крыши черепицу, и стала грозить снести заведение с лица земли, если ло-

шадь снова не приведут и не затравят до смерти». Так развлекалась лондонская толпа.

Быков тоже травили собаками, при этом им иногда клали в уши горошины или подпаливали спины огнем, чтобы привести их в ярость. В XVIII веке в Бетнал-грин охотились на выхолощенных быков, на Лонг-филдс близ Тоттнем-корт-роуд травили барсуков, в Хокли-ин-де-Хоул устраивали жестокие борцовские поединки. Район, расположенный по ту сторону Флита от Кларкенуэлла, вообще был одним из самых опасных и беспокойных в Лондоне; там практиковались «всевозможные грубые игрища».

Респектабельную часть горожан в XVII веке эти развлечения отнюдь не привлекали. К их услугам был ряд аккуратно распланированных и хорошо оборудованных общественных мест для здоровых прогулок. К началу XVII века поля Мурфилдс осушили, и на их месте разбили «верхний парк» и «нижний парк»; несколько лет спустя поля Линкольнс-инн-филдс также были приспособлены для «общественных прогулок и забав». Очень популярен был парк Грейз-инн-уокс; в Гайд-парк, хотя он по-прежнему был королевским парком, пускали публику на скачки и кулачные бои. Сент-Джеймс-парк был создан чуть позже; там, по

словам Тома Брауна, журналиста того времени, «среди зеленых лужаек мы имели удовольствие беседовать с разнообразными лицами обоего пола… тревожили нас лишь горластые молочницы, кричавшие: „Молочка, милые дамы! Крынку молочка от рыжей коровы, сэр!“»

Но подлинная природа Лондона — это не кустики и не парковые лужайки, а природа населяющих его людей. Ночью под сенью деревьев, как писал граф Рочестерский, «происходят изнасилования, инцесты и акты мужеложства», а пруд Розамунды в юго-западной части Сент-Джеймс-парка приобрел печальную известность как место самоубийств.

В увеселительном саду Спринг-гарденз была лужайка для игры в шары и мишени для стрельбы в цель. В Нью-Спринг-гарденз (позднее — Воксхолл-гарденз) были аллеи и мощеные дорожки. В небольших увитых зеленью киосках продавали вино и пунш, нюхательный и курительный табак, нарезанную ветчину и четвертинки кур; среди деревьев прохаживались женщины легкого поведения с висящими на шее золотыми часами — знаком их профессии. Подмастерья и их девицы посещали Спа-филдс в Кларкенуэлле или Гротто-гарденз на Розоман-стрит, где пред-

лагались развлечения «более низкого пошиба», звучали песни и музыка и можно было получить чай, мороженое и алкогольные напитки.

К нынешнему времени энергия эта большей частью улетучилась. Парки теперь — спокойные участки среди лондонского шума и суеты. Они влекут к себе несчастных и неприспособленных. Безработным и бродягам хорошо спится в тени деревьев, как и тем, кого просто утомила городская жизнь. Лондонские парки, которые часто называют «легкими города», дышат, как дышат спящие. «Поскольку день был весьма жаркий и я устал, — писал Пипс 15 июля 1666 года, — я улегся на траву подле канала [в Сент-Джеймс-парке] и немного поспал». Этот утомленный мир изображен на гравюре Хогарта, где лондонский красильщик и его семья возвращаются из загородного увеселительного сада Садлерс-уэллс. Ландшафт позади них пасторальный, идиллический, но обратный их путь в город пролегает по пыльной дороге. Пухлая беременная жена одета по городской моде и держит веер с классицистским узором, но беременна она потому, что наставила мужу рога, и тот выглядит усталым и потерянным. Он несет на руках маленького ребенка; двое их старших детей дерутся, а их собака с тоской смотрит на

канал, по которому вода из Излингтона идет к лондонским питьевым фонтанам. Повсюду изнеможение и жара; так близится к концу поход на лоно природы. И в более поздние времена, вплоть до нынешних, утомленные и издерганные горожане по-прежнему возвращались и возвращаются в Лондон после «вылазок», как узники в тюрьму.

Глава 17
Музыку!

К середине XIX века увеселительные сады вышли из моды, и наследниками их стали «концертные комнаты» и концертные залы, возникавшие в городе повсеместно. В 1765 году было объявлено, что в «большом зале» в Спринг-гарденз выступит восьмилетний Моцарт, чья «игра на клавесине исполнена совершенства, превосходящего всякое… воображение».

Музыка в Лондоне не исчерпывалась, однако, концертным музицированием. Лондонские арии и напевные жалобы возникли вместе с первым уличным торговцем и с той поры не умолкали. Часто отмечалось, что «низший пласт» культуры коренных лондонцев способен оживлять и переформировывать традиционные культурные сферы. Образ малолетнего Моцарта, музицирующего в концертном зале, следует дополнить замечанием Генделя о том, что толчок к созданию некоторых лучших его вокальных произведений дали ему мелодичные возгласы уличных торговцев. В городе «высокое» и «низкое» неизбежно

переплетаются между собой.

В «Лондоне-разорителе» мы слышим голоса торговцев средневекового Чипсайда, выпевающие: «Спелая земляника, вишня с рисом»; «Нитки парижские, самые лучшие… Горячие бараньи ножки… Макрель… Зеленый тростник!» Costermonger (первоначально торговец фруктами, позднее — фруктами и рыбой) кричал: «Costards!» («Крупные яблоки!»), но в последующие столетия «coster», сидя на своей повозке, уже выводил: «Морские языки-и!.. Пикша живая!.. У-у-у-гри!.. Макре-ель! Мак-мак-мак-макрель!» Так и разносилось вдоль по улицам и вдаль по столетиям: «Девушки, дамочки, вам мои шпилечки!.. А вот у меня угри-угрища… Клац-клац-клац-клецки!.. Серные спички, свечной приклад… Купите воску или вафель… Старую обувь на метлы меня-аю… Покупаем кроликов-кролей… Кому вилы, совки?… Крабы, крабы, крабы, всякие крабы… Жирные куры — налетай, не зевай!.. Старые стулья починяю… Ненужное с кухни бе-рем-берем… Носки полотняные, на шиллинг четыре пары… Четыре связки репчатого луку… Джон Купер — на все руки мастер… Свежая речная водица».

О возгласах лондонских уличных торговцев написана не одна книга, и мы вдобавок распо-

лагаем зримыми образами тех, кто издавал эти возгласы. Персонификация была одним из путей расшифровки городского хаоса и средством превращения бедноты, или «низшего сословия», в галерею типов. Продавец трески, к примеру, носит старый фартук, а уличный торговец обувью щеголяет в пелерине. Продавщица сушеного хека держит корзину с товаром на голове, торговка апельсинами и лимонами — у бедра. Кроликов и молоко, как правило, продавали ирландцы, старую одежду и заячьи шкурки — евреи, зеркала и картины — итальянцы. Старая женщина, торгующая совками для каминов, носит старомодную островерхую шапку — символ зимних месяцев. Сельские женщины, которые шли в столицу со своим товаром, как правило, надевали красные накидки и соломенные шляпки, сельские мужчины втыкали себе в волосы цветы. Торговцы рыбой были обычно беднее прочих, а женщины, продававшие одежду, старались принарядиться.

Так или иначе, поношенная, а то и рваная одежда большинства уличных торговцев отчетливо указывала на нужду. Многие из них были хромы и увечны, и, как заметил Шон Шесгрин, редактор «Уличных криков города Лондона, запечатленных с натуры» Марцеллуса Ларона, «если

здесь есть преобладающее выражение лица, то это выражение измученности и меланхолии». Портреты, выполненные Лароном, отчетливо индивидуальны, здесь нет «типов» и категорий, и его искусство позволяет нам разглядеть черты личных судеб и обстоятельств. Неповторимые лица и фигуры, награвированные им в 1680-е годы, молчаливо представительствуют за многие поколения торговцев, оглашавших криками городские улицы.

Когда бедный торговец умирал — или передавал свое скудное «дело» кому-то другому, — мелодия его криков подхватывалась точно эхом. Безусловно, справедливо писал в 1711 году Аддисон: «Люди узнают, какой товар продается, скорее по мотиву, чем по словам». Слова зачастую были плохо слышны издалека, да и произносились не слишком отчетливо; мастера, ремонтировавшего старые стулья, узнавали по низким, заунывным звукам, тогда как продавец битого стекла издавал резкие, жалобные вскрики, вполне соответствовавшие его товару. Впрочем, мотив порой становился источником путаницы. Продавец креветок мог использовать те же интонации, что и торговец водяным крессом, а картофель продавался под ту же «музыку», что и вишни.

На протяжении лет — или, скорее, веков — в говоре торговцев неуклонно шло усечение или сокращение слов. «Will you buy any milk today, mistress» («Вы купите сегодня молока, госпожа?») превратилось в «Milkmaids below» («Молочницы внизу»), затем в «Milkbelow» («Молоко внизу»), затем в «Милк-оу» и, наконец, в «Мьоу» или «Мии-оу». «Старая одежда» — «Old clothes» («Олд клоуз») — превратилась в «О-кло». «Соленый хек» сделался «бедным Джеком», после чего возглас «Бедный Джон» взяли на вооружение разносчики сушеной трески. Трубочисты кричали: «Уи-ип» или «И-ип» (от «sweep» — «прочищаю»). Пирс Иган, автор книги «Лондонская жизнь», вспоминает «торговца, в чьем крике я всякий раз мог расслышать только „happy happy happy now“ — „счастлив, счастлив, счастлив теперь“».

Чем больше и шумнее становился Лондон, тем громче делались крики — и, вероятно, тем отчаянней и истеричней. На расстоянии полумили они превращались в низкий, ровный, неумолкающий рев, похожий на шум водопада; это была настоящая Ниагара голосов. В центре города, однако, они воспринимались как грандиозная сумятица звуков. Для иностранцев Лондон был «обезумевшим городом»; Сэмюэл Джонсон заме-

тил: «Первым, что привлекает внимание вновь прибывшего, обычно становится многоголосие выкриков, ошеломляющее его на улице». Ошеломить, ошеломляюще — поистине лондонские слова. Как сказал один уличный продавец гравюр, державший товар в перевернутом зонтике, «они ошеломляются и покупают не глядя».

К возгласам уличных торговцев добавлялись крики «глашатаев» — например, такие: «Если кто сообщит что-либо о пропавшей серой кобыле с длинной гривой и коротким хвостом…» Лавочники Чипсайда, Патерностер-роу, Истчипа и сотни других мест беспрерывно кричали: «В чем у вас нужда?.. Купите у меня…» Женские голоса, выводившие: «Здесь „Лондон газетт“!», впоследствии сменились возгласами газетчика-подростка: «Газе-е-ты! Любые утренние на выбор». Рожок холостильщика хряков раздавался одновременно с колокольчиком мусорщика, «звоном медного чайника или сковородки» и многозвучным, нескончаемым шумом лондонского транспорта.

Ныне уличные рынки по-прежнему полны болтовни и зазывной скороговорки; мелодичных выкриков, однако, почти нет, хотя и в XXI веке все еще можно услышать колокольчик торговца горячей сдобой и оладьями или рожок точильщи-

ка, увидеть пони и рессорную двуколку сборщика металлолома или старьевщика. Подают голоса человек с тачкой, где находятся «креветки-улитки живы-ы-е», продавец лаванды и чернокожий торговец сельдереем и водяным крессом.

В прошлом в городскую многоголосицу вносили лепту также исполнители песенок-баллад, уличные фокусники, бродячие певцы, продавцы альманахов и «летучие торговцы» печатной продукцией, которые могли приземлиться на любом углу и продавать листы с популярными песенками или смачными рассказами об убийствах.

Возможно, старейшей разновидностью такого товара был бродсайд — лист, у которого одна сторона была чистая, а другая содержала текущие новости или городские сенсации. С первых лет XVII века это был язык, которым говорила улица: «Сэр Уолтер Рэли — его сокрушения!.. Диковинная весть из Суссекса… Не мать, а настоящее чудовище…» Помимо этих «последних известий» на бродсайдах можно было прочесть баллады такого, например, содержания: «Тоска девицы по другу постельному, или Не могу и не буду больше спать я одна… Утешительный ответ мужчины на жалобы девицы… За поцелуй она готова дать полфунта». Это были песни, которые

пелись на улицах и в напечатанном виде клеились на стены. Продавцы листов не ожидали вознаграждения за свои голоса — пением они собирали толпу и затем сбывали товар по полпенса за лист. Разумеется, особой популярностью пользовались «предсмертные речи» приговоренных к повешению, продававшиеся в самый момент казни «летучими горлодерами», которые назывались еще «ловцами смерти». В городе, жившем слухами, сенсациями и внезапными переменами в общем настроении, выкрикивание новостей и пение популярных песенок были наилучшими средствами коммуникации. Политичный Джон Драйден не мог тягаться с политической песенкой «Лиллибуллеро»[34], которая обошла его во всех отношениях; другой стихотворец написал по этому поводу: «Ты, Драйден, остроумничай, но в меру. / Одна лишь ныне песня — „Леро, леро“». Песни, подобно лозунгам и крылатым фразам, овладевали улицей на дни или на недели, после чего начисто забывались.

Новые песни за компанию с какой-нибудь старой балладой могли войти в «длинную песню» из нескольких стихотворных произведений, напе-

[34] Примечания: 34

«Лиллибуллеро» — антикатолическая песня конца XVII в., приписываемая лорду Уортону.

чатанных одно под другим на бумажной полосе. Они могли также попасть в руки «расклейщика», который развешивал сотни и сотни листов с текстами баллад на железных рейках или налеплял их на глухие стены. В 1830-е годы, пока облик Оксфорд-стрит не изменило появление магазинов и витрин, на южной стороне этой улицы для расклейки песен использовалось примерно 800 ярдов стен.

Несмотря на обилие баллад, некоторые из них оставались популярными долгие годы. Особенной любовью лондонского простонародья пользовались «Малыш Уилли и его Дина», «Билли Барлоу» и «Дочь крысолова», которая «цвела как роза, / А голос был слышен от Парламент-стрит / До самого Чаринг-кросса». Она была символом всех тех бродячих уличных певцов и певиц, чья жизнь часто была столь же горька и трагична, как баллады, которые они пели. Они выступали большей частью по вечерам, порой под аккомпанемент флейты или надтреснутой гитары, и стояли на каждом углу от Стрэнда до Уайтчепела. Чарлз Диккенс припомнил свою встречу с одной такой «бродячей певицей» у Аппер-Марш на южной стороне Темзы: «Пение! Многие ли, проходя мимо этих несчастных, задумываются над тем,

каких усилий, какой душевной муки стоит им даже попытка запеть?»[35]

Помимо исполнителей баллад на улицах Лондона голосили «горлодеры-бегуны», криком сообщавшие романтические и трагические вести на злобу дня. Генри Мейхью в свойственном ему лаконичном стиле пишет о них так: «Двое, трое или четверо образуют „компанию“, или „команду“ (в ходу у них оба эти слова). Все они единодушно заявляют, что чем больший шум удается поднять, тем выше шансы на хорошую выручку». Нередко они становились на одной улице поодаль друг от друга и делали вид, что борются за внимание прохожих. Целью было подогреть интерес горожан к тому или иному только что произошедшему событию, будь то преступление, романтический побег из дома или казнь. Главное средство — произвести побольше шума.

Крик и суета, конечно же, были куда важнее, чем «правда», если этот товар вообще водился на улицах Лондона, и «горлодер» зачастую угощал слушателей «кукареканьем», то есть, вежливо говоря, красочными байками, которые

---

[35] Примечания: 35
Перевод М. Лорие.

в напечатанном виде затем расхватывались по дешевке как горячие пирожки. Враля-крикуна называли соответственно «петухом», и он иногда рекламировал свой фальшивый товар с помощью водруженной на шест яркой картинки, где нередко главенствовали кроваво-огненные лондонские мотивы.

Осмеивать эти плоды народного творчества было бы несправедливо. Джошуа Рейнолдс признавался, что позаимствовал один изобразительный мотив из картинки, которую увидел наклеенной на стену; Вальтер Скотг изучал уличную литературу, песни и дешевые издания баллад и сказок, поскольку его интерес к народным преданиям и истории находил в них пищу. Здесь важно еще раз подчеркнуть, что вкусы кокни могли вторгаться и вносить оживляющее начало в более «рафинированные» культурные течения.

К голосам «горлодеров-бегунов» и бродячих певцов неизменно присоединялись звуки (зачастую не слишком стройные), производимые уличными музыкантами. Гектор Берлиоз, посетивший британскую столицу в середине XIX века, писал, что «ни один город мира» не погружен в музыку так, как Лондон; несмотря на его профессию, звуки шарманок, волынок и барабанов,

наполнявшие лондонские улицы, интересовали его здесь больше, чем музыка, которую можно было услышать в концертных залах. Как отметил Чарлз Бут в своем описании Ист-энда, «стоит только шарманке на каком угодно углу заиграть вальс, как тут же случившиеся рядом девушки и уличная ребятня пускаются в веселый танец. Порой к ним присоединяются и мужчины — бывает, двое молодых людей танцуют парой». Собирается толпа; люди с одобрением смотрят на танцующих.

В Лондоне подвизались немецкие уличные оркестры, индийские барабанщики и чернившие лица «абиссинцы», которые играли на скрипках, гитарах и тамбуринах под сопровождение кастаньет; распевали «гли-сингерс» (исполнители народных песен без аккомпанемента) и «менестрели», выступавшие обычно парами с такими романсами, как «О где ты, где ты, милый мой?» или «Свижусь ли с тобою у фонтана?» В 1840-е годы на улицах Лондона видели слепого музыканта, игравшего на виолончели ногами, и калеку-трубача, который ездил в тележке, запряженной собаками.

Какофония царила невообразимая; к нынешнему времени, однако, вследствие очередной

постепенной и необходимой перестройки лондонской жизни, она по большей части сошла на нет — остались лишь немногие уличные музыканты, скрашивающие ожидание людям в очередях за билетами в кино, и изобретательные исполнители нелегальных песен, которых можно слышать в подземных переходах.

Глава 18
Знаки времен

Один путешественник XVIII века заметил: «Если давать городам названия по первым словам, какими они встречают путешественника по прибытии, то Лондон следовало бы окрестить Damn it! (Чтоб тебя!)» В начале XX века его надо было бы назвать Bloody (Чертов), а ныне — Fucking.

Fucking — одно из самых долгоживущих ругательных слов; оно раздавалось на лондонских улицах еще в XIII веке, и вряд ли нас должно удивлять, что из эпитетов, которыми приезжие награждали язык лондонцев, преобладающим является «омерзительный». Их «омерзение» — реакция на тот подводный ток бешенства и злобы, что характеризует жизнь города; бранясь, лондонцы всех эпох, возможно, дают выход отвращению, которое сами же питают к своему падшему и, в прошлом, телесно грязному состоянию. Нынешний уровень гигиены и более свободные сексуальные обычаи не уменьшили, однако, существенным образом количество слов типа «fucking», которые мы слышим на улицах.

Возможно, современные лондонцы просто-напросто служат рупором для тех слов, что завещал им сам город.

При этом не следует забывать и об оскорбительных жестах. В XVI веке агрессивность и неприязнь выражали закусыванием большого пальца; затем этот жест переродился в заламывание шляпы, а в конце XVIII века — в «движение выставленного большого пальца назад через левое плечо». Затем большой палец двинулся к носу в жесте, выражающем презрение, а в XX веке стали поднимать два пальца, изображая подобие буквы V. Рывком вверх согнутой в локте руки начали выражать насмешку.

Уличные знаки с использованием руки могли быть и свободны от сексуального подтекста. В свое время повсюду можно было увидеть изображение указующей ладони, на которой было написано, что ждет вас в конце пути — скажем, харчевня или лавка игрушек. Лондон был городом знаков, указателей и вывесок. Как пишет Дженни Аглоу в книге «Хогарт», в 1762 году «Общество художников, рисующих вывески» объявило о «большой выставке» произведений его членов, и где-то недалеко от Боу-стрит были выставлены «резные декоративные изделия»,

как то: «ключи, колокола, шпаги, столбы, сахарные головы, жгуты табака, свечи». Мероприятие проводилось в пику Обществу искусств с его более рафинированной продукцией, но комичное многообразие экспонатов свидетельствовало, помимо прочего, о живучести древних традиций уличного искусства.

Столб, обмотанный красной материей, в свое время служил знаком цирюльни, где разрешалось пускать посетителям кровь; прообразом столба была деревянная палка, за которую клиент должен был держаться, чтобы рука при кровопускании не шевелилась. Впоследствии красное полотнище переродилось в красную полосу, и в конце концов мы получили привычный нам «парикмахерский столб» последних столетий со спиральной красно-белой окраской. Почти каждое здание и, разумеется, каждое ремесло обладало своей собственной вывеской, так что город был густым лесом художественной символики: «Лилия… Голова ворона… Корнуэллские галки… Чаша… Кардинальская шапка». Висели изображения медведей на цепи и восходящих солнц, плывущих кораблей и ангелов, красных львов и золотых колоколов. Попадались и нехитрые знаки, указывавшие на владельца или

съемщика. Например, мистер Белл мог повесить над своей дверью изображение колокола (bell). В вывесках пабов встречались, однако, несколько необычные, хоть и хорошо известные, соединения — как, например, «Пес и решетка» или «Три монашки и заяц». Порой перекличка между изображением и содержанием была нарочито парадоксальной. Так, Аддисон пишет: «Я видел вывеску с козлом над дверью парфюмера и голову французского короля на заведении ножовщика». Том Джонс в романе Филдинга произносит своего рода литанию: «Здесь мы увидели Сновидение *Иосифа, Быка* и *Рот, Курицу* и *Бритву, Топор* и *Бутылку, Кита* и *Ворону, Совок* и *Башмак, Ногу* и *Звезду, Библию* и *Лебедя, Сковороду* и *Барабан*». Адам и Ева обозначали фруктовую лавку, рог единорога — аптеку; ведро с гвоздями было знаком скобяной лавки, шеренга гробов — столярной мастерской. Две соединенные ладони — мужская и женская — порой дополнялись надписью: «Здесь заключаются браки».

Надо было читать улицу, улавливать ассоциации и связи, присущие среде, которую, чтобы умерить ее хаотичность и пестроту, следовало подвергнуть тщательной расшифровке. Публиковались всевозможные справочные издания

— одно, например, вышло под изящным названием «Путеводитель для пропойц». В 1716 году Джон Гейв «Искусстве хождения по лондонским улицам» (на эту тему писали многие авторы) изобразил приезжего, который «Глазеет на все вывески подряд, / В проулок входит — и идет назад».

Некоторые надписи и знаки вмуровывались в каменную кладку лондонских зданий. Небольшими табличками отмечались новые улицы (например, «Джонс-стрит, год от Р. Х. 1685»); в гербах тех или иных районов или гильдий на стенах домов использовалась корпоративная геральдика. Так, символ района Марилебон включает в себя лилии и розы, потому что именно эти цветы были найдены в гробнице св. Марии, которой район обязан своим названием. В более поздние времена щедро украшались даже крышки люков для спуска угля в подвалы, так что и пешеходы, предпочитавшие смотреть себе под ноги, все равно не были избавлены от вида символических изображений собак и цветов. Обруч, прибитый к двери или стене, означал, что поверхность недавно окрашена, а небольшой пучок соломы указывал на то, что поблизости ведутся строительные работы.

Воистину этот город — настоящий лабиринт знаков, и временами здесь возникает обессиливающее подозрение, что, возможно, иной действительности, помимо этих ярких символов, этих изображений, которые требуют всего твоего внимания и заставляют тебя плутать, не существует. Как сказал о нынешней площади Пиккадилли-серкус с ее ослепительной рекламой один наблюдатель, «это волшебное зрелище — но только для неграмотных».

Городские вывески становились помехой и в другом смысле. Порой они простирались на такое большое расстояние поперек улицы, что касались вывесок заведений, находившихся на той стороне; иногда они были такими громадными, что заслоняли прохожим небо. Они могли представлять опасность; владельцы заведений обязаны были располагать вывески на высоте по меньшей мере девяти футов над мостовой, чтобы под ними мог проехать всадник, однако это правило исполнялось не всегда. Вывески были очень тяжелыми, и случалось, что их вес, к которому добавлялся вес свинцовых кронштейнов, оказывался непосильным для несущей стены; в результате одного вызванного этим обстоятельством «обрушения фасада» на Флит-стрит

несколько человек получили увечья, а «две молодые дамы, сапожник и королевский ювелир» погибли. В ветреные дни вывески издавали зловещие звуки; их «громкий скрежет» был верным предвестником того, что скоро «разверзнутся хляби небесные». В силу всего этого примерно тогда же, когда состоялась выставка вывесок поблизости от Боу-стрит, городские власти сочли их помехой все более интенсивному уличному движению и распорядились все их убрать. Десять лет спустя возникли номера домов.

Но краски города не поблекли. Развитие рекламы привело к тому, что страсть к уличному искусству просто начала проявляться в других формах. Круглые деревянные тумбы с афишами аукционов и театральных спектаклей существовали и раньше, но лишь после упразднения уличных вывесок отличные от них жанры рекламного творчества развились по-настоящему. К началу XIX века благодаря разнообразию фигур из папье-маше и живописных изображений в витринах Лондон стал «на диво красочным» городом. Произведениям подобного рода посвящен один из разделов книги «Малый мир Лондона», озаглавленный «Коммерческое искусство» и читаемый с изрядным удовольствием.

Многие кофейни украсились стилизованными изображениями чашки, хлеба и сыра; на стенах рыбных лавок можно было увидеть «всяческих рыб в благородном стиле», разнообразно и ярко раскрашенных; бакалейщики же предпочитали «жанровые картины», изображавшие добродушных лондонских матрон, которые «сидят вокруг поющего чайника или булькающего кофейника». Сапоги, сигары и восковые печати висели в гигантски увеличенном виде над дверями соответствующих заведений; истребителю тараканов вполне подходящей рекламой его деятельности казалась гибель Помпей.

Одним из крупных новшеств, которые принес с собой XIX век, стал рекламный щит или деревянная стенка, на которую клеились рекламные плакаты; на некоторых ранних лондонских фотографиях видно, как эти плакаты тянутся вдоль улиц и новых железнодорожных линий, предлагая купить всевозможные товары — от мыла «перз» до газеты «Дейли телеграф». Воистину реклама очень многим была обязана «прогрессу»: сами эти щиты и стенки первоначально возникли для защиты улиц от пыли и шума многочисленных строек и работ по усовершенствованию железных дорог. Позднее плакаты

увеличились до размеров деревянных конструкций, на которые их вешали, и вскоре стали возникать рекламные образы, соответствующие характеру самого города, — большие, яркие, броские. Некоторые места — в том числе северная оконечность моста Ватерлоо и глухая стена около Английской оперы на Норт-Веллингтон-стрит — были особенно популярны среди рекламодателей. Там, как пишет Чарлз Найт в книге «Лондон», можно было увидеть «многоцветье плакатов, состязающихся в яркой экстравагантности красок с последней картиной Тернера… изображения писчих перьев, гигантских, как перья на шлеме из замка Отранто… очки громадных размеров… ирландцев, пляшущих под воздействием гиннессовского „дублинского крепкого темного“».

Картина Дж. О. Парри «Уличная сценка в Лондоне», написанная в 1833 году, выявляет сущность любой уличной сценки на протяжении двух последних столетий. Маленький чумазый подметальщик улиц восхищенно смотрит снизу вверх на то, как поверх афиши «Фальшивого принца» с участием Джона Парри клеят афишу новой постановки «Отелло»; видны также афиша с надписями: «Мистер Мэтьюз — в родных стенах», «Том и Джерри — Крещение —!!!!!!» и узкая

полоска бумаги с вопросом: «Видели ли вы уже Блох-Тружениц?» Так стены города становились палимпсестом будущих, недавних и устарелых сенсаций.

Ныне на глухой стене поблизости от дома, где я пишу эту книгу, и недалеко от места, изображенного на картине 1833 года, можно видеть плакаты с надписями: «Армагеддон», «В аэропорт Хитроу за пятнадцать минут», «Фестиваль „Чернобыль-98“», «Аптека — Трезв — новый сингл в продаже», «Апостол» и «Девушка с умными ступнями». Более загадочные объявления гласят: «Революция на пороге», «Магия ближе, чем вы думаете» и «Ничто другое меня не волнует».

«Ходячие плакаты» возникли на улицах в 1830-е годы. Явление было настолько новым, что Чарлз Диккенс принялся расспрашивать одного из этих людей и, назвав его «куском человеческой плоти, зажатым между двумя слоями картона», создал выражение «человек-сандвич». Джордж Шарф изобразил многих из них — от мальчика в пальто, держащего бочку с надписью: «Солодовое виски Джона Хауса», до старой женщины с плакатом: «Анатомическая модель человеческого тела».

Затем в характерно лондонской манере отдельных носителей плакатов стали объединять

в группы, устраивая своеобразные парады или пантомимы; например, людей могли поместить внутрь картонных подобий банок для ваксы и выстроить в ряд для рекламы «ваксы Уоррена — Стрэнд, 30»; именно на этой фабрике, между прочим, у Диккенса началась трудовая часть извилистого лондонского детства. Позднее возникла реклама в виде запряженного лошадьми экипажа, который увенчивался громадной шляпой или египетским обелиском. Поиск новизны был неизменно интенсивным, и страсть к плакатам переросла в увлечение «электрической рекламой», возникшей в 1890-е годы, когда над площадью Трафальгар-сквер вспыхнули буквы: «Мыло винолия».

Вскоре и световая реклама научилась двигаться; на Пиккадилли-серкус можно было увидеть красную бутылку, из которой в подставленный стакан лился портвейн, и автомобиль с вращающимися серебристыми колесами. Спустя недолгое время огни рекламы уже сияли повсюду — над землей, под землей, в небесах. Полнокровие лондонской рекламы помогло Хаксли изобразить в романе «О дивный новый мир» город будущего, где на фасаде обновленного Вестминстерского аббатства горят буквы: «КЭЛВИН СТОУПС И ЕГО

ШЕСТНАДЦАТЬ СЕКСОФОНИСТОВ». Автобусы XXI века, не попавшие, кажется, в сферу внимания антиутопической литературы, ныне оклеены яркими изображениями, как карнавальные повозки средневекового Лондона.

Художники, рисующие на тротуарах, не сделали в городе столь славной карьеры. Они смогли начать лишь после того, как булыжник на лондонских улицах уступил место каменным плитам, так что эта лондонская профессия, можно сказать, из сравнительно недавних. Нищие, бывало, писали на камнях свои умоляющие призывы (их излюбленной формулировкой было — «Помогите мне встать на ноги»), но в 1850-е годы тротуарные художники создали свои формулировки, выводя мелом: «Все нарисовано лично мною» или «Любую помощь, даже маленькую, приму с благодарностью». Эти уличные художники, или «скриверы», как их в свое время называли, облюбовали в городе определенные точки. Идеальным местом считались углы фешенебельных площадей; очень популярны были Кокспер-стрит и участок Стрэнда напротив ресторана Гатти. Рисовальщики также располагались в линию вдоль набережной Виктории на расстоянии двадцати пяти ярдов друг от друга.

Многие из этих «скриверов» были художниками-неудачниками, чья работа в обычных жанрах не принесла им стойкого успеха. В частности, Симеон Соломон был одно время популярным художником-прерафаэлитом, но кончил он как тротуарный рисовальщик в Бэйсуотере. Другие были просто бездомными или безработными, открывшими в себе талант к рисованию; достаточно было обзавестись цветными мелками и тряпкой — и каменные плиты становились полотном для пейзажа или портрета. Некоторые специализировались на портретах действующих политиков, кое-кто — на сентиментальных домашних сценках; один художник изображал на тротуаре вдоль Финчли-роуд религиозные сюжеты, другой — на Уайтчепел-роуд — рисовал сцены пожара и горящие дома. Во всех случаях, однако, художники эти потакали вкусу лондонцев, используя самые грубые, самые кричащие тона; при этом существует любопытная ассоциация, связывающая эти краски с цветами вечернего неба над городом. Миссис Кук в книге «Большие и малые улицы Лондона» пишет, что небо за зданиями на Друри-лейн и Хэттон-гарден, где жили художники, часто словно бы в подражание их произведениям облекалось в «яркие оттенки

оранжевого, пурпурного и малинового». Джордж Оруэлл в книге «Фунт лиха в Париже и Лондоне» вспоминает слова одного уличного художника по прозвищу Бозо, чье место было недалеко от моста Ватерлоо. Идя вместе с Оруэллом к себе домой в Ламбет, он все время смотрел на небо. «Гляньте-ка на Альдебаран. Цвет-то, цвет-то какой. Похож на… большой кровавый апельсин… Я порой выхожу ночью и смотрю, как падают метеоры». Бозо даже вступил в переписку по поводу лондонского неба с директором Гринвичской обсерватории — словом, на какое-то время город и космос тесно соединились в жизни одного бродячего уличного рисовальщика.

Никакой рассказ о лондонском искусстве не будет полон без исторического очерка о городских граффити. Одна из первых надписей в этом жанре, сделанная еще римской рукой, — проклятие, которое один лондонец призвал на головы двух других: Публия и Тита «настоящим торжественно проклинаю». С этой надписью перекликается другая, относящаяся уже к концу XX века и недавно зафиксированная современным лондонским романистом Иэйном Синклером: «TIKD. FUCK YOU. DHKP». Воистину это характерный образчик лондонской уличной словесности. «Камни из

стен возопиют» — сказано у пророка Аввакума (глава 2, стих 11); что касается лондонских камней, они чаще всего вопиют злобно и гневно. Многие надписи носят чисто личный характер и имеют смысл лишь для того человека, который высек их или вывел на стене краской с помощью пульверизатора. Они принадлежат к числу самых загадочных элементов городской поверхности; запечатленный на ней краткий миг ярости или отчаяния становится частью того хаоса знаков и символов, который мы видим вокруг. Около вокзала Паддингтон повсюду бросается в глаза «Fume», а также «Cos», «Boz» и «Chop». На мостах со стороны южного берега Темзы читаем: «Rava». В 1980-е годы железнодорожная станция Кентиш-таун была украшена надписью: «Великий спаситель, освободитель людей». «Томас Джордан помыл это окно, пропади оно пропадом. 1815» — такая надпись была найдена на старом окне, а на одной из лондонских стен некий Томас Берри начертал: «Посеки их, о Господи, Твоим мечом». Как сказал Иэйну Синклеру один из авторов граффити, «если вы хотите остаться в городе на веки вечные, вернее всего будет где-нибудь расписаться». По этой причине люди уже много веков просто выводят свои имена или инициалы,

иногда добавляя: «был здесь», а нередко — «был сдесь» или «был тута». Будучи попыткой самоутверждения личности, надпись тем не менее мгновенно вплетается в безличную ткань города; в этом смысле граффити можно считать ярким символом человеческого бытия в Лондоне. Они сходны с отпечатками стоп или ладоней на застывшем цементе, которые стали элементами городского узора. На Флит-роуд в Хемпстеде были найдены отпечатки рук, столь же таинственные и тревожащие душу, как ритуальные знаки, высеченные на древних камнях.

Порой граффити носят вполне конкретный характер — скажем, «Джеймс Боун не умеет целоваться» или «Роуз Мэлони — воровка», — будучи безмолвными посланиями, письменными подобиями барабанных сигналов в джунглях. Но иногда встречаются предостережения более общего характера. Томас Мор в одном из своих прозаических произведений цитирует фразу, которая в XV веке красовалась на многих стенах: «D. C. лишены всякого P.» Можно попытаться расшифровать ее с помощью комментария Мора: имеется в виду «готовность, с коей женщина предается телесному разврату, если она одурманена питием». Можно предположить, что «D.

С.» означает «drunken cunts» («пьяные бабы»), но значение «Р.» остается загадкой.

Каждый календарный год на протяжении последнего тысячелетия сопровождался своей собственной литанией ругани, проклятий и императивов. Вот, например, некоторые из граффити за 1792 год: «Христос — Бог… Нет — налогу на экипажи!.. Смерть евреям… Джоанна Сауткотт[36]… Проклятье герцогу Ричмондскому!.. К чертям Питта!» В 1942 году самым заметным из граффити было «Второй фронт — немедленно!», а из лозунгов более поздней части столетия можно выделить два: «Джордж Дэвис невиновен» и «Нет — подушному налогу». Иной раз кажется, что город посредством этих посланий ведет разговор с самим собой языком отчетливым и шифрованным одновременно. Некоторым из новейших граффити свойственна более задумчивая интонация: «Ничто не вечно» на одной кирпичной стене; «Послушание — самоубийство» на мосту в Паддингтоне; «Тигры гнева мудрее, чем клячи образования» над надписями «Rangers», «Aggro», «Boots» и «Rent Revolt» на углу Бейсинг-стрит близ Ноттинг-хилл-гейта. Последнее служит ярким

[36] Примечания: 36

Джоанна Сауткотт (1750–1814) — дочь фермера, религиозный фанатик и «пророчица», пользовавшаяся большой популярностью.

примером кластеризации: стена может много лет оставаться нетронутой, но, едва на ней возникает первая надпись, последующие, чье появление диктуется духом соперничества или агрессии, не заставляют себя ждать. Что касается агрессии, она часто окрашена сексуальностью. Многим из надписей свойственна безлично-сексуальная направленность, говорящая об одиноком отвлеченном желании: «Прошу тебя не бей меня слишком сильно господин мой… 23/11 мне 30 лет у меня есть квартира в районе вокзала Виктория мне нравится наряжаться на мне сейчас розовые трусики».

Самым подходящим местом для этих грубых любовных посланий в никуда являются, конечно, общественные уборные. Их стены стали главным поставщиком городских граффити; здесь, в укромном уединении, лондонец обращается ко всему городу со словами и изображениями, столь же древними, как сам Лондон. Один служитель сказал Джеффри Флетчеру, автору книги «Лондон, которого никто не знает», что «если вам нужны надписи на стенах, вам прямая дорога в уборную на Чаринг-кросс-роуд… Читаешь — кровь стынет в жилах». Вообще-то лондонские уборные славятся надписями не одно столетие; в 1732 году Харло

Трамбо напечатал в типографии Бетлехем-уолл (Мурфилдс) компиляцию, озаглавленную «Веселый помысел, или Антология оконных стекол и нужников». Мы можем извлечь из этого сборника кое-какие яркие и, возможно, даже бессмертные эпиграммы. Нужник в увеселительном саду Панкрас-уэллс подарил нам следующее:

Сюда посрать я в спешке заскочил,
Но, чьей-то мудрости увидев испражненья,
Был принужден в стихах являть свои уменья
И чуть в штаны не наложил [37].

За этим четверостишием следует диалог (или хор?) сортирных голосов, в котором write (писать) часто рифмуется с shite (испражняться), а London — с undone. Одежда наших анонимных авторов в буквальном смысле была в нужнике undone (расстегнута); однако, возможно, здесь есть и второй, более печальный уровень смысла — что они сами были в Лондоне undone (погублены). На стене таверны у Ковент-гардена можно было прочесть:

Всего грязней из человека прет,

---

[37] Примечания: 37
Эта и следующая эпиграммы даны в переводе Э. Новиковой.

Когда он пишет или когда срет,

а в отхожем месте близ Темпла:

Герой в бою не так свиреп на вид,
Как тот, кто, тужась, на толчке сидит.

Порой эта городская скатология встречала достойный отпор. «Оставлять здесь свои имена, — написал на стене некий лондонец — есть тщеславие выродков».

Другим важным источником лондонских граффити испокон веку были стены тюремных камер — от надписи, сделанной Томасом Роузом в башне Бичем-тауэр лондонского Тауэра («Заточен теми, кому не сделал никакого зла. 8 мая 1666 года»), до слов, начертанных одним современным заключенным: «Ты, допустим, виноват. Но каково сидящим здесь ни за что!» Эти люди тоже, можно сказать, были погублены Лондоном. В 1581 году Томас Михоу с большим трудом, но аккуратно нацарапал на стене железным гвоздем: «Я злые пытки вытерпел сполна, но мне свобода не была дана». Надпись сохранена до наших дней в лондонском Тауэре наряду со многими высеченными в этой древней тюрьме символами страдания и долготерпения — крестами, скелетами, мертвы-

ми головами, песочными часами. Попадаются и слова, долженствующие вселять успокоение: «Надейся до конца, будь терпелив… Spero in Deo[38]… Терпение превозможет все». С этими фразами контрастируют нынешние тюремные граффити: «Домой к маю… Вот где я большую часть жизни провел… В первый раз засыпался — заложил друган… Поаккуратней со мной. На семь лет закатали. Не повезло». Во многих граффити тюрьма предстает как образ мира — или как образ города, — и это, возможно, придает дополнительное значение надписи, обнаруженной на одной из лондонских стен: «Нечем дышать».

[38] Примечания: 38
Уповаю на Бога *(лат.)*.

Глава 19
И это тоже лондонцы

Есть и другие виды обезличенности. Диккенс обратил внимание на женщину, которую можно было встретить поблизости от Стрэнда. «Из-за какой-то болезни позвоночника она гнется в три погибели, а голова у нее с недавних пор вывернута на сторону и нависает теперь над запястьем одной из рук с тыльной стороны. Всем знакомы и палка ее, и шаль, и корзинка, которые неизменно при ней, когда она бредет по улице, способная видеть лишь тротуар, не прося милостыню, не останавливаясь, вечно перемещаясь куда-то без всякой цели. Как живет она? Откуда идет? И куда? И зачем?» Диккенс встречал ее многократно; он так и не узнал ее имени, а она не могла увидеть знаменитого писателя, проходившего мимо и, возможно, потом оглядывавшегося.

Я не раз замечал карлика с усохшим, сморщенным лицом, одетого в старое тряпье, который хриплым голосом «регулировал» движение транспорта на перекрестке Теобальдс-роуд и Грейз-инн-роуд; он стоял там каждый божий

день, а потом вдруг (летом 1978 года) пропал. Ближе к нашему времени молодой уроженец Вест-Индии ходил по Кенсингтон-черч-стрит в одежде из серебряной фольги, с привязанными к запястьям воздушными шариками. Джентльмен, которого прозвали «Польским королем», разгуливал по Стрэнду босиком в красной бархатной мантии, водрузив на голову венок. Он тоже внезапно исчез.

Эти лондонские «достопримечательности», как правило, обретаются в определенных частях города и редко показываются за их пределами; это духи или ангелы тех или иных мест, безраздельно принадлежащие городу. В Кларкенуэлле жил «угольщик-музыкант», который, окончив дневные труды, устраивал концерты в своей квартире на Джерусалем-пассидж; он умер, когда чревовещатель по прозвищу Смит-говорун, затеяв розыгрыш, внушил ему, что с ним беседует сам Господь, и объявил, что он проклят навеки. На Пиккадилли в доме 138 жил лорд Куинсберри, или «старый Кью», как его называли; он каждый день сидел у окна и единственным своим глазом плотоядно смотрел на каждую хорошенькую прохожую и подмигивал ей. Около таверны «Подкова» на Тоттнем-корт-роуд много лет сидела

«больная девушка с бледным лицом, лишенным всякого выражения, не помнящая о времени и нечувствительная к шуму и суете».

Знакомые лица имелись в каждом районе города. Ныне на перекрестки ежедневно выходят люди с дисками на шестах, помогающие детям переходить улицу, но до первых десятилетий XX века здесь приметней всех были подметальщики мостовых. Многие трудились на одних и тех же перекрестках — на своих «владениях», как они их называли, — по тридцать-сорок лет. На Корнхилле в свое время подметальщиком был бородач, признававшийся: «Случается, меня и обидят — скажут что-нибудь такое; бывает, степенные люди подразнят маленько». На углу Кавендиш-сквер обосновался Билли, который помнил старинные мятежи: «Толпа несла четырехфунтовую буханку, намоченную в бычьей крови, а я, как увидел, подумал, что это человечья голова; я перепугался и убежал». Один старый подметальщик, который «держал за собой» узкий проезд между Беркли-стрит и Страттон-стрит, носил потрепанный охотничий наряд — куртку и шляпу. Однажды ему пришлось выступить свидетелем в полицейском суде, и Мейхью приводит следующий обмен репликами:

Судья. Вы кто — фельдмаршал?

Свидетель. Нет, милорд. Я подметальщик на Лэнсдаун-пассидж.

Согласно изданию «Лондон старый и новый», в начале XIX века в Севен-Дайалс жил «сэр» Гарри Димсдейл — «несчастный малорослый урод и полуидиот», торговавший вразнос шнурками и нитками; он постоянно ходил одними и теми же маршрутами по Холборну или по Оксфорд-стрит и сносил насмешки детворы и мойщиков, убиравших каретные дворы. У него было всего четыре или пять зубов, но он мог согнуть ими серебряную монету, «если только удавалось у кого-нибудь ее выпросить». Его излюбленным развлечением было донимать детей — щипать, валить на землю, — но главной страстью был алкоголь. Он «каждый вечер допивался до безобразия… вопил в припадке хмельного исступления или издавал низкие жалобные звуки, исторгаемые не то голодом, не то болью». Отмечалось, что его лицо выражало «идиотизм, физическое страдание и склонность к злому озорству»; однако хозяйка его убогого жилья — чердачного помещения с устланным соломой полом, выходившего на задний двор, — говорила, что по ночам слышит, как

он молится. «Сэра» Гарри знал весь Лондон, и существует гравюра, изображающая его в возрасте тридцати восьми лет; тем не менее и он однажды внезапно исчез. Его жизнь — диковинная повесть страдания и одиночества, но она находит отзвуки и подобия в нынешнем городе.

Другие эксцентричные торговцы проявляли на улицах больше добродушия. В начале XIX века немалой известностью пользовался Питер Стоукс, «летучий пирожник» с Холборн-хилла; согласно описанию, данному Алефом в «Лондонских сценах и типах», «на нем неизменно был черный, тщательно вычищенный костюм — фрак, жилетка и короткие панталоны с застежками ниже колен; на ногах — плотные черные чулки и туфли со стальными пряжками». Этот уличный торговец, чье «открытое и доброжелательное лицо выражало ум и безупречную нравственность», в тот самый миг, когда часы били двенадцать дня, стремительно вылетал из переулка Феттер-лейн и в течение последующих четырех часов обегал окрестные улицы, уворачиваясь от лошадей, фургонов, карет и беспрерывно крича: «Купите! Купите! Купите!» Он тоже славился по всему Лондону и был изображен гравером с корзинкой пирожков, аккуратно

покоящейся на правой руке.

Столетием раньше на улицах Лондона был столь же знаменит Колли-Молли-Пафф — низенький горбун, тоже продававший пирожки и булочки. Корзинку он предпочитал носить не на руке, а на голове, и при тщедушном телосложении голос, которым он рекламировал свой товар, был у него могучий. Возгласы его узнавались безошибочно, и он появлялся на всех городских торжествах и публичных повешениях, неизменно вооруженный большой палкой для защиты от воришек, посягавших на его добро.

Тидци-Долл, торговавший имбирными коврижками на Хеймаркете, носил нарядную, яркую одежду и шляпу с пером, и ему выпала честь стать моделью для Хогарта; он был так знаменит среди жителей Лондона, что «однажды, когда его не оказалось на обычном месте… (он отправился на сельскую ярмарку), были напечатаны и тысячами продавались на улицах листы с историей его убийства». Его невымышленная смерть была не менее сенсационной: во время «ледяной ярмарки», когда на льду замерзшей Темзы устраивались увеселения, Тидди-Долл провалился во внезапно разверзшуюся трещину и утонул.

В Лондоне всегда хватало разного рода чудаков,

пользовавшихся уличной славой. Томас Кук из Кларкенуэлла, знаменитый скупец, на смертном одре потребовал назад деньги у хирурга, не сумевшего его вылечить. Врач Мартин Ван Бутчелл разъезжал по Вест-энду на пони, на боках у которого были намалеваны красные пятна. С крыльца своего дома на Маунт-стрит он продавал апельсины и имбирные коврижки; он набальзамировал тело первой жены и держал его в гостиной. Как пишет Эдвард Уолфорд в «Лондоне старом и новом», «он первую жену одевал в черное, а вторую в белое, никогда не допуская перемены цвета». Он поразил современников тем, что отпустил бороду — и это в конце XVIII века! — и столь же сильно поразил их тем, что стал «одним из первых убежденных трезвенников».

Бенджамин Коутс впервые обратил на себя внимание в 1810 году, когда арендовал театр «Хеймаркет», чтобы единственный раз выступить в роли Ромео; он вышел на сцену «в небесно-голубом шелковом плаще, щедро усыпанном блестками, в красных панталонах, в белой муслиновой жилетке и в парике эпохи Карла II, увенчанном складным цилиндром». К несчастью, голос у него был «гортанный», и смех, который вызвало само его появление, усугубился тем, что

«его чересчур тесные панталоны разошлись по швам, и скрыть это было невозможно». В тот вечер к нему навсегда приросло прозвище «Ромео Коутс»; его часто видели разъезжающим по улицам в экипаже, похожем на морскую раковину. Предельная живость и энергия этого человека ставят его в один ряд с гравером Уильямом Вулеттом, который, окончив очередную работу, всякий раз палил из пушки, установленной на крыше его дома на Грин-стрит близ Лестер-сквер.

Порой и женщины производили необычайное впечатление своим особым обликом или поведением. Жила в Лондоне, например, богатая и образованная мисс Бэнкс, носившая стеганую юбку с «двумя громадными карманами, полными книг всевозможных размеров». Отправляясь на охоту за той или иной книгой, она неизменно брала с собой рослого слугу «с палкой почти такой же длины, как он сам». Во время этих вылазок, как пишет все тот же Уолфорд, ее «не раз принимали за уличную певицу». Мисс Мэри Льюкрайн около пятидесяти лет безвылазно просидела у себя на Оксфорд-стрит за закрытыми ставнями — одна из тех старых дев, что уходили в добровольное затворничество, спасаясь от города с его тревогами и жестокостями.

Некоторые лондонцы приобрели известность из-за своего рациона. В середине XVII века Роджер Крэб из Бетнал-грин питался «щавелем, мальвой и прочими травами» и пил только воду; в конце XX века Стэнли Грин, неизменно в куртке и кепке, ходил по Оксфорд-стрит с плакатом; «Меньше белка — меньше страстей». Двадцать пять лет уличные толпы обтекали его, почти не замечая, поглощенные своим обычным шумно-суетливым движением.

ПЛАМЯ И МОР

Глава 20
Чума на вашу голову

Лондон — город, вечно преследуемый роком. Его всегда сравнивали с Иерусалимом, который так пылко изобличали пророки, а его могучий дух неоднократно пытались укротить словами Иезекииля: «…скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет… и бурный ветер разорвет ее» (Иезекииль, XIII. 11). В XIV веке Джон Гауэр сокрушался, предсказывая ему близкую гибель, а в 1600 году Томас Нэш написал: «Лондон скорбит, и Ламбет весь в печали; торговцы проклинают день, когда их матери зачали… Так от зимы, от мора и чумы спаси нас, милостивый Боже!» В 1849 году граф Шафтсбери назвал Лондон «Городом чумы», а один из персонажей оруэлловского романа «Пусть цветет аспидистра» говорит о нем как о «городе мертвых».

О природе лондонского страха написано многое. Джеймс Босуэлл приехал в город в 1762 году. «Я стал опасаться, не поразит ли меня нервная лихорадка — в этом не было бы ничего удивительного, ибо она уже приключилась со мной

после такой же хвори, когда я в последний раз посещал Лондон. Я был весьма угнетен». В комментарии издателя к выполненному Ларуном изображению уличных торговцев подчеркиваются следы беспокойства на их лицах, в особенности «пустые, испуганные глаза». В стихотворении Уильяма Блейка «Лондон» рассказчик, гуляя по улицам близ реки, признается: «На всех я лицах нахожу / Печать бессилья и тоски»[39], а затем слышит «плач напуганных детей… вздох солдата-горемыки… проклятие блудницы» и видит «слезы новорожденных». На иллюстрации, которой поэт сопроводил свое произведение, изображен ребенок, греющийся у огромного костра, который уже сам по себе выглядит символом несчастья. В своем рассказе о чуме 1664 и 1665 годов Дэниел Дефо сообщает, что в городе царят нервное возбуждение и страх. Кто-то сказал о Теккерее: «Похоже, будто город — его болезнь, и он не может удержаться от перечисления ее симптомов» и добавил: «Это еще одна черта, по которой узнаешь истинного лондонца». В стихотворении Томаса Гуда лондонские камни кричат вслед женщине, скачущей по улицам на коне:

---

[39] Примечания: 39
Перевод С. Маршака.

«Бейте ее! Кромсайте ее! Пусть брызнут ее мозги! Пусть кровь зальет ее платье!»

В городе всегда было достаточно причин для того, чтобы привести человека в смятение: шум, бесконечная спешка, неистовость толпы. Лондон сравнивали с тюрьмой и могилой. Немецкий поэт Генрих Гейне жаловался, что «этот непомерный Лондон подавляет воображение и угнетает душу». В «Лондонских воспоминаниях» Хекторна повествуется, как некий солдат в 1750 году предсказал землетрясение и «огромные массы народу потекли из Лондона в провинцию, и все окрестные поля были заполнены людьми, бегущими от обещанной катастрофы». Несчастного провидца отправили в сумасшедший дом. Однако симптомы страха никогда не сходили на нет. Во времена эпидемий многие горожане умирали попросту от испуга, и было замечено, что в трактатах XIX века часто попадается слово «мрачный» (gloom). Его связывают с туманами, характерными для Лондона, но похоже, что в нем есть и более сокровенный, более тревожный смысл. Ноябрь был излюбленным месяцем лондонских самоубийц, и в дни самого густого тумана «людям, по их признаниям, казалось, будто наступает конец света». Именно эти слова были употреблены

обитателями Уайтчепел-роуд, когда взорвалась пиротехническая фабрика. Эта фраза непроизвольно срывалась у людей с языка — точно было какое-то подспудное желание, чтобы все наконец кончилось. После посещения Всемирной выставки в Лондоне Достоевский заметил: «Вы даже как будто начинаете бояться чего-то… вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли в самом деле достигнутый идеал? — думаете вы, — не конец ли тут?»[40]

Смерть всегда была одной из самых ходовых лондонских эмблем. «Пляска смерти» была изображена на стене во дворе собора Св. Павла и постоянно напоминала людям, посещавшим этот собор по делам или ради отдыха, о бренности их существования. В регистрационной книге одного прихода указываются следующие причины смертей, имевших место в течение одного только месяца — июня 1557 года: «опухоль… лихорадка… чахотка… кашель… кровохарканье… сыпь… ушибы… истощение… немощь». В списках умерших, публиковавшихся в Лондоне каждый четверг, фигурируют люди, погибшие «от сочетания планет», «от подковы» и «от восхождения огней» — по-

[40] Примечания: 40
«Зимние заметки о летних впечатлениях», гл. 5.

следнее ныне совершенно непонятно; говорится и об «умерщвленных у позорного столба» и тех, кто «умер от нужды в Ньюгейте». Даже до чумы 1665 года и Великого пожара 1666 года лейтмотив memento mori был «непременным атрибутом церковных дворов XVII века». «В Лондоне нет здоровых, — жалуется Вудхауз в своей „Эмме“ — да и быть не может». Герой смоллеттовского «Хамфри Клинкера» Мэтью Брамбл страдал в Лондоне от недомоганий, «предостерегающих меня, что мне следует бежать из сего средоточия заразы»[41]. Веком позже Лондон получил прозвище «Исполинский нарост» — здесь подразумевается жировая шишка, признак скверного здоровья.

В пределах метрополиса часто свирепствовали эпидемии. «Черная смерть» 1348 года уничтожила приблизительно 40 % лондонского населения. Многих хоронили на ничейном пустыре за городской стеной, известном под названиями «Поле прощения» и «Дикий ряд» — теперь это часть Кларкенуэлл-роуд за Чартерхаусом (домом для престарелых, бывшим монастырем картезианского ордена). В XV и XVI столетиях эпидемии «потницы» поражали Лондон по меньшей мере

[41] Примечания: 41
Перевод А. Кривцовой.

шесть раз; в 1528 году она «набросилась на город с такою яростью, что унесла тысячи жизней всего за пять-шесть часов». Болота и открытые сточные канавы столицы превратили ее в «комариный рай», вызывавший «лихорадку», то есть малярию.

Чума появилась в городе рано: первое заболевание ею зафиксировано в VII веке. Между 1563 и 1603 годами она терзала Лондон пять раз, причем в последнем, 1603 году погубила около тридцати тысяч жителей: «Страх и трепет (двое подручных Смерти) охватили всякого, и слышен был лишь один глас — Tue, Tue, Убей, Убей», а Уотлинг-стрит походила «на опустелый монастырь». Опасность угрожала каждому. Никто никогда не был абсолютно здоров в городе, «полном выгребных ям и канав, мерзости и зловония», грязном и источающем «ядовитые миазмы». Лондон превратился в настоящий рассадник болезней. Но ни один эпизод в истории Лондона не мог подготовить его жителей к событиям, развернувшимся здесь в роковые годы — с 1664-го по 1666-й.

Были предвестия катастрофы. В 1658 году Уолтер Костелло писал: «Если пламя не превратит в пепел этот город, а также и твои кости, считай меня лжецом навсегда. О Лондон! Лондон!» Спу-

стя год в квакерском трактате, озаглавленном «Видение будущего Лондона», появилось пророчество: «А в самом граде, и пригородах его, и во всем, что ему принадлежало, возжегся огонь; но неведомо было, как это случилось даже в самых прекрасных его местах, и огонь был в основаниях зданий, и никто не мог угасить его». В своем труде «Монархия или не монархия», вышедшем в 1651 году, лондонский астролог Уильям Лилли поместил загадочную гравюру, «представляющую, во-первых, людей на извилистых улицах за рытьем могил; а во-вторых, великий город в огне». Вацлав Холлар отметил бодрость и энергичность жителей в 1647 году, но, вернувшись в город в 1652-м, нашел, что «лица у всех изменились, стали недобрыми и меланхолическими, словно под действием злых чар». Мамаша Шиптон, знаменитая прорицательница, предсказывала большой пожар, а некий квакер ходил по Варфоломеевской ярмарке обнаженный, водрузив на голову сковороду с горящей серой, и предвещал беду. Какой-то человек в узком переулке близ Бишопсгейта уверял толпу, собравшуюся вокруг него, что «призрак здесь указывал на дома и на землю», ясно давая понять, что «на сем погосте будет похоронено множество людей».

Неподалеку от Госуэлл-роуд есть местечко под названием Маунт-миллс. Теперь там пустырь, который используется как автостоянка. Странно обнаружить в этом районе Лондона клочок явно ничейной земли. Ответ на вопрос, откуда он взялся, дает история. Согласно «Дневнику чумного года» Дэниела Дефо, именно здесь, «за Госуэлл-стрит, близ Маунт-милл… без разбору похоронили очень много людей из приходов Олдерсгейт, Кларкенуэлл и даже из-за городской стены». Другими словами, здесь была общая могила, куда во время Великой чумы 1664 и 1665 годов доставляли на специальных телегах — «трупо-возках» — тысячи мертвых тел и сбрасывали их в огромную яму.

По величине могила на Маунт-миллс сравнима с общей могилой в Хаундсдиче, имевшей сорок футов в длину, шестнадцать в ширину и двадцать в глубину, — в этой последней было захоронено более тысячи человек. Некоторые тела «оборачивали полотном, другие — тряпьем; но были и почти голые, а с иных сваливалась и та жалкая одежда, что была на них надета, когда их скидывали с телеги». Были сообщения о живых, которые в приступе отчаяния бросались на груды мертвых тел. Совсем близко от Хаундсдичской

ямы был трактир «Пирог», и пьяные, заслышав ночью громыханье «труповозки» и звон железного колокольчика, подходили к окну и издевались над всеми, кто оплакивал умерших. Они употребляли «богохульные выражения» — такие, как «Бога нет» и «Бог — это дьявол». Один возчик, когда у него в телеге были мертвые дети, «имел обыкновение кричать; „А вот кому мальчиков, бери пятерых за шестипенсовик!“ — и поднимал ребенка за ногу».

Пустырь на Маунт-миллс не застроен и по сию пору.

Все эти сведения взяты из хроники Дефо. Во время трагедии ему было всего лишь шесть лет, поэтому в основном он передает чужие рассказы, но существуют и отчеты современников, из которых можно почерпнуть дополнительную пищу для размышлений. Любой наблюдатель, решивший посетить зачумленный город, в первую очередь заметил бы необыкновенную тишину: по улицам ездили только «труповозки», а все лавки и рынки были закрыты. Те, кто не сбежал, сидели по домам, и на реке было пустынно. Если кто-нибудь отваживался выйти под открытое небо, он шел посередине, по водостоку, держась подальше от зданий и избегая случайных встреч.

Стояла такая тишь, что по всему Старому городу было слышно, как журчит вода под мостом. На перекрестках и главных улицах пылали огромные костры, и их гарь мешалась с запахами мертвых и умирающих. Было похоже, что жизнь в Лондоне кончилась.

Чума началась в приходе Сент-Джайлс под самый конец 1664 года. Теперь полагают, что инфекцию занесли в город черные крысы — они же корабельные, или домашние (rattus rattus). Эти крысы — исконные обитатели Лондона: их кости были обнаружены при раскопках на Фенчерч-стрит в слоях, относящихся к IV веку. Возможно, они приплыли из Южной Азии на римских кораблях и с тех пор больше не покидали города. Суровые холода в начале 1665 года некоторое время препятствовали распространению заразы, но к весне списки усопших стали удлиняться. В июле чума проникла в Лондон из его западных пригородов. Лето было сухим и жарким, погода стояла совершенно безветренная. На покинутых улицах росла трава.

Священник Джон Аллин остался в городе и отправил много писем знакомым, находящимся на безопасном расстоянии; эти письма приведены в «Неизвестном Лондоне» У. Дж. Белла. 11 августа

Аллин писал: «Меня тревожит то, что болезнь подбирается все ближе с каждой неделей; они даже устроили рядом с нами новое кладбище». «Они» — это неведомые представители власти, столь же неопределенной, сколь и могущественной; «они» всегда фигурировали в разговорах и письмах лондонцев. Через тринадцать дней: «Я, Божьей милостью, еще здоров в этой юдоли смерти, а смерть все ближе и ближе: нас разделяют лишь несколько домов, и из окна моей кельи видна постоянно разверстая могила». На следующей неделе, в начале сентября, он описал «унылый и почти непрерывный, почти повсеместный колокольный звон». Только этот звон и нарушал тишину. В том же письме он сообщил, что его брат как-то утром вышел из дому, а возвратившись, обнаружил у себя «затверделость под ухом, которая затем обратилась в опухоль, так и не прорвавшуюся и удушившую его; он умер в ночь на прошлую пятницу». Пять дней спустя Аллин написал о подступающей болезни: «Она у соседей по обе стороны от меня и под одной со мною крышей… В эти три дня видел угольные костры на улицах примерно у каждой 12-й двери, но это не отвратит Божьего гнева». Он явно едва сдерживает волнение. Только в середине сентября дожди

немного смягчили палящую жару, однако после наступившего в связи с этим краткого облегчения чума разбушевалась снова.

Джон Аллин рассказывает о шести врачах, которые вскрыли зараженное тело, считая, что нашли средство от болезни — «говорят, что все они умерли, причем почти все перед этим впали в безумие». Шесть дней спустя последовало сообщение о «предсказании одного ребенка, что чума будет усиливаться, покуда не умрет 18 317 человек в неделю». Ребенок умер. Однако количество смертей стало уменьшаться. В последнюю неделю февраля 1666 года были зарегистрированы только 42 летальных исхода, тогда как в сентябре 1665 года умирало более чем по восемь тысяч человек еженедельно.

Книга Дефо рисует Лондон как живое, страдающее существо, а не как «пустой социальный абстракт» из стихотворения У. Х. Одена. Лондон терзает «лихорадка», и он «весь в слезах». Его «лик» подвергся «странной перемене», а над его улицами курятся «дым и испарения», точно над потоками зараженной крови. Неясно, то ли Лондон как единый организм болеет оттого, что болеют его обитатели, то ли наоборот. Конечно, условия жизни в столице были опасны

для здоровья людей — ему угрожал сам процесс купли-продажи, без которого не обойтись в этом гигантском центре коммерции и торговли: «Каждому приходилось выбираться из дому за продуктами, и это стало одной из главных причин того, что едва не вымер весь город». Люди «падали замертво прямо на рынке», покупая или продавая что-нибудь. Они «вдруг садились и умирали» с зараженными монетами в кармане.

Читая книгу Дефо, мы находим в ней и другой печальный образ. Это образ города, где «столько же тюрем, сколько заколоченных домов». Метафора заточения неоднократно использовалась авторами, писавшими о Лондоне, но во время Великой чумы многие его жители оказались плененными в буквальном смысле. Символизм красного креста и слов «Да смилуется над нами Господь» не ускользнул от внимания мифографов города, но степень общественного контроля, пожалуй, была ими недооценена. Конечно, многим удалось бежать — одни уходили по крышам, другие перебирались через садовую стену, а кое-кто даже убивал ночных сторожей ради того, чтобы вырваться на свободу, — однако теоретически каждая улица и каждый дом превратились в острог.

Закон, гласивший, что «каждая могила должна иметь не менее шести футов в глубину», был издан именно тогда и оставался в силе в течение трех столетий. Все нищие изгонялись. Публичные сборища были запрещены. Порядок в городе, который всегда изобиловал одержимыми самого разного сорта, приходилось наводить с помощью крутых и решительных мер. Поэтому представители власти и стали превращать дома в тюрьмы, «заколачивая» их — мера, которую даже в ту пору многие считали и жестокой, и бессмысленной. Но в городе тюрем это было естественной и инстинктивной реакцией муниципального руководства на разразившееся бедствие.

Приводя множество историй и подробностей, Дефо рисует перед нами картину «города, целиком предавшегося отчаянию». Из его повествования ясно, что горожане быстро скатились к суеверию и верованиям примитивного характера. На улицах царило сущее безумие: пророки, толкователи снов, предсказатели судьбы и астрологи «запугивали народ до последней степени». Многие, опасаясь внезапной смерти, выбегали на улицы, чтобы повиниться в совершенных ими преступлениях — убийствах или кражах. В разгар эпидемии люди искренне верили в то,

что «Господь решил положить конец существованию этого несчастного города», и в результате впадали «в буйство и помешательство». Дэниел Дефо знал город очень хорошо — возможно, лучше любого из своих современников — и сделал вывод, что «смятение, господствовавшее тогда в умах лондонцев, немало способствовало гибели многих из них».

Город переполнили «маги и колдуны… знахари и прочие шарлатаны», которые расклеивали повсюду афиши с предложениями своих услуг и продавали отчаявшимся пилюли, микстуры, целебные патоки и «чумную воду». В харчевне «У ангела», расположенной «близ Большого Канала на Чипсайде», был вывешен перечень лекарственных снадобий, а в трактире «Зеленый дракон» в том же районе продавался «чудодейственный Электуарий против чумы по шесть пенсов за пинту».

В Лондоне всегда хватало целителей и врачевателей, лекарей и гипнотизеров всех мастей. Возможно, царившая в городе нервозность порождала физические недуги, от которых люди пытались излечиться, принимая всевозможные «эликсиры». В Лондоне XIV века эффективность целебных трав определялась с помощью цер-

ковного календаря и различных гороскопов. Первыми хирургами были священнослужители. В XIII столетии папская власть запретила им «проливать кровь». После этого везде появились светские хирурги и врачи. Однако не все они прошли положенный десятилетний курс ученичества, и в начале XVI столетия было объявлено, что «наука исцеления и врачевания» практикуется «ткачами, кузнецами и женщинами», которые пользовались в своем лекарском ремесле «магией и колдовством». Считалось, например, что целебными свойствами обладают вода, выпитая из черепа повешенного, и прикосновение к телу больного руки мертвеца.

В XVII веке лондонские знахари и целители тоже были в фаворе, и Чарлз Маки не случайно отвел им так много места в своей работе, посвященной описанию распространенных в ту пору заблуждений и суеверий. В начале 1660-х, когда на Линкольнс-инн-филдс поселился целитель Валентайн Грейтракс, «в Лондоне только и говорили что о творимых им чудесах, и чудодею этому оказывали поддержку в столь высоких кругах, что сбитая с толку публика верила ему, почти не спрашивая доказательств». Другой шарлатан сделал карьеру, воздействуя на лондонцев

своей «магнетической силой». Травники лечили от цинги ложечницей, собранной на берегах Темзы; предлагались и гораздо более опасные для здоровья средства под названиями «Дух жемчуга» и «Золотая эссенция». Некоторые знахари и знахарки определяли причину хвори, изучая мочу больного (это называлось «наукой ночного горшка») или его родимые пятна. Этим положено было заниматься седьмому ребенку от седьмого ребенка, и многие объявляли себя таковыми, хотя в действительности ими не были.

Некий Уильям Салмон, практиковавший у самых ворот больницы Св. Варфоломея, утверждал, будто он излечил «Амброза Уэбба с Уэстбери-стрит близ „Трех компасов“ от сильного кровотечения из носа; юного сына Уильяма Огбена, портного с Барнаби-стрит близ „Черного Парня“, от долгой и изнурительной лихорадки и помешательства… Николаса Эрла с Лонг-элли близ „Чаши“ от водянки; Джоан Ингрем с Мурфилдс близ „Медведя“ от подагры и Энтони Джестура из Уоппинга близ „Петуха“ от чахотки». Конкретность этого объявления весьма убедительна. Кроме того, оно позволяет сделать вывод, что место жительства простого лондонца обычно определялось по названию ближайшего к нему трактира.

По-видимому, Уильям Салмон и впрямь успешно исцелял больных; как современным терапевтам, ему особенно хорошо удавалось излечивать ту «меланхолию», которая так часто поражала городских жителей. Он сам был лондонским оригиналом — немного фокусником, немного чародеем и немного врачом. Родился он летом 1644 года и сначала был подручным у знахаря, а затем начал продавать свой собственный «Эликсир жизни». Занимался Салмон и просветительством: его книга «Медицинский синопсис, или Краткое изложение астрологических, галенических и химических методов врачевания», впервые вышедшая в 1671 году, выдержала по меньшей мере четыре издания. Он написал и еще несколько популярных книг, посвященных не только медицине, но также математике и черчению, однако наибольшим успехом пользовался у читателей его «Лондонский альманах» с пророчествами, стиль которых затем перенял или украл у него Фрэнсис Мур. Перемещения «приемной» Салмона по городу можно проследить с большой точностью: со Смитфилда на Солсбери-корт близ Флит-стрит, оттуда на Блу-Балкони у канала неподалеку от Холборнского моста, а затем на Митр-корт рядом с той же Флит-стрит. Подобно многим лондонцам,

он примкнул к крайним радикалам, вступив в секту, которая называлась «Новое религиозное братство свободных мыслителей» и собиралась у Дома торговцев кожей. Потом, будучи уже в годах, он начал заниматься анатомией.

В 1714 году он скончался, оставив после себя два микроскопа и библиотеку, количество книг в которой превышало три тысячи.

Конечно, целительством занимались и люди более благородного происхождения, хотя не обязательно более ученые: они действовали под эгидой Общества хирургов-цирюльников (позже разделившегося на общества хирургов и цирюльников) или Медицинского колледжа. Последний занимал дом (с крышей, «издалека напоминающей позолоченную пилюлю») на Уорик-лейн, близ Ньюгейтской тюрьмы, откуда по большей части и добывались необходимые врачам анатомические пособия. Уроки по анатомии были здесь главным и самым притягательным мероприятием. Проводились они в центральном зале — именно там происходит действие «Награды за жестокость» Хогарта, на которой изображено, как тщательно и придирчиво расчленяется тело несчастного убийцы Тома Ниро. Это называлось «театром» и действительно стало неотъемлемой

частью спектакля лондонской жизни. Использование трупов повешенных для вскрытия и изучения было старинным обычаем — мы читаем, что «для рассмотрения внутренности тела необходима восковая свеча», — но в более поздние годы с помощью трупов исследовались еще и свойства электричества. В 1803 году один только что казненный убийца был «гальванизирован», в результате чего один его глаз открылся, а правая рука поднялась. Чарлз Найт сообщает, что преподаватель, проводивший опыт, «тем же вечером скончался от потрясения». Несколько раньше, в 1740-м, образец только собрались вскрыть, как он вдруг «выбросил свою руку вверх, в лицо врачу, и случайно порезал его губы ланцетом». Избежав таким образом ножа, он сел на стул, испуская стоны и находясь «в великом волнении»; наконец он пришел в себя и стал «горячо умолять», чтобы к нему привели мать.

Гравюра Хогарта имеет вихреобразную композицию: циклическая комплементарность ее деталей напоминает круги жизни Тома Ниро в аду Лондона. Кроме того, она словно демонстрирует связь между жестокостью самого Ниро и бессердечием врачей, которые потрошат его тело. Характер Ниро сложился под влиянием

жестокой улицы, так что он стал образчиком худшего лондонского типа. Однако он не столь уж сильно отличается от хирурга, с наслаждением погружающего скальпель в его глазницу. Хогарт писал этот персонаж с хирурга по имени Джон Фрик. В этом городе все связано между собой.

Скелеты двух знаменитых преступников, некогда висевшие в нишах анатомического театра, можно и теперь увидеть в музее Королевского хирургического колледжа. Джонатан Уайлд, самый известный лондонский злодей XVIII века, и Уильям Кордер, убийца Марии Мартин (его преступление нарекли «убийством в красном амбаре»), нынче висят рядом как участники старинного лондонского спектакля. В той же галерее можно найти и великана-ирландца Чарлза Бирна: его гигантский скелет высотой в семь футов десять дюймов помещен бок о бок с крохотными останками Каролины Кречеми, рост которой составлял всего один фут и десять с половиной дюймов. Они были лондонскими «уродами» и после своей смерти продолжают тешить публику, охочую до зрелищ.

Лондонские аптекари, как и анатомы, любили сценические эффекты. Обычно они одевались в черное, а в каждой аптеке, пусть даже самой

скромной, непременно хранились череп и большая книга, написанная на каком-нибудь древнем языке. Здесь торговали травами и порошками, эликсирами и пилюлями, микстурами и зубным порошком, помадой и приворотным зельем. Самый богатый выбор травяных снадобий предлагался на Камомайл-стрит и Баклерсбери. В «Приключениях Родрика Рэндома» Смоллетта (1748) имеется перечень профессиональных уловок: «Устричные раковины он умел превращать в глаза краба, простое растительное масло в сладкое миндальное… воду из Темзы в aqua cinnamonii [настой из листьев и цветов корицы и коричного лавра]… если же пациенту было предписано какое-нибудь самое обыкновенное лекарство, он всегда заботливо изменял его цвет, либо вкус, или и то и другое так, чтобы невозможно было его распознать»[42].

Сами снадобья менялись в соответствии с модой. В XVII веке среди них были мох, копченые конские яички, майская роса и белена. В XVIII столетии нам встречаются мускатный орех и пауки, обернутые в собственную паутину. В книгах XIX века мы читаем о «турецком ревене и серной

---

[42] Примечания: 42
Перевод А. Кривцовой.

кислоте». В начале XX в Ист-энде продавались «железное желе, мазь „Замбук“, соль плода Ино, легочный тоник Оубриджа, кровяная микстура Кларка». Шотландские пилюли Андерсона, впервые предложенные миру в 1635 году, «находились в продаже вплоть до 1876-го».

Повествуя о Великой чуме, Дефо подчеркивает легковерие простых лондонцев, которые в надежде отпугнуть подкрадывающуюся заразу носили на себе «амулеты, талисманы, пузырьки с волшебными эликсирами». У некоторых в карманах лежали бумажки или печати со знаками зодиака или словом «абракадабра». Люди вновь вернулись к язычеству, властвовавшему над городом с тех пор, как в Дагнеме был вырезан первый деревянный идол (2200 год до н. э.).

К югу от реки, близ Уолуорт-роуд, есть музей, где хранится так называемая «коллекция Ловетта» — собрание лондонских талисманов, амулетов и прочих вещиц того же рода. Это настоящая выставка лондонских суеверий, и разнообразие ее экспонатов свидетельствует о том, что город впитал в себя все традиции, связанные с магией и ритуалом, как местные, так и привозные. В 1916 году из Ист-энда были доставлены «пять камешков неправильной формы на одной нитке»

— согласно музейному каталогу, их следовало «вешать на угол кровати, чтобы отогнать кошмары». В том же году поступила и «серовато-белая трубочка, накрепко завязанная с обоих концов и наполненная ртутью». Она служила средством от ревматизма. Шкура серой кошки излечивала от коклюша, а «кожаная туфелька, выкрашенная в золотой цвет», приносила удачу. Из Клэпема прибыла подушечка для булавок, сделанная в форме костяшки для домино с семью точками, а из восточного Лондона — ключик на шнурке, охранявший своего хозяина от ведьм, и ожерелье из янтаря и других камней, которое носили в 1917 году, «чтобы вернуть себе здоровье». В Баркинге искали корни мандрагоры, которые, когда их вынимают из земли, кричат, точно малые дети. В музее есть монетки, приносящие богатство, кусочки пирита, отвращающие удар молнии («желуди с дерева бога грома»), коровьи сердца, бараньи рога и ослиные подковы, когда-то служившие амулетами. Здесь же хранится и набалдашник волшебной палочки, или посоха, одного лондонского волшебника, с выгравированной на нем соломоновой печатью: он был сделан в XIV веке, а потом, утерянный, очутился на дне реки. Вплоть до 1915 года в Ист-энде бытовал обычай

отрезать прядь волос у больного ребенка. Эту прядь клали в сандвич и отдавали его первой встречной собаке; тогда хворь покидала ребенка и поселялась в организме невезучего животного. В том же Ист-энде многие женщины и девочки носили на шее синие бусы «как талисман, предохраняющий от бронхита»; такие бусы по цене в полпенни за штуку сотнями продавались в мелких лавчонках, «где торговали обыкновенно женщины преклонного возраста». Как правило, умерших хоронили прямо в этих бусах. В начале XX века молодые жительницы Лондона часто посещали травников с целью приобрести у них корень дубровки или «драконью кровь» — камедь с Суматры — в качестве приворотного зелья.

В любопытной книге Эдварда Ловетта «Магия в современном Лондоне», опубликованной в 1925 году, сообщается, что акульи зубы, найденные в лондонской глине, считались хорошим средством от колик. В Камберуэлле было принято заворачивать подковы в красные тряпки, чтобы избавиться от кошмаров, а Майл-энд был известен как место, где можно «заговорить» болезнь ребенка. Когда у ист-эндского рыночного торговца не ладились дела, он восклицал: «Ах! Наверное, я забыл поклониться молодой луне!»

Логично, что у жителей города, почти поголовно занятых коммерцией, вошло в привычку просить у судьбы денег при виде падающей звезды. Камешки необычной формы лондонцы держали на своих каминных полках как талисманы, и с той же целью они вешали в церквах средневекового города серебряные подобия человеческих конечностей. Одна женщина из Уайтчепела рассказала исследователю, что при переезде полагается заставить кошку обежать одну из комнат, чтобы она «привыкла» к новому месту. Есть также интересные сообщения о «кошачьих захоронениях» в стенах некоторых домов. Плодные оболочки продавались по восемнадцать пенсов за штуку — считалось, что они не позволяют их обладателю утонуть, — но в годы Первой мировой войны, когда опасность внезапной гибели возросла, их цена подскочила до двух фунтов. На лондонских рынках до недавнего времени можно было приобрести неолитические каменные топоры и кремневые наконечники для стрел, служившие громоотводом.

Лондон смахивает на острог, и потому совсем неудивительно, что ключи здесь всегда почитались священным предметом. Они ассоциировались с магией и демонами; согласно Питеру

Лайнбо, автору книги «Лондонские висельники», искусство взламывания замков называли «черным ремеслом», а самый ходовой инструмент взломщиков — «талисманом» (charm). Ключи применялись для проверки подозреваемых: на стержень ключа помещали имя человека, и его вина считалась доказанной, если ключ сдвигался или «вздрагивал». На дверях проституток часто красовался «большой нарисованный ключ», и многие ночные охотницы носили на шее ключик как символ своей профессии.

В одном отчете XVIII века, где идет речь о штурме Ньюгейтской тюрьмы, есть характерный эпизод. Вернувшись к себе домой, один из мятежников заявляет: «Я добыл ключи от Ньюгейта». Позже, во время процесса, судья задает вопрос об этих ключах его соседу по квартире: «Значит, вы не стали трогать их, поскольку боялись порчи?» — «Да я бы и близко к ним не подошел».

Пациентам Бедлама, отказывавшимся принимать лекарства, разжимали челюсти специальным металлическим ключом.

Во время чумы на главных улицах города видели призраков; впрочем, привидения беспокоили лондонцев испокон веку. Прекрасный кирпичный дом на южной стороне церковного двора

в Кларкенуэлле редко удавалось сдать из-за его плохой репутации. Дом номер семь по Паркер-стрит, близ Друри-лейн, тоже пользовался дурной славой и в конце концов был снесен. В одной из комнат дома номер 23 на той же улице кто-то умер, и с тех пор там иногда раздавался «пугающий шум». Дом с привидениями, «пустовавший долгое время», был на Беркли-сквер, а еще один — на Куинс-гейте.

Ж. П. Гроле, посетивший город в XVIII столетии, отмечает, что «на практике лондонцы сильно боятся привидений, хотя в теории они их высмеивают». Другой путешественник того же периода бывал в лондонских театрах и заметил, что призраки в шекспировских трагедиях вызывают у зрителей «изумление, испуг и даже ужас… достигающие такой степени, словно все это происходит в действительности». Часто писали, что в силу особенностей своего города лондонцы с трудом отличают сценический вымысел от реальности, но более важно то, что подобные сообщения свидетельствуют об их поразительном легковерии. В середине XVI века была схвачена девушка, которая намеренно говорила «потусторонним» голосом в доме близ Олдерсгейта, что «весьма угнетало жителей всего города». Можно предста-

вить себе молву, рассказы, передававшиеся из уст в уста, и посеянный ими страх.

Лондонский писатель Алеф передает другую историю. В начале 1762 года жители города были твердо убеждены, что в одном доме на Кок-лейн, в ту пору «шумной, узкой и полутемной улочки», обитает дух, умеющий издавать скрипы и стуки, — он получил прозвище «Непоседа Фанни». Этот дух вселился в жившую там девушку, которая «постоянно производила загадочные звуки, хотя руки и ноги ее были связаны и закутаны». Тысячи лондонцев стекались на Кок-лейн, и тем, кто был не самого низкого звания, дозволялось посещать спальню девушки по пятьдесят человек зараз, «так что она едва не задыхалась от смрада». Для проверки поступивших жалоб была создана комиссия из уважаемых лондонцев — в их число входил и суеверный Сэмюэл Джонсон, — объявившая в своем отчете, что девушка «обладает удивительным умением изображать шумы». Ее отца приковали к позорному столбу в конце Кок-лейн, однако «люди выражали ему сочувствие». Тем дело и кончилось — так Лондон пережил еще одно странное приключение. Иногда кажется, будто он и сам превратился в призрачный город, столь полный образами прошлого, что они не

дают покоя его нынешним обитателям.

«Излингтонский призрак» посещал участок земли рядом с церковью Троицы на Клаудслисквер, вызывая «чудесное сотрясение во многих местах, так что земля вспухала и подымалась со всех сторон»; Майкл Фарадей якобы и теперь заглядывает на телефонную станцию на Брайдстрит — прежде она была молитвенным домом, где встречались его собратья по вере, гласситы. В разных уголках Лондона видели лорда Холланда и Дэна Лино, Дика Терпина и Анни Чапмен. Старинные больницы и городские церкви оказались весьма подходящей территорией для прогулок потусторонних существ; на отрезке Суэйнс-лейн в Хайгейте близ кладбища их также замечали многократно. Свой призрак есть в Отделе Востока Британского музея, а в один из домов на Дин-стрит залетает призрачный дрозд, которого наблюдали представители многих поколений. Дочь графа Холланда, прогуливаясь по Кенсингтон-гарденс, встретила «призрака, имеющего ее собственное обличье и манеры, словно бы ее отражение в зеркале»; месяц спустя она умерла. Приходский священник увидел на своей кафедре в церкви Сент-Бартоломью в Смитфилде призрачного проповедника «в черной кальвинистской сутане…

он обращался к невидимой пастве с величайшим пылом, неистово жестикулируя, наклоняясь над кафедрой то вправо, то влево и стуча рукой по подушечкам, лежавшим перед ним, и во все это время уста его двигались, словно речь лилась из них потоком».

Лондонский Тауэр, конечно, оказался естественным приютом для многих духов. Здесь можно было встретить знакомых персонажей — среди них Уолтера Рэли и Анну Болейн. Последнюю опознали в «белой фигуре» сразу три человека, и солдат, стоявший на часах у квартиры лейтенанта, «упал замертво, потеряв сознание». Его отдали под трибунал, но впоследствии оправдали. Призрак медведя «просочился из-под двери» сокровищницы британской короны, и увидевший его караульный умер через два дня. Здесь стоит вспомнить, что некогда в Тауэре действительно размещался зверинец. Один из самых необычных призраков явился хранителю сокровищницы и его жене: они сидели за столом в главной комнате этой пресловутой сокровищницы, и вдруг в воздухе возникла «стеклянная трубка толщиной с мою руку». В ней была «какая-то густая жидкость, белая и светло-лазурная… она постоянно перекатывалась и смешивалась внутри цилиндра».

Предмет приблизился к жене хранителя, которая воскликнула: «Боже! Оно меня схватило!» — а затем пересек комнату и растаял.

Есть и другие места, внушающие лондонцам страх. Говорят, что во время отлива близ Грейвсенда до сих пор раздаются крики евреев, утопленных в 1290 году, когда они подверглись массовому истреблению. «Поле сорока шагов», теперь находящееся около Гордон-сквер, считалось «зачарованным» или «проклятым» — как кому нравится. Когда-то здесь собирали подорожник, листья которого помогали увидеть вещий сон, но более важно то, что на этом самом месте двое братьев убили друг друга на дуэли. Следы их роковых шагов якобы не стерлись до конца, а там, где произошло это двойное убийство, не росла трава. Саути действительно удалось рассмотреть очертания семидесяти шести отпечатков «размером с крупную человеческую ногу и примерно трех дюймов в глубину», а летом 1800 года, как раз перед застройкой поля, Моузер «насчитал их более сорока».

В 1830-х Вашингтон Ирвинг изучал нравы обитателей «Малой Британии» — района, расположенного за Смитфилдом, близ Олдерс-гейта. «У них вызывают тревогу кометы и затмения, —

писал он под псевдонимом „Джеффри Крейон, джентльмен“, — а если ночью уныло завоет собака, это почитается верной приметой смерти». Он также перечислил «игры и обычаи» населения. Мы можем включить сюда древний ритуал «обивания границ» прихода, изначальная цель которого состоит в том, чтобы ударами прогнать дьявола; когда-то приютских детей хлестали на каждой границе веточками белой ивы, но ближе к нашему времени стали просто стучать палками по стенам. Всего в городе ежегодно происходит около пятидесяти шести различных церемоний, от «Клятвы на рогах» в Хайгейте до «Вынесения вердикта после пробы монет» в Голдсмитс-холле, но самыми долгоживущими (хотя, пожалуй, и не самыми привлекательными) являются ритуалы Майского праздника.

Во время церемоний, о которых мы имеем первые письменные упоминания, лондонские «веселые молочницы» шествовали, держа на головах вместо своих обычных бадеек «пирамиды из серебряных блюд»; это звучит странно, однако указанный обычай имеет весьма древние, «варварские» корни. Молочницы вряд ли были так уж веселы — из всех городских занятий их профессия была самой тяжелой и малооплачиваемой, — и

в этих серебряных блюдах, взятых под залог в ломбарде, можно увидеть символ их финансового закрепощения в течение всего остального года. Первое мая было также днем половой свободы, и этот знаменательный факт нашел отражение в позднейших шествиях, когда к молочницам присоединились молодые трубочисты. Гроле сообщает, что их черные лица «выбелены мукой, головы покрыты париками, напудренными и белыми как снег, а одежда украшена бумажными кружевами; и все же, несмотря на сей шутовской наряд, они серьезны, как гробовщики на похоронах». Подобно шахтерам, трубочисты всегда ассоциировались с темными силами и половой распущенностью; отсюда и их появление в Майский день. Но кроме того, жизнь обходилась с юными трубочистами суровее, чем со всеми прочими лондонскими детьми (неудивительно, что они были так серьезны!). Многие получали на своей работе ожоги и увечья, а то и погибали: ведь им приходилось карабкаться вверх по дымоходам, счищая по дороге сажу и копоть. И в награду за этот тяжелый труд и мучения им доставался лишь один день беззаботных игрищ в году.

Есть очень интересная картина, написанная около 1730 года, — она называется «Продавщица

сыворотки и творога на Чипсайде». На ней изображена слепая девушка, сидящая у источника, где горожане набирали воду, и протягивающая руку трем мальчикам-трубочистам. Этот уличный источник был обычным местом их сборищ, и на картине они выглядят буквально как живые. У двоих лица такие черные, что видны лишь глаза и рты. Все они очень маленькие, и у одного, похоже, покалечена спина. Они кажутся гротескными порождениями города, и в их фигурах чувствуется подспудная угроза, направленная против слепой и очень бледной уличной торговки. Поэтому можно предположить, что во время майского шествия трубочистов подобная угроза как бы символически уничтожалась смехом. Впрочем, как и все лондонские обряды, эта церемония со временем стала более причудливой, и в XVIII веке в ней появилось новое действующее лицо — «Зеленый человек», покрытый ветками и листьями. Его называли еще Зеленым Джеком или просто Зеленым, — в компании молочниц и трубочистов он разгуливал по разным приходам как живописный провозвестник весны. Постепенно майские шествия стали разыгрываться только бродячими артистами, а затем и вовсе исчезли.

Однако лондонцы не окончательно расста-

лись с суевериями. Город по-прежнему остается загадочным: в нем царят мистический хаос и сумятица, и внести в них порядок, обуздать их помогают горожанам приметы. Сэмюэл Джонсон, этот великий приемный сын Лондона, проходя по Флит-стрит, непременно дотрагивался до каждого столба на ее обочине. На многих лондонских улицах нет домов под тринадцатым номером — в число таких улиц входят Флит-стрит, Парк-лейн, Оксфорд-стрит, Прейд-стрит, Сент-Джеймс-стрит, Хеймаркет и Гроувенор-стрит.

Но и само направление улицы имеет, на взгляд некоторых, магическую подоплеку. Предпринималось множество попыток выявить структуру города с помощью «связующих линий», или «связок» (leys), соединяющих места, расположенные на одной прямой. Одна такая линия соединяет Хайгейт-хилл на севере с Поллард-хиллом в Норбери, на юге, — вдоль нее выстроилось огромное количество церквей и молитвенных домов. Были попытки соединить церкви, построенные Николасом Хоксмуром, или уловить закономерность в расположении церкви Сент-Панкрас, Британского музея и Гринвичской обсерватории на фоне общего топографического рисунка. В каком-то смысле это возрождение магии земли, которую

практиковали кельтские племена, обитавшие в здешних краях, однако тут сказываются и могучие чары самого места.

Именно эти чары воспевал Уильям Блейк, описывая, как идет по городу мифический Лос: «Покуда не достиг он Стратфорда, а после — Степни, / Острова Псов Льюты и переулков на брегу реки, — / Так шел он, примечая любую мелочь на пути». Такие «мелочи», касающиеся, в частности, скорбных дней Великой чумы, и помогают возродить жизнь и историю города.

Глава 21
Красный город

Цвет Лондона — красный. Кебы в начале XIX века были красными. Почтовые ящики — красные. До недавних пор красными были телефонные будки. Автобусы остаются красными и сейчас. Такого же цвета (по большей части) были одно время и поезда подземки. Черепица римского Лондона была красной. Первая Лондонская стена была сложена из красного песчаника. Даже про Лондонский мост говорили, что он имеет красный оттенок: якобы, согласно древнему ритуалу строительства, он был «спрыснут кровью маленьких детей». Красный — это также и цвет насилия.

Крупнейшие лондонские капиталисты, члены гильдии торговцев шелком и бархатом, носили красные костюмы. В «Лондонских хрониках» за 1399 год фигурируют «мэр, архивариус и олдермены Лондона в их парадном наряде алого цвета», а в оде, воспевающей торжественное вступление в город Генриха VI в 1432 году, упоминается «благородный мэр, весь в красном бархате». Обитатели

больницы в Челси до сих пор носят красную одежду.

На картах Лондона красным цветом отмечались места, где шли работы по реконструкции улиц, и фешенебельные районы, где селились богатые люди. На языке кокни «красным» называлось золото. Лондонские портовые рабочие, поддержавшие недовольных, которые хлынули на городские улицы весной 1768 года, подняли красный флаг в знак своей решимости идти до конца.

Романисты тоже считали красный цвет отражающим природу города. В своем «Наполеоне Ноттингхилльском» (1904) Честертон рисует Лондон будущего, и его главный герой спрашивает: «Да есть ли в ком-нибудь из вас хоть немного красного?» — после чего пронзает себе ножом левую ладонь: «кровь хлынула так сильно, что ударилась о камни сплошной струей, не распавшись на капли». Это стало прелюдией к успеху «красных ноттингхилльцев» в романе.

Красные кресты рисовали на дверях домов, пораженных чумой, подтверждая таким образом символическую связь этого цвета с той лондонской болезнью, которая прежде считалась «вечно тлеющей», как угли под слоем золы. Лондонские

пожарные носили красную форму, или «алые мундиры». Их командир, погибший во время Великого пожара 1861 года, совершил символический поступок, «остановившись лишь на секунду, дабы развязать свой красный шейный платок». Этот цвет есть повсюду, даже в городской почве: светло-красные прослойки окиси железа в лондонской глине хранят память о пожарах, бушевавших почти две тысячи лет тому назад. Но одного пожара лондонцы не забудут никогда — этот пожар охватил весь город и был виден даже из окна оксфордской библиотеки Джона Локка, заметившего, что «солнечные лучи приобрели странный мутно-красный оттенок».

«Великий Лондонский пожар» 1666 года считается самым крупным из всех пожаров, но на самом деле он был лишь одним из целого ряда подобных бедствий. Например, пожары 60 и 125 годов н. э. разрушили большую часть города, создав то, что археологи называют «пластом послепожарных разрушений». Город и сам представляет собой такой пласт. Лондон горел в 764, 798, 852, 893, 961, 982, 1077, 1087, 1093, 1132, 1136, 1203, 1212, 1220 и 1227 годах. Р. С. Фиттер, автор «Естественной истории Лондона», написанной после Второй мировой войны, замечает: «Почти

никому не приходит в голову, что из-за постоянных пожаров средневековый Лондон часто выглядел еще более опустошенным, чем Лондон после бомбежек 1945 года.» Создатель книги, посвященной этим военным разрушениям, Джеймс Поуп-Хеннесси, говорит, что развалины церквей «привычны» взору лондонского жителя. «Городской пожар в декабре 1940 года, — пишет он, — напомнил мне знаменитое описание пожара 1666 года, сделанное Пипсом. Оранжевое зарево, дрожащее в ночном небе, показалось мне очень похожим на его „огненную дугу“».

Лондон словно притягивает к себе огонь и разрушение со времен атак Боудикки до нынешних выступлений ИРА. В литературе, посвященной этому предмету, упоминается об особенно «горячих» районах. Артур Хардвик в книге «Знаменитые лондонские пожары» сообщает, что Уотлинг-стрит — «одна из тех улиц в центре города, что всегда были самыми „жаркими“». Олдерсгейт и Силвер-стрит имеют репутацию «зоны риска»; пожары часто бушевали на Чипсайде и Бред-стрит. Вуд-стрит — возможно, из-за своего названия[43] — также заслужила «дурную славу

[43] Примечания: 43
Wood — дерево *(англ.).*

вечного пекла». Загадочные пожары неоднократно вспыхивали на Патерностер-сквер. Район Сент-Мэри-Экс был объят пламенем в 1811, 1883 и 1940 годах, а затем снова — в 1993-м. Характерно и то, что в Лондоне, этом городе зрелищ, постоянно горят театры: за 130 лет, с 1789-го по 1919-й, в огне погибло тридцать семь театральных зданий, и лондонская публика, таким образом, вряд ли может пожаловаться на недостаток драматических сцен. В описаниях городских пожаров нередко сквозит некая театральность. Во время пожара на Патерностер-сквер в 1883 году «пламя прорывалось сквозь крышу и заливало город ярким светом»; два года спустя над пылающим Чартерхаусом висело зарево, «освещавшее все вокруг, точно солнце».

В разное время пожары губили Лондонский мост и Королевскую биржу, Гилдхолл и здание парламента. За девять лет, с 1833-го по 1841-й, в городе произошло 5000 пожаров, что соответствует «в среднем 556 случаям в год, или трем пожарам за каждые два дня». В 1833 году в городе было 750 пожаров; в 1993 году на территории «Большого Лондона» возникло 46000 пожаров. В 1883-м было примерно 180 возгораний в печных трубах, в 1993-м — 215. Чаще, чем в остальные ме-

сяцы, пожары случаются в декабре и реже всего в апреле; самым плохим днем недели в этом смысле является пятница, а самым благополучным — суббота. Самое опасное время суток — десять часов вечера, самое спокойное — семь утра. Некоторые пожары случаются вследствие поджогов, но главной причиной их возникновения остается неосторожность: свирепый пожар 1748 года, разрушивший более сотни домов на улицах и в переулках близ Эксчейндж-элли и погубивший дюжину человек, начался из-за того, что «служанка забыла в сарае зажженную свечу, уйдя слушать музыкантов, которые играли в трактире „Лебедь“». У печатника со Сколдинг-элли мигом появились в продаже гравюры с изображением обгорелых руин.

Но иногда пожары помогают обнаружить незамеченные следы городской истории. Раскопки на месте Винчестерского дворца на южном берегу Темзы начались после пожара в Мастард-миллс. В 1794 году после пожара в Ладгейте, на Сент-Мартинс-корт, были найдены остатки барбикана, или дозорной башни, относящиеся к XIII веку. Таким образом, пламя не только разрушает город, но и помогает воссоздавать его прошлое. Пожалуй, не случайно то, что увиденный во сне пожар

сулит, по лондонским поверьям, «здоровье и богатство» ил и «брак с милым сердцу человеком». Один из корреспондентов газеты «Тан» в XIX веке заметил, что лондонцы, в отличие от парижан, «невероятно быстро» реагируют на крик «Пожар! Пожар!». Это поистине боевой клич города. В I веке н. э. Лондон еженощно патрулировали специальные дозорные (vigiles), или «люди с ведрами»; уже в ту пору пожары обладали некой загадочной притягательностью, ибо отличительными чертами этих дозорных были «бодрость и бесшабашность». В последующие столетия эта налаженная система разрушилась, но можно с большой степенью вероятности предположить, что в эпоху раннего Средневековья поиск очагов пожара и тушение огня входили в обязанности районных караульных отрядов. Другой мерой предосторожности был обычный вечерний звон, или *couvre-feu*[44]; когда по Лондону XI века разносился звон вечернего колокола, все жители обязаны были потушить огонь в печи и разгрести угли. Если пожар все же вспыхивал, на колокольнях били тревогу, звоня в колокола «наоборот», то есть начиная с басов, — и казалось, будто в

[44] Примечания: 44

Couvre-feu — «туши огонь»; от этого французского слова происходит английское *cuifew* — вечерний звон, комендантский час.

реве пламени оживает сам дьявол. Около больших домов стояли бочки с водой, а к XII столетию появились подробные правила насчет тушения огня и стаскивания с крыш горящей соломы.

В XV веке вышло распоряжение, гласившее, что каждый новый шериф или олдермен в течение месяца после своего вступления в должность обязан «обеспечить выделку 12 новых кожаных бурдюков для тушения огня». На смену скромному бурдюку, или ведру, пришло нечто вроде «шприца, или поливателя»; который, в свою очередь, уступил место примитивному насосу: им орудовали пожарные с привычным для уха лондонцев криком: «Раз, два — взяли!» — и он удостоился звания «первого пожарного механизма на улицах Лондона». Это случилось в начале XVII века, когда мы встречаем упоминание о «механизме, или орудии», которое «при помощи десяти работников может перекачать воды более, нежели способны принести в ведрах и ковшах пятьсот человеку». Эту машину воспел Драйден в своей поэме «Annus Mirabilis» («Чудесный год»): он описал языки пламени и «улицы со множеством народу, как среди бела дня». Здесь снова возникает уподобление пожара солнцу, заливающему город своими лучами. Одна из первых компаний,

занимавшихся страхованием от огня, называлась «Солнце», и ее фирменный знак до сих пор можно видеть на многих домах. Таким образом, благодаря любопытному метафорическому скачку пожар превратился в источник силы и энергии, стал восприниматься как мощные спорадические вспышки, своего рода «разрядка» перегретого города. Одна из лучших карт Лондона, «План Хорвуда», была изготовлена для компании «Феникс» на Ломбард-стрит, специализировавшейся на страховании от огня и возникшей вскоре после пожара 1666 года, — это еще одно свидетельство важности той роли, которую играли в столице люди, борющиеся с пожарами. Забавно, что первый руководитель компании «Феникс» носил фамилию Стоунстрит («каменная улица»).

С течением времени крики пожарных сменил бой ручных колоколов; затем эти колокола стали механическими и электрическими. Потом появилась сирена, а ее в свою очередь заменило устройство, способное подавать сигналы двух типов — «вой» и «визг». Сами пожарные облеклись в яркие мундиры. Например, в одной компании форма пожарных состояла из «синих курток с золотыми манжетами и золотым позументом», а также «черных панталон, белых чулок и золо-

тых подвязок»; в дни торжеств к этому наряду добавлялись еще серебряные жезлы и значки. Пожарные были преисполнены сознания своего долга — по удачному выражению Хилэйра Беллока, у них были «пламенные сердца». Они пользовались таким уважением, что кабинеты начальников пожарных служб порой «напоминали чертоги роскошных дворцов».

В романе Эдит Несбит мимо конторы «Феникса» проходят двое детей. «Огонь? — спрашивает один. — Алтарный, что ли?» Да — на великом жертвенном алтаре Лондона.

Пожар стал одним из главных спутников города. Его даже нарекли «Огненным королем». В течение XVIII и XIX столетий пожары росли «по частоте и по охвату», и — возможно, как следствие этого — увеличивались также толпы зрителей. Пожар на Тули-стрит удалось потушить лишь через месяц с небольшим; Палата общин была погублена огнем, благодаря чему на свет появилось несколько очень выразительных полотен. Пожар в Вестминстере, согласно авторам альбома «Лондон в произведениях живописи», удостоился «наибольшего количества изображений среди всех лондонских видов XIX века… ибо к месту события устремились бесчисленные граверы,

акварелисты и живописцы», среди которых были Констебл и Тернер. Эти художники чувствовали, что в бушующем пламени каким-то образом присутствует дух самого города. В 1936 году при большом стечении народа был уничтожен огнем Хрустальный дворец; множество зрителей привлекали также возгорания в портах и на складах — там, где, по выражению одного исследователя, «бродил призрак викторианских пожаров».

Это зрелище не потеряло своей привлекательности для лондонцев вплоть до бомбежек 1940 года. После ночного налета 29 декабря — в ту пору вода в Темзе стояла ниже всего — в городе одновременно заполыхало 1500 пожаров. Тогда-то обитатели Лондона воистину стали очевидцами нового «Великого пожара».

Днем начала Великого пожара, одного из самых значительных событий в городской истории, можно считать 1 сентября 1666 года, когда Пипс и его жена были «до чрезвычайности напуганы, увидя юного Киллигрю, вернувшегося [в место публичного отдыха] с пребольшой компанией прочих молодых акул». Эти «молодые акулы» были представителями беспутной городской молодежи. Сэмюэл и Элизабет Пипс вернулись в свой дом на Ситинг-лейн, а наутро, в три ча-

са, служанка разбудила их с вестью о пожаре в городе. Пипс посмотрел на пламя в дальнем конце соседней улицы и отправился досыпать. Пожар начался часом раньше в доме королевского пекаря Фарринера на Пудинг-лейн. Позднее, на следствии, Фарринер заявил, что перед тем, как лечь в постель, он «проверил все комнаты и нашел огонь лишь в одной печи, в комнате с кирпичным полом, каковой огонь аккуратно разгреб кочергой, так что остались только тлеющие угольки». Причина Великого пожара так и не была установлена. Он возник как бы сам собой.

Месяц август в то лето выдался необычайно жарким: «стояла небывалая засуха», так что дерево и кровельная солома домов, скучившихся на узких улочках, были уже «сильно опалены солнцем». Иными словами, семена пожара упали на благодатную почву, и вдобавок ему помог сильный юго-восточный ветер; пламя стало распространяться от Пудинг-лейн в сторону Фиш-стрит и Лондонского моста, а затем двинулось по Темз-стрит и достигло Олд-Суон-лейн, Сент-Лоренс-лейн и Даугейта. Все, кто мог, отчалили от берега на лодках, яликах и лихтерах, погрузив на них домашний скарб. Пипс также выбрался на воду, где, повернувшись лицом к ветру, он «едва не

сгорел под градом огненных капель». Он обратил внимание на то, что чуть ли не в каждой лодке было по верджинелу (разновидность клавесина). Еще он заметил, что «несчастные голуби никак не желали покидать свои дома и порхали над окнами и балконами, покуда не обжигали себе крылья и не падали».

Тем временем пожар совсем вышел из-под контроля и неуклонно двигался на север и запад; Пипс вскоре покинул опасную реку и нашел убежище в трактире на другом берегу, откуда «видел, как пожар растет… по углам и над колокольнями, меж церквами и домами, и взбирается вверх к центру города, доколе хватал глаз, разливаясь ужасающим багровым пламенем, отнюдь не похожим на пламя обычного костра». Именно тогда он наблюдал «огненную арку, или дугу», размахом примерно с милю (о подобном явлении говорит Поуп-Хеннесси в своем рассказе о бомбежках 1940 года).

В ту ночь пожар распространился от Чипсайда вниз к Темзе, по Корнхиллу, Тауэр-стрит, Фенчерч-стрит, Грейсчерч-стрит и до Бейнардс-касл. Он так далеко продвинулся по Чипсайду, что достиг собора Св. Павла, который по несчастливому стечению обстоятельств был окружен деревян-

ными лесами. Джон Эвелин, не покинувший городских улиц даже в этот поздний час, пишет, что «гул, треск и рев свирепого пламени, крики женщин и детей, всеобщая суматоха, падающие башни, дома и церкви — все это напоминало какую-то ужасную бурю, и в воздухе был такой невыносимый жар, что скоро там вовсе нельзя стало находиться».

Бедствие захватило жителей врасплох: они не делали попыток бороться с огнем и просто бежали. Оставшиеся — самые «низкие» люди — крали все, что могли, из горящих зданий. Те, кто не добрался до воды, спасались от удушливого дыма и ливня «огненных капель» в окрестных полях Излингтона, Финсбери и Хайгейта — там они стояли, смотрели на зарево и плакали.

На следующий день, в понедельник, пожар прокатился по Ладгейту на Флит-стрит и спалил Олд-Бейли; Ньюгейт и Биллингсгейт также были уничтожены, а расплавленный свинец с крыши собора Св. Павла тек по улицам, «раскаленный докрасна, так что ни человек, ни лошадь не могли на него ступить». К этому времени дымовое облако разрослось до пятидесяти миль, и люди, покидающие город, часами шли под его сенью.

Этой ночью соединились несколько пожаров.

Один пришел по Корнхиллу, другой — по Тредниидл-стрит; объединившись, они встретились еще с двумя пожарами, пришедшими с Уолбрука и из Баклерсбери. Джон Эвелин сообщает, что «все четыре слились в одно громадное пламя на углу Чипсайда с таким ослепляющим светом и невыносимым жаром и грохотом от падения стольких домов разом, что сие зрелище потрясало душу». Было так, словно некий дух огня поднял голову в самом центре города.

Ко вторнику ветер спал, и пожар остановился в конце Феттер-лейн в Холборне. В судебных отчетах о тяжбе с участием трактира «Митра» на другом конце этой улицы спорная граница определяется «деревом, у которого прекратился пожар Лондона». Огонь еще бушевал на севере, в районе Криппплгейта, и на востоке у Тауэра, но властям под руководством Карла II, который всегда проявлял большой интерес к вопросам пожаротушения, удалось усмирить стихию: дома на пути огня были взорваны с помощью пороховых зарядов.

В четверг Джон Эвелин снова прошел по улицам своего города, теперь обратившимся в руины, «по бывшей Флит-стрит, Ладгейт-хиллу, мимо Св. Павла, по Чипсайду, мимо Биржи, по

Бишопсгейту и Олдерсгейту» — все сгорело. Он говорит, что «карабкался по грудам еще дымящихся обломков и часто ловил себя на том, что не понимаю, где я нахожусь». То же самое довелось пережить лондонцам после бомбежек 1940 года: их город внезапно стал чужим и неузнаваемым. Он превратился в незнакомое место, словно они вдруг очнулись от долгого сна и обнаружили, что перенеслись в совсем другой мир. «Да и никто не мог понять, где он находится, — пишет Эвелин, — разве только по развалинам какой-нибудь церкви или ратуши, от которых остались заметная башня или шпиль». Земля под его ногами была так горяча, что он едва мог идти; железные ворота и решетки тюрем расплавились; камни, из которых были сложены дома, прокалились и стали ярко-белыми; вода, оставшаяся в фонтанах, еще кипела, а «подземные темницы, скважины и погреба» изрыгали «черные клубы дыма». От города уцелела лишь шестая часть; площадь, подвергшаяся опустошению, составляла полторы мили в длину и полмили в ширину. Пятнадцать из двадцати шести городских уордов были разрушены полностью, а всего пожар стер с лица земли 460 улиц, на которых находилось в общей сложности 13 200 домов. Сгорело восемьдесят

девять церквей; из семи городских ворот четверо обратились в пепел. По официальным сведениям, погибли всего шесть человек — одним из них был часовых дел мастер с Шу-лейн, чьи «кости вместе с ключами» были найдены при раскопках.

Пожалуй, самая запоминающаяся картина этого колоссального пожара была воссоздана священником Т. Винсентом в книге «Страшная кара Божия: чума и огонь». Он также видел «ужасную дугу» света над городом. Он наблюдал за тем, как горел Гилдхолл, который «стоял целиком на виду несколько часов кряду после того, как огонь достиг его, без языков пламени» — возможно, потому, что был сложен из чрезвычайно массивных дубовых бревен, — «но весь из одних сверкающих углей, словно золотой дворец или огромное строение из полированной меди».

После Великого пожара в городе появилось растение с желтыми цветками, названное «лондонской фиалкой»: в 1667 и 1668 годах эти фиалки «росли в необычайном изобилии на руинах близ собора Св. Павла». В 1945-м их видели снова «сразу за чертой города». Это поистине цветок огня. «Монумент» — колонна, воздвигнутая на том месте, где начался Великий пожар, — имеет форму ракеты, то есть «огненного корабля»; на его вер-

шине первоначально хотели поместить статую короля или птицы феникс, но затем решили украсить ее венцом из языков пламени, получившим название «Блейз» («пламя, яркий огонь»). Дэниел Дефо сравнил этот памятник с огромной свечой, которая горит «красивым золотым пламенем».

События пяти дней пожара нашли отражение во многих произведениях — ими вдохновлен, в частности, ряд больших поэм в антологии, озаглавленной «Лондон в языках огня, Лондон в ореоле славы». Горящая столица уподобляется по очереди Риму, Карфагену, Содому и Трое; по объятым огнем улицам шествуют античные боги вместе с Вергилием и Иезавелью, а вид пылающего Лондона вызывает в памяти авторов образы мертвых или умирающих цивилизаций далекого прошлого. Живописные изображения Великого пожара грешат той же высокопарностью, хотя первые наброски к некоторым из них явно делались с натуры. Есть и более реалистические работы — например, «Истинное и верное изображение преславного города Лондона», каким он был до осени 1666 года, принадлежащее кисти Холлара, и его же «Нынешний облик Лондона после ужасного бедствия и поражения огнем»; художник показывает, как выглядел город с южного

берега реки, и развалины домов видны вплоть до самого Чипсайда. Однако из альбома «Лондон в произведениях живописи» мы узнаем, что авторы большинства полотен черпали вдохновение в образах «библейских или мифических городов, гибнущих в пламени». На двух широко известных «подражаниях Яну Гроффье-старшему» охваченные огнем башни и опускная решетка Ладгейта выглядят как врата самого ада; впрочем, тот факт, что изображения удостоился именно Ладгейт, можно объяснить и иначе, поскольку в середине XVII века прилегающий к нему район считался «кварталом художников». На этих картинах запечатлено множество сценок и эпизодов: вот женщина с протянутыми руками и перекошенным от страха лицом убегает от всепожирающего огня, вот человек со стопкой серебряных блюд на голове, вот запряженные лошадьми повозки, протискивающиеся сквозь толпу к открытым полям. Но больше всего запоминается изображенный на фоне языков пламени мужчина с ребенком на плечах: этот образ, в котором нашли свое подлинное воплощение тайны и страдания Лондона, позднее использовали в своих работах Блейк, Доре и прочие знаменитые мастера.

Из всего этого можно заключить, что Великий

пожар послужил источником вдохновения отнюдь не только современным художникам. В течение более чем двух сотен лет он оставался самым впечатляющим событием XVII века. В конце XVIII века к уже имеющимся изображениям пожара добавилась версия крупнейшего лондонского театрального декоратора Филиппа Жака де Лутербурга, а в следующем столетии Великий пожар ежевечерне воссоздавался в «Суррей-гарденс».

Но сплав города и огня — не просто материал для театральных зрелищ. Паницци в середине XIX века Лондон представлялся городом, который в каком-то смысле уже сожжен. Вирджиния Вулф в своей книге «Ночь и день» описывает его как «вечно горящий»; ей казалось, что «на эти фонари никогда не опустится тьма, как не опускалась она на них сотни лет. Ужасно, что город вечно пылает в одном и том же месте». В 1880 году некий француз сравнил английскую столицу с «храмом огнепоклонников»; его товарищ по путешествию, Артур Макен, пишет так: «Все огни Лондона смутно отражались в небе, точно вдали кто-то распахнул дверцу громадной топки». Мирбо называл Лондон «таинственным, пылающим горном», а Моне в конце XIX века мечтал изоб-

разить, как солнце «валится за дом парламента гигантским огненным шаром». На некоторых работах этого художника Лондон действительно как будто живет и дышит в атмосфере огня, и на всех зданиях и улицах словно лежит отсвет адского пламени.

В середине XIX века над ночной столицей постоянно «висело зарево, видное за многие мили»; печи для обжига кирпича, расположенные по периметру города, служили как бы огнями рампы, а огромные горы мусора внутри Лондона казались вулканами. Это был город, где «огонь неудержимо рвется наружу», а в XX столетии его стали именовать «горячим островом». Лондон не раз сравнивали с громадной печью, а в 1920-х годах В. С. Притчетт признавался, что чувствует себя так, словно его «как следует прокоптили» в недрах города. Когда огонь в конце концов вырывается из этих недр, Лондон встает перед нами грозный, почерневший и неумолимый, точно обугленный памятник вечности, отягощенный тем, что Ките называл «бременем Тайны».

После Великого пожара стало ясно, что стихию огня надо держать в узде. Моралисты называли разразившееся в ту пору двойное бедствие — чуму и пожар — Божьей карой, постигшей лондонцев

за грехи и разгульный образ жизни. Однако некоторые — в их числе были Кристофер Рен и Эдмунд Галлей — выражали сомнение в том, что причину случившегося следует видеть лишь в роковой предопределенности и недовольстве Создателя. В 1660 году в Лондоне было основано Королевское общество, и его члены не преминули взяться за поиски «научных» или «объективных» факторов, повлекших за собой эти колоссальные по масштабам несчастья. Во имя разума — то бишь всего, что «просто, ясно, понятно», — лондонцы должны были сделать из пережитого выводы, которые позволили бы предотвратить подобные катастрофы в будущем. Это кажется парадоксом, но Великий пожар дал могучий толчок развитию науки. Согласно цитате из сочинения той эпохи, приведенной в сборнике «Лондон в языках огня, Лондон в ореоле славы», уже на исходе сентября 1666 года «народ повсюду снова воспрял духом и устремился мыслями к тому, как возродить старый и построить новый город». Помимо всего прочего, люди поняли, что им представилась удобная возможность покончить с «мятежным духом, богомерзкими кощунствами и нелепым сумасбродством» былых времен. Под этим можно понимать и гражданскую войну, и казнь Карла

I, но ясно и другое: те предрассудки и суеверия, которые, по свидетельству Дефо, были столь широко распространены среди городских жителей в годы чумы, теперь перестали быть доминантой городской жизни. Городу предстояло сделаться новым во всех смыслах.

ПОСЛЕ ПОЖАРА

Глава 22
Один лондонский адрес

Великий пожар остановился на Феттер-лейн, которая на протяжении большей части своей истории была пограничной улицей. Она соединяет Флит-стрит с Холборном, и ныне вдоль этого древнего пути стоят административные здания с кондиционированием, продукт XX века, и несколько уцелевших домов XIX столетия. На отрезке Феттер-лейн, непосредственно примыкающем к Флит-стрит (у места их соединения смотрят друг на друга книжная лавка и магазин компьютерных аксессуаров), находится «Клиффордс-инн» — старейшая из юридических корпораций, известных под названием «Канцлерские инны», и некогда главное строение на этой улице. Отремонтированный и сданный под разного рода конторы, этот дом соседствует с современным рестораном «Кафе Руж», а напротив него недавно открылось питейное заведение «Хогсхед». Впрочем, юридический дух не совсем еще выветрился из этого района, так как неподалеку от «Клиффордс-инна» есть

дверь с табличкой «Суд по делам техники и строительства». На этом участке Феттер-лейн всегда оживленное движение — особенно часто мелькают такси, выныривающие на Флит-стрит.

По дороге отсюда к Холборну улица раздваивается, и на восток идет переулок под названием Нью-Феттер-лейн. Старая же Феттер-лейн по-прежнему стремится на север, хотя после развилки путь ее уже не столь гладок. Вся ее восточная сторона здесь уничтожена: в долготерпеливую лондонскую землю закладываются фундаменты более высоких и массивных домов. К западу от памятника Джону Уилксу, что рядом с «Роллс-билдингс», еще можно видеть здание бывшего Государственного архива, а ближе к Холборну находятся пабы «Гадкий утенок» и «Типографский ученик». Три дома, построенные в середине XIX века, стоят точно хранители памяти о былом, и их первые этажи теперь заняты кафе и закусочными.

А откуда Феттер-лейн получила свое имя? Хорошо знавший ее Джон Стоу полагает, что она «была названа так из-за фьютеров (fewters), или бездельников, кои бродили тут во множестве, ибо дорога вела к садам». Другие, однако же, считают, что название улицы происходит от норманд-

ского *defaytor* — «неплательщик, растратчик». Некоторые производят его от другого французского слова — *foutre*, означающего «мерзавец». Но есть и совсем иные варианты. «Феттер» может происходить от *feuriers* — так назывались валяльщики войлока, которые, как предполагается, населяли эту улицу в XV веке. Возможно, улица наречена именем землевладельца Витери, или Витера, который жил здесь столетием раньше. Многие знатоки древности выдвигали гипотезу, согласно которой название улицы произошло от слова *fetor* («дурной запах») — на первый взгляд это кажется маловероятным, так как в округе издавна зеленели сады, однако воздух могла отравлять своим присутствием вышеупомянутая публика, все эти *fewters, foutres* и *defaytors*. Еще одна догадка связывает название улицы с обращением «frater» («брат»), которое было в ходу у законников, часто посещавших эти места. Но самое простое объяснение связано с тем, что в мастерских, находившихся на этой улице, делали *fetters* — доспехи для тамплиеров, которые также собирались неподалеку. Впрочем, сомнения исследователей никогда не будут разрешены до конца, и этимологическая путаница в этом вопросе служит хорошей иллюстрацией

того, насколько трудно, а порой и невозможно определить происхождение многих лондонских названий. Город точно пытается сохранить в тайне свои истоки. Однако, как заметил Г. К. Честертон, «самая узкая улочка отражает своими извивами и поворотами душу построившего ее человека, пускай он давно уже в могиле. Каждый кирпич несет на себе нестираемый человеческий отпечаток, подобный словам, высеченным на камнях Вавилонской башни; каждая черепица на кровле дает уму столько же пищи, как если бы она была исписана математическими формулами». С не меньшим правом можно сказать, что каждая уличная мелочь, каждая дверь помогают нам проникнуть в тайны того древнего района, наследницей которого является нынешняя Феттер-лейн.

Под мостовой улицы была обнаружена римская урна с монетами — эта находка подтверждает вывод Джона Стоу о том, что где-то поблизости проходила старинная римская дорога. Был здесь и деревянный мостик, перекинутый через Флит-ривер, так что ранние обитатели Феттер-лейн и ее окрестностей, видимо, жили на берегу весело журчащей речки. При раскопках нашлась еще рукоять меча IX века, изделие искусной ра-

боты и из отличного материала; это позволяет предположить, что меч использовался скорее в ритуальных целях, нежели как боевое оружие. Тогда он может иметь какое-то отношение к хартии 959 года — посредством этого документа король Эдгар Уэссекский пожаловал близлежащие земли монахам Вестминстерского аббатства, одна из границ которого была отмечена линией, параллельной Феттер-лейн.

В течение всей своей истории Феттер-лейн много раз служила границей или указывалась в качестве рубежа; именно здесь остановился Великий пожар, и именно здесь кончается влияние города. В этом же месте встречаются два прихода — Сент-Эндрю со стороны Холборна и Сент-Данстан. Вдобавок мы обнаруживаем, что улица привлекала тех, кто «ходил по краю».

В начале XIV века зародились ее современные очертания. В 1306 году ее называют просто «новой улицей», но в записях 1329 года она уже фигурирует как «новая улица Фейтерс-лейн». Однако самые ранние хроники позволяют сделать вывод, что она быстро приобрела сомнительную репутацию. Есть сообщение о некой «Эммаде Браккеле, блуднице», жившей на Феттер-лейн. Содержатель дома, где селились «проститутки и

содомиты», также упоминается как «человек с Фейтерс-лейн». Однако здешнее население явно было смешанным в чисто средневековом духе, поскольку в хрониках говорится об «инне, или суде» на «Фьютер-лейн», а тот факт, что корпорация «Клиффордс-инн» была основана в 1345 году, позволяет предположить, что подобные учреждения существовали здесь еще до того, как Феттер-лейн начала фигурировать в архивных записях. Свою лепту в общую ситуацию должны были вносить и расположенные поблизости религиозные центры — в Сент-Данстане на юге, Сент-Эндрю и Или на севере. В 1349 году «гражданин Лондона» Джон Блэкуэлл с женой приобрел недвижимость «на Фейтурс-лейн», а Генрих VI получал ренту с находящихся здесь домов. Само по себе это не является признаком респектабельности улицы, но архивные записи ясно указывают на то, что в эпоху Средневековья она была хорошо известным и контролируемым «пригородом» Лондона. В начале XV века на углу Феттер-лейн и Холборна был знаменитый трактир «Лебедь в заливе» (Le Swan on Le Hope), где сдавались комнаты путникам. Поступали жалобы на его выступающую крышу и какие-то «препоны, воздвигнутые вне гостиницы и затрудняющие проезд», но он простоял

до середины XVIII века, сменив лишь название и превратившись в «Черного лебедя». Теперь в нескольких ярдах дальше по улице находится паб «Гадкий утенок» — жалкое напоминание о благородном предшественнике.

На карте середины XVI века Феттер-лейн ясно обозначена пятнадцатью домами по восточной стороне и двенадцатью по западной; возможно, это изображение и не вполне точно, однако оно явно контрастирует с изображением «Ливер-лейн» (Ледер-лейн), которая идет дальше на север в окружении садов и полей. В одном из домов в северном конце Феттер-лейн можно опознать «Барнардс-инн», а ближе к Флит-стрит уже стоит «Клиффордс-инн»; отмечена на карте и каменная арка, делящая улицу примерно пополам. Впрочем, в одном отношении карта определенно неточна, так как не отражает непрерывного возникновения новых зданий на самой улице и рядом с нею; в 1555 году на земле, некогда принадлежавшей монахам из Сент-Бартоломью, были выстроены «десять жилых домов с садами», а в 1580-м добавились еще тринадцать «незаконных новых домов». Нет на карте и узких двориков и переулочков, вроде Флер-де-Ли-элли и Крейн-корт, которые примыкали к главной улице и

существуют до сих пор.

Как и в других районах Лондона, здесь были свои пожары и казни. В обоих концах улицы не раз воздвигались виселицы. Есть записи о католиках-нонконформистах, повешенных и четвертованных в 1590 году на перекрестке с Флит-стрит; У. Д. Ньютон в своем «Католическом Лондоне», посвященном истории католицизма в столице, называет этот перекресток «одним из наших священных мест». Католик Джон Дауленд, сочинявший меланхолическую музыку и умерший в 1626 году, также жил на Феттер-лейн. В 1643 году у конца, ближайшего к Холборну, были повешены двое политических злоумышленников — они составляли в одном из домов на Феттер-лейн заговор против парламента, — и в течение двух последующих столетий на этом месте регулярно совершались казни. Однако люди умирали здесь не только в петле. В середине XVIII века на углу Феттер-лейн и Холборна был винный погреб; он находился там, где раньше стоял «Черный лебедь», прежний «Лебедь в заливе», так что любители выпить собирались на этом месте издавна. В разгар мятежа лорда Гордона 1780

года[45], когда на улицах не смолкали крики «Долой папистов!», кто-то пустил слух, что владелец винного погреба — католик. Его дом разграбили и подожгли с роковым исходом. «По всем канавам, да и в каждой трещине и выбоине мостовой текли потоки палящего, как огонь, спирта. Запруженные стараниями бунтовщиков, потоки эти затопили мостовую и тротуар и образовали большое озеро, куда десятками замертво падали люди». Это описание принадлежит перу Чарлза Диккенса, которого, подобно многим лондонцам, буквально завораживала смерть в огне, но его рассказ подтверждается несколькими заслуживающими доверия отчетами современников. В тот день на Феттер-лейн «одни, припав губами к краю лужи, пили, не поднимая головы, пока не испускали дух, другие, наглотавшись огненной влаги, вскакивали и начинали плясать не то в исступлении торжества, не то в предсмертной муке удушья, потом падали и погружались в ту жидкость, что убила их». Некоторые, выбежав из винного погреба в горящей одежде, начинали

[45] Примечания: 45

Мятеж лорда Гордона — стихийное восстание лондонской черни, недовольной тем, что в парламенте был принят закон о возвращении католикам гражданских прав, против которого выступал депутат лорд Гордон. Эти события описаны Ч. Диккенсом в романе «Барнеби Радж»; цитаты из него приводятся далее в переводе М. Абкиной.

кататься в спирте, приняв его за воду, после чего «сами превращены были в пепел тем пожаром, который они зажгли, и прах их усеял улицы Лондона». Они стали частью Феттер-лейн.

На протяжении веков здесь случались и другие пожары, и взрывы. Любопытно, что пожар, вспыхнувший 10 апреля 1679 года, сочли результатом «папистского заговора»; это бедствие, казнь нонконформистов и поджог винокурни образуют вместе нечто вроде жуткой пародии на католическую троицу. В 1583 году, вскоре после того, как церковь Сент-Эндрю на соседнем Холборне была «заново остеклена», дабы окончательно изгнать все следы папистских суеверий, на Феттер-лейн прогремел мощный взрыв пороха, отчего разбились и вылетели все стекла. Кстати, именно с помощью пороховых взрывов был загашен неподалеку Великий пожар. Суд, который занимался разбором начавшихся впоследствии тяжб, связанных с недвижимостью, заседал в самом «Клиффордс-инне», так что улица Феттер-лейн приобрела широкую известность.

Репутация улицы, где юридические корпорации стояли бок о бок с трактирами, а церкви — с домами сводников, всегда была неопределенной. Здесь жили целители, которых с большой до-

лей вероятности можно считать шарлатанами: в XVII веке по адресу «Блу-Боллс на Плоу-ярде, Феттер-лейн» проживал некий Бромфилд, рекламировавший «пилюли от всех хворей». Друг Сэмюэла Джонсона, бедный аптекарь по имени Леветт, встретил у угольного склада на Феттер-лейн «женщину с дурным характером», которая умудрилась женить его на себе. Потом он чуть не угодил в тюрьму из-за ее долгов; по словам Джонсона, вся эта история «столь же полна чудес, как любая страница из „Тысячи и одной ночи“». На этой улице было также множество ростовщиков — подтверждение этому мы находим в одной пьесе XVII века, «Рэм-элли» (ее написал Барри), где говорится:

Возьмите эти книги и ступайте оба
К закладчику на Феттер-лейн.

Упоминание о книгах тут вполне уместно, поскольку Феттер-лейн ассоциируется с именами нескольких писателей-лондонцев. Здесь обитал Генри Пичем, автор «Искусства жить в Лондоне». Дом номер 184 принадлежал Майклу Дрейтону, сочинившему «Полиольбион». Согласно «Кратким жизнеописаниям» Джона Обри, Томас Гоббс «жил по большей части на Феттер-лейн, где на-

писал или закончил свой трактат „De cogroge“ сначала на латыни, а потом на английском». Жизнь на Феттер-лейн он предпочитал жизни в провинции, где «отсутствие ученых разговоров причиняло ему чрезвычайные неудобства». В одном из заново отстроенных после Великого пожара домов на углу Феттер-лейн и Флер-де-Ли-корт жил Джон Драйден; согласно «Национальному биографическому словарю», он провел здесь девять лет, и некоторое время его соседом из дома напротив был другой драматург, Томас Отуэй, умерший с перепоя в ближайшем трактире. Чарлз Лэм посещал школу в переулке рядом с Феттер-лейн. Колридж читал здесь лекции, и в разные времена в «Клиффордс-инне» живали Сэмюэл Батлер, Лайонел Джонсон и Вирджиния Вулф. В качестве места жительства Лемюэля Гулливера, героя романа Свифта, также названа Феттер-лейн.

Одним из самых известных, хотя ныне почти забытых, обитателей Феттер-лейн был Исаак Прейзгод Бэрбон: он торговал кожами на углу Флит-стрит, и, пожалуй, именно смутное воспоминание об этом побудило Джорджа Элиота в XIX столетии заметить, что «название Феттер-лейн отчего-то попахивает кожей». Но Бэрбон был

также и пылким проповедником, стойким приверженцем анабаптистской веры, и в 1640-х его «бессвязные проповеди, болтовня и пустословие» неоднократно становились причиной волнений в округе. По настоянию Оливера Кромвеля он вошел в английский парламент как представитель города Лондона, но, хотя его недруги окрестили этот парламент «Бэрбонским», не выступал на заседаниях палаты. После Реставрации Бэрбон попал в заключение; освободившись, он вернулся в свой старый приход. Его могила находится во дворе церкви Сент-Эндрю на Холборне, к северу от Феттер-лейн.

Но не один Бэрбон сеял смуту в этом районе. В XVI веке в плотницкой мастерской на восточной стороне улицы, примерно посередине ее, собирались пуритане; в пору царствования Марии, их преследовательницы, они молились на простом дровяном складе, и в появившейся позже анонимной брошюре «Наш старейший Храм» говорится, что диссентеры[46] относились к этому месту «с благоговением». Любопытно, что всего в нескольких десятках ярдов к югу от него, на углу Флит-стрит, находится «священное место»

[46] Примечания: 46

Диссентеры — члены протестантских сект, отделившихся от Англиканской церкви в XVI–XIX вв.

католиков, где были казнены их братья по вере. Это показывает, что одна маленькая лондонская улочка может хранить память о самых разных духовных движениях.

В правление Елизаветы I (1558–1603) пуританам разрешили построить на месте бывшего склада деревянный храм; позднее переселившиеся сюда пресвитериане заменили его кирпичным молитвенным домом. Так же как и их непримиримых предшественников, Феттер-лейн привлекала этих сектантов своей уединенностью. В молитвенный дом «можно было попасть лишь по длинному узкому проулку» под названием Голдсмит, или Голдсмитс-корт, — по карте XVII века видно, что рядом с Феттер-лейн было множество таких проулков и двориков, словно кипевшая на ней жизнь безудержно растекалась во всех направлениях. Кроме того, этот пресвитерианский храм был загорожен «сплошным рядом домов, которые уже в те давние времена заполнили всю восточную обочину Феттер-лейн», а с другой стороны «высокие здания… надежно укрывали его от взоров случайных прохожих». Таким образом, даже посреди Лондона можно было найти уединение. Однако уличной толпе были прекрасно знакомы все тайные уголки, и в 1710

году, во время очередных бесчинств, смутьяны подожгли храм. Его отстроили заново, после чего он перешел во владение сектантов-радикалов, называвших себя моравскими братьями, и оставался у них в течение следующих двух столетий. Сюда приходили молиться Уэсли, и в первый день 1739 года Джон Уэсли записал, что «благодать Божия осенила нас во всей своей мощи, так что многие возопили от великого восторга и многие пали на землю». Так «внезапное нисхождение Святого Духа» случилось на крохотном дворике близ Феттер-лейн, и отсюда «Возрождение… распространилось во все концы Англии».

Других радикалов и диссентеров тоже влекло к себе это место. На Феттер-лейн выступал с лекциями сектант Ричард Бакстер; в переулке под названием Блэк-Рейвен-пассидж была баптистская конгрегация, а на Элим-корт, между домами 104 и 107 по Феттер-лейн, — еще одна сектантская молельня. Многие моравские братья жили в «общинных домах» поблизости — на Невиллс-корт и в прочих укромных уголках. Эти обитатели пограничных областей ортодоксальной веры обитали и на границах города. Некоторые группы людей явно испытывают тягу к определенным местам, чья топография странным образом отражает их

собственные взгляды. Вот почему и религиозные, и политические радикалы селились в одном и том же районе. «Якобинец» и член Лондонского корреспондентского общества[47] Томас Эванс собирал своих сторонников на Плау-корт близ Феттер-лейн. Харчевня «Сокол» на Феттер-лейн также находилась под наблюдением как центр подрывной политической деятельности. Сам Эванс, проживший на Феттер-лейн все 1790-е годы, разжигал свой революционный пыл обильными возлияниями и добывал необходимые ему средства, приторговывая балладами и порнографией. В этом он как нельзя более соответствовал своему столь же двусмысленному окружению. Он был достаточно смекалист, чтобы освоить множество профессий, в том числе порнографа, печатника, содержателя кофейни и красильщика — все это занятия, традиционные для обитателей Феттер-лейн — так что в каком-то смысле он кажется столь же многоликим и загадочным, как сама улица. Возможно ли, что внутренний облик и характер некоторых людей определяются особенностями места их непосредственного проживания?

---

[47] Примечания: 47

Лондонское корреспондентское общество — организация, возникшая в XVIII в. и стоявшая во главе одного из первых рабочих движений.

Перечень местных радикалов можно пополнить еще несколькими именами. Том Пейн, чьи «Права человека» стали неофициальной библией радикализма XVIII века, жил в доме номер 77 по Феттер-лейн. Уильям Коббет писал и публиковал свои «Политические ведомости», занимая номер 183 на Феттер-лейн. В начале XX столетия рядом с Феттер-лейн, по адресу Невиллс-корт, 14, жил Кейр Харди. За шесть с половиной шиллингов в неделю он снимал квартиру в одном из старейших зданий Лондона, «построенном в конце средних веков, наполовину деревянном доходном доме в пять этажей»; таким образом, он жил в хранилище исторической памяти Феттер-лейн, хотя вряд ли знал, что до него по той же улице ходили Коббет и Пейн. Наши современники отдали прошлому дань уважения: теперь там, где встречаются Феттер-лейн и Нью-Феттер-лейн, можно увидеть статую, изображающую великого лондонского радикала Джона Уилкса. Между прочим, статуя Уилкса — единственный косоглазый памятник в Лондоне, и эта мелочь добавляет свою лепту к сомнительной славе района.

В XIX веке Феттер-лейн разделила участь многих других лондонских улиц той эпохи: разросшийся Лондон придавил ее, и она стала вы-

глядеть более маленькой и темной, чем раньше. «Население Феттер-лейн и примыкающих к ней улиц, — говорится в одном церковном отчете, — состоит из беднейших людей, среди которых весьма распространено неверие. Вокруг находится целый лабиринт деловых кварталов». Такими стали многие улицы, близкие к древнему центру Лондона. «Инны» были разрушены; на их месте построили работный дом и огромное здание городской регистратуры. Анонимный инспектор сообщает о домах, которые предстояло снести, чтобы освободить место под это здание: «Дома, расположенные на Феттер-лейн, населены в основном представителями низкодоходных профессий, и все договоры об аренде, по результатам проверки, заключены не более чем на 21 год». За всю ее историю на Феттер-лейн мало кто оседал надолго. Если не считать «моравских братьев», знавших, что на этой земле нет долговечного города, обитатели этой улицы принадлежали к тем, кого обычно называют «перекати-поле».

Однако сквозь основные закономерности лондонской жизни всегда проступали ее отдельные, особенные черты. В городском путеводителе 1828 года на Феттер-лейн обозначено целых девять трактиров: такое относительно большое количе-

ство закусочных и распивочных на относительно короткой улице характерно для начала XIX века, но из этого также можно сделать вывод о мобильности и, в известной степени, анонимности местного населения. В коммерческом справочнике 1841 года среди специалистов с Феттер-лейн преобладают печатники, издатели, торговцы канцелярскими товарами, граверы и книгопродавцы (общим числом около девятнадцати) — с ними соперничают только владельцы кофеен, гостиниц и харчевен. Все это профессии, опирающиеся на преходящие вкусы и на то, что можно назвать новым. Из этого следует, что Феттер-лейн не была оазисом тихой и стабильной жизни, но принимала активное участие в обычных для огромного города пертурбациях.

В городском справочнике 1817 года указано не менее трех «торговцев маслами и красками». В почтовом справочнике 1845 года сообщается о двух живописцах и одном «торговце маслами и красками», а в 1856-м на улице появляется «склад масел и красок»; Чарлз Диккенс в одном из своих очерков описывает некоего «мистера Огастеса Купера с Феттер-лейн» как работающего «по части масел и красок». Видимо, Диккенс подметил традицию, сложившуюся в этом районе, или же

со свойственной ему проницательностью почувствовал самый дух места. Он также упоминает, что «через дорогу» от дома Огастеса Купера расположена «газовая контора»; любопытно, что в справочнике 1865 года действительно имеется «газопроводчик и изготовитель латунных изделий». В этом зачарованном городском уголке поистине переплелись фантазия и реальность, и стоит отметить, что в справочнике 1845 года среди жителей улицы, на которой жил вымышленный хирург Лемюэль Гулливер, фигурируют еще двое хирургов.

Судя по эскизу 1900 года с изображением западной стороны Феттер-лейн, большинство домов стояли здесь с XVII века; на эскизе видно, что их первые этажи заняты многочисленными лавками. В одном разделе городского справочника 1905 года перечислены магазины мясных и молочных продуктов, скобяных изделий и инструментов, затем часовая мастерская и мастерская по изготовлению электрических звонков, затем паб, булочная, типография, кофейня, еще один паб, еще одна кофейня, парикмахерская и мастерская по обрамлению карт. Но в здешних переулках и тупичках — Блуитс-билдингс, Бартлетс-билдингс, Черчард-элли и многих других — всегда хватало

жильцов, против фамилий которых в книгах коммунальных платежей писали: «беден», «не может платить», «отказывается платить»... Когда-то просторные дома на Невиллс-корт, где жил Кейр Харди, были разделены на комнаты, сдававшиеся внаем. Некоторые из этих домов строились еще до Великого пожара, другие — сразу после, но перед всеми были маленькие палисадники. В отчете Лондонского топографического общества за 1928 год Уолтер Белл отмечает, как прекрасно ухожены эти палисадники, и предполагает, что «эту частицу древнего облика Лондона сохранили для нас бедняки». Действительно, разбросанные там и сям садики и дворики — черта, унаследованная как минимум от XVI века. Но в XX веке «вы протираете глаза и дивитесь. Неужто перед вами и впрямь город — этот укромный уголок, где люди живут, поливают цветы и умирают? Неправда, что в городе никто не умирает».

На Феттер-лейн не умирают — здесь продолжают жить. По приходским книгам и документам почтового ведомства видно, что предприятия держатся здесь недолго, быстро сменяясь другими. Номер 83 в течение семидесяти лет последовательно занимали мастерская по изготовлению бритв, закусочная, пивная, кофейня, типография

и молочная — и все исчезли, точно растворившись в самой атмосфере улицы. Сейчас на первом этаже здания открыт сандвич-бар «Такерс».

Феттер-лейн изобиловала мелкими предприятиями вплоть до Второй мировой войны, но в 1941-м район подвергся сильному разрушению. На восстановленной Феттер-лейн снова появились кафе, типографии и магазины канцелярских товаров. Однако жилье уже не сдается. Теперь все дома в оставшихся переулках и двориках заняты коммерческими и административными конторами, а о кофейнях и закусочных, которыми некогда славилась эта улица, напоминают разве что сандвич-бары. Но и сейчас нельзя не заметить, что в этом уголке Лондона по-прежнему идут вечные процессы разрушения и обновления.

Глава 23
Восстановление

В 1666 году многие жители, вернувшиеся к своим домам, обнаружили на их месте лишь дымящиеся руины; тогда они стали заявлять свои претензии на землю, возводя временные убежища. Уже в тот день, когда пожар был потушен, Карла II уведомили о том, что «некоторые обитатели города Лондона принялись за постройку домов на старом фундаменте».

Три дня спустя король выпустил воззвание к жителям столицы, пообещав, что восстановление будет происходить быстро, но запретив проведение каких бы то ни было работ «без надлежащего плана и разрешения». Затем он взялся за составление правил, главным из которых было требование строить новые дома только из кирпича или камня. Такие улицы, как Чипсайд, Корнхилл и им подобные, должны были стать «достаточно широкими, чтобы с Божьего соизволения пожар не перекинулся с одной стороны на другую, как то недавно случилось на Чипсайде». Монарх проявил также заботу о здоровье своих

подданных, провозгласив, что «все заведения, выделяющие дым», в том числе красильни и пивоварни, следует «размещать по соседству друг с другом».

К этому времени уже были разработаны подробные планы реконструкции Лондона, среди которых особенно выделяются два, принадлежащих Рену и Эвелину. Рен предложил комплекс взаимопересекающихся проспектов по европейскому образцу; новый город Эвелина напоминает гигантскую шахматную доску, на которой доминируют двенадцать больших площадей. Ни один из этих планов не был, да и не мог быть претворен в жизнь. Как всегда, город возродился на основе своей древней топографии.

Но сначала необходимо было освободить места под застройку. Те, кто лишился своих мастерских или другим образом потерял работу, были мобилизованы городскими властями: требовалось разобрать завалы и вывезти мусор. Дымящиеся улицы следовало расчистить, чтобы возобновить движение, а набережные сделать вновь пригодными для торговли. На окраинах города возникли импровизированные рынки, а самые предприимчивые банкиры и коммерсанты перенесли свои конторы в район Бишопсгейта, который не

был затронут пожаром. Агенты, прежде торговавшие на Королевской бирже, перебрались в Грешем-колледж. Пожалуй, можно сказать, что горожан охватило новое, пьянящее чувство свободы. Пожар уничтожил в равной мере долги и собственность, закладные и сами здания. Однако благотворные последствия финансовой чистки могли лишь отчасти скомпенсировать потерю товаров — вина и пряностей, масла и тканей, сгоревших вместе со складами, на которых они хранились.

Тем не менее город оказался весьма жизнестойким: не прошло и года, как в нем возобновилась активная торговая деятельность. В каком-то смысле Лондон остался прежним, ибо воры и разбойники быстро приспособились к новым условиям, и «в темницах под руинами» стали находить «множество убитых и затащенных туда людей». Эта деталь наводит на дальнейшие размышления. Что сталось с узниками, которые томились в этих «темницах» до Великого пожара? Многие долговые ямы и тюремные камеры находились ниже уровня земли, и трудно поверить, что всем заключенным удалось выбраться из них и спастись. Разве не более вероятно, что они сгорели заживо или задохнулись? По официальным

данным, жертв пожара было всего шестеро, но эта неправдоподобно низкая цифра наверняка призвана скрыть человеческие потери, понесенные из-за халатности властей. Многие ли узники сбежали, когда расплавились их тюремные решетки? А что произошло с остальными?

Во главе руководства восстановительными работами была поставлена городская комиссия из шести человек. Одним из членов этой комиссии был Кристофер Рен, уже знавший, что его идеальному Лондону не суждено воплотиться в жизнь. Для рассмотрения исков, связанных с владением землей и недвижимостью, был создан особый «Пожарный суд». В феврале следующего года парламент санкционировал предложения комиссии. Некоторые улицы были расширены, но в целом, как и следовало ожидать, изменений оказалось очень мало. Родилась новая улица Кинг-стрит, а узенькую дорожку расширили и назвали Куин-стрит, чтобы к Гилдхоллу можно было попасть прямиком с берега Темзы. Более серьезные изменения касались размеров будущих зданий и материала для их постройки. В согласии с повелением короля, теперь их можно было строить только из кирпича и камня, причем «для большего порядка, единообразия и изящества»

все дома должны были относиться к одному из четырех типов. В частности, комитет решил, что дома на основных улицах должны иметь по четыре этажа, тогда как для переулков и боковых улочек достаточно двух. В других отношениях старый облик города предполагалось восстановить без перемен.

Потом началось строительство. Горожане и владельцы частных домов были вынуждены ограничиться собственными средствами, в то время как общественные работы — например, восстановление церквей — финансировались за счет налога на битумный уголь. К весне 1667 года будущие улицы были размечены, и власти обратились с призывом «ко всем соотечественникам, которые желают помочь и обеспечить нашу столицу деревом, кирпичом, известью, камнем, стеклом, сланцем и прочими материалами для строительства». Это повлекло за собой большие перемены в составе городского населения.

Можно предположить, что многие из тех, кто жил в городе до Великого пожара, так и не вернулись на свои пепелища. Одни уехали в провинцию, другие отправились в Соединенные Штаты; почти во всех случаях решающими факторами оказывались наличие родственников и

надежда получить работу. Но когда началось восстановление города, в него потянулись тысячи новых людей. Это были землекопы и производители кирпича, извозчики и литейщики, жившие прямо за городскими стенами; кроме них, в город, потерявший половину своих рынков и большинство магазинов, хлынули сотни лоточников и торговцев. Конечно, пришли и строители, которые пользовались ситуацией и на скорую руку сооружали целые улицы. Роджер Норт описал, как самый известный из этих ловкачей, Николас Барбон, постепенно преобразовал часть Лондона, «покрывая голую землю улицами и домиками и наращивая их число за счет максимального уменьшения фасада». Барбон оценил преимущества простоты и стандартизации. «Не стоит заниматься мелочами, — как-то заметил он, — на это способен и простой каменщик». Но и простые каменщики были по горло загружены работой.

За два года после пожара были построены тысяча двести домов, а в следующем году — еще тысяча шестьсот. Процесс восстановления не был таким стремительным и бурным, как полагают некоторые историки, и в течение нескольких лет Лондон выглядел сильно разрушенным, но все же он постепенно поднимался из руин.

Карта, составленная Джоном Огилби в 1677 году, то есть всего через одиннадцать лет после катастрофы, отражает новый облик города. Большая его часть была восстановлена, хотя отдельных церквей на карте не хватает, а план широкой реконструкции набережных Темзы так и не удалось привести в исполнение. Новые кирпичные дома с узким фасадом изображены в виде прямоугольников; они расположены довольно близко друг к другу, а между ними тонкими ниточками тянутся переулки и узкие проходы. Ко многим из этих домов примыкают сзади дворики или садики, но общее впечатление тесноты и скученности от этого не пропадает. Если бы вы в ту пору прошли на восток по Леденхолл-стрит, то на участке длиной в сотню ярдов — а именно от Биллитер-лейн до пересечения с Фенчерч-стрит — вы миновали бы не меньше семи переулочков (Джон Страйп характеризует их либо как «относительно недурные», либо как «тесные, мерзкие и жалкие»), которые обыкновенно кончались тупиками или крохотными двориками. Большая часть площади здесь закрашена серым цветом, обозначающим маленькие жилые здания из кирпича и камня.

По карте Огилби можно видеть, что город

неуклонно расширялся. Область вокруг Линкольнс-инна в западном районе была размечена под улицы и дома; на севере, в Кларкенуэлле, уже появилось множество новых улочек и площадей. Николас Барбон создал Эссекс-стрит, Деверукс-корт, Ред-Лайон-сквер, Бакингем-стрит, Виллерс-стрит и Бедфорд-роу. Талантливейший строитель и планировщик, он оказал огромное влияние на облик города — в этом отношении его превзошел только Нэш. Прагматизм и финансовый авантюризм Барбона кажутся вполне соответствующими характеру и атмосфере города, который так сильно разросся благодаря его стараниям: каждый способствовал процветанию другого. Отчасти в результате его деятельности состоятельные купцы и коммерсанты перебрались подальше от шума и запахов старых торговых районов. Таким образом они спасались от «вони, дыма и тесноты восточного Лондона».

Кстати, кое-какие перемены в столице произошли еще до того, как пожар подхлестнул работы по ее реконструкции. Площадь Ковент-гарден была спланирована и перестроена в 1631-м; за ней, четыре года спустя, последовала Лестер-филдс. Строительство Севен-Дайалс происходило одновременно с возведением церквей Сент-Джайлс и

Сент-Мартин (обе «в полях»), Грейт-Расселл-стрит была закончена к 1670 году. За годдо пожара была разбита Блумсбери-сквер. К 1684 году процесс расширения на запад привел к возникновению Ред-Лайон-сквер и Сент-Джеймс-сквер.

В основе создания этих «скверов», то есть площадей с окружающими их домами, лежал, по определению Джона Эвелина, принцип «маленьких городков», которые фактически не так уж отличались от независимых округов англосаксонского Лондона, находящихся под контролем одного хозяина. В XVII веке владелец феодального поместья — например, хозяин Блумсбери лорд Саутгемптон — мог решить, что его земли должны приносить ему доход. Сам он занимал одну из усадеб на своей территории, а все остальное сдавал предпринимателям, которые застраивали полученные участки, а потом находили субарендаторов или платных жильцов. Через девяносто девять лет дома становились собственностью лендлорда.

Другие особенности «скверов» были связаны с их населением. В лучшем варианте они рассматривались как маленькие саморазвивающиеся сообщества, каждое со своей церковью и рынком. Таким образом, вне старых городских стен

возникали вполне привлекательные условия для жизни. Когда в Лондоне появились первые «скверы», в них, по словам Маколея, видели «одно из чудес Европы» благодаря сочетанию бытовых удобств и светского благоприличия. Правильность и однородность этих кварталов, столь резко контрастирующая с барочной причудливостью Парижа или Рима, была, возможно, перенята у старинных монастырей, которыми некогда изобиловал Лондон. Пройти по Куин-сквер, Расселл-сквер, Торрингтон-сквер и Бедфорд-сквер значило почувствовать, что «традиции Средневековья не погибли», только безмятежность патриархального бытия переместилась на запад.

И все же в жизни Лондона всегда присутствовали атавистические элементы; проявлялись они и в пору его разрастания за пределы старых границ. Расширение города происходит волнообразно, и периоды бурного движения сменяются периодами затишья. Иногда город лишь задевает какую-то область по краешку, а иногда полностью ее порабощает. К примеру, Лестер-сквер и Сохо-сквер находились в такой близости от разбухающей столицы, что не было и попыток создать вокруг них относительно замкнутые сообщества, где жизнь текла бы тихо и мирно. Здесь следует

также заметить, что бурные городские метаморфозы, по словам Джона Саммерсона, отвечали скорее закономерностям развития торговли, чем «меняющимся амбициям и политике правителей и администраторов». На некоторое время город остановил свое продвижение к западу там, где сейчас пролегает Нью-Бонд-стрит, а прежде было лишь «голое поле». Строительство временно прекратилось на южной стороне Оксфорд-стрит, которая была не более чем «дорогой в колдобинах», окаймленной живыми изгородями. На Риджент-стрит тогда «царило запустение», а Голден-сквер, где ранее хоронили умерших от чумы, была «пустырем, на который ни один лондонец не мог в ту пору ступить без опаски».

Не все новые «скверы» оставались образцами гражданской и общественной гармонии в течение сколько-нибудь продолжительного периода. Маколей пишет, что к концу XVII века посреди Линкольнс-инн-филдс было «открытое место, где по вечерам собиралось всякое отребье» и где «повсюду валялся мусор». Сент-Джеймс-сквер превратилась в «свалку, куда свозили всю требуху и шлак, всех дохлых кошек и дохлых собак Вестминстера»; в какой-то момент там «поселился наглый нищий и построил сарай для мусора под

окнами раззолоченных трактиров». Это очередное свидетельство пестроты и противоречивости лондонской жизни, но из этого можно сделать вывод и о том, что уже тогда неотъемлемыми ее чертами были жестокость и агрессивность. Например, соблазнительно представлять себе новые «скверы» как изолированные сообщества, все еще окруженные полями, но на самом деле эти поля тоже активно застраивались. «На этом краю города, — жаловался один житель Вестминстера, — целые поля заполняются новыми домами, которые тут же обращаются в кабаки, набитые бедным людом».

В то время как развитие большинства западных лондонских пригородов протекало на основе аренды земель и опиралось на парламентские постановления, расширение восточных пригородов происходило медленно и спорадически — ему мешали древние статуты маноров Степни и Хакни, разрешающие лишь ограниченные копигольды сроком до тридцати одного года[48]. Поэтому с самого начала развитие города на востоке было неполноценным и непланомерным.

[48] Примечания: 48

Копигольд — арендные права, зафиксированные в копии протоколов манориального суда (манор — феодальная вотчина в средневековой Англии).

Уоппинг и Шадуэлл сформировались через десять лет после пожара, а район Спитал-филдс «был почти полностью застроен» к концу столетия. Майл-энд постепенно становился густонаселенным районом, а вдоль набережной от Ратклиффа до Поплара тянулся сплошной ряд убогих домишек и лавок.

На карте Огилби не показаны ни самые бедные из восточных улочек, ни путаные, быстро расширяющиеся пригороды на западе. Вместо этого она представляет нам то, что Драйден воспевал в «Annus Mirabilis» как «город более прекрасных форм».

> *Мягкосердечие на царственность сменя,*
> *Восстал из пепла город горделивый:*
> *Раздвинул улицы, поднявшись из огня,*
> *Крыла же распростер на нивы.*

Глядя на картину с изображением Ламбетского дворца, написанную в 1680-х, мы видим вдали Вестминстер и Стрэнд. Вся панорама чрезвычайно живописна — особенно красят ее шпили Сент-Клемент-Дейнс и Сент-Джайлс-ин-де-филдс, а также величественные силуэты Дарем-хауса и Солсбери-хауса. Если бы художник перевел взгляд

чуть дальше к востоку, он увидел бы в только что отстроенном районе башню восстановленной Королевской биржи — как финансовый центр Лондона, ее первую снабдили новеньким шпилем. Огромная колокольня Сент-Мэри-ле-Боу тоже была восстановлена; за нею последовали Сент-Клемент на Истчипе и Сент-Питер на Корнхилле, Сент-Стивен на Уолбруке и Сент-Майкл на Крукид-лейн плюс еще сорок семь церквей, спроектированных Реном и его коллегами.

Рисуя свой утопический Лондон, Кристофер Рен поместил в его центре огромный собор Св. Павла, от которого должны были расходиться улицы, и на практике он постарался сделать этот собор таким же грандиозным и величественным, каким с самого начала видел его в мечтах. Он нашел старый храм в руинах, по поводу которых Пипс заметил: «Странно, что один лишь вид камней, упавших с высоты колокольни, способен вызвать у меня головокружение». После Пожара минуло восемь лет — наступил уже 1674 год, — а древний собор все еще не был ни восстановлен, ни заменен новым. До некоторой степени Лондон по-прежнему оставался разоренным городом. Но Рен наконец принялся разрушать остатки старых стен при помощи таранов и пороховых зарядов,

и летом 1675 года был заложен первый камень нового храма. Тридцать пять лет спустя сын Рена в присутствии своего отца, главного архитектора, уложил последний камень фонаря над куполом собора, ознаменовав этим завершение строительства. «Я строю на века», — говорил Рен. Однако еще раньше подобное чувство посетило поэта Фелтона, предсказавшего, что самыми долговечными в Лондоне окажутся камни Ньюгейтской тюрьмы.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Глава 24
Ньюгейтская баллада

Спустя четыре года после Великого пожара Ньюгейтская тюрьма была почти закончена — «Лондонская энциклопедия» сообщает, что ее новое здание выглядело «весьма грандиозным и впечатляющим». В каком-то смысле оно было истинной эмблемой Лондона. Тюрьма оставалась на одном и том же месте с XII века и с самого начала своего существования была символом смерти и страданий. Она стала легендарным местом, где самые камни считались «гибельными», и вдохновила литераторов на создание большего количества драм, поэм и романов, чем любое другое лондонское здание. Кроме того, она служила своего рода «вратами» или «порогом», переступая который заключенные покидали земной город и отправлялись в Тайберн, Смитфилд или на виселицу прямо под стенами самого Ньюгейта, и это также придавало ей мифический колорит. Тюрьма ассоциировалась с преисподней, и ее присутствие ощущалось на всех окрестных улицах.

В XIV и XV столетиях Ньюгейтская тюрьма постепенно ветшала и разрушалась; в 1419 году шестьдесят четыре узника умерли во время эпидемии «тюремной лихорадки», а ньюгейтские надзиратели то и дело попадали под суд за измывательства над заключенными. Евреи, ложно обвиненные в обрезании христианских детей, карманники, фальшивомонетчики и убийцы содержались в глубоких подземных темницах, где их заковывали в цепи или сажали в колодки. В 1423 году тюрьму полностью перестроили на деньги, оставленные по завещанию Ричардом Уиттингтоном, но вскоре она вернулась в свое естественное состояние, то есть вновь стала мрачным и жутким местом. Около трех сотен арестантов размещались на площади в пол-акра, в здании, разделенном на три «стороны»: «Господскую» (для тех, кто мог платить за еду и питье), «Общую» (для безденежных должников и преступников) и так называемую «Давильню» (для «особых узников»). Конечно, больше всего тягот и оскорблений выпадало на долю тех, кто находился на «Общей стороне».

Надзиратели Ньюгейта всегда пользовались дурной славой из-за своей несдержанности и свирепости. В 1447-м тюремщик Джеймс Мэн-

нинг оставил тело одного из заключенных на городской магистрали, «учинив неприятность и великую угрозу шествовавшему по ней королю»; ему было сделано несколько предупреждений, но он отказался убрать его, а жена Мэннинга произнесла «стыдные слова», после чего обоих отправили в каунтер (особую тюрьму, где содержались в основном должники). Спустя два года его преемник также угодил в тюрьму за «ужасное нападение» на заключенную. Таким образом, надзиратели заражались от узников не только «тюремной лихорадкой», но и жестокостью. Возможно, самым знаменитым из этих тюремщиков в эпоху до Великого пожара был Эндрю Александер, который в царствование Марии I гнал узников-протестантов на костры Смитфилда со словами: «Бегите из моей тюрьмы! Вот вам избавление!» Одному узнику, развлекавшему Александера и его жену — оба они «весьма любили музыку» — игрой на лютне, отвели лучшее из тюремных помещений. Но тюрьма есть тюрьма, и «дурные миазмы… вызвали у несчастного джентльмена сильную горячку». Александер предложил перенести его в свою собственную гостиную, но «она была рядом с кухней, а запахи стряпни раздражали больного». В «Хрониках

Ньюгейта» часто упоминается об этом запахе в верхних помещениях; в самих же темницах не прекращались «волнения и бесчинства».

Те, у кого хватало денег на выпивку, постоянно прикладывались к «бурдюкам с хересом, янтарным канарским и сладостным ипокрасом[49]», а узники, попавшие в тюрьму из-за своих религиозных или политических убеждений, буйствовали, невзирая на кандалы. В хрониках говорится об «искусительных проповедях людей Пятого царства» и о «молитвах за кровь всех праведников»; при этом тюрьма была так переполнена, что большинство арестантов страдало от «заразной злокачественной лихорадки». Ньюгейт именовали «обителью скорби и позора», где вши были «постоянными спутниками» заключенных. Одного узника заставляли спать в гробу вместо постели, и другой провел четырнадцать дней «без огня и света, получая в день хлеба на полпенни». В 1537 году четырнадцать монахов-католиков «были прикованы здесь стоя к столбам и умерли голодной смертью».

Именно в эту пору зародилась легенда о Черном псе — «призраке в обличье черной собаки,

[49] Примечания: 49

Ипокрас — вино, обильно приправленное специями (названо по имени Гиппократа, который якобы составил его рецепт).

бродящем по улицам накануне казни и по ночам, когда проходят судебные заседания». Некоторые считали это существо воплощением ужасов, творившихся в Ньюгейте XII века, когда голод вынуждал отдельных узников прибегнуть к каннибализму. Другие полагали, что оно является «образом официальной власти» — иными словами, символизирует собой злобность тюремщиков. Однако в начале XVIII века под словами «гонять Черного пса» подразумевалось жестокое обращение заключенных с новоприбывшими. Говорят, что это зловещее привидение и сейчас иногда можно увидеть около увитой плющом стены на Амен-корт, близ старинного Сешнс-хауса.

Впрочем, в XVI веке Черный пес был лишь одним из многих ужасов Ньюгейта. Подземную темницу, называемую «Преисподней», описывали как «жуткое место, лишенное света, где кишат паразиты и ползучие твари». Эта камера смертников находилась под самыми воротами, и в ней царили «скорбь, страх и безысходность… Люди лежали на полу вповалку, как свиньи, они рычали и выли — для меня это было ужаснее, чем сама смерть». Таков постоянный рефрен тех, кто входил в Ньюгейт, — он казался им «страшнее самой смерти», а эти слова, кстати, вполне годятся

и для характеристики всего города. Когда один узник, попавший в тюрьму за свои религиозные убеждения, воскликнул: «Я не променял бы эти цепи на золотую цепь лорд-мэра Лондона!» — он провел красноречивую параллель между страданиями заключенных и тяжкой долей угнетенных лондонцев.

В анонимной драме начала XVII века, «Дик из Девоншира», приводится жалоба узника, «скованного по рукам и ногам», подобно любому другому вору, попавшему в Ньюгейт, и подтверждается расхожее мнение о том, что Ньюгейт — тюрьма, из которой невозможно убежать. Но он стал и символом воровского товарищества: «Мы оба скованы одной цепью» — или, как Бардольф говорит Фальстафу, «по двое, в ногу, как в Ньюгейтскую тюрьму», — и в «Сатиромастиксе» Деккера также читаем:

Возьмемся ж за руки и зашагаем рядом,

Как обреченные, идущие в Ньюгейт.

Отчасти это символ вызова, бросаемого угнетателям и угрозе смерти. Вот почему кличем разбойников и воров было «Ньюгейт или победа!». Тюрьма становится олицетворением власти

и вследствие этого, как мы увидим, первой мишенью лондонских мятежников, стремившихся ниспровергнуть существующий порядок. Во многом еще и поэтому она без конца горела — в частности, сам Великий пожар может служить достойным символом гнева или отмщения.

Итак, в 1670-м она снова восстала из пепла, отделанная и декорированная в соответствии со своим статусом крупнейшего городского монумента. Здесь был даже барельеф с изображением кошки Ричарда Уиттингтона, и некоторое время тюрьму называли в народе «Уит» — трудно найти более наглядное подтверждение ее теснейшей связи с Лондоном. Пятиэтажная, она занимала пространство от начала Ньюгейт-стрит со стороны Гилтспер-стрит до крутого уклона Сноу-хилла. Теперь здесь было пять «сторон» для разных «злодеев» и должников плюс новая «давильня» (путем «сдавливания до смерти» выжимались признания), темницы для приговоренных к казни, часовня и «кухня Джека Кетча».

По прибытии арестантов заковывали в кандалы и распределяли по темницам; слева от ворот стоял дом сторожа, под которым была камера висельников. В «Английской Бастилии» Энтони Бабингтона приводятся слова заключенного,

побывавшего в этом подземелье, которое, скорее всего, осталось практически таким же, каким было до Пожара: «слабые проблески света… благодаря коим можно понять, что вы находитесь в темном, жутком подвале неясных очертаний». Попадали туда через люк, а само помещение было целиком каменным, с «открытой клоакой посередине, источающей смрад», который распространялся до самых дальних уголков подземелья. В каменный пол были вделаны крюки и цепи, к которым в качестве наказания приковывали «буйных и непокорных».

Справа от ворот был подвал, где торговали спиртным. Его содержал узник, получивший от властей разрешение оставлять себе часть прибыли. Поскольку это питейное заведение также размещалось под землей, здесь всегда горели свечи, вставленные в «глиняные подсвечники пирамидальной формы»; те, кому было по карману здешнее угощение, могли круглые сутки накачиваться джином, который назывался поразному: «живой водицей», «убийцей печали», «утешителем», «едой и питьем» и «полным пансионом». Один узник вспоминал, что «это место было невероятно убогим и мерзким: можно было подумать, что ты попал прямиком в ад». За

подземным трактиром, вдоль Ньюгейт-стрит, располагались «каменный зал» для обычных должников и «каменный мешок» для рядовых уголовников. Это были «практически неосвещенные подземелья» и притом «несказанно грязные». «Вши хрустели под ногами узников подобно ракушкам, коими посыпают садовые дорожки». Прочие тюремные помещения были надземными и предназначались для заключенных из числа «господ» и узниц женского пола.

Вот каковы были хоромы, встречавшие каждого новичка, — место, куда не заглядывал ни один врач. В 1760-м Босуэлл описал камеры, «идущие в три ряда, по четыре в ряд, одна над другой. У них двойные железные окна, оснащенные крепкими железными решетками; в этих-то мрачных помещениях и содержатся несчастные правонарушители». Эта «угнетающая картина» стояла у него перед глазами весь день: «Ньюгейт пребывал в моем сознании подобно черной туче». Казанова, отбывший в Ньюгейте краткий срок заключения, описывал его как «обитель скорби и отчаяния, ад, который мог бы измыслить Данте». Вильгельм Мейстер, попавший в «Давильню» в составе инспекционной комиссии, «подвергся нападению существ, похожих на гарпий, и не

мог спастись иным путем, нежели бросив им горсть полупенсовиков, за которые они принялись драться с яростью диких зверей», тогда как другие, «будучи заперты, протягивали руки сквозь железные прутья и издавали поистине ужасающие вопли». Как раз на этот двор Дэниэл Дефо отправил свою Молль Флендерс, чьи приключения он описывал; поскольку самому автору довелось побывать здесь в качестве заключенного в 1703 году, его рассказ — живые воспоминания очевидца. «И описать невозможно, как жутко мне стало, когда меня впервые ввели сюда, когда моему взору предстали все ужасы этой мрачной обители… Шум, рев, вопли, проклятья, вонь и грязь — все мерзости, какие есть на земле, казалось, соединились тут, чтобы сделать тюрьму воплощением ада, как бы преддверием его»[50]. Впрочем, более чем однажды подчеркивается, что заключенные мало-помалу привыкают к этому аду, так что он становится «не только сносным, но даже приятным», а его обитатели — «такими же беспечными и веселыми, как были на воле». «Теперь я к этому привыкла и больше не беспокоюсь», — заявляет одна из

[50] Примечания: 50
Перевод А. Франковского.

товарок героини. Безусловно, это особенность жизни в Ньюгейте, проницательно подмеченная автором, но то же самое, пожалуй, можно сказать и о жизни в самом Лондоне. Благодаря общению с тюремным «сбродом» Молль также «сделалась сначала тупой и бесчувственной, потом грубой и беззаботной и, наконец, потеряла разум, как и все прочие обитательницы этого места».

Однако многие заключенные отнюдь не теряли разума и изобретали весьма хитроумные планы побега. Великими лондонскими героями часто становились именно те, кому удавалось вырваться из заточения в Ньюгейте. Величайший из них, Джек Шеппард, совершил этот подвиг шесть раз; в течение двух столетий он оставался человеком-легендой, кумиром всех, кто боролся с угнетателями, делая ставку на свою дерзость и ловкость. К примеру, в отчете Комиссии по вопросам детского трудоустройства в 1840 году отмечается, что лондонские дети из бедных семей, никогда не слышавшие ни о Моисее, ни о королеве Виктории, «в общем и целом знакомы с биографией и событиями из жизни разбойника Дика Терпина и тем более Джека Шеперда [*sic*!] — грабителя, не раз бежавшего из тюрьмы».

Джек Шеппард родился на Уайтс-роу, Спи-

тал-филдс, весной 1702 года и был отправлен в Бишопсгейтский работный дом — построенный, как и Ньюгейт, на городской окраине, — после чего попал в ученики к плотнику с Уич-стрит. Протрудившись там шесть лет, он сбежал, хотя до конца срока его обучения оставалось всего десять месяцев, и сделался профессиональным вором. Весной 1724 года его впервые посадили в тюрьму — в Сент-Джайлс-Раундхаус, — но не прошло и трех часов, как он взломал крышу и спустился на землю с помощью простыни и одеяла. Затем он «смешался с толпой» и ускользнул по переулкам Сент-Джайлсского прихода. Через несколько недель его арестовали снова, на сей раз по обвинению в карманной краже на Лестер-филдс, и отправили в Новую тюрьму в Кларкенуэлле. Там его посадили в «Ньюгейтскую камеру» и заковали в тяжелые цепи и кандалы; он избавился от оков и каким-то образом перепилил железный прут, а затем дубовый брус около девяти дюймов толщиной. Впоследствии распиленные цепи и брусья были сохранены тюремным начальством «ради свидетельства и памяти об этом необыкновенном происшествии и удивительном злодее».

Три месяца он гулял на свободе, а затем был обнаружен знаменитым преступником и «ловцом

воров» Джонатаном Уайлдом; на сей раз Шеппарда препроводили в Ньюгейт и, приговорив к смертной казни за три ограбления, заключили в камеру висельников. Даже в это гиблое место он умудрился протащить железный «шип» и с его помощью принялся расковыривать стену (или, может быть, потолок); сообщники с другой стороны помогли ему выбраться наружу через проделанное отверстие. Тогда как раз проходила Варфоломеевская ярмарка, и он затерялся в потоке людей, направлявшихся на Смитфилд по Сноу-хиллу и Гилтспер-стрит. Оттуда он двинулся на восток, в Спитал-филдс, и остановился там в трактире «Голова Павла» — его маршрут можно проследить по картам XVIII века, например по карте Джона Рока. Как бы там ни было, это впечатляющий образ — преступник, который почти чудом вырывается из заточения, чтобы смешаться с толпой, празднующей свое собственное временное освобождение среди лотков и балаганов Варфоломеевской ярмарки.

В течение нескольких следующих дней, как сообщает в своей книге «Лондонские висельники» Питер Лайнбо, его видели «сапожник в Бишопсгейте и молочник в Излингтоне». На Флит-стрит он вошел в часовую лавку и обратился к подмасте-

рью, велев ему «делать свое дело и не перенимать у хозяина дурной привычки работать до столь позднего часу». Он быстро ограбил лавку, но за ним устроили погоню, увенчавшуюся успехом. Затем его вновь отвели в Ньюгейт, поместили в отдельную камеру и «приковали к полу двойными цепями». Все приходили посмотреть на него, и все говорили о нем. Он произвел настоящую сенсацию: «народ сходил по нему с ума», результатом чего явилась «величайшая праздность среди механиков, когда-либо имевшая место в Лондоне». Иными словами, все они разошлись по тавернам и кабакам, чтобы посудачить о кудеснике. Когда в камеру к арестованному вошел священник, Шеппард обозвал его «пряничным рылом» и заявил, что «один напильник стоит всех Библий на свете», продемонстрировав тем самым искони присущий лондонцам языческий дух. «Да, сэр, я Шеппард, — сказал узник, сидя в оковах, — а все тюремщики этого города — мое стадо»[51]. У него нашли спрятанный напильник, после чего он был переведен в «Каменный замок» на пятый этаж и прикован там к полу; на руках и ногах у него были кандалы. Все эти оковы еже-

[51] Примечания: 51
Игра слов: Shepherd по-английски «пастух».

дневно проверялись, и сам Шеппард находился под постоянным наблюдением.

Тем не менее — и это уже действительно граничит с чудом — он сбежал снова. Каким-то образом ему удалось высвободить руки из наручников и маленьким гвоздем разжать одно из звеньев цепи, сковывающей ноги; после этого он, словно «человек-змея» с Варфоломеевской ярмарки, выскользнул из своих тяжелых оков. Куском цепи он перепилил брус, загораживающий печную трубу, и поднялся по ней в «Красную комнату», «дверь в которую не отпирали семь лет». Гвоздем он открыл замок за семь минут и выбрался в коридор, ведущий в часовню; потом с помощью штыря от одной из внутренних решеток открыл еще четыре двери, каждая из которых была заперта и заложена засовом с другой стороны. Открыв последнюю дверь, он очутился вне тюрьмы, над городскими крышами. Тут он вспомнил, что забыл одеяло — оставил его в камере. Тогда он тем же путем, через часовню и по трубе, вернулся обратно в «Каменный замок», чтобы забрать его. Затем снова вылез на крышу и по одеялу, приколотому штырем к каменной стене, бесшумно спустился на землю.

Несколько дней после этого он скрывался, при-

творяясь то нищим, то мясником — два самых типичных лондонских персонажа, — в то время как на улицах вокруг распевали песенки, прославляющие его последний побег. Под видом посыльного он посетил типографа, печатавшего те «Предсмертные речи», которые, как он знал или догадывался, будут сопровождать на эшафот его самого. Он ограбил ростовщика с Друри-лейн и на добытые таким образом деньги купил себе модный костюм и серебряную шпагу; потом нанял карету и под влиянием той склонности к театральным эффектам, которая, казалось, никогда не оставляла его, проехал под аркой самого Ньюгейта, прежде чем отправиться в путешествие по окрестным трактирам и кабакам. Пойманный в тот же вечер — через две недели после побега, — он был вновь помещен в тюрьму, из которой недавно выбрался с такой ловкостью; за ним постоянно наблюдали, потом отвели его в суд и снова приговорили к смерти, причем в тот день его «окружала самая многочисленная толпа, какая когда-либо собиралась в Лондоне». Согласно приговору, Шеппарда должны были повесить в течение недели. Ходили слухи, что он вырвется у Литтл-Тернмилл на Холборне, — и по дороге в Тайберн у него отняли перочинный нож, — но

ему не суждено было спастись от того, что Питер Лайнбо назвал его «окончательным побегом».

Несмотря на свою широкую популярность, фигура Шеппарда во многом остается для нас загадочной. Мы можем предположить, что одержимость идеей побега развилась у него в детстве, когда он жил в работном доме на Бишопсгейте, а свою поразительную сноровку этот легендарный вор приобрел, работая у плотника в учениках; очевидно, что именно там он научился пользоваться напильниками и резцами. Он был жестоким и бессовестным человеком, но серия его побегов из Ньюгейта преобразовала всю атмосферу города, большинство жителей которого восторгалось его отвагой. Вырваться из стен самого наглядного символа подавляющей власти — из «черной тучи», преследовавшей Босуэлла, — значило в известном смысле освободиться от всех уз обычного мира. Таким образом, мы можем приравнять опыт жизни в тюрьме к опыту жизни в самом городе. Это привычная и зачастую оправдывающая себя аналогия, но история Джека Шеппарда позволяет увидеть в ней нечто новое. Он практически никогда не покидал Лондона, хотя мог и даже должен был сделать это ради собственного спасения; например, проведя

три дня в бегах в Нортгемптоншире, он приехал обратно в столицу. После своего предпоследнего побега из Ньюгейта он вернулся в Спитал-филдс, где жил в раннем детстве. Сбежав из тюрьмы в последний раз, он отказался уезжать из Лондона, несмотря на мольбы родных. В этом смысле он был истинным лондонцем, который не мог и не хотел действовать вне собственной территории.

У него были и другие черты подлинного лондонца. После своих побегов он скрывался под личинами разных мастеровых и любил совершать эффектные поступки. Проехать в карете через Ньюгейт — это было поистине гениальной драматургической находкой. Шеппард был нечестивцем вплоть до полного неверия, а его бунт против собственности имел нечто общее с эгалитаризмом «черни». После одного из его побегов в уличной брошюрке можно было прочесть восторженные слова: «Горе лавочникам и горе торговцам всяким товаром, ибо рыкающий лев опять на свободе!» Так Джек Шеппард стал неотъемлемой частью лондонской мифологии, и его свершения были воспеты в стихах, балладах, пьесах и прозе.

В 1750-м смрад Ньюгейта распространился по всему окрестному району. Тогда стены тюрь-

мы были вымыты уксусом, а внутри соорудили вентиляционную систему, причем семеро из одиннадцати членов рабочей бригады заразились «тюремной лихорадкой» — по этому факту можно судить об уровне заболеваемости и среди заключенных. Пять лет спустя обитатели Ньюгейт-стрит по-прежнему «не могли спокойно выйти за порог», а покупатели не желали посещать местные лавки, «опасаясь заразы». Были даже рекомендации для тех, кто мог очутиться поблизости от арестантов: «ради осторожности ему следует опорожнить кишки и желудок за день-два до этого, дабы удалить из них всякое гнилостное или гнилоподобное вещество, кое может там оказаться».

В 1770 году тюрьма была заново отстроена Джорджем Дансом, и поэт Крабб охарактеризовал ее как «большое, прочное и прекрасное здание» — «прекрасное», несомненно, вследствие простоты своего назначения. «В ней нет ничего, — писал один современник, — кроме двух огромных корпусов без окон, каждый из которых представляет собой квадрат со стороной в девяносто футов». В 1780-м она была сожжена мятежниками, а через два года восстановлена по тому же проекту. Теперь она отвечала требованиям гигиены в

гораздо большей степени, чем многие другие лондонские тюрьмы, но нечто от прежнего духа все же осталось. Уже через несколько лет после восстановления новая тюрьма «приобрела мрачный вид здания, населенного призраками прошлого». Былые условия жизни внутри нее также начали возвращаться, и в начале XIX века в «Ньюгейтских хрониках» сообщалось, что «буйные безумцы мечутся по камерам, наводя ужас на окружающих… пародии на свадьбы в большом ходу среди заключенных… здесь истинный рассадник и школа преступлений… самые отъявленные злодеи свободно развращают и деморализуют своих более невинных собратьев».

Благодаря хлопотам Элизабет Фрай в 1817 году это место стало несколько меньше напоминать «ад на земле», однако в официальных отчетах тюремного инспектора за 1836 и 1843 годы по-прежнему отмечается, что узников Ньюгейта содержат в крайне тяжелых условиях. Непосредственно после составления первого из этих отчетов Ньюгейт посетил молодой журналист Чарлз Диккенс, на которого с детства оказывали гипнотическое действие зияющие ворота этой мрачной обители; по его собственному признанию, сделанному в «Очерках Боза», он часто

размышлял над тем, что тысячи людей каждый день «непрерывной, шумливой рекою жизни текут мимо этого мрачного вместилища порока и страданий Лондона, не уделяя ни единой мысли сонмищу заключенных здесь несчастных созданий»[52]. Они «смеются и посвистывают», когда «всего какой-нибудь ярд отделяет их от такого же, как они сами, человеческого существа, связанного и беспомощного, чьи часы сочтены», ибо день его казни уже назначен. В своем втором романе, «Оливере Твисте», Диккенс возвращается к этим «страшным стенам Ньюгета, скрывавшим столько страдания и столько невыразимой тоски»[53]. Здесь Фейджин сидит в камере для осужденных — Диккенс отмечает, что тюремная кухня находится рядом с двором, в котором воздвигнут эшафот, — и на гравюре Джорджа Крукшенка, выполненной после посещения им одной из таких камер, изображены каменная скамья и матрац на ней. Больше ничего не видно — только железные прутья, вделанные в толстую каменную стену, да горящие глаза самого узника. Юный Оливер Твист добирается до этой камеры «темными,

[52] Примечания: 52
Перевод М. Лорие.

[53] Примечания: 53
Перевод А. Кривцовой.

извилистыми коридорами» Ньюгейта, хотя тюремщик предупреждает, что «такое зрелище не для детей». Скорее всего, Диккенс вспоминает здесь свое собственное прошлое, поскольку одним из его самых стойких детских впечатлений о Лондоне было посещение отца и родных в тюрьме Маршалси в Саутуорке. Возможно, поэтому образ Ньюгейта преследовал его всю жизнь и поэтому однажды ночью, ближе к концу жизни, усталый и разочарованный, он вернулся к этой старинной тюрьме и, «прикасаясь к шероховатому камню», стал «думать о спящих внутри заключенных».

Диккенс писал о периоде, когда Ньюгейт перестал быть обыкновенной тюрьмой и использовался лишь для содержания приговоренных к смертной казни (а также тех, кто ожидал вынесения приговора в находившемся рядом Центральном уголовном суде), однако в 1859 году было произведено новое усовершенствование: тюрьму перестроили, соорудив в ней одиночные камеры, где преступники могли находиться в тишине и уединении. В цикле статей, опубликованных в журнале «Иллюстрейтед Лондон ньюс», узник, ожидающий порки, называется «пациентом». Таким образом, тюрьма как бы становится больницей — а может быть, автор хочет сказать,

что больница ничем не лучше тюрьмы.

Так городские учреждения начинают походить одно на другое. Ньюгейт отчасти напоминал и театр, поскольку по средам или четвергам, с двенадцати до трех, его открывали для посетителей. Любопытным демонстрировались гипсовые слепки с голов знаменитых преступников и цепи с наручниками, в которые некогда был закован Джек Шеппард; желающих ненадолго запирали в камере смертников и даже ставили к старинному позорному столбу. В конце экскурсии их проводили по «Птичьей клетке» — коридору, соединяющему камеры Ньюгейта с судебными помещениями; здесь же они могли почитать «интересные надписи на стенах», отмечавшие места захоронения казненных. Название этого коридора приводит на память сцену из романа «Дитя Джейго» Артура Моррисона, в которой девочка навещает отца, сидящего в Ньюгейте «за двойной железной решеткой, покрытой проволочной сеткой», после чего у нее в памяти надолго остается «образ отца как человека, жившего в клетке».

Последняя казнь в Ньюгейте состоялась в первые дни мая 1902 года, а спустя три месяца начались работы по деконструкции тюрьмы. Пятнадцатого августа в четверть третьего по-

полудни, как свидетельствует «Дейли мейл», вышедшая на следующий день, «на тротуар выпал камень размером с человеческую ступню, и в пробоине показалась рука с зубилом. Вскоре собралась небольшая толпа зевак». Также было отмечено, что вокруг статуи свободы на крыше здания расхаживали «старые голуби, грязные и прокопченные, как сама тюрьма, — все остальные городские голуби гораздо опрятней на вид». По крайней мере, эти птицы не стремились расставаться со своей лондонской клеткой.

Через полгода в Ньюгейте был устроен аукцион по продаже тюремных «сувениров». Орудия телесных наказаний были проданы за 5 фунтов 15 шиллингов, а гипсовые головы знаменитых преступников пошли с молотка по 5 фунтов за штуку. Две огромные двери и позорный столб любопытные могут и теперь увидеть в Музее Лондона. А на месте старой тюрьмы стоит здание Центрального уголовного суда — Олд-Бейли.

Глава 25
О самоубийствах

Многие накладывали на себя руки в стенах Ньюгейта, но и среди свободных лондонцев всегда хватало самоубийц, лишавших себя жизни самыми разными способами. Люди бросались вниз с Галереи шепота в соборе Св. Павла, травились на запыленных лондонских чердаках и топились от несчастной любви в Сент-Джеймсском парке. Широкой популярностью среди самоубийц пользовался Монумент, воздвигнутый в память о Великом пожаре; они спрыгивали с верхушки столпа и падали чаще на его основание, чем на мостовую. Гроле пишет в своем «Путешествии по Англии», что 1 мая 1765 года «жена некоего полковника утопилась в канале Сент-Джеймсского парка, на Друри-лейн повесился пекарь, а одна девушка, жившая близ Бедлама, сделала попытку покончить с собой тем же способом». Летом 1862 года внимание общественности привлекла «эпидемия самоубийств». В том же столетии из Темзы постоянно вылавливали утопленников.

По числу самоубийств Лондон занимал первое

место среди европейских столиц. Еще в XIV веке Фруассар назвал англичан «весьма мрачным народом», и эта характеристика справедлива в первую очередь по отношению к лондонцам. Француз полагал, что тяга последних к самоубийствам — проявление их «природной эксцентричности», хотя более проницательный наблюдатель объяснял ее «презрением к смерти и отвращением к жизни». Другой француз писал об унынии в лондонских семьях, «где не смеялись в течение трех поколений», и отмечал, что осенью горожане накладывают на себя руки, «дабы спастись от непогоды». Еще один приезжий также выразил уверенность в том, что «стремление покончить с собой, безусловно, вызывается туманами». В качестве другой вероятной причины он назвал употребление в пищу говядины, поскольку «из-за ее вязкой тяжести к мозгу поднимаются лишь желчные и меланхолические пары»; этот диагноз любопытным образом перекликается со старым поверьем лондонцев, считавших, что увиденное во сне мясо «означает смерть друга или родственника». Здесь можно вспомнить и о недавней истории с «коровьим бешенством».

По наблюдениям того же Гроле, «в Лондоне подавленность доминирует везде — в каждой семье,

во всех слоях населения, на любом мероприятии, как частном, так и общественном… Печатью этой скорби отмечены самые веселые сборища, даже в низших кругах». Достоевский писал о «мрачном характере», «не оставляющем» лондонцев даже «среди веселья». Вино, которое продавалось в лондонских тавернах, также якобы «порождало эту меланхолию, столь повсеместную». В нарушении у англичан душевного равновесия обвиняли даже театр; один путешественник описывал, как сын его домовладельца, посмотревший спектакль «Ричард III», «вскочил ночью с постели и принялся колотить в стену головой и ногами, вопя как одержимый, а затем стал кататься по полу в страшных корчах, заставивших нас опасаться за его жизнь: ему чудилось, что его осаждают все призраки из трагедии о Ричарде Третьем и все мертвецы с лондонских погостов». Словом, причины недуга видели во всем, кроме разве что тяжелой, изнуряющей атмосферы самой городской жизни.

Глава 26
Места заключения

В Лондоне было больше тюрем, чем в любом другом европейском городе. Он был знаменит своими местами заключения — от пенитенциария в Храме тамплиеров до долговой ямы на Уайткросс-стрит, от тюрьмы на Дедманс-плейс в Банксайде до каунтера на Гилтспер-стрит. Острог был и в Ламбетском дворце, где пытали лоллардов, ранних религиозных реформаторов, и на Сент-Мартин-лейн, где «двадцать восемь человек бросили в яму шесть на шесть футов и продержали там всю ночь», причем четыре женщины были задавлены насмерть. Постоянно строились новые темницы, от «Тана» на Корнхилле в конце XIII до «Уормвуд-скрабз» в Ист-Актоне в конце XIX века. В Пентонвилле — новой «образцовой» тюрьме — узников заставляли носить маски, а Новая тюрьма на Миллбанке была устроена как «паноптикум», в котором можно было наблюдать за всеми камерами и всеми заключенными одновременно.

С начала XVII столетия лондонские тюрьмы,

подобно лондонским церквам, стали «воспеваться» в стихах:

В столице и окрест я насчитал
Острогов ровным счетом восемнадцать
Да шестьдесят столбов позорных и клетей.

Первое место в этой скорбной литании занимает вестминстерский Гейтхаус, а затем следует панегирик в адрес тюрьмы Флит.

Флит была старше всех остальных тюрем, древнее Ньюгейта, и когда-то называлась попросту Лондонской тюрьмой; кроме того, она занимала одно из первых каменных зданий средневекового города.

Расположенная на восточном берегу речки Флит, она была окружена рвом «с тремя крутыми уступами» — сейчас на этом месте сбегает к Темзе Фаррингдон-стрит. Нижний, «опущенный» этаж ее был известен под названием «Варфоломеевской ярмарки», хотя из тюремных отчетов ясно, что это наименование было ироническим и по жестокости царивших здесь порядков первая лондонская тюрьма не уступала прочим. Но самую широкую известность она снискала бла-

годаря «тайным» незаконным бракам, которые меньше чем за одну гинею заключали в ее стенах лишенные сана священники. К началу XVIII века в тавернах этого района было уже около сорока «брачных заведений», причем по меньшей мере шесть из них носили название «Рука и перо». Женщин, опоенных или одурманенных, можно было привести сюда и женить на себе, чтобы присвоить их деньги; невинных девушек вводили в заблуждение, сочетая их «законным» браком с мошенниками. Здесь жил некий часовщик, прикидывающийся священником, — он называл себя «доктором Гейнемом». Его дом стоял на Бриклейн, а сам он имел обыкновение прогуливаться по Флит-стрит. Когда он всходил на Флит-бридж, его представительную фигуру в шелковой мантии с белыми лентами можно было опознать издалека; у него было «приятное лицо, однако же с многозначительным румянцем». Местные жители прозвали его «Чертовым епископом».

Несколько раз сама тюрьма Флит подвергалась сожжению; последний сильный пожар произошел в 1780 году по вине злоумышленников, которых возглавлял — что весьма символично — некий трубочист. Она была отстроена по старому проекту, благодаря чему многие ее любопытные

особенности сохранились. Например, в одной из стен тюрьмы, выходившей на улицу, которая теперь называется Фаррингдон-стрит, было зарешеченное окно; под ним висела железная кружка для милостыни, а один из заключенных постоянно выкрикивал изнутри: «Помните о бедных узниках!» Именно в эту тюрьму угодил Сэмюэл Пиквик, который, побеседовав с ее обитателями, «забытыми» и «оставленными без внимания», заявил: «Я видел достаточно… У меня голова болит от этих сцен и сердце тоже болит».

Тюрьма Флит была снесена в 1846 году, но место, на котором она стояла, расчистили лишь спустя восемнадцать лет. Там, где раньше были тюремные стены и камеры, возникли «тупики» — узкие и полные народу, они даже в солнечные летние дни оставались «сумрачными и унылыми», так что прежняя атмосфера не исчезла и после разрушения самой темницы.

Возможно, что именно Флит вдохновила Томаса Мора на создание его знаменитой метафоры, в которой мир сравнивается с тюрьмой: «Кто привязан к столбу… кто в подвале, кто в камере на верхнем этаже… кто плачет, а кто смеется, кто трудится, а кто играет, кто поет, кто бранится, а кто затевает драки». В конце концов Мор

и сам стал заключенным, но до этого, в свою бытность заместителем шерифа, он посадил в тюрьму многих столичных жителей. Одних он отправил в «Олд-каунтер» на Бред-стрит, других — в «Полтри-каунтер» близ Баклерсбери; в 1555-м тюрьма на Бред-стрит была перенесена чуть дальше к северу, на Вуд-стрит, где один из ее заключенных вторил Томасу Мору. Его слова цитируются в «Лондоне старом и новом»: «Сия малая темница подобна целому городу, ибо как в городе есть всякого рода чиновники, торговцы и представители самых разных профессий, так и тут имеются весьма похожие на них люди». Сидящих в тюрьме мужчин называли «крысами», а женщин — «мышами». Ее подземные коридоры до сих пор уцелели в маленьком дворике рядом с Вуд-стрит; их камни холодны на ощупь, а в воздухе витает сырость. Некогда новый заключенный выпивал «полную чашу кларета», дабы отметить свое вступление в новое «общество», да и теперь еще в старом каунтере порой устраиваются банкеты и вечеринки.

Образ города как тюрьмы имеет очень глубокие корни. В своем романе «Калеб Уильямс», сочиненном в конце XVIII века, Уильям Годвин описывает «двери, замки, засовы, цепи, массивные стены

и зарешеченные окна» острога, а потом утверждает, что «это и есть общество», что тюремная система отражает собой «весь общественный механизм».

Когда в 1852 году была открыта тюрьма Холлоуэй, по обе стороны от ее входа посадили двух каменных грифонов, которые служат и эмблемой самого Лондона. На камне в ее основании высечена надпись: «Да сохранит Господь город Лондон и сей дом во устрашение злодеям». Любопытно, что в работе над нею архитектор Джеймс Баннинг опирался на те же принципы, что и при проектировании Угольной биржи и Столичного рынка скота. Между некоторыми из крупнейших общественных зданий города наблюдается заметное сходство.

В 1970-х В. С. Притчетт в очередной раз уподобил город «каменной тюрьме», а в 1805-м Вордсворт проклял его, назвав «тюрьмой, где он был долго заточен»; затем, в 1851-м, и Мэтью Арнольд назвал его «медной тюрьмою», обитателям которой «грезится ничто за тюремными стенами». В 1884-м свой голос к этому обвинительному хору добавил Уильям Моррис:

Вот Лондон, мрачная сеть и тюрьма,

Возведенная алчностью многих веков.

Его убогое жилище было «камерой в тюрьме усталого Лондона». Кейр Харди, вернувшись в свой родной Эршир в 1901 году, написал, что «Лондон — это город, о котором я постоянно вспоминаю с ужасом, точно о месте заточения». В своем «Лондонском дне», вышедшем из печати примерно в ту же пору, Томас Холмс говорит о лондонских узниках: «Мы видим множество лиц, приводящих нас в смятение, и сразу же понимаем, что почти все эти люди обделены жизнью и заслуживают не мести, а жалости». В некоторых городских кварталах царила такая бедность, что Холмс заключает: «В остроге этим несчастным живется лучше, чем в собственном доме». Таким образом, они просто перебрались из одной тюрьмы в другую. Но настоящая тюрьма, по выражению кокни, была местом, «где собаки не кусают».

Существовали в Лондоне и места, где люди пользовались «правом убежища» — это были оазисы, куда по видимости не простиралась зловещая тень тюрем. Когда-то они были владениями крупных религиозных организаций; монахи и монашки давно исчезли, но «волшебная

сила» этих мест сохранялась по-прежнему. Среди них были Сент-Мартин-ле-Гранд и Уайтфрайарс; прежде там находились обители кармелитов и белых католиков, но затем в этих местах стали искать спасения от преследователей и ареста «люди самого низкого сорта, мошенники и разбойники, воры, злоумышленники и убийцы». Один из предполагаемых убийц «тауэрских принцев» (племянников короля Ричарда III, по его приказу задушенных в Тауэре в 1483 году), Майлс Форест, пробрался в Сент-Мартин и оставался там, «покуда не сгнил мало-помалу». «Четками Св. Мартина» называли в народе поддельные драгоценности. Право убежища в Сент-Мартин-ле-Гранд было отменено в начале XVII столетия, но чары Уайтфрайарс действовали в течение более долгого периода. Лондонцы прозвали этот уголок Лондона Эльзасом (по имени знаменитой пограничной области на северо-востоке Франции), потому что туда не отваживались заходить ни приходские, ни муниципальные блюстители порядка: как только они появлялись, вокруг сразу начинали кричать «Убежище!» и «Бей ищеек!», хватали несчастных и безжалостно избивали их. Теперь это место находится между Дорсет-стрит и Мэгпай-элли — оно ограничено Солсбери-сквер

и Хэнгинг-Сорд-элли.

История двух других убежищ связана с чеканкой денег. Они находились на монетных дворах в Уоппинге и Саутуорке, словно изготовление денег — столь же священный процесс, как и любая деятельность обитателей монастыря или церкви. В середине 1720-х годов представители городских властей пытались проникнуть к уоппингским «чеканщикам» и разогнать преступников, но получили отпор. Одного из бейлифов «засунули в яму, куда сбрасывали содержимое отхожих мест», а другого силком провели перед толпой «с говешкой во рту». Здесь наглядно проявилась параллель между деньгами и экскрементами.

Другие убежища по-прежнему действовали близ некоторых церквей, точно традиция милосердия продолжала существовать в менее выраженной форме. Район Блэкфрайарс пользовался дурной славой логова преступников и нищих. Убежище близ Вестминстерского аббатства много веков оставалось «плохим и опасным местом», а Шайр-лейн у церкви Сент-Клемент-Дейнс прозвали «Рогс-лейн» («Разбойничий переулок»). Здесь были притоны «Дом попрошаек», «Нора» и «Монетный двор»: в последнем чеканили фальшивую монету, причем, как утверждается в «Лондоне

старом и новом», «в каждой комнате этого дома был свой тайник… все детали оборудования для производства фальшивых денег и сами работники в случае тревоги исчезали в мгновение ока, словно по волшебству». Таким образом, лондонские убежища, как и тюрьмы, пользовались среди жителей города дурной славой, и редко кто отправлялся туда по доброй воле.

Глава 27
Галерея мошенников

Также как и учреждений, связанных с преступлениями и наказаниями, нарушителей закона хватало в Лондоне от века. Еще в XIV столетии иные лондонцы подделывали документы и занимались шантажом, а в коронерских отчетах за 1340 год можно найти длинный перечень «содержателей публичных домов, ночных грабителей, женщин с дурной репутацией». Уже тогда город был так переполнен ворами, что городские власти пользовались правом «вешать воров, застигнутых на месте преступления (cum manu opere)», без суда и следствия.

Однако литература, посвященная лондонскому преступному миру, стала достаточно богатой лишь в XVI столетии. Роберт Грин и Томас Деккер изобразили перед читателями картину лондонского дна, кишащего ворами и мошенниками, столь же древнего и столь же нового, как и сам город. Несомненно, воровской жаргон, или арго, имел очень глубокие корни, и отдельные, наиболее красочные выражения из его слова-

ря были в ходу как минимум до середины XIX века. «Махнем-ка в Ромвиль щипнуть мошну» можно перевести как «Давай пойдем в Лондон и взрежем у кого-нибудь кошель». Почему Лондон получил прозвище «Ромвиль» (то бишь Рим) задолго до того, как его начали сравнивать с этим могущественным городом, остается загадкой. «Там зябнет смурной малый. Добро бы замесить его» («Там живет мрачный человек с тяжелым характером. Неплохо было бы его ограбить»).

Отдельные личности, так же как и их высказывания, оживают на страницах этих старинных хроник преступлений: «Джон Стрэдлинг с трясущейся головой… Генри Смит, который растягивает слова… Джон Браун, заика» — каждый из них избрал своим занятием одну из разновидностей жульничества, бывших в ходу в XV веке. Само их ремесло также выдержало испытание временем. Мошенников, предлагающих зрителям угадать, под каким из стаканчиков спрятан шарик, можно встретить на лондонских улицах и теперь, в XXI веке; таким способом в столице обманывают простаков вот уже больше тысячи лет.

Описывая «авраамов» (людей, притворявшихся сумасшедшими), «шустряков» (тех, кто таскал вещи из открытых окон) и «лихачей» (воров-

лошадников), Деккер и Грин, пожалуй, иногда перегибают палку: вряд ли улицы Лондона XVI века и впрямь были такими опасными, какими они их изображают. Однако в некоторых районах преступность действительно процветала. Например, окрестности Чик-лейн и Филд-лейн в Кларкенуэлле всегда пользовались в этом смысле дурной славой. На самой Чик-лейн стоял дом, в котором прежде находилась гостиница «Красный лев», — в XVIII веке, когда его разрушили, обнаружилось, что ему было уже триста лет; Хекторн, автор книги «Памятные места Лондона», сообщает, что там были «замаскированные чуланы, люки, отодвигающиеся панели и тайники». Один из этих люков находился над каналом Флит-дич и «позволял легко избавляться от трупов». Рядом с Рэтклифф-хайвей была путаница мелких улочек с названиями вроде Хог-ярд и Блэк-Дог-элли, Мани-Бэг-элли и Хэрбрейн-корт[54], известных «моральным разложением» их обитателей. Близ Уотер-лейн, рядом с Флит-стрит, стоял еще один притон, который именовали «Кровавой чашей», потому что там «почти ежедневно проливалась кровь и редкий месяц обходился без убийства».

---

[54] Примечания: 54

В эти названия входят слова, означающие «боров» и «черный пес», «денежный мешок» и «сорвиголова».

Несколько более сдержанно городской хронист XVII века сообщает об облаве, учиненной в трактире Уотгона на Смартс-ки близ Биллингсгейта. Этот трактир на самом деле был «школой, где малышей учили опорожнять кошельки». Кошельки и мешочки подвешивались на веревочке с прикрепленными к ним «колокольцами»; если ребенок мог вынуть оттуда монету так, чтобы колокольчик не звякнул, «его признавали славным щипалой». В следующем веке другая такая «школа» открылась на Смитфилде, где владелец таверны обучал детей шарить по чужим карманам, красть вещи из лавок, залезая в окна, и проникать в дома простым способом: они притворялись, что спят под стеной, а сами потихоньку расковыривали кирпичи и известку, пока не образовывалась достаточно большая дыра.

В этих описаниях преступлений есть любопытная деталь: сами преступники с удовольствием пользовались словом «закон». «Обманный закон» означал игру фальшивыми костями, «тонкий закон» — распространение фальшивых денег, «ловкий закон» — карманные кражи. Таким образом, на лондонском дне царили свои «законы».

Однако изобретались и новые виды преступлений. Например, в XVII столетии разбойные

нападения на дорогах стали известны под названием «дорожного закона». Век карет стал также веком их грабежей, и в последние дни 1699 года Джон Эвелин писал: «В эту неделю нападения на кареты и путников совершались на участках меж фонарей, поставленных по обе стороны дороги от Лондона до Кенсингтона». В то время на перегонах между яркими фонарями, стоявшими вдоль большой дороги, была непроглядная темень, и грабители этим пользовались. На страницах «Лондонских висельников» приводится даже их разговор. Один бродяга, Эдвард Смит, предлагает товарищу «пойти на выгодное дело» (ограбить кого-нибудь на большой дороге). «Ударим по рукам — ведь некому позаботиться об нашем будущем, окромя нас самих». А если их ловили? Есть рассказ и о том, как одного вора поймали и доставили в Лондон: «По пути он проявлял непокорство, дергал под уздцы лошадь, а ежели кто приближался к нему, то он делал знаки руками, как бы стреляя из пистолета, и кричал пу-у!» Хаунслоу-хит и Тернем-грин, Марилебон и Тоттнем-корт-роуд были особенно опасны для неосторожных. Там грабили в основном пеших путников. В начале XVIII века те, кто направлялся в Лондон, старались объединяться в группы для

совместной защиты и выходили в дорогу только со звоном колокола; вдобавок по вечерам их сопровождали люди с зажженными факелами.

Такие же факелы требовались и для путешествий по улицам самого города. «Около полуночи одного джентльмена остановили на Холборне двое разбойников, а когда он начал сопротивляться, застрелили его насмерть и ограбили… Некий Ричард Уотсон, сборщик дорожной пошлины, был найден варварски убитым в своей будке». В «Лондоне» Чарлза Найта рассказывается, что женщина, обслуживавшая посетителей в марилебонском трактире, «часто удивлялась, как это я ни разу не пострадал от разбойников с большой дороги, коих было полно в этих краях; а ведь мне приходилось идти до самого Лонг-Эйкра и, стало быть, подвергаться огромному риску». Комментатор в той же книге замечает, что жители Лондона «относились к соседству с ворами примерно также, как поселенцы в новой стране относятся к соседству диких зверей, наводняющих окрестные чащи».

У «славных щипал» предыдущих веков появились преемники, и в XVIII столетии улицы Лондона «кишели карманниками, столь же дерзкими, сколь хитрыми и пронырливыми». Они

крали даже рядом с виселицей, на которой кое-кому из них было суждено окончить свои дни, и «ни одна публичная казнь не обходилась без того, чтобы у кого-нибудь не пропал платок или другая вещь». Если их ловили на месте преступления сами горожане, они волокли пойманных к ближайшему колодцу или источнику «и макали в воду чуть не до утопления». Если же воры попадали в руки властей, их ждало более серьезное наказание. К середине XVIII столетия количество преступлений, за которые мужчине или женщине грозила казнь через повешение, выросло с 80 до 350 и более. Но проку от такой суровости, по-видимому, было немного. Несколькими годами позже в «Трактате о работе столичной полиции» отмечалось, что «в Лондоне регулярно занимаются криминальной деятельностью 115 000 человек». Это составляет около одной седьмой тогдашнего городского населения. Так, в 1774 году в «Джентлменс мэгэзин» писали, что «газеты более чем когда-либо переполнены сообщениями о грабежах и кражах со взломом, а также историями о жестокостях, учиненных грабителями». Отсюда мы можем заключить, что в пору благоденствия и «значительного» достатка преступления против собственности были

столь же частыми, как и преступления против людей, — и это несмотря на то, что с ростом ценности украденного имущества соответственно возрастал и риск быть повешенным.

Питер Лайнбо тщательно изучил статистику казней через повешение на протяжении всего XVIII века и пришел к любопытным выводам. Коренные лондонцы попадали на виселицу, как правило, в возрасте двадцати с небольшим лет, тогда как приезжие — несколько позже. По профессии те, кто всходил на эшафот, были в основном мясниками, ткачами и сапожниками. Между мясниками и грабителями с большой дороги просматривалась явная связь (сам Дик Терпин в свое время работал подручным у мясника). С культурной и социологической точек зрения эту связь интерпретировали по-разному, но, в общем, лондонские мясники всегда отличались несдержанностью и эгоизмом, а порой и склонностью к насилию.

Они определенно пользовались наибольшим почетом среди всех столичных торговцев, и один посетивший Лондон иностранец писал, что «удивительно видеть такое количество мясницких лавок во всех приходах — ими буквально забиты все улицы». Они зачастую становились лиде-

рами местных сообществ; например, мясники с Клэр-маркет, близ которого было множество театров, описывались как «выразители мнения галерки и всей театральной публики, музыканты на свадьбах актрис, главные плакальщики на похоронах актеров». Они же возглавляли народ во времена бедствий и беспорядков. Например, об одной кровавой расправе сообщалось: «Мясники начали смуту первыми, и вскоре все остальные также поднялись против сборщика акциза». Неудивительно, что именно мясники и их подмастерья оказались наиболее склонными к совершению дерзких и жестоких преступлений.

В 1751 году Генри Филдинг опубликовал свое «Исследование причин роста преступности в наше время», а годом позже в уголовном кодексе добавилось новое положение, призванное застращать потенциальных убийц: теперь тела повешенных должны были подвергаться публичному вскрытию. Возможно, непосредственным поводом к принятию этой меры стал рост числа преступлений, но в любом случае она была выражением паники среди легковерных и опасающихся за свою жизнь горожан.

Лондон всегда был главным очагом распространения паники и слухов. Например, в одном

официальном отчете конца XX века указывалось, что «страх перед преступниками сам по себе является социальной проблемой», и приводились данные, свидетельствующие, что гораздо большее относительное количество лондонцев — по сравнению с жителями других районов — не чувствует себя в безопасности как дома, так и на улице. Пожалуй, это подтверждает мнение одного лондонца, который еще в 1816 году писал: «Собственный опыт автора, объездившего почти всю Европу… позволяет ему заключить, что нигде в ней нет более опасных районов, нежели окраины Лондона». Конечно, в ту пору это был еще относительно компактный и замкнутый город — с ростом столицы жить в ней стало чуть менее опасно, — а нравы и поведение тогдашних преступников явно были унаследованы ими от их предшественников XVIII века.

Например, уличные грабители в начале XIX столетия стали называться иначе, чем в XVIII, но манеры их от этого не изменились. Взломщики этого периода назывались «скокарями», а те, кто обчищал карманы пьяных, — «охотниками на бабочек»; вор, селившийся в гостинице, прежде чем обокрасть постояльцев, именовался «лодырем», а так называемые «обходчики» проверяли задние

двери домов в надежде найти их открытыми и без присмотра. Все это были типичные городские преступления, а совершали их в основном профессиональные воры, карманники, грабители и те ловкачи и бессовестные торговцы, которые пользовались доверчивостью и неосмотрительностью отдельных представителей многоликой толпы.

Хотя утверждение автора «Улиц Лондона» Томаса Берка о том, что «истинный знаток города может отличить представителя каждого человеческого типа по его одежде и манерам», кажется слишком смелым, преступники действительно составляли неотъемлемый и узнаваемый элемент городской жизни вплоть до середины XIX столетия. Их язык, подобно жаргону «авраамов» предыдущего века, тоже был весьма своеобразен и выразителен: «хожу жохом… выначиваю что подвернется… влопаюсь — сгорю». В этой «блатной музыке» были и свои музыкальные термины: жуликов называли «диезами», а их жертв — «бемолями».

В 1867 году, по тогдашним отчетам, численность «криминального класса» достигла 16 000 человек. Однако на улицах к тому времени стало гораздо безопаснее, чем прежде. Пятью годами

раньше в столице резко участились жестокие уличные нападения с целью грабежа, но эта вспышка насилия была успешно подавлена с помощью не менее жестоких мер наказания. Таким образом, уже нельзя было пожаловаться, как сорок лет назад жаловался герцог Веллингтон, что «по ночам на главных улицах Лондона полно бродяг и пьяных женщин», а также «организованных воровских шаек». На протяжении всей прежней истории города воры и бродяги собирались на множестве «островков» близ главных столичных магистралей, тогда как к середине XIX века они оказались вытесненными на окраины метрополиса, ставшего заметно более цивилизованным. Больше всего их скопилось на восточных окраинах, в районе, вскоре получившем название Ист-энда. Этот район уже за шестнадцать лет до того, как Джек-потрошитель прославил Уайтчепел, был известен своими воровскими притонами и низкопробными трактирами, «из которых постоянно несло какой-то затхлой сыростью», извечными спутниками уличной преступности. На Бетнал-грин тоже были пабы и частные дома, «служившие удобными и укромными „биржами“, куда стекались проститутки и мошенники всех сортов,

так называемые „деловые люди“». Это слова Артура Моррисона, написавшего свою книгу «Дитя Джейго» в конце XIX века, когда воровской сленг изменился в очередной раз и традиционные лондонские преступления получили еще более красноречивые наименования. В насмешку и, возможно, с оттенком скрытой почтительности терминология финансового и торгового Лондона пародировалась людьми, которые по-своему — менее открытыми, хотя и более одиозными способами — также способствовали кругообороту товаров и городского капитала.

Моррисон сообщает, что в конце XIX века на Бетнал-грин и в ее окрестностях хозяйничала бандитская группировка, объединявшая самых авторитетных преступников. По сути, он описывает типично лондонское образование — организованную банду, куда входили наиболее ловкие и наиболее жестокие представители криминальных кругов, возглавляемые одним или двумя лидерами. Подобные банды контролировали определенные районы или конкретные области деятельности. В 1730-х Дик Терпин возглавлял «Эссексскую банду», состоявшую из воров и контрабандистов, а десятилетием раньше такие одаренные личности, как Джонатан Уайлд,

умудрялись доминировать над всем преступным миром Лондона. Но по мере своего роста город начинал делиться на территории, контролируемые разными группировками.

В XIX веке соперничающие банды вели борьбу за территории и области влияния. В начале XX века восточный Лондон вновь стал ареной кровавого конфликта. Противостояние двух банд — Гардинга и Богарда — разрешилось жестокой стычкой в баре «Блюкоут бой» на Бишопсгейте. В 1920-е и 1930-е годы преступные кланы Сабини и Кортези воевали друг с другом на улицах Кларкенуэлла за контроль над ночными клубами и ипподромом, а в следующем десятилетии «семья» Уайта из Излингтона бросила вызов Билли Хиллу и его «крутым парням» с Севен-Дайалс.

Были и другие криминальные объединения — например, «Слоны», «Ангелы» и «Титаны». Они организовывали кражи и налеты на магазины, а также торговали наркотиками и получали доходы от проституции и предоставления «крыши» (иначе говоря, занимались рэкетом). В 1950-х и 1960-х годах свои районы эффективно контролировали братья Крей из Ист-энда и Ричардсоны «с того берега», то есть из южных пригородов. На территории, находившейся под властью Кре-

ев, народ, если воспользоваться выражением середины XIX века, «всегда глубоко почитал великих воров». Похороны Ронни Крея и 1995 году (процессия двигалась по Бетнал-Грин-роуд и Валланс-роуд) стали крупным общественным событием; как написал о жителях Ист-энда автор книги «Темная сторона» Иэйн Синклер, «у них необычайно развито чувство традиции». Воспоминания об «Эссекской банде» Дика Терпина и даже о знаменитых преступниках более раннего периода живы здесь и поныне.

Трудно назвать какую бы то ни было разновидность преступления абсолютно новой. Например, налеты на витрины магазинов стали особенно популярными в 1940-е и 1950-е годы, хотя случались они и гораздо раньше: существуют письменные свидетельства о совершении подобных налетов в XVII и XVIII веках. На смену бандам Креев и Ричардсонов пришли этнические группировки — к примеру, ямайская «Ярди» и китайская «Триада», — имеющие свои особые сферы влияния. В 1990-х, когда торговля такими наркотиками, как героин, кат, крэк и экстази, стала еще более прибыльной, в городе развернули свою деятельность криминальные группы из Нигерии, Турции и Колумбии. Члены клана

«Ярди» считаются виновными в том, что в XXI веке относительный процент убийств в городе, известном своей кровавой историей, вырос до невиданно высокой цифры. Убийство же, если перефразировать Томаса Де Куинси, — это одно из лондонских изящных искусств[55].

[55] Примечания: 55

Название знаменитого эссе Т. Де Куинси — «Убийство как одно из изящных искусств».

Глава 28
Самое чудовищное из преступлений

Убийство в Лондоне принимало различные формы. В XVIII веке многократно отмечались случаи, когда жертвам во время удушения откусывали носы. В конце этого века людей чаще всего душили и закалывали; в начале XIX-го более популярными стали перерезание горла и удар дубинкой по голове; в конце XIX-го пальма первенства перешла к отравлению и убийствам с нанесением разного рода жестоких увечий (в частности, топором).

Однако самой любопытной и интригующей чертой «убийства по-лондонски» остается, пожалуй, присущая ему загадочность — словно сам город действует рука об руку с преступниками. Жертвой одного из неразгаданных убийств XVII века, эпохи, когда смерть никого не удивляла, стал человек по имени Эдмунд Берри Годфри или Эдмунсбери Годфри. Его нашли в 1678 году на возвышенности, которая сейчас называется Примроуз-хилл: он был проткнут собственной шпагой, но «ни на его одежде, ни вокруг не было

крови», и «его башмаки были чистыми». Кроме того, его задушили и сломали ему шею; когда с него сняли одежду, обнаружилось, что грудь у него «сплошь в синяках». Другой странностью было то, что «его панталоны во многих местах были закапаны свечным воском». Возникло подозрение, что имел место католический заговор; по состряпанному обвинению были арестованы и казнены трое членов королевского суда в Сомерсет-хаусе, носившие фамилии Грин, Берри и Хилл. Примроуз-хилл, где было найдено тело, раньше назывался Гринберри-хиллом. Настоящих убийц так и не нашли, и складывается впечатление, что сама топография Лондона сыграла в этом деле зловещую роль.

Однажды весной 1866 года, в девять вечера, обитательница дома на Каннон-стрит Сара Миллсон спустилась по лестнице, услышав звон дверного колокольчика. Часом позже сосед с верхнего этажа нашел ее труп у подножия лестницы. На голове у Сары зияли глубокие раны, ставшие причиной смерти, но «туфли с нее были сняты и лежали на столике в прихожей»; крови на них не было. После убийства кто-то заботливо потушил газовый рожок, точно из соображений экономии. Сосед отворил дверь на улицу, чтобы позвать на

помощь, и увидел на пороге женщину, словно бы прячущуюся от сильного дождя, который как раз лил в то время. Он попросил ее помочь, но она тут же ушла, сказав: «Нет-нет, ни за что! Я не могу войти!» Власти так и не предъявили никому обвинения, но все характерные детали лондонской тайны в этом случае присутствуют, складываясь в почти символическую картину: дом с меблированными комнатами на Каннон-стрит, ливень на улице, газовый рожок, безупречно чистые туфли. Незнакомка, прятавшаяся на крыльце от дождя, только добавляет этому преступлению таинственности, — и снова создается впечатление, что убийство как-то связано с атмосферой самого города.

Вот почему преступления, совершенные Джеком-потрошителем с августа по ноябрь 1888 года, вошли в мифологию города как ее неотъемлемая часть, а районы Спитал-филдс и Уайтчепел кажутся мрачными пособниками неведомого убийцы. Газетные сообщения о выходках «Джека» стали непосредственным поводом для проведения парламентских расследований, посвященных изучению условий жизни в этих бедных кварталах и Ист-энде в целом; таким образом, прямо по стопам ужаснейших злодеяний двинулись

благотворительность и социальная помощь. Но в некотором более трудноуловимом смысле сами улицы и дома этих районов стали идентифицироваться с убийствами — причем до такой степени, что на них чуть ли не возлагалась доля вины за содеянное. В научном отчете Колина Уилсона говорится о «секретах» одной комнаты в трактире «Десять колоколов», расположенном поблизости, на Коммершл-стрит; в этом слышится намек на то, что здешние дома служили убийце своего рода исповедальней. В публицистике того времени сообщают о панике, порожденной уайтчепельскими убийствами. М. В. Хьюз, автор «Лондонской девушки восьмидесятых», написала: «Сейчас никто не поверит тому, насколько ужаснули и потрясли нас всех эти убийства». Это слова женщины, жившей на западе Лондона, то есть за много миль от Уайтчепела, и она добавляет: «А какой ужас царил на узких улочках, обитатели которых знали, что убийца бродит где-то рядом, — это поистине трудно себе представить». То, что лондонцы почувствовали в происшедшем «нечто сверхъестественное», свидетельствует о силе городского влияния и помогает ощутить своеобразие атмосферы поздневикторианского Лондона. Здесь вновь проявилась издревле

присущая жителям столицы склонность к язычеству. Убийства еще продолжались, а в свет уже начали выходить посвященные им книжки и брошюры под названиями «Тайны Ист-энда», «Проклятие Митр-сквер», «Джек-потрошитель, или Лондонские преступления», «Страшная тайна Лондона» и тому подобное. Таким образом, район, в котором действовал убийца, привлек к себе всеобщий интерес, и вскоре зеваки заполонили Бернерс-стрит и Джордж-ярд, Флауэр-стрит и Дин-стрит; в Уайтчепеле даже открылась выставка, где желающие могли полюбоваться на восковые фигуры жертв. Притягательность этого места и совершенных здесь преступлений столь велика, что даже сейчас по гостинице «Десять колоколов» и окрестным улицам ежедневно водят экскурсионные группы, состоящие в основном из иностранных туристов.

Итак, Лондон и убийство неразрывно связаны. Мартин Файдо, автор «Путеводителя по местам лондонских убийств», утверждает, что «больше половины всех знаменитых британских убийств были совершены в Лондоне», причем в разных районах превалировали определенные их разновидности. Камберуэлльское убийство выглядит более «респектабельным», тогда как брикстон-

ское — более жестоким; литания перерезанных глоток XIX века сменяется чередой отравлений. Однако, как замечает тот же исследователь, «в Лондоне совершалось слишком много убийств, чтобы перечислить их все в одном списке».

Тем не менее некоторые случаи остаются, так сказать, символическими, и заслуживает внимания тот факт, что преступлениям зачастую дают имя соответствующие городские улицы или районы. Есть, например, «убийства на Тернер-стрит» и «убийства на Ратклиффской дороге» — последние в 1827 году вдохновили Де Куинси на написание его классического эссе об «убийстве как одном из изящных искусств». Он начинает свой рассказ о серии убийств, «далеко превзошедших все случаи сего рода, кои имели место в нашем столетии», с обращения к самой Ратклиффской дороге как к «наидичайшему углу всего восточного или моряцкого Лондона», где «кишмя кишат разбойники и негодяи всех мастей». В одной лавке на этой дороге была самым жестоким образом убита целая семья; менее чем через три недели на Нью-Грейвел-лейн, то есть совсем недалеко от первого места преступления, раздался крик: «Здесь убивают людей!» В течение восьми дней здесь распростились с жизнью семеро горожан,

включая двоих детей и одного грудного младенца. Один из убийц, Джон Уильямс, покончил с собой в камере тюрьмы Колдбат-филдс в Кларкенуэлле; его мертвое тело вместе с окровавленным молотком и долотом, орудиями его преступлений, торжественно пронесли мимо домов, где жили прежде несчастные жертвы. Потом он был похоронен на перекрестке Бак-лейн и Каннон-стрит-роуд — как говорит Де Куинси, «в центре квадривиума, или стечения, четырех дорог, с колом в сердце. И над ним теперь вечно шумит беспокойный Лондон». Так Уильямс стал частью Лондона; само его имя навсегда связалось с одним из столичных районов, став частью мифов, сложившихся вокруг «убийств на Ратклиффской дороге». Город не просто разделался с ним как с обычным преступником — погребение Уильямса носило подчеркнуто ритуальный характер. Через сотню-другую лет рабочие, проводившие раскопки в этом районе, нашли его «бренные останки»; то, что кости Уильямса были розданы местным жителям в качестве сувениров, выглядит вполне логичным (например, его череп достался владельцу пивной, до сих пор стоящей на перекрестке этих роковых улиц).

На звание «проклятых» могут претендовать

и другие лондонские улицы. Зимой 1888 года на Дорсет-стрит погибла от руки «Джека» Мери Келли; после этого необычайно жестокого преступления улице в целях сохранения анонимности вернули ее прежнее имя Дюваль-стрит, однако в 1960 году на ней прогремел выстрел, оборвавший еще одну человеческую жизнь. В обоих случаях убийцу так и не нашли.

Существует множество рассказов о подобных таинственных убийцах, которые пробираются сквозь уличные толпы, пряча под одеждой нож или другое орудие преступления. Это поистине один из самых навязчивых городских образов. Были записаны и некоторые восклицания убийц: «Черт с ней! Ткни ее еще раз и кончай… Ножи наголо!» Затем сами улицы становятся объектом пристального интереса. К примеру, в «Путеводителе по местам лондонских убийств» мы читаем: «Жертва убийства в новелле баронессы Орци „Леди Молли из Скотланд-ярда“ работала в конторе на Ломбард-стрит. В „Лунном камне“ Уилки Коллинза драгоценный камень отдали в залог банкиру с Ломбард-стрит». Действующий полицейский участок на Вуд-стрит был описан под личиной вымышленного несколькими авторами детективных романов, а Эдгар Уоллес превратил

церковь Оллхаллоуз близ Тауэра в «церковь Св. Агнессы на Паудер-хилл». В Лондоне, где зрелище и театр стали неотъемлемой частью действительности, фантазии и реальность странным образом переплетаются.

Несколько соседних улиц также могут проникнуться духом преступления, и Мартин Файдо (кстати, известный криминолог) пишет, к примеру, об «урожайной на убийства части Излингтона», занимающей «сеть переулков за Аппер-стрит и Сити-роуд»; в этом районе осенью 1796 года сестра Чарлза Лэма убила свою мать, причем это случилось в нескольких ярдах от комнаты, где в 1967 году был убит своей любовницей Джо Ортон. В первые десятилетия XX века были совершены преступления, известные под общим названием «убийства в Северном Лондоне», хотя их совершили два разных человека — Хоули Харви Криппен и Фредерик Седдон.

Список лондонских убийц и впрямь весьма длинен. Весной 1726 года Кэтрин Хейс, хозяйка таверны под вывеской «Джентльмен в беде», отрезала своему мужу голову и выбросила ее в Темзу, а потом рассеяла остальные части его тела по всему Лондону. Голову выловили и выставили на шесте, на городском кладбище; спустя

некоторое время ее опознали. Миссис Хейс судили и приговорили к смерти, после чего она удостоилась дополнительной чести, став одной из последних женщин, публично сожженных в Тайберне.

Томас Генри Хоккер, описанный блюстителем закона как «человек в длинном черном плаще», вынырнул из-за деревьев на Белсайз-лейн февральским вечером 1845 года. Что-то напевая, он приблизился к месту, где только что совершил убийство, и, притворившись случайным прохожим, завел разговор с полицейским, обнаружившим тело. «Какой ужас», — заметил он и взял мертвеца за руку. «Убийство было делом его собственных рук, — говорится в „Ньюгейтских хрониках“, — но его непреодолимо влекло к месту преступления, и он оставался возле трупа до тех пор, пока тот не унесли».

Одним из знаменитейших серийных убийц Лондона был Джон Реджинальд Кристи, чей дом (номер десять по Риллингтон-плейс) приобрел такую дурную славу, что улицу решили переименовать. За короткое время в доме сменилось несколько жильцов, затем его снесли. На уцелевших фотографиях можно видеть типичное лондонское строение. В начале 1950-х на Ноттинг-

хилле сдавалось внаем множество таких домов: потрепанные занавески, штукатурка в пятнах и трещинах, кирпичи, темные от сажи. Удобная сцена для сокрытия следов убийства.

Еще один персонаж из галереи самых жестоких лондонских злодеев — Деннис Нильсен, который, проживая на Масуэлл-хилл и в Криклвуде в конце 1970-х и начале 1980-х, убил и расчленил множество молодых людей. Подробности жизни убитых теперь уже не представляют большого интереса — стоит отметить разве лишь то, что, говоря словами одного отчета, «практически никто не обратил внимания на их исчезновение». Такова особенность многих лондонских преступлений: изолированность и анонимность иных обитателей столицы делает их беззащитными перед нападением свирепого городского убийцы. Одной из жертв Нильсена стал нищий, встреченный им на перекрестке у Сент-Джайлс-ин-де-филдс; Нильсен якобы «пришел в ужас от его изможденного вида», после чего убил его и похоронил в саду своего дома на Мелроуз-авеню. Другой жертвой стал юный «скинхед», разрисовавший свое собственное тело: в частности, на шее у него была пунктирная линия со словами «режь здесь». В таких красноречивых деталях

проявляются бездушность и жестокость, издавна присущие городской жизни.

Все, что известно об Элизабет Прайс, приговоренной к смертной казни за кражу в 1712 году, — это то, что она «обыкновенно собирала золу и тряпки, а порою торговала фруктами и устрицами, предлагая прохожему люду горячий пудинг и груши». Мы читаем о «Кровопийце Мэри», которая, будучи схвачена стражами, обнажила свою грудь «и брызнула молоком им в лицо, сказавши: дьявол вас забери, почему вы хотите отнять у меня жизнь?». Такое презрение к представителям органов правопорядка характерно для лондонцев. В нем проявляется и их природная склонность к язычеству, как в случае с одним арестованным за убийство слугой, о котором сообщалось, что он «питает сильное отвращение ко всему религиозному». Энн Мадд, обвиненная в убийстве мужа, тоже вела себя вызывающе. «Ну и что, — сказала она, — я ударила его ножом в спину просто смеха ради». Свои последние часы она провела, распевая непристойные песенки в камере для осужденных.

Именно после уайтчепельских убийств полицейские фотографы стали запечатлевать на снимках место преступления, а первый принес-

ший успех фоторобот был составлен в 1961 году после убийства на Сесил-корт, что неподалеку от Стрэнда. Тот, кто придумал в целях установления личности насадить на шест голову мужа Кэтрин Хейс, положил начало целому ряду изобретений. Существенным остается то, что преступление, в особенности убийство, действует на лондонцев стимулирующе. Вот почему великими героями лондонских легенд так часто становятся знаменитые преступники.

Глава 29
Лондонская опера

Подвиги Джека Шеппарда показали, что похождения преступника могут возбуждать у лондонской публики живейший интерес. Самый знаменитый художник той поры, сэр Джеймс Торнхилл, в 1724 году посетил его в тюрьме, чтобы закончить портрет, который затем поступил в продажу в виде меццо-тинто.

Девять лет спустя зять Торнхилла, Уильям Хогарт, также отправился в Ньюгейт с аналогичной целью: он рисовал там другую злодейку, Сару Малколм, содержавшуюся в камере для осужденных. Она задушила двоих пожилых людей, а потом перерезала горло их служанке — жестокость этого преступления сделала ее имя известным всему Лондону. Она была очень молода (всего двадцать два года) и прекрасно владела собой. На суде она заявила, что кровь на ее платье — это следы месячных, а не убийства, и после того, как ей вынесли смертный приговор, заявила, что она католичка. Хогарт изобразил ее сидящей в камере с четками и пообещал через га-

зеты, что закончит свою гравюру за два дня. Такая скорость свидетельствовала в равной мере о его мастерстве и о нетерпении публики. В биографии Хогарта Дженни Аглоу описывает, как Сара прибыла к эшафоту, возведенному, по обычаю того времени, рядом с местом преступления: она сидела в повозке «в аккуратном траурном капюшоне, с горделиво поднятой головою, — словом, как на картине». После того как ее сняли с виселицы, «один джентльмен из толпы, в глубоком трауре, поцеловал ее и роздал народу полкроны».

Здесь налицо все драматические, интригующие детали, благодаря которым ритуалы, связанные с преступлением и наказанием, надолго остаются в памяти лондонцев. Хогарт не мог противиться искушению рисовать лица приговоренных. В 1761 году, когда на углу Пантон-стрит и Хеймаркета должны были повесить Теодора Гарделя, Хогарт запечатлел его полные отчаяния черты «несколькими быстрыми взмахами карандаша».

Поэтому представляет некоторый интерес и то, что в феврале 1728 года Хогарт с удовольствием побывал на представлении «Оперы нищего» Джона Гея. В этом спектакле под ярким театральным гримом изображена преступная жизнь Лондона. Эта типично лондонская постановка — отчасти

бурлеск, отчасти комедия — была и сатирой на правительственную клику, и пародией на модную итальянскую оперу. Ее главные герои — разбойник Макхит и скупщик краденого Пичем (они представляют лондонский преступный мир), а завершает галерею персонажей тюремщик из Ньюгейта по имени Локкит.

Сцены, происходящие в самом Ньюгейте, подтверждают устойчивость двух извечных представлений лондонцев — о мире как театре и о мире как тюрьме. В пьесе нашли отражение и другие аспекты лондонской жизни. Постоянные упоминания о торговле и деньгах вкупе со склонностью «оценивать людей и их взаимоотношения с точки зрения финансиста», по мнению последнего и лучшего биографа Джона Гея, Дэвида Ноукса, говорят об огромном и, возможно, тлетворном влиянии духа коммерции, проникшего во все сферы городской деятельности. Чем же еще объяснить ту легкость, с какой уличные персонажи усваивают торгашеский жаргон? О людях «неизменно судят, принимая в расчет типично коммерческий показатель — а именно то, сколько они ежедневно „имеют“». Здесь можно сделать одно любопытное наблюдение: «по-купечески» рассуждают буквально все персонажи

пьесы, от придворного до разбойника, и потому легкость и жизнерадостность «оперы» отчасти объясняются присущим ей отрицанием сословных различий. В этом пышном, искрометном зрелище воплотился свойственный лондонцам эгалитаризм, чтобы не сказать «имморализм».

Отдельные критики обвиняли Гея в том, что он излишне «облагородил» воров и скупщиков краденого, — словно, проведя параллель между деятельностью нищих и тех, кто стоял «выше» их, он каким-то образом приукрасил самые неприглядные стороны лондонской жизни. Один моралист из числа современников Гея сообщал, что «некоторые воры и уличные грабители признавались в Ньюгейте, что перед тем, как совершить очередную чреватую опасностями ночную вылазку, укрепляли свое мужество не только выпивкой, но и песнями своего кумира Макхита». Если так оно и было, это только лишний раз доказывает, что уличная жизнь Лондона зачастую развивается по законам драматического искусства.

Наверное, поэтому «Опера нищего» вызвала у Хогарта такое глубокое восхищение. Этот типично лондонский художник увидел в ней стимул для приложения своего таланта. Одну из

сцен спектакля он рисовал шесть раз и в каждом из этих случаев, по словам Дженни Аглоу, «испытывал истинный прилив вдохновения». Нетрудно заметить, как воодушевило художника это талантливое изображение лондонской жизни, поскольку в его последующих работах чувствуется глубокая увлеченность драматизмом уличных сцен. По сути, он заложил свою традицию изображения лондонских преступников. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить Тома Ниро из «Четырех стадий жестокости» (1751) и Томаса Айдла из цикла «Трудолюбие и лень» (1747), — оба они становятся убийцами и кончают виселицей, но весь их путь к этому роковому финалу проходит на мрачно-выразительном фоне городских улиц и притонов.

Все здесь точно подталкивает человека к совершению ужасных деяний. В «Четырех стадиях жестокости» подлинным источником преступлений служит самая жизнь города; как заявил Хогарт в комментарии к своим гравюрам, они были выполнены «в надежде хотя бы в малой степени способствовать искоренению той жестокости в обращении с бедными животными, из-за которой улицы Лондона представляют собой самое отталкивающее зрелище на свете, одно

лишь описание коего причиняет боль». На одной из гравюр изображена сцена перед кофейней «Тавиз-инн» на Холборне, где пролегала главная дорога на Смитфилд из сельских районов Излингтона и Марилебона: возница кеба номер двадцать четыре безжалостно охаживает палкой свою лошадь, в то время как на переднем плане забивают овцу; никто не замечает ребенка, попавшего под колесо телеги пивовара, а неподалеку, на стене, висит афиша, рекламирующая бой быков.

Хмельная и неистовая чернь, собравшаяся у эшафота, чтобы посмотреть на казнь Томаса Айдла, является как бы зеркальным отражением и одновременно символом его существования. В этой тайбернской толпе есть и узнаваемые персонажи: эксцентричная торговка пряниками Тидди Долл, жирная и пьяная сводня Мамаша Дуглас, а на самом эшафоте — юродивый «дурачок Джо», который в дни казней развлекал публику болтовней и шутками. Под рисунком стоит парафраз весьма уместного изречения из «Притчей»: «Тогда будут звать Бога, и Он не услышит». Хогарт изображает языческое общество, неотвратимо порождающее все новых преступников.

Если Джон Гей действительно стремился превратить воров и скупщиков краденого в

драматических героев или персонажей, то он следовал уже наметившейся лондонской традиции. За четыре года до «Оперы нищего» на сцене появились другие театральные постановки — «Арлекин Шеппард» и «Состязание в Ньюгейте», первая из которых проводит явную параллель между преступлением и пантомимой. Более чем столетием раньше Бомонт и Флетчер в своей пьесе «Беггарс-буш» ввели в театральный обиход манеры и жаргон лондонских преступников, уже тогда исподволь внушая зрителям мысль, что эти «отбросы общества» ведут себя не хуже тех, кто стоит выше их на социальной лестнице. В 1687 году Марцеллус Ларон изобразил на своей гравюре элегантного «Эльзасского сквайра» — знаменитого вора и мошенника по прозванию «Забияка Доусон», который тем не менее выглядит у Ларона настоящим светским человеком и джентльменом. Театральные манеры и обманчивая внешность преступников как бы символизируют собой многоликость и контрасты лондонских улиц. И все эти работы разных мастеров, в свою очередь, свидетельствуют о непреходящем любопытстве, которое вызывает у лондонцев жизнь бездомных и отверженных, словно условия существования в их городе тако-

вы, что изгоем может внезапно оказаться любой из них. Иначе почему же образы лондонских улиц неотвязно преследовали Хогарта на протяжении стольких лет?

Традиция нашла свое продолжение в сенсационных жизнеописаниях знаменитых преступников, по своей мелодраматичности ни на йоту не уступавших театральным постановкам с участием тех же героев. «Вы не можете себе представить, — писал Хорас Уолпол ближе к концу XVIII столетия, — какой нелепый ажиотаж царит вокруг узников из Ньюгейта: все стремятся на них поглазеть, скупают их портреты и читают о них книги, которые раскупаются не хуже мемуаров маршала Тюренна». Несколькими десятилетиями раньше Свифт сатирически изобразил этот ажиотаж в рассказе о том, как Тома Клинча везли на эшафот:

> *Служанки вздыхали, смотря ему вслед:*
> *«Ах, какой симпатичный! Стыда у них нет!»*

В XIX веке было написано эссе о «Восхищении публики великими ворами», автор которого замечает, что в предыдущем столетии англичане «кичились дерзостью своих разбойников не ме-

нее, чем достижениями своих войск». Отсюда и огромный успех «Ньюгейтского календаря» — таково название альманаха, публикация которого началась в конце XVIII века; первый его номер назывался «Сведения о злоумышленниках, или Новый Ньюгейтский и Тайбернский календарь», и популярность его была сравнима с популярностью «Книги мучеников» Фокса в середине XVI столетия или общеизвестных легенд о святых в эпоху Средневековья. Ее можно сравнить даже с популярностью сказок в начале XIX века. Двусмысленность этого «тюремного» жанра еще более усугубилась с появлением так называемого «ньюгейтского романа», возникшего примерно в ту же пору, — на этой волне добились широкого признания такие литераторы, как Харрисон Эйнсуорт и Булвер-Литтон. Любопытно, что и обитатели самого Ньюгейта питали пристрастие «к легкой литературе… романам, модным песенкам, пьесам, книгам». Все в обществе подражали друг другу.

Тон этих сочинений также был двусмысленным — не то восторженным, не то обвиняющим. Подобное же отношение обычно вызывали такие уличные достоинства, как сноровка и хитрость, умение притворяться и обманывать. В конце

1740-х весь Лондон превозносил ловкость некоего «Малыша Кейси», девятилетнего карманника. За сорок лет до него на улице промышляла Мэри Янг по кличке «Воровка Дженни»: она притворялась беременной и, спрятав под одеждой искусственные руки, с легкостью обчищала чужие кошельки и карманы. Лондонцы восхищались ею за «расчетливость, сообразительность и актерский талант».

Несколько позже в городе развернул свою деятельность Чарлз Прайс, или «Старый Пройдоха», — он занимался хитроумными подделками и сбывал фальшивые банкноты, тщательно гримируясь под разных людей. Это был «плотный мужчина средних лет», но он часто притворялся дряхлым и немощным, надевая «длинный черный камлотовый плащ с широкой накидкой, завязанной под самым подбородком». Еще он носил «шляпу с большими опущенными полями и зеленые очки или зеленый козырек на глазах» — другими словами, одевался как «старик» с театральных подмостков.

На исходе XIX века большим мастером перевоплощения слыл преступник по имени Чарлз Пис: сын слесаря, он жил как обычный английский домовладелец попеременно в Ламбете и Пекеме.

Однако, «выдвинув нижнюю челюсть, он мог совершенно изменить весь свой облик. Порой он притворялся одноруким, пряча вторую руку под одеждой… Полиция заявляла, что даже без помощи грима, парика и прочих специальных средств он умел так менять свою внешность, что его невозможно было узнать». Он сконструировал складную лестницу восьми футов длиной, которая в сложенном виде становилась пятнадцатидюймовой (то есть вшестеро короче), и прятал ее под мышкой. Когда-то он был уличным музыкантом и потому питал большую любовь к скрипкам; он даже наловчился красть их, хотя иногда они мешали ему скрыться с добычей. После его смерти на эшафоте коллекция принадлежавших ему инструментов была выставлена на продажу с аукциона. Но главным его талантом в глазах лондонской публики, всегда обожавшей зрелища и лицедейство, было, конечно же, умение перевоплощаться. В «Черном музее» Скотленд-ярда хранились синие очки, «с помощью которых он создавал свой излюбленный образ — старого чудака-философа».

Он был также хладнокровным бандитом, убивавшим всех, кто вставал у него на пути, поэтому восхищение его актерским даром несколько

умерялось отвращением, которое вызывала его жестокость. «Ньюгейтский календарь» вообще изобилует рассказами о самых разнообразных зверствах — в пример можно привести хотя бы «Историю об ужасных измывательствах Элизабет Браунриг над ее служанками». Браунриг была повитухой, которой попечители прихода Сент-Данстан вменили в обязанность «помогать разрешаться от бремени бедным женщинам из работного дома». В ее доме на Флер-де-Ли-корт близ Флит-стрит было несколько служанок, девушек без гроша за душой, и она систематически издевалась над ними, мучила и убивала их. Осенью 1767 года, когда ее вели на казнь, лондонская толпа кричала, что «она отправится в ад» и «ее заберет дьявол». После смерти ее тело было анатомировано, а скелет выставлен в музее Хирургического общества.

Подобные события повлекли за собой возникновение и другого жанра — так называемых «предсмертных исповедей». Иногда их действительно составляли сами преступники, которые часто с упоением читали в камерах свои «Последние речи», но обычно эти мрачные нравоучительные тексты писал ньюгейтский «ординарий», то есть священник, подготавливавший заключенных к

смерти. Затем город становился сценой, где ради устрашения и развлечения столичной публики разыгрывались жестокие спектакли.

У Артура Конан Дойла есть рассказ о том, как Шерлок Холмс разоблачил мошенника, притворявшегося нищим. Герой «Человека с рассеченной губой», преуспевающий предприниматель из кентских пригородов Невилл Сент-Клер, каждое утро ездил в Сити и каждый вечер возвращался с Каннон-стрит электричкой, которая отправлялась оттуда в четверть шестого. Однако затем выяснилось, что у него была тайная квартира на Аппер-Суондам-лейн (это «грязный переулок» к востоку от Лондонского моста), где он перевоплощался в «угрюмого калеку» с «ярко-рыжей шевелюрой и бледным лицом, изуродованным чудовищным шрамом» и шел торговать спичками на Треднидл-стрит. Эта новелла была опубликована в 1892 году в цикле «Приключения Шерлока Холмса». Двенадцать лет спустя на Бишопсгейте продавал спички нищий, хорошо известный всей округе, потому что он был «парализован… часто видели, как он с трудом тащится по обочине — голова его свешивалась набок, все конечности сотрясала сильная дрожь, одну ногу он волочил за собой, а правая рука у него была су-

хая и неподвижная. В довершение к этой ужасной картине его лицо было искажено самым невероятным образом». Это слова из книги старшего инспектора городской полиции Эрнеста Николлса «Преступления в пределах одной квадратной мили». Осенью 1904 года молодой констебль из того же полицейского участка решил проследить за этим торговцем спичками и обнаружил, что, дотащившись до Кросби-сквер, парализованный нищий «выходил с другого ее конца стройным юношей». Он оказался джентльменом по имени Сесил Браун Смит, который имел дом «в фешенебельном пригороде Норвуде» и вел безбедное существование на подаяния тех, кто проходил мимо него на Бишопсгейте. Это — любопытное совпадение, если не сказать больше, и оно может быть причислено к длинному ряду странных совпадений, которыми богата жизнь в городе.

В той же книге о полицейских буднях рассказывается об окровавленной бритве, найденной за автобусным сиденьем; нашедший ее молодой человек медлил несколько дней, прежде чем отнести ее в полицию, поскольку года два-три назад он сам перерезал горло своей подружке именно таким орудием. Это выглядит так, будто сам город уличил преступника. История о «фаль-

шивом» нищем может навести на мысль о том, что Сесил Браун Смит читал новеллу Конан Дойла и решил воспользоваться выдумкой писателя; однако возможно, что некоторым писателям удается подметить и запечатлеть в своих книгах подлинные уловки городских мошенников.

В любом случае, связь между реальным и воображаемым в мире преступлений не распалась и в XX столетии. Томми Стил играл Джека Шеппарда в спектакле «Где Джек?», Фил Коллинз был Кутилой Эдвардсом в «Кутиле», Роджер Далтри — Джоном Маквикаром в «Маквикаре», а двое исполнителей из «Балета Шпандау» изобразили братьев Крей в одноименной постановке. Традиция «Оперы нищего» и «Беггарс-буша» жива по-прежнему.

Глава 30
«Вареные раки» и прочее

Если злодеи становились героями, то полицейские служили вечной мишенью для насмешек. Создавая сатирический образ констебля Догберри[56] в комедии «Много шума из ничего», Шекспир следовал давней традиции лондонцев, которые всегда любили поиздеваться над представителями закона.

Поначалу «стражи», как называли блюстителей порядка в течение многих веков, действительно были часовыми, охранявшими городские стены. В одном документе 1312 года говорится, что «во все дневные часы два человека, вооруженных как должно, обязаны нести стражу у ворот, внутри или снаружи, дабы встречать тех, кто явится на коне или с оружием и пожелает вступить в Город». Но как же насчет внутреннего врага? Согласно обычаю, за порядком в каждом уорде следили «добрые люди», то есть попросту его жители, но в 1285 году была введена неофици-

[56] Примечания: 56

В переводе Т. Щепкиной-Куперник этот персонаж носит фамилию «Кизил».

альная система «народной» охраны: появились «стражи», которые подчинялись констеблю и должны были поддерживать порядок в своем районе. Каждый домовладелец, свободный от выполнения обязанностей бидля (церковного сторожа), констебля или мусорщика, время от времени отправлялся в дозор; увидев нарушителя, дозорные должны были поднимать крик, после чего хулигана ловили всем миром. В письменных источниках того времени встречаются сообщения о погонях за непокорными подмастерьями и арестах «ночных бродяг». Постоянно упоминаются также «буяны», которые пили, играли в азартные игры и избивали людей на улицах. Их хватали, сажали под замок, а наутро приводили к мировому судье.

Участие в дозорах считалось общественной обязанностью, но у занятых своими делами домовладельцев вскоре вошло в обычай нанимать в «стражи» кого-нибудь вместо себя. Однако добровольцы зачастую оказывались людьми, мало к чему пригодными; отсюда характеристика лондонских ночных сторожей как «жалких стариков, у которых нет иного оружия, кроме фонаря да палки; они обходят улицы и выкрикивают время всякий раз, как пробьет колокол». Можно вспом-

нить и то, как собирал ночной дозор констебль Догберри из шекспировской комедии: «Ты, говорят, самый бестолковый, стало быть, лучше сторожа не найти, — вот и бери фонарь». В 1730-х в целях улучшения ситуации был принят закон о ночной страже и организована система оплаты труда дозорных из коммунальных налогов: законодатели надеялись, что теперь приходских пенсионеров заменят люди помоложе, — например, отслужившие свой срок солдаты или моряки, но практически все осталось по-прежнему. Сохранилась фотография одного из последних лондонских сторожей Уильяма Энтони, сделанная в середине XIX столетия: в правой руке у него палка, в левой — фонарь. На нем странная широкополая шляпа и длинное пальто, обычный наряд представителей этой профессии, а лицо его выражает нечто среднее между суровостью и скудоумием.

Лондонцы прозвали таких сторожей «чарли» и постоянно их высмеивали. Сторожа обходили городские улицы и якобы охраняли частную собственность. «Когда этот человек совершает свой первый обход, — писал Сезар де Соссюр в 1725 году, — он тычет своей палкой в двери домов и лавок, чтобы проверить, надежно ли они

заперты, и если находит открытую, предупреждает хозяев». Кроме того, сторожа будили людей, «которым предстояло спозаранку отправиться в дорогу». Но на «чарли» трудно было положиться. В рапорте одного полицейского чина, решившего без предупреждения проверить посты в своем районе, сообщается:«…звал сторожей, но никто не появлялся… Констеблей нигде не было, одного сторожа встретил далеко от участка… оттуда пошел в ночной трактир и там обнаружил четверых сторожей из прихода Св. Климента за выпивкой». В XVI веке было широко известно, что они «выходят в дозор очень поздно, садятся где-нибудь на площади и засыпают либо потому, что много работали, либо от выпитого, а порою лишь потому, что тело ночью требует отдыха». И триста лет спустя их по-прежнему бранили, называя «старыми хрычами, ползающими не быстрее улитки», и говоря, что «силы у них в руках не достанет и на то, чтобы арестовать пятидесятилетнюю прачку, идущую домой после целого дня тяжелой работы». Нередко сторожа подвергались нападению пьяных забияк и хулиганов. Бывало, что «сторожа, дремлющего в своей будке между обходами, переворачивали вместе с будкой, и он беспомощно барахтался внутри,

точно черепаха на спине, покуда не приходила помощь». Да и просто на темных улицах «буяны» частенько сбивали «чарли» с ног, раздраженные их монотонными выкликами.

Таким образом, в период с XIV по XVIII столетие охрану порядка в Лондоне трудно было назвать безупречной. Факты свидетельствуют о том, что средневековая система поддержания порядка внутри отдельных районов сохранялась в течение многих сотен лет; лондонцы сами следили за тем, чтобы у них в городе царила хотя бы относительная безопасность, полагаясь при этом на неофициальные органы местного правосудия. Карманников и проституток, а также врачей-шарлатанов и жуликов-торговцев по большей части не трогали. Муж-рогоносец удостаивался «шаривари» — шуточного концерта, исполняемого на «кастрюлях, чайниках и мозговых костях». Впрочем, из того, что призывы к созданию общегородской полиции так долго игнорировались, можно сделать вывод о сравнительно высокой эффективности этой «системы самообслуживания».

Но с ростом города возникла потребность во введении более жестких мер, направленных на обеспечение правопорядка. В 1750-х Генри

Филдинг почти единолично создал на Боу-стрит полицейское управление, которое стало центром борьбы с лондонской преступностью. Его сыщиков называли «малиновками» и «вареными раками» из-за их красных курток. К концу столетия число этих сыщиков увеличилось с шести до семидесяти, а в 1792 году в разных частях столицы было открыто еще семь полицейских управлений. В старом лондонском Сити, сохранявшем свою самостоятельность с эпохи Средневековья, к тому времени уже было введено регулярное полицейское патрулирование: «Дневная полиция» появилась в 1784 году, и тех, кто служил в ней, немедленно стали узнавать по их длиннополым синим мундирам, которые, по словам автора «Тройного древа» Дональда Рамблоу, «придавали им важности, когда они сопровождали осужденного к месту казни». От этих-то злополучных одеяний и произошла нынешняя полицейская форма. В 1798 году появилось полицейское управление Темзы, которое должно было обеспечивать порядок на набережных и складах, а также в новых доках, выстроенных на берегу реки; таким образом, прежняя система охраны по уордам и отдельным районам оказалась нарушенной. Семь лет спустя для борьбы с разбойниками на

дорогах были созданы конные патрули.

Сохранилась картина 1835 года с изображением полицейского участка той поры. Это двухэтажное здание — судя по архитектуре, его построили в начале XVIII века, — стоящее на западной стороне площади около церкви Сент-Пол в Ковент-гардене. Окна первого этажа наглухо закрыты ставнями, а перед железными воротами лениво прохаживаются несколько полисменов в синих мундирах и черных шляпах. На подоконнике верхнего этажа стоят горшки с растениями, а на фасаде из белого кирпича ярко выделяется вывеска «Полицейский участок». Весь дом весьма органично вписывается в свое окружение, а комнатные растения словно напоминают о том, что рядом находится знаменитый цветочный рынок. Но видимость может быть и обманчивой. За фасадом времен королевы Анны прячутся подземные темницы, и имеет смысл заметить, что картина была закончена лет через шесть после принятия Закона о столичной полиции, резко изменившего ситуацию с охраной правопорядка в Лондоне.

Этот закон был принят ради того, чтобы победить коррупцию. Но, как часто случается в больших городах, те, кто должен был пресекать

криминальную деятельность, постепенно начали смотреть на нее сквозь пальцы и даже потворствовать ей. Сыщики с Боу-стрит брали взятки деньгами и натурой и встречались со «злодеями» в тавернах. Это иллюстрирует как демократичность, так и коммерциализацию жизни в метрополисе. Поэтому Роберту Пилю лишь с большим трудом удалось провести свое предложение о создании в Лондоне централизованного полицейского аппарата. Некоторые видели в этом ущемление свободы горожан и, как писали в «Таймс», «изобретение, отдающее деспотизмом». Но Пиль, не уделяя внимания старой городской полиции, активно использовал в своих выступлениях перед специальным комитетом статистику уличной преступности и бродяжничества в Лондоне, благодаря чему его инициатива увенчалась успехом.

В 1829 году в маленьком уайтхолльском дворике под названием «Грейт-Скотленд-ярд» появилось управление «новой полиции» с семнадцатью отделами, куда было принято на службу около трех тысяч человек. Именно представителей этой организации мы видим на картине с изображением Ковент-гарденского полицейского участка; их легко опознать по черным цилиндрам

и синим мундирам с фалдами, так называемыми «ласточкиными хвостами». Лондонцы не любили их и называли «синими дьяволами» и «синей заразой» — последнее было намеком на холеру, выкосившую множество людей в 1830-е годы. В 1832-м, когда неподалеку от Кларкенуэллгрин был заколот ножом безоружный констебль, коронерское жюри вынесло вердикт об «убийстве при смягчающих вину обстоятельствах».

Полицейские были выходцами из тех же районов и тех же слоев общества, что и нарушители порядка; таким образом, им вменялось в обязанность контролировать и арестовывать «своих». Как и их предшественники, сыщики с Боу-стрит, они были способны выпить лишнего и порой проявляли моральную нечистоплотность. Но подобные проступки карались немедленным увольнением, и в результате, согласно «Лондонской энциклопедии», «спустя четыре года от первоначальных трех тысяч осталось менее одной шестой части». Этих оставшихся называли «копперами»[57] и, менее выразительно, «лидерами» и «бобби» — производными от имени Роберта Пиля. Видимо, эти же прозвища каким-то слож-

[57] Примечания: 57

От английского cop — разговорной формы глагола *catch* (ловить); отсюда же современное «коп».

ным путем трансформировались в современное «старина Билл», звучащее слегка насмешливо, подобно прежнему «чарли». Вообще говоря, многие из таких наименований довольно живучи. В середине XX века полисменов часто называли «трупными мухами», но именно так Долл Тершит обращается к полицейскому во второй части «Короля Генрих IV»: «Тебя за это повесят, подлец, трупная муха!»[58] В последние десятилетия у полицейских появился и целый ряд новых, в основном обидных прозвищ. Однако специалисты по истории лондонской полиции отмечают, что уже лет через двадцать-тридцать после своего создания организация, учрежденная Робертом Пилем, стала довольно авторитетной и добилась немалых успехов в борьбе с преступностью.

Не остались без внимания также поведение и внешний вид отдельных полицейских. Один наблюдатель пишет: «Главное чувство, которое вызывает полиция у людей, живущих преступлением, — это не столько неприязнь, сколько неослабевающий рабский страх». Таким образом, он подтверждает мнение, заключающееся в том,

[58] Примечания: 58

В переводе Б. Пастернака эта реплика звучит так: «Вздернут тебя... анафема, моща посинелая!..» («Король Генрих IV. Часть вторая», акт V, сцена IV).

что фонарь констебля, патрулирующего столичные улицы, помог разогнать дотоле царившую на них тьму. В 1853-м путешественник-иностранец Вентура де ла Вега обратил внимание на их форму, напоминающую военную: «синие мундиры без лацканов, со стоячим воротником, на котором вышит белый номер», и шапки с металлической окантовкой. При необходимости, продолжает де ла Вега, «они вынимают из заднего кармана полуметровую дубинку в форме скипетра с железным шариком на конце». Однако ее никогда не пускают в ход, ибо «услышав голос полицейского, все сразу и безропотно ему подчиняются». Эта почти инстинктивная покорность в какой-то мере нейтрализовала склонность лондонской толпы к проявлениям жестокости и насилия. Конечно, нельзя сказать, что любой уличный торговец начинал дрожать от ужаса, едва завидев человека в полицейском мундире: статистика говорит, что нападения на представителей закона тоже отнюдь не были редки. Но наблюдатели правы по крайней мере в одном: похоже, существует некая «критическая масса» полицейского корпуса, по достижении которой возмущения в городе уже не разгораются до стадии всеобщего бунта или восстания. Случайно возникшая нестабильность

более не приводит к тяжелым последствиям.

Однако где-то в глубине своей природы Лондон остается неизменным, и об этом говорят отголоски прошлого, которые слышатся даже в XXI веке. Например, можно считать, что взрыв в Кларкенуэлльской тюрьме, устроенный фениями в 1867 году, и взрыв в башне Кэнери-уорф, организованный ИРА в 1996-м, — это в каком-то смысле звенья одной цепи. Восстание на Трафальгар-сквер в 1887 году происходило на том же месте, что и митинг протеста против введения подушного налога в марте 1990-го. Жалобы на некомпетентность и продажность полицейских так же стары, как и сама полиция. В 1998-м официальное расследование, предпринятое в связи с убийством чернокожего подростка Стивена Лоуренса, выявило много случаев злоупотребления властью и судебных ошибок; оно также подтвердило, что в среде полицейских действительно живы расовые предрассудки, в чем их обвиняли на протяжении последних пятидесяти лет. С того самого момента, как первый «бобби» надел свой синий мундир с «ласточкиным хвостом», лондонская полиция оставалась мишенью для оскорблений и насмешек. Но блюстители закона, которые когда-то прогуливались перед Ковент-

гарденским полицейским участком, пожалуй, были бы удивлены, услышав, что их полномочия распространятся на область площадью почти в восемьсот квадратных миль при количестве правонарушений, согласно последнему статистическому обзору, свыше 800 000. Однако у них вряд ли вызвал бы удивление тот факт, что раскрываемость преступлений так и не превысила 25 %.

Глава 31
Виселицы и висельники

Невозможно сосчитать, сколько человек было сожжено и забито камнями, обезглавлено и утоплено, повешено и распято во времена римлян и саксов. Но начиная с XIV века появляются письменные свидетельства об осужденных «в полосатом балахоне и белых башмаках, с колпаком на голове»: одетого в такой наряд смертника привязывали к лошади, палач ехал позади, держа в руке веревку, а рядом с осужденным двигались его «мучители», издевавшиеся над ним всю дорогу от Чипсайда до Смитфилда. Это ритуальное шествие по улицам Лондона всегда совершалось при большом стечении народа. Часто от преступников требовали публичного покаяния, накладывая на них разного рода епитимьи. Одного лондонца, осужденного за нападение на олдермена, заставили пройти босиком от Гилдхолла по Чипсайду и Флит-стрит с трехфунтовой свечой в руках. Такие выходы с зажженной свечой были обычным наказанием за покушение на представителей светской или церковной власти:

неся свечу, осужденные как бы каялись за содеянное перед всем Лондоном.

Мошенников-торговцев, как правило, ставили к позорному столбу. Здесь они оказывались буквально лицом к лицу с теми, кого обманули. Осужденного в шутовском колпаке сажали на лошадь задом наперед и везли на площадь; иногда перед ним двигались музыканты с трубами и дудками. По прибытии на место — один позорный столб находился на Чипсайде, другой на Корнхилле — недоброкачественные товары, обманом проданные покупателям, сжигались на глазах у мошенника. Если он был повинен в подделке, ему на шею вешали фальшивые монеты или кости. На груди у уличенного лгуна болтался оселок, как бы намекающий на его «отточенный» язык. Время стояния у позорного столба было строго определенным. За распространение ложных слухов о том, что иностранных купцов наделят теми же правами, что и коренных лондонцев, — один час. За продажу посуды из дешевых металлов под видом серебряной — два часа. За продажу тухлых ломтиков вареного угря — один час. Но мера страданий и унижения, выпадавших на долю осужденного, определялась не только продолжительностью наказания. Предстать перед соседями

и товарищами по профессии в таком виде было настоящим позором для любого жителя Лондона. Вдобавок это могло быть и опасно. Многие зрители запасались гнилыми фруктами, тухлой рыбой и экскрементами, а жуликов, вызывавших наибольшее раздражение, порой забивали насмерть палками и камнями. Свидетельством консерватизма или суровости лондонцев может служить тот факт, что позорный столб не был отменен вплоть до лета 1837 года.

Среди прочих городских зрелищ можно было увидеть насаженные на кол головы бунтовщиков. Над главными воротами Лондонского моста торчали железные колья, на которых красовались останки казненных; на большинстве иллюстраций изображены пять или шесть таких memento mori, хотя остается неясным, превышал ли спрос предложение. В 1661 году один немецкий путешественник насчитал девятнадцать или двадцать отрубленных голов; это позволяет сделать вывод о том, что внутренние конфликты в ту бурную эпоху были плодотворны по крайней мере в одном отношении.

В следующем столетии головы переселились

на Темпл-бар[59]; здесь «местные жители стали промышлять тем, что за полпенни давали желающим поглядеть в подзорную трубу»; на головы можно было посмотреть и в телескоп, установленный на Лестер-филдс, и это говорит о том, что они действительно были туристской достопримечательностью. Сами горожане, очевидно, привыкли к этим устрашающим свидетельствам неотвратимости наказания и, по замечанию Алефа, обращали на них внимание «только после очередной казни — тогда любопытные прохожие порой останавливались и спрашивали: „А это чья голова?“».

В конце 1760-х Оливер Голдсмит прогуливался по Уголку поэтов[60] в обществе Сэмюэла Джонсона, который, разглядывая памятники на могилах великих литераторов, пробормотал: «Forsitan et nostrum nomen miscebitur istis» («Возможно, и наши имена появятся здесь»). Но когда они дошли до Темпл-бара и увидели головы, Голдсмит остановил Джонсона «и лукаво шепнул: „Forsitan

---

[59] Примечания: 59

Темпл-бар — ворота, которые в течение нескольких веков стояли на западной границе лондонского Сити.

[60] Примечания: 60

Уголок поэтов — часть Вестминстерского аббатства, где похоронены известные писатели и поэты.

et nostrum nomen miscebitur *istis*“».

Во время одной памятной бури в марте 1772 году две головы казненных якобитов упали наземь. Миссис Блэк, жена редактора «Морнинг кроникл», вспоминала, как «завопили женщины, когда они упали; даже мужчины и те закричали. Одна женщина рядом со мной потеряла сознание». Тридцать лет спустя железные колья наконец были сняты со злосчастных ворот.

Однако вешать продолжали по-прежнему. В XV столетии повешением карались преступления восьми видов, в том числе поджог и «малая измена (убийство мужа женой)». Но тот, кто мог прочесть отрывок из Библии, известный под названием «стиха висельников» (первый стих 51-го псалма), автоматически становился монахом и поступал в распоряжение церковных властей. Таким образом, в течение двух столетий грамотность была достоинством, которое могло спасти жизнь его обладателю.

С XII века самым популярным местом проведения публичных казней был Тайберн: согласно письменным источникам, первого осужденного (Уильяма Длиннобородого) повесили здесь в 1196-м, а последнего (Джона Остена) — в 1783 году. О том, где именно стояла виселица, долго

шли споры. Наиболее вероятным местом называли то Коннот-плейс, то Коннот-сквер — обе они находятся рядом с пустынной Эджуэр-роуд, чуть севернее Марбл-арч[61]. Позже было установлено, что искомое место находилось в юго-восточном углу Коннот-сквер. Один плотник вспоминал, что его дядя «убирал камни, на которые опирались стойки [виселицы]». В 1820-х, когда мостили саму площадь, был разрушен «низкий дом» на углу и найдено множество человеческих костей. Значит, иногда повешенных хоронили in situ (на месте). Во время прокладки соседних улиц и площадей в первые десятилетия XIX века были обнаружены и другие останки, а у дома на Аппер-Брайанстон-стрит, окна которого выходили на роковое место, были «необычные железные балкончики на первом и втором этажах — там обычно сидели шерифы, наблюдавшие за казнью». Кроме того, виселицу окружали деревянные скамьи, расположенные ярусами, вроде трибун на ипподроме: сюда за определенную плату пускали зрителей. Хозяйкой одной из таких трибун была широко известная «мамаша Дуглас,

[61] Примечания: 61

Марбл-арч — триумфальная арка, некогда служившая главным въездом в Букингемский дворец, затем перенесенная в Гайд-парк, но теперь оказавшаяся вне его пределов.

тайбернская пономариха».

Но конечно, еще большей известностью пользовались палачи, совершавшие публичные казни. Из тех представителей этого ремесла, чьи имена сохранила история, первым был некий Буль, которого сменил знаменитый Деррик. «Он отправится в гости к Деррику, — писал Деккер в своем „Лондонском стороже“ (1608) об одном конокраде, — и Тайберн будет местом, где он отдохнет». Существовала поговорка «надежный, как машина Деррика» — здесь подразумевалась хитроумная конструкция вроде подъемного крана, на которой можно было повесить одновременно двадцать три человека. Потом это устройство стало использоваться в более «мирных» целях, а именно для разгрузки судов в портах, и оно до сих пор носит имя знаменитого палача[62].

На смену Деррику пришел Грегори Брандон, чье имя обыгрывалось в нескольких каламбурах — среди них, в частности, были «грегорианский календарь» и «грегорианское древо» (виселица), — а этого палача, в свою очередь, сменил его сын Ричард, которому профессия отца досталась по наследству. Потом этот пост занимал Дан по

[62] Примечания: 62

Деррик-кран — подъемный кран со стрелой и опорной поворотной мачтой.

прозвищу «Сквайр», а позже, в 1670-х, — пресловутый Ричард Жаке, он же Джек Кетч. Сохранилось много памфлетов и баллад, авторы которых издевались над Кетчем, например «Тайбернский призрак, или Странное падение виселицы: правдивая повесть о том, как знаменитое тройное древо близ Паддингтона было вырвано с корнем и разрушено некими злыми духами, а также плач Джека Кетча, оставшегося без работы» (1678). Виселицу называли «тройным древом», потому что она была треугольной формы, с тремя столбами. На каждой из трех соединяющих эти столбы перекладин умещалось по восемь человек, так что можно было одновременно повесить двадцать четыре преступника — на одного больше, чем на деррике.

Официальным днем казни был понедельник. Обреченных везли в открытой телеге из Ньюгейта; как правило, их сопровождала огромная бурлящая толпа. «Англичане смеются над чувствительностью представителей других наций, для которых казнь — это что-то из ряда вон выходящее — писал один путешественник-иностранец. — Тот, кого ждет виселица, тщательно бреется и облачается либо в траур, либо в свадебный наряд… Девушки иногда надевают белые

платья с роскошными шелковыми шарфами и берут с собой корзины, полные цветов и апельсинов, чтобы разбрасывать их по дороге на эшафот». Таким образом, шествие к Тайберну превращалось в праздничную демонстрацию. У известных лондонских преступников было принято надевать на шляпу белую кокарду в знак торжества или насмешки; порой она также символизировала их невиновность. Самые знаменитые или любящие порисоваться смертники получали бутоньерку из рук «сестрицы» — проститутки, стоявшей перед церковью Гроба Господня напротив тюрьмы.

Процессия двигалась по Сноу-хиллу, через Холборнский мост, по Холборн-хиллу и самому Холборну. Народ приветствовал приговоренных восторженными кличами или проклятиями, а рядом с ними всегда ехали верхом стражники, сдерживающие толпу. Фердинанд де Соссюр отмечает в своей книге «Англия: взгляд иностранца», что многие преступники в XVIII веке, «отправляясь на эшафот, казались абсолютно беспечными, а некоторые, самые закоснелые, напивались допьяна и высмеивали тех, кто вздумал каяться». У церкви Сент-Джайлс-ин-де-филдс обреченным, согласно принятому ритуалу, давали кувшин с

элем. Они утоляли жажду, после чего процессия возобновляла движение — по Броуд-Сент-Джайлс на Оксфорд-стрит, а оттуда в Тайберн.

Повозка останавливалась прямо перед виселицей. Там смертников переводили на специальную телегу, имевшую вид запряженной конями платформы, и подгоняли ее под «тройное древо». Затем приговоренным надевали на шею веревки, понукали коней и оставляли преступников болтаться в воздухе, пока те не расставались с жизнью. В эти минуты друзья и родственники порой «дергали повешенных за ноги, чтобы они скорее умерли и не мучились».

Когда веревки перерезали, толпа набрасывалась на тела казненных, поскольку считалось, что прикосновение к ним может исцелить от болезни. В «Лондонской энциклопедии» можно прочесть об одном французе, видевшем «в объятиях палача молодую женщину необыкновенной красоты, бледную и дрожащую: она покорно терпела, когда ей на глазах тысяч зрителей обнажили грудь и прикоснулись к ней рукой мертвеца». Подобные драматические сцены насквозь проникнуты языческим духом. В середине XVII столетия цена отсеченной руки мертвеца достигала десяти гиней, поскольку считалось,

что «обладание этим предметом позволяет лекарю еще более эффективно исцелять недуги и предотвращать несчастья».

За само тело также разгоралась борьба между теми, кто хотел сохранить его для своих собственных целей, и теми, кто должен был доставить его хирургам для вскрытия. Здесь «часто вспыхивала драка за право отнести купленные тела родителям, дожидавшимся их в карете или кебе». Если верить тому же Фердинанду де Соссюру, который следил за происходящим с трибуны, это было «презанимательное зрелище».

Казненный Джон Хейнс, вор и взломщик, пришел в себя после того, как его привезли домой к одному знаменитому хирургу. Его спросили, что он запомнил: «Последнее, что я помню, — это как меня везли в телеге по Холборн-хиллу. Мне кажется, что тогда я был на чудесном зеленом поле; и это все, что было со мной до тех пор, пока я не очнулся в разрезальной комнате вашей чести». Таким образом, и расставаясь с жизнью и вернувшись к ней, он думал о зеленых полях[63].

Лондон действительно стал городом виселиц.

---

[63] Примечания: 63

Ср. сцену смерти Фальстафа: «Нос у него заострился, и начал он бормотать все про какие-то зеленые луга» («Король Генрих V», акт II, сцена 3).

В 1776-м «Морнинг пост» сообщила, что «отныне казнь преступников, которым вынесен смертный приговор в Олд-Бейли, будет приводиться в исполнение на перекрестке у гостиницы „Красный чепец“, что на хемпстедской дороге, и близ этого места запрещено строить трибуны, помосты и прочие временные сооружения». Эта мера была принята с целью предотвратить волнения, которые могли вспыхнуть среди зрителей в пору, когда в Лондоне процветал радикализм. Одно из мест, где совершались казни, находилось на том перекрестке, где теперь расположена станция метро «Кемден-таун», другое — на границе между Сити-роуд и Госуэлл-роуд в Излингтоне. Виселицы вообще часто возводились на перекрестках — считалось, видимо, что они лучше всего подходят для того, чтобы отправлять осужденных в последний путь, — но в XVII и XVIII веках преступников нередко вешали прямо на том месте, где они совершили свое преступление, или рядом с ним. Например, в 1790 году двоих человек, приговоренных к смерти за поджог, повесили на Олдерсгейт-стрит прямо напротив дома, который они подожгли. Последний подобный случай, зафиксированный документально, произошел в 1817 году на Скиннер-стрит: вора повесили перед

оружейной лавкой, которую он ограбил.

В Уоппинге было специальное место, где казнили людей, совершивших тяжкие преступления в открытом море; тела повешенных, болтающиеся на веревках, можно было увидеть в районе Блэкуолла и в других местах на берегу Темзы, таких, как Багсбис-хоул. Тела казненных можно было увидеть также в Олдгейте и Пентонвилле, Сент-Джайлсе и Смитфилде, Блэкхите и Финчли, Кеннингтоне и Хаунслоу-хите, — словом, эти напоминания о бренности земного существования попадались на глаза всем, кто направлялся в Лондон или из оного. Зрелище было малоприятное. Например, убийц «сначала вешали обычным порядком, затем вымазывали их тела салом и жиром, одевали в просмоленные рубахи, закрепляя их железными обручами, и приковывали цепями к виселице… там они и оставались, покуда не истлевали совсем». Почему считалось, что подобными картинами надо потчевать путешественников, — это другой вопрос; здесь сразу вспоминается тот факт, что многие основные ворота города использовались заодно и в качестве тюрем. Таким образом город защищал себя и в то же время угрожал визитерам.

Но преступников не всегда карали прилюд-

но. В Ньюгейте была «давильня» для тех, кто отказывался признать себя виновным. Здесь их раздевали, «помещали в низкие темные камеры, накладывая сверху столько железа, сколько они могли выдержать, *и даже более*, и оставляли в таком положении, пока они не умирали». На одной гравюре XVIII века изображен преступник, некий Уильям Спиггот, находящийся в ньюгейтской «давильне»: он лежит обнаженный на голом полу, а его руки и ноги вытянуты и прикованы к крюкам, вделанным в стены. На груди у него деревянная доска, нагруженная железными болванками. Один тюремщик, с ключами, стоит над ним, а другой, со свечой в руке, наклоняется, чтобы посмотреть на страдания осужденного. Эта пытка наподобие средневековой (она называлась «казнью через давление») существовала до 1734 года — красноречивое свидетельство варварской жестокости городского правосудия.

В свете подобных фактов представляется вполне логичным и то, что к концу XVIII столетия количество людей, отправляемых на виселицу, возросло. Например, в 1763 году за один месяц «в Новую и Кларкенуэлльскую тюрьмы за грабежи и прочие преступления было посажено почти сто пятьдесят человек». В «Ежегодном вестни-

ке» говорится, что «тюрьмы были буквально переполнены несчастными заключенными, кричавшими: „Всех не перевешаете!“». Что ж, можно было хотя бы попытаться это сделать.

Однако места, где вершилась расправа, вскоре пришлось сменить на другие. Поскольку городская знать предпочитала селиться к западу от Сити, традиционный маршрут от Ньюгейта к Тайберну стал проходить вплотную к фешенебельным кварталам, примыкавшим к Оксфорд-стрит. Поэтому в 1783 году власти перенесли виселицу в сам Ньюгейт, после чего церемонии проводов приговоренных в последний путь оказались пресеченными, так сказать, «в зародыше». Лишившись любимого развлечения, народ почувствовал себя обделенным, и даже высокообразованные лондонцы сошлись на том, что к этой давней традиции следовало бы отнестись более бережно. «В наш век все словно помешались на нововведениях, — сказал Босуэллу Сэмюэл Джонсон, — и даже Тайберн не захотели оставить в покое… Нет, сэр, я не считаю это улучшением: его оправдывают тем, что казни-де привлекали много зрителей. Но они и *должны* привлекать много зрителей! В противном случае они попросту не достигнут своей цели. Прежний метод как нельзя

более устраивал всех участников: публике нравилось шествие, а преступник получал моральную поддержку. Зачем надо было все это отменять?» У Босуэлла, пожалуй, нашлись бы и свои аргументы в поддержку того же мнения. Он тоже был неравнодушен к публичным казням («Это место обладает для меня какой-то мрачной притягательностью», — написал он однажды о Тайберне) и много раз наблюдал за тем, как преступников вешают в Ньюгейте, из удобной квартиры начальника тюрьмы Ричарда Акермана.

Первое ньюгейтское повешение состоялось 9 декабря 1783 года, но очень скоро новое изобретение — опускающийся люк виселицы — испробовали и на других жертвах. Через несколько дней после оглашения смертного приговора в зале суда в тюрьму поступало распоряжение о приведении приговора в исполнение и преступника переводили в особую камеру. В «Ньюгейтских хрониках» описывается, как осужденные проводили свои последние часы перед выходом «на сцену». В первую ночь в камере смертников «страшное осознание надвигающегося удара не дает спать почти никому», но позже к людям возвращается сон. «Кроме того, осужденные редко страдают отсутствием аппетита, — пишет тот же

хроникер. — Они едят с удовольствием вплоть до самого последнего момента». Некий итальянец, приговоренный к смерти за убийство француженки на улице Хеймаркет, ел «непрерывно и с жадностью», словно хотел как следует насытиться перед уходом из жизни. Другой заключенный, по имени Джеффри, — он повесил своего ребенка в подвале на Севен-Дайалс, — едва переступив порог камеры смертников, заказал себе жареную утку.

За час до казни приговоренного переводили из камеры смертников в специальное помещение — «холодную комнату», — где палач связывал его, прежде чем отвести на эшафот. Передвижную «машину смерти» доставляли на Ньюгейт-стрит с помощью лошадиной упряжки. Это был помост с тремя параллельными брусьями (перекладинами виселицы) на опорах. На части помоста, примыкавшей к тюрьме, имелась крытая платформа; здесь были сидячие места для шерифов, а зрители просто стояли вокруг. Посередине помоста, под перекладинами, находился люк размером десять на восемь футов. Казнь всегда назначалась на восемь утра, и за несколько минут до этого часа шерифы выводили приговоренных. По сигналу (падению специального флажка) засовы, держа-

щие крышку люка, отодвигались, и те, кто стоял на ней, падали вниз с петлей на шее.

Существует несколько гравюр с изображением «новой виселицы у Олд-Бейли»: обреченные висельники, на шею которых уже надеты веревки, молятся или плачут, готовясь расстаться с жизнью. Вокруг, сдерживаемые солдатами, толпятся любопытные, которые завороженно смотрят на происходящее. Служитель, заносивший записи в «Ньюгейтские хроники», признает, что «после перенесения места казни с Тайберна к Олд-Бейли поведение публики отнюдь не изменилось к лучшему. Поглазеть на страшное зрелище собирается не меньше народу, и люди, скучившиеся на тесной площадке, по-прежнему то и дело затевают возню, обмениваются грубыми шутками и издают пронзительные крики».

В одном случае «ожидание затянулось на несколько ужасных минут, и приговоренные стояли, глядя друг на друга… наконец раздался звон колокола, и он словно оглушил несчастных». Рассказывая о заключении в Ньюгейте Молль Флендерс, Дефо пишет, что после того, как прозвонил колокол церкви Гроба Господня, послышались «жалобные стоны и вопли… вслед за этим тюрьма наполнилась нестройными крика-

ми заключенных, на разные лады выражавших свое сочувствие несчастным смертникам… одни плакали, другие орали во всю глотку „ура!“ и желали им счастливого пути, третьи ругали и проклинали виновников их горькой участи».

Вечером накануне казни перед Ньюгейтом устанавливались все атрибуты предстоящего действа — виселица, барьеры, платформы. Естественно, что эти приготовления привлекали внимание праздных или заинтересованных зрителей. «Все трактиры и пивные на Ньюгейт-стрит, в Смитфилде и неподалеку от Флит-стрит полны людей, которые время от времени совершают вылазки, чтобы поглядеть, как идут дела у рабочих», и «то там, то сям сбиваются в кучки какие-то темные личности», чтобы обсудить завтрашнее мероприятие. Полиция разгоняла их, но они собирались в других местах. Сразу после полуночи в воскресенье, когда большинство ночных гуляк разбредалось по домам, владельцы кофеен и баров распахивали свои двери и сдавали внаем комнаты: «Великолепные помещения!», «Прекрасное расположение!», «Все как на ладони!», «Отличный вид!» Сдавались все крыши и окна, пригодные для наблюдения за казнью; «чердак кофейни Лэма» стоил пять фунтов, а ком-

ната на втором этаже с окнами, выходящими на тюрьму, могла обойтись впятеро дороже. Самые нетерпеливые лондонцы появлялись на улице в четыре-пять утра, а к семи уже вся мостовая перед Ньюгейтом была запружена толпой. К началу казни отдельные зрители, которых в течение нескольких часов прижимали к барьерам, «едва не падали от изнеможения».

Когда заключенного Уолла вели к месту казни по тюремному двору, другие узники Ньюгейта свистели и выкрикивали оскорбления в его адрес. Бывший губернатор африканского островка Горе, Уолл засек до смерти солдата — одно из тех преступлений, связанных с превышением власти, которые лондонцы ненавидят больше всего. Толпа, собравшаяся на Ньюгейт-стрит, встретила его появление на эшафоте тремя продолжительными криками. После того как Уолла повесили, палач стал продавать снятую с его шеи веревку по шиллингу за дюйм; женщина по прозвищу Веселая Эмма (по слухам, жена палача), «болтавшая без умолку и только что вернувшаяся с Пай-корнер, где она каждое утро поглощала свою порцию джина», продавала обрывки роковой веревки еще дешевле.

Губернатор Уолл встретил свою судьбу молча

и с достоинством. Артур Тислвуд, осужденный в 1820 году как организатор заговора на Като-стрит, поднявшись на эшафот, воскликнул: «Скоро я узнаю последнюю великую тайну!» Миссис Маннинг, осужденная в 1849 году за необычно жестокое преступление — с одобрения мужа она убила своего любовника долотом, — появилась на эшафоте в черном атласном платье; «ее выбор сделал эту дорогую ткань непопулярной, и черный атлас пользовался низким спросом почти тридцать лет». Это напоминает случай с миссис Тернер, знаменитой отравительницей периода царствования Якова I; она была большой модницей и использовала желтый крахмал для обработки брыжей и манжет. Ее приговорили к повешению в Тайберне «в желтых крахмальных манжетах и брыжах, ибо она первой придумала и стала носить эти мерзкие украшения». Для пущей убедительности палач в тот день «выкрасил свои руки и отвороты рукавов» в желтый цвет, и с тех пор цветной крахмал, подобно черному атласу миссис Маннинг, «стал у всех вызывать отвращение и почти вышел из употребления». То, что Ньюгейт и Тайберн могли влиять на моду, еще раз подтверждает, что публичные казни в Лондоне всегда находились в центре обществен-

ного внимания. Город снова выступает здесь в роли сценической площадки: повешение было своего рода уличным представлением. В «Хрониках» рассказывается, что, когда перед Ньюгейтом вешали пятерых пиратов-мятежников, «обращенные вверх лица зрителей, на которых был написан жадный интерес, напоминали лица завсегдатаев галерки в „Друри-лейн“… Люди то и дело обменивались одобрительными замечаниями. Какой-то уличный торговец воскликнул, обращаясь к своему приятелю: „Ах, до чего ж здорово!“». Театральность и жестокость здесь неразрывно слиты друг с другом.

С появлением осужденного «неумолчный рокот» толпы переходил в «оглушительный рев»: когда несчастный подходил к виселице, раздавались крики: «Сними шляпу!», «Эй ты, впереди, убери голову!» Потом наступали несколько секунд тишины — и преступник повисал в петле. В этот миг «каждое звено этой человеческой цепи содрогалось, по всем рядам пробегало движение». После этого внезапного содрогания тела города вновь раздавался шум толпы, «словно глухой гул в морской раковине». Вскоре в нем уже можно было различить привычные выкрики продавцов «имбирного пива, жареной рыбы, пирогов,

сандвичей и фруктов». Кто-то выкликал имена знаменитых преступников: брошюрками их сочинения до сих пор торговали на том месте, где они тоже некогда расстались с жизнью. Ко всему этому вскоре добавлялись «божба, драки, непристойные выходки и еще более грязная ругань» — последняя, пожалуй, с едва различимой ноткой разочарования. Публика всегда надеялась на то, что во время казни случится что-нибудь непредвиденное — к примеру, преступник попытается вырваться на свободу или механизм виселицы даст сбой. Осужденный за поджог Чарлз Уайт прыгнул вперед в тот самый момент, когда люк открылся, и балансировал на его краю, а «толпа ревела, выражая свое одобрение, пока он отчаянно боролся с палачом и его помощниками». В конце концов палач схватил его за ноги и засунул в дыру. В такие мгновения лондонская чернь начинала инстинктивно сочувствовать осужденному: люди точно смотрели на свою собственную борьбу за жизнь, которую хотят отнять у них представители власти.

Были случаи, когда смерть на эшафоте сопровождалась смертями на улице. В феврале 1807 года состоялась казнь двоих убийц, Хаггерти и Холлоуэя; ее ожидали с таким нетерпением,

что перед тюрьмой и на соседних улицах собралось почти 40 000 человек. Еще до того, как осужденные появились на эшафоте, нескольких женщин и детей затоптали насмерть под крики «Убийство!». На Грин-Арбор-корт, перед дверями долговой тюрьмы, продавец пирожков уронил что-то и нагнулся за своей вещью, а «народ, не разобравшись, в чем дело, сшиб его наземь. Никто из упавших уже не мог подняться». В другом месте развалилась телега, набитая зрителями, «и многие из сидевших на ней были затоптаны насмерть». Но, несмотря на весь этот кровавый хаос, ритуал казни продолжался. Лишь после того, как виселицу сняли и толпа частично рассеялась, полицейские нашли тела двадцати восьми погибших и подобрали сотни раненых.

Два великих романиста XIX века, похоже, чувствовали подспудный символизм этих сцен, происходивших в понедельник утром, когда город с шумным ликованием провожал в последний путь кого-то из своих обитателей. 6 июля 1840 года Уильям Мейкпис Теккерей встал в три часа утра, чтобы присутствовать на казни слуги Бенджамина Курвуазье, осужденного за убийство хозяина. Он описал это событие в эссе «Хроника одного повешения». Направляясь на Сноу-хилл,

Теккерей наблюдал за толпой, двигавшейся в том же направлении; в двадцать минут пятого, когда его экипаж поравнялся с церковью Гроба Господня, «на улице были уже сотни людей». В первый раз увидев виселицу, выдвинутую из ворот Ньюгейта, Теккерей испытал нечто вроде «электрического шока». Он стал спрашивать окружающих, на многих ли казнях они побывали; большинство отвечало утвердительно. И что, после этого зрелища они изменились к лучшему? «Да нет, ничуть, поскольку казненные никого не волнуют», или, как выразился один лондонец, «после этого все мигом вылетает из головы».

Окна магазинов вскоре заполнились щеголями и «спокойными, дородными горожанами и членами их семейств», а какой-то аристократ, стоя на балконе, ради забавы поливал толпу из сифона бренди с содовой. По мере приближения стрелок часов к восьми народ становился все более нетерпеливым. Когда колокол церкви Гроба Господня пробил восемь, все мужчины сняли шляпы и «раздался громкий гул — более странного, жуткого и неописуемого звука мне еще никогда не доводилось слышать. Женщины и дети пронзительно завопили», а потом «раздался ужасный отрывистый лязг, слившийся с криками

толпы, которые продолжались еще минуты две». Это была сцена, полная лихорадочной тревоги, словно весь город вдруг очнулся от тяжелого сна. В шуме толпы было что-то нечеловеческое, тотчас же уловленное Теккереем.

Человек, которого должны были повесить, вышел из дверей тюрьмы. Запястья у него были связаны, но он «раз или два беспомощно разжал руки и сжал их снова. Затем огляделся по сторонам диким, умоляющим взглядом. Его губы искривились в жалком подобии улыбки». Он быстро стал под перекладину; палач развернул его и «закрыл голову и лицо пациента черным капюшоном». Дальше Теккерей смотреть не смог.

Вся сцена наполнила его душу «глубочайшим ужасом и стыдом». Любопытно, что, говоря об осужденном, писатель — очевидно, бессознательно — называет его «пациентом»; так же называли в Брайдуэлле[64] узников, которых приговаривали к порке. Город словно уподобляется огромной больнице, полной больных и умирающих. Но, кроме того, город — это еще и операционная, в которой люди на глазах у зрителей расстаются с жизнью. Теккерей назвал чувство, руководящее

[64] Примечания: 64

Брайдуэлл — лондонский исправительный дом, существовавший до 1863 г.

толпой, «бессознательной жаждой крови». Он предполагал, что здесь действуют какие-то неискоренимые, первобытные инстинкты.

Тем же утром, спозаранку, к Ньюгейту пришел и Чарлз Диккенс. «Только один раз, — сказал он друзьям, — я хочу собраться с духом и увидеть конец Драмы». Благодаря своей интуиции великий лондонский романист очень точно подобрал слово для определения рокового события. Он отыскал подходящую комнату на верхнем этаже дома, расположенного напротив тюрьмы, и заплатил за нее; отсюда он внимательно наблюдал за поведением лондонской толпы, которое вскорости описал в своей книге «Барнеби Радж», в рассказе о мятеже лорда Гордона. Разглядывая публику, он заметил знакомую высокую фигуру: «Да это же Теккерей!» Диккенсовские романы изобилуют случайными встречами, и здесь, посреди огромной толпы, собравшейся перед Ньюгейтом, его фантазии нашли подтверждение в реальности.

Девять лет спустя, холодным ноябрьским утром, он поднялся с постели, чтобы наблюдать за другой казнью. В тот день на Хорсмонгер-лейн в Саутуорке должны были повесить Маннингов, и сразу же после их казни Диккенс написал письмо

в «Морнинг кроникл», заявив, что видел в толпе, собравшейся перед тюрьмой, «образ самого Дьявола». «Я уверен, что столь немыслимо жуткого зрелища, как злобная веселость гигантской толпы… не увидишь ни в одной другой, даже самой дикой стране мира». Здесь Диккенс говорит о языческой сущности лондонцев в открытую.

Как и на Теккерея, на Диккенса произвел гнетущее впечатление шум толпы, особенно «пронзительность криков и воплей», тот «жуткий неописуемый звук», который слышал и Теккерей. Вокруг раздавались «хриплые выкрики и смех; какие-то компании распевали хором негритянские песенки, подставляя в них „миссис Маннинг“ вместо „Сюзанны“… кто-то упал в обморок, кто-то свистел или отпускал грубые шутки в духе Панча». Другая миссис Маннинг, находившаяся в толпе, «заявила, что у нее с собой нож и она сейчас убьет кого-нибудь, чтобы ей можно было тоже выйти на эшафот вслед за своей „тезкой“…» Диккенсовский рассказ о происходящем передает свирепое возбуждение черни — свидетельство «ее глубокой испорченности и развращенности». Он говорил, что «немногие стороны лондонской жизни могли бы меня удивить». Однако его по-настоящему поразило и встревожило то, что он

наблюдал во время казни.

Толпа перед Ньюгейтом и тюрьмой на Хорсмонгер-лейн часто освистывала и осыпала оскорблениями палача, совершавшего казнь. Приговоры, вынесенные Курвуазье и Маннингам, приводил в исполнение некий Калкрафт, который прежде зарабатывал на жизнь тем, что порол заключенных в Ньюгейте. В 1849-м Маннинги стали его единственными жертвами, и в дальнейшем его услуги требовались все реже и реже. Между 1811-ми 1832-м годами происходило примерно по восемьдесят казней ежегодно, но в промежутке с 1847-го по 1871-й эта цифра упала до 1,48. Уильяма Калкрафта сменил Уильям Марвуд, усовершенствовавший метод повешения. Однажды он заявил, что «было бы лучше, если бы те, кого я казню, предпочли праздности трудолюбие», — эти его слова заставляют вспомнить о хогартовском изображении казни ленивого подмастерья.

Марвуд умер от пьянства. Последним из его преемников, также снискавшим в народе широкую известность, был Альберт Пирпонт, хваставшийся, что он может убить человека за двадцать секунд. Однако публике уже не удалось насладиться его мастерством. Последнее публичное

повешение перед Ньюгейтом состоялось в 1868 году, и с тех пор преступников вешали только в специальном домике в пределах тюремных стен. В 1955-м в тюрьме Холлоуэй была повешена Рут Эллис; ее казнь и казнь восемнадцатилетнего Дерека Бентли, состоявшаяся двумя годами раньше, ускорили победу борцов за отмену этой высшей кары. Последняя казнь в Лондоне произошла в 1964 году, более чем через сто лет после того, как Теккерей молил Бога «очистить нашу землю от крови».

Но вот вам еще одна лондонская загадка: согласно бытующему в городе поверью, виселица, увиденная во сне, сулит человеку огромное богатство в будущем. Деньги и кровь по-прежнему неразлучны.

НЕНАСЫТНЫЙ ЛОНДОН

Глава 32
Всасывающая воронка

В начале 1800 года, приближаясь к Лондону в открытой карете, Де Куинси ощутил на себе «чрезвычайно мощное всасывание, которое чувствуется уже на весьма большом отдалении», сознавая в то же время, «что подобное всасывание действует и на гораздо большем отдалении, как на суше, так и на море». В эссе «Лондонская нация», откуда взята эта цитата, Де Куинси создает образ «обширной области магнетизма», притягивающей к своему центру все мировые силы. В сорока милях от Лондона «смутное предощущение некоего громадного столичного города настигает тебя неосознаваемо, как неясная угроза». Область неведомой и незримой энергии нащупала человека и затягивает внутрь себя.

Знаменательная фраза — «Лондон завоевывает вступающих в него» — ныне, вероятно, звучит как трюизм. В начале XIX века был создан шуточный рисунок, который стал знаменитым и повторялся со всевозможными изменениями и улучшениями, наверно, тысячу раз. Близ Лондона

на дороге встречаются два путника. Один, возвращающийся из города, согбен и сломлен; другой, целеустремленный и полный воодушевления, трясет его руку и спрашивает: «Что, он и вправду вымощен золотом?»

«Давно уже, — замечает Уолтер Безант в книге „Восточный Лондон“, — стало известно, что Лондон пожирает своих детей». Создается впечатление, что видные городские семейства вымирают или уходят в тень за какую-нибудь сотню лет; Уиттингтоны и Чичеле, игравшие главные роли в XV веке, в XVI столетии уже канули в небытие. Ведущие лондонские фамилии XVII века в следующем столетии малоактивны. Вот почему Лондону необходимо быть постоянным источником притягивающей энергии, вовлекая в себя все новых людей и все новые семьи для восполнения непрекращающихся потерь. По дороге в Лондон Де Куинси видит «большие гурты скота», причем головы всех животных повернуты к столице. Однако городу потребны не только окорока, но и юные души.

Архивные материалы за 1690 год показывают, что «из тех, кто получил привилегии горожанина, поступив в ученики к ремесленникам, 73 % родилось за пределами Лондона». Это порази-

тельная цифра. В первой половине XVIII века годичный приток населения в Лондон составлял примерно десять тысяч человек, и в 1707 году было отмечено, что в любой английской семье для любого сына или дочери, «который или которая превосходит других красотой, или умом, или, скажем, отвагой, или трудолюбием, или каким-либо иным редким качеством, Лондон — это путеводная звезда». Город влечет людей как магнит. В 1750 году в столице жило 10 % населения страны. По словам Дефо, «все королевство наше, любая его часть, включая людей, землю и даже море, хлопочет о поставке того или иного — причем, добавлю, самого лучшего — в Лондон для удовлетворения его нужд». К концу XVIII века столичный «муравейник» уже насчитывал миллион человек; за последующие пятьдесят лет цифра эта удвоилась, и никаких признаков того, что темпы роста снижаются, видно не было. «Можно ли удивляться, — писал один обозреватель в 1892 году, — тому, что людей всасывает эта воронка и всасывала бы даже в том случае, если бы расплата была еще суровей?» Вплоть до середины XX века цифры изменяются только в одну сторону — неуклонно вверх, миллион за миллионом; в 1939 году число обитателей Большого Лондона

достигло восьми миллионов.

Ближе к нашему времени население города несколько уменьшилось — и все же сила притяжения, действие которой испытал на себе Де Куинси, по-прежнему ощущается. Недавнее исследование, проведенное в ночном приюте «Сентерпойнт» — всего в нескольких сотнях шагов от церкви Сент-Джайлс-ин-де-филдс, где в древности принимали странников, — показало, что «четыре пятых всех молодых людей… составляли иногородние, в большинстве своем приехавшие недавно».

Как написал Форд Мэдокс Форд, «этот город никогда ни по кому не тоскует — он к этому неспособен. Он никого не любит и ни в ком не нуждается; он одинаково терпит все категории людей». Однако, хотя Лондон не нуждается ни в ком по отдельности, ему, чтобы поддерживать мощь своего движения, требуется едва ли не всё на свете.

Он втягивает в себя предметы потребления, рынки, товары. Анонимный автор «Писем из Альбиона» (1810–1813) испытывает по этому поводу вполне объяснимое ликование: «Нельзя не изумиться при виде всей этой выставленной напоказ роскоши. Здесь дорогие шали из Ост-

Индии, там парча и шелк из Китая, а вот целые россыпи золотой и серебряной посуды… океан колец, часов, цепочек, браслетов». Ненасытность, варьирующаяся на тысячи ладов, является одной из важнейших характеристик Лондона.

О музее при Королевском хирургическом колледже, чья коллекция анатомических образцов приводит в легкую оторопь, было сказано, что «для обогащения его залов был ограблен весь земной шар». Грабить, разрушать — да, это тоже в природе города. Сходный энтузиазм испытал Аддисон, глядя на Королевскую биржу, где коммерсанты «превращают столицу нашу в своего рода Emporium [центр торговли] для целого света». Emporium, в свою очередь, подразумевает Imperium, поскольку тот, кто властвует над торговлей, властвует над миром. Португальские фрукты идут в обмен на персидские шелка, китайский фарфор — на американское курево; олово превращается в золото, шерсть — в рубины. «Я пребываю в совершенном восхищении, — писал Аддисон в „Спектейторе“ за 19 мая 1711 года, — от вида этого сообщества людей, которые преследуют свои частные интересы и в то же время увеличивают общественное богатство… привлекая в страну то, чего в ней не хватает, и

вывозя то, что имеется здесь в избытке».

В словах Аддисона отражается тот факт, что Лондон к началу XVIII века стал всемирным коммерческим центром. Это была эпоха лотерей, рискованных предприятий и «мыльных пузырей». Продавалось и покупалось все — государственные посты, церковные должности, наследницы земельных угодий; как писал Свифт, «власть, которая, согласно старой максиме, сопутствовала *земле,* перешла ныне *к деньгам».* Джон Беньян в «Пути паломника» (1678), подобно Свифту, осмеивает лондонское тщеславие, из-за которого «дома, земли, торговые предприятия, имения, почести, церковные должности, титулы, королевства, плотские радости, развлечения и услады всякого рода» охватываются теперь общим понятием — «товар».

В 1700 году 76 % английской внешней торговли проходило через Лондон.

Предметом купли-продажи были и сами деньги. Центр коммерции стал и центром кредита, где действовали банкир и биржевой спекулянт, перенявшие дух предприимчивого, готового рискнуть купца. Банкиры отпочковались от сообщества ювелиров. Те умели оберегать свое добро, и принадлежавшие им помещения какое-

то время использовались как сберегательные учреждения для хранения денег. Однако в течение XVII века эта первичная функция хранения и защиты мало-помалу уступила главенство выдаче платежных поручений и банковских чеков с тем, чтобы облегчить оборот средств как в столице, так и за ее пределами. И Фрэнсис Чайлд, и Ричард Хор до учреждения ими своих банков были ювелирами; наряду с тремя или четырьмя другими они были, как писал в 1759 году в автобиографии Эдвард, граф Кларендонский, «людьми, чье богатство и безупречная репутация славились настолько, что им можно было доверить или отдать на хранение хоть все деньги королевства». Из этих финансовых предприятий вырос Английский банк — величественнейшая эмблема богатства Сити и надежности его гарантий; главными акционерами нового банка были сами же лондонские коммерсанты, однако этому спекулятивному по сути своей предприятию вскоре был придан государственный статус: во время мятежа лорда Гордона в июне 1780 года его помещение охраняли войска. На монетном дворе в лондонском Тауэре золото этого банка превращалось в гинеи, и его громадный запас драгоценных слитков стал главным фактором

поддержания финансовой стабильности страны в эпоху «мыльных пузырей», паник и войн. И все же, крепя устои государства, банк одновременно способствовал деятельности разнообразных лондонских бизнесменов — от торговцев полотном и алмазами до продавцов угольной крошки, от экспортеров шляп до импортеров сахара.

Одной из ключевых фигур того времени, осмеянной в стихах и пьесах, был «джоббер» — биржевой маклер. Джон Гей подверг осуждению столицу, где «на видном месте восседает брокер», и эпоху, когда такое возможно. Джобберы сидели, впрочем, в кофейнях Чейндж-элли. Они были прямыми наследниками лондонских писцов-нотариусов, составлявших документы о передаче из рук в руки земель и строений; ныне предметом их забот было учреждение новых компаний и движение акций и капиталов. Сиббер в пьесе «Преимущественное право» (1720) дал анатомический разрез ситуации: «Там [в Чейндж-элли] можно увидеть герцога, увивающегося за членом правления банка; вот пэр и подмастерье торгуются за восьмую часть; вот еврей и приходский священник улаживают разногласия; вот родовитая молодая женщина покупает акции у квакера, играющего на понижение; вот родовитая жен-

щина постарше продает право первого выбора лейтенанту гренадерского полка».

В конце концов в кофейнях Чейндж-элли — таких, как «У Джонатана» или «У Гарраузя», — стало чересчур шумно, и джобберы перебрались в «Нью-Джонатанс». Летом 1773 года это заведение было переименовано в Фондовую биржу. Чуть более двадцати лет спустя возникло новое здание в Кейпел-корт; в 1795 году в «Банк миррор» были запечатлены звучавшие в нем голоса: «Почта пришла… Какие новости? Какие новости? Спокойствие, спокойствие… Акции консолидированной ренты с доставкой завтра… Обанкротился крупный торговый дом… Начинаются пятипроцентные выплаты… Переход через Рейн… Австрийцы бегут!.. Французы преследуют! Четыре процента за хорошую возможность!»

Английский банк и Фондовая биржа ныне по-прежнему доминируют на этом небольшом, плотно застроенном клочке земли. Рядом, на месте старинного рынка Стокс-маркет, где с XIII века шла торговля рыбой и мясом, стоит Мэншн-хаус — резиденция лорд-мэра Сити. Возможно, эта троица учреждений расположена на одном из священных мест города. Изучение карт в хронологической последовательности показывает,

что темного цвета, обозначающего строения, здесь становится все больше; здание Английского банка постепенно росло вширь и наконец заняло весь участок между Лотбери и Треднидл-стрит. К югу от этого места во время Великого пожара 1666 года Джон Эвелин отметил одновременное появление двух огромных огненных шаров. Нет нужды быть «психогеографом», чтобы понять, что этот район — средоточие энергии и власти.

Привлекая все больше денег и кредита, город, сообразно этому, неуклонно рос. Он простирался все дальше на запад и на восток. В 1715 году была предложена схема застройки Кавендиш-сквер и некоторых улиц к северу от Тайберн-роуд. Затем пришла очередь Генриетта-стрит и Уигмор-роуд, чье развитие привело к необычайному росту Марилебона. В 1730-е годы в западной части города возникла Беркли-сквер. На востоке были застроены Бетнал-грин и Шадуэлл, на западе — Паддингтон и Сент-Панкрас. Карты, само собой, тоже сделались насыщеннее: на один квадрат карты 1676 года приходится шесть квадратов карты 1799 года. «Я дважды порывался остановить мою карету на Пиккадилли, думая, что угодил в гущу уличных беспорядков», — писал в 1791 году Хорас Уолпол, не сразу понявший, что это

обычная толпа лондонцев, из которых «одни фланировали, другие с трудом тащились» по оживленной магистрали. «Скоро от Лондона до Брентфорда будет одна сплошная улица, — сетовал он, — и то же самое от Лондона до каждой деревни в десятимильной окружности». Фактически он провозгласил закон самой жизни. Прямым следствием власти и богатства является расширение.

Еще одним их проявлением было благоустройство столицы в XVIII веке. В 1735 году были огорожены для застройки поля Линкольнс-инн-филдс, а четыре года спустя рынок Стокс-маркет, становившийся все более грязным, был выведен из центра города. В 1757 году снесли дома на Лондонском мосту, и в том же году был завален и покрыт мостовой зловонный ров Флитдич, а по берегам впадающей в Темзу реки Флит была сооружена набережная. Четырьмя годами позже, чтобы облегчить доступ в центр Лондона, все городские ворота, расположенные вдоль границы Сити, были разрушены. В небытие канули и уличные вывески, вследствие чего воздух на городских магистралях стал «более свежим и здоровым», однако Лондон утратил былой облик. Все эти меры имели целью ускорить движение

людей и товаров, обеспечить более свободную их циркуляцию по городским артериям; небывалый упор делался на быстроту и эффективность.

Проникнутый тем же духом парламентский акт о мощении улиц (1762) содержал законодательные нормы, регулирующие освещение и мощение улиц по всему городу, и тем самым положил начало работам, вследствие которых городские магистрали стали и ровнее, и чище. Кроме того, почему городу, куда ввозились шелка и специи, кофе и драгоценные слитки, не импортировать также и свет? В 1780-е годы человек, приехавший из Германии, писал: «На одной Оксфорд-стрит больше фонарей, чем во всем Париже». Бурно растущий центр мировой коммерции следовало должным образом иллюминовать. Меры эти, как пишет Пью в книге «Жизнь Хэнуэя», в целом «наделили столичные улицы той элегантностью и той симметрией, что восхищают всю Европу и намного превосходят все, что имеется в этом роде в современном мире». Симметрия — по существу синоним единообразия, и акт 1774 года о строительстве представляет собой дальнейшую попытку стандартизации; в нем лондонские здания расклассифицированы по «разрядам» и «категориям», что в городской застройке ведет

к такой же бесконечной воспроизводимости и повторяемости, какая присуща циркулирующей в городе валюте. То была эпоха стукко, эпоха белизны.

Общественные постройки своим возникновением тоже были во многом обязаны коммерции; подлинной данью почтения торговле с тали, к примеру, новое здание таможни, акцизное управление на Олд-Брод-стрит, Зерновая биржа на Марк-лейн и Угольная биржа на Лоуэр-Темз-стрит. Дом Компании Южных морей на Треднидл-стрит и здание Ост-Индской компании на Леденхолл-стрит соперничали друг с другом в величии; построенное в 1732 году здание Английского банка затем постоянно украшалось и расширялось. Здания различных гильдий также сооружались с тем, чтобы произвести впечатление щедростью и богатством архитектурного облика.

Затем пришла очередь Вестминстерского моста, торжественно открытого для движения зимой 1750 года под звуки труб и литавр. Его пятнадцать каменных арок составили «мост, исполненный величия». Он оказал решающее воздействие на панораму города и в другом смысле: комиссия по его постройке пригласила в Лондон Джованни

Каналетто, чтобы этот художник запечатлел мост на холсте. Хотя в 1746 году, когда он написал картину, мост даже еще не был достроен, Каналетто представил Лондон преображенным, окрасил его в цвета своей родной Венеции. Мы видим тонко стилизованный, итальянизированный Лондон, раскинувшийся вдоль Темзы в чистом и ровном освещении. Город, стремящийся к текучести и изяществу, нашел в Каналетто идеального «проектировщика».

Но от разнообразия и контрастности Лондона никуда не денешься, и лучше всего они подтверждаются тем, что одновременно с Каналетто город запечатлевал Уильям Хогарт. На «благоустроенной» улице на переднем плане Хогарт изображает нищего ребенка, жадно поедающего куски разломанного пирога.

Глава 33
Урок кулинарии

Одна из самых приятных версий происхождения слова «кокни» возводит его к латинскому coquina (стряпня). На Лондон в свое время смотрели как на громадную кухню и как на «место изобилия и доброй пищи». Так Лондон был отождествлен с Кокейном — сказочной страной всеобщего благополучия.

За один лишь 1725 год здесь было съедено «60 000 телят, 70 000 овец и ягнят, 187 000 свиней, 52 000 молочных поросят», а также «14 750 000 макрелей… 16 366 000 фунтов сыра». Великий лондонский пожар начался в Пудинговом переулке (Пудинг-лейн) и окончился на Пирожном углу (Пай-корнер), где и поныне стоит позолоченная скульптура, изображающая упитанного мальчика; в прошлом здесь висела табличка с надписью: «Сей отрок установлен в память о недавнем пожаре Лондона, причиной коему был грех обжорства, 1666».

Пирожный угол в старину славился харчевнями, а из блюд — в особенности свининой.

Шадуэлл пишет о «кусках туш, разделанных на Пирожном углу перемазанными жиром поварами»; Бен Джонсон описывает «трапезу» голодного человека, нюхающего пар здешней стряпни. Пар от мясных блюд поднимался всего в нескольких шагах от Смитфилда, где некогда дымилось поджариваемое на кострах мясо страдальцев. В XXI веке ресторан, находящийся подле Смитфилда, предлагает посетителям, в частности, селезенку и рубец, поросячью голову и телячье сердце.

В Музее Лондона реконструирована кухня II века н. э.; мы видим большой очаг, на котором готовились говядина, свинина и оленина, куры, утки и гуси. Дичь в близлежащих лесах водилась в таком изобилии, что для любителя мясной пищи Лондон был настоящей землей обетованной. Он остается таковым и по сей день.

В ходе глубоких раскопок Лондона римского периода, проведенных в последние годы, были обнаружены устричные раковины, вишневые и сливовые косточки, остатки чечевицы и огурцов, гороха и грецких орехов. На амфоре, извлеченной из земли в Саутуорке, можно прочесть «рекламный» текст: «Луций Теттий Африкан поставляет изысканнейший рыбный соус из Антиполиса».

В саксонский период рацион лондонца был

менее экзотичен. В эпоху «полуденного мяса» и «вечернего мяса», помимо этого главного компонента блюд, в пищу употреблялись лук-порей, обычный лук, чеснок, репа и редис. Бык стоил шесть шиллингов, свинья — шиллинг; согласно данным, относящимся к несколько более позднему времени, в Лондон в больших количествах поставлялись угри. На Темзе по меньшей мере с XI века был целый ряд промыслов, где вылавливалась эта порода рыб. Этим же столетием датируются сливовые и вишневые косточки, обнаруженные в ходе раскопок под церковью Сент-Панкрас.

На протяжении всей истории Лондона одним из важнейших продуктов был хлеб. В XIII веке было издано много распоряжений, регулирующих работу городских пекарей, которые подразделялись на тех, что пекли белый хлеб, и тех, что специализировались на tourte (круглых лепешках). Мягкий французский хлеб назывался pouffe, белый хлеб — высококачественный, но достаточно широко распространенный — simnel или wastel, черный хлеб — bis, хлеб низшего сорта — tourte. Пекарни располагались главным образом на востоке города — в Стратфорде, — и их продукция развозилась по городским лавкам

и лоткам на длинных фурах. Воистину хлеб был основой жизни. К примеру, прямым следствием его нехватки в 1258 году было то, что «пятнадцать тысяч беднейших людей умерло с голоду». Хотя из Германии прибыли суда с заграничным зерном и некоторые знатные лондонцы раздавали голодающим хлеб бесплатно, «неисчислимое множество людей погибло, и тела их, опухшие от голода, лежали повсюду». Постоянный лондонский контраст между нуждой и изобилием мог проявляться и так. В том же XIII веке, однако, в более благополучные годы рацион горожанина включал в себя говядину, баранину и свинину, а также мясо миног, дельфинов и осетров. Овощи не пользовались особым спросом, но «капустный суп» считался деликатесом. Лондонцы также изобрели составное мясное блюдо из свинины и птицы. Из книги по домоводству конца XIII столетия мы узнаём, что в постные дни к услугам горожан были «сельдь, угри, миноги, лососина», а в скоромные дни — «свинина, баранина, говядина, домашняя птица, голуби и жаворонки», а также «яйца, шафран и специи».

О питании в XIV веке мы не имеем столь подробных сведений, однако Стоу пишет, что 1392 и 1393 годы были годами лишений, когда бед-

ноте приходилось довольствоваться «яблоками и орехами». Впрочем, трудно сказать, питалась ли беднота хорошо даже в изобильные годы. Средний дневной заработок лондонского рабочего-поденщика составлял шесть пенсов, тогда как пирог с каплуном стоил восемь пенсов, а пирог с курицей — пять. Жареного гуся можно было купить за семь пенсов, десяток вьюрков — за пенс. Десяток вареных яиц тоже стоил один пенс, свиная нога — три пенса. Устрицы и прочие моллюски были дешевы, как и дрозды и жаворонки. Питание, таким образом, представляется диковинно смешанным; дополняли дневной рацион такие деликатесы, как «миндальная каша… похлебка из брюхоногих моллюсков… рыбное бланманже… каша из свинины… поросята в соусе». В «Кентерберийских рассказах» Чосера, созданных между 1387 и 1400 годами, выведен Повар, обязанный «варить цыпленка и мозговые кости… готовить суп и хорошенько печь пирог». Суп (mortrewe) включал в себя такие ингредиенты, как рыба, свинина, курятина, яйца, хлеб, перец и эль. Мы можем также представить себе торопливого лондонца, который покупает на оживленной улице у лоточника жареного жаворонка или дрозда, съедает его на ходу, бросает

объедки в сторону и, возможно, ковыряет потом в зубах косточкой.

В XV веке главная пища — по-прежнему мясная: «лебедь, жареный каплун… оленина в похлебке, крольчатина, куропатка, жареный петух»; на десерт ели очень сладкие составные блюда — например, leche Lombarde. Это был «род желе: сливки, желатин, сахар, миндаль, соль, яйца, изюм, финики, перец и специи». Специи в изрядном количестве входили едва ли не во все блюда; особенным спросом пользовались пряные травы, с которыми подавалось мясо. Автора «Лондона-разорителя» осаждают ньюгейтские торговцы: «…Кричит: бараньи ножки с пылу, с жару, / Другой кричит: макрель». А на Истчипе «один кричит: баранина на ребрах, / И многие: пирог, пирог». Из трав, по свидетельству «мастера Айона-Садовника», в кухнях и монастырских садах XV века популярны были шалфей, звездчатка, буричник, розмарин, фенхель и тимьян. Кроме того, в ход шли «чеснок, лук обычный и лук-порей», что говорит об отсутствии большого интереса к зелени.

О перемене в рационе свидетельствует Харрисон, хроникер эпохи Тюдоров; он пишет, что «в старые дни», то есть в XIII веке, в пищу в большом

количестве шли зелень и овощи, а в XIV и XV столетиях их стали есть меньше. Однако «в мое время их не только начали вновь потреблять бедные простолюдины — я разумею дыни, тыквы, горлянки, огурцы, редис… морковь, мозговой горох, репу и все виды салатных трав, — но в них стали также видеть лакомую пищу разборчивые купцы и знать». Тем не менее во времена коммерческого успеха и изобилия лондонцам для под держания телесной и душевной бодрости требуется изрядное количество мяса. Возможно, этим объясняется внимание, уделяемое в хрониках того времени разнообразным пирам, выявляющим мощь и богатство города. Рассказывая об одном из таких празднеств, Стоу пишет, что «описывать все приготовления, касающиеся рыбных, мясных и прочих блюд, потребленных на этом пиру, было бы скучным делом», но затем не удерживается и начинает перечислять: двадцать четыре быка, сто овец, пятьдесят один олень, тридцать четыре кабана, девяносто один поросенок…

Рацион варьировался в зависимости от времени года: в Михайлов день ели свежую сельдь, в праздник Всех святых — свинину и кильку, на Пасху — телятину и бекон. Летом 1562 года один венецианец отметил, что лондонцам нравятся

сырые устрицы с ячменным хлебом.

Иной раз на характер питания влияли перемены нормативного характера. Например, послабления в сложных правилах, касающихся поста, привели к тому, что вместо рыбы нередко стали есть дешевое мясо. Изменения также могли быть связаны с дальними путешествиями и географическими открытиями; в XVI веке в городе, срывавшем плоды во всех известных тогда странах, уже шли в пищу ямс и батат из Виргинии и ревень из Китая.

Документы начала XVII века говорят о почти символической роли ростбифа и свежих устриц как знаков общественного статуса. За ними неизменно следовал десерт — молочный пудинг или яблоки; выражение «прийти к пудингу», как писал в начале столетия Миссон де Вальбур, означало «явиться в самый что ни на есть удачный момент». В зажиточных домах вместо ростбифа и пудинга порой ели «вареную говядину — после варки мясо на несколько дней засаливают и подают в окружении пяти или шести кучек капусты, моркови, репы или иных овощей, хорошенько посоленных, поперченных и щедро политых маслом». Если говорить о пище не столь тяжелой, то иногда лондонская семья рассаживалась вокруг

решетки, на которой «поджариваются ломти намасленного хлеба… Называется это „тосты“».

XVII век дает нам еще сведения о том, что съестного можно было купить у уличных разносчиков. Гравер Марцеллус Ларон не случайно поместил продавца-перекупщика, выкрикивающего «Жирные куры — налетай, не зевай!», рядом с торговкой, предлагающей «спелую спаржу»: курятину, приготовленную со спаржей, лондонцы считали лакомым блюдом. Куры, кроме того, стоили дешево; курятина и крольчатина были, по-видимому, единственными видами мяса, продаваемыми на улицах. Продавец кроликов, кричащий: «Покупаем кроликов-кролей!» — судя по всему, ирландец, приехавший в Лондон со своим товаром осенью. Тем, кого отправляли к нему из дому за покупкой, наказывали не брать, не принюхавшись хорошенько. Молоко и воду (но не вино) носили по улицам в сосудах. В начале лета можно было купить черешню, позднее — клубнику, осенью — яблоки. Осенью и зимой продавщицы фруктов торговали горячими печеными грушами «уорден», которые носили в горшке, стоявшем у них на голове. Отношение деревенского жителя ко всем этим доставляемым в город плодам лучше всего, вероятно, выразил Мэтью Брамбл в романе Смол-

летта «Путешествие Хамфри Клинкера» (1771): «О каком-то грязном месиве, которое называется клубникой, и говорить нечего; ее перекладывают сальными руками из одной пыльной корзины в другую…»[65] Здесь главный упор делается на грязь, но подразумевается также чреватая эпидемиями перенаселенность Лондона, где любой товар проходит через неизвестное количество безымянных «сальных рук». Одним из недорогих элементов лондонского питания были угри; их покупали живыми, обычно у женщин-разносчиц, сразу же обдирали и запекали в пирогах. Впрочем, на улицах торговали и другими видами морской живности; крабы стоили дешево, макрель и камбала тоже, а устриц покупали по двенадцать пенсов за пек, то есть приблизительно за два галлона.

Из сельской местности приехал и молодой человек, расхваливающий свой «белоснежный уксус, три пенса за кварту!». Уксус, который делали из сидра или белого вина, использовали как соус и как предохраняющее средство от инфекций, но главным образом он играл роль консерванта. Мариновали практически все — каштаны, цветную

[65] Примечания: 65
Перевод А. Кривцовой.

капусту, персики, лук, лимоны, устриц, спаржу.

И XVIII веке ростбиф слыл «староанглийским» кушаньем, хотя в прежние столетия он был всего лишь одним из многих мясных блюд, отягощавших столы англичан. Своей ролью некоего символа английского национального характера ростбиф, возможно, в наибольшей степени обязан заметкам заграничных путешественников о том, что лондонцы — «плотоядные» люди. Плотоядные и ненасытные. В мае 1718 года на повозке, запряженной шестью ослами, в таверну «Лебедь», находившуюся на Фиш-стрит-хилле, везли громадный мясной пудинг — восемнадцать футов и два дюйма в длину, четыре фута в ширину. Однако «запах оказался слишком силен, чтобы лондонские обжоры смогли устоять. Эскорт был обращен в бегство, пудинг захвачен и съеден». «Иностранца, — писал один немецкий пастор, посетивший Лондон в 1767 году, — изумляет великое пристрастие англичан к мясу. Его ошеломляет невиданный размер куска говядины, который ему подают на тарелке». Этот же путешественник отметил, что лондонское простонародье привыкло «ежедневно есть говядину или баранину» с белым хлебом и крепким пивом. Мясо, однако, потреблялось не только в виде

телячьих котлет и бараньих ног: в 1750-е годы в моду вошли говяжьи сосиски.

В записках пастора интересен и другой момент. По его словам, лондонцы требовали, чтобы еда и питье были яркими по цвету. Считалось, что цвет бренди и вина должен быть «насыщенным», что зелень должна быть по виду такой, словно ее только что сорвали; капуста и зеленый горошек не варятся «из страха, что они потеряют цвет». Не исключено, что здесь проявляется некая притупленность лондонского вкуса: в городе зрелищ даже еду, чтобы ее прочувствовать, нужно вначале хорошенько рассмотреть. Однако подмеченная пастором черта, пожалуй, свидетельствует о большем — о не вполне здоровом пристрастии к внешнему эффекту. Обратив внимание на белизну телятины, он пишет, что телят ради этой белизны заставляют лизать мел. Он также указывает, что лондонцам победнее «свойственно сильное предубеждение в отношении цвета… хлеб, по их мнению, тем лучше, чем он белее». Между тем один из персонажей Смоллетта заявляет, что лондонский белый хлеб — «неудобоваримое тесто, смешанное с мелом,

квасцами и костяным пеплом»[66]. Так лондонцы заблуждаются относительно природы вещей, судя о них исключительно по наружности. Это, разумеется, не укрылось от внимания критиков общественных нравов, сетовавших на то, что с мошенниками и выскочками, если платье и манеры у них приличные, обращаются как с джентльменами.

Потребительская алчность порой вызывала отвращение, признаки которого ощущаются. «Зачем им столько мяса, столько жира?» — вопрошал поэт Джон Льюкнор. Еще один смоллеттовский герой входит в харчевню, наполненную «горячим паром мясного бульона», и вид «бычьих шкур, требухи, говяжьего студня и сосисок» вызывает у него тошноту. В те годы «достопочтенная гильдия мясников», залезшая в долги и испытывавшая сильную конкуренцию в предместьях Лондона, проявила полную неспособность добиться соблюдения правил торговли мясом. На продажу выставлялось все, вплоть до самых дрянных и плесневелых кусков. В очередной раз символом городской жизни становится необузданный разгул коммерции.

---

[66] Примечания: 66
Перевод А. Кривцовой.

В начале XIX столетия среди выросших вдоль Темзы фабрик возникли и предприятия пищевой промышленности: мясные экстракты и соусы изготовлялись у Лондонского моста, мясные консервы («патентованная говядина») — в Бермондси. То был век килечного паштета и консервированного языка, очищенного масла и консервированного паштета из гусиной печенки. Не обходилось и без более традиционных блюд. В записках путешественников XIX века упоминаются ветчина, языки почки, подаваемые на завтрак, и бараньи отбивные, ромштекс и телячьи котлеты на обед; в менее изысканных заведениях меню включало в себя «окорок, филейную часть, гусиные и индюшачьи шеи и лапки, тресковые жабры, плавники и хвосты».

Однако подавляющая часть сведений попрежнему касается съестного, покупавшегося у уличных торговцев. Наиболее характерной формой питания для беспокойного, огромного и быстро перемещающегося городского населения было подобие нынешней «фастфуд» — еды на скорую руку. Будь то жареная рыба, продававшаяся в промасленной бумаге, или вареный пудинг в хлопчатобумажном мешочке, трапеза горожан победнее часто проходила «на камнях». На Хол-

борн-хилле можно было купить свежие яйца, на Брод-Сент-Джайлс — свинину. На каждом шагу попадались лотки, торговавшие печеной картошкой, и лавчонки, где продавался фруктовый рулет или вареный пудинг с коринкой. Один торговец из Уайтчепела сказал Генри Мейхью, что «за день продал триста кусков пудинга по пенсу каждый. Две трети этого количества купили дети и подростки не старше пятнадцати лет… Мальчишки порой капризны и требовательны. „Мистер, дайте другой кусок — тут мало изюму“. Или: „А он свежий? Я люблю с пылу с жару“». С этими горячими вкусностями конкурировали сандвичи, которые восславил, назвав их «одним из величайших наших нововведений», Чарлз Диккенс, увидевший, как в вихре безостановочной активности и безостановочного потребления их целыми полками сметают посетители театра «Британия» в Хокстоне.

Характер этого неуемного потребления с тех пор изменился и в торговых, и в фешенебельных районах города. Целую историю бытового поведения можно вывести из того простого факта, что за последние пять столетий время обеда, то есть главной трапезы дня, переместилось примерно на десять часов вперед. В конце XV века многие

лондонцы обедали «в десять утра», хотя были и такие, кто откладывал обед до более позднего времени; в XVI веке мясная трапеза происходила между одиннадцатью и двенадцатью дня. В XVII столетии обычным временем было от двенадцати до часа. Но начиная с первых десятилетий XVIII века час обеда наступает все позже и позже. В 1740 году обедали приблизительно в два часа, в 1770-м жизненно важный момент наступал в три. За последние десятилетия XVIII и начало XIX века обед переместился к пяти-шести часам вечера. А Гарриет Бичер-Стоу, описывая лондонскую жизнь 1850-х годов, отметила, что в «аристократических» домах самым подходящим обеденным временем считается восемь или даже девять вечера.

Моралисты XVIII века объясняли передвижение главной трапезы упадком нравственности в обществе: словно бы перед тем, как окончательно расправиться с днем, необходимо было разделаться с пищей. Однако упомянутому процессу, возможно, способствовало одно более специфическое обстоятельство — главным образом в первые десятилетия XVIII века, когда, как пишет Гроле, «время похода на биржу совпало с часом обеда, вследствие чего коммерсанты сочли разумным

обедать уже после возвращения с биржи». Еще один пример того, как коммерческие императивы вторгаются в интимное строение лондонской жизни.

Глава 34
Кушайте здесь или берите на дом

На протяжении многих веков неотъемлемым элементом этой жизни были харчевни и рестораны. В XII веке один монах описал обширное «место стряпни» на берегу Темзы, где можно было купить как обычное мясо или рыбу в вареном или жареном виде, так и более деликатную оленину. Запивалось все это, несомненно, элем или вином. Возможно, мы имеем здесь дело с описанием первого лондонского ресторана, при этом один историк Лондона утверждает, что общественная кухня действовала тут еще во времена римлян. Если так, то лондонское чревоугодие имеет поистине долгую историю. Что касается заведения XII века, оно включало в себя «обеденные покои для богатых и харчевню для бедных» и отпускало пищу на дом, если к тебе неожиданно нагрянули гости. Несомненно, это было крупное предприятие, которое, возможно, выдержало бы сравнение с большими заведениями Теренса Конрана в Сохо и Вест-энде: как пишет Уильям Фицстивен, «сколько бы воинов или иных пришлых людей

ни явилось в город в любой час дня или ночи или же сколько бы их ни готовилось отбыть, всем им открыт доступ».

С ростом населения возрастало и число харчевен; в XIV и XV столетиях на Бред-стрит и Истчипе их уже было немало. Эти улицы славились заведениями, где можно было поесть и где цены находились под строгим контролем городских властей. Иногда посетители приносили туда свои продукты и отдавали приготовить. За огонь и стряпню платили от пенса до двух.

В XVI веке возникли ординарии — харчевни с дежурными блюдами. Блюда могли быть двенадцатипенсовыми, а могли и трехпенсовыми — цена зависела от степени комфорта и от характера главного блюда. На полу, покрытом камышовыми подстилками, стояли деревянные скамейки и столы на козлах. Хозяин или его подручный расхаживал между посетителями и кричал: «Чего изволите?» или «Чего подать?» Подавали сначала мясо, затем домашнюю птицу, затем дичь и напоследок сладкие мучные изделия; «добраться до вальдшнепов» означало почти окончить трапезу. Горожане приходили примерно в полдвенадцатого, после чего бродили поодиночке или группами, дожидаясь мяса;

некоторые «щеголяли одеждой и драли как могли глотку, чтобы вольнее себя чувствовать». Обстановка здесь и вправду была вольная, и заведения эти, существовавшие и в следующем столетии, явили собой характерный образчик лондонской харчевни.

К концу XVII века относится данный Франсуа Миссоном перечень видов мяса, входивших в меню такого заведения: «говядина, баранина, телятина, свинина и ягнятина; вам отрежут любой кусок, какой вы захотите, большой или маленький, жирный или тощий, и зажарят по вашему желанию сильнее или слабее; к мясу подадут немного соли и горчицы на краю тарелки, бутылку пива и булочку». После еды, когда вы уже рассчитались, подавальщик подносил к столу корзину и ножом сгребал в нее хлебные крошки и остатки мяса. Во многих подобных харчевнях была «чистая комната» для тех, кто требовал блюд поизысканнее и подороже, тогда как заурядные горожане довольствовались шестипенсовой порцией в «общей комнате».

Харчевни располагались уже отнюдь не только на Истчипе и Бред-стрит. Они возникали во всех густонаселенных частях столицы. Бишопсгейт-стрит, Линкольнс-инн-филдс, Олд-Бейли,

Ковент-гарден, Хеймаркет и многие другие места обзавелись своими популярными заведениями, где можно было поесть.

В XVIII веке их стали называть beef-houses или chop-houses, то есть бифштексными или котлетными; наряду с ними существовали таверны, специализировавшиеся на более торжественных или продолжительных трапезах. Котлетная «У Долли» на Патерностер-роу была особенно популярна и славилась тем, что мясо там подают «с пылу с жару». Знаменитое скопление харчевен за церковью Сент-Мартин-ин-де-филдс местные жители называли «Порридж-айленд», то есть «Остров овсяной каши»; то были, впрочем, забегаловки невысокого пошиба, где джин и эль играли столь же важную роль, как еда, приносимая из кухни «под оловянной крышкой».

Однако самыми знаменитыми заведениями в Лондоне XVIII века были, конечно, кофейни. Возникли они еще в середине XVII столетия, когда, согласно записи того времени, включенной в книгу «Топография Лондона», «был также турецкий напиток под названием Кофе, который продавали почти на каждой улице, и другой напиток под названием Чай, и еще один напиток под названием Шаколад, очень сытный». Первая

кофейня была открыта в 1652 году на Сент-Майклз-элли близ Корнхилла; два или три года спустя поблизости — на улице Сент-Майклз-черчард — возникла вторая. Третья, называвшаяся «Радуга» и расположенная на Флит-стрит у ворот Иннер-Темпла, в 1657 году стала объектом судебного преследования ввиду «великих неудобств и помех для округи»; соседи жаловались главным образом на «дурные запахи» и на опасность пожара. Однако популярность кофеен среди жителей Лондона очень быстро стала очевидной — во-первых, как заметил Маколей, «благодаря возможности назначить встречу в любой части города», во-вторых, «благодаря возможности провести вечер в компании за весьма умеренную плату». В начале XVIII века в столице уже насчитывалось около двух тысяч кофеен.

Картина неизвестного художника, датируемая примерно 1700 годом, показывает интерьер одной из них: несколько джентльменов в париках принимаются за разлитый по чашкам кофе, на столах горят свечи, пол — голые доски. Один посетитель курит длинную глиняную трубку, другие читают периодические издания. Одно из них — «Спектейтор» — открыло свой первый номер весной 1711 года рассказом о мире кофеен: «Ино-

гда я всовываю голову в кружок политических деятелей у *Уилла* и с превеликим вниманием слушаю речи, которые ведутся в этом маленьком избранном обществе. Иногда я выкуриваю трубку у *Чайлда* и, делая вид, что обращаю внимание только на *почтальона,* слушаю разговоры за всеми столами в зале. *Воскресными* вечерами я появляюсь в кофейне *Сент-Джеймс* и порой присоединяюсь к маленькому комитету политиков во внутренней комнате на правах того, кто приходит послушать и набраться ума. Мое лицо настолько же примелькалось и в *Греке,* и *в Дереве какао*…» Во всех этих кофейнях распространялись всевозможные вести и слухи на злобу дня.

Каждое ремесло и каждая профессия обзавелись своими кофейнями; Маколей пишет: «Иностранцы отмечали, что кофейни — самое яркое из всего, что отличает Лондон от прочих городов, что они суть подлинные жилища лондонцев и что человек, которому нужно разыскать того или иного джентльмена, обычно интересуется не тем, на какой улице он проживает — на Флит-стрит или на Чансери-лейн, — а тем, какую кофейню он посещает — „Грека“ или „Радугу“». Знаменитый врач Джон Радклиф, живший на Боу-стрит, ездил в кофейню Гарраузя, находив-

шуюся довольно далеко — на Чейндж-элли близ Корн-хилла, — где его «всегда можно было найти за определенным столом в окружении хирургов и аптекарей». Он приурочивал свои посещения «к часу, когда биржа была полна», несомненно, рассчитывая на внимание со стороны богатых коммерсантов и брокеров.

В других кофейнях юристы встречались с клиентами, брокеры встречались друг с другом, коммерсанты пили кофе с покупателями, политики пили чай с журналистами. Кофейня «Виргиния и Мэриленд» на Треднидл-стрит, став признанным центром встреч для тех, кто вел дела с Россией, изменила название на «Балтику». Кофейня «Иерусалим» на Корнхилле была центром вест-индской торговли, заведение «У Батсона» на том же Корнхилле было своего рода «консультационной комнатой» для врачей, принимавших пациентов в Сити. Кофейня «У старого Слотера» на Сент-Мартин-лейн приобрела известность как прибежище лондонских художников. В кофейне «Сент-Джеймс» на Сент-Джеймс-стрит собирались виги, а дальше по той же улице в «Дереве какао» на углу Пэлл-Мэлл — тори и якобиты. «Грек» в Девере-корте привечал юристов, острословы и писатели облюбовали заведение «У

Уилла» на северной стороне Расселл-стрит близ Ковент-гардена. Была даже плавучая кофейня — судно «Каприз», которое стояло на приколе у Сомерсет-хауса. «Большое, как военный корабль», оно было разделено на несколько залов, где подавали кофе, чай и спиртные напитки. Подобно многим лондонским заведениям на реке, оно вначале привлекало фешенебельную клиентуру, но постепенно становилось прибежищем пьяниц и прочей сомнительной публики, пока не превратилось, по существу, в плавучий бордель. В конце концов изрядно прогнившее судно было продано на дрова. Расположенное на воде, оно было лишено долговечности назначения, свойственной наземным учреждениям.

Где бы они ни находились, на воде или на суше, кофейни не сверкали безупречной чистотой, и в них сильно разило табаком. Во многих из них деревянный пол был посыпан песком и на каждом шагу попадались плевательницы. В некоторых из этих заведений стояли грязные и покрытые пятнами столы и стулья, другие были «разгорожены на отсеки с узкими скамьями вдоль стен»; лампы коптили, свечи мерцали и потрескивали. Так почему же они пользовались такой популярностью, почему кофейня, как в

XX веке — паб, стала символом и вместилищем городской жизни? Причина, как всегда, носит коммерческий характер. Кофейни взяли на себя роль контор, помещений для деловых встреч, аукционных и торговых залов, где коммерсанты и маклеры, клерки и брокеры могли вершить свой бизнес. Агенты, продававшие земельные участки и строения, встречались там с клиентами; процветали и иные виды торговли. К примеру, в 1708 году можно было прочесть такое малоприятное, на нынешний взгляд, объявление: «Чернокожий мальчик двенадцати лет, умеющий прислуживать джентльмену, будет предложен для передачи в другие руки в кофейне Денниса (Финч-лейн)».

Сама обстановка кофеен могла служить коммерческим целям, и не случайно аукционы стали в них обычным явлением. Во время «свечных распродаж»[67] в кофейне Гарраузя для активизации торгов в ход шли кофе, спиртные напитки и горячие булочки. Это заведение находилось напротив биржи, и, само собой, там всегда было много «хорошей публики, ведущей дела в Сити, и богатых горожан»; поэтому там проводились

[67] Примечания: 67

«Свечная распродажа» (inch-of-candle sale) — аукцион, на котором заявки принимаются, пока не выгорит определенная доля свечи.

распродажи книг и картин, чая и мебели, вин и древесины ценных пород. В центре широкого зала с низким потолком, разгороженного на отсеки с сиденьями, была большая лестница, которая вела наверх, в аукционный зал, так что бизнес и развлечение сошлись здесь вплотную, диковинно переплелись между собой. Радушный облик этой кофейни с ее камином, где горел каменный уголь, и булочками, которые подрумянивались на вилках, соответствует описанию ее посетителей, данному Алефом в «Лондонских сценах и типах»: «…восхитительный юмор; хитрые шуточки передавались из уст в уста; казалось, что все здесь всех знают». Однако в Лондоне видимость сплошь и рядом оказывается обманчивой. Говоря о последствиях банкротства в 1720 году Компании Южных морей, когда лопнул так называемый «мыльный пузырь Южных морей» и пропали деньги многих акционеров, Свифт назвал сидящих «на Гаррауэйских скалах» спекулянтов дикарским племенем, «чья пища — кораблекрушенья».

«Я стал завсегдатаем кофейни „Капитул“, — писал Томас Чаттертон матери в 1770 году, — и перезнакомился со всеми здешними гениями». Популярная среди книгопродавцев и честолюбивых молодых писателей, кофейня эта располагалась

на углу Патерностер-роу напротив Айви-лейн и была типичной в своем роде: окна в мелкую клетку, обшитые панелями стены, низкие потолки с массивными балками, полумрак даже в полдень. Говоря о местных «гениях», Чаттертон, скорее всего, имел в виду небольшой кружок издателей и писателей, неизменно занимавших отсек в северо-восточном углу зала и называвших себя «Клубом непросохших страниц». Если они рекомендовали кому-либо «хорошую книгу», это, несомненно, было издание, которое бойко распродавалось. В связи с вышесказанным и упомянутой компанией нелишне вспомнить, что самоубийство Чаттертона считается прямым следствием его неспособности найти средства к существованию в лондонском издательско-коммерческом мире.

Другой категорией посетителей «Капитула» было духовенство: как пишет Алеф, здесь собирались «бедные пасторы, готовые наняться для проведения воскресной службы», и те, что писали проповеди по заказу. Цена варьировалась от двух с половиной до десяти с половиной шиллингов; «покупатель должен был лишь назвать тему и доктрину», и надлежащее благочестивое наставление сочинялось и передавалось ему. Если

на рынке проповедей возникал «переизбыток товара», то, скажем, «трогательное обращение к ученикам приходской школы» можно было получить по очень дешевой цене.

Что касается цен в самом «Капитуле», то они были примерно такими же, как в других подобных заведениях. На рубеже XVIII и XIX веков чашка кофе стоила пять пенсов, тогда как четыре сандвича с ветчиной и стакан хересу — всего два; чайник чаю на три чашки, шесть ломтиков хлеба с маслом, горячую булочку и две сдобные лепешки можно было получить за десять пенсов — или, вернее, за шиллинг, потому что еще два пенса причитались главному официанту Уильяму — одному из тех лондонских персонажей, что, кажется, составляют вечную и неотъемлемую принадлежность заведения, в котором работают, и целиком сотворены из лондонской квинтэссенции. Человек среднего роста, довольно полный, Уильям, по слухам, держал деньги в государственных ценных бумагах. Он был невозмутим, неизменно вежлив и, как пишет неутомимый наблюдатель Алеф, «облачен в черный костюм лучшего качества, чем у многих из посетителей; на нем были панталоны с застежками ниже колен, черные шелковые чулки и безукоризненный

белый шейный платок». Человек немногословный, он был чрезвычайно зорок; «взгляд его достигал всех углов зала». Он считал, что имеет право на один-два пенса чаевых, но порой проявлял неожиданную щедрость и, «определив по виду посетителя, что он беден, приносил ему две булочки по цене одной». С завсегдатаями, звавшими его попросту Уильямом, он был на дружеской ноге, но незнакомцев «рассматривал пристально и придирчиво». Тех, кого он считал неподходящей клиентурой, он отсылал прочь, заявляя, что они, «должно быть, ошиблись заведением — „Синий кабан“ находится на Уорик-лейн».

Через семьдесят лет после Чаттертона в эту же кофейню, облюбованную литературными поденщиками и прочей «пишущей братией», явились по дороге в Бельгию Шарлотта и Эмили Бронте. Шарлотта вспоминала потом главного официанта, «пожилого и седовласого». Должно быть, это был все тот же Уильям. Он провел сестер в спальню наверху, выходившую на Патерностер-роу. Они сели там у окна, но «в угрюмых темных строениях напротив не увидели никакого движения, никаких перемен». На улице стояла такая тишина, что каждый шаг прохожего был отчетливо слышен. Одна из героинь Шарлотты

Бронте — Люси Сноу из «Городка» (1853) — проводит свою первую лондонскую ночь в этой же кофейне. Наутро она выглядывает из окна: «У меня над головой, над крышами, почти касаясь облаков, возвышался и таял в тумане величественный, увенчанный куполом, темно-голубой колосс — Собор. Я смотрела на него, и сердце мое трепетало, дух ощутил свободу от вечных оков, у меня внезапно появилось чувство, что я, не изведавшая истинной жизни, теперь стою на ее пороге»[68]. Так под сенью собора Св. Павла лондонская кофейня могла рождать прозрения.

В XIX веке жизнь лондонских кофеен продолжилась. Правда, иные из них стали биржами в чистом виде, другие — клубами или частными гостиницами, третьи — «обеденными заведениями» с полированными столами красного дерева, масляными лампами и зелеными занавесками между отсеками. В начале XIX века возник еще один тип кофейни, чьей специальностью были завтраки для носильщиков, грузчиков и иного рабочего люда. Там подавали мясные котлеты и почки, хлеб и соленья; одним из стандартных заказов были «чай и яйцо». Во многих заведе-

[68] Примечания: 68
Перевод Л. Орел.

ниях такого рода в разных «залах» кофе стоил по-разному. В четыре утра бедный посетитель мог получить чашку кофе и тоненький ломтик хлеба с маслом за полтора пенса; в восемь трехпенсовый завтрак для человека не столь нуждающегося мог включать в себя булку за пенс, масло и кофе. В романе «Дитя Джейго» (1896) Артур Моррисон описывает кофейню с «высохшей копченой селедкой… сомнительными пирожными… мертвенно-бледными булочками… несвежими соленьями». Однако она была все же более респектабельным заведением, нежели соседняя забегаловка, где клубился пар от стряпни, и, возможно, именно она породила лондонское присловье, бывшее в ходу у бедных и отчаявшихся кокни: «Хочу на тот свет — и кофейню там открыть». Чарлз Бут во время одного из своих походов по Ист-энду вошел в «убогую кофейню» и увидел длинный прилавок, на котором «в грубом и беспорядочном изобилии лежали многочисленные буханки хлеба, куски бекона, масло; стояли два бака с кипятком для чая… три насоса для эля… и стеклянная банка с маринованным луком». Отметим неизменное присутствие солений и маринадов — лондонцы любят остренькое. Тридцать лет спустя Джордж Оруэлл, зайдя в

кофейню на Тауэр-хилле, оказался в «тесном и душном помещении», где стояли «скамьи с высокими спинками», какие были популярны в 1840-е годы. Спросив чаю и хлеба с маслом, с начала XIX века составлявших основу завтрака рабочего человека, он услышал в ответ: «Масла нет, только маргарин». На стене висело предупреждение: «Уносить с собой сахар воспрещается».

Скудные завтраки подавались и в других местах. «Заведения для раннего завтрака» были фактически теми же кофейнями, «нестерпимо жаркими и душными», где кофейный дух мешался с «запахом жареного бекона и с другими ароматами, далеко не такими приятными». С XVIII века существовали также «лотки для раннего завтрака», которые представляли собой просто-напросто кухонные столы, выставленные на углу улицы или у моста, где прохожим предлагали ломтики хлеба с маслом за полпенса и большие кружки чаю или кофе на кипятке из баков, подогреваемых с помощью древесного угля. Они уступили место передвижным кофейням не столь аскетического типа, которые создавались по образцу средневековой лондонской лавки с ее ставнями и деревянным интерьером. Эти кофейни были обычно выкрашены в красный

цвет и день за днем привозились на конной тяге на постоянные места, в число которых входили Чаринг-кросс, начало Савой-стрит, Вестминстерский мост, участки под мостом Ватерлоо, у Гайд-парк-корнера и у ворот Вест-Индского дока. Помимо разнообразной еды — от сухой колбасы до крутых яиц — горожанам предлагали там кофе и «вудз» (сигареты «вудбайн»).

Существует картина, датируемая 1881 годом и изображающая разношерстную группу лондонцев, которые толпятся вокруг «дневного лотка», установленного за воротами парка или сквера. Хозяйка моет чашку. Большинством таких лотков действительно заведовали женщины, поскольку бытовало мнение, как и теперь в отношении пабов, что посетители из числа буянов и дебоширов в присутствии женщины будут вести себя пристойнее. На столе лежит хлеб, но не видно ни сандвичей с ветчиной, ни водяного кресса, которые также входили в обычное меню. На тачке сидит и дует в блюдце подросток в красном форменном кителе с нашивкой городского служащего. Он принадлежит к числу тех, кого городские власти подряжали собирать на улицах конский помет. На трапезу тоскливо и нерешительно смотрят подметальщица улиц и

торговка-разносчица. По другую сторону лотка грациозно поднесла чашку к губам хорошо одетая молодая особа с зонтиком и шляпной коробкой. В целом это — многозначительное изображение Лондона поздневикторианской поры. С подобными лотками конкурировали повозки с печеным картофелем — своего рода печки на колесах. Были также устричные лотки, у которых лондонцы, как говорится, «ели попросту», то есть без посуды.

Старинные харчевни и ординарии продолжили существование в XIX веке как разнообразные усовершенствованные «мясные, котлетные и ветчинные заведения» — «chop-houses», «ham-and-beef-shops», «beef-houses». Действовали также таверны, или «public houses», куда посетитель мог принести свой кусок мяса, который ему за пенс там готовили с приправами. Меню пабов XX века берет начало в этих заведениях XIX столетия, где с прилавков обычно продавали «прекрасный выдержанный сыр», пироги с бараниной и печеный картофель.

Не все «chop-houses» и «beef-houses» той поры имели хорошую репутацию. Натаниел Готорн в «Английских заметках» (1853–1858) описывает одно из таких заведений — «Столовую Альберта»: «Грязная, усыпанная крошками скатерть; желез-

ные вилки, свинцовая солонка, зауряднейшие фаянсовые тарелки; маленький темный отсек со столом и сиденьями». Он отметил, что подобная обстановка не является в Лондоне чем-то необычным. У лондонцев выработалась многовековая привычка к определенной степени неуюта и нечистоты. Уровень сервиса и комфорта мог, однако, быть разным. В заведении, отличающемся большей церемонностью, официант с перекинутой через левую руку салфеткой «монотонной скороговоркой» перечислял посетителю «готовые блюда»: «Ростбиф, вареная говядина, жареная баранья нога, вареная свинина, жареная телятина и свиной окорок, лососина с креветочным соусом, голубиный пирог, запеканка с мясом». В «beef-houses» нового типа, где подавали «говядину алямод», то есть тушенную с овощами, были «шестипенсовая порция» и «четырехпенсовая порция». «Две шестерки и четверку!» — мог крикнуть официант повару.

Во второй половине XIX века заведения подобного рода, царившие в Лондоне в разных обличьях на протяжении нескольких веков, уступили место «dining-halls» («обеденным залам»), ресторанам при новых отелях и «refreshment rooms» (буфетам) при новых железнодорожных

вокзалах. Они не всегда были лучше, чем их предшественники. Репутация Лондона как города, где кормят однообразно и невкусно, утвердилась, по существу, именно в середине XIX столетия. В 1877 году Генри Джеймс уничтожающе заметил о лондонских ресторанах, что «их убожество поистине баснословно». Тем не менее они процветали. Ресторан при отеле «Сент-Джеймс», как считалось, «первым ввел отдельные обеденные столы», однако нажился на этом новшестве главным образом М. Риц; ресторан при его отеле покончил с давней лондонской традицией, согласно которой «люди обедали вместе за большими столами». С 1860-х годов количество ресторанов, «обеденных залов» и «luncheon bars» (буфетов) резко пошло вверх; в 1865 году открылся ресторан «Кафе-руаяль», а в 1874 году — ресторан «Крайтирион», обязанный, как и многие другие, названием соседнему театру. Ресторан «Спирс энд Понд Гейети» рядом с мюзик-холлом «Гейети» на Стрэнде открылся в 1869 году. Существует фотография, где видна его вывеска: «Ресторан и бальный зал»; у тротуара стоит двухколесный экипаж, мужчины в цилиндрах толпятся у входа. В описании, опубликованном тогда в журнале «Билдинг ньюс», упоминаются буфет, кафе и два обеденных за-

ла этого ресторана, оформленные с «показной нарочитостью», достойной «мастера витражей или даже театрального художника». И ресторан, и мюзик-холл были впоследствии оттеснены в сторону ради сооружения театра «Олдуич».

Возникновение ресторанов привело к определенным социальным последствиям. Например, женщин перестали исключать из состава обедающих. В начале XX века Уолтер Безант писал: «Дамам не зазорно посещать эти рестораны, и они их посещают. Их присутствие вызвало великую перемену. Атмосфера теперь всегда если не праздничная, то приветливая». Косвенно это описание указывает на несколько унылый характер прежних старомодных, всецело мужских мясных заведений. Первым рестораном, где во время еды стала звучать музыка, был ресторан Гатти в Чаринг-кроссе, и эта мода очень быстро распространилась — в 1920-е годы только в «Кафе-руаяль» по-прежнему царила вызывающая тишина. Вместе с новым столетием пришла также мода на танцы в обеденное время и даже между блюдами. Другие перемены были более постепенными и не столь явными. Ральф Невилл, автор книги «Ночная жизнь» (1926), отметил, что по сравнению с викторианским временем,

когда «между блюдами всегда выдерживалась значительная пауза», темп ресторанной жизни сильно ускорился. Спешку и суету современного ему ресторана автор связал с возникновением на лондонских улицах «моторов». В городе все явления взаимозависимы.

В XX веке, кроме того, появилась громадная сеть заведений компании «Лайонс»; она возникла в 1909 году и выросла из нескольких кафе-кондитерских и ресторанов, открытых в самом конце XIX столетия. В их числе был первый полностью подземный ресторан «Лайонс» на Трогмортон-стрит с гриль-баром, расположенным на сорок футов ниже уровня мостовой. В лондонских кофейнях из тех, что попроще, смешивались горожане всех сословий; точно так же лондонские кафе-кондитерские считались «демократичными… судя по наблюдаемому в них смешению представителей разных классов, которые, сидя бок о бок, едят и пьют одно и то же». Посетив в 1913 году «Лайонс» близ Риджент-стрит, Теодор Драйзер увидел «просторное помещение, убранством напоминающее бальную залу дворца, освещенное бесчисленными люстрами с подвесками из граненого стекла, с галереей, выкрашенной в кремовый и золотой цвета». Однако блюда были

приготовлены «по-домашнему», а посетители оказались «людьми вполне заурядными». Таким образом, демократизм и театральность города соединились здесь без всякой натуги.

Живой рассказ о том, что ели ист-эндцы в начале XX века, содержится в «Восточном Лондоне» Уолтера Безанта. Автор упоминает о соленой рыбе к воскресному завтраку, о мучном изделии под названием «Нельсон», о вечерней торговле «рубленой печенью, копченой колбасой и гороховым пудингом» и, разумеется, о вездесущих «pie-houses» («пирожных заведениях») и «eel-pie saloons» («заведениях с пирогами и угрями»), где в стандартное меню входили заливной угорь, копченая колбаса или горячий мясной пирог с картофельным пюре. С ними конкурировали только «fish-and-chip shops», где подавали рыбу с жареным картофелем.

В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, типичное меню кокни включало в себя копченую колбасу с гороховым пудингом, немецкие сосиски, кровяную колбасу, жареную рыбу под маринадом, картофельную запеканку, рубленую печень с овощами в горчичном маринаде. Другой опорой жизни был крепкий чай с большим количеством хлеба, намазанного

маслом. В других частях Лондона, где традиционная кухня играла менее важную роль, ситуация была не столь проста, однако основным блюдом там неизменно было мясо в обильном соусе с картофелем и двойным овощным гарниром, что подтверждало репутацию Лондона как убогого по кулинарной части города.

Между войнами и после Второй мировой войны лондонские рестораны, как считалось, не выдерживали сравнения с ресторанами других европейских столиц. Многие были типично английскими ресторанами среднего уровня, предлагавшими посетителям говядину или баранину с овощами, сосиски с картофельным пюре, абрикосы с заварным кремом. Но в Сохо ресторанное дело процветало — сказывалось влияние французской, итальянской, испанской, русской и китайской кулинарных традиций. Кроме того, в Сохо и его окрестностях потребление пищи утратило викторианскую чинность и вновь стало происходить в непринужденной обстановке. Первый сандвич-бар — «Сандис» на Оксендон-стрит — открылся в 1933 году, и очень скоро сандвич-бары и снак-бары (закусочные) возникли в столице повсеместно. Двадцать лет спустя революция вкусов продолжилась возник-

новением первого кофейного бара (это был бар «Майка» на Фрит-стрит все в том же Сохо).

Таким образом, мир быстрой еды и быстрого питья — явлений, отмеченных ранее и характерных как для XIV века с его пирожными лавками, так и для XIX столетия с его печеным картофелем, продаваемым с повозок, — в очередной раз утвердил себя. Сандвичи теперь являются главным элементом лондонского ленча, будь то в заведении из сети «Прет-а-манже» или в угловой забегаловке на оживленном перекрестке. Возросло и потребление иной «быстрой еды», от говяжьих гамбургеров до куриных крылышек. Мясная основа городского рациона осталась, таким образом, неизменной, и статистика по-прежнему указывает на лондонскую ненасытность и плотоядность. Доля в бюджете лондонской семьи, идущая на «рестораны, кафе… блюда, отпускаемые на дом, и легкие закуски», согласно официальным статистическим данным, «на треть превышает соответствующую долю по Объединенному Королевству в целом».

Репутация Лондона как кулинарного ада постепенно ушла в прошлое в течение 1980-х годов, когда приобрели популярность большие рестораны, в совокупности удовлетворяющие

всевозможные требования к еде и обстановке. Теперь лондонский гурман может заказать хоть темпура[69] из морского черта, хоть куриную грудку под соусом чили с «кокосовым рисом», хоть жаренного на вертеле кролика с полентой, хоть обжаренного и тушеного осьминога с турецким горохом и кориандром. Вскоре многие из этих ресторанов стали процветающими коммерческими предприятиями, их шеф-повара — известными, имеющими своих приверженцев и противников лондонскими фигурами, их владельцы — членами фешенебельного светского общества. В 1990-е годы связь между едой и коммерцией стала еще очевидней благодаря торговле акциями некоторых ресторанов на фондовой бирже; другие были куплены крупными компаниями для последующей спекуляции. Иные из новых ресторанов действительно очень велики, и тот факт, что лишь немногие столики остаются в них незабронированными, лишний раз свидетельствует о неизменной и характерной ненасытности лондонцев. Не случайно Лондон всегда славился как город рынков.

---

[69] Примечания: 69

Темпура — японская еда: род рыбно-овощных оладьев.

Глава 35
Рыночное время

Первоначально рыночная торговля шла прямо на улицах. Можно представить себе Лондон XII и XIII веков нанизанным, как на ось, на один непрерывный уличный рынок, тянущийся от ньюгейтской скотобойни до рынка домашней птицы близ Корнхилла. У скотобойни в 1246 году «все прилавки мясников надлежало пронумеровать и выяснить, кто их держит, и от кого, и какую службу исполняет». Дальше по улице, под сенью церкви Сент-Майкл-ле-Куэрн, располагался зерновой рынок. Зерно, являющееся основой жизни, пользовалось, таким образом, церковным покровительством. Сразу за зерновым шли рыбные рынки на Олд-Фиш-стрит (Старой Рыбной улице) и Фрайди-стрит (Пятничной улице — поскольку в пятницу полагалось воздерживаться от мяса). Неподалеку находились Бред-стрит (Хлебная улица) и Милк-стрит (Молочная), и создаваемая всем этим хозяйством топографическая линия имела для города громадное значение. Улицы получали названия по видам съестного, которыми на них

торговали. Можно, таким образом, дать определение города как места, куда люди приходят для купли и продажи.

Идя по Уэстчипу (нынешнему Чипсайду) прочь от запахов скотобоен и рыбных рядов, лондонец XIII века проходил мимо лавок, где продавали седла и сбрую, где выставляли свой товар торговцы кордовской кожей, где можно было купить шелковую, бархатную или льняную ткань. Дальше располагались Полтри (рынок домашней птицы) и Конихоуп-лейн, где торговали кроликами. Грейсчерч-стрит первоначально называлась Грассчерч-стрит (улица Травяной церкви), поскольку там шла торговля пряными и лекарственными травами.

В издании, озаглавленном «Предостережение городу Лондону» (1598), содержатся изображения уличных рынков, отличающиеся экспрессией и своеобразием. Подле бойни Св. Николая стоят в ряд мясные лавки, перед которыми развешаны говяжьи части, свиные и бараньи туши. На Грейсчерч-стрит торговцы яблоками, рыбой и овощами расставили лотки под навесами, вывески на столбах гласят, что товар привезен из Эссекса, Кента и Суррея. Однако не вся торговля шла с открытых лотков, и существует оценка, со-

гласно которой вдоль Чипсайда теснилось около четырехсот маленьких деревянных лавчонок. Шум и суета стояли изрядные, и было издано несколько законов, имевших целью уменьшить столпотворение, чреватое беспорядками. Были здесь и иные опасности, о чем свидетельствует строгость мер против перепродажи краденого. Дурной славой, к примеру, пользовался рынок одежды на Корнхилле; именно здесь рассказчик «Лондона-разорителя» увидел головной убор, украденный у него в Вестминстере. Ввиду «многих опасностей и великих зловредств… многих потасовок и беспорядков» во время вечерней рыночной торговли на Корнхилле было постановлено, что «после того, как отзвонит колокол, что висит на корнхиллской Бочке[70]», запрещается выставлять на продажу какие-либо новые товары. Первый раз колокол звонил за час до заката, второй — на полчаса позже; мы можем представить себе торговцев, которые криками взывали к редеющей толпе в то время, как солнце опускалось к ломаной линии башен и островерхих крыш.

Смешение различных родов торговли было

[70] Примечания: 70

Бочка (Tun) — башня, напоминавшая винную бочку. Первоначально служила тюрьмой.

одной из причин того, что в 1283 году у восточного края Полтри возник универсальный рынок Стокс-маркет, где можно было купить рыбу, мясо, фрукты, корнеплоды, овощи, зелень и цветы. Его название произошло не от «stock» в смысле «запас, ассортимент», а от колодок, в которые сажали здесь правонарушителей. Этот «привилегированный рынок» просуществовал на одном и том же месте 450 лет, прежде чем в середине XVIII века его перевели на Фаррингдон-стрит, и считалось, что товары здесь — наилучшего качества. Сохранилась гравюра, изображающая этот рынок незадолго до его перемещения. Посреди рынка высится статуя короля Карла II; две собачонки смотрят на лоток, где выложены сыры, женщина и ребенок с корзинками сидят у подножия статуи. На заднем плане идет оживленная торговля, на переднем, не замечая ничего вокруг, воркуют влюбленные, житель Лондона показывает дорогу иностранцу. Здесь уместно привести свидетельство приезжего — одно из сотен наблюдений, содержащихся в великолепном трехтомном труде Ксавье Барона «Лондон, 1066–1914»: «Сколь бы ни спешил джентльмен, идущий по улице вам навстречу, он, если вы заговорили с ним, непременно остановится, чтобы ответить, и, вполне

возможно, отклонится от своего маршрута, чтобы показать вам дорогу, или передаст вас на попечение кого-либо другого, направляющегося в нужную вам сторону». На балконе над рыночной площадью молодая женщина выбивает ковер. В таких изображениях Лондон, можно сказать, живет сызнова.

Самым древним из лондонских рынков, по всей вероятности, является Биллингсгейт, предположительно возникший примерно за четыреста лет до нашей эры; рыбаки, возможно, привозили сюда свой улов угря и сельди еще в глубокой древности, однако первые письменные свидетельства относятся к началу XI века. В том, что это особое место, отличающееся от остального Лондона, нет никаких сомнений; здесь, среди запахов тухнущей рыбы, где под ногами была рассыпана чешуя, а кругом разливалось «неглубокое озеро жидкой грязи», возникли специфические человеческие типы и традиции.

Славились, например, биллингсгейтские «бойбабы» — возможно, напрямую произошедшие от адептов бога Белина, которому в древности здесь якобы поклонялись. Они одевались в платья из плотной ткани и стеганые нижние юбки; из-за привычки носить корзины на голове их причес-

ки, чепцы и капоры сбивались в некую единую плоскую массу. Они курили короткие трубки, нюхали табак, пили джин и славились ядреной речью. Не случайно словом «fishwife» («торговка рыбой») стали называть всякую грубую, крикливую женщину. В словаре 1736 года одно из значений слова «биллингсгейт» определено как «бранчливая, наглая, неряшливая баба». Однако на протяжении XIX века эти торговки постепенно вывелись, и на смену им пришло племя лондонских porters (рыночных носильщиков) в кожаных шлемах с закрывавшими шею отворотами, приспособленных для переноски корзин с рыбой на голове. Помимо носильщиков здесь подвизались торговцы рыбой, даже зимой носившие соломенные шляпы. Словом, этот маленький клочок лондонской земли породил свои определенные традиции и в одежде, и в языке.

Такое же явление наблюдается и в других местах. Хотя Смитфилд не так древен, как Биллингсгейт, к XI веку «smothe field» («гладкое поле»), расположенное за стенами Сити, уже было общепризнанным торговым местом, где продавали лошадей, овец и крупный рогатый скот. Царившие здесь пьянство, грубость и жестокость были притчей во языцех, и не случайно

рынок прозвали «вотчиной головорезов». Хотя в 1638 году рынку скота королевской грамотой были пожалованы права и привилегии, бесчинств от этого меньше не стало.

Рыночными днями были вторник и пятница; лошадей держали в конюшнях по соседству, а вот прочую живность, включая крупный рогатый скот, пригоняли из ближайших сельских районов, что причиняло немалые муки животным и неудобства жителям. В книге Форшо и Бергстрома «Прошлое и настоящее Смитфилда» говорится: «С несчастными животными обходились чрезвычайно жестоко; чтобы загнать их в назначенное место, их кололи в бока и били по голове». В начале XIX века за год там продавали миллион овец и четверть миллиона крупного рогатого скота; шум и запах можно себе представить. Опасность тоже была не маленькая. Например, в 1830 году на Хай-Холборне «могучий бык сбил с ног джентльмена», и «прежде чем он мог опомниться, бык жестоко истоптал и забодал его». На Тернмилл-стрит, которая вела к рынку от близлежащих полей, боров «искалечил ребенка и, как считают, съел бы его, если б не отняли». Побоями животных иногда обращали в паническое бегство по узким и грязным переулкам

поблизости от Кларкенуэлла и Олдерсгейт-стрит, и разнообразные темные личности в общей обстановке хаоса и бешенства вовсю пользовались нетрезвостью и беспечностью других.

Диккенс с его интуитивным чувством места назвал Смитфилд средоточием «грязи и слякоти». В «Оливере Твисте» (1837–1839) Смитфилд — это «толкотня, давка, драки, гиканье и вопли», «немытые, небритые, жалкие и грязные люди»[71]. Герой «Больших надежд» (1860–1861) чувствует, как «мерзостная эта площадь словно облепила меня своей грязью, жиром, кровью и пеной»[72]. За восемь лет до того, как это было написано, рынок живого скота перевели в Излингтон, на Копенхейген-филдс, но атмосфера смерти сохранилась; учрежденный в Смитфилде в 1868 году Центральный мясной рынок был назван «настоящим лесом из убитых телят, свиней и овец, свисающих с чугунных перекладин».

Что же касается овощных рынков Лондона, им несть числа. Первый из упоминаемых — Боромаркет в Саутуорке, возникший не позднее XI века, однако знаменитейшим из всех остается

---

[71] Примечания: 71
Перевод А. Кривцовой.

[72] Примечания: 72
Перевод М. Лорие.

Ковент-гарден. В свое время здесь действительно был сад (garden), полный трав и плодов, неким таинственным образом предвосхитивших их позднейшее изобилие на этом самом месте; затем тут располагался огород Вестминстерского аббатства, который соседствовал с садом Бедфорд-хауса, построенного в конце XVI века. Рынок же как таковой обязан своим возникновением предложению графа Бедфорда создать здесь красивую «пьяццу» (базарную площадь), вытекавшему из его величественного плана итальянизации лондонских предместий; «пьяцца» и примыкающие к ней дома начали строиться в 1630 году, и очень скоро сюда стала стягиваться местная торговая жизнь. На южной стороне площади, у садовой ограды, выросли лотки и навесы, где продавали фрукты и овощи; здешняя торговля, помимо приятного местоположения, оказалась весьма прибыльной, и в 1670 году рынок был узаконен хартией, разрешавшей «куплю и продажу плодов, цветов и трав любого рода». Тридцать пять лет спустя здесь возвели два постоянных одноэтажных торговых ряда. Постепенно и неуклонно рынок распространялся по пьяцце.

Он стал самым знаменитым рынком Англии и вследствие своего уникального торгового статуса

в столице мировой торговли множество раз изображался на рисунках и картинах. Впервые он был воспроизведен в 1647 году на гравюре Вацлава Холлара, которая, как утверждают издатели книги «Лондон в произведениях живописи», была «первым крупномасштабным изображением лондонского квартала». Другая работа, относящаяся к началу XVIII века, показывает ранних утренних покупателей, идущих между рядами деревянных лавок и открытых лотков; в корзинах лежат свежие фрукты и овощи, лошадь увозит вдаль телегу. Двадцать лет спустя — в 1750 году — облик рынка уже совершенно другой: хлипкие деревянные ряды уступили место новеньким двухэтажным торговым помещениям, и рыночная суета распространилась на всю площадь. Везде движение и кипучая жизнь: вот мальчик с превеликим трудом тащит корзину яблок, вот торговка средних лет разбирает на пучки зелень. Здесь можно купить капусту из Баттерси и лук из Дептфорда, сельдерей из Челси и горох из Чарлтона, спаржу из Мортлейка и репу из Хаммерсмита; повозки, портшезы и крытые сельские фуры с трудом движутся, рассекая толпу. Изображена самая суть торгового города; на другой картине, чуть более поздней, видны карманники и улич-

ные музыканты.

Рисунки Джорджа Шарфа, датированные 1818 и 1828 годами, показывают жизнь Ковент-гардена в мелких и разнообразных подробностях. Вывеска на лавке «Дж. У. Дрейпера, торговца апельсинами» была, указывает Шарф, «желто-зеленой»; изображены также лавки «Уитмена, торговца картофелем» и Батлера, специализировавшегося на зелени и семенах. Видны тачки с капустой, репой, морковью и бобами какао, здесь же передвижные лотки с яблоками, грушами, клубникой и сливами. Тележка одного молодого торговца украшена красно-бело-синим флагом, и надпись на ней гласит, что четыре апельсина продаются за пенс.

В 1830 году было окончено строительство большого торгового здания с тремя широкими параллельными пассажами, с колоннадами и теплицами; оно придало рынку официальный характер и подчеркнуло его статус международного торгового центра. «В любой день года, — заявляет Джон Тимбс в „Любопытных местах Лондона“, — здесь вернее можно купить ананас, чем на Ямайке или в Калькутте, где этот плод растет в изобилии». Пароходы везли сюда товар из Голландии, из Португалии, с Бермудских островов.

На рынке были введены разграничения: овощам отвели южную часть, фруктам — северную, цветам — северо-западную. Привычным делом для лондонцев стало приходить сюда полюбоваться срезанными цветами — «посреди суматошного дня улучить момент, чтобы дать волю одному из чистейших наших влечений». Люди смотрели на нарциссы, розы, гвоздики и желтофиоли, после чего снова погружались в привычный городской грохот и гвалт.

Нью-маркет (Новый рынок), как его стали называть, просуществовал на этом месте столетие с лишним, пока в 1974 году его не перевели в Баттерси. Дух Ковент-гардена после этого, конечно, не остался прежним, хотя шума и толчеи тут по-прежнему хватает; мелочные торговцы и лоточники по-прежнему тут как тут, но выкрики продавцов овощей и фруктов сменились пением бродячих музыкантов, а проворные носильщики уступили место уличным артистам иных жанров.

Большие рынки — Смитфилд, Биллингсгейт, Ковент-гарден, Стокс-маркет — издавна считались своего рода центрами и символами лондонской жизни. Чарлз Бут в книге «Жизнь и труд лондонцев» (1903) пишет, что воскресным утром в

Петтикоут-лейн (то есть Бельевом переулке) можно было купить «хлопчатобумажные простыни, старую одежду, ношеную обувь, поврежденные светильники, обколотых фарфоровых пастушек, ржавые замки». Здесь же располагались продавцы популярного бальзама «голландские капли», сарсапарелевого вина, шишечек для кроватных спинок, дверных ручек, пареного гороха. Здесь в начале XX века Табби Айзекс открыл палатку, торговавшую хлебом и заливным угрем; та же маленькая фирма располагается тут и в начале следующего столетия. На близлежащей Уэнтворт-стрит вели торговлю пекари и рыбники. Брик-лейн облюбовали продавцы «голубей, канареек, кроликов, всевозможных птиц, попугаев и морских свинок». Хангерфорд-маркет славился овощами, Спитлфилдс — картофелем, Фаррингдон — водяным крессом. На Гудж-стрит располагался рынок фруктов и овощей, на Ледерлейн продавались инструменты, всевозможные приспособления и мелкие предметы, «старые кроватные шишечки, ржавые ключи, разнообразные куски железных труб». Леденхолл-маркет, существовавший с XIII века, поначалу был известен как место торговли шерстяными тканями, тогда как его главный двор попеременно использовали

мясники и кожевники. Клэр-маркет поблизости от Линкольнс-инн-филдс славился мясными рядами. На Бермондси-маркет привозили шкуры и выделанную кожу, на рынке Таттерсол торговали лошадьми. У торговок рыбой был свой собственный рынок на Тоттнем-корт-роуд, где «темными вечерами они втыкали в свои корзинки бумажные фонарики». Воистину перечень лондонских рынков звучит как городская литания: Флит-маркет, Ньюгейт-маркет, Боро-маркет, Лиссон-Гроув-маркет, Портман-маркет, Ньюпорт-маркет, Чейпел-маркет в Излингтоне.

Метафора рынка распространилась к нынешнему времени на весь Лондон, охватив все его торговые системы; особенно остро она чувствуется в таких местах, как Брик-лейн, Петтикоут-лейн, Ледер-лейн, Хокстон-стрит и Бервик-стрит. Там, как и почти в сотне других мест, действуют уличные рынки, большей частью располагающиеся на тех же участках, где они шумели столетия назад. Там бедняки покупают из пятых рук то, что богатые в свое время купили из первых. Иные уличные рынки, однако, исчезли. К примеру, нет больше Тряпичной ярмарки близ Тауэр-хилла — злополучного места, где продавались «рванина и ношеная одежда», гнилые овощи, несвежий

хлеб и подпорченное мясо. Ярмарка погребена ныне под своими собственными отходами.

Глава 36
Отходы жизни

То, что ненасытный город пожрал, он неизбежно затем извергнет как мусор и экскременты. Томас Мор, служивший одно время помощником шерифа и поэтому знавший зловонные и болезнетворные лондонские условия из первых рук, решил, что в стенах его Утопии (1516) все sordidum (грязное) и morbum (больное) будет под запретом. В начале XVI века это были поистине утопические мечтания.

Санитарные условия в Лондоне времен римской цивилизации, когда люди заботились о чистоте с помощью системы общественных бань и уборных, были настолько же сносными, насколько в любой другой части империи. Однако было бы неверно представлять себе его как мраморный город без единого пятнышка. На бывших пустырях внутри городских стен были найдены кучи отбросов, содержащие кости быков, коз, свиней и лошадей; впрочем, ставшие чуть ли не ручными вороны, видимо, тут же хватали и пожирали валяющиеся на улице отбросы. Прак-

тика выливания из окон содержимого ночных горшков была широко распространена, о чем нам известно по обилию судебных дел. Однако у входа в римские таверны и мастерские были обнаружены большие каменные сосуды, которые, скорее всего, служили писсуарами. Это самые ранние вещественные памятники, оставшиеся от лондонских «удобств». На одном таком месте — у Фиш-стрит-хилла — был, кроме того, найден мешочек с коноплей, что, в свой черед, свидетельствует о живучести городской наркокультуры.

В периоды саксонского завоевания и нашествия викингов экскременты, как показывают раскопки, оставлялись везде и всюду, даже внутри домов, что говорит о регрессе в санитарии. Далее, мы можем вообразить средневековый город с многочисленными выгребными ямами, с валяющимися повсюду конскими испражнениями и тухлой требухой, с канавами по сторонам улицы, забитыми деревянной щепой, кухонными отбросами, человеческим калом и бытовым мусором. В XIII веке было постановлено, что «никто не должен вываливать испражнения и прочую грязь на улицы и в переулки — их следует собирать граблями и копить в установленных местах». Эти «места» были ранним вариантом

городских свалок; то, что там копилось, затем на телегах и лодках отправлялось за город, где экскременты могли быть использованы для удобрения полей. Свиньям, поскольку они пожирали отбросы, позволяли беспрепятственно ходить по улицам, однако они причиняли горожанам немалые неудобства, мешая проезду по узким улочкам и забредая в дома. После забоя их место занимали коршуны, игравшие теперь такую же роль, как в I веке вороны. Был издан закон, под страхом смерти запрещавший убивать коршунов и воронов, которые привыкли к людям настолько, что могли выхватить из рук у ребенка кусок хлеба с маслом.

В 1349 году король Эдуард III отправил мэру Лондона послание, в котором жаловался, что улицы «мерзко загрязнены человеческим калом, зловонный воздух представляет великую опасность для проезжающих». Городские власти отреагировали воззванием, где обрушились на «великую и вопиющую мерзость», которую являют собой отбросы, фекалии и грязь на улицах. Из сохранившихся документов видно, что «отцы города» признавали опасность эпидемии и необходимость в санитарном законодательстве. В каждом уорде за уборку территории отвечали че-

тыре мусорщика, и каждый домохозяин должен был содержать в чистоте участок улицы перед своей дверью. Всякий, кто сбрасывал мусор и грязь в речки Флит и Уолбрук, подлежал штрафу, и была введена должность «сержанта по сточным канавам», который обязан был следить, чтобы потоки по обочинам улиц не запруживались. Однако люди сохраняли прежние привычки. Хозяева домов, стоявших вдоль Уолбрука, платили откупные за право устраивать нужники над проточной водой; на Лондонском мосту располагались 138 домов и общественная уборная, откуда нечистоты сливались прямо в Темзу.

Общественные места использовались для облегчения нужды чаще, нежели частные уборные. Здесь следует упомянуть переулок Писсинг-лейн (позднее — Писсинг-элли), который вел от собора Св. Павла к Патерностер-роу, а также две другие улочки с тем же названием, фигурирующие в источниках XIII–XVI веков. Было по меньшей мере три Дангхилл-лейн[73] — у Падал-Дока, Уайтфрайарс и Куинхайта; составной частью пристани Три-Крейнз-уорф был причал под названием Дангхилл-стэрз.

---

[73] Примечания: 73
Dunghill — куча испражнений.

Первые общественные уборные после отхожих мест времен римского завоевания появились в XIII веке. Одна из них, оборудованная двумя входами, находилась на новом мосту через Темзу, другие — на маленьких мостах, перекинутых через Флит и Уолбрук. По берегам прочих ручейков и притоков также были сооружены нужники, многие из которых, впрочем, представляли собой просто-напросто деревянные настилы с дырами. Позднее были созданы более совершенные общественные туалеты, иные — на четыре «очка» или больше; кульминацией стал сооруженный в XV веке Ричардом Уиттингтоном вдоль Темзы — в конце Фрайер-лейн — «дом облегчения», или «длинный дом». Там было два ряда по шестьдесят четыре сиденья — один ряд для женщин, другой для мужчин, — под которыми была вырыта канава для мочи и экскрементов, очищаемая приливами. Прилюдное раздевание в общественной уборной могло, к слову говоря, быть опасным. Ссора между двумя мужчинами в отхожем месте у стены в переулке Айронмонгер-лейн окончилась убийством. Смерть, приходившая из этого источника, принимала и другие формы. Нужник над Флитом близ места впадения этой речки в Темзу доставлял великие страдания монахам-

кармелитам, которые в 1275 году заявили королю Эдуарду I, что «зловонные и ядовитые испарения превозмогают даже запах церковных благовоний и причинили уже смерть многим из братии».

Были и другие районы Лондона, известные своей нечистотой и привлекавшиеся за нее к ответу. Фаррингдон-Уизаут и Портсоукен славились своими кучами испражнений и мусорными свалками, на обитателей уордов Бассингхолл и Олдричгейт (ныне Олдерсгейт) налагали штраф за «экскременты и мочу». Вонючий список этот можно дополнить полями Мурфилдс, которые до того, как их в 1527 году осушили, были «унылым местом с насыпанными тропками, с кучами отбросов, с глубокими черными канавами, с пахучими и отвратительными открытыми сточными рвами». Как писал один историк города, здесь в самый раз было прогуливаться лондонским самоубийцам и философам.

Лондонские memoranda (судебные протоколы) XIV века полны жалоб и увещеваний. Стена «валится на улицу кусок за куском и загораживает путь… общее отхожее место в Ладгейте полно доверху, неисправно и опасно, и запах оттуда такой, что гниют каменные стены». В приходе Гроба Господня некоего Холиуэлла обвинили в

том, что он «вываливает кучи дерьма на поле по обе стороны от лошадиного водопоя», а некоего Нортона — в том, что «из-за его дерьма не проехать ни всаднику, ни телеге». Четырнадцать домохозяев в переулке Фостер-лейн были обвинены в «выплескивании нечистот и мочи», а в приходе Сент-Ботольф неприятности возникли из-за «остановки тока воды по причине того, что в нее вываливают нечистоты и мусор». Все повара Бред-стрит были привлечены к суду за накопление «дерьма и отбросов» под их лотками, а по поводу кучи на Уотергейт-стрит было возмущенно заявлено, что она являет глазам «нечистоты из отхожих мест и прочие непотребные виды». В этих сетованиях явственно слышатся голоса лондонцев той поры, и вместе с ними мы видим очень четко локализованное зрелище нечистот, которые «стекают по Тринити-лейн и Кордуэйнер-стрит у Гарликхита в переулок между лавками Джона Хазерли и Рика Уитмена, из коего дерьма немалая часть попадает в Темзу».

Подобные жалобы звучали в каждом столетии, и тоскливое эхо этих лондонских слышится в записках Сэмюэла Пипса, жившего в переулке Ситинг-лейн: «Сойдя в подвал, я ступил в громадную кучу дерьма и заключил по сему, что нужник

мистера Тернера переполнился и его содержимое заливает мой подвал».

Экскременты завораживают лондонца. Сэр Томас Мор в полемическом произведении, написанном в начале XVI века, использует пять их различных наименований: cacus, merda, stercus, lutum, coenum. Все эти слова — латинские, однако в английском языке того же столетия человеческие испражнения были удостоены прозвания Sir-reverence[74]. В конце XX века «Гилберт и Джордж» из Спитл-филдс — художники до мозга костей лондонские — устраивали большие выставки «какашечной живописи».

Лондонские дома возведены на отбросах. Выброшенные и позабытые предметы, которые порой обнаруживаются среди старых фундаментов, несут свою долю веса современного города; в земле у нас под ногами, распространяя сквозь ее толщу свои безмолвные чары, покоятся медные броши и плавильные тигли, кожаные туфли и свинцовые кругляки, ремни и пряжки, глиняные черепки и статуэтки, сандалии, инструменты и рукавицы, кувшины и обломки костей, обувь и устричные раковины, ножи и игрушки, зам-

[74] Примечания: 74
Буквально: «Сэр-почтение».

ки и подсвечники, монеты и гребни, тарелки и трубки, детский шарик и амулет паломника. Но город и в более прямом смысле стоит на мусоре и обломках. В 1597 году было обнаружено, что в переулке Чик-лейн тридцать сдаваемых внаймы домовладений и двенадцать коттеджей были выстроены на огромной общественной свалке. Вся Холиуэлл-стрит создана на месте, где в течение ста лет после Великого пожара скапливался всевозможный сор. Тротуары современного Лондона вымощены, как пишут Элсден и Хау в книге «Лондонские камни», «плитами, сделанными по заказу городских властей из шлака, остающегося после сожжения домашнего мусора».

Сами названия улиц несут на себе следы отбросов и фекалий. «Мейден-лейн» произошло от midden (мусорная куча), «Пудинг-лейн» — от того зловонного «пудинга», что везли по этому переулку к Темзе для погрузки на суда. Одним из слов, обозначающих общественную свалку, было laystall, и в Кларкенуэлле до сих пор существует Лейстолл-стрит. Переулок Шерборн-лейн в свое время назывался Шайтберн-лейн[75].

В те времена, когда Пипс жаловался на субстан-

---

[75] Примечания: 75
Shite — фекалии, bum — жечь.

ции, просочившиеся в его подвал, в большинстве домов уборная использовалась не только для удовлетворения человеческих нужд, но и для избавления от кухонного и домашнего мусора. Улицы, несмотря на все запреты и постановления, досаждали людям «летом — пылью и тошнотворными запахами, в сырую погоду — грязью». Цитата взята из документа, датированного 1654 годом, и спустя восемь лет городские власти в очередной попытке навести чистоту предписали домохозяевам выставлять по средам и субботам свои отбросы на улицу в «корзинах или иных емкостях для вывоза силами мусорщиков». О приближении тачки или телеги мусорщика горожан должны были предупреждать звуки «колокольчика, рожка, трещотки или иного инструмента». Что касается экскрементов, их по ночам извлекали из выгребных ям золотари, чьи телеги немилосердно текли; на мостовой из того, что они везли, оставалась «едва ли не четверть», и великий филантроп XVIII века Джонас Хэнуэй сетовал, что они «при каждом сотрясении телеги могут на любой экипаж и на любого седока, какого бы сословия он ни был, вывалить увесистую лепешку наигрязнейшей грязи, в чем многие имели случай лично убедиться». По логи-

ке вещей Великий пожар должен был положить трудностям с уборкой городских отходов быстрый и жестокий конец — но привычки горожан не так-то легко изменить. Во многих романах XVIII века косвенно выражен ужас их авторов перед зловонной и во всех отношениях тяжелой атмосферой столицы.

Показательно то, что задачу, с которой не мог справиться Великий пожар, сравнительно легко решила коммерция. К 1760 году вследствие перехода к более совершенным методам сельского хозяйства повысился спрос на органические удобрения. Поскольку, кроме того, золу и шлак стали использовать для производства кирпичей, возник целый рынок бытовых отходов. Явились дельцы, между ними началась конкуренция за улицы. В 1772 году городской сборщик мусора из прихода Сент-Джеймс (Пиккадилли) жаловался, что ему «причинили великий ущерб так называемые „бродячие мусорщики“, которые ходят по улицам и площадям нашего прихода и собирают угольный шлак». Он просил жителей прихода «отдавать шлак только тем лицам, что находятся в подчинении у вышеупомянутого Джона Хоробина, — их можно отличить по звону колокольчика». Одно рекламное объявление

XVIII века расписывает выгоды от обращения к некоему Джозефу Уоллеру, живущему в Излингтоне близ заставы, который «держит повозки и лошадей для опорожнения выгребных ям». Когда отходы стали составной частью коммерческого кругооборота, санитарные условия в городе стали улучшаться куда быстрей, чем вследствие принятия каких угодно «актов о мощении улиц» и деятельности каких угодно «комитетов по очистке».

В XIX веке история городских отходов сделалась частью истории городских финансов. Куча мусора в романе Диккенса «Наш общий друг», прототипом которой была реальная и еще более ужасающая куча близ Кингс-кросс-роуд, якобы таит в себе клад, и владельца своего она уже сделала богатым человеком. «В мусоре я разбираюсь до тонкостей, — говорит мистер Боффин, — Я могу совершенно точно назвать стоимость каждой кучи и знаю, как лучше всего ими распорядиться». Мусорные кучи, или горы, высились в различных частях Лондона. Одна из них, расположенная по соседству с Лондонской больницей, называлась Уайтчепел-маунт, и с ее вершины видны были «бывшие деревни Лаймхаус, Шадуэлл и Ратклифф». Другая находилась у Баттл-бриджа и,

как пишут авторы «Лондона старого и нового», состояла из лошадиных костей, золы, тряпья и фекалий. Она привлекала к себе «бесчисленных свиней»; коммерческая же ценность ее ярко высветилась в начале XIX века, когда русские купили всю здешнюю золу для строительных работ в Москве, сгоревшей во время нашествия французов. Весь район к северу от нынешнего вокзала Кингс-кросс сделался «кварталом сборщиков и просеивателей золы», да и вообще кварталом мусорщиков — всех тех, кто жил за счет отходов городской жизни. Место, разумеется, было мрачное, и даже теперь, в начале XXI века, здесь царят уныние и уродство. Дух заброшенности не рассеялся до сих пор.

В Ламбете на южном берегу Темзы у причала Леттс-уорф близ башни Шот-тауэр действовала другая группа лондонцев, просеивавших мусор и искавших в нем полезные компоненты. Большей частью это были женщины, которые курили короткие трубочки и носили «гетры из картона и фартуки из разорванных шляпных коробок». Профессия их была старая и передавалась из поколения в поколение. «Вид у этих женщин донельзя плачевный, — писал один сотрудник медицинских служб города. — Они стоят, утонув

до пояса в мелком мусоре, их лица и руки черны от грязи, и дышат они зловонным, сырым и горячим воздухом, насыщенным газообразными продуктами органического распада». Просеивая мусор, из него извлекали более крупные предметы и частицы; ценность представляли кусочки олова, старая обувь, кости и устричные раковины. Олово зачастую шло на зажимы для багажа, устричные раковины продавались строителям, а обувь — производителям знаменитой «берлинской лазури». Ничто не пропадало зря.

В свое время ходили слухи, что улицы Лондона вымощены золотом, и потому вряд ли стоит удивляться, что в XIX веке мусор, «ежедневно выметаемый и подбираемый с улиц… превращается в золото на сумму в несколько тысяч фунтов за год». На фотографиях Лондона викторианской эпохи видно, что канавы полны отбросов, сметенного с мостовых сора и апельсиновой кожуры. Доходы подметальщика улиц всецело зависели от места, где он подвизался, при этом самым распространенным товаром была «уличная грязь» (т. е. конский помет), продававшаяся фермерам и садовникам. Из крупных улиц самыми прибыльными были те, где «никогда не прекращается езда». Считалось, к примеру, что Хеймаркет «в

шесть раз выгоднее улицы среднего разбора» и что следом идут Уотлинг-стрит, Боу-лейн, Олдчейндж и Флит-стрит. В городе, основанном на быстроте и продуктивности, само движение служит источником заработка.

Из подметальщиков, приводивших в порядок улицы и перекрестки, часть составляли «неимущие работники», жившие на пособие, которых ставили на эту должность в порядке удобного соединения дисциплины с пользой. Остальных нанимали различные благотворительные учреждения. Но к середине XIX века и тех и других стали теснить новые «подметальные машины», чья механическая мощь была такова, что одна машина «заменяла труд пятерых подметальщиков».

Труд этот, впрочем, был неоднороден и состоял из различных видов уборки. Конский помет собирали, шныряя среди экипажей, и складывали в ящики, стоявшие у обочин, юноши в красных униформах. Содержимое ящиков было разновидностью лондонского «золота» — по крайней мере для фермеров, остро нуждавшихся в удобрениях. По улицам ходили также сборщики костей и тряпья, сигарных и сигаретных окурков, палок и щепок; делали свое дело землечерпальщики,

возчики угольного шлака и малолетние «жаворонки». Предметом внимания всех этих людей был «наипрезреннейший сор» города — сор, который мог, однако, стать «источником великих богатств».

Генри Мейхью, выделивший уличных сборщиков в особый класс горожан, услышал от одного владельца пивной на Саутуорк-бридж-роуд рассказ о том, как сборщики костей приходят в его заведение со своими мешками. Там они получали плату и «сидели… молча, опустив головы и глядя в углы комнаты, потому что они вообще редко когда поднимают глаза». Тряпичники разделили город на «участки». «Собачьи» сборщики выискивали на улицах собачий помет. В начале XIX века этим делом занимались женщины, называвшиеся «bunters», однако позднее из-за растущих потребностей дубильной промышленности, в которой экскременты использовались как вяжущее средство, к нему подключились и мужчины.

В стремлении «оказаться среди товарищей по несчастью… или же с целью спрятаться от остального мира и скрыть от него свои уловки, свою борьбу за существование» эти «собачьи» сборщики облюбовали для житья район доходных домов на востоке Сити — между доками и

Розмари-лейн, сразу за Тауэром. По словам Мейхью, место это источало «дух нечистот» и было «беременно заразой». Нечаянное использование слова «беременно» выдает распространенный ход ассоциаций, связывавших физическую нечистоплотность с половой распущенностью. Между прочим, попытка очистить лондонские улицы от проституток была в свое время соединена с усилиями по очищению города от экскрементов. Сходным духом были проникнуты предостережения, касавшиеся революционного потенциала беднейших слоев с их «лихорадкой и… грязью». Вновь ощущается некая неявная связь понятий, объединяющая бедность, болезнь и грязь. Эта связь приходила на ум и самим «собачьим» сборщикам. «Кружится голова, — записал за одним из них Мейхью, — Словно она чужая совсем. Нет, сегодня я ничего не заработал. Ломтик хлеба в воде намочил — вот и вся еда. А насчет того, чтобы в большой дом пойти [в работный дом], у меня даже и в мыслях такого нет. Я так к воздуху привык, что лучше уж на улице помру, как многие из наших. Я нескольких знал, кто просто сел на улице со своей корзинкой и отдал Богу душу».

И мертвецы эти, в свою очередь, становились мусором, который надо было убирать с улиц. Круг

замыкался.

На лицах детей проступали черты стариков. Юные сборщики речного мусора, которых прозвали «жаворонками», искали и складывали в чайники, в корзины и даже в старые шляпы кусочки угля и дерева. Многие были детьми семи-восьми лет, и с одним из них Мейхью разговорился. «Об Иисусе Христе он когда-то слыхал… но понятия не имел, кто это, и не особенно хотел узнать… Лондон, сказал он, — это Англия, а Англия находится в Лондоне, только он не знает, в какой его части». По его мнению, устройство жизни, породившее этот «Лондон», везде одинаково, и, как заметил Мейхью, «истории жизни всех таких детей до боли схожи».

Другая категория сборщиков мусора обозначалась словом «тошеры» (tosh — вздор, ерунда). В поисках полезных отбросов они промышляли в подземных сточных каналах городской клоаки. В начале XIX века они проникали в этот лабиринт сквозь отверстия на берегу Темзы, рискуя потревожить ненадежную кирпичную или каменную кладку. Но в 1850-е и 1860-е годы все переменилось — в Лондоне произошла так называемая «санитарная революция».

Одним из любопытных фактов лондонской

жизни является то, что в начале XIX века городская канализация ничем существенным не отличалась от канализации XV века. Были лишь некоторые улучшения поверхностного характера; предпринимались, в частности, усилия по наведению чистоты в Килборне и Уэстборне, в Рейнла и Флите, в Шордиче и Эффре, в Фолконбруке и Эрле — во всех важнейших речках и ручьях. Но главным, что характеризовало лондонскую канализацию, оставался тот позорный факт, что примерно под двумястами тысячами домов по-прежнему находились выгребные ямы. И жилищах бедняков жидкие нечистоты порой поднимались вверх, просачиваясь меж досками пола.

В 1847 году столичная комиссия по канализации постановила, что нее нечистоты из домашних уборных следует спускать прямо в сточные трубы и каналы, и поначалу это решение казалось разумным. Но в результате экскременты оказывались непосредственно в тех участках Темзы, что проходили через центр города. Река превратилась в клоаку, и в ней перевелись лебеди, исчез лосось, как и другие породы рыб. По словам Дизраэли, Темза стала «стигийским омутом, от которого разит непередаваемым и невыносимым

ужасом». Если встарь окна здания парламента в Вестминстере украшались лепестками роз, то теперь их завешивали тканью, пропитанной раствором хлора. Проблему усугубляло то, что многие лондонцы брали питьевую воду прямо из Темзы (цвет этой воды, как не раз отмечалось, стал в ту пору коричневатым). Рост заболеваемости холерой в годы, когда считалось, что «всякий запах чреват болезнью», увеличил ядовитую панику, царившую в городе, сквозь самое сердце которого текли испражнения трех миллионов человек. Наплыв людей, искавших в столице работу, и рост потребления в зажиточной среде в викторианскую эпоху вели к еще большему загрязнению. Стоявший повсюду дурной запах можно, таким образом, назвать запахом прогресса. Такова была лондонская атмосфера, в частности, в 1858 году, который окрестили «годом великой вони».

В 1855 году под давлением чрезвычайных обстоятельств было создано Столичное управление городского хозяйства. Три года спустя долгим и жарким летом Джозеф Базалджетт начал проводить в жизнь свой план отвода всех стоков от Темзы к Баркингу и Кросснессу с использованием различных типов сточных труб и каналов

(магистральных, перехватывающих, разгрузочных, выводных). Газета «Обсервер» назвала эту систему «самым крупным и впечатляющим достижением современности», и усилия великого инженера привели к тому, что были реконструированы с использованием портландцемента 165 миль магистральных коллекторов и проложены 1100 миль новых канализационных труб местного уровня. Немалая часть системы Базадджетта функционирует и в начале XXI века. Это яркий пример успешной деятельности в сфере здравоохранения, начатой перед лицом стремительно ухудшающегося состояния городской среды; весьма характерно для лондонской администрации то, что все произошло очень быстро и в атмосфере, близкой к панической. Все крупные дела в этом городе совершались в той или иной степени импровизированно и торопливо.

К началу XX века мусорные горы и открытые резервуары с золой были удалены из столицы, и большая часть отходов стала подвергаться пульверизации, сожжению или обработке химикалиями; прежний взгляд на заразу, предписывавший просто-напросто отправлять отходы как можно дальше, уступил место «микробной» теории, согласно которой необходима их эффективная

нейтрализация. Так перемены в эпидемиологии могут воздействовать на топографию города. Сама физическая ткань Лондона оказалась, таким образом, чувствительна к теории, и в XX столетии, помимо очистных сооружений, занимающих огромные площади, были созданы большие мусоросжигательные предприятия. Колоссальная станция первичной обработки твердых отходов близ Смагглерз-уэй в Уондсворте и громадная станция очистки сточных вод в Бектоне во многом скрыты от нас; это монументы во славу невидимой отрасли городской индустрии.

В различных местах столицы по-прежнему имеются мусорные свалки, и, хотя воронов и коршунов сменили чайки и голуби, на улицах Лондона по-прежнему можно видеть людей, которые роются в мусорных баках в поисках окурков, съестного и выпивки. Город, как и раньше, не может жить, не избавляясь от отходов, и отходы эти различны по характеру. Гора мусора, извергаемого неизменно растущим городом, ныне вздымается выше, чем любая из куч XIX века: в среднем за год — десять миллионов тонн, в том числе почти полтора миллиона тонн металлолома и полмиллиона тонн бумаги. Само собой разумеется, что история городских отходов и теперь составляет

часть истории городской коммерции. В XVI веке было обнаружено, что азот из фекалий можно использовать для производства пороха; в XX веке человеческие испражнения порождали уже иную форму энергии. Мусоросжигательные предприятия, подобные эдмонтонскому, вырабатывают сотни тысяч мегаватт-часов электроэнергии ежегодно. Каталитические дожигатели, установленные в автомобилях, добавляют к выхлопным газам компоненты, содержащие золото и платину; скоро, как писал в 1998 году в «Таймс» один ученый, «станет экономически выгодно промывать мусор», скапливающийся вдоль городских магистралей. Получается, что лондонские улицы теперь и вправду вымощены золотом.

Глава 37
Глоток-другой

Где еда — там, разумеется, и питье. Люди, населявшие территорию нынешнего Лондона четыре тысячи лет назад, потребляли некую разновидность пива или хмельного меда. С той поры лондонцы не переставали пить. Поблизости от Олд-Кент-роуд недавно была обнаружена древнеримская брошь из яшмы. На ней вырезана голова Силена — пьяницы-сатира, бывшего наставником Бахуса. Лучшего божества-покровителя для Лондона и придумать нельзя. В 1730 году Томас Браун заметил о Лондоне, что «поглядеть на обилие здешних таверн, пивных и тому подобного — и подумаешь, что из богов тут поклоняются одному Бахусу».

В XIII веке Лондон уже славился «неумеренным питьем глупцов». Сюда везли рейнское и гасконское, бургундское и мадеру, белые вина Испании и красные вина Португалии. Люди не столь обеспеченные пили эль и пиво; хмель стали выращивать по крайней мере с начала XIV века, но в эль для забористости чаще добавляли

перец, и назывался такой напиток «стинго» (sting — жалить). Это лишний раз говорит о пристрастии лондонцев ко всему острому и пряному — пристрастии, которое соответствует характеру их городской жизни, энергичной и полной соперничества. В «Кентерберийских рассказах» Чосера (ок. 1387–1400) Повар хорошо понимает требования к тому, что поэт в другом месте называет «глотком солодового эля»; Мельник, любитель эля, «изрядно пьян и бледен был». В написанном примерно тогда же (ок. 1362) Уильямом Ленглендом «Видении о Петре Пахаре» Обжора «выхлебал галлон и джилл» эля. Несомненно, в заведениях, где можно было это сделать, недостатка не было. К началу XIV века в Лондоне действовало «354 таверны и 1334 пивоварни», позднее получивших более фамильярные прозвания — «пивнушка», «питейная лавка» и тому подобное. Согласно документам начала XV века, в городе тогда насчитывалось 269 пивоваров, и в 1427 году возникла лондонская гильдия пивоваров, имевшая собственный герб. К тому времени уже были выработаны правила для ее членов; в частности, в 1423 году было постановлено, что «розничным торговцам элем надлежит продавать напиток в своих домах в запечатанных оловянных сосудах;

и тот, кто несет эль покупателю, должен держать сосуд в одной руке, а кружку в другой, а у кого сосуды не запечатаны, тот подлежит штрафу». Такое же пристальное внимание качеству должны были уделять виноторговцы, которым в начале XV века указом городских властей было воспрещено «подкрашивать и разбавлять» продаваемое вино. В 1419 году некто Уильям Харолд был на час поставлен к позорному столбу за то, что «выдавал старое и слабое испанское за настоящее рамни[76] в виноторговой лавке в приходе Сент-Мартин».

К XVI веку, как пишет Джон Стоу, пьянство стало такой серьезной проблемой, что в 1574 году двести лондонских пивных были принудительно закрыты. В то время в городе, по некоторым данным, было двадцать шесть пивоваров, чья продукция шла под разнообразными названиями: «Крепкое», «Бешеная собака», «Трапеза ангелов», «Подними ногу» и «Шагай широко». Ингредиенты, судя по всему, варьировались; в их число, помимо ячменного солода и овса, могли входить ракитник, восковница и плоды плюща, однако пивом назывался только такой напиток, который делали с использованием хмеля. Хро-

[76] Примечания: 76
Рамни — сладкое вино, поставлявшееся из Греции.

нист елизаветинских времен Уильям Харрисон, говоря о выпивохах на лондонских улицах, рисует такую картину: «Пропойцы наши валяются вповалку и то хватают своих девок за титьки, то опять тихо лежат, потому что шевельнуться уже нет никаких сил». Некоторые знаменитые пивные того времени, фигурирующие в стихах и пьесах, соединились с образом Лондона настолько, что стали подлинными эмблемами города. Таверна «Кабанья голова» на Истчипе — место действия сочных шекспировских сцен с участием Фальстафа, Пистоля, Доль Тершит и миссис Куикли — так впечаталась в коллективную память лондонцев, что все прониклись убеждением: в этом заведении пивал и сам Шекспир. В XVIII веке члены одного литературного клуба, собираясь там, изображали шекспировских персонажей, и магическая сила ассоциаций была такова, что «паломники» шли туда и много позже 1831 года, когда таверна была разрушена. От нее осталась, впрочем, одна специфическая памятка. 16 марта 1730 года в возрасте двадцати семи лет скончался Роберт Престон, «разливальщик в таверне „Кабанья голова“»; он «цедил доброе вино, чарки наполнял честно доверху», и его изголовный камень был поставлен у стены Св. Магнуса-му-

ченика.

«Митру» на Чипсайде облюбовала местная компания; как писал Бен Джонсон, «если туда заявляется чужак, там все встают и ну на него пялиться, будто он диковинный зверь из Африки». В 1599 году он обессмертил тамошнего разливальщика Джорджа, упомянув его в пьесе «Каждый не в своем нраве»: «Где Джордж? Позовите мне сюда Джорджа немедленно!» В 1607 году его имя появилось в комедии Деккера и Уэбстера «Вперед, на запад!»: «О, так вы Джордж, разливальщик в „Митре“». Это показательный пример того, как конкретный лондонец мог стать в глазах его современников воплощением некоего типа. О любопытной и устойчивой связи между питейными заведениями и литературой свидетельствуют также воспоминания о «Русалке».

…Немало мы перевидали
В «Русалке» — о, какие там звучали
Находчивые, пламенные речи…

— писал Бомонт Джонсону. Вторя ему двести лет спустя, Китс заявил, что с таверной «Русалка» не сравнится «никакое счастливое поле, никакая замшелая пещера». Родившийся в Лондоне и проживший детство в одном здании с мургейтским

«Лебедем и обручем», поэт не раз переносился мысленно в точку слияния Фрайди-стрит и Бред-стрит — туда, где в свое время огнем Великого пожара была уничтожена «Митра».

Таверна, как писал в «Азбуке глупца» (1609) Томас Деккер, была «единственным местом встреч доброй компании» — местом, где, чтобы пользоваться привилегиями быстрого обслуживания и кредита, важно было знать всех разливальщиков и обращаться к ним по именам — «Джек, Уилл, Том». Тогда ты мог сказать половому: «Человек, принеси-ка мне из-за стойки деньжат». В тавернах шла также игра в кости, и посетителей развлекали бродячие скрипачи, переходившие из одного заведения в другое. Мы имеем возможность заглянуть внутрь таверны начала XVII века, вчитываясь в инвентарный перечень, который остался от заведения на Бишопсгейт-стрит, носившего меткое название «Рот». Здесь говорится о дощатых перегородках, разделяющих залы таверны, каждый из которых носил свое название: «Решетка», «Гранат», «Грибочки», «Лоза» и «Голова короля». Таким образом, в одном заведении было пять отдельных «баров» со столами, скамейками и табуретками. В «Решетке» имелись «один длинный дубовый стол со скамьей»,

«один устричный стол», «один старый винный поставец» и «два игральных стола»; в «Голове короля» также был устричный стол и, помимо прочего, «детская табуретка». Этажом выше располагались спальни для гостей; в части списка, посвященной одной из них, указаны подушки, льняные простыни, шитое покрывало, сундуки и шкафы.

В одном стихотворении 1606 года упоминаются «„Кабанья голова“ из твердого лондонского камня… „Лебедь“ в Даугейте… „Митра“ на Чипсайде… „Замок“ на Фиш-стрит» и прочие заведения, где «багровеют носы». Между прочим, содержатели таверн XVII века обеспечивали не только выпивку и ночлег. Хозяин «Лебедя» у Холборнского моста, перебравшийся в «Герб графов Оксфордских» в переулке Уорик-лейн, выпустил объявление о распродаже, где говорилось, что «у него также имеется катафалк и все необходимое для перевозки усопшего в любую часть Англии». «Гостиницам здесь несть числа, — писал в начале XVII века Томас Платтер, — как и питейным заведениям, пивным и винным, где можно попробовать любую марку — аликанте, канарское, мускат, кларет, испанское, рейнское». Несть числа и виршам, прославляющим лондонские

пивные. «Путеводитель для пропойц» Неда Уорда и «Паломничество» Джона Тейлора — лишь два примера стихотворных сочинений, где из перечня питейных заведений и улиц, на которых они расположены, возникает некая топография Лондона — города, чья природа и очертания могут быть познаны лишь в дымке хмельного забытья:

В Клоук-лейн близ Даугейта мы пойдем,
В «Трех бочках» пива доброго хлебнем…
Замешкавшись, мы сильно припозднились
И в «Шордичский кувшин» впотьмах ввалились.
Оттуда в «Колокол» держу я путь —
Добраться, выпить чарку и уснуть.

Здесь соединены строки двух поэтов, чтобы показать конкретность их видения Лондона, где, чтобы выжить, необходимо напиться.

О растущей популярности пива говорит тот факт, что в 1643 году этот напиток был обложен акцизным сбором. Пипс во время Великого пожара писал, что женщины «сварливо требуют выпивку и пьют как черти»; царивший вокруг

ад, возможно, до некоторой степени извиняет их адское поведение, однако Генри Пичем, писавший свое «Искусство лондонского житья» в более спокойном 1642 году, предостерегает: «Превыше всего опасайся скотского пьянства… Иные упиваются до того, что, повалившись на землю или, хуже, в сточную канаву, не могут уже шевельнуться. Пьянство рождает ссоры и потасовки, и многим оно стоило жизни, как мы знаем по чуть ли не каждодневному опыту… Нетрезвые люди теряют шляпы, плащи и рапиры, деньгами они швыряются не считая». Пипс упоминает некую даму, которая, обедая у знакомых, залпом выдула полторы пинты белого вина.

И тем не менее — хотя XVII век по количеству алкоголя, бегущего по жилам лондонцев, оставил позади предшествующие столетия — его затмил век XVIII, когда пьянство достигло массового и даже критического масштаба. То было время, когда Сэмюэл Джонсон, великий лондонский мудрец, заявил, что «ныне человек не может быть счастлив, если он не пьян». Громадное число его сограждан, видимо, придерживалось того же мнения.

Возникла мода на «темный эль» (сладкое пиво), однако увеличение налога на солод привело к

тому, что пивовары начали налегать на хмель. Так появилось «горькое пиво» — «до того горькое, что я пить его не мог», — жаловался Казанова, — которое порой смешивали с обычным элем, делая напиток, называемый «так на так». В тот же период варили и «светлый эль», который стал популярен настолько, что в городе возникли специализированные заведения с этим напитком. В начале 1720-х годов появилось выдержанное пиво, которое готовилось четыре-пять месяцев; «грузчики и иные рабочие сочли его подходящим» для употребления за завтраком или обедом, и напиток получил название «портер» (porter — грузчик, носильщик). Этот сорт пива варили только в Лондоне, и оно было прямым предшественником разнообразных «стаутов» — темного, двойного, ирландского, «энтайра», «крепкого», «лондонского особого».

Особенностью Лондона была также непосредственная связь пивных с коммерцией. Для многих профессий единственным бюро по трудоустройству было определенное питейное заведение. Пекари и портные, паяльщики и переплетчики собирались в тех или иных местах, куда приходили хозяева, желавшие кого-то нанять. Владелец заведения, который зачастую был и сам связан

с данным родом деятельности, предоставлял безработным кредит, обычно в форме выпивки. Торговцы платили своим работникам за особыми столами в тех же пивных, что приводило к очевидным последствиям, усугублявшимся тем обстоятельством, что разменять деньги можно было лишь после часа утра в воскресенье.

Были и другие профессиональные обычаи, стимулировавшие потребление спиртного. «Вступительные деньги» нового ученика или подмастерья обычно прокучивались в пивной, и таким же манером платились разнообразные штрафы за поздно или плохо сделанную работу. Как пишет замечательный историк М. Дороти Джордж в книге «Лондонская жизнь в XVIII веке», «каждая стадия жизни, начиная с обучения ремеслу, требовала потребления крепких напитков»; к этому можно добавить, что дух торговли, занимавший в жизни Лондона центральное место, благодаря алкоголю был неизменно горяч и ярок. Питье и пламя шли рука об руку, и винокуров обвиняли в пренебрежении правилами безопасности, из-за которого их предприятия «становились причиной частых и ужасных пожаров».

До нас дошло несколько «пьяных» лондонских анекдотов из жизни знаменитых людей. Вот

Оливер Голдсмит надевает парик задом наперед, чтобы потешить друзей в своем жилище в Темпл-лоджингс; вот Чарлз Лэм, пошатываясь, бредет домой вдоль канала Нью-ривер, где он купался мальчиком; вот Джо Гримальди каждый вечер едет домой на закорках у владельца питейного заведения «Маркиз Корнуоллис». Иные эпизоды были, однако, не столь веселыми. Драматург Натаниел Ли, живший в эпоху Реставрации, допился до сумасшедшего дома, где заявил: «Они мне сказали, что я помешался, а я им, что они помешались; их голоса, черт их возьми, перевесили мой». В конце концов его выпустили, но в роковой для него день «он выпил так много, что упал на улице, и его переехал экипаж. Труп, пока его не забрали, лежал под навесом у парфюмерной лавки Транкита близ Темпл-бара». Уильяма Хикки, мемуариста начала XIX века, вытащили из канавы на Парламент-стрит. «Я был не в силах сказать о себе что-либо связное и вообще вымолвить хоть слово… о событиях прошедших двенадцати часов я имел воспоминаний не больше, чем если бы я был тогда мертв». Он очнулся на другой день, «неспособный шевельнуть ни рукой, ни ногой, весь в синяках, иссеченный и избитый так, что на мне не осталось живого

места». Другим колоритным лондонским персонажем был Ричард Порсон, первый библиотекарь общеобразовательного учреждения «Лондон институшн», которого часто видели под утро бредущим нетвердым шагом «из давно облюбованной им таверны „Сидровые погреба“ на Мейден-лейн». Он был издателем Еврипида и прославленным ученым, который «мог балакать по-гречески не хуже любого илота» и хвастался тем, что способен повторить по памяти от начала до конца роман Смоллетта «Приключения Родрика Рэндома» (1748). Но «о Порсоне говорили, — пишет Уолфорд в „Лондоне старом и новом“, — что он пил все подряд не разбирая, вплоть до лекарств для втирания и горючего для ламп. Сэмюэл Роджерс утверждал, что после ухода гостей он возвращался в столовую и допивал все, что оставалось в рюмках». Его обычным восклицанием, когда его что-то удивляло или озадачивало, было: «Ху-у-у!» В день его смерти те, кто был с ним, слышали, как он цитирует стихи из греческой Антологии. Его друг отметил, что перед кончиной «он по-гречески говорил быстро, а по-английски с превеликим трудом, словно греческий был его родным языком». Он приободрился было от вина и желе, разведенного бренди

и водой, и его отвезли в таверну в переулок Сент-Майклз-элли (Корнхилл), однако ровно в полночь он умер в «Лондон институшн».

Впрочем, если уж говорить о потреблявшихся лондонцами спиртных напитках (spirituous liquors), то живший в них дух (spirit) — это главным образом дух джина. Судья Джон Филдинг назвал этот напиток «жидким пламенем, посредством которого люди заглатывают свой ад загодя». Подлинный демон Лондона на протяжении полувека, джин погубил тысячи и тысячи мужчин, женщин и детей. Каковы бы ни были истинные цифры смертности (они точно не установлены), популярность джина, который гнали из зерна с добавлением плодов терна или можжевельника, не подлежит сомнению. Согласно оценкам, в 1740-е и 1750-е годы действовало 17 000 «джин-хаусов». Объявление, которое Хогарт использовал в своей гравюре «Джин-лейн», гласило: «Нализаться — 1 пенс, мертвецки — 2 пенса, чистая солома бесплатно». Заведения эти, как правило, ютились в погребках или переоборудованных мастерских на первом этаже; в бедных кварталах они множились и множились, и на их фоне более привычные и традиционные пивные стали выглядеть чуть ли не респектабельными.

Сам Хогарт высказался о своем произведении так: «В пьяном переулке всякая подробность ужасных его обстоятельств выставлена напоказ, въяве: мы видим лишь бедность, невзгоды и крах, страдания, доводящие до безумия и смерти, и ни один из домов не пребывает в сносном состоянии, кроме ломбарда и распивочной». На этой знаменитой гравюре изображен, в частности, маленький ребенок, который, выпав из обмякших рук пьяной матери, мгновение спустя должен погибнуть; она сидит на деревянной лестнице, ноги у нее в язвах, а лицо выражает лишь забытье, лежащее по ту сторону отчаяния. Может показаться, что Хогарт пережимает по части драматизма, но он всего-навсего перенес на гравюру вопиющую истину. К примеру, некая Джудит Дефур забрала свою двухлетнюю дочь из работного дома и задушила ее, чтобы снять с нее новую одежду. Продав детскую одежонку, Джудит истратила вырученные шиллинг и четыре пенса на джин.

«В последнее время, — писал Генри Филдинг в 1751 году, — среди нас возник новый вид пьянства, неведомый нашим предкам, и, если ему не положить конец, он непременно уничтожит немалую часть нашего простонародья. Пьянство, о котором я веду речь [...] посредством яда, назы-

ваемого джином [...] главный предмет питания (если можно так выразиться) для более чем ста тысяч людей в нашей столице». Попытки «положить конец» этому бизнесу, самой заметной из которых был «акт о джине» 1736 года, были встречены лишь «проклятиями толпы». Акт высмеивали и успешно обходили, продавая джин под видом медицинских настоек или под другими названиями, как, например, «сангри», «тау-рау», «мейкшифт» или «король Теодор Корсиканский». «Джин-шопы» по-прежнему были полны мужчин и женщин, «а порой даже и детей», которые пили так, что потом «едва могли выбраться на улицу». Лондонские винокуры заявляли, что их продукция составляет «более одиннадцати двенадцатых всех крепких напитков Англии», а современник событий лорд Лэнсдаун признал в 1743 году, что «неумеренным употреблением джина пока что отличаются главным образом жители Лондона и Вестминстера». Джин помогал забыться арестантам и бродягам; он утешал бедняков Сент-Джайлса, где из каждых четырех домов в одном была распивочная.

Производство джина было делом чрезвычайно выгодным. Бизнесу дали «зеленый свет», и его ограждали от слишком уж больших акцизов, так

что великого убийцу бедных и обездоленных, по существу, сотворили те, кто хотел быстро и легко нажиться. Запоздалая реакция властей была вызвана ростом числа посягательств на частную собственность, связанных с потреблением джина, и увеличением числа «слабых и больных» детей, забота о которых ощутимым бременем легла на приходы. В 1751 году часть «джин-шопов» была закрыта. Эта мера принесла долгожданные результаты. Усовершенствования на винокуренных заводах, более строгая инспекция питейных заведений и увеличение налогов привели к тому, что в 1757 году было замечено: «После того как ввели эти ограничения, мы не видим на улицах и сотой доли от прежнего числа несчастных пьянчуг». Горячка миновала. Буйство джина улеглось также быстро, как вспыхнуло, наводя на мысль, что Лондон в те годы прошел через некий «климактерический» период своей истории, когда сам город внезапно оказался во власти лихорадки и сжигающей жажды.

Однако не только джин и эль считались опасными, порабощающими напитками. Был еще чай.

Бакалейщик Дэниел Роулинсон был первым, кто продал фунт чая, и произошло это в 1650-е

годы; пятьдесят лет спустя Конгрив перечислил «аксессуары чайного стола»: «апельсиновый бренди, анисовое семя, корица, цитронные цукаты и барбадосская вода[77]». Дж. Айлив, автор «Нового и полного обзора Лондона» (1762), полагал, что «неумеренное употребление чая» портит у горожан желудки, лишая их возможности «исполнять функцию пищеварения, из-за чего сильно страдает аппетит». В 1758 году один памфлетист назвал пристрастие к чаю «чрезвычайно вредным для тех, кто усердно трудится и живет небогато», и осудил его как «одну из худших привычек, ведущую к утрате человеком самого себя и мешающую благополучию, для которого он рожден». Согласно широко распространенной версии, Уильям Хэзлитт, умерший в 1830 году на Фрит-стрит в Сохо, скончался от чрезмерного употребления этого напитка. И вновь делается упор на склонность лондонцев — даже некоренных, как Хэзлитт, — к излишествам и безудержности, из-за которых даже безобидная на первый взгляд травяная настойка может сделаться опасной. Здесь — одна из причин того, что лондонские чайные на открытом воздухе вскоре приобрели

---

[77] Примечания: 77

Барбадосская вода — апельсиново-лимонный ликер.

сомнительную репутацию. Пригородные места отдыха с невинными названиями — такими, как «Белый питьевой фонтан», «Пастух и пастушка», «Сады Кьюпера», «Монпелье», «Багнигг-уэллс», — предназначенные для чаепитий и приятного времяпрепровождения, начали ассоциироваться «с женщинами легкого поведения и юношами, испорченными нравственно и нездоровыми телесно», и стали известны как заведения, «где поощряются роскошество, расточительность, праздность, разнообразные дурные и незаконные побуждения». Казалось, всякая возможность отдыха и развлечения немедленно оборачивается в Лондоне излишествами, пороками, безнравственностью. Город не ведал покоя.

Чай и джин и поныне с нами, но один напиток XVIII века исчез совершенно. Горячий сладкий салуп приготовлялся из отвара сассафраса с молоком и сахаром, и чаша его стоила полтора пенса; название, как полагают, произошло от хлюпающего звука, издаваемого теми, кто пил салуп на улице. Кофе и чай стоили дорого, поэтому жители бедных районов Лондона налегали на салуп. Летом им торговали с открытых лотков на колесах, зимой с помощью ширмы и старого зонта сооружали своего рода палатку. Салуп считался

лучшим средством для опохмелки, и Чарлз Лэм вспоминал, как ранними утрами у лотков, наряду с ремесленниками и трубочистами, стояли «прожигатели жизни»; «будучи совсем безденежными», юные трубочисты «наклоняли чумазые свои головы над поднимающимися испарениями, чтобы по возможности насытить хоть одно из чувств». Зрелище навело Лэма на размышления о городе, в котором «сходятся крайности».

В тот же период, когда Лэм записывал свои размышления, впоследствии печатавшиеся в журнале «Лондон мэгэзин», малолетний Чарлз Диккенс вошел в пивную на Парламент-стрит и приказал принести «вашего лучшего — САМОГО лучшего — эля». Напиток назывался Genuine Stunning («Подлинный Ошеломляющий»), и двенадцатилетний мальчик сказал: «Нацедите-ка мне стакан, будьте любезны, да пополнее». В начале XIX века детей, пьющих на улицах или в пивных, можно было видеть довольно часто. «Мне говорили, что девочки, — писал Генри Мейхью уже в 1850-е годы, — обычно больше любят джин, чем мальчики». Они пили «для согрева».

В 1873 году Верлен назвал лондонцев «крикливыми, как утки, и вечно пьяными»; в 1862 году Достоевский заметил: «Все это поскорей

торопится напиться до потери сознания…» В 1853 году немецкий журналист Макс Шлезингер так описывал посетителей пивной: «Стоят, ковыляют, приседают, ложатся, стонут, чертыхаются, напиваются и забываются». Отечественный наблюдатель Чарлз Бут писал, что за 1890-е годы женщины стали пить намного больше. «Одна пьяная баба на улице заведется — и всех остальных споит», — приводит он слова некоего мужчины из Ист-энда. Почти все женщины «напиваются по понедельникам. Они говорят: „У нас своя причуда: любим по понедельничкам маленько подпить“». Питье, судя по всему, распространилось на женщин всех сословий: ведь для женщины уже не считалось зазорным завернуть в пивную на тот предмет, чтобы «промочить горло». Вечерами детей из бедных семей посылали в ближайшую пивнушку за кувшином эля; как пишет Бут, «там царило беспрерывное движение: вот он входит и подает кувшин — и миг спустя уже выходит вон; ни один из детей не задерживался поговорить или поиграть с другими, все торопились домой».

Джентльмены пили также охотно и много, как беднота. О тех, «кто прославлен питейными подвигами», об обладателях «красных носов» и

«прыщеватых лиц» можно прочесть у Теккерея. «Я так нализался вчера вечером!» — говорит один из его персонажей.

В XIX веке за год примерно 25 000 человек подвергались аресту за пьянство на улицах. Часто, однако, неимущих лондонцев доводили до алкоголизма условия их жизни. Один из них — сборщик собачьего помета — сказал Мейхью, что, бывало, запивал «на три месяца без продыху». Когда пил, он «опускал голову к стакану, потому что не мог поднять его к губам».

Так что, хотя «джиновая лихорадка» улеглась и «джин-шопы» позакрывали, злой дух этого напитка уцелел и переселился в «джин-палассы» — «питейные дворцы» XIX столетия. Эти крупные заведения с сияющими окнами из толстого листового стекла, с розетками из стукко на фасадах и выкрашенными золотой краской карнизами соблазняли посетителей рекламными объявлениями, которые подсвечивались газовыми фонарями и приглашали попробовать «единственный настоящий бренди» или «прославленную настойку — лекарственный джин, горячо рекомендуемый врачами». Красиво выведенные буквы расписывали достоинства таких напитков, как «наповал», «в самый раз»,

«для смесей» и «подлинный забористый». Однако наружный лоск обычно обманывал; внутренность этих «дворцов» была унылой и, судя по всему, приводила на память «джин-шопы» старых времен. В заведении, как правило, имелась длинная стойка из красного дерева, за которой располагались бочки, выкрашенные в зеленый и золотой цвета; посетители сидели на пустых бочонках или стояли на узкой и грязной полосе пола вдоль стойки. Здесь нелишне отметить, что исследователи общества считали алкоголь «непременным спутником всяческой бедности и всяческих невзгод». Вновь упор делается на тяжесть городских условий, толкающих мужчин и женщин к пьянству, — на безжалостный темп лондонской жизни, на ее требовательность и гнет. Из исследованных скелетов, найденных в старинных захоронениях под церковью Сент-Брайд, «почти у 10 % имеется по крайней мере один перелом». В потрясающей книге «Лондонские тела» Алекса Вернера говорится также, что «почти половину из них составляют переломы ребер, обычная причина которых — пьяные падения или драки».

В тот же период пивоваренные заводы стали одним из чудес Лондона, одной из его достопри-

мечательностей, с которыми рекомендовали ознакомиться иностранцам. В 1830-е годы в городе, согласно книге Чарлза Найта «Лондон», насчитывалось двенадцать главных пивоваренных заводов, производивших «две бочки, или 76 галлонов, пива в год на каждого жителя столицы — мужчину, женщину, ребенка». Кто откажется бросить взгляд на эту грандиозную деятельность? Один путешественник из Германии отметил, что на него произвела сильное впечатление «громада» пивоварни Уитбреда на Чизуэлл-стрит с ее зданиями, «высотой превосходящими церковь», и «лошадьми-гигантами». В сходном ключе летом 1827 года один немецкий аристократ писал: «Я направил свой кеб к пивоваренному заводу Баркли, находящемуся на Парк-стрит в Саутуорке. Громадность размеров придает ему вид чуть ли не романтический». Он отметил, что оборудование, движимое паровыми машинами, производит от двенадцати до пятнадцати тысяч бочек пива в день; девяносто девять более крупных бочек, каждая «величиной с дом», стояли в «гигантских хранилищах»; для перевозки пива использовались 150 «слоноподобных» лошадей. Завороженность автора лондонскими масштабами выразилась здесь в его восхищении пивными

возможностями города, и под конец он замечает, что с крыши пивоварни «открывается великолепная панорама Лондона».

Символическое значение этих предприятий почувствовали не только заграничные путешественники, но и художники, и к началу XIX века возник целый жанр, который лондонские искусствоведы окрестили «пивоваренным». К примеру, тот же пивоваренный завод Баркли был изображен кистью неизвестного художника спустя десять лет после визита немецкого аристократа; мы видим вход в пивоварню и кипучую лондонскую жизнь вокруг. Справа высится огромное заводское здание, подвесной мост перекинут от него на другую сторону улицы. На переднем плане подручный мясника в типичном для его рода занятий синем фартуке стоит вместе с другим покупателем у фургончика, торгующего печеным картофелем; лошади везут во двор на санях бочки с пивом, из двора навстречу выезжает подвода. С правой стороны по улице подъезжает экипаж с очередными любопытствующими. В целом картина изображает аппетит, и мясо, которое подручный мясника держит на плечах, символически выражает и лондонскую прожорливость, и огромную энергию деловитого города.

Но масштабы лондонского питья можно было передать и по-иному. Бланшар Джерролд и Гюстав Доре побывали на том же предприятии, работая над книгой «Лондон. Паломничество» и желая запечатлеть производство портера, потребляемого «Лондоном жаждущим» (в 1871 году Джерролд назвал британскую столицу «городом солода и хмеля»). Джерролд отмечает, что на фоне колоссальных башен и бочек рабочие «кажутся мухами». На гравюрах Доре эти темные безымянные люди словно бы ревностно исполняют обряды некоего пивоваренного культа; все передано контрастной светотенью, деятельность маленьких человеческих фигур в огромных помещениях освещена нервными, прерывистыми бликами. Здесь вновь бытие города предстает как жизнь внутри громадной загнивающей тюрьмы, где роль ворот и решеток играют металлические трубы и цилиндры. Джерролд, подобно немецкому посетителю до него, видит панораму Лондона «с доминирующим на севере собором Св. Павла»; пиво он называет священным напитком горожан. «Мы стоим, — замечает он, — на античной земле».

«Джин-палас» был вытеснен пабом (от «public house»), который явился прямым потомком та-

верн и пивных (alehouses) прежних времен. В более старых районах Лондона таверны, однако, все еще действовали, одними ценимые за тишину, другими избегаемые из-за унылости и безмолвия. Паблик-хаусы продолжили традицию сегрегации; зал, бар первого класса и приватные бары были в них отгорожены от публичных баров и от тех отделений, где продавали пиво на вынос — разливное и бутылочное. Во многих пабах обстановка не казалась очень уж приятной и здоровой: небогатый интерьер, грязь, длинная стойка из оцинкованного железа, у которой люди пили в угрюмом молчании. «Ты входишь, отворяя тяжелую дверь, которую удерживает толстый кожаный ремень… когда ты миновал ее, она бьет тебя в спину и нередко сшибает с тебя шляпу». В отличие от длинной прямой стойки «джин-паласа», стойка паба, как правило, имела вид подковы, внутри которой были выставлены бутылки с наклейками разных цветов. Обстановка была довольно простой — стулья, скамьи, столы, плевательницы, посыпанный опилками пол. К 1870 году в столице насчитывалось около 20 000 пабов и пивных магазинчиков, и в день они обслуживали до полумиллиона посетителей, внося свой вклад в «пыльный, слякотный, дым-

ный, хмельной, пивоваренный Лондон».

Как сказано в книге «Малый мир Лондона», приезжему, который стал бы спрашивать дорогу в 1854 году, вполне вероятно, ответили бы так: «Идите прямо до „Трех турок“, там направо, перейдите улицу у „Собаки и утки“, потом опять прямо до „Медведя и бутылки“, заверните за угол у „Веселых старых петухов“, и, когда пройдете „Ветерана“, „Гая Фокса“ и „Железного герцога“, первый поворот направо — и вы на месте». В те годы в столице было семьдесят «Голов короля», девяносто «Гербов короля», пятьдесят «Голов королевы», семьдесят «Корон», пятьдесят «Роз», двадцать пять «Королевских дубов», тридцать «Гербов гильдии каменщиков», пятнадцать «Гербов гильдии лодочников», шестнадцать «Черных быков», двадцать «Петухов», тридцать «Лисиц» и столько же «Лебедей». Самым популярным цветом в вывесках пабов был красный (несомненная дань лондонской параллели между алкоголем и пламенем), тогда как любимым числом города, по всей видимости, было три: «Три шляпы», «Три селедки», «Три голубя» и так далее. Встречались и более таинственные названия: «Граф Морис», «Кот и приветствие», «Окорок и ветряная мельница».

Разнообразие и обилие пабов было приметой не только XIX, но и XX века, причем до Второй мировой войны обстановка и характер этих заведений, от богатых пабов Вест-энда до забегаловок Поплара или Пекема с опилками на полу, почти не менялись. Но во время войны — и здесь проявился один из парадоксов лондонской жизни — пабы стали местами более оживленными и не столь однородными по составу посетителей. Там могло еще до закрытия кончиться пиво и мог ощущаться дефицит стаканов, но, как пишет Филип Зиглер в книге «Лондон военных лет», «во время войны только в пабах можно было развлекаться самим и развлекать других задешево, находить человеческое общение, столь необходимое в те годы». Бытовал странный предрассудок, что в паб скорее, чем в жилой дом, может попасть бомба, но популярность этих заведений из-за него, кажется, не страдала. Во время вынужденного отсутствия многих мужчин пабы стали вновь активно посещаться женщинами. В одной публикации 1943 года говорится, что «их часто можно видеть там компаниями или даже поодиночке». «Никогда, ни раньше, ни позже, лондонские пабы не играли такой стимулирующей роли, — вспоминал Джон Леман, — никогда там нельзя было услышать

таких необычайных исповедей, стать свидетелем таких невероятных встреч».

К концу войны в столице оставалось около четырех тысяч пабов, и заключение мира привело к новому всплеску интереса к ним. Романы и фильмы передают атмосферу пабов конца 40-х и начала 50-х, от заведений Ист-энда, где мужчины по-прежнему не снимали кепок и шарфов и девушки танцевали «с сигаретами между пальцев», до баров, где, по воспоминаниям Оруэлла, «теплый дымно-пивной туман» обволакивал «завсегдатаев».

Эта живая, праздничная обстановка сохраняется и в XXI веке, хотя пианино и музыкальные автоматы сдали позиции под неуклонным натиском видеоигр, игральных автоматов и, позднее, широкоэкранных телевизоров, по которым показывают в основном футбол. Постепенный переход пабов под контроль крупных пивоваренных компаний и возникновение в 60-е и 70-е годы «сетей» однотипных заведений привели, однако, к существенной стандартизации и модернизации, от которых многие из лондонских пабов так и не оправились. Хозяева некоторых сетей, к примеру, стали красить потолки своих пабов в «закопченный» или коричневый цвет в

подражание интерьерам старинных пивных; для создания «подлинной» атмосферы в обстановку порой включаются предметы XIX века и старые книги. Но, в отличие от многих других мировых столиц, искусственная история в Лондоне не срабатывает.

В списке 1500 заведений центрального Лондона, имеющих право на подачу спиртного, по-прежнему встречаются знакомые названия. Пусть даже «Центральный Лондон» 2000 года — совсем не то, что «Лондон» 1857 года, тем не менее приятно увидеть немалое количество «Красных львов», «Голов королевы» и «Мужчин в зеленом». Три — по-прежнему любимое число: на Розерхайт-стрит — «Три циркуля», на Портмен-мьюз — «Три бочки». Уже нет, правда, ни «Пятнистых псов», ни «Веселых матросов», зато имеется несколько «Слизняков на салатном листе». «Голова святого» и «Голова Шекспира» существовали давно, однако теперь возникли пять «Поминок по Финнегану», а также «Декан Свифт», «Джордж Оруэлл», «Ловкий Плут»[78] и «Гилберт и Салливан». «Бегущего лакея» больше не существует, но есть целых три «Грязных Мерфи».

---

[78] Примечания: 78

Прозвище юного воришки из романа Диккенса «Приключения Оливера Твиста».

При всей обоснованности жалоб на стандартизацию как пива, так и атмосферы, в которой оно пьется, в начале XXI века налицо куда большее разнообразие лондонских пабов, чем когда-либо раньше. Есть пабы с театрами на втором этаже, пабы с вечерами караоке, пабы с «живой» музыкой, пабы с танцами, пабы с ресторанами, пабы с садами, театральные пабы на Шафтсбери-авеню, бизнес-пабы на Леденхолл-маркете, старинные пабы (такие, как «Митра» на Или-пассидж и «Палец епископа» в Смитфилде), пабы с представлениями, где мужчины играют женские роли, пабы со стриптизом, пабы с особыми марками пива, тематические пабы, посвященные таким лондонским знаменитостям, как Джек-потрошитель и Шерлок Холмс, пабы для гомосексуалистов и пабы для трансвеститов. В более традиционном духе велосипедисты по-прежнему собираются в пабе «Даунс» в Клаптоне, где 22 июня 1870 года состоялось первое собрание «Пиквикского велосипедного клуба».

Налицо и преемственность иного рода. Недавние исследования показывают, что, при всех колебаниях уровня пьянства на протяжении XX века, лондонцы теперь вернулись к былым привычкам. Среднее потребление алкоголя в

Лондоне сейчас выше, чем в других районах страны, и, согласно опубликованному в 1991 году «Исследованию алкогольного спроса и предложения», «полтора миллиона лондонцев превышают рекомендованный „разумный“ уровень» потребления алкоголя, а «четверть миллиона пьют на опасном уровне». Город, как прежде, демонстрирует «неумеренное питье глупцов». Словечек, обозначающих пьянство и пьяниц, на устах у лондонцев великое множество.

Нынешних бродячих пьянчуг из Спитлфилдс, Степни, Камдена, Ватерлоо и некоторых районов Излингтона называют «пьяницами-смертниками». Они потребляют денатурат (на жаргоне — «джейк», «голубой»), медицинский спирт («сердж», «белый») и другие разновидности грубого алкоголя. Количество этих безнадежных лондонских алкоголиков оценивается в одну-две тысячи; они собираются в подворотнях, в скверах, на пустырях, давая этим местам свои названия — например, «Пещеры», «Проточная вода», «Пандус». Сами они тоже имеют прозвища — Беспалый, Рыжий, Джо-прыгун, Черный Сэм; кожа их испещрена шрамами и болячками, черна от копоти костров, которые они разводят на незастроенных участках, оставшихся от военных

бомбежек. После смерти, которая приходит к ним рано, их предают земле на городском кладбище в Форест-Гейте. Лондон их губит — ему их и хоронить.

Глава 38
Клаббинг

В тот вечер, когда выпивка навлекла на Уильяма Хикки беду, он возвращался из питейного клуба, собиравшегося в заведении Редхаус. Слово «клаббинг» (клубное общение) появилось в XVII веке; в июле 1660 года Пипс писал: «Мы отправились к Вуду, в наше старинное место встреч, для клаббинга». Но клубы во всем их многообразии, объединявшие людей по самым разным признакам, возникли только в следующем столетии. Аддисон в характерном для него духе заметил: «Человек — общественное животное, и мы используем любой случай и предлог для объединения в маленькие вечерние кружки, известные широкой публике как *клубы».* Клуб, однако, не всегда легко было отличить от банды, на что 12 марта 1712 года намекнул «Спектейтор», предлагая упомянуть в «общей истории клубов», которая тогда писалась, «компанию мужчин», называвшую себя «Могавк-клубом» (от индейского племени могавков). Ее члены терроризировали прохожих на улицах — «одних сбивали с ног,

других кололи холодным оружием, третьих резали и полосовали». «Спектейтор» отмечает также признаки «клубного духа» в опере, где женщины, симпатизировавшие вигам и тори, группировались друг против друга в определенных ложах, выказывая верность своей партии с помощью разнообразной символики.

Такова была обстановка вокруг питейных клубов XVIII века. Как правило, их члены встречались раз в неделю в «своей» таверне поесть, попеть и поспорить. На Шайр-лейн собирался клуб «Кит-Кат», включавший в себя видных вигов, на Бутчер-роу — «Клуб Робин Гуда», в котором состояли «каменщики, плотники, кузнецы и им подобные». Беседы на Шайр-лейн затягивались до глубокой ночи, а на Путчер-роу «каждому давалось слово на пять минут». «Бифштекс-клуб» собирался в одной из комнат театра «Ковент-гарден», где его члены пили, острили, «немного пели и много злословили». Атмосферу элитарного клуба воскрешает Нед Уорд в «Лондонском наблюдателе»: он вошел «в старомодно обставленную комнату, где Духи Города, благоухая, расхаживали взад-вперед с головными уборами в руках и не дерзали применить их по назначению, дабы не причинить завиткам сво-

их париков какого-либо вреда… Обменивались поклонами по новейшей моде… Они гудели, как шершни, забившиеся в дымовую трубу». Примером противоположного рода может послужить простонародный «Двухпенсовый клуб», одно из правил которого гласило: «Если кто-нибудь выругается или помянет черта, сосед может дать ему под столом пинка». Клуб под названием «Палата лордов» собирался в заведении «Три селедки» на Белл-ярде; и нем состояли гуляки из числа «барристеров, стряпчих и торговцев». Существовали «пуншевые клубы», «клубы судовладельцев» для обладателей небольших судов на Темзе, «клубы говорунов» для идущих в гору публичных ораторов.

То были центры споров и перебранок, выдержанные в боевых лондонских традициях, где непристойных песен звучало столько же, сколько эгалитаристских речей. Подобные клубы назывались «сидячими» (chair clubs); помимо них, были еще клубы картежников и «клубы петушка и курочки» для молодых людей и девиц легкого поведения. Существовал «Клуб безносых», а в Крипплгейте действовал «Клуб пердунов», члены которого «собирались раз в неделю, дабы отравлять окрестности, стремясь громкими трес-

кучими звуками перепердеть друг друга». К. У. Хекторн в «Памятных местах Лондона» перечисляет многие другие лондонские клубы: «Клуб грубиянов» в таверне близ Биллингсгейтского рынка, где встречались местные торговцы, желавшие отточить свое умение «противоречить и сквернословить»; «Грошовый клуб», собиравшийся еженедельно в «Голове королевы» в Бишопсгейте и «состоявший главным образом из скупердяев и сквалыг»; «Клуб разорившихся лавочников» в таверне «Дик-недотепа» (Саутуорк), дававший приют банкротам и тем, кому не посчастливилось в торговле. Каждый член «Клуба поддельных героев», собиравшегося в пивной в Болдуинс-гарденс, представлял того или иного «героя прошлых лет»; в «Клубе лжецов», чьей базой была таверна «Колокол» в Вестминстере, не должно было звучать «ни единого слова правды». «Клуб человекоубийц» в таверне, находившейся в переулке близ церкви Сент-Клемент-Дейнз, принимал в члены лишь тех, «кто убил хотя бы одного»; но существовал также «Скучный клуб», куда входили «джентльмены мирного нрава, которым довольно было того, что они встречались в таверне, курили трубки и молчали до полуночи», после чего расходились по домам. «Неугасимый

клуб» назывался так потому, «что сто его членов разбили сутки на отрезки с тем, чтобы клуб заседал беспрерывно и никому нельзя было уйти, пока не явится сменщик».

Клубная традиция продолжилась и в следующем столетии, когда члены так называемых «free and easy» (постоянных компаний, собиравшихся в пабах выпить и попеть) вносили по шиллингу в неделю; действовали также дискуссионные клубы в тавернах — как правило, в таких ремесленных районах, как Спитлфилдс, Сохо, Кларкенуэлл, Финсбери. В какой-то мере они продолжили линию атеистических обществ XVIII века, которые собирались на Уэллс-стрит, в таверне «Ангел» и на Сент-Мартин-лейн, и их так же не любили городские власти. Многие из этих заведений, однако, пользовались популярностью в начале XIX века, несмотря на свою оппозиционность. В их числе — «Лебедь» на Нью-стрит, «Руно» на Уиндмилл-стрит, «Джордж» на Ист-Хардинг-стрит и «Тутовое дерево» на Мурфилдс. Эти таверны были центрами лондонской радикальной оппозиции. Например, в 1817 году в таверне «Якорь» собирался «Хэмпден-клуб», и в этой пивной впервые громко прозвучало требование всеобщего избирательного права для мужчин.

Есть основания утверждать, что эти общества и дискуссионные клубы в тавернах в той или иной мере были порождены, по крайней мере в Лондоне, неформальными дебатами в кофейнях начала XVIII века. Формирующее влияние кофеен было, однако, таким мощным, что их можно считать ответственными и за возникновение клубов совсем иного рода, нежели те, что собирались на Уиндмилл-стрит или на Мурфилдс. Они получили название «мужских клубов» (gentlemen's clubs) и, согласно одному высказанному в XIX веке мнению, выросли из «недолжным образом употребляемых кофеен и таверн» с тем, чтобы осуществить «переворот в общественном устройстве». Клуб Уайта, самый старый из них (1736), является прямым потомком «Шоколадной Уайта»; клубы Брука и Будла тоже возникли в XVIII веке, однако другие — в том числе «Атенеум» и клуб Гаррика — основаны уже в следующем столетии. Эти более поздние учреждения, сохраняя приватный характер, помещаются в зданиях, задуманных и построенных в масштабах скорее общественных. Их создавали известные архитекторы — такие, как Уилкинс, Барри, Смерк, — и, с их барельефами, с их сложной лепниной, они напоминают большие помещичьи дома или

итальянские палаццо. Они и ныне весьма впечатляющи — главным образом благодаря своей глубочайшей вульгарности. Во многом они принадлежат к сфере лондонских декораций.

Хорошим примером, иллюстрирующим щедрость Лондона на контрасты, может послужить другой тип мужского клуба XIX века. Я имею в виду рабочие клубы, обычно собиравшиеся на вторых этажах местных пабов. Там царило грубоватое веселье. Порой читались лекции, как в романе Джорджа Гиссинга «Преисподняя»: «Что сталось бы с домохозяевами Кларкенуэлла, получи они по заслугам. И станется, друзья мои, обязательно станется, дайте только срок». Но общеобразовательные мероприятия или веселые дебаты частенько отступали перед «стуком кастаньет, треньканьем банджо и пением, чья мелодия то и дело взлетает радостным возгласом». Рассказывая о пабе «Плюмаж» в Бетнал-грин, Артур Моррисон в 1896 году описал клубную комнату, где «началось пение, поскольку из присутствующих по меньшей мере человек двадцать жаждали „выступить“». Расхолаживающую ноту вносит, однако, замечание Моррисона о том, что лица у присутствующих были «как у человека, понукаемого к радости посреди глубокой тоски».

О выпивке, которая и здесь была важным — даже насущно необходимым — элементом клубного общения, Моррисон умалчивает.

Подобные заведения, в зависимости от их местоположения, назывались либо glee clubs (песенными клубами), либо mughouses (пивными клубами). Пение перемежалось как тостами, так и речами. Более чопорные из этих клубов назывались «залами», и в них обычно брали деньги за вход, а напитки варьировались от «эля, портера чернильного цвета и крепкого пива» до чая и бренди. Столы, покрытые клеенкой или кожей, сдвигались к стене, а у другой стены стояло пианино или арфа. «Никакой программы выступлений не было, — вспоминает один из посетителей в книге Роя Портера „Лондон: история общества“, — Просто время от времени та или иная молодая женщина говорила: „Я сейчас спою вам песню“». Один заезжий француз вспоминал, как под стук отбивающего такт по столу аукционного молоточка «трое мужчин, серьезные, как англиканские священники, пели то хором, то поодиночке сентиментальные баллады». Он также отметил, что владельцы некоторых таверн подобного типа, «к несчастью, установили у себя механические органы, которые играют без умол-

ку». Жалобы на характер увеселений в пабах, как видим, зазвучали сразу же, едва возникли пабы. Помимо этих таверн и «залов» были еще «ночные погребки» — такие, как «Погребок для сидра» на Мейден-лейн и «Угольный подвал» на Фаунтен-корт близ Стрэнда, где популярные артисты легкого жанра пели и развлекали публику в густой атмосфере пивных паров, газовой гари и табачного дыма…

Глава 39
Замечание о табаке

Все посетители клубов и пабов видели и вдыхали трубочный дым, который висел в лондонских тавернах с тех пор, как сэр Уолтер Рэли, согласно легенде, первым предался курению у себя в Излингтоне. Несколько лет спустя один немец, посетивший Лондон в начале XVII века, заметил, что лондонцы «беспрестанно курят табак следующим образом: у них имеются особые трубки, сделанные из глины, и в дальний конец такой трубки они кладут траву, высушенную и растертую в порошок, которую затем поджигают». Археологи во время раскопок находят глиняные трубки повсюду.

Поначалу считалось, что табак имеет лечебные свойства, и его продавали в аптеках как «средство от мокроты». Курить позволяли и детям, которые «в школе порой заменяли табаком завтрак и учились у наставников выдувать дым из ноздрей». В одном старинном дневнике читаем, что его автор в 1702 году отправился с братом в кофейню Гарраузя и «с удивлением увидел, как

его болезненный трехлетний сын без малейшего смущения набивает свою трубку табаком, а за ней вторую и третью».

В XVII веке это «странное зелье» распространилось по всему Лондону, но были у него и противники, считавшие, что табак вызывает лень и оцепенение. Сам король Яков I издал «Возражение против табака», где описывается «густая маслянистая сажа, обнаруживаемая в телах заядлых курильщиков при посмертном вскрытии». Но в городе, чрезвычайно расположенном к излишествам, ничто не может отвратить человека от удовольствий, сколь бы отравляющими они ни были. Хотя рекламировались медицинские свойства табака, вскоре стали очевидны его наркотические свойства, помогающие бороться с тревогой и одиночеством. «Товарищ в уединении — характеризовал его один автор, — источник развлечения в компании, невинное лекарство от меланхолии». Известно, что в начале XVII века курение трубок вошло в обычай бродяжьих братств — таких, как «бедовые» и «удачники». Табак, таким образом, стал одним из необходимых удовольствий лондонской бедноты.

Другой приезжий в XVII веке отметил, что лондонцы курят свои коротенькие трубочки в те-

атрах и тавернах и что «это делает их шумными и веселыми, но при этом несколько расслабленными, точно под хмельком… они пользуются этим весьма неумеренно ради удовольствия, которое получают». Говорилось также, что трубка у горожан порой «ходит по кругу» и что даже лондонские женщины тайком покуривают. Объем табачной торговли был огромен и достигал полумиллиона фунтов; лавок, торговавших табаком и трубками, было так много, что они сами составляли «обширный город». Город дыма, клубясь, вплетался в город торговли. В 1770-е годы было высказано мнение, что если не привычка, то по крайней мере мода пошла на убыль; однако, вопреки сделанному в 1773 году Сэмюэлом Джонсоном замечанию, что «курить перестали», в действительности курение трубок продолжалось и безболезненно слилось впоследствии с курением сигарет.

Сигареты пришли в Лондон вскоре после Крымской войны; первая фабрика открылась в Уолуорте в 1857 году. Вторая и третья были расположены соответственно на Куин-Виктория-стрит и на Лестер-сквер и принадлежали иммигрантам из Греции, а первые сигареты с фильтром — так называемые «кембриджские»

— были изготовлены в 1865 году. Словечком «fag» называли сигарету одного из дешевых сортов. В Лондоне всегда была сильна наркотическая зависимость. Казалось, ее пестует сам город. «Я рвусь к табаку, — писал Лэм, — как другой может рваться к высшему началу». В XIX веке табачный склад, расположенный в лондонских доках, содержал добра почти на пять миллионов фунтов стерлингов, и при этом многие городские бедняки «подбирали окурки сигар, бросаемые курильщиками на улицах», и продавали добычу по цене от шести до десяти пенсов за фунт. Любой элемент Лондона стремится участвовать в торговом кругообороте.

Глава 40
Дурной запах

Лондонские запахи весьма стойки. По словам канадской писательницы конца XIX века Сары Джанетт Данкан, они «всегда более отчетливы в сердце Сити, нежели, скажем, в Кенсингтоне». Далее она говорит, что «это не было что-то одно, обособленное, и это не была смесь частных запахов, поддающихся разграничению. Это был некий отвлеченный запах». Его сравнивали с запахом дождевой воды или металла. Возможно, это дух человеческой деятельности или жадности. Утверждалось, однако, что его происхождение никак не связано с людьми. Когда на город льет дождь, один из самых характерных запахов исходит от «намокшего камня», но от сырости якобы может также усиливаться «ослабевший телесный запах Лондона». Это дух старины — или, точнее, воспрянувшей старины.

В XIV веке в городе пахло весьма разнообразно и многосложно — запекалось мясо, варился клей, изготовлялись пиво и уксус; гнилые овощи конкурировали со свечным салом и конским пометом,

и все вместе составляло «насыщенно-приторное облако густого и тяжелого воздуха, которым люди принуждены были дышать». Этот «средневековый запах» ныне, по прошествии стольких лет, нелегко идентифицировать, хотя, возможно, он еще таится в некоторых дверных проемах и проходах, где случайный путник нет-нет да и вдохнет тот же сложный состав. Есть, кроме того, места в других частях света — например, рынки Северной Африки — воздух которых отчасти родствен атмосфере средневекового Лондона.

Каждое столетие пахло по-своему. В XV веке от собачьих конур в Мургейте исходили «великое зловоние и заразный дух»; другим источником недовольства были печи для обжига извести, горевшие в предместьях. С запахом города как такового особенно часто отождествляли запах каменноугольного дыма; по существу это был запах торговли, оказавшийся невыносимым. В XVI веке причиной многих жалоб были литейные, находившиеся в Лотбери. С севера шел запах обжигаемых кирпичей, а в самом Сити близ Патерностер-роу «тошнотворно воняло свечным салом». От рынка Стокс-маркет, расположенного в восточном конце Чипсайда, так сильно несло тухлыми овощами, что молящимся в соседней

церкви Сент-Стивен-Уолбрук «делалось дурно». Прихожан лондонских церквей подстерегали, впрочем, и другие обонятельные опасности: так, например, в XVI веке трупные запахи с кладбища у собора Св. Павла не на шутку тревожили Хью Латимера. «Я истинно думаю, что многих церковный двор собора Св. Павла лишил жизни, — сказал он в одной из проповедей, — и основанием для этих слов служит мой собственный опыт, ибо я сам порой, приходя туда утром послушать проповедь, ощущал такой скверный и нездоровый запах, что долго потом не мог оправиться». Эта кладбищенская вонь была одним из самых стойких и трудноискоренимых городских запахов, и с XVI по XIX век жалобы на нее звучали постоянно.

Но пахнут не только мертвые, но и живые. В пьесах XVI и XVII веков — в частности, в шекспировском «Кориолане» — порой слышна реакция на отчетливо ощутимый запах лондонской черни с ее «вонючим дыханием». Юлия Цезаря валит с ног запах грязных тел, которые принадлежат скорее Лондону, нежели Риму. В XVIII веке Джорджа Чейна, автора «Английской болезни», приводят в ужас «облака вонючих выдохов и телесных испарений… которых с избытком хватает, чтобы

отравить и заразить воздух на два десятка миль». В документах социальных служб XIX века говорится о дурных запахах в «неблагоустроенных» доходных домах и ночлежках, из-за которых инспекторам становилось дурно.

В городе, живущем трудом и торговлей, один из главных запахов — запах пота от «замасленных кухарок за жаркой работой». Лондон — своего рода парник, где клубится «смешанный дух вонючего табака, потных ног, грязных рубах, выгребных ям, гнилого дыхания и смрадных скелетов». Без сомнения, чувствительный лондонец в безветренный день ощущал присутствие сограждан, даже не видя их. Часто возникает образ тесного, удушающего соприкосновения, напирающей со всех сторон массы нечистых тел с их несвежими выдохами. Здесь — одна из причин того, что приезжие моментально начинали чувствовать себя растворенными в лондонской толпе: вдруг им шибал в нос интимно-тошнотворный запах людской жизни, частью которой становились они сами. В документе XVI века, где говорится, что больные и увечные лежат на улицах Лондона и «их невыносимые муки и горести… смрадом своим наполняют глаза и ноздри горожан», обонятельное начало соединяется со

зрительным, создавая образ ужаса, разом одолевающего все наши органы чувств.

Запах этот не имеет возраста. Пройти по узкому, дурно пахнущему проулку, каких немало в нынешнем Лондоне, — значит вновь прогуляться по Фаул-лейн или Стинкинг-элли[79]. Миновать на близком расстоянии немытого бродягу — значит испытать то же ощущение, что и лондонец XVIII века при встрече с простым нищим или «авраамом» (нищим, симулирующим сумасшествие). В запахах своих город соединяет многие прошедшие времена.

Не следует думать, однако, что никто из жителей города не мылся. Мыло существовало уже в XV веке, как и освежающие дыхание леденцы и ароматические мази для тела. Проблема здесь, подобно многим другим проблемам городской жизни, была связана с присутствием «под боком» у зажиточных горожан бедноты, бывшей источником всяческой заразы. В XVII веке на фешенебельные площади новой застройки наплывал смрад близлежащих «вонючих переулков» и «затхлых дворов». Лондонские запахи были великими уравнителями. Подстилки из

[79] Примечания: 79
То есть по Вонючему или Смрадному переулку.

камыша, покрывавшие полы бедных домов, были пропитаны «слюной, рвотой, остатками пищи, мочой собак и других животных». В таких районах, как Бетнал-грин и Степни, часть этих животных составляли свиньи; на Орчард-стрит в приходе Марилебон было двадцать три дома, в которых обитало семьсот человек и сто свиней, источавших «сильнейшее зловоние». Вопрос о том, где будет запах, а где нет, решали в Лондоне опять-таки деньги. Они, как известно, не пахнут. В финансовой столице мира смердит бедность. В середине XIX века один горожанин после посещения трущоб Эйгар-тауна близ церкви Сент-Панкрас, воздух которых не делали чище ни дождь, ни ветер, написал: «Дождливым утром здешняя вонь может свалить наземь быка».

В том же столетии некоторые другие районы обладали своими особыми запахами. Например, вокруг Тауэр-стрит пахло вином и чаем (в XVIII веке — растительным маслом и сыром), в Шадуэлле — парами близлежащих сахароваренных заводов. От Бермондси несло пивом, дубящими веществами, соленьями и фруктовым запахом от варки джема, а у Темзы Томас Харди, живший в террасе Аделфи, заболевал от запаха ила во время отлива. В Излингтоне в XIX веке пахло кон-

ским пометом и жареной рыбой, а район вокруг Флит-стрит и Темпл-бара окутывали «испарения темного стаута». Приезжие отмечали, что «характерным запахом» Сити был запах конюшен, «предваряемый вонью от стоянок кебов». Прогулка от Монумента до Темзы была сопряжена, однако, и с другими обонятельными ощущениями — от «испорченных апельсинов» до «сельди».

Но не все запахи были неприятными. В XVII веке в полночь, когда лондонские пекари растапливали свои печи и когда кухни, где жгли каменный уголь, отдыхали от дневных трудов, «воздух начинает очищаться, и вместе с дымом пекарен, где в дело идут дрова, а не уголь, вокруг распространяется чрезвычайно сельский запах». Некоторые лондонские улицы славились приятностью воздуха; в XVI веке такими местами были Баклерсбери, когда там шла торговля лекарственными травами, и недавно застроенная Пэлл-Мэлл. В 1897 году один приезжий японец сказал, что город пахнет едой, и в то же время неодобрительно отозвался о дыхании лондонских слуг. Французский поэт Малларме утверждал, что Лондону присущи запахи ростбифа и тумана, который «пахнет здесь по-особенному, как ни в одном другом городе». Несколько позже Дж. Б. Пристли

вспоминал «жирный дух маленьких харчевен» и запах «дымного осеннего утра… с вокзальным привкусом». Запах транспорта в многообразных формах был свойствен Лондону во все времена. Омнибусы, к примеру, весной пахли луком, зимой — «парафином или эвкалиптом»; летом их запах был попросту «неописуем». От тумана перехватывало горло, «как от хлора». Роуз Маколей вспоминала один проулок близ Хай-стрит в Кенсингтоне, где «пахло вазелином». Лонг-Эйкр источал запах лука, Саутгемптон-роу — антисептики. Лондон XX века был полон всевозможных запахов — от шоколадного вдоль Хаммерсмит-роуд до химического на Крисп-стрит в Ист-энде и близ моста, окрещенного «Вонючим».

Былые запахи остались живы — как, например, запахи реки и пабов, — и целые городские районы сохранили свою особую, отличимую атмосферу. В одном описании Ист-энда, датируемом концом 1960-х годов, отмечается «убийственный запах рыбы» и «вареной капусты» в сочетании с «затхлым застойным духом старого дерева и крошащихся кирпичей»; сходная характеристика этого же района была дана в 1883 году — почти столетием раньше — в книге «Горький плач обездоленных Лондона»: здесь царят «вонь

тухлой рыбы и гнилых овощей», а также запах «сохнущих спичечных коробков», оставшийся в XIX веке.

В XX столетии, однако, главным и повсеместным стал запах бензиновой гари от автомобилей и автобусов. «Воздух заражен их дыханием — писал в 1905 году Уильям Дин Хоуэлле, — и для нынешней „цивилизации“ эта вонь стала одной из самых характерных». В числе других навязчивых запахов — те, что исходят от собачьего помета на тротуарах и от ресторанчиков с жирной «быстрой едой». Еще — приглушенно-едкий запах метро, который также является запахом лондонской пыли и паленого лондонского волоса. Куда хуже, конечно, цепкий запах утреннего подземного часа пик, когда от полновесных выдохов толпы на задней стенке горла, кажется, осаждается что-то металлическое. Это и человеческая, и нечеловеческая субстанция, как и сам лондонский запах.

Глава 41
Ты меня возбуждаешь

Секс ассоциировался в городе прежде всего с грязью и болезнью, а если не с ними — то с куплей-продажей. Связь видна даже в самом языке: hard-core как эпитет применяется обычно к порнографии и означает «грубая, махровая», но первоначальное лондонское значение этого словосочетания — «мусор в виде щебня и кирпичного лома», который использовался при строительстве дорог и зданий. А где мусор — там и смерть. Печально знаменитые окрестности Хеймаркета, где вовсю промышляли проститутки, являли взору «марш мертвецов. Это поистине зачумленное место».

С самых ранних дней лондонской истории в городе бурлила сексуальная жизнь. На Коулмен-стрит археологи обнаружили фаллос римского периода и архитрав с изображением трех проституток (позднее, по иронии судьбы, эта улица была

прибежищем лоллардов[80] и пуритан). На месте теперешних Грейсчерч-стрит и Леденхолл-стрит, вблизи древнеримского храма, происходили эротические празднества, посвященные Сатурну или Приапу, а подле амфитеатра, располагавшегося там, где ныне стоит Гилдхолл, вполне возможно, была палестра — место для прогулок, где не было недостатка в продажных юношах и девицах. С разрешения римских властей к услугам горожан были бордели и «форниксы» — сводчатые помещения с «грязными закутками», предназначенными для блуда. Э. Дж. Берфорд в информативной книге «Лондон: многогрешный град» пишет, что на некоторых перекрестках были воздвигнуты гермы — «невысокие каменные столбы, изображавшие бога Гермеса» с позбужденным половым членом, у которого «крайняя плоть была выкрашена в ярко-красный цвет».

Все эти бордели и форниксы означают, что секс в самом торговом из городов уже стал предметом торга. В периоды датского и саксонского завоеваний молодые женщины покупались и продавались, как любой другой товар. «Дозволяется

[80] Примечания: 80

Лолларды — последователи религиозного реформатора Дж. Уиклифа в XIV–XVI вв. Выступали против папства, церковного землевладения и социального неравенства.

мужчине взять девицу в обмен на скот, — гласит один из саксонских правовых документов, — и сделка будет действительна, если совершена без обмана». А вот строчка из детского стишка, появившегося тысячу лет спустя — в XVIII веке: «В город Лондон я поехал и купил себе жену». Даже в XIX веке, по-видимому, существовали тайные рынки, где женщин продавали с аукционов, и проститутка конца XX века обычным своим вопросом «Do you want any business?» («Сговоримся насчет дела?») подчеркивает именно деловую, финансовую сторону совокупления. Так коммерческий дух Лондона накладывает отпечаток на похоть горожан. Лондон предназначен для купли-продажи. Но беднякам продавать нечего, и, раз так, они выставляют на рынок свои тела. Сексуальное вожделение может поэтому без помех бродить по всем улочкам города. Лондон неизменно отдавал щедрую дань тайному разврату.

Средневековые хронисты, обличавшие лондонское пьянство и всяческую греховность, обрушивались, помимо прочего, на городских насильников, распутников, проституток и содомитов. Из XII века до нас дошло упоминание о Бордхоу — районе публичных домов в приходе Сент-Мэри-Коулчерч. В XIII веке и, возможно,

намного раньше существовала улица Гроупкантлейн, протянувшаяся по двум приходам — Сент-Панкрас и Сент-Мэри-Коулчерч (в 1276 году она упоминается в написании Groppecountelane, в 1279 году — Gropecontelane). Смысл понятен из названия (grope — искать, нащупывать; cunt — женский половой орган). К тому же периоду относится упоминание о Лав-лейн («Любовной улочке»), где «обыкновенно забавлялись молодые парочки», и о Мейд-лейн («Девичьей улочке»), «получившей такое название из-за здешнего распутства».

Близ Смитфилда располагался переулок Коклейн, «отведенный», как было сказано в 1241 году, для плотских утех. В определенном смысле он стал первым переулком красных фонарей, специфически знаменитым своими многочисленными проститутками. «С наступлением ночи они выходят из своих жилищ… убежищами, где они принимают кавалеров, служат им убогие таверны». Это описание годится для любого столетия — от XIII до XIX, что лишний раз подчеркивает способность иных небольших участков сохранять верность одному роду деятельности, сколь сильно ни менялся бы обступающий их город. В этом переулке обитали типичные лондонские

персонажи — такие, как миссис Марта Кинг, «низенькая толстушка, которая прошлой зимой ходила в бархатном платье и нижней юбке», миссис Элизабет Браун, «которая с пятнадцати лет торгует девочками, — женщина скромная и приятная в общении, пока не опорожнит третью бутылку», и миссис Сара Фармер, «рослая могучая баба, наружно и нравом нимало не привлекательная». Ленгленд в «Видении о Петре Пахаре» (ок. 1362) обессмертил «Кларис из Кок-лейн и клирика из церкви».

К XIV веку относятся сведения о судебных процессах против проституток, куртизанок, сводников и содержателей публичных домов. В июне 1338 года Уильям де Долтон был арестован за то, что «содержал скверный дом, где замужние женщины забавлялись с любовниками»; в следующем месяце Роберт де Стратфорд был предан суду за сводничество.

В 1339 году Гилберта ле Стренгмейкера, жившего на Флит-стрит, судили за то, что он «завел у себя нехороший дом с проститутками и содомитами»; на том же судебном заседании разбиралось дело двух куртизанок — «Агнес и Джулианы с Холборна», которых обвиняли опять-таки в потворстве содомскому греху. Выходит, в средневековом

Лондоне пышным цветом цвел гомосексуализм, сросшийся с миром публичных домов и сводников. Можно было бы говорить о «подполье», не будь эти дела общеизвестными и повсеместными.

Судебным преследованиям подверглись содержатели борделей в уордах Олдерсгейт, Тауэр, Биллингсгейт, Бридж (там одна из проституток звалась Кларис ла Клаттерболлок[81]), Брод-стрит, Олдгейт, Фаррингдон и так далее. Многие из наказанных за пособничество разврату приехали в Лондон издалека, откуда следует, что молва о столичном распутстве и связанных с ним возможностях наживы распространилась по всей стране. Лондон издавна был средоточием английской греховности. Великая средневековая хроника, известная под названием «Брут», упоминает о «дамах… кои носят лисьи хвосты, пришитые изнутри так, чтобы закрывали им задние места», а в другой хронике говорится о женщинах, которые ходят, «заголив грудь и живот». Закон запрещал продажным женщинам одеваться так же, как «благородные дамы и девицы королевства»; им следовало носить полосатую одежду,

[81] Примечания: 81
Clatter — стучать, греметь; ballocks — мужские яички.

бывшую знаком их профессии, и косвенно это свидетельствует о терпимости, проявляемой средневековым католическим Лондоном: проституция не запрещалась и не изгонялась из города.

Во времена позднего Средневековья разврата в Лондоне было, может быть, больше, чем в любой период XIX или XX веков, — и уж во всяком случае он проявлялся куда откровенней; он достиг таких размеров, что городские власти встрепенулись и в 1483 году выпустили воззвание, обличавшее «зловонный и ужасный грех распутства… который возрастает день ото дня и коему ныне предаются более, чем в былые времена, а средства для оного греха доставляют продажные, праздные и беспутные женщины, бродящие по городу во все дни». Последовали попытки убрать «беспутных» с наиболее респектабельных улиц, сосредоточить их за городскими стенами — в Смитфилде и Саутуорке. Саутуоркские бордели на Банксайде к югу от Темзы, однако, то и дело подвергались атакам властей, действовавших то ли по прихоти, то ли в приступах паники, и продажные женщины предпочитали такие районы, как Сент-Джайлс, Шордич (где их можно встретить и сейчас) и Аве-Мария-элли близ собора Св. Павла. В других местах города они предлагали свои услуги

в публичных домах типа «Гарри» на Чипсайде и «Колокол» на Грейсчерч-стриг. Кстати, словечко *stew* (публичный дом) этимологически связано не со *stew,* понимаемым как тушеное мясо или горячая мясная похлебка, а со старофранцузским *estuier* (помещать в чехол, в замкнутое пространство или в рыбный садок). Новый смысл с упором на стиснутый, воспаленный жар, на разгоряченность был усилен возникновением сифилиса, который в XVI веке стал источником гнева моралистов и зубоскальства сатириков.

Но сексуальная жизнь в городе продолжалась без оглядки на моралистов, и приезжие отмечали непринужденную близость отношений между полами. В XVI веке один венецианец писал: «Молодые женщины в немалом числе собираются за Мургейтом позабавиться с юношами, с которыми они даже не знакомы… Поцелуям нет конца». В подобных играх, судя по всему, участвовали и замужние особы, и в начале XVII века на берегу Темзы был воздвигнут высокий флагшток, «на коем вывешены всевозможные рога в честь рогоносных мужей Англии… и англичане потешаются там друг с другом вовсю — проходя, приветствуют один другого и всех вокруг снятием шляпы». В те же годы большой популярностью пользовался

бродсайд под названием «История замужней женщины».

Повсеместное присутствие продажных женщин приводило, среди прочего, к тому, что их называли на десятки разных ладов[82]. Знаменитая сводня, мадам Крессуэлл из Кларкенуэлла, изображена на нескольких живописных портретах и гравюрах; в ее заведении имелись «красавицы на любой вкус — от угольной присоски-чернавки до ненасытной златовласки, от сонной томной улитки до горячей наездницы», — и она поддерживала связь с агентами по всей Англии, которые выискивали для нее юных и привлекательных. Она была одной из многих известных лондонских бандерш. В первом варианте цикла гравюр «Путь проститутки» Хогарт изобразил Мамашу Нидем, владевшую знаменитым борделем на Парк-плейс. Но ее забили до смерти у позорного столба, и поэтому Хогарту пришлось заменить ее Мамашей Бентли, которая снискала в Лондоне не меньшую славу. Эти Мамаши воистину воплощали в себе материнское начало в городе похоти.

А что касается дочерей (и сыновей) — они зачастую были очень юны. «Через каждые десять

[82] Примечания: 82

Здесь приводится перечень жаргонных синонимов слова «проститутка». В переводе он опущен.

шагов, — писал один немецкий путешественник, — к тебе пристают, причем даже дети лет по двенадцати, и таким недвусмысленным образом, что можно не спрашивать, что им от тебя нужно. Они льнут к тебе пиявками… Нередко хватают таким способом, о котором я дам наилучшее понятие, не сказав более ничего».

Представление об уличной жизни в 1762 году и о тогдашних сексуальных услугах дает дневник Босуэлла. Вечером 25 ноября, в четверг, он присмотрел девицу на Стрэнде и «пошел с ней во двор с намерением насладиться ею в броне [т. е. в презервативе]. Но у нее не нашлось… я поразил ее величиной, и она сказала, что, если бы я лишил кого невинности, девица криком бы кричала от боли». Ночью 31 марта следующего года «я отправился в Гайд-парк, подцепил там первую шлюху, какую встретил, и без лишних слов совокупился с нею в чехле, ничего не опасаясь. Она была тоща и уродлива, изо рта у нее несло спиртным. Я даже имени ее не спросил. Когда я кончил, она, скользнув, исчезла». 13 апреля «я отвел во двор маленькую девочку — но сила мне изменила». При всей своей склонности к морализаторству задним числом Босуэлл не придает тому обстоятельству, что она «маленькая девочка», никакого

значения, и это показывает, что на улицах Лондона подобных ей было множество.

Когда Томас Де Куинси познакомился с одной из них, звавшейся Энн, они провели вместе немало ночей, бродя «по Оксфорд-стрит взад и вперед»; однако «она до того была робка и удручена, что сразу становилось ясно: печаль прочно завладела ее юным сердцем». Они расстались, условившись о скорой встрече на углу Титчфилд-стрит, и больше он ее не видел. Тщетно он высматривал Энн в лондонской толпе среди тысяч девичьих лиц; он гневно обращался к Оксфорд-стрит: «О жестокосердая мачеха — ты, что слушаешь вздохи сирот и пьешь детские слезы». Подобное сочувствие к страданиям юных проституток трудно, если вообще возможно, встретить в документах XVIII века, включая дневник Босуэлла. Через месяц после того, как он «отвел во двор маленькую девочку», он сговорился с уличной женщиной, «отправился с нею на Вестминстерский мост и на благородном сем сооружении, облеченный в броню, вступил в жаркую схватку». На жаргоне эпохи произошедшее, видимо, следовало назвать «за три пенса встоячку». «Каприз, которому я повиновался, совершая это над током Темзы, возбудил меня необычайно».

Для Босуэлла она была всего-навсего «потаскухой», грязной по определению, и потому, воспользовавшись ею и заподозрив, что она заразна, он принялся угрожать ей. Как большинство его современников, Босуэлл испытывал ужас перед венерической болезнью. Джон Гей в своей лондонской панораме предостерегает от тех, кто,

От фонаря шныряя к фонарю,
Сулит постыдный, тягостный недуг,
Расплату горькую за сладкий миг
И нескончаемых страданий гнет.

Страдания эти испытал, в частности, Казанова, заразившийся гонореей от проститутки в таверне «Каноник».

До этого Казанова посетил другой бордель — в таверне «Звезда», — где заказал отдельную комнату. Он вступил в беседу с «серьезным и представительным хозяином» (хорошее наблюдение: такой вид напускали на себя многие содержатели лондонских борделей), после чего забраковал одну за другой всех женщин, которые к нему являлись. «Дайте ей шиллинг для привратников и гоните ее прочь, — сказал ему хозяин после первого отказа. — Мы в Лондоне не утруждаемся церемониями».

Не утруждалась ими и проститутка, которая пристала на Стрэнде к Сэмюэлу Джонсону. «Нет-нет, девочка моя, — тихо проговорил он, — Так не годится». Девица подобного же сорта, сообщив, что она «в городе новенькая совсем», подошла к Ричарду Стилу возле аркады в здании рынка Ковент-гарден. Она спросила его, «как насчет стаканчика винца», но под сумрачными сводами рынка он увидел на ее лице «печать голода и холода; глаза у нее были ищущие и тусклые, платье крикливое и легкое, черты лица тонкие и детские. Странная эта встреча пробудила во мне сильную сердечную боль, и, чтобы меня не увидели с этой женщиной, я отошел».

Стрэнд и Ковент-гарден, как и окрестные переулки, были общеизвестными местами сексуальных развлечений. Там в XVIII веке в некоторых питейных заведениях выступали исполнительницы «поз», что было тогдашней формой стриптиза; действовали «дома удовольствия», специализировавшиеся на порке, и «молли-хаусы» для гомосексуалистов. В «Лондон джорнал» за май 1726 года говорится о двадцати «содомитских клубах» (в их число, видимо, входит общественная уборная близ Линкольнс-инн), «где они заключают гнусные сделки, после чего

удаляются в темные углы совершать свои отвратительные мерзости». Излюбленными местами встреч гомосексуалистов были такие заведения, как «Мамаша Клап» на Холборне и «Толбот-инн» на Стрэнде, а близ Олд-Бейли действовал бордель с юношами, где «мужчины обычно называли друг друга „мадам“ или „миледи“». «Подкова» на Бич-лейн и «Фонтан» на Стрэнде были в XVIII веке эквивалентами нынешних «гей-пабов», а окрестности Королевской биржи славились возможностью фланирования и поиска гомосексуальных партнеров; как гласил стишок того времени, «ныне торг содомиты на Бирже ведут». Такую же репутацию имели переулки Поупс-Хед-элли и Суитингс-элли; хозяин полутаверны-полуборделя на Камомайл-стрит (camomile — ромашка) был известен как «Графиня Ромашка». Что касается «Мамаши Клап», у нее в каждой комнате стояла кровать, «принимавшая в ночь по тридцать-сорок гостей, а то и больше, особенно воскресными ночами». В борделе на Бич-стрит собирались мужчины, которые «развлекались, плясали, пели похабные песни». Радости эти имели, однако, и теневую сторону. Когда блюстители порядка накрыли один «клуб», члены которого называли себя buggerantoes (от bugger — гомосексуалист),

несколько человек из арестованных покончили с собой, в том числе торговец шелком и бархатом, торговец мануфактурой и капеллан. Нередки были случаи шантажа, так что наслаждение шло в Лондоне рука об руку с опасностью. Тем не менее этот город оставался гомосексуальным центром, где «избранные» могли тайно и анонимно следовать своим склонностям. И в любом случае лондонские присяжные славились нежеланием признавать людей виновными в содомии, каравшейся смертной казнью; обычным вердиктом было «покушение» на содомию, за которое присуждали либо к штрафу, либо к недолгому тюремному заключению, либо к позорному столбу. Для лондонцев характерна терпимость в отношении сексуальных проступков. Да и как может быть иначе в городе, жителям которого всегда доступны любые разновидности порока и сумасбродства?

В Лондоне XIX века, вопреки расхожему представлению о царившей в «викторианскую эпоху» добропорядочной семейственности, сексуальная жизнь была не менее разнузданной, чем в предыдущем столетии. В 1840 году Флора Тристан писала в «Лондонском дневнике»: «В Лондоне все классы поражены глубокой порчей. Порок здесь

приходит к людям сызмальства». Ее потрясла «оргия» в таверне, где английские аристократы и парламентарии до рассвета гуляли с пьяными бабенками. Генри Мейхью, приглядывавшийся к совершенно иным слоям общества, сказал о лондонских уличных детях, что «их самой характерной чертой… является необычайная распущенность». Наблюдения привели его к выводу, что половая зрелость наступает гораздо раньше, чем многие думают; он, однако, уклонился от описания «всех мерзких и грязных подробностей». Даже в тех частях города, где обитал более добропорядочный трудовой люд, тринадцати-четырнадцатилетние сплошь и рядом сожительствовали и плодились без особых брачных обрядов; в Бетнал-грин, к примеру, была церковь, где совершались «браки на манер кокни» и где «тебя могли оженить за семь пенсов, если тебе исполнилось четырнадцать». Один ист-эндский младший священник вспоминал рождественское утро, когда он «сочетал браком богохульствующих юнцов и девиц… сущая насмешка». Половая распущенность сопровождается здесь широко распространенным равнодушием к религии или атеизмом, что является еще одной характерной чертой лондонской жизни.

Однако главным, что тревожило наблюдателей жизни города в XIX веке, были масштабы проституции и ее характер. Исследования, проведенные и опубликованные Мейхью, Бутом, Эктоном и другими, создают впечатление некой одержимости этой темой. Выходили книги под такими заглавиями, как «Проституция в Лондоне» или, более пространно, «Проституция в нравственном, социальном и санитарном аспектах». Там можно было найти таблицы и статистику, показывающие, где проститутки жили, где проводили время и где их посещали клиенты, с разделами и подразделами: «Хорошо одетые, живущие в борделях», «Хорошо одетые, живущие на частных квартирах», «В трущобных районах», «Дома знакомств», «Дома с комнатами для услуг». Подробно разбирались «душевные склонности и характер мышления», «способы проведения досуга», «нравственные изъяны» (слабость к спиртному) и «положительные качества» (симпатия к себе подобным). В викторианскую эпоху проституция была, кажется, едва ли не основным предметом внимания социальных реформаторов, трудившихся параллельно с теми, кто занимался улучшением санитарных условий и жилищным строительством; и те, и другие были озабочены

тысячелетним наследием бесконтрольного городского житья и старались навести чистоту во всех отношениях.

Между сексом и болезнью проводилась четкая, недвусмысленная связь. Уильям Эктон писал в книге «Проституция в Лондоне», что эти «нарумяненные и набеленные создания с крашеными губами и бровями, с накладными волосами, облюбовавшие Лангем-плейс, отдельные участки Нью-роуд, Квадрант… Сити-роуд и окрестности театра „Лицеум“», по обследовании, как правило, оказывались «носительницами сифилиса». Не обошлось и без характерной «мусорной» метафоры: «Как груда отбросов неизбежно начинает гнить — так точно и скопище развратных женщин». Проститутка превращается в символ заразы — как нравственной, так и физической. В 1830-е годы утверждалось, что из восьмидесяти тысяч лондонских проституток в год умирает восемь тысяч. Ежегодно в больницах Лондона фиксировалось по 2700 случаев сифилиса «у детей от одиннадцати до шестнадцати лет». Реальное число продажных женщин было предметом бесконечных спекуляций и домыслов — семьдесят, восемьдесят, девяносто тысяч и более, и в середине XIX века было подсчитано, что «в одном

лишь Лондоне на этот порок тратится 8 000 000 фунтов стерлингов в год». Проституция, таким образом, превращается в символ как коммерческой ненасытности Лондона, так и опасностей, связанных с головокружительным ростом самого города и его пороков.

Упадок цивилизации в самом центре Лондона мог принимать весьма разнообразные формы. Некоторые из этих форм описаны в книге Райана «Проституция в Лондоне», вышедшей в 1839 году. «Мария Скоггинс, пятнадцати лет, работала корсетницей. Вечером, когда она возвращалась к отцу, ее завлекли в публичный дом, который содержала Розетта Дэвис, она же Абрахамс, и отправили на панель». Другая пятнадцатилетняя девушка «была фактически продана мачехой содержателю одного из домов в восточной части Лондона». Доверчивые дети обоего пола становились товаром. Все тринадцать дочерей пожилой Лии Дэвис были «либо проститутками, либо содержательницами борделей». Метафора юности, приносимой в жертву, приводит на ум варварские ритуалы у алтарей Трои и Гоморры, а образ девушки, которую «бросают», «завлекают», «отправляют» на панель, рождает представление о мрачном городе-лабиринте, мгновенно

чующем невинность и убивающем ее. Трех пятнадцатилетних девушек послали охотиться сразу за целой группой юнцов, «чтобы плата составила круглую сумму»; «заведение, куда они пришли, развернуло перед ними сцену дикого разврата… В этих домах находили пристанище воры, бродяги, нищие и прочий сброд… было хорошо известно, что там постоянно творятся самые что ни на есть дьявольские дела… в плотной гуще ничего не подозревающего населения… Мужчины, женщины и дети всех возрастов собирались там с самыми низменными и гнусными целями… распространяя вокруг нравственные миазмы». Все это воспринималось как мрак некой языческой ночи, сгустившийся не на окраине и не в каких-то четко выделенных злачных местах, а в сердце столицы.

Но если одним из образов, связанных с лондонской проституткой, был образ болезни и заразы, в котором яркое воплощение получали тревоги и страхи, провоцируемые самим городом, то другим был образ изоляции и отчуждения. Рассказ Де Куинси об Энн, дочери жестокосердой Оксфорд-стрит, принадлежит к числу первых примеров того городского взгляда, что усматривает в беде юной проститутки самую суть лондонской

жизни; Энн пала жертвой всех безжалостных коммерческих сил города, как и его глубинного безразличия, его забывчивости.

Достоевский, бродя по Хеймаркету, «заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей». Он «увидал одну девочку, лет шести, не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках… На нее никто не обращал внимания». Таков образ лондонского страдания среди спешащей мимо толпы, которой точно так же нет дела до покрытого синяками ребенка, как до искалеченного бездомного пса. Что поразило Достоевского, навидавшегося сцен ужаса и безнадежности у себя на родине, — «она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице… Она все качала своей всклоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг всплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди». Вот они, лондонские виды, лондонские картины. В другую ночь женщина, вся одетая в черное, торопливо сунула ему в руку маленькую бумажку. Он посмотрел и увидел евангельскую цитату: «Я есмь воскресение и жизнь…» Но можно ли

уверовать в заповеди Нового Завета, видя боль и одиночество шестилетней девочки? Описывая Лондон как языческое царство, Достоевский, помимо прочего, делает это потому, что человеку, живущему среди такого страдания, очень трудно поверить в бога, который позволяет подобным городам процветать.

Возможно, однако, подлинные боги Лондона имеют иную природу. Установленный в 1893 году на площади Пиккадилли-серкус скульптурный мемориал Шафтсбери («Эрот») расположился в двух шагах от Хеймаркета с его недоброй славой, куда матери приводили своих юных дочерей на продажу. «Эрот» стал первой алюминиевой статуей, и этот сплав нового материала с извечной страстью символизирует для нас желание, древнее и молодое, как сам город. Люди неизменно ощущали влекущую силу «Эрота». В романе Сэма Селвона «Одинокие лондонцы», написанном в XX веке, один из героев — тринидадец — говорит, что «круглая эта площадь тянет к себе магнитом, там живая жизнь, все начала мировые и все концы».

На протяжении всего XX века площадь Пиккадилли-серкус была местом ночных эротических встреч, притягательным для молодых любителей приключений. Тут, кажется, сходятся все пути,

тут смешение всего и вся, здешняя атмосфера безлична и в то же время заряжена энергией. Возможно, именно поэтому сюда вот уже много десятилетий приходят проститутки и охотники до быстрых знакомств — мужчины и женщины. Из районов Лондона этот всегда в наибольшей мере ассоциировался с необременительным сексом. «У них были свои излюбленные места, — писал в начале XX века о проститутках Теодор Драйзер, — и главное из них — Пиккадилли». Ему вторит множество авторов — как романистов, так и социологов. Вообще от статуи Эрота исходит некая странная сила. Но город и сам с его бесконечной чередой новых и новых улиц и человеческих лиц, с его возможностью бесчисленных встреч и расставаний являет образ обобщенного, неразборчивого желания. Сама странность и чуждость Лондона, во многих частях своих неведомого даже исконным горожанам, таит возможность внезапных, случайных встреч. Одиночество — характерный признак городского бытия — делает человека авантюристом, ищущим мимолетной близости; оно также отличает хищника. Безымянность, безличность лондонской жизни сама по себе провоцирует похоть, которую здесь, в отличие от более узких

сообществ, можно удовлетворить, ничем себя не сдерживая. Так необъятность Лондона подогревает фантазию и поощряет необузданные желания.

Вот почему сексуальное поведение лондонцев много веков остается одинаковым — все та же ненасытная плотоядность. Ныне в городе есть и стриптиз-бары, и клубы, где показывают эротические танцы; имеется множество пабов и ночных клубов, где будут исполнены сколь угодно извращенные требования. Определенные улицы известны обилием проституток, определенные парки — возможностью найти партнера на одну ночь. Целые лондонские районы ночью меняют облик, так что город предстает неким неистощимым источником все новых реальностей, все нового опыта. Лондон сам соблазнителен, сам сексуален — того и гляди обнажит заветное местечко, завлечет, заманит. Вот за этот угол свернешь, вот этим переулком пройдешь, и… поди знай, что приключится. Стены телефонных будок исписаны предложениями садистских или транссексуальных платных услуг, причем пишущий иной раз подчеркивает, что «только приехал» или «в Лондоне недавно». Это приводит на память проститутку XVIII века в Ковент-гардене, «в городе новенькую совсем». Но разве

может что-нибудь быть «новеньким» в Лондоне, где юные, как встарь, предлагают свои тела на продажу?

Глава 42
Как кости лягут

Алкоголь, секс и азартная игра неизменно шли рука об руку. Это была подлинная нечестивая троица лондонских пороков и слабостей, весело гулявшая по городу вдоль и поперек. Они символизировали вызов и беспечность перед лицом всех превратностей жизни в городе, где никто не мог быть ни в чем уверен.

Если все коммерческие и финансовые учреждения Лондона основаны на гигантской азартной игре, то почему не поучаствовать в такой же опасной, но захватывающей игре самому? Совокупление с проституткой может обернуться роковой болезнью, зато расклад игральных костей может вдруг сделать тебя богатым; потом, чтобы забыть весь риск и все тяготы, можно напиться. М. Дороти Джордж, историк повседневной жизни в Лондоне XVIII века, отмечает: «Поразительно, насколько тесно искушения алкоголя и азартной игры были вплетены в ткань общественного бытия, и они, несомненно, соединялись с превратностями жизни и торговли,

создавая общее ощущение неустойчивости, возможности внезапного краха». Распутство и игра разорили множество деловых людей, и цикл гравюр «Трудолюбие и лень» Хогарта, изображающий прискорбный путь лондонского «ленивого ученика», которого выпивка, кости и женщины доводят до тайбернской виселицы, рассказывает типично лондонскую историю.

Первые свидетельства об азартных играх в Лондоне относятся к римскому периоду: при раскопках были найдены игральные кубики, вырезанные из кости или гагата. Превратности жизни, какие тогда можно было испытать, отражены также в изощренных аксессуарах прорицателя, обнаруженных под Ньюгейт-стрит. В пору раннего Средневековья в тавернах и прочих заведениях невысокого пошиба кости использовались для игры в так называемый «хазард» (риск) или в триктрак. В средневековых борделях игра и выпивка были составной частью обслуживания. Ссоры во время игры, бывало, кончались плохо; после одной партии в триктрак «проигравший по дороге домой заколол победителя». Всяческого шулерства тоже было хоть отбавляй; имеются сведения о меченых игральных досках и о костях со смещенным центром тяжести. Не-

смотря на это, страсть к игре была повсеместной. Как сообщает журнал «Лондон аркеолоджист», раскопки под Дьюкс-плейс принесли «кусок средневековой черепицы, переделанный в доску для игры в кости», и уже в XIII веке, согласно уставу Вестминстерского аббатства, учащийся, у которого находили кости, подлежал порке. За каждое очко на костях — удар розгой.

Игральные карты были ввезены в Лондон в XV веке, и их использование распространилось настолько, что в 1495 году король Генрих VII «воспретил эти игры слугам и ученикам во все дни, кроме рождественских праздников». Стоу пишет, что «с кануна Дня Всех Святых до дня, следующего за Сретением, во всех домах, среди прочих развлечений, шла игра в карты на фишки, на деньги или на очки». Карты, кроме того, имелись в каждой таверне; на колодах порой печатались названия заведений. Достоинства колод широко рекламировались: «Испанские карты, недавно привезенные из Виго. Приятные на вид, диковинно расцвеченные и весьма отличные от наших, продаются по цене 1 шиллинг колода у миссис Болдуин на Уорик-лейн». Карточный бизнес сделался настолько бойким, что в середине XVII века налог на продажу карт приносил,

согласно оценкам, ежегодный доход в пять тысяч фунтов, — следовательно, за год продавалось «примерно 4,8 миллиона колод».

Фулем уже в XVI столетии заслужил сомнительную репутацию благодаря торговле игральными костями и фишками; словечко, произошедшее от названия этого лондонского района, звучит в «Виндзорских насмешницах» Шекспира:

> *Ибо gourd и fullam делают свое дело*
> *И high и low обманывают богатых и бедных*[83].

Другим известным центром азартных игр были поля Линкольнс-инн-филдс. Здесь мальчишки «играли на фартинги и апельсины». В числе популярных игр было «колесо фортуны» — подвижная рука, вращающаяся в цифровом круге; «призы — имбирные печенья размером с фартинг». Эти игральные поля, безусловно, манили беспутных горожан. Все знали, что на Линкольнс-инн-филдс обретаются «праздные и порочные бродяги», известные под собирательным названием *mummers.* Среди них были dicers, chetors,

---

[83] Примечания: 83

Подстрочный перевод. Fullam, gourd — разновидности шулерских игральных костей. High fullams, low fullams — кости, утяжеленные так, что чаще выпадают 4, 5, 6 (соответственно 1, 2, 3).

foists — шулера, специализировавшиеся на игре в кости. Шулерские кости изготовлялись так искусно, что казались «хорошими и ровными, но были более вытянутыми между четверкой и тройкой».

> — Какие у них есть уловки, чтобы вбросить и затем забрать эту обманную кость?
>
> — Есть отличная уловка, называемая foisting.

Этот обмен репликами взят из брошюры, которая вышла под названием «Явственное разоблачение» и содержит описания двух десятков приемов, используемых шулерской братией. Была и другая брошюра — «Взгляни сюда, Лондон», — также предостерегавшая от трюков городских ловкачей, всегда готовых околпачить простака. Иностранцы и приезжие имели все шансы быть обманутыми — для этого существовали «picker-up», «kid», «cap» и «flat»[84]. Словечки эти, судя по всему, были в ходу на протяжении многих поколений. И, опять-таки, для описания

---

[84] Примечания: 84

Первые три жаргонных слова обозначают тройку шулеров, определенным образом распределивших между собой роли. Flat — уплощенная шулерская игральная кость.

лондонских пороков часто употреблялись понятия, означающие порчу и заразу. Кости и карты называли «зеленой улицей в преисподнюю — той, какой идет сотня подагрических, водяночных недугов». В городе, чьи жители испытывали ужас перед болезнями и чумными поветриями, подобные метафоры для всевозможных излишеств и удовольствий пускались в ход не случайно.

Но лихорадка не ослабевала. В 1764 году, когда подняли пол Миддл-Темпл-холла, было обнаружено «не менее сотни пар» костей, оброненных игроками былых поколений и провалившихся в щели между досками. В середине XVII века Пипс, говоря об игроках в одном из заведений, отметил, «насколько церемонны они, когда требуют новых костей, пересаживаются на другие места или меняют способ бросания»; он пишет также, что «старые игроки, у которых уже нет прежних денег, приходят, садятся среди прочих и смотрят». Игорный дом стал называться в Лондоне «hell» («преисподняя»), и Пипс слышал в этих домах вопли проклятых. Так, «один человек, которому, сколько он ни бросал, так и не выпала желанная семерка, пожелал себе вечного проклятия, если выбросит эту семерку когда-нибудь еще». Другой — выигравший — закричал: «К дьяволу этот вы-

игрыш! Зачем он мне так рано? Через два часа это для меня что-то бы значило, но тогда, будь я проклят, такого фарта уже не будет».

Часто отмечалось, кроме того, что в лондонских игорных домах джентльмены и знать сидят за одними столами с людьми, по выражению Пипса, «более низкого разбора». Такое же наблюдение было сделано и в конце XX века в отношении казино и игорных клубов, где аристократы якшаются с жуликами. Лондонские развлечения, как и сам город, — великие уравнители. Лорд Честерфилд заметил однажды — видимо, под впечатлением городской эгалитарности, — что «предпочитает играть не с джентльменом, а с шулером. Хотя выиграть у шулера не так-то просто, зато, если выиграешь, он наверняка заплатит».

В начале XVIII века в Лондоне насчитывалось около сорока игорных домов, которые, помимо «преисподней», называли еще «бойнями». Как пишет Тимбс в «Любопытных местах Лондона», здесь было «больше этих скверных заведений, чем в любом другом городе мира». Их распознавали по красивому газовому фонарю над входом и обитой зеленым или красным сукном двери, ведущей в зал из прихожей. Популярность азартных игр и безрассудство игроков росли на

протяжении столетия, в котором, по странному совпадению, было больше, чем когда-либо, финансовой нестабильности и внезапных крахов. В эпоху «мыльного пузыря Южных морей» и прочих поводов для паники джентльмены, собиравшиеся в кофейне «Корона» на Бедфорд-роу, совершенствовали правила виста.

Азартные игры были объявлены незаконными, но, несмотря на ночные облавы в отдельных городских «преисподних», бизнес по-прежнему процветал. «Смешанная компания джентльменов, коммерсантов, торговцев, клерков и шулеров всех рангов и званий» всегда была готова собраться ради хазарда, фараона, бассета, роули-поули или какой-нибудь другой игры, карточной или в кости. В «преисподних» обретались такие персонажи, как puffs и squibs (подставные игроки), flashers (прислужники у игорных столов), dunners (люди, которые заставляли проигравших платить) и flash captains (шулерские «капитаны») с командами дозорных, привратников и разведчиков, предупреждавших о приближении констеблей. В знаменитом игорном клубе Олмака на Пэлл-Мэлл игроки «выворачивали для счастья сюртуки наизнанку»; они также окружали запястья полосками кожи, чтобы не запачкать

кружевные манжеты, и надевали соломенные шляпы, защищавшие глаза от света и не дававшие волосам падать на лоб. Иногда они играли «в масках, чтобы скрыть свои переживания». В клубе Брукса двадцать первое правило гласило: «В столовой воспрещены любые игры, кроме бросания жребия о том, кому платить. Нарушители в наказание оплачивают счет за всех присутствующих». Возникали и другие, менее приятные поводы для пари, об одном из которых рассказано в «Лондонских воспоминаниях». У дверей клуба Уайта некто, пришедший играть, упал замертво. «Присутствующие немедленно начали делать ставки — умер он или только в обмороке; когда ему захотели пустить кровь, поставившие на его смерть принялись возражать, заявляя, что пари в этом случае не будет честным».

Как писал один иностранец, лондонцы, «неистовые в своих желаниях и все страсти свои доводящие до крайности, склонны к этим крайностям и в азартных играх». Другой приезжий вторит ему: «На что поспорим? Вот первый вопрос, который сплошь и рядом задают люди всякого звания, когда возникает хоть малюсенькое разногласие по пустяковому поводу. Кто побогаче, тех после обеда с бутылкой вина, само

собой, тянет на какое-нибудь пари; вот один раскалывает орех — там червяк, другой раскалывает — там тоже, и тогда третий мгновенно предлагает биться об заклад: какой из двух червяков первым проползет определенное расстояние?»

Ставки, разумеется, делались и во время жестоких игр — ловли крыс, петушиных боев, женской борьбы, — которые Лондон очень любил. Но поводом для пари порой служили и природные явления. Однажды ночью люди ощутили сильный толчок, и наутро в клубе Уайта делались ставки: «Что это было — землетрясение или взрыв на пороховом заводе?» Оказалось — землетрясение, одна из наименее предсказуемых случайностей лондонской жизни.

Один рабочий с рынка Леденхолл-маркет «побился об заклад, что 202 раза обойдет Мурфилдс за двадцать семь часов, и сделал это». Государственный министр граф Сандвич «провел за публичным игорным столом двадцать четыре часа и был так поглощен игрой, что за все время подкрепился только кусочком говядины, зажатым между двумя гренками, который он съел, не отвлекаясь ни на минуту. Это новое блюдо сделалось очень модным… оно было названо по фамилии министра, который его изобрел».

Традиции публичных азартных игр продолжились в XIX веке такими заведениями, как «Королевский салон» на Пиккадилли, «Замок» на Холборне, «Салон Тома Крибба» на Пэнтон-стрит, «Финиш» на Джеймс-стрит, «Белый дом» на Сохо-сквер, «Замок Оссингтон» на Орандж-стрит и «Бриджес-стрит-салон» на Ковент-гардене, называвшийся также «Залом бесславия» и «У чертовой матери». В противоположной части Лондона — в Ист-энде — игорных залов и клубов развелось так много, что один священник, работавший среди бедняков этого района, сказал Чарлзу Буту: «Игра теснит пьянство и становится главным из нынешних пороков… играют больше, чем пьют». Уличные мальчишки играли в карточную игру под названием «дарбз», ставки на кулачных бойцов и лошадей принимали продавцы газет, парикмахеры, содержатели табачных лавок и питейных заведений. «Ставки делают все, — приводит Чарлз Бут в своем исследовании Ист-энда слова еще одного горожанина. — Женщины наравне с мужчинами… мужчины и ребятня прут сломя голову, чтобы побыстрей прочесть последний экстренный выпуск и узнать победителя».

И еще, конечно, лотерея. Первый розыгрыш был проведен в Лондоне в 1569 году. «Страсть к

счастливым номерам» пылала затем столетиями. Алеф в «Лондонских сценах и типах» отмечает, что знакомые, случайно встретившись, говорят не о погоде, а «о большом призе, который только что — или вот-вот будет — разыгран, и о счастливом победителе, и о твоем пустом билете, и о твоей полной уверенности в том, что номер 1962 выиграет 20 000 фунтов». Издавались лотерейные журналы; иные перчаточники, шляпники или чаеторговцы предлагали клиентам небольшую долю своего билета. Выигрышные номера тянул в Гилдхолле ученик школы Крайстс-Хоспитал с завязанными глазами (лондонский вариант слепой Фортуны), а вокруг здания толпились «проститутки, воры, мастеровые в грязной одежде и полуголые чернорабочие — сущие дети, бледные и нетерпеливые, ожидающие объявления номеров». Изображая в «1984» Лондон будущего, Джордж Оруэлл, в числе прочего, говорит о Лотерее. «Вероятно, миллионы людей видели в ней главное, если не единственное дело, ради которого стоит жить. Это была их услада, их безумство, их отдохновение, их интеллектуальный возбудитель»[85]. Оруэлл очень хорошо понимал Лондон,

[85] Примечания: 85
Перевод В. Голышева.

и здесь он указывает на некую глубинную связь между принципом, на котором зиждется цивилизация этого города, и необходимостью игры и обмана. Лондонцу нужен стимул и нужна отчаянная надежда на куш; шансы ничтожно малы, но в таком огромном, выбивающемся из всех пропорций городе это принимается как должное. Твое пари может быть общим с миллионами сограждан — и все равно это будет пари. Предвкушение и тревога при этом тоже будут общими, так что азартную игру и лотерею можно рассматривать как судорожные всплески коллективизма.

Сегодня казино и заведения, где принимают ставки, полны народу, будь то на Куинсуэй, или на Расселл-сквер, или в Килберне, или в Стритеме, или на Марбл-арч, или в сотне других мест. Жизнь в Лондоне можно, таким образом, интерпретировать как игру, в которой выигрыш достается немногим.

ЛОНДОН КАК ТОЛПА

Глава 43
Власть оравы

В городе слухов и переменчивой фортуны, в городе всевозможных крайностей лондонская толпа за много поколений приобрела любопытную патологию. Толпа — не отдельный организм, проявляющий себя по определенным поводам, а фактическое состояние Лондона в целом. Город — это одна исполинская людская масса. «Выглянув на улицу, — писал в XVII веке один наблюдатель, — мы увидели людское скопление, волнующееся, движущееся, ищущее некое место успокоения, в чем ему мешала еще одна компания зевак, расположившаяся на самом ходу. Смесь была пестрейшая: впавшие в детство старики, наглые юнцы и мальчишки… уличные девки, женщины из простонародья с детишками на руках». Слово «пестрейшая» апеллирует к зрению, и в середине XVII века художники исподволь начали исследовать зрелище, которое являла собой лондонская толпа. Это была уже не расплывчатая масса, наблюдаемая с безопасного расстояния, а широкая группа людей, различаю-

щихся индивидуальными чертами.

Помимо зрелища, был, конечно, и шум. «Было очень темно, но мы чувствовали, как наполняется улица, и гул толпы становился все громче… около восьми вечера мы услыхали шум, доносившийся снизу, который приближался к нам по улице, неуклонно нарастая, пока мы не ощутили движение». Громкий неопределенный гул, нарастающий до рева и сопровождающийся странным всеобщим движением — вот подлинный голос Лондона. «За этой волной была пустота, но она быстро заполнилась, и вот уже нахлынула новая такая же волна; так одна за другой прошло четыре или пять подобных волн… разинутые рты исторгали хриплый, оглушительный рев». В этом звуке есть что-то примитивно-грубое и тревожащее, что-то первобытное и потустороннее. Приведенное описание взято из книги Берка «Улицы Лондона на протяжении столетий» и относится к антикатолическому шествию по Флит-стрит в конце XVII века; ощущение угрозы усиливается образом человека, который «в громкоговорящую трубу голосил: „Мерзавцы! Мерзавцы!“ с выражением едва ли не адским». Да, шум Лондона может быть грубым и нестройным, но бывало и так, что горожане испускали общий вздох скорби. 30 ян-

варя 1649 года, в день казни Карла I, на Уайтхолле собралась громадная толпа; в тот миг, когда удар топора отсек монаршую голову, «многие тысячи стоявших издали такой стон, какого я не слыхал никогда и, чаю, больше не услышу».

Однако для роялистов XVII века лондонская толпа — это «прескверное отребье, подлый и мерзейший сброд, отбросы людские… мастеровые и их ученики». Иными словами, человеческое скопище уже представляет ощутимую угрозу; толпа превращается в mob, в ораву (слово возникло в XVII веке) и при случае может стать Оравой Коронованной.

Всем было очевидно, что Лондон в XVI и XVII веках неизмеримо разросся и, соответственно, увеличились его толпы. К тому же в атмосфере религиозного и политического противостояния не существовало гражданского механизма, способного их обуздать. Пипс пишет о толпе, которая «вопила на улице, требуя бесплатного парламента и денег»; летом 1667 года «передают, что вчера они на улице — в Вестминстере — кричали: „Парламент! Парламент!“ и поговаривали, что кровопролития не избежать». В следующем году беспорядки вспыхивали в Попларе и на Мурфилдс; люди ворвались в новую тюрьму в

Кларкенуэлле, чтобы освободить тех, кто пострадал за старый лондонский обычай громить публичные дома. «Но здесь передают, будто эта праздная чернь имела дерзость говорить, что зря они ограничились этими маленькими борделечиками — надо было пойти и разгромить большой бордель на Уайтхолле». Это подлинный голос лондонца — радикала и уравнителя, недавно ставший голосом толпы, или оравы, или ватаги и идущий из самого сердца города. «Вчера вечером ходили промеж них два словечка — Перемены и Укорот. Придворным не по себе из-за таких настроений в народе».

Так Лондон стал опасным городом. «Если власти едва могут справиться с толпой слуг или носильщиков портшезов, с воровской или жульническая шайкой, — писал Генри Филдинг, — то каково придется в случае подстрекательского мятежа или общих беспорядков?» История толп XVIII века выявляет постепенную перемену настроений, тревожившую Филдинга, который был мировым судьей. Презрению и оскорблениям подвергались в первую очередь уже не иностранцы и не чужаки, а люди, обладавшие богатством и положением. «На улицах Лондона нельзя показаться в придворном платье — толпа

тебя грязью забросает, — писал Казанова в 1746 году —…лондонцы встречают короля и королевскую семью, когда те появляются на публике, оскорбительными криками». В этом «хаосе», как назвал Казанова состояние Лондона, при котором «цветок знати теряется в сутолоке нижайшей черни», «простонародье стремится показать свою независимость… гнуснейший носильщик будет спорить с лордом, кто кому должен уступить дорогу». В сходном духе Пьер Жан Гроле писал, что «в Англии никакое положение, никакая знатность не защищают от оскорблений» и что «нет нации более язвительной и острой на язык — особенно этим отличается здешнее простонародье». Один француз проницательно заметил: «Это нахальство многие считают всего-навсего остроумием и игривостью носильщиков и лодочников; но подобное „остроумие“ и подобная „игривость“ оказались одним из главных средств, какими „Долгий парламент“ боролся с Карлом I». Язвительность и оскорбления могут, иными словами, иметь политические последствия. В связи с этим, возможно, стоит вспомнить, что уличные мальчишки использовали статую королевы Анны возле собора Св. Павла как мишень для упражнений в швырянии камней.

К числу качеств лондонской толпы принадлежали раздражительность и склонность к неожиданной перемене настроения: от искры, высеченной в ее толще, пламя вспыхивало очень быстро. Однажды, когда, вопреки ожиданиям, правонарушитель не был выведен к позорному столбу на площади Севен-Дайалс, толпа пришла в ярость, которая обратилась главным образом на проезжающие наемные экипажи; их забрасывали грязью и экскрементами, а возниц заставляли кричать: «Ура!» Во время одного острого выборного парламентского заседания «за несколько минут все деревянные подпорки, все скамьи, стулья и прочее были полностью уничтожены». Ярость толпы была случайной и спорадической, в равной мере свирепой и радостной. Один немец, побывав на Ладгейт-хилле, писал: «Теперь я знаю, что такое английская толпа». В 1770 году, в момент освобождения из тюрьмы Уилкса, великого лондонского политика, он ехал в экипаже и увидел «полунагих мужчин и женщин, детей, трубочистов, лудильщиков, арапов, литераторов, торговок рыбой и элегантных дам; каждый был опьянен прихотью своей и переполнен дикой радостью, все кричали и смеялись».

Словно сама городская несвобода провоцирова-

ла внезапные дикие и разнузданные вспышки; ограничения, накладываемые меркантильной культурой, которая тяжко давила на многих людей из толпы, убыстряли переход ярости в радость и обратно. Кроме того, человеческая масса была втиснута в очень тесное пространство, что рождало странные лихорадки и всплески возбуждения. Вот почему инстинктивная боязнь толпы была в такой же мере, как с ее склонностью к насилию, связана с ее предрасположенностью к болезням. Страх перед прикосновением, перед заразным дыханием Лондона, передающимся через его горожан, восходит ко временам эпидемических лихорадок и чумных поветрий, когда, по словам Дефо, «ладони их заражали вещи, которых касались, особенно если ладони эти были потны и теплы, а они, надо сказать, были очень потливы».

Гнев свой орава может обратить и на себя самое — точнее, на кого-то из своей толщи. В «Молль Флендерс» Дефо стоило раздаться крику «Держи вора!», как тут же «все бросились туда и паренек был отдан на растерзание улицы. Мне нет надобности описывать, какое это зверство...»[86]

---

[86] Примечания: 86
Перевод А. Франковского.

Здесь присутствует элемент внезапного ужаса, взору вдруг является некий водоворот озверения. В «Жизни и смерти Джона Лэма» Левы Голдстейна, опубликованной в «Гилдхоллских этюдах по лондонской истории», рассказывается о последних днях известного астролога и мистика в середине июня 1628 года. Узнав Лэма в театре «Форчун», некие юнцы дождались его снаружи «и последовали за ним, когда он вышел». К ним присоединились еще многие, и Лэм подрядил для охраны группу проходивших мимо матросов. Он прошел по Ред-Кросс-стрит, свернул налево на Фор-стрит, затем опять налево на Мур-лейн, к таверне «Подкова» — а толпа преследователей тем временем все росла. Он пообедал в таверне, в то время как матросы «держали толпу на расстоянии», но когда он вышел на улицу и, миновав ворота Мургейт, оказался в черте города, толпа вновь подступила к нему с криками: «Колдун!» и «Дьявол!» Положение стало очень опасным. Быстро пройдя по Коулмен-стрит к Лотбери, он укрылся в верхней комнате таверны «Ветряная мельница» на углу Олд-Джури. Оттеснив его телохранителей, распаленные горожане взяли под наблюдение оба выхода из таверны. Он попытался ускользнуть, выйдя в другой одежде,

но его узнали; он укрылся в ближнем доме, принадлежавшем юристу, и тот послал за четырьмя констеблями уорда. «Но ярость людей возросла настолько… что, хоть его и сопровождали эти должностные лица, он был повален на землю», забросан камнями и избит палками; он потерял дар речи, и его принесли в долговую тюрьму Полтри, где на следующий день он скончался. По этому подробному описанию видно, как действовала типичная лондонская толпа.

Если бы кто-нибудь захотел найти в Лондоне некую «общественную жизнь», то «все иностранцы» единодушно сказали бы, что он ищет «цветы в песчаной пустыне». В Лондоне XVIII века не было ни общества, ни общественной жизни — были лишь толпы, разнообразные и резко очерченные. Толпы женщин, которые громили публичные дома или нечестно торговавшие лавки; толпы горожан, собиравшиеся по крику «Держи! Лови!»; толпы жителей прихода, атаковавших местную долговую тюрьму; толпы зевак, глазевших на пожар; толпы нищих; и самые зловещие из всех — толпы недовольных рабочих или безработных. Видный лондонский историк Стивен Инвуд в своей «Истории Лондона» заметил, что волнения «могли быть одной из форм „коллективного

торга“ между рабочими и работодателями». В 1710 году бурно бунтовали вязальщики, и за этим последовали десятилетия беспорядков и непокорства в таких бедных районах, как Уайтчепел и Шордич.

Волновались ткачи шелковых материй, возчики угля, шляпники, шлифовщики стекла и многие другие, кого надвигавшаяся индустриализация и рост цен на продовольствие приводили во все большее отчаяние. К примеру, привозной индийский ситец угрожал разорением ткачам Спитлфилдс, и однажды, напав на некую женщину, толпа «насильно сорвала, срезала, стащила с нее платье и нижнюю юбку, осыпала ее ругательствами и угрозами и оставила обнаженной на пустыре». Лондон направлял сгущенную энергию горожан в кривое русло своих переулков и улиц, отчего она становилась еще более яростной и отчаянной.

Вот почему сам ход городской жизни мог выглядеть как движение внутри толпы. Порой эта толпа индифферентна и банальна — один из аспектов «великой столицы», где имеется «громадная неспешная публика, которая по-прежнему готова собраться и глазеть на всякую новинку». Однако по временам быстрота и бес-

порядочность ее движения решают все, как в стихотворении Грея, где на городских улицах толпа, «волнуясь, с другом разлучает нас». Это определяющий образ, ярко запечатленный в «Молль Флендерс» Дефо: «Я покинула ее посреди толпы, сказавши ей словно бы второпях: „Милая леди Бетти, берегите вашу сестричку“. И толпа, толкая, унесла меня от нее». Безличная толпа отделяет друга от друга и любимого от любимой; тех, кто всего нам дороже, волнующееся людское море уносит в неизвестном направлении. Иной раз, однако, растворенность в человеческой массе несет с собой утешение. «Поэтому я вернусь в город, — писал Аддисон в „Спектейторе“ в июле 1711 года, — …и как можно быстрее вновь погружусь в толпу, чтобы оказаться в одиночестве». Толпа, таким образом, не только рождает скрытность и тревогу, но и способствует уединению.

XIX век унаследовал все эти особенности, однако в громадной «духовке», или исполинском «наросте», которым сделался Лондон, толпа становилась все более безличной. Энгельс, этот великий обозреватель Лондона имперской эпохи, писал: «…эта обособленность каждого, этот ограниченный эгоизм… нигде эти черты не выступают так обнаженно и нагло, так самоуве-

ренно, как здесь, в сутолоке большого города». Он имел в виду не только столпотворение на улицах, по которым безразличная людская масса текла в предписанных направлениях, но и общую перенаселенность столицы; от многолюдья в ней буквально яблоку стало негде упасть. Энгельс писал еще: «Уже в самой уличной толкотне есть что-то отвратительное, что-то противное природе человека… сотни тысяч, представители всех классов и всех сословий, толпящиеся на улицах…». Он отмечает также, что «идущий по тротуару должен держаться правой стороны, чтобы встречные толпы не задерживались; и при этом никому и в голову не приходит удостоить остальных хотя бы взглядом». Лондонская толпа XIX века была новым явлением в человеческой истории, и неудивительно, что на нее обратили внимание многие поборники политических реформ и переустройства общества. В изображении Энгельса, к примеру, она предстает неким механизмом, имитирующим финансовые и промышленные процессы в городе, некой почти бесчеловечной силой. Ленин, чтобы получше вглядеться в движения и свойства этого странного существа, ездил на империале омнибуса; он приметил «компании обрюзгших люмпен-про-

летариев в замызганной одежде, среди которых непременно виднеется какая-нибудь пьяная бабенка с чернотой под глазом, в рваном и волочащемся бархатном платье, тоже черном… Тротуары были запружены толпами рабочих и работниц, которые, шумя, покупали всякую всячину и на месте утоляли голод». Здесь лондонская толпа предстает неким неистовым воплощением энергии и аппетита, существом, чью темную жизненную силу символизируют чернота под глазом у пьяной женщины и ее черное платье.

Когда Достоевский заблудился среди лондонских толп, «впечатление того, что я видел, мучило меня дня три после этого… Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота… Толпа не умещается на тротуарах и заливает всю улицу… В этой ужасной толпе толкается и пьяный бродяга, сюда же заходит и титулованный богач. Слышны ругательства, ссоры, зазыванье…». В городе, который сам был и ругательством, и ссорой, и зазываньем, он почувствовал весь хаос коллективного опыта. Это исполинское месиво безымянных и неразличимых особей, это великое

стечение неведомых душ воплощало как энергию города, так и его бессмысленность. Оно также было знаком нескончаемого забвения, присущего городскому бытию. «Дети у них, чуть-чуть подросши, зачастую идут на улицу, сливаются с толпой и под конец не возвращаются к родителям». Иными словами, их постигает конечная участь городских жителей — стать частью толпы.

У Эдгара Аллана По есть рассказ, озаглавленный «Человек толпы». Действие происходит в Лондоне в 1840-е годы. Рассказчик сидит в кофейне на одной из главных улиц города и изучает «два густых, бесконечных потока прохожих»[87], движущихся мимо ее дверей. У многих «вид был самодовольный и озабоченный… Они шагали, нахмурив брови, и глаза их перебегали с одного предмета на другой. Если кто-нибудь нечаянно их толкал, они не выказывали ни малейшего раздражения… Другие — таких было тоже немало — отличались беспокойными движениями и ярким румянцем. Энергично жестикулируя, они разговаривали сами с собой… Встречая помеху на своем пути… растерянно улыбаясь, с преувеличенной любезностью кланялись тому, кто им

[87] Примечания: 87
Здесь и далее перевод М. Беккер.

помешал…». Итак, выделены две разновидности лондонских прохожих: довольные, плывущие по течению жизни и времени, и растерянно-неловкие, выбивающиеся из их ровного ритма. Они извиняются за свою неловкость, но не способны к содержательному разговору с кем бы то ни было, кроме самих себя.

Рассказчик примечает младших писарей, одетых по прошлогодней моде, и степенных старших клерков; перед ним проходят карманники, щеголи, разносчики, игроки, «жалкие, ослабевшие калеки, на которых смерть наложила свою беспощадную руку», скромные девушки, оборванные ремесленники, истощенные рабочие, торговцы пирогами, носильщики, трубочисты; «всевозможные пьяницы — некоторые, в лохмотьях… брели пошатываясь и бормотали что-то невнятное». Вот она, лондонская толпа XIX века. «Шумное и неумеренное веселье этой толпы неприятно резало слух и до боли раздражало взгляд».

Затем внимание рассказчика обращает на себя старик, чье лицо выражает осторожность и коварство, торжество и алчность, радость и «бесконечное отчаяние». Рассказчику хочется узнать о нем побольше, и он идет за стариком по ночному городу. По людным улицам старик

движется быстрым и беспокойным шагом, по боковым и более пустынным — «медленнее и как-то неуверенно». Вдруг он пускается в бег по безлюдным переулкам; наконец видит толпу, выходящую из театра, бросается в нее — и «напряженное страдание, выражавшееся на его лице, несколько смягчилось». Затем он вклинивается в группу пьяниц, теснящихся в дверях питейного заведения. «Издав радостный вопль, старик протолкался внутрь и… принялся метаться среди посетителей». В глухой ночной час он идет в беднейшие кварталы, где царят нищета и преступность, где можно видеть «толпы самых последних подонков лондонского населения». Наконец, на рассвете он «с бешеною энергией» устремился на одну из главных улиц, где «бесцельно бродил среди толпы, весь день не выходя из самой гущи уличного водоворота».

В конце концов рассказчику становится ясно, за кем — или за чем — он всю ночь следовал. Это было воплощение толпы — призрак, питающийся бурной жизнью улиц. Старик, чье лицо навевало «мысли о громадной силе ума… о хладнокровии, о коварстве», — подлинный дух Лондона.

Были и такие, кто выходил на лондонские улицы именно для того, чтобы почувствовать

эту новую и диковинную жизнь толпы. «Всякий раз, когда мне нужна живописная или литературная идея, я устремляюсь в густейшую толпу, какая бывает, например, в Эрлз-Корте или на Шепердс-Буш, — писал в XIX веке один японский художник. — Пусть толпы толкают меня туда и сюда — я называю это человеческой ванной». Феликс Мендельсон-Бартольди не мог скрыть восторга от погружения в «водоворот», где из бесконечного людского потока он мог видеть «магазины с вывесками в человеческий рост, набитые людьми дилижансы и сплошную вереницу экипажей, обгоняемых пешеходами… Вот лошадь, вставшая на дыбы перед домом, где живут знакомые седока, вот люди, которых используют как ходячую рекламу, вот негры, а вот крепко сбитые Джоны Були со стройными красавицами дочерьми, опирающимися на их сильные руки». Уместно, может быть, привести также описание лондонцев, датируемое 1837 годом и цитируемое в книге «Лондонские тела». «Наружность людей на лондонских улицах, — писал Джон Хогг, — сразу обращает на себя внимание приезжих. Коренные горожане… рост имеют несколько ниже среднего, но члены их и черты обычно хорошо развиты. Они худощавы, но довольно

мускулисты; им свойственны твердая осанка и независимый вид; они движутся мерным шагом, чаще всего очень быстрым. Черты их лиц обычно очень отчетливы и ясны; замечателен, в частности, прямой и открытый взгляд. Вообще наружность их заставляет предполагать смекалку, живость и ум, отличающие лондонцев от сельских соотечественников».

Толпа XIX века, надо сказать, сознавала, что представляет собой новую форму человеческой общности. Художник У. П. Фрит, великий выразитель викторианского мироощущения, бесконечно изображал толпы на картинах, которые, в свой черед, привлекали внимание бесконечных зрительских толп. Репертуар лондонских театров был забит мелодрамами, где мимоидущая толпа была типичным фоном, на котором разворачивались индивидуальные жалостные и горестные сцены. Джордж Гиссинг оставил описание непрерывного движения «миллионов» в день юбилея восшествия королевы Виктории на престол (1887): «По главным улицам центрального Лондона, где движение экипажей было сейчас запрещено, между домами тек сдвоенный человеческий поток… к стуку и шарканью бесчисленных шагов добавлялся низкий равномерный

звук, приводивший на ум тупо-довольное мурлыканье громадного зверя». Так толпа превращается в чудище, удовлетворенно и послушно идущее по городу, который его сотворил. Но порой его движения внушают внезапный страх. «Большие перекрестки похожи на водовороты; ты будешь проделывать круг за кругом, всякий раз возвращаясь в исходную точку». Легко поверить, что «такая толпа может стать опасной».

Сознающая себя толпа посылает сама себе сигналы. Во время Англо-бурской войны, когда британские войска потерпели крупную неудачу, «мы все стояли на улицах — люди всякого звания и наружности — и с тревогой, от которой перехватывало дыхание, читали телеграммы, опубликованные в газете… Было настоящее море газет и пытливых лиц за их страницами; преобладала напряженная суровость… Люди переговаривались на ходу шепотом или вполголоса». Смятение объединило тогда лондонцев в целостный организм; живая и чуткая толпа в унисон отозвалась на известие. Столь же мгновенное действие на эту человеческую общность оказал крик «Мафекинг[88] деблокирован!», раз-

[88] Примечания: 88

Мафекинг — город в Южной Африке, который британские войска во время Англо-бурской войны успешно защищали в течение 217 дней.

давшийся 17 мая 1900 года в девять тридцать вечера. «Крик мигом был подхвачен в омнибусах, и люди в жаркой спешке повалили из них наружу, чтобы услышать весть, повторявшуюся вновь и вновь… Другие кинулись в переулки, неся ее дальше и дальше, и улицы на глазах наполнялись ликующим, кричащим и поющим народом». Это массовое возбуждение было почти настолько же тревожащим, как «напряженная суровость» толпы четырьмя месяцами раньше; и в том, и в другом случае видны признаки чрезмерно острой, избыточной реакции на грани истерии, свойственной жизни города вообще.

Толпа в действии проявляет даже некие детские черты; условия городской жизни, кажется, приводят ее в своего рода зверино-младенческое состояние. В XIV веке лондонская толпа встретила одного предполагаемого недруга «свирепым воплем»; пять столетий спустя на чартистском митинге на Колдбат-филдс «толпа издала устрашающий крик». Это один и тот же голос — неумолимый и внушающий трепет. В 1810 году во время волнений, связанных с арестом радикала Фрэнсиса Бердетта, толпы «останавливали все экипажи и принуждали седоков заявлять о своей поддержке их требований». В тот же период

люди, собравшиеся однажды вокруг позорного столба, «напоминали диких зверей, погрузившихся в некий застойный пруд». «Многолюдные и беспокойные толпы», собравшиеся в 1911 году понаблюдать за сражением на Сидни-стрит[89], рождали сходные ассоциации: репортер «Ньюс кроникл» отметил, что «многие тысячи голосов доносились до меня мощными убийственными порывами, как рев диких зверей в джунглях».

Однако город в целом странно безучастен к буйству толпы. Одной из причин относительного, по сравнению с другими столицами, гражданского мира в Лондоне является сам его размер. Необъятность диктует спокойствие. Лондон и слишком велик, и слишком сложен, чтобы реагировать на какие бы то ни было локальные всплески страстей, и в XX веке самой яркой особенностью лондонских волнений и демонстраций была их неспособность произвести сколько-нибудь существенное впечатление на этот неподатливый каменный город. Неудача чартистского выступления в 1848 году, которому предшествовал большой митинг на Кеннингтон-коммон,

[89] Примечания: 89

3 января 1911 г. двое анархистов-иностранцев забаррикадировались в доме на Сидни-стрит и отстреливались от полиции. В конце концов оба погибли.

перекликается с неудачей Освальда Мосли, не сумевшего в 1936 году пройти по Кейбл-стрит с тысячами своих сторонников, симпатизировавших фашистам. Словно бы сам город дал им отпор и задержал их. Другим примером яростных локальных беспорядков, не нарушающих относительного спокойствия в других частях города, служат волнения конца 1980-х годов вокруг Уайтхолла и Трафальгар-сквер, связанные с введением подушного налога. Никакое движение не могло охватить всю столицу, и никакая толпа не могла ее контролировать. Кроме того, величина Лондона рождает в среднем горожанине ощущение невозможности что-либо изменить. В первые десятилетия XX века кокни была присуща своеобразная податливость и покладистость, чтобы не сказать — консерватизм; в отличие, скажем, от парижан, они не хотели бороться с условиями городской жизни и были рады тому, что имели. Долго это безоблачное равновесие продлиться не могло.

Одной из неприятных новинок второй половины XX века стали, к примеру, расовые волнения. Из них к числу самых заметных принадлежат волнения в Ноттинг-хилле в 1958 году и в Брикстоне в 1981 году. Ноттингхилльские беспорядки

начались с отдельных случаев преследования чернокожих группами молодых белых людей, однако инцидент 23 августа в таверне «Чейз» на Сент-Эннз-Уэлл-роуд спровоцировал полномасштабные волнения. Том Вейг в книге, остроумно названной «Психогеография Лондона», описывает «тысячную толпу белых, в которой были и женщины… вооруженных бритвами, ножами, кирпичами и бутылками». На следующей неделе большая толпа прошла по Ноттинг-дейлу, избивая на своем пути всех иммигрантов из Вест-Индии, однако наихудшие беспорядки случились 1 сентября, в понедельник, в центральной части Ноттинг-хилл-гейта. Толпы, собравшиеся на Колвилл-роуд, Поуис-сквер и Портобелло-роуд, затем пришли в движение и принялись «крушить все подряд, скандируя: „Смерть черномазым!“…женщины высовывались из окон и кричали: „Всыпьте им хорошенько, ребята!“» Один обозреватель отметил, что «Ноттинг-хилл стал неким зазеркальем, где самые тривиальные предметы, которые обычно мало кто замечает, вдруг приобрели важнейшее значение. Бутылки из-под молока превратились в снаряды, крышки от мусорных баков — в импровизированные щиты». Так тот или иной район Лондона подчас

проникается эмоциями его обитателей; ненависть, подобно радиации, заражает вокруг себя все. Аксессуары цивилизованного города вдруг становятся примитивным оружием.

Как заметил один молодежный лидер, «ребята такого сорта готовы на что угодно, лишь бы скуку развеять». В XX веке, чтобы понять поведение толпы, фактор скуки всегда следовало учитывать. Сильнейшая каждодневная тоска жизни в бедной и непривлекательной обстановке сама по себе сломила дух многих лондонцев, которые чувствуют себя пойманными городом в безжалостный капкан. Результат — не апатия, а деятельная скука. Из нее проистекает насилие.

В тот понедельник вечером уроженцы Вест-Индии собрались на Бленгейм-кресент с «арсеналом молочных бутылок, бензина и песка для самодельных гранат». Когда с криками «Сожжем черномазых!» подступила толпа белых, в нее полетели бутылки с горючей смесью. Крупные силы полиции явились как раз вовремя, чтобы не допустить перерастания событий в открытую межрасовую войну; иных молодчиков арестовали, другие разбежались, после чего, по любопытному стечению обстоятельств, великая жара последних августовских дней была смыта грозой. Дождь

барабанил по мостовой, заваленной осколками бутылочного стекла и деревянными дубинками. На суде, проходившем в сентябре, некоторым белым участникам беспорядков было сказано: «Вы своим поведением отвели стрелки часов на 300 лет назад». Но это вернуло бы их всего-навсего в 1658 год; фактически же они вели себя как их средневековые предки, которые толпами валили на чужаков или на тех, кого считали недругами, — зачастую с гибельными последствиями.

Весной 1981 года молодые чернокожие лондонцы из Брикстона, возмущенные местной полицией, которая, как они считали, притесняла их и относилась к ним с предубеждением, устроили уличные беспорядки. Впервые, наряду с обычным арсеналом бутылок и кирпичей, против полиции были использованы самодельные зажигательные гранаты. Поджигая и грабя, толпа уничтожила или повредила двадцать восемь зданий. Размах и многообразие беспорядков говорят о том, что причина их была более глубока, чем полицейские притеснения; возможно, она кроется в предрасположенности некоторых лондонцев к буйству и бесчинству. Возможно, для них это способ борьбы со структурным гнетом, когда на людей своим строением и видом давят

сами улицы.

Среди причин спорадических вспышек насилия, подобных брикстонским, назывались также бедность и безработица; безусловно, они подтверждают характеристику города как тюрьмы, обступающей и удерживающей внутри себя всех жителей. Каких иных последствий можно ждать, кроме озлобления на тюремщиков и тюремные порядки? Были и другие расовые волнения; были волнения, направленные против полиции; были волнения, направленные против финансовых учреждений лондонского Сити. В отчетах, публикуемых по следам событий, обычно говорится о «коллапсе закона и порядка» и о «хрупкости основы» гражданского мира. На самом же деле любопытным и постоянным свойством Лондона является как раз то, что «закон и порядок» никогда не испытывают коллапса и что гражданский мир поддерживается даже в условиях тяжелейшего кризиса. Нередко удивлялись тому, что город, при всем его многообразии и ошеломляющей сложности, способен действовать как единый и стабильный организм. Сходным образом ткань городского бытия, несмотря на многие посягательства, всегда оставалась в целости. Толпам никогда не удавалось подчинить ее себе.

Глава 44
Что новенького?

Толпа живет новостями и слухами. Елизавета I вспоминала, что однажды, будучи еще принцессой, спросила фрейлину: «Ну, какие новости в Лондоне?» Услышав в ответ, что ходит слух, будто она скоро выйдет замуж за лорд-адмирала Сеймура, Елизавета сказала: «Это лондонская новость, и только». Таким образом, в XVI веке «лондонской» считалась новость недолговечная и неточная, но при этом весьма любопытная. Шекспировский король Лир намеревается «узнавать от заключенных / Про новости двора… Кто взял, кто нет, кто в силе, кто в опале»[90]. В первой части «Короля Генриха IV» говорится про «вести о суматошных новшествах», а в «Как вам это понравится» — про «новые новости при новом дворе». Часто замечали, что, войдя в кофейню, завсегдатай первым делом спрашивает: «Какие новости, а? Какие новости?»

Город — средоточие скандала, клеветы и домысла, горожане — заядлые сплетники и любители

---

[90] Примечания: 90
Перевод Б. Пастернака.

заглазно позлословить. В XVI веке издавались разнообразные листки, брошюры и бродсайды, посвященные самым сенсационным текущим событиям, и уличные разносчики ходили со всем этим от дома к дому. В 1622 году в Лондоне раз в неделю печаталась брошюра, озаглавленная «Еженедельные новости из Италии, Германии, Венгрии, Богемии, Пфальца, Франции, Нидерландов и т. д.». Издание пользовалось таким успехом, что по его примеру стали издаваться другие брошюры, которые шли под общим названием «Corantos» («Бегущие»). К «новостям», однако, относились без особого доверия, считая, видимо, что лондонские известия часто искажаются пристрастностью и злобностью. Лондон не был честным городом; Сэмюэл Печ, редактор издания «Перфект дайернал», был в 1640-е годы охарактеризован как человек, «постоянный только в распутстве, лжи и пьянстве». Он был, иными словами, типичным лондонцем.

Еще одна особенность лондонских «новостей» не укрылась от внимания Бена Джонсона. В пьесе «Склад новостей» (1625) он утверждает, что новость перестает быть новостью, когда она напечатана и распространена; самая суть ее — устная молва, зачастую передаваемая шепотом, молва,

которая в XV или XVI веке могла за кратчайшее время облететь весь Лондон. Джонсон имел вполне определенное мнение о публикаторах новостей, которые «Известья знают, сортируют, / А в случае нужды и фабрикуют».

В 1666 году возникла «Лондон газетт» — самое авторитетное из тогдашних периодических изданий. «Они публикуют только достоверные новости, — писал современник, — и часто, прежде чем печатать, ждут подтверждения». Газета печаталась на одной странице по понедельникам и четвергам и продавалась на улицах «вестницами» (Mercury women). Их крики «Купите „Лондон газетт“!» раздавались на Корнхилле, Чипсайде и Королевской бирже. Маколей приводит примерное содержание газеты: «Королевское воззвание, две или три речи видных тори, два или три сообщения о назначениях, отчет о стычке имперских войск[91] с янычарами… описание внешности разбойника, объявление о грандиозных петушиных боях, устраиваемых двумя титулованными особами, объявление о пропаже собаки с обещанием награды». Можно не сомневаться, что наибольшим вниманием пользовались разбой-

[91] Примечания: 91
То есть войск Священной Римской империи.

ник, петушиные бои и собака.

О ненасытной любви лондонцев к новостям свидетельствует хотя бы то, что первая лондонская ежедневная газета — «Дейли курант» — начала издаваться в 1702 году, то есть примерно за семьдесят пять лет до возникновения ежедневной газеты в Париже. К концу XVIII века в Лондоне уже можно было купить 278 наименований газет, журналов и других периодических изданий. Большая часть из этого ошеломляющего количества печаталась на Стрэнде, Флит-стрит и примыкающих к ним улицах восточнее нынешнего моста Ватерлоо и западнее моста Блэкфрайарс.

Флит-стрит — яркий пример городского топографического императива, когда на небольшом пространстве столетиями разворачивается одна и та же деятельность. В данном случае к тому же эта деятельность определила характер и поведение ее участников, так что сама земля, сами камни Лондона сотворили специфический тип жителя. В 1500 году Уинкин де Уорд установил свой печатный станок напротив Шу-лейн, и в том же году в нескольких шагах от него — на углу Флит-стрит и Чансери-лейн — обосновался издатель и печатник Ричард Пинсон. В должности

придворного печатника короля Генриха VIII его сменил Томас Бертлет, устроивший типографию у питьевого фонтана (опять-таки напротив Шулейн), а в начале 1530-х годов Уильям Растелл основал печатное дело во дворе церкви Сент-Брайд. Уильям Миддлтон печатал в заведении «Джордж», Ричард Тоттелл — в «Руке и звезде», Джон Ходжетс — в «Лилии»; все эти вывески располагались на одной и той же узкой и людной Флит-стрит.

«Эта часть Лондона, — писал Чарлз Найт, — подлинный „храм славы“. Слухи и сплетни из всех частей света стекаются сюда потоком и затем, отдаваясь в этой камере эхом, летят обратно во все уголки Европы в причудливо преобразованном виде». Итак, место это богато не только стариной, но и акустикой; из этой части Лондона распространяется во всех направлениях странный товар, именуемый новостями.

В XVIII веке источниками новостей были главным образом ежедневные и еженедельные газеты, которые можно было получить в кофейнях или тавернах. «Что неимоверно привлекает людей в эти кофейни, — писал Соссюр, — это газеты и другие публичные издания. Англичане — величайшие охотники до сплетен. Работники

обыкновенно начинают день в кофейнях чтением последних новостей. Я часто видел, как несколько чистильщиков обуви или подобных им лиц покупают одну на всех газету ценою в фартинг». Другой автор XVIII века — граф Пеккьо — пишет о сидящих в тавернах «английских работниках», для которых «печатается несколько воскресных газет, где в сокращенном виде содержатся всевозможные известия, анекдоты и наблюдения, появившиеся за неделю в ежедневных газетах». «Едва приносят газету, — писал еще один комментатор — как в кофейне воцаряется гробовая тишина. Каждый настолько увлечен чтением любимой страницы, что можно подумать, будто вся жизнь его зависит от быстроты, с какой он пожирает новости дня».

Здесь мы сталкиваемся с образом лондонца как «пожирателя» новостей, которые этим сравнением уподобляются еде и питью. Отсюда недалеко до нынешнего «потребителя» — человека, для которого все общение с миром состоит в переваривании, в усвоении. Город, возможно, по самой природе своей является искусственным образованием, и неудивительно, что он творит искусственные потребности. Аддисон в числе определенно лондонских типов называет

«охотника до сплетен», который «встает до света, чтобы прочесть „Постмен“», жаден до *«голландских* новостей» и «непременно хочет знать, что делается в *Польше».* Многие настолько же рьяно интересовались последним изнасилованием или разводом, о котором сообщалось в воскресной газете, насколько их средневековые предки расхватывали баллады, где содержалась «правдивейшая правда о последних лондонских делах». Охота до свежей сенсации, до чего-то щекочущего нервы сильна и постоянна, и в городе, чьих обитателей окружает ошеломляющее разнообразие впечатлений, удовольствие может доставить лишь нечто самое свежее. Вот почему в городе огня последние новости называют «горячими» — особенно в кофейнях, где они «еще дымятся». «Мы публикуем новости воистину очень быстро, — писал „Спектейтор“, — потому что это товар скоропортящийся». Чтобы привлечь внимание прохожих, нужно кричать: «Пожар!»

Лондон и сам, по замечанию Уолтера Баджота, был подобен газете, где «есть все на свете и ничто ни с чем не связано», — череда разрозненных впечатлений, событий и образов, соединяемых лишь общей рамкой. Газета просто-напросто продолжала для лондонца линию обычных го-

родских восприятий; он читал ее с таким же праздным любопытством, с каким «читал» город, словно газета лишний раз подтверждала тот взгляд на мир, каким Лондон уже его наделил. На страницах периодических изданий запечатлелся сам облик города: некто Эверетт с Флит-стрит продал жену некоему Гриффину с Лонг-лейн за трехшиллинговую чашу пунша (1729); у рва Флитдич пять месяцев, питаясь отбросами, жил хряк (1736); в том же рву был найден человек, спьяну утонувший в грязи и замерзший стоя (1763); по ежегодному обычаю с паддингтонской колокольни людям бросали хлеб и сыр (1737); жена некоего Ричарда Хейнса разрешилась чудищем с носом и глазами как у льва (1746); гробокопатель скончался от чрезмерных усилий в могильной яме (1769); на службе в церкви Гроба Господня некто вдруг встал и выстрелил в хор приютских детей (1820); некий Джеймс Бойс предстал перед собравшимися в неангликанской церкви на Лонг-Эйкре и провозгласил себя Иеговой Иисусом (1821). И так далее, и так далее — все новые сведения о городских бедствиях и несчастных случаях, напечатанные узкими и длинными, как улицы, колонками. Лондонские пожарные хорошо знали, что одно из главных затруднений для них

представляет толпа, мгновенно собирающаяся у каждого крупного очага возгорания поглазеть на разрушительное пламя.

Неудивительно, что в период роста и суеты новости в Лондоне стали еще более трескучими. Сама продажа газет была в начале XIX века делом чрезвычайно громогласным. Такие названия, как «Кровавые вести», «Ужасное убийство!» или «Необычайная газета», выкрикивались «луженой глоткой под протяжный аккомпанемент длинного жестяного рога» носильщиками и продавцами фруктов и рыбы, которые засовывали экземпляры газет под шляпную ленту. Изобретение парового печатного станка было еще одним фактором, позволившим газетам перенять нечто от «неодолимой силы» Лондона, от его безудержной энергии. За час машина печатала две с половиной тысячи экземпляров «Таймс», и этот процесс привлек внимание Чарлза Бэббиджа, разработавшего прообраз нынешнего компьютера. Он заметил, что громадные вращающиеся цилиндры станка пожирают чистые листы бумаги «с ненасытной жадностью». Чарлз Найт писал, что во дворах вокруг Флит-стрит «бурлит жизнь» — создается все больше новостей на потребу все большему числу читателей. «Руки наборщиков не знают

покоя; паровой станок грохочет беспрерывно». В 1801 году было продано шестнадцать миллионов экземпляров газет; тридцать лет спустя цифра увеличилась до тридцати миллионов, и затем она продолжала расти.

В книге «Душа Лондона», опубликованной в первые годы XX века, Форд Мэдокс Форд заметил, что в столице, «чтобы быть для собрата-лондонца подходящим собеседником, ты должен знать новости. Связное мышление стало почти невозможным, ибо почти невозможно найти общую идею, способную породить связный ход мысли». Сознание лондонца, таким образом, состоит из тысячи разнородных фрагментов. Форд вспоминает, что во времена его детства «уважающие себя продавцы газет брезговали воскресной» и что ему надо было пройти две мили, чтобы «в грязной и неприметной лавчонке» купить «Обсервер». Однако вскоре по воскресеньям стало продаваться столько же, если не больше, экземпляров, чем по будням. Благодаря изобретению новых способов печати и литографирования гегемония «новостей» в Лондоне не только поддерживалась, но и росла. Возможно, важнейшая перемена произошла в 1985 году, когда концерн «Ньюс интернэшнл» стал печатать «Сан» и «Таймс» в

Уоппинге. Переброска, осуществленная внезапно и скрытно, покончила с тормозящим дело «саботажем» лондонских типографов, а внедрение новой технологии облегчило расширение других газетных фирм, которые начали перемещать производство с Флит-стрит в районы к югу от Темзы и в Доклендс[92]. Рождавшая эхо мощь Флит-стрит исчезла навсегда. Но «лондонские новости» по-прежнему на первом месте. Как пишет социолог XX века лорд Дарендорф, Британия «управляется из Лондона практически во всех отношениях».

Историю слухов и новостей следует дополнить историей повальных увлечений и надувательств, которая также развивалась при коллективном посредничестве толпы. Моды, заблуждения и лжепророчества всегда находили наиболее горячий отклик именно в столице. Легковерие горожан вечно и неистребимо. К числу разнообразных «мыльных пузырей» XVIII века, помимо финансовой катастрофы компании Южных морей, относится увлечение итальянской музыкой. «Сколь же скверен преобладающий в мире вкус по части остроумия и смысла, — писал Свифт, —

[92] Примечания: 92

Доклендс — бывший лондонский портовый район, где ныне построено много фешенебельных жилых и офисных зданий.

насаждаемый политиками, и Южными морями, и партиями, и операми, и маскарадами!» Осенью 1726 года, когда прошел слух, будто некая Мэри Тофтс родила выводок кроликов, «все горожане, мужчины и женщины, непременно должны были увидеть и пощупать ее… все виднейшие лондонские врачи, хирурги и акушеры находились при ней денно и нощно, дабы увидеть, что еще она произведет на свет». Вест-эндское помешательство на тюльпанах в XVII и XIX веках сравнимо только с ист-эндским помешательством на аспидистре в начале XX века. В те же первые годы XX столетия бурно расцвела мода на фарфоровых кошечек, так что «тотчас всякое жилище без кошки стало считаться неполноценным». В 1900 году «свежей новостью» стала живая кошка, которая лизнула марку в почтовом отделении Чаринг-кросс, после чего там начали собираться толпы людей, желавших увидеть, как она делает это опять и опять. Кошка стала рекламной фигурой — примером того, что один журналист назвал «сотворением временно важного». Живший в неволе слон Джамбо, прежде чем изгладился из памяти широкой публики, дал толчок к созданию песен, историй и сорта конфет «Цепи Джамбо».

В Лондоне, впрочем, всякая мода преходяща. В

1850 году это отметил Шатобриан, говоря о «моде на словечки, на аффектированные особенности языка и произношения, сменяющиеся в лондонском высшем обществе другими почти в каждую парламентскую сессию». Он пишет далее, что поношения и хвала в адрес Наполеона Бонапарта чередовались в Лондоне с необычайной быстротой, и заключает: «Любая репутация на берегах Темзы быстро создается и столь же быстро теряется». «То, что зимой у всех на устах, — пишет миссис Кук в „Больших и малых улицах Лондона“ (1902), — к лету совершенно забывается». На эту же тему Хорас Уолпол писал: «Министры, писатели, остроумцы, дураки, патриоты и женщины легкого поведения редко выдерживают два издания. О лорде Болингброке, Саре Малколм и старом Мальборо никто больше не говорит — разве что престарелые люди внукам, которые никогда о них не слыхали». Оказаться в Лондоне «вне поля зрения» значило оказаться забытым. В 1848 году Берлиоз писал, что в британской столице во множестве живут люди, «которые при виде новшеств только глупеют». Они обозревают траекторию событий или ход чьей-то карьеры, «подобно форейтору, провожающему взглядом локомотив».

Итак, история Лондона — это, помимо прочего, история забвения. В городе рождается великое множество стремлений и побуждений, которым можно отдаться лишь на короткое время; новости, слухи и сплетни движутся и сталкиваются с такой быстротой, что внимание им оказывается немедленно и миг спустя пропадает. Одно повальное увлечение следует за другим, как будто город беспрерывно треплется сам с собой. Эта недолговечность городских дел восходит к Средневековью. «Несомненно, до XIV века, — писал в „Средневековом Лондоне“ Г. А. Уильямс, — ничто в Лондоне не длилось долго». Забвение само может дать начало традиции: в результате благотворительного пожертвования каждый год с конца XVIII века в первый вторник июня в церкви Сент-Мартин в Ладгейте читается проповедь на тему «Жизнь — только мыльный пузырь». То, что Лондон с таким постоянством празднует свою недолговечность, — в высшей степени уместно и характерно. Это город, бесконечно разрушаемый и бесконечно возводимый заново, город вандализма и обновления, обретающий исторический строй благодаря преходящим порывам бренных поколений, город, сочетающий постоянство мифа с подвижностью реальности, город толп, молвы

и забвения.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ЛОНДОНА

Глава 45
Купите вашей дамочке цветочков

Тех, кто видит одни узкие улицы да акры крыш, может удивить, что, согласно последней карте растительного покрова, полученной с помощью спутника «Ландсат», более трети лондонской территории — это «участки, поросшие полудикой травой, подстриженные лужайки, возделанная земля и лиственный лес». Так было всегда. Вацлав Холлар, один из первых авторов лондонских панорам, был поражен теснотой соседства между городской и сельской местностью. Его датированные 1644 годом «Вид Лондона с Милфордского причала», «Вид Ламбета с Уайтхоллского причала» и «Тотхилл-филдс» показывают город, окруженный рощами, лугами и волнистыми холмами. Его «речные виды» подразумевают присутствие незастроенной местности, начинающейся сразу за рамкой гравюры.

В первые годы XVIII века пастбища и луга начинались у Блумсбери-сквер и Куинс-сквер; строения Линкольнс-инн, Лестер-сквер и Ковент-гардена были окружены полями, а северные и

восточные предместья, лежавшие за городской стеной, перемежались акрами лугов и пастбищ. Уигмор-роуд и Генриетта-стрит вели прямо в поля, Брик-лейн резко обрывалась, упершись в луг. Уорлдз-энд («Конец мира») близ Степни-грин было местом сугубо сельским, а Гайд-парк по существу составлял часть открытой местности, подходившей к городу с запада. Камден-таун славился «сельскими тропами, обсаженными кустарником дорогами и прелестными полями», которые манили любителей «тишины и свежего воздуха». Вордсворт вспоминал о пении дроздов в самом сердце города; Де Куинси в своих хождениях по Оксфорд-стрит обретал лунными ночами толику утешения, заглядывая в боковые улочки, «которые идут на север сквозь Марилебон к полям и лесам».

Начиная с раннего Средневековья дома призрения и таверны, школы и больницы имели подле себя сады и огороды. Первый городской хронист Уильям Фицстивен писал, что «виллы лондонских горожан окружены большими и красивыми садами». Стоу отмечает, что к большим домам на Стрэнде примыкают «сады, которые возделывают ради прибыли», что в городе и рядом с ним живет много торгующих садоводов и что выращивают

они «довольно, чтобы обеспечить город плодами». В XVI–XVII столетиях пространство между Корнхиллом и Бишопсгейт-стрит занимали сады, а Майнориз, Гудменс-филдс, Спитлфилдс и большая часть восточного Смитфилда представляли собой луговую местность. Сады и поросшие травой участки можно было увидеть между Кау-кроссом и Грейз-инн-лейн, между Шу-лейн и Феттер-лейн. Мильтона, который родился и учился в самом центре города, неизменно привлекали и восхищали те лондонские дома, что имели при себе сады. Его собственные жилища на Олдерсгейт-стрит и Петти-Франс были прекрасными образцами такого рода, и утверждают, что на Петти-Франс поэт посадил тополь в своем саду, «примыкающем к Парку».

В самом Сити и доныне в немалом числе сохранились укромные дворики — уцелевшие клочки церковных дворов и погостов, покоящиеся среди полированных храмов современных финансов. Эти дворики Сити (подчас всего несколько квадратных ярдов, поросшие травой, кустарником или деревьями) — чисто лондонское явление. Возникшие в Средние века или в саксонский период, они, как и сам город, пережили много столетий строек и перестроек. Этих прибежищ

тишины и непринужденности осталось семьдесят три. Их можно рассматривать как участки, откуда не спешит уходить былое, — например, у церквей Сент-Мэри-Олдермэри, Сент-Мэри-Аутуич и Сент-Питерз-апон-Корнхилл, — или же они молча наставляют нас развернутыми Библиями в руках у каменных монахов церкви Сент-Бартоломью в Смитфилде. На странице, которую они читают, собравшись вокруг изваяния лежащего Рахере, — пятьдесят первая глава пророка Исаии: «Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа».

Образ сада живет в воображении многих лондонцев. В числе первых живописных изображений лондонских садов — «Вид Чизика со стороны реки» Джейкоба Ниффа. Городской садик этот невелик размером и окружен строениями. Картина написана между 1675 и 1680 годами. По усыпанной гравием дорожке идет женщина; работает, склонясь над землей, садовник. Их легко представить себе и в XX веке. В середине его Альбер Камю писал: «Лондон помнится мне городом садов, где по утрам меня будили птицы». В XXI столетии на западе Лондона почти каждая семья либо имеет собственный сад или

дворик, либо, на худой конец, делит его с соседями; в северных районах — таких, как Излингтон и Канонбери, — и в южных пригородах сады составляют неотъемлемую часть городского пейзажа. Сад, видимо, поддерживает в лондонце чувство сопричастности. В городе спешки и единообразия, шума и суматохи, в городе, где многие дома возведены по стандартным проектам, сад порой дает единственную возможность уйти от рутины. Он, кроме того, дарит отдых, созерцание, умиротворение.

«Отец английской ботаники» Уильям Тернер жил на улице Крачт-Фрайерз близ Тауэра и был в 1568 году похоронен в церкви Сент-Олаф на Харт-стрит, которую позднее посещал Сэмюэл Пипс. То, что первый ботаник в полном смысле этого слова был лондонцем, нисколько не удивительно: обширные поля и болотистые участки за городской стеной отличались плодородием почв. По обыкновению тогдашних ученых Тернер не называет мест, где он обнаружил «238 растений, описанных им впервые в Британии» (цитата взята из незаменимой «Естественной истории Сити» Р. С. Фиттера), однако известно, что одно из этих растений — клоповник полевой — было найдено в саду на Коулмен-стрит. Другой

ботаник XVI века, Томас Пенни, двадцать лет прожил в приходе Сент-Эндрю-Андершафт и много образцов для своих гербариев нашел в районах, примыкающих к полям Мурфилдс. Ров около Тауэра славился влаголюбивыми растениями — такими, например, как манник плавающий и дикий сельдерей. Один натуралист с Холборна обнаружил дикий сельдерей «на холборнских полях поблизости от Грейз-инн», а весеннюю крупку — «на Чансери-лейн у кирпичной стены владений графа Саутгемптона».

Если западные предместья были хорошими «охотничьими угодьями» для натуралистов, то такие, казалось бы, неподходящие места, как Хокстон и Шордич, славились питомниками и рассадниками.

В конце XVII века уроженец Хокстона Томас Фэрчайлд культивировал «много новых диковинных растений» и написал трактат о том, как выращивать «вечнозеленые и плодовые деревья, цветущие кустарники, цветы, заморские растения и прочее, чтобы и вид был красивый, и наилучший рост в лондонских садах». Книгу свою он озаглавил «Городской садовод», и под этим названием ее знали и знают доныне. Еще один хокстонец — Джордж Риккетс, живший

сразу за Бишопсгейтом — стал выращивать там такие деревья, как мирт, лайм и ливанский кедр. В этом на удивление плодоносном районе, расположенном среди грязи и камня северных пригородов, другие садоводы культивировали буддлейю, анемон и филлирею полосатую.

Лондонцы всегда были неравнодушны к цветам. Мания «домашнего цветоводства» 1880-х выразилась лишь в увеличении числа горшков и ящиков, которые видны почти на всех изображениях лондонских улиц из поколения в поколение. Но самое яркое свидетельство этой страсти горожан — уличная торговля цветами. На улицах продавались пахучие фиалки, ранней весной «выкрикивались» примулы. Для кокни, писал Бланшар Джерролд в книге «Лондон. Паломничество», «желтофиоль — откровение, десятинедельный левкой — новый сезон, гвоздика — сладостная аравийская греза». Все это в 1830-е годы стало частью общей оживленной лондонской торговли. До того времени единственными зримыми лондонскими цветами — точнее, единственными цветами, выставлявшимися напоказ, — были мирт, герань и гиацинт.

Но с развитием, в особенности у лондонцев среднего достатка, вкуса к цветочному украша-

тельству цветы, разделяя судьбу всего остального в городе, сделались товаром, и в пригородах из более дальних их начали выращивать в промышленных количествах. Вся северо-западная часть рынка Ковент-гарден была отдана оптовым торговцам розами, геранью, гвоздиками и сиренью. Цветы очень быстро стали предметом коммерческой спекуляции. К примеру, фуксия, появившись в Лондоне в начале 1830-х годов, изрядно обогатила тех, кто ею торговал. Неизбежно интерес к цветам стал распространяться вниз, к горожанам более скромного достатка, покупавшим у уличного торговца смешанный букетик за пенс. На рынке выставлялись корзинки центифолий и гвоздик, у Королевской биржи и Судебных Иннов цветочницы продавали мускусные розы, на каждой улице можно было увидеть девушку с корзинкой фиалок.

«Разъездные садоводы» предлагали свой недолговечный товар. Платой за коммерцию в Лондоне сплошь и рядом становится смерть; город сделался кладбищем для живой природы. Миллионы и миллионы цветов привозились в Лондон, чтобы мигом увянуть. Возникновение больших пригородных кладбищ привело, в свой черед, к громадному росту спроса на цветы, которые

возлагались на новенькие надгробия.

Деревья, как и прочее в Лондоне, могут приобретать символические черты. «Лондон, — заметил Форд Мэдокс Форд, — начинается там, где стволы деревьев становятся черными». Вот почему подлинно лондонским деревом стал платан: благодаря своей способности сбрасывать внешний, прокопченный слой коры он символизирует мощное обновление вопреки «разъедающей атмосфере» города. У церкви Сент-Данстан-ин-де-Ист рос платан примерно в сорок футов вышиной; но самые старые сейчас те, что были посажены на Беркли-сквер в 1789 году. Любопытно, что лондонский платан — гибрид, как и многие горожане; полученный скрещиванием восточного платана, завезенного в Лондон в 1562 году, и западного, он неизменно был основным деревом центрального Лондона. Он дал главный повод к тому, чтобы поэт назвал Лондон «городом деревьев», своими «величественными кронами» создающих «романтический сумрак».

Этот сумрак окутывал и лондонские парки — от Гайд-парка на западе до парка Виктории на востоке, от Баттерси до Сент-Джеймс-парка, от Блэкхита до Хемпстед-Хита. По-видимому, нет в мире другого города, где было бы столько зелени

и открытых пространств. Для тех, кто влюблен в жесткость и ослепительный блеск Лондона, парки мало что значат. Но они притягивают других — бродяг, служащих офисов, детей — всех, кто ищет отдыха от жизни «на камнях».

Когда омнибусы, курсировавшие между Ноттинг-хилл-гейтом и Марбл-арч, проезжали мимо Гайд-парка, «сидевшие на империале жадно срывали с деревьев ветки, чтобы увезти их с собой в Сити»; их встречали «голоса поползня и тростниковой камышовки, кукушки и соловья». Эти цитаты взяты из книги Невилла Брейбрука «Лондонская зелень». В «Строках, написанных в Кенсингтон-гарденз» Мэтью Арнольда «птицы сладко поют на этих деревьях наперекор гулу окружающего города». Поэт контрастно сопоставляет тихое присутствие сосны, вяза, каштана с «резким шумом» Лондона. Парадокс в том, что эта умиротворенность — тоже часть Лондона, что Гайд-парк и Кенсингтон-гарденз принадлежат городу на таких же правах, как Боро-Хай-стрит и Брик-лейн. Город может двигаться и быстро, и медленно, его история включает в себя как историю шума, так и историю тишины.

В свое время в Кларкенуэлле и близ Пиккадилли, в Смитфилде и Саутуорке были сельские

оазисы; в число тамошних видов деятельности входили молотьба и доение. Ныне о сельских чертах старого Лондона говорят лишь названия улиц. В книге Экуолла «Уличные названия лондонского Сити» читаем, что «Корнхилл» очевидным образом означает «холм, где выращивали пшеницу»; «Ситинг-лейн» интерпретируется как место, где «было много мякины… в этом переулке молотили и веяли пшеницу». На сельский лад настраивают Оут-лейн (Овсяный переулок) и Милк-стрит (Молочная улица). В переулке Кау-лейн не держали коров, как можно подумать, судя по названию; по нему их «гоняли на пастбище и обратно». Эддл-стрит, которая ответвляется от Вуд-стрит (Лесной) и находится совсем рядом с Милк-стрит, обязана своим названием староанглийским словам *adela* (вонючая моча) и *eddel* (жидкий навоз); словом — «Навозная улица». Хаггин-лейн (таковых было два — в Крипплгейте и Куин-хайте) в старинных источниках пишется Hoggenlane (Свиной переулок). Свои Свиные переулки были еще в восточном Смитфилде, Нортон-Фолгейте и Портсоукене. Имелись в Лондоне Цыплячий, Утиный, Гусиный и Медовый переулки. Название района Бланч-Эпплтон, составлявшего часть Олдгейта, происходит от староанглийского *appeltun*

(яблоневый сад).

Природная жизнь Лондона заслуживает, таким образом, увековечения. Сохранились фотографии конских каштанов Уотфорда и кедров Хайгейта, вяхирей, гнездящихся у Английского банка, и заготовки сена в Гайд-парке. Среди лондонских камней живут бесчисленные насекомые и другие беспозвоночные, здесь вольготно чувствуют себя такие растения, как полевая горчица и непахучая ромашка, широколистный щавель и молочай солнцегляд. Грач и галка были постепенно вытеснены из города, но их место заняли вяхирь и городская ласточка. Для водоплавающих птиц специально выделены участки лондонских каналов и крупных водных резервуаров. Развитие в 1940-е годы системы полей орошения неожиданно воссоздало старинные условия, когда по берегам Темзы тянулись болота, и теперь ежегодно в Лондоне обосновываются многие тысячи перелетных птиц.

В районе Лондона насчитывается более двухсот видов и подвидов птиц, от сороки до зеленушки, но наибольшее распространение, судя по всему, получил голубь. Говорилось, что городские голуби — одичавшие потомки «беглых» птиц, которые улетали из голубятен в эпоху раннего Средневе-

ковья; уподобляясь предкам — сизым голубям, гнездившимся в морских утесах, — они находили удобное жилье в щелях и под карнизами зданий. «Они живут маленькими колониями, — писал один натуралист, — обычно на недосягаемой высоте» над лондонскими улицами, словно и вправду улицы — это море. И 1277 году некто упал с колокольни церкви Сент-Стивен-Уолбрук, пытаясь добраться до голубиного гнезда, а в 1385 году епископ Лондонский жаловался на «негодников», бросающих камни в голубей, которым дают пристанище городские церкви. Таким образом, уже тогда голуби были в Лондоне привычными персонажами, пусть с ними обращались и менее ласково, чем с их потомками в более близкие к нам времена. Толику доброты к этим существам начали проявлять, видимо, лишь в конце XIX века, когда им кидали не черствый хлеб, как теперь, а овес.

В конце XIX столетия в город, кроме того, стали переселяться лесные голуби (вяхири); они быстро урбанизировались, возрастая в числе и делаясь более ручными. «Мы часто видели их на крышах домов, — писал в 1893 году автор книги „Лондонские птицы“, — где они явно чувствуют себя не хуже, чем полудомашние голуби». Те, кто сегодня

поглядывает вверх, могут приметить их воздушные маршруты — один от Линкольнс-инн-филдс через Кингсуэй и Трафальгар-сквер к Баттерси, другие к парку Виктории и Кенвуду. Воздух Лондона прошит этими небесными путями, и, следя за птичьими полетами, можно представить себе город в совершенно ином обличье: он окажется оплетен и объединен тысячами больших и малых линий энергии, каждая из которых имеет свою историю.

Воробьи, шустро порхающие в общественных местах, стали ныне неотъемлемой частью Лондона; кокни называет воробья *sparrer,* а друга — *cock-sparrer*[93], отдавая дань уважения птице милой и в то же время зоркой, чье оперение тускло, как лондонская пыль, — отважной маленькой птичке, снующей туда-сюда среди городского грохота. Из-за небольшого размера воробьи очень быстро теряют телесное тепло, и поэтому им как нельзя лучше подходит «тепловой остров», каким является Лондон. Они могут жить в любой мельчайшей трещине или выемке — за дренажными трубами, в вентиляционных шахтах, в

[93] Примечания: 93

Sparrer — искаженное *sparrow* (воробей), но также и «боксер». Cock-sparrow — воробей-самец, но *cock*, кроме того, означает «друг» (в обращениях).

статуях, в нишах зданий; в этом смысле они отлично приспособлены к лондонской топографии. Орнитолог, назвавший воробьев «необычайно привязанными к человеку» птицами, отметил, что они теперь «размножаются только в непосредственной близости от жилого строения». Эта общительность, основанная на взаимной любви между лондонцами и воробьями, имеет много проявлений. Как писал натуралист У. Г. Хадсон, всякий человек, оказавшийся на городской лужайке или в сквере, скоро замечает, что «к нему подлетело несколько воробьев… следят за каждым его движением, а если он сел на стул или скамейку, некоторые из них приблизятся и начнут прыгать перед ним так и сяк, вопросительно чирикая: „Есть что-нибудь для нас?“» Их, кроме того, уподобляли уличным мальчишкам, «вороватым, самоуверенным и драчливым», и этими качествами они тоже заслужили внимание и восхищение коренных лондонцев. Крепко привязанные к своей округе, они редко создают «воздушные маршруты» через город; истые лондонцы, они где родились, там и остаются.

Они, таким образом, ассоциируются со своим окружением и характеризуются им. «Воробьи Тауэра» славились как «пернатые разбойники»,

которые вели непрерывную войну с тамошними голубями и скворцами, хотя жили с ними бок о бок много веков. Осенью 1738 года у Майл-эндской заставы после удара молнии на земле лежали «кучи дохлых воробьев». В этой массовой смерти есть что-то и жалкое, и величественное, словно птицы в очередной раз явили дух самого города. Как пишет Николсон, автор книги «Наблюдение за птицами в Лондоне», эти крохотные существа воплощают «непобедимую плодовитость как таковую»: «Сколько бы их ни гибло, они не пытаются обороняться, но число их все равно не уменьшается, и в этом спасение вида». «Непрерывный и неописуемый» шум, который они производят, рассевшись где-нибудь кучкой, — это голос коллективного триумфа. Когда, «обезумевшие от радости», они порхают и суетятся среди ветвей, кажется, что сами деревья сделались живыми.

Чайки — теперь постоянные гости города, хотя впервые они появились здесь недавно — в 1891 году. Они прилетели в город суровой зимой ради тепла и вскоре привлекли к себе внимание лондонцев. Чтобы поглядеть, как они кружат над водой и пикируют, горожане толпами собирались на мостах и набережных. В 1892 году лондонские

власти запретили в них стрелять, и тогда же возникло обыкновение подкармливать их: в 1890-е годы клерки и рабочие в обеденный перерыв ходили к мостам и кидали им всевозможную еду. Теодор Драйзер, идя воскресным днем 1912 года по мосту Блэкфрайарс, увидел цепочку людей, кормивших «тысячную стаю чаек» мелкой рыбешкой, которую они покупали по пенсу за коробку. Отношению горожан к ним свойственно соединение доброты и благоговейного почтения. Между тем подкармливания эти имели результатом постоянное возвращение чаек, которые в конце концов, уподобясь воронам былых столетий, приобрели репутацию главных санитаров Лондона. Так поведение горожан меняет птичьи привычки и среду обитания.

Иные птицы, как, например, зарянка и зяблик, в городе пугливей, чем в сельской местности. Другие — в частности, кряква, — напротив, чем дальше от Лондона, тем более робки. Количество воробьев резко сократилось, а черных дроздов, наоборот, стало больше. Лебеди и утки тоже сделались многочисленней. Некоторые виды птиц, однако, практически исчезли. Самый известный пример — лондонские грачи, чьи гнезда были уничтожены строительными работами и рубкой

деревьев. Между тем они много веков жили в определенных местах Лондона, в числе которых кладбище при церкви Сент-Данстан-ин-де-Ист, общинный сад Церковного суда в Докторс-Коммонс, башни лондонского Тауэра и сады Грейз-инн. Грачовник в Иннер-Темпле, существовавший по меньшей мере с 1666 года, был упомянут в 1774 году Оливером Голдсмитом. Грачи гнездились на церквах Боу-черч и Сент-Олаф. Эти почтенные лондонские птицы предпочитали окрестности старинных церквей и зданий, словно были их хранителями. Но, как пелось в одной песенке XIX века, «старым грачам теперь негде гнездиться». В свое время в Кенсингтон-гарденз была грачиная роща. Эти семьсот деревьев составляли кусок живой природы — предмет восторга и изумления для тех, кто гулял там под бесконечные грачиные крики, заглушавшие городской шум. Но в 1880 году рощу срубили. И грачи исчезли навсегда.

Но город не остался без птиц. Многие — канарейки и волнистые попугаи, жаворонки и дрозды — живут в клетках и пением в неволе напоминают самих горожан. В романе Диккенса «Холодный дом», рисующем символическую картину Лондона, птички, живущие в клетках у мисс Флайт, — центральный образ городской

несвободы.

Заключенных Ньюгейтской тюрьмы не зря называли «ньюгейтскими соловьями» и «ньюгейтскими пташками». Оруэлл в книге «Фунт лиха в Париже и Лондоне» (1933) замечает, что обитатели ночлежек и дешевых доходных домов нередко держат таких птиц — «крохотных, поблекших, всю жизнь проживших в подземелье». Он вспоминает, в частности, «старого ирландца, который… подсвистывал слепому снегирю в крохотной клетке». Невольно возникает мысль о странном родстве между лондонскими несчастливцами и пернатыми узниками. На каменной стене одной из камер в башне Бичем-тауэр лондонского Тауэра гвоздем была нацарапана «Эпитафия щегла»:

Где Рэли сетовал на злую долю,
Я сладко пел про солнышко, про волю…
Но ты добрее, смерть, чем все суды, —
Меня ты выкупила из беды.

Ниже идут слова: «Похоронен 23 июня 1794 года в лондонском Тауэре товарищем по заточению». Птичек, которые жили в клетках у мисс Флайт, звали «Надежда, Радость, Юность, Покой, Отдых, Жизнь, Прах, Пепел, Ущерб, Нужда, Беда, Отчая-

ние, Безумие, Смерть, Хитрость, Глупость, Слова, Парики, Тряпье, Овчина, Грабеж».

Комнатные птицы были, разумеется, предметом торговли; этому товару были всецело отведены уличные рынки в Сент-Джайлсе и Спитлфилдс. Наибольшим спросом пользовались щеглы, которые отлавливались в больших количествах и стоили от шести пенсов до шиллинга; причинами их привлекательности были долголетие (пятнадцать лет и больше) и скрещиваемость с другими породами. Популярны были также зяблики и зеленушки, хотя последнюю птицу один уличный торговец назвал в разговоре с Генри Мейхью «певичкой так себе». Только что пойманные жаворонки продавались за шесть-восемь пенсов. Мейхью обратил внимание на то, что «плененный жаворонок раз за разом вскидывает голову, словно желая взмыть в вышину»; лететь его, однако, не пускала тесная и грязная клетка в трущобах XIX века. К середине этого столетия одной из любимых лондонскими торговцами птиц стал также соловей, но, как пишет тот же Мейхью, он «проявляет великое беспокойство, кидается на прутья клетки или вольера, а иной раз спустя несколько дней умирает».

Где птицы — там и кошки. По крайней мере

с XIII века они живут в Лондоне повсеместно, и Кейтон-стрит была названа так в их честь. Ныне это Грешем-стрит, но в XIII веке ее называли Каттестрат и Каттестрит, в XVI — Кэтлин-стрит и Каттетен. Считалось, что кошки приносят счастье, о чем свидетельствует легенда XIV века про Ричарда Уиттингтона и его кошку; есть, по крайней мере, все основания думать, что в них видели приятные и в иных отношениях полезные существа. Но с лондонскими кошками были связаны и диковинные суеверия. Есть данные о ритуальных кошачьих жертвоприношениях: несчастных животных замуровывали в нишах, где их трупы нередко сохранялись в мумифицированном виде. Пример тому был обнаружен осенью 1946 года в церкви Сент-Майкл-Патерностер-Ройял за карнизом колокольни. Церковь была возведена Реном в 1694 году на месте той, где в 1423 году похоронили Ричарда Уиттингтона, — выходит, строители сочли преемственность лондонского мифа достойной жертвоприношения.

Замурованное животное, несомненно, принадлежало к огромной армии бродячих котов. Ночью столица была в их распоряжении — одни восседали на старых оградах, другие бродили по трущобным переулкам. Эти хранители Лондона

обходили те же улицы и территории, по которым встарь бесшумно крались их далекие предки. В городе были и другие «кошачьи улицы» (самые известные — близ Кларкенуэлл-грин и Обелиска на Сент-Джордж-филдс, а также улочки и переулки близ Друри-лейн). Тамошние коты, как пишет Чарлз Диккенс, перенимали обычаи людей, среди которых жили. «Они предоставляют юным семействам своим скитаться по канавам без всякой поддержки и помощи, а сами гнуснейшим образом ссорятся, сквернословят, царапаются и плюются на всех углах». Приходится иной раз слышать, что домашние животные делаются похожи на своих хозяев, но не исключено, что своеобразная лондонская разновидность кота сформирована самими городскими условиями.

В конце XIX века было подсчитано, что в Лондоне обитает примерно три четверти миллиона кошек, и относились к ним, конечно, по-разному. На закате столетия в Уайтчепеле старая проститутка — «грязное, опустившееся, нетрезвое существо», как ее описывает Чарлз Бут, — каждому встречному уличному коту кидала из корзинки мясо. Такое мягкосердечие, по-видимому, возникло лишь ближе к концу XIX века. Один старый лондонец сказал Буту: «Было время,

когда стоило на какой-нибудь улице Бетнал-грин появиться кошке, как начиналась охота или издевательство. Теперь подобное редко увидишь». Если кто вдруг захочет написать историю наших нравственных побуждений, то не худший путь к этому — изучить обращение лондонцев с животными.

Чуть ли не в каждом изображении лондонской «уличной сцены» присутствуют собаки, жизнерадостно резвящиеся среди лошадей и пешеходов. Без них не обошлась ни одна стадия лондонской истории — они сопровождали семьи на прогулку в поля, лаяли на процессии, свирепели во время бунтов, рычали друг на друга и дрались, оспаривая участки лондонской территории. Королевский указ XII века гласил, что «ежели жадная прожорливая собака укусит королевское животное», то ее владелец поплатится жизнью. Так что мы можем вообразить горожан раннего Средневековья, с трепетом выводящих своих собак на прогулку или на охоту в поля и луга за городской стеной. Собакам, которых туда брали, под корень обрезали когти, чтобы они не причиняли вреда оленям.

В воззвании 1387 года говорится, что «псы не должны бродить по городу сами по себе»; в нем,

однако, проводится различие между собаками бродячими и домашними. Итак, средневековые лондонцы держали немалое число «любимчиков». Выше всех других пород ценились мастифы. Многих отправляли за границу в качестве подарков знатным особам, а в XVI веке один немецкий путешественник отметил, что иные из этих собак «настолько велики и тяжелы, что для дальних прогулок их обувают, предохраняя лапы от стаптывания». Их, помимо прочего, использовали как сторожевых псов, и в документах, относящихся к Лондонскому мосту, есть записи о денежных компенсациях тем, кого покусали или оцарапали мастифы. Однако главной городской проблемой всегда были бродячие собаки. Объявление у только что построенного дока Сент-Кэтрин близ Тауэра, датированное 23 сентября 1831 года, предупреждало, что «привратники не будут пускать СОБАК, если хозяева не будут сдерживать их поводком или платком». Главная претензия к животным состояла в том, что они наносят «существенный вред» товарам; однако эпоха коммерции была также эпохой филантропии. В середине XIX века в Лондоне был создан «Приют для беспризорных и голодных собак» — первое благотворительное учреждение для

четвероногих. «Открытие приюта дало повод для шуток, — писал Алеф в 1863 году, — но нашлись жертвователи, и учреждение процветает». Переведенное в 1871 году в Баттерси из-за жалоб жителей на шум, оно процветает и ныне под названием «Баттерсийский собачий дом».

Блоха — существо не менее древнее, чем собака, но ее роль в естественной истории Лондона подернута мглой. Первое письменное упоминание о клопах относится к 1583 году, о тараканах — к 1634 году. Можно предполагать, однако, что всевозможные разновидности блох и вшей изобиловали в Лондоне с самого начала его истории, — не случайно город часто сравнивали с этими насекомыми. Верлен уподобил Лондон «плоскому черному клопу».

Характерно, что те лондонские животные, которые не шли в пищу и не использовались как тягловая сила, служили развлекательным целям. Первые львы были доставлены в Тауэр в XIII веке (позднее к ним присоединились белый медведь и слон), и с той поры животные неизменно были желанным зрелищем для неугомонной и ненасытной толпы. О первом слоне, которого показывали зрителям на улицах, упомянул в 1679 году Роберт Хук. Позднее лондонцы «ходили смот-

реть зверей» в Эксетер-чейндж. Так называлось трехэтажное здание на углу Веллингтон-стрит и Стрэнда, в котором в 1780-е годы располагалась «Выставка диких зверей Пидкока». Животных держали на верхних этажах «в небольшом загоне и клетках в комнатах различного размера, где стены были для вящего эффекта расписаны экзотическими пейзажами». Зверинец прошел через руки трех владельцев, и гравюра 1826 года изображает высящееся на Стрэнде старое здание с намалеванными на фасаде меж двух мощных коринфских колонн фигурами слонов, тигров и обезьян. Заведение пользовалось огромной популярностью — главным образом потому, что, помимо зверинца в Тауэре, оно было в Лондоне единственным местом, где можно было увидеть экзотических животных. Тех из них, что не представляли большой опасности, порой водили по улицам в качестве живой рекламы. Вордсворт упоминает дромадера и обезьян; Дж. Т. Смит в «Книге для дождливого дня» пишет о слоне, которого «водили на канатах по узкой части Стрэнда». 6 февраля 1826 года этот слон, звавшийся Чани, принялся в ярости рваться из клетки, не в силах больше терпеть неволю. Отряд стрелков, вызванный из соседнего Сомерсет-хауса, не смог

его убить, прикатили пушку — тоже никакого результата. В конце концов хозяин заколол его пикой, после чего в теле слона нашли 152 пули. Но коммерческий дух Лондона не оставил его в покое и после смерти. На несколько дней туша была выставлена на всеобщее обозрение, пока не начала смердеть, после чего ее продали на мясо — 11 000 фунтов. Затем зрителям показывали уже скелет, который позднее стал экспонатом Хантеровского музея при Королевском хирургическом колледже. Окончательно уничтожила Чани бомба Второй мировой войны. Вся его история — от хождений по Стрэнду в 1825 году до огненной гибели в 1941 году — имеет явственный лондонский привкус.

Дух города породил также страсть к ученым зверям и циркам. На столичных улицах крысы плясали на канате, кошки играли на цимбалах. С XVI по XIX век повсюду можно было видеть ученых медведей, а дрессированные обезьяны и лошади составляли часть стандартного репертуара цирков. В 1770-е годы некто Дэниел Уайлдмен гарцевал на лошади, тогда как лицо его сплошной маской покрывали пчелы. Полвека спустя Зоологическое общество получило несколько акров земли в Риджентс-парке для создания «зоологиче-

ского сада» с разнообразными ямами и клетками. Через два года — в 1828 году — сад открылся для публики и вскоре стал главной достопримечательностью Лондона; сохранилось много гравюр с изображениями горожан, увлеченно наблюдающих за ужимками плененных существ. Развлекательный элемент быстро отодвинул на задний план серьезные научные исследования. «Здесь самое лучшее место для тихой непринужденной беседы на открытом воздухе, — писал в 1872 году Бланшар Джерролд, — а животные, вставляя в разговор свои реплики, вносят в него пикантность… за сезон через сад проходит весь Лондон». У медвежьей ямы открылся магазинчик, торговавший «печеньем, фруктами, орехами и всем прочим, что посетители порой хотят кинуть животным»; желающим покормить медведей булочками давали длинную палку.

Многие посетители выбирали себе любимчиков — кто обезьяну, кто рысь, кто бегемота, кто вомбата — и каждую неделю приходили посмотреть, как они поживают. Но рука об руку с удовольствием и симпатией всегда шло некоторое опасение: а что, если существа эти вдруг вырвутся из заточения и набросятся на своих тюремщиков? Вот почему и Диккенса, и Теккерея, которых

объединял интерес к публичным повешениям, завораживал также вид живущих в неволе змей. Забавно, что оба они изобразили одну и ту же сцену кормления. Вот отрывок из теккереевского описания: «Громадный боа-констриктор глотает живого кролика — живого кролика, сэр, — и выглядит после этого так, словно с удовольствием проглотил бы впридачу одного из моих детишек». Так зоопарк приобретает в жизни жестокого и опасного города символическую роль. Тут, среди парковой зелени, жестокость укрощена, опасность сведена к минимуму. Тут сидит лев и, как сказано в стихотворении Стиви Смит, «плачет слезами рубиновой ярости».

Отметить здесь, что горожане, единообразно одетые и прогуливающиеся по зоопарку размеренным шагом, сами узники города, — значит повторить навязшую в зубах банальность. Это было общим местом еще в XIX веке, когда Гюстав Доре в своих карикатурах придавал лондонцам у обезьяньей клетки или у попугайского вольера черты животных. Звери у него, не оставаясь в долгу, рассматривают людей. Зоопарк между тем соотносится с городом еще по части шума и по части безумия. Нестройные или пронзительные звуки, издаваемые толпой, часто сравнивали

со звериными голосами, а о безумцах Бедлама в «Куортерли ревью» в 1857 году было сказано, что они напоминают «свирепейших хищников Зоологического сада». Сходство достаточно очевидное. Сумасшедших держали в клетках, и на них развлечения ради приходили посмотреть любопытные. Кричавшие «по-вороньему и по-совиному», мычавшие «по-коровьи» и ревевшие «по-медвежьи», умалишенные были «прожорливы и ненасытны как волки» и «безвольны как лошади». Иными словами, психически больной лондонец — это животное; определение смыкается с описаниями толпы как «Зверя». Город как таковой становится огромным зоопарком, где все клетки отперты.

Глава 46
И о погоде

Между Босуэллом и Джонсоном, когда они пребывали на лоне природы в Гринвич-парке, произошел такой разговор:

Джонсон. Ну не прекрасно ли?

Босуэлл. Да, сэр, но на Флит-стрит лучше.

Джонсон. Ваша правда, сэр.

Роберт Геррик, радуясь возвращению в Лондон из Девона в 1640 году, провозгласил:

Лондон — мой дом, хотя судьбой жестокой

Я был надолго изгнан в край далекий.

Жизнь в сельской местности — это жизнь в некоем печальном изгнании. «Хоть для жены оно спокойней так, — читаем мы в одном стихотворении XVI века, — избавь, избавь меня от сельских благ». В 1960-е годы одного вест-индского мальчика из Ноттинг-хилла послали на неделю отдыхать в уилтширскую деревню и по возвращении

спросили, как ему там понравилось. «Понравилось, — ответил он, — но это не Лондон, там на улице не поиграешь». «Мне нравится гулять по Лондону, — говорит миссис Дэллоуэй в одноименном романе Вирджинии Вулф (1925). — Куда лучше прогулок за городом». Горожанин порой воспринимает сельскую местность не как откровение, а как источник несвободы. Там, как выразилась в XIX веке одна девочка-кокни, «скука смертная — ни тебе качелей, ни каруселей, ни апельсинов, ни магазинов, ничегошеньки — одно голое широкое поле».

Город потому красивей сельской местности, что он богат человеческой историей. Ослепший Мильтон сетовал на то, что ему не суждено больше наслаждаться видами «этого прекрасного города». Он предвосхитил знаменитые размышления Вордсворта 3 сентября 1803 года о панораме Лондона, открывающейся с Вестминстерского моста. «Нет зрелища красивей на земле!» — восклицает поэт, один из величайших в XIX веке певцов сельской природы. Он в восторге от «прелести утра», заставляющего ослепительно сиять «суда и башни, храмы и театры»: «Никогда еще солнце прекрасней не погружало / В свое первое

великолепие долину, скалу или холм»[94].

Это яркое свидетельство восхищения городом оставлено человеком, чье поэтическое видение неизменно ассоциируется с сельским ландшафтом. Лондонские пригороды тоже «могут быть очень красивы, — писал в 1880-е годы Винсент ван Гог, — когда в негустой вечерней дымке опускается красное солнце».

Красота и симметрия города проявляются и иным образом: как писал Аристотель, «тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, — либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек»[95]. Иными словами, для людей город — что для рыб вода. Он — натуральная среда для тех, кто испытывает потребность оглядывать землю в поисках современников и сотоварищей. Если город «неестествен» — то скажем вместе с Генри Джеймсом, что он создал новое естество. «Великий город творит все, — писал он, — в том числе свой погодный мир и свои оптические законы».

---

[94] Примечания: 94

Подстрочный перевод.

[95] Примечания: 95

«Политика», перевод С. А. Жебелева. В Древней Греции понятия «государство» и «город» тождественны.

В городе теплее и суше, чем вне его, потому что загрязнение, которое он создает, приводит к удержанию тепла в пределах улиц и зданий, хотя парадоксальным образом делает в то же время солнечный свет более тусклым. Многие темные здания интенсивно поглощают энергию, и вертикальные поверхности устремленного вверх города хорошо приспособлены для улавливания лучей невысоко стоящего солнца; материалы, из которых построен Лондон, долго сохраняют тепло.

Но еще одним объяснением ощутимого подъема температуры при въезде в столицу служит само скопление большого числа людей на сравнительно малой площади. Воздух согревается телами жителей, и на современных картах, сделанных с помощью спутников, город предстает бледным островом в окружении коричневого и зеленого цветов. Двести пятьдесят лет назад о том же писал один наблюдатель XVII века: «Поток мужчин, женщин, детей, телег, экипажей и лошадей со Стрэнда на Биржу настолько силен, что говорят, будто зимой на этом протяженном участке улицы на два градуса по Фаренгейту теплей, чем у западного ее конца».

Лондонская погода демонстрирует и другие ва-

риации. Немалая часть Вестминстера и соседних с ним районов построена на месте древних болот, и туман и сырость здесь более ощутимы, чем где-либо еще; напротив, воздух Корнхилла, расположенного на возвышенности, свежее и суше.

В XVI веке лондонский климат произвел на ученого и алхимика Джордано Бруно впечатление «более умеренного, чем где бы то ни было по ту или эту сторону экватора: снег и жар не допущены до здешней почвенной основы, как и избыток солнечного тепла, о чем свидетельствует земля, неизменно зеленая и цветущая, пребывающая тем самым в состоянии вечной весны». В выборе слов здесь ощущается алхимический (или магический) оттенок, связанный со взглядом на Лондон как на воплощение мягкого алхимического огня.

Но дожди, дожди…

Летит за каплей капля дождевая,
Потопом горожанам угрожая.

Так Джонатан Свифт откликнулся на «городской ливень» осенью 1710 года. Годичные количества осадков измерялись с 1696 года, и цифры показывают, что к концу XVIII века ливней и потопов в Лондоне стало несколько меньше, но

в 1815–1844 годах произошел новый «всплеск». В 1765 году один заезжий француз отметил здешнюю сырость, из-за которой камины зажигали «даже когда без этого легко можно было обойтись»; по его словам, даже в мае во всех залах Британского музея горели камины «для убережения книг, рукописей и карт от сырости и влаги».

Случались и большие наводнения. В 1090 году взбунтовавшаяся река подхватила и унесла Лондонский мост. В 1236 году вода поднялась настолько, что посреди Вестминстер-холла можно было плавать на лодке; там же в 1579 году «вода, схлынув, оставила несколько рыб». Осенью 1547 года ручей Уолбрук, превратившийся в бурный поток, унес молодого человека, который попытался перейти его вброд; в 1762 году уровень Темзы поднялся настолько, что «подобного нет на памяти ни у кого». «Менее чем за пять часов, — пишет современник, — вода поднялась на двенадцать футов», так что «люди, случалось, тонули на больших дорогах». Даже в начале XX века Ламбет однажды затопило так, что к домам можно было приближаться только на лодках. Словом, воздух Лондона всегда был насыщен влагой и чреват ливнем.

Холод привычней лондонцам, чем летняя жара.

«С наступлением зимы не остается ничего, кроме Лондона», — говорит персонаж романа Элизабет Боуэн «Разгар дня» (1949). В холодное время Лондон становится в большей степени самим собой. Он тверд, высветлен и куда более жесток. Зимой 1739–1740 годов «бродяги замерзали насмерть… Птицы, окоченев, падали с неба, хлеб на рыночных лотках каменел». Тридцать лет спустя, согласно «Ежегоднику», выпущенному 18 февраля 1771 года, «малолетнего бедняка, который во вторник вечером, чтобы согреться, заполз в навозную кучу у одной лондонской конюшни, поутру конюх нашел мертвым». Тогда же «на Тряпичной ярмарке найдена была бедная женщина с младенцем у груди и другим ребенком, лет трех, лежащим рядом».

Мороз достигал такой силы, что регулярно замерзала Темза (за 1620–1814 годы это произошло двадцать три раза или около того): старый Лондонский мост замедлял движение воды до такой степени, что в холодное время года она останавливалась совсем. В 1281 году «Темзу между Вестминстером и Ламбетом переходили по льду»; в 1410 году «был великий мороз и лед по причине самой студеной зимы, какую видывали, и длилось это четырнадцать недель: люди в разных местах

переходили Темзу и переезжали верхом». В 1434, 1506 и 1515 годах река опять замерзала настолько, что телеги, верховые и экипажи легко переезжали по льду с одного берега на другой. В 1564 году во время «ледяной ярмарки» на замерзшей реке происходили танцы и состязания лучников. Стоу и Холиншед пишут, что накануне наступления 1565 года «там играли в футбол без всякой опаски, точно на суше; иные из состоявших при дворе, который находился тогда в Вестминстере, ежедневно упражнялись в стрельбе по мишеням, установленным на Темзе; мужчины и женщины ходили по Темзе в большем числе, чем по любой из улиц Лондона». В стремительно растущем городе река, таким образом, стала еще одной оживленной магистралью. Здесь упор делается на захватывающую новизну и необычные развлечения, однако сорок четыре года спустя, в 1608 году, общая лондонская атмосфера купли-продажи уже обернулась эксплуатацией самой погоды: на льду во множестве стояли торговые палатки — «фруктовщики, трактирщики, наливавшие пиво и вино, сапожники, да еще брадобрей в своем шатре». В 1684 году опять «Темза в черте Лондона была на манер городских улиц уставлена палатками со всеми видами услуг и торговли», так что

«на ней был, можно сказать, воздвигнут новый город». Лондон породил свое подобие, наделенное всеми приметами его бурной жизни: «медвежья травля, езда наперегонки верхом и в экипажах, кукольные спектакли и сценки, еда, хмельное питье и всяческие грубые увеселения — настоящая вакханалия или карнавал над водами». Сполна проявились здесь и опасности лондонской жизни: за считанные часы лед подтаял, и карнавала как не бывало; столетие спустя, в 1789 году, «лед внезапно треснул», из-за чего возникла «устрашающая картина» убытка и беды.

Холодные лондонские зимы тормозили не только реку, но и торгово-ремесленную жизнь. Зимой 1813/14 года у портных и сапожников замерзали воск и клей, из-за чего они теряли возможность работать. Поскольку на морозе портился шелк, сильно пострадало его производство в Смитфилде и других местах. Носильщики и кебмены, уличные торговцы и ремесленники не могли зарабатывать на жизнь. Резко повысились цены на уголь и хлеб. Директор одной из школ Сент-Джайлса докладывал, что «из семидесяти учеников его школы шестьдесят в тот день ничего не ели до полудня, когда он их немного покормил». Холодными зимами 1855, 1861, 1869,

1879 и 1886 годов происходили хлебные бунты; в последнем случае толпы безработных громили магазины центрального Лондона. В городе, таким образом, общественное спокойствие прямо зависело от погоды.

Налицо и другая взаимосвязь — между погодой внешней и внутренней. Зимой «на улицах чувствуется неопределенный спиртовой дух», ибо все, борясь с жестоким и проникающим холодом, «не переставая пьют, и помногу». Алкоголь «возбуждает сброд и толкает его на всякие непотребства». В этих записях, датируемых 1879 годом, дождевые струи сравниваются с потоками жидкой грязи; упоминаются желтые облака тумана, болезненное и затрудненное дыхание, полуденный мрак. Описание физического явления несет в себе огромный психологический заряд. Скверная погода на Рождество 1876 года, пишет Генри Джеймс — это «мрак, безлюдье и мокрый снег» в «сумрачном Вавилоне». Ноябрь был в Лондоне самым урожайным месяцем по части самоубийств, а во время «блица» зимой 1940/41 года погода действовала на лондонцев едва ли не сильнее, чем бомбежки.

Небо Лондона, как и его погода, может быть «большим» и «малым». Из иных городских

ущелий оно видится бесконечно далеким; оно становится уходящей вперед полосой, на всем протяжении стиснутой громоздящимися крышами и стенами. Но над широкими площадями Излингтона, где дома невысоки, и над западными муниципальными жилыми массивами «коттеджной» застройки мы видим другое небо — обширный шатер, накрывающий всю ближнюю местность. В «этом сыром низинном городе», пишет В. С. Притчетт, «небо очень много для нас значит». Вид облачной пелены, которая может обещать или не обещать дождь, тонкие различия в вечерних оттенках синего и фиолетового цветов — все это ощутимые знаки уникальной лондонской атмосферы. Панорама «Вид Лондона из Саутуорка» (ок. 1630) первой из всех оставила городу его небо. Изобразив плывущие с запада серые и белые облака, художник наделил картину невероятным простором и воздухом, и в этом новом освещении город точно задышал. Это уже не темная чащоба зданий под узенькой полоской неба, а открытый город, чьи башни и шпили тянутся в неземную высь.

Когда всю подвижную облачную массу окрашивает вечернее зарево полыхающего запада, зрелище небес становится головокружительным.

Однажды в январе 2000 года примерно в пять вечера облака были цвета красной розы с узкими промежутками темной небесной синевы.

Но небеса отражают не только солнечный свет, но и огни города, нынешняя яркость которого затмевает звезды. Вот почему типичное лондонское небо кажется низким, влажным и осязаемым, составляющим часть самого города с его хаосом огней и отблесков. Именно такое небо вдохновляло Тернера, жившего на Мейден-лейн, и Констебла, чей дом находился в Хемпстеде. Как писал Г. К. Честертон, «силы, создавшие лондонское небо, сотворили то, что знакомо всякому лондонцу и чего не видел ни один человек, здесь не побывавший».

Преобладающие ветры тут западный и юго-западный. На южном и западном фасадах собора Св. Павла явственно видны следы ветров и дождей, камень его стен с этих сторон «омыт, обветрен и выбелен непогодой». Однако благодаря этим ветрам западные районы города были сравнительно свободны от тумана и смога, окутывавших центр и восток Лондона. Восточный ветер был бедствием, поскольку дым и смрад ист-эндских фабрик распространялись тогда по всей столице.

Лондон был и остается городом сильных ветров.

В XI веке в Степни было семь ветряных мельниц; на первых картах города видны изображения ветряных мельниц в полях Мурфилдс и Финсбери. Ветряная мельница стояла на Стрэнде, еще одна — близ Ледер-лейн, еще одна — в Уайтчепеле, еще одна у Ратбоун-плейс. За Хеймаркетом и поныне существует Грейт-Уиндмилл-стрит (Большая улица ветряной мельницы), и много их было к югу от Темзы — в Ватерлоо, Бермондси, Баттерси и на Олд-Кент-роуд. В феврале 1761 года ветер, достигнув бешеной силы, до того раскрутил мельницу в Дептфорде, что «ее никак остановить не могли и она вспыхнула и вся сгорела с немалым запасом муки». Джон Эвелин писал, что в «городке Боу» беспрерывно дуют ветры, уменьшающие загрязненность воздуха, а Чарлз Диккенс удивлялся тому, что лондонские бури всегда особенно свирепствуют в Дептфорде и Пекеме. Кроме того, «я прочел о новых случаях больших разрушений в Уолуорте, когда вниз летели дымовые трубы и куски крыш».

Впрочем, в городе, саму основу которого составляют крайности, крайности погоды — вещь закономерная. В 1090 году могучий ветер повалил шестьсот домов и два десятка церквей. Зрелище стропил церкви Боу-черч, на двадцати-

футовую глубину воткнувшихся в каменистую грязь Чипсайда, с неизбежностью повлекло за собой призывы к публичному покаянию и укрощению гордыни перед лицом гнева Господня. Но горожане Лондона, при всем их благочестии, не в силах были отвратить бедствия подобного рода. В 1439 году был «великий ветер, который немалый ущерб причинил во многих местах»; он сорвал с францисканского монастыря свинцовую крышу и «многое повалил на возвышенной стороне Олд-чейндж», где упало столько «больших высоких деревьев, что по улице ни лошадь не могла пройти, ни повозка проехать». В 1626 году «ужасная буря с дождем и градом… с великим громом и молнией» разрушила кладбищенскую стену у церкви Сент-Эндрю, из-за чего обнажились многие гробы. О любопытстве лондонцев ко всему связанному со смертью говорит то, что «грубое простонародье» поднимало крышки гробов, желая «увидеть мертвые тела внутри». Во время этой бури над неспокойными водами Темзы возник странный туман — «изрядной ширины круглое колесо над рекой», которое затем «поднималось выше и выше, пока не пропало из виду». Мгновенно пошли разговоры о колдовстве и черной магии.

Вот как описывает Пипс великую бурю в январе 1666 года: «Ветер бушевал так… что валились дымовые трубы, а в двух или трех местах даже целые дома». В ноябре 1703 года буря неистовствовала девять часов — «все суда на реке вынесло на берег», барки разбивались об опоры Лондонского моста; с некоторых колоколен упали шпили, и во многих местах целые дома приподнимало и валило на землю. «Кровельный свинец самого высокого из домов скрутило как бумагу», и двадцать с лишним ночных прохожих было убито падавшими кирпичными трубами и кусками черепицы. Дэниел Дефо опубликовал описание «недавней ужасающей бури», где говорится, что буйство и завывание ветра были таковы, что «никто не дерзал покидать свои сотрясающиеся жилища, ибо снаружи было еще опасней»; «многие думали, что близится конец света».

В XVIII столетии над Лондоном пронеслось еще несколько ураганов — последний в 1790 году, когда с нового здания Стоунз-билдингс в Линкольнс-инн сорвало медную крышу «и она повисла вдоль фасада сплошным листом, напоминая большой занавес или парус». Ночью 16 октября 1987 года по столице ударил «лондонский ураган». Ему предшествовало два года необычай-

но холодной и ветреной погоды. В январе 1987 года в возвышенных районах Лондона выпало пятнадцать дюймов снега, куранты Биг-Бена перестали звучать, Темза замерзла от Раннимида до Санбери; в марте того же года на Морден вместе с дождем упал песок Сахары. Наконец, в октябре на город обрушился великий ветер. С жилых зданий башенного типа падали балконы, стены валились, с крыш летела черепица. Рыночные палатки поднимало в воздух, на земле после урагана лежали тысячи деревьев.

Из ряда вон выходящие природные явления обычны для Лондона; если город навлек на себя чуму и пожар, то почему бы ему не навлечь на себя бурю и землетрясение? За правление Елизаветы I (1558–1603) здесь произошло три землетрясения — первое длилось не более минуты, но «было таким жестоким, что многие церкви и жилища содрогались и несколько человек погибло». Сопровождалось это стихийное бедствие тем, что большие городские колокола зазвонили сами собой. «Из-за ударов колокола о молот при сотрясении» зазвучали и башенные часы в Вестминстере; можно подумать, сам город возвещал о случившемся в нем несчастье. Создается, кроме того, впечатление, что в катаклизмах была,

как говорится, своя система: оба последующих землетрясения в правление Елизаветы произошли в канун Рождества с промежутком в четыре года. Следующее заметное содрогание почвы случилось в феврале 1750 года, когда с интервалом в несколько часов горожане ощутили два толчка, второй из которых предварила «могучая, но нестройная молния, чьи вспышки быстро следовали одна за другой». Люди устремились на улицу в паническом страхе, что дома сейчас рухнут им на головы; наиболее мощные силы были явлены зрению и слуху в Вест-энде около Сент-Джеймс-парка, где «молния, казалось, двигалась в северном и южном направлениях с быстрым возвратом к центру, и сопровождал ее громкий шум сильнейшего ветра». Так Лондон поразили стихийные силы, вторгшиеся в его центральные районы; последнее подобное вторжение — по крайней мере из тех, что произвели ощутимый эффект, — случилось весной 1884 года. А потом явился туман.

Глава 47
Туманный денек

О нем упоминает уже Тацит, говоря о британской экспедиции Цезаря, так что призрачное его присутствие ощущалось в Лондоне с древнейших времен. Поначалу туман возникал по естественным причинам, но вскоре город забрал у природы бразды правления и сам взялся за сотворение своей атмосферы. Еще в 1257 году Элеонора Прованская, жена Генриха III, жаловалась на дым и на нечистоту лондонского воздуха, а в XVI веке, согласно одному источнику, Елизавета I «самолично была несказанно удручена и раздосадована запахом каменноугольного дыма». В XVI веке над столицей уже висела дымная пелена, и в зажиточных лондонских домах на потолках и стенах темнела копоть. Один из горожан, у которых Холиншед черпал сведения для своих «Хроник», отметил, что за последние десятилетия XVI века неимоверно увеличилось число домашних каминов и что дым в помещении считается предохранительным средством от древесной гнили и полезным для здоровья фактором. Мож-

но подумать, город радовался воцарившемуся в нем мраку.

В начале XVII века в загрязненном городе звучали многочисленные и разнообразные жалобы. В балладе 1603 года «Горящий уголь» Хью Платт посетовал на вред, причиняемый каменноугольным дымом растениям и зданиям; семнадцать лет спустя король Яков I «преисполнился сострадания из-за вреда, причиненного стенам собора Св. Павла, который того и гляди будет погублен по причине долгого разъедающего действия угольного дыма». Люди, кроме того, боялись пожара; можно не сомневаться, что вид и запах дыма на городских улицах пробуждал в них инстинктивный страх перед огнем.

В трактате «Fumifigium, или Беспокойство, причиняемое воздухом и дымом лондонским» (1661) Джон Эвелин сокрушается по поводу условий жизни в городе, над которым нависло «адское и гнетущее облако УГОЛЬНОГО дыма». Здесь важно упоминание ада — это одно из первых высказываний о связи между городом и преисподней. Темный и давящий покров создается «немногими дымоходами и трубами, принадлежащими лишь *пивоварам, красильщикам, обжигальщикам извести, солеварам, мыловарам* и некоторым иным

частным промышленникам, из чьих *отдушин* всякая *в одиночку* заражает воздух сквернее, чем все дымоходы Лондона, взятые вместе». В клубах сернистого дыма здесь вздымается призрак заразы. Город — в буквальном смысле гиблое место. Сходный образ возникает в книге того же периода «Характер Англии», где описан Лондон, окутанный «таким облаком угольного дыма, что воображению представляется некий ад на земле или же вулкан в туманную погоду; сей вредоносный дым разъедает само железо и портит всякую мебель и прочую движимость, оставляет копоть на всякой вещи, коей касается, и так губительно действует на легкие горожан, что кашель и чахотка не щадят никого». Именно в ту эпоху в метеорологических записях возникает упоминание о «великом вонючем тумане» и о том плотном дымовом покрове, что стал называться «городским плюмажем». Промышленный город, можно сказать, вышел из этой жуткой колыбели.

Хотя сохранились письменные свидетельства о больших туманах в прежние времена, принято считать, что туманную мглу сотворил Лондон XIX века. Безусловно, туман викторианской эпохи — самое известное метеорологическое явление в мире. Он оставил след всюду — в готической

драматургии и частной корреспонденции, в научных отчетах и романах, например, в «Холодном доме» Диккенса (1852–1853): «Я спросила его, не случился ли где-нибудь большой пожар. Ибо улицы были полны такого плотного бурого дыма, что сквозь него почти ничего не было видно. „Нет, что вы, мисс, — ответил он. — Это лондонский особый“. Я никогда о таком не слыхала. „Туман, мисс“, — пояснил молодой человек. „Вот оно что!“ — воскликнула я».

Этот «лондонский особый», поднимавшийся примерно на 200–240 футов над уровнем мостовой, создавали полмиллиона домашних дымовых труб и городские испарения, «в том числе те, что возникали из-за неисправной канализации». О цвете тумана сохранились разные отзывы. Он был то черным — «просто густая кромешная тьма посреди дня»; то бутылочно-зеленым; то желтым, цвета горохового супа, когда останавливалось все уличное движение и «нечем было дышать»; то «мрачного, насыщенного коричневого цвета, который наводил на мысль о каком-то невиданном пожаре»; то заурядно серым; то «испарениями оранжевого цвета»; то «темно-шоколадной пеленой». Как бы то ни было, все обращали внимание на перемены в его плотности — порой

его пронизывал дневной свет, порой перемешивались клубы двух разных цветов. Чем ближе к сердцевине города, тем темней становились эти оттенки, вплоть до «туманной черноты» в некой мертвой точке. В 1873 году произошло семьсот «добавочных» смертей, девятнадцать из которых постигло пешеходов, упавших в Темзу, в доки или в каналы. Иногда туманно-дымная мгла стремительно набегала и так же стремительно уходила под натиском ветра, но часто она стояла день заднем, и сквозь холодную желтизну лишь изредка проглядывало солнце. Десятилетием наихудших туманов стали 1880-е годы, а наихудшим месяцем всегда был ноябрь.

«Туман был гуще обычного — писал 8 декабря 1855 года Натаниел Готорн, — и действительно очень черный, более, чем на что-либо другое, похожий на квинтэссенцию грязи, на призрак ее, на рассредоточенное духовное тело усопшей грязи, сквозь которое, возможно, шествуют, перенесясь в Аид, усопшие лондонские горожане. Хмарь была так тяжела, что за всеми витринами горел газ; от маленьких жаровен, где женщины и мальчики поджаривали на древесном угле каштаны, шло красноватое мглистое свечение». Вновь городские условия приравниваются к

условиям ада, но с той добавочной ассоциацией, что по некой причине горожане втайне радуются своему бедственному положению и, пожалуй, гордятся им.

Туман, который был уникальной эманацией самого крупного и могущественного города на земле, не без самодовольства называли «лондонским особым». Дарвин писал о Лондоне, что «в его дымных туманах есть свое величие». Осенью 1888 года Джеймс Расселл Лоуэлл заметил, что живет среди желтого тумана: «кебы окружены нимбами», люди на улице «похожи на потускневшие фигуры фресок» — однако «это льстит самолюбию». Он был горд своей способностью выжить в столь тяжких городских условиях.

Туман творил свои собственные образы необъятности, непостижимости. «Все движения словно замедляются, — писал в XIX веке один французский журналист, — кажутся вялыми и призрачными, приобретают размытость галлюцинации. Уличные звуки приглушены, верхи зданий недоступны взгляду, о высоте их невозможно судить… Жерла улиц втягивают в себя, подобно туннелям, пешеходов и экипажи, которые, кажется, пропадают там навеки». Люди в этом тумане составляют «сплошную неисчислимую армию

несчастных маленьких человеческих существ; их одушевляет борьба за жизнь; туман придает всем одинаковую черноту; они идут по своим каждодневным делам и все повторяют одни и те же жесты». Туман превращает людей в неопределенные величины, в элементы обширного процесса, труднодоступного их пониманию.

Была у этой тьмы еще одна, весьма тяжкая для горожан, сторона. Все наблюдатели отмечали, что в лондонских помещениях очень часто даже днем горит газ и что уличные фонари кажутся огненными точками в миазматическом круговороте. Но темный туман опускался и на те многочисленные улицы, где не было никакого освещения, становясь покровом для воровства, грабежа и насилия, масштаб которых вырос беспрецедентно. В этом смысле туман был поистине специфическим, «особым» лондонским явлением: он усиливал и подчеркивал все мрачные свойства города. Тьма породила и представление о болезнетворности черных паров тумана. Если, как полагал социальный реформатор викторианской поры Эдвин Чадуик, «всякий запах — это болезнь», то нечего удивляться, что едкий дух лондонского тумана считался запахом заразы и порождал всеобщий страх. Казалось, по улицам

плывет содержимое миллионов нездоровых легких.

Туман зримо воздействовал на фактуру и цвет городской поверхности. Автор «Писем из Альбиона», написанных еще в 1810 году, замечает, что выше уровня мостовой «видны только голые кирпичные фасады зданий, почерневшие от угольного дыма»; одному американскому путешественнику бросилась в глаза «равномерная, тусклая закопченность» лондонских домов. Генрих Гейне, который в 1828 году сделал одно из самых глубоких и поучительных замечаний о Лондоне — «Этот непомерный Лондон перенапрягает воображение и разрывает сердце», — отметил, что «от сырого воздуха и угольной копоти эти кирпичные дома приобретают одинаковый цвет, а именно — оливково-зеленый с коричневым оттенком»[96]. Так туман — самое неприродное из природных явлений, оставляющих след на камнях, — стал частью физического строения Лондона. Возможно, он «перенапрягает воображение», помимо прочего, потому, что в этой «не дневной и не ночной» тьме весь город словно бы переходит во взвешенное состояние,

[96] Примечания: 96
Цитата дана в переводе В. Зоргенфрея.

становясь городом сокрытия и тайн, шепотов и удаляющихся шагов.

Туман можно назвать главным персонажем художественной литературы XIX века; писатели смотрели на него примерно так, как люди на Лондонском мосту, «перегибавшиеся через парапет, чтобы увидеть низовое небо тумана, который окружал их со всех сторон, словно они летели на воздушном шаре среди мглистых туч». Когда Карлейль назвал туман «газообразными чернилами», он имел в виду то, что туман создает неисчерпаемые возможности описания Лондона, как будто подлинные черты города проступают лишь в этой противоестественной тьме. В рассказах о Шерлоке Холмсе, которые Артур Конан Дойл писал с 1887 по 1927 год, город преступлений и неразгаданных загадок — это по преимуществу город тумана. В «Этюде в багровых тонах» туманным утром «над крышами висел серовато-коричневый полог, казавшийся отражением уличной слякоти». В «Знаке четырех» в «клубящемся, насыщенном влажными парами воздухе» с его «туманом и моросью» доктор Ватсон вскоре «потерял ориентировку… Шерлок Холмс, однако, точно знал, где мы едем, и вполголоса произносил названия площадей и извилистых улочек, по ко-

торым, погромыхивая, катился наш кеб». Лондон становится лабиринтом. Лишь если, пользуясь выражением путешественников и любителей достопримечательностей, ты «проникнешься атмосферой», ты имеешь шанс не заблудиться.

Возможно, величайший роман о лондонском тумане — это «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсона (1886), где повествование о тайной жизни и втором человеческом «я» разворачивается среди «переменчивого, зыбкого тумана». Во многих отношениях объектом превращения, подмены стал здесь сам город, который преображался, когда «туман на миг разрывался и сквозь крутящиеся клубы пробивался чуть живой луч дневного света»[97]. Где добро и зло живут и плодятся бок о бок, там странная судьба доктора Джекила не кажется такой уж невероятной. Вот на короткое время туман рассеялся, его завеса приподнялась, открывая взору питейное заведение, ресторанчик и «харчевню, где можно получить на пенни выпивки и на два пенса салата»; вся эта жизнь продолжается и под покровом темноты, почти неощутимая, как еле слышный ропот или шелест. Затем снова туман

[97] Примечания: 97

Здесь и ниже цитаты из романа Р. Л. Стивенсона даны в переводе Е. Лопыревой.

«опустился на эту округу, коричневый, как умбровая краска, и отрезал дом от всего окружающего». Опять-таки это черта лондонской жизни как таковой — быть отрезанным, изолированным, единичной пылинкой в завихрениях тумана и дыма. Одиночество среди хаоса — возможно, самое острое из неприятных городских переживаний всякого чужака или приезжего.

Элизабет Барретт Браунинг в 1856 году писала о «волнах великого городского тумана», стирающих все очертания и знаки города, «смывающих точно губкой лондонские шпили, мосты, улицы и площади». Страх перед этой незримостью активизировал проведение в жизнь программ строительства и украшательства, ставших отличительным признаком викторианского периода. В «Билдинг ньюс» за 1881 год читаем: «Дымный воздух на славу потрудился, чтобы покрыть самые ценные наши строения тонким налетом копоти… вскоре они превратились в темные, сумрачные массы… вся игра светотени пропала». Не случайно архитекторы облицовывали новые здания ярко-красным кирпичом и блестящей терракотой — они заботились о том, чтобы их творения оставались видимы. Черты архитектуры XIX века, которые могут показаться вульгарными

или кричащими, связаны с попытками не допустить утраты городом лица и внятности.

Находились, разумеется, и такие, кто превозносил достоинства тумана. Диккенс, вопреки своим же мрачным описаниям, назвал его однажды лондонской разновидностью плюща. Для Чарлза Лэма он был той промежуточной средой, что позволяла ему воспринимать и совершенствовать образы любого рода. Где одни видели лишь неимоверное количество вбрасываемых в толщу тумана сульфатов (особенно в Сити и в Ист-энде), там другим представлялось дымчатое марево, окутывающее реку и приречные районы «поэтической вуалью»: «бедные строения растворяются в тусклом небе, их высокие трубы превращаются в кампанилы, а склады ночью кажутся дворцами». Это восторженное описание принадлежит Уистлеру, художнику тумана, дыма и сумерек, и резко контрастирует с замечанием другого лондонца о набережной Виктории, построенной тогда же, когда Уистлер создавал свои проникнутые неповторимой атмосферой вещи: «Кому, спрашивается, придет в голову прогуливаться вдоль русла этой широкой, подернутой туманом, болезнетворной реки?» Но суждения Уистлера разделяли и другие художники, видевшие

в туманах Лондона ценнейшую примету этого города. Японский художник конца XIX века Ёсио Маркино заметил: «Реальные цвета некоторых лондонских зданий, возможно, грубоваты. Но туман делает эту грубоватую гамму великолепной! Например, дом, который я вижу из своего окна, покрашен черной и желтой красками. Приехав сюда летом, я рассмеялся над этой безобразной расцветкой. Но теперь зима, и в окутывающем этот дом тумане гармония его цветов поистине чудесна». Порой говорили, что лондонские здания лучше всего выглядят в дождь, словно их специально так построили и покрасили. С тем же основанием можно утверждать, что даже частные дома лондонцев проектируются с расчетом на приятный вид в туманной дымке.

Моне, живший в Лондоне с 1899 по 1901 год, приехал для того, чтобы писать туманы. «Туман в Лондоне — главная моя любовь… Именно туман придает ему величественную широту. Массивные правильные здания становятся в этом таинственном одеянии грандиозными». Это более деликатная версия того, что Бланшар Джерролд сказал Гюставу Доре, мастеру готических изображений тумана: «Я мог объяснить моему спутнику, что он наконец увидел одну из

тех знаменитых хмарей, что, по мнению всякого иностранца, почти ежедневно окутывают этот дивный и чудотворный Вавилон». Здесь туман предстает одним из источников городского великолепия, внушающего благоговейный трепет; он творит грандиозность, но ассоциация с Вавилоном наводит еще и на мысль о некой древней силе, первозданной и вековечной. Для Моне лондонский туман стал ключом к некой тайне; при взгляде на его картины, изображающие неуловимые атмосферные состояния и вечно изменчивые цвета, создается впечатление, что город вот-вот растворится или скроется навсегда. Художник пытается ухватить глубинную суть города, не зависящую от эпох и периодов. Изображая мост Чаринг-кросс-бридж, он придал ему мрачную громадность детища стихийных сил; перед нами не то колоссальный мост древних римлян, не то мост грядущего тысячелетия. Таков Лондон во всей своей сумрачности и мощи — мощи, чьим источником является именно его сумрачная тень. В туманной мгле или смутном фиолетовом свечении вырисовываются древние очертания, которые, однако, мгновенно преображаются под лучом внезапно выглянувшего солнца или при перемене освещения. Здесь опять-таки за-

ключена тайна — ее представляет нам Моне: эта окутанная пеленой громадность исполнена света. Она — чудо.

В начале XX века частота и плотность лондонских туманов намного уменьшились. Некоторые объясняют эту перемену усилиями Общества противников угольного дыма и разнообразными попытками заменить уголь газом; однако парадоксальным образом здесь могло сказаться само расширение столицы. Люди и предприятия рассредоточились теперь по большей площади, и напряженный, разогретый источник тумана и дыма полыхал уже не так яростно. Явление в целом стало предметом талантливой статьи Г. Т. Бернстайна «Таинственное исчезновение лондонского тумана в эпоху короля Эдуарда», где утверждается, что туман не был впрямую связан с использованием угля в качестве топлива. В частности, некоторые из грандиозных лондонских туманов возникали по воскресеньям, когда фабричные топки бездействовали. Будучи явлением отчасти метеорологическим, туман демонстрировал немало местных и специфических черт; к примеру, он особенно часто окутывал парки, приречные низины и районы с относительно слабыми ветрами. Бывало, он поглощал Паддинг-

тон, но оставлял в полной прозрачности воздух Кенсингтона, до которого меньше мили.

Писали, что «последний настоящий туман был „показан публике“ 23 декабря 1904 года или около этой даты»; он был чисто белым, и «кебмены вели лошадей в поводу, а перед еле ползущими омнибусами и некоторыми приезжими шли люди с фонарями… миновали один из крупнейших лондонских отелей и не заметили его». Впрочем, порой и в 1920-е, и в 1930-е годы столица неожиданно погружалась в «гороховый суп». Г. В. Мортон в книге «В поисках Лондона» (1951) вспоминает один такой туман, который «уменьшает видимость до одного ярда, каждый фонарь превращает в перевернутое V из светящейся дымки, а каждую встречу с прохожим — в сущий кошмар и ужас». Здесь опять возникает мотив страха, вносимого туманом в самое сердце города, и не случайно беркширские фермеры, когда восточный ветер гнал от Лондона в их сторону облака желтой мглы, называли происходившее от этого увядание растений словом *blight*, означающим также упадок и гибель вообще.

Туманы начала XX века вредили и тем, кто находился ближе. Киностудию «Столл филм» в Криклвуде приходилось на зиму закрывать,

потому что, как пишет Колин Соренсен в книге «Лондон на кинопленке», «в студии около трех месяцев хозяйничал туман». Здесь в очередной раз возникает элемент вторжения, агрессии; многие вспоминали, что стоило открыть уличную дверь частного дома, как в него врывались и свивались кольцами в углах сгустки пропитанного дымом тумана. «Извечный лондонский дым» находил и другие пути проникновения, не в последнюю очередь — сквозь вентиляционные люки; Артур Саймонс заметил, как «над отверстием бездны, клубясь, поднимается и плывет дыхание тумана, время от времени приобретая в фонарном свете мертвенный оттенок. Порой одна из дымных змей, качнувшись, отделяется от клубка и встает черно-желтой колонной».

Но наихудшим из лондонских туманов, судя по всему, был «смог» первой половины 1950-х годов, когда тысячи людей умерли от удушья и бронхиальной астмы. Иной раз в театрах стояла такая мгла, что из зала не видно было актеров. 16 января 1955 года после полудня установилась «почти полная тьма… Пережившие это явление говорили, что казалось, будто наступил конец света». В 1956 году под давлением общественности был принят «закон о чистом воздухе», но в

следующем году смог опять стал причиной смертей и болезней. Зимой 1962 года жестокий смог убил за три дня шестьдесят человек; видимость на дорогах была «нулевая», судоходство и железнодорожное сообщение замерли. В газетном репортаже факты даются без обиняков: «Вчера задымленность лондонского воздуха была в 10 раз выше нормальной для зимнего дня. Количество в нем двуокиси серы превысило норму в 14 раз». Шесть лет спустя вступил в силу второй, расширенный «закон о чистом воздухе», после чего лондонскому туману в старом его виде пришел конец. Уголь сдал позиции под натиском электричества, нефти и газа, а расчистка трущоб и обновление лондонских районов уменьшили тесноту городской застройки.

Но загрязнение среды отнюдь не прекратилось; подобно самому Лондону, оно просто изменило форму. Хотя город в целом находится теперь в «бездымной зоне», он полон окиси углерода и углеводородов, которые наряду с такими «вторичными токсическими загрязнителями», как аэрозоли, могут создавать так называемый «фотохимический смог». Загрязняющими факторами, кроме того, служат высокая концентрация свинца в лондонской атмосфере и общий рост солнеч-

ного нагрева из-за относительной прозрачности воздуха. Есть проблема озона, скапливающегося у земной поверхности; «температурная инверсия» приводит, в частности, к тому, что выбросы транспорта и электростанций не поднимаются в более высокие слои атмосферы, а задерживаются на уровне улиц. Туман, описанный Тацитом еще в I веке н. э., по-прежнему висит над Лондоном.

НОЧЬ И ДЕНЬ

Глава 48
Да будет свет

Вина за высокую смертность в Лондоне отчасти возлагалась на нехватку естественного света. В связи с этим отмечали, например, распространенность рахита. В книге Вернера «Лондонские тела» говорится, что на кладбище Сент-Брайдз-Лоуэр-черчард более 15 % детских скелетов, датируемых XIX веком, несли на себе следы этого заболевания; те же, кто не умирал в детстве, на всю жизнь оставались с «сильно деформированными конечностями». Неудивительно, что у людей развивалась тоска по свету — или, точней, инстинктивная тяга к нему. Если его нельзя было найти в естественном виде, его для удовлетворения нужд лондонца надлежало создавать искусственно.

Распоряжения об освещении улиц выходили еще в XV веке. В предрождественскую ночь 1405 года хозяин каждого дома у крупной городской магистрали должен был выставить фонарь, а десять лет спустя лорд-мэр приказал, чтобы фонари у этих строений постоянно горели с октября по

февраль каждый вечер от заката до девяти часов. Фонари делались не из стекла, а из полупрозрачного рога. Тьма средневекового Лондона была, так или иначе, весьма велика; кроме фонарей, ее умеряли факелы в руках у слуг, сопровождавших пешеходов или освещавших путь карете какого-нибудь лорда или епископа. В начале XVII века горожане часто пользовались услугами «линкбойз» — наемных факельщиков.

Великая перемена в освещении столичных улиц произошла лишь в 1685 году, когда некто Эдвард Хеминг «получил патент, дающий ему на годы вперед исключительное право освещения Лондона». За оговоренную плату он обязался безлунными вечерами с шести до двенадцати обеспечивать свет у каждой десятой двери. Впоследствии, однако, патент Хеминга был аннулирован, и девять лет спустя олдермены предоставили право освещения города компании «Конвекс лайт»[98]; само название говорит об отказе от рогового фонаря в пользу более тонких и сложных осветительных средств, использующих линзы и отражатели. Возникла мода на свет. В первые десятилетия XVIII века в связи

[98] Примечания: 98
Буквально: «Выпуклый свет».

с общим «благоустройством» Лондона освещение улиц приобрело первостепенную важность. Оно по-прежнему было средством обеспечения безопасности, и не случайно в 1694 году первой улицей, где установили стеклянные фонари, стала Кенсингтон-роуд, славившаяся разбойными нападениями. В 1736 году был принят закон, позволивший городским властям учредить особый «фонарный налог» с тем, чтобы улицы получили сносное ночное освещение; как пишет в «Истории Лондона» Стивен Инвуд, «это дало Сити 4000 часов освещения в год, тогда как до 1694 года было всего 300–400 часов, а в 1694–1736 годах — 750». Подобные налоги вводили и пригородные приходы; мало-помалу ночной Лондон преобразился.

В первые десятилетия XVIII века местные и приезжие наблюдатели отмечали его яркость, его «белые дороги». В 1780 году немецкий историк Иоганн Вильгельм Архенгольц писал: «Поскольку англичане не жалеют ни денег, ни внимания для того, чтобы придать всему общественному грандиозный и величественный вид, мы, естественно, ожидали, что Лондон будет хорошо освещен, — и действительно, с этим мало что может сравниться». Казалось, что год от года вечерние улицы становятся все светлей. В 1762 году

Босуэлл отметил «сияние магазинов и вывесок»; в 1785 году другой наблюдатель писал: «Во всем этом громадном городе нет ни единого неосвещенного угла… но по сравнению с магазинами все это бесчисленное множество фонарей дает лишь малую толику света». Представляется совершенно закономерным, что в этих двух замечаниях о лондонском сиянии ярче всего сияют магазины — средоточие коммерции и купли-продажи.

Но поскольку неуклонное нарастание яркости — вначале медленное, затем постепенно ускоряющееся, так что к концу XX столетия город стал едва ли не *слишком* ярким, — составляет отличительную черту Лондона, то, что одному поколению казалось ослепительным, следующему неизбежно покажется тусклым. Лондонское освещение XVIII века, которым город славился на весь мир, сорок лет спустя сочли жалким пустяком. Джон Ричардсон в мемуарах, опубликованных в середине XIX столетия, писал: «Сорок лет назад улицы освещались так называемыми приходскими фонарями. Фонарь заключал в себе маленькую жестяную емкость, куда до половины наливалась ворвань худшего сорта… Фитилем служил кусок крученой хлопковой веревки». Обычным уличным персонажем эпохи был соответственно

фонарщик, подобный тому, который на гравюре Хогарта из серии «Путь повесы» зажигает фонарь на углу Сент-Джеймс-стрит и Пиккадилли. Лицо у него придурковатое, если не сказать животное, и масло из его лейки течет на парик стоящего внизу повесы. Видимо, это была довольно-таки обычная уличная неприятность. Ричардсон дает свое описание фонарщиков: «Зажигали эти фонари и подрезали у них фитили промасленные типы, от которых несло Гренландским доком, и делали они это, доставляя всем прохожим немалые неудобства и подвергая их опасности, с помощью громадных ножниц, горящего факела из просмоленного каната и шаткой стремянки. Емкость для масла и фитиль помещались в корпус из полупрозрачного стекла… затемнявшего даже тот малый свет, что шел изнутри». Фонари эти если и чистились, то очень редко. Таким образом, по всем отзывам получается, что великая лондонская яркость XVIII века горожанам более поздней поры представлялась не более чем иллюзией. Современникам, однако, улицы не казались плохо освещенными: яркость Лондона была в точности такой, какой требовало их чувство социальной среды. Свет — относительная категория, зависящая от того, чем город озабочен

и на что он считает себя вправе рассчитывать.

Не случайно великая перемена произошла на заре имперской эпохи: с 1807 года масло начало уступать место газу. Впервые его применили на Бич-стрит и Уайткросс-стрит, где теперь построен жилой район Барбикан, а год спустя газ загорелся уже на Пэлл-Мэлл. Сохранилась карикатура Роулендсона 1809 года, озаглавленная «Взгляд на газовое освещение Пэлл-Мэлл». Один джентльмен, указывая на новый фонарь тростью, разъясняет: «Дым, пускаемый сквозь воду, лишается вещества и горит так, как вы видите»; не столь сведущий горожанин возмущен: «О Господи! Ежели он пускает сквозь воду огонь, скоро мы этак всю Темзу спалим!» На той же гравюре квакер заявляет: «Что это в сравнении со светом *внутренним*!», словно всякий прогресс технологии — профанация и не более. Здесь же проститутка говорит клиенту: «Ежели всюду будет так светло — прощай наш заработок. Хоть лавочку закрывай». Он на это отвечает: «Истинная правда, милая, — где тогда сыскать темный уголок?»

В 1812 году новым способом был впервые освещен мост (Вестминстерский). Эстер Трейл, женщина высокого ума, в 1817 году — под конец

своей жизни — писала: «Газ сияет так, что после захода солнца я совершенно потерялась. Наша старушка Темза, ныне перепоясанная четырьмя великолепными мостами, навряд ли помнит, сколь скромен был ее вид лет восемьдесят назад, когда развеселая публика, отправляясь в Воксхолл на барках, на одну сажала музыкантов, которые играли Генделеву „Музыку на воде“. Позже эту вещь никогда так не исполняли». Река, полностью обновленная газовым светом, дает повод к изумлению и замешательству. Даже музыка, играемая на воде, должна была, казалось, звучать теперь иначе.

Есть немало изображений новых уличных фонарей во всем их разнообразии, стилизованных под барокко или классицизм; порой показаны также газометры и многосложные реторты. Авторы рисунков и гравюр не упустили возможности высмеять минувшую эпоху фонарщиков, однако новое освещение тоже иной раз представлено с невыгодной стороны. Если на одной карикатуре из цикла, озаглавленного «Лондонский казус», фонарщик старых времен, стоя на своей стремянке, проливает масло на незадачливого прохожего, то на другой показан взрыв газа в аптеке. Боязнь воспламенения была одной из причин того, что в

жилищах до 1840-х годов газ использовался лишь в ограниченной мере. Тем не менее в 1823 году за рынок уже боролись четыре частные газовые компании, которые, проложив двести миль подземных магистральных труб, главным образом обслуживали опять-таки крупные магазины.

Лавки XVIII века с их узкими оконцами и кривыми стеклами освещались изнутри сальными свечками или мерцающими масляными лампами. Но в следующем столетии с возникновением новых больших магазинов мгла вечерних сумерек вдруг стала каждодневным «предвестьем такого сияния, каким солнце никогда не озаряет закоулки и расселины, по которым струится транспорт; широкие потоки газа метеорами вспыхивают во всех углах переполненного добром торгового зала». Новое газовое освещение, как считалось, не только изгонит с улиц порок и преступность, но и существенно повысит быстроту и объем торговли. Истинно лондонский свет! «Вечером — вот когда надо видеть Лондон! — писала Флора Тристан в „Лондонском дневнике“ за 1840 год. — Магически освещенный миллионами газовых огней, этот город поистине великолепен! Вот его широкие улицы, уходящие вдаль, вот магазины, где потоки света являют взору искря-

щееся многоцветье всего, что создал изощренный человеческий ум». Похожим энтузиазмом проникнуто описание Стрэнда, где «магазины — сама яркость, само чудо», и другой большой улицы, на которой «кажется, что магазины целиком сделаны из стекла». Закрадывается мысль, что великое новое сияние было сиянием бурно расцветающей коммерции.

Новый свет рождал, однако, и иное отношение к себе. Некоторым он казался резким и неестественным — пламенеющей эманацией искусственного города. Были и другие, кто ценил газ за тени, которые он отбрасывал. Он творил мягко-таинственный город, где внезапные световые озера окаймлены чернотой и безмолвием. В некоторых районах новый свет приглушало древнее лондонское естество; возвращались тени, а с ними тайна. Возможно, это отчасти объясняет быстроту, с какой Лондон привык к новому уровню освещенности. Духи лондонской старины, когда у них прошло ослепление от газовой яркости, вновь начали заявлять о себе. В одном переулке автор «Малого мира Лондона» увидел, что «стекло газового фонаря безжалостно выбито до последнего кусочка. От ночного ветра пламя колеблется и мерцает, бросая пятна судорожного

света на все разновидности нищеты, беды и порока, сбившиеся здесь в кучу, как в ночлежке». Газ вместо того, чтобы сиянием своим искоренять порок и преступления, здесь лишь подчеркивает беду обездоленных. В стихотворении Артура Саймонса, написанном в 1890-е годы, «Тусклый мокрый тротуар неровно освещен / Мерцающими струйками газового света, слабого и блеклого»[99]. Мы видим, что опять на первый план выходят мерцание, непостоянство и немощность городского света. Город словно бы проглотил свет — или, точнее, коренным образом изменил его природу. К примеру, на картинах, изображающих ночной Лондон поздневикторианского периода, темные городские формы под луной лишь пунктирно освещены чередой газовых фонарей. Парадоксальным образом освещение, которое казалось новым и революционным, вскоре стало ассоциироваться со всем, что непомерно обременено годами и историей. Кому воображение не рисовало газовых фонарей среди тумана? Постоянство, долговечность Лондона преобразуют даже самоновейшее изобретение в элемент его древней жизни. Желтый газ в старинных прямо-

[99] Примечания: 99
Подстрочный перевод.

угольных фонарях уступил место зеленоватым огням, танцевавшим, как светляки, в своих стеклянных бутылях; но и этот свет должен был, в свой черед, потесниться перед новой силой.

Впервые электрическое освещение было применено в 1878 году на набережной Виктории, за которой последовали Биллингсгейт, Холборнский виадук и два-три театра. Поскольку Лондон был тогда великим мировым центром мощи, более чем уместно, что первая в мире электростанция возникла именно здесь, по адресу Холборнский виадук, 57; ее построил в 1883 году Томас Эдисон, и не прошло и десяти лет, как, повинуясь тому коммерческому императиву, с которым ныне уже все свыклись, на Пиккадилли-серкус вспыхнули огни первой электрической рекламы. Город с самого начала взял новую яркость в оборот, причем опять-таки подчеркивали «золотой оттенок электрического света»; когда в сумерки загораются «золотые и серебряные фонари», магазины «ослепительно вспыхивают». От коммерциализации света уйти было невозможно. С другой стороны, об электричестве, как и о прочих способах освещения, говорили, что оно делает город нереальным и чужим. Один лондонец выразил мнение, что новый свет со-

общает человеческой коже «трупный оттенок», а на залитых светом улицах «толпа выглядит кричаще-яркой и чуть ли не опасной». Электрический свет был, кроме того, более «жестоким и больничным», чем его предшественники. Вскоре, однако, люди привыкли к электричеству и стали вспоминать газ снисходительно-ностальгически, подобно тому, как обитатели освещенных газом улиц думали о временах масляных фонарей. Артур Макен в начале 1920-х годов писал, что в газовом свете Лондон выглядел «сияющим и великолепным», однако теперь «я вспоминаю его сумрачным и угрюмым, обиталищем теней и скоплением темных закоулков, скудно освещаемым мерцающими и неровными желтыми огнями». Электричество двинулось по Оксфорд-стрит и Кенсингтон-Хай-стрит, по Найтсбриджу и Ноттинг-хиллу. От Пиккадилли по подвесному кабелю оно пошло к Риджентс-парку и Стрэнду. В 1914 году в столице уже работало семьдесят электростанций, превративших ее в генератор энергии и мощи.

Множественность поставщиков поначалу сделала Лондон очень неравномерно освещенным городом. Каждый из двадцати восьми административных районов сам договаривался с

электрическими компаниями, и поэтому в 1920-е годы быстро двигающийся автомобиль погружался то в поток яркого света, то в относительную темноту. Но ведь так было всегда с той поры, как город контрастов взял на вооружение контрастный свет. Артур Саймонс писал в книге «Облики Лондона»: «Мы освещаем Лондон беспорядочно, капризно, кто во что горазд, поэтому от ослепительного сияния до кромешной тьмы здесь порой один шаг». Однако обилие несчастных случаев на улицах в 1920-е годы побудило власти установить единый стандарт освещенности, что, в свой черед, повело к стандартизации фонарных столбов: высота — 25 футов, расстояние между соседними — 150 футов. Эту сторону лондонской жизни редко замечают даже самые вдумчивые из горожан, однако равномерность освещения на крупных улицах — это, возможно, самая существенная черта современного города.

Осенью 1931 года некоторые общественные здания были впервые освещены прожекторами; интерес и волнение были так велики, что улицы наполнились любопытными. Лондон словно бы раз за разом открывает себя заново. Однако девять лет спустя ночной город погрузился в глубочайший мрак военного затемнения, вернув-

шись в определенном смысле к средневековому состоянию. На улицах, как пишет Филип Зиглер в книге «Лондон военных лет», «множество людей шагало и шаркало в темноте, и в этом было что-то зловещее»; знакомые пути превращались в «непроницаемые тайны», что повергало лондонцев в испуг и смятение. Одна горожанка вспоминала, что нашла наконец дорогу, но лишь после того, как «вся взмокла от пота и вконец вымоталась». Грозы стали желанным явлением: вспышка молнии позволяла на миг увидеть знакомый угол или перекресток. Замешательство и паника такого рода могли возникнуть и в XIV или XV веке, однако тьма Второй мировой с особой силой подчеркнула, каким пугающим и таинственным Лондон все еще способен стать.

Осенью 1944 года, когда затемнение сняли, облегчение было ощутимым. «Нет больше чернильного мрака, все мягко освещено и сияет, и мокрый тротуар восхитительно отражает все лучики света». Эти «лучики» затем уступили место неону, ртути и флюоресцентному свету, так что в начале нового тысячелетия город озаряет небеса на много миль вокруг, став более ярким источником света, чем луна и звезды. Иных это возмущает, словно искусственный город каким-

то образом загрязняет теперь даже и космос. Однако по-прежнему многие улицы освещены лишь частично, а многие маленькие проезды и проулки вообще практически не освещены. По-прежнему можно, как триста лет назад, шагнуть из яркого света городской магистрали во тьму боковой улочки — шагнуть и испугаться.

Но имеется ли у Лондона свой естественный свет? Генри Джеймс писал, что «свет в него сочится и льется сквозь пелену облаков». Наблюдатели отмечали здешнее ощущение сырой и отуманенной яркости: видишь все точно сквозь слезы. Но Джеймс указывает и на «мягкость и богатство тонов, приобретаемые в этом воздухе предметами, едва они начинают удаляться». Строения и улицы растворяются вдали без той ясности освещения, что присуща Парижу и Нью-Йорку. Утверждалось, что нигде нет «такой игры света и тени, такой борьбы между солнцем и дымкой, таких атмосферных градаций и смешений». Ричард Джеффрис, который в апокалиптическим романе «После Лондона» (1885) изобразил город некой миазматической пустыней, был зорким наблюдателем этих «атмосферных градаций» — от желтого заката до «фиолетовой размытости» на юго-западе, от ослепительного летнего света до

красноты зимнего солнца, заставляющего улицы и здания «яростно пылать». О тонкой зеленовато-голубой дымке говорили как о свете, «который в Лондоне сходит за дневной»; она мягчила городской пейзаж, делая переходы более плавными, тогда как в парках висел «прелестный туман мягкого и приглушенного жемчужно-серого оттенка». Часто, однако, в уличном свете ощущается холод — то зимней серостью, то голубым туманом весны, то летней дымкой, то «оранжевыми осенними закатами». Все это извлекается из той огромности, чьим выражением служит лондонский свет, будучи, по словам Ипполита Тэна, эманацией «необъятного скопления всего, что создано человеком»; при этом «мерцание речных волн, рассеянный водяными парами свет, мягкие беловатые или розовые его оттенки, обволакивающие эти громады, осеняют исполинский город некой благодатью». Подобным ощущением огромности проникнуто и описание Вирджинии Вулф, где Лондон предстает «роем огней, над которым висел бледно-желтый полог. То были огни больших театров, огни протяженных улиц, огни, обозначавшие громадные кварталы домашнего уюта, — огни, которые возносились высоко над землей. Никакая тьма не опустится

на эти светочи, как не опускалась на протяжении веков». Огни Лондона сияют вечно. С воздуха эти огни кажутся необъятной световой паутиной, простершейся на многие мили. Город не остынет никогда. Он так и пребудет в состоянии белого накала. Однако где свет — там также и тень, там и ночной мрак.

Глава 49
Ночь в городе

Сохранилось много описаний лондонской ночи. Этому предмету всецело посвящены книги с такими названиями, как «Городские ночи» или «Ночная жизнь». В 1874 году Джеймс Томсон назвал Лондон «городом страшной ночи». Не исключено, что этот город именно ночью делается вполне самим собой и вполне живым. Вот где источник его завораживающей силы. Эффект возникает в предвечерние сумерки — в угрюмый полутемный час «дымовых труб и почерневших домишек… грязных мостовых и невзрачных проулков», когда, говорит Джулиан Вулфрис в книге «Писать о Лондоне», становится очевидна «зловещая, грозная, чудовищная бесчеловечность необъятного города». Все эти характеристики датируются XIX веком, однако ночные ужасы предшествующих столетий не менее впечатляющи. С самых ранних пор улицы ночного Лондона были небезопасны. В девять вечера звучал сигнал тушения огня, после чего предполагалось, что все питейные заведения будут закрыты и

горожане будут находиться дома. Однако из пьес, стихов, стихотворных посланий и сатирических памфлетов конца XVI и начала XVII века все же возникает образ городской ночи. Томас Берк в «Улицах Лондона» цитирует, к примеру, следующее стихотворение:

> *Распугивают простаков и расфуфыренных шлюх,*
>
> *Выкручивают дверные молотки, со столбов и дверей*
>
> *Стирают зарубки молочниц и иных торговцев,*
>
> *Обращают в бегство стражу, дерут глотку на улицах,*
>
> *Зачерняют сажей вывески и совершают прочие подвиги...*[100]

Так забавлялись «бедовые», чьи выходки были довольно невинными по сравнению с тем, что творили под покровом темноты бандиты, воры и насильники. Драматург конца XVII века Томас Шадуэлл писал, что примерно «в два часа ночи проходит глашатай, зловещим голосом распевая песенки похуже, нежели может сочинить

---

[100] Примечания: 100
Подстрочный перевод.

благонравный поэт детской; следом являются мерзавцы, которые будят людей варварскими звуками, поднимая рожками своими шум более адский, чем тот, что мы слышим в театре перед выходом ведьм». Из пьес и свидетельств, подобных приведенному, явствует, что ночью в городе было почти так же шумно, как днем, с той лишь разницей, что ночные звуки, погружавшие весть о времени с ее собственным режущим слух рефреном в мешанину выкриков и свистков, были бешеней и отчаянней. Если прислушаться, можно было разобрать примерно такое: «Кто идет?.. А ну, гони кошелек!.. Онемел, что ли? Говори давай!»

«В уши мои со всех сторон летели оглушительные серенады, — писал в начале XVIII века Нед Уорд. — Тут тебе и суровый похоронный звон, и громыхание карет, и заунывное пение продавцов печеных груш и яблок… я не видел ничего, кроме света, и не слышал ничего, кроме шума». Здесь подчеркивается неестественность лондонского позднего вечера, который наполняют не тьма и молчание, воспетые поэтами сумеречного пейзажа, а свет и шум. Когда Сэмюэл Пипс сопровождал по ночным улицам леди Полину Монтегю, она ужасалась «на каждом шагу».

Возможные причины ее страха обрисованы в

поэме Джона Гея «О ночном хождении по улицам», составляющей часть его «Trivia» (*trivium* по-латыни — место слияния трех улиц, перекресток, а также всякая вообще крупная улица или дорога). Ночью на «оживленной улице» движению пешехода постоянно мешают балки, приставные лестницы и низкие навесы. «Со всех сторон доносятся шаги», лошадиное ржание и мычание быков; неуступчивые возницы толкаются бортами карет и хлещут друг друга кнутами; на улицах завязываются потасовки вплоть до того, что их участники «сцепясь, катаются в грязи». Гей упоминает одно место на Стрэнде, особенно славившееся ночными транспортными заторами, — окрестности церкви Сент-Клемент-Дейнз, которая служила массивным препятствием уличному движению. На улицах по обе стороны от нее не было столбиков, отделяющих мостовую от тротуара, и результатом была сутолока карет, лошадей и пешеходов, усугублявшаяся тем, что со стороны Темзы по узким боковым улочкам на Стрэнд выезжали груженые фургоны. Одинокому пешеходу оказаться в гуще толпы было поистине опасно. Если тебя не ударят, не толкнут и не обругают на чем свет стоит, то запросто могут сдернуть парик или вытащить что-нибудь из

кармана — батистовый платок, часы, табакерку; в таком случае к ночной какофонии добавлялся вопль: «Держи вора!» Пешеход рисковал угодить под колеса экипажа или быть отпихнутым в сторону носильщиками портшеза, но еще более опасны были открытые углубления подвалов, откуда днем продавали всевозможные товары. Под ногами была обильная грязь, а сверху

Льют содержимое ночных горшков,

Распахивая окна чердаков.

Доволен будь, коль жидкость там одна…

Звуки кулачной драки или крики о помощи благоразумней всего было оставлять без внимания.

Ночью даже дома лондонцев не всегда уберегали их от уличных вторжений и тревог. 21 марта 1763 года около двух часов ночи у Босуэлла в его жилище на Краун-стрит в Вестминстере погасла свеча. Спустившись на кухню, он стал искать трутницу, чтобы высечь огонь, но не нашел. «Меня тут же одолели мрачные мысли об ужасах ночи». Наружная тьма рождала внутренний страх. «Меня пугало еще, что мой домохозяин, у которого всегда при себе пара заряженных

пистолетов, примет меня за вора и пристрелит». Раз владелец дома клал подле своей постели пистолеты, значит, опасность вандализма и краж была очень велика; приходит на ум привычка Сэмюэла Джонсона всегда брать с собой, отваживаясь выйти на улицу, увесистую дубинку. Босуэлл «поднялся к себе и тихо сидел, пока не услышал возглас ночного сторожа: „Четвертый час“. Тогда я крикнул ему, чтобы он постучал в дверь дома, где я квартирую. Он сделал это, я ему открыл и без опасений зажег свечу от его огня». Этот эпизод лондонской жизни, несмотря на краткость, врезается в память: крик ночного сторожа — обращение Босуэлла — торопливое зажигание свечи.

Здесь чувствуется некая интимность, которую в XIX веке лондонская ночь утратила. Горожан викторианской эпохи тьма страшила и завораживала. В этот период у лондонских художников возник «ночной» жанр, а в театрах шли такие мелодрамы, как «Ночной Лондон» (1845), «Когда наступает ночь, или Повесть о лондонской жизни» (1868). Поэзия эпохи — от Даусона и Лайонела Джонсона до Джорджа Мередита и Теннисона — полна образов и ассоциаций, связанных с мраком городской ночи. Этот мрак преследовал вообра-

жение лондонцев. Редьярд Киплинг, вспоминая свое юное житье в лондонских меблированных комнатах, писал: «Здесь впервые в жизни ночь ударила мне в голову».

В середине XIX века развилась мода на «ночные прогулки» — на очерки и эссе, где одинокий пешеход движется по темному городу без определенной цели, примечая по пути все достойное внимания. Чарлзу Диккенсу ночные хождения помогали смягчать боль от невзгод; он много ходил по городу в детстве, и даже ночной лик Лондона дарил ему странное успокоение. Сколь бы ни были остры его личные беды, существо, зовущееся Лондон, пребудет вовеки — массивное, осязаемое. Ночной город, можно сказать, был подлинным его домом и неким образом составлял часть его личности. Поэтому Диккенс шел «под перестук дождя… шел, шел и шел, не видя ничего, кроме нескончаемого переплетения улиц, — разве что порой на углу стояли, переговариваясь, двое полицейских». Теперь это был поднадзорный, охраняемый город с блюстителями порядка на перекрестках; анархия и экстравагантное буйство, о которых писал в 1710-е годы Джон Гей, ушли в прошлое. Тишина викторианского Лондона — тишина необъятности. Уплатив пол-

пенса сборщику мостовой пошлины, который сидел, укутавшись, в своей будочке, Диккенс по мосту Ватерлоо перешел Темзу, которой чернота и отсветы огней придавали «жуткий вид» и на которую «словно давила тенью своей лондонская огромность». Это самая заметная черта ночного города в XIX и XX столетиях: «огромность» гигантской столицы, распространяющей во мраке свой гнет. Перейдя мост, Диккенс миновал театры Веллингтон-стрит и Стрэнда, где «ряды зрительских лиц стушевались, огни погасли, кресла опустели». Здесь Лондон представлен в миниатюре как один обширный темный театр. Знаменательно, что далее Диккенс идет к Ньюгейтской тюрьме, чтобы коснуться «ее грубого камня». Лондон — в равной мере театр и тюрьма. Ночью его подлинные лики выступают яснее, очищенные от случайностей дня.

Пройдя мимо Дома правосудия, он двинулся в Вестминстер и дошел до аббатства, которое «торжественно напомнило» ему о том, что «неисчислим сонм усопших одного этого великого древнего города, и если бы все они встали из гробов, пока живые спят, на улицах и в переулках для живых не осталось бы места даже с маковое зернышко. Мало того — несметное войско мерт-

вецов заполнило бы загородные холмы и долины и растеклось бы вокруг Бог знает как далеко».

Может быть, об этом же думал Джордж Гиссинг, наследник диккенсовского восприятия города, восклицая: «Ночной Лондон — вот зрелище! Рим в сравнении с ним ничто». Присутствие прошлого — или мертвых — вот что придает картинам ночного Лондона особую силу и остроту. Из городов мира Лондон, кажется, наиболее тесно населен своими умершими и громче всех отзывается на шаги минувших поколений. При этом физическая ткань старого города отнюдь не осталась неповрежденной. Гиссинговское сравнение с Римом здесь уместно: в «вечном городе» сохранилось так много руин былого величия, что духу прошлого не хватает пространства для цветения. Лондонское же прошлое — род скрытой, но плодоносной памяти, где можно скорее ощутить, чем увидеть воочию присутствие прежних поколений. Лондон — город отзвуков, богатый тенями, и когда ему, как не ночью, являть свое естество?

Чарлз Мэнби Смит, еще один любитель ночных блужданий в середине XIX века, заметил в эссе «Двадцать четыре часа лондонских улиц», что малейший звук громко отдается от громадных жилых и общественных зданий и что его соб-

ственные шаги рождают такое эхо, словно «тебя сопровождает какой-то невидимый спутник». Он слышал тишину среди стен старого Сити — тишину тем более пугающую и давящую, что она наступала после «гулкого, рокочущего, похожего на прибой» дневного шума.

Это знаменует глубокую перемену в городской жизни, распространявшейся с годами все дальше за пределы древнего Сити: место, самое густонаселенное днем, становилось самым безлюдным с приходом ночи. В Сити уже тогда мало кто жил — и еще меньше людей живет там сейчас, в начале XXI века. Население неуклонно покидало былые центры проживания ради периферии. Это главная причина относительной тишины и спокойствия в Лондоне на протяжении последнего столетия.

Предвосхищая позднейшие состояния лондонской среды и атмосферы, вышеназванный пешеход середины XIX века описывает «бесконечные вереницы погруженных в безмолвие улиц, отчетливо размеченные длинными упорядоченными рядами фонарей по обе стороны мостовой». Это взгляд на город как на бесчеловечное, механическое образование. «Трудно представить себе зрелище, которое столь же явственно указыва-

ло бы на исполинский размер этой непомерно разросшейся столицы. Мертвая немота, которой охвачены эти длинные пустые авеню, устрашает ум и заставляет воображение пешехода блуждать, забираясь все дальше и дальше». Так ночной Лондон становится городом мертвых; безмолвие XIX века продолжалось в XX и продолжается в XXI столетии.

В «Лондонских ночах», опубликованных в 1925 году, говорится, что «ночью сильнее, чем днем, ощущается власть прошлого»; идя туннелем под Темзой, «вы испытываете такое же чувство, с каким тысячелетия спустя осматривали бы гробницы погребенного Лондона». В этом смысле Лондон становится бесконечным городом: «Лондон — все города, какие были и будут». В беспредельности своих пространств он выявляет подлинную природу человеческого сообщества. Вот почему по ночам лучше других видимы те горожане, у кого нет жилья. «Зимними ночами в какие только дыры, в какие углы не забиваются бездомные, чтобы отоспаться! Убежищами им служат развалины полуразрушенных домов, спускающиеся с виадуков лестницы, закутки Блэкуоллского туннеля, ниши массивных зданий, паперти церквей». За прошедшие годы в

этом отношении ничего не изменилось. Главным местом сбора бездомных как была, так и остается набережная Виктории, несмотря на весь холод и всю сырость, идущие от Темзы. Можно подумать — ночью им слышится некий зов реки.

Есть, конечно, такие улицы, что в нынешнем столетии ни в какой ночной час не покажутся пустыми. В их числе Олд-Комптон-стрит в Сохо, Аппер-стрит в Излингтоне и Куинсуэй в Бэйсуотере. Как и раньше, работают ночные рестораны, например, на Сент-Джон-стрит и на Фулем-роуд. Но общее впечатление от нынешнего ночного Лондона — безмолвие и скука. Ощущения реальной опасности нет, есть только чувство, что можно идти до рассвета и до нового рассвета, а улицам, застроенным по обе стороны, так и не будет конца. Торговые центры и отдельные крупные магистрали оборудованы камерами наблюдения, которые ни на миг не дают тебе почувствовать себя совершенно одиноким.

Камеры — проявление одного из отличий современного Лондона. Он стал внимателен к самому себе, он без устали наблюдает за своими жителями, словно бы подначивая их на всплески буйной, жестокой энергии, какими отличались их предки. Так или иначе, ночная тишина ни-

когда не бывает полной; ее нарушают гудение неоновых ламп, сирены полицейских машин и «скорой помощи». Издали доносится неумолчный рокот транспорта, а вот уже на востоке искусственный свет бледнеет — близится рассвет.

Глава 50
Городское утро

«Дай вам Бог, господин мой, доброго утречка — шестой час, погода прекрасная». Так ночной сторож в XVII веке возвещал рассвет — время, когда большинство горожан пробуждалось и готовилось к дневным трудам.

Как и сейчас, восток города и засыпал, и просыпался раньше, чем запад. На рынках вовсю кипела жизнь, из ближних сельских районов фургонами уже был привезен свежий товар. Лондонцы постоянно жаловались, что их то и дело будят ни свет ни заря стук колес и ржание лошадей, сопровождающие доставку овощей и фруктов на Леденхоллский и Ковент-гарденский рынки. 11 августа 1712 года эссеист Ричард Стил опубликовал великолепное описание садоводов, плывущих вниз по реке с товаром для различных городских рынков: «Я десять судов с абрикосами выгрузил у *Стрэнд-бриджа,* а допрежь завернул в *Найн-элмс* и взял дыни — их от купца тамошнего мистера Каффа надо было доставить „Саре Сьюэлл и компании“ в *Ковент-гарден».* У

Стрэнд-бриджа они разгрузились в шесть утра — как раз в то время, когда расходились по домам после ночной работы возницы наемных карет. Трубочисты, проходя мимо молодых торговок фруктами, «игриво шутили» насчет дьявола-искусителя и Евы (в точности этих шуток Стил не приводит). Сохранились и другие описания, где фигурируют бухающие копытами на рассветном рынке ломовые лошади, от которых валит пар, спящие на мешках ломовые извозчики, вереницы носильщиков, доставляющих овощи и фрукты к лоткам.

В шесть ученики ремесленников и торговцев уже отпирали ставни, зажигали огни, выставляли напоказ товары. Они мыли тротуары у своих лавок, а служанки, работавшие в зажиточных домах, мели ступени перед входными дверями. Уличные торговцы, певцы, трубочисты готовились идти по своим маршрутам — а народу на улицах между тем все прибывало. Год от года уличная жизнь становилась заметно оживленней. В XVIII веке было постановлено, что торговцы сыром «не должны выставлять сыр и масло на самый край подоконников и водружать бочонки на пути у прохожих, чем они немало могут испортить дорогих камзолов и шелковых

платьев». Это одно из многих указаний на общую тесноту. Дневное столпотворение было извечным и первостепенным признаком городской жизни: «Брадобреи и трубочисты не имеют законного права пачкать прикосновением хорошо одетых господ, предлагая затем свести счеты поединком». Были и другие профессии, чьих представителей лучше было обходить стороной — например, пекарей с мукой и тестом на фартуках, торговцев угольной крошкой, мясников в окровавленных кожаных передниках, свечников, которые могли капнуть на тебя из корзины растопленным салом. Звучали постоянные жалобы на возчиков, заезжавших с мостовой на тротуар, и на строительных рабочих, которые по запруженным улицам несли на плечах лестницы или доски.

Таким образом, не только ночью, но и днем от горожанина требовалось «искусство хождения по лондонским улицам». Старались придерживаться некоторых правил. Женщинам давали дорогу ближе к стенам домов, чтобы толпа не выталкивала их на мостовую; надлежало помогать бредущему ощупью слепцу. Никогда не спрашивай дорогу у ученика — эти юные озорники славились обыкновением засылать чужаков

невесть куда. Лучше всего было попросить помощи у лавочника или мелкого торговца. Хочешь справить нужду — ищи какой-нибудь двор или «укромный уголок». На Уотлинг-стрит и Ладгейт-хилл лучше не соваться — там несметные толпы; куда удобней Стрэнд и Чипсайд, где тротуары пошире. Однако, на какой бы крупной улице ты ни оказался,

Вот и газетчик с новостями дня,
Уж крик везде, грохочет мостовая,
Спешит торговец, лавку открывая.

В начале XIX века социальное разграничение профессий и районов города сопровождалось появлением различных резко очерченных городских типов. В восемь и десять утра совершали обход вест-эндские почтальоны в красных униформах; из Ист-энда в сторону центра отправлялись уличные музыканты и старьевщики. Клерки, работавшие в частных фирмах, шли по Стрэнду к Адмиралтейству и Сомерсет-хаусу, правительственные же служащие обычно приезжали на Уайтхолл и Даунинг-стрит в четырехколесных «брумах».

Утренний людской прилив — вот что это было. Журналист XIX века Дж. О. Сейла хорошо знал его

составляющие: «Кассира частного банка можно узнать по белой шляпе и кожаному жилету, биржевого брокера — по обыкновению нестись по Ладгейт-хиллу в догкарте, а порой в тандеме… еврея-комиссионера — по аляповато-роскошной одноконной карете… кондитера и мыловара — по удобному двухместному экипажу», а владельца склада — всего-навсего «по гетрам».

Между девятью и десятью утра омнибусы доставляли тысячи людей к Английскому банку, а на Темзе многочисленные «быстрые чумазые пароходики» забирали пассажиров с пирсов Челси и Пимлико, у Хангерфордского и Саутуоркского мостов, у моста Ватерлоо и Темпла, чтобы высадить у Лондонского моста. Аппер-Темз-стрит и Лоуэр-Темз-стрит были «полны муравьиного копошения щеголеватых клерков, диковинно разбавленных торговками рыбой и портовыми грузчиками».

Лондонское утро было «жадно» до людей, и, столь же ненасытные, «вскоре их заглатывают прожорливые конторы». И не только конторы, но и мастерские, склады, фабрики. В питейных заведениях открывались бары. Недолгий свой бизнес вершили торговцы печеной картошкой и кофейные лоточники. В Вест-энде уже вовсю тру-

дились чистильщики обуви и коммивояжеры, а совсем неподалеку во дворах и переулках из домов выплескивалась громадная армия бедняков. В XIX веке бытовало выражение: «От них уличную дверь насилу закроешь», и даже в бедных кварталах утро приносило с собой «отчаянную, яростную веселость», словно начало дня с его невзгодами могло породить лишь истерический отклик.

Повседневная жизнь Лондона подчинена жесткому, настойчивому ритму. Открывается и закрывается биржа, наполняются клиентами и пустеют банки Ломбард-стрит, вспыхивают и гаснут огни магазинов. В последние десятилетия XIX века поезда и омнибусы доставляли из пригородов в центр громадные множества пассажиров. То, что город всасывает утром, он извергает вечером — так поддерживается его сердцебиение, извечная пульсация людской энергии и массы. Именно это имела в виду Шарлотта Бронте, писавшая: «Я повидала Вест-энд с его парками и прекрасными площадями, но Сити мне нравится куда больше. Сити намного серьезнее; его бизнес, его быстрота, его шум — все это такие серьезные явления, виды, звуки… Вест-энд развлекает, Сити — глубоко волнует». Ее «глубоко волновал» сам

процесс городской жизни, осуществлявшей на свой манер ритмичность ночи и дня.

К шести вечера, когда по удару часов почтовые служащие запирали ящики для писем, бизнес-смены и их клерки уже успевали покинуть Сити, оставляя эту часть города лавочникам и все убывавшим в числе жителям. Людской прилив сменялся отливом — по тысячам улиц горожане возвращались в свои дома. Как писал Диккенс о своих героях в финале «Крошки Доррит», «спокойно шли они вперед, счастливые и неразлучные среди уличного шума, на солнце и в тени, а люди вокруг них, крикливые, жадные, упрямые, наглые, тщеславные, сталкивались, расходились и теснили друг друга в вечной толчее»[101], чтобы вновь явиться на следующее утро.

И если бы эти люди проснулись пятьдесят или сто лет спустя, они, несомненно, смогли бы влиться в инстинктивное движение часа пик. Есть, впрочем, одно отличие. Окажись лондонец XIX века в Сити XXI столетия — скажем, на Чипсайде в сумерки, когда конторские служащие и компьютерные операторы расходятся по домам, — он изумился бы упорядоченности и

[101] Примечания: 101
Перевод Е. Калашниковой.

единообразию их шествия. Возможно, он приметил бы знакомый тип или распознал выражение задумчивости, а то и тревоги на ином лице; может быть, ему не в новинку был бы и прохожий, что-то бормочущий себе под нос; но эта общая тишина, этот недостаток человеческого тепла и дружеского разговора вполне могут вызвать беспокойство.

ЛОНДОНСКИЕ РАДИКАЛЫ

Глава 51
Кларкенуэлл, где твой родник?

У Артура Макена есть рассказ с описанием места в Стоук-Ньюингтоне, где иногда можно увидеть волшебный пейзаж, а изредка даже и войти в него. Возможно, это где-то рядом с Эбни-парком — несколько запущенным кладбищем близ Стоук-Ньюингтон-Хай-стрит. На этой улице жил Дефо, здесь же нехотя ходил в школу Эдгар Аллан По. Зачарованное место это мало кто видел, и мало кто даже имеет о нем понятие — но видевшие не могут говорить ни о чем другом. Рассказ (он называется «N») написан в начале 1930-х годов, но впоследствии внимательному взору являлись и другие волшебные места Лондона. Увидеть их и почувствовать их силу может всякий, кто того пожелает. Один из таких участков — окрестности Кларкенуэлл-грин.

Вопреки второй части названия, здесь нет никакой особенной «зелени»; это небольшая площадь, окруженная домами, посреди которой находится вышедшая из употребления общественная уборная. По обе стороны — узкие улицы, от которых,

в свой черед, ответвляются другие улицы и переулки. На «грин» имеются рестораны, два паба, коммерческие конторы, офисы архитекторов и консультантов по «пиару». Словом, типичный и рядовой участок центрального Лондона. Но поблизости дает о себе знать и иной, более древний город. Совсем рядом с Кларкенуэлл-грин — фрагменты церкви XI века и странноприимного дома при монастыре, где группировались рыцари-тамплиеры и рыцари-госпитальеры; церковная крипта сохранилась до наших дней. Чуть южнее крипты — ворота Сент-Джонс-гейт начала XVI века. Они тоже сохранились. В северной части Кларкенуэлл-грин в Средние века был «родник клириков», давший этому месту название. В XVIII и начале XIX столетия о роднике напоминал лишь сломанный железный насос, вделанный в фасад жилого здания; впоследствии насос восстановили и забрали стенкой из толстого стекла. Здесь же находилась сцена, где «с незапамятных времен» разыгрывались мистерии, и надо сказать, что Кларкенуэлл не одну сотню лет славился своими спектаклями. Есть сведения о том, что во дворе гостиницы «Красный бык» к востоку от Кларкенуэлл-грин в театральном представлении впервые приняли участие женщины. Это один

из многих примеров преемственности, которой Кларкенуэлл и его окрестности пронизаны до самых глубин. Но начинать — так уж лучше с начала.

По археологическим данным, в доисторические времена здесь располагалось поселение или стоянка — следовательно, эта часть Лондона была непрерывно обитаема в течение многих тысячелетий. Унылость или дряхлость, которую подметили здесь такие разные писатели, как Джордж Гиссинг и Арнольд Беннетт, возможно, объясняется усталостью от долгого человеческого житья с его заботами и бедами.

Впервые район упоминается в ранних документах собора Св. Павла: в VII веке он вошел во владения епископа и каноников этого церковного учреждения. В XI веке Вильгельм I пожаловал эту землю, лежавшую в пределах поместья Степни, одному из самых удачливых своих сподвижников — Ральфу Фицбрайану, который стал кларкенуэллским ленным владельцем, обязанным рыцарской службой епископу Лондонскому. Здесь стоит отметить, что Кларкенуэлл находился за городской чертой Лондона и принадлежал к графству Миддлсекс.

Наследники Ральфа, став владельцами по-

местья Кларкенуэлл, пожертвовали землю и постройки двум религиозным организациям. Примерно там, где сейчас стоит церковь Сент-Джеймс, возник женский монастырь Сент-Мэри, а немного юго-восточней, по другую сторону Кларкенуэлл-грин, был основан монастырь рыцарей-госпитальеров Сент-Джон-оф-Джерусалем. Так что начиная со Средних веков Кларкенуэлл знали и отличали по его связям с религиозным, духовным миром. Будучи первым монастырем, принадлежащим Ордену иоаннитов (госпитальеров), Сент-Джон-оф-Джерусалем служил сборным пунктом для крестоносцев; постепенно он рос и присоединял к себе соседние участки. Женский монастырь Сент-Мэри тоже не упускал случая расшириться, но, как всегда бывает, жизнь города в свой черед нет-нет да и прорывалась сквозь его стены.

В 1301 году настоятельница обратилась к Эдуарду I с петицией, прося «дать управу и избавление, потому как люд лондонский топчет и губит монастырские поля и луга своими мираклями и состязаниями в борьбе, а доходу от них никакого нет и не будет, ежели только король не возымеет жалость, ибо дикие они люди и мы ничего супротив них не можем и закон не спасает». Это одна

из первых характеристик лондонцев как «диких» людей, и интригующе звучит замечание настоятельницы о том, что миракли — «их» затея; это бросает совершенно иной свет на средневековый театр, который считается всецело религиозным. Двумя поколениями позже монастырь Сент-Джон подвергся еще более «дикому» и яростному нападению: в 1381 году люди Уота Тайлера подожгли в каменных зданиях ордена то, что могло гореть. Монастырь сильно пострадал, хоть и не был полностью разрушен, а настоятеля обезглавили на месте, ибо он был главным сборщиком налогов для короля Ричарда II. Стоя лагерем на Кларкенуэлл-грин, люди Тайлера глядели, как полыхают зал собраний и опочивальня рыцарей, а вместе с ними — контора, винокурня, прачечная, скотобойня, конюшни и многие другие помещения. Казалось, что весь Кларкенуэлл в огне.

Одной из самых известных улиц округи была Тернмилл-стрит, получившая такое название благодаря мельницам (mills) на реке Флит. Ее называли также Тернбулл-стрит (bull — бык) из-за пересекавших ее гуртов скота, который гнали к Смитфилдскому рынку. В конце XII века из-за «грязи, навоза и прочего», что сбрасывалось во Флит, санитарное благополучие района

оказалось под угрозой; столетие спустя Генрих IV приказал «прочистить реку». Он также обязал власти «починить каменный мост около Тримилл-стрит». Это был отдаленный предок моста над линией метрополитена, который чинили в конце 1990-х годов.

Общественные работы не могли, однако, повысить общественную репутацию Кларкенуэлла; находясь за чертой города, он стал прибежищем отверженных и тех, кто не хотел жить по закону. Так с самого начала он сделался обиталищем группировок, стремившихся отделиться и отмежеваться. В 1414 году некто Уильям де Парчментер с Тернмилл-стрит приютил лолларда — сэра Джона Олдкасла — и был за такое гостеприимство повешен, выпотрошен и четвертован. Позднее Кларкенуэлл давал приют иезуитам и иным противникам англиканской церкви — район «прослыл папистским логовом»; в конце XVI века на Кларкенуэлл-грин были казнены трое подозреваемых в католицизме. Под угрозой новых преследований католики ушли, чтобы 235 лет спустя вернуться в новом обличье: Кларкенуэлл стал итальянским кварталом. В промежутке в этом районе собирались разнообразные диссидентские религиозные

группы — квакеры-либертарианцы, браунисты, фамилисты, схизматики (тайные католики). Еще одно проявление лондонской преемственности — на сей раз в гонениях и бунтарстве. Впоследствии район облюбовали франкмасоны, чья штаб-квартира находилась в «доме заседаний» на Кларкенуэлл-грин.

Начав как убежище для еретиков-лоллардов и других религиозных радикалов, Тернмилл-стрит вскоре приобрела более легкомысленную репутацию. Указ 1422 года, предписывавший «упразднить в городе публичные дома», отмечает эту улицу особо, но, поскольку формально она находилась вне города, административные меры мало ее затрагивали. В 1519 году кардинал Вулси предпринял облаву на злачные места Тернмилл-стрит и переулка с игривым названием Кок-элли[102]. «Прости-прощай, о Тернбулл-стрит, — писал в 1600 году анонимный автор „Зарока весельчака“, — / Тех радостей уж нет». Э. Дж. Берфорд в книге «Лондон: многогрешный град» реконструировал топографию этой улицы, от которой ответвлялось по меньшей мере девятнадцать «отростков» — переулочков, двориков, тупичков.

---

[102] Примечания: 102
Cock *(англ.)* — половой член.

Тамошние условия обычно характеризовались как «отвратительные», что применительно к Лондону XVI века, видимо, означает такую мерзость, какую сейчас и представить себе нельзя. Один из этих двориков составлял в длину всего двадцать футов, в ширину — два фута шесть дюймов, так что «гроб оттуда выносить — надо набок поворачивать». Тернмилл-стрит очень часто фигурирует в городских анналах как средоточие преступности и проституции. В 1585 году «Бейкерс-хаус, Тернмилл-стрит» упоминается как известный притон «безначальственного люда и таких, что пробавляются воровством и иным непотребством». Семь лет спустя в памфлете «Мечта нежного сердца» говорилось, что на Тернмилл-стрит владельцы берут «сорок шиллингов в год за каморку с дымным очагом… где живет несколько таких венерических дев». Кларкенуэлл в целом и Тернмилл-стрит в частности были связаны с проституцией и в XVII веке. В 1613 году Джоан Коул и еще трех «шлюх с Тернмилл-стрит» по приговору суда провезли, хлеща кнутами, по улицам на тачках; одну из них — Хелен Браун — нашли «в похабном доме на Тернбулл-стрит в темном погребе», где она пряталась.

Если вы выйдете из метро на станции «Фар-

рингдон-роуд», повернете налево и немного пройдете, то окажетесь на этой самой Тернмилл-стрит. Левую ее сторону образует стена, за ней — железнодорожные пути, проложенные там, где некогда текла река Флит. На правой стороне — непритязательные офисы и склады. О бурном прошлом улицы и ее окрестностей напоминают лишь кое-какие маленькие улочки — Терксхед-ярд (ранее — Булл-элли), Брод-ярд на месте Фраинг-Пэн-ярда былых времен, Бенджамин-стрит, проложенная в 1740 году. Слышны, однако, отзвуки и более далекого прошлого. У самого конца Тернмилл-стрит еще недавно действовал ночной клуб сомнительной репутации под названием «Тернмиллс». Воспоминания Фрэнки Фрейзера, члена знаменитой лондонской банды, озаглавленные «Сумасшедший Фрэнки», начинаются так: «В 1991 году репортер „Индепендент“ малость ошибся, когда написал, что меня застрелили около ночного клуба „Тернмиллс“. В тот раз я отделался двумя днями больницы». Улицы, подобные этой, вызывают в памяти данную Генри Джеймсом характеристику Крейвен-стрит, которая ответвляется от Стрэнда: по его словам, она «так насыщена пережитым, что темнеет в глазах». Но если существует такая вещь, как

непрерывность опыта, как преемственность жизни, то не связана ли она с самой территорией, с местной топографией? Не служат ли сами улицы и переулки источниками тех или иных видов деятельности или фигур наследственного сцепления времен?

Площадь Кларкенуэлл-грин замечательна и в других отношениях. Вторжение в Кларкенуэлл Уота Тайлера и его людей — пример извечного радикализма этого места; в поношениях, звучавших здесь в адрес богатых монахинь женского монастыря, слышен голос обездоленных и голос независимой, непокорной личности. Отдаленные последствия этих событий поистине многочисленны и сложны. Великий популист и демагог Джон Уилкс, увековеченный в лозунге «Уилкс и свобода!», родился в 1727 году совсем недалеко — на Сент-Джеймс-клоуз. Одним из первых мест, где происходили собрания эгалитаристского Лондонского корреспондентского общества, была таверна «Бычья голова» на Джерусалем-пассидж чуть восточнее Кларкенуэлл-грин, а в 1794 году «кларкенуэллские толпы напали на сборные пункты рекрутов у Баттл-бриджа и на Маттон-лейн в конце Кларкенуэлл-грин» — напали, без сомнения, с такой же яростью, с какой лондонцы

XIV века громили Кларкенуэллский монастырь. Весной 1798 года «в низкопробном питейном заведении в Кларкену-элле» была схвачена группа заговорщиков-радикалов под названием «Объединенные англичане»; год спустя нескольких членов группы «Объединенные ирландцы» арестовали в таверне «Лошадиная голова» на Сент-Джон-стрит, которая ведет от Кларкенуэлл-грин к Смитфилду. Ясно, что здесь — настоящий рассадник подрывных элементов.

В 1816 году Генри Хант, один из лидеров чартистов, добивавшихся всеобщего избирательного права, выступал перед толпой из 20000 человеку таверны «Пещера Мерлина» чуть северней Кларкенуэлл-грин. Десять лет спустя Уильям Коббетт на самой этой площади выступил на митинге, направленном против «хлебных законов». В 1832 году Национальный союз трудящихся созвал митинг на Колдбат-филдс к северу от Кларкенуэлл-грин в порядке подготовки к «национальному съезду — единственному средству обретения и обеспечения прав человека». В назначенный день «некто в новехонькой белой шляпе воспламенял прохожих декламацией отрывков из брошюры под названием „Реформатор“ и во всеуслышание заявлял, что людям, доведенным

до такой крайности, пора открыто взяться за оружие». Подобные мысли высказывались в этой части города много раз на протяжении многих столетий.

Массовый митинг сопровождался волнениями, приведшими к гибели полицейского, — и все это в непосредственной близости от Колдбатской тюрьмы, одного из нескольких исправительных учреждений района. На карте Лондона, созданной Джоном Роком в 1780-е годы, район Кларкенуэлла представлен как весьма жестко регулируемая зона; как пишет составитель «Истории Лондона в картах», «на Кларкенуэлл-грин имелись караульная будка для охраны порядка, тюрьма для правонарушителей, позорный столб для них же и турникет для проверки проходящих». В этом центре радикализма власти особый упор делали на контроль и надзор. На карте Рока видна и Кларкенуэллская тюрьма, находящаяся чуть к востоку от «грин».

Эта печально знаменитая тюрьма была построена в 1775 году и включала в себя ряд подземных коридоров с камерами. В ней содержались многие радикалы и раскольники, и ее стали называть «тюрьмой еретиков». О ее заключенных У. Дж. Пинке писал в «Истории Кларкенуэлла», что «они

были прискорбно невежественны и суеверны, и великой радостью для них было, рассевшись в кружок, рассказывать про свои приключения и сновидения; они передавали друг другу истории о духах». Среди заключенных «новой тюрьмы» в Кларкенуэлле был некто Джон Робинс, который «заявлял, будто он — Всемогущий Бог… Ричард Кинг утверждал, что его жена беременна от него ребенком, который станет спасителем всех достойных… Джоан Робинс сказала, что ждет ребенка и что в утробе у нее Иисус Христос». Совсем близко оттуда — в сумасшедшем доме на Ашби-стрит — содержался Ричард Бразерс, самозваный «пророк потерянного колена Израилева», «отданный на заклание Агнец Откровения». Квакеры, которые в середине XVIII века «ждали знамения», встречались в Пил-корте близ Сент-Джон-стрит; в 1830 году на Сент-Джон-сквер — там, где в старину располагался монастырь госпитальеров, — был учрежден «молитвенный дом вольномыслящих христиан». Вновь следы преемственности.

Беспорядками 1832 года история кларкенуэллских радикалов не кончилась. Пять лет спустя не где-нибудь, а на Кларкенуэлл-грин торжествен-

но встречали «толпаддлских мучеников»[103], вернувшихся из ссылки, годом позднее на том же месте состоялся крупный чартистский митинг. В 1842 году премьер-министр Роберт Пиль «запретил митинги на Кларкенуэлл-грин», однако местом встреч чартистов в тот период была кофейня Ланта (Кларкенуэлл-грин, 34). Радикалы собирались и в других точках поблизости — например, в пабе «Нортамберлендский герб» (Кларкенуэлл-грин, 37). В пабах района устраивали сходки и профессиональные союзы. В частности, изготовители серебряных ложек — в «Короне и кружке» на Сент-Джон-стрит, плотники — в «Адаме и Еве» на Сент-Джон-стрит-роу, серебряных дел мастера — у церкви Сент-Джон-оф-Джерусалем. «Справочник профессиональных союзов» приводит девять из них, чьи регулярные встречи происходили в Кларкенуэлле. В 1850-е и 1860-е годы беспорядки и митинги в том районе продолжались. Происходили марши, начинавшиеся на Кларкенуэлл-грин. К числу возмутителей спокойствия добавились ирландские радикалы фенианского толка из «Патриотическо-

[103] Примечания: 103

«Толпаддлские мученики» — шесть человек, образовавшие один из первых в Великобритании профсоюзов сельскохозяйственных рабочих и сосланные за это в Австралию.

го общества», которые регулярно собирались в пабе «Голова короля» на Боулинг-грин-лейн чуть северней Кларкенуэлл-грин. В 1871 году в месяцы Парижской коммуны «на одном из фонарных столбов Кларкенуэлл-грин висел красный флаг, а над ним — фригийский колпак». Неудивительно, что в печати и на сценах мюзик-холлов название района стало синонимом политического радикализма.

Впрочем, не все действовавшие там силы были разнузданно-оголтелыми. Одним из жертвователей в фонд, целью которого было «обеспечить место для политических лекций и дискуссий, независимое от содержателей таверн, на которых давят, и от чиновников, выдающих им лицензии», стал Джон Стюарт Милль. Место было выбрано «в районе, хорошо известном демократическимсилам Лондона». «Лондонский патриотический клуб» открылся в доме 37а по Кларкенуэлл-грин, где некогда была школа для детей валлийских диссентеров. Двадцатилетняя история клуба — это «история радикальных вопросов и тем». Как исходную точку демонстраций и массовых митингов его использовали Элеонора Маркс-Эвелинг, Чарлз Брадло и Кропоткин. Но может быть, самым интересным гостем клуба

был один из последних. В 1880-е годы в том же здании возникла социалистическая типография, и в 1902 году Владимир Ильич Ленин каждый день приходил с Перси-серкус, где он жил, на Кларкенуэлл-грин по делам, связанным с изданием подпольной революционной газеты «Искра». Тут можно вспомнить, что еще в XVII веке печатников Кларкенуэлла осуждали за публикацию «богохульной и подстрекательской» литературы. Эта многовековая традиция или линия деятельности продлилась и в XX веке, когда редакция коммунистической газеты «Морнинг стар» находилась чуть западнее Кларкенуэлл-грин — на Фаррингдон-роуд. В 1990-е годы «Биг ишью» — журнал для бездомных и безработных — издавался в нескольких шагах к югу от «грин», в тех самых местах, куда шестьсот с лишним лет назад привел свое мятежное войско Уот Тайлер.

Мы видели, как в течение долгого времени на одном крохотном участке, вначале находившемся за чертой города, а затем поглощенного расширяющейся столицей, повторялись все те же формы деятельности. То, что Ленин стал преемником печатников XVII столетия, могло, конечно, быть простым совпадением. То, что чартисты, Лондонское корреспондентское общество

и профсоюзы избирали для митингов и демонстраций один и тот же район, можно, конечно, объяснить привычкой, обычаем или своего рода радикальной памятью сообщества. Может быть, и случайно беспорядки XIX века произошли там же, где в XIV веке бушевал мятеж. Редактор «Биг ишью» заверил автора настоящей книги, что, выбирая место для редакции журнала, он не имел ни малейшего понятия о радикальной истории Кларкенуэлла.

Но подобных участков в Лондоне хоть отбавляй. К примеру, одновременно с тем, как Кларкенуэлл обретал черты вдохновителя или пособника радикальной деятельности, другой лондонский район — Блумсбери — мало-помалу вырисовывался как центр оккультизма и маргинального спиритуализма. Когда великий лондонский мифограф Уильям Блейк завершал свое ученье у гравера на Грейт-Куин-стрит, напротив мастерской его работодателя сооружалось прихотливое здание масонской ложи. Это была первая городская штаб-квартира приверженцев культа, вызывавшего в то время много споров. Они верили, что их достоянием стало некое тайное знание, идущее из времен до Всемирного потопа. Перед постройкой этого большого «дома заседаний»

они встречались в таверне «Голова королевы» на Грейт-Куин-стрит, и на той же улице без малого сто лет спустя собирались члены оккультного Ордена золотого рассвета. Теософское общество заседало на Грейт-Расселл-стрит, а за углом — напротив Блумсбери-сквер — и поныне существует Общество Сведенборга. В ближайшей округе действуют два оккультных книжных магазина, а в находящемся неподалеку районе Севен-Дайалс в XVII веке подвизались астрологи. Вновь ощущается некая концентрация однонаправленных сил, долгое время то ли случайно, то ли нет сохраняющих активность на малом участке всего из нескольких улиц.

Приходит на ум и другая улица с церковью на ней, бросающая выразительный свет на Лондон как таковой. Как пишет Стивен Инвуд в «Истории Лондона», в старину церковь Сент-Стивен на Коулмен-стрит была «твердыней лоллардов»; в начале XVI века она стала центром зарождавшегося лютеранства, где продавались еретические тексты. В 1642 году на Коулмен-стрит, которая «была верна пуританской партии», укрылись от опрометчивой попытки ареста, предпринятой Карлом I, пятеро членов парламента, обвиненных в измене. Улица стала «их оплотом». Шесть

лет спустя на ней же встречался со своими приверженцами Оливер Кромвель — это явствует из материалов суда над Хью Питерсом после Реставрации:

> **Обвинитель.** Мистер Гантер, что вы можете сказать по поводу встречи и собеседования в «Звезде» на Коулмен-стрит?
>
> **Гантер.** Милорд, я прислуживал в «Звезде» на Коулмен-стрит… в этом заведении обыкновенно встречались и совещались Оливер Кромвель и еще некоторые из его партии.

В тот период симпатии приходского начальства и паствы были всецело на стороне пуритан. В 1645 году «поблизости от Коулмен-стрит» еженедельно происходили публичные лекции, организуемые пуритански настроенными женщинами. После лекций завязывались споры, перераставшие в «свалку и беспорядки». Несколько лет спустя на «тайном молитвенном собрании» в переулке, ответвлявшемся от Коулмен-стрит, «опасный фанатик Веннер, бондарь и милленарист, проповедовал перед „воинами царя Иисуса“ и побуждал их учредить Пятое царство». Во время анабаптистских волнений «эти чудища собрались в

своей молельне на Коулмен-стрит, там вооружились и, проведя подкоп, пришли в сумерки к собору Св. Павла». Даже Реставрация не заставила Коулмен-стрит порвать со своим пуританским прошлым: старый проповедник, в 1633 году получивший приход Сент-Стивен, создал после падения республики Кромвеля диссентерскую «тайную молельню», где совершал богослужения для «легковерных прозелитов — погибших душ с Коулмен-стрит и других улиц». Читаем также о «радикальных конгрегационалистах, обитающих в том квартале», в числе которых «Марк Холдсби с Коулмен-стрит, приход Сент-Стивен».

Все это указывает на обширную преемственность, охватывающую несколько веков — от времен лоллардов до эпохи анабаптистов; вновь налицо признаки некой судьбы или целенаправленности в жизни определенных лондонских улиц. «Камни и отдельные участки этой великой пустыни имеют свои предначертания, и предначертания эти сбываются» — писал Артур Макен. В частности, есть определенные «кварталы, которым суждено быть убежищами».

Итак, тайная жизнь Кларкенуэлла, подобно его роднику, берет начало на очень большой глубине. Создается впечатление, что многие обитатели

района впитали его донкихотскую, горячечную атмосферу; возможно, здесь, за городской чертой, столь странным существам вольготнее было цвести. На Колдбат-сквер проживала миссис Льюсон, умершая в возрасте 116 лет; в начале XIX века она все еще носила платье 1720-х годов, заработав благодаря этому прозвание «леди Льюсон». Она занимала одну комнату большого дома, где тридцать лет «лишь изредка подметали, но никогда ничего не мыли». Как пишет У. Дж. Пинке в «Истории Кларкенуэлла», «она никогда не мылась, считая, что мытье — это верная простуда или путь к еще какой-нибудь ужасной болезни; вместо этого она смазывала лицо и шею топленым свиным салом, которое ценила за мягкость и маслянистость. Затем, желая изобразить румянец, она малевала на щеках бледно-розовые пятна». Ее дом был укреплен засовами, досками и железными прутьями, чтобы никто не смог в него проникнуть, и она никогда ничего не выбрасывала — даже «золу не выносили из дома по многу лет; она словно бы с какой-то определенной целью сгребалась в ровнехонькие кучки, похожие на клумбы». Лондонская история знает и другие подобные случаи: известно много примеров старых женщин, для которых время вдруг

останавливалось, причем носили они, как правило, белую одежду, служившую эмблемой не то смерти, не то девственности. Возможно, для тех, чья жизнь потерпела ущерб от непредсказуемого, бесчеловечного города, это был единственный способ обороняться от случайностей, перемен и катастроф.

Другой кларкенуэллской леди, жившей вне лондонского времени, была герцогиня Ньюкаслская, прозванная «безумной Медж». Она разъезжала в черной с серебром карете в сопровождении лакеев, одетых в черное; мало того — «из-за прыщей у нее вокруг рта было много черных пятен, — писал Сэмюэл Пипс 1 мая 1667 года, — ...и на ней был черный жюстокор[104]». Эта дама в черном писала труды по эмпирической философии, известнейший из которых был озаглавлен «Описание нового мира, называемого Пламенеющий Мир». «Труды мои, — сказала она однажды, — подобны бесконечной Природе, не имеющей ни начала, ни конца, и беспорядочны, как хаос, в котором нет ни системы, ни последовательности. Здесь все перемешано без разграничения, как свет и тьма». Пипс, почитав

[104] Примечания: 104
Жюстокор — род мужской верхней одежды.

ее книги, назвал ее «сумасшедшей женщиной, заносчивой и нелепой».

Но если малый участок города, подобный Кларкенуэллу, способен стать источником деятельности того или иного рода, то не исключено, что свое собственное влияние порой оказывает и отдельная улица или здание. В том же доме, где жила герцогиня Ньюкаслская, всего пятнадцать лет спустя поселилась другая безумная герцогиня. Герцогиню Албемарл смерть мужа «сделала настолько богатой, что гордыня свела ее с ума, и она дала зарок никогда ни за кого не выходить замуж — только за принца или монарха. В 1692 году граф Монтегю, представившись императором Китайским, завоевал руку и сердце помешанной, которую неизменно держал затем в заточении». Зато она пережила его на тридцать лет — и до конца оставалась верна своей безумной гордыне. Она требовала, к примеру, чтобы слуги, являясь к ней, преклоняли колени, а уходили пятясь. Стоит отметить, что дом, где обитали обе сумасшедшие, располагался в точности там, где в Средние века был монастырь бенедиктинок.

На Пентонвилл-роуд в приходе Кларкенуэлл жил знаменитый скряга Томас Кук. Чтобы получить еду и питье даром, он, «идя по улице,

притворно лишался чувств у дома того лица, на чью щедрость рассчитывал». Напудренный парик и пышные кружева воротника и манжет наводили на мысль, что он респектабельный горожанин. Его вносили в дом и для подкрепления сил поили вином и кормили. «Несколько дней спустя он являлся к своему благодетелю на дом точнехонько к обеду — якобы для того, чтобы поблагодарить за спасение…» Чернила он выпрашивал в разнообразных конторах, которые посещал с этой целью, а писчей бумагой, как пишет Пинке, разживался, «утаскивая листы с кассового стола в банке, куда ходил ежедневно». Словом, истинный лондонский оригинал, хитроумно использующий городскую среду в своих целях. Вместо цветника он устроил у себя огород, где выращивал капусту, удобряя землю своими и жениными экскрементами, — зря у него, как видим, ничего не пропадало. Летом 1811 года, лежа на смертном одре, он отказался переплачивать за лекарство, уверенный, что проживет не более шести дней. Его похоронили у церкви Сент-Мэри в Излингтоне, и «иные из бывших на похоронах бросали на гроб, когда его опустили в могилу, капустные кочерыжки». Так или иначе, это была жизнь, почти совершенная в своей последова-

тельности, — жизнь уроженца Кларкенуэлла, редко выбиравшегося за пределы своей округи.

Но самым, возможно, интересным и примечательным обитателем Кларкенуэлла был «угольщик-музыкант» Томас Бриттон. Он ходил по улицам, торгуя углем, и жил над своим угольным сараем на Джерусалем-пассидж между Кларкенуэлл-грин и Сент-Джонс-сквер; несмотря на скромный род занятий, он, пишет Уолфорд в «Лондоне старом и новом», «подвизался в высочайших областях музыки, привлекая к себе на протяжении лет самых выдающихся музыкантов того времени, в том числе великого Генделя». Каждый четверг музыканты собирались вечером в его комнате над угольным сараем. Чтобы добраться до импровизированного концертного зала, им приходилось влезать по приставной лестнице; как писал Бриттон в пригласительных посланиях,

Как водится, в четверг
Прошу ко мне наверх,
Да не сломайте ноги,
Всходя в мои чертоги.

По утверждению Неда Уорда, дом Бриттона был «если и выше бочки для канарского вина, то

совсем ненамного, а окно в парадном покое его дворца — лишь чуток пошире, нежели отверстие в этой бочке». В своем ансамбле превосходных музыкантов хозяин вел партию виолы да гамба, а после музицирования подавал досточтимым гостям кофе, беря по пенсу за чашку. Наступало утро — и Бриттон пускался в путь по знакомым улицам с мешком угля, издавая обычные для своей отрасли торговли возгласы. Смерть Бриттона была не менее живописной, чем его жизнь. Чревовещатель Ханимен (он же «Смит-говорун») «подал голос» и объявил Бриттону, что если он немедленно не произнесет «Отче наш», то жить ему осталось считанные часы. Бриттон пал на колени и стал молиться, но «струна его жизни от внезапного потрясения ослабла» и он умер несколько дней спустя (осенью 1714 года). Ходили разговоры, что он принадлежал к секте розенкрейцеров — одной из тех, что тревожили воображение жителей Кларкенуэлла, — и, соответственно, верил в действенность потусторонних сил. Трудно, однако, сказать, что глубже затронуло его впечатлительную душу — розыгрыш чревовещателя или общая атмосфера района.

Специфический свет бросает на Кларкенуэлл

личность другого его жителя — Кристофера Пинчбека. Летом 1721 года он провозгласил себя «изобретателем и изготовителем знаменитых астрономических часов с музыкою… показывающих многоразличные движения и феномены планет и неподвижных звезд, в мгновение ока разрешающих несколько астрономических задач». Пинчбека называли «мастером алхимии» — но алхимия его была алхимией времени, взрастившей в этой лондонской округе диковинные плоды.

К концу XVIII века около семи тысяч здешних мастеровых — то есть почти половина прихода — было занято в часовом деле. В год Кларкенуэлл производил примерно 120 000 часов. Сплошь и рядом к дверям частных домов вместо обычных табличек были прикреплены вывески токаря, пружинного мастера, изготовителя анкерных механизмов, мастера отделки и так далее. Это были скромные, но надежные предприятия; мастерская обычно располагалась в задней части здания. Многим ремесленникам, однако, везло меньше: в статье о часах из опубликованной в XIX веке «Лондонской энциклопедии» Чарлза Найта говорится, что, «пожелав познакомиться с тем или иным мастером, чья заслуга в изго-

товлении лучших наших часов чрезвычайно велика, мы зачастую должны добраться до некой узкой улочки нашей столицы, взойти на грязный чердак и увидеть неграмотного искусника, прилежным трудом едва зарабатывающего на хлеб». Улочки, закутки и чердаки можно уподобить колесикам и винтикам часов, и тогда весь Кларкенуэлл превращается в громадный механизм, символизирующий время и части, на которые оно дробится. Согласно переписи 1861 года, в этом маленьком приходе было 877 производителей больших и малых часов. Но почему именно здесь? Историки часового дела задумывались об этом, но удовлетворительного ответа не дали. По словам одного специалиста, которого цитирует Чарлз Найт, как возникло «это примечательное сосредоточение» — неясно; можно лишь утверждать, что «происходило оно тихо и незаметно». Другой констатирует: «Не услышали мы удовлетворительных объяснений и от тех, кто, живя именно здесь и работая именно в этой отрасли техники, должен, казалось бы, располагать наилучшими сведениями». Словом, так вышло — вот и все. Одно из тех лондонских явлений, что не поддаются анализу и расшифровке: в таком-то районе возник такой-то род деятельности — и

добавить к этому нечего.

Однако в Кларкенуэлле человеческие дела и устремления, кажется, складываются в более обширную картину. Не дало ли обилие квалифицированных мастеровых толчок развитию здешнего радикализма в XVIII и XIX веках? О часовом деле говорили как о наилучшем примере разделения труда, так что производство часов, можно сказать, сформировало парадигму промышленного капитализма. «Здесь всякий переулок до отказа набит мелкими предприятиями, — писал о Кларкенуэлле Джордж Гиссинг в романе „Преисподняя“ (1889), — здесь мы видим, как приумножается труд ради самого труда… как люди, изнемогая от усталости, тратят жизнь на изобретение новых видов изнеможения». Ленин и Элеонора Маркс нашли здесь поистине благодатную почву. А может быть, дробление времени на все более мелкие отрезки было тем зримым местным идолом, который хотели разбить радикалы-патриоты, желавшие возвращения к былому политическому устройству, к более невинному состоянию общества? Как бы то ни было, часовых дел мастера работают здесь и по сей день. Тайна Кларкенуэлла по-прежнему существует.

На Кларкенуэлл-грин и сейчас действует Мемориальная библиотека Карла Маркса, а в ней сохраняется маленький кабинет, где Ленин редактировал «Искру». Рядом закусочная и ресторан, много лет принадлежащие одной и той же итальянской семье. До недавнего времени площадь и ее окрестности оставались пыльными и блеклыми на вид, что объясняется прямым воздействием прошлого. Здесь чувствовались уединение и отгороженность от оживленных районов к югу и западу; это было некое застойное место, мало кем посещаемое помимо тех, кто здесь работал. В Кларкенуэлле, как и много поколений назад, обретались типографы, ювелиры и изготовители точной аппаратуры. Сент-Джон-стрит была темным ущельем между двумя рядами заброшенных или пришедших в негодность складских помещений.

Но 1990-е годы все это изменили. Кларкенуэлл затронула социальная революция, в ходе которой Лондон, кажется, в очередной раз сумел обновиться. Толчком к великому преобразованию стало новое настроение лондонцев, решивших, что сплошным террасам они предпочитают пентхаусы и жилые пространства со свободной планировкой; это отнюдь не то же самое, что

парижские мансарды, ибо пентхаус совмещает в себе близость к соседям и полную от них отгороженность. Будучи известным местом скопления складов и коммерческих строений, Кларкенуэлл стал частью того процесса обновления и модернизации, что, начавшись со складов портового района, распространился затем на другие части старого Лондона. К нынешнему времени на Сент-Джон-стрит и в окрестных переулках произошли обширные перемены: старые здания надстроены этажами из стекла, новые постройки растут так быстро, что местами район просто не узнать. Как сказал персонаж романа Арнольда Беннетта «Райсимен-степс», действие которого происходит в Кларкенуэлле в начале XX века, «кто бы мог подумать… район опять сделался фешенебельным». В XVI и XVII веках он действительно был таковым, о чем свидетельствует само присутствие в нем герцогинь, пусть даже и помешанных; теперь, возможно, это время возвращается. Впрочем, наедине с собой герой Беннетта размышляет об ином — о «безжалостной, каменной, всеобъемлющей неприветливости округи». Сент-Джон-стрит даже в разгар перестройки и обновления остается на удивление пустынной; в темное время суток она богата скорее отзвуками, чем реальной

двигательной или деловой энергией. Невольно вспоминаешь, что в XVIII веке идущим по этой улице из боязни нападения приходилось объединяться в группы и нанимать факельщиков. Умно ли было со стороны спекулянтов недвижимостью и застройщиков избрать именно эту улицу для широкомасштабных обновлений — вопрос небезынтересный, ведь городская магистраль с таким протяженным и жестоким прошлым вряд ли легко воспримет новый стиль жизни, который ей хотят навязать.

Кларкенуэлл, таким образом, и поныне существует в лондонской истории как некая сумеречная, не до конца изведанная область со своим хоть и нечетко очерченным, но узнаваемым лицом. Следует, однако, иметь в виду, что одни и те же явления можно обнаружить в разных районах города. Жестокости, к примеру, здесь конца-краю нет.

ЖЕСТОКИЙ ЛОНДОН

Глава 52
В круг! В круг!

Лондон всегда славился жестокостью. Об этом свидетельствуют уже самые ранние письменные источники. Знаменательным примером лондонского зверства стало избиение всех евреев города в 1189 году во время коронации Ричарда I. Мужчин, женщин и детей жгли, резали на куски; то был один из первых погромов, направленных против городских чужеземцев, — но далеко не последний. Во время крестьянского восстания Уота Тайлера, которое было также и лондонским восстанием, ученики ремесленников и прочие горожане обрушились на фламандцев и сотни из них убили; «крики губителей и гибнущих не утихали долго после заката — поистине ужасная ночь».

Но жертвами жестокости становились не одни иностранцы. Мы читаем о кровавых нападениях на сборщиков налогов — например, на Уильяма де Олдгейта, которого закололи, и на Джона Фуатару, которому женщина откусила палец. Не случайно историк Г. А. Уильямс в «Средневеко-

вом Лондоне» говорит, что лондонцы славились «безоглядной жестокостью». В написанных на латыни лондонских судебных протоколах начала XIII века эта жестокость отображена в ярких подробностях: «Роджер ударил Мод, жену Гилберта, молотом промеж плеч, а Мозес ударил ее в лицо рукояткой меча и выбил много зубов. Она прожила до среды перед днем Св. Марии Магдалины, а там скончалась… Он повел вора к шерифам, но тот по пути убил его… Они поволокли его за ноги к чердачной лестнице, свирепо колотя по туловищу и по ступням и раня ему голову».

Жестокость была повсеместной, «повальной», как выразился один нынешний ученый. В документах разных эпох часто и предсказуемо упоминаются грабежи, нападения и убийства; ссоры мгновенно перерастали в смертельные схватки, уличные потасовки — в массовые волнения. Обычным явлением было импульсивное зверство по случайному поводу, а в дни политических кризисов толпа под знакомый клич «Убей, убей!» с неописуемой яростью кидалась на тех, кого считала врагами. Члены некоторых профессиональных групп — особенно седельщики, золотых дел мастера и торговцы рыбой — были склонны к «периодическим приступам кровавого

бешенства»; случалось, гильдии затевали между собой неистовую войну. Жестокость не обходила стороной и религиозные учреждения. Настоятельница женского монастыря в Кларкенуэлле забрала выросший на спорной земле ячмень у настоятеля церкви Сент-Бартоломью «силою мечей, луков и стрел». Какое столетие ни возьми, документы его полны кровожадности.

Жестокости к животным тоже хватало. В XVII веке, когда зрителям показалось, что лошадь, травимую собаками, хотят избавить от гибели, толпа «закричала, что это надувательство, и принялась срывать с крыши черепицу, и грозилась снести заведение с лица земли, если лошадь снова не приведут и не затравят до смерти. Поэтому лошадь опять привели и на нее опять пустили собак, но те не смогли ее одолеть, и тогда лошадь пырнули шпагой, и она издохла». Обычной забавой мальчишек во вторник перед Великим постом были петушиные бои, благодаря которым юный лондонец рано приобретал привычку к виду крови и смерти. Медведей часто травили вместе с быками, и «псы выказывают тут всю породу и горячность свою, и, хотя медведи им наносят тяжкие раны, а быки берут на рога, вскидывают и потом нередко ловят на те же рога…

все равно приходится их оттаскивать за хвосты и разжимать им челюсти силой». Джон Эвелин, который был щепетильней большинства лондонцев, жаловался на «варварскую жестокость» и на «грубые и грязные» забавы горожан. Увидев, как травят медведей на знаменитой арене близ Банксайда, он писал: «Один бык швырнул собаку прямо на колени даме, хотя ложа, где она сидела, находилась на немалой высоте над ареной. Две несчастные собаки погибли; а кончилось все обезьяной верхом на лошади». Можно, конечно, сказать, что кровавые забавы — общая примета всех культур и всех городов; и все же эта разновидность лондонской жестокости воспринималась как нечто особое и глубоко закономерное. Вот как выразил это Драйден в XVII столетии:

Травя медведя псами, бравый бритт
Дубинкой потрясает и вопит.
Французишка, дивясь на сей угар,
Бормочет
про себя: Ha! gens barbare![105]

Европейцы и вправду воспринимали лондонцев именно так — как варваров; однако стихи

---

[105] Примечания: 105
Ха! Вот варвары! *(фр.)*

Драйдена показывают, что это буйство, возможно, было предметом гражданской гордости. «Если на улице повздорили двое мальчишек, — писал в XVII веке один французский путешественник-прохожие останавливаются, мгновенно окружают их кольцом и принимаются натравливать друг на друга, рассчитывая, что пойдет на кулаки… Во время драки стоящие вокруг зрители подбадривают обоих с великим воодушевлением… Никто, даже отцы и матери мальчиков, не считает нужным их разнять».

«В круг! В круг!» — таков был один из постоянных лондонских возгласов. «Здешнее простонародье грубо и нахально, — отмечает другой иностранец, — и оно, чуть что, затевает ссоры. Не сошлись в чем-нибудь двое такого сорта — миром это не кончится: они идут в какое-нибудь тихое место и там оголяются до пояса. Другие, кто видит приготовления к бою, окружают их, но не с тем, чтобы разнять, а, напротив, чтобы насладиться видом драки, ибо для них это великая потеха… порой зрители проникаются таким интересом, что принимаются ставить на бьющихся деньги и образуют вокруг них широкое кольцо». Это, по словам еще одного приезжего, «сродно характеру» лондонца, и создается впечатление, что для

жителей других городов эти уличные бои были пугающей диковиной.

Драка между мужчиной и женщиной тоже была делом обычным: «На Холборне я видел, как лупили друг друга мужчина и женщина… ударив ее со всей силы, он отступал… женщина, пользуясь этими промежутками, лезла руками ему в лицо, в глаза… Полиции до схваток между отдельными горожанами нет никакого дела». Здесь «полиция» — это стража уорда, не обращавшая на подобные драки внимания, потому что они были явлением частым и заурядным. Но это еще не все. «Если извозчик поспорил с нанявшим его джентльменом насчет платы и джентльмен предложил разрешить спор поединком, то извозчик соглашается с превеликой охотой». Драчливость лондонцев зачастую имела роковые последствия. У таверны «Три бочки» брат убил брата: «Его брат, судя по всему, хотел разделаться с извозчиком, который ему не угодил, а он вмешался и отнял у брата шпагу, но тот вытащил нож… и заколол его».

Согласно многим источникам, одним из «развлечений» англичан были бои между женщинами, которые устраивались в таких местах увеселений, как Хокли-ин-де-Хоул. Очевидец пишет,

что «женщины, почти обнаженные, сражались двуручными мечами, на концах заостренными как бритва». Обе то и дело получали порезы, и тогда схватка ненадолго прерывалась, чтобы зашить рану — разумеется, без всякой анестезии, кроме обуревавшей пациентку злости. Бой прекращался, когда одна из участниц лишалась чувств или оказывалась настолько изранена, что не могла больше сражаться. Есть сведения о поединке, в котором одной сопернице был двадцать один год, другой — шестьдесят. Кровавые эти зрелища носили чрезвычайно ритуализованный характер. Воительницы кланялись зрителям и приветствовали одна другую салютом. Одну украшали голубые ленты, другую — красные; у каждой был меч длиной примерно в три с половиной фута, ширина лезвий составляла три дюйма. С этим мощным оружием они шли друг на друга, имея для обороны лишь сплетенные из прутьев щиты. В одном бою гладиаторше «шею рассекла глубокая и длинная рана»; зрители бросили ей несколько монет, но «она пострадала настолько, что биться уже не могла».

Отзвуки предварительной словесной перепалки между участницами (одна, к примеру, заявила, что для упражнения рук каждое утро

колотит мужа) слышатся в объявлениях или «предуведомлениях» о боях: «Я, Элизабет Уилсон из Кларкенуэлла, желаю получить удовлетворение от Ханны Хайфилд после перебранки, каковая у нас случилась, и вызываю ее на арену для кулачного поединка со ставкою в три гинеи, а в руке у каждой пусть будет монета в полкроны, и та, которая первой уронит, считается проигравшей». Монеты нужны были для того, чтобы женщины не царапались. Напечатан был и ответ: «Я, Ханна Хайфилд из Ньюгейт-маркета, прослышав о решимости Элизабет, не премину ответить ей не столько словами, сколько ударами, надеюсь, точными, и милостей от нее не жду». В «Лондон джорнал» за июнь 1722 года сообщается: «К немалому удовлетворению зрителей, они бились долго и доблестно».

Мужчины тоже сражались на мечах; у каждого был «секундант» с увесистой деревянной дубинкой, чтобы в случае чего обеспечить честность боя, и поединок, как и у женщин, длился до тех пор, пока раны одного из участников не выводили его из борьбы. Во многих случаях в драку вступали и зрители. «Боже ты мой! — писал Пипс. — Мигом вся арена наполнилась лодочниками, желавшими поквитаться за нечестность

чужого бойца, и мясниками, стоявшими за своего вопреки мнению большинства, которое считало его виноватым; началась общая свалка, и многих с той и другой стороны сшибли наземь или порезали. Приятно было посмотреть, хотя я стоял близко и опасался, что в суматохе и мне достанется». Здесь ярко высвечивается присущий городскому насилию мотив почти племенной приверженности «своим», чему давали примеры даже вполне «респектабельные» круги. Когда спекулянт недвижимостью Бэрбоун послал рабочих на Ред-Лайон-филдс, чтобы начать там строительство, юристы расположенной по соседству корпорации Грейз-инн «заметили это и, посчитав, что им наносится ущерб, вышли немалой толпой, числом человек до ста; рабочие, напав на господ, принялись швырять в них кирпичи, господа ответили тем же, и завязалась жаркая схватка».

Не менее прискорбным образом племенные тенденции проявились в «подвигах» группы молодых людей, именовавших себя могавками (название, как писал «Спектейтор», произошло от «индейских каннибалов», которые «живут тем, что грабят и пожирают окрестные народы»). Эти юные лондонцы, взявшись под руки, устремля-

лись по улицам ради «драк, а порой и нанесения увечий безвинным прохожим и даже беззащитным женщинам». Лондонская история уличного насилия уходит в глубокую древность, и подобные банды молодых забияк под разнообразными названиями были известны и прежним поколениям горожан. Что касается самих могавков, то они начинали вечер обильными возлияниями, после чего гурьбой валили на улицу, готовые мигом пустить в ход шпаги. Последствия описывает Уолфорд в «Лондоне старом и новом»: «Настигнув жертву, свирепая стая окружала беднягу остриями шпаг. Один подкалывал его сзади, принуждая, само собой, повернуться; следовал укол другой шпаги, и так они заставляли его крутиться волчком». Потому-то их и прозвали «потогонами», а еще у них была кличка «резчики», ибо в более свирепом настроении они развлекались тем, что «татуировали людям лица, нанося им порезы или, как писал Гей, „новоизобретенные раны“». Другой лондонский поэт предвосхитил их «подвиги» так:

…в пышных городах, —
Где оглушающий, бесстыдный шум
Насилия, неправды и гульбы

Встает превыше башен высочайших,
Где в сумраке по улицам снуют
Гурьбою Велиаловы сыны,
Хмельные, наглые…[106]

Этими строками Джон Мильтон приобщает лондонское насилие к мифу и вечности.

На улицах же могавки не были лишены собратьев по бесчинствам. В 1750-е годы Уильям Шенстоун писал: «Лондон ныне поистине опасный город. Карманники, прежде довольствовавшиеся мелкими кражами, дошли до того, что валят людей наземь дубинками прямо на Флит-стрит и на Стрэнде, причем не только глухой ночью, но даже и в восемь часов вечера и раньше. А на ковент-гарденской пьяцце они, вооруженные ножами, собираются большими ватагами и нападают на целые компании». Не правда ли, выразительная картина? Ночью в отсутствие адекватных полицейских мер город мог стать поистине ужасающим местом. Сэру Джону Ковентри уличные бандиты рассекли нос. Куртизанка Салли Солсбери, обозлившись на поклонника, «схватила нож и вонзила в него»; в Ньюгейтскую

---

[106] Примечания: 106
«Потерянный рай», перевод Арк. Штейнберга.

тюрьму ее препровождали под рукоплескания. «Ныне все содержатели таверн, кофеен, лавок и иных заведений, — писал в 1718 году маршал Сити[107], — жалуются, что люди не желают идти к ним в темное время: того и гляди сорвут с головы парик или шляпу, шпагу отнимут, ослепят, сшибут наземь или пырнут ножом; и даже кареты не спасают, ибо грабители вламываются в них на улицах. От того сообщение в городе сильно страдает».

«Сообщение» имелось в виду не только людское, но и товарное, и слова маршала — одно из указаний на то, что само благоденствие города жестокостью и неистовством части его жителей было поставлено под угрозу. В тот же период ученики ремесленников «вечерами шли к Темпл-бару, поднимали там шум и очищали от прохожих всю мостовую вплоть до Флит-маркета. Все эти юнцы умели работать кулаками, и если кто им противился, один или двое, набросившись, избивали его на месте, и никто не вмешивался».

Зорким наблюдателем уличной жизни был в 1760-е годы Джеймс Босуэлл. «Ужасна грубость ан-

[107] Примечания: 107

Маршал Сити — должностное лицо под началом у лорд-мэра. Отвечал, в частности, за поддержание порядка в городе.

глийского простонародья, — писал он в дневнике в декабре 1762 года. — Такова она, их свобода — свобода громить и стращать, свобода распускать поганые свои языки». Он то и дело слышал уличные возгласы типа: «Хрена лысого!» или «Язви твою душу!» Месяц спустя он записывает: «По пути домой я не на шутку тревожился. Уличные грабежи ныне очень часты». Летом 1763 года он заносит в дневник: «Джентльмен повздорил с половым. Тут же с криками „В круг! В круг!“ собралась большая толпа». Не исключено, что в этот клич через песенку «Круг из роз» вошла народная память об эпохе Великой чумы, когда венок из алых пятен на теле был предвестьем смерти. На улицах Лондона страх роковым образом соединялся с насилием.

В источниках XVIII века читаем о толпах громил с горящими факелами, с палками или дубинками; во всеуслышание объявляя имена лиц или названия улиц, вожаки направляли жестокость своих людей на конкретные местные цели. Дома, фабрики, мельницы порой сносились подчистую, ткацкие станки ломались на части. Из прошлого до нас доносятся крики: «Чего ж не стреляешь, соплячок? Вот мы тебя сейчас выпотрошим!» Имеется также интересное собрание писем с

угрозами, дающее понятие о горячем и бешеном языке, которым лондонцы изъяснялись: «Сэр! А ну подымайте живо цену на ваш товар на 2 пенса а ежели гад такой не подымешь ну тогда держись мы тебе мозги твои поганые вышибем понял ты псина шелудивая вышибем мозги и дом твой запалим… ежели не положишь деньги куда мы скажем я одно словечко шепну и гореть твоему дому и всему что имеешь… Мистер, делайте что вам велено потому как мы пока еще потчуем вас медком, но ежели вы вчерашние требованья не исполните, горький тогда конец настанет всей вашей жизни через чашу с терниями».

Представляется знаменательным, что в неистовом лондонском словоупотреблении многие жаргонные словечки явились непосредственно из языка кулачных бойцов. С ринга, в частности, пришли многие глаголы, означающие «бить», что свидетельствует о постоянстве лондонского пристрастия к лексике конфронтации и мордобоя. Дрались отнюдь не только на улицах. Из печатных источников явствует, что питейные клубы и пивные низкого пошиба славились, помимо употребления спиртного, еще и насилием. Уильям Хикки описал заведение под названием «Уэзербиз» на Литтл-Расселл-стрит близ Друри-

лейн, где «вся комната была охвачена шумным волнением: мужчины вперемешку с женщинами тесно взгромоздились на стулья, столы и скамейки, чтобы лучше видеть схватку, происходившую на полу. Две дьяволицы — ибо человеческого в их облике было мало — царапали и терзали одна другую, лица их были сплошь окровавлены, груди голы, одежда на телах едва держалась. Несколько минут никто не вмешивался — никому, казалось, не было дела до вреда, который они могли друг другу причинить, и битва длилась с неутихающей яростью». Здесь со всей ясностью показаны безразличие и бесчувственность, которые, можно предположить, были свойственны лондонскому поведению в целом — что на работе, что на улице. Фраза «Пусть себе, не наша забота» звучала очень часто. А выражение «тесно взгромоздились» вносит — хотя, конечно, без умысла со стороны Хикки — в его рассказ о кровавой драке элемент сексуальной распущенности. В городе насилие и секс прочно соединены друг с другом.

В «Уэзербиз» произошла еще одна потасовка. Хикки пишет: «На молодого человека лет двадцати пяти, сложенного весьма атлетически, ополчились, казалось, все». Хикки испытал естественное «желание поскорее уйти», но у дверей

его остановили. «Постой, голубчик, постой, — сказали ему, — и давай-ка без фокусов. Без проверки, дружок, отсюда не уходят». Иначе говоря — раскошеливайся. Напоследок его удостоили словечка *sucker* (сосунок, простофиля), которое в ходу и теперь, продержавшись более двухсот лет. Этот «чистейший ад на земле» стал на время для Хикки настоящей тюрьмой и ярким проявлением общей городской несвободы.

Никакая биография Лондона не будет полной без описания самого буйного и обширного мятежа за последнюю тысячу лет. Начавшись как протест против законодательства, облегчавшего положение католиков, он быстро перерос в широкомасштабную атаку на городские и государственные институты.

2 июня 1780 года лорд Джордж Гордон, собрав на Сент-Джордж-филдс в Ламбете своих сторонников и построив их в четыре колонны, повел их на Парламент-сквер выразить негодование по поводу парламентского акта 1778 года, позволявшего католикам приобретать землю. Будучи фигурой донкихотского склада со странными, маргинальными убеждениями, Гордон, как бы то ни было, сумел на пять дней возбудить мстительное воображение горожан. Позднее на допросах

он заявлял, что у него и в мыслях не было разжигать ярость толпы, — но он, видно, не понимал настроений города, его внезапных лихорадок. Его последователей характеризовали как «вполне преуспевающих торговцев», и Гордон предупреждал их, что во время марша на парламент они должны вести себя пристойно и «быть одетыми по-воскресному». Но никакая лондонская толпа надолго не остается в беспримесном состоянии, и вскоре к ним примкнули более яростные антипапистские элементы, в частности ткачи Смитфилда — потомки гугенотов.

Мятеж описал Чарлз Диккенс в романе «Барнеби Радж»; его пером водили интерес к насилию и завороженность толпой, но, помимо этого, за книгой стоит немало чтения и изысканий. Он пишет, к примеру, что день был «чрезвычайно знойный, и под яростными лучами солнца те, кто нес тяжелые знамена, почувствовали вялость и упадок сил»; об этом он, скорее всего, узнал из ежегодника «Эньюел реджистер» за 1781 год. Несмотря на жару, люди шествовали по трое в ряд, главная колонна растянулась чуть не на четыре мили, и, собравшись в Вестминстере, они подняли оглушительный крик. Теперь уже не вялые, а распаленные зноем, мятежники вло-

мились в вестибюль и коридоры парламента. Давка была такая, что «над мальчиком, который каким-то образом затесался в толпу, нависла прямая опасность удушья, и он, забравшись ближайшему мужчине на плечи, двинулся прямо по шляпам и головам и так выбрался на улицу». Великое людское скопище уже непосредственно угрожало властям; собравшиеся отправили петицию в зал палаты общин, а сами с победными криками столпились у дверей. Они даже грозились войти в зал, но тут пролетел слух, что приближается вооруженный отряд. «Боясь нападения в узких проходах, где они теснились, люди хлынули на улицу так же стремительно, как прежде ворвались». Во время последовавшего бегства конногвардейцы окружили кое-кого из бунтовщиков и доставили в Ньюгейтскую тюрьму; этот арест, как показало дальнейшее, имел несчастливые последствия.

Толпа рассеялась, окутанная облаком звучавших по всему городу слухов, но под вечер собралась вновь. Горожане, боясь новой волны беспорядков, запирали двери и ставни. Если первым объектом мятежной атаки был Вестминстер, то теперь мишенью стала небезызвестная католическая церковь на Линкольнс-инн-филдс;

вообще-то это была частная капелла сардинского посла, однако никакие соображения дипломатической вежливости не могли погасить гнев толпы. Она подожгла церковь и уничтожила ее убранство. Согласно источнику того времени, «посол Сардинии просил отребье не предавать огню икону Спасителя и великолепный орган, суля за икону пятьсот гиней, а за орган тысячу. Но эти люди ответили, что охотно сожгли бы и его самого, если бы удалось до него добраться, и собственноручно уничтожили как одно, так и другое». Отсюда по Лондону поползла полоса огня и разрушений.

Следующий день — суббота — прошел относительно спокойно. Однако воскресным утром, собравшись на полях около Уэлбек-стрит, толпа двинулась на Мурфилдс, где жили католические семьи. Там бунтовщики стали жечь дома и разграбили местную католическую капеллу. В понедельник насилие и грабежи продолжались, но теперь они были направлены против судей, причастных к водворению некоторых мятежников в Ньюгейтскую тюрьму, и против политических деятелей, поддержавших прокатолическое законодательство. Запылали Уоппинг и Спитлфилдс. Это был уже не протест под лозунгом «Долой

папистов!», а сосредоточенная атака на власть.

Но, сея беспорядок, бунтовщики и в своих рядах утратили всякое подобие порядка и заготовленного плана. Когда они «делились на отряды, разбегавшиеся по разным частям города, это происходило не по умыслу, а по мгновенному соображению. Каждый отряд по мере движения разбухал, как ширится река, приближаясь к морю… каждому буйству придавали очертания и форму обстоятельства минуты». В те или иные мятежные группы вливались рабочие, откладывавшие инструменты, ученики, срывавшиеся со скамей, посыльные, забывавшие о поручениях. В такой массе всякий рассчитывал на безнаказанность. Многими участниками бунта двигали «нужда, невежество, злое озорство, надежда на добычу». Это вновь цитата из Диккенса, который не был современником событий, но хорошо знал нрав и атмосферу Лондона. Он понимал, что если в системе городского порядка и безопасности пробита первая брешь, то новые не заставят себя ждать. Равновесие города было очень шатким и в один миг могло смениться хаосом. «Ужасающая лихорадка распространялась, передаваясь от горожанина к горожанину; заразительное безумие, не достигшее еще высшей точки, охватывало

с каждым часом все больше жертв, и общество уже содрогалось от их бесчинств». Образ болезненной неуравновешенности проходит сквозь всю лондонскую историю, и когда эта неуравновешенность соединяется со склонностью к театрализации, превращающей всякий мятежный эпизод в «сцену», жизнь города открывается нам во всей своей сложности.

Новое заседание парламента было назначено на вторник, и в этот день толпы опять собрались в Вестминстере. В «Показаниях лорда Джорджа Гордона» говорится: «Тогда-то и явились люди из Уоппинга с длинными палками в руках, и видна была их решимость двинуться на солдат». Заседание палаты общин было перенесено. Толпы бунтовщиков уже собирались по всему городу; в знак солидарности с восставшими большинство горожан нацепило голубые кокарды, на домах вывешивались голубые флаги с надписью «Долой папистов!», этот же лозунг писали на дверях и стенах. Лавки большей частью был и закрыты, и повсюду люди испытывали страх перед насилием, «какого не видывали даже в старинные мятежные времена». Во всех важнейших точках встали войска, но солдаты, казалось, сочувствовали требованиям толпы. Лорд-мэр, то ли ощущая

свое бессилие, то ли не желая рисковать, не отдавал прямого приказа арестовать бунтовщиков или открыть по ним огонь. И в разных местах города начались поджоги и разрушения.

В чрезвычайно богатой материалами антологии Ксавье Барона «Лондон, 1066–1914» приводится письмо Игнасио Санчо, написанное на Чарлз-стрит в тот самый вторник — 6 июня 1780 года. Автор пишет: «Находясь в гуще жесточайших и нелепейших беспорядков, я принимаюсь сейчас за весьма несовершенное описание дел, творимых безумнейшими из безумцев, что когда-либо отравляли собою безумнейшие времена… В настоящую минуту по меньшей мере сотня тысяч неимущего, несчастного, оборванного люда, возрастом от двенадцати лет до шестидесяти, с голубыми кокардами на шляпах, сопровождаемого вполовину меньшим числом женщин и детей, разгуливает и по улицам, и на мосту, и в парке, готовая пуститься на любые бесчинства. Боже милостивый — что им теперь нужно? Я был принужден укрыться: вопли толпы, ужасающее бряцание оружия и топот несметного, быстро движущегося людского скопища погнали меня к моей двери, в то время как торговцы по всей улице закрывали лавки. Сейчас всего пять часов,

уличные певцы истощают музыкальные таланты свои, торжествуя падение папизма, Сандвича и Норта[108]…

В это самое мгновение „вольнолюбцы“ числом примерно в две тысячи сквернословят и потрясают большими палками, желая переведаться с ирландскими носильщиками портшезов и рабочими. Вся гвардия выведена и все конные в седле, хотя бедняги, несущие беспрерывную службу с пятницы, истомлены до крайности. Слава Богу, дождь пошел».

Письмо представляет интерес, поскольку написано второпях, по свежим впечатлениям; заслуживает внимания, к примеру, характеристика толпы как скопления «неимущего, несчастного, оборванного люда». Диккенс пишет о мятежниках более уничижительно, называя их «отбросами и накипью» города. На улицы вышла мстительная армия обиженных и обездоленных, грозя городу поджогами и погромами. Если когда-либо Лондон был близок ко всеохватному пожару — то именно в те дни. Во всей его истории не было более значительного восстания бедноты.

---

[108] Примечания: 108

Джон Монтегю, 4-й граф Сандвич (1718–1792), занимал в то время должность первого лорда Адмиралтейства. Фредерик Норт (1732–1792) был в 1770–1782 гг. премьер-министром страны.

Постскриптум к письму с Чарлз-стрит содержит не менее интересную новость: «Около ста тысяч безумцев, вооруженных палками, дубинками и ломами, двинулись сейчас к Ньюгейтской тюрьме освобождать тех, кого они именуют своими доблестными соратниками». Сожжение тюрьмы и освобождение заключенных остаются самым поразительным и значимым актом насилия во всей истории Лондона. Уже были преданы огню дома некоторых судей и законодателей, но когда с криками «Теперь Ньюгейт!» к тюрьме из разных мест повалили толпы бунтовщиков, стало ясно: происходит нечто более основательное. Один из предводителей мятежа заявил, что отстаивает «общее дело»; когда его спросили, в чем это дело состоит, он ответил: «К завтрашнему утру в Лондоне не должно остаться ни одной тюрьмы». Совершенно ясно, что это была не просто попытка вызволить тех арестантов, что несколькими днями раньше шли под лозунгом «Долой папистов!». Это был удар по всей городской системе тюремных учреждений с ее гнетом, и тем, кто видел пожар своими глазами, почудилось, что «горит вся столица — нет, хуже того, все нации мира постигла гибельная участь, ибо настал конец всего и вся».

Толпы, которые двигались к тюрьме отовсюду — из Кларкенуэлла и Лонг-Эйкра, из Сноу-хилла и Холборна, — соединились у ее стен незадолго до восьми вечера. Мятежники окружили дом начальника тюрьмы Ричарда Акермана, расположенный перед главным зданием и выходивший на улицу. На крыше показался мужчина; он спросил, что им нужно. «У вас в заключении находятся наши друзья» — был ответ. «Мало ли кто у меня находится в заключении». Тут один из вожаков толпы — чернокожий слуга Джон Гловер — закричал: «Отпирайте ворота, черт вас дери, не то мы вас сожжем и сами всех выведем!» Удовлетворительного ответа не последовало, и бунтовщики бросились громить дом Акермана. «Что более всего способствовало распространению огня, — писал очевидец Томас Холкрофт, — это обилие всякой мебели, которую они выбрасывали из окон, сваливали кучей у дверей и поджигали; первым загорелся дом начальника, далее тюремная церковь, а оттуда пламя при содействии толпы перекинулось на тюрьму и охватило ее целиком». Создается впечатление, что сам вид тюрьмы с ее могучими стенами и зарешеченными окнами разъярил бунтовщиков, заставил их запылать решимостью не менее жаркой, чем

головни, которыми они забрасывали тюремные ворота.

На эти ворота толпа обратила первые свои усилия. Свалив у них всю мебель, выброшенную из дома начальника, ее полили смолой и варом, и вскоре она полыхала вовсю. Ворота превратились в огненное полотнище, такое яркое, что ясно были видны часы на башне церкви Гроба Господня. Люди полезли на стены и стали бросать горящие факелы на крышу. Холкрофт продолжает: «На подмогу начальнику тюрьмы прибыл отряд констеблей в сто человек; толпа расступилась перед ними, дала пройти и, полностью окружив, кинулась на них с превеликой яростью. Жезлы констеблей были сломаны и превращены в головни, которые мятежники кидали в те места, куда не добрался еще огонь, и без того распространявшийся очень быстро».

Другой свидетель событий — поэт Джордж Крабб — вспоминал: «Они пробили крышу, выломали стропила и по приставным лестницам, которые имели с собой, спустились. Сам Орфей при нисхождении своем не выказал большей отваги и не имел большей удачи; огонь окружал их со всех сторон, ожидалось прибытие солдат, а бунтовщики лишь дерзко смеялись над вся-

кой помехой». Крабб — один из четырех поэтов, которые видели происходящее воочию, тремя другими были Джонсон, Купер и Блейк. Высказывалось мнение, что весь вызов и ликующий хохот мятежных поджигателей получили воплощение в рисунке Блейка «Роза Альбиона», выполненном в том же году и изображающем юношу, который раскинул руки в жесте освобождения и торжества. Связь, однако, представляется сомнительной: события того вечера с их мрачным пафосом всем, кто их видел, внушали не восторг, а ужас.

Например, когда огонь охватил всю тюрьму, заключенным, которых хотели освободить, стало грозить сожжение заживо. Еще один очевидец — Фредерик Рейнолдс — писал: «Буйство толпы снаружи, вопли узников внутри, не чающих спасения от немедленной смерти в огне, грохот огромных отваливающихся кусков здания, оглушительный звон от ужасающего падения на мостовую раскаленных докрасна железных решеток, громкие торжествующие крики обуянных демонами мятежников при каждом новом успехе — все это соединялось в жуткую, устрашающую сцену». Наконец обугленные и все еще ярко пылающие ворота начали подаваться; толпа

расчистила путь сквозь огненные их остатки и ринулась в тюрьму.

«Рвение бунтовщиков было поразительно, — отмечает Холкрофт. — Они вытаскивали заключенных, хватая их как попало — за волосы, за руки, за ноги. Чтобы дать узникам выход, они взламывали всевозможные двери с такой легкостью, словно всю жизнь провели в здешних лабиринтах». Они устремлялись по каменным коридорам с восторженными криками, которые смешивались с воплями заключенных, искавших выхода на свободу и спасения от подступающего огня. Замки и засовы выламывались так быстро, что можно было подумать, будто мятежникам содействует некая сверхъестественная сила.

Иных, истомленных и окровавленных, выносили на руках; других, которые брели наружу в цепях, тут же с торжеством вели в местную кузницу, и ликующая толпа под возгласы «Дорогу! Дорогу!» расступалась перед освобожденными. Из тюрьмы вышло более трехсот человек. Одни были избавлены от неминуемой казни и чувствовали себя воскрешенными; других поспешно увели друзья; третьи, у кого жизнь за решеткой вошла в привычку, изумленно и потерянно бродили среди развалин Ньюгейтской тюрьмы. В ту

ночь и другие тюрьмы были подожжены и отперты, и на короткое время создалось впечатление, будто мир, основанный на законе и наказании, целиком и полностью разрушен. В последующие годы окрестные жители вспоминали неземное свечение, исходившее, казалось, от самих городских камней и мостовых. На миг Лондон испытал преображение.

Вполне закономерно, что от горящих руин тюрьмы мятежники направились на Блумсбери-сквер к дому лорда Мэнсфилда — «лорда — главного судьи». Одна из характерных черт Лондона XVIII века состояла в том, что жилища всех крупных должностных лиц и всех знаменитостей были горожанам хорошо известны. Погромщики прорвали заграждение из остроконечных железных прутьев, разбили окна, проникли в дом и, пройдя по всем его комнатам, часть мебели сломали, часть подожгли. В пламя были брошены картины, рукописи и книги, составлявшие библиотеку по юриспруденции; в зримой форме то было сожжение самого Закона. Здесь стоит привести один любопытный эпизод, произошедший в часы, когда огню предавались вся власть города и весь его гнет. Появившись в окне подожженного дома, один из бунтов-

щиков показал ревущей толпе «детскую куклу — несчастную игрушку… словно образ какого-то нечестивого святого». Прочитав об этом, Диккенс немедленно превратил куклу в символ всего, что было дорого обитателям дома; скорее уж, однако, в этом диковинно обобщенном, почти языческом лике можно увидеть некое божество мятежной толпы.

Наутро Сэмюэл Джонсон побывал на местах ночных беспорядков. «В среду я отправился с доктором Скоттом поглядеть на Ньюгейтскую тюрьму и увидел догорающие руины. Когда я шел мимо Олд-Бейли, мятежники грабили дом судебных заседаний. Хотя их было, думаю, менее сотни, действовали они не спеша, без всякой опаски, не выставив стражу, совершенно спокойно и средь бела дня, словно законно нанятые работники». Далее Джонсон делает интересное замечание: «Вот она, трусливая натура коммерческого города». Без сомнения, он имеет в виду недостаток общественного, гражданского духа, способного предотвратить или пресечь эти бесчинства; будучи коммерческим по сути, Лондон не мог защищаться ничем, кроме страха и грубого гнета. И стоило этим двум гарантам безопасности дать слабину, как на смену им естественным образом

и с неизбежностью явились воровство и жестокое насилие. «Коммерческий город» можно считать эвфемизмом для арены грабежей и мучительных тревог. Видевший достоинства Лондона и ценивший его радости, Сэмюэл Джонсон вместе с тем лучше, чем любой из современников, понимал его тягостные пороки.

Тот день, однако, явил взорам не только дымящиеся развалины Закона. Употребив выражение, которое тогда еще не было штампом, Хорас Уолпол назвал его «черной средой». Почти столько же оснований было назвать эту среду «красной». В то утро «трусливая натура» Лондона дала себя знать закрытыми лавками и ставнями на окнах. Многие горожане были настолько изумлены и потрясены разрушением Ньюгейта и полной неспособностью городских властей задержать и наказать виновных, что им чудилось, будто сама ткань действительности рвется у них на глазах. «Вокруг курящихся руин люди безмолвно стояли поодаль друг от друга, не отваживаясь громко осудить бунтовщиков и даже не шепча, чтобы не дать пищу для подозрения». Крушение законности проявилось и еще в одном любопытном обстоятельстве. Иные из получивших свободу принялись разыскивать своих тюрем-

щиков, «предпочитая узы и наказание ужасам еще одной такой ночи»; другие возвращались к Ньюгейтской тюрьме и бродили среди дымящихся развалин былой своей темницы. Их вело туда, пишет Диккенс, некое «невыразимое влечение»; где прежде находились их камеры, там теперь они ели, вели разговоры и даже спали. Этот факт, при всей своей диковинности, органически вписывается в более обширную повесть о Лондоне, где многие всю жизнь не желают покидать привычных камней.

В различных местах города были размещены войска, но на энергию и целеустремленность бунтовщиков это никак существенно не повлияло; ночными поджогами они, казалось, лишь распалили себя еще больше. У тех тюрем, что оставались пока нетронутыми, включая Флит и тюрьму Королевской скамьи, появились плакаты, грозно извещавшие начальников и надзирателей, что ночью огонь доберется и до их учреждений; сходным образом были выделены и дома видных законодателей. Вожаки заявили, что восставшие захватят и сожгут Английский банк, монетный двор и королевский арсенал, возьмут штурмом королевские дворцы. Прошел слух, что мятежники вдобавок ко всему отопрут

двери Бедлама, и это добавило к общим опасениям горожан новый специфический страх. Поистине город стал бы тогда совершенным адом, где на фоне пожаров и разрушений бродят отчаявшиеся, обреченные и безумцы.

Наступившей ночью могло почудиться, что вернулся 1666 год с его Великим пожаром. Бунтовщики заполонили улицы, «подобно могучему морю», и целью их, казалось, было «взять город в огненное кольцо». Вспыхнуло тридцать шесть больших пожаров — в частности, загорелись тюрьмы Флит, Королевской скамьи и Клинк; солдаты стреляли по бунтовщикам, и среди них были убитые и раненые. Крупные поджоги произошли у Холборн-бриджа и Холборн-хилла, то есть в окрестностях все той же Ньюгейтской тюрьмы, словно разрушения прошлой ночи так наэлектризовали район, что он навлек на себя новые беды. Образ куклы с пустым лицом, ставшей в мятежном городе неким обобщенным и адским идолом, представляется уместным.

Сэмюэл Джонсон писал миссис Трейл: «Небо с разных сторон светилось заревами пожаров. Зрелище было ужасное». Хорас Уолпол: «Никогда до прошлой ночи я не видел Лондона и Саутуорка в огне». Вид горящего города, по словам опять-

таки Джонсона, породил «всеобщую панику». На следующий день — в четверг — возникали спорадические беспорядки, но жаркие события предыдущего дня, кажется, истощили тягу к жестокости, с такой внезапностью охватившую лондонские улицы. Во всех ключевых пунктах стояли войска, отряды солдат активно разыскивали и арестовывали бунтовщиков, и к пятнице в городе вновь стало тихо. Многие из тех, что в страхе за свою жизнь покинули Лондон, медлили с возвращением, и большинство магазинов и лавок было закрыто, но беспорядки пошли на убыль так же стремительно и повсеместно, как нахлынули всего неделю назад. Убитых насчитали двести человек, тяжело и зачастую смертельно раненных было еще больше, а о числе тех, кто сгорел заживо в подвалах и иных укрытиях, можно только догадываться. Лорда Джорджа Гордона арестовали и препроводили в Тауэр, сотни мятежников стали узниками тех тюрем, которые они не успели сжечь. Двадцать пять человек было повешено на местах совершенных ими преступлений; двоих или троих подростков вздернули перед домом лорда Мэнсфилда на Блумсбери-сквер.

Так завершилось самое жестокое в истории го-

рода гражданское противостояние. Насилие, как и всегда в Лондоне, пылало ярко, но коротко; восходящий жар его пламени поколебал очертания города, нарушил устойчивость и саму реальность его, — но вскоре все улеглось и успокоилось.

Волнения 1985 года в жилом массиве Бродуотер-фарм в северном Лондоне выявляют широко распространенную инстинктивную тягу горожан к бунту, которая за столетия так и не была подавлена. Стоит лишь заглянуть во дворы иного муниципального микрорайона с исписанными граффити стенами, с решетками на окнах и висячими замками на дверях, как становится понятно: часть Лондона до сей поры находится на осадном положении. В определенных районах и на определенных улицах, где повсюду разлиты затаенная злоба и страх, тревогу чувствуешь кожей. К тому же кое-где в Лондоне присутствует такая непредсказуемая добавка к общему уровню городского насилия, как наркобандитизм.

Беспорядки в Бродуотер-фарм — жилом массиве, населенном преимущественно чернокожими, — начались осенью 1985 года после нескольких месяцев «слухов о надвигающихся волнениях». Серия отдельных инцидентов в начале осени усилила уже возникшую напря-

женность. Поводом к волнениям стала смерть ночью 5 октября Синтии Джарретт, случившаяся якобы во время полицейского обыска в ее квартире. Официальный отчет «Расследование дела о Бродуотер-фарм» (1986) включает в себя, помимо описания и анализа самих беспорядков, показания свидетелей. «И я тут думаю: „Господи, что с детьми-то будет там, посреди этих?“» О действиях полиции отзывались сходным образом. «А те кричали: „Вот мы сейчас до вас доберемся… Назад, сучье племя, назад, ясно вам?“… Выпустили, назад не стали гнать только нескольких, кто уже в возрасте… Многие говорили: „Нет, не надо идти назад — с какой стати? Разве мы обязаны?“… Неразбериха была страшная. Там были молодые женщины с детишками, крик стоял — ужас». То могли быть голоса любой обозленной лондонской толпы на протяжении столетий; здесь она воплотилась в чернокожих юнцов, которые схлестнулись с полицейскими, экипированными для борьбы с беспорядками и пытающимися загнать своих противников обратно в микрорайон, как заключенных, водворяемых назад в свои камеры.

«Некоторые из молодежи начали переворачивать машины и кидать в полицейских камни и

прочее. У перекрестка перевернули и сожгли две машины. Хотели еще одну, но им не дали… Потом, чуть погодя, повалили стену на углу Уиллан-роуд и авеню и разобрали ее на куски, чтобы швырять в полицию. И пошло-поехало». Беспорядки, что характерно, распространились мгновенно — микрорайон ответил полиции «опасным увесистым градом. Выламывали и кидали тротуарные плиты. Когда весь ближний тротуар был израсходован, молодые люди стали рыскать по микрорайону и собирать метательные снаряды во всевозможные емкости. Очевидцы упоминали, в частности, магазинную тележку, ящик из-под молока и большой общественный мусорный бак. На более поздней стадии начали кидать банки с консервами из разграбленного супермаркета». В очередной раз разрушалась, приобретая иное значение, привычная городская «реальность». В наступающую полицию полетели незатейливые и не слишком эффективные «зажигательные бомбы» — бутылки с горючим. «Двое — оба чернокожие — принялись громко командовать: „Нужны боеприпасы!“ Тут же пятеро или шестеро кинулись по домам собирать молочные бутылки, четверо других перевернули машину, чтобы слить бензин. За какие-нибудь пять минут я на-

считал более пятидесяти готовых зажигательных снарядов». Любопытно и, пожалуй, знаменательно, что сообщившим это очевидцем был Майкл Кит, научный сотрудник оксфордского Сент-Кэтринс-колледжа, который занимался как раз «историей мятежей». Исторический аспект или резонанс событий подтверждается показаниями человека, который, наблюдая за беспорядками 1985 года, имел в голове образы иных бунтов. Каким-то эхом, возможно, отозвался мятеж лорда Гордона.

Многие нынешние бунтовщики скрывали лица под шарфами или импровизированными масками, и, как в былые столетия, нашлись те, кто взял на себя командование. «На муравьев было похоже, — сказал один свидетель событий в Бродуотер-фарм. — Если с высоты посмотреть, как они движутся, ясно будет, кто из них работяги. Я видел, как три или четыре человека перемещались туда-сюда и руками делали друг другу знаки… они перемещались группой. По ладоням видно было, что они белые». Одной из черт, отличавших рассказы о мятеже лорда Гордона, были сообщения о том, будто некие тайные махинаторы использовали насилие и смуту в своих целях. То же самое говорили жители Бродуотер-фарм.

«Это нам чужаки подстроили», — сказал один очевидец, подразумевая, что есть люди, которым городские беспорядки нужны как самоцель или как средство подрыва всей общественно-политической системы. То, что эти таинственные организаторы были, по ряду свидетельств, белыми, может означать, что некая «шестая колонна» стремилась разжечь среди чернокожих жителей микрорайона расовую ненависть.

В целом, однако, движение толпы можно было, как обычно, охарактеризовать как управляемый хаос. Историк мятежей Майкл Кит отмечает: «Большинство сплачивала злость, то и дело переходившая в ярость. В этой ситуации ясно просматривалось сценическое распределение ролей, свойственное любому поперечному разрезу общества». Здесь в игру вступает его взгляд на характерные особенности бунта; говоря о «сценическом распределении ролей», он подает мятеж как элемент лондонского театра. Он упоминает, в частности, тех, кто пытался состязаться с полицейскими в храбрости и агрессивности. «Многие другие большей частью оказывали людям моральную поддержку, перекидываясь шутками, но и они охотно участвовали в некоторых вылазках». Приметил он и таких, кто

пытался выработать план действий, упорядочить зарождающийся хаос. Но большого успеха они не добились. «В общем все носило характер импровизации», — заключает он. В точности такими же были впечатления тех, кто наблюдал за ходом мятежа лорда Гордона, и здесь заключена важная истина о насилии в Лондоне.

Другой очевидец отмечает: «Когда у людей возникало чувство, что их ряды малость ослабли, они бросались укреплять свои порядки, перебегая от одного места к другому. Военачальников не было». Тут выявляется еще одна черта лондонских беспорядков: как правило, они лишены централизованного командования, на поведение толпы влияют прежде всего стихийные факторы. Отсутствие «военачальников» или вожаков можно также связать с присущим городу эгалитаризмом. Одну наблюдательницу событий в Бродуотер-фарм изумил малый возраст бунтовщиков. Среди них были «мальчишки двенадцати-тринадцати лет». Можно вспомнить, что после мятежа лорда Гордона несколько его юных участников было повешено.

То, что происходило после первой стычки, было не планомерной атакой, а чередой разрозненных вылазок. Переворачивались машины, грабились

магазины. «Я узнал, что этот парнишка ирландец, и он сказал, что первый раз за полгода так сытно поел. Безработица». Самый жестокий инцидент произошел в торговом центре. Младший полицейский Кит Блейклок, посланный охранять пожарных, которые тушили огонь в газетном киоске, попал в гущу озлобленной толпы. Об этом рассказывает Д. Роуз в книге «Атмосфера страха»: «Мятежники накинулись на Блейклока со всех сторон… его повалили наземь и одну за другой стали наносить ему колотые раны». Характерный пример внезапного озверения лондонской толпы. «Согласно показаниям младшего полицейского Ричарда Кумбса… они, как хищные птицы, терзали его тело, пока он не умер». Другой очевидец сравнил мятежников со сворой собак, неумышленно использовав образ, ставший своего рода штампом. Более старый, чем даже вопрос Марция из шекспировского «Кориолана» — «Что нужно вам, дворнягам?»[109] — этот образ высвечивает спящую в недрах гражданского спокойствия дикую, необузданную свирепость. «Их орудия поднимались и опускались, кромсая его тело. Последнее движение полицейского Блейклока,

[109] Примечания: 109
Перевод Ю. Корнеева.

какое я видел, было когда он поднял руку, чтобы защититься… Руки Блейклока от плеч до кистей были изрезаны в клочья… Голова была вывернута на сторону, шея оголена. По ней зверски полоснули ножом». Так он погиб.

История лондонской жестокости, полная кроваво-мстительных ритуалов на любой вкус, пополнилась очередной главой. Сам торговый центр — «большое приземистое строение, которому сознательно были приданы очертания вавилонского зиккурата». Вавилон издревле ассоциируется с язычеством и изуверством.

В микрорайоне звучали выстрелы, там и сям вспыхивали пожары — но к полуночи бунтовщики начали рассеиваться. Пошел дождь. Насилие выдохлось так же стремительно и внезапно, как началось, если не считать случаев жестокого обращения полиции с рядом неназванных и до сей поры не известных по именам подозреваемых. Примерно таким же, несомненно, было воздаяние после мятежа лорда Гордона.

Нелепо было бы утверждать, что эти два события, разделенные двумя сотнями лет, одинаковы по характеру и подоплеке. К примеру, в том, что первый бунт был повсеместным, а второй локальным, проявился неимоверный рост Лон-

дона за минувший период. Мятеж XVIII века вольно катился по улицам, волнения XX века были ограничены территорией муниципального микрорайона — здесь видны социальные перемены. Однако оба восстания были направлены против власти закона, которую в первом случае символизировали стены Ньюгейтской тюрьмы, во втором — цепь полицейских, экипированных для борьбы с уличными беспорядками. Оба события отражают глубокое недовольство природой власти и ее непосредственными проявлениями. Гордоновские мятежники были по преимуществу бедны и составляли часть «позабытого» лондонского населения; обитатели Бродуотер-фарм, как пишет Стивен Инвуд, в массе своей были «бездомными, безработными или отчаявшимися» людьми. Вот один из факторов общности. Оба бунта, однако, горели хоть и ярко, но недолго. У них не было настоящих вожаков. У них не было реальных целей, кроме разрушения. Такова она — внезапная ярость Лондона.

МАГИЯ БЕЛАЯ, МАГИЯ ЧЕРНАЯ

Глава 53
Я увидел кого-то нездешнего

И с кем же можем мы встретиться в этом темном городе? В 1189 году Ричард Девизесский писал: «В городе Лондоне началось жертвоприношение евреев дьяволу, их отцу, и так долго длилось славное сие таинство, что избиение едва успели окончить на следующий день». Для ни в чем не повинных обитателей еврейского квартала, ставших жертвами разъяренных горожан, Лондон и вправду оказался городом дьяволов.

Здесь, где пышно цвели гордыня и богатство, дьявола всегда боялись, и еще как. Согласно «Лондонским хроникам», в 1221 году «в день Святого Луки подул с северо-востока великий ветер и множество Домов повалил, и башен, и церквей, и немалый ущерб причинил лесам, садам и огородам. А еще много видели драконов волшебных и много злых духов, кои колдовски носились по воздуху». Много лет спустя сходное видение летучих демонов зафиксировал в дневнике Стопфорд Брук: «19 окт. 1904. Англия встретила нас солнцем, и оно светило до окраин Лондона, густо

окутанных дымом. Внизу из окна вагона видны были улицы, полные неугомонного движения людей и транспорта. Все равно что заглянуть в ущелья ада — мне показалось, что я вижу тысячи крылатых дьяволов, снующих туда-сюда среди безумного движения людского сонмища. Тяжкое, тошнотворное зрелище».

В средневековом Лондоне многих знатных горожан хоронили, обрядив по-монашески, на территории доминиканского монастыря, поскольку погребение в одежде доминиканца сулило защиту от козней дьявола. Находились, однако, люди, которых город ввергал в такое состояние, что они отождествляли себя с врагом рода человеческого. Один лондонский вор и нищий, когда его везли на тайбернскую виселицу, так ответил на злые выкрики толпы: «Ежели бы не за компанию, не ради такого, как я, молодца, стал бы дьявол стараться!» «Диковинного вида путешественник» в стихотворном произведении Сэмюэла Роулендса, опубликованном в 1608 году, приехав в Лондон, посетил шордичских шлюх и повидал статую короля Луда, после чего «клятвенно признал, что в Лондоне он дьявола видал». Считалось, что дьявол самолично присутствовал на спектакле по «Доктору Фаусту» Марло в гости-

нице «Прекрасная дикарка» на Ладгейт-хилле.

Фольклор, впрочем, утверждает, что, когда дьявол появляется в Лондоне, его сплошь и рядом дурят и водят за нос хитрые горожане, способные заткнуть его за пояс по части всевозможных плутней. В пьесе Джонсона «Дьявол — сущий осел» перед врагом рода человеческого город поначалу развертывается в виде некой преисподней:

> *Дитя ада, это еще пустяки! Я тебе устрою прыжок*
>
> *Со шпиля Святого Павла к питьевому источнику на Чипсайде*[110].

Но всего за сутки «его обманули, ограбили, избили, в тюрьму засадили и к виселице приговорили».

Встречи с дьяволом случались у лондонцев по всему городу — отнюдь не только на «его собственной» улице Девлз-лейн в Лоуэр-Холлоуэй, впоследствии переименованной. Самозваный пророк Ричард Бразерс заявлял, что видел, как он «прогуливается по Тоттнем-корт-роуд». Иные утверждали, что встречались с ним у того места, где горели на кострах мученики: «Ты — логово

---

[110] Примечания: 110
Подстрочный перевод.

Зверя, о Смитфилд!» Кое-кому он попадался на улицах викторианского Лондона: «Дьявол надевает на палец с длинным ногтем бриллиантовое кольцо, закалывает булавкой воротник сорочки и отправляется на прогулку». Панч обращается к «старине Нику» с церемонностью былых времен: «Лицезрея вас в Лондоне, заключаю, что вы здесь по деловой надобности». Одна из обязанностей дьявола — инспектировать тюрьмы. Колридж и Саути вообразили, как он посещает печально знаменитую тюрьму Колдбат и приходит в восторг от интерьера одиночной камеры. Байрон назвал Лондон «салоном дьявола».

Он и гостей принимал, и наперсники у него были. В Лондоне существует богатая традиция ведьмовства, и такие прозвища, как Мамаша Красный Чепец и Мамаша Черный Чепец, до сих пор красуются на вывесках разнообразных заведений. Возможно, славнейшей из всех была «Чертова Матушка» из Камден-тауна, жившая у развилки — там, где сейчас станция метро. Известная в середине XVII века знахарка и прорицательница, выглядела она так: «Лоб морщинистый, рот широкий, лицо угрюмое и неподвижное». О ней рассказывает Дж. Брукс в книге «Призраки Лондона». В день ее смерти

«сотни мужчин, женщин и детей видели, как в дом к ней вошел дьявол в собственном своем обличье, и… хотя выхода его ждали с превеликим вниманием, больше он так и не появился… На следующее утро Чертову Матушку нашли мертвой. Она сидела у очага и держала над ним костыль, на котором висел чайник с зельем из трав». Впечатляющее, вероятно, было зрелище — дьявол, шествующий по Камден-тауну!

Еще необычней история про Джека-на-пружинах. Он появлялся на улицах в 1830-е годы и вскоре прослыл «пугалом Лондона». Сохранилась запись показаний некой Джейн Олсоп в полицейском участке на Ламбет-стрит. Бедняжка повстречалась с Джеком на пороге своего жилища. «Она вернулась в дом, принесла свечу и подала незнакомцу, который, представ перед нею в большом плаще, был поначалу принят ею за полицейского. Затем, однако, он мгновенно сбросил верхнюю одежду и, поднеся к своей груди горящую свечу, явил наружность чрезвычайно отвратительную и ужасную, изрыгнул изо рта бело-голубое пламя, а глаза его при этом походили на шары из красного огня». Все это может показаться чистейшей игрой воображения, но те же детали возникают в другом рассказе о встрече

с «высоким худым мужчиной, закутанным в длинный черный плащ. Перед собою он нес подобие фонаря с отражателем. Сделав громадный прыжок, он стал перед ней вплотную и, не успела она шевельнуться, изрыгнул ей в лицо голубое пламя». Вся эта причудливая повесть изложена Питером Хейнингом в книге «Легенда о Джеке-на-пружинах и его диковинных преступлениях».

Джейн Олсоп приводит в своих показаниях и другие, столь же тревожащие душу подробности. «Испуг позволил ей бросить на незнакомца лишь короткий взгляд, и она увидела, что на нем большой шлем; белый материал, из которого была сшита его одежда, облегавшая тело очень туго, напомнил ей клеенку. Не говоря ни слова, он кинулся на нее и, схватив за платье и шею с задней стороны, сунул ее головой себе под мышку и принялся рвать платье когтями, которые она с убежденностью называет железными». Она закричала, и к двери подошла ее сестра Мэри Олсоп. Однако та в показаниях для полиции говорит, что, хотя «видела описанную фигуру… была так напугана его внешностью, что побоялась приблизиться и оказать какую-либо помощь». Сбежавшая вниз третья сестра выдернула Джейн из рук чудища, чья хватка была так сильна, что

«у пострадавшей оказался вырван клок волос». Сестра захлопнула дверь, но, «не смущаясь учиненным насилием, он громко стукнул в дверь два или три раза». Этот странный стук — настолько странный, что его едва ли можно счесть выдумкой — представляется самой тревожной подробностью всего этого тревожного эпизода. «А ну открой — я еще с тобой не кончил!»

Вовсе не удивительно, что воображение горожан идентифицировало Джека-на-пружинах как отродье дьявола, и очевидцы описывали его в виде рогатого существа с раздвоенными копытами. В феврале 1838 года его якобы видели в Лаймхаусе извергающим изо рта голубое пламя, и в том же году он, как говорили, бросил в воду проститутку у Джейкобз-айленда в Бермондси. Питер Хейнинг предположил, что все эти дела совершил глотатель огня, носивший шлем или маску для защиты лица. Громадные прыжки, которые он якобы делал, объясняли скрытыми пружинами в каблуках его обуви. Железные «когти», однако, пока еще не объяснены. Но главное состоит в том, что Джек-на-пружинах сделался подлинно лондонским мифом — до того фантастическим и искусственным чудищем он был. Шлемоносный, по-цирковому огнедышащий,

обряженный в «белую клеенчатую одежду», этот лондонский дьявол любопытным образом напоминает чертей из кларкенуэллских мистерий. Рассказы о его внешности и поведении разлетались по городу молниеносно; его видели — или якобы видели — в самых разных местах. Эта диковинная фигура словно бы порождена самими улицами наподобие «голема», которого будто бы слепили из грязи и пыли, взятых с определенной территории. То, что Джек-на-пружинах, как и другой, более поздний и более зловещий Джек, так и не был пойман, лишь усугубляет ощущение безличной силы, и чудовищная фигура кажется неким символическим порождением Лондона как такового.

Ибо многим людям город представляется подобием ада. Поэзия XIX века превратила это сравнение в клише: горожане — «сатанинское сонмище», в лондонском воздухе разлит «бурый инфернальный мрак». Адские ассоциации рождал также сернистый запах угольной пыли и дыма, а из многообразных кричащих пороков города можно было составить каталог козней дьявола, явившегося на землю во плоти.

Образов Вавилона и Содома поэтому хоть отбавляй, однако город символизирует ад и в другом

смысле, более глубоком. Здесь предельная точка упадка и уныния, когда от назойливых или натужных проявлений сочувствия отгораживаются одиночеством, когда из всех видов содружества остается лить содружество беды. Из авторов такое ощущение города наиболее сильно было развито, пожалуй, у Джорджа Оруэлла. В его романе «Пусть цветет аспидистра» Гордон Комсток, стоя в 1936 году на площади Пиккадилли-серкус с ее яркой рекламой, замечает: «Там, в преисподней, огни небось как раз такие и будут». Он часто «представлял себя душой, приговоренной к вечному аду… Ущелья холодного мертвенно-злого пламени, а выше — кромешная тьма. Но в аду должны быть муки. Это что — они и есть?»

В Лондоне и сейчас есть места, где, кажется, еще витает дух страдания. В похожем на пустырь скверике у пересечения Тоттнем-корт-роуд и Хауленд-стрит сидят в позах отчаяния одинокие люди. Совсем близко отсюда — на Хауленд-стрит, 36 — Верлен написал свое удивительное стихотворение: «И pleure dans mon coeur / Comme il pleut sur la ville» — «Плачется в сердце моем, как дождит над городом». В этом образе серого нескончаемого дождя заключена вся одинокая лондонская тоска. Кладбище за церковью Сент-

Джордж-ин-де-Ист, построенной Хоксмуром, влечет к себе несчастных и одиноких. Двор при другой церкви того же архитектора — Крайст-черч-Спитлфилдс — много лет служил местом отдыха для бродяг и душевнобольных; он был известен под названием «Чесоточный парк». На Ватерлоо-роуд близ того места, где она сходится с Йорк-роуд, был знаменитый «Угол бедности»; безработные актеры всевозможных жанров стояли там и ждали в надежде, обычно тщетной, что на них обратит внимание агент какого-нибудь мюзик-холла. Угол этот так и остается безличным и промежуточным местом — с одной стороны мост, с другой вокзал — со своим специфическим ощущением заброшенности.

Печальными или отягощенными порой выглядят довольно-таки обширные участки города. Артура Макена странно завораживали улицы к северу от Грейз-инн-роуд — Фредерик-стрит, Перси-стрит, Ллойд-Бейкер-сквер — и место, где Камден-таун переходит в Холлоуэй. Эти части города не назовешь впечатляющими или представительными, не назовешь их и запущенными или грязными. Кажется, что они заключают в себе серый дух Лондона — то слегка дымное, слегка тусклое состояние, что было присуще городу

многие сотни лет. Макен приметил «истертые, впалые ступени крыльца» (теперь они еще более истертые и впалые): «Я вижу на них знаки слез и вожделений, мук и сокрушений». Лондон всегда был обиталищем множества странных и одиноких личностей, которые, защищая свои секреты, отгораживаются от многолюдного города дверьми; здесь всегда хватало наемных комнатушек, где бесприютный и обиженный человек может найти для себя запятнанный стол и узкую кровать.

Любой истый лондонец скажет вам, что нет нужды ехать в дальние края, когда окружающий вас город повсюду хранит неизведанное; прогулка по Фаррингдон-роуд или Ледер-лейн дает столько же поводов для изумления и размышления, как любая улица Парижа или Рима. «Я не понимаю моего родного города, — могли бы вы сказать, — так зачем отправляться в поисках новизны за тридевять земель?» Лондон то и дело создает ощущение странности — стоит лишь свернуть за угол, попасть на незнакомую улицу. Как сказал Артур Макен, «воистину тот, кто не способен найти диковин, тайн, чудес, новых миров и неизведанных царств на улицах, прилегающих к Грейз-инн-роуд, не получит этих

секретов нигде, даже в сердце Африки».

Часто отмечалось, что определенные улицы и участки города сохраняют свою особую атмосферу на протяжении многих поколений. К примеру, такие артерии, как Виктория-стрит и Нью-Оксфорд-стрит, — искусственные порождения XIX века, проложенные по распоряжению городских властей, что сопровождалось разрушением больших кусков старого Лондона, — до сих пор остаются безликими и несчастливыми магистралями, рождающими чувство пустоты и тоски. Улица Кингсуэй, в начале XX столетия прорезавшая гущу старинных зданий, всего-навсего скучна. Эссекс-роуд и неудачно названная Боллз-Понд-роуд[111] — зоны очевидной серости и бедности. Другим неприветливым местом была улица Шепердс-Буш-грин; в начале XX века ее называли «голой, сухой, отвратительной», и таковой она неизменно с тех пор остается.

В XIX веке иные переулки и дворы мгновенно создавали впечатление нужды и порока. Воздух был «отравлен миазмами, от вони и сырости подступала тошнота — писал Чарлз Мэнби Смит в книге „Малый мир Лондона“. — Половина

[111] Примечания: 111
Слово *balls* можно интерпретировать не вполне пристойным образом.

оконных стекол выбита, их заменяют тряпки и оберточная бумага, а уцелевшие до того грязны, что почти не пропускают света». Эндрю Мернз пишет в книге «Горький плач обездоленных Лондона»: «Приходится спускаться по гнилым ступеням, которые при каждом шаге грозят подломиться… Приходится ощупью пробираться по темным и грязным коридорам, кишащим паразитами». Какой след оставляют подобные места на теле города? Кому это ведомо? «В этом тесном углу, где крыши, просев, ежатся и жмутся друг к другу, точно хотят утаить свои секреты от опрятной улицы, которая совсем рядом, живут такие мрачные преступления, такие беды и ужасы, о каких и шепотом-то не скажешь».

Диковинно гнетущей и скрытной атмосферой отличаются окрестности тюрем. Возможно, именно поэтому весь район, охватывающий Саутуорк и Боро, столетиями производил впечатление низости и скорбности. Тюрем там было сосредоточено немало, в их числе такие знаменитые, как Маршалси и тюрьма Королевской скамьи, и, как пишет Уолфорд в «Лондоне старом и новом», «во всех лондонских пригородах нет другого места, которое выглядело бы настолько же зловещим, печальным и несчастливым… В этих старинных

закоулках сохранился запах прежних эпох, подобный гнилостному, — сумрачная спертость… всяческое старье, сбитое в случайную кучу и оставленное разлагаться без всякой помощи». Такая атмосфера, совершенно не похожая на остальной Лондон, сохранилась здесь и поныне. Восточный Актон, который соседствует с тюрьмой Уормвуд-Скрабз, — пример современного лондонского района, живущего в тени тюряги.

Смерть тоже порой отбрасывает тень на тот или иной участок города. Источниками необъяснимого мрака и угнетенности могут становиться, кроме того, виадуки и перекрестки. В начале XX века молодой лондонец Ричард Черч так охарактеризовал один перекресток к югу от Темзы близ Баттерси-роуд: «Зловещий перекресток, называемый Лачмир, где меня всегда охватывает страх».

От некоторых других улиц и мест явственно веет нуждой. На железных скамьях, которые как стояли, так и стоят через равные промежутки вдоль набережной Виктории, ежевечерне и еженощно сидят, глядя вниз на реку или вверх на небо, одинокие люди. В 1908 году Г. Дж. Уэллс, пройдя по набережной, писал: «Вот бедная старуха в поношенной до неприличия соломенной шляпке, косо сидящей поверх ее сонного лица;

вот молодой клерк, в отчаянии уставившийся в пустоту; вот грязный бродяга; вот бородатый почтенный господин в сюртуке, но без воротничка; особенно отчетливо запомнились мне одна длинная мертвенно-бледная шея и бескровное откинутое назад лицо в душной власти какого-то кошмара». Бродяги по-прежнему тут как тут, но более тревожное зрелище — молодые люди, сидящие в полной «отключке» или «отвязанности». На иных мужчинах средних лет — костюмы, которые некогда были вполне пристойными, но теперь износились настолько, что потребность их надевать будит жалость; иные старые женщины притаскивают сюда все свои земные сокровища в полиэтиленовых сумках. Набережная дает прибежище им всем и, без сомнения, будет давать его еще не одно столетие.

Переулки, отходящие от Друри-лейн, славились царившей в них нищетой. Улица Саммер-гарденз зимой являла собой картину заброшенности, канавы по ее краям были полны замерзшей грязи. Здесь жило много торговцев фруктами, и узкая дорога была усыпана бумажными апельсинными обертками с их тачек. Чарлз Бут пишет: «На улице валяется дохлая собака, поблизости две дохлые кошки, сцепившиеся так, словно они задрали

одна другую. Все три уплощены множеством переехавших их колес, и мороз сделал их, как и все прочее здесь, твердыми и безвредными». По мостовой, кроме того, в большом количестве были рассыпаны объедки и хлебные крошки, что, по словам Бута, является в Лондоне «вернейшим признаком крайней бедности».

Печальной известностью пользовалась и омрачаемая соседством тюрьмы улица Уайткросс-стрит (ранее — Уайткросс-плейс). «Говорят, Господь все сотворил, но мне что-то не верится. Уайткросс-плейс — не его работа». А если не его, то чья? Кто был «создателем грязных улочек и тлетворных переулков»? О Клиффордс-инн на Чансери-лейн, где издавна царили юридическое крючкотворство и волокита, Уолфорд пишет: «Это крохотное местечко породило, думаю, больше горя, чем любое из многолюднейших графств Англии». От старинных помещений здесь ныне остались только ворота и проход. В древнем прямоугольнике был построен дом со сдаваемыми внаймы квартирами, и в 1913 году Вирджиния и Леонард Вулфы отметили, что здесь «невероятные сквозняки и грязь… и всю ночь идет неторопливый нежный дождик из сажи, так что если ты сидишь и пишешь у открытого окна,

ты не успеваешь кончить страницу, как сажа покрывает ее тонким налетом».

Окрестности церкви Олд-Сент-Панкрас и кладбища при ней много веков были зоной запустения. В XVI веке Джон Норден предостерегал: «Здесь не следует ходить в позднее время»; ныне, в начале XXI века, участок опоясан железнодорожными арками, под которыми расположились маленькие гаражи и авторемонтные предприятия. Немалую долю его составляют пустыри. Улица Суэйнз-лейн, идущая под уклон от стен Хайгейтского кладбища к большому холму на Хемпстед-Хите, который носит название Парламент-хилл, считается несчастливой. Местная печать и местные историки исследовали улицу и ее окрестности в этом плане, но без большого успеха, если не считать сообщений о необъяснимых (или, точнее, необъясненных) «явлениях»: «В подворотне в конце Суэйнз-лейн я увидел фигуру, похожую на призрак». В течение недель после того, как в феврале 1970 года эти сведения были опубликованы в «Хемпстед энд Хайгейт экспресс», своими страхами принялись делиться другие местные жители: «Около года назад мы с моей невестой увидели чрезвычайно странное существо. Оно просто-напросто плыло по воздуху

через дорогу. Я рад был узнать, что его заметили не одни мы… насколько я знаю, призрак всегда имеет вид бледной фигуры и является вот уже несколько лет… высокий мужчина в шляпе, пересекающий Суэйнз-лейн… Вдруг боковым взором я уловил какое-то движение… приближалось к нам, выходя из ворот, и мы со всех ног бросились бежать по Суэйнз-лейн… Со мной тоже случилось странное происшествие у нижнего конца Суэйнз-лейн… Мой совет — темным вечером по возможности избегать Суэйнз-лейн».

Есть, однако, места, излучающие мир и заботу. Старая больница для найденышей на Корам-филдс давно снесена, но на краю ее былой территории сейчас находится детская больница на Грейт-Ормонд-стрит. На короткой и узкой Уэйкли-стрит, соединяющей Госуэлл-роуд и Сити-роуд, по одну сторону расположен центральный офис Национального бюро по делам детей, по другую — помещение Национальной лиги защиты собак.

Переключаясь на другую обнадеживающую тему, хочется отметить, что кукольные балаганчики десятилетиями располагались на одних и тех же местах, которые в совокупности образуют своего рода волшебное кольцо вокруг лондонского центра: Холборн-бридж, Линкольнс-инн-филдс,

Ковент-гарден, Чаринг-кросс, Солсбери-чейндж и Флит-бридж.

На этой же окружности расположен и Фаунтин-корт (Фонтанный дворик), составляющий часть Темпла. Здесь триста лет бил маленький фонтанчик, увековеченный такими разными авторами, как Диккенс и Верлен; кротость и покой этого уголка оценили многие поколения. Фонтан и его резервуар были сначала по квадрату обнесены деревянным заборчиком, позднее окружены кольцевыми железными перилами, а теперь не огорожены вовсе; в квадрате ли, в круге ли, открытый ли со всех сторон, фонтан неизменно действует, создавая богатую, будящую чувства атмосферу. Один лондонец впервые пришел сюда школьником и, еще не зная истории дворика и не понимая рождаемых им ассоциаций, мгновенно почувствовал на себе его чары. Мирно и тихо, как вода маленького фонтанчика, перед ним словно бы струились бесчисленные добрые дела и ласковые слова. На этих страницах он наконец имеет возможность признать долг.

Если долговечность способна творить гармонию и милосердие, то церковь Сент-Брайд, стоящая в двух шагах от Фонтанного дворика, вправе рассчитывать на счастливую судьбу. На

ее территории были обнаружены останки доисторического святилища, древнеримского храма и деревянной саксонской церкви. На одном и том же месте тысячи лет возносились хвалы различным формам божественного начала. Лондон не только проклят, но и благословен.

Глава 54
Знание — сила

Была здесь и другая возможность проложить путь к небесам. Стремление горожан к знаниям всегда было одной из определяющих местных характеристик, пусть оно и принимало порой не совсем обычные формы.

В годы правления Эдуарда III был взят под стражу человек, «творивший нечто с головою мертвеца. Представ перед судом Королевской скамьи, он отрекся от своих занятий, после чего у него забрали его причиндалы, доставили в Тотхилл и сожгли у него на глазах». При Ричарде I некий Рольф Уигтофт, капеллан под началом у архиепископа Йоркского, «изготовил пояс и кольцо, хитроумно отравленные, коими намеревался погубить Саймона [настоятеля Йоркского собора] и прочих, но его посыльный был перехвачен, и пояс с кольцом сожгли на этом месте перед всем народом». «Этим местом» был опять-таки Тотхилл, где в древности, как считается, исполняли свои ритуалы друиды; несомненно, то была традиция — уничтожать приспособления

колдунов и алхимиков именно там, где дух магии ощущался сильнее всего.

Но магию в Лондоне невозможно отделить от иных интеллектуальных усилий и от технического изобретательства. Например, доктор Ди, великий маг из Мортлейка, живший во времена Елизаветы I, был не только алхимиком, но и инженером и географом. В 1312 году в Лондон, влекомый научной славой этого города, приехал Раймунд Луллий; он занимался алхимией в Вестминстерском аббатстве и в Тауэре. В конце XV века ради общения с великими богословами и философами того времени в город прибыл маг Корнелий Агриппа; особенно тесно он подружился с Джоном Колетом, настоятелем собора Св. Павла и основателем соборной школы, который заинтересовался магией во время поездки в Италию. Алхимик Хью Дрейпер за колдовство и магию был посажен в Соляную башню Тауэра; на стене камеры он начертал большой гороскоп и, датировав его 30 мая 1561 года, добавил, что «сотворил сию сферу» собственноручно.

Случайно или нет, многие астрологи селились в Ламбете. Может быть, их привлекало само название. Бет-эль по-древнееврейски означает «дом Божий», и на эту трактовку наложилась другая,

связанная с представлением об Агнце Божьем[112]. В южном Ламбете в доме Джона Традесканта жил Илайес Ашмол, убедивший Джона Обри в мощи астрологии. О погребении Саймона Формена, великого мага елизаветинских времен, сообщается именно в ламбетских церковных книгах. Луллий утверждал, что Формен сделал в книге, найденной впоследствии среди его вещей, такую запись: «Я заставил дьявола написать это своею рукой на Ламбет-филдс в 1569 году, в июне или июле, насколько мне теперь помнится». Современник Формена, капитан Бабб, жил на Ламбет-марш, где «разрешал для людей насущные вопросы с помощью астрологии». В конце концов это привело его к позорному столбу. В северо-восточной части Колкотт-элли в Ламбете жил Фрэнсис Мур, астролог и врач, который обрел бессмертие как основатель альманаха, выходящего и ныне под названием «Олд Мурз». В Ламбете, кроме того, имелось множество редкостей. В коллекции Традесканта, позднее превращенной в здешний музей, были саламандры, «пасхальные яйца от иерусалимских патриархов», дракончики в два дюйма длиной, два пера феникса, камень из гроб-

[112] Примечания: 112
Lamb — ягненок, агнец.

ницы Иоанна Крестителя, «кровь, которая лилась дождем на острове Уайт, что засвидетельствовано сэром Дж. Оглендером», птица-альбинос из породы черных дроздов и «половина лесного ореха с помещенными внутрь семьюдесятью предметами домашней утвари». Таковы были во время оно ламбетские достопримечательности.

Тесная связь между алхимией и начатками науки проявлялась и в самом сердце Лондона. Ньютон, приехав в столицу купить книги для своих исследований, взял карету до таверны «Лебедь» на Грейз-инн-лейн, а оттуда дошел или доехал до Литтл-Бритн. Там у книгопродавца Уильяма Купера он приобрел такие алхимические трактаты, как «Theatrum Chemicum» Зетнера и «Рипли, возвращенный к жизни» лондонского алхимика Джорджа Старки. Тогда же Ньютон свел знакомство с тайной группой лондонских магов и астрологов. Многие основатели Королевского общества, которых впоследствии решительно записали в представители «современного» научного знания, были на деле членами так называемой «Незримой коллегии» и, наряду с механистической философией, занимались алхимией. Они принадлежали к традиции, предтечей которой был Джон Ди, — традиции, не видевшей

непреодолимой пропасти между различными формами познания, как оккультного, так и экспериментального. Главной движущей силой группы лондонских экспериментаторов, которая стремилась объединить рациональность и научный метод с алхимией для создания практической магии, был Сэмюэл Хартлиб; к числу его друзей и последователей принадлежали Роберт Бойль, Кенелм Дигби и сам Исаак Ньютон. Они сообщались посредством кодированных имен и печатались под псевдонимами; в частности, Ньютон был Jeova Sanctus Unus[113].

Из всего этого, однако, возникло научное общество, которому, по словам Маколея, «суждено было стать главным проводником долгой последовательности славных и благотворных реформ». Собрания Королевского общества происходили сначала в Грешем-хаусе (Бишопсгейт), затем в Крейн-корте близ Флит-стрит и Феттер-лейн; в вечер заседания у поворота с Флит-стрит вешался фонарь. Прагматизм и энергия этих совещаний видны по некоторым ранним записям о деятельности общества: «насаждать практику прививок… электрические эксперименты с

[113] Примечания: 113
Иегова, единственный святой *(лат.).*

четырнадцатимильным проводом близ Шутерз-хилла… вентиляция — к вопросу о тюремной лихорадке… обсуждение усовершенствованных термометров Кавендиша». Хотя не все экспериментаторы были уроженцами Лондона и не все в нем жили, этот город стал главным центром эмпирической философии и практического эксперимента, выросших из алхимической практики. Прагматический дух лондонской науки явственно чувствуется во всех ее разнообразных тогдашних отраслях; этим духом она неизменно была проникнута и позднее.

Проводились сельскохозяйственные и садоводческие эксперименты; медицина «стала наукой экспериментальной и прогрессивной», и чума 1665 года дала членам общества повод констатировать «ущербность столичной архитектуры, канализации и вентиляции». Сэр Уильям Петти создал «политическую арифметику» (статистику), так что есть все основания считать Лондон колыбелью статистических исследований. Это был новый способ изучать население и контролировать его. Однако в коммерческом городе внедрение статистики сулило и финансовую выгоду; в 1696 году Таможенный совет обратился к Казначейству по поводу «нужды в сборе суще-

ственного материала с тем, чтобы „поддерживать торговый баланс между нашим королевством и всеми частями света“». Ньютон в зрелом возрасте долгие годы занимал должность смотрителя монетного двора, совершенствуя и регулируя обращение денег в государстве. Он привнес в чеканку монет всю скрупулезную точность своей научной работы, создавая ту научную экономику, что существует и ныне. Кроме того, он в судебном порядке преследовал фальшивомонетчиков, отправляя на виселицу нарушителей его незыблемых законов. Знание в Лондоне поистине было силой.

Наибольших успехов лондонский гений добился в сферах индукции и математического описания реальности, поскольку обе опираются на пристальное изучение частностей. Джон Валлис, как пишет тот же Маколей, «дал всей системе статистики новые основания», а Эдмунд Галлей исследовал принципы магнетизма и морские течения. Так мыслительные линии, которые шли из лондонского Крейн-корта, соединили сушу с морем и небом. Предположение о том, что город способен воздействовать на образ мысли и научные воззрения своих обитателей, может показаться диковинным, но сам Вольтер писал:

«Француз, приезжая в Лондон, застает здесь в естественных науках, как и во всех прочих областях, совершенно иное положение… В Париже на Вселенную смотрят как на совокупность вихрей разреженного вещества, в Лондоне же — совсем иначе… Для картезианца свет присутствует в воздухе, а в представлении ньютонианца он приходит от Солнца за шесть с половиной минут. Ваш химик демонстрирует всякое его действие на кислоты, щелочи и разреженные вещества». В очередной раз теоретический Дух парижской науки противопоставляется практическому уклону лондонских исследователей. «Где мысль орлиный взор свой обретает?» — вопрошает Уильям Купер и сам же дает ответ:

Здесь, в Лондоне, где ей даны орудья,
Которыми она исчислить может
Путь, вышину, движение и силу,
Измерить мироздание и атом.

Порой высказывалось мнение, что к концу XVIII века атмосферу и темп промышленного развития страны определял уже не Лондон, а индустриальные города севера. Безусловно, это непонимание и недооценка силы столичного практического разума. Роберт Хук, один из основателей Ко-

ролевского общества, был непосредственным вдохновителем технических достижений того времени; чрезвычайно точные механические приспособления Генри Модели изготовлялись в Ламбете. В 1730 году Джон Харрисон не куда-нибудь, а в Лондон приехал совершенствовать свой морской хронометр, впервые позволивший измерять географическую долготу. Этот дух унаследовали инженеры-механики XIX века, изготовившие в ламбетских мастерских паровой молот и мюль-машину. Ламбет оставался центром преобразований.

Однако в Лондоне тяга к знаниям не ограничивалась стремлением к технической эффективности. Вернувшись из славного путешествия, Чарлз Дарвин писал в своей квартире на Грейт-Мальборо-стрит: «Печальная, но, боюсь, непреложная правда состоит в том, что ни одно место на свете не сравнится с этим грязным и дымным городом по части возможностей для занятий естествознанием». Проплыв вокруг всего земного шара, Дарвин именно Лондон счел самым подходящим местом для своих изысканий, словно вся суть и природа эволюции доступна здесь наблюдению и исследованию. Он написал это в 1837 году, и его мысль получила символическое подтверждение

сорок семь лет спустя, когда в Гринвиче была установлена латунная полоса — отметка нулевого меридиана.

По лондонской традиции наука, как и многое другое, была превращена в театр; этому служили лекции и учебные демонстрации, которые происходили по всей столице. Особенно жадным спросом публики на научные знания отличалось начало XIX века; «Лондон институшн» на Мурфилдс, «Суррей институшн» у моста Блэкфрайарс, «Расселл институшн» в Блумсбери и Городское философское общество на Дорсет-стрит — это лишь некоторые из множества клубов и обществ, служивших распространению новых представлений. Общества, основанные в 1820-е и 1830-е годы, действовали по всему городу, в том числе Геологическое, Астрономическое, Зоологическое, Медико-ботаническое, Статистическое, Метеорологическое и Британское медицинское. В столице, кроме того, работало много изобретателей и теоретиков, которые могли здесь встречаться и сотрудничать. Авторы раздела «Научный Лондон» в книге «Лондон — всемирный город» отмечают: «Лондон сыграл важнейшую роль в сотворении новых специальных дисциплин» — словно то были новые товары,

производимые и выставляемые на продажу в этой горячей, наэлектризованной атмосфере. Бессемер разработал свой метод выплавки стали в Сент-Панкрасе, Хайрам Максим изобрел свой пулемет в кларкенуэллской мастерской.

Прагматизм и практичность лондонской науки повлияли в ту пору и на педагогику. В 1826 году в Блумсбери с отчетливо утилитарными целями был создан первый лондонский университетский колледж. В отличие от Оксфорда и Кембриджа, его задачей было готовить не гуманитариев и богословов, а инженеров и врачей. В числе основателей этого подлинно лондонского учебного заведения были радикалы, диссентеры, евреи и утилитаристы. Поэтому совершенно не удивительно, что колледж был пронизан радикально-эгалитаристским духом, первым проявлением которого стал прием абитуриентов неангликанского вероисповедания. В 1836 году колледж был преобразован в университет, двенадцать лет спустя открыл двери перед женщинами, а с 1850-х годов начал проводить вечерние занятия для работающих лондонцев.

Университет, кроме того, выделил науку в отдельную учебную дисциплину и в 1858 году создал внутри себя первый факультет науки. В

рамках университета возникла к тому же школа медицины, где студентам преподавались такие разные практические дисциплины, как математика и сравнительная анатомия. Питала все эти начинания пытливая энергия — энергия прогресса. Ее называли еще энергией империи, ибо громадная, неистощимая мощь Лондона XIX века, находившегося в центре имперского мира, так или иначе пронизывала все стороны жизни. В начале XIX века (вновь согласно книге «Лондон — всемирный город») статистики, математики и инженеры «рассматривали город как потенциальный всеобщий расчетный центр, из которого при посредстве торговли и техники должна была вырасти всемирная сеть британского могущества». В 1820 году, сойдясь в «Масонской таверне» на Грейт-Куин-стрит, Бэббидж, Гершель и другие их коллеги учредили Астрономическое общество. В своей мастерской Бэббидж соорудил «разностную машину», которая считается предтечей современного компьютера, так что информационная технология, можно считать, тоже зародилась в Лондоне. Для создания машины Бэббидж пользовался услугами высококлассных инженеров и, конечно же, квалифицированных рабочих, чем лишний раз подтверждается

то, что британская столица стала средоточием передовой технической мысли и технического прогресса.

Лондон часто называли золотым городом. Здесь обитают золотые драконы и золотые петухи; золотые крест и шар над куполом собора Св. Павла символизируют лондонскую энергию. Тихим летним утром, когда город обволакивает яркая мерцающая дымка, с ним порой происходит преображение: «То Эльдорадо, город золотой!» Вот он перед тобой весь, во всей неизведанности своих далей, и вспоминаются слова Вордсворта:

Великий город, средоточье юных
Златых надежд.

Этот золотой город возник из чаяний и желаний человеческого сообщества — вот почему в стихах У. Э. Хенли он пылает так ярко и

Трафальгар-сквер
В фонтанной переливчатой глазури
Сияет, словно ангельский базар.

В «Тайном агенте» Конрада на закате «даже тротуар под ногами мистера Верлока в этом рассеянном свете приобрел оттенок старого золота…

Мистер Верлок шел на запад через город, лишенный теней, чьей атмосферой была золотая пыль». Это происходит в романе, чей колорит весьма мрачен, и эффект сродни деянию алхимика, творящего золото из низменных веществ. Алхимия и наука сеяли в темном городе свет и знание, и байроновский Дон-Жуан, глядя на Лондон с Хайгейтских высот,

> *…в дымящем этом море*
> *Увидел лишь алхимии пары,*
> *Магическую власть лабораторий,*
> *Творящую богатства и миры*[114].

Похожее видение было у Драйдена:

> *Мне кажется уже, что в этом алхимическом пламени*
> *Я вижу Город из более драгоценного материала…*
> *И вот, обожествленный, он поднимается из огня*[115].

Вот она, магическая энергия Лондона, зримая

---

[114] Примечания: 114
Перевод Т. Гнедич.

[115] Примечания: 115
Подстрочный перевод.

в каждом из его грандиозных превращений — например, после Великого пожара, когда эмпирическое знание и практический гений помогли отстроить город заново. Эта энергия жива и поныне.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА

Глава 55
Лондон скоро и до нас доберется

Начиная с середины XVIII века Лондон рос рывками и почти лихорадочно, подчиняясь циклическому закону прибыли и спекуляции. Метафору лихорадки использовал в 1787 году Генри Кетт: «Зараза строительной инфлюэнцы… распространилась на пригородную местность, где она бушует с неслабеющей яростью… Явный источник болезни — столица… На болотах Ламбета, у дорог Кенсингтона, на холмах Хемпстеда, что ни день, вырастают дома… Сплошная цепь строений столь тесно соединяет пригороды с городом, что между Чипсайдом и Сент-Джорджфилдс уже нет никакой разницы. Просходящее настолько поразило воображение одного мальчика, жившего в Клэпеме, что он заметил: „Если будут и дальше так много строить, Лондон скоро и до нас доберется“». К тому времени как мальчик повзрослел, его предсказание сбылось.

«Холмам Хемпстеда» угрожала, в частности, Нью-роуд (Новая дорога) из Паддингтона в Излингтон, прокладка которой началась в 1756 году;

это был своего рода обходной путь, позволявший избежать путаницы узких немощеных дорог, которыми раньше добирались до центра города, и какое-то время новая трасса считалась северной граничной дорогой, своего рода барьером между городом и сельской местностью — точнее, между городом и мешаниной кирпичных заводов, чайных на открытом воздухе, фруктовых садов, загонов для скота, сушилен для тканей, огородов и влажных заболоченных полей, которыми столица была окружена во все эпохи. Но затем город перепрыгнул ее чуть ли не единым махом — возникли Сомерс-таун, Пентонвилл, Камден-таун и Кентиш-таун. Нью-роуд стала внутренней городской магистралью и таковой остается до сих пор.

Вторжение в «болота Ламбета» было актом более сознательным и спланированным, имевшим целью убыстрить ход городского бизнеса и теснее сплотить центр столицы с периферией. До 1750 года северный и южный берега Темзы соединял только Лондонский мост, и большая часть сообщения шла по воде. Но с постройкой Вестминстерского моста, на которую ушло двенадцать лет, отношения между севером и югом совершенно изменились. Раньше это были две отдельные области, чуть ли не два смежных

государства; теперь между ними возникла развитая система связей. От моста в глубь Ламбета проложили новую дорогу длиной примерно в полмили с выходом на уже существующие дороги, которые, в свой черед, были продолжены и расширены с тем, чтобы возник свободный путь «для сношений и торговли» между двумя частями города. Кроме того, и Кент и Суррей стали в результате настолько доступны, что крупные участки незастроенной местности исчезли под улицами и площадями.

Эксперимент принес такую выгоду, что были построены еще четыре моста — Блэкфрайарс, Воксхолл, Ватерлоо и Саутуоркский. Что касается Лондонского моста, он был очищен от домов и магазинов, которые в новую эпоху стали мешать ускорившемуся сообщению. Все задвигались быстрее, и всё задвигалось быстрее. Рост города тоже происходил теперь быстрее, и транспорт в его пределах перемещался все стремительней. Ускорение не прекращалось с тех пор никогда. Во второй половине XVIII века уже налицо были признаки коммерческой мощи Лондона и его будущего имперского статуса. Еще немного — и он полностью сметет свои границы и станет первым в мире «метрополисом». И действуя почти

инстинктивно, горожане разрушили старинные городские ворота и прочие рубежи; этим символическим отказом от прошлого Лондон готовился к будущему.

«Дороги Кенсингтона» почувствовали, что город наступает на них. В начале XVIII века южнее Оксфорд-стрит и восточнее Гайд-парка возник новый район — Мейфэр; в непосредственной близости от него был распланирован Портленд — участок к северу от Оксфорд-стрит. Появились Кавендиш-сквер, Фицрой-сквер и Портман-сквер. Гроувенор-сквер обрела очертания в 1737 году и, занимая шесть акров, до сих пор остается самой большой «жилой» площадью Лондона. Затем всего за три улицы от нее возникла Беркли-сквер, и весь район получил тем самым единый порядок и единое лицо. Лондоном завладела градостроительная идея площади и расходящихся от нее улиц. В Блумсбери жилой район Бедфорд продвинулся за Ковент-гарден, где он зародился, и в 1774 году появилась площадь Бедфорд-сквер; вслед за ней двадцать пять лет спустя возникли Расселл-сквер, Тависток-сквер, Гордон-сквер, Вуберн-сквер и сеть соединяющих их улиц с террасной застройкой. В свой черед жилой район Портман создал Дорсет-сквер, Портман-сквер и

Брайенстон-сквер. Площади рождались одна за другой, придавая Лондону привычный ныне вид.

Но город этим не ограничился. На востоке неуклонно продолжали расти Шордич, Уайтчепел и Бетнал-грин, у новых магистралей к югу от реки разбухали Саутуорк, Уолуорт, Кеннингтон и Сент-Джордж-филдс. В полях (fields) росла не пшеница, а улицы с террасной застройкой. Чтобы удовлетворить аппетит города, требовался и рост населения, так что 650 000 в 1750 году превратились пятьдесят лет спустя в миллион. Число крещений превысило число похорон только в 1790 году, но с этого времени процесс все набирал и набирал силу. За каждое из пяти последовательных десятилетий начиная с 1800 года население города увеличивалось на 20 %.

К концу XVIII века Сити уже был не городом, а частью города — не Лондоном как таковым, а анклавом внутри Лондона. Но это не привело к ослаблению его могущества: рассредоточение его жителей, сопровождавшееся уходом многих профессий и родов занятий, позволило Сити еще неистовей сосредоточить свою энергию на коммерческих спекуляциях. Сити стал зоной чистого бизнеса. Уже не будучи столицей Англии, он оставался финансовой столицей мира; ради этого он

неизменно воссоздавал себя в каждом новом поколении. Многие крупные здания гильдий были перестроены или заново отделаны; крупнейшие коммерческие предприятия, частные банки и страховые компании проектировали свои помещения с могучим размахом, беря за образец, а в иных случаях предвосхищая эстетику Английского банка и Фондовой биржи. Лондон поистине превратился в город Мамоны с посвященными этому божеству заповедными участками, лабиринтами и храмами. Таковыми стали, к примеру, новые здания Таможенного и Акцизного управлений, новый рынок Стокс-маркет; архитекторы сэр Джон Соун и Джордж Дане приложили старания и талант к созданию «неоклассицизма», в котором чувствуется их знакомство с тайнами Пиранези и египетских форм. Разрушение старых стен облегчило развитие северной городской периферии, где были распланированы Мурфилдс и Финсбери-серкус. Перестраивались или подновлялись больницы и тюрьмы (неясно, однако, который из двух типов учреждений послужил образцом для другого). Возводились и церкви — например, чудесная, пусть и не лишенная варварских черт, Сент-Мэри-Вулнот, построенная Хоксмуром, — но о религиозной архитектуре эпо-

хи мешает говорить то, что на новую атмосферу мощно воздвигшегося и устремленного вперед Сити христианство существенного влияния не оказывало.

Разбухая, Лондон в то же время заботился о своей целостности. Принимались парламентские акты — о дорогах, об освещении, о мощении улиц. Из всех законодательных решений наибольшее воздействие на Лондон оказал акт о строительстве 1774 года. В нем дома были стандартизованы и распределены по четырем категориям, что привело к созданию крупных участков, одинаковых по облику. Придавая мощно растущему Лондону некое единообразие, эти ограничивающие меры должны были очистить город от всякой избыточности и непомерной театральности, нарядить его в одежды, приличествующие имперской столице.

Этот опыт архитектурной стрижки под одну гребенку не мог, однако, иметь успеха. Лондон был слишком велик для попыток подчинить его одному главному стилю или стандарту. Он стал самым пародически-эклектическим городом мира, заимствующим архитектурные идеи из многих цивилизаций с тем, чтобы подчеркнуть свое положение величайшей и внушительнейшей

столицы из всех, что когда-либо существовали. Одна улица порой становилась ареной борьбы между индийскими, персидскими, готическими, греческими и римскими мотивами. О разнообразии тогдашней лондонской застройки говорит, к примеру, тот факт, что столь разные архитекторы, как Роберт Адам и Уильям Чеймберс, работали всего в нескольких сотнях шагов друг от друга над разительно несхожими проектами, чье влияние чувствуется в Лондоне до сих пор: Чеймберс строил Сомерсет-хаус, Адам — террасу Аделфи. Если Аделфи имела вид облегченно-экстравагантный, то Сомерсет-хаус создавал ощущение солидности и консерватизма; первое из двух зданий — плод гениального новаторства, второе — детище академической торжественности. Оба архитектора нашли в Лондоне возможности для приложения сил.

Из попыток внести в лондонский хаос единообразие и порядок лишь одна была успешной и привела к долговечным результатам. Речь идет о грандиозном плане — связать Сент-Джеймс-парк на юге с Риджентс-парком на севере. Создание Риджент-стрит и Ватерлоо-плейс по сей день остается самым весомым проявлением городского планирования в столице. В том, что план

удался, нет никаких сомнений; в такой оппортунистический век и в таком оппортунистическом городе сочетание таланта Джона Нэша с острой смекалкой спекулянтов было, пожалуй что, непобедимо. Нэш спланировал Трафальгар-сквер, создал условия для возникновения Пиккадилли-серкус, выработал проект реконструкции Букингемского дворца, застроил террасами периметр Риджентс-парка, сотворил Оксфорд-серкус. «Лондон, — писал в 1826 году князь Пюклер-Мускау, — намного улучшился… Теперь наконец он похож на город, где заседает правительство, а не на бескрайний город „лавочников“, если воспользоваться выражением Наполеона».

Но эта «правительственная» солидность была достигнута разграничением бедных и богатых районов, фактически отрезавшим более состоятельных горожан от вида и запаха городских низов. Не кто иной, как Нэш, заявлял, что стремится создать границу или барьер «между улицами и площадями, где проживают знать и джентри», и «узкими улочками и домами попроще, где обитают ремесленники и торговцы».

Высказывалось мнение, что достижения Нэша вступили в противоречие с историей и атмосферой города; но он был коренной лондонец

(вероятно, гомосексуалист), разбогатевший благодаря наследству от дяди-коммерсанта. Этот человек понимал все стороны городской жизни. Отсюда, в частности, театральность его таланта: было отмечено, что изгиб Риджент-стрит напоминает изгиб амфитеатра. Грандиозные проекты Трафальгар-сквер, Букингемского дворца и Оксфорд-серкус, где вся энергия и вся зрелищность Лондона соединились в великолепных творениях архитектурного хитроумия, сравнивались с декорациями популярных спектаклей. Когда Нэш, пользуясь возвращением в 1811 году короне парка Марилебон, создавал из ничем не примечательного участка земли Риджентс-парк, он все свое театральное дарование вложил в проект величественного двойного круга зданий с возвышающимся посередине неким «национальным пантеоном». План, однако, был неосуществим из-за финансовых ограничений. Из обломков архитектурных амбиций Нэша выросли восемь вилл и кольцо террас, где и сейчас ощутимо то, что сэр Джон Саммерсон назвал «экстравагантной сценичностью». Эти «дворцы из сновидений, исполненные величественных, романтических идеалов», таковы, впрочем, лишь на отдалении; если взглянуть пристальней, окажется, что они

состоят из «одинаковых строений — одинаковых в своей ограниченности, в своей неубедительной претенциозности, в своей архитектурной бедности». Террасы парка, заключает Саммерсон, — «архитектурные шутки… странно сочетающие в себе фантазию и напыщенность». Этим они передают, однако, всю вульгарную театральность, присущую как самому городу, так и личности Нэша; такие лакомые туристические приманки, как Букингемский дворец и Трафальгар-сквер, можно в некотором смысле назвать шутками над самими посетителями Лондона.

Что касается других фрагментов возведенного Нэшем города грез, то давление коммерции и спекуляции недвижимостью нанесло им непоправимый вред. Риджент-стрит с самого начала строилась на чисто коммерческой основе — на деньги, полученные от продажи лучших участков вдоль улицы. Но то, что рождено от коммерции, от нее же и умирает. Знаменитая колоннада, простояв всего тридцать лет, была убрана на том основании, что создаваемый ею сумрак мешает бизнесу, и вся улица в 1920-е и 1930-е годы подверглась существенной перестройке. Эти разрушения и это небрежение наводят на некую общую мысль о Лондоне: грандиозные и широко-

масштабные архитектурные проекты здесь редко бывают успешными. Самым замечательным общественным зданиям Лондона — например, Английскому банку — присуща доля скрытности и замкнутости, словно они не хотят слишком уж выпячиваться. Величественные замыслы, как заметил Эндрю Сейнт в книге «Лондон — всемирный город», потому терпели неудачу, что «любой подход, кроме самого прагматического, был обречен здесь на провал». Вновь звучит нота прагматизма, которым до корней пронизана интеллектуальная и общественная жизнь столицы.

«Намного улучшившийся» Лондон начала XIX века обрел новый импульс к развитию. Национальная галерея, Британский музей, Марбл-арч, Вестминстерский дворец, Королевский хирургический колледж, Дом правосудия, экран и арка у Гайд-парк-корнера, Главное почтовое управление близ церкви Сент-Мартин-ле-Гранд, Лондонский университет, Иннер-Темпл, Миддл-Темпл, а также разнообразные театры, больницы, тюрьмы и клубы полностью изменили облик Лондона. Впервые он стал публичным городом. Насыщенные подробностями рисунки Джорджа Шарфа, сделанные в этот период, дают хорошее представление о самом процессе строительных

работ. У наполовину построенной триумфальной арки Марбл-арч высится огромный передвижной кран; мужчина в цилиндре, стоя на деревянных лесах, делает заметки в блокноте; сооружается новый портик, и Шарф обращает наше внимание на то, что колонна — это железный стержень, обкладываемый кирпичом. Забравшись на деревянные козлы, трудятся штукатуры, двое рабочих поднимают на канатах балку. Подобные зарисовки строительных работ можно было сделать в Лондоне в любое время на протяжении последних шестисот лет. Здесь вечно идет стройка и перестройка. Шарф, однако, подчеркивает человеческий масштаб нового Лондона, который еще не стал викторианским мегалополисом. Он изображает горожан, стоящих не толпами, а небольшими группами или парами; высовываясь из окон верхних этажей, люди обращаются к стоящим внизу, и Шарфа очень интересуют конкретные виды ремесел и торговли, названия лавок, фамилии лавочников. И все же, несмотря на обилие местных и специфических подробностей, ему удается передать ощущение прогресса и обновления; в ясной и характерной атмосфере этих рисунков есть нечто воодушевляющее. Утратив долю былой напряженной тесноты, город зато

вновь обрел ощущение чуда. Талейран, приехав в Лондон в 1830 году после тридцатишестилетнего перерыва, нашел его «сильно похорошевшим»; по мнению одного приезжего из Америки, британская столица стала «в тысячу раз красивей». В 1834 году один итальянский генерал писал, что Лондон «превратился в весьма благовидный и величественный город; словом, это ведущая из мировых столиц».

Но улучшилась ли при этом жизнь горожан? Некоторые современники считали, что улучшилась. Фрэнсис Плейс, лондонский радикально-демократический реформатор, заявил, что «улучшениям в области искусств, производства и коммерции сопутствовал прогресс по части человеческого поведения и морали. Вначале медленный, этот прогресс неуклонно ускорялся… Мы теперь гораздо лучшие люди, нежели тогда [в 1780-е годы], — лучше воспитанные, более искренние и добросердечные, не столь грубые и толстокожие». В свете последующих обвинений в адрес викторианского Лондона со стороны таких несхожих авторов, как Энгельс и Бут, этот энтузиастический отзыв может удивить, но сбрасывать его со счета нельзя. Плейс, который всю жизнь с близкого расстояния наблюдал реальные усло-

вия города, видел, что уже нет былого буйства толп, былого неприкрытого разврата и былой повседневной жестокости. Будучи не только социальным, но и моральным реформатором, он с удовлетворением отметил, что зримого порока и зримой мерзости стало меньше.

Лондонские «улучшения», новые дороги и новые средства транспорта действительно оказали на природу города общее и глубокое воздействие. Как пишет в книге «Рост Лондона в викторианскую эпоху» историк Лондона Дональд Олсен, «в XIX веке систематически шло дробление Лондона на небольшие однородные специализированные районы… В любом начинании предпосылкой успеха стала четкая социальная сегрегация». Более того, «утрата районами пестроты и обретение ими однородности отражали широкую профессионализацию и специализацию, происходившую во всем мышлении XIX века и во всей его деятельности». Олсен, вероятно, делает слишком широкое обобщение — ведь районы, где богатые и бедные жили вперемешку, по-прежнему существовали, — однако в его словах содержится важная истина. Эту истину отчасти выразил и Фрэнсис Плейс, пусть и невольно. Пороки бедных уже не так заметны — следовательно, должно бы-

ло произойти улучшение. На деле бедные ушли в зоны нищеты, созданные при расчистке трущоб для нового города. Они переместились «за кулисы» Лондона, театрализуемого в очередной раз.

Глава 56
Пребудет бесподобным

Начнешь перечислять лондонские районы — не кончишь. Уолтемстоу с его живостью, Пимлико и Морнингтон-креснт с их печальным упадком, Стоук-Ньюингтон с его путаницей, Брикстон с его напряжением и энергией, приречный Уоппинг с его влажным мраком, Масуэлл-хилл с его бодрящей элегантностью, Канари-уорф с его возбуждением, Камден-таун с его эксцентризмом, Степни с его страхами, Лаймхаус с его апатией — все они достойны упоминания в могучем лондонском песнопении. У каждого лондонца есть свое любимое место, будь то Виктория-парк в Хэкни или идущая то вверх, то вниз улица Лонг-лейн в Саутуорке, хотя надо признать, что в большинстве своем горожане редко выходят за пределы своей ближней округи и плохо знают остальной Лондон. Как правило, они идентифицируют себя по малому участку, на котором живут.

В романе Г. К. Честертона «Наполеон Ноттингхилльский» есть место, где город представлен как совокупность самостоятельных районов:

«Клэпем с городской стражей. Уимблдон, обнесенный городской стеной. Сэрбитон бьет в набат, призывая горожан к оружию. Уэст-Хемпстед кидается в битву под своим знаменем»[116]. О районе, давшем книге название, там сказано: «На свете никогда не было ничего похожего на Нотгинг-хилл. Он пребудет бесподобным до скончания времен». В этом, по крайней мере, Честертон был прав.

На месте нынешней площади Ноттинг-хилл-гейт в римский период высился маяк; у церкви Св. Иоанна Евангелиста на улице Ладброук-гроув был найден фрагмент римского саркофага. Название участок получил от саксонского отряда «сынов Кнотты». В течение 1700 лет это была открытая местность, славившаяся источниками и целебным воздухом; в XVIII веке здесь, однако, возникли колонии кирпичников и свиноводов-ирландцев, которые явно нарушили идиллическое спокойствие округи. Власти, несмотря на жалобы, бездействовали. Одна из специфических особенностей Ноттинг-хилла состояла в том, что район, будучи привязанным к городу, не принадлежал к нему и отличался

---

[116] Примечания: 116
Перевод В. Муравьева.

поэтому смешанной атмосферой — и городской, и пригородной. Отсюда его двойственность.

В 1850-е годы, к примеру, восточную часть Ноттинг-хилл-Хай-стрит населяли «неслужащие люди, иностранцы, дельцы-авантюристы, но также и респектабельные, пользующиеся доверием сотрудники вест-эндских коммерческих предприятий»; однако без малого пятьдесят лет спустя Перси Фицджеральд посетовал на то, что величественные террасы и солидные дома «смешаны» здесь с «дешевыми, безвкусными магазинами и всевозможными образчиками торговой вульгарности». В 1837 году там, где ныне сходятся улицы Кенсингтон-парк-гарденз и Ладброук-гроув, был открыт «Ипподром», который рекламировали как «беговой центр, более обширный и привлекательный, нежели Аскот и Эпсом». Предприятие, однако, не имело успеха, и с 1840-х годов район начал сплошь застраиваться домами и виллами.

Так он постепенно обретал свой нынешний облик; в то же время циклическая череда спекуляций и банкротств придавала Ноттинг-хиллу другую его специфическую особенность. В 1820 году неудачную попытку застройки предпринял здесь Джеймс Ладброук; во время бума 1840-х годов тут были начаты широкомасштабные

проекты, но спекулянтов недвижимостью обанкротил спад 1850-х. В 1860-е годы журнал «Билдинг ньюс» назвал Ноттинг-хилл «кладбищем погребенных надежд… обнаженные каркасы, осыпающаяся облицовка, треснувшие стены, склизкий цемент. Всякий, кто вложит сюда деньги и энтузиазм, лишится и того и другого». С той поры здесь установился неизменный рисунок упадка и возрождения. В 1870-е годы, к примеру, произошло оживление, и в Ноттинг-хилл стали приезжать новые обитатели, но уже в следующем десятилетии привлекательная новизна района сошла на нет. Когда в Эрлз-корте, который всегда был «пустыней», ход городской застройки стал неустойчивым и вялым, возникло новое движение в пользу Ноттинг-хилла, набравшее силу в 1890-е годы. Однако в первые десятилетия XX века отделанные стукко особняки улицы Кенсингтон-парк-гарденз и ее окрестностей вновь начали ветшать и осыпаться. В 1930-е годы величественные дома (со времени их постройки не прошло и столетия) были поделены на квартиры, сдаваемые внаймы, и в районе, некогда принадлежавшем «верхушке среднего класса», появились «венские профессора, индийские студенты и особы, сдающие однокомнатные квартирки».

Автор этой характеристики — Осберт Ланкастер, живший в Ноттинг-хилле в период постепенного упадка его «эдуардианской пристойности».

А в конце 1940-х и в 1950-е Ноттинг-хилл докатился до «трущобности», до разбитых окон, до домохозяев, вымогающих квартплату угрозами. В 1950-е годы здесь, как некогда ирландцы, селились выходцы из Вест-Индии, что опять-таки привело к беспорядкам; в 1960-е и в начале 1970-х не что иное, как смешанное и пестрое прошлое района, привело к тому, что сюда потянулись хиппи и прочие, кому нравилось жить в вольной и неряшливой обстановке. К домам с облупленными фасадами и угрюмо нависающими балконами добавился уличный рынок на Портобелло-роуд — и все это породило здесь атмосферу какой-то разудалой запущенности. В 1980-е годы Ноттинг-хилл прославился фестивалями. В миниатюре перед нами шествуют здесь разнообразные лондонские культуры.

Но затем вновь, демонстрируя один из странных и неосознанных процессов городской жизни, район начал медленно переходить в другое состояние. Предвестником перемен стал 1967 год, когда обширные участки Ноттинг-хилла подпали под закон о консервации, вследствие чего улицы,

сохранившиеся в первозданном виде с 1840-х и 1850-х годов, стали заповедными территориями, недоступными спекулянтам и застройщикам. К концу 1970-х годов этот особый статус стал вновь привлекать в Ноттинг-хилл богатых лондонцев, покинувших его полстолетия назад. Домам района был постепенно возвращен былой вид, и они покрылись светлым, играющим стукко; прогуляться по Кенсингтон-гарденз в 2000 году — значит увидеть эту широкую магистраль такой, какой она родилась 150 лет назад.

За последние годы район обрел некую солидность и твердость намерений; он уже не так текуч и разнообразен, как раньше. Расположенный между улицей Кингсуэй с ее приводящим в оторопь космополитизмом (здесь когда-нибудь, возможно, примутся строить новую Вавилонскую башню) и Шепердс-Бушем — зоной печали, — он представляет собой анклав спокойствия и уверенности в себе. Признавая и принимая минувшее, Ноттинг-хилл включил его в нынешнее свое бытие, так что теперь летний Ноттингхилльский карнавал — подлинно смешанный городской праздник. Разумеется, здесь по-прежнему есть области относительной бедности и обездоленности. К примеру, высотное здание Треллик-тауэр

в Кенсал-эстейт нависает над микрорайоном с севера и придает рынку на Голборн-роуд, находящемуся в его тени, нечто от старого, бедного коммунального образа жизни. Здесь, кроме того, уже чувствуется близость уэст-килбернского лабиринта, находящегося северней Харроу-роуд. Тем не менее в целом Ноттинг-хилл вернул себе былое очарование и добродушие — главным образом потому, что нашел общий язык со своей судьбой.

Двигаясь на северо-восток, мы оказываемся в унылом привокзальном Паддингтоне, на котором всегда лежала сумрачная печать транзита, временности и бренности. В этом он схож с другими «воротами города». Например, окрестности вокзала Кингс-кросс привлекают к себе уличный люд, норовящий поживиться за счет приезжих и туристов, которые отваживаются углубиться в ближние улицы. Окрестности вокзала Виктории безлики и несчастны. Но Паддингтон имеет и свои, особые источники скорбности. Он — транзитная зона более чем в одном смысле, ибо к числу его главных примет принадлежала некогда тайбернская виселица. Кроме того, лорд Крейвен подарил городу участок земли (теперь это Крейвен-гарденз), которому в случае нового

чумного поветрия предстояло стать кладбищем. Нынешние обитатели Крейвен-гарденз скорее всего и знать не знают об этом акте благотворительности. Рядом с вокзалом стоит больница, и мрачный коричневый кирпич старого ее здания, как и прежде, на свой лад излучает дух временности и смертности. Уильям Блейк еще до постройки вокзала и больницы назвал Паддингтон «печальным, вечно плачущим», и здесь мы остро чувствуем, что мы все странники — как прибыли, так и отбудем.

Если, отбыв, мы направимся дальше на северо-восток, минуем Кейто-стрит, где в 1820 году собирались заговорщики, минуем Марилебон-роуд, которая раньше называлась Нью-роуд (Новой дорогой), минуем Юстон-роуд, минуем остатки колонн былого портика Юстон-арч перед современным зданием вокзала Юстон, минуем мрачную и ветреную площадь Кингс-кросс, минуем Пентон-хилл, где в древности, возможно, собирались друиды, минуем доисторическую тропу, обнаруженную под нынешней застройкой Эйнджела, — то окажемся в Излингтоне.

Римляне сражались здесь с Боудиккой; в Барнсбери были найдены остатки римского лагеря, и район нынешней площади Кингс-кросс в про-

шлом назывался Баттл-бридж (Мост сражения). Под Ливерпуль-роуд погребен позабытый ныне путь, называвшийся Хагбуш-лейн. Чуть к северо-востоку от теперешней Излингтон-грин находилось поселение древних бриттов. Саксонский король Этельберт пожаловал Излингтон каноникам собора Св. Павла (отсюда название Канонбери), и в кадастровой книге Вильгельма Завоевателя написано, что церковники владели здесь примерно пятьюстами акрами земли. Фицстивен описывает район так: «Пастбища и вольные луга, весьма приятные, где несет воды река и крутятся с восхитительным шумом мельницы… за ними простирается огромный лес, прекрасный своими полянами, рощами и перелесками, где множество нор и логовищ диких зверей… всякая дичь, олени, медведи, дикие быки». Тема воды здесь существенна: во всей последующей истории Излингтона вода играла важную роль как оздоровляющий и освежающий элемент. Спорт и охота тоже были постоянной приманкой этой загородной местности, так что почти тысячу лет те, кто большую часть времени был заперт в городских пределах, использовали ее для отдыха и развлечения. В правление Генриха II (1154–1189) «горожане на излдонских полях

играли в мяч, упражнялись в верховой езде, занимались птичьей охотой с ястребами-перепелятниками и большими ястребами, охотились с собаками». В XVI веке Стоу назвал излингтонские поля «удобными для прогулок, стрельбы и иных освежающих занятий на приятном и здоровом воздухе, коими возрождается утомленный дух». Чуть южнее Эйнджела были устроены стрельбища для лучников; на картах XVIII века можно насчитать почти двести мишеней, а самым метким стрелкам присваивались такие пышные титулы, как «маркиз Излингтонский», «маркиз Кларкенуэллский» и «граф Панкриджский».

Именно в Излингтоне сэр Уолтер Рэли стал первым курильщиком табака; на месте его дома позднее возник трактир, продолживший традицию приятного времяпрепровождения. Излингтон славился своими гостиницами и постоялыми дворами, в числе которых были «Три шляпы», «Копенгаген», «Белый питьевой фонтан» и «Ангел», подаривший благодатное свое название целому району (Эйнджел). Здесь действовали многочисленные увеселительные сады — «Садлерс-уэллс», «Излингтон-спа», «Нью-уэллс», «Пантеон» на Спа-филдс, «Английский грот» на Розоман-стрит, «Лондон-спа», «Пещера

Мерлина», «Хокли-ин-де-Хоул», «Багниг-уэллс», «Сент-Чадз-уэлл» на Грейз-инн-роуд и «Пенниз-фолли» на Пентонвилл-роуд; весь этот пригород был совокупностью чайных на открытом воздухе, прогулочных аллей и увеселительных заведений. Чарлз Лэм, великий лондонский антиквар-романтик, обосновался здесь в 1823 году и, как пишет Уильям Хэзлитт, «проявил живой интерес к старине „Веселого Излингтона“… посещал также старинные гостиницы — он любил выкурить трубочку и глотнуть орехово-коричневого эля в „Голове старой королевы“». То же чувство освобождения Излингтон внушал Лэму и два года спустя, когда он писал: «Это было подобно переходу из бренности в вечность… теперь, когда жизнь — сплошной праздник, отдельных праздников больше нет… Раньше для мимолетных увеселений служили свободные дни — мои же веселые денечки мимолетны лишь постольку, поскольку мимолетна сама жизнь. Свобода и жизнь — рука об руку!» Вот почему об Излингтоне сложено так много баллад. Среди них — «Дочка излингтонского бейлифа» и «Том, Том из Излингтона»; не одно столетие этот район был настоящим царством беспечности.

Но к Коулбрук-коттеджу, где жил Чарлз Лэм,

пристроили другие дома; затем появилась терраса; затем, с продвижением Лондона на север, она стала частью сплошной полосы террас. Вначале 1800-х годов вокруг Коулбрук-коттеджа возникли «маленькие и хлипкие» домишки, вскоре превратившиеся в трущобы. В 1830-е годы свободные земли в Нортгемптоне были застроены дешевыми доходными домами, шестнадцать лет спустя Пакингтон покрылся сетью широких улиц. Вскоре весь Излингтон оброс террасами и виллами; застройка часто носила ленточный характер, в целом присущий Лондону с его щупальцеобразным ростом. В 1863 году журнал «Билдинг ньюс» писал, что Излингтон — это «участки сомнительного качества, распределенные между застройщиками и покрывшиеся тесным скоплением улиц и террас». Те, кто поселился в этих новых террасах, каждое утро отправлялись в путь к средоточию своего бытия. Диккенс описал их в одном из ранних очерков: «несчетные клерки из Сомерс-Тауна и Кемден-Тауна, Излингтона и Пентонвилла уже хлынули потоком в Сити либо направляют свои стопы к Чансери-лейн и Иннс-оф-Корт. Люди пожилые, чье жалованье если и увеличилось за последние годы, то отнюдь не в такой же пропорции, как их семейства, идут, не

глядя ни вправо ни влево, не видя впереди иной цели, кроме своей конторы; они знают в лицо почти всех, кого обгоняют или кто попадается навстречу, потому что вот уже двадцать лет видят их каждое утро (кроме воскресений), однако не заговаривают ни с кем… Маленькие рассыльные в больших цилиндрах… мастерицам, что живут в обучении у модистки или корсетницы»[117]. Всех этих людей можно представить себе входящими в Сити и по мере продвижения обретающими отчетливую и стойкую безличность. Излингтон очень интересовал Диккенса. Писатель поселил там ряд своих персонажей, дав большинству из них профессию клерка. В частности, Поттерс, Смизерс и Гаппи — клерки из Излингтона или Пентонвилла; эти районы, прилегающие к центрам финансовой мощи, словно бы сами приобрели некую вспомогательность, уподобились клеркам.

Беднота из центральных частей города двигалась в прилегающие к ним северные предместья, а лондонцы побогаче перебирались еще дальше — в Сайденхем и Пендж. Так Излингтон мало-помалу стал бедным районом. На старых

---

[117] Примечания: 117
Перевод М. Лорие.

фотографиях видны сплошные террасы домов в два, три или четыре этажа; закопченному стукко их облицовки соответствует темный цвет их кирпича, и кажется, что они тянутся до бесконечности. В 1945 году Оруэлл так описал этот район «бурых трущоб»: «Он шел по булыжной улочке мимо двухэтажных домов с обшарпанными дверями, которые открывались прямо на тротуар и почему-то наводили на мысль о крысиных норах. На булыжнике там и сям стояли грязные лужи. И в темных подъездах, и в узких проулках по обе стороны было удивительно много народу… Наверно, каждое четвертое окно было выбито и забрано досками»[118]. Цитата взята из «1984» — романа о будущем, — но непосредственной основой картины послужили впечатления автора от улиц, прилегающих к Эссекс-роуд. Запущенность района, похоже, поразила его до глубины души, и он пришел к мысли, что Лондон вечно будет убогим, закопченным и грязным. Что Излингтон всегда будет Излингтоном.

В послевоенную эпоху район, безусловно, вошел в жалком состоянии. Было отмечено, что «в три четверти домов не проведена вода, в них нет

[118] Примечания: 118
Перевод В. Голышева.

ни внутренних уборных, ни ванных». Местный житель вспоминал: «У нас на шестнадцать человек была одна уборная». В прошлом деревня поблизости от Лондона, Излингтон стал образцом трущоб «внутреннего города». А затем события пошли по знакомому руслу. Полосы викторианских и георгианских террас сносились ради строительства муниципальных жилых массивов и многоэтажек. Разрушительные побуждения, однако, быстро сменились стремлением к консервации существующего. В этом смысле Излингтон типичен для Лондона в целом, где мода на снос и полную перестройку всего и вся уступила место настоятельной потребности в реставрации. Словно к пациенту, страдающему амнезией, внезапно вернулась память. Начался процесс «джентрификации», в ходе которого в Излингтоне стали селиться супружеские пары, привлекаемые «реставрационными субсидиями» от местных властей и принадлежащие, как правило, к среднему классу. Новые жители начали восстанавливать или отделывать купленные дома. Они были прямыми преемниками тех, кто появился здесь в 1830-1840-е годы, и отреставрированные улицы, по существу, вернули себе первоначальные черты. Не обошлось, ра-

зумеется, без потерь. Не столь состоятельные «коренные жители» сконцентрировались теперь в муниципальных микрорайонах Излингтона или просто уехали. Что при этом было утрачено? Несомненно — ощущение принадлежности к своему крохотному клочку территории, сколь бы непригляден он ни был. Или, лучше сказать, это ощущение перешло от одних людей к другим. Бедные населяли район сто лет, вытеснив в 1880-1890-е годы более зажиточных обитателей Излингтона. Теперь вытесняли их самих.

Но проявилась и другая, более широкая тенденция. Если раньше в Излингтоне обитало укорененное, четко очерченное сообщество, то теперь район создает впечатление большей текучести. Как и остальной Лондон, он сделался более мобильным — но и более усредненным, безличным. Возник, однако, еще один парадокс, иллюстрирующий уникальность каждого участка города. В ходе нынешних перемен Излингтон заново обрел свою главную или первоначальную особенность. Прежде он славился гостиницами и чайными — ныне он знаменит барами и ресторанами. На главной его улице Аппер-стрит плотность ресторанов сейчас выше, чем где бы то ни было в Лондоне, за исключением разве что

Сохо, так что район вернул себе ту репутацию гостеприимного, приветливого уголка, какую он имел задолго до того, как стал частью Лондона. Под переменчивой внешностью всегда жива старая сущность.

Сити-роуд, берущая начало в Излингтоне, ведет в ту часть Лондона, где раньше проходила городская стена. По пути мы пересекаем Олдстрит, идущую на восток, в сторону Шордича и Спитлфилдс. Эти некогда заброшенные районы и теперь несут на себе следы прошлого. В середине XVII века Шордич был «нехорошим местом, изобилующим женщинами легкого поведения». Продажные женщины и сейчас ловят клиентов у верхнего конца Коммершл-стрит — угрюмой улицы, соединяющей два района, — а Шордич-Хай-стрит славится стриптиз-пабами, куда ходят как местные жители, так и джентльмены из Сити, которые, чтобы поразвлечься, минуют Бишопсгейт, символически пересекая старую границу города. В конце XIX века трущобы «Олд-Никол» (переплетение улочек вокруг Олд-Никол-стрит, которая, думается, могла быть названа в честь самого дьявола — «Старины Ника») были источником жестокого уличного бандитизма. Жестокости и теперь хоть отбавляй, и всякое

убийство или самоубийство рождает ассоциации с событиями столетней давности.

Название *Шордич* происходит от Soerditch (канава, впадающая в Темзу), но невольно на ум приходят слова *sour ditch* (скверная канава). Наложившееся позднее слово *shore* (берег) наводит на мысль о чем-то выброшенном на сушу или поставленном на прикол. Что касается Спитлфилдс, то название этого района, оторвавшись от своего источника (spital — больница), ассоциируется со *spittle* (слюна), то есть с чем-то выплюнутым, извергнутым. Соответственно, район стал пристанищем беженцев. Ложная этимология зачастую вернее отражает характер места.

Посетим теперь охотничьи угодья Сохо. «Сохо!» или «Соу-хоу!» было кличем охотников, скакавших некогда по здешним полям. Ныне в районе, изобилующем секс-шопами и стриптиз-клубами, тоже идет охота — но на иную дичь. Из всех частей Лондона эта лучше других сохранила былой облик. Пусть Джеррард-стрит и оказалась посреди китайского квартала, дом, в котором жил Джон Драйден, вполне узнаваем. В Сохо что ни улица, то мемориал: в этом доме жил Маркс, в этом Казанова, в этом Каналетто, в этом Де Куинси.

Есть и другие, более глубокие линии преемственности: район задолго до того, как был заселен, уже славился кухней. В 1598 году Стоу писал о питьевом фонтане на Сохо-филдс: «Лорд-мэр, олдермены и многие знатные лица отправились к фонтану… согласно обычаю, а потом все поехали охотиться и затравили перед обедом зайчиху; после этого отобедали в пиршественном доме у фонтана, где гофмейстер оказал роскошный прием великому множеству гостей». Итак, эти места исстари отличал дух хлебосольства и компанейской веселости. На том же клочке земли, где в XVI веке кушали сильные мира сего, современный турист может вкусно пообедать в «Веселом гусаре», в «Quo Vadis» или в «L'Escargot».

В 1623 году здесь возник церковный приход, а в 1636 году о неких людях было сказано, что они живут у «кирпичных печей близ Сохо»; но первый период бурного развития начался в 1670-е годы, когда застраивалась территория к северу от Лестер-филдс и возникли Джеррард-стрит, Олд-Комптон-стрит, Грик-стрит и Фрит-стрит. Королевский указ, датированный апрелем 1671 года, воспрещал постройку «малых коттеджей и иного жилья» на «полях с ветряными мельницами, на Дог-филдс и на полях, примыкающих к

Соу-хоу», но, как обычно, социальные и коммерческие императивы Лондона оказались сильней монарших воззваний.

Откуда пришла к Сохо его «беспутность» — не вполне ясно. Чуть к востоку окрестности Сент-Мартинз-лейн уже населяли художники и мастеровые, потрафлявшие вкусам богачей и модников. Там начали возникать художественные мастерские и училища, а попутно — неизбежные таверны и кофейни. Но напрямую все это с Сохо не связано. Более важную роль сыграл внезапный наплыв французов-иммигрантов. Об окрестностях Ньюпорт-маркета и Олд-Комптон-стрит Мейтленд[119] писал, что «многие части прихода в изобилии населены французами, так что нездешний человек легко может вообразить себя во Франции». К 1688 году более восьмисот пустовавших или только что построенных домов были заселены гугенотами, которые открыли на первых этажах характерные для Сохо заведения — «настоящие французские магазины», дешевые кафе и рестораны «точь-в-точь как у парижских застав». Постепенно новый район Лондона обретал все большее сходство с

[119] Примечания: 119

Уильям Мейтленд (ок. 1693–1757) — шотландский исследователь древностей, автор «Истории Лондона» (1739).

французской столицей. Эта атмосфера держалась более 150 лет: в 1844 году Сохо все еще называли «своего рода малой Францией». Отмечалось, что «магазины здесь в большинстве своем чисто французские, явно предназначенные только для удовлетворения нужд землячества. Детей учат во французских школах, в винной лавке или ресторане на вошедшего англичанина взглянут с удивлением». В Сохо начала XXI века самое, возможно, известное заведение — «Йоркская церковь», иначе «Французский паб», в обиходной речи именуемый просто «Французский»; здесь во время Второй мировой войны встречались деятели французского Сопротивления. Вот вам еще один пример того, как крохотный участок Лондона — всего несколько улиц да рынок — столетие за столетием сохраняет свою традиционную культуру.

Но своеобразная атмосфера места, населенного французскими иммигрантами, где на англичанина смотрели «с удивлением», рождала, в свой черед, у приезжих из других стран ощущение большей безопасности, чем в каком бы то ни было ином районе Лондона. В некоторых отношениях это была «не-Англия». «Из составных частей диковинной беспокойной смеси, именуемой

Лондоном, — писал Голсуорси в „Саге о Форсайтах“, — Сохо, возможно, более всех противоречит форсайтовскому духу… Неряшливый, полный греков, отщепенцев, котов, итальянцев, помидоров, ресторанов, шарманок, цветастых тканей, странных фамилий, лиц за окнами верхних этажей, этот район пребывает вне британской системы». Сохо с самого начала был смешанным районом как в демографическом, так и в торгово-ремесленном плане. «Эта часть города, — говорится в одном путеводителе, — служит также главным местом встреч для живущих в Лондоне иностранцев, многие из которых подвизаются по художественной или механической части». Здесь были крупные магазины мебели всевозможных эпох и культур, лавки древностей и диковин, полные разнообразных реликвий времен древнего Рима или Габсбургов; здесь торговали музыкальными инструментами, гравюрами и эстампами, фарфором, книгами; в здешних тавернах собирались художники и ценители литературы. Нынешних поэтов и художников по-прежнему привлекают здешние заведения — такие, как «Французский паб» и «Комната в колонии».

Передача свойств из эпохи в эпоху — явление не вполне объяснимое. Порой сообщество, так

сказать, непрерывно рекламирует само себя: репутация места привлекает туда новых жителей соответствующего склада. Правда, в других случаях этот механизм почему-то не срабатывает и район просто вспыхивает и гаснет. А может быть, в Сохо еще не выветрилась та, первоначальная атмосфера свободы и своеобразия, которую создали гугеноты, вырвавшиеся на волю из враждебного окружения? Вслед за ними здесь появились иммигранты из других стран — России, Венгрии, Италии, Греции. На кладбище при церкви Сент-Энн-Сохо была табличка с надписью: «Близ места сего покоится Теодор, король Корсиканский, умерший в этом приходе 11 декабря 1756 года сразу после освобождения из тюрьмы Королевской скамьи по Акту о несостоятельных должниках; в согласии с означенным Актом он передал королевство свое Корсику кредиторам в погашение долга». Он получил корону в марте 1736 года, но не мог собрать денег, чтобы расплатиться со своей армией; он поехал в Лондон, где, оказавшись должником, вскоре угодил в тюрьму. Выпущенный 10 декабря 1756 года, он сел в портшез и отправился к одному портному, своему знакомому, жившему на Литтл-Чепел-стрит-Сохо. Но на другой день король скончался,

и похороны его оплатил некий москательщик с Олд-Комптон-стрит. Итак, посреди Сохо, подкрепляя славу района как некоего зарубежья в самом центре Лондона, находится могила иноземного монарха. Этого нищего изгнанника можно при желании считать подлинным королем Сохо.

Рука об руку с репутацией Сохо как центра многообразия и свободы шла молва о здешних вольностях другого рода, и к концу XVIII века эта часть Лондона сделалась знаменита женщинами легкого поведения. Миссис Корнилис, известная представительница этой категории, еженедельно собирала гостей у себя в Карлайл-хаусе на южной стороне Сохо-сквер. На наружной стене дома висело обращение к возницам и носильщикам портшезов с просьбой «ссор не затевать и жердями друг дружке в окна не тыкать». Отсюда видно, что дух анархии ударял в голову всем, кто попадал в этот приход. В Карлайл-хаусе устраивались маскарады и прочие увеселения с малоодетыми дамочками, что, по словам одного очевидца, нарушало «закон и все понятия о приличии». Миссис Корнилис была из тех впечатляющих лондонских персон, что принимали у себя и ворье, и знать, что в любой компании играли первую скрипку благодаря развязности и

вульгарному остроумию. Она была предприимчива, неукротима, очаровательна и злоязычна в равной мере; в 1760-е и 1770-е годы она наделала немало шуму — но затем, после провала одной из фешенебельных афер, ей пришлось, что называется, отойти от дел. Она стала торговать молоком ослиц на Найтсбридже и в 1797 году умерла в тюрьме Флит.

Миссис Корнилис являла собой законченный тип лондонской содержательницы клуба и вела себя настолько по-хозяйски, что перечить ей не дерзали даже самые пьяные и самые знатные из посетителей. В 1860-е годы как владелицы сомнительных ночных заведений прославились Кейт Хэмилтон и Салли Сазерленд; согласно одному описанию, Кейт восседала перед своими полуобнаженными танцовщицами «как некая царица острова наслаждений». Сохранился выразительный словесный портрет: «Весила около двадцати стоунов[120], и по лицу видно было, что она пережила немало веселых и бурных ночек. В одном из неизменных своих вечерних платьев с низким вырезом выглядела миссис Хэмилтон ошеломляюще. От полуночи до рассвета она по-

[120] Примечания: 120
Т. е. около 127 кг.

тягивала шампанское и голосом, напоминающим портовую сирену, умела в случае чего призвать к порядку посетителей как мужского, так и женского пола». Заведение располагалось на площади Лестер-сквер, которую к середине XIX века начали связывать с непотребствами соседнего Сохо. В XX веке «преемницей» Кейт Хэмилтон стала Мюриел Белчер — содержательница салона на Дин-стрит под названием «Комната в колонии». Она тоже осаживала посетителей голосом хоть и потише портовой сирены, но довольно пронзительным и славилась непристойным юмором, который веселил лишь самую вульгарную часть клиентуры.

Сохо с самого начала ассоциировался с экспансивными, а порой и буйными женщинами. В 1641 году «развратную женщину» Анну Кларк привлекли к суду за то, что она «грозилась поджечь дома в Сохо» (причина неизвестна). Вывеской знаменитой некогда «Озорной» таверны на Чарлз-стрит служило изображение пьяной проститутки со стаканом джина в руке, сидящей верхом на спине у мужчины. Надпись подле нее гласила: «В доску пьяна». Продажные женщины (и юноши) Сохо к середине XIX века стали известны всему городу; вновь сыграла роль относительная «иностранность» района, сулив-

шая большую сексуальную разнузданность, чем, скажем, Ломбард-стрит или Пимлико. Близость трущоб — сент-джайлсских и прочих — гарантировала бесперебойную поставку свежей плоти. Лишь меры, рекомендованные в докладе Вулфендена (1957), заставили «девочек» прекратить уличный промысел; они перебрались, однако, в комнатки и чердачные помещения того же района.

В Сохо действовали «Аргайл-румз», «Танцевальная академия Лорана», «Портленд-румз» и множество других заведений. Ночные притоны и публичные дома сменились теперь ночными клубами, балаганчики и дешевые театрики — стриптиз-клубами, игорные дома — барами, но при всех внешних переменах, диктуемых временем и модой, в главном атмосфера и направленность Сохо остались прежними. Согласно оценке, в 1982 году здесь действовало примерно 185 заведений секс-индустрии; не так давно были приняты законы, имеющие целью прижать этот бизнес, но и в начале нового века Сохо остается процветающим центром проституции. Дух места утверждает себя и по-иному: в 1980-е и 1990-е годы Олд-Комптон-стрит стала средоточием гомосексуальных пабов и клубов. Узкие улочки

Сохо сейчас неизменно запружены людьми, ищущими секса, зрелища или острых ощущений; район сохранил свою «диковинно авантюрную» атмосферу и кажется бесконечно далеким как от клубов Пэлл-Мэлл, так и от магазинов Оксфорд-стрит, находящихся соответственно чуть южнее и чуть севернее.

Этого следовало ожидать. Каждый участок Лондона имеет свой отчетливо ощутимый характер, выпестованный временем и историей; в совокупности они кажутся бесчисленным множеством завихрений внутри общего широкого движения города. На них невозможно посмотреть ровным взглядом, их нельзя обозреть как единое целое, потому что впечатление может быть только одно: противоположность, контраст. Но из этих-то противоположностей и является нам Лондон, словно бы порожденный неким соударением, столкновением, парадоксом. В этом смысле его происхождение столь же таинственно, как возникновение самой Вселенной.

ЛОНДОНСКИЕ РЕКИ

Глава 57
Темзу вы с собой не заберете

Она всегда была торговой рекой. Огородники Грейвсенда, выращивавшие водяной кресс, обитатели Тули-стрит, выпекавшие морские галеты и работавшие на береговых складах, судовые поставщики Уоппинга, блокари и канатчики Лаймхауса — все они заработком своим были обязаны Темзе. Большие изображения деловитой реки с прибрежными складами товаров и строительных материалов, металлургическими предприятиями, пивоварнями неизменно воздают должное ее могуществу и власти. Горожане задолго до прихода римлян понимали ее главенство. Еще в третьем тысячелетии до нашей эры по ней переправляли медь и олово; благодаря речному сообщению к 1500 году до н. э. район нынешнего Лондона обеспечил себе верховенство над всем Уэссексом. Не исключено, что именно поэтому люди бросали в воды Темзы ритуальные объекты, не так давно поднятые с речного дна археологами.

Темза формировала характер города, его облик.

Он был скоплением «людных пристаней, запруженных народом берегов», вода не знала покоя из-за «подвижного обилья весел». Движением и энергией Лондона были конная тяга и течение реки. Темза приманивала тысячи кораблей. Венецианские галеры и трехмачтовые голландцы оспаривали удобные места стоянки, водную гладь бороздили лодки и паромы, перевозившие горожан с берега на берег.

Другим мощным источником торговой ценности Темзы была рыба. В одном документе XV века приведен перечень: «Усач, камбала, плотва, елец, щука, линь». Ловили сетями, используя в качестве приманки сыр и свечное сало; в реке водились также угорь, лосось, кефаль, минога, креветки, корюшка, осетр и мелкая сельдь. Спектр речных судов был, в свою очередь, чрезвычайно широк: баржи, барки, чокботы (суда для перевозки извести и мела), кокботы (рабочие шлюпки), пайкеры (большие парусные лодки), ойстерботы (устричные лодки), паромы, уэлкботы (лодки добытчиков моллюсков) и тайдботы (малые суда, передвигавшиеся с помощью прилива).

Лондонцы в большинстве своем жили либо непосредственно за счет реки, либо за счет тех

товаров, что по ней переправлялись. В документах XIV и XV веков говорится о множестве речных работников — от «хранителей», надзиравших за всем речным хозяйством и рыболовством, до «приливных людей», чья работа на строительстве дамб или береговых сооружений зависела от приливов и отливов. На Темзе трудились лодочники, чокмены (перевозчики извести и мела), ловцы угря, галерные гребцы, гартмены (владельцы рыбных садков), паромщики, матросы на лихтерах, багорщики, матросы морских судов, питермены (рыбаки), пейлингмены (торговцы угрями), серчеры (таможенники, обыскивавшие суда), корабельные плотники, шаутмены (гребцы на плоскодонках), коперщики, тринкеры (рыбаки, использовавшие сети определенного рода), речные бейлифы, перевозчики. Зафиксировано не менее сорока девяти способов лова рыбы с помощью сетей, запруд, заграждений и плетеных корзин. Но было и много других видов деятельности — сооружение дамб и насыпей, постройка пристаней и пирсов, ремонт шлюзов, плотин, набережных и причалов. То время можно назвать ранним периодом городского бытия Темзы, когда она оставалась для Лондона живым центром развития и торговли.

Позднее она затронула воображение поэтов и летописцев. Темза стала рекою величия, принцы и послы начали использовать ее для торжественных въездов и выездов. Барки «украшались знаменами и шелковыми вымпелами», прочие суда «в изобилии несли на себе гербы и иные гильдейские знаки»; часто над баркой натягивался балдахин из шелка или расшитой шелком ткани, на сопровождавших ее небольших судах теснились купцы, духовенство или придворные. Эпоха, о которой идет речь — начало XVI века, когда весла лондонских лодочников порой оплетали стебли кувшинок, а ритм им, как гребцам, что везли к Антонию шекспировскую Клеопатру, помогало держать «пение флейт». Темза всегда ассоциировалась с песней и музыкой — еще с тех времен, когда лодочники тянули: «Гей, ребятушки, дружней» или «Налегай на весла, Норман, ждет тебя любимая» (первый напев датируется XIV, второй — XV столетием).

Более утонченная музыка, отзывающаяся не столько на ритм и завихрения потока, сколько на его историю, была слышна в дни дипломатических или брачных торжеств. В 1540 году в день свадьбы между Генрихом VIII и Анной Клевской, ставшей его четвертой женой, слух новобрачных,

которые двигались по воде в Вестминстер, услаждала нежная музыка, доносившаяся с барок, «пышно расцвеченных знаменами, флажками и богато изукрашенными круглыми щитами». Ранее — в 1533 году — во время торжественного переезда Анны Болейн, второй жены Генриха, из Гринвича в Лондон, «всю дорогу звучали трубы, гобои и другие многоразличные инструменты, выводя прекрасную мелодию». В честь Анны Болейн был устроен один из самых роскошных речных парадов, о каких нам известно; процессию судов, которые были «украшены флагами и вымпелами, убраны богато расшитыми полотнищами и увешаны вдоль бортов металлическими гербами, прикрепленными к золотой и серебряной ткани», возглавляла барка лорд-мэра. Впереди двигалось плоское судно — своего рода плавучая сцена, на которой «дракон выделывал неистовые фигуры, изгибал хвост и выдыхал пламя». Вольная речная стихия, как видим, рождает не только музыку, но и буйство. За баркой мэра следовало еще пятьдесят барок, принадлежавших гильдиям и ремеслам, «великолепно декорированных шелками и гобеленами, с музыкантами на борту». Здесь торговля играет свою собственную музыку на реке, которая служит

проводником ее богатств.

Впрочем, воды Темзы несут не одно мирское добро — в них живут сверхъестественные силы. Цвет этих вод, как правило, сравнивали с цветом серебра — великого вещества алхимиков; Спенсер пишет о «среброструйной Темзе», Геррик — о реке, «ступающей пятою серебристой», Поуп — о «серебряной Темзе». У Геррика возникают нимфы и наяды, но главный мотив у него — скорбное сожаление о разлуке с рекой ввиду переезда в сельскую местность. В прошлом остались приятные летние вечера с купанием, водные путешествия в Ричмонд, Кингстон и Хэмптон-корт, суда, готовые «причалить здесь или причалить там». О «серебряной Темзе» читаем и у Дрейтона, который, используя знакомую метафору, живописует «чистейший ток кристальный». У Поупа, однако, река, в чьих «излучинах дробится свет златой», — это «старик отец». Не раз высказывалось мнение, что реки воплощают женское начало в городской среде, в целом мужской по характеру; к Темзе, однако, это явно не относится. Этот первобытный, а порой и грозный «старик отец» ассоциируется, пожалуй, с блейковским Nobodaddy — «Ничьим отцом».

На расстоянии река казалась иной раз не рекой,

а лесом мачт; что ни день, на воде качалось около двух тысяч больших и малых судов, и три тысячи лодочников, о которых, впрочем, шла тогда не слишком лестная молва, перевозили людей и товары во всех направлениях. Участок реки между Лондонским мостом и Тауэром, называвшийся «лондонским бассейном», был до отказа забит баржами, барками и галеонами; на одной из карт середины XVI века изображены лодки, пришвартованные к различным речным причалам, которые служили остановками тогдашнего столичного транспорта. Улицы на этой карте пустынны и почти бездеятельны, тогда как Темза подобна оживленному улью, — простительное преувеличение, имевшее целью подчеркнуть первостепенную важность реки. Здесь уместно будет привести одну лондонскую историю. Некий монарх, более обычного рассерженный нежеланием лондонцев финансировать его затеи, пригрозил перевести двор в Уинчестер или в Оксфорд; мэр Лондона ответил на это: «Вы вольны, ваше величество, переезжать с двором вашим и с парламентом куда угодно, но у лондонских купцов есть одно великое утешение: Темзу вы с собой не заберете».

Прибыв в Англию в декабре 1636 года, Вац-

лав Холлар сел в Грейвсенде на речное судно и добрался на нем до Лондона. Поселился он в Арундел-хаусе на берегу Темзы, так что первыми открывшимися ему видами были виды реки. Его рисунки и гравюры наполнены ее ширью и светом, деятельная мощь Темзы беспрестанно выплескивается на берега и причалы; по ней скользят переполненные лодки и барки, контрастируя с неподвижными маленькими домами вдоль берегов. Река — вот что наделяет жизнью великую городскую панораму Холлара; улицы и дома пустынны, как будто весь Лондон сгрудился у воды. Названия всех причалов аккуратно выписаны: «Св. Павла… Куинхайт… Три-Крейнз… Стилиард… Коул-харбор… Олд-Суон»; спуски к воде и деревянные пристани кишат крохотными, деятельными людскими фигурками. Гигантскому полотну светлой воды придают глубину и интерес многочисленные суда, иные из которых названы; «ловцы угря» промышляют среди барок, перевозящих овощи, между берегами снуют маленькие лодчонки с двумя-тремя пассажирами. Ниже Лондонского моста во множестве стоят на якорях большие корабли, вокруг кипит портовая жизнь. Находящаяся у правого края гравюры фигура водного бога — «речного отца», держащего

сосуд, откуда в изобилии сыплется рыба, — довершает образ реки как источника мощи и жизни. Подобно плавающим по ней лебедям, которые в дохристианские времена пользовались покровительством Аполлона и Венеры, река находится под защитой богов. Не лишено значения и то, что изображенный Холларом античный бог, показывающий на окруженную орнаментальными завитками надпись «ЛОНДОН», — это Меркурий, покровитель торговли.

Холлар смотрит на Лондон с высокой точки к югу от реки и несколько западнее Лондонского моста; это вполне конкретное место — колокольня церкви Сент-Мэри-Оувери (теперешнего Саутуоркского собора) — стало неким условным или идеализированным наблюдательным пунктом. Клаас Янс Висер, автор более ранней гравюры, занимает близкую к Холлару позицию, находясь в некой теоретически мыслимой возвышенной точке чуть западней. Это позволило ему создать величественное симметричное изображение деловитой реки — деловитость подчеркнута латинской надписью: «Emporium que toto orbe celeberrimum» («Знаменитейший из рынков всего мира»). Мощь и убедительность этой слегка приукрашенной топографии оказали влияние

на многих живописцев и граверов позднейших времен, которые, неустанно восславляя Темзу как воплощение торговой судьбы Лондона, раз за разом заимствовали у предшественников их ошибки и искажения перспективы. Став важным предметом лондонской поэзии XVI и XVII веков, река сделалась и центральной темой лондонской живописи.

С ростом объема торговли и производства росло и значение Темзы. Было подсчитано, что с 1700 по 1800 год интенсивность речного бизнеса увеличилась втрое; на берегах Темзы от моста до Тауэра насчитывалось в общей сложности тридцать восемь пристаней, ниже — еще девятнадцать. Согласно другому подсчету, уже в 1700 году через лондонский порт проходило 80 % импорта и 69 % экспорта страны. Меж речных берегов плыли чайный лист, фарфор, хлопок и перец из Ост-Индии; ром, кофе, сахар и какао из Вест-Индии; табак, зерно, рис и растительное масло из Северной Америки; конопля, свечное сало, железо и лен из балтийских стран. Говоря о потоках товаров, втекающих в Лондон и вытекающих из него, Дэниел Дефо использовал реку как метафору всей лондонской жизни.

Редкая картина, изображающая Лондон, не

содержит хотя бы проблеска Темзы; имеются виды с Вестминстерского пирса, из Ламбета, из Саутуорка. Во второй половине XVIII века были опубликованы три весьма популярных собрания речных гравюр — «Собрание видов» Бойделла (1770), «Приятные виды Темзы» Айрленда (1792) и «История Темзы» того же Бойделла (1794–1796), в которой как самые обычные приводятся виды Темзы и ее берегов западнее Лондонского моста, где картинам обновленного города соответствуют образы облагороженной и элегантной реки.

Безусловно, замечательны речные виды Каналетто, сотворившего город, устремленный к величию. Трактовка Лондона как европейского города, благородного в главных своих проявлениях, особенно сильно чувствуется в двух парных портретах — «Вид Темзы с террасы Сомерсет-хауса, Вестминстер на отдалении» и «Вид Темзы с террасы Сомерсет-хауса, Сити на отдалении». Каналетто приехал в Лондон в 1740-е годы — судя по всему, с той конкретной целью, чтобы написать недавно возведенный Вестминстерский мост и тем самым дать этому новейшему лондонскому общественному сооружению эстетическую санкцию; однако он создал идеализированный город и идеализированную реку. Небо свободно

от тумана и гари, здания излучают ясный, выразительный свет. Темза тоже светоносна — ее поверхность переливчата, людская деятельность на ней так спокойна и прозрачна, что создается ощущение отнюдь не торговой суеты, а умиротворенности.

Более интимные, более непосредственные изображения Темзы XVIII века создала школа, называемая обычно британской, хотя ее смело можно было бы назвать лондонской. Достойны упоминания, в частности, картины Уильяма Марлоу «Фреш-уорф», «Лондонский мост» и «Лондонский берег между Вестминстером и Аделфи», сила которых — в подробностях. Вид пристани Фреш-уорф вводит нас в жизнь речного причала, где выгружаются и досматриваются деревянные бочки, сосуды с оливками и тюки текстиля; леса и ограждение в северной части Лондонского моста — знак того, что стоявшие на нем лавки и дома были снесены совсем недавно. Картина, изображающая лондонский берег, опять-таки сильна конкретностью деталей. На ней видны Букингем-стрит и Адам-стрит, а также башни и дымовые трубы водопроводной компании «Йорк билдингс уотеруоркс». На переднем плане — нечистая и неопрятная река, на которой идет многообразная

деятельность. Люди в грязных рабочих блузах разгружают угольную баржу, лодочник везет к берегу женщину, вокруг которой громоздятся корзины.

Именно здесь, среди этой хлопотливой будничности, обратилось к Темзе юное воображение Тернера, родившегося в 1775 году на Мейден-лейн. В «Современных художниках» (1843) Джон Рёскин описывает взросление живописца, сызмальства близко знакомого с «городским торговым хозяйством — от бесчисленных складов, что высятся над Темзой, до лавчонки с тухнущей сельдью в боковом переулке». Здесь ему открылся мир барж и судов, «этот таинственный лес ниже Лондонского моста, более заманчивый для мальчика, чем сосновый бор или миртовая роща». Тернера, иначе говоря, вдохновляли в детстве город и его река, а не какие-либо традиционные пасторальные ландшафты. «Как он, должно быть, донимал лодочников, — предполагает далее Рёскин, — умоляя позволить ему приткнуться где-нибудь на носу, обещая сидеть тихо-тихо, лишь бы только поплавать среди кораблей, у кораблей, под самыми их бортами, поглазеть, а то и вскарабкаться, — ведь это самое красивое, что есть на свете». Весь необъятный мир сосредоточился для

Тернера в пределах Лондона и Темзы.

Река текла сквозь него, дарила ему свет и движение. С Мейден-лейн, где он жил, он выходил в детстве на Стрэнд, пересекал его и бродил по бесчисленным улочкам, что вели к реке; состарившись, он умер на Чейн-уок, глядя на Темзу. Большую часть жизни он прожил «на самом берегу или на малом от него расстоянии». Так что у Тернера больше прав, чем у Каналетто или Уистлера, называться сыном этой реки — или, точнее, он был человеком, яснее и щедрее всех выразившим ее дух. Иной раз он облекал ее в одежды классической красоты, воскрешал богов и нимф, посещавших некогда ее берега; в других же картинах жизнь вод предстает у него во всей ее естественной непосредственности. В одном из ранних эскизов («Старый мост Блэкфрайарс») он показывает схлынувший прилив, подчеркивая влажную темноту устоев моста. Ранняя акварель «Старый Лондонский мост» демонстрирует ту же интенсивность углубленного наблюдения: здесь в центре внимания — водяное колесо компании «Лондон уотеруоркс», и зритель чувствует мощь приливных вод, движущихся против течения Темзы ровно в десять часов тридцать пять минут утра по часам на церкви Сент-Магнус-де-Мартер

немного позади моста.

Суда вставали на якорь чуть ли не борт в борт; каждому по прибытии отводилось место. Товары сгружались на барки или небольшие лодки, которые после этого шли на веслах к тем или иным пристаням и причалам. В условиях царившей в «лондонском бассейне» тесноты это была процедура многотрудная и очевидным образом чреватая массовым воровством и надувательством. В конце концов, после ряда парламентских запросов и расследований, было решено соорудить для стоянки судов специальные бассейны (доки), которые позволили бы эффективней перегружать и хранить товары. Так возникла грандиозная система «мокрых доков». В 1799 году парламент принял «Акт о компании Вест-Индского дока», и началось преобразование всего острова Айл-оф-Догс в базу компании. Чуть позднее появились Лондонский док в Уоппинге, Ост-Индский док в Блэкуолле и Суррейский док в Розерхайте. Постройка доков стала крупнейшим финансируемым из частных источников предприятием в истории Лондона. Возникли, по существу, целые искусственные озера площадью около трехсот акров; подле них выросли громадные, крепостного типа сооружения с воротами и высокими стена-

ми. Айл-оф-Догс, в прошлом болотистый пустырь, превратился в некий элегантный тюремный остров; на этюдах и акватинтах Уильяма Дэниела, художника того времени, мы видим длинные ряды кирпичных складов. Была проложена дорога от Олдгейта до Лаймхауса, связавшая доки с лондонским Сити; при этом пришлось снести сотни домов, что полностью изменило облик восточного Лондона. Название Коммершл-роуд (Торговая дорога) пришлось как нельзя более кстати — ведь город заставили преобразиться исключительно требования прибыли. На камне, торжественно заложенном в фундамент Вест-Индского дока, был начертан девиз: «С Божьей помощью да принесет сие предприятие устойчивость, приращение и благолепие британской коммерции». Перемены на этом не кончились: чтобы соединить доки с внешним миром, прорыли Риджентс-канал — водный путь, идущий от доков на запад до встречи с Гранд-Юнион-каналом у Паддингтонского бассейна. В очередной раз город распахнул себя потокам транспорта и товаров.

По мнению современников, предприятие в целом было проявлением чуть ли не мистической прозорливости, триумфом коммерческой мысли. О табачном складе в Уоппинге с восхище-

нием писали: «Здесь единою крышей покрыто больше земли, чем в любом другом строении, общественном или коммерческом, за исключением лишь египетских пирамид». Этот и многие другие уоппингские склады были созданы архитектором Дэниелом Эшером Александером, который построил также две громадные тюрьмы — Дартмурскую и Мейдстоунскую. Вот наглядный пример связи между деньгами и сущностью власти! Один историк архитектуры сравнил постройки Александера с архитектурными гравюрами Пиранези. «В то время как Колридж переворачивал листы „Opere Varie“[121], а молодой Де Куинси доводил себя до пиранезийского исступления, — писал сэр Джон Саммерсон в „Георгианском Лондоне“, — Александер превращал свои впечатления от Carceri[122] в тюрьмы и склады». Деньги и власть переведены здесь в визионерскую, мифическую плоскость.

Рисунки и гравюры, изображающие деятельность доков, отличаются грандиозностью панорам и несметным числом фигур работаю-

[121] Примечания: 121

Opere varie *(итал.)* — разнообразные произведения.

[122] Примечания: 122

«Тюрем» *(итал.).* Имеется в виду цикл гравюр Пиранези «Фантазии на тему темниц».

щих людей — и то и другое подчеркивает размах предприятия. Здесь не раз собирались большие толпы любопытных — в день завершения работ, в день, когда в бассейны хлынули воды Темзы, в день, когда в доки вошли первые суда. Поистине тут было нечто исполинское, напоминавшее «гидравлические сооружения древних приречных цивилизаций». Великие события на Темзе ассоциировались, таким образом, с деяниями былых империй. «Доки описанию не поддаются, — писал Верлен в 1872 году. — Они невероятны! Тир, совмещенный с Карфагеном!» Они с Артюром Рембо часами бродили по этому обширному району, глядя на бесконечное разнообразие товаров и человеческих типов. «Они слышали слова на незнакомых языках — пишет Инид Старки в биографии Рембо, — видели на тюках с товаром таинственные знаки, которых не могли расшифровать». Джеймса Макнила Уистлера ценят как мастера, поэтически воссоздавшего туманную и пасмурную Темзу, однако ограничиться этим — значит отдать речному художнику лишь половину должного. В его ранних этюдах, изображающих Темзу между мостом Тауэр-бридж и Уоппингом, центральное место занимают пристани и склады с их густой лон-

донской атмосферой труда и торговли. Именно об этих графических работах Бодлер сказал, что они выражают «глубокую и сложную поэзию огромной столицы».

В них ощущение нестройного нагромождения соединяется с переживанием тайны — чего-то живого и неведомого, лежащего в самом сердце городской жизни. Сходное впечатление производят гравюры Гюстава Доре, изображающие доки, где возчики, носильщики, матросы и рабочие представлены темными, безымянными фигурами неких служителей лондонского торгового культа. На складах и таможенных зданиях обычно лежит сеть темной штриховки или контрастная светотень, на переднем плане доминирует густая мрачная чаща мачт, парусов и снастей. Судорожными бликами отсвечивает темная вода, «черная от угля, синяя от индиго, бурая от приливов, белая от муки, пурпурная от вина, коричневая от табака». Таков был цветовой спектр, который Доре с первого же взгляда признал «одним из великих аспектов вашего Лондона». Его гравюры приводят на ум образы все того же Пиранези; оснастка судов, брусья, канаты, мостки, доски — все это, соединяясь, создает картину грандиозной сумятицы. «Разгрузкой

огромных судов занят целый народ, — пишет Габриель Муре, другой французский наблюдатель. — Темные, смутно очерченные людские фигуры, роясь на баржах, ритмически двигаясь, довершают картину, наделяют ее жизнью. Вдалеке, за нескончаемыми рядами сараев и складов — горизонт из мачт, образующих подобие оголенного зимнего леса, чьи высоко взметнувшиеся, роскошные, преувеличенно ветвистые деревья произросли во всех климатах земного шара».

Поскольку доки прослыли одним из чудес света, осмотреть их считали своим долгом многие путешественники. Нужно было обзавестись рекомендательным письмом начальнику дока, затем на одном из причалов нанять лодку, и — вперед, пользуясь течением отлива. «По обе стороны видны стоящие на якорях суда — много голландских, датских, шведских (полагаю, с лицензиями) и много американских». Это из дневника одного француза, посетившего Лондон в 1810 году. В 1787 году о том же писал заезжий немец: «Здесь кипит неустанная деятельность, здесь стоит неумолчный шум и людской гомон… обширные пристани, большие великолепные склады, похожие на дворцы». Гость заметил также, что «загородные приятности, находящиеся

довольно близко, кажутся бесконечно далекими». Поскольку эти «приятности» Гринвича и Грейвсенда тоже располагались на Темзе, их словно бы стирало само наложение на реку городской торговой машины. Князь Герман фон Пюклер-Мускау, побывав в доках в 1826 году, признал свое «изумление и некий благоговейный страх при виде английского величия и могущества… Здесь все колоссально по размаху… сахару довольно, чтобы насластить весь окрестный водоем, рому довольно, чтобы напоить допьяна половину Англии». Он мог бы добавить, что в год сюда доставлялось девять миллионов апельсинов и двенадцать тысяч тонн изюму. Перед доками странствующий принц посетил исполинские пивоварни, после них отправился в паноптикум. Лондонские зрелища сливаются в некую единую фантасмагорию, бросающую вызов естеству.

История доков находится в центре коммерческой истории Темзы XIX и XX столетий. Это история приречной магистрали, действовавшей 150 лет. По Коммершл-роуд, по Темз-стрит, по десяткам выходящих к реке узких улиц двигались всевозможные повозки и фургоны. Майлз-лейн, Дакс-Фут-лейн и Пикл-Херринг-стрит были полны стука колес, лошадиного ржания, грохота

подъемных машин, людских голосов, железнодорожных гудков. На берегу кипела коммерческая деятельность, фабрики и склады подходили к воде так близко, как только было возможно, причалы, пристани и мельницы пульсировали от избытка людской жизненной энергии. Выше по реке, между Саутуоркским мостом и мостом Блэкфрайарс, береговые виды становились несколько иными: склады и дома здесь были более старые и обветшалые. Узкие и кривобокие, они клонились к реке, а разделяли их маленькие проулки, по которым с берега везли в город мешки и бочки. У Ладгейта взору открывалась огромная паровая мельница, противоположный берег оброс фабричными трубами всевозможного калибра. Река поистине была коммерческой авеню с торговыми зданиями по обеим сторонам.

Но существовал на Темзе и менее серьезный бизнес. До Гринвича, Грейвсенда, Рамсгейта и Маргейта ходили полупенсовые, пенсовые и двухпенсовые пароходики. Курсировали дуврский, булонский, остендский и рейнский пароходы; каботажным судном можно было добраться до Ипсуича, Ярмута и Халла, пароходом — до Саутгемптона, Плимута и Ландз-энда. Более медленные суда с оркестриками на борту плавали до

Кью, Ричмонда и Хэмптон-корта.

Чуть поодаль от береговой линии действовало великое множество коммерческих предприятий, зависимых от реки и ее приливов, — верфи, матросские гостиницы и питейные заведения, склады судовых припасов и принадлежностей, лачуги грузчиков, яблочные лотки и устричные лавки. Реку, таким образом, густо окутывала уличная жизнь с ее зрелищами и звуками: вот компания матросов, прикативших в кебах, устремляется в пивную; вот зеваки глазеют на сломавшийся посреди улицы фургон; отдаваясь эхом от стен и моста, звучит болтовня горожан с их особыми словечками и шуточками.

В 1930 году лондонский порт и доки были источником заработка для ста тысяч человек и пропускали через свои семьсот акров площади тридцать пять миллионов тонн груза; действовало, кроме того, почти две тысячи речных пристаней. В тот же период по берегам Темзы, точно отдавая дань почтения ее древнему промышленному прошлому, группировались предприятия таких отраслей индустрии, как газовая и пищевая; другие предприятия — в частности, лесопильные и химические — действовали вдоль Риджентс-канала и реки Ли, используя их как пути к Темзе

и от нее.

В следующем десятилетии речной бизнес был интенсифицирован благодаря новым способам погрузки и разгрузки с помощью вильчатых автопогрузчиков и скоростных кранов, но к 1960-м годам столь же быстрые перемены в индустрии оставили доки не удел. Перевозка товаров в больших контейнерах, транспортируемых с судов прямо на грузовики, сделала систему складирования излишней; кроме того, суда стали слишком велики для доков, сооруженных в начале XIX века.

Доки ныне умолкли, и на памяти одного поколения величественные постройки начала XIX столетия превратились в зону запустения. Ост-Индский док закрылся в 1967 году, Лондонский и Сент-Кэтрин — два года спустя. Вест-Индский док продержался до 1980 года, но затем создалось впечатление, что район навсегда распрощался с былой своей деловитой, активной жизнью. Экономика Ист-энда была серьезно подорвана, безработица достигла очень высокого уровня. И тем не менее всего десять лет спустя из этой опустошенности возникли сияющие небоскребы и переоборудованные склады, образовавшие «Доклендс». В очередной раз проявился закон

распада и возрождения, лежащий в основе лондонской жизни. Как сказала о Темзе миссис Кук в «Больших и малых улицах Лондона» (1902), «ничто так не губит памятники минувшего, как энергия; ничто так не вымарывает старину, как новизна».

Где раньше была пристань Сент-Кэтринз-уорф, теперь отель и всемирный торговый центр; по крайней мере второму из этих зданий самое место у древней реки, чьи воды две тысячи лет несли бремя мировой торговли. Возрождение других здешних территорий шло подобным же образом, однако крупнейшим проектом из всех было преобразование участка между мостом Тауэр-бридж и Ширнессом, получившего название «Коридор восточной Темзы». В XXI веке таинственная способность деловитой Темзы привлекать деньги и усилия предприимчивых людей отнюдь не уменьшится. Постройка громадных коммерческих зданий на Айл-оф-Догс сравнима лишь с созданием на этом самом месте Вест-Индского дока; в обоих случаях — что в 1806, что в 1986 году — налицо был мощнейший размах инициативы. В типично лондонской манере оба гигантских предприятия финансировались из частных деловых источников при

весьма умеренной и осторожной общественной поддержке в виде налоговых льгот, и в обоих случаях потребовались новые транспортные системы. Городская железная дорога Доклендс по своей протяженности и характеру вполне может сойти за созданный в конце XX века эквивалент Коммершл-роуд. На западной набережной Брансуик-дока, построенного в конце XVIII века, стоял громадный, примерно в 120 футов высотой, кран для подъема мачт, много лет господствовавший над районом и служивший символом морской торговли и морского владычества Лондона; ныне небоскреб Канари-уорф, стоящий совсем недалеко, сходным образом прославляет коммерческое могущество. Темза струится мимо, то мягко, то мощно, в зависимости от приливных течений, и темная ее песнь еще не допета.

Глава 58
Темная Темза

Издревле она была рекою мертвых, которой вверялись тела усопших. Из-за обилия черепов, найденных близ Челси, этот участок окрестили «нашей кельтской Голгофой». О другом отрезке Темзы Джозеф Конрад сказал: «Здесь тоже было одно из темных мест земли». Само название реки происходит от докельтского tamasa — темная река. Можно ли сбросить со счета такое обилие обстоятельств и ассоциаций? Ведь и в нынешние времена многим одиноким и несчастным людям хочется стоять у этой реки и смотреть в ее неспокойные глубины. В 1827 году Генрих Гейне писал о черной тоске, накатившей на него однажды в предвечерние сумерки, когда он смотрел на Темзу с моста Ватерлоо. «На память мне приходили печальнейшие из историй».

С рекой таких историй связано много, чему свидетели — морги на ее берегах. Сюда доставляли тела тех, что были, как говорилось в расклеенных повсюду объявлениях, «найдены утонувшими». Обнаруженные за неделю три-четыре трупа са-

моубийц или жертв несчастных случаев клались на полки или в деревянные ящики и ждали там посещения должностных лиц — бидля и коронера. Гейне продолжал: «Меня охватила такая душевная боль, что из глаз полились жаркие слезы. Упав в Темзу, они поплыли в могучее море, которое уже поглотило великие потоки людских слез и осталось к ним совершенно равнодушным». Он имел все основания сказать, что потоки слез поглотила сама река. Сборщики платы за проезд по городским мостам славились тем, что охотно рассказывали о самоубийцах — сколько их было, как трудно их остановить и как трудно их найти после прыжка. Река в этом смысле может стать подлинным символом лондонского гнета. Она безвозвратно уносит все надежды и чаяния жизни — или возвращает их фатально переменившимися.

Об этом свидетельствуют речные берега, где встречаются лондонский камень и вода, где они длят вековые свои объятия, где вперемешку лежат обломки судов и городской мусор; здесь мы находим листы металла, гнилые доски, бутылки, банки, золу, обрывки каната и куски дерева, чье назначение и происхождение установить невозможно. Река действует и на сам материальный

состав города; Диккенс в «Нашем общем друге» приводит примеры «пагубного действия воды»: «окислившаяся медь, гнилое дерево, изъеденный камень, зеленый влажный осадок».

Иные из обитавших на берегах Темзы малых людских сообществ являли собой живые картины городского упадка. О Дептфорде в XIX веке писали как о «наихудшей главе в великой лондонской повести». Вот как гниет этот великий город там, где из него ушла торговая жизнь: «илистые унылые берега… тоска пустых безмолвных дворов». По словам Бланшара Джерролда, это был «мертвый берег»; не настолько мертвый, однако, чтобы на нем не обитали люди, жившие крохами, которые уделяла им Темза. То был речной народ. Другим таким районом был Шадуэлл — «колодец теней»[123]. Там в начале XX века «люди живут в приземистых почернелых домах. На узкие улицы выходят слепые отвесные стены складов». Темнота реки на фоне темноты береговых строений делает ее «невидимой». На другом берегу, поблизости от Розерхайта, находится Джейкобз-айленд, который тоже был черен от «угольной пыли и дыма из труб тесно стоящих

[123] Примечания: 123
Shadow — тень, well — колодец.

низеньких домишек». Где некогда светлую праздничность стоящих по берегам зданий отражала и усиливала светлая река, в XIX веке одна тьма окликала другую. Джейкобз-айленд называли «грязнейшим, страннейшим, необычнейшим из многих скрытых уголков Лондона, совершенно незнакомым громадному числу его жителей даже по названию».

Река была хранительницей тайн этих мест, их безымянности. О домах вдоль Темзы Джозеф Конрад писал, что «подобно плотной, переплетенной чаще кустарника и ползучих растений поверх безмолвных глубин дикой, неизведанной местности, они скрывают глубины бесконечно разнообразной, неустанно кипящей лондонской жизни… Темны и неприступны ночью, как стена леса, лондонские берега».

Порой они едва поддаются исследованию — настолько они черны и печальны. Стивен Грэм, автор «Лондонских ночей», описывает свои хождения по «длинным диковинным коридорам под Темзой в восточном Лондоне», куда «спускаешься, выходишь — и несешь на своих плечах весь Лондон». Гейне писал о безотчетной, интуитивной печали при виде темной реки, и точно так же в книге Грэма Темза со всеми своими потаенными

глубинами говорит «о загадке, которая не будет разрешена никогда, — о загадке лондонской скорби, лондонского бремени, лондонского рабства». Река принесла Лондону деньги и власть, но она же сделала его рабом этих коварных начал. Иэйн Синклер, писатель конца XX века, в романе «Вниз по течению» говорит, что Темза «не дает дышать — циклична, неостановима. Предлагает погрузиться, ослепнуть: темный глиняный компресс на глаза, чтобы навеки их запечатать, избавляя от страхов и судорог жизни… страсти, обращенные в ил».

Неудивительно, что лодочники Темзы неизменно — с XIII века по XIX — славились бранчливостью и сквернословием. Их яростную, богохульную брань, которая могла обрушиться на кого угодно, так и называли — «язык лодочников». От них частенько доставалось и монархам, когда те пускались в речное плавание; Г. В. Мортон в книге «В поисках Лондона» (1951) пишет, что «замечания, которые на суше сочли бы изменническими, на Темзе сходили за шутки». Было даже высказано мнение, что Гендель для того сочинил в 1714 году свою «Музыку на воде», чтобы «заглушить поток издевательств, который мог обрушиться на нового короля Георга I во время

его первого путешествия по реке». Не исключено, что право на вольные речи давала лодочникам сама древность Темзы; в этом смысле реку можно считать квинтэссенцией, воплощением того радикально-эгалитаристского лондонского духа, о котором так часто говорят.

Ощущение тьмы, беспрестанно плывущей по лику воды, оказывает омрачающее и огрубляющее действие на всех, чья работа связана с рекой. У Натаниела Готорна возникает «мутный поток Темзы, не отражающей ничего, прячущей в груди своей миллион скверных секретов, — подобие нечистой человеческой совести, которая непрерывно принимает в себя болезнетворные ручейки греха».

Поручая Босуэллу «исследовать Уоппинг», чтобы лучше понять «великолепную широту и разнообразие Лондона», Сэмюэл Джонсон, разумеется, не догадывался о том, как его слова были бы истолкованы в XIX и XX веках. В первые десятилетия XX века Уоппинг был такой же зоной гниения и упадка, как Шадуэлл и Джейкобз-айленд. Если берега Сены открыты и доступны, то некоторые участки Темзы всеми силами отталкивают посетителей. Уоппинг и найти-то было трудно: его главная улица шла под громадными

стенами старых складов, а улицы, прилегающие к ней, казалось, хотели укрыться за большими домами и газовыми заводами. Тут всегда была беззаконная территория, не подлежащая городской юрисдикции, но здешнее запустение в начале века объясняется, кроме того, позорной и неэффективной организацией работы в доках с неполной рабочей неделей, когда из собравшейся у ворот толпы бригадиры отбирали лишь немногих. Остальные возвращались в привычную нищету, пьянство и одурманенность, которые так ярко зафиксировали Чарлз Бут и супруги Уэбб. «Даже черствейшего из людей, — писал Генри Мейхью, — наполнит печалью вид тысячной толпы поденщиков, борющихся за дневной заработок… Лица этой голодной массы — зрелище поистине незабываемое… Многие ходили сюда неделями — каждый день все та же борьба, все те же вопли; и брели в конце концов восвояси, так и не получив работы, ради которой поднимали крик». Темза, зачинательница коммерции, стала, таким образом, самым явным средоточием нищеты, порождаемой коммерческим началом.

На заброшенном кладбище при церкви Сент-Джорджз-ин-де-Ист, которые многие поколения считали местом дурным и несчастливым, хоро-

нили «матросских женщин, вовлеченных в грех с детских лет, изъеденных болезнью». Уоппинг был, кроме того, местом смерти в «доке казней», где скопом отправляли в вечность виновных в преступлениях на море. В полицейском участке Уоппинга лежала «одна из печальнейших книг на свете» — журнал с записями о попытках самоубийств, содержащими сведения о событиях и обстоятельствах, толкнувших человека к реке. Уолтер Джордж Белл, автор «Неизвестного Лондона», бродя по этому району в 1910 году, отметил «зловонные питейные лавки, неописуемо грязные и мерзкие, — естественные прибежища всевозможной скверны». «Внутренность улья, — пишет он, — представляет собой мрачные трущобы». Что ж, возможно, и нам пригодится совет Сэмюэла Джонсона «исследовать Уоппинг» для того, чтобы познать Лондон.

Глава 59
Они погребены

В Лондоне есть и другие реки — упрятанные, заключенные в туннели или трубы, изредка слышимые, но чаще текущие под городской поверхностью безмолвно и незримо. Если по порядку, с запада на восток, — это Стамфорд-брук, Уондл, Каунтерз-крик, Фолкон, Уэст-борн, Тайберн, Эффра, Флит, Уолбрук, Некинджер, Эрл, Пек и Рейвенсборн.

Издревле считалось, что, хороня заживо большие воды, люди совершают магическое деяние; магия эта, однако может быть опасной. «Погребенные реки» порой по-прежнему источают зловоние и сырость. Река Флит и теперь в штормовую погоду выходит из своего искусственного русла и затопляет на пути подвалы; у своего истока в Хемпстеде она способствовала распространению всевозможных лихорадок. Долины этих рек, где в ряде случаев ныне проложены автомобильные или железные дороги, были местами туманными и сырыми. Как утверждает Николас Бартон, автор книги «Погребенные реки

Лондона», по обоим берегам ручья Каунтерз-крик от Шепердс-Буша до Челси люди необычайно часто страдали ревматизмом; лондонская «болотная лихорадка» XVII века не без оснований ассоциировалась с речками и ручьями, ныне упрятанными под землю.

Погребенные реки могут также провоцировать аллергию. Одно недавнее исследование пациентов лондонских больниц показало, что «38 из 49 больных, страдающих аллергией (т. е. 77,5 %), живут на расстоянии не более 180 ярдов от одного из известных водных потоков», а для астматиков эта цифра составляет 17 из 19; в большинстве случаев водные потоки — это «погребенные притоки Темзы». Причины этой странной корреляции пока неясны, хотя те, кому ведомы многообразные силы лондонских мест, возможно, готовы предложить свои теории. Но магия, черная или белая, на этом не кончается. Опубликованная в 1960 году «География лондонских призраков» Ламберта утверждает, что примерно 75 % эпизодов, имеющих отношение к теме книги, произошли «в домах, находящихся в явной близости от водных потоков»; возможно, погребенные воды проявляют себя не только звуком.

Характерным примером может послужить

судьба реки Флит. Как подобает древней реке, она имела много названий. Флитом (от англосаксонского слова, означающего приливный поток) ее называли в нижнем течении; в верхнем она звалась Хоулборн, в среднем — Тернмилл-брук. Издревле служа границей между Вестминстером и Сити, Флит в определенном смысле был стражем Лондона. Город не раз использовал эту реку как оборонительный рубеж; например, во время гражданской войны середины XVII века на обоих берегах были возведены большие земляные укрепления. Неудивительно, что из погребенных рек города эта лучше всех описана и чаще всех изображалась. Она получила щедрую долю общего лондонского загрязнения и сберегла множество выброшенных и позабытых предметов. В пределах Кентиш-тауна, то есть довольно далеко от устья, был обнаружен якорь, что указывает на приличную глубину и ширину на этом участке; однако чаще Флит становился местом последнего упокоения для более локальных и обыденных элементов городской жизни — ключей, кинжалов, монет, медалей, шпилек и отходов таких приречных ремесел, как дубление кож. Реку приходилось периодически освобождать от ила и всевозможной грязи — чистка устраивалась раз

в двадцать-тридцать лет. Обличители Лондона и его грязи неизменно упоминали Флит как один из примеров: вот как город испоганил поток, который некогда был чист и светел! Каждая улица наделяла Флит своим четко отличимым запахом; он был полон испражнений и всевозможной мертвечины. В сущности, Флит был тождествен всему Лондону. «Наибольшую выгоду, — писал Нед Уорд, — он приносит гробовщику, которому придется признать, что мутный этот поток дарит ему лучший улов, нежели любые чистые воды». Как и Темза, Флит был рекой смерти.

Он вообще был несчастливой рекой на всем своем пути. Он проходил через Кентиш-таун и Сент-Панкрас, и поныне печальные от соприкосновения с его водами; затем у Баттл-бриджа он, по словам Уильяма Хоуна, втекал в «увеселительные сады Великого Отчаяния», «где стоят деревья, которым словно бы и не положена листва, где подстриженные изгороди, кажется, хотят повалиться, где на бесконечных бордюрах вяло пробивается сорная трава». Затем Флит огибал Кларкенуэлл-хилл и касался камней тюрьмы Колдбат; затем тек мимо Саффрон-хилла — «Шафранного холма», за чьим ароматным названием скрывался один из худших трущобных районов

Лондона; затем встречался с Тернмилл-стрит, о чьей скверной репутации уже было сказано. Далее шла улица Чик-лейн (позднее — Вест-стрит), которая не одно столетие была прибежищем преступников и убийц; здесь в воду бросали трупы убитых и ограбленных горожан. Вновь став в этом месте рекой смерти, приток Темзы достигал затем омерзительной тюрьмы Флит.

Заключенные умирали здесь от зловония и от сопутствовавших ему болезней. В долине Флита, писал в 1560 году один врач, и «в здешних вонючих переулках люди вдвое чаще умирают, вдвое легче заражаются и вдвое дольше болеют — в этом я с тех пор, как мне стал ведом Лондон, убеждался многократно». В более позднем свидетельстве, процитированном в «Погребенных реках Лондона», говорится, что «в каждом приходе вдоль Флита гостила губительная чума». Возникает вопрос: почему же этот район всегда был так густо заселен? Похоже, река оказывала на определенную категорию людей некое скрытое воздействие, притягивая их к себе. Она предлагала себя тем, кто и без того был грязен, зловонен и скрытен, как некая естественная среда обитания. Она, кроме того, была коварна по природе своей. В штормовую погоду ее уровень мог рез-

ко подняться, что приводило к наводнениям. В весенний паводок и после сильных дождей она превращалась в опасный поток, уничтожавший дома и целые улицы. Наводнение 1317 года погубило многих горожан, разрушило немало домов и сараев; в XV веке жители прихода Сент-Панкрас жаловались, что не могут добраться до церкви, «когда дороги плохи и вода высока».

Все попытки очистить и облагородить Флит проваливались. После Великого пожара, который полностью уничтожил пристани на Темзе со всеми находившимися там товарами, берега Флита были одеты в кирпич и камень; некую гармонию формы должны были поддерживать четыре вновь сооруженных моста. Но работы по благоустройству «Нового канала», как стали тогда называть Флит, не были успешными; медленная река опять сделалась грязной и зловонной, ее берега и близлежащие улицы по-прежнему слыли прибежищем воров, сутенеров и нищенствующих симулянтов. И вот на протяжении пятидесятилетия великих городских преобразований вся река была упрятана в кирпичную трубу. Ее, как поток постыдной вины, хотелось скрыть от людских глаз; город в буквальном смысле похоронил ее. В 1733 году ее замуровали

от Флит-стрит до Холборнского моста, тридцать три года спустя — от Флит-стрит до Темзы. В начале следующего столетия под землю ушли ее северные участки, так что от этого некогда великого стража Лондона не осталось и следа.

Но дух Флита не умер. В 1846 году этот дух прорвался наружу: «тухлые зловонные газы», запертые в кирпичных туннелях, «вырвались наверх». «Волна сточных вод» смела три почтовые станции, об устои моста Блэкфрайарс разбился пароход. Позднее воды Флита всерьез мешали прокладке лондонского метро: туннели заливала темная зловонная жижа, и работы приходилось приостанавливать. Ныне Флит используется лишь как ливневый канал, выходящий в Темзу у моста Блэкфрайарс, но он по-прежнему нет-нет да и напомнит о себе. В штормовую погоду он иногда затопляет проезжую часть, котлованы при строительных работах вдоль его старого русла регулярно приходится осушать насосами. Словом, воды древних ручьев и источников, как встарь, текут по привычным руслам запертых ныне рек.

Сами же эти реки, как мы можем убедиться, не вполне мертвы, и порой они даже нам показываются. Над платформой станции метро

«Слоун-сквер» видна огромная железная труба, по которой течет река Уэстборн; подобные же трубы, заключающие в себе реку Тайберн, проходят через станции «Бейкер-стрит» и «Виктория». В феврале 1941 года Тайберн заструился по дну бомбовой воронки. Уэстборн был похоронен лишь в 1856 году. В книге «Погребенные реки Лондона» можно прочесть, что на Мирд-стрит в Сохо «в подвале одного здания есть решетка, под которой видна вода, текущая на юг»; факт довольно-таки таинственный, но было высказано мнение, что этот неизвестный подземный ручей возник на месте сточной трубы XVII века. Как выразился Николас Бартон, «если канал проложен, воды устремляются в него с удивительным постоянством». Это означает, что под городскими улицами, может быть, струятся и другие потоки и притоки, изобилующие своими собственными подземными призраками и нимфами.

ПОД ЗЕМЛЕЙ

Глава 60
Что там, внизу?

Слухов о мире под нашим миром хватало всегда. Сообщалось о подземных покоях и подземных ходах — один такой ход якобы соединял крипту церкви Сент-Бартоломью-де-Грейт с Канонбери, другой, покороче, — мужской и женский монастыри Кларкенуэлла. Обширные катакомбы имеются в Камден-тауне под Камденским товарным складом. Археологи находили в «скрытом» Лондоне древнеримские храмы. Состояние статуй античных божеств порой говорило о том, что по неизвестным причинам они были намеренно зарыты в землю. Под церковью Олл-Халлоуз-Баркинг обнаружена христианская крипта, чей свод сложен из материалов римского периода; выкопали также крест из песчаника с саксонской надписью WERHERE, странным образом приводящей на ум WE ARE HERE («мы здесь»). Лишь после бомбардировок Лондона из земли была извлечена погребенная под Чипсайдом статуя «мертвого Христа», горизонтально лежавшая в одном из слоев лондонской почвы. Находка на

углу Рэй-стрит и Литтл-Саффрон-хилла говорит о шествии поколений, которые и сами давно уже ушли под глину и гравий: в 1855 году на тринадцатифутовой глубине «землекопы натолкнулись на древнюю мостовую, сложенную из очень больших кусков известняка неправильной формы. Исследование камней показало, что улица интенсивно использовалась. Они изглажены ходьбой и ездой минувших поколений». Ниже этих старинных камней были обнаружены куски дуба — толстые, крепкие, покрытые илом, — которые сочли фрагментами огромной мельницы. Еще ниже лежали грубые деревянные трубы для воды. Громадный груз прошлого спрессовал весь этот лондонский материал «в плотную, почти твердую массу, и любопытно, что поблизости от старой земной поверхности в большом количестве лежали женские шпильки». Тайна шпилек так пока и не раскрыта.

Автор «Неизвестного Лондона» замечает: «Я чаще спускался по приставным лестницам, исследуя погребенный город, чем взбирался по лестничным маршам на верхние этажи Сити»; у читателя может возникнуть ощущение, что подземный город обширней надземного. На одном из характерных рисунков столицу представили в

разрезе как совокупность горизонтальных уровней, от крыш до клоаки, громоздящихся и чуть ли не сминающих друг друга своим весом. В одном популярном издании по городской истории хорошо сказано: «Никто из знающих Лондон не будет отрицать, что сокровища его следует искать в его глубинах». Фраза, пожалуй, двойственна по смыслу и указывает как на топографическую, так и на социальную тайну.

Как писал Чарлз Найт, другой выдающийся историк Лондона, «если вообразить, что эта великая столица столиц когда-нибудь станет тем же, чем стал Вавилон, о котором даже не знают точно, где он погребен, то начинаешь чуть ли не завидовать восторгу антикваров будущего при вести о том, что обнаружен *подземный Лондон.* Мы можем представить себе движение раскопщиков по этому исполинскому и до поры необъяснимому лабиринту, пока не будет расчищено все до конца и все громады не откроются дневному свету». Картина ошеломляющая — но не более ошеломляющая, чем сама действительность.

Подземный Лондон между тем уже существует. Это обширные подвалы, проходы, клоаки, туннели, трубы и сообщающиеся друг с другом коридоры. Созданы громадные сети газовых и

водопроводных труб, многие из которых давно не используются, а по другим теперь пущены кабели общей длиной в тысячи миль, служащие целям связи и управления. В книге «Лондон, открываемый заново» Уолтер Джордж Белл пишет о том, как однажды в начале 1920-х годов работники Управления почт укладывали керамические трубы для телефонных кабелей в выемку, оставшуюся от стены древнеримской виллы на Грейсчерч-стрит, так что, по его выражению, «шепоты наших переговоров» проходят через помещения, где жители утраченного Лондона некогда беседовали на языке чужой страны. Прорыты глубокие туннели для «Бритиш телеком» и для Лондонского управления по электричеству, по траншеям и изолирующим трубам тянутся кабели компании «Нэшнл грид». После 1945 года была введена в действие громадная система туннелей Управления почт, еще более усложнившая подземную лондонскую топографию. Под Темзой проложено больше туннелей, чем под любой из рек, на которых стоит другие мировые столицы — туннелей для поездов, для автомобилей, для пешеходов и для коммунальных нужд. Вся территория под рекой, как и под городом в целом, превращена в катакомбы со своими авеню и ма-

гистралями, зеркально копирующие наземную уличную структуру.

Но стоит в Лондоне спуститься под землю — и с нами что-то происходит. Сам воздух, кажется, делается стар и печален, насыщен горестным наследием. К примеру, Темз-таннел — туннель под Темзой, прорытый в 1825–1841 годах, — был куплен ценой великого труда и страдания. Его история рассказана в книге Ричарда Тренча и Эллиса Хиллмана «Лондон под Лондоном». Туннель прокладывался на глубине шестидесяти трех футов под руководством инженера Марка Брюнеля с использованием громадного проходческого щита для извлечения земли; идя вслед за проходчиками, каменщики тут же формировали кирпичные стены туннеля. Часто происходили обвалы и прорывы воды; рабочим, «как угольщикам в опасной шахте», беспрерывно что-то угрожало — то огонь, то вода. Один из них, пьяный, упал в глубокую шахту и разбился насмерть; некоторые утонули во время затоплений, другие умерли от «болотной лихорадки» или дизентерии, один или двое задохнулись в «спертом и нечистом воздухе». Марк Брюнель сам испытал приступ паралича, но настойчиво продолжал работы. Он вел дневник, чьи записи не нуждаются в пояснениях: «16

мая 1828 г. Взрывчатый газ. Люди сильно ропщут. 26 мая. Утром умер Хейвуд. Заболели еще двое. Пейдж слабеет на глазах — ему, видно, уже не выплыть… Я и сам, проведя некоторое время внизу, ощущаю изрядную слабость. 28 мая. Боуйер умер то ли сегодня, то ли вчера. Хороший был человек». Многозначительна в этом контексте метафора «выплывания», словно подземный мир топил людей совокупным своим весом. Атмосфера туннеля была атмосферой тяжкого сна, безнадежности и тоски. «На самих стенах его выступил холодный пот», — писала «Таймс» после его открытия в 1843 году.

Интересно, что Марк Брюнель разработал свой способ проходки туннелей, сидя в лондонской долговой тюрьме; там он наблюдал за работой teredo navalis — корабельного древоточца, «природного проходчика». Дух тюрьмы, безусловно, присутствует в самом строении этих туннелей. Натаниел Готорн спустился в Темз-таннел, когда прокладка его была завершена. После «утомительной череды лестничных маршей» взору открывается «сводчатый коридор, уходящий в нескончаемую полночь». Здесь — сама тоска, воплощенная в кирпич и камень, здесь «более уныло, чем на любой из улиц наземного Лондона». Но

нашлись лондонцы, сумевшие приспособиться к глубине и сырости. В полумраке Готорн увидел «ряды лавчонок в маленьких нишах, где торговали большей частью женщины… они донимают тебя голодными просьбами купить что-нибудь из их товара». Он пришел к убеждению, что эти обитательницы подземелья «проводят здесь всю жизнь и, думаю, никогда или почти никогда не выходят на свет». Неудивительно, что он назвал Темз-таннел «тюрьмой из тюрем». Именно по этой причине туннель так, по существу, и не стал дорогой для карет и пешеходов — слишком сильны оказались мрачные ассоциации. Поэтому после своего открытия туннель мало использовался и в 1869 году перешел в ведение Восточно-лондонской железной дороги. С тех пор он неизменно действовал как железнодорожный и ныне, входя в состав метрополитена, соединяет Уоппинг с Розерхайтом.

Другие туннели под Темзой тоже не спешат расставаться с царящим в них ощущением вселенской тоски. В книге «Вниз по течению» Иэйн Синклер пишет о Розерхайтском дорожном туннеле, связывающем Розерхайт и Степни: «Если хотите отведать худшего, что Лондон может предложить, следуйте за мной вниз по этому пологому

склону. Туннель источает предостережения: НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ». И далее: «Туннель обретает смысл, лишь оставаясь неиспользуемым и безмолвным». Это безмолвие может быть угрюмым и грозным. Гринвичский пешеходный туннель, открытый в 1902 году, кажется самым заброшенным и безотрадным местом Лондона. Есть, однако, люди, которые, подобно взывавшим во мраке торговкам, выглядят порождениями подземного мира.

В XVIII веке один немецкий путешественник писал, что «треть населения Лондона живет под землей». При желании мы можем датировать эту особенность бронзовым веком, когда чуть западнее нынешней Гринвичской обсерватории были прорыты подземные туннели. (Высказывалось мнение, что колодцы или шурфы, служившие для их вентиляции, были, кроме того, предназначены для наблюдения за звездами. Если так, то это очередной пример лондонской преемственности.) Заезжий немец имел в виду подвальные жилища особого рода, которые к тому времени уже два столетия были приметой Лондона. Их сдавали очень бедным жильцам, которые «спускались с улицы по ступенькам в колодец, на ночь закрывавшийся откидной крышкой».

Письменные свидетельства, которые оставили сами бедняки, позволяют нам бросить на эту подземную жизнь несколько коротких взглядов: «Починяю обувь. Живу в подвале… Я сапожник. У меня кухня [так называли подвальное жилье] на Монмут-стрит… Я не знаю квартирную хозяйку по имени, просто плачу каждый понедельник». Эти сырые и темные ямы порой использовались и более скверным образом. «Я содержу подвальную гостиницу» — это, судя по всему, означало, что в подземелье имели доступ бродяги, пьяницы и развратники.

Склонность искать убежища под землей получила дальнейшее развитие в XX веке. Было подсчитано, что во время Первой мировой войны (в феврале 1918 года) на станции столичного метро переселилась треть миллиона лондонцев. Они притерпелись к подземной жизни и даже начали за нее цепляться. Как пишет Филип Зиглер в книге «Лондон военных лет», одним из главных опасений властей было то, что «в людях разовьется менталитет „ухода в глубину“ и парализует их волю». Предполагали также, что подземные лондонцы «могут проникнуться истерическим страхом и откажутся выходить на поверхность для исполнения своих обязанностей».

Осенью 1940 года лондонцы вновь зарылись в норы. Они потянулись в подземные убежища и церковные крипты, и некоторые из них «стали жить подземной жизнью, проводя под небом меньше времени, чем шахтеры». В каждом из глубоких убежищ могло собраться более тысячи человек, и они «лежали тесней, чем мертвецы на кладбище»; те же, кто спускался в крипты, «искали укрытия среди мертвецов». В описаниях подземной жизни этот образ присутствует постоянно. *Это как смерть* — как погребение заживо под исполинским городом. Самой знаменитой из подземных пещер стала «Тилбери» под Коммершл-роуд и Кейбл-стрит, где прятались от бомб тысячи истэндцев.

Самыми очевидными центрами безопасности были станции метро. Генри Мур, бродя среди их новоявленных обитателей, делал предварительные заметки для своих рисунков: «Зловеще-контрастное освещение, на переднем плане расплывчатая масса лежащих фигур. Со старых кранов свисают цепи… Повсюду грязь, мусор, неряшество и хаос». Явственно пахло мочой и немытым человеческим телом; возникает картина Лондона в почти первобытном состоянии, словно, спускаясь под землю, горожане

возвращались на столетия назад. «Я никогда не видел такого количества лежащих фигур, и даже туннели для поездов походили на отверстия в моих скульптурах. Среди этой напряженной мрачности — группы чужих друг другу людей, сбившихся в тесный кружок, и дети, спящие на расстоянии шага от проходящих поездов». Мур сравнил увиденное с «трюмом невольничьего корабля» — правда, нынешнее судно стояло на месте. Вновь, как и во время бомбардировок предыдущей войны, состояние подземного населения тревожило власти. В книге Майкла Муркока «Лондон-мать» — этом гимне городу, созданном в конце XX века, — рассказчик во время бомбежек Второй мировой однажды «в поисках безопасности спустился в метро» и с той поры сделался одержим «позабытыми туннелями» и всем темным миром ниже городской поверхности. «Я обнаружил доказательства того, что Лондон пронизан сообщающимися туннелями, где живет троглодитское племя, ушедшее под землю во время Великого пожара… Другие намекали, что указания на Лондон под Лондоном имеются в разнообразных текстах, включая такие древние, как чосеровские». Это чудесная фантазия, но в начале 1940-х был нешуточный страх, что «подземное

племя» станет реальностью.

«Мы не должны поощрять постоянного, круглосуточного житья под землей, — заявил осенью 1944 года Герберт Моррисон[124]. — Если этот дух распространится, мы проиграем войну». Пораженчество, впрочем, было не единственной проблемой. Оказалось, помимо прочего, что опыт пещерной жизни поощряет подрывные и эгалитаристские настроения, словно внизу все наземные нормы можно переиначить, обратить в их противоположность. В этих укромных местах мог процвести радикализм; одна листовка, циркулировавшая в убежищах, обвиняла власти военного времени в «безразличии, доходящем до черствости, до преступной халатности, до бездушного пренебрежения элементарными требованиями человеческого достоинства». Находящиеся под землей пугали тех, кто оставался наверху, и это напоминало старинный суеверный страх перед шахтерами — исчадиями мрака. Это страх перед глубинами.

Вот почему воображение горожан столетиями тревожила фигура подземного труженика, занимавшегося чисткой клоаки и ликвидацией в ней

[124] Примечания: 124

Герберт Стэнли Моррисон (1888–1965) — английский политический деятель. Занимал различные правительственные посты.

заторов. Были, кроме того, тошеры — клоачные охотники, бродившие по сточным туннелям в поисках предметов, которые можно продать. «И поныне рассказывают много удивительных историй, — писал Генри Мейхью, — о людях, заблудившихся в клоаке, о потушенных зловонными испарениями фонарях, о странствиях по грязным туннелям, кончавшихся тем, что, изнуренный и объятый отчаянием, человек падал и умирал. Ходят также рассказы о клоачных охотниках, атакованных стаями громадных крыс… несколько дней спустя их находили обглоданными до костей». Эти жуткие истории — свидетельство страха, который внушал людям подземный мир Лондона, и надо признать, что деятельность по превращению мусора — кусков железа, меди, каната, кости — в деньги была действительно опасной. Прогнившая кирпичная кладка крошилась и рушилась, воздух был зловонным и ядовитым, Темза XIX века во время приливов заполняла иные туннели водой, и людей обнаруживали потом «мертвыми, изувеченными, в жутких ушибах». Работая украдкой и исподтишка, они закрывали свои фонари, когда оказывались под тротуарными решетками, потому что «иначе могла собраться толпа».

Они носили перепачканные плисовые куртки с большими карманами и грязные парусиновые штаны. По словам одного лондонца, отнюдь не стремившегося скаламбурить, это были «низы из низов».

Есть и не столь давние рассказы о честных чистильщиках клоаки, освобождающих сточные туннели и трубы от мягкой грязи и песка. О трубе под Пиккадилли, выходящей в Тайберн, в одной газетной статье 1960 года говорилось, что «это было похоже на переправу через Стикс. Уличный туман, последовав за нами вниз, стал виться кольцами над бесцветной и зловонной рекой, наводящей на мысль о потоках Аида». Сошествие под землю апеллирует к мифологической образности. Эрик Ньюби спустился в туннель Флита, где «в мигающем свете шахтерских фонарей и специальных ламп взгляду открылось некое подобие тюрем Пиранези». Итак, вновь образ тюрьмы. Один работник службы канализации сказал внизу заинтересованному посетителю: «Вам бы под Сити некоторые посмотреть. Они средневековые. Их гостям не показывают». В иных описаниях и вправду слышны средневековые мотивы: «сводчатое помещение… с колоннами, арками и контрфорсами, похожее на

крипту собора». Лучшим, может быть, символом этого диковинного подземного города служат истертые крышки городских люков, где надпись SELF LOCKING («самозамыкающаяся») хочется прочесть как ELF KING («король эльфов»).

Никакой рассказ о подземном Лондоне не может, разумеется, быть полным без подземки как таковой — без лондонского метро. Это огромный город под городом, раскинувшийся на площади в 620 квадратных миль; это 254 мили рельсовых путей, переплетение туннелей и сеть станций с таинственными подчас названиями — Госпел-Оук (Евангельский дуб), Уайт-сити (Белый город), Эйнджел (Ангел), Севен-Систерз (Семь сестер).

О транспортном сообщении под улицами Лондона заговорили еще в 1840-е и 1850-е годы, но планы эти столкнулись с серьезными возражениями. Опасались, что туннели не выдержат веса наземного транспорта — того самого, который они должны были разгрузить, — и что дома над ними будут разрушаться от сотрясения. В конце концов в 1860 году один из проектов был принят. За три года открытым способом проходки была сооружена Метрополитен-рэйлуэй («Столичная железная дорога») от Паддингтонского вокзала до Фаррингдон-стрит. Предприятие имело гро-

мадный и немедленный успех и стало триумфом средневикторианской энергии и изобретательности; на гравюре, носящей название «Пробная поездка по подземной железной дороге, 1863 год», открытые вагоны заполнены мужчинами, которые, проезжая туннель, радостно машут цилиндрами. В день открытия «на станции Фаррингдон-стрит собралась такая же толпа, как у театрального подъезда перед премьерой какого-нибудь популярного исполнителя». Бодрость и театральность как таковые сыграли, надо сказать, в успехе предприятия очень большую роль; вид паровоза, исчезающего под землей подобно демону в рождественской «пантомиме», удовлетворял потребность лондонца в ярком зрелище.

К началу XX века стала вырисовываться подземная «сеть» в ее современном виде. В частности, в 1890 году открылась «железная дорога Сити и южного Лондона»; поскольку трасса между Кинг-Уильям-стрит и Стокуэллом была проложена не старым открытым способом, а посредством туннельной проходки, она первой удостоилась обиходного названия «the tube» («труба»). Кроме того, после эпохи пара она стала первой в мире электрифицированной линией метрополитена; вагоны не имели окон в силу того разумного со-

ображения, что смотреть под землей особенно не на что, а из-за мягкой обивки их стали именовать «палатами для буйных».

За «трубой» в 1900 году последовала Центральная линия, в 1906 году — Бейкерлу и Пиккадилли, в 1907 году — Хемпстедская (или Северная). Метро уже не было впечатляющим новшеством и даже никого не удивляло — оно стало неотъемлемой частью лондонской повседневности. Мало-помалу оно, кроме того, приобрело знакомые черты и свойства города. Или, возможно, наземный город просто породил под землей свое подобие. Метро имеет свои улицы и авеню, которые пешеходы мгновенно узнают и по которым следуют. Оно имеет свои кратчайшие пути, свои перекрестки, свои локальные особенности (отсутствие эскалаторов на Куинсуэй, глубинные лифты на Хемпстеде, длинные эскалаторы на Эйнджеле), и с зонами яркости и суеты в нем, как в самом городе, соседствуют области темноты и запустения. Ритмы города, как и присущий ему рисунок деятельности и расселения, бесконечно дублируются внизу.

«Улицы» метро, как и магистрали громадного города, выработали свои специфические особенности и ассоциации. Северная линия напряжена

и в какой-то мере даже отчаянна, Центральная энергична, Кольцевая предприимчива и беззаботна. Линия Бейкерлу, напротив, скучна и удручающа. Станция «Ланкастер-гейт» с ее мраком расположена между «Бонд-стрит» с ее суетой и «Ноттинг-хилл-гейт» с ее яркостью. На станциях, где происходили несчастья (таких, как «Мургейт» и «Бетнал-грин») в атмосфере и поныне ощущается что-то скорбное. Есть, однако, станции — например, «Бейкер-стрит» и «Глостер-роуд», — которые поднимают настроение. Когда поезд приближается к древнейшим участкам Сити, сам воздух становится иным. Двигаясь по Кольцевой линии от Эджуэр-роуд и Грейт-Портленд-стрит к старинному городскому центру, мы пересекаем все более глубокие слои безымянности и забвения. Об одном из отрезков этой линии Г. К. Честертон сказал, что названия станций «Сент-Джеймс-парк», «Вестминстер», «Чаринг-кросс», «Темпл», «Блэкфрайарс» — «это поистине те камни, на которых воздвигнут Лондон, и это правильно, что они, так сказать, погребены», ибо «все они связаны со старой католической

верой[125]».

Образы такого рода вполне уместны для предприятия, спустившегося в ходе своего развития до глубины первобытных болот, на месте которых возник Лондон. Под станцией «Виктория» были обнаружены окаменелости, чей возраст — пятьдесят миллионов лет. Возможно, эти-то древние глубины и создают особую атмосферу метро и особые ощущения, которые оно рождает. Есть сообщения о призраках или духах подземных недр. Несомненно, существуют «станции-призраки» с давно обезлюдевшими платформами — на иных еще остались старые рекламные щиты с потускневшими плакатами. Их около сорока, безмолвных и практически невидимых, — в том числе «Бритиш-Мьюзиэм», «Сити-роуд», «Саут-Кентиш-таун», «Йорк-роуд», «Марлборо-роуд», «Кинг-Уильям-стрит».

Метро, кроме того, — место случайных встреч и совпадений, но в большей мере оно рождает тревогу и страх — страх перед чужаками, ворами и

[125] Примечания: 125

«Сент-Джеймс-парк» (Парк Св. Иакова) расположен на месте средневековой больницы Св. Иакова. В Вестминстере находится древнее аббатство. Название «Чаринг-кросс» происходит от каменного креста (cross), возведенного в XIII в. На месте нынешнего Темпла был храм рыцарей-тамплиеров. Название «Блэкфрайарс» происходит от монастыря доминиканцев (black friars).

сумасшедшими, которых немало в бегущих один за другим подземных поездах. Так или иначе, метро стало привычным. Форд Мэдокс Форд писал в «Душе Лондона»: «Я знал человека, который, умирая вдали от Лондона, вздохнул — о чем бы вы думали? О дыме, который можно порой увидеть, стоя на платформе метро, — о дыме, который из круглого люка, неплотно прикрытого закопченным и ржавым железным щитом, огромными рыхлыми клубами взлетает в тускло освещенную вышину». Вот истый лондонец, чье последнее желание на смертном одре — еще раз узреть и вкусить дым подземки. Так грезит о тюрьме освобожденный узник. Между тем работы внизу идут и идут. Лондон расширяется — и вместе с ним растет его подземный двойник.

В последние дни XX столетия, сев в тени громадного небоскреба Канари-уорф, можно было увидеть сотни рабочих, суетящихся вокруг путей продолженной Юбилейной линии. Строительство шло беспрерывно и шумно; громадные световые дуги и вспышки серебряного огня заряжали ночной воздух энергией, вступив в союз с неким неведомым городом будущего.

ВИКТОРИАНСКИЙ МЕГАЛОПОЛИС

Глава 61
Сколько миль до Вавилона?

К середине 1840-х годов Лондон приобрел славу величайшего города на земле — имперской столицы, международного торгово-финансового центра, огромного интернационального рынка, куда стекался весь мир. Однако в начале XX века Генри Джефсон, историк санитарного состояния города, охарактеризовал этот мегалополис иначе. «Об этом времени, — писал он, — следует сказать, что в истории Лондона еще не было периода, когда условиям, в которых существовала громадная масса обитателей столицы, уделялось меньше внимания». Чарлз Диккенс, Генри Мейхью и Фридрих Энгельс — вот три автора викторианской поры, забившие тревогу по поводу условий жизни в этом всепожирающем городе-исполине. На фотографиях и рисунках эпохи самое сильное впечатление производят картины труда и страдания. Сгорбившись, сложив руки, сидят женщины. Нищая семья спит на каменных скамьях в нише, образованной парапетом моста, а на заднем плане высится темная громада собора Св. Павла.

Как писал Бланшар Джерролд, «стариков, сирот, хромых и слепцов в Лондоне довольно, чтобы населить город обычных размеров». Город, целиком составленный из убогих и страждущих, — идея поистине диковинная. Но именно таков, в немалой своей части, был Лондон. Несметно число детей и бродяг, безучастно сидящих на улицах; несметно и число уличных торговцев, которых обычно изображали на унылом фоне кирпичных или каменных стен.

Внутри бедные викторианские жилища, как правило, мрачны и грязны. Среди коптящих сальных светильников висит тряпье. Многие обитатели трущоб словно бы лишены лиц, низведены до теней; их окружают гниющие деревянные балки и головоломный хаос лестниц. Многие — что снаружи, что в помещении — сгорблены и кажутся маленькими, как будто сам город придавил их своим весом. Изображения той поры выявляют и другую особенность викторианского Лондона. Мы видим громадные, неисчислимые толпы, видим улицы, полные кипучей и борющейся жизни, — грандиозный источник вдохновения для мифографов XIX века, какими были Маркс и Дарвин. Порой на лице прохожего можно уловить вспышку чувства — жалости, злобы, нежности.

Воображение дополняет картину тяжелым шумом, подобным неутихающему крику. Вот каким он был — викторианский Лондон.

«Викторианский Лондон» — это, конечно, лишь общий термин для череды меняющихся конфигураций городской жизни. В частности, в первые десятилетия XIX века Лондон во многом оставался таким, каким был в конце предыдущего столетия. Он все еще был компактным городом. «Обведите теснящиеся крыши домов свободным кругом, — говорит рассказчик в „Часах мастера Хамфри“ Диккенса (1840–1841), — и в его пределах вы получите любой предмет наряду с его полной противоположностью». Лишь немногие улицы освещались газом, по большей части на них стояли редкие масляные фонари, и поздних прохожих провожали домой наемные факельщики. За порядком на улицах смотрели не столько «бобби», сколько «чарли» (ночные сторожа). В городе по-прежнему было неспокойно. Окраины сохраняли сельские черты; в Хаммерсмите и Хэкни выращивали клубнику, к Хеймаркету среди прочего транспорта на конной тяге двигались фургоны. Громадные общественные здания, которыми вскоре украсилась имперская столица, еще не были построены. И развлечения в основном

были те же, что в XVIII веке: собачьи и петушиные бои, позорный столб, публичные казни. На домах, словно они были декорациями, красовались нарисованные окна. Как прежде, разносчики торговали грошовыми книжками-страшилками, исполнители баллад — текстами новейших песен. Действовали дешевые театрики и магазины гравюр, выставлявшие в витринах карикатуры, которые запросто могли собрать толпу. Действовали увеселительные сады, «гроты гармонии», питейные и песенные клубы, танцевальные залы. Лондон еще не утратил эксцентризма. Жители не имели ни устоявшейся системы образования, ни социальной системы (само это слово — «система» — обрело полноценную жизнь только в 1850-е и 1860-е годы). Город был пестрей, диковинней и порой тревожней, чем в любую из последующих эпох. Он еще не был стандартизован, не был отдан во власть двум средневикторианским соправителям — единообразию и благопристойности.

Точно определить переходный момент невозможно. Несомненно, Лондон приобрел совсем иной облик, когда, продолжая расти, захватил сначала Излингтон и Сент-Джонс-вуд на севере, затем предместья во всех иных направлениях — Паддингтон, Бэйсуотер, Саут-Кенсингтон, Ламбет,

Кларкенуэлл, Пекем и так далее. Он стал самым большим городом мира — и одновременно Англия стала первой и мире страной с подлинно городским обществом.

Лондон сделался городом механического времени, городом быстроты ради быстроты. Здесь сосредоточилась машинная индустрия, использующая силу пара; здесь был открыт и стал всеобщим достоянием электромагнетизм. Лондон сделался центром массового производства, где, вклинившись между продавцом и покупателем, действовали отвлеченные силы спроса и предложения, прибыли и убытка. В тот же период для бизнеса и управленческой работы была мобилизована громадная армия клерков и бухгалтеров, которые, как правило, носили стандартные темные костюмы.

Это был город мглы и тумана — но у приезжего темнело в глазах и по другой причине. Население Лондона, составлявшее в начале века миллион человек, к концу его выросло примерно до пяти миллионов. В 1911 году оно равнялось семи миллионам. Все вокруг приобретало более темную окраску. Одежда не только клерков, но и других горожан мужского пола утратила яркость и цветовое разнообразие, свелась к строгой черноте

сюртука и цилиндра. Ушли в прошлое также особенное изящество и колорит самого города, каким он был в начале XIX века; благонравная симметрия георгианской архитектуры уступила место державно-захватническому облику неоготических и неоклассицистских общественных зданий викторианской поры. Они символизировали овладение как временем, так и пространством. Возник новый Лондон — более массивный, плотнее контролируемый, аккуратнее организованный. Столица сильно выросла, но стала при этом холодней и бесцветней; сделавшись городом более величественным и публичным, она утратила долю прежней человечности.

Так Лондон воплотил в себе и довел до высшей точки развития державное начало, присущее столицам былых империй. Он стал Вавилоном. В XII веке «Вавилоном» назывался отрезок городской стены, но причина такого наименования нам неизвестна; возможно, жители средневекового города придавали этому участку каменной кладки некое язычески-мистическое значение. С этим обстоятельством невзначай перекликается простая настенная надпись, сделанная кем-то в конце XX века близ Хэкни-Марш: «Вавилондон». И есть, конечно, загадочная детская песенка:

Сколько миль до Вавилона?
Двадцать пять и пятьдесят.
Как бы мне туда добраться,
Чтобы засветло назад?
Будь проворней — доберешься
И как раз успеешь засветло назад.

Хотя происхождение и смысл стишка неясны, чувствуется, что образ этого города обладал мощной притягательной силой; в другом варианте, правда, вместо «Вавилона» появляется «Вифлеем», до которого, если имеется в виду сумасшедший дом на Мурфилдс [126] действительно не так уж далеко.

В XVIII веке Лондон был назван «cette Babilone, le seul refuge des infortunes»[127]; здесь косвенное указание на размер и мощь дополняется образом «несчастных», иначе говоря — беженцев. Возникает другая ипостась Лондона-Вавилона — города, оглашаемого множеством непонятных, разноязычных голосов. Сравнение Лондона с Вавилоном может, таким образом, апеллировать

---

[126] Примечания: 126
То есть Вифлеемская лечебница для умалишенных (Бедлам).

[127] Примечания: 127
Этот Вавилон, единственное прибежище для несчастных *(фр.).*

к присущей ему многоликости. Так, поэт XVIII века Уильям Купер назвал «растущий Лондон» городом еще менее однородным, чем «древний Вавилон».

Лишь в XIX столетии, однако, сходство заговорило о себе в полный голос. Лондон постоянно называли тогда «современным Вавилоном». Для Генри Джеймса он был «этим сумрачным Вавилоном»; Артур Макен писал: «Лондон смутно высился передо мной, полный чудес, таинственный, как ассирийский Вавилон, и настолько же богатый вещами неслыханными, великими откровениями». Итак, Вавилон и Лондон связаны многими ассоциациями: наряду с образами величия и тьмы здесь ощущение тайны и отодвигающейся завесы. До того мощным оказалось это соединение, что сады Парк-лейн окрестили «висячими» — хотя здесь, возможно, сказалось то обстоятельство, что поблизости некогда возвышалось «тайбернское дерево»[128].

К 1870 году город стал смущать умы уже простым количеством содержащейся в нем жизни. Ежедневно каждые восемь минут кто-то в нем умирал, каждые пять минут кто-то рождался. В

---

[128] Примечания: 128

Виселица в Тайберне, где до 1783 г. происходили публичные казни.

Лондоне было сорок тысяч уличных торговцев фруктами и рыбой, сто тысяч «зимующих бродяг»; здесь обитало больше ирландцев, чем в Дублине, и больше католиков, чем в Риме. Здесь было двадцать тысяч пабов, где одновременно находилось до пятисот тысяч посетителей, и к 1878 году более полумиллиона жилых домов, которых «с лихвой хватило бы, чтобы непрерывной цепью опоясать остров Великобритания». И вряд ли стоит удивляться тому, что в середине XIX века сами лондонцы с восхищением, тревогой и благоговейным страхом глядели на город, который вдруг приобрел такие размеры и так усложнился. Как это могло случиться? Точного ответа, казалось, не в силах был дать никто. Работая над книгой «Положение рабочего класса в Англии» (1845), Фридрих Энгельс почувствовал, что тема требует полного напряжения его недюжинного ума. «Такой город, как Лондон, — писал он, — по которому бродишь часами, не видя ему конца… представляет из себя нечто совсем особенное». Особенный город этот не поддается описанию, и Энгельс мог лишь настойчиво возвращаться к образам, передающим громадность: «Бесчисленное множество судов… сотни пароходов… бесконечные вереницы экипажей и повозок… сотни тысяч,

представители всех классов и всех сословий… В огромном лабиринте улиц есть сотни и тысячи скрытых переулков и закоулков… пристанища жесточайшей нищеты». Сама неисчислимость массы, кажется, делает ее непознаваемой и, следовательно, пугающей.

Лондон был настолько огромен, что, можно сказать, заключал в себе все прежние цивилизации. К Вавилону прибавились другие великие империи. Нефы и трансепты Вестминстерского аббатства уподобляли «городу мертвых» близ Каира, Паддингтонский железнодорожный вокзал ассоциировался с пирамидой Хеопса. Архитекторы XIX века в воображении возводили пирамиды на Трафальгар-сквер и Шутерз-хилле, проектировали громадные пирамидальные усыпальницы близ Примроуз-хилла. Здесь мы видим, как мощь имперского Лондона творила, наряду с культом величественности, культ смерти.

В «Энциклопедии» Ри 1819 года, как и в ряде других изданий, источником первобытной образности становится лондонский портовый район. Кроме того, климатом и атмосферой Лондона создаются «поразительные иероглифы, которые пишут на городской поверхности копоть и дым». Ассоциация по смежности делает древними сами

лондонские камни. Облик британской столицы каким-то образом рождает представление о глубочайшей старине; не исключено, что к видениям этим скрытым образом причастно слово «petrified» («окаменелый») в переносном значении «оцепенелый от страха».

Помимо Египта, был еще Рим. Подвалы под «террасой Аделфи» напомнили одному историку архитектуры «древнеримские постройки»; созданную Джозефом Базалджеттом систему канализации часто сравнивали с римскими акведуками. Величественность, соединенная с триумфальным имперским духом, — вот что производило на этих наблюдателей Лондона XIX века сильнейшее впечатление. Побывав в туннеле под Темзой, который уподобляли самым крупным достижениям римского строительного искусства, Ипполит Тэн назвал его «огромным и мрачным, как кишка некоего Вавилона». Затем Тэна захлестнул поток ассоциаций и параллелей между цивилизациями. «Я неизменно нахожу в Лондоне сходство с Древним Римом… Насколько же тяжко этот современный Рим, подобно античному, давит на спины трудящихся! Ибо всякое чудовищное скопление зданий, будь то Вавилон, Египет или Рим эпохи Цезарей, воплощает в

себе сгусток людских усилий, крайнюю степень изнеможения». Далее он описывает «римскую машину», использовавшую рабский труд тех, кто ее обслуживал. И это выявляет еще одну истину о Лондоне-Риме: он превращал своих горожан в рабов машины.

За образец для арки, ведущей во «двор слитков» Английского банка, архитектор сэр Джон Соун взял древнеримскую триумфальную арку; стены соседнего Лотбери-корта были украшены аллегорическими фигурами из римской мифологии. Массивный угол банка там, где сходятся Лотбери и Принсез-стрит, представлял собой подобие храма Весты в Тиволи. Интерьеры банка тоже создавались с оглядкой на Рим. Многие его помещения — в частности, зал дивидендов и фондовый зал — были спроектированы по модели римских терм; главный кассовый зал размером сорок пять на тридцать футов напоминал интерьер римского храма Солнца и Луны. Здесь, таким образом, налицо впрямую выраженный и апеллирующий к римским верованиям культ денег; во всех ассоциациях с древним городом главенствует тема языческого триумфа.

Но возникали и другие ассоциации. Верлен писал, что Лондон — «библейский город», со-

зревший для того, чтобы его поразил «огонь небесный». Карлейль в 1824 году, назвав его «исполинским Вавилоном», продолжил: «...потоки людских сил здесь катятся внутрь и воине с яростью, ужасающей до глубины души». Итак, в одном контексте Лондон сравнивается с величайшими цивилизациями прошлого, с Римом или Египтом, в другом — стремительно рушится, обретая черты яростной пустыни, дикого места, где нет никакого удержу и никакой жалости. Когда Карлейль добавляет, что Лондон «подобен сердцу Вселенной», можно понять его так, что город воплощает все самые мрачные силы и все крайности бытия. Так что же это — сердце империи или сердце тьмы? Или эти сердца до того срослись, что человеческое усилие и труд стали всего лишь выражением свирепости и желания властвовать?

В определенном смысле Лондон всегда ассоциировался с пустыней, с джунглями, с дикой местностью, с первобытным лесом. «Всякому, кто обратит взор на города Лондон и Вестминстер с добавившимися недавно обширными предместьями, — писал в 1751 году Генри Филдинг, — на великую беспорядочность заполняющих их строений, на неисчислимые улицы, переулки,

закоулки и дворы, должно прийти в голову, что будь все это предназначено единственно для сокрытия, ничего лучшего и придумать было бы нельзя. И тогда является картина огромнейшего леса, где вору так же легко схорониться, как дикому зверю в пустынях Аравии или Африки». О другой особенности этой дикой местности говорится в его «Томе Джонсе», когда речь заходит о трудностях лондонской жизни: «Ибо если незнакомые люди не могут привести тебя в смущение, точно так же они не оденут тебя и не накормят. И человеку столь же легко погибнуть от голода на Леденхоллском рынке, как в аравийской пустыне».

Взгляд Филдинга разделял его современник Смоллетт. Будучи «необъятной дикой местностью, где нет ни стражи, ни дозора, ни порядка, ни управы», Лондон предоставляет ворам и прочим преступникам «и логова, и добычу». Образы джунглей и пустыни используются вперемешку, словно это одно и то же, поскольку и то и другое выражает «дикость» неприрученной и неисследованной человеческой натуры; Лондон выступает как некая первобытная сила или среда обитания, где природные человеческие инстинкты проявляются без всяких ограничений.

В XIX веке, однако, метафора дикой местности видоизменилась: в Лондоне теперь усматривали не царство необузданной и неукрощенной жизни, а область голого, бесплодного запустения. Мейхью назвал этот город «кирпичной пустыней», и образ непролазной чащи сменился образом твердого камня, «всюду, куда ни взгляни, обильно поросшего чахлым поганым мелколесьем низеньких домишек». Такова пустыня XIX века, куда более обширная и бесплодная, чем дикая местность предыдущего столетия. Именно о ней говорит Джеймс Томсон в «Обреченном городе», опубликованном в 1857 году, где возникают «пустынные улицы» в «каменном лабиринте погребенного города». Бесконечность городских улиц, о которой так выразительно писал Энгельс, связывается здесь с холодностью и твердостью самого камня; это уже не джунгли, где буйствует беспорядочная жизнь, а пустыня, где царит смерть, не смягчаемая ни печалью, ни жалостью. «Пустыня! Вот-вот, именно, именно», — говорит персонаж «Николаса Никльби». «Да, настоящая пустыня, — заявляет старик с необычайным воодушевлением, — Для меня когда-то это была пустыня. Я пришел сюда босой — мне вовек этого не забыть». А Крошка Доррит восклицает: «Лон-

дон такой большой, такой пустой, такой дикий!»

И вот Лондон уже ассоциируется с Помпеями — с такой же, как они, каменной пустыней. После бомбардировок Второй мировой войны, к примеру, было замечено, что Лондон выглядит «древним, как Геркуланум». Но Лондон не был погребен под застывшей лавой времени. Все элементы его жизни рано или поздно возвращаются. Один приезжий из Италии — человек, похоже, слишком проницательный, чтобы довольствоваться избитыми аналогиями, — сравнил Лондон со страной циклопов. Ныне в описании Доклендс конца XX века мы находим громадную Сайклопс-уорф — «Циклопическую набережную». Здесь же — фотография соседней набережной Саут-ки с небоскребом Саут-ки-уотерсайд, который венчает пирамида. Сходным образом и громадная башня Канари-уорф имеет пирамидальную крышу, и все это наводит на мысль, что ассоциации с египетской державой не умирали никогда. Даже насосной станции на случай штормового повышения уровня воды в Доклендс приданы египетские очертания некоего стража водной стихии.

Есть, однако, у извечной аналогии между Лондоном и древними цивилизациями еще один,

более выразительный аспект. Это мысль, у иных окрашенная страхом, у иных — надеждой, у иных — ожиданием: мысль о том, что и эта великая имперская столица в свой черед обратится в руины. Вот почему так настойчиво проводится аналогия между Лондоном и дохристианскими городами: в нем тоже рано или поздно воцарятся хаос и древняя ночь — условия «первобытного» прошлого окажутся, таким образом, и условиями отдаленного будущего. Здесь проявляется тяга к изглаживанию, к забвению. Впечатляющий графический цикл Доре о Лондоне XIX века, воспринимаемом, в сущности, как Рим или Вавилон, завершается вот чем. У Темзы на большом камне задумчиво сидит человек в плаще с капюшоном. Он смотрит на ужасающие руины города — на заброшенные, поросшие кустарником набережные, на собор Св. Павла без купола, на зубчатые каменные обломки, в которые превратились могучие коммерческие здания. Гравюра озаглавлена «Новозеландец» и навеяна словесной картиной, которую нарисовал Маколей: «колониальный житель» возвращается в разрушенную державную столицу после того, как свершилась ее судьба. «Стоя над уцелевшей аркой разбитого Лондонского моста, он будет зарисовывать

развалины собора Св. Павла». Парадоксальным образом видение это возникло в период лондонской гордыни и величия.

Во второй половине XVIII века Хорас Уолпол описал вымышленного гостя из Лимы, изумленно взирающего на обломки собора Св. Павла. Шелли изобразил далекое будущее, когда «собор Св. Павла и Вестминстерское аббатство будут возвышаться бесформенными и безымянными руинами посреди нелюдимых болот». Россетти мысленно разрушил Британский музей и отдал его в руки грядущих археологов. Рёскин представил себе лондонские камни проходящими «через высоту еще более горделивую к разрушению, которое вызовет, однако, меньшую скорбь». Возникает картина обезлюдевшего города, которому ничто теперь не мешает быть самим собой; камень переживает катастрофу и становится в этом воображаемом будущем неким божеством. Видение по сути дела совмещает образ города с образом смерти. Но вместе с тем оно передает ужас перед Лондоном, перед его бурлящей жизнью; это вопль протеста против его «неестественности», от которой не избавиться без потопа или другого грандиозного акта естественных, природных сил. Поэтому может настать время, когда Лондон

будет узнаваться лишь по «серым развалинам и… рассыпающемуся камню», глубоко погруженным в «ночь, готическую ночь».

Однако понятие «готика» рождает свои собственные ассоциации, не менее мощные, чем ассоциации с Римом, Вавилоном, Ниневией или Тиром. Джеймс Боун, автор книги «Прогулки по Лондону», высказал мысль, что в очертаниях и строении каменного Лондона обнаруживается «готический genius loci, борющийся с духом классицизма». Каков же он тогда, этот лондонский «гений места»? Он несет в себе ощущение избытка и непобедимого размаха, страстного религиозного стремления и монументальности; здесь и древняя набожность, и головокружительный каменный взлет. В XVIII веке, однако, готика приобрела смысловой оттенок ужаса, затем — ужаса в соединении с истерическим комизмом. Все это город способен вместить.

Николас Хоксмур, великий архитектор лондонских церквей, дал определение стиля, который он назвал «английской готикой». Этот стиль отличали резкая, подчеркнутая симметрия и возвышенная непропорциональность. В конце 1780-х годов, элегантно сплавляя в здании Гилдхолла индийские и готические мотивы, Джордж

Данс возрождал дух экстравагантной живости и воздавал должное великой древности города. Но, указывая на старину, готика в то же время была проявлением благоговения. Вот почему церкви Хоксмура, где бы они ни стояли — в Сити, в Смитфилде, в Лаймхаусе, в Гринвиче, — так мощно дают ощутить свое присутствие. Флаксман, художник XVIII века, сказал о гробницах Вестминстерского аббатства, что это «образчики величественности… властно направляющие наше внимание и мысли не только к иным временам, но и к иным ступеням бытия». В Лондоне определенно есть нечто «не от мира сего».

Наиболее примечательным и необычным образом эта тенденция проявилась в XIX веке, когда Лондон оказался пронизан духом неоготики. Обретя первое серьезное воплощение в зданиях парламента, перестроенных после большого пожара 1834 года, готика к 1860 году стала «признанным языком всех ведущих архитекторов». Высказывалась мысль, что в готическом стиле дает о себе знать лондонское прошлое. Этим объясняется готическое оформление Дома правосудия, означавшее верховенство Времени над судебными делами нынешнего дня; по той же причине лондонские церкви в середине XIX

века неизменно строились в готическом стиле. Подобные же черты придавались металлическим конструкциям. Возник термин «уимблдонская готика», характеризовавший стиль пригородных вилл; особенно славился своей игрушечной или орнаментальной готикой район Сент-Джонс-вуд. Все, что могли счесть слишком недавним, только что сделанным, покрывалось патиной фальшивой старины.

Так в Лондоне XIX века готика создавала смягчающую атмосферу древности. В городе, который, казалось, мчался во весь опор, оставляя позади все существующие и мыслимые границы, она успокаивала людей некой теоретической или предположительной преемственностью. Но священные образы имеют страннейшее обыкновение поворачиваться к нам совершенно иным лицом. Мощь готических оригиналов может, помимо прочего, ассоциироваться с языческим или варварским началом. Вот почему столица империи славилась и как город дикарей.

Глава 62
Дикие существа

«Если есть тьма африканская, то есть, похоже, и тьма английская… Не отыщется ли параллель у самых наших дверей, не увидим ли мы в двух шагах от наших соборов и дворцов ужасы, подобные тем, что Стэнли обнаружил в необозримых экваториальных лесах?» Так писал в 1890-е годы Чарлз Бут. Его внимание привлекают «карликообразные жители, лишенные облика человеческого, рабство, в которое они отданы, их лишения и несчастья». В этом смысле город породил и взрастил дикарское население. Другие наблюдатели часто называли бедных обитателей трущоб «дикарями», и даже в эпоху великого британского религиозного возрождения, затронувшего средние слои общества, когда Англию считали страной глубоко христианской, рабочий люд Лондона оставался вне Церкви. В одном источнике 1854 года делается вывод, что беднейшие лондонцы «настолько же чужды религиозным обрядам, как жители языческой страны»; по выражению Мейхью, «для уличных торговцев ре-

лигия — китайская грамота». Откуда, собственно, могли взяться набожность и религиозное рвение в этом жестком, насквозь коммерческом городе, где красота и достоинство, не говоря уже о вере, имели так мало шансов уцелеть?

«В плотной гуще ничего не желающего знать населения» имперски-торговой столицы действовали притоны и ночлежные дома, где «постоянно творятся самые что ни на есть дьявольские дела». «Я видел первобытных дикарей Полинезии — писал Томас Гексли, — до которых еще не успели добраться ни миссионер, ни работорговец, ни белый бродяга. Так вот, при всей своей дикости они даже вполовину не были так дики, грязны и неисправимы, как обитатели доходных домов в трущобах восточного Лондона». Парадокс в том, что в сердце главного города державы, питавшего и финансировавшего мировую империю, находилось население более грубое и грязное, чем любой из народов, над которыми он считал себя призванным властвовать. «Он числит себя христианином, — писал Мейхью о юном „жаворонке“, то есть сборщике речного мусора, — но что такое христианин, ему невдомек».

Беднейшие иммигранты-ирландцы чувствовали атмосферу. «Приезжающие в Лондон

ирландцы, кажется, видят в нем языческий город, — говорит Томас Бимз в книге „Лондонские трущобы“, — и поэтому тут же становятся на путь разнузданности и преступлений». Дикарство, таким образом, было заразительно и носило эндемический, территориальный характер. Городские условия низводили жителей до скотского состояния.

Верлен писал, что, оказавшись в Лондоне после Парижа, живет «среди варваров». Однако мысль его шире: он говорит о том, что в чуждом ему городе нет иного культа, кроме культа власти и денег. Вновь звучит слово «Вавилон», ибо где еще обитать этому языческому сонмищу? В 1863 году после поездки в Лондон Достоевский писал: «Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться… и не обоготворить Ваала». Он заключает: «Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден… Бедность, страдание, ропот и отупение массы его не тревожат нисколько». Рабски служащие и поклоняющиеся ему язычники бессильны, когда с началом каждого дня «тот же гордый и мрачный

дух снова царственно проносится над исполинским городом».

Если Лондон средневикторианской поры действительно, как пишет Достоевский, был городом языческого Апокалипсиса, то лучшего монумента, чем воздвигнутый в 1878 году, для него и придумать было нельзя. Египетский обелиск, датируемый восемнадцатой династией, был отбуксирован в Лондон в железном цилиндрическом понтоне. До этого он 1600 лет простоял перед храмом Солнца в египетском городе Оне (Гелиополе). «Он видел с высоты встречу Иосифа с Иаковом, он видел детство Моисея». В 12 году до н. э. его перевезли в Александрию, но так и не установили, и он пролежал на песке лежнем до самой отправки в Лондон. Монолит, вытесанный рабами из розового гранита в одной из каменоломен Южного Египта, стоит теперь подле Темзы под охраной двух бронзовых сфинксов; на нем высечены иероглифы с именами фараонов Тутмоса III и Рамсеса Великого. Камень, получивший в Лондоне название «Игла Клеопатры», стал здесь неким покровительственным идолом. Один французский путешественник писал об этом участке берега Темзы: «Атмосфера давящая; явственно чувствуется тяжесть вокруг, сверху,

тяжесть, которая гнетет, проникает в рот, в уши и как бы разлита в самом воздухе». Теннисон, взглянув на языческий монумент, установленный в языческом Лондоне, дал ему голос. «Я видел закат четырех великих империй! Я был, когда Лондона не было! И я здесь!» Из-за постоянного воздействия тумана и дыма гранит начал медленно портиться, иероглифы — блекнуть; бомба, взорвавшаяся осенью 1917 года, оставила на обелиске щербины и выемки. Но он стоит. В запечатанных в 1878 году контейнерах под ним по-прежнему покоятся мужской и женский костюмы, иллюстрированные газеты и детские игрушки, сигары и бритва; но первое по значимости для имперского монумента — это, конечно, вмурованный в его основание полный комплект монет Викторианской эпохи.

Есть и другие ассоциации, сокровенно связывающие Лондон XIX века с языческим миром. Здесь являлся людям Минотавр. Согласно языческому мифу, чудищу Лабиринта ежегодно давали семерых юношей и семерых девушек — и как пищу, и как плотскую дань. И вот викторианских борцов с бедностью и проституцией стали в печатных изданиях уподоблять Тесею, который убил чудище. Убил ли? В июле 1885 года в «Пэлл-Мэлл газетт»

один журналист сравнил «ночное жертвоприношение юных лондонских дев» с данью афинян Минотавру, и создавалось впечатление, что «лондонский Минотавр поистине ненасытен». Его описывали еще как «лондонского Минотавра, который… разгуливает в хорошем сукне и тонком белье и выглядит респектабельно, что твой епископ». Образ ужасающий, достойный пера По или Де Куинси, однако любопытным образом представление о том, что языческий монстр жив и свирепствует, связано с бытовавшим в XIX веке мнением, что город действительно стал лабиринтом почище критского. Джордж Фредерик Уоттс откликнулся на упомянутые публикации о детской проституции в Лондоне изображением рогатого чудища, получеловека-полубыка, глядящего на город поверх каменного парапета.

В «Останках язычества и иудейства» (1686) Джон Обри писал, что «южнее Тули-стрит, чуть западнее Барнаби-стрит и восточнее Боро есть улица, называемая Лабиринтом. Я думаю, что лабиринты эти мы получили от наших предков-датчан». Прошло, однако, без малого двести лет, и возникли новые лабиринты. Артур Макен говорил себе, добравшись, как он считал, до окраины города: «Наконец-то я вырвался из этой могучей

каменной пустыни!» Но не тут-то было. «Затем я сворачивал за угол, и передо мной внезапно вырастали ряды грубых краснокирпичных домов, и становилось ясно, что я все еще в лабиринте». О лабиринте как приеме теоретик архитектуры Бернард Тшуми писал: «Его нельзя ни полностью увидеть, ни выразить. Ты к нему приговорен — он не дает тебе выйти и взглянуть на целое». Таков Лондон. Де Куинси, описывая поиски юной проститутки Энн, с которой он подружился, говорит, что оба они движутся «сквозь исполинские лондонские лабиринты, порой оказываясь, возможно, всего в нескольких шагах друг от друга; преграда не шире лондонской улицы оборачивается под конец вечной разлукой!» Вот он, ужас города. Он слеп к человеческим нуждам и привязанностям, его топография груба и почти безумна в своей жестокости. Тот факт, что юная девушка почти неизбежно будет здесь вовлечена в проституцию, в очередной раз рождает представление о живущем в центре лабиринта чудище.

Для Де Куинси Оксфорд-стрит состоит из «нескончаемых террас» и «бесчисленных стонов». Лондонские улицы дразнят и приводят в смятение. О Сити писали, что «в этом переплетении улиц приезжий мигом заблудится»,

и старинный городской центр действительно изобиловал диковинными извилистыми путями, глухими закоулками и потайными двориками. Г. Дж. Уэллс замечает, что если бы не кебы, то «в скором времени все население Лондона безнадежно и навеки заплутало бы — настолько обширен и непостижим в своей хитроумной сложности этот громадный город». Любопытный и выразительный образ — население, заблудившееся в своем родном городе, точно проглоченное улицами и скоплением камня. Роберту Саути, писавшему в начале XIX века, представилась сходная картина: «Вполне знать этот бесконечный лабиринт улиц нет никакой возможности; и легко предположить, что живущие в одном конце его о другом не ведают ничего или почти ничего». Воображение рисует лабиринт, который постоянно ширится, бесконечно распространяется вовне. На картах Англии он представлен медленно, но неостановимо расползающимся темным пятном.

Глава 63
Если бы только не дома в промежутке

Персонажи многих художественных произведений XIX века, стоя на возвышенном месте Лондона — например, на Примроуз-хилле или на Фиш-стрит-хилле, — умолкают, пораженные бескрайностью городской панорамы. Маколей приобрел славу человека, прошедшего по каждой из лондонских улиц, но в 1859 году, когда он умер, уже было ясно, что вряд ли кто-нибудь сможет повторить этот пешеходный подвиг. Для коренного лондонца это было источником тревоги. Он никогда не сможет узнать свой город досконально; ему придется мириться с существованием и безостановочным ростом неизвестного Лондона. Этот город можно изобразить на карте, но его нельзя представить себе целиком. Его приходится брать на веру — разум отступает перед его огромностью.

В XIX веке он стал так обширен, что Дональд Олсен в книге «Рост Лондона в Викторианскую эпоху» счел возможным сказать: «Большая часть Лондона, который мы сейчас видим, принадле-

жит Викторианской эпохе либо самими зданиями, либо планировкой, либо, по меньшей мере, общей мыслью». Какова же она, эта общая мысль? В журнале «Билдинг ньюс» за 1858 год говорится: «Долг архитектуры нашей — запечатлеть в камне наш характер». Великая перестройка и расширение сопровождались столь же великим уничтожением прошлого; это тоже входило в викторианский «характер». В ходе благоустройства с лица земли исчезали «старинные лавки и жилые дома с островерхими крышами, причудливые таверны, внутренние дворики с галереями, церкви и своеобычные улицы — живые свидетельства о жизни в былые века». Как церковь уступала бизнесу, так и узкие улочки гибли под натиском все более широких магистралей, обстроенных новыми домами; над городом вырастали громадные отели, коммерческие здания и многоквартирные дома, красиво отделанные известняком, полированным кирпичом или керамикой. Через столицу были проложены Шафтсбери-авеню, Нортамберленд-авеню, Холборнский виадук, Куин-Виктория-стрит, Чаринг-кросс-роуд, так что в 1873 году один репортер мог констатировать, что «старый Лондон… Лондон нашей юности… уступает место новому городу, который точно

прорастает сквозь него». Возникало приводящее в оторопь ощущение, о котором писали многие: что неотвратимо, как призрак из тумана, появляется некий чужой город. И призрак этот преображал все, к чему прикасался. Порыв к созданию исполинского Лондона с широкими улицами, с громадными памятниками, с новыми музейными и судебными зданиями, с новыми крупными артериями, связывающими разные части столицы, означал хаос сноса и реконструкции, когда целые районы становились огороженными строительными площадками, где работала тяжелая техника. Через долину Флита был перекинут Холборнский виадук, соединивший Холборн-серкус с Ньюгейт-стрит; грандиозная набережная Виктории изменила облик северного берега Темзы и продолжилась в самое сердце Сити улицей Куин-Виктория-стрит; Виктория-стрит преобразила весь Вестминстер, а Шафтсбери-авеню и Чаринг-кросс-роуд сотворили Вест-энд в привычном для нас понимании. Население самого Сити постоянно уменьшалось: банкиры и коммерсанты переезжали в Кенсингтон и Белгрейвию, и в конце концов Сити превратился в одну большую контору. «Этот чудовищный Лондон поистине стал новым городом, — писал в 1888 году Чарлз

Элиот Паскоу, — новым во всем, что касается его жизни, его улиц и социальных условий, в которых существуют миллионы жителей, чьи манеры, привычки, занятия и даже развлечения претерпели за последние полвека коренную перемену, как и сам великий город». Это свойство Лондона XIX век обнаружил со всей ясностью: город как таковой изменяет, к лучшему или к худшему, своих обитателей и активно вторгается в их жизни. Отсюда, конечно, ощущение гнета или несвободы.

Многие, однако, испытывали по поводу стремительного роста города искренний восторг: на земле создавалось нечто небывалое. Где одни видели лишь бедность и обездоленность, другим представали разум и деловитость; где одни находили сплошное убожество и уродство, другие говорили о благах торговли и коммерции. Лондон был уже так велик, что едва ли не любому высказанному о нем мнению можно было найти подтверждение. Он стал предвестником потребительского общества. Он воплощал в себе энергию, рвение и изобретательность. Но с другой стороны, он был «исполинским наростом» — чудовищной опухолью, наполненной «горькими слезами обездоленных Лондона».

Громадность его, таким образом, проявлялась, помимо прочего, в том, что он заключал в себе все. Поднявшись над Лондоном на воздушном шаре, Генри Мейхью увидел «необозримую кирпичную массу церквей и больниц, банков и тюрем, дворцов и работных домов, доков и приютов для нищих», которые «слились в одно огромное черное пятно… в простую мусорную кучу», содержавшую в себе «пороки, алчность и низменную хитрость», но также и «благородные стремления и человеческий героизм». Однако в такой необъятной, вечно растущей столице «пороки» и «героизм» могут показаться малозначащими; самим размером своим Лондон творит безразличие. У человека восприимчивого — такого, например, как Генри Джеймс — это могло породить депрессию или чувство отчуждения. «Неизменно вплоть до нынешнего времени, — писал он сестре в 1869 году, — на меня давило ощущение громадности Лондона, его невообразимой величины, давило так, что мой парализованный разум отказывался воспринимать частности… Город сидит на тебе, висит над тобой, топчет тебя». Это еще одно проявление его невообразимого размера: исполинским бременем он гнетет всякую индивидуальную жизнь,

всякий отдельный разум. Дело даже не столько в том, что горожане в телесном смысле казались себе лилипутами на фоне огромных зданий и сложных механизмов викторианского Лондона, сколько в самих масштабах города, непомерных для его жителей. Человек не в состоянии был запомнить городскую карту викторианской поры, так тесно наполненную улицами, что их трудно было даже выделить взглядом. Люди чувствовали бессилие, переходившее в ужас. Неохватность подавляла, приводила в отчаяние — но она же порой высвобождала энергию.

Дизраэли, отметив «безграничность» как неповторимое свойство Лондона, заключил при этом, что она делает его «чрезвычайно однообразным». Еще один парадокс парадоксального города. Размер как таковой мог рождать благоговейный страх и восхищение, а мог — ощущение скуки и монотонности. У Дизраэли сложился образ протянувшихся во всех направлениях «тоскливых, тусклых и скучных улиц», образ Лондона, который «угнетает своей обширностью» и своей одинаковостью. Это был самый большой город на свете — и в то же время самый безликий, распространявший свою скуку во нее стороны.

Одной из особенностей лондонских лиц было

выражение усталости. Сама дорога домой или из дому была очень утомительна — настолько разросся город. Лондонец возвращался с работы изнемогший, погасший, полумертвый. Лондон использует своих горожан вовсю; подобно суккубу[129], он заряжается их силой. Иных, однако, то, что Генри Джеймс назвал «тупой огромностью», приводило в восторг. Представление Дизраэли о необъятном единообразии могло, так сказать, изменить знак: отсутствие границ могло означать, что город заключает в себе все, что он открывает взору мириады очертаний, дарит зрителю бесконечное изобилие сцен и персонажей.

«Прибыв в этот великий город, — писал один приезжий из Африки, — я смотрел туда и смотрел сюда; ни тебе начала, ни конца». Не переставая дивиться, он мог бы пройти через Кеннингтон и Камберуэлл, через Хэкни и Бетнал-грин, через Стоук-Ньюингтон и Хайбери, через Челси, Найтсбридж и Кенсингтон. За 1760–1835 годы было построено столько же, сколько за предыдущие двести лет. К 1835 году улицы и террасы достигли Виктории, Эджуэра, Сити-роуд, Лаймхауса, Розерхайта и Ламбета. За последующие шестна-

[129] Примечания: 129

Суккуб — по средневековому поверью, женщина-демон, стремящаяся вступить в половые сношения с мужчиной, когда он спит.

дцать лет город захватил Белгрейвию, Хокстон, Поплар, Дептфорд, Уолуорт, Бетнал-грин, Боуроуд и Сент-Панкрас. К 1872 году, расширяясь с экспоненциальным ускорением, он вобрал в себя Уолтем-грин, Кенсал-грин, Хаммерсмит, Хайгейт, Финсбери-парк, Клаптон, Хэкни, Нью-кросс, Олд-Форд, Блэкхит, Пекем, Норвуд, Стритем и Тутинг. Весь этот рост и слияние происходили вне какого-либо общественного или административного контроля. Застройка больших и малых улиц не планировалась никаким парламентом, никаким центральным органом; вот почему развитие города часто сравнивали с неким безжалостным инстинктивным процессом естественного роста. Добравшись до очередной деревеньки или городка, столица колонизировала этот населенный пункт, делала его частью себя, но зачастую оставляла его топографию неизменной в основе своей. В нем, ставшем теперь Лондоном, сохранялись улицы и здания старых времен. Прежняя структура поглощенных местечек угадывается по сохранившимся церквам, по бывшим рыночным площадям и лужайкам «общего пользования» посреди деревень; их названия продолжают жить на схеме лондонского метро.

Часто говорили, что вся Англия сделалась Лон-

доном, но некоторые, напротив, считали, что лондонцы превратились в особую нацию со своим языком и обычаями. А для иных Лондон был подобием всей нашей планеты — «воплощением шара земного», как выразился один романист XIX столетия. Проявлением его громадности стало своего рода гравитационное притяжение, создававшее «силовые линии», о которых писал Томас Де Куинси в эссе «Лондонская нация».

Здесь, где все колоссально, обычное человеческое существование становится неинтересным и маловажным. «Всякого, кто впервые окажется предоставлен самому себе на лондонских улицах, доселе ему незнакомых, — продолжает Де Куинси, — непременно охватят печаль и оцепенение, а может быть, и ужас, рожденные неизбежным в его положении чувством заброшенности и полного одиночества». На Де Куинси никто не обращал внимания; он был невидим и неслышим. Поток спешащих мимо людей, поглощенных стремлением к своим неведомым целям, обдумывающих свои неотложные дела, казался ему «маскарадом маньяков», «парадом призраков». На фоне незыблемых каменных громад горожане были подобны быстро сменяющим друг друга привидениям. Размер Лондона и возраст его

таковы, что все жители кажутся в нем лишь временными гостями. В лондонской необъятности всякий отдельный человек становится чем-то несущественным и незамечаемым — положение, помимо прочего, выматывающее, которое служит еще одним объяснением усталости и апатии, написанных на многих лондонских лицах тех лет. Если город постоянно напоминает тебе, что одна человеческая жизнь мало чего стоит, что она лишь слагаемое общей суммы, у тебя может возникнуть ощущение тщеты.

Жить в городе — значит чувствовать границы своего бытия. На многих изображениях уличных сцен, оставшихся от викторианской поры, горожане кажутся одинокими и покинутыми. Опустив головы, они тащатся по многолюдным авеню; изолированные, они терпеливо несут каждый свою ношу. Здесь заключен очередной парадокс викторианского Лондона: масса видится полной энергии и жизненной силы, а преобладающее настроение отдельно взятых людей — тревога и уныние.

«Что можно назвать центром Лондона в каком бы то ни было смысле?» — задался вопросом Де Куинси, и ответ, разумеется, таков, что никакого центра у города нет. Или, скорее, что центр у него

всюду. Где дома — там и Лондон. Стритем, Хайгейт, Нью-кросс принадлежали Лондону с такой же неопределимой бесспорностью, как Чипсайд или Стрэнд. Они составили часть сверкающего и зловонного города, который ночами грезил о грандиозности, а унылый день встречал дикой чащобой крыш и доходных домов. Не всюду была устойчивость, не всюду царила величавость. Это еще один аспект непрерывно разбухавшего города: были в нем районы, где рост проявлялся очень слабо. Классы и подклассы общества четко обособлялись друг от друга, расселяясь по своим зонам; к примеру, разница между рабочим Ламбетом и изысканным Камберуэллом (оба района — к югу от Темзы) была огромна. Существовали, однако, места менее определенные по своей природе, где шансы пойти вверх или вниз находились в шатком равновесии. Таким районом был, например, Пимлико, временами модный и респектабельный, но вечно балансировавший на грани бедности. Здесь проявилась общая нестабильность, присущая тогдашнему лондонскому среднему классу: пьянство или безработица запросто могли отправить человека на дно, и сегодняшняя натужная респектабельность через год могла смениться нищетой. Чем станет

эта новая терраса на Уолфорд-роуд — пристанищем честолюбивых служащих из Сити или шеренгой жилищ, сдаваемых внаймы беднякам? Такой молчаливый вопрос витал вокруг многих лондонских новостроек.

Выражением огромности были и бескрайние толпы. Не зря городские романы XIX века полны случайных встреч и знакомств, внезапных взглядов и брошенных мимоходом фраз, того, что Г. Дж. Уэллс называл «великим таинственным движением непостижимых существ». Приезжие боялись лондонских перекрестков, где само количество и скорость пешеходов создавали «водовороты». «Лондонец толкнет тебя на улице, — писал один немецкий журналист, — и даже не подумает попросить прощения; он так врежется в тебя на бегу, что ты завертишься волчком, а сам и не обернется посмотреть, как ты себя чувствуешь после удара». Рабочие шли в Сити уже не только из Излингтона и Пентонвилла, но и из Дептфорда, Бермондси, Хокстона и Хэкни. Существует оценка, согласно которой в 1850-е годы в Сити ежедневно приходило пешком 200 000 человек. Как пишет Рой Портер в книге «Лондон: история общества», «непрерывно шло перемещение и переселение — ничто ни секунды не стояло

на месте, постоянна была только сама изменчивость». Быть вовлеченным в вечный процесс роста и перемен ради роста и перемен, быть уверенным только в неустойчивости всего вокруг — это может привести человека в смятение.

Однако город так быстро и безостановочно расширялся, что пройти его весь пешком стало невозможно; по мере его роста возникали разнообразные средства сообщения, помогавшие одолеть его громадность. Самым примечательным проводником новизны стала железная дорога. Лондон XIX века, с которым и без того происходили великие изменения, изменился еще больше вследствие постройки в 1837 году вокзала Юстон, за которым последовали вокзалы Ватерлоо, Кингс-кросс, Паддингтон, Виктория, Блэкфрайарс, Чаринг-кросс, Сент-Панкрас и Ливерпуль-стрит. Целая железнодорожная сеть, которая спустя почти 150 лет еще действует, была наложена на столицу всего за двадцать пять лет — с 1852 по 1877 год. Сами вокзальные здания стали дворцами, воздвигнутыми во славу викторианской изобретательности обществом, чьей навязчивой идеей были движение и скорость. Одним из последствий было то, что Лондон поистине стал центром нации, местом, куда на-

прямик вели все энергетические линии страны. Наряду с электротелеграфом железные дороги символизировали и утверждали верховенство Лондона. В мире, которому «железнодорожное время» навязало эталон всеобщей спешки, они стали великим коммерческим и коммуникационным средством.

Особенно сильно воздействие железных дорог чувствовалось поблизости от столицы: в северных и южных предместьях были проложены пригородные ветки. К 1890-м годам возникло железнодорожное сообщение между Уиллсденом и Уолтемстоу, между Долстоном и Брод-стрит, между Ричмондом и Клэпемом, между Нью-кроссом и вокзалом Лондон-бридж; вся периферия города неотвратимо стягивалась к центру посредством характерных каменных аркад — городских железнодорожных виадуков по обе стороны от Темзы.

В 1838 году, когда Уильям Пауэлл Фрит выставил свою картину «Железнодорожный вокзал», изображавшую вокзал Паддингтон, пришлось установить перила, чтобы защитить полотно от восторженных зрительских масс; толпу восхищала толпа, изображенная на холсте и передававшая весь гигантский размах грандиозного

железнодорожного предприятия. Лондонцам XIX века нравилось смотреть на себя и на дела рук человеческих, совершенные ради них, горожан. Лондон и вправду обновился — по крайней мере восприятие городского бытия стало иным. Каким-то образом громадная, тяжкая городская масса была поставлена под контроль; сдерживать ее, прояснять ее в пространственно-временном отношении, направлять ее пульсирующую жизнь в некое русло помогали, помимо прочего, новые транспортные линии. «Поездка от Воксхолла или Чаринг-кросса до Каннон-стрит, — писал Бланшар Джерролд, — дарит человеку созерцательного склада поразительные картины лондонской жизни. Он попадает за кулисы беднейших частей города; ему видны необозримые цепочки примыкающих друг к другу задних двориков с женщинами и детьми». Сделавшись видимым, Лондон стал поэтому внятен. Железные дороги породили к тому же настоящую манию, лихорадку. В Сити акции конкурирующих железнодорожных компаний росли как на дрожжах. К 1849 году парламент дал согласие на сооружение 1071 железнодорожной линии, девятнадцать из которых были проложены в самом Лондоне, и можно сказать, что идея желез-

нодорожного сообщения поставила на дыбы всю страну. Железная дорога смогла даже пересоздать Лондон по своему образу и подобию: расчистка места для путей потребовала сноса тысяч домов, и было подсчитано, что переселению при этом подверглось 100 000 человек.

Ввод в действие новой железнодорожной станции имел для района и положительные, и отрицательные последствия. Более старые пригородные зоны — такие, как Фулем и Брикстон, — становились доступны для новой категории людей, работающих в центре, которые раньше не могли жить на таком расстоянии от места службы. Жители Сити потянулись в пригороды, где для них начали строить маленькие или дешевые дома. Рост железнодорожной системы фактически породил ряд новых пригородов, а парламентский акт 1883 года о дешевых поездках существенно ускорил исход беднейших горожан из старых доходных домов в новые «железнодорожные предместья» — в частности, в Уолтемстоу и Вест-Хем. Такие пригородные места, как Килберн и Уиллсден, оказались наводнены новым населением, что имело следствием унылую монотонность террасной застройки, сохранившейся и по сей день; в двух последних районах обосновались

колонии землекопов, которые сами участвовали в строительстве новых железных дорог.

Но железная дорога была в столице отнюдь не единственным видом транспорта; было подсчитано, что в 1897 году через место встречи Чипсайда и Ньюгейта «в рабочие часы проезжало в среднем двадцать три колесных средства в минуту». Стоял великий шум, подобный реву Ниагары, — горожане тонули в нем. Громадная движущаяся масса состояла из омнибусов, хэнсомов, повозок, трамваев, верховых, первых автомобилей, брумов, автобусов, такси и викторий[130], которые пытались маневрировать на запруженных мостовых среди обступавшего их гранита. Поломка фургона создавала за ним длинный хвост экипажей. Телега, карета, подвода и омнибус могли тянуться неспешной вереницей, пропуская вперед более юркие кебы. На старых лондонских кинолентах видны мальчики, которые, шныряя среди экипажей, подбирают конский помет. Тогдашним пешеходам для вылазок на проезжую часть нужно было столько же дерзости и решимости, как теперешним. В фильмах и на фотографиях улица пронизана неописуемой хаотической энергией;

[130] Примечания: 130
Хэнсом, брум, виктория — различные типы конных экипажей.

она кажется то ли бактерией, то ли целым мирозданием — до того инстинктивны ее движения.

Первые омнибусы появились на улицах Лондона в 1829 году, и двадцать пять лет спустя их уже было около трех тысяч; за день каждый перевозил примерно триста пассажиров. Картина 1845 года кисти Джеймса Полларда под названием «Уличная сцена с двумя омнибусами» дает живое представление о транспорте тех лет. Каждый из двух омнибусов запряжен парой лошадей; в первом на империале позади кучера сидят восемь мужчин в цилиндрах, можно разглядеть и пассажиров, сидящих внутри. Омнибус выкрашен в зеленый цвет, надпись крупными буквами вдоль борта рекламирует его принадлежность группе «ФАВОРИТ». Сзади к шесту прикреплена доска, где написано, что омнибус курсирует между Юстоном и Челси; сбоку перечислены другие остановки. Проезд первоначально стоил от шести пенсов до шиллинга, из-за чего этот вид транспорта не был популярен среди трудового населения, однако затем вследствие жесткой конкуренции цена снизилась до одного-двух пенсов. Первым утренним рейсом ехали конторские клерки, следующим — коммер-шиты и банкиры, их работодатели; ближе к полудню на омнибус

са-нплись «леди», отправлявшиеся за покупками, и матери с детьми, которые желали «прокатиться». Вечером служащие возвращались из Сити к себе в пригороды, а в обратном направлении ехали желающие «провести вечерок» в театре или вечернем клубе.

И 1853 году один приезжий из-за границы писал, что «омнибус — пещь необходимая, лондонцу без него никак невозможно» и что «словечко „бас“[131] быстро пробивает себе дорогу в общий обиход»; он отметил приятный внешний вид этих экипажей, ярко выкрашенных и красный, зеленый или синий цвет, и жизнерадостность кондукторов и возниц. Кондуктор, когда пора было трогать, кричал: «Пошел!» — и стучал в крышу; на протяжении всей поездки он, «не умолкая», выкликал остановки: «Ба-анк! Ба-анк!»

Лондонские лошади заслуживают отдельного хвалебного упоминания: благодаря уличной выучке и «природной сообразительности» они ухитрялись на удивление резво и без происшествий двигаться по запруженным улицам. Автор воспоминаний, относящихся к концу Викторианской эпохи, писал, что «сотни лошадей»,

---

[131] Примечания: 131
Виз — усеченное отшЬиз (омнибус).

когда уличное движение приостанавливалось, «покачивали головами и выдували из ноздрей пар», а кучера обменивались громогласными приветствиями.

Из средств передвижения наиболее тесно связан с викторианским Лондоном так называемый хэнсом. Введенный в употребление в 1834 году, он представлял собой двухколесный экипаж, более удобный для седоков, чем кеб старого образца, с кучерским местом позади пассажира, а не сбоку, что обеспечивало большую приватность. В очередной раз перемена во внешнем виде транспортных средств отразила изменения в лондонской культуре. Однако если конструкция экипажа была теперь иной, то вид и поведение извозчиков остались прежними; они славились нечестностью и ехидным зубоскальством. «Если иностранец отважится кликнуть кеб, мигом подъедет не один, а полдюжины». Это наблюдение одного немца подтверждается другими сообщениями о жестокой конкуренции между кебме-нами по всей столице. Они стали покровительственными духами — или бесами — дороги. Хотя тарифы были фиксированы, они, как правило, принимались торговаться: «Сколько дадите?» Они слыли также выпивохами и любителями

затеять спор. «Вступать с кебме-ном в топографические прения можно лишь старому лондонцу, ибо публика эта не слишком стеснительна в выражениях и весьма неуступчива; дешевле всего обычно махнуть рукой и заплатить, сколько он требует». Извозчики хэнсомов были «так же дородны, несговорчивы и наглы, как их более скромные по рангу собратья» — возницы «граулеров» (четырехколесных кебов); но у первых было больше задора, и они «искуснейшим образом пробирались на легких своих экипажах сквозь невообразимые скопления фургонов и карет». Боевые, беспокойные, нахальные, любители подраться и выпить, кебмены поистине воплощали в себе дух Лондона. Они — ближайшая родня мясников и уличных торговцев, чьим занятиям тоже присуща глубинная связь с жизнью города. Все это — одна лондонская семья.

К концу XIX века в столице насчитывалось более десяти тысяч кебов разного типа, и даже новые широкие улицы с трудом вмещали могучий поток всевозможного транспорта. Иногда возникали заторы (слово «jam» — «пробка» — появилось лишь в XX веке). Поразительно тем не менее, что на протяжении столетий лондонским авеню и магистралям удавалось справляться с

постоянно растущими требованиями городского сообщения. В начале XXI века бесконечные реки легковых автомобилей, автобусов и грузовиков текут по улицам, проложенным в XVIII и XIX столетиях в расчете на совершенно иной транспорт. Город наделен способностью к тихому и незримому самовосстановлению, словно он и вправду живое существо.

ЛОНДОНСКИЕ ОТВЕРЖЕНЦЫ

Глава 64
Они с нами навеки

«Миссис Амброз понимала, что быть бедной — это, в конце концов, обычнейшая вещь, что в Лондоне живет несметное число бедных людей». Эта цитата из романа Вирджинии Вулф «По морю прочь» («The Voyage Out») выражает великую истину о XIX столетии, в котором она родилась.

Бедные всегда были неразъединимо вплетены в городскую ткань. Они подобны камням и кирпичам — Лондон покоится на них, как на фундаменте; немое страдание их не имеет границ. В средневековом городе беднейшими из бедных были старики, калеки, больные и сумасшедшие. Те, кто не мог работать и не имел поэтому реального, надежного места в структуре общества, становились отверженными. К XVI веку определились бедные районы города — такие, как восточный Смитфилд, приход Сент-Кэтрин близ Тауэра, Минт в Саутуорке. Повинуясь некоему инстинкту, неимущие скапливались вместе — их, можно сказать, манили те или иные части города, дававшие им приют. Держа лотки, торгуя

вразнос, чистя дымоходы, они принадлежали к самым низам и были, по словам Дефо, «несчастными, которые подлинно крохоборствуют и терпят нужду».

Авторы XVIII века писали о мерзких дворах и обшарпанных строениях, о «грязных беспризорных детях» и «неряшливых женщинах», о «грязных, голых, лишенных мебели» комнатах и о людях, которые не выходят из них на улицу, потому что их «одежда слишком износилась, чтобы выдержать испытание дневным светом». Те, у кого не было даже такого примитивного жилья, ночевали в пустых или заброшенных зданиях, находили приют под навесами, у входов в дома. В книге «Лондонская жизнь в XVIII веке» М. Дороти Джордж насчитывает в Лондоне к концу этого столетия «свыше двадцати тысяч несчастных разных категорий, которые поднимались поутру, не ведая, как… добудут себе дневное пропитание, а во многих случаях и где приклонят голову следующей ночью». Объяснение, которое она дает, выглядит убедительно: «общая неустойчивость, характерная для жизни и торговли того времени». Получается, что глубинная природа Лондона нагляднее и резче всего проявляется в жизни и облике беднейших его обитателей. Более бла-

гополучных горожан страх заставлял обходить неимущих стороной. Само их присутствие усугубляло болезненную нервозность и беспокойство лондонцев. Лучшее, может быть, представление о городе дает тень, которую он отбрасывает.

Эту тень можно увидеть внутри границ, проведенных на «карте бедности» Чарлза Бута (1889), где в рисунок красных и золотых полос, соответствующих зонам зажиточности и богатства, вторгаются черные и темно-синие участки — соответственно «Низший слой. Зловредные, полупреступные элементы» и «Очень бедные, перебивающиеся случайными заработками. Хроническая нужда». Карта более крупного масштаба, показывающая неблагополучные районы, содержит 134 зоны бедности, «примерно по 30 000 жителей в каждой»; здесь темно-синий цвет сгущается к берегам Темзы, а в других местах мы видим концентрические круги, где «наиболее равномерной бедности соответствует центральная часть». Все эти люди родились и выросли в Лондоне — в Паддингтоне и Пимлико, в Уайтчепеле и Уоппинге, в Баттерси и Бермондси.

Приезжие отмечали повсеместное обилие бедного люда и гораздо более высокую, чем в Риме, Берлине или Париже, степень его падения и де-

градации. В 1872 году Ипполит Тэн вспоминал «улочки, ответвляющиеся от Оксфорд-стрит, переулки, душные от зловонных телесных испарений, кучки бедных детей, облепивших грязные лестницы; скамейки у Лондонского моста, где по ночам целыми семьями люди теснятся, свесив головы и дрожа от холода… жалкая, несчастная бедность». В городе, основанном на деньгах и власти, безденежным и безвластным приходится туго. В Лондоне, как нигде больше, люди эти унижены в буквальном смысле слова, лишены всякого человеческого достоинства городом, движимым исключительно алчностью. Вот почему на лондонских улицах XIX века бедные являли «жалкое» зрелище и число их росло с ростом мощи и величины столицы.

Они составляли чуть ли не город внутри города, и такой громадной массы человеческого несчастья нельзя было не замечать. В книге «Лондон в лохмотьях», вышедшей в 1861 году, Джон Холлингсхед писал, что треть городского населения ютится «нездоровыми слоями, одни над другими, в старых домах и тесных каморках», которые, в свою очередь, расположены в «грязных, скверно застроенных тупиках, дворах и переулках». Книга пронизана нескрываемой тревогой и от-

вращением. В Лондоне, пишет миссис Кук в книге «Большие и малые улицы Лондона» (1902), «нищета странно плодовита». Страх перед бедными проистекал из представления, согласно которому они склонны плодиться и множиться до бесконечности. Миссис Кук говорит здесь о Боро, где бедность и нищета достигли таких размеров, что, казалось, охватили весь Саутуорк; но она с полным правом могла вести речь и о сотне других мест. Автор книги «Горький плач обездоленных Лондона» (1883) называет бедные районы «чумными». Эпитет выдает боязнь того, что в условиях Лондона подобная жалкая нищета и упадок могут каким-то образом оказаться заразными: по всем трущобам, где «сгрудились среди ужасов десятки тысяч людей», могут распространиться отчаяние и сознание тщетности всех усилий.

Можно было подумать, что эту плотную людскую массу порождают сами улицы. В одном газетном репортаже 1862 года упоминаются «Николс-стрит, Нью-Николс-стрит, Хаф-Николс-стрит, Тервилл-стрит с бесчисленными близлежащими глухими двориками и переулками». На мысли о вырождении наводит здесь само перечисление улиц, где «любому прохожему сразу видны наружные знаки нравственного

упадка». Получается, что в «нравственном упадке» повинны дома и улицы как таковые. Является ли город отражением своих жителей — или, наоборот, жители формируются по образу и подобию городских условий? Обитатели и обиталища превращаются, таким образом, в отдаленные метафоры друг друга, как в следующем отрывке из «Людей бездны» Джека Лондона: «Вокруг — бедность, безнадежность, уныние, грязь… Народ живет в грязи, а если кто и делает жалкие попытки поддерживать чистоту, то это выглядит и смешно и трагично… Отец, вернувшийся с работы, спрашивает на улице свою девочку, где мать, и та отвечает: „Мама в помещении“»[132]. Наблюдатели, как правило, сходились в том, что жизнь бедноты опустилась до такого уровня безнадежности и убожества, что «возникла новая раса» и, кроме того, что «в весьма значительной мере это теперь наследственное». Говорили, что в Викторианскую эпоху Лондон так переменился, что стал другим городом. Что ж, вот вам его новое население.

Это городское явление диагностировал Энгельс, который пристально к нему приглядывался. В

---

[132] Примечания: 132
Перевод В. Лимановской.

Сент-Джайлсе «грязь и ветхость не поддаются описанию… стены обваливаются, дверные косяки и оконные рамы сломаны и еле держатся…». Маркс жил в нескольких шагах оттуда — в Сохо. Таким образом, положение, сложившееся в Лондоне к середине XIX века, оказало прямое воздействие на основоположников коммунистического мировоззрения; их взгляды были, можно сказать, порождением лондонских трущоб, и те викторианские наблюдатели, которые считали, что повсеместное присутствие бедных вызовет к жизни некую великую или пугающую новую реальность, были не так уж далеки от истины. Лондонская беднота и вправду породила новую расу или класс, но в далеких от Англии странах и цивилизациях.

На Лонг-Эйкре внимание Энгельса привлекли «болезненные детские фигурки и полуголодные женщины». Признавая, что не все лондонские рабочие испытывают нужду в ее наихудших формах, он констатировал, что «каждого пролетария — каждого без исключения — может постигнуть такая судьба без всякой вины с его стороны». Бедность воспринималась как реальная, ощутимая угроза; город приводил людей в отчаяние, поскольку общих его условий было

достаточно, чтобы ввергнуть их в трущобы. Ненадежность трудоустройства была, к примеру, одной из самых серьезных причин того, что люди, если воспользоваться словом начала XIX века, broke (разорялись, буквально — «ломались») и становились нищими. Холодная зима означала, что докеры и строительные рабочие лишались работы — оказывались, по выражению того времени, turned off (выставлены, «выключены»). В эпоху, когда только и речи было что об энергии и электричестве, это означало крайнюю степень дегуманизации и деградации.

Районы, где жили неимущие, тоже «выключались», «гасились». Город до того разросся, что эти районы могли быть наглухо упрятаны в его глубинах. Энгельс цитирует пастора, утверждавшего, что никогда «не встречал такой безнадежной нищеты, какую увидел в Бетнал-грин», причем район этот совершенно незнаком другим лондонцам, которые просто-напросто сюда не заходят. Об этом «до крайности бедном приходе» в других частях Лондона «знали не больше, чем о дикарях Австралии и Южной Океании». Вновь возникает картина дикого места, но теперь упор делается на мрак и непроницаемость.

В очередной раз мы сталкиваемся с чудовищ-

ным свойством великой столицы: богатые и бедные могли жить в ней бок о бок, не замечая друг друга. Энгельс цитирует редакционную статью в «Таймс» от 12 октября 1843 года, где говорится, что «в самых что ни на есть изысканных частях богатейшего города ГОСПОДНЕЙ Земли каждую ночь и каждую зиму можно увидеть… ГОЛОД, ГРЯЗЬ И БОЛЕЗНЬ». С этой точки зрения Энгельс смотрит на все лондонское общество и заключает, что оно не является ни здоровым, ни цельным. «Это жестокое равнодушие, эта бесчувственная обособленность каждого человека, преследующего исключительно свои частные интересы, тем более отвратительны и оскорбительны, что все эти люди скопляются на небольшом пространстве».

Лондон, таким образом, перевел само человеческое бытие в новую фазу; здешняя обездоленность в буквальном смысле обездолила всех его жителей, которые в безумной горячке приобретений и трат сотворили общество «атомов». Поэтому новая раса возникает не только в трущобах Сент-Джайлса, но и по всему Лондону, где «творческие способности громадного большинства пребывают в состоянии спячки, оглушенности и бездействия». Именно в этом, заявляет Энгельс,

заключается подлинная городская бедность, которую способна искоренить только революция.

Итак, Лондон XIX века создал первое по-настоящему городское общество на земле. То, что мы сейчас воспринимаем как само собой разумеющееся, — «они пробегают один мимо другого, как будто между ними нет ничего общего», — тогда рождало недовольство. Помимо тех, кого восхищали величие и громадность викторианского города, были и такие, кто тревожился и ужасался. Здесь, на улицах Лондона, реально шла «социальная война, война всех против всех». То было предвестье будущего, раковая опухоль, которой предстояло распространиться не только по всей Англии, но в конечном счете и по всему земному шару.

Одним из величайших трудов, посвященных жизни неимущих в Лондоне конца XIX века, было и остается исследование Чарлза Бута «Жизнь и труд лондонцев» (1903); оно разрослось до семнадцати томов и выдержало три издания. Масштаб его был под стать предмету — самому городу. Монументальное творение Бута полно выразительных подробностей и проникнуто останавливающей внимание жалостью. Пристальный взгляд на лондонские жизни — вот что

придает его труду такое значение. «Последним заднюю комнату занимал вдовец, мусорщик управления городского хозяйства, который не верил ни в бога, ни в черта… В № 7 обитает возчик-инвалид. Он свалился со своей телеги и, попав ногой под колесо, сломал ее. Этажом выше живет на вспомоществование женщина — очень бедная, старая, но счастливая душой, чающая небес». По соседству ютился «известный атеист, ораторствующий под арками железной дороги. Говорит, что, если Бог есть, он должен быть чудовищем, раз допускает такие бедствия. Человек этот страдает сердечной болезнью, и врач сказал ему, что когда-нибудь посреди такого горячечного рассуждения он упадет мертвый». Вот они, постоянные обитатели Лондона. «На первом этаже живут мистер и миссис Мик. Он шляпник, занимался крашением детских головных уборов в переносном бачке. Приветливый маленький человек… В задней комнате проживает миссис Хелмот. Муж ее, в прошлом оптик, теперь помещен в Хануэлл, поскольку страдает меланхолией и проявляет наклонность к самоубийству». Здесь налицо весь диапазон человеческого опыта; приветливый шляпник и не желающий жить оптик, помещенный в сумасшедший дом, едва ли не

больше говорят нашему уму и сердцу, чем любой персонаж городской художественной литературы XIX века.

Город словно бы стал неким пустынным островом, где жители вынуждены искать дорогу ощупью. Но теплилась в нем, вопреки всему, и жизнь иного порядка. «Невозможно понять, — сказала Буту одна сестра милосердия, — как неимущим, лишенным всякой поддержки, удается сводить концы с концами, если не знать об их великой доброте друг к другу — даже между незнакомцами. Это очень многое объясняет». Ей вторит проповедник-нонконформист: «Только бедные по-настоящему делятся. Они хорошо знают, что кому нужно, и готовы прийти на помощь». Католический священник: «Доброта их к себе подобным просто поразительна». Вот вам еще один слой реальности, скрытый под всеми описаниями грязи и скверны. Глубоко пережитый опыт совместного страдания не всегда шел во вред душам неимущих. Условия жизни порой вели к отчаянию, пьянству, смерти, но была по крайней мере возможность совсем иных человеческих проявлений — доброты и щедрости к тем, кто рядом, кто попал в ловушку той же суровой и мерзкой действительности.

Бут окончил свое исследование памятными словами: «Сухие кости, разбросанные по протяженной долине, которую мы вместе перетекли, лежат перед моим читателем. Пусть же некая великая душа, владеющая более тонкой и благородной алхимией, чем моя, явится распутать спутанное, примирить очевидные противоречия, объединить намерения, сплавить и согласовать различные благотворные влияния в одно цельное божественное усилие — и оживить эти сухие кости, чтобы улицы нашего Иерусалима запели гимн радости». Это поразительное откровение. Чарлз Бут лучше, чем кто бы то ни было, понимал ужасы и нужду Лондона XIX века, и тем не менее труд свой он завершил картиной ликующего Иерусалима.

Под конец своей восемнадцатилетней работы Бут увидел, что наихудшие условия смягчены — правда, только наихудшие. Многие трущобы были снесены, и часть их прежних обитателей переселили в «типовые жилища» или в муниципальные дома, которые начали возводить на муниципальных участках. Улучшение санитарных условий и забота о городской гигиене тоже, пусть и не в самых существенных отношениях, сказались на жизни многих неимущих. И все же

— что за город без бедных?

Выпущенный в конце 1920-х годов «Новый обзор жизни и труда лондонцев» констатировал, что 8,7 % горожан продолжают жить в нужде; в других источниках, впрочем, цифра колеблется в диапазоне от 5 до 21 %. Это иллюстрирует трудности, на которые наталкивается любое обсуждение масштабов бедности: уровни нужды относительны, но что взять за точку отсчета? Депрессия 1930-х сотворила, к примеру, слой так называемых «новых бедных», и в 1934 году очередной обзор утверждал, что ниже уровня бедности живут 10 % лондонских семей. Голодать не голодали, но было недоедание; лохмотья встречались не так часто, но потрепанная, изношенная одежда — на каждом шагу. В первые десятилетия XX века происходили голодные марши и марши безработных, хотя смягчающую роль сыграли пособия по безработице и более разумное применение законодательства о помощи неимущим.

Лондон и бедность тем не менее неразлучны. Меняются только формы бедности и ее проявления. В последнем обзоре «уровней нужды» наивысшие цифры зафиксированы в Саутуорке, Ламбете, Хэкни и Тауэр-Хамлетс (ранее — в Бетнал-грин и Степни); это в точности те области,

где концентрировались неимущие в XVIII и XIX столетиях. Налицо, таким образом, преемственность нужды и неустройства, которые сгущаются вокруг значимых мест. На Олд-Никол-стрит и Тервилл-стрит ныне играют азиатские дети, и эта часть Шордича, называвшаяся «Джейго» и описанная Артуром Моррисоном в романе «Дитя Джейго» (1896), странно тиха после прежней своей пронзительно-многоголосой и ужасной жизни. Бедность теперь менее шумна и менее зловонна, чем в былых своих воплощениях, но, так или иначе, она существует — неотъемлемая часть города, принадлежащая ему на подсознательном уровне. Не было бы бедных — не было бы богатых. Подобно сопровождавшим армии XVIII века зависимым и беззащитным женщинам, неимущие сопровождают Лондон в его марше. Он сотворил их, потому что нуждался в них как в источнике дешевой и временной рабочей силы, — в итоге они стали тенью, преследующей город, куда бы он ни направился.

Глава 65
Подайте хоть малую малость

Самым очевидным олицетворением лондонской бедности был нищий люд. Как-то раз в конце XIV века двое попрошаек повздорили. «Джон Дрей лично отрицал обвинение и заявил, что в тот день и в том месте он и пресловутый Ральф сидели рядом и просили милостыню, и Джон Стоу, вестминстерский монах, дал им, проходя мимо, пенс на двоих. Ральф взял этот пенс и делиться с Дреем не захотел. Завязалась ссора, и Ральф ударил его палкой». Подобная сцена могла произойти как столетиями раньше, так и столетиями позже. Ибо где нищему быть, как не в Лондоне, полном народу и, как гласила молва, страшно денежном?

Нищенствующие монахи или отшельники, бормочущие в каменных нишах у всех главных городских ворот; калеки на перекрестках; заключенные-попрошайки, взывающие к прохожим из-за решеток; старухи у церквей; дети на улицах. Нищих, молодых и старых, можно увидеть на некоторых больших лондонских улицах и

в начале XXI века. Иные, завернутые в одеяла, лежат съежившись под дверными навесами и, обращая к прохожим просительные лица, кричат обычное свое: «Подайте мелочишку». Те, что постарше, — обычно бродяги и пьяницы, живущие совершенно вне времени; они до жути похожи на своих собратьев из более ранних эпох лондонской истории.

Сэр Томас Мор вспоминал о толпах нищих, облеплявших ворота лондонских монастырей; в пору позднего Средневековья после общих трапез в больших домах или церковных учреждениях слуги обычно собирали остатки хлеба и мяса и раздавали попрошайкам, ждавшим у дверей. В одном из англоязычных произведений Мор писал: «Однажды в Вестминстере у места раздачи я увидал так много бедного люда и так они напирали, что лучше бы я поехал другой дорогой». Но, хоть он и предпочел бы другой путь, на котором был бы избавлен от тесноты и вони, он спешился и заговорил с одним из нищих. Похвалив вестминстерских монахов за щедрость, Мор услышал в ответ, что хвалить их не за что: земли были-де подарены им добрыми принцами. Нищие, при всей глубине их падения, не были лишены чувства правой обиды и своего рода нравственной

зоркости. Положение лондонского нищего — положение бесправного просителя, но во все эпохи к этому неизменно добавлялись горечь или гнев в отношении условий, сделавших его тем, кем он стал. Горожане давали попрошайкам милостыню не только из жалости, но и из смущения.

В Средние века уже были нищие-обманщики, симулировавшие увечье или болезнь, но постыдным это ремесло еще не стало. Имена и прозвания некоторых дошли до нас из XII столетия: Джордж Зеленый, Роберт Дьявол, Уильям Длиннобородый. Прослывший в правление Генриха II королем лондонских нищих, Уильям Длиннобородый стал зачинщиком беспорядков на Чипсайде, после чего нашел убежище в церкви Сент-Мэри-ле-Боу. В конце концов судебная стража его оттуда выкурила; так или иначе, он дал один из ранних примеров отверженца, гордого своей обездоленностью. Это были люди, повенчанные с бедностью и изоляцией и ставшие поэтому символом человеческой неприкаянности. «Разве не явились мы все в этот мир нищими из нищих без единого лоскута на теле? — писал Томас Деккер в начале XVII века. — И разве не нищими покидаем мы этот мир, прикрытые лишь жалкой простыней? И не ходим ли мы туда и сюда по свету как

нищие, набросив на себя жалкие покрывала?» Если Бог создал человека по Своему образу и подобию, то какое диковинное сломленное божество являет себя посредством этих мужчин и женщин? Нищие рождали в прохожих суеверный и даже почтительный страх.

В XVI веке возникли нищие «братства», носившие такие названия, как «бедовые», «удачники», «четвертуны», «бравые ребята». Попрошайки скапливались в Уайтфрайарс, в Мурдиче, в Хокстоне, на Линкольнс-инн-филдс и на паперти церкви Сент-Бартоломью-де-Грейт; последние два места бродяги используют и сейчас. Все они курили трубки, бывшие своего рода эмблемами их состояния, и славились потасовками и пьянством. В «Дороге к странноприимному дому» (1531) Роберт Копленд изображает попрошаек, заунывно поющих на восточных подступах к собору Св. Павла, и приводит просьбу одного из них «превратить этот фартинг в полпенса ради пяти блаженств Девы нашей Марии». Томас Харман опубликовал рассказы о лондонских нищих в виде брошюры, где упор был сделан на их удивительных особенностях и «подвигах». О некоем Ричарде Хорвуде, лондонце, говорится: «На восьмом десятке лет разгрызал шестипенсовый

гвоздь напополам, а пьянчуга был препохабнейший». Весной 1545 года Генрих VIII выпустил воззвание, осуждающее бродяг и нищих, которые группируются «на южном берегу реки и и других подобных скверных местах». Их надлежало сечь, или сжигать, или сажать в тюрьму на хлеб и воду. Но притока их в Лондон не могло остановить ничто. «Огораживания» в сельской местности во множестве плодили бездомных и безработных, и число потенциальных возмутителей спокойствия возрастало за счет солдат, возвратившихся после зарубежных кампаний. К ним добавлялись свои лондонские безработные и неспособные трудиться — «безначальственный люд», как тогда говорили, подчеркивая тот факт, что они не вписывались в общественную среду, основанную на иерархии. И 1569 году несколько тысяч «безначальственных» было отправлено и тюрьмы, и в том же году горожане поставили у всех ворот стражу, не пропускавшую в город нищих. Обыскивались все барки, приходившие из Грейвсенда и других речных портов. Возможно, именно тогда возник стишок:

Слышишь, слышишь лай собачий?
В город нищие идут!

В городе, славившемся богатством, больше всего боялись восстания бедных. В 1581 году, когда Елизавета I, направляясь к Излингтонским полям, проезжала заставу у ворот Олдерсгейт, ее окружила толпа здоровенных нищих, которые «доставили королеве немалое беспокойство». В тот же вечер судья Флитвуд прочесал поля и арестовал семьдесят четыре человека. Восемь лет спустя банда из пятисот нищих едва не разграбила Варфоломеевскую ярмарку; в тот же период они устраивали свою ярмарку — Даррест-фэр, — где сбывались краденые вещи.

К 1600 году, согласно оценкам, в Лондоне обитало 12 000 нищих — большая армия недовольных, которые чередовали мольбы с угрозами. Одним из средств воздействия был «хнычущий хор» под аккомпанемент деревянных трещоток:

Одну денежку малую
Всем нам, сирым, убогим,
Слепеньким, хроменьким!
Господа милосердного ради!
Душевно молим!
Подайте!

Результат достигался благодаря устрашающему

виду певцов и жалобным словам песен.

В городе, однако, находится место многим обличьям и многим маскам. В середине XVII века Томас Харман описал одного бродягу, Дженингса, просившего милостыню около Темпла. «Грудь его была оголена, голова покрыта грязной и мерзкой тряпкой, намеренно вырезанной так, что оставалась лишь узкая дырка для лица… все лицо его ниже глаз было в крови, как будто он только что упал и испытывает муки мученические, а вся куртка была вымазана грязью… зрелище воистину чудовищное и ужасное». Заподозрив неладное, Харман нанял двоих подростков, чтобы последили за ним; они обнаружили, что, окончив свой рабочий день у Темпла, он уходит в поля за Клементс-инн, где «подновляет кровавые пятна с помощью пузыря, наполненного овечьей кровью, и размазывает по рукам и ногам свежую грязь». Задержав его, приходская стража нашла при нем крупную сумму денег; его насильно вымыли, и «он оказался красавцем и крепышом со светлой бородой и необычайно белой кожей». Дар маскировки хорошо послужил ему в городе, падком на зрелища и склонном обольщаться наружностью; и как, не будучи актером до мозга костей, смог бы он привлечь к себе внимание в стремительном

людском потоке?

Появились нищие, симулировавшие душевную болезнь, — их называли «авраамами ряженых». Они стояли на перекрестках и показывали прохожим руки, где был выведен знак Бедлама — ER. «Господин хороший, подайте милостыньку бедняге, который пролежал в Бедламе за Бишопсгейтом три года четыре месяца и девять дней. Уделите ему от вашего серебришка, чтобы он расквитаться мог за все, что там задолжал». Демонстрируя безумие, они загоняли в себя иглы и гвозди; изрыгали проклятия или вели несвязные речи, именуя себя «Томами-бедолагами». Их можно было узнать по одежде — кожаной куртке с болтающимися рукавами — и по свалявшимся волосам; к концам своих ясеневых палок они привязывали кусочки бекона. Все это, опять-таки, означает, что их бредовое попурри стало номером сценической программы, что, околачиваясь на лондонских улицах, они неотъемлемо слились с городским театром страдания. Однако попадались в их среде и настоящие душевнобольные.

Высказывалось предположение, что нищие братства в XVI и начале XVII столетия были вполне правильными организациями с ритуалами инициации, с церемониями и процедурой.

Каждому вступающему в сообщество давалась кличка — скажем, Бычина, Тертая Мадам, Большой Констебль — и прочитывался список нищенских заповедей. В их числе были такие: «Делись всякой добычей» и «Не выдавай тайну жаргона». Жаргон этот, впрочем, не был вовсе уж неизвестен лондонцам, включившим некоторые его слова в диалект кокни; тем не менее он был уникален. Вобравший в себя разнообразные словечки из валлийского, ирландского, голландского языков, из кокни и латыни, он в определенном смысле был международной «феней». В нищенском говоре pannass означало «хлеб», patrico — «священник», solomon — «алтарь», prat — «задница». Словечко chete (ныне — cheat, «обман») означало просто «вещь» и могло применяться к чему угодно: crashing cheates («грызуны») — «зубы», grunting chetes («хрюкалки») — «свиньи», lullaby chetes (lullaby — «колыбельная») — «дети». Жизнь как таковая, можно сказать, была chete. Нищенский жаргон «был якобы придуман около 1530 года, а изобретателя его повесили».

В брошюрах и книгах о нищей братии фигурируют яркие типы — ключевые, символические личности. Была, например, Лондонская Мэг из Вестминстера, подвизавшаяся в начале XVII века

в трактире «Орел». Очень скоро она прославилась как скупщица краденого и «укрывательница бродяг». Она была первой из «бедовых баб» — буйных и устрашающих женщин, что отдавали должное и бродяжничеству, и воровству, и бандитизму. Отличаясь «быстрой смекалкой, незлым нравом и щедрым сердцем, она легко впадала в гнев и легко отходила». Больше всего ей нравилось бродить по ночам в поисках приключений по лондонским улицам в мужском платье; она была из тех чисто городских персонажей, которых город до краев наполняет своим возбуждением, своим хмельным духом. Переодевание лишний раз подчеркивает грубую театральность ее поведения в грубой и театральной обстановке. В ее жизнеописании, однако, отчетливо виден уклон, выпячивающий преступные дела в противоположность нищенству. Историки вопроса, подпадая под влияние брошюр того времени, зачастую валят бродяг и разбойников в одну кучу и усугубляют тем самым изначальное заблуждение, состоявшее в том, что всякого нищего считали потенциальным преступником.

О том, что не все нищие были злодеями, говорят, в частности, дошедшие до нас приходские книги. «Бедной женщине с детьми, чтоб не помер-

ли с голоду… На саван ребенку Хантера, слепого нищего… Дано несчастному неимущему — забыл, как звать… Дочке мистера Хибба с ребенком на пропитание… Уильяму Бернету из подвала к Рэгд-Стаф-ярде, бедному и шибко хворому». В статистическом плане, как и в плане личного восприятия, бедность и нищенство в Лондоне «достигли критического уровня» в 1690-е годы. Нищие заполонили улицы. Это были уже не «братства», группирующиеся в Колд-Харборе, Саутуорке или Уайтфрайарс, а нечто более серьезное и более отчаянное. В «Трактате о торговле и ремесле», изданном в XVII веке, отмечается, что бедные пребывают «в плачевнейшем и ужаснейшем положении — одни голодают, лишенные даже хлеба, другие страдают от холода и наготы».

Выражалось мнение, что развитие промышленности в XVIII веке существенно уменьшило количество нищих; в числе конкретных факторов, вступивших в действие во второй половине столетия, называют также перемены в системе приходских благотворительных учреждений и уменьшение потребления джина. Убедительных доказательств, однако, нет. Скорее можно говорить об изменении характера самого нищенства. В XVI и начале XVII века нищие, как правило, об-

разовывали артели, или группы, или поселения. Ныне же возникла фигура одинокого нищего, литературным примером которого служит Молль Флендерс. «Я оделась нищенкой, в грубейшее и презреннейшее тряпье, какое только смогла добыть, и принялась расхаживать, заглядывая в каждую дверь и в каждое окно». Но Молль, как рано или поздно любой нищий, должна усвоить урок: «Платье мое смущало всех и страшило; казалось, все смотрят на меня — боятся, что я подойду и что-нибудь заберу, боятся подойти и что-нибудь получить». Что получить? Порцию брани? Плевок? Или — скорее всего — болезнь? Нищие были исчадиями городских глубин и городской грязи.

Итак, хотя в начале XIX века, особенно после наполеоновских войн, в столице все еще появлялись сообщения о нищенских группировках или бандах, в целом фокус внимания переместился на единичную фигуру нищего. Налицо странное обратное движение мысли в эпоху, когда из общей пестроты Лондона XVIII века начали вычленяться «классы» и когда стали много говорить о «системах» города; индивидуального нищего процесс этот, напротив, сделал человеком более изолированным и в буквальном смысле слова

деклассированным.

В 1817 году Дж. Т. Смит опубликовал книгу «Все о бродягах, или Рассказы о нищих с лондонских улиц с портретами самых примечательных, выполненными с натуры». Главное внимание в ней было уделено позам и речениям слепых и увечных. Примером может служить «Безногий нищий еврей с Петтикоут-лейн» — древний старик в ветхой шляпе, сидящий на деревянной тележке. За ним стена, где нарисована ухмыляющаяся фигура — не то человек, не то скелет. Столетием раньше бродяги ходили толпами, что мешало присматриваться к ним и изображать их по отдельности.

В 1821 году французский художник Теодор Жерико награвировал дне лондонские сцены уличной бедности и нищенства; годом раньше его знаменитая картина «Плот „Медузы“» была выставлена в Египетском зале близ Пиккадилли, ныне же вся сострадательная нежность его натуры выразилась в гравюрах «Имейте жалость к несчастному старику, которого дрожащие ноги привели к вашему порогу» и «Параличная». На первой мы видим беспомощного старого нищего, привалившегося к стене; с ним собака на поводке из старого каната. Собака (bufe — на нищенском

жаргоне) во все времена была обычной спутницей лондонского отверженного; ее присутствие не только говорит о страннической жизни, но и служит приметой одиночества, обделенности человеческой дружбой. В мире нужды собака нищему единственный друг; возникают, кроме того, ассоциации со слепотой и общей телесной немощью. На второй гравюре Жерико молодая мать и ребенок смотрят на парализованную старуху с жалостью и опаской. Опять-таки подчеркивается ее одиночество, не имеющее ничего общего с развеселой солидарностью «нищих братств». Есть и другой, физический аспект этой изоляции: никто не хочет подходить слишком близко. Отпугивает зараза — причем зараза не только болезнетворная. А вдруг и я стану как ты?

Письменные свидетельства об уличной жизни XIX века полны воспоминаний и наблюдений, связанных с этими призраками. «Возможно, иные из моих читателей, — писал Мейхью, — припомнят жалкого, согбенного юношу, стоявшего над надписью „Я ГОЛОДАЮ“, выведенной мелом на тротуаре на суррейской стороне моста Ватерлоо? Он лежал теперь, беспомощно съежившись, полумертвый от холода и голода, и сквозь прорехи в его тонком хлопчатобумажном пиджаке про-

свечивали голые шея и плечи; ни обуви, ни чулок на нем не было». Автор «Больших и малых улиц Лондона» вспоминает старика, у которого был «свой» угол на Оксфорд-стрит: «Слабый, жалкий, иссохший, с пустой черной сумкой, которую он просительно ко мне протягивал. Содержимого ее, если оно было, я ни разу не видел, но я часто давал ему пенс — просто из-за того, что жалок он был невыразимо. Теперь он исчез, и место его пустует. Но он преследует меня в сновидениях». Один нищий калека облюбовал место у картинной галереи на Трафальгар-сквер. Его «тощее тело опиралось на костыль с мягкой накладкой», «длинные худые пальцы бегали по клавишам старого аккордеона».

В 1816 году Иоганна Шопенгауэр, мать философа, опубликовала свои впечатления о Лондоне. Она описала, в частности, одну примечательную нищенку, которую считали сестрой знаменитой актрисы миссис Сиддонс. Ее низвели до плачевного положения несчастливые обстоятельства и, возможно, душевная болезнь, но на улицах Лондона к ней неизменно относились с удивительным почтением. Она «жила милостыней от незнакомых людей. Нам часто попадалось на глаза это диковинное привидение. На ней всякий

раз были черная шляпка, не затенявшая лица и позволявшая разглядеть его черты, зеленое шерстяное платье, большой белоснежный передник и белый шарф». Она передвигалась на костылях и никогда никого ни о чем не просила, но прохожие «ощущали побуждение и даже считали своим долгом что-нибудь ей дать». Она была порождением улиц, уличным божеством-покровителем, которому следовало приносить дары.

В 1820-е годы Чарлз Лэм сочинил эссе «Сетования на упадок нищенства в столице», где речь шла об одной из спорадических и половинчатых попыток городских властей «очистить улицы»; на протяжении столетий издавались распоряжения и принимались меры, но нищие всякий раз возвращались. Лэм, однако, в элегическом тоне рассуждал об их грядущем исчезновении. «Нищие великого нашего города были подлинными его достопримечательностями, его знаменитостями. Мне в такой же мере будет их не хватать, как не хватало бы криков уличных торговцев. Без них и улицы не улицы. Они незаменимы, как бродячие певцы, и в живописных лохмотьях своих так же колоритны, как уличные вывески старого Лондона». Нищий каким-то образом воплощает в себе весь город — возможно, потому,

что как человеческий тип он вечен; подобно детским играм и песенкам, ни возвращается и возвращается без конца. По словам Лэма, нищий — «единственный человек на свете, которому можно не обратить внимания на внешнее. Колыхания нашего мира его не затрагивают». Он являет собой неизменность, лежащую глубже текучей внешности мира. Поэтому нищие стали «застывшими поучениями, символами, напоминаниями, изречениями на солнечных часах, проповедями для ночлежного дома, детскими книжками, благотворными паузами и остановками посреди несущейся реки засаленного люда — взгляните хоть на этого вот несчастного банкрота». Образ банкрота уместен: где главная цель — нажива, там полное разорение может стать источником некоего достоинства, и нищий в его тряпье был застывшим упреком тем, для кого важно «внешнее».

К середине XIX века, когда все формы городского бытия стали предметами пристального исследования, нищих начали изучать и о них начали писать. Развитие общественного контроля и систематизация общества средневикторианской поры затронули, в частности, феномен попрошайничества. Было учреждено «Общество

изучения нищенства», расположившееся на Ред-Лайон-сквер, где всех нищих столицы классифицировали и описывали. Чарлз Диккенс, хоть он и был зачастую щедр и великодушен к бедным, немедленно сообщал в Общество о случаях явной симуляции со стороны нищих и об авторах просительных писем.

Чарлз Бэббидж, изобретатель «аналитической машины», «отец компьютера» и составитель логарифмических таблиц, систематически изучал лондонских нищих. Он пишет, что, когда он возвращался домой с вечеринок «из жарко натопленных помещений», за ним «сквозь моросящий дождь» нередко шла «полуодетая несчастная женщина с ребенком на руках, порой сопровождаемая другой женщиной, едва способной идти». Они просили подаяния. Начав задавать им вопросы об их обстоятельствах, он увидел, что ему лгут. Однажды в густом тумане к нему подвели «бледного изнуренного мужчину», который, по словам владельца дешевого ночлежного дома, «два дня ничегошеньки не брал в рот, кроме воды из колонки на той стороне». Бэббидж дал ему одежды и немного денег, и молодой человек сказал, что ему предложили должность «стюарда на маленьком судне, отправляющемся в Вест-Индию». Но и он,

как выяснилось, лгал. «Живя в одной из гостиниц другого квартала, он беспрерывно пьянствовал и буянил». Чарлз Бэббидж привел его к полицейскому судье. Его продержали неделю и, прочтя наставление, отпустили.

Что можем мы извлечь из этих примеров лондонского нищенства? Эти люди были отбросами города и являлись из моросящего дождя или густого тумана, подобно неким испарениям с каменных стен и свинцовых крыш. Они существовали на окраине бытия и, как правило, были приговорены к ранней смерти. У многих, как у молодого человека, быстро чередовались стадии опьянения и изнурения. Они были отъявленными лгунами и обманщиками, ибо с упорядоченным и комфортабельным обществом, чьим представителем был Бэббидж, их не соединяли никакие обязательства; их реальность была настолько ненадежной, что терять им было нечего. Они пребывали в совершенно ином жизненном состоянии, чем обычные люди. Только Лондон и мог дать им убежище.

Из страхов, проглядывающих за тогдашними статистическими выкладками и исследовательскими усилиями, один глубоко первобытен: что, если нищие начнут неудержимо множиться?

«Прибыток их, — писал один автор в конце XIX века, — не отстает от общего прироста народонаселения». Испуг был нешуточный: зарождался новый вид, сросшийся с городом настолько, что его невозможно ни убрать из Лондона, ни даже отграничить от него. Боялись также, что перемены в городском обществе отразятся на природе самого нищенства: как писал Бланшар Джерролд, «обман претерпел эволюцию, бродяга превратился в разъезжего человека, нищий расскажет тебе сотню историй… каких мошенник былых времен не мог взять на вооружение». Были, к примеру, «попавшие в беду»: «моряки с разбитых кораблей, горняки из обрушившихся шахт, погорелые лавочники и бездомные из-за брошенной спички». Тип несчастливого моряка «знаком лондонцам по грубо намалеванным холстам, изображающим либо кораблекрушение, либо, чаще, кита, атакующего вельбот в северных морях. Картину расстилают на тротуаре, придавливая в ветреную погоду углы камнями». Нищих, как правило, было двое, причем один обычно безрукий или безногий. Расхожие книги о нищенстве, издававшиеся в XIX веке, любопытным образом напоминают подобную литературу XVI столетия: тот же предостерегающий упор на актерские та-

ланты попрошайки, тот же перечень его уловок и трюков. Можно подумать, и вправду вывелась особая раса.

Как и всякое коренное население, нищие делились по участкам и от них получали прозвания. Были «нищие с Пай-стрит» и «нищие Сент-Джайлса», ходившие, как правило, каждый по своему определенному маршруту. «Я всегда держусь этой стороны Тоттнем-корт-роуд, — сообщил в 1850-е годы один слепой нищий члену исследовательской группы. — Улицу никогда не перехожу, и псина моя про это знает. Я вон туда топаю. Там Чиниз-стрит. Я знаю, где нахожусь, как не знать: сейчас направо будет Альфред-стрит, налево Фрэнсис-стрит, а когда мы до конца дойдем, псина остановится». Из маршрутов нищих можно было бы составить карту Лондона.

Нищие также распознавали и учитывали особенности характера своих сограждан. Богатые и средний класс не давали им ничего, полагая, что все попрошайки — обманщики; это само собой вытекало из официальной и полуофициальной литературы, чьи выводы эти слои весьма охотно принимали за истину. В городе, которым начинила править система, возникали, помимо прочего, систематические предубеждения.

«Будь способность рассуждать дарована всему человечеству, — писал Джон Бинни, автор книги „Ворье и жулье“, — профессиональный нищий практически не имел бы шансов поживиться». Торговцев из числа более состоятельных тоже трудно было разжалобить. Но нищие получали свою долю «от торговцев среднего достатка и от бедного рабочего люда». Главными их благодетельницами были жены рабочих. Есть и другие свидетельства, говорящие о том, что лондонский бедняк склонен был помогать еще более бедным. Это означает еще, что вопреки расхожему мнению не все нищие были симулянтами; некоторые пробуждали братское сочувствие.

К концу XIX века нищие стали жаловаться, что их доходам и самой жизни угрожают две силы — реорганизованная полиция и «Общество изучения...»; но установить с достоверностью, уменьшилось ли сколько-нибудь существенно их число, не представляется возможным. Статистические отчеты и описания того времени, разумеется, утверждали, что столица ими по-прежнему «кишит» (популярное слово). Предположение о том, что количество нищих увеличивалось с ростом населения, выглядит вполне разумным.

В воспоминаниях, относящихся к началу XX

века, речь идет не о бандах и не о группах нищих, а об отдельных лицах, обычно прикрывавших попрошайничество торговлей спичками или леденцами. Имея на руках «лицензию уличного торговца», стоившую пять шиллингов в год, нищий занимал свою «точку». Один, стоявший на углу Вест-энд-лейн и Финчли-роуд, заводил граммофон; другой ходил по Корбин-роуд с одним-единственным коробком спичек; шарманщик по прозвищу Коротышка «обрабатывал» Уайтчепел и Коммершл-роуд; некий мистер Мэтьюмен сидел у станции метро «Финчли-роуд» с коробом разносчика и жестяной кружкой. Все это случайные, выхваченные наугад фигуры, но они передают дух лондонского нищенства между мировыми войнами. Томас Холмс, автор книги «Лондонское дно», пишет: «Их страшно, невыносимо жаль, и порой мне кажется, что я живу с ними, брожу с ними, сплю с ними, ем с ними; что я стал как они». Такое головокружение можно испытать у края пропасти. Стать одним из них, добровольно уйти на дно — ведь это легче легкого. Это «другая» возможность, которую дарует нам город, суля освобождение от обыденных забот, и все данные говорят о том, что многие нищие ценили и любили свою свободу — свободу

странствовать и глазеть на мир.

Торговцев шнурками и спичками уже нет, и место их в XXI веке занимают бездомные, которые ночуют под дверными навесами; они носят с собой одеяла — своеобразные знаки их состояния. Некоторые из них подобны предшественникам и унаследовали все их черты. Это могут быть люди умственно отсталые, или пьющие, или ущербные в каком-то ином смысле и потому неспособные вести «нормальное» существование. Или же это, наоборот, люди сообразительные и смекалистые, которые не прочь поупражняться в древнем искусстве «вешать лапшу на уши». Но этих, пожалуй, меньшинство. Лондонские бездомные большей частью действительно не могут справиться с требованиями городской жизни. Их страх перед миром слишком велик, им трудно находить друзей и устанавливать отношения с людьми. Чем может тогда показаться им лондонская вселенная? Тем же, чем она была для обездоленных и бездомных любой эпохи, — лабиринтом подозрительности, агрессии и мелких обид.

Бродягам всегда приходилось приноравливаться к жесткости и безразличию лондонцев. В стихотворении «По пути к собору Св. Павла»

Джеймс Томсон пишет, как его толкает нетерпеливая толпа, в которой все «души и сердца / Ослеплены златым сиянием Тельца / И неспособны видеть» тех, кто упал по дороге. Это, по словам Сэмюэла Джонсона, возможно «лишь в таком большом городе, как Лондон, где никто никого не знает».

Незримый мир отверженных существует и в начале XXI столетия, хотя наружные его формы изменились. Тесно нашпигованные людьми дешевые доходные дома Степни ушли в небытие, но место их заняли муниципальные многоэтажки. «Потомственные бродяги» сменились желающими получить «помощь». Лондонские приюты сделались жилищами обездоленных, где, как пишет Хонор Маршалл в «Сумеречном Лондоне», царят «душевные болезни, распад семьи (в частности, разрыв брачных уз), хроническое нездоровье, рецидивизм, проституция, алкоголизм». На Уэллклоуз-сквер находился благотворительный центр, где получали крышу над головой «те, кто никому не нужен», — отбросы и ошметки общества, которые иначе просто истаяли бы на улицах. Они истаивают, потому что никто их не видит. В некоторых людных местах Лондона — например, перед вокзалом Ча-

ринг-кросс — выстраиваются очереди желающих получить порцию супа из передвижной кухни Армии спасения; толпы проносятся мимо этих людей, как если бы их там не было вовсе. Нередко среди веселой публики, пьющей на свежем воздухе за столиками паба, лежит без движения какой-нибудь нищий, никому не нужный и словно бы невидимый. В ответ эти обездоленные постепенно теряют всякий контакт с внешним миром; а в Лондоне отправиться на дно легче, чем где бы то ни было в Англии. Недавнее обследование ночлежки в центре Лондона, о которой пишет С. Рандалл в книге «Домой пути нет», показало, что «четыре пятых всех молодых людей… составляли иногородние, в большинстве своем приехавшие недавно»: город, как всегда, ненасытен. Четвертая часть успела побывать «под надзором», половина имеет опыт ночевки под открытым небом, почти три четверти «не знают, куда подадутся потом». В большинстве своем они были нездоровы, плохо одеты и безденежны. Ночлежка находится в небоскребе Сентерпойнт — очень близко от тех мест, где встарь селился в сент-джайлсском «Грачовнике» пришлый оборванный люд.

Глава 66
Их голоса перевесили мой

Иных своих жителей Лондон сводит с ума. Психиатрическая статистика 1970-х годов показывает, что в Ист-энде случаев депрессии было в три раза больше, чем в целом по стране. Шизофрения тоже была распространенным заболеванием.

Лечебница при церкви Сент-Мэри-Бетлем (Св. Марии Вифлеемской) начала принимать душевнобольных еще в XIV веке. «Из Бедлама! Бедненькому холодно!», «Благослови Боже твои пять чувств — бедненькому холодно!» Крики сумасшедших раздавались и в Сент-Мэри-Баркинг — «больнице для клириков и лондонских горожан обоего пола, повредившихся в уме». Однако именно через посредство Бетлема Лондон всегда ассоциировался с безумием. Томас Мор задавался вопросом: не является ли этот город со всеми его юродивыми и помешанными одним большим сумасшедшим домом? И если так, то Бетлем — уменьшенная копия Лондона, его «малый мир». Документы 1403 года говорят, что в лечебнице

тогда содержалось девять пациентов, к которым были приставлены надзиратель, привратник с женой и несколько слуг. Однако количество больных неуклонно росло. В «Лондонских хрониках», датированных 1450 годом, упоминается «церковь Богоматери, называемая Бедлам. В этом месте живут многие, кто повредился в уме. С ними обходятся честно и добросовестно, и некоторые вновь обретают разум и здоровье. А иные остаются там до конца дней, ибо излечить их помешательство превыше сил человеческих».

Некоторым разрешалось покидать «тюрьму для умалишенных», чтобы просить на улицах милостыню; на их статус указывала оловянная бляха, носимая на левой руке, и их называли «божьими менестрелями» и «юродивыми». Помимо сострадания, они вызывали у людей суеверный страх; на улицах они казались некими исчадиями городского безумия. Это были бродячие призраки — иные жалкие, иные пророчествующие, иные унылые, иные обличительно-грозные. В городе, кичившемся цивилизованностью, это были образы наготы человеческой.

На картах начала XVI века подле «Бишопсгейтской дороги» видны «ворота Бедлама». Пройдя их, вы попадали во двор с несколькими небольшими

каменными строениями; здесь стояла церковь и был разбит сад. Пациенты в количестве тридцати одного человека теснились в помещениях, предназначенных для двадцати четырех, где «воплей, визга, рева, драк, потрясания цепями, проклятий, раздражения, злости так много и так они сильны и ужасны, что и здравомыслящего человека сведут с ума». Главными лекарствами здесь были кнут и цепи. В инвентарном перечне упоминаются «шесть цепей с замками и ключами, четыре пары железных наручников, еще пять железных цепей и две пары колодок». В том же столетии Томас Мор писал о человеке, который «был посажен в Бедлам, где битьем и ученьем ему вернули разум». Следовательно, «ученье», то есть наказание, считалось действенным лечебным средством. С ума сходить — для этого надо было мужества набраться.

К началу XVII века Бедлам стал единственной больницей, используемой для содержания умалишенных. Это были главным образом «бродяги, ученики ремесленников и слуги с небольшим добавлением студентов и господ. Из пятнадцати бродяг одиннадцать были женского пола». По лондонским улицам бродило много людей, которых можно было бы счесть сумасшедшими и

посадить на ночь под замок, но, как правило, они оставались на свободе. Обилие женщин-бродяг среди обитателей Бедлама — они составляли примерно треть — тоже кое-что говорит о жизни лондонских улиц.

Одной из пациенток была леди Элеонора Дэвис, которую забрали в Бедлам зимой 1636 года, поскольку она объявила себя пророчицей. Хотя ее держали не в обычной палате, а в доме смотрителя, она позднее говорила, что Бедлам «подобен аду — настолько ужасны были проклятия и скверные сцены». Это был «дом непрестанной ругани», и она жаловалась, что смотритель и его жена нередко напивались допьяна и обижали ее. Бедлам, таким образом, в сгущенном виде демонстрировал наихудшие стороны лондонской жизни. Вот почему в начале XVII века его стали изображать на сцене. В ряде пьес сумасшедший дом стал местом, где разворачиваются эпизоды насилия и интриг, где пациенты совершают

> *Такие странные безумства,*
> *Что, хоть и жаль вам их, вы улыбнетесь.*

Строки взяты из пьесы Томаса Деккера «Честная проститутка» (1604). Там впервые описаны

сцены, происходящие в Бедламе.

Уже то, что единственный в стране сумасшедший дом находился в Лондоне, имело для драматургов значение. В «Герцогине Мальфи» Уэбстера безумие ассоциируется с рядом городских профессий — например, портного, который «свихнулся, изучая моды». Получается, что с ума людей сводит сама городская жизнь, и это — важнейшая точка соприкосновения между Лондоном и помешательством. Другую важную ассоциацию демонстрирует пьеса Джона Флетчера «Паломник» (1621), где в центре внимания — душевное здоровье содержателей больницы, а не пациентов. Если смотрители и сторожа безумны, то безумно и общество, поставившее их на должности и возложившее на них ответственность.

К середине XVII века старый сумасшедший дом пришел в столь плачевное и негодное состояние, что в городе разразился скандал. В 1673 году было решено возвести вместо него на Мурфилдс большое современное здание. Спроектированный по образцу дворца Тюильри, он был украшен колоннами и окружен садами. Строительство шло три года. Над входными воротами скульптор Сиббер поместил две лысые полуобнаженные фигуры — «Безумие печальное» и «Безумие свирепое». Они

стали одной из лондонских достопримечательностей и могут потягаться с более древней парой покровителей города — Гогом и Магогом. Тогда-то Вифлеемская лечебница и обрела настоящую свою славу; любопытствующие, заграничные путешественники и писатели потянулись в ее палаты взглянуть на сумасшедших. Для города и его властей очень важно было, чтобы помешательство видели подконтрольным и запертым. То была часть могучего движения в сторону «разума» после Великого пожара и чумы, сделавших весь город исполинской ареной неразумия и буйства. Повествуя о событиях 1665 года, Дэниел Дефо писал, что многими горожанами овладевало «буйство и помешательство, и сплошь и рядом они накладывали на себя руки, выбрасываясь из окон или стреляя в себя; обезумевшие матери убивали собственных детей; иные умирали от приступов жестокого горя, другие от испуга и неожиданности, вовсе не будучи зараженными, а третьих страх приводил в отчаяние или унылое безумие». Лондонцы всегда были предрасположены к мании; возможно, она была необходимым условием самого их городского существования.

Однако, словно бы подчеркивая нелепость и неблагородство безумия, обитателей Бедлама

выставляли напоказ, как зверей в зоопарке; пациенты представали прожорливыми существами, которых надлежало связывать, смирять наручниками. В здании было две галереи, одна над другой; на каждом этаже палаты располагались вдоль коридора, посреди которого находилась железная решетка, отделявшая мужчин от женщин. Снаружи это был дворец, внутри — почти тюрьма. С посетителей брали по одному пенсу, и современник писал, что «безумные выходки несчастных непостижимым образом побуждали легкомысленных зрителей к ликованию и громкому смену; отвратительный рев одних пациентов и дикие движения других, казалось, равно забавляли их. Иных пришедших постыдная бесчеловечность толкала на то, чтобы… нарочно, развлечения ради доводить больных до бешенства». Это «доверительное письмо» середины XVIII века от Сэмюэла Ричардсона рисует безотрадную картину, вполне подтверждаемую иными источниками.

Другой очевидец этих сцен заметил, что «безумнейшие люди нашего королевства находятся не в Бедламе, а вне его». Любопытно вот что: здание на Мурфилдс провоцировало на иррациональное поведение не только своих обитателей, но и посе-

тителей, и весь эпизод с «дикими движениями» (можно предположить — сексуальными) и «отвратительным ревом» производит впечатление невообразимого смешения типов и ролей. Рассчитывая на то, что выходки сумасшедших могут возбудить в иных зрителях похоть, на галереях обычно околачивались проститутки. Полушутливо-полувсерьез однажды было замечено, что для тех, кто приходит поглазеть на помешанных и посмеяться над ними, следовало бы выстроить другой подобный дом. Может показаться, что от Мурфилдс по всему городу распространялась зараза безумия.

Неудивительно, что в литературе того времени Бедлам стал убедительной метафорой всех лондонских зол. В стихах Поупа тень его ложится на Граб-стрит — улицу неимущих литераторов, где многие сходят с ума от безденежья и неуспеха. Трахерн писал:

> *Весь мир — Бедлам: огромный каземат,*
> *Где буйствуют, беснуются, вопят.*

Джон Локк сравнил временное помешательство с состоянием человека, заблудившегося в незнакомом городе, и эту наводящую на раз-

мышления аналогию подхватили многие из тех, кто писал о Лондоне. Например, Мэтью Брамбл в «Путешествии Хамфри Клинкера» Смоллетта говорит о лондонцах: «Всюду сумятица и суетня. Можно подумать, что они одержимы каким-то сумасшествием, которое не позволяет им сохранять спокойствие… Как мне отрешиться, от мысли, что ее [публику] обуял дух, более нелепый и пагубный, чем тот, каковой нам знаком по Бедламу?»[133] Здание на Мурфилдс, можно сказать, доминирует над душевнобольным городом. Лондонцы находятся в состоянии неестественного напряжения и беспокойства; они обитают в скверных домах, где нет ни света, ни воздуха; по ним хлещет бич бизнеса и наживы; их окружают всевозможные картины похоти и насилия. Они живут в Бедламе.

К концу XVIII века Вифлеемская лечебница в свой черед приобрела отпечаток разрухи и заброшенности. В 1799 году комиссия охарактеризовала здание как «мрачное, убогое и тоскливое», словно сами стены его вобрали в себя нечто от меланхолии иных пациентов. Уныние распространилось и на округу: лечебница находилась

[133] Примечания: 133
Перевод А. Кривцовой.

среди жалких домишек и лавок, торговавших подержанной мебелью. И вот в 1807 году было решено перевести ее на другую сторону реки — в Саутуорк. Третий Бедлам в истории Лондона возник на вполне подходящем месте, ибо Саутуорк всегда был средоточием тюрем и других казенных учреждений.

Новое здание выглядело столь же величественно, как предыдущее: портик с ионическими колоннами, громадный купол. Внутри, однако, было все так же безотрадно, словно вновь единственным назначением здания был театральный показ, долженствующий изображать победу Лондона над помешательством. Два скульптурных сумасшедших гиганта, которых прозвали «безмозглыми братьями», стояли теперь в вестибюле.

Методы лечения оставались суровыми и во многом основывались на физическом обуздании; один пациент пролежал в цепях четырнадцать лет. Более «просвещенный» подход стали проводить в жизнь лишь в середине XIX века. После двух инспекций, по результатам которых больничный режим был подвергнут жестокой критике, начали применять «нравственно-медицинское» лечение: пациентам дали возможность

трудиться или чем-либо заниматься, им стали назначать такие медикаменты, как хлорал и наперстянка.

То был замкнутый малый мир внутри большого. Воду брали из своего артезианского колодца, так что пациентов миновали свирепствовавшие кругом холера и дизентерия. Ежемесячно устраивался бал, на котором пациенты танцевали друг с другом; об этих трогательных и диковинных празднествах писали многие. Однако безумие рождало нее тот же настоятельный вопрос. Лечебница навела Чарлза Диккенса, прошедшего мимо нее однажды вечером, на размышления: «Не оказываются ли каждую ночь примерно в том же состоянии, что и пациенты, те из нас, находящихся вне больницы, кто видит сны?»

К середине XIX века число душевнобольных в Лондоне утроилось, и для них открылись новые лечебные учреждения (самые известные — Хануэлл и Колни-Хатч). В 1930 году Вифлеемскую лечебницу перевели за город — в окрестности Бекенхема, но к тому времени столица была уже хорошо обеспечена психушками. Их стали называть «центрами психического здоровья», а пациентов — «пользователями».

Сравнительно недавно душевнобольных стали

отпускать по домам с тем, чтобы они «жили в обществе», принимая лекарства. На лондонских улицах нередко можно встретить прохожего, который что-то торопливо бормочет себе под нос и яростно жестикулирует. На большинстве главных городских магистралей вы нет-нет да увидите одинокую фигуру, съежившуюся в позе отчаяния или устремившую взгляд в никуда. Порой кто-нибудь принимается кричать на прохожих или лезет с ними в драку. В свое время в ходу была фраза о лондонской жизни:

> *В твои дела не лезу — в мои прошу не лезть.*

Можно добавить:

> *Твои дела — обедать, мои — из кожи лезть.*

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ

Глава 67
Женское начало

Лондон, как обычно считается, город мужской. Таковым, по крайней мере, он был до недавнего времени. Под Леденхолл-стрит и Чипсайдом обнаружены фаллосы из медного сплава, под Коулмен-стрит — фаллическая скульптура. Фаллообразно вздымающаяся громада Канари-уорф господствует теперь над всем городом; будучи еще и символом коммерческого успеха, она, таким образом, являет нам двуединство лондонской первоосновы. На здания, стоящие поблизости от этой башни, «надеты» своего рода «чехлы» из песчаника: вот вам еще один вариант каменного пениса. Лондон всегда отправлял свои столичные функции на мужской манер, и в его властных структурах неизменно доминировали мужчины. Речные божества, как правило, женского пола, но лондонская река зовется «старый папаша Темз». Впрочем, всей этой системе образов присуща странная двойственность. Близ Лондонского моста вертикально торчит Монумент, однако на его цоколе Лондон изображен в виде плачущей

женщины. Низвергнувшись, пройдя через пламя, город меняет пол.

В ранних письменных источниках женщины обретают статус и лицо только благодаря коммерческим отношениям. К примеру, роль вдов в средневековом Лондоне показательна для мира, в котором торговля, супружество и благочестие теснейшим образом переплетены между собой. По смерти мужа вдова получала половину его имущества и, вопреки общему гражданскому законодательству, могла доживать век в их семейном доме. Она могла стать полноправной горожанкой, и от нее ожидали, что она продолжит дело мужа. В XIV и XV столетиях, к примеру, так повели себя все вдовы мастеровых, о которых нам известно. Для городских властей важна была преемственность бизнеса; из их установлений видно также, что женщины могли занимать в городе очень весомое положение. Они, помимо прочего, имели право вступать в гильдии и братства; в документах братства Св. Троицы в приходе Сент-Стивен (Коулмен-стрит) есть запись о ящике для пожертвований, «в каковой ящик каждый брат или сестра должны уплачивать по четверти пенса». Некоторые вдовы играли важную роль в городской жизни в силу своего богатства, но

таких было меньшинство. К иной сфере существования относятся дошедшие до нас из XIV века сведения о «врачевательницах». Безусловно, в городе действовали знахарки, исполнявшие в некоторых приходах врачебные функции; встречались галантерейщицы и ювелирши, оптовые торговки пряностями и кондитерши. Однако на каждые двадцать-тридцать налогоплательщиков в документах XIV века приходится лишь одна женщина.

Лондонские женщины, разумеется, должны были вести себя согласно общим представлениям о порядке и субординации, о приличиях и благопристойности. На протяжении столетий девицы ходили простоволосые, тогда как замужние женщины носили шляпки или чепцы. Жену можно было поколотить, и окунание «бранчливой» жены в воду считалось в иных случаях полезным наказанием. Церковные власти нередко порицали женщин, использовавших сурьму и румяна, завивавших волосы железными щипцами, носивших драгоценности; они, можно сказать, облекались в противоестественные цвета Лондона. С другой стороны, большие лондонские женские монастыри до их роспуска в годы Реформации утверждали образ женщи-

ны, удалившейся от мира и существующей, по крайней мере теоретически, не в городе мужчин, а в граде Божьем. Возникает, таким образом, обобщенный портрет лондонской женщины, выдержанный в традиционном ключе. Она была подчиненным элементом иерархически-патриархального общества; в городе власти и бизнеса она незримо играла стабилизирующую роль.

Однако для женщин Лондона характерно и другое. Дочери богатых людей, как и некоторых купцов, посещали начальные школы; можно предположить, что многие горожанки были грамотны, держали у себя рукописные книги и строили свои домашние отношения с мужчинами на основе если не теоретического, то практического равенства. В книге «Вдовы средневекового Лондона, 1300–1500», вышедшей под редакцией С. М. Баррона и Энн Ф. Саттон, исследуются завещания той поры; вдовы охарактеризованы в ней как «болтливые, властные, безалаберные, сердечные» женщины, чья жизнь дает богатую пищу для анекдотов. Они склонны проявлять заботу о дальней родне и теплые чувства к домашней прислуге. Видны, кроме того, покрывающие Лондон «сети женских дружб и привязанностей».

Итак, большая часть ранних документов, каса-

ющихся лондонских женщин, говорит о том, что они во многом были плоть от плоти города. В XV веке один немецкий путешественник вошел в лондонскую таверну, и встретившая его женщина — по-видимому, хозяйка — смачно поцеловала его в губы и прошептала: «Что вы ни пожелаете — все с радостью исполним». Послушанием и благопристойностью, каких требовали от женщин в патриархальных культурах, здесь и не пахнет, однако рассказ этот согласуется с другими свидетельствами о женщинах, переполненных вольной и грубой энергией города.

Образам женщин в драматургии, от сварливой бабы из простонародья до жены Ноя, присущи агрессивность и склонность к насилию. И «Лондонских хрониках» за 1428 год описывается судьба одного бретонца, убившего в Лондоне вдову. «Совершив это злодеяние, он шел по улице, но женщины прихода подступили с каменьями и собачьим дерьмом и покончили с ним на месте, так что он там и остался, хотя его вели и охраняли стражники и другие мужчины. Ибо их было великое множество, и они не знали ни милости, ни пощады». Событие это, произошедшее «за Олдгейтом», то есть в районе нынешней Уайтчепел-Хай-стрит, представляет интерес.

Большая толпа женщин, возмущенных убийством одной из своих, одолевает или запугивает группу мужчин, окружающих убийцу, после чего забивает его камнями до смерти. Перед нами не город порядка и субординации, а город, в котором действует некое общинно-эгалитарное женское начало. Женщины, кроме того, «не знали ни милости, ни пощады» — значит, по-видимому, сами претерпели от лондонской жизни многое, что сделало их загрубевшими и бесчувственными.

В начале XVI века один наблюдатель отметил, что «женщины здесь имеют гораздо больше свободы, чем где бы то ни было». Тот же заграничный путешественник пишет: «Они, кроме того, хорошо умеют пользоваться этой свободой: одеваются с чрезвычайной изысканностью и уделяют немалое внимание воротникам и тканям — вплоть до того, что, многие из них, как мне рассказывали, запросто выходят на улицу в бархате. Это у них обычное дело, хотя дома порой нет и корки черствого хлеба». В XVI веке была в ходу поговорка, гласившая, что Англия (которую мы смело можем заменить Лондоном) — это ад для лошадей, чистилище для слуг и рай для женщин. Одна из центральных фигур эпохи — госпожа Элис Мор, бранящая мужа Томаса

Мора за «глупое» сопротивление воле короля. Ее высказывания в его адрес часто были резкими и порой саркастическими, однако он реагировал на них вполне добродушно. Не исключено, что такой мощный дух равенства мог существовать тогда только в Лондоне.

Разумеется, подобные отношения были характерны для семей зажиточных или располагающих связями; на улицах свободу понимали иначе. Тот же зарубежный наблюдатель отмечает: «В Лондоне обитает много ведьм, которые часто устраивают всякие зловредства, навлекая град или бурю»; в этих словах проявляется иррациональный страх перед женщинами — тревога, которую, кажется, рождает сама встреча с городским бытием. Документы XVII века говорят о том, что мятежный дух отнюдь еще не был к тому времени обуздан. Один приезжий писал, что ему не раз встречалась на улицах «женщина, несущая соломенную мужскую фигуру, увенчанную внушительными рогами; впереди нее шествовал барабанщик, позади шла толпа, гремевшая железными щипцами, рашперами, сковородками и кастрюлями. Я спросил, что все это значит, и мне объяснили: муж обвинил эту женщину в том, что она наставила ему рога, а она

в ответ крепко его поколотила». Этот рассказ о рукоприкладстве можно дополнить другим: «Некоторые из нашей компании видели скверную женщину, взъярившуюся на субъекта, который, кажется, принадлежал к испанскому посольству. Она побуждала толпу напасть на него и подала пример, охаживая его капустной кочерыжкой». Другой источник: «Англичане, кажется, боятся общества женщин». Обитательницы Лондона — «опаснейшие на свете». Насколько точны эти высказывания, разумеется, проверить трудно; но, как бы то ни было, рука об руку с грубостью шло веселье. Еще один путешественник писал: «Что особенно любопытно — то, что женщины наряду с мужчинами и даже чаще, чем они, посещают развлечения ради таверны и пивные. Они за большую честь почитают, если их приглашают туда и угощают подслащенным вином; и, если даже приглашена всего одна женщина, она приводит с собой еще трех или четырех, и они весело провозглашают друг за дружку тосты».

Бывали, однако, и не столь счастливые обстоятельства. На гравюрах мы видим благообразных матрон и купчих, но видим и женщин, которых без большого преувеличения можно назвать рабынями города.

Скоропортящимися продуктами — например, фруктами и молоком — традиционно торговали женщины, тогда как мужчины продавали товар более долговечный и твердый; здесь можно увидеть символическое отражение того факта, что сами женщины были в Лондоне уязвимее мужчин. Изображения уличных торговцев и торговок, выполненные в 1680-е годы Марцеллусом Ларооном, образуют примечательную коллекцию городских типов. Продавщица клубники в свободно сидящем капоре выглядит странно-задумчивой. У хромой торговки рыбой на лице написана невыразимая усталость, хотя Шон Шесгрин, издатель и комментатор работ Ларона, замечает, что она «одета необычайно стильно… в высшей степени опрятна и разборчива в отношении своей внешности»: чисто лондонское смешение театральности и страдания. Продавщица «громадных угрей» оживлена и более бодра, лицо насмешливое и вместе с тем настороженное, точно она готова, проходя по улицам, увидеть и услышать что угодно. Одинокая женщина, безусловно, могла стать объектом внимания любого рода, вплоть до надругательства. Торговка воском представляет собой «меланхолический этюд: взгляд невыразительный, почти тупой,

походка деревянная». Ее одежда «изношена и оборвана, залатана в нескольких местах, рукава висят лохмотьями».

Перед нами женщина, доведенная городом до безразличия и бесчувственности. Лицо продавщицы яблок выражает своеобразную издевку, словно она от всей души презирает то ли покупателей, то ли свое занятие. «Веселая молочница» что хотите, но только не весела. Торговка макрелью — древняя старуха с изможденным лицом и глазами-щелками — являет собой отчетливо городской тип: Лондон впечатал в нее свой образ. То же самое можно сказать и о продавщице вишен, чье умное лицо показывает: она успешно маневрирует по улицам и рынкам Лондона.

Другим городским типом, бесконечно растиражированным в дешевых брошюрах и множество раз, начиная с бессмертной шекспировской миссис Куикли, изображенным на сцене, была кабатчица. «Как ни завернешь в Гайд-парк, шлюхи эти тут как тут — само собой, в наемном экипаже, и карету твою остановят, чтобы выпить с тобой по кружечке у Филлипса, и еще удивляются, какие вольности позволяют себе иные женщины, и, хотя съесть готовы глазами всякого мужчину, из представительниц своего

пола признают добродетельными одних себя». Это, пожалуй, исчерпывающая характеристика, и авторы XVI–XVII веков, кажется, единодушны в том, что город делает женщину более смекалистой и более грубой.

Лондон изменяет людей — злых укрощает, бунтарей делает безразличными; что касается женщин, всегда считалось, что он тянет их вниз. Лондон был неподходящим для них городом. Женщин, вступавших с ним в соглашение, считали падшими; в частности, первых театральных актрис называли «бесстыжими». Безусловно, это было верно в отношении Элеоноры Гвин, чья, как выразился Маколей, «нахальная живость» понравилась Карлу II. «Откровенная, несентиментальная» (так пишет о ней «Национальный биографический словарь»), она была плотью от плоти Лондона. Ее поведение считалось «неподобающим», ее реплики часто были «острыми и непристойными». «Я протестантская шлюха», — заявила она однажды, и можно вспомнить знаменитый эпизод, когда она грубо ругалась на сцене в почти пустом театре. Она была «беспечной», «буйного нрава», и «глаза ее, когда она смеялась, делались почти невидимы». Продававшая, подобно многим женщинам, недолговечные

товары, она и сама прожила недолгий век[134].

Другой фигурой, символизировавшей Лондон, была Мэри Фрит по прозвищу Молль-карманница. Она родилась в Барбикане в 1589 году и быстро приобрела известность благодаря своей неистовой эксцентричности. Ее портрет был вынесен на фронтиспис пьесы Миддлтона и Деккера «Бедовая баба», где рассказана правдивая история о городской жизни. Молль изображена в мужском платье, с курительной трубкой и шпагой. Она действительно была обычно одета по-мужски и славилась громовым голосом. В XXI веке это могли бы истолковать как знак особой половой ориентации, но это был знак всего лишь городской ориентации — в ее поведении проявился один из существенных, хотя и труднопостигаемых аспектов жизни женщины в городе. Она потому одевалась в мужское платье, что понимала, в чем заключена сила Лондона. И это понимание заставляло ее вести себя более по-мужски, чем любой мужчина. Рука об руку с подобным стремлением нередко идет тревога, ощущение несчастья. Мэри Фрит однажды заявила: «Глядя на манеры и обычаи нашего века, я

[134] Примечания: 134

Элеонора (Нелл) Гвин (1650–1687) была торговкой апельсинами, актрисой и любовницей короля Карла II.

прихожу в такое скверное настроение и чувствую себя такой чужой, словно родилась и выросла в земле антиподов». Это странно перекликается со словами Афры Бен, которая умерла в 1689 году на чердаке недалеко от того места, где родилась Мэри Фрит: «Вся моя жизнь — одни крайности». Она с могучим размахом писала романы, пьесы, памфлеты и стихи, и ее считают теперь предвестницей феминистского мироощущения в литературе, однако «Национальный биографический словарь» утверждает: «Она пыталась писать в стиле, который могли бы принять за мужской». Поэтому ее обвиняли в «грязномыслии», «грубости», «непристойности». Но иначе она не могла — таков был стиль города. Если женщина хотела, чтобы она сама или ее дарования запомнились, она должна была, пользуясь популярным словом того времени, стать unruly (непослушной).

Что касается послушных женщин Лондона, их судьба на протяжении XVIII века существенно не изменилась. Они были служанками города в почти буквальном смысле: согласно оценкам, почти четверть всех работающих женщин была занята в домашнем хозяйстве. Остальные занимались шитьем, стиркой, торговлей (уличной или в лавках). За тяжелый труд им недоплачивали.

Городской эксплуатации женщин была, кроме того, свойственна определенная закономерность: чем старше они становились, тем глубже опускались в трясину бедности и безнадежности. Кого город оставлял в живых, тех он черствил и огрублял. Тем не менее одинокие женщины, в том числе вдовы и покинутые жены, по-прежнему устремлялись из провинции в столицу, где только и был рынок для их неквалифицированного труда. То был период стремительного развития лондонской коммерции, и это не случайное совпадение: по мере роста бизнеса и промышленности мужское начало города набирало силу. Поэтому женщины либо были коммерческими единицами, покупающими себе на платья такое-то количество материала за такую-то цену, либо олицетворяли «миловидность» и «грацию». Более непосредственные, беззащитные женские образы на гравюрах конца XVII века уступили к середине следующего столетия место идеализированным лицам и фигурам. Зародившаяся в 1750-е годы мода на «книги советов» достигла пика в 1780-е: выходили такие издания, как «Совет от несчастливой матери покинувшим ее дочерям» или «Рассуждение об обязанностях женского пола», всячески наставлявшие читательниц в

добродетелях смирения и послушания. Цель была — сдержать, обуздать природные женские силы и инстинкты, проявлявшиеся в городе все более открыто. Часто, к примеру, городская жена противопоставлялась сельской: вторая, в отличие от первой, изображалась как воплощение кротости и верности.

В XVIII веке предубеждение против актрис сошло на нет; их больше не считали женщинами «грубыми» и «низкого пошиба», а некоторые из них, в частности Китти Клайв и миссис Причард, были допущены в общество мужчин — таких, как Хорас Уолпол. То столетие породило немало выдающихся женщин — в их числе были леди Мэри Уэртли Монтегю, Тереза Корнилис, Ханна Мор, Мэри Вуллстонкрафт; однако, за исключением Ханны Мор, чьи добродетели вознесли ее выше всякой хулы и чье влияние имело сходство с влиянием настоятельницы монастыря в средневековом Лондоне, все они становились мишенями злословия и жертвами скандалов. Например, Уолпол писал о леди Мэри Уэртли Монтегю, что «над ней хохочет весь город. Ее наряд, ее скупердяйство, ее бесстыдство поразят хоть кого… она носит на голове отвратительное сооружение, не закрывающее ее сальных черных

волос, которые свисают свободно, никогда не причесанные и не завитые; ее старое темно-синее платье, распахиваясь, открывает вид на полотняную нижнюю юбку. Ее лицо, дико распухшее с одной стороны, местами намазано белилами — их дешевизны ради она выбирает погрубее, какими вы погнушались бы даже выбелить камин». Мэри Вуллстонкрафт, чья талантливая и наводящая на размышления книга «В защиту прав женщин» была написана на Стор-стрит близ Тоттнем-корт-роуд, обвиняли в богохульстве и разврате; ее требования женского равноправия пренебрежительно называли тирадами «амазонки», и на жизни ее лежала печать изоляции и страдания. Как писал в книге «Годвины и Шелли»[135] Уильям Сент-Клер, «В конце статьи [в „Антиякобинском обозрении“], озаглавленной „Мэри Вуллстонкрафт“, читателя ждала отсылка к статье „Проституция“, где было сказано только: *См. статью* „Мэри Вуллстонкрафт“».

Вряд ли следует удивляться тому, что желание поставить женщин под контроль усилилось во времена финансовой нестабильности, паник и

[135] Примечания: 135

Мэри Вуллстонкрафт (1759–1797) в 1797 г. вышла замуж за писателя Уильяма Годвина и умерла при рождении дочери Мэри, будущей писательницы и жены поэта Перси Биши Шелли.

«мыльных пузырей». Кроме того, надо помнить, что в воздухе витало ощущение надвигающихся перемен и беспорядков, что даже первые сообщения о революционных событиях во Франции и в Америке воспринимались как угроза всему государственному устройству и «старой доброй коррупции». Книга Мэри Вуллстонкрафт «В защиту прав женщин» была одним из проявлений тогдашней наэлектризованности, и вполне закономерно, что женщин никогда сильнее не высмеивали, чем в последние десятилетия XVIII века. Это был один из способов контроля над городской жизнью.

В Лондоне XIX века женщин тоже ограничивали и оттесняли на обочину. Им назначали роли, которые они волей-неволей должны были исполнять. Культура эпохи была пронизана представлениями о снятой и грешнице, об ангеле и шлюхе, о чистой и падшей — и это лишь один аспект господствовавшей тогда жесткой образной схемы. К примеру, в художественных произведениях часто подчеркивались хрупкость и невинность молочниц и цветочниц, идущих по каменным лондонским улицам; этот навязчивый интерес к невинности, особенно сильный в середине XIX века, основан на предвидении

того, что она будет поругана. Когда рассказчик в «Лавке древностей» Диккенса встречает маленькую Нелл, бродящую по улицам Лондона, он преисполняется тревоги «из-за всего, что может приключиться с ребенком». Что он имел в виду, прекрасно знал всякий лондонец, читавший это в 1841 году; девочку могли насильно отправить «на панель». Детская проституция процветала. Тогдашний город если не породил, то взрастил эту отрасль бизнеса; можно даже сказать, что он основал на ней свое благосостояние. Так что все слезы лондонцев по поводу смерти маленькой Нелл, вся жалость читателей к невинной умирающей провоцировались окружением — городом, который викторианцы создали своими руками. Они плакали над судьбами всех молодых женщин, с которыми исполинская столица обошлась предательски. Диккенсовское изображение невинности наводит, помимо прочего, на мысль о «необходимой» жесткости и жестокости. Невинность должна быть поругана, если город хочет существовать и цвести.

Лондон, если воспользоваться двумя типично викторианскими выражениями, был ареной «жизненной битвы» или «борьбы за существование», в которой женщины не должны были

участвовать. Поэтому на неработающую представительницу среднего класса, как правило, возлагалась роль хранительницы очага, роль «домашнего божества», для которого функции жены и матери — главные и неизбежные. Женщина прислуживала мужу, когда он приходил домой с «поля брани», и защищала детей от вторжений города. Лондонский дом стал изолированной зоной частной жизни. В викторианском жилище был целый арсенал оборонительных средств для того, чтобы держать внешний мир на расстоянии. От него отгораживались плотными шторами и тюлевыми занавесками, его звуки приглушали с помощью узорчатых обоев, его натиск сдерживали баррикадами из канапе, оттоманок и тому подобного, его пародировали и вышучивали посредством восковых фруктов и восковых свечей, метафорическую и физическую тьму Лондона прогоняли светом ламп и люстр. Здесь обитало женское начало.

Тем же, кто не был защищен от городской жизни XIX века, приходилось тяжко трудиться. Эти женщины составляли часть «потогонной» индустрии, что для одних означало долгие дни и ночи шитья на тесных чердаках или в маленьких каморках, для других — нудные обязанности

домашней прислуги, для третьих — стряпню или стирку. Бремя обстоятельств выдерживали не все. В списке пациентов Вифлеемской лечебницы для душевнобольных за 1884 год значатся тридцать три служанки, семь швей, четыре модистки и шестьдесят «жен, вдов и дочерей торговцев».

Были и другие способы ухода от действительности. В викторианскую эпоху констатировалось, что женщины из так называемых «низших классов» «более, чем мужчины, склонны злоупотреблять алкоголем. Они пьют главным образом для того, чтобы вытерпеть рабочий день… Среди женщин больше пьянства, чем среди мужчин, и во многом это объясняется их рабством у стирального корыта». Алкоголь именно потому стал проклятием работающих женщин, что они были приговорены к изматывающему труду. Если от этих «непросыхающих» разило джином и пивом — что ж, таков, выходит, был запах города.

Верлен писал о поведении некоторых девиц — возможно, проституток: «Выраженьице „Old cunt“[136], которое они каждый вечер адресуют пожилым господам, полно невообразимого очарования». Брань и богохульства звучали повсюду,

[136] Примечания: 136

Грубое ругательство. Можно приблизительно перевести: «Старый пердун».

но чего еще можно было ожидать в насквозь языческом городе? Внимательные наблюдатели уличной жизни — такие, как Чарлз Диккенс и Артур Моррисон, — тоже отмечали пристрастие женщин из бедных слоев к бешеной ругани и агрессии. На фотографиях, сделанных в Лондоне конца XIX столетия, женщины глядят в объектив с подозрением. Один из самых знакомых и богатых ассоциациями образов, в особенности на рубеже веком, — это образ цветочницы. Вместо живописной невинности и свежей, бьющей ключом молодости, которые уже трудно было встретить на улицах, фотографии показывают мрачных и пожилых женщин в соломенных шляпках или мужских кепках, приколотых к волосам шляпными булавками, в шалях и фартуках. Они скапливались со своими корзинками фиалок и гвоздик вокруг фонтана со статуей Эрота на Пиккадилли-серкус. Их неизменно называли не «женщинами», а «девушками», и этот лингвистический сдвиг чрезвычайно содержателен. Один из писавших о Лондоне окрестил их «весталками, балакающими на кокни», хотя девственность их сомнительна. Эти хранительницы Лондона, символ его, каковым они вскоре стали, группировались около статуи, изобра-

жающей юное желание; однако сами они были пожилыми и увядшими. Они продавали цветы, символизировавшие недолговечную красу, — их век при этом был почти прожит. Контраст между молодым стремлением и состарившейся бедностью, явленный в самом сердце города, служил убедительным напоминанием о тщете и изнурительности городской жизни. Цветочницы собирались на своем посту до начала 1940-х — а там исчезли, сгинули в одном из великих и тихих лондонских переходных процессов.

В первые десятилетия XX века в облике женщины по-прежнему преобладал трудовой элемент. Сохранились, конечно, образы блестящих, богатых и светских женщин, но больше было гостинично-ресторанно-кухонных «девочек», магазинных продавщиц, машинисток. В фильме «Каждый день, кроме Рождества» имеется эпизод, где выведено реальное лицо — «старая Элис», последняя из носильщиц на рынке Ковент-гарден, толкающая тачку с цветами. Фильм был снят в 1957 году, что свидетельствует о живучести некоторых профессий.

Возникали, однако, и совершенно новые точки приложения женского труда; две мировые войны существенно изменили характер занятости.

Когда молодых людей отправили в окопы и на поля Первой мировой войны, женщин впервые допустили в сферы, которые прежде были чисто мужскими. Они начали работать в тяжелой индустрии, исполнявшей военные заказы, — главным образом в производстве военного снаряжения и в машиностроении. Количество женщин, занятых в Вулиджском арсенале, возросло со 125 до 28 000; дли размещения иногородних женщин, трудившихся на фабриках и Парк-Ройял, был использован старый работный дом в Уиллсдене. Появились водительницы автобусов и машинистки метрополитена; женщин все охотнее брали на канцелярскую и коммерческую работу. Хотя в тяжелой промышленности после Первой мировой войны женщин вновь сменили мужчины, в конторах женский персонал закрепился. Эта крупная перемена сопровождалась другой: к концу войны число женщин, занятых в таких традиционных некогда сферах, как шитье и домашние услуги, резко упало. Вместо этого они находили работу в банковском деле и коммерции, в местных органах власти и розничной торговле, в магазинах и бизнесе, в административных учреждениях и на государственной службе.

Одним из четко очерченных типов была

«фабричная девушка», и чьей эмансипации определяющий момент наступил летом 1888 года, когда 1500 «девушек», работавших на спичечной фабрике «Брайант и Мэй» в Боу, прекратили работу, требуя повышения заработной платы; в определенной мере эта забастовка была организована активисткой Фабианского движения Анни Безант, и ее успех имел существенные последствия. В том же году женщины получили право участвовать в местных лондонских выборах, и Лондон, безусловно, стал как источником движения суфражисток, так и сферой приложения их усилий. Впервые в истории города женщины смогли мобилизовать его эгалитаристский дух в своих интересах.

В 1913 году Сильвия Панкхерст основала Восточно-лондонскую федерацию в рамках Женского общественно-политического союза (сам этот союз был создан ее матерью десятью годами ранее); местом рождения федерации стала булочная на Боу-роуд недалеко от фабрики «Брайант и Мэй». Сильвия позднее писала: «Пробуждению Ист-энда я придавала важнейшее значение… Создание женского движения в этой великой бездне бедности должно было стать призывом к возникновению подобных движений по всей

стране». Так благодаря усилиям женщин Лондон вернул себе репутацию центра радикального инакомыслия. Это был достойный ответ обществу — воспламенить души тех самых женщин, что были списаны как алкоголички или хуже того.

История суфражисток, связанных с Сильвией Панкхерст, теснейшим образом переплетена с историей Ист-энда, и они стали подлинными выразительницами чаяний района, его недовольства. Митинги происходили в Попларе, Бромли и Боу; шествия либо начинались, либо оканчивались в парке Виктории; типография, где печаталась суфражистская литература, находилась на Роман-роуд, «Женский клуб» открылся на Олд-Форд-роуд. Хотя топография женского движения никогда не анализировалась должным образом, ясно, что мощью и авторитетом оно обязано именно восточным районам Лондона. Во время Первой мировой войны на Олд-Форд-роуд открылось «Бюро помощи попавшим в беду», куда обращались женщины, которые, лишившись поддержки мужа, оказывались под угрозой выселения. На Норман-роуд Сильвия Панкхерст организовали кооперативную фабрику с детскими яслями при ней. На углу Олд-Форд-роуд и Сент-Стивенз-роуд открылись бесплатная кли-

ника и ясли «Материнские руки» (прежде там располагалась пивная «Герб оружейников»)[137]. Это движение, неуклонно повышавшее моральный и общественный статус лондонских женщин, было двойным: одной его составляющей был заботливый феминизм, другой — стремление женщин к освоению «мужских» профессий.

В Шордиче по-прежнему устраиваются женские борцовские состязания; заключенные женской тюрьмы Холлоуэй осуждены главным образом за жестокое обращение с детьми, проституцию или участие в наркобизнесе. В Лондоне и теперь много бедных женщин, которых город битьем принудил к покорности. Ко второй половине XX века относятся сообщения о приютах и общежитиях для «больных женщин» и «женщин, подвергшихся избиению». Здесь заключена некая правда о Лондоне: рисунок относительного неблагополучия остается узнаваемым и неизменным, тогда как поверх него движется широкий и всеобъемлющий поток перемен. Например, согласно последним статистическим данным, за 1986–1996 годы женская занятость в Лондоне увеличилась более чем на 6 %, а мужская снизилась.

---

[137] Примечания: 137
Игра слов: arms означает и «герб», и «руки».

По нынешним оценкам, 44 % лондонских женщин работают по найму. Таким образом, город стал дружественнее к женщинам, и они присутствуют во всех его структурах и учреждениях; есть, например, женщины-таксисты и женщины на руководящих постах в крупных компаниях. Становясь более легким и открытым, двухтысячелетний город наконец выявляет заложенное в нем женское начало.

Глава 68
Мальчишки и девчонки, затеем-ка игру

История детей в Лондоне дает очень много пищи для размышления. В их смертности, в их жестокости, в их игровом инстинкте проявляются могучие силы города. Ранние свидетельства скудны и отрывочны: фрагменты кожаных башмачков и туфелек, бронзовые игрушки, костяные свистки. Игра и восторг от нее глубоки и вечны. Сохранились также детские надгробия римской поры. На одном высечено имя Онесимус и далее сказано, что он был достойным сыном и помощником; другое поставлено «доброму Дексию, сыну Диотима». Смерть детей непрерывной нитью тянется сквозь всю лондонскую историю. Во многих смыслах юность — плохо сохраняющееся в городских условиях вещество.

Под Полтри на большой глубине была обнаружена золотая статуэтка ребенка. Маленькая фигурка эта заключает в себе все представления о святости младенчества. О некоторых детях писали как о пророках или провидцах; одному юному

лондонцу «было, к вящей славе Господа, даровано знание о том, чему его не учил наставник». Читаем и о другом мальчике, который «вместе с двумя учениками соборной школы» охранял Вестминстерское аббатство. Сохранились сведения о детях, которые в начале XII века таскали корзины с песком и щебнем в Смитфилд, помогая Рахере в строительстве «Варфоломея Великого» (церкви Сент-Бартоломью-де-Грейт).

Это участие детей в охране и даже возведении главнейших лондонских святынь чрезвычайно значимо: город берет от малолетних своих сыновей и дочерей долю их невинной энергии, что не так уж далеко отстоит от детских жертвоприношений при закладке храмов и строительстве мостов. Само собой, дети играли центральную роль в гражданских и церковных церемониях. Писали, что «в дни Св. Николая, Св. Екатерины, Св. Климентия и Невинно убиенных младенцев детей наряжали как епископов и священников и водили с песнями и танцами от дома к дому — благословлять жителей». Даже в XVI веке, перед самой Реформацией, «в большинстве частей Лондона мальчик, облаченный по-епископски в pontificabilis, ходил по улицам и распевал по старому обычаю». В 1516 году на параде лорд-мэра в

составе громадной процессии шли «16 обнаженных мальчиков»; дети неизменно участвовали во всех общегородских и гильдейских шествиях по Корнхиллу и Чипсайду. Нелишне также отметить окружавшую детей диковинную и стойкую атмосферу суеверий. В годы республики Кромвеля «к пророчествам детей прислушивались с великим вниманием»; астрологи использовали детей в качестве ясновидящих. «Вызванного духа, — утверждает одна из книг о магии, — способны узреть только дети одиннадцати или двенадцати лет или же непорочные девицы». Отсюда хорошо видно, какое важное значение придавалось невинности в скверном и оскверняющем городе.

Статус ребенка как юридической и коммерческой единицы тоже утвердился довольно рано. Второй из трех пунктов хартии, дарованной лондонцам Вильгельмом Завоевателем в 1066 году, гласил: «И пусть каждый ребенок наследует своему отцу по его кончине»; тем самым подтверждалось традиционное право первородства. Действовала, кроме того, сложная система опекунства, защищавшая сирот от бесчестного присвоения родового имущества кем-либо со стороны. О коммерческом значении ребенка в Лондоне говорит фрагмент старинной баллады,

где родители посылают сына «в стольный Лондон — в ученики»; первое письменное свидетельство о юном лондонском ученике ремесленника датируется 1265 годом. Другим доходным детским занятием было нищенство; взрослые, со своей стороны, порой извлекали из чужих детей прибыль, грабя их, похищая, а то и убивая. Некая Элис де Солсбери была присуждена к позорному столбу за то, что «взяла Маргарет, дочь Джона Оксуика, бакалейщика… унесла ее, раздела, чтобы родные не признали, и хотела просить с нею подаяния и получать через это выгоду». Нападения на детей на лондонских улицах происходили из века в век — в том числе и в XIX столетии, когда ограбление ребенка называлось на воровском жаргоне «kinchin lay». Дети из богатых семей были особенно лакомой добычей: похитив ребенка, можно было выгодно продать его одежду и драгоценности. Многих убивали на месте, чтобы не кричали или чтобы не могли указать на преступников впоследствии. Лондон порой был опасен для малолетних.

Уильям Фицстивен, говоря о юных горожанах, подчеркивал другое — их бьющую ключом энергию, их восторг от петушиных боев и от «хорошо известной игры, называемой футболом», где

мячом служил надутый свиной пузырь. Летом в праздничные дни дети играли в чехарду, боролись и «метали копья за черту»; зимой кидались снежками и катались по льду, используя длинные берцовые кости животных на манер «скейтбордов» конца XX века. Фицстивен, подкрепляя свои высказывания об отличающей Лондон воинственной отваге его жителей, выделяет в детских играх элемент состязания и агрессии. «Сыновья горожан устремляются из ворот гурьбой… они устраивают учебные бои и упражняются в военном искусстве». Мальчикам часто давали луки и стрелы попрактиковаться в меткости, которая могла пригодиться городу впоследствии. Они уже были полноценными лондонцами, гордыми и наделенными развитым чувством гражданской принадлежности. Сходным образом школьников обучали искусству диспута и риторического поединка; «ученики различных школ состязаются в стихосложении и оспаривают первенство в знании грамматических правил и владении глагольными формами». В хорошо известных общественных местах — например, у церкви Сент-Бартоломью-де-Грейт в Смитфилде — дети поднимались на импровизированные подмостки и соревновались в «риторических речах» или

в декламации. Здесь — один из истоков лондонского театра; весьма уместным в описаниях Фицстивена выглядит соединение агрессивно-состязательного и театрально-зрелищного начал. В этом отношении лондонская детвора — верный слепок со своего города.

В XIV веке один епископ порицал «бесстыжих юнцов», царапающих свое на полях книг; Роберт Брейброук в «Письме об отлучении» от 9 ноября 1385 года жалуется на мальчиков, «в наглости и праздности своей ни к чему не годных, подстрекаемых скверными помыслами и занятых более дурными, нежели хорошими делами». Они «швыряют и мечут каменья, стрелы и прочее в грачей, голубей и других птиц, гнездящихся в церковных стенах и паперти. И еще играют у церкви и внутри нее в мяч и прочие разрушительные игры, разбивая и портя стеклянные окна и каменные фигуры церкви».

Как-то раз мальчик, служивший в подручных у пекаря, нес по Стрэнду корзину с хлебом; когда он проходил мимо резиденции епископа Солсберийского, слуга епископа стащил у него буханку. Мальчик закричал: «Держите вора!» — и собравшаяся толпа детей, учеников и прочих горожан учинила беспорядки, едва не перерос-

шие в настоящий бунт. Дети, таким образом, на равных участвовали и бурной жизни города. В административных документах XIV века упоминаются «мальчик, который полез к водосточному желобу достать улетевший мяч; дети, игравшие на штабеле древесины, пока один не упал и не сломал ногу; школьник, который, возвращаясь после обеда по Лондонскому мосту, упал в реку и утонул, потому что ему страх как захотелось перелезть через перила и повиснуть на руках, держась за перекладину». Ребятишки играли в «слепого в капюшоне» (то есть в жмурки) и в «орехи» (ныне «каштаны»).

Сохранившиеся книги с правилами поведения для школьников косвенно передают атмосферу средневекового лондонского детства. Они запрещают «бегать, прыгать, болтать, играть; носить с собой палки, камни или луки; подшучивать над прохожими; смеяться или хихикать, если кто-нибудь читает или поет minus bene (не слишком хорошо)». В свою очередь, школьники сочиняли стишки про наставников:

Мой учитель — гад.
Сдохнет — буду рад.

В городе, где каждый стремился быть замечен-

ным, дети не отставали и шумели вовсю. Кроме того, их, кажется, манили запретные места Лондона, дразнили и провоцировали его опасности. Лондонским детям всегда были свойственны наглость и пересмешничество. В 1950-е и 1960-е годы популярна была игра «кто последний», когда надо было перебегать улицу перед машинами, рискуя быть сбитым. Цель — сойтись с городом лицом к лицу и победить его на его условиях.

В 1480-е годы, когда юный Томас Мор ходил из своего дома на Милк-стрит в школу Св. Антония на Треднидл-стрит, город впечатывался в него неизгладимо. Он проходил, например, мимо питьевого фонтана на Чипсайде, у которого совершались публичные кровавые казни; дети не были избавлены от зрелища насильственной смерти. Он проходил мимо церквей, мимо изображений святых, мимо «мочепровода» (pissing conduit), мимо рыбных и мясных рядов; он видел нищих, иной раз одного с ним возраста, видел проституток, воров и праздношатающихся, наказанных сидением в колодках. Как взрослые, он был одет в дублет и чулки-штаны: дети не считались чем-то отличным от старших, им было меньше лет, только и всего. В школе он учился музыке и грамматике, запоминал полезные из-

речения. «Долг платежом красен… Больше рук — легче труд… Скоро — не споро». Его обучали риторике, и он был в числе тех детей, что, соревнуясь, демонстрировали свои дарования у церкви Сент-Бартоломью-де-Грейт. Самое, однако, важное — что его готовили к деятельности в судебных органах Лондона. Несомненно, это было главным образом гражданское образование; его учили ценить порядок и гармонию, и во многом его последующая общественная деятельность была посвящена насаждению этого порядка, этой гармонии в пределах улиц, знакомых ему с детства. Однако эти же улицы сделали его жестким, как и всех прочих своих детей. Его сочинения полны уличного жаргона и народного говора; жесткость и театральность его натуры, его хлесткое остроумие, его напор коренятся в типичном лондонском детстве.

Итак, жизнь лондонских детей была несладкой. В бедных семьях им приходилось тяжко трудиться наравне со старшими; отпрыском семей побогаче отдавали в дома горожан еще более состоятельных и славных. Например, юный Томас Мор служил в доме у архиепископа Кентерберийского. В общем, трудись — не то будешь наказан. Документы тюрьмы Брайдуэлл говорят о том, что

почти половину заключенных составляли мальчики, виновные всего-навсего в бродяжничестве; «их забирали в Брайдуэлл и наказывали наравне с разбойниками, попрошайками, потаскухами и мелкими воришками». Жесткость эта чувствуется и в высказываниях двух лондонцев — Уильяма Кэкстона (конец XV века) и Роджера Эскама (XVI век). Кэкстон жаловался: «Я вижу, что родившиеся здесь [в Лондоне] наживаются и богатеют иначе, чем их отцы и старшие». Эскам писал: «Невинность исчезла, стыдливости больше нет, юнцы наглы и высокомерны». Суждения эти можно отнести на счет вечного брюзжания стариков по поводу молодежи и смены поколений, однако стоит отметить, что они были высказаны в период стремительного роста города. Между 1510 и 1580 годами его население увеличилось с 50 000 до 120 000 человек, и Лондон мучился избытком бурной, беспокойной энергии; похоже, что дети воплощали в себе этот дух наиболее очевидным и, для пожилых, наиболее тревожным образом.

И частности, изрядно настораживали горожан молодые и склонные к непокорству ученики ремесленников; городские власти разработали поэтому весьма жесткие правила, регламентирующие их труд и поведение. Ничто не должно

было нарушать коммерческую гармонию. Ученик был связан договором «и должен повиноваться. Поскольку я обязался верой и правдой служить господину семь лет, долг мой — исполнять это предназначение и всячески умножать доходы моего уважаемого господина. Хвала городу, который и принцев делает ремесленниками». Последняя фраза означает, что в ученики к ремесленнику или торговцу зачислялись и юноши знатного происхождения. Коммерческий инстинкт был очень силен. Ученикам воспрещалось собираться на улицах группами, пить в тавернах, носить яркую одежду; им позволялись только «коротко остриженные волосы». Сходным образом, детям по-прежнему надлежало утром, прежде всех дел, преклонять колени перед отцом и получать его благословение. Зачастую дети ели за отдельным, меньшим столом, и подавали им после взрослых; по окончании трапезы их могли спросить об их делах и о школьных занятиях, предложить произнести наизусть стих из Библии или какое-нибудь изречение. Непослушных потчевали «березовой кашей». «Двух-трех порций этого снадобья обычно бывает довольно для исцеления».

Песни детей, как и выкрики их, вливались в общий шум города. «В сочельник поворачиваю

вертел» соревнуется в древности с «По домам, по домам, кончена торговля» или с «Марк, Иоанн, Лука, Матфей — сон спокойный мне навей». В 1687 году Джон Обри писал: «Маленькие дети имеют обыкновение петь во время дождя, чтобы он перестал. Собираются и выводят хором: „Дождик, дождик, сколько туч — убирайся, нас не мучь“». Великое множество детских песенок и стишков содержит лондонские приметы, и это неудивительно: в Лондоне из всех городов страны, а впоследствии и мира, было сконцентрировано наибольшее число детей. Айона и Питер Оупи, признанные авторитеты в детских делах, утверждают, что в большинстве своем эти стишки могут быть датированы годами после 1600; разумеется, их запечатлели на бумаге тогдашние лондонские издатели-типографы.

Однако песенкам этим присущи и более значимые городские черты. Они эманация уличных выкриков и баллад Лондона, их контекст принадлежит к устной культуре. Некоторые стихи имеют косвенное отношение к тем или иным войнам или к политическим делам, другие откликаются на городские события — такие, как «ледяная ярмарка» на Темзе или пожар на Лондонском мосту в феврале 1633 года. Есть песни,

пришедшие из лондонских театров, — например, «Жил был веселый мельник» или «Мальчонкой я посуду мыл у мамочки на кухне». «Дом, который построил Джек» первоначально было названием лондонской пантомимы — шуточного музыкального рождественского представления. Пантомим и арлекинад была, надо сказать, такая тьма («Матушка Хаббард и ее пес», «Арлекин и малыш Том Таккер» и прочее, и прочее), что можно подумать, будто и взрослые лондонцы сделались как дети.

Печатники Шу-лейн, Патерностер-роу и других мест, проявлял обычную свою коммерческую хватку, соблазняли детей сборниками сказок и песен, потоком сходившими с их станков; публикуемые тексты, разумеется, были полны лондонских примет. «По городу ходила я и устриц продавала» из учебника правописания XVIII века — простейший из многих примеров стихов и песен, где говорится о тех или иных лондонских торговых и ремесленных профессиях. Есть детские песни о молочницах Излингтона, о трубочистах Чипсайда, о портных, о пекарях, об изготовителях подсвечников. Некоторые начинаются словами: «Я по мосту по Лондонскому шел» (великая метафора жизненного пути!), однако, разумеется, самая древняя и знакомая из всех

— таинственная песня:

Рухнул Лондонский мост,
Рухнул мост, рухнул мост,
Рухнул Лондонский мост,
Леди моя, леди.

В ее двенадцати куплетах мост постоянно рушится и отстраивается заново: «Древесина прогниет… Камни скатятся на дно… Сталь-железо ржа возьмет… Сребро-злато украдут». С какой стати из уст лондонских детей должны звучать столь странные слова? Не являются ли эти стихи отзвуком древнего поверья — что умилостивить реку, заставить ее смириться с противоестественно пересекающим ее мостом можно только принеся в жертву ребенка? Супруги Оупи утверждают, что эта песня — «одна из немногих, возможно, даже единственная, где есть указания на темный и жестокий обычай былых времен»; затем они описывают связь между строительством мостов и детскими жертвоприношениями. Поющий ребенок, таким образом, косвенно жалуется на свою злую судьбу в городе; возможно, здесь есть намек и на то, что Лондон как целое тоже не может воздвигнуться и устоять без жертв такого рода.

На эти роковые отношения указывает и другая

великая лондонская песня — «Апельсины-лимоны», где перечисление старинных лондонских церквей достигает кульминации в строках

Вот и свеча — проводить тебя спать.

Вот и топор — тебе голову снять.

Происхождение этого двустишия опять-таки неясно. Высказывались предположения, что церкви с их колокольным звоном следует здесь понимать как вехи на пути смертника к эшафоту или же что песня неким образом намекает на кровавую супружескую эпопею Генриха VIII. Однако сила ее заключена в почти колдовском, заклинающем взывании к святым местам. «Звонят уайтчепелские… Звонит олдгейтские», как и колокола церквей Сент-Кэтрин, Сент-Клемент, Олд-Бейли, Флитдич, Степни и собора Св. Павла. Перед нами возникает священный и свирепый город. Можно предположить, что смерть нередко приходила лондонским детям на ум.

«Прошу вас, скажите мне время». — «Скажу, отчего не сказать.

Полчаса как пора было вешать, и пора уже вешать опять».

В другом из подобных умолкших образчиков

устной мнемоники «вешать» заменено на «чмокать»; можно вспомнить, впрочем, что удавка на воровском жаргоне называлась kiss (поцелуй).

Назначение стишков и загадок состояло в тренировке детской восприимчивости, памяти и смекалки, необходимых для выживания в трудной среде. Неудивительно, что юным лондонцам испокон веку свойственны сообразительность и нахальство. Когда Уинстон Черчилль, встретив у своей резиденции на Даунинг-стрит мальчика, попросил его прекратить свист, тот отозвался: «С какой это стати? Не нравится — заткните уши». Обри и Свифт коллекционировали образчики острот и выпадов уличных детей; их примеру последовали другие авторы, от Диккенса и Мейхью до супругов Оупи. Диккенсовский Ловкий Плут — это, пожалуй, лишь чуть подкрашенный вариант произвольно взятого лондонского уличного мальчишки, этого «беса противоречия», каким-то образом умещающего в своем маленьком тельце весь уравнительный дух великого города.

Сразу после Второй мировой войны был снят фильм «Держи вора!», в котором смекалка и наблюдательность мальчика позволяют обезвредить преступную банду. Его спрашивают: «Значит, ты и есть тот мальчуган, которому на

лондонских улицах являются видения?» Такой вопрос мог прозвучать и в раннем Средневековье. В кульминационной сцене фильма ватага детей преследует преступников среди разбомбленных немцами кварталов и разрушенных зданий; здесь в очередной раз возникает вечный образ городского детства. Есть немало картин и литературных текстов, где лондонский ребенок показан на фоне пламени, где его пытаются спасти от набега Боудикки или от огня Великого пожара; однако почему-то образы мальчишек, карабкающихся по развалинам, трогают сильнее. Будь то саксонские дети, играющие на руинах Лондона римлян, или дети XX столетия, скачущие среди военной разрухи, образы эти ассоциируются с вечным обновлением и непобедимой энергией, которые в высшей степени присущи самому Лондону.

Мальчишки и девчонки, затеем-ка игру.

Луна сияет ярко, как солнце поутру.

Забудем все про ужин, забудем про кровать.

На улицу, на улицу — играть, играть, играть.

Этот таинственный образ улиц, наполняющих-

ся игрой, можно дополнить цитатой из пророка Захарии (VIII:5): «И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его». В некоторые места Лондона дети постоянно сходятся для игры; среди них — Эксмут-маркет, Коммершл-роуд, южная и восточная части Элефант-энд-Касла, Госуэлл-роуд и, конечно же, десятки маленьких парков и игровых площадок, эхом перекликающихся по всей столице. Есть участки, которые словно бы приглашают детей к игре, потому что их присутствие смягчает округу и делает ее обитаемой. Например, дети неизменно собирались у Олдгейтского насоса, с восточной его стороны.

В 1931 году Норман Дуглас опубликовал исследование, озаглавленное «Лондонские уличные игры»; целью автора, видимо, было сберечь память о мире, который, как он чувствовал, находился в процессе перехода в некое иное качество. Но помимо этого его труд стал ярким свидетельством изобретательности и энергии лондонских детей и косвенным источником сведений об улицах, служивших вместилищами и стражами их игр. У девочек были такие игры, как «мама, подо мной вода» и «мамина отжималка»; со скакалкой они играли в «Навуходоносора» и

«выше луны». Под шлепанье подошв о тротуар звучали их голоса:

Чарли Чаплин встретил детку
И сказал: «Гони монетку».
Детка плачет, Чарли скачет
И в карман монетку прячет.

Игровые возможности создавались самим строением города. По водосточным желобам катали шарики, мощенные плитами тротуары размечали мелом для «классиков». Стены домов тоже шли в дело: о них щелкали карточками в таких играх, как «ближайший к стене берёт» и «ближайший к стене крутит». Было отмечено, что эти игры «развивают у мальчиков необычайную ловкость рук, которая впоследствии наверняка помогает им в некоторых профессиях — таких, например, как ремесло часовщика». Были различные варианты «салочек» — один назывался «Лондон». Большой популярностью на лондонских улицах, особенно в пригородах, пользовалась игра «делай как я». По ходу ее надо было перебегать улицы в опасных местах, ходить по железнодорожным путям, стучаться в двери домов. И была еще вечерняя игра «мигни фонариком»; как заметил один юный кокни, «в это впотьмах надо, днем какие фонарики?».

В уличные игры хорошо играть в лондонском мраке, ибо «самое веселье, когда никто не видит». Вот почему игры затевались в старых туннелях, на заброшенных рельсах, в запущенных парках и скверах, на маленьких кладбищах. Дети словно бы прячутся от Лондона. Засев в укромном местечке, те, что побойчее, могут изгаляться над проходящими взрослыми, швырять в них чем-нибудь или выкрикивать угрозы типа: «Щас у меня без зубов останешься!» В атмосфере города часто пробуждаются инстинктивная свирепость и агрессия.

Некоторые из самых трогательных памяток о лондонских детях пришли к нам из XVII и XVIII веков. В Холборне и Вестминстере, например, сохранились резные изображения приютских детей. Статуэтки школьников стояли у церкви Сент-Мэри-Розерхайт, где в 1613 году была учреждена «бесплатная школа для восьми сыновей бедных моряков». У церкви Сент-Ботольф-Бишопсгейт были установлены две детские фигурки из керамики, имитирующей камень, на бляхах у них видны номера — 25 и 31. Скульптуры учеников Сент-Брайдской церковной школы в высоту составляют три фута шесть дюймов, что можно принять за примерный рост лондонско-

го ребенка. Фигуры детей, кроме того, стоят на Хаттон-гарден, на Кэкстон-стрит и на Винтнерс-плейс; иные облачены в костюмы, какие носили почти триста лет назад, — синие куртки и желтые чулки (видимо, чтобы отпугивать крыс) — и служат постоянным напоминанием о старинном облике лондонского детства. Они составляют одно целое со всеми прочими каменными или деревянными детскими статуями города. «Толстый мальчик» на Гилтспер-стрит, мальчик с корзиной на Хлебном рынке близ собора Св. Павла, мальчики, играющие и шарики, над входом в одно из зданий на Лоуренс-Паунтни-хилл, малыш с телефонной трубкой на Темпл-плейс — все это образы ребенка, живущего в городе и вместе с тем словно бы выхваченного из времени. В этом смысле все они воплощают вечную природу самого детства.

Однако город, где властвовало время, мог, как и раньше, портить детей. Автор конца XVI века писал, что «миловидные детишки, мальчики и девочки, во множестве бродят по улицам, слоняются у Павла, а ночами спят под изгородями и навесами». Весной 1661 года Пипс писал: «В нескольких местах я спрашивал женщин, не продадут ли они мне своих детей; все они отказали мне в этом, но говори ли, что отдали бы мне од-

ного на содержание, если бы я захотел». Сэмюэл Керуэн, автор еще одного дневника XVII века, идя однажды по Холборну, вдруг увидел в окружении толпы повозку, полную детей. Им было по шесть-семь лет; «юные негодники вечерами шныряли по улицам и крали, тащили, хватали все, на что только могли наложить грязные свои загребущие лапки. Теперь их препровождали куда следует». Большей частью таких детей выбрасывали на улицу либо хозяева, либо родители. В документах Лондонского графства конца XVII века говорится, к примеру, что некие Бенджамин и Грейс Кольер «втихомолку уехали со всеми пожитками, оставив детей без всяких средств». Сара Рейнбоу девять лет служила в питейном заведении в переулке Лонг-элли (Литгл-Мурфилдс) и перенесла «великие тяготы, а недавно — беспричинное месячное заключение в Брайдуэллской тюрьме и прочие жестокости, коих не в силах была вытерпеть». В 1676 году она убежала с двумя своими братьями; один из мальчиков за пять шиллингов завербовался на клипер, направлявшийся на Барбадос, другой бесследно исчез.

Сохранились изображения подобных детей, торгующих, или попрошайничающих, или ворующих на улицах, «почти *нагих* и до последней

степени *несчастных,* поедаемых паразитами, одетых в такие жалкие лохмотья, что по их *платью* невозможно определить, какого они *пола».* Иллюстрации того времени подтверждают плачевность их состояния. На одной мы видим уличного мальчонку в ветхой одежде взрослого — рваное пальто, висящие лохмотьями брюки; шляпа и башмаки непомерно велики ему, а на боку висит жестянка для еды и питья. Паренек, кажется, лишен возраста — или, точнее, все возрасты присущи ему одинаково; безвозрастность эту подчеркивает и взрослое платье, ранее выброшенное кем-то за негодностью. Эти бродячие дети столь же стары и столь же юны, как сам город.

Документы приходских приютов XVIII века полны картин, пробуждающих горестные чувства. Найденышам часто давались фамилии по названиям мест, где их обнаруживали; например, архивы прихода Ковент-гарден пестрят такими именами, как Питер Пьяцца, Мэри Пьяцца или Пол Пьяцца. Оставленных или подкинутых младенцев называли children laid in the streets (детьми, выложенными на улицу), что само по себе достаточно красноречиво. Приходские должностные лица на каждого ребенка, вверенного их попечению, получали десять фунтов, по ка-

ковому случаю устраивался пир, называвшийся «отягощением вертела»; считалось, что «ребенок долго не протянет и потому деньгами можно распорядиться к своему удовольствию». Вновь следует обратить внимание на языческую природу подобных городских ритуалов. По общему мнению, «приходскому младенцу жить восемь-девять месяцев, не больше», и представляется вероятным, что дети эти умирали отнюдь не только своей смертью. В парламентском документе, датированном 1716 годом, сказано, что «великое множество несчастных младенцев и незаконнорожденных подкидышей бесчеловечно губится варварским обращением нянек». В одном приходе Вестминстера из пятисот «выложенных на улицу» остался жив один-единственный ребенок.

Выживших определяли в приходские работные дома. По существу это были примитивные фабрики, где с семи утра до шести вечера дети трудились — пряли шерсть или лен, вязали чулки; час в день отводился на начатки ученья, еще час — «на обед и игры». Как правило, работные дома были грязны и переполнены. Например, в приходе Сент-Ленард (Шордич) «на тридцать девять детей было три кровати». Соединяя в себе

черты фабрики и тюрьмы, работный дом выявлял тем самым свою сущность специфически городского учреждения; часто дети заражались там друг от друга «расстройствами» и инфекционными болезнями, и тогда их отправляли в больницы. Четырехугольник лондонской неволи — работный дом, фабрика, тюрьма, больница — замыкался.

Дети подвергались заточению по той простой причине, что в естественном и свободном состоянии считались дикими существами, Вечно «полуголые или одетые в лохмотья, обмениваются скверной руганью и проклятиями… катаются в грязи, лезут в конуры, воруют на пристанях, тащат из карманов ключи». Они были тем «отребьем», которым «изо дня в день полнятся наши тюрьмы, от тяжести которого стонет тайбернская виселица». Из тех, кто присматривался к жизни общества, лишь очень немногие задавались вопросом: не доводят ли этих детей до звероподобного состояния сами условия лондонского бытия? Осязаемые картины действительности давили на сознание, мешая всякому адекватному, убедительному анализу, идущему дальше констатации дикости и озверения. Беспризорные дети, которых приучили к труду в приходском

работном доме, считались, к примеру, «настолько же отличными от того, чем они были раньше, насколько прирученный зверь отличается от дикого». Однако этот образный ряд применим и к другим существам из коммерческих джунглей Лондона. «Злой хозяин может быть настоящим тигром — и бьет, и бранит, и догола раздевает, и голодом морит, и все, что пожелает, может сотворить с безвинным мальчонкой, и кому до этого дело? Приходскому начальству, сбывшему его с рук, уж точно никакого». Здесь речь идет о «приходском ребенке», продаваемом в ученики; хотя эту ситуацию увековечил Диккенс в «Оливере Твисте» (1837), жестокости и тяготы, с которыми была сопряжена эта торговля детьми, характерны прежде всего для XVIII века.

Обратимся теперь к бедственному положению маленьких трубочистов, которых называли climbing boys — лазающими мальчишками. Обычно их определяли к хозяевам в ученики в возрасте семи-восьми лет, однако нередко пьющие или неимущие родители продавали за двадцать-тридцать шиллингов даже четырехлетних. Требовались именно малыши, потому что лондонские дымоходы были специфически узкими и изогнутыми, вследствие чего легко

забивались сажей и прочим. Маленького трубочиста заставляли протискиваться в эти узкие щели или заталкивали туда силой; боязливых или непослушных, чтобы лезли веселее, кололи булавками или подпаливали огнем. Некоторые гибли от удушья, многие умирали медленной смертью от эпителиомы мошонки — «рака трубочистов». Оставшихся в живых работа уродовала. Один поборник социальных реформ так описывал типичного «лазающего мальчишку», окончившего свой недолгий трудовой век: «В двенадцать лет он теперь калеки на костылях, роста в нем от силы три фута семь дюймов… Волосы на ощупь как свиная щетина, голова как горячая головешка… Он бубнит „Отче наш“». Черные от сажи и прочих отходов города, эти дети если и мылись, то очень редко. Выкрашенные в лондонский цвет, они были подлинным символом самого что ни на есть жалкого состояния, до какого город мог довести своих юных жителей. Обычные уличные персонажи, они бродили и громко выпевали: «Чистить дымохо-од!» Это называлось calling the streets — окрикивание улиц.

В суровых лондонских условиях им, однако, редко сочувствовали. Напротив, их считали по совместительству воришками, попрошайками и

«лучшими поставщиками висельников из всей английской ремесленной братии». Тем не менее — и это еще одно ошеломляющее проявление ритуальной театральности, к которой город всегда был склонен — раз в год для них устраивали праздник. Первого мая, выбелившись мукой и пудрой для волос и действительно став «лилейно-белыми», как шутливо называли трубочистов в те времена, они гурьбой шли по улицам и выпевали свое «Уи-ип, уи-ип». Парад сопровождался стуком ершей для сажи и кошек для лазанья. Этим карнавальным превращением Лондон демонстрировал и грубость свою, и веселость: трубочистам в их несчастливой жизни почти нечего было праздновать, и вот раз в году им позволялось поиграть и почувствовать себя детьми.

Однако имеются здесь и другие смысловые ассоциации, глубоко уходящие в тайну городского детства. «Лазающие мальчишки» в свой праздник обычно украшались золотой фольгой и лентами — в точности как дети, участвовавшие в средневековых шествиях; иными словами, трубочисты становились олицетворением святости и невинности, пусть и в вульгарном варианте. В то же время, проходя по улицам под грохот орудий своего ремесла, они были в тот день «господа-

ми бесчинств»; шум подчеркивал их дикость, которая представляла бы опасность для города, не будь она формализована и подчинена дисциплине ритуала. Игра, невинность, свирепость — все эти стихии в городском ребенке сливаются в одно целое.

Питер Эрл в книге «Полный город людей» замечает, что в начале XVIII века Лондон обольщал детей и молодежь «множеством соблазнов». В их числе — «дурные компании, азартные игры, питье, праздность, мелкое воровство и гулящие женщины». Поэтому лондонские дети по сравнению с провинциальными с самого начала находились в морально невыгодном положении. В питейных лавках «дети пьянствовали с таким самозабвением, что не могли потом выбраться наружу». На гравюрах Хогарта дети тоже выступают зачастую как зловредные или проказливые исчадия города; лица их насуплены от обиды или кривятся в насмешке, наружностью и поведением они передразнивают взрослых или подражают им. Ни четвертой гравюре из серии «Путь повесы» мы видим мальчика, сидящего в канаве, курящего трубочку и внимательно читающего газету «Фартинг пост» («Грошовая почта»). Неподалеку виднеется вы веска игорного дома Уайта на Сент-

Джеймс-стрит, на переднем плане пятеро других детей режутся в кости и карты. Один из этих мальчишек — чистильщик обуви, в буквальном смысле оставшийся без рубашки, другой — торговец спиртным, третий — газетчик (их тогда называли «меркуриями», то есть вестниками). О беспризорниках XIX столетия тоже писали, что «подлинная их страсть — азартные игры, которым они предаются без всякого удержу». В первые десятилетия XX века совсем маленьких детей, случалось, все еще арестовывали за азартные игры на улицах — такие, например, как «пуговки», Так что по меньшей мере два столетия азартные игры являются излюбленным занятием — или отличительной чертой? — лондонской детворы. Да и почему бы им, окруженным городской жизнью с ее превратностями, не быть игроками? На той же гравюре Хогарта чуть поодаль еще один мальчик выкрадывает платок у главного героя — «повесы». Здесь в миниатюре дан образ лондонского ребенка XVIII века, деятельно погруженного во взрослую жизнь улиц. Детские лица, как и лица взрослых, отмечены печатью алчности и стяжательства, витающих над городом, как некие духи-покровители. В серии гравюр «Утро», «Полдень», «Вечер» и «Ночь» дети тоже играют

существенную роль. Некоторые одеты в точности так же, как одеваются взрослые, и выглядят горожанами, превратившимися а карликов или уродцев; другие — оборванные уличные мальчишки, дерущиеся за еду в канаве или сбившиеся для тепла в кучу под деревянным навесом.

Бездомные дети в лохмотьях являются, таким образом, ярким символом городской жизни; на лондонских фотографиях XIX века они, однако, лучше распознаваемы и внушают острую печаль. Перед нами уже не типы и не карикатуры, а знакомые, виденные в жизни человеческие лица — то мягкие, то грустные, то горестные, то озадаченные. Утверждалось, что к концу XVIII столетия филантропический инстинкт усилился и помощь неимущим стала более щедрой; однако существо лондонской жизни осталось прежним. «Преступлений, голода, наготы, бедствий всякого рода в столице столько, — сказал Диккенс одному журналисту в середине XIX века, — что это превышает всякое разумение». Это превышало разумение потому, что голод и бедствия поражали самых юных и уязвимых. В 1839 году почти половину лондонских похорон составляли похороны детей в возрасте до десяти лет, и популярным у ранних фотографов изыском было

снимать малышей среди надгробий городских кладбищ: вот вам викторианская простота во всей ее брутальной красе.

На фотографии, принадлежащей к иному жанру, три девочки сидят на каменном тротуаре, свесив ноги в канаву; одна удивленно обернулась и смотрит на снимающего, однако самое сильное впечатление производит их одежда — темная, блеклая. Они словно бы подлаживаются под темный, потрескавшийся камень вокруг, чтобы стать почти невидимыми. Многим теперь невдомек, какой грязной и неприглядной была столица в Викторианскую эпоху; улицы были вечно завалены мусором, повсюду сажа и въевшаяся угольная пыль. Диккенс писал: «Многие ли, окруженные этой смесью тошнотворных запахов, этими кучами нечистот, этими обваливающимися домами со всем их мерзким содержимым, одушевленным и неодушевленным, склизко ползущим на черную дорогу, готовы были бы сказать, что действительно *дышат* этим воздухом?»

На другом снимке — семеро мальчиков, с которыми фотограф явно поработал заранее, сотворив живую картину; получилась, однако, живая картина нужды. Все они босы, один разжился поношенной шляпой, но штаны у него такие

рваные, что из них торчит голое колено. Как они ухитрялись существовать — вечная тайна; вид у них истомленный, но не такой уж голодный. Есть знаменитая фотография мальчика, торгующего спичками фирмы «Брайант и Мэй». В том, как он держит коробок, чувствуется гордый вызов: дескать, покупать или нет — смотрите сами, а я выживу так и так.

В первой половине XIX века князь Герман фон Пюклер-Мускау углядел в бурном потоке экипажей мальчика лет восьми, самостоятельно правящего своей повозкой, и заметил, что «такое… можно увидеть только в Англии, где к восьми годам дети независимы, а в двенадцать висят». Подлинно знаменитым стало данное в 1826 году одним путешественником описание группы двенадцатилетних смертников из Ньюгейтской тюрьмы: «хотя все были приговорены к смертной казни, они вместе курили, играли и были очень веселы». В 1816 году в лондонских тюрьмах содержалось 1500 заключенных, не достигших семнадцати лет. «Иным едва исполнилось девять или десять, — сообщается в „Ньюгейтских хрониках“. — Дети начинали воровать, едва научившись ползать. Бывали случаи, когда за преступления судили шестилетних».

Дети по всем правилам объединялись в банды; «каждая выбирала себе вожака и подразделялась на смены, действовавшие в определенных районах — одна днем, другая ночью». Наиболее распространены были карманничество, воровство в магазинах и лавках, кражи с витрин и ограбление пьяных. В последнем случае «вначале нападали девчонки, затем мальчишки обирали его до нитки».

В XIX веке уличных детей называли «маленькими арабами», шовинистически подчеркивая тем самым их дикость. В связи с этим, может быть, уместно будет вспомнить, что в состоятельных семьях непослушных детей называли «маленькими радикалами», словно бы говоря тем самым: источник социального бунтарства — в энергии юных. В 1870-е и 1890-е годы вышли три различные книги под одинаковым названием «Детский крик», что указывает на частоту этого тревожного звука; крик можно истолковать и как плач, и как боевой клич. Толстой, посетивший Лондон в 1860 году, заметил: «Когда и вижу этих грязных оборванных детей с ясными глазами и ангельскими лицами, меня охватывает страх, точно при виде утопающих. Как их спасать? Кого в первую очередь? Ведь тонет самое дорогое — ду-

ховное начало в этих детях». Чарлз Бут однажды повстречал группу «арабов-кокни», состоявшую из «маленьких, загрубелых на вид детей». «Я сказал, что в такой час им лучше бы находиться дома и спать, на что девочка лет восьми (и к тому же маленького росточка) ответила и за себя, и за дружка тоном не по годам развязным: „Шутите, дяденька? Мы тут с хахалями гуляем — вот он, хахаленок-то мой“. — „Ага, — подхватила другая. — А вот мой“. Последовал дружный смех, сменившийся жалобным: „Дайте нам денежку, дяденька, ну дайте“».

С лондонской детворой было выгодно иметь дело. «Никакое вложение капитала, — писал в 1892 году автор книги „Дети бедноты“, — не дает ныне лучшей отдачи, чем использование детской рабочей силы». Некоторые из детей становились «мальчиками на побегушках» или разносчиками пива; другие, подрядившись убирать на оживленных улицах конский помет, надевали красную униформу. Придерживали лошадей для тех, кто останавливался что-то купить по дороге; таскали чемоданы и сундуки на вокзалах или помогали пассажирам на стоянках омнибусов; стояли у дверей театров и прочих общественных мест, готовые раздобыть кеб — особенно в дождливую

погоду; пособляли уставшим носильщикам и хлебнувшим лишнего кебменам. Можно представить себе город детей (число тех, что были заняты уличной работой, оценивается в десять-двадцать тысяч), высматривающих работу и, когда она подворачивается, жадно за нее хватающихся. Они были подлинным порождением Лондона.

Другие становились уличными торговцами и часто были узнаваемыми фигурами со своими прозвищами — например, Воробышек или Ранняя Пташка. Им завидовали «безработные малыши, для которых отнести куда скажут корзинку фруктов было способом получить толику независимости». Взгляд этих детей на жизнь небезынтересен: любая, даже малейшая возможность заработка позволяла тебе стать уличным господином или госпожой и гулять как тебе вздумается. Торговцы фруктами и прочим товаром нанимали «ничейных детей» продавать мелкие партии. Ребенок брал обязательство вернуть определенную сумму, а то, что ему удавалось выручить сверх нее, составляло его «навар». С первым светом дети стекались на многочисленные уличные рынки. Подбегая к тачкам торговцев фруктами, мальчик кричал: «Я нужен, Джек?» или: «Сговоримся, Билл?» Порой приходилось

ждать своего часа целый день, но при удачном стечении обстоятельств малец мог стать любимчиком того или иного торговца. Часто мальчика нанимали «выкрикивать» товар, который они с хозяином везли по улицам в тачке. Этот обычай можно было бы счесть симпатичным — однако «естественный мальчишеский тембр совершенно исчезает в очень раннем возрасте, и вместо него возникает грубый, хриплый, гортанный, неблагозвучный голос». Вот они, физические последствия городской жизни: Лондон высасывал соки даже из детских голосов, превращая их чистые тона в рваный хрип.

Другим источником дохода лондонских детей были увеселительные зрелища, которые они устраивали для горожан. Например, мальчики состязались в быстроте передвижения с трамваями, «не только резво работая ногами, но, кроме того, то и дело вставая на руки и проходя несколько „шагов“ вниз головой». Популярнейшим местом этой живой работенки была Бейкер-стрит, где дети ходили колесом, «чтобы привлечь внимание и получить преимущество, если имелись виды на какой-нибудь заработок, а также в надежде на полпенса за проворство». Будучи частью лондонского театра, эти уличные представления не

обходились, однако, без последствий, Мейхью осмотрел руки одного такого мальчишки: «Ладони у него были жесткие, как подметочная кожа, и по твердости не отличались от подошв его босых ступней». Улицы делали своих детей жесткими во всех отношениях. В довершение всего лица у них были «бесстрастные и невыразительные».

Торгуя «на свой страх и риск», дети не всякий товар могли продавать. Торговля патентованными медикаментами была делом взрослых, умевших дурачить публику; не умели дети и всучивать людям после публичных казней «Предсмертные речи». Более любопытным, однако, представляется то, что у юных продавцов нельзя было купить таких детских вещиц, как стеклянные шарики или волчки. Причина, возможно, довольно глубока. Кто захочет покупать атрибуты детской невинности и игры у тех, кто неизменно лишен подобных вещей?

К услугам уличных детей были грошовые балаганчики, где ставились любительские спектакли для зрителей, пришедших, как и актеры, с улицы. Царившие там грязь и пошлость стали притчей во языцех. Между тем для лондонских детей из более состоятельных семей существовали другие сценические формы, главной из которых

был игрушечный театр. Он продавался вместе с вырезанными и наклеенными на картон персонажами — «простой за пенс, раскрашенный за два», — которых перемещали по деревянной или картонной сцене, держа за особые проволочки или палочки. Разыгрывание пьес было глубоко лондонским времяпрепровождением, в котором органически слились традиция карикатуры или сатирической гравюры (они были выставлены в витринах у множества продавцов гравюр и эстампов) и традиция лондонской драмы или рождественского представления.

Первый из этих детских театриков был сделан в 1811 году, и вскоре они приобрели огромную популярность. Когда Джордж Крукшенк стал мешкать с их выпуском, «мальчишки повадились ходить к нему в магазин и ругать его на чем свет стоит — от него, мол, не дождешься продолжений его пьес». Игрушечный театр, таким образом, составил часть истории лондонских зрелищ, и питали его сюжетами все те же готика и фантасмагория. Он, кроме того, имитировал юмор и разноголосицу «большой» лондонской сцены своими бурлесками и буффонадами: «The Sorrows of Werther» («Страдания Вертера») превратились в «The Sorrows of Water, or Love, Liquor

and Lunacy» («Страдания от воды, или Любовь, спиртное и безумие»).

Но многих отношениях Лондон был городом мелодрамы, и юные его жители были неравнодушны к театральной игре и декламации. Один из ежедневных уроков чтения в лондонских школах основывался на драматургическом материале, и мальчики и девочки города испытывали настоящую «страсть к актерству». В «Ярмарке тщеславия» (1847–1848) Теккерей выводит двоих лондонских мальчиков, имеющих явную «склонность к изображению театральных типов». Другой лондонец, писавший в начале 1830-х, отмечает, что «почти у каждого мальчика имеется игрушечный театр».

Картина «Вечерний Панч», написанная в 1898 году, изображает группу детей, зачарованно глядящих снизу вверх на представление с Панчем и Джуди, даваемое в балагане при свете масляных ламп. Иные из них босоноги, иные в лохмотьях, и все стоят на грубых камнях, но поглощенные зрелищем детские лица озарены ярким светом — или, возможно, сами порождают это сияние, изливающееся во мрак лондонского вечера. Сходное ощущение сверхъестественного возникает, когда читаешь о детях, играющих на

улицах города. Немецкий автор Теодор Фонтане описал весну в «Грачовнике» Сент-Джайлса, когда «дети вынесли на улицу единственную свою немудрящую игрушку — самодельные воланы, и повсюду, куда ни глянешь, множество бледных, преждевременно состарившихся лиц с темными блестящими глазами, а воланы порхают себе вверх-вниз, отсвечивая, как стайка освещенных солнцем белокрылых голубей». Здесь есть ощущение чуда и тайны, которое дарует нам идущая из зловонных и грязных трущоб волна счастья и смеха. Не о невинности, противопоставляемой опыту, идет речь (невинными эти дети отнюдь не были), а о некоем торжестве человеческого воображения над городом. Даже в средоточии мерзости дети нуждались в веселье и имели на него право.

Это чувство — этот прилив взволнованной человечности — возникает и во многих описаниях детского уличного танца. В «Неизвестном Лондоне» А. Т. Камден-Пратта говорится о «диковинном зрелище» на Холиуэлл-стрит в конце XIX века: «На улице дети танцуют в ряд под шарманку, которая, кажется, не умолкнет никогда… Видно, что все они делают одно и то же простое па, — но до чего иногда изящны эти

неопрятные девчонки!» Это похоже на какой-то ритуальный танец под вечно звучащую музыку — на танец города. Ивлин Шарп в «Лондонском ребенке» пишет, что «иногда они танцевали синхронно, иногда — как своего рода кордебалет для маленькой босоногой примы-балерины во взлетающем передничке; и неизменно они выдавали свое родство с той пестрой толпой, что в диком самозабвении пляшет под бренчание уличной шарманки». Вновь заявляет о своем постоянном присутствии вездесущая шарманка, как если бы через ее посредство звучали сами камни, однако простой ритуализованный детский танцевальный шаг уступил место дикости и «самозабвению»; в неистовом танце они хотят забыться, выйти из условий обыденного существования. Косвенно они бросают городу вызов. Раз мы можем так танцевать — ничего ты с нами не сделаешь!

В одном стихотворении 1894 года описывается «дочь Сити — полудевочка, полуэльф… болтающая сама с собой» и играющая в «классики» на ступенях собора Св. Павла. Лондон «тщетно грохочет», пытаясь завладеть ее «рассеянным слухом», а она не удостаивает и взглядом высящуюся над ней церковную громаду. Здесь высвечены

достоинство и самодостаточность «дочери Сити», которые не имеют ничего общего с какими бы то ни было проявлениями мощи и делового успеха вокруг нее. Она словно бы порождена самими городскими условиями, и в то же время в ней есть нечто, способное игнорировать их. В эту тайну был посвящен поэт конца XIX века Лоренс Биньон, который изобразил двоих детей, танцующих в переулке «лицом к лицу» под звуки пресловутой шарманки. Они смотрят друг на друга «сияющими серьезными глазами, полными совершенного удовольствия». Общая радость и взаимопонимание возвышают их над неприглядным материальным миром вокруг. В романе Джорджа Гиссинга «Фирца» (1887) Гилберт Грейл сворачивает на Ламбет-уок[138], и «стоило ему это сделать, как перед ближайшим питейным заведением заиграла шарманка. Грейл подошел ближе; дети затеяли танец, и он остановился посмотреть. Знакомы ли вы с музыкой сумрачных улиц, под которую танцевали дети?.. волнение, какое вам и не снилось, коснется вас, и в нем вам откроется секрет потаенного Лондона». Это великий секрет тех, кому довелось существовать в темном сердце

[138] Примечания: 138

Улица Ламбет-уок дала название популярному танцу, участники которого выстраиваются цепочкой, обычно на улице.

города. Это вызов и самозабвение, сплавленные воедино. Это лондонский танец.

Ламбет ныне, как и многие другие районы Лондона, стал тише. Детей на улицах не видно вовсе, однако небольшой сквер на Саламанка-стрит, называемый Педлерс-парк, означен как «детская игровая площадка». В свое время весь Лондон был одной «игровой площадкой» — теперь же для детской игры выделены особые зоны. Улица Ламбет-уок, ранее бывшая центром Старого Ламбета, сейчас сделана чисто пешеходной и застроена трехэтажными муниципальными домами из темного кирпича. Она ведет к торговому пассажу, который, однако, не назовешь новеньким; по нему, ругаясь сквозь зубы, ковыляет пьяный. Магазины закрыты, а иные и вовсе бездействуют. Но росписи на стенах, возвышающихся над пассажем, изображают детей. На одной, датированной 1851 годом, — ученики Ламбетской школы для бедных на Ньюпорт-стрит. На другой голоногая детвора весело пляшет в струях воды из поливальной цистерны; образ навеян фотографией, сделанной Уильямом Уиффином примерно в 1910 году. И вдруг — пожалуйста: 1 июля 1999 года четыре девочки затевают посреди Ламбет-уок игру со скакалкой.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Глава 69
Время не подскажете?

Природа лондонского времени таинственна. Кажется, что оно не течет непрерывно в одну сторону, а то и дело заворачивает назад, идет вспять; оно напоминает не столько реку или ручей, сколько поток лавы, извергаемой из некоего неведомого огненного источника. Порой оно движется равномерно, а потом вдруг устремляется вперед рывком; порой замедляет ход и, случается, ложится в дрейф и замирает совсем. Есть в Лондоне места, где вполне можно подумать, будто времени пришел конец.

О древних лондонских обычаях в средневековых документах говорится, что они существуют «со времен немыслимых, о коих нет никаких супротивных людских памятований»; о том или ином сооружении могло быть сказано, что оно стоит, «где стоит ныне, более долгое время, чем любому из судей помнится лично». Эти ритуальные, стандартные фразы свидетельствуют о том, что самым ранним мерилом времени была человеческая память как таковая. В анонимном

средневековом стихотворном житии св. Эркенвальда заходит речь о перестройке собора Св. Павла в XIV веке. Разбирая древний фундамент, каменщики обнаруживают громадную гробницу, где покоится не тронутый тлением труп судьи-язычника. Труп говорит: «Лежу здесь с поры незапамятной. Дать этому времени меру — превыше сил человеческих». Лондон, однако, уже в ту «незапамятную пору» был «столицей и главой городов, каковым он пребывает от века». Над трупом совершается обряд крещения, душа судьи спасена, и «все лондонские колокола громко и дружно трезвонят».

Кроме времени, измеряемого человеческой памятью, существует, таким образом, сакральное время, чей голос — колокольный звон.

Явления Богоматери в церкви Сент-Бартоломью-де-Грейт и чудеса, связанные с церковью Св. Марии в Уиллсдене, говорят о том, что Лондон был, помимо прочего, прибежищем вечности. В колокольном благозвучии сакральное время венчалось с мирским. Наряду с этим на протяжении многих веков действовала своего рода повседневная память общины: «В тот великий мороз… в последнюю страшную бурю… завсегда после морового года… через два или три дня после

большого ветра». Лондонские события служат вехами для не слишком точной, зато полезной хронологии. Время размечалось также людскими собраниями: «в час проповеди», «в час торгов, когда коммерсанты сходятся на Королевскую биржу». Ощущается и человеческий масштаб — указателями времени могли стать свет и темнота: «ближе к вечеру, перед зажжением свеч»; «в сумерки, когда вечерело».

Дух города живет и в украшающих его изречениях. Из четырех «настенных циферблатов» Иннер-Темпла один был снабжен надписью: «Свое дело знай, в чужое не лезь» (подлинно лондонский афоризм!). На солнечных часах Памп-корта[139] высечены слова: «Тени мы и, подобно теням, исчезнем». Строения Линкольнс-инн были украшены двумя эмблемами священного времени. На южном фронтоне Старого здания было начертано: «Ex Hoc Momento Pendet Aeternitas» («От мига сего вечность зависит»), а чуть поодаль — «Qua Redit Nescitis Horam» («Час возвращения его неведом»). Эмблемы эти суть письменные эквиваленты церковных колоколов, оглашавших звоном городские улицы. О подлинной природе

[139] Примечания: 139

Памп-корт (буквально — «двор водокачки») — одна из старейших частей лондонского Темпла.

Лондона говорят и надписи на солнечных часах Миддл-Темпла: «Время и прилив никого не ждут» и «Vestigia Nulla Retrorsum» («Ни один миг не возвращается»). Таким образом, даже солнце и свет подчинены настойчивому ритму городской деятельности.

Понятна при этом господствующая роль, которую играло в городе время механических часов. Кристофер Рен, проектируя лондонские церкви, снабжал их башенными часами; несомненно, их бой стал заменой звучавшему встарь колокольному звону, однако можно, кроме того, подумать, будто само время сделалось объектом религиозного культа. В начале XVIII века над входом в часовой магазин Беннетта (Чипсайд, дом 65) появились фигуры Гога и Магога, установкой которых владелец выразил глубокую истину: отбивая час за часом, эти божества-хранители Лондона утверждали единство времени и города. В городе, основанном на труде и найме, на мощи и коммерции, время становится одним из аспектов меркантилизма.

Нот почему Лондон стал славен своими башенными часами — от часов на соборе Св. Павла до «Биг-Бена» на башне Св. Стефана в Вестминстере — и знаменит своими часовых дел мастерами.

Таких искусников, как Чарлз Греттон и Джозеф Антрам на Флит-стрит, как Джон Джозеф Мерлин на Ганновер-плейс, как Кристофер Пинчбек на Сент-Джонс-лейн, часто посещали иностранцы, и они были видными лондонскими фигурами; Пинчбек открыл для посетителей часовую галерею, где демонстрировал свои достижения, Мерлин учредил свой собственный Механический музей. Измерение времени и хитроумие предназначенных для этого инструментов всегда завораживали лондонцев; внимание к измерительному процессу было в городе беспрерывного движения и производства также и вниманием к его собственной энергии, к его собственному величию. Неудивительно, что Лондон стал вдобавок ко всему мировым центром выпуска карманных и наручных часов. В частности, в одном Кларкенуэлле в конце XVIII века трудилось более семи тысяч часовщиков, собиравших в год 120 000 часов, из которых 60 % шло на экспорт. Казалось, Лондон вырабатывал время как таковое и затем распределял по всему земному шару. Характер производства, при котором мастера, жившие в разных частях Кларкенуэлла, делали каждый свою маленькую деталь часов, позволяет представить себе этот район одним большим

часовым механизмом, чей циферблат обращен к небу.

О положении Гринвича на нулевом меридиане всем известно, однако на этом знаменитом месте было установлено еще и сигнальное устройство эталонного времени — деревянная или кожаная сфера диаметром в пять футов, которая поднималась и опускалась посредством гальванического часового механизма; этот прибор считали «самыми замечательными часами в мире», регулирующими «время на всех больших и малых часах Лондона». В частности, «при весьма незначительных затратах… можно обеспечить истинным гринвичским временем каждое учреждение в Сити». Так соединяются время и бизнес. Другие знаменитые часы были установлены в 1870-е годы на почтовом отделении у церкви Сент-Мартин-ле-Гранд; известные под названием «хронофер», они посредством «временных токов», бегущих по линии электрического телеграфа, синхронизировали время в «шестнадцати главных городах королевства». Лондон, таким образом, властвовал над временем по всей стране. Принимая во внимание центральное положение Гринвича, можно даже сказать, что он контролировал время по всему миру. Существовало

также понятие «железнодорожного времени»: поезда, шедшие из Лондона, устанавливали время на провинциальных станциях, которые они проезжали.

В Лондоне XXI века время тоже несется вперед и виднеется повсюду; оно вывешено на неоновых панелях, высвечено на фасадах деловых учреждений. Часов несметное множество, и у большинства горожан образ времени пристегнут к запястью. Можно даже сказать, что время — это всеобщая и характерная навязчивая идея лондонцев. Поэтому все коммерческие операции должны проводиться и фиксироваться в наикратчайшее время; информация важна лишь в том случае, если к ней имеется мгновенный доступ. Чем скорее будет сообщено о событии или сделке, тем большее значение они приобретут. Зажиточные лондонцы XIV века, которые первыми приобрели для своих жилищ часы с противовесом, положили начало процессу, в ходе которого Лондон наложил руку на время и сделал его товаром. Город давит на своих обитателей, и свидетельством этого давления служит время, которому он их подчиняет; есть время для еды, время для работы, время для поездки на работу, время для сна. Здесь проявляется великое тор-

жество материализма и коммерции в городской жизни.

Последствия видны по поведению лондонцев на протяжении многих лет и по господствующей здесь образности. Один наблюдатель XVIII века заметил, что в Лондоне «мало разговаривают — потому, полагаю, что не хотят терять время». По той же причине здесь не принято торговаться, и обычай установления фиксированных цен — «это результат не только конкуренции и уверенности в себе, но еще и необходимости беречь время». Часто отмечалась быстрота лондонской походки. Если у этой беспокойной торопливости есть причина, то, возможно, она в укоренившемся на генетическом уровне инстинкте: время — деньги.

Одна старинная лондонская надпись гласит: «Как ценна всякая нить золотой ткани, / Так ценна всякая минута времени». Время не следует «тратить попусту». Шатобриан заметил, что именно эта навязчивая идея делает лондонцев невосприимчивыми к искусству и к культуре в целом: «Они отгоняют всякую мысль о Рафаэле, ибо думать о нем — значит *терять время*, и ничего больше». Он многозначительно связывает это с необходимостью трудиться: лондонцы «вечно

пребывают на грани голодной смерти, которая грозит им, если хотя бы на миг они забудут о работе». Время и труд действительно неразрывно сплетены в глубинах лондонского сознания; их не разъединить даже на мгновение, и сплав этот порождает неистовую, непрекращающуюся деятельность. Уподобляясь автоматам, горожане становятся деталями исполинских часов — Лондона. И тогда время оборачивается тюрьмой. В одной дешевой лондонской книжке загадана загадка. Что я такое?

Я пташку стерегу в неволе,
Она из клетки не уйдет.
Все птицы спят в лесу и в поле,
А эта день и ночь поет.

Ответ — часы. Помышлениями о времени была незримо оплетена даже виселица. Один из тех, кому предстояло погибнуть на ней, заявил в предсмертном слове: «Мужчины, женщины и дети! Я повисну здесь, подобно маятнику часов, ибо стремился к чересчур быстрому обогащению». О том, что близится время казни, узнавали по башенным часам на церкви Гроба Господня в Ньюгейте.

Есть, разумеется, способы контроля над временем. В «музыкальной лавке» начала XVIII века Нед Уорд увидел служителя, который «отбивал такт по прилавку», тогда как посетители танцевали под звуки свирелей и скрипок. Сцена, разумеется, древняя, но по сю пору знакомая, и говорит она о том, что убежищем лондонцев от посягательств часов с их механическим временем неизменно могут служить песня и танец; это, по крайней мере, способ «обскакать» время. Есть, кроме того, места, где время порой перестает существовать. Например, для лондонских заключенных «день тянулся за днем, но положение их не менялось… всякий миг был мигом страданий, однако они всей душой желали его продлить, опасаясь, что будущее принесет еще более суровые испытания». Во время Второй мировой войны Гарольд Николсон писал: «Живешь настоящим. Воспоминания о прошлом — одна грусть, мысли о будущем — одна безысходность. Пешком иду в Лондон. После обеда обратно в Темпл». Он шагает сквозь лишенный времени город, объятый тьмой из-за светомаскировки; в иных районах Лондона время и ныне словно бы замерло или бесконечно движется по кругу.

Это явление особенно заметно в Спитлфилдс,

где люди поколение за поколением обитали все в тех же домах и занимались все теми же ремеслами — ткачеством и крашением. Следует сказать, что у рынка Спитлфилдс археологи обнаружили слои человеческой деятельности, уходящие в глубокую древность — ко дням римского завоевании.

В Шордиче и Лаймхаусе время тоже течет медленно; эти районы достигли некой конечной точки, когда, кажется, ничто новое уже не способно пробиться. На Чипсайде и в Стоук-Ньюингтоне время движется быстро и ровно, в Холборне и Кенсингтоне — толчками. В книге «Софт-сити» Джонатан Рабан пишет: «Время Эрлз-корти совершенно иное, нежели время Излингтона», имея в виду, что ритмы, навязываемые жителям этих районов, своеобразны и распознаваемы. Есть места, где чувствуется присутствие старого времени например, Кларкенуэлл и его окрестности или улочки поблизости от Мейден-лейн. А другие части города — например, Тотнем-корт-роуд и Лонг-Эйкр, — кажется, пребывают в состоянии вечного обновления и неузнаваемости.

Есть, кроме того, формы существования вне времени. Бродяги и дети движутся в ином измерении, нежели те, кто торопливо минует их на

оживленных улицах.

Глава 70
Дерево на углу

На углу Вуд-стрит и Чипсайда стоит платан. Никому не ведомо, как долго он высится на этом месте, где в старину был погост при церкви Си. Петра, сгоревшей во время Великого пожара 1666 года; как бы то ни было, в нынешних документах дерево означено как «очень старое», и вид его был привычен людям на протяжении столетий. В частности, в 1799 году это дерево, стоящее в центре Лондона, вдохновило Вордсворта на создание стихотворения, в котором на месте

> *Чипсайда возникает волшебная картина природного мира:*
>
> *На углу Вуд-стрит, когда загорается день,*
>
> *В воздухе парит дрозд и громко поет — он поет уже три года;*
>
> *Бедная Сюзан, проходя мимо этого места, услышала*
>
> *В утренней тишине пение птицы*[140].

---

[140] Примечания: 140
Здесь и ниже — подстрочный перевод.

Завороженная, она грезит:

Вот высится гора, а вот стоят деревья,

Сквозь Лотбери скользят светлые клубы пара,

И по ущелью Чипсайда течет река.

Эти строки можно истолковать как свидетельство нелюбви Вордсворта к городу и желания поставить на его место «природу»; не исключено, однако, что это еще и взгляд поэта в первозданное прошлое. Дерево рождает образы своих далеких предшественников. На этом углу Вуд-стрит все дышит преемственностью. С деревом связано даже название улицы (Лесная); здесь и впрямь в старину торговали лесом, однако за старый платан беспокоиться нечего — он под охраной и никогда не будет срублен. Весной 1850 года на его ветвях расселись грачи, чем была подтверждена древняя связь между Лондоном и этими черными птицами. Лондонский платан зеленеет среди уличной пыли и гари, и дерево на углу Вуд-стрит стало символом города. Достигая сейчас в высоту примерно семидесяти футов, оно по-прежнему полно жизни.

Под ним теснятся маленькие магазинчики,

которые являются приметой этого угла без малого шестьсот лет. В 1401 году у кладбищенской стены здесь была возведена так называемая Длинная лавка, затем к ней присоединились другие; в 1687 году, после Великого пожара, все это было отстроено заново. Площадка очень мала в глубину, и все магазинчики по-прежнему представляют собой двухэтажные плоские коробки. Торговля на протяжении столетий здесь шла самая разная — серебром, париками, писчебумажными товарами, маринадами и приправами, фруктами, — неизменно отражая характер коммерческой жизни города. Наполнение может меняться, но форма остается той же. В более близкие к нам времена здесь располагались белошвейная мастерская, оптовый магазин нот, кондитерская и ателье по пошиву платьев. Чуть позже Второй мировой войны здесь взяли интервью у владелицы цветочного магазина по имени Кэрри Миллер, родившейся в Сент-Панкрасе и ни разу не выезжавшей из Лондона: «Мне повезло, что я нашла этот магазинчик под знаменитым деревом на Вуд-стрит. До меня здесь торговали игрушками. Сити у меня в крови теперь. Куда угодно меня отсюда позови — не поеду». Так крохотная площадка, угол двух улиц, демонстрирует

преемственность на всех уровнях — человеческом, социальном, природном, общинном. Ныне здесь белошвейная мастерская Л. и Р. Вудерсенов, рекламирующая себя как мастерская «Под деревом», газетный киоск с вывеской: «Тайм-аут. Живой лондонский путеводитель» и сандвич-бар «Свежий выбор».

Подобные линии преемственности существуют в Лондоне повсюду; иные уходят в глубокую старину. Многозначителен, например, тот факт, что аэропорт Хитроу построен на месте стоянки железного века; в западной части летного поля с его дорожками обнаружены свидетельства о том, что в эпоху неолита здесь проходила тропа в две мили длиной. В некоторых местах города в неизменном виде сохранился первоначальный рисунок улиц римской эпохи; нынешние Чипсайд, Истчип и Криппллгейт пролегают все по тем же древним путям. На Милк-стрит и Айронмонгер-лейн, где миновало семь последовательных волн строительства, каждый раз использовались в точности одни и те же площадки, хотя за это время уровень улицы поднялся примерно на три фута и три дюйма.

Помимо физической есть и духовная преемственность. С. М. Баррон, историк прихода

Сент-Эндрю (Холборн), заметил, что «вдоль римского тракта, который шел от Ньюгейта на запад, протянулась сплошная полоса захоронений». Позднее здесь проходил путь из Ньюгейта в Тайберн — роковой путь приговоренных к смерти; гиблая дорога была, кажется, приготовлена заранее. Сходным образом стоит отметить, что у церкви Св. Андрея, давшей название этому приходу, обнаружены археологические свидетельства о языческих кремациях, о римских гробницах и о раннехристианских местах молитв; на этом, без сомнения, священном месте обмениваются излучениями последовательные слои культовой деятельности. Археологические раскопки кладбища у церкви Сент-Кэтрин-Кри между Леденхолл-стрит и Майтер-стрит принесли интересные данные о непрерывности захоронений. Как сообщает журнал «Лондон аркеододжист», здесь имеются «римские участки», которые перемежаются «захоронениями в каменно-известковых гробницах», возможно, связанными с «кладбищем позднесаксонского периода, раскопанным восточнее… Это место используется как кладбище вплоть до нынешнего дня. Умерших хоронят в деревянных или свинцовых гробах, и уровень земной поверхности постоянно повы-

шается».

Лондонцы, кажется, инстинктивно чувствуют, что некоторые места по-прежнему являются средоточиями силы. Возможно, преемственность — величайшая сила из всех. На монетах древних племен, обитавших в районе Лондона, — в первую очередь иценов — изображен грифон. Эту жадную и прожорливую птицу и поныне можно видеть на гербе Сити. Спустя две тысячи с лишним лет после их появления грифоны все еще охраняют рубежи Сити.

В пределах Сити административный рисунок округов (уордов) восходит к глубокой древности; эти единицы местного самоуправления существуют по крайней мере с начала IX века, и их очертания остаются неизменными по сей день — к началу XXI столетия. Это обстоятельство настолько примелькалось, что его ошеломляющую необычность часто упускают из виду. Нет другого города на свете, который демонстрировал бы такую политическую и административную преемственность; эта уникальность — один из телесно ощутимых факторов, делающих Лондон городом отзвуков и теней.

Физическое строение города тоже отличается замечательным постоянством. Питерз-хилл и

Аппер-Темз-стрит были распланированы в XII веке. Очертания многих других улиц имеют сходную историю, причем границы земельной собственности остаются неизменными многие сотни лет. Даже опустошение, причиненное Великим пожаром, не стерло древнего рисунка улиц и территориальных рубежей. Подобная преемственность оказалась присуща и улицам, распланированным после пожара: они проявили такую же живучесть и стойкость. Например, Айронмонгер-лейн имеет одну и ту же ширину в течение почти 335 лет. Эта ширина была и остается равной четырнадцати футам, что в старину позволяло свободно разъехаться двум повозкам. Еще одним аспектом этой непрерывности лондонской истории является то, что структура города приспосабливается к совершенно различным средствам передвижения.

В начале XIX века Джорд ж Шарф изобразил устричную лавку на углу Тайлер-стрит и Кинг-стрит чуть к востоку от Риджент-стрит; малую глубину ее интерьера объясняет Питер Джексон, редактор последнего издания Шарфа: «Все дома по северной стороне Тайлер-стрит выравнивались по линии, существовавшей со Средних веков, и угол, под которым шла эта линия, заставлял дома

чем дальше, тем сильнее „сплющиваться“». Улицы теперь носят другие названия (Фубертс-плейс и Кингли-стрит), но и по сей день «здания на этом месте сохраняют прежние пропорции».

Еще более замечательное вещественное свидетельство прошлого расположено немного западнее — на Парк-лейн. Нижняя часть этой улицы, от Вудз-мьюз до Стенхоуп-гейт отличается неровной линией домов: каждое следующее ответвление начинается немного левее предыдущего, так что «профиль» улицы представляет собой ступенчатую линию. И это не случайность и не архитектурная прихоть: старинная «карта или план владений лорда Эбери» показывает, что здешние улицы были проложены в соответствии с рисунком земельных наделов, некогда нарезанных в этой местности. Эти наделы образовались в рамках сельской общинной системы саксонского периода, так что неровная линия Парк-лейн — примета продолжающегося присутствия и влияния саксов. Точно так же, как их округа сохраняют в городе свою властную энергию, их система фермерского землевладения участвует в сотворении структуры и топографии современного города. Сходным образом изгиб Вест-стрит там, где сейчас находится ресторан

«Айви», в точности повторяет изгиб сельской дороги, проходившей здесь в старину.

Гизуэлл, картограф XVI века, создал карту района, который соответствует нынешнему Вест-энду. В то время там были сельские земельные угодья с деревнями Сент-Джайлс и Чаринг и вьющимися проселками. Но если наложить на елизаветинский план современную карту, окажется, что главные проезжие пути и самые заметные топографические приметы совпадают. Этому нужно не удивляться как курьезу, а дивиться как чуду. Если взглянуть на город в таком свете, он начинает открывать свои тайны. Всюду становится слышна непрекращающаяся перекличка. В книге «Лондон: уникальный город» Стен Эйлер Расмуссен, один из великих авторов, писавших о Лондоне, замечает о стандартных лондонских жилищах: «Маленький дом, каких были тысячи и тысячи, составляет в ширину всего шестнадцать футов. Возможно, таков обычный размер участка начиная со Средних веков». Он добавляет, что «единообразие домов возникло само собой, без всякого принуждения». Дома, таким образом, рождаются вследствие некоего инстинкта, некоего древнего императива, подобно клеткам человеческого тела. Издав в 1580 году указ о

том, что один дом должна занимать одна семья, Елизавета I выразила другую великую истину о лондонской жизни; как пишет Расмуссен, этот ее призыв, эта программа «повторялась вновь и вновь на протяжении столетий». Названия улиц, на которых стоят многие из этих жилищ, тоже имеют древнее происхождение. Что касается лондонских площадей, их зачастую можно отождествить с внутренними дворами средневековых городских усадеб. Так называемая «ленточная застройка» вдоль Вестерн-авеню в 1930-е годы повторяет подобный процесс роста, происходивший вдоль Уайтчепел-Хай-стрит в 1530-е годы. Четыреста лет для непреложных лондонских законов — срок очень маленький.

Недавнее демографическое исследование К. Хоггарта и Д. Р. Грина «Лондон. Новая столичная география» завершается выводом о том, что «ряд свойств лондонского населения отличает его уже как минимум пятьсот лет». Среди этих свойств — склонность к образованию пригородов, «повышенная доля подростков и молодых взрослых», «наличие маргинализованного и неимущего дна» и «исключительно высокое представительство иммигрантов, а также религиозных, культурных и этнических меньшинств». Иными словами,

всякий отдельный кусок или моментальный снимок лондонского бытия дает обширный образ городской жизни в прошедшие и последующие столетия. Принципиально ничего не меняется.

Трудовая жизнь Лондона тоже отличается постоянством. Один из примеров — преобладание профессий, связанных с окончательной обработкой продукции, и того, что теперь называется индустрией обслуживания; другая примета преемственности — опора скорее на малые предприятия и мастерские, нежели на фабричное производство. В XV и XVI веках олдермены часто жаловались на нехватку денег в городской казне; жалобы эти повторялись практически в каждом десятилетии каждого столетия. Стивен Инвуд в «Истории Лондона» замечает: «Для города, в котором размещается правительство страны, Лондон зачастую удивительно плохо управлялся». Удивляться, может быть, и не стоит; не исключено, что это его природное, органическое свойство.

Все это — крупные соображения, демонстрирующие сущностную преемственность городской жизни. Но ее можно почувствовать и и местных, специфических приметах, когда отдельный объект или наблюдение вдруг высветит глубинную историю лондонского бытия. В начале XV века Ри-

чард Уиттингтон построил близ устья Уолбрука на пристани Винтри-уорф огромную общественную уборную — так называемый «длинный дом Уиттингтона». Джон Скофилд в книге «Строительство Лондона» замечает, что «прошли века — и на этом месте стоит здание Управления по санитарии».

На Энделл-стрит в свое время обнаружили «древнюю купальню» неизвестной эпохи, «питаемую прекрасной чистой родниковой водой, которая, говорят, имеет лечебные свойства». В XIX веке дно купальни забросали древесиной и мусором, вследствие чего «родник иссяк». Но нет, он не иссяк — он пробился на поверхность в иной форме. На Энделл-стрит ныне действует сауна, а на углу — плавательный бассейн под названием «Оазис».

В Барнете на месте лечебных источников, где люди поправляли здоровье в XVII веке, теперь больница. У подножия Хайгейт-хилла, где он мягко переходит в Холлоуэй, в 1470-е годы был учрежден большой лепрозорий. К середине XVII века он пришел в упадок. Но дух этого места остался неизменным. В 1860 году здесь открылась больница, специализировавшаяся на вакцинации и лечении оспы. Ныне здесь больница имени

Уиттингтона. На Ликерпонд-филд и свое время были дома призрения для больных и калек — теперь тут Королевская бесплатная больница. На Чизлхерст-коммон в 1759 гону была учреждена богадельня — в настоящее время эта территория принадлежит детскому приюту Св. Михаила.

Когда-то на перекрестке Леденхолл-стрит и Грейсчерч-стрит стоял знаменитый «майский столб»; он возвышался над городом, и в XV веке расположенная рядом церковь Сент-Эндрю-Корнхилл помучила новое название — Сент-Эндрю-Андершафт (церковь Св. Андрея-под-столбом). Позже этот огромный столб хранился в горизонтальном положении под свесами крыш вдоль улочки Шафт-элли. Сказанное выглядело бы проявлением банальной тоски по средневековью, если бы не то обстоятельство, что сегодня на этом самом месте блестит стеклом высокая башня Ллойдс-билдинга.

История здания на углу Фурнье-стрит и Брик-лейн столь же любопытна и показательна; построенное в 1744 году, оно первоначально было церковью для ткачей-гугенотов. С 1898 по 1975 год здесь располагалась синагога, посещаемая еврейским населением Спитлфилдс; теперь это «великая мечеть» бенгальских мусульман, при-

шедших на смену евреям. Иммигранты разных волн выбирали именно это место, чтобы устроить святилище.

Бывает и так, что над тем или иным участком, подобно стойкому зловонию, висит тяжелая или несчастливая атмосфера. О таких улицах, как Чик-лейн, Филд-лейн или Блэк-Бой-элли (все они находится поблизости от нынешней Фаррингдон-роуд), было сказано: «Любопытно, что нехороший характер этих мест определился очень рано и оказался очень устойчивым». По поводу Ковентри-стрит близ Пиккадилли в 1846 году было замечено, что «ныне здесь немало игорных домов, так что округа эта уже по меньшей мере два столетия как скверная — а может быть, и с тех самых пор, как была застроена». Иными словами, первоначальная застройка может навсегда определить характер участка, словно бремя предназначения берут на себя сами камни. И мы порой видим, как сквозь эти камни движется время, чувствуем нерушимую преемственность, без чего нельзя почувствовать Лондон как таковой. Это не такая вечность, какая открывается мистику, воспаряющему из своей телесной оболочки, чтобы узреть душу вещей; это вечность, вмурованная в песок и камень, дарованная, как некая благодать,

реальному, физическому строению жизни или ее процессу. Лондонская преемственность — это пресмственность самого бытия.

ВОСТОК И ЮГ

Глава 71
Вонючее скопище

Чисто утверждалось, что Ист-энд — порождение XIX века; несомненно, само это название возникло только в 1880-е годы. Фактически, однако, восточная часть Лондона всегда существовала как отграниченная, распознаваемая городская единица. Тауэр-Хамлетс, Лайм-хаус и Боу покоятся на изолированной полосе гравия — на одном из тех гравийных участков поймы, что возникли во время последнего ледникового нашествия примерно 15 000 лет назад. Можно, конечно, спорить о том, сыграла ли эта давняя предыстория какую-либо роль в формировании неповторимой атмосферы Ист-энда; однако при любой попытке анализа того, что в конце XIX века стали напевать «бездной», непременно нужно учитывать символический смысл противостояния «восток — запад». Захоронения Лондиниума эпохи римского завоевания, часть из которых расположена на территории нынешнего Ист-энда, осуществлялись так, что головы умерших указывали приблизительно на запад; той же

практики придерживались в своих похоронных ритуалах ранние христиане Лондона, что говорит о некоем глубоком единстве. По-видимому, можно говорить об инстинктивном территориальном ощущении, проявляющемся уже в самые ранние периоды лондонской истории, о которых имеются свидетельства. Археологические данные говорят, к примеру, о том, что в V–VI веках завоеватели-саксы обосновались западнее реки Уолбрук, тогда как побежденное и деморализованное римско-британское коренное население обитало на восточном ее берегу. Подобный характер расселения был постоянен и не случаен. Одно интересное и важное обстоятельство, относящееся к востоку Лондона, выявляет некую живую традицию, уходящую в доримские времена. В конце XIX и начале XX века были обнаружены следи огромной стены, протянувшейся вдоль восточного участка Темзы и морского берега Эссекса, — стены, защищавшей земли от приливов. Она состояла из деревянных частоколов и земляных насыпей. У эссексского конца стены, близ того места, что сейчас называется «Брадуэллский берег» (слово *Брадуэлл*, хотя прошло уже две тысячи лет, можно правдоподобным образом интерпретировать как Broad Wall — ши-

рокая стена), были найдены остатки земляных валов древнеримской крепости и развалины более поздней часовни Сент-Питер-он-де-Уолл (Св. Петра-на-стене), которую в какой-то момент превратили в амбар. Местные исследователи старины обнаружили у этой «великой восточной стены» еще ряд церквушек или часовен.

О стене этой мало кто помнит, помимо горстки местных историков, однако, преграждая путь воде и внося вклад в осушение болотистых земель к востоку от Лондона, она сотворила Ист-энд — его темный конец. Он должен быть у всякого города.

Где же, собственно, начинается лондонский «восток»? Некоторые знатоки города называли «граничной точкой» Олдгейтский насос — каменный питьевой фонтан, сооруженный у родника там, где встречаются Фенчерч-стрит и Леденхолл-стрит; нынешний насос расположен в нескольких шагах к западу от первоначального. Другие антиквары утверждали, что настоящий Ист-энд начинается у мест схождения Уайтчепел-роуд и Коммершл-роуд. Так или иначе, пятно бедности, хорошо заметное уже в позднем Средневековье, постепенно распространялось. Стоу замечает, что между 1550 и 1590 годами там тянулась «непрерывная улица, или грязный узкий

проезд с переулками, застроенными маленькими домиками… почти до Ратклиффа». Дорога от Олдгейтского насоса до церкви в Уайтчепеле была к тому времени также обстроена лавками и жилыми домами; поле, прилегавшее к ней с севера, было «усеяно домиками и разрисовано проулками». Сходным образом, от Бишопсгейта до Шордича шло «беспрерывное строительство маленьких и плохоньких домишек, большая часть которых возведена недавно»; неказистые строении вырастали и еще дальше — «на расстоянии далекого выстрела» — и Кингсленде и Тоттнеме. К концу XVI века восточные районы городи стали характеризовать как «плохие» и «грязные»; грязи становилось все больше и вонь делалась все сильнее, вопреки монаршим указам и парламентским актам. Район Спитлфилдс, более или менее регулярно распланированный между 1660 и 1680 годами, вскоре тоже прославился бедностью и перенаселенностью. Домики были маленькие и узкие, ширина улиц зачастую составляла всего пятнадцать футов. Эта мелкость, эта стесненность ощущается здесь по сей день.

Каковы жилища — таковы и жильцы. В официальном документе за 1665 год описывается перенаселенность за счет избытка «бедных,

неимущих, праздных и неприкаянных людей». Так «грязные домики», о которых пишет Стоу, оказались битком набиты «грязными» обитателями. Обычная лондонская история.

Мало-помалу восточное предместье стало еще и средоточием грязных производств. В немалой степени местные ремесла и торговля были связаны с рекой, однако на протяжении XVII века в районе неуклонно шла индустриализация. Поблизости от мельниц на реке Ли возникли зловонные мануфактуры. В 1614 году местный суд постановил «Ланселота Гамблина, крахмальщика, в последнее время обретающегося в Стратфорд-Лангторне, предать суду, ибо от противозаконного изготовления оным крахмала день ото дня стоит тяжкий дух и зловоние». Менее чем полвека спустя сэр Уильям Петти сетовал на «дымы, испарения и вонь, исходящие от всего этого восточного скопища». Восток и вправду на столетия сделался главным местом так называемых «вонючих производств»; в этих районах налицо были все формы зловония и скверны. Здесь фокусировался страх лондонцев перед порчей и заразой — страх небезосновательный: демографические исследования выявили на востоке Лондона весьма высокую заболеваемость чахоткой и «лихорадкой».

Кто мог — тот поэтому бежал на запад. Начиная с XVII века именно там возникали новые улицы и площади, застраивавшиеся регулярным образом; богатые, знатные и фешенебельные семейства непременно хотели селиться на «респектабельных улицах в западной части города» (эти слова принадлежат архитектору Джону Нэшу). Проявления топографического раздела — или, скорее, навязчивой идеи о преимуществе запада перед востоком — можно видеть и в мелочах. Согласно «Лондонской энциклопедии», после 1680-х годов, когда была завершена застройка Джермин-стрит, «западная часть улицы считалась более фешенебельной, чем восточная». Другая демаркационная линия пролегла через Сохо-сквер, где, по словам одного заезжего американца, «добавление одной минуты восточной долготы равносильно уменьшению аристократизма на добрый градус — и, соответственно, наоборот». О новосозданной Риджент-стрит было замечено, что «на восточной стороне этой большой улицы есть немало площадей и ряд хороших улиц, но высшее общество, судя по всему, этой стороны избегает».

В свое время было сказано, что Вест-энду достаются деньги, а Ист-энду — грязь, что западу можно бездельничать, а востоку приходится

трудиться. Однако в первые десятилетия XIX века Ист-энд не был выделен как средоточие самой отчаянной бедности и преступности. Прежде всего он считался центром судоходства и промышленной зоной — и, следовательно, обиталищем трудовой бедноты. Но доля интенсивность промышленного производства и уровень бедности неуклонно росли; в Боу, Олд-Форде и Стратфорде концентрировались красильни, химические фабрики, туковые заводы, предприятия по переработке ламповой сажи, по производству клея и парафина, краски и костной муки. Река Ли на протяжении столетий была рекой промышленной и деятельной, но в XIX веке она сильно деградировала, подвергшись нещадной эксплуатации. Построенная на ее берегу спичечная фабрика сделала воду на вид и вкус похожей на мочу, и во всей округе воцарился отвратительный запах. Во всем этом, разумеется, видно расширение и усиление тенденций, уже действовавших в XVI и XVII веках; процесс словно бы черпал ускоряющую энергию из себя самого. Между речками Ли и Баркинг-крик возникли промышленные районы Каннингтаун, Силвертаун и Бектон; наибольшей известностью пользовался Бектон благодари тамошней системе очистки стоков. Словом, вся

грязь Лондона ползла на восток.

И в 1880-е годы она в какой-то момент достигла критической массы. Произошел внутренний взрыв. Ист-энд сделался «бездной», или «преисподней», полной устрашающих тайн и темных устремлений.

В этой части Лондона теснилось больше бедноты, чем где-либо еще, и великое ее скопление стало порождать слухи о преступлениях и безнравственности, о дикости и неудобоназываемых пороках. В эссе «Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств» Томас Де Куинси назвал окрестности Ратклифф-хайвей, где в 1812 году произошло громкое убийство целой семьи, «одним из самых хаотических» мест города, «весьма опасным» районом, где совершаются «многообразные злодейства». То, что подобная характеристика Ист-энда была дана именно писателем, представляется существенным: темная слава, которую район приобрел впоследствии, во многом основывалась на произведениях журналистов и романистов, чувствовавших себя чуть ли не обязанными использовать образы ужаса и мрака, живописуя отбрасываемую Лондоном тень. И разумеется, главной сенсацией, навеки определившей и окрасившей Ист-энд, сотворив-

шей его «лицо» в глазах публики, стала серия убийств в конце лета и начале осени 1888 года, приписанных Джеку-потрошителю. Размах, присущий этим внезапным, жестоким убийствам, резко выделил Ист-энд как область беспримерного зверства и свирепой разнузданности, однако не менее существенно было то, что преступления совершались во мраке зловонных переулков. Тем обстоятельством, что убийцу так и не поймали, лишь усиливалось впечатление кровопролития, творимого самими этими мерзкими улицами; подлинным Потрошителем казался Ист-энд как таковой.

Все тревоги по поводу города в целом сосредоточились тогда на одной его части, словно в каком-то диковинном смысле Ист-энд сделался микрокосмом всей лондонской тьмы. Были написаны книги, чьи названия говорят сами за себя: «Горький плач обездоленных Лондона», «Люди бездны», «Лондон в лохмотьях», «В кромешном Лондоне», «Преисподняя». В романе Джорджа Гиссинга, стоящем последним в этом перечне, описываются «зачумленные районы восточного Лондона, изнемогающие под солнцем, которое лишь выявляет всю подноготную их мерзкого упадка; которое освещает протянувшийся на

мили город проклятых, немыслимый в эпохи, предшествующие нашей; которое висит над уличным кишением безымянного люда, жестоко выставленного напоказ этими непривычно сияющими небесами». Это взгляд на Ист-энд как на ад, взгляд на город как на преисподнюю, и Гиссинг тут не одинок. Действие автобиографического повествования XIX века, принадлежащего перу «Джона Мартина, школьного учителя и поэта», отчасти происходит в трущобах Лаймхауса. «Мрачная, мизантропическая в своем взгляде на вещи потребна душа, привычная к страшным видениям ночи, чтобы твердым и цельным взором окинуть эти сцены болезненного ужаса и отчаяния».

В 1902 году, впервые пожелав посетить Ист-энд, Джек Лондон получил в чипсайдском отделении бюро путешествий Томаса Кука такой ответ: «Нет, в Ист-энд мы туристов не возим; они никогда об этом не просят, да мы и не знаем ничего про эти места». Они ничего про этот район не знали — и вместе с тем про него знал каждый. И «Историях убогих улиц» (1894) Артур Моррисон писал о Восточном конце — об Ист-энде: «В восточном конце чего — нет нужды уточнять. Ист-энд — это громадный город, в своем роде не менее знамени-

тый, чем любой из сотворенных людьми городов. Но кто может сказать, что знает Ист-энд?»

Присутствие в Уайтчепеле и Спитлфилдс 100 000 иммигрантов-евреев лишний раз подчеркивало «чужеродный» характер всего рай она. Оно также подкрепляло другой порожденный им территориальный миф. Находясь на востоке, эта часть Лондона стала ассоциироваться с тем более обширным Востоком, что лежал за пределами христианского мира и грозил европейским рубежам. Дополнительным подтверждением такого диагноза служит то, что беспризорных городских детей называли «уличными арабами». В этом смысле Ист энд являл собой крайнюю степень угрозы и тайны. Он был настоящим «сердцем тьмы».

Находились, однако, люди, которые шли в эту тьму как миссионеры. Еще в 1860-е годы мужчины и женщины, руководимые религиозными или филантропическими мотивами, начали создавать и Ист-энде лекционные залы и молитвенные дома. Как правило, молодые и идеалистически настроенные, эти люди пытались на деле облегчить скудную и опасную жизнь обитателей трущоб; важную роль в этой благотворительной работе играл Сэмюэл Барнет, священник церкви

Св. Иуды в Уайтчепеле. В одном из выступлений перед жителями Бетнал-грин Арнольд Тойнби заявил: «Простите нас, ибо мы причинили вам зло; мы тяжко согрешили против вас… мы будем служить вам, мы посвятим вам жизнь — большего мы сделан, не можем». Отчасти благодаря его примеру и красноречию были учреждены различные «миссии», в том числе Оксфорд-хаус в Бетнал-грин и Сент-Милдредс-хаус в Айл-оф-Догс. Покаянный тон обращения Тойнби можно объяснить, помимо прочего, еще и тревогой: те, с кем так несправедливо обошлись, могли пойти войной на обездоливших их «грешников».

В Ист-энде и вправду были весьма активны радикалы. В 1790-е годы это были члены Лондонского корреспондентского общества, в 1830-е годы — чартисты, собиравшиеся для пропаганды своих революционных взглядов в пивных Уайтчепела и других районов. Ни востоке Лондона всегда ощущался дух радикального эгалитаризма и антиавторитаризма — как в религиозной, так и в политической его разновидности (если, конечно, они вообще поддаются разграничению). В XVIII веке милленаристские и уравнительные идеи высказывали хокстонские деисты; в общую атмосферу несогласия вносили вклад рантеры, маггл-

тонианцы, квакеры, «люди Пятого царства»[141]. В первые десятилетия XX века в политической этике Ист-энда господствовал «муниципальный социализм». Так называемый «попларизм» — вариант популизма, насаждавшийся Джорджем Лансбери и его сподвижниками, — привел к тому, что в 1919 году лейбористы, получившие большинство в местных органах власти Поплара, установили пособие по безработице на более высоком уровне, чем позволяло центральное правительство. Возникла конфронтация, и членов местного совета на короткое время арестовали, но главные требования Лансбери были в конце концов удовлетворены.

Это был характерный эпизод — характерный в том смысле, что Ист-энд, вопреки страхам властей, так ни разу и не «взбунтовался». Эта часть города всегда считалась многообещающей по части беспорядков (в 1930-е годы на этом строили расчеты Освальд Мосли и его сторонники), однако, как и остальной Лондон, Ист-энд слишком велик и слишком разбросан, чтобы какая-либо искра могла вызвать в нем гальваническую судорогу. Самым существенным источником

[141] Примечания: 141
Перечислены воинствующие религиозные секты.

революционного влияния стало, надо сказать, иммигрантское население. Развитие коммунистического и анархистского движений среди живших здесь немцев и русских стало важным свидетельством воздействия Ист-энда на человеческое сознание. На Джубили-стрит действовал знаменитый Клуб анархистов, среди членов которого были Кропоткин и Малатеста; зал напротив Лондонской больницы на Уайтчепел-Хай-стрит стал местом проведения пятого съезда Российской социал-демократической рабочей партии, на котором большевики обеспечили себе превосходство. В общежитии на Филдгейт-стрит желанным гостем был Иосиф Сталин. Ленин многократно бывал в Уайтчепеле и посещал Клуб анархистов; завсегдатаями этого района были Троцкий и Литвинов. Ист-энд можно, таким образом, считать одним из первичных центров мирового коммунизма.

Хотя во многом это, несомненно, объясняется присутствием политических эмигрантов из континентальной Европы, местная атмосфера тоже имела значение. В 1870-е годы Бланшар Джерролд писал: «Диковинного вида улицы — грязные, бедные, обставленные лотками — там и сям оживлены рынками, складами и магазинами,

где можно обнаружить тех богатых, на которых трудятся беднейшие».

Уже здесь передан разительный контраст между «богатыми» и «беднейшими», стоящими на одной и той же земле. Ист-энд был, кроме того, целым миром в миниатюре: тут «и немец, и еврей, и француз, и индиец-матрос, и загорелый уроженец Спитлфилдс, и поглядывающий искоса тонкорукий вор… и бесчисленные рои оборванных ребятишек». Коммунистический интернационал зародился в интернациональной среде.

Другие посетители подмечали другое. Чешский драматург Карел Чапек, воочию увидев Ист-энд в начале XX века, писал, что «это немыслимое скопление кажется уже не человеческой массой, а геологическим образованием… напластованиями сажи и пыли». Безликая, унылая мощь, окаменелая смесь труда, страдания и копоти от пароходного и фабричного дыма. Все это, возможно, до такой степени стало «геологическим образованием», что район как таковой словно бы излучал волны оцепенения и подавленности. В конце XIX столетия миссис Хамфри Уорд так писала о монотонности Ист-энда: «Длинные ряды приземистых домов — неизменно двухэтажных, иногда с полуподвалом — из одинакового жел-

товатого кирпича, закопченного одинаковым дымом, и все дверные молотки одинаковой формы, и все шторы висят на одинаковый лад, и на всех углах светится издалека сквозь мглистый воздух одинаковые пивнушки». Сходные впечатления у Джорджа Оруэлла: в 1933 году он сетовал на то, что территория между Уайтчепелом и Уоппингом «тише и скучнее», чем эквивалентные ей бедные районы Парижа.

Это знакомый рефрен, но исходит он, как правило, от пришлых наблюдателей, которые здесь не живут. В автобиографических воспоминаниях самих истэндцев главное место занимают не монотонность и не тяготы, а развлечения, клубы, рынки, местные лавки и местные персонажи. Из всего этого складывалась жизнь округи. В недавно вышедшем под редакцией У. Дж. Рамзи историческом сочинении «Ист-энд тогда и теперь» приведено высказывание одного старого обитателя Поплара: «Мне никогда не приходило в голову, что мы с моими братьями и сестрами — обездоленные люди: чего не попробуешь — о том не жалеешь». Так воспринимают не только Ист-энд, но и все прочие бедные районы Лондона сами их обитатели; очевидные лишения и однообразие жизни не осознаются, поскольку не

затрагивают внутреннего бытия тех, на кого они, казалось бы, должны воздействовать. В любом случае нам, говоря о единообразии или скуке Ист-энда, всякий раз следует делать существенную поправку на многократно отмечавшуюся «веселость» и «приветливость» его обитателей. После перечня скорбных тайн, с которыми можно повстречаться на восточных улицах, Бланшар Джерролд говорит об «отважном, сильном добродушии», о «всеобщей готовности смеяться». Он отметил также, что «у кого наготове шутка — у того корзинка быстро пустеет, а скучный торговец стоит скрестив руки и ждет».

Так возникла фигура кокни. Первоначально уроженец Лондона вообще, он стал затем, в конце XIX и начале XX века, все больше и больше ассоциироваться именно с Ист-эндом. Речь этого персонажа полна, по выражению В. С. Притчетта, «жалобно скулящих гласных и размолотых согласных», а в облике бросается в глаза «твердый, неукротимый подбородок». К сотворению образа этого находчивого, неунывающего малого до некоторой степени причастны мюзик-холлы, являвшие собой еще одну противоположность однообразию Ист-энда. Условия жизни в Уайтчепеле, Бетнал-грин и других подобных районах

располагали их обитателей к поискам возможностей для буйного веселья, и свидетельство тому — дешевые балаганы и ярко освещенные пивные с неотделимыми от них грубостью и фривольностью. Знаменательно, однако, еще и то, что в Ист-энде было больше мюзик-холлов, чем в любой другой части Лондона. «Гилбертс» в Уайтчепеле, «Истерн» и «Аполло» в Бетнал-грин, «Кембридж» в Шордиче, «Уилтонз» на Уэллклоуз-сквер, «Куинз» в Попларе, «Игл» на Майл-Энд-роуд и, разумеется, «Эмпайр» в Хэкни — это лишь самые известные из огромного числа мюзик-холлов, которые стали столь же характерной приметой Ист-энда, как потогонные предприятия и церковные благотворительные миссии. К середине XIX века на территории, приблизительно соответствующей нынешнему административному району Тауэр-Хамлетс, было около ста пятидесяти мюзик-холлов. Как нельзя более уместным выглядит то, что Чарлз Мортон, открывший в 1851 году «Кентербери» и потому прозванный, пусть и не вполне справедливо, «отцом мюзик-холлов», родился в Бетнал-грин. В некотором смысле восточная часть города просто-напросто вернула себе былой характер. Выше уже было замечено, что два из старейших лон-

донских театров — «Театр» и «Куртина» — были возведены в XVI веке на незастроенных участках в Шордиче; все пространство за городскими стенами стало местом разнообразных народных увеселений, от чайных на открытом воздухе до борцовских поединков и медвежьей травли. Таким образом, мюзик-холлы Ист-энда — еще одно, наряду с плохим качеством жилья и «вонючими производствами», проявление местной преемственности.

С другой стороны, в мюзик-холлах выразились расширение и интенсификация жизни Ист-энда в XIX веке. Многие из них возникли и прославились в 1850-е годы, в том числе «Игл-Ти-гарденз», «Эффингем» и «Уилтонз». В программы вечеров входили небольшие комические оперы и номера варьете под оркестровую музыку. Среди выступавших были так называемые lions comiques — комедианты, изображавшие «светских львов». Альфред Вэнс и Джордж Лейбери пели на диалекте кокни такие песни, как «Бах-трах — вот мы и снова тут как тут» и «Чарли-Шампань». Вэнс был особенно знамени! своими «костермонгерскими»[142] песенками на кокни — например,

[142] Примечания: 142

Costermonger (англ.) — уличный торговец фруктами, овощами, рыбой и прочим.

«Костермонгер Джо» и «Паренек не промах», — где юмор легко совмещался с бравадой. Подобные песни, оживляемые всем пафосом и своеобразием конкретной округи, насыщенные обстоятельствами и реалиями района в целом, становились подлинно народными песнями Ист-энда. Они не потеряли силы и по сей день, потому что и них много подлинного, конкретного ощущения места — скажем, ко гда речь идет об Артиллери-лейн или о Розерхайтском туннеле. Чарлз Коуборн вспоминал, что, когда он исполнял в мюзик-холле «Парагон» на Майл-энде номер «Два черных миленьких глазочка», «парни и девчонки из костермонгерской братии, сидя группами бок о бок и взявшись под руки, во всю мощь своих глоток голосили вместе со мной припев». Ощущение родства исполнителя и аудитории было чрезвычайно сильным. Когда «Лили-Непоседа» Бернанд пел в мюзик-холле «Куинз» в Попларе песенку о домашнем хозяйстве и бедной семье, тема была хорошо знакома всем:

Да за банку полпенса возьми, не забудь…

Завтра утречком домохозяин заявится,

Въедливый — жу-у-ть!

Речь шла о том, как важно выручить полпенса, вернув лавочнику пустую банку из-под джема. Общие для всех приметы нужды возносились на ту высоту, где их преображало универсальное комически-сострадательное начало; то была пусть и временная, но победа над обездоленностью. Не нужно быть особенно смелым, чтобы заявить, что мюзик-холлы шумным и совершенно нецерковным образом удовлетворяли потребность людей в некой разновидности мессы с ее возвышающим чувством соборности.

В мемуарах начала XX века жизнь Ист-энда запечатлена с тем пристальным вниманием к подробностям, что задним числом наводит им мысль о бережливости к несбереженному. Как пишет в книге «К востоку от Олдгейта» Хорас Торогуд, в свое время на Поплар-Хай-стрит стояли «разнообразные по очертаниям, высоте и размеру магазинчики», перемежавшиеся домиками, у которых «на дверях блестели полированные латунные номера». Здесь можно было увидеть «магазин, где торговали клетками для попугаев, магазин музыкальных инструментов» и, что характерно, «ряды маленьких одноэтажных домиков, отстоящих от тротуара на несколько футов

и отделенных от него железными оградками». В Шадуэлле дети ходили босиком и носили рваную одежду, но «это было всего-навсего ирландское неряшество, голодать они не голодали». В первые десятилетия XX века ист-эндские пабы «были открыты с раннего утра до половины первого ночи». Джин стоил четыре с половиной пенса за четверть пинты, «пиво — пенс за полпинты. Женщины частенько приходили в семь утра и засиживались до трех пополудни». Ист-энд был, кроме того, знаменит своими рынками — на Розмари-лейн, в Спитлфилдс, на Крисп-стрит, на Уотни-стрит; на улицах «тесное людское скопище вечерами освещали нефтяные фонари… весь путь от Коммершл-роуд до Кейбл-стрит можно было бы проделать по головам».

В эти десятилетия истэндцев отличало яростно-оборонительное ощущение своей особости. Обитатели Лаймхауса называли тех, кто жил западнее, «публикой из-за мостов», и верность своим территориям была причиной весьма существенного «инбридинга». Согласно книге «Ист-энд тогда и теперь», в 1920-е годы в одном обособленном уголке Поплара близ Лимаут-роуд «проживало около двухсот мужчин, женщин и детей», которые были членами «самое большее

шести семей; наиболее многочисленны были Ламминги, Сканланы и Джеффри. Браки, как правило, заключались внутри этого круга… Это сообщество располагало своей школой, двумя пабами и маленьким магазином, где торговали всем подряд». Отмечалось также, что китайцы, обитавшие в Пеннифилдс, чаще женились на девушках из Хокстона, чем на уроженках Поплара. «Попларцы были против смешанных браков», — писал один наблюдатель в 1930-е годы. Можно предположить, что, находясь ближе к Сити и остальному Лондону Хокстон не был затронут этим особым ощущением своей территориальной самобытности.

Те истэндцы, что становились более зажиточными, уезжали. В частности, в XIX веке, когда появились новые средства сообщения, позволявшие ездить на службу из пригородов в Сити, клерки стали перебираться в более здоровые места — в Чингфорд, в Форест-Гейт, Ли десять лет население Миддлсекса выросло на 30,8 %; в Уэмбли жителей стало больше на 552 %, в Харроу — на 275 %. В старинных ист-эндских центрах оставались лишь бедные, число которых росло и положение ухудшалось. Отсюда проистекали горькая обида и ощущение гетто. Не исчезли они

и по сей день.

В человеческом плане стоимость производимых здесь товаров была очень высока. Ист-энд просыпался раньше, чем остальной город, и на рассвете превращался в обширную равнину дымящихся труб, Открывались все новые фабрики, использовавшие дешевую рабочую силу, и в 1951 году здесь проживало почти 10 % трудового населения города. В начале XX века Хорас Торогуд приметил ист-эндский «коттедж» под аркой железной дороги, где «в одной верхней комнате обитала семья из шести человек, которая должна была постоянно держать окно закрытым, иначе искры от поездов влетали в помещение и могли поджечь спальные принадлежности».

Искры искрами, а Вторая мировая война зажгла здесь поистине опустошительные пожары, и обширные части Ист-энда были сметены бомбардировками. В Степни, Попларе и Бетнал-грин исчезло с лица земли примерно 19 % застройки. В очередной раз с Ист-эндом жестоко обошлась его индустриальная история: целями немецких бомбардировщиков стали порты, заводские районы близ Ли-Вэлли и само население Ист-энда в качестве «показательного примера».

О значимости лондонского востока на протя-

жении всей войны говорит тот факт, что сразу же после празднования дня победы в мае 1945 года король и королева посетили Поплар и Степни. Это был, пожалуй, единственный способ прозондировать настроения людей в районе, который с XIX века считался таинственным.

Даже в 1950-е годы обширные зоны Ист-энда все еще квалифицировались как «участки, пострадавшие от бомбардировок»; там росли необычные для города травы и устраивала игры ребятня. В рамках временной программы расселения возводились ниссеновские бараки[143] и сборные одноэтажные типовые домики; многие из них жилищ простояли двадцать и более лет. Разрабатывались и другие схемы размещения жителей Ист-энда — прежде всего следует упомянуть «Проект для Большого Лондона» профессора Аберкромби, предложившего переселить многих лондонцев в города-спутники за пределы «зеленого пояса». Предполагалось перевести туда большое число жителей Хэкни, Степни и Бетналгрин; однако вся история Лондона говорит о том, что подобные градостроительные опыты могут быть успешными лишь отчасти. Столь же при-

[143] Примечания: 143

Ниссеновский барак — сборно-разборный барак с полукруглой крышей из рифленого железа.

стальное внимание было уделено перестройке и перепланированию опустошенного Ист-энда, как будто его характер мог быть коренным обратом изменен. Но разве можно перечеркнуть три столетия человеческого житья?

Несмотря на все перемены, произошедшие в Ист-энде в 1950-е и 1960-е годы, стоило лишь завернуть за угол, чтобы увидеть сплошную террасу стандартных жилищ, возведенных в 1880-е или 1890-е; здесь по-прежнему стояли георгианские дома и распланированные «жилые массивы» 1920-х и 1930-х. Послевоенный Ист-энд был настоящим палимпсестом. Для тех, кому было дело до подобных вещей, здесь имелись дышавшие забвением и упадком каналы с темной водой, газовые заводы, старые пешеходные тропы, ржавеющие мосты; здесь были замусоренные и поросшие бурьяном пустыри, заброшенные фабрики, каменные ступени, которые вели в никуда. Все еще можно было найти старинные улицы, застроенные крохотными домиками из желтого кирпича с характерной планировкой: маленькая общая комната, коридор ведет, минуя ее, от входной двери прямо на кухню с окном во дворик; наверху две спаленки, внизу подвал. От Баркинг-роуд ответвлялись десятки боковых улиц — например,

шедшие одна за другой Ледисмит-авеню, Кимберли-авеню, Мафекинг-авеню, Маколей-роуд, Теккерей-роуд, Диккенс-роуд, — где бесконечные вереницы пригородных коттеджей чуть повыше уровнем, чем террасы Бетнал-грин или Уайтчепела, с легкостью сохраняли в 1960-е годы атмосферу конца XIX века.

Примером разбросанности и разнородности может служить административный район Хэкни. В центре внимания одного исследования, многозначительно названного «Путешествие по руинам: последние дни Лондона» и опубликованного в 1991 году, лежит улица Долстон-лейн. Для Патрика Райта, написавшего эту книгу, символом административной заброшенности служит «всеми забытое угловое здание муниципальных служб». Однако былые энергетические импульсы все еще чувствуются, и Долстон-лейн с ее фабриками, магазинами одежды и мелкими предприятиями «являет нам пеструю смесь строительной, торговой и промышленной деятельности».

Одна из самых удивительных особенностей нынешнего Ист-энда — экономическая живучесть современных подобий маленькой мастерской XIX века. Многие крупные местные артерии

— такие, как Хэкни-роуд, Роман-роуд и Хокстон-стрит, — полны выходящих на улицу мелких предприятий: здесь и ремонт телевизоров, и продажа газет, и обивка мебели, и торговля фруктами, и услуги краснодеревщика, и обмен валюты. В восточной части города, где исторически земля и недвижимость дешевле, чем в западной, пережитки прошлых десятилетий еще существуют, медленно сходя на нет.

Есть в Ист-энде любопытные уголки, где проглядывают образчики иной преемственности. В Уолтемстоу на улице Черч-хилл, чуть восточнее Хай-стрит, внезапно возникает некий призрак загородной местности; здесь поистине особая атмосфера, ведь все соседние улицы, в том числе Хай-стрит, Маркхаус-роуд и Коппермилл-роуд, — это типичный ист-эндский пригород. Тем не менее на Черч-хилл словно бы сама территория излучает дух былой сельской округи. Многие другие участки сходным образом сохраняют свое лицо. В Баркинге, к примеру, чувствуется суровость — ничего похожего на Уолтемстоу; кажется, что здесь удержалось коренное население, у которого даже в осанке есть некая сумрачная жесткость. Сохранившаяся часть древнего аббатства нисколько не рассеивает эту

местную атмосферу, которая мощно поддерживается присутствием старого ручья, бывшего некогда главным источником существования для большинства здешних жителей. Этот район кажется странно изолированным или обращенным внутрь себя, и лондонский акцент тут особенно силен. В Пеннифилдс, где столетие с лишним назад обитали малайцы и китайцы, теперь живет изрядное количество вьетнамцев. На Слейтер-стрит в Шордиче, где испокон веку был район красных фонарей, торгуют подержанной порнолитературой. Рынок на Грин-стрит в Ист-Хеме позволяет ощутить энергию и дух средневекового Лондона. Вообще, древняя коммерческая жизнь города ныне пробуждена (если, конечно, она когда-нибудь засыпала) в таких разных районах, как Вест-Хем и Стоук-Ньюингтон, Спитлфилдс и Лейтонстоун.

Пешая прогулка по ист-эндской округе, как правило, открывает шору одно-два георгианских здания, где, возможно, располагались какие-то крупные средневикторианские учреждения, а теперь размещаются местные службы или центры социального обеспечения; сохранились остатки застройки конца XIX века наряду с муниципальными домами 1920-х и 1930-х; имеются пабы и

заведения, где принимают ставки на лошадей, наряду с вездесущим неспециализированным магазинчиком; рядом торгуют прессой; имеются таксомоторные агентства и учреждения, специализирующиеся на телефонных звонках в Африку или Индию; имеются разнообразные муниципальные жилые дома и массивы, самые старые бок о бок с малоэтажными 1980-х годов и девятнадцатиэтажными башнями того же периода. Непременно будет открытая площадка или сквер. В некоторых местах Ист-энда арки под бесчисленными железнодорожными путями используются для автосервиса или складирования товаров.

Не обошлось, конечно, и без серьезных перемен. Поплар-Хай-стрит была людной артерией с множеством магазинов, лотков и закопченных зданий по обеим сторонам — теперь это просторная улица, застроенная пятиэтажными муниципальными домами, пабами и магазинами из желтого кирпича. Вместо гудения густой толпы и гомона купли-продажи ныне слышен лишь прерывистый шум транспорта. Такова теперь немалая часть Ист-энда. На месте пестрых разностильных скоплений магазинов и жилых домов теперь возведены «массивы» зданий, единообразных по размерам и фактуре; заменой

бесконечным сплошным террасам маленьких домишек служат нынешние городские «шоссе». Изменившиеся участки города кажутся какими-то облегченными — возможно, потому, что они утратили связь со своей историей. У западного конца Поплар-Хай-стрит, сразу за Пеннифилдс, в свое время кофейня Джозефа Найтингейла, где подавали, помимо прочего, бифштекс, почки, печень и бекон, примыкала к магазинчику Джеймса Макьюэна, где торговали кониной, а тот, в свою очередь, — к парикмахерской Джорджа Эйбларда; строения эти имели несхожие фасады и различались по высоте. В недавние годы этот угол был застроен трехэтажными муниципальными домами из красного кирпича; мимо идет небольшая улица — Солтуэлл-стрит. Былой опиумный квартал в Лаймхаусе ныне представлен китайским заведением, где торгуют едой на вынос. В прошлом здесь проходила улица Бикмор-стрит, и сохранилась фотография 1890 го да, на которой толпы детишек позируют у магазинов со сводчатыми окнами; на месте этой улицы теперь площадка для игр.

Можно сделать вывод, что шум и мельтешение жизни улетучились из этих мест, если не из всего Ист-энда. Можно также заметить, что

застроенные заново или обновленные кварталы подобны таким же кварталам в других частях Лондона; к примеру, муниципальные жилые массивы Поплара мало чем отличаются от массивов Саутолли или Гринфорда. Стремление к гражданскому умиротворению привело к утрате местного своеобразия. Но величайшим контрастом из всех, бросающимся в глаза при сравнении фотографий 1890-х и 1990-х годов, является уменьшение числа людей на улицах. Жизнь Ист-энда попряталась по домам. Что вызвало эту перемену — телефон или телевидение, — не столь важно; очевидный факт состоит и том, что человеческая жизнь на улицах стала куда менее красочной и менее интенсивной. Не следует, однако, чересчур драматизировать эту утрату. Да, восток кажется теперь оголенным — зато он уже не так беден; он более замкнут и не столь человечен — зато стал здоровее. Никто добровольно не променяет муниципальную квартиру на клетушку в трущобах, пусть в трущобах было и больше человеческой общности. Назад пути нет.

Глава 72
Южная городьба

Вот откуда Саутуорк получил название — от «south work», «южной городьбы» — от вала вдоль южного берега Темзы (такой же вал шел и вдоль северного). Однако происхождение Саутуорка по-прежнему таинственно. Около Олд-Кент-роуд — там, где от нее ответвляется Боулз-роуд — были обнаружены остатки поселения первобытных людей, изготовлявших кремневые орудия. «Среди песка, образовавшегося в результате выветривания, — докладывал один исследователь в журнале „Лондон аркеолоджист“, — было много находок, связанных с деятельностью доисторических людей». Связывать атмосферу усталости, атмосферу прожитой жизни, которая чувствуется здесь, с длительностью человеческого обитания, возможно, и не стоит — это было бы слишком причудливое объяснение. Есть, в конце концов, и другой факт: вдоль дорог к югу от древнего Лондона стояли надгробия, и одной из причин возникающего здесь ощущения быстротечности жизни может быть память об этих красноречи-

вых символах. Были обнаружены три захоронения, находящиеся близко друг от друга (первое — у нынешней Боро-Хай-стрит). Их значение объясняется, во-первых, их редкостью (кроме них, лишь одно захоронение того же периода найдено близ Тауэра), во-вторых, тем, что чуть к юго-востоку от них найдены два римских захоронения сходного типа. Фактически по всему Саутуорку разбросаны древнеримские кладбища. Одно было там, где от улицы, ныне называющейся Боро-Хай-стрит, в свое время ответвлялись Стейн-стрит и Уотлинг-стрит; эти магистрали зовутся теперь Ньюингтон-козуэй и Олд-Кент-роуд. Еще одно скопление захоронений расположено северо-западнее, близ другой большой римской дороги, которая вела к мосту через Темзу. Вот почему, собираясь продолжить путь на юг, путешественники встречались в Саутуорке, и, конечно же, именно здесь начиналось паломничество в Кентербери, описанное Чосером. Здесь всегда были таверны и постоялые дворы для обслуживании проходящих и проезжающих; имелись и больницы, что, возможно, свидетельствует о некоем атавистическом почтении к транзиту в другом смысле — к переходу человека в мир иной.

Римляне оставили и другое наследие. В Сауту-

орке был обнаружен гладиаторский трезубец, и это породило предположения о том, что недалеко от тех мест, где в конце XVI века процветали театры «Лебедь» и «Глобус», в древние времена была арена для зрелищ. Если так, то южный берег всегда был связан с развлечениями и потехой, средоточием которых в сравнительно недавнее время стали возрожденный театр «Глобус» и весь участок, где доминируют Ройял-Фестивал-Холл, Национальный театр и галерея Тейт-Модерн.

Церковь Сент-Мэри-Оувери (Св. Марии-за-рекой, позднее — церковь Спасителя, еще позднее — Саутуоркский собор) стала излюбленным убежищем для тех, кто не ладил с городской юстицией. Так Саутуорк приобрел дурную репутацию. В XVII веке в этом районе города уже было семь тюрем (название самой известной из них — «Клинк» — впоследствии стало синонимом слова «тюрьма»); тем не менее здесь постоянно вспыхивали беспорядки. Земля здесь принадлежала различным религиозным учреждениям и властям, в том числе архиепископу Кентерберийскому и Клюнийскому ордену, обосновавшемуся в монастыре Бермондси; однако район славился распущенностью нравов. Проституток Банксайда, занимавшихся своим ремеслом во владениях

епископа Уинчестерского, называли «уинчестерскими гусынями». Таким образом, налицо странные колебания между свободой и скованностью, которые, впрочем, не так уж странны, ибо вписываются в общий узор лондонских противоречий.

На карте Уингарда 1558 года район к югу от Темзы сокровенно связан с северным берегом различными линиями гармонии, идущими к мосту и на ту сторону реки и чем-то напоминающими линии нынешней схемы метро. Вдоль южного берега Темзы тянется непрерывный ряд домов длиной почти в милю — от причала Парис-гарден до громадной «пивной лавки» чуть к востоку от Тули-стрит у причала Пикл-Херринг. Возможно, стоит отметить, что за столетие с лишним до того, как шекспировский Фальстаф появился на сцене «Глобуса», его однофамилец сэр Джон Фолстолф владел в тех краях «четырьмя пивными заведениями». Сходным образом, Гарри (или «Герри») Бейли из Табард-инн до того, как Чосер вывел его в «Кентерберийских рассказах», был в Саутуорке реальной и общеизвестной фигурой. Возможно, в атмосфере Саутуорка есть нечто такое, что поощряет взаимодействие между подлинным и воображаемым миром. На созданной

в 1560-е годы «карте Эйгаса» показаны пруды, водяные мельницы, дымящие мастерские, арены для медвежьей травли, увеселительные сады и «веселые дома», подобные знаменитому «Замку на скале Надежды», существующему и поныне под названием «Якорь»[144].

Город выказывал признаки страха перед заразой, которую могли распространять эти центры развлечений. Указом городских властей, изданным в XVI веке, лодочникам, которых нанимали для перевоза желающие попасть в заречные бордели, предписывалось на ночь швартовать лодки у северных причалов, чтобы «воры и прочие злодеи не могли перебраться» на другой берег. Еще один признак гражданского неудовольствия — то, что, хотя «замостье» стало двадцать шестым лондонским уордом, «его обитателям не было позволено избирать своих олдерменов»; фактически олдермены тамошним жителям навязывались. Саутуорк стал своего рода сатрапией, в результате чего чуть ли не до конца XX века он оставался сравнительно неразвитым районом с неважной славой. Не всегда, однако, он плохо управлялся.

[144] Примечания: 144

В названиях английских пабов и иных заведений нередко обыгрывается «якорь» как символ надежды, «которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий» (послание апостола Павла «К Евреям», 6,19).

Богатые горожане или представители «среднего класса», как обычно в таких случаях, приглядывали за местной беднотой, а пришлых нищих спроваживали. Приходские советы собирали местный налог и распределяли среди неимущих вспомоществование, местный суд надзирал за всеми аспектами торговли. Обо всех этих признаках относительной самодостаточности подробно говорится в недавно опубликованном историческом исследовании, где делается вывод, что население этого предместья и других подобных ему было сравнительно стабильным. Обитатели Саутуорка поколение за поколением жили в одних и тех же домах и заключали браки в пределах своей округи, что было характерно для Лондона вообще.

Эти выводы подкрепляют предположение о том, что Лондон в целом и его более удаленные районы в частности были проникнуты живым и явственно ощутимым общинным духом. Этот дух, державшийся много веков, настолько стоек, что, к примеру, нынешний Розерхайт по-прежнему отличен от Дептфорда и Бермондси. Тем или иным участкам присущ свой, особенный туземный склад. В нынешнем южном Лондоне имеется ряд зон — в том числе Ламбет, Брикстон,

Камберуэлл и Пекем, которые развивались бок о бок и посредством некоего симбиоза выработали своеобразную, узнаваемую атмосферу.

Однако юг был не слишком хорошо знаком другим лондонцам, воспринимавшим его главным образом как источник беспокойства. Южный берег исполнял некоторые из функций «восточного скопища», служа пограничной зоной, куда Лондон мог отправлять грязь и мусор. Поэтому в начале XVIII века здесь разместилась часть «вонючих производств», изгнанных из Сити. Например, кожевенные заводы были сосредоточены в Бермондси, а в Ламбете расположились шумные биржи строительного леса, производители уксуса, красок, мыла и свечного сала. В лондонской печати можно было прочесть, что «в Ламбете существовало сообщество лиц… профессией своей сделавших выкапывание мертвецов: жир они пускали на свечи, из костей извлекали аммиак, мясо продавали на корм собакам». Это звучит достаточно алармистски, чтобы быть выдумкой, но нет сомнения в том, что южный Лондон уже имел тогда дурную репутацию. В 1789 году один тамошний садовод решил перенести бизнес и другое место, поскольку «дым… постоянно окутывал мои растения… отдаленность расположения,

скверность ведущих оттуда дорог и невыносимое по временам зловоние из окрестных канав». Южный Лондон — по крайней мере в той его части, что находилась в непосредственных сношениях с остальным городом и была оттуда зрима, — считался бедным и неблаговидным придатком. В той или иной форме городская дискриминация существовала всегда.

Вот почему там всегда было так много тюрем, приютов для бедных и для девочек-сирот; в 1815 году туда, кроме того, была переведена Вифлеемская лечебница для душевнобольных. Лондон отправлял на юг всех своих трудных жителей. Район также был известен своими сомнительными тавернами и столь же сомнительными увеселительными садами. Заведения вроде «Аполло-гарденз» находились под надзором властей и время от времени принудительно закрывались из-за «беспорядков». Ламбет в целом приобрел славу «места скверного, где царит разврат». Увеселительный сад с павильоном «Храм Флоры» и таверна «Собака и утка», расположенные там, где дорога через Сент-Джордж-филдс выходила на Ламбет-роуд, представляли собой «воистину ужаснейшие места в столице и ее окрестностях… излюбленные проститутками,

причем не только низшего разбора, но даже и средних слоев». Вновь южный Лондон подтвердил свою старинную славу средоточия половой распущенности. Филантроп Фрэнсис Плейс вспоминал, как в 1780-е годы разбойники на этих южных полях садились на лошадей и «на закате крикливо одетые женщины выходили попрощаться с ворами и пожелать им удачи». Известно, что именно здесь власти охотились на радикалов-мятежников, поскольку шла молва, что они собираются на сходки в тех или иных местных обветшалых питейных заведениях; в середине XIX века звезды мюзик-холлов перебрались на юг — в Брикстон, и точно так же столетием раньше лица с сомнительной репутацией, подобные трансвеститу шевалье д'Эону, подались сюда же — в Ламбет. Здесь поистине была свалка — во всех смыслах.

Но ни грязь, ни ветхость не оказали существенного влияния на рост Лондона в южном направлении; подобно навозному жуку, город перерабатывал даже «невыносимые» запахи и звуки, заряжаясь от них новой энергией. Постройка в 1750 году Вестминстерского моста, а девятнадцатью годами позже — моста Блэкфрайарс знаменовала существенное развитие

южного Лондона. От новых мостов в направлении Кеннингтона и Элефант-энд-Касла были проложены дороги; другие дороги, пролегавшие через незастроенные поля, соединяли эти магистрали между собой. Новые пути стимулировали промышленное развитие, так что к фабрикам, где производили уксус и краску, добавились гончарное дело, обжиг извести и изготовление ваксы. К 1800 году Ламбет приобрел все черты трущобного района. Освоенная зона все росла. Она расширялась и развивалась, приобретая новые очертания, пуская узкие щупальца дальше на юг. Процесс набрал неодолимую силу в первом десятилетии XIX века, когда было завершено строительство трех мостов с платным проездом. Саутуоркский мост, мост Ватерлоо и мост Воксхолл открыли путь для осуществления крупных программ застройки, сотворивших южный Лондон в его нынешнем виде. Рост лондонского населения и действие новых промышленных сил все быстрее перетягивали город через Темзу. Вскоре улицы вокруг Сент-Джордж-серкус были густо заселены, близлежащие поля сплошь застраивались домами; спусти недолгое время торговля, жилье и производства начали распространяться дальше вдоль идущих оттуда дорог. Этот процесс

впрямую за тронул Ньюингтон, Кеннингтон и Уолуорт, и к 1830-м годам дороги и дома возникали уже по всей площади нынешнего южного Лондона. С развитием пригородов вскоре стали застраиваться Пеком, Камберуэлл, Брикстон, Клэпем и даже такие отдаленные места, как Далидж и Херн-хилл. Прошло еще какое-то время — и в городскую диаспору вошли Сиднем, Норвуд, Форест-хилл и Хонор-Оук.

Те, кто въезжал в Лондон с юга по железной дороге и потрудился за писать свои впечатления, отметили бескрайнюю панораму краснокоричневых крыш, глухих стен и мелькающих мимо маленьких улочек. Этот вид ассоциировался либо с морем, либо с пустыней, в обоих случаях наводя на мысль о некой безжалостной силе, сдержать которую невозможно. Персонаж из романа Г. Дж. Уэллса «Тоно Бенге», ехавший в начале 1900-х годов по Юго-восточной железной дороге, «заметил за Чизлхерстом нарастающую массу пригородных домиков — они множились и множились, им не было конца… скопления мелких жилищ, сгущаясь, начали уступать место большим доходным домам; я все больше и больше изумлялся этому безграничному миру блеклых людишек». Одним из преобладающих ощущений был также

испуг. Это был инстинктивный страх перед однородностью, сопровождавшийся страхом перед близкой столицей, которая ее породила.

Чем ближе подъезжал поезд к вокзалу Каннон-стрит, тем сильнее чувствовались «промышленные запахи — кожевенные, пивоваренные», витавшие в воздухе, как серный дух некоего невидимого ада. Поскольку заселение южного берега всецело шло под знаком промышленного развития и эксплуатации, нечего удивляться, что фабричные пары и дым обволакивали всю его территорию. Здесь находились клееварочные фабрики, склады шерсти; Чарлз Найт в «Лондонской энциклопедии» отмечает, что «трубы высились с промежутком в несколько ярдов прямо над лабиринтом красных крыш, добавляя свое к дымному воздуху округи». Район, который некогда считался монастырским, теперь славился многоликостью; его «можно считать и районом мануфактур, и районом садоводов, и районом оптовиков, и приморским районом — все зависит от того, в каком квартале мы находимся». В Бермондси разнообразию производств соответствовало разнообразие запахов. «На одной улице волнами накатывает горячий, насыщенный дух клубничного джема; на другой пахнет сыромят-

ной кожей и дублением; на третьей — клеем; а на иных улицах несчастные носы вдыхают тяжкую смесь всех трех ароматов». Между 1916 и 1920 годами лондонский романист и эссеист В. С. Притчетт работал на кожевенном заводе; ему тоже запомнились бермондсийские запахи. «В этой части Лондона и днем было сумрачно. В нос шибал тяжкий, пивной, одуряющий запах хмеля, а еще тут пахло ботинками и собачьим калом… с фабрики маринадов едко несло уксусом; с наждачной фабрики тянуло дымом… из попадавшихся там и сям маленьких трущобных домишек остро воняло нуждой». Последний запах — разумеется, самый проникающий и значимый из всех, которым южный Лондон был обязан своей зловонной славой.

Черты сходства между востоком и югом очевидны, но налицо и существенные различия. Ист-энд был пронизан более насыщенным, чем юг, общинным духом; там, к примеру, было больше открытых рынков и мюзик-холлов. Юг, кроме того, был не так тесно связан с остальным Лондоном. Ист-энд соседство как таковое наделяло долей энергии и воодушевления старого Сити; как бы то ни было, Ист-энд много веков существовал у самых городских стен. Что касается юга,

его всегда отделяла широкая полоса реки, из-за чего он казался заброшенным; такое восприятие отразилось в записях наблюдателей, подчеркивавших обособленность и чужеродность южного Лондона.

К примеру, Джордж Гиссинг, давая образ Саутуорка, сделал упор на тамошние неприятные запахи: «Вокруг мясных и рыбных лавок стояла вонь. Пивнушка целую улицу отравляла алкогольными испарениями; над канализационными решетками поднимались миазмы, от которых занимался дух». В 1911 году один лондонский репортер писал, что миновать Лондонский мост — значит пересечь «естественную линию, разделяющую народы»; в этом интересном замечании отражено почти атавистическое почтение к реке как природной границе, влияющей на сущностные свойства территорий на обоих берегах. Он затем задается вопросом: не становятся ли по пересечении этой заветной черты «сами улицы более грязными и убогими, магазины более вульгарными, даже люди — и те иными, более низкого пошиба?»

Если Лондон вмещает в себя весь мир, то в приведенных словах — бездна смысла. Различие между «северными» и «южными» народами

проводится издавна: север по сравнению с изнеженным и чувственным югом воплощает в себе более аскетическое и крепкое начало. Об этом различии писал Дарвин, излагая разработанную ими Лондоне теорию естественного отбора: «Северные формы смогли одержать победу над южными, более слабыми». Не исключено, что эти «южные формы» потому потерпели поражение, что истощились породившие их силы, восходящие, возможно, к необъятным по длительности эпохам мезолита и неолита. Кто знает — может быть, в состав тяжелого южнолондонского запаха входит запах древней истории? Что же касается местных забав, то, как писал в 1911 году упомянутый лондонский репортер, «даже театральные вкусы жителей „той стороны“ считаются теперь примитивными; эпитетом „заречной“ характеризуется мелодрама слишком грубого пошиба для более утонченного вкуса лондонских северян». Но не отразились ли в примитивном мелодраматизме и грубозрелищных эффектах «южного» театра вкусы XVI века, которым потрафляли знаменитые тогдашние театры южного берега?

Если встать сегодня на Банксайде, то мы увидим расположенные в линию три здания: электростанцию имени сэра Джайлса Гилберт Скотта

постройки 1963 года, преобразованную ныне в галерею Тейт Модерн, которая открылась в 2000 году; рядом — дом XVII века на ни бережной Кардиналз-уорф, где якобы жил в 1680-е годы Кристофер Рен, руководя строительством собора Св. Павла на северном берегу реки; рядом — театр «Глобус», воссозданный в том виде, какой он имел в XVI веке. Совсем недалеко, на Боро-Хай-стрит, древний постоялый двор «Джордж-инн» передает атмосферу Саутуорка в те столетия, когда он служил местом отдыха для путников, направлявшихся в столицу или из нее. Поблизости, на Сент-Томас-стрит, на чердаке приходской церкви XVIII века была обнаружена старинная операционная. В отчете об этой диковинной находке, которая датируется 1821 годом, отмечается, что «многие хирургические инструменты очень похожи на те, что использовались еще в римские времена». Одной из самых обычных здешних операций была трепанация, которую умели делать еще три тысячелетия назад. Так что когда пациента, завязав ему глаза, прикручивали к небольшому деревянному столу и врач заносил над ним скальпель, они, возможно, исполнял и ритуал, разыгрываемый здесь со времен неолита и древнеримских поселений.

Эти памятки, эти символы прошлого сохранили тут силу благодаря относительной изолированности южного Лондона; даже в 1930-е годы, как пишет А. А. Джексон в книге «Разделенный Лондон», «лондонцы редко пересекали реку», потому что на другой стороне была «чужая территория с совершенно незнакомой, явственно отличной системой сообщения». Многое, разумеется, было разрушено — взять, к примеру, ряд домов елизаветинской поры на Стоуни-стрит в Саутуорке, снесенных, чтобы проложить путь от моста к вокзалу Каннон-стрит, — но многое продолжает жить в новом обличье. Где в XVII веке Томас Деккер увидел такое обилие таверн, что улица превратилась «в одно сплошное питейное заведение без единой лавки», пабы и ныне идут один за другим вдоль дороги к Лондонскому мосту. Еще в начале XIX века любопытствующий антиквар, равно как и ночной посетитель, мог обследовать постоялый двор «Толбот-инн», ранее называвшийся «Табард-инн», и прочесть надпись над воротами: «На этом постоялом дворе Джеффри Чосер, Рыцарь и двадцать девять паломников ночевали по пути в Кентербери в 1383 году». Ткань южного Лондона не повредили ни мода, ни давление коммерческой необходимости. Этим

объясняются и очарование его, и заброшенность.

Однако обновление зданий вдоль южного берега и возведение в 2000 году пешеходного моста, соединившего Сент-Питерз-хилл с Банксайдом, знаменуют начало больших перемен. В прошедшие века южный Лондон отставал в промышленном развитии, но теперь благодаря этому ему легче обретать новые формы. Это особенно бросается в глаза, если взглянуть на участок Темзы, вдоль которого на юге идет интенсивная реконструкция. На северном берегу улицы и переулки до предела насыщены бизнесом и промышленными предприятиями, из-за чего никакие дальнейшие перемены в коммерческом облике или направленности района невозможны без новых разрушений. А вот относительно неразвитые зоны к югу от Темзы — благодатная почва для вдохновенных творческих преобразований.

Пешее путешествие по северному берегу от Куинхайта до Дарк-Хаус-уок — это настоящий опыт одиночества; идя по Темсайд-уок — «Береговой тропе», — вьющейся среди старых набережных и пирсов, не ощущаешь никакой связи ни с людьми, ни с городом. Фактически здесь имеются только стоящие впритык, но чуждые друг другу помещения разнообразных компаний, в

том числе один банк и склад лондонского муниципалитета. Северный берег Темзы, пользуясь современным языком, «приватизирован». В противоположность этому, на юге царят общительность и оживление; широкий пешеходный путь от новой галереи Тейт-Модерн к театру «Глобус» и дальше, к пабу «Якорь», на всем своем протяжении, как правило, полон людей Вновь проявляются старинное гостеприимство и свобода, свойственные югу; в XXI веке здесь будет один из самых мощных и многоликих (чтобы не сказать — популярных) центров лондонской жизни. Так южный берег сумел с триумфом заново утвердить свое прошлое. Реконструированная Банксайдская электростанция, чей верхний этаж напоминает куб, наполненный светом, вместе с набережной Кардиналз-уорф и восстановленным театром «Глобус» представляет собой триединое воплощение территориального духа. Поистине есть чему изумиться, когда пять столетий подают друг другу руки и едином, простом акте признания. Это одно из слагаемых лондонской силы. Где есть место прошлому, там может процвести будущее.

СТОЛИЦА ИМПЕРИИ

Глава 73
Не потому ли, что лондонец я?

Лондон всегда был городом иммигрантов. В свое время его называли «городом наций», и в начале XVIII века Аддисон заметил: «Когда я, глядя на этот великий город, вижу различные его края, или части, он предстает передо мной как соединение народов, отличных друг от друга по обычаям, манерам и интересам». Эти слова применимы к любому периоду на протяжении последних 300 лет. В книге «Лондонские висельники» Питер Лайнбо пишет, что «здесь был центр всемирного опыта», где отверженные, беглецы, путешественники и коммерсанты «находили убежище, узнавали новости и получали арену для схватки не на жизнь, а на смерть». Казалось, их созывает сам город, словно лишь в гуще лондонского опыта их жизнь могла обрести смысл. Население Лондона сравнивали с напитком, называвшимся в XVIII веке «все нации» и представлявшим собой слитые в один сосуд остатки спиртного на донышках разнообразных бутылок; однако сравнение это не назовешь справедливым

по отношению к различным иммигрантским группам Лондона. Энергичные и активные, эти люди не были «подонками» или «опивками»; их заражали лондонское воодушевление и предприимчивость, и, за немногими исключениями, группы эти богатели и достигали процветания. Это повесть, которой не будет конца. Часто отмечалось, что другие города принимают иностранца к свою среду лишь спустя годы после его приезда; в Лондоне требуется столько же месяцев, сколько там — лет. Верно, кроме того, что ты только тогда можешь быть в Лондоне счастлив, когда сам стал считать себя лондонцем. В этом заключается секрет успешной ассимиляции.

Новые люди со своими песнями и обычаями начали появляться по крайней мере со времен римской колонизации, когда Лондон открылся Европе как торговый город. В составе его трудового населения тогда, вероятно, были разноязыкие выходцы из Галлии, Греции, Германии, Италии и Северной Африки, объяснявшиеся друг с другом на одной из разновидностей вульгарной латыни. К VII веку, когда Лондон вновь возвысился как важный порт и торговый центр, пришельцы и коренное население уже изрядно перемешались между собой. Более того — уже невозможно бы-

ло отличить бритта от сакса, а после северных вторжений IX века в лондонскую смесь народов вошли и датчане. К X столетию город населяли валлийские бритты, белги, потомки галльских легионеров, восточные саксы, мерсийцы, датчане, норвежцы, шведы, франки, юты и англы, которые, постоянно смешиваясь, формировали особое племя лондонцев. В тексте, называемом «Этельред IV», говорится, что в период перед норманнским завоеванием в числе тех, кто проезжал через Лондон, были «люди из Фландрии, Понтье, Нормандии и Иль-де-Франс», а также «императорские люди — германцы».

Лондон, надо сказать, всегда был голодным городом; на протяжении многих веков он нуждался в постоянном притоке новых людей для компенсации высокой смертности. Они легко вписывались и бизнес, поскольку императивы лондонской торговли по самой сути своей хорошо сочетались с иммиграцией. Лондон был одним из главнейших рынков на свете — поэтому зарубежные купцы селились здесь и обзаводились семьями. С другой стороны, сюда приезжали заниматься своим делом те, кому не хватало коммерческой свободы у себя на родине. Еще одну категорию иммигрантов составляли люди,

готовые на любую работу и способные заниматься тем, чем «коренные лондонцы» (коренные в относительном, конечно, смысле) заниматься не желали или брезговали. Во всех случаях иммиграции отвечала потребности в рабочей силе и прибыли, так что назвать Лондон «открытым городом» в некоем идеалистическом смысле значило бы проявить сентиментальное лицемерие. Лондон мирился с волнами иммигрантов, ибо они способствовали его процветанию.

Возникали, однако, и поводы для недовольства. «Не нравится миг этот город совсем, — жаловался в 1185 году Ричард Девизесский. — Из всех стран, какие есть под небом, прибывает сюда и толчется всяческий люд. Каждый приносит в город свои грехи и обычаи». В 1255 году монах-хронист Мэтью Парис сетовал на то, что Лондон переполнен «пуатвинцами, провансальцами, итальянцами и испанцами». Он предвосхитил жалобы конца XX века на то, что Лондон «наводняют» приезжие из Африки, Азии и стран Карибского бассейна. Хронист XIII столетия находится во власти атавистического и неверного представления о том, что существует некий коренной народ, вытесняемый теперь иноземцами. Однако в его нападках на них проявляется и другое: он не

вполне симпатизирует коммерческим инстинктам столицы и чувствует себя отчужденным или отторгнутым от ее пестрой, многообразной жизни. Выделяя зарубежных купцов из общей массы, хронист пытается нейтрализовать саму коммерческую природу города; он бросает ей вызов. Те, кто нападал на иммигрантов, нападали, по существу, на этику бизнеса, требовавшего постоянного притока новой рабочей силы и новых видов торговли и производства. Атака, как и все подобные ей во все времени, не имела успеха.

Списки иммигрантов за 1440–1441 годы дают увлекательный материал для изучения этнических особенностей и культурных контрастов. В статье Сильвии Л. Трапп «Иностранцы в Лондоне и вокруг него в XV веке», опубликованной в журнале «Studies in London History» («Труды по истории Лондона»), проводятся интересные параллели с другими периодами. Около 90 % упомянутых в списках классифицируются как Doche; это было общее понятие, охватывавшее и фламандцев, и датчан, и немцев, однако больше половины из этих людей были уроженцами Голландии. Изучение их завещаний показывает, что их общей чертой было «стремление к добродетельной жизни и экономическому успеху

через посредство честного труда и взаимопомощи внутри группы»; эту характеристику вполне можно применить и к недавним иммигрантам, к примеру, из Южной Азии. Иммигранты XV века тяготели к некоторым определенным сферам деятельности — таким, как ювелирное и портновское ремесла, галантерея, часовое дело и пивоварение. Они также славились как печатники. Другие иностранцы вливались в более широкие городские слои, становясь торговцами пивом, корзинщиками, столярами, поставщиками провизии, слугами в лондонских домах или на постоялых дворах. Документы гильдий и уцелевшие завещания говорят также о том, что «средством общения внутри группы стал английский язык», — еще одна характерная и зачастую инстинктивная черта всякого иммигрантского сообщества. В городских уордах «коммерческую и финансовую аристократию» составляли итальянцы, хотя внутри этой группы наблюдались свои различия. В Лондоне жили французы, некоторое количество евреев и «греческие, итальянским и испанские врачи». К низшему слою в то время относились исландцы, которых обычно нанимали слугами.

В 1450-е годы наступил долгий период подозри-

тельности, когда итальянских купцов и банкиров преследовали за ростовщичество. Но осложнения в конце концов миновали, оставив после себя лишь слухи — свидетельство особой нетерпимости лондонцев к коммерческой нечестности. Майские беспорядки 1517 года, когда толпы учеников и подмастерьев громили лавки и дома иностранцев, были пресечены очень быстро и не оказали сколько-нибудь существенного воздействия на иммигрантское население. Так город вел себя на протяжении многих столетий: несмотря на отдельные всплески насилия, причинами которых могли быть демагогия или финансовая паника, иммигрантским сообществам, как правило, позволяли обосновываться в городе, вступать в торговые и житейские отношения с соседями, усваивать английский язык и делать его родным для себя, заключать браки с лондонцами и воспитывать детей как лондонцев.

Однако волна иммиграции середины 1560-х годов, когда гугеноты искали убежища от преследований со стороны католиков, вызвало всеобщую тревогу. 17 февраля 1567 года «в городе Лондоне был великий дозор… из боязни бунта супротив иностранцев, которых в городе и окрест него скопилось великое множество». Гугенотов

обвиняли в скрытой торговле между собой и в таких незаконных коммерческих приемах, как тайное накопление запасов. Они «скупают лучшие дома в городе, разделяют их, приспосабливают для нескольких съемщиков и пускают туда жить по нескольку семей»; поэтому, мол, они напрямую в ответе за лондонскую скученность. Даже если дети этих иммигрантов «рождены в нашем королевстве и по закону считаются англичанами», они остаются иностранцами по «склонности и симпатии». Вновь знакомый язык — язык тех, кому не по себе из-за наличия в их среде «пришельцев». Звучали также обвинения в том, что иностранцы взвинчивают в Лондоне цены на недвижимость.

Это, пожалуй, было неизбежно: во времена финансового спада или депрессии вина возлагалась на якобы нечестные или нарушающие свободу конкуренции коммерческие приемы «чужих». Аналогичным образом в периоды роста и процветания присутствие тех же самых торговцев приветствовалось как знак полнокровия и многоликого богатства города. Поглядев на разноязыкое скопище коммерсантов на Королевской бирже, Аддисон писал: «Моему тщеславию *англичанина* льстит зрелище столь многолюдно-

го собрания соотечественников и чужестранцев, которые обсуждают промеж собой частные дела всего рода человеческого и превращают столицу нашу в своего рода Emporium [центр торговли] для целого света». В этих словах нет ни тени антисемитизма или франкофобии.

Уильям Вордсворт, вспоминая в «Прелюдии» о своем пребывании в Лондоне в 1790-е годы, размышлял о том, что в городской толпе можно было увидеть

> *всевозможные фигуры и лица:*
> *Шведа, русского; с теплого юга —*
> *Француза и испанца; из дальней*
> *Америки — охотника-индейца; мавров,*
> *Малайцев, индийцев, татарина и китайца,*
> *Негритянских дам в белых муслиновых одеяниях*[145].

Упоминая также «итальянца… турка… еврея», он дает, можно сказать, полный перечень иммигрантского населения. Такой взгляд на характер города, в котором находится место многим нациям, ныне стал обычным; в XIX веке, однако,

---

[145] Примечания: 145
Подстрочный перевод.

наблюдалось новое явление — приток уже не религиозных, а политических беженцев. Их присутствие в Лондоне заметил Карлейль, писавший, что «по сменяющим друг друга разновидностям изгнанников, которые проходят по лондонским улицам и самим своим суровым молчанием взывают и к жалости нашей, и к мысли нашей, можно различать года и эпохи». Русский революционер Кропоткин воздал Лондону должное как убежищу для политических эмигрантов из всех стран, и во второй половине XIX века город действительно прославился как центр политической пропаганды, политических кампаний и выработки политических идеологий. Так, в Сомерс-тауне жили иммигранты из Испании: «Можно было видеть группу из пятидесяти или ста величественно-трагических фигур в потертых куртках на гордых плечах; они расхаживали, большей частью сжав губы, по широким тротуарам Юстон-сквер и поблизости от церкви Сент-Панкрас-Нью-черч». Став очень заметными в 1825 году, они затем, подобно многим другим таким группам, исчезли почти так же внезапно, как появились. Весной 1829 года, как сказано в одном дневнике того времени, «в Лондоне вдруг сильно прибавилось французов»; их число колебалось

вместе с колебаниями интенсивности политической агитации и гражданских беспорядков у них на родине. Лондон стал всеевропейским политическим барометром. Здесь жили Гарибальди и Мадзини, Маркс и Энгельс; в 1851 году сюда прибыли Герцен и Кошут — русский и венгр. В Лондоне находили убежище политические эмигранты из Польши и Германии. Англия, и Лондон в особенности, подходили для изгнанников наилучшим образом.

История каждой отдельно взятой группы представляет немалый интерес. Уже во времена римской колонизации здесь были и евреи, и африканцы, и представители большинства европейских народов. Весьма вероятно, что их присутствие тем или иным образом ощущалось с тех пор всегда. Мистерия отличий и дискриминации, отражающая необходимость самоопределения для «чужака» и «туземную» гордыню и подозрительность, разыгрывалась на протяжении столетий. Во многом эта повесть окрашена в цвета приятия и ассимиляции, но, как во всякой человеческой повести, в ней есть свои жертвы.

Евреи издревле страдали от людских предрассудков и жестокости. Уцелевшие после руанского

погрома появились в городе в 1096 году, однако первые документальные свидетельства о еврейском квартале Лондона датируются 1128 годом. Евреям не разрешалось заниматься обычной коммерцией, но можно было давать деньги в рост, что коммерсантам-христианам как раз воспрещалось; разумеется, это занятие, к которому их принудили сами власти, навлекло на них обвинения и ненависть. В 1189 году их квартал подвергся жестокому нападению, когда «люди, громко вопя, осаждали дома… не имея орудии для взлома, безумцы подожгли крышу, и вскоре начался страшный пожар». Многие сгорели заживо, другие, пустившись бежать по узким улочкам Олд-Джури и Грешем-стрит, были забиты до смерти. В 1215 году произошел еще один погром, и в ряде случаев евреям приходилось укрываться от разъяренной толпы в Тауэре. Они страдали также от знатных людей, которые были им должны, и, странным образом предвосхищая более поздние события, принуждены были носить на одежде знак своей национальной принадлежности. Это, правда, была не звезда Давида, а изображение каменных скрижалей, на которых, по преданию, были чудесным образом явлены десять заповедей.

В 1272 году по подозрению в чеканке фальшивых денег сотни евреем были повешены, а восемнадцать лет спустя, уже ненужные ввиду появления итальянских и французских финансистов, все оставшиеся были изгнаны из города, причем этот массовый исход сопровождался избиениями, оплевыванием, убийствами. Даже в таком космополитическом торговом городе, как Лондон, странствующий народ не смог найти постоянного пристанища. Напротив, Лондон явил тогда свои худшие черты. Но в последующие два-три столетия евреи вернулись — в небольшом числе, тихо и почти невидимо, в обличье христиан; в XVII веке их финансовыми талантами и возможностями воспользовался Карл I, однако не он, а Кромвель, чьи библейские познания были более глубоки, предоставил евреям, написавшим «смиренное прошение от евреев, проживающих ныне в городе Лондоне», право на жительство. Они просили, в частности, о том, чтобы «мы могли собираться для упомянутых выше приватных богослужений в наших частных жилищах без опасений за себя самих, за семьи и имущество». Это были евреи-сефарды, то есть выходцы из Испании и Португалии, как, например, Исаак Лопес Чильон, который был в числе

подписавших петицию; однако ближе к концу XVII века из Центральной и Восточной Европы стали приезжать евреи-ашкенази, менее зажиточные и хуже образованные, которых называли «неимущими» и «задавленными нуждой». Как пишет Чарлз Бут, «те, что обосновались давно, сторонились новоприбывших, считая их людьми низшего сорта, годными лишь на то, чтобы получать милостыню».

Здесь является другое лицо иммигрантского населения. Новоприбывшие не всегда хорошо принимались и не всегда хорошо смотрелись — среди них были не только коммерсанты и врачи, но и бедный странствующий люд, нищие беженцы, не имеющие никакой квалификации и пригодные разве что «к ремеслу старьевщика или к торговле вразнос фруктами, украшениями и кухонными ножами». Лондонские ашкенази были представителями целого народа, бедного и бесприютного, попеременно подверженного эксплуатации и погромам со стороны коренного населения.

В XVIII веке некоторые примечательные исторические эпизоды имели следствием приезд новых ашкенази; были преследования, разделы, осады, после которых к лондонским ашкенази,

основавшим в 1722 году в Олдгейте первую свою синагогу, добавлялись очередные группы единоверцев. Этим людям не были рады — главным образом потому, что они были бедны. Высказывались опасении, что «страну наводнят маклеры, ростовщики и попрошайки» (в очередной раз иррациональный инстинктивный страх перед неким «затоплением»!). Евреев обвиняли и в том, что они отбирают у коренных лондонцев рабочие места, — обвиняли безосновательно, поскольку они не могли наниматься в ученики к хозяевам-христианам. Тем не менее в Лондоне подобные страхи всегда имели благодатную почву; в обществе, где трудящееся население испытывало повальную нужду и неуверенность, всякое подозрение в нечестности, когда дело касалось работы и заработка, могло вылиться в великое недовольство. Так в 1750-е и 1760-е годы травля евреев превратилась в «спорт наподобие петушиных боев, травли быков или забрасывания камнями какого-нибудь несчастного у позорного столба».

Еще одно неприятное обстоятельство, проявившееся уже в XVII веке, заключается в том, что иммигрантским группам даются отчетливые и уничижительные характеристики. «Как французам нравится быть наглыми, а фламандцам

пьяными, — писал в 1607 году Томш Деккер, — так ирландцам нравится быть уличными торговцами». Это, говоря современным языком, проблема стереотипов, с которой сталкивались все иммигрантские сообщества. По иронии судьбы некоторые группы так и не смогли избавиться от этой жесткой системы неверных представлений и предубеждений. Лондонские ирландцы, к примеру, всегда носили ярлык беднейших из бедных. В приходских записях 1640 года говорится о вспомоществовании «бедному ирландцу… бедному нуждающемуся из Ирландии… на саван ирландцу, который помер… бедному джентльмену, разорившемуся из-за пожара в ирландском городе… его пожитки пропали в море по пути из Ирландии… четырем бедным женщинам из Ирландии с шестью детьми… бедным ограбленным ирландцам». Все эти записи, как и другие им подобные, содержатся в церковных книгах прихода Сент-Джайлс-ин-де-филдс и отражают начальные главы печальной иммигрантской повести. Строго говоря, однако, это нельзя считать началом. Одиннадцатью годами раньше был издан указ, где заявлялось, что «королевство наше в последнее время заполонили ирландские нищие, которые живут здесь в праздности,

представляют опасность и подают исконным жителям дурной пример». Подобные обвинения в адрес лондонских иммигрантов звучали во все времена — что они лентяи, что живут, как нищие, на подаяние, что деморализуют тем самым коренное население. Подразумевается, что от иммигрантов исходит угроза: они якобы подрывают в людях желание трудиться, являя собой образец успешного безделья; они, кроме того, получают вспомоществование, на которое старожилы, как это ни парадоксально, претендуют сами. Сходные жалобы звучали и в недавние годы — мишенью их были выходцы из Бангладеш, обосновавшиеся в Уайтчепеле и Тауэр-Хамлетс в целом.

Неприязнь к ирландцам порой выливалась в беспорядки, в основе которых опять-таки лежало представление о том, что они отбивают хлеб у коренного населения, нанимаясь на работу задешево. «Соглашаются на любую заурядную работу, — писал Роберт Уолпол, — за плату куда меньшую, чем англичане». Некоторые хозяева платили им «менее двух третей от обычного». Однако мало кто из писавших на эту тему задумывался о степени нужды и отчаяния, которые побуждали их трудиться за нищенское вознаграждение; напротив, ирландцы становились

объектом открытой враждебности и насилия со стороны толп, «собиравшихся в Саутуорке, Ламбете и на Тайберн-роуд». На них нападали также в Тауэр-Хамлетс, Клэр-маркете и Ковент-гардене. Во время мятежа лорда Гордона 1780 года под зажигательные крики «Долой папистов!» ирландские жилища и питейные заведения без разбора подвергались нападениям и разрушались. Действия, направленные против иммигрантов, опирались и на другое расхожее мнение, состоявшее в том, что многие из них — преступники, которые приехали поживиться за счет доверчивых лондонцев. В 1753 году один лондонский судья заявил, что «большая часть грабежей и проистекающих из них убийств совершается этим ирландским отребьем». Если еврей — то непременно скупщик краденого, если ирландец — то непременно вор. Лондон стал «убежищем», где опасные и растленные иммигранты «ищут тайного приюта и возможности укрыться». Слово «убежище» («refuge») может, таким образом, легко сменить значение на «притон».

Среди этих мятежей и тревог в Лондоне существовала другая группа иммигрантов, которая, не вызывая такого возмущения, пробуждала еще меньше сочувствия. Это были индийцы — по-

забытые ныне предшественники иммигрантов XX века, привозившиеся в качестве слуг или рабов; одни оставались на службе до конца дней, другие рано или поздно либо сами убегали бродяжничать, либо без церемоний выставлялись хозяевами на улицу. В печатных листовках помещались объявления о беглецах: гинея за поимку «чернокожего мальчика, индийца примерно тринадцати лет, убежавшего 8 числа сего месяца из Патни, на шее железный ошейник с надписью: „Черный слуга леди Бромфилд, Линкольнс-инн-филдс“». Другие объявлении сулили награду за возвращение «смуглого слуги из Ост-Индии» или «беглого бенгальца». Порой, однако, от слуг-азиатов, нужных хозяину только на время пути из Индии на родину, по прибытии «отказывались» или «избавлялись», так что им оставалось одно — улица. Один респектабельный гость из Индии жаловался на страницах «Таймс» на нищих соотечественников, которые «сильно досаждают» городской публике, но еще сильнее — «индийским господам, посещающим Англию». В 1786 году газета «Паблик адвертайзер» писала, что «обилие этих несчастных, которые день за днем клянчат деньги на обратный проезд, доказывает, что привозящие их в большинстве своем бросают

их на произвол судьбы, едва в их услугах пропадает нужда». То были иммигранты поневоле.

Хотя в XIX веке общая численность иммигрантов с Европейского континента неуклонно росла, главное бремя общественного позора по-прежнему несли евреи и ирландцы. Они были предметом насмешек и отвращения, поскольку жили замкнутыми сообществами, где, как считалось, царили грязь и убожество; господствовало, кроме того, мнение, что они неким образом «ввезли» в страну те неблагопристойные и нездоровые условия, в которых существовали. Филантропы, посещавшие ирландские трущобы, обнаруживали там «немыслимую грязь и нищету». Вина за эти омерзительные условии почему-то возлагалась прежде всего на самих иммигрантов, которые якобы и там, откуда прибыли, не умели устроить свою жизнь лучше. Природная мерзость самого Лондона и общественная изоляция, которой подвергались ирландцы и евреи, не обсуждались. Вопрос — куда еще им податься? — даже не ставился. Сходным образом тот факт, что иммигранты готовы были мириться с самыми зверскими и унизительными формами эксплуатации, использовался как еще один повод для недобросовестных нападок: подразумевалось,

что ни к чему иному они не годны. На самом же деле евреи потому принимали навязываемые «потогонной» системой правила, что из тяжелого положения, в котором они находились, нельзя было выйти, не заработав хоть сколько-то денег. Тошнотворные условия Уайтчепела нравились им не больше, чем посетителям-филантропам. Если бедность их вызывала жалость и отвращение, то их попытки ее преодолеть наталкивались на враждебность и насмешку.

Показательно распространенное предубеждение против другой азиатской группы. В конце XIX века китайцы Лаймхауса и его окрестностей рассматривались как чрезвычайно серьезная угроза для коренного населения. В газетах их изображали таинственными и зловредными существами; чуть позже ядовитым опиумным дымком попоило со страниц Сакса Ромера, Конан Дойла и Оскара Уайльда. Пучок ассоциаций обогатился. Считалось, что эти иммигранты «заражают» окружающее городское население; присутствие чужаков воспринималось как признак некой болезни. Сквозь всю историю Лондона проходит страх перед инфекцией в условиях городской скученности, и теперь этот страх просто изменил форму: людей пугала уже не столько физическая

зараза, сколько нравственная и социальная. В действительности же китайцы составляли маленькую и в целом законопослушную группу; беззаконий они творили не больше, чем другие горожане, среди которых они жили. Их осуждали, помимо прочего, за «пассивность»; в сознании людей воскрес призрак восточной привычки к курению опиума. Евреям, впрочем, тоже ставили в вину «пассивность», с которой они сносили презрение и обиды. Создается впечатление, что люди, которые избегали насилия в повседневной жизни, каким-то образом провоцировали, разжигали и коренных лондонцах ту склонность к насилию, что была и без того им присуща. Китайское сообщество уже самой своей обособленностью рождало в людях ощущение сумрачной тайны и нехорошие подозрения; особенную озабоченность вызывали мысли о возможности половой распущенности в их «притонах порока». Опять-таки это симптом более общих опасений в отношении живущих в Лондоне чужаков — опасений, проявившихся во враждебности к евреям из России в начале XX века, к немцам во время мировых войн, к «цветным» в 1919 году. В 1950-е и 1960-е годы объектом тревог были выходцы из стран Содружества, в 1980-е и 1990-е — иммигран-

ты из разных стран Азии и Африки. Меняется только направленность, но не суть.

Иной раз, однако, к тревогам примешивается почтение. Лучше всего это видно по вниманию, которое, порой неохотно, уделяется верности некоторых иммигрантских групп своей исконной религии. Вера приезжих составляла такой контраст с общим религиозным безразличием и откровенно языческими наклонностями лондонского коренного населения, что об этом часто писали и говорили.

В частности, религиозность евреев рассматривалась как положительный фактор для всего Ист-энда — как фактор нравственности и преемственности; забавно и грустно, что она была единственным, чем евреи могли отразить нападки и насмешки других лондонцев. Протестантская вера гугенотов, католическая вера ирландцем и итальянцев Кларкенуэлла, лютеранская вера немцев — все эти культы и связанные с ними обычаи считались искупительными для этих групп свойствами. «Потом ему попадался на глаза один или другой из тех старых, одетых в черное, бородатых, почтенных евреев, — говорится в ист-эндском романе Г. Чарлз „Точка пересечения“, — каких в этом квартале уже мало

осталось, но все еще можно изредка увидеть, и в сердце его вздымалась страстная ностальгическая тоска, словно сквозь этих людей он все еще мог дотянуться до ясности, до свежести, до грубой, невинной, полной притязаний, кипучей жизни былых иммигрантов, которым будущее сулило так много». Отрывок напоминает о тех сторонах иммигрантского существования, про которые, когда речь идет о всеобъемлющем величии Лондона, часто забывают: герой испытывает ностальгию по ясности древней веры, но, помимо этого, он заворожен «свежестью» и «притязаниями», которые внесли вклад в сотворение нынешнего многорасового города.

Ноттингхилльский карнавал, который первоначально был праздником лондонских тринидадцев, проводится с середины до конца августа, то есть в точности тогда же, когда в старину в Смитфилдс шла Варфоломеевская ярмарка. Странное это совпадение, приводящее на ум многие столь же любопытные примеры лондонской преемственности, вместе с тем высвечивает одну из самых диковинных историй, связанных с темой иммиграции, — историю, в ходе которой лицом к лицу столкнулись в городской среде таинственные сущности белой и черной рас. В пьесах XVI

века «мавр», то есть чернокожий, изображается как существо похотливое, иррациональное и опасное. Его приход на сцену — это, разумеется, следствие его появления в Лондоне, где цвет кожи стал самым наглядным и самым существенным знаком людского различия. В долгий период римской колонизации в Лондон приезжали африканцы, и, без сомнения, их потомки, люди смешанных кровей, жили в городе и в эпохи саксонского и датского завоеваний. Однако в сознание горожан они вторглись именно в XVI веке, с началом африканской торговли и с появлением в 1555 году первых чернокожих рабов. Есть ли у этих язычникон души? Или они какие-то недочеловеки и цвет кожи свидетельствует о глубокой пропасти, отделяющей их от людей? Поэтому они вызывали страх, смешанный с любопытством. Хотя их было довольно мало и почти все они находились под присмотром как домашние рабы или связанные кабальным договором слуги, они уже были источником тревоги. В 1596 году Елизавета I отправила городским властям послание, где жаловалась, что «с недавних пор в королевство наше ввозятся всяческие арапы, коих здесь уже стало чересчур много»; несколько месяцев спустя королева вернулась к этой теме, заявив, что «без

людей этого сорта, кои столь многочисленны, в нашем королевстве вполне обойтись можно». Через пять лет был обнародован королевский указ, повелевавший «великому числу нищих и арапов, проникших в наше королевство», убираться восвояси.

Но, как и все подобные указы, касавшиеся Лондона и его населения, он не возымел особого действия. Требования торговли, в особенности с островами Карибского моря, были важнее. Приезжавшие африканцы были рабами плантаторов, вольными и подневольными матросами, «подарками» для состоятельных лондонцев. Росло к тому же и сообщение с самой Африкой, вследствие чего негры получали все больший доступ в порты Лондона; в восточных пригородах временно размещались черные команды многих судов. Чернокожие слуги стали популярным и модным атрибутом домов городской знати. Негритянское население росло, и к середине XVII века черные превратились в обыкновенных, хоть и по-прежнему чужеродных, членов городского сообщества. В большинстве своем они, как и раньше, были рабами или учениками, связанными с хозяином договором, и, как пишет в книге «Соседство черноты» Джеймс Уолвин, «были низведены до

положения человекообразной собственности»; поэтому свидетельства их существования в Лондоне ограничиваются «старыми могильными камнями, грубой статистикой, извлекаемой из ветхих приходских книг, и невнятными объявлениями». Такова, разумеется, общая судьба большинства лондонцев, и можно сказать, что эти чернокожие иммигранты, видимые нами как некий негатив, в символической форме демонстрируют страдания самого Лондона.

11 августа 1659 года объявление в «Mercurius politicus» гласило: «Негритянский мальчик лет девяти, в сером сержевом[146] костюме, волосы коротко острижены, потерялся во вторник 9 августа вечером на Сент-Николас-лейн в Лондоне». Те, кто терялся, то есть убегал, оказывались в полной власти улиц. В 1710 году один приезжий из Германии заметил: «Здесь столько арапов обоего пола… никогда такого не видел. Как мужчины, так и женщины сплошь и рядом нищенствуют». Однако хуже всего чернокожим порой приходилось как раз в более традиционной обстановке; до знаменитого судебного «дела Сомерсетта» 1772 года, когда было постановлено, что английские

[146] Примечания: 146
Серж — плотная шерстяная ткань.

суды не должны признавать рабского состояния, многие негры были самыми настоящими рабами. В «Лондон сешнз» за 1717 год рассказано о деле черного иммигранта Джона Сизара, который вместе с женой «четырнадцать лет работал без вознаграждения» — то есть был рабом — в одной уайтчепелской типографии. Даже в 1777 году в объявлении идет речь о «черном слуге примерно двадцати четырех лет, именем Уильям, цвет лица коричневый или же смуглый». На нем «пасторское пальто, синие панталоны, белый батский фланелевый жилет, туфли с желтыми позолоченными пряжками и бобровая шапка на белой подкладке». Он сбежал, и, хотя наряжен он был, судя по всему, очень модно, в объявлении далее говорится: «Он представляет собой собственность хозяина, и на одном плече у него выжжено: L. E.». Клеймо было знаком не позора, а недочеловечности; оно определяло статус негра как существа более низкого разряда, чем люди. В торговом городе чернокожие составляли часть движимого имущества. Поэтому в XVIII веке печаталось много объявлений об их продаже: «Продается негритянский мальчик одиннадцати лет. Справляться в кофейне „Виргиния“ на Треднидл-стрит… Цена — 25 фунтов. Продается

потому единственно, что его нынешний хозяин решил отойти от дел».

Лондонская судьба чернокожих имела, однако, и другую сторону, Торговые сделки, о которых говорилось выше, совершали люди богатые или обладающие связями; вряд ли можно сомневаться, что «джентльмены», покупавшие и продававшие этих маленьких рабов, только обрадовались бы, если бы все «нижние слои» Лондона были низведены до подобного рабства. В этом смысле судьба чернокожего невольника была показательна как проявление гражданского и административного гнета в более крупном масштабе. Неудивительно, что лондонские «низы» относились к черным с определенной долей сочувствия и товарищества. Источник такого отношения — природный эгалитаризм, на который уже было указано как на одну из движущих духовных сил лондонской жизни. Об этом эгалитаризме, и наибольшей мере присущем бедным и обездоленным, свидетельствует жизнь «черного одноногого скрипача» Билли Уолтерса по прозвищу Король нищих. Утверждалось, что «его знал в Лондоне каждый ребенок». Уже было отмечено, что провозвестники расового конфликта в Лондоне оказались лжепророками; голоса, воз-

вещавшие в конце 1960-х и в начале 1970-х конец света, с тех пор поутихли. Корни этой относительной гармонии и терпимости в отношениях между черными и белыми можно усмотреть в широко распространенном сочувствии горожан к бесправным неграм-иммигрантам XVIII столетия.

Однако по мере того, как соседство их становилось — пусть даже совсем ненамного — более ощутимым, росли и тревоги по поводу «черноты» в самом сердце Лондона. Джон Филдинг, в середине XVIII века занимавший в Лондоне должность судьи, высказал мнение, что чернокожие по приезде в город очень быстро становятся подрывными элементами, особенно когда осознают, что белые слуги исполняют те же функции, что и они. Иными словами, что черная кожа — это одно, а рабство — совсем другое. Поэтому «они начинают равнять себя с прочими слугами, опьяняются свободой, делаются строптивы… и приходится их увольнять». Ну а как ведут себя «уволенные», то есть выброшенные на улицу? «Дурно влияют, сея недовольство, на всех черных слуг, прибывающих в Англию». Многие в конце концов оказываются на тех отдаленных улочках, где уже успели сложиться негритянские сообщества. Итак, в глазах городских властей «соседство

черноты» представляло двойную угрозу. Тех, кто издавна пребывал в рабстве, оно заражало злобой или обидой; кроме того, беспокойство внушали небольшие поселения чернокожих иммигрантов, возникшие в Уоппинге, Сент-Джайлсе и других «нехороших» районах.

К концу XVIII столетия число «нищих негров» увеличилось; в частности, чернокожие рекруты, воевавшие на стороне англичан во время американской Войны за независимость, по приезде в Англию были брошены на произвол судьбы. Это еще одна разновидность иммиграции, когда она является прямым следствием действий метрополии; в этом смысле от чернокожих ветеранов тянется отчетливая нить к мигрантам XX века, покидавшим развалины Британской империи. В одной брошюре 1784 года говорится, что негры тысячами «бродили по городу — нагие, безденежные, едва не умирающие с голоду». В результате в них увидели угрозу общественному порядку. Люди африканского, афроамериканского или вест-индского происхождения (важно не место, а цвет кожи) всегда на инстинктивном уровне считались «опасными». К этим страхам добавлялись тревоги по поводу смешения рас: в бедных районах Лондона смешанные браки были доволь-

но обычным явлением. Ожили представления XVI века, когда «мавр» считался похотливым созданном, словно чернота кожи была внешним знаком «черных» влечений, скорее звериных, нежели человеческих. «Английские женщины низших сословий чрезвычайно падки на чернокожих, — писалось и XVIII столетии, — по причинам слишком грубого порядка, чтобы их изъяснять». Был создан «Комитет помощи неимущим чернокожим», чьей единственной целью была отправка негров за пределы страны. Успеха затея не имела. Из негритянского населения, численность которого, по оценкам, составляла от 10 до 20 тысяч, на корабли село менее пятисот человек. Для подавляющего большинства Лондон, судя по всему, оставался избранным городом. Сколь бедственно и скудно ни было существование этих людей, они, как правило, не хотели покидать место, где кипучий круговорот жизни и развлекал, и манил возможностями.

Мало-помалу чернокожие лондонцы акклиматизировались и в XIX веке, хоть и по-прежнему подвергались оскорблениям из-за цвета кожи, были на лондонских улицах привычным явлением. Они сделались частью «низшего класса», из которого их почти не выделяли; в качестве под-

металльщиков улиц, бродяг или нищих они были практически незаметны. В громадном городе их было слишком мало, чтобы привлечь общественное внимание или стать причиной беспокойства; они ни с кем не конкурировали за рабочие места и не угрожали ничьему заработку. Они редко фигурировали в романах или иных повествованиях, разве что в отдельных гротескных сценах, и общая их судьба была — тихо существовать среди городской бедноты.

Однако в конце 1940-х годов, с началом иммиграции с островов Карибского моря, возродились старые опасения — перед безработицей среди белых, перед смешанными браками, перед общей перенаселенностью. Летом 1948 года на пароходе «Эмпайр уиндраш» прибыли 492 молодых ямайца. Их приезд ознаменовал начало процесса, изменившего демографический облик Лондона и повлиявшего на все стороны городской жизни. За вест-индцами последовали иммигранты из Индии, Пакистана и Восточной Африки, и в начале XXI века, согласно оценкам, в Лондоне проживает почти два миллиона представителей небелых этнических меньшинств. Несмотря на отдельные стычки на расовой почве и на беспокойство некоторых меньшинств по поводу поведения

полиции, бросается в глаза тот факт, что эгалитаристские и демократические инстинкты лондонцев уже оттеснили опасения и предубеждения на обочину. Иммиграция настолько срослась с Лондоном, что даже те вызвавшие немало споров формы, какие она приняла во второй половине XX столетия, в конце концов стали устоявшейся частью его существования. Это было ясно уже после ноттингхилльских волнений 1958 года и в особенности после убийства Келсо Кокрейна — молодого столяра с острова Антигуа. Вернулся некий важный элемент лондонской жизни. Вот что сказал один молодой выходец из Вест-Индии авторам книги «Порыв ветра», исследовавшим в ней судьбы иммигрантов XX века с островов Карибского моря: «Раньше, когда что-нибудь такое вдруг появлялось в газетах, раз проедешь в автобусе — и мигом поймешь, какая кругом температура. Люди очень враждебно себя вели. Но теперь, после этих похорон, все стало по-другому. Это ясно чувствуется — какой-то поворот, какая-то перемена к лучшему. Люди стали дружелюбней. Они уже по-другому все воспринимают». Разумеется, в последние двадцать лет были и столкновения, и убийства, но нет сомнений в том, что самый существенный лондонский процесс

в национальной сфере — слияние и ассимиляция. Процесс этот — глубинная часть городской истории.

По ходу дела претерпел изменения и сам город. Майкл и Тревор Филлипсы, авторы книги «Порыв ветра», рассматривают эти перемены под интересным углом зрения. Они пишут, что рабочие с Ямайки, Барбадоса и из других мест не просто «эмигрировали в Британию». По существу они эмигрировали в Лондон, поскольку «именно жизнь огромного города манила их, именно по ней они тосковали». В XX веке город успешно создал внутри себя условия современной промышленной и экономической жизни — поэтому для новых иммигрантов переезд в Лондон был единственным способом «влиться в широкий поток современности». Это замечание, важное само по себе, проливает, кроме того, свет на всю иммиграцию последнего тысячелетия. Людей притягивал сам город. Лондон звал их. Обосноваться в нем означало для них — на некоем смутном, интуитивном уровне — стать частью настоящего момента, движущегося в будущее. О важности времени внутри города уже было сказано, однако для первых иммигрантских поколений город означал само движение времени.

А их свежесть и оптимизм, в свою очередь, подпитывали город энергией. Например, в 1960-е годы не раз отмечалось, что иммигранты способствуют «перепланированию и обновлению» улиц и домов, где они живут. Такие районы, как Брикстон и Ноттинг-хилл, «с XIX века находились в запущенном состоянии», однако новоприбывшие «ревальвировали громадные участки старого города». Слово «ревальвировали» подчеркивает экономические успехи новых жителей, но превращение чернокожего иммигранта в чернокожего лондонца — процесс многосоставный. Приезжим из Вест-Индии, «что бы жить в городе и добиваться в нем процветания, пришлось пройти через ряд фундаментальных перемен»; подобно евреям и ирландцам до них, им нужно было приобрести новое городское «я», в котором сохранялось бы их наследие и которое вместе с тем позволило бы им гладко войти в громадный, сложный, но в целом дружественный организм Лондона. Городское окружение могло показаться обезличивающим, или враждебным, или страшным, но на деле оно было вполне подходящим для того, чтобы вест-индские и другие иммигранты сформировали для себя это новое «я».

Как пишут авторы книги «Порыв ветра», «ин-

стинкт города состоял в том, чтобы… уравнивать возможности» и «улаживать противоречия между потребителями и производителями». Этот новый эгалитаризм способствует взаимной притирке различных рас, ибо «главная задача города — сводить людей друг с другом». С другой стороны, «характер города… начал влиять на облик нации», и многоликий Лондон своим существованием способствовал обновлению самой природы англичанина, самого понятия об «английскости». Ныне и Хэкни живут монтсерратцы, в Слау — выходцы с острова Ангилья, в Паддингтоне — доминиканцы, в Хаммерсмите — гренадцы. Если раньше в Сохо обитали швейцарцы, а в Холборне — киприоты, то теперь в Ноттинг-хилле — барбадосцы, а в Стокуэлле — ямайцы. В Саутолле группируются пенджабцы, в Тауэр-Хамлетс — бангладешцы, и Стоук-Ньюингтоне — турки, в Лейтоне — пакистанцы. Каждое сообщество воспроизвело свою независимость в широком окружении всего Лондона, так что в очередной раз город приобретает всемирные черты. Город, этот «глобус многих наций», действует как парадигма и как лидер грандиозного забега жизни.

Глава 74
Зенит империи

К последним десятилетиям XIX века Лондон стал имперским городом. Главные площади, железнодорожные вокзалы, отели, громадные доки, новые большие улицы, перестроенные рынки — все это зримо воплощало в себе беспримерную, исполинскую мощь. Город стал международным финансовым центром и локомотивом империи; в нем бурлила жизнь, полная великих ожиданий. Часть его изящества и многообразия была ныне утрачена. Уютная георгианская компактность тоже исчезла, уступив место укрупненным масштабам неоклассики и неоготики, что соответствовало новым устремлениям разросшегося, сверхличного города. Колонна Нельсона на Трафальгар-сквер, воздвигнутая в 1843 году, была создана по образцу колонны Марса Мстителя в имперском Риме, тогда как при проектировании новых зданий на Уайтхолле был использован осовремененный классицизм; как писал Джонатан Шнир в книге «Лондон 1900 года», лондонская архитектура прославляла «британский героизм

на полях сражений, британское владычество над заморскими землями, британское богатство и власть — словом, британский империализм». Став более публичным и более могущественным, город потерял долю человечности. Его символом стал мост Тауэр-бридж, который строился тринадцать лет и был окончен в 1894 году; это было необычайное инженерное достижение, но возникает чувство, что мосту намеренно был придан сверхчеловеческий, подавляющий масштаб. В его огромности и сложности отразились свойства самого города.

Лондон конца XIX века был основан на деньгах. Сити достиг исторической цели, которую преследовал почти две тысячи лет. Он стал источником коммерческой активности и инструментом кредитования для всего мира. На Сити держалась Англия, богатства империи питали и омолаживали Сити. Морская торговля древнейших поселенцев принесла много веков спустя неожиданные плоды: к концу XIX столетия учреждения Сити прямо или косвенно контролировали почти половину мирового торгового судоходства. В первые десятилетия XX века привычным зрелищем стали новые крупные коммерческие здания; в большом количестве, с использованием мощных

и ярких архитектурных эффектов возводились новые банки, главные помещения промышленных фирм и страховых компаний, К примеру, в последнем издании тома, посвященного лондонскому Сити, из серии Певзнера «Здания Англии» говорится о том, какое интенсивное силовое поле образовало здание Английского банка по отношению к другим коммерческим предприятиям. «Вокруг теснятся главные офисы или крупные филиалы важнейших клиринговых банков, многие из которых неимоверно усилились после слияний и поглощений конца 1910-х. Здания эти рассчитаны на то, чтобы производить впечатление как снаружи, так и внутри». Здесь вновь возникает, диковинно соединяясь с идеями прибыли и власти, неизменно присущий Лондону элемент театральности. Тенденция к «слияниям и поглощениям» в мире банков соответствовала общему движению к образованию все более крупных структур; газетная индустрия, исполинское разрастание Почтового управления, стремительная экспансия страховых компаний — все это вносило вклад в облик города, мощно и почти противоестественно пошедшего в рост.

Противоестественность выразилась и в другом. Внедрение электрического освещения в

1890-е годы (в интерьере оно было впервые применено в 1887 году в здании Ллойдс-банка на Ломбард-стрит) с неизбежностью означало, что для работы в четырех стенах естественного освещения уже не требовалось. Возникли громадные слои служащих Сити, которые жили словно бы в глубине морской: люди приходили на работу темным зимним утром и уходили вечером, ни разу за день не увидев солнца. Так Лондон способствовал одному из великих несчастий, постигших человеческий дух. Вдобавок использование новых строительных технологий (в частности, применение железобетона и стали), а также внедрение пассажирских лифтов прямым и неизбежным следствием имели возведение все более высоких зданий. Странный симбиотический процесс, который всегда отличал развитие Лондона, выражался в том, что расширение доступного пространства шло рука об руку с ростом количества людей, готовых его занять. Согласно статистике, число трудящихся Сити выросло с 200 000 в 1871 году до 364 000 в 1911-м. Чарлз Путер из «Лавров» на Брик-террас (Холлоуэй)[147] пред-

[147] Примечания: 147

Чарлз Путер — вымышленный автор «Дневника Никого», написанного братьями Джорджем Гроссмитом (1847–1912) и Уидоном Гроссмитом (1852–1919) и опубликованного в 1892 г.

ставляет собой литературный образ одного из тысяч служащих, составлявших, как написано в одном путеводителе, «настоящий город клерков». «Мальчик мой, в итоге двадцатилетних трудов и неукоснительного радения о выгоде начальства я был награжден повышением по службе и стофунтовой прибавкой к жалованью». То, что сотворенный Гроссмитами комический персонаж не утратил читательского расположения за сто с лишним лет, свидетельствует, судя по всему, об инстинктивной точности их повествования; заурядность путеровской жизни воспринималась как символическая черта, характеризующая новый тип городского или пригородного человека. Его лояльность и наивность были теми гражданскими качествами, в которых Лондон нуждался для поддержания своего бытия.

Но он был городом не одних клерков. Лондон предлагал рабочие места представителям новых массовых профессий — инженерам, бухгалтерам, архитекторам, юристам, которые неостановимо стекались в столицу империи. В свою очередь, эти состоятельные «потребители» сформировали спрос для новых «универсальных магазинов» и образовали клиентуру новых ресторанов; возник возрожденный на более здоровой основе «теат-

ральный Вест-энд», где работали такие режиссеры, как Ирвинг и Бирбом Три. Были развлечения и поизысканней. Новый, более мобильный слой относительно зажиточных лондонцев открывал для себя парки, музеи и картинные галереи средневикторианской поры. Улучшилось качество библиотек, проводилось немало интересных специализированных выставок, удовлетворяющих новую потребность горожан в соединении познавательного и развлекательного начал. Лондон стал, помимо прочего, городом фабианцев и «передовых женщин»; в нем распространялись культурные веяния «конца века», которые ассоциируются в общественном сознании прежде всего с блистательной лондонской карьерой Оскара Уайльда.

Но старый город никуда не исчез. В 1880-е годы на площади Трафальгар-сквер среди фонтанов и голубей ночевало под открытым небом до четырехсот человек обоего пола. Как писал Г. П. Клан и и книге «Лицо Лондона» (1932), «лишь около трети этих людей имели какую-либо постоянную профессию или занятие, прочие же с детства просто перебивались со дня на день как придется и с трудом могли объяснить, как они ухитрились прожить так долго». За любой год этого десяти-

летия примерно «двадцать пять тысяч человек попадало под суд за пьянство и нарушение общественного порядка на улицах»; отчасти это объясняется тем, что пабам теперь было разрешено оставаться открытыми всю ночь. Возможно, на горожанах сказывалось напряжение от жизни в богатейшем и мощнейшем городе мира. Город был соткан из контрастов. До конца 1870-х годов площадь Лестер-сквер была постоянно усеяна «жестяными котелками, чайниками, старой одеждой, негодной обувью, дохлыми кошками и собаками».

По улицам беспрерывно текла река транспорта на конной, моторной и паровой тяге; средняя скорость двухколесных и четырехколесных экипажей, фургонов и «бамперов» (омнибусов) по-прежнему составляла около двенадцати миль в час. На улицах старые женщины торговали травами, яблоками, спичками, сандвичами. В городе обитала непоседливая братия оборванных босоногих детей, ночевавших в узких проулках или под железнодорожными арками. Уличные торговцы продавали с тележек всевозможный товар — уголь, цветы, рыбу, булочки, чай, фаянсовую посуду. Вспыхивали эпидемии, стремительно и жестоко распространявшиеся среди подвижного

городского населения. Задним числом, однако, кажется, что среди необъятной сложности Лондона конца XIX века жизни бедных горожан несколько потерялись и роль их уменьшилась; их голоса не так явственно слышны в неумолкающем шуме транспорта, их жизненная борьба плохо видна в гуще клерков, «профессионалов» и прочих, кто населял разрастающийся город.

Эта необъятная сложность — следствие богатства и могущества — создавала трудности для городских властей. Могло ли Столичное управление городского хозяйства вкупе с приходскими советами осуществлять надзор и контроль над самым большим и влиятельным городом на земле? В итоге в 1888 году был образован Совет Лондонского графства (СЛГ), ведавший территорией примерно в 117 квадратных миль. Сюда входил весь Лондон — внутренний и внешний, от Хэкни на севере до Норвуда на юге. В правительственных кругах всегда молчаливо опасались чересчур сильного и заносчивого города, поэтому СЛГ не получил власти над полицией и общественными службами городского хозяйства; тем не менее его создание было сразу же воспринято как чрезвычайно важное событие в истории Лондона. Сидни Уэбб назвал это шагом к «самоуправляю-

щемуся сообществу», и возникали отдаленные ассоциации со средневековой городской общиной, огороженной стеной и имеющей свое войско. Лоренс Гомм, великий историк лондонского административного устройства, работал одно время клерком в СЛГ, который был для него «современным воплощением демократизма, присущего средневековым хартиям, и гражданских традиций, берущих начало во времена саксов и римлян». В 1899 году произошла новая реорганизация: были созданы двадцать восемь столичных административных районов (Metropolitan Boroughs), заменивших систему приходских и окружных советов прошедшего столетия; хотя они были предназначены для противодействия возможным централистским импульсам, исходящим от СЛГ, им, как и ему, был присущ некий атавистический дух. На «королевский парад» летом 1912 года каждый район выставил свой батальон; возможно, это было предвестье Первой мировой войны, но, кроме того, войска из Фулема и Уондсворта, Степни и Камберуэлла, Поплара и Баттерси, марширующие перед королем Георгом V, напоминали о верноподданнической лояльности, которую демонстрировали в старину такие территориальные единицы, как burg (город) и

soke (судебный округ).

СЛГ с энтузиазмом и воодушевлением взялся за городские дела. Первейшими задачами были расчистка трущоб и строительство муниципального жилья. Обновление той части Бетнал-грин, что называлась Джейго, ныне представляется символическим жестом; мерзкие переулки и дома, о которых писал Артур Моррисон, исчезли с лица земли в конце XIX века, и вместо них возник жилой массив Баундари-грин-эстейт. Были расчищены и другие трущобные районы внутреннего Лондона; кроме того, в духе преобладающей тенденции к «расширению», которое стало физическим и ментальным императивом, в таких пригородных зонах, как Ист-Актон и Хейз, были созданы «массивы коттеджей».

В 1904 году Совет графства стал ведать начальным образованием в Лондоне и учредил систему стипендий, благодаря которой талантливые дети могли после начальных школ продолжать учебу в классических школах. Такие нововведения непосредственно влияли на жизнь лондонцев. Люди не помнили, чтобы раньше городские власти входили с ними в прямое соприкосновение. Лондонская администрация уже не была чем-то отдаленным и почти неразличимым, издавав-

шим, как выразился по другому поводу Мэтью Арнольд, «унылый удаляющийся рокот»; она стала ощутимой силой, фактором перемен и улучшений.

В очередной раз Лондон проникся молодым, энергическим духом, он преисполнился той пытливой любознательности, что пышет со страниц Г. Дж. Уэллса и подобных ему городских хронистов. Трудный, замысловатый город «конца века», казалось, исчез с лица земли, а с ним и тяжкая атмосфера апатии, которая столь явственно чувствуется в мемуарах того времени; с началом столетия Лондон точно ожил. Тогда, помимо прочего, возник массовый кинематограф; открылись кинотеатры — «Мувинг-пикчер-тиэтр», «Кинема». Метрополитен отказался от паровозов, в 1902 году его линии были электрифицированы. Ко всеобщему движению добавились автобусы, трамваи, грузовики и трехколесные мотороллеры. Лондон, по выражению того времени, «не застаивался». Как пишет в «Улицах Лондона» Томас Берк, если он в конце XIX века «был богат и зрел, то теперь сделался быстр и смекалист». Способность к омоложению — одна из постоянных и удивительнейших черт Лондона. Его можно сравнить с организмом, избавляющимся

от старой кожи, или текстуры, чтобы начать новую жизнь. Этот город может танцевать на своем собственном пепелище. Не случайно во многих лондонских мемуарах эпохи Эдуарда VII[148] упоминается о приглашениях на «чай с танцами», о танго, о вальсах и о венгерских оркестрах. В центральной части города было двенадцать мюзик-холлов и двадцать три театра, рядом с центром — еще сорок семь. Магазины и рестораны становились крупнее, кафе и чайные превратились в «дома» — «corner houses», «maisons». Кинотеатры, боксерские ринги, киоски с газированной водой, кафе, ревю — все это, соединяясь, создавало атмосферу «веселого» города.

Первая мировая война не помешала росту города и не сделала его безжизненным. Лондон всегда был достаточно энергичен и крепок, чтобы никакая беда его не брала. В последний мирный день в начале августа 1914 года Герберт Асквит услышал «отдаленный рев». Он писал: «Лондонская толпа всегда готова приветствовать войну или события, которые могут к ней повести. Можно вспомнить замечание сэра Р. Уолпола: „Сегодня бьют во все колокола — через несколько недель будут

[148] Примечания: 148
Он правил с 1901 по 1910 г.

рвать на себе волосы“». Лондон был привычен к насилию и варварству, не в последнюю очередь проявлявшимся в эксцессах толпы, и на многих перспектива хаоса и разрушений подействовала как тонизирующее средство. Жители больших городов всегда наиболее кровожадны. Надо также признать, что Лондон за годы войны вырос. Он и за прежние столетия убил больше людей, чем приголубил, — так стоит ли удивляться, что в новом конфликте он, казалось, здоровел за счет бойни? Экономика города, из которого было изъято множество молодых мужчин, работала в условиях полной занятости, и в результате уровень жизни повысился. Разумеется, не обошлось без отдельных опасностей и трудностей. Строительные работы были свернуты, в темное время город очень скупо освещался фонарями, выкрашенными в темно-синий цвет из-за боязни цеппелинов. Парки и скверы использовались для выращивания овощей, отели были превращены в правительственные учреждения или общежития. Но из-за наплыва иммигрантов в городе стало больше иностранных ресторанов и кондитерских, танцевальные залы и мюзик-холлы были полны. Столица понесла людские потери; на стенах некоторых давным-давно отреставри-

рованных зданий и по сей день можно видеть таблички в память о рейдах цеппелинов. За четыре военных года в городе погибло примерно семьсот человек, тогда как на полях сражений полегло почти 125 000 лондонцев. Но Лондон богат жизнями.

Заключение мира в ноябре 1918 года было отмечено сценами ликования и энтузиазма, каких в городской истории было немало. Этот день изобразил Стэнли Вайнтрауб в книге «Тишина, которую услышал весь мир. Окончание великой войны»: «Улица превратилась в бурлящее людское месиво. Взвились невесть откуда взявшиеся флаги. От набережной Виктории устремились потоки мужчин и женщин… Едва успел отзвучать последний удар часов, как на улицах Лондона — совсем еще недавно строгих, по-военному напряженных, упорядоченных — воцарилось торжествующее столпотворение». Это картина города, возвращающегося к жизни, с артериями улиц, по которым вновь «устремились потоки» живительной крови. Люди «пускались в пляс на тротуарах», на площадях собрались громадные толпы — все хотели сполна испытать то таящееся до поры чувство солидарности, в котором единственно проявляется в такие минуты

городское «я»; горожане поистине становятся тогда одним телом, а их голоса — одним голосом. Король Георг V ехал, «рассекая волны ликующих толп»; образ морской стихии вновь подчеркивает надличность и неотвратимость, свойственные этому проявлению массового восторга. Осберт Ситуэлл вспоминал, что и последний раз до этого видел такую толпу «вечером 4 августа 1914 года у Букингемского дворца, когда люди бурно приветствовали свою грядущую гибель; большая часть из стоявших там не дожила до нынешнего дня».

Здесь экзальтация очень близко подходит к дикарству — на лондонских улицах празднуется некий варварский триумф. В людей вселился «бог стад»: «То сбиваясь в кучу, то берясь за руки, они, подобно морским волнам, плескались о края Трафальгар-сквер». Празднование продолжалось три дня без перерыва. Парадоксальным образом торжества по поводу установления мира сопровождались определенной долей насилия и буйства; как писал один наблюдатель, это была «разнузданная оргия почти животной радости. Было чего испугаться. Чувствовалось, что, окажись тут случайно какие-нибудь немцы, женщины накинулись бы на них и разорвали на части». Разумеется, той же самой жестокостью

был пронизан восторг толпы в начале войны. В романе Джеймса Хилтона «Шальная жатва», где речь идет о тех же событиях, есть эпизоды, передающие «соприкосновение с грубой землей — жаркое грешное слияние с толпами прошлого». Исступление порой принимало неожиданные формы. Сохранился рассказ о знаменитом попугае в пабе «Чеширский сыр», который «в ночь Перемирия 1918 года среди общего гвалта вытащил клювом одну за другой сто пробок, после чего рухнул без чувств». Внимание, в большей мере, чем годам войны, уделяемое здесь дням ноябрьских празднований, может показаться непропорциональным, однако именно в этот краткий период город ярче всего выявил свою сущность.

Завершившийся конфликт, кроме того, дал толчок динамичному развитию и породил новую целенаправленность. К 1939 году население Большого Лондона выросло до 8 600 000; это самая большая величина, какой оно до сей поры достигало и, возможно, какой ему вообще суждено достичь. Из каждых пяти жителей Британии один был лондонцем. Город расширялся во всех отношениях: возникли новые шоссе с разделительными полосами и радиальные

дорожные системы, простирающиеся до Чизханта и Хатфилда, до Чертси и Стейнза. Рост вширь сопровождался обновлением внутреннего устройства. Возводились новые здания банков и фирм, сам Английский банк подвергся перестройке. Началось сооружение нового Ламбетского моста. Совет Лондонского графства, осуществляя новые проекты в области образования и социального обеспечения, разрабатывая новые схемы жилищного строительства и разбивки парков, способствовал быстрому развитию города. В книге «Лицо Лондона» (1932) Г. П. Кланн писал: «Новый Лондон с неодолимой энергией воздвигается на освященных временем местах». Этот период возрождения не был первым и не был последним, Лондон вечно стар — и всегда нов. Так или иначе, ярким знаком обновления стало то, что осенью 1931 года важнейшие общественные и коммерческие здания столицы были впервые освещены прожекторами.

Эта новая яркость притянула мощные силы. Процесс, который часто называли «столичной централизацией», затронул такие сферы, как политика, профсоюзы и радиовещание; радиостанция Би-би-си, угнездившаяся в центре Лондона, стала «голосом нации». В столицу

мигрировали индустрия кино и газетное дело наряду с множеством рекламных компаний, и этот процесс способствовал распространению лондонских образов по всей стране. В массовой миграции приняла участие и промышленность. Авторы «Плана Лондонского графства» отмечают, что «зрелище многочисленных преуспевающих фабрик и общая атмосфера процветания, которой отличался Большой Лондон», привлекли многих влиятельных бизнесменов. В очередной раз Лондон стал символом — Кокейном, золотым городом.

Многие исследователи квалифицировали 1930-е годы как эпоху неуверенности, когда экономическая депрессия, безработица и перспектива новой мировой войны существенно влияли на общее положение вещей в городе. Однако историкам и репортерам свойственно привносить в предмет исследования свои предвзятые суждения; Лондон достаточно велик и разнороден, чтобы отразить любую тематику и дать подтверждение любому образу мыслей. Он способен заключать в себе все и потому, вероятно, всегда будет оставаться в основе своей непознаваемым.

Дж. Б. Пристли, к примеру, увидел приметы

великого преобразования. Он охарактеризовал новую городскую культуру, повсеместно возникающую вокруг, как культуру «автомагистралей и малых дорог, заправочных станций и фабрик, похожих на выставочные павильоны, гигантских кинотеатров, дансингов, кафе, бунгало с крохотными гаражами, коктейль-баров, вулвортовских магазинов, междугородных автобусов, радио». Вновь возникло знакомое лондонское ощущение — что все становится слитком большим. Цифры, опубликованные в 1932 году, говорят о том, что, к примеру, население Дагнема выросло за десять лет на 879 %. В 1921 году это была деревенька с коттеджиками и полями пшеницы; в течение десятилетия здесь было возведено 20 000 домов для рабочих. Дагнем упоминается и описании нового города, которое дал Джордж Оруэлл: горожане населяют «бескрайнюю новую пустыню из стекла и кирпича», где «на разных уровнях… протекает одна и та же жизнь — что в многоквартирных домах упрощенной постройки, что в муниципальных домиках у бетонных дорог». Он говорит о той же действительности, что и Пристли: «Милями тянутся вереницы бунгало на две семьи, все с собственными маленькими гаражиками и радиоантеннами». Оби писателя

отозвались на самую существенную перемену в лондонской жизни за последние 150 лет. Они вели речь о пригородах.

ПОСЛЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Глава 75
Пригородные грезы

Пригороды также стары, как и сам город; в свое время это были ошметки и отсевки Лондона, нездоровые и несчастливые. «Предместья» заключали в себе то, что изгонялось из Сити, — «вонючие производства», бордели, лепрозории, театры, — и пространство за его стенами всегда считалось в той или иной степени опасным и беззаконным. Это был не город и не деревня; это была, можно сказать, пустая колея от движения Лондона по земле.

Тем не менее к XVI веку такие разные области за городской чертой, как Уоппинг и Холборн, Майл-энд и Бермондси, начали проявлять все признаки быстрого роста по части населения, торговли и застройки. В 1657 году автор «Лондинополиса» писал: «Верно говорят, что пригороды Лондона гораздо обширней самого города, из-за чего напрашивается сравнение со шляпой иезуита, у которой поля намного шире тульи». Примерно тогда же испанский посол заметил: «Я думаю, скоро вообще не останется никакого

Сити — все перетечет через городские ворота в предместья». Так или иначе, процесс был и неизбежен, и неостановим. Задержать свой рост Лондону было не легче, чем вулканической лаве перестать извергаться.

Процесс, однако, отличался сложностью и непредсказуемостью. Лондон расширялся не так равномерно во времени и пространстве, как может расползаться масса, преодолевающая внешнее сопротивление; он распространялся по спирали, меняя направление, используя уже существующие дороги или торговые пути, испытывая способность тех или иных деревень или приходов поддерживать его вес. К примеру, южная часть Степни приобрела черты «приречного городка», одного из первых промышленных пригородов столицы, тогда как о северной его части по-прежнему можно было сказать, что «приход выглядит совсем по-деревенски». Иначе говоря, Лондон распространялся органически, постоянно ища подходящее окружение, в котором он мог существовать и преуспевать. Предместье Спитлфилдс менее чем за шестьдесят лет увеличилось впятеро, и само название этих полей (fields) порой ошибочно возводят не к spital (больница), а к spittle (слюна), то, возможно, имеют в виду

пенистые белые выделения паука, постоянно расширяющего свою сеть.

Разумеется, это как бы само собой возникавшее обилие строений и людей вызывало и недовольство, и смятение. Казалось, что оно угрожает самой сущности Лондона. Чисто технически власти уже были не в состоянии надзирать за торговлей, за трудовыми отношениями, за ценами; ну а в менее осязаемом смысле — блюстители закона и порядка чувствовали, что постепенно утрачивают контроль за городом в целом. Это ослабление власти рождало тревогу. Так, к при меру, Карл I возложил вину за беспорядки на Уайтхолле на «скверный и мятежный люд из предместий»; сами же эти предместья были описаны в «Истории Лондона» Стивена Инвуда как «настоящая преисподняя: кучи испражнений, зловонные производства, игрища с травлей животных, виселицы, таверны для простонародья, проститутки, иноземцы, воры, бедняки и буйные толпы».

Какое-то время, однако, казалось, что пригороды могут даровать и спасение от проклятия города. К концу XVIII века в Пекеме было «много красивых домов… по большей части это сельские резиденции богатых лондонцев». В Кентиш-та-

уне, «где воздух чрезвычайно здоров, многие горожане выстроили себе дома; те же, кому этого не позволяют денежные обстоятельства, нанимают меблированные жилища на лето». В Фулеме тоже «много хороших зданий, принадлежащих джентри и горожанам Лондона». Это не беспорядочный инстинктивный рост, а сознательная колонизация пригородной местности. Такие деревни, как Клаптон, Хемпстед и Далидж, стали, согласно терминологии более позднего времени, «пригородными местечками».

Еще в 1658 году близ Ньюинтон-Грин возникла терраса — сплошной ряд однотипных домов по образцу лондонской застройки. Тридцать лет спустя подобным же образом была распланирована площадь Кенсингтон-сквер, причем, как пишет Крис Майел в «Пригородном Лондоне», «не было сделано никаких заметных уступок сельскому характеру места». Посредством некой странной алхимии город воспроизводил себя на отдалении, словно бы молчаливо подавая знак о грядущем. Сходным образом пригородные жилые массивы, выросшие в былых сельских районах, довольно точно копировали массивы, уже существовавшие в западной части Лондона; Кенсингтон-Нью-таун, Ханс-таун и Камден-таун были городами в

миниатюре, выстроенными на удобных и доходных участках у крупных дорог. Пригороды, как и остальной Лондон, основывались на принципах коммерческой выгоды.

Если такие районы, как Хаммерсмит и Камберуэлл, уже нельзя было назвать ни сельскими, ни городскими, то и население их было настолько же смешанным и трудноопределимым. Дефо ранее отметил возникновение «людей среднего разбора, обогатившихся торговлей, в которых, однако, по-прежнему чувствуется Лондон; иные живут и в городе, и за городом в одно и то же время». Порождением смешанных ландшафтов стали гибридные архитектурные формы. В частности, в 1750-е и 1760-е годы возникли виллы, ставшие стандартным пригородным жильем. Вскоре их можно было увидеть и в Излингтоне, и в Масуэллхилле, и в Илинге, и в Клэпеме, и в Уолтемстоу, и в Южном Кенсингтоне. Утверждалось, что пример этих вилл оказал прямое воздействие на облик последующей более массовой пригородной застройки, которую Джон Саммерсон охарактеризовал как «поток викторианского домостроения, настоящий „вилловый“ ливень». В этом определении чувствуется распространенное доныне несколько пренебрежительное отношение к

пригородам XIX и XX веков; как бы то ни было, виллы середины XVIII столетия предвосхищали атмосферу и физический строй более поздней пригородной жизни не только своей архитектурой. Они, к примеру, воплощали глубинно присущую лондонскому характеру приватность, которой город уже не мог дать людям. Одной из причин стремления горожанина в пригороды как на раннем, так и на позднем этапе их развития было желание избавиться от близкого соседства других людей, от их голосов. Спокойствие современной пригородной улицы, конечно, трудно сравнивать с тишиной, царившей некогда на виллах Роугемптона или Ричмонда, но принцип остается прежним. Разумеется, виллы с самого начала проектировались как жилища для одной семьи, обнесенные оградой и защищенные от посягательств города. «Каждая семья сама по себе» — эта идея занимает поистине центральное место в развитии пригородной жизни, для которой одинаково важны безопасность и относительная изоляция. Виллы располагались на расстоянии друг от друга. Более дешевые позднейшие варианты застройки для густонаселенных зон использовали принцип «полуотдельности» — дом на две семьи с раздельными входами.

Явление, которое иные могут счесть отступлением или регрессом, имело свои социальные и эстетические последствия. Первые виллы были впечатляющими знаками респектабельности — «приветливости, элегантности, утонченности», как говорилось в брошюре того времени, — и этот ореол окружал пригороды на протяжении двух последующих столетий. Выражение «keeping up appearances» (поддержание внешнего вида, соблюдение приличий), возможно, было создано именно для пригородной жизни. Но уже эти первые виллы принесли с собой элемент искусственности; они не были виллами и каком-либо классическом смысле (и конечно, не имели ничего общего с древнеримским вариантом, который в эпоху колонизации был распространен по всей Южной Англии), и иллюзия сельской жизни поддерживалась лишь благодаря великому упорству и изобретательности. Пригороды XIX и XX веков тоже играли и некую изощренную игру, притворяясь, что не принадлежат городу. В действительности они в такой же степени составляли часть Лондона, как Ньюгейт или Тоттнем-корт-роуд, но привлекательность их по-прежнему была основана главным образом на предположении, что они свободны от пагубных

и загрязняющих влияний города.

Эта счастливая иллюзия не могла, однако, держаться долго. Развитие массового транспорта ускорило величайший в истории Лондона исход. Вскоре картина стала ясна: состоятельные горожане уезжали еще дальше, на более просторные и возвышенные участки, и место их занимали новоприбывшие. Это явление так же старо и так же ново, как сам город. Чарлз Мэнби Смит в «Малом мире Лондона» описал эволюцию между 1820-ми и 1850-ми годами одной вымышленной улицы в пригородном Излинггоне, которую он назвал Строберри-стрит (Клубничная). Два или три года там шло строительство «двух рядов двухэтажных домов», и поначалу улица «весьма настойчиво цеплялась за сельские ассоциации и особенности», с тем чтобы избежать «поглощения Вавилоном». На этой благовоспитанной улице жили с семьями джентльмены-«профессионалы» — «клерки, менеджеры и ответственные служащие, ездившие на работу в город». Затем, однако, начались перемены. «Леди и джентльмены потихоньку стали перебираться дальше на север, уступая место другому общественному слою — торговым служащим, фабричным и заводским мастерам», которые работали полный

рабочий день и вдобавок «сдавали комнаты, чтобы осилить арендную плату». Вскоре «на пустыре с восточной стороны улицы как грибы выросли длинные ряды коттеджей — между соседними не было и двадцати футов. Едва окончилось строительство, в них сразу же вселились жильцы». Поблизости заработала лесопилка, а на самой улице появились разнообразные лавки и заведения; к былым ее обитателям добавились плотник, столяр, зеленщик, так что «за пару лет… вся Строберри-стрит как по ту, так и по другую сторону, за исключением очень немногих домов, превратилась в третьеразрядную торговую улицу». Лесопилка не простаивала, и «вокруг нее возникла куча разнообразных предприятий». Открылись пивные, пабы и кофейни, с ними соседствовали мастерские и склады. Так за какие-нибудь тридцать лет улица «из прибежища тихого и непринужденного достатка превратилась в обиталище трудовой, борющейся массы».

Другой характерный процесс городского развития был связан с застройкой вдоль главных дорог и последующим заполнением пространств между магистралями, так что, как выразился в 1885 году журнал «Билдер» («Строитель»), «рост твердого ядра, в котором оставалось лишь незна-

чительное число пустот, был поистине бурным». К 1850-м годам горожане начали переселяться в такие места, как Канонбери на севере и Уолуорт на юге. Учреждение дешевых рабочих транспортных тарифов привело к быстрому заселению зон вблизи от железнодорожных станций; так возникли «рабочие пригороды», в частности Тоттнем и Ист-Хем. Миграция набирала силу, и в 1860-е годы рядовые клерки и лавочники желали одного — приобрести «загородный домик». Один наблюдатель, стоя в 1862 году на вершине пригородного холма Примроуз-хилл, заметил, что «столица простерла руки и взяла нас в объятия — объятия пока не удушающие, но уже зловеще тесные». Метафора подразумевает вторжение некой грозной и чужеродной силы и, конечно, является выражением привычного — чтобы не сказать, банального — отношения к Лондону. Экспансия города в сельскую местность была шумной, нездоровой и разрушительной; с другой стороны, город нес с собой энергию и активность, и, создав мир пригородов, он сотворил новую форму жизни. Он был источником успеха и приносил тем, кто селился в новых районах, определенное удовлетворение.

Таким образом, в середине XIX века по все-

му периметру Лондона шло беспрерывное строительство. Главным лозунгом было: «Как построено — сразу заселено»; но ошибкой было бы назвать все пригороды царством третьесортной архитектуры и некачественного планирования. К примеру, свободная застройка таких участков, как Сент-Джонс-вуд-эстейт, Уимблдон-коммон и Хемпстед-гарден-саберб, весьма отлична от «террас» в рабочих пригородах Уолтемстоу и Баркинг. Ряды маленьких домиков, составлявших Эйгар-таун, невозможно было спутать с более изысканными авеню Брикстона. Жилой массив Итон-Колледж-эстейт, расположенный в местности, называемой Чок-фарм, совершенно не похож на Севен-Систерз-эстейт. Унылый Излингтон контрастировал с зеленым Крауч-эндом. Герберт Уэллс, выросший в пригородном районе Бромли, с неудовольствием писал о «кое-как построенных, не поддающихся улучшению домах» и об «отсутствии планирования, жертвами которого стили все, кому довелось жить в Лондоне». Но всего через десятилетие после его неуютного житья в Бромли юный У. Б. Йейтс радовался относительной сельскости Бедфорд-парка. Оба будущих писателя обитали в лондонских пригородах.

В широком плане можно выделить три типа

пригородов. Одни ни тот момент находились на внешней границе города; такие районы, как Сербитон, Сидкап и Чизлхерст, характеризовались крупными виллами на возвышенных местах с просторными садами. У ближайшей железнодорожной станции, конечно, стояло какое-то количество «коттеджей» и магазинов, но иллюзию сельской местности все же можно было поддерживать. В пригородах второго типа — таких, как Памерз-грин и Крауч-энд, — жили «управляющие средней руки, фабричные контролеры и хорошо оплачиваемые клерки», которые, используя низкие тарифы наземного железнодорожного транспорта, находили здесь безопасное и сравнительно тихое убежище от грохочущего «Вавилона». В пригородах третьего уровня обитал рабочий класс; в районах, подобных Лейтону и Ист-Хему, непримечательные и неотличимые друг от друга террасы дешевого жилья занимали все свободное пространство. В основном такие пригороды были расположены в восточной части Лондона. К числу факторов, определявших характер и качество пригорода, принадлежали и старинные территориальные императивы, поэтому запад очевидным образом стоял выше, чем восток и северо-восток, южные пригороды

были просторнее и меланхоличнее северных.

В 1880-е годы уже все были согласны, что Лондон — «город скорее новый, чем старый». Как писал в 1900 году журнал «Билдингньюс», он сделался «неимоверно разросшимся столичным городом», большей частью представляющим собой «море маленьких домишек». Это было парадоксально: исполинская столица, оказывается, может состоять из крохотных элементиков. Словно, подчиняясь некой странной интуиции, Лондон дал зримый образ бурно развивающейся социальной демократии. Сотворению нового города способствовали новые виды общественного транспорта — такие, как метрополитен; в ответ город создавал теперь среду для эволюционного общественного развития. «Где кончится Лондон?» — вопрошал в 1870 году журнал «Билдер», и единственным ответом было — «А бог его знает». Этот вопрос мог быть задан в любой момент на протяжении шести последних столетий, и ответ был бы тем же. В 1909 году рост пригородов описал Ч. Ф. Г. Мастермен (будучи лондонской, эта тема занимала всех): «Мили и мили маленьких красных домиков на маленьких тихих улочках в количествах, превосходящих воображение». Для него они символизировали «жизнь безопасную,

сидячую, респектабельную». В сходном ключе писал позднее Джордж Оруэлл в книге «Памяти Каталонии»: «…огромная мирная пустыня лондонских пригородов… спящих глубоким-глубоким сном Англии».

Некоторого пренебрежения, неявно присутствующего в этих характеристиках, сами жители пригородов не разделяли. Сон и респектабельность, возможно, были именно тем, что требовалось новым поколениям лондонцев; население города много веков было отягощено буйством и жестокостью, пьянством и нездоровьем. Пригороды стали воплощением новой цивилизации, которая сулила преуспеяние, не обремененное привычными городскими атрибутами. Когда в 1900-е годы застраивался Илфорд — пригород среднего уровня для клерков и квалифицированных рабочих, — владельцы земли наложили запрет на сооружение пабов. Они старались сделать новый пригород как можно менее похожим на Лондон. В те же годы Совет Лондонского графства перенес центр тяжести с обновления и благоустройства старых районов «внутреннего города» на создание «массивов коттеджей» на лондонских окраинах. Хотя идея коттеджа понесла при этом немалый урон, все

же строительство террас из двухэтажных домов с маленькими задними двориками не только повысило репутацию муниципального жилья, но и изменило образ лондонца. Теперь типичный кокни не обязательно был жителем трущоб.

В середине 1930-х годов было подсчитано, что транспортом в Лондоне каждый день пользуются два с половиной миллиона человек, Нечего удивляться, что пригороды как в частных, так и в общественных своих аспектах бурно росли. Это была эпоха «Метроленда», который начался с Сидарз-эстейт в Рикманзуэрте и затем, распространяясь вовне, включил в себя Уэмбли-Парк, Руислип, Эджуэр, Финчли, Эпсом и Перли. Важная роль транспорта в этом массовом рассредоточении людей подчеркивается тем обстоятельством, что само понятие «Метроленд» было создано компанией «Метрополитен рейлуэй» и всячески пропагандировалось рекламной службой лондонского метро. В буклетах и плакатах подчеркивались загородные достоинства создававшихся огромных жилых массивов.

«На зеленые улочки нас манил Метроленд», — писал поэт Джон Бечемен, который испытывал стойкую, пусть и не лишенную двойственности, приверженность к пригородам — к «остроконеч-

ной псевдоготике», к «новопосаженной сосне», к «грушам и яблокам Кройдона» и к «светлым пригородным вечерам» с их ощущением широко разлитой, приветливой безопасности. В стихотворении, озаглавленном «Миддлсекс», Бечемен апеллирует и к более высокому постоянству: «Жив утраченный было рай сельского Миддлсекса». Рекламная служба «Метрополитен рейлуэй» и подземки играла на подобной тоске по преемственности и предсказуемости. Как заверяли буклеты, в которых изображались «виды лиственного Пиннери в нежных сепии тонах» (вновь цитата из Бечемена), пригородных новоселов ожидала жизнь по соседству с «дикими ежевичными зарослями, полными соловьиного пения». На одной рекламной картинке, растиражированной лондонским метро, показаны три ряда серых угрюмых городских террас; надпись гласила: «Покинь все это, перебирайся в Эджуэр». В другом случае сельский пейзаж сопровожден цитатой из поэта XVII века Абрахама Каули, переехавшего в Чертси после Реставрации 1660 года: «Я желал бы иметь маленький домик с обширным садом да скромным хозяйством в придачу». В очередной раз новый пригородный взгляд, соединяясь с неявным антикварианизмом Лондона

как такового, ищет опору в обращен и и к смутно видимому и неточно трактуемому прошлому.

Та же культурная ностальгия проявилась и в архитектурном стиле новых пригородов, где доминировал «псевдотюдор», который окрестили еще «маклерским тюдором». Цель была — соединить общее ощущение преемственности с удовлетворением от следования традициям в строительстве и оформлении. Для лондонцев XX века, добровольно покидавших центральное ядро города, это был способ обрести некую новую солидность и достоинство. Город порой избирает неожиданные пути трансформации и регенерации. Так, в лондонских топонимах пригородные «гарден» (сад), «драйв» (подъездная аллея), «парк», «уэй» (дорога) и «райз» (холм) теперь фигурируют на равных со старыми «стрит» (улица), «лейн» (улица, переулок) и «элли» (переулок).

Лондон создал и пригрел новую форму жизни. Это опять произошло непредсказуемым образом, без всякого согласованного или централизованного планирования, благодаря действию короткоживущих коммерческих сил. Пригороды стали

средоточием «торговых парадов»[149], больших кинотеатров, радующих глаз станций метро и нарядных железнодорожных вокзалов. Это была эпоха автомобилей «моррис» и «форд». Выросшие вдоль больших шоссе фабрики производили все необходимое для новой цивилизации — стиральные машины, холодильники, электроплиты, радиоприемники, пищевые полуфабрикаты и консервы, пылесосы, электрокамины, обитую искусственной кожей мебель, столики под старину и оборудование для ванных комнат.

В романе «Незримые города» (1975) итальянский писатель Итало Кальвино рассуждает о натуре пригородов, изображая их в виде вымышленных городов — Труды и Пентесилеи. Мы можем подставить на их место Актон и Уэмбли-парк. Рассказчику говорят, что он может двигаться куда захочет — и все равно попадет «в еще одну Труду, совершенно такую же, вплоть до мелочей. Весь мир состоит из одной лишь Труды, у которой нет ни начала, ни конца». Но ведь именно таково всегда было определение Лондона — безначального и бесконечного. Пригороды только разделяют с ним эту искони присущую ему

[149] Примечания: 149

«Торговый парад» (shopping parade) — группа стоящих рядом местных магазинов в жилом районе.

неограниченность. «Джин-паласы» старого города уступили место впечатляющим кинотеатрам 1930-х годов, постоялые дворы — современным «придорожным гостиницам» и пабам в псевдотюдоровском стиле на главных перекрестках, уличные рынки — «торговым парадам» и универсальным магазинам. Пригороды межвоенных лет, существенно обогатившие и расширившие лондонскую жизнь, по существу были вариацией на старую тему. В романе Кальвино рассказчик спрашивает, где находится Пентесилея, и жители в ответ «дели ют широкий жест, который может означать и „Здесь“, и „Немного дальше“, и „Она повсюду вокруг“, и даже „Поворачивай назад“». И посетитель начинает спрашивать себя — «не является ли вся Пентесилея только окраиной самой себя? И тебя уже грызет более мучительный вопрос: а существует ли какая-либо наружность вне Пентесилеи? Или, сколько ни удаляйся от города, ты все равно будет переходить из одного круга в другой и так и не сможешь его покинуть?»

Лондон повсеместен, и локализовать его невозможно. Необычайное разрастание его пригородов служит подтверждением того факта, что, поскольку он не имеет определенного центра, периферия его находится повсюду.

БЛИЦ

Глава 76
Военные вести

Началось с атак на пригороды Лондона. Пострадали Кройдон и Уимблдон, а в конце августа во время одного из рейдов бомбы упали уже на центр — на Крипплгейт. И вот 7 сентября 1940 года в пять утра немецкие военно-воздушные силы нанесли по Лондону тяжелейший удар. Шестьсот бомбардировщиков, пройдя мощными волнами, сбросили взрывчатый груз большой зажигательной силы на восточную часть города. Запылали Бектон, Вест-Хем, Вулидж, Миллуолл, Лаймхаус и Розерхайт. Под бомбежку попали бензохранилища и электростанции, но главной мишенью были доки. «Телеграфные столбы начинали дымиться, затем разом вспыхивали снизу доверху, хотя расстояние до ближайшего огня было немалое. Потом от палящего жара загорелось дорожное покрытие из деревянных колод». Сквозь огонь и непрекращающиеся взрывы пожарные устремлялись к очагам пламени, с которыми «мало что можно было поделать». «Огонь бушевал так, что жалкими были все наши

попытки его потушить. Склад превратился в беснующееся адское пекло, на фоне которого темными силуэтами вырисовывались пигмейские группы пожарных, направлявших бессильные струи на стены пламени». Эти зарисовки взяты из книги Салли Холлоуэй «Отвага», представляющей собой историю борьбы с лондонскими пожарами. Один доброволец находился у реки, где «полмили суррейского берега пылало вовсю… там и сям на плаву горели баржи… Вблизи все равно что адское озеро». В крипте церкви в Боу «люди стояли на коленях, плакали, молились. Это была жуткая ночь».

Немецкие бомбардировщики явились и на следующую ночь, и на следующую. Бомбы упали на Стрэнд, на больницу Св. Фомы, на собор Св. Павла, на Вест-энд, на Букингемский и Ламбетский дворцы, на Пиккадилли, на Палату общин. Можно было подумать, что идет война с самим Лондоном. За сентябрь — ноябрь на столицу упало почти 30 000 бомб. За первые тридцать дней бомбардировок погибло почти шесть тысяч человек, тяжелораненых было вдвое больше. Ночью 15 октября, в полнолуние, «казалось, что наступил конец света». Иные сравнивали Лондон с доисторическим животным, раненым и

обожженным, которое, пренебрегая ударами, продолжает грузно двигаться вперед; подоплеку этого образа составляет интуитивное представление о Лондоне как о некой древней неодолимой силе, способной оправиться от любых ран, от любого потрясения. Но в ходу были и другие сравнения — например, с Иерусалимом, с Вавилоном, с Помпеями, — окрашивавшие положение города в цвета беды и грядущей гибели. В первые дни «блица» при виде немецких бомбардировщиков, с которыми зенитная артиллерия мало что могла поделать, лондонцам казалось, что им суждено стать свидетелями неминуемого разрушения родного города.

Первая реакция, согласно отчетам организации по изучению общественного мнения «Масс обзервейшн» и прочим данным, были смешанной и невнятной. Некоторые горожане, не в силах справиться с захлестывающим страхом, впадали в истерику, и было отмечено несколько случаев самоубийства; другие ощутили прилив злости и упрямую решимость продолжать обычную жизнь даже перед лицом чрезвычайной опасности. Иные хотели казаться жизнерадостными, иные с острым любопытством рассматривали причиненные бомбами разрушения, но настроение

многих можно определить как «воодушевленный вызов». Как пишет составитель антологии по лондонской истории А. Н. Уилсон, документы того времени свидетельствуют «о веселой дерзости, о склонности к шуткам и пению» даже «и близком и откровенном соседстве с жестокой смертью».

Сполна охарактеризовать этот особый дух не так-то легко, однако для тех, кто пытается описать натуру Лондона, он представляет чрезвычайный интерес. Филип Зиглер в своей канонической работе «Лондон военных лет» утверждает, что «лондонцы сознательно старались выглядеть беззаботными и бесстрашными»; возможно, однако, этот самоконтроль был необходимым и инстинктивным противодействием распространению паники. Что сталось бы с восьми-миллионным городом, овладей им зараза истерии? Такую именно судьбу пророчил столице Бертран Расселл, предсказывавший в брошюре «Где дорога к миру?», что Лондон превратится в «один большой бедлам — больницы будут брать штурмом, транспорт перестанет работать, бездомные возопят о мире, город сделается адом». Не исключено, что рядовые жители, обладавшие по сравнению с «элитой» более развитыми инстинктами, знали: допустить этого нельзя. Вот почему при-

езжих поражали «спокойствие лондонцев, их безропотная решимость». Во всех периодически случавшихся в городе кризисах — таких, как мятежи и пожары — Лондон оставался на удивление стабильным; он клонился и раскачивался, но затем выправлялся. Отчасти это, возможно, объясняется глубоким и мощным присутствием в его жизненной ткани торговли и коммерции, чьи требования превалируют над всеми трудностями и бедствиями. Одной из фраз Уинстона Черчилля времен войны было: «Бизнес — своим чередом», и никакой другой лозунг не мог бы лучше подойти к лондонским условиям.

Но у спокойной решимости лондонцев осенью и зимой 1940 года была и иная сторона, связанная с неким глубинным ощущением того, что город страдал и раньше и что он, так или иначе, выстоял. Ничто прежнее, конечно, не шло в сравнение с яростью и разрухой «блица», однако сама многовековая живучесть Лондона и дух преемственности вселяли в людей сокровенную и пока что, может быть, еще смутную уверенность. Неизменно ощущался намек на обновление и возрождение, которым суждено рано или поздно произойти. Поэт Стивен Спендер, находившийся в северном Лондоне после одного из налетов,

писал: «Я испытывал успокаивающее чувство надежной темной огромности Лондона». Это еще один источник поддержки: город слишком велик, сложен и массивен, чтобы его можно было уничтожить. И далее: «В пыли, гари и тьме Килберна мне вдруг почудилась духовная сила — безграничная сила бедности, породившей узкий, но острый взгляд кокни былых времен». Этим словам поистине присуща «духовная сила» откровения: Спендер почувствовал, что бедность и страдания сделали людей неуязвимыми, какие бы тяжелейшие испытания ни насылал на них мир. «Перетерпим», — говорили люди, чьи дома были разрушены бомбами; при этом не произносилось, но думалось: «Терпели всякое, перетерпим и такое».

Позиция самодостаточности нередко дополнялась элементом гордости. «Все настроены крайне решительно, — писал Хамфри Дженнингс, один из наблюдателей тех событий, — и в глубине души испытывают восторг от того, что им дарована *привилегия* противостоять Гитлеру». По словам Зиглера, в людях ощущался «диковинный душевный подъем… лондонцы чувствовали себя элитой». Они были горды своими невзгодами, как прежние поколения лондонцем проявляли

почти собственническое неравнодушие к своим ядовитым туманам, к насилию на своих улицах, к отвлеченной огромности своего города. В некотором смысле лондонцы ощущали себя особи избранными для бедствий. Этим, в свою очередь, может объясниться тот непреложный факт, что «яркой отличительной чертой разговоров многих лондонцев стало мрачное преувеличение», особенно в отношении количества убитых и раненых. Одно из объяснений театральность, неизменно присущая лондонской жизни; было сказано, что «ни один конфликт в истории города не сравнится с драмой Второй мировой войны». Лондонские пожарные жаловались, что половину времени приходится тратить не на тушение огни, и на разгон собирающихся толпами зевак. Если бы не угрюмая монотонность усталости и страданий, пропитанная ужасом бомбежек, то само зрелище разрушений могло бы стать источником чуть ли не восторга.

Эти первые месяцы оставили по себе и другие образы. Например, затемнение, погрузившее один из самых ярко освещенных на земле городов в почти абсолютный мрак. Лондон опять стал «городом страшной ночи», и когда хорошо знакомые улицы оказывались потеряны во тьме, некото-

рые жители испытывали первобытный страх, Персонаж Ивлина Во говорит: «Время как будто вернулось на дне тысячи лет назад — к тем дням, когда Лондон был кучкой хижин, обнесенной частоколом»; городская цивилизация так долго основывалась на свете, что, когда его не стало, все привычное и определенное улетучилось. Разумеется, находились такие, кто пользовался темнотой в своих целях, однако у большинства главными ощущениями были тревога и беспомощность. О соблазне подземных укрытий было сказано выше, как и об опасениях, что Лондон породит племя «троглодитов», которые никогда не захотят выйти на поверхность. Действительность, однако, оказалась и более суровой, и более прозаической. Только 4 % жителей города хотя бы раз использовали лондонское метро как ночное убежище; лондонцев отталкивали главным образом тамошняя теснота и зачастую антисанитарные условия. В соответствии с традицией Лондона как города отдельных семейных жилищ большинство горожан предпочитало оставаться в своих домах.

Что же могли они увидеть, выйдя утром на улицу? «В дом ярдов за тридцать от нашего сегодня утром угодила бомба. Совершенно разрушен. Дру-

гая бомба, упавшая на площадь, не разорвалась… Дом еще тлел. Огромная куча кирпичей… На голой стене — той, что осталась стоять, — болтаются обрывки ткани. Зеркало — кажется, еще покачивается. Как зуб вышибло — зияющая дыра». Описание Вирджинии Вулф передает ощущение почти физического шока, как если бы город был живым существом, способным испытывать боль. «Большая брешь в верхней части Чансери-лейн. Еще дымно. Здесь полностью уничтожен какой-то крупный магазин; от гостиницы напротив осталась одна оболочка… А дальше мили и мили обычных опрятных улиц… Улицы малолюдны. Лица неподвижные, глаза затуманенные». Могло показаться, что никакая сила не сотрет с лица земли эти «мили и мили» улиц, что Лондон любое зло заставит «рассосаться», — однако его жители были не настолько крепки. Усталость и тревога накатывали на них волнами. В следующем месяце — октябре 1940 года — Вулф побывала на Тависток-сквер и Мекленбург-сквер, где жила раньше. Она миновала длинную вереницу людей с сумками и одеялами, в полдвенадцатого дня стоявших в очереди, чтобы ночью получить убежище на станции метро «Уоррен-стрит». На Тависток-сквер она увидела руины своего старого

дома: «Цоколь — сплошные развалины. Уцелел только старый плетеный стул… Остальное — кирпич и щепа… Кусок стены моего кабинета остался стоять; прочее, где я написала столько книг, рассыпалось». И еще была пыль — тихий остаток уничтоженного бытия. «Снова мусор, стекло, черная мягкая пыль, известковый порошок».

В ту пору отмечалось, что на всем лежит тонкий налет серого пепла и золы, и это побуждало к новым сравнениям между Лондоном и Помпеями. Другим результатом лондонских бомбежек была утрата людьми частной истории: обнажались, становились видимы обои, зеркала, ковры на устоявших обломках стен — личные жизни лондонцев вдруг делались общим достоянием. Это увеличивало чувство общности и было одним из главных источников демонстративной бодрости и решимости.

Вторая мировая война породила также атмосферу заботы. Встал, к примеру, вопрос о спасении детей — о массовой их эвакуации за город. В месяцы, предшествовавшие 3 сентября 1939 года, когда Великобритания вступила в войну, была разработана программа добровольной эвакуации, предполагавшая выезд примерно четырех миллионов женщин и детей; однако

ее осуществлению помешал дико винный магнетизм Лондона. Отправиться пожелало менее поломивы семей. Дети, которых посылали в сельские районы, уезжали неохотно. Детей Дагнема везли водным путем, и Джон О'Лири, автор книги «Опасность над Дагнемом», отметил «ужасающее молчание. Дети не пели». Писатель Бернард Копс, который ребенком был эвакуирован из Степни, вспоминал: «Здесь мы родились, здесь выросли, здесь играли и пели, смеялись и плакали. А теперь на всех землистых лицах были слезы. Стояла странная тишина». Приехав в деревню, они казались там — и были — совершенно чужими. Одни, меньшинство, ходили немытые и вшивые, вели себя вызывающе. Здесь явственно возникает знакомый образ дикаря. Другие — неестественное потомство неестественного города — «отказывались от здоровой пищи, требовали рыбу с чипсами, сладости и печенье», «не хотели ложиться спать в разумное время». Третьи «не желали носить новую одежду, отчаянно цеплялись за старую и нечистую», подтверждая представление о лондонском ребенке как о существе «грязном» и жалком. Спустя несколько недель они начали возвращаться по домам. К зиме 1939 года обратно в Лондон приехало около

150 000 матерей и детей; к концу первых месяцев следующего года за городом осталась лишь половина эвакуированных. «Для меня это было как из ссылки вернуться, — приводит Зиглер слова одного горожанина. — Моя кошка встретила меня у калитки, соседи здоровались, светило солнышко». Здесь явственно проступает чувство принадлежности, ощущение себя как части города, чрезвычайно сильное в лондонце.

Летом 1940 года, когда немецкая армия начала марш по Европе, была предпринята новая попытка эвакуировать детей — в особенности из Ист-энда. Их было вывезено сто тысяч, но уже два месяцы спустя число возвращавшихся составило 2 500 в неделю. Проявился странный и, пожалуй, угрюмый инстинкт — потребность вернуться в город, даже если он стал городом огня и смерти. Любопытно, что но время воздушных налетов дети показали себя «более жизнестойкими», чем взрослые. Подобно их предшественникам на протяжении многих эпох, подобно детям, которых в XVIII веке изображал Хогарт, они точно упивались страданиями и лишениями вокруг; отчасти они вернулись к тому полудикарскому состоянию, что отличало «маленьких арабов» предыдущего столетия. Человек, побывавший в

Степни после налета, заметил, что дети «чумазы и дики на вид, но воодушевлены и полны жизни. Один мальчик сказал мне: „Мистер, давайте провожу вас за угол — там последняя бомба упала“».

На набережной Уотсонз-уорф близ Уоппинга собиралась группа детей, называвшая себя «дворовая ребятня». Их история рассказана в книге «Ист-энд тогда и теперь», вышедшей под редакцией У. Дж. Рамзи. Они были самодеятельными пожарными Ист-энда. «Некоторые были очень бедны и носили дешевую одежду… Они разбивались на четверки. Каждая отвечала за свою часть Уоппинг-айленда». Снаряжение составляли железные прутья, ручная тележка, ведра с песком и лопаты. Они выволакивали и бросали в Темзу бомбы замедленного действия, выносили раненых. Однажды ночью, когда Уоппинг сильно бомбили, они несли дежурство, и, по словам одного очевидца, «десятеро мальчиков мигом кинулись вверх по лестнице, готовые, казалось, *проглотит*ь огонь». Они вошли в горящее здание, чтобы вывести оказавшихся в ловушке лошадей, и, когда они возвращались, «на некоторых тлела одежда». Иные погибли от огня и взрывов, но в желающих пополнить ряды недостатка не было. Этот необычайный рассказ своими живыми и

острыми подробностями выявляет свойственную многим лондонским детям твердость и уверенность в себе. Одна маленькая девочка из Элефант-энд-Касла на вопрос, не хочет ли она обратно в эвакуацию, ответила: «Не бойтесь, не подведу». Не бойтесь, не подведу — вот он, ключ к их самообладанию и храбрости.

Возникла и новая общность между людьми. Элизабет Боуэн в романе о военном Лондоне «Разгар дня» говорит, что погибшие среди огня и развалин не должны быть позабыты. «Эти безымянные мертвецы упрекали живых не гибелью своей — ибо их нельзя было спасти, можно было только погибнуть с ними вместе, — а безвестностью, которую не развеять в одночасье». Война обнажила самую суть людского одиночества и обезличенности в большом городе. «Не позаботясь о том, чтобы они жили, — кто имел теперь право их оплакивать?» Следствием стали попытки горожан «разбить скорлупу безразличия», в некотором смысле игнорируя или смягчая привычные ограничения лондонской жизни. «Чем тоньше делалась стена между живыми и мертвыми, тем более проницаемыми становились перегородки между живыми». Вечером от незнакомого прохожего можно было услышать:

«Доброй ночи, удачи вам».

Люди испытывали также острое и всепроникающее чувство нереальности происходящего. Привычные городские виды внезапно стали иными, все сделалось смутным и неосязаемым. «Все люди вокруг, все привычные вещи и занятия казались нам нереальными, — вспоминал один лондонец. — Мы и разговаривали-то теперь по-другому, как будто скоро должны были расстаться». Это ощущение хрупкости и бренности всего вокруг способствовало созданию атмосферы «осажденного города»; один лондонец, выехавший ненадолго из столицы, удивился тому, «что есть дома, которым ничто не угрожает, что есть горы, которые нельзя разрушить». После всех его переживаний «любая прочная неизменность изумляла. Его жизнь в городе была настолько противоестественной, что, казалось, ни Природа не принадлежит ему теперь, ни он Природе». Поборники атавистической морали всегда называли город «противоестественным», но теперь это ощущение разделяли рядовые горожане. Противоестественно было жить одной большой кучей там, куда падают бомбы; противоестественно было составлять часть такой крупной и явной мишени. Что ж, таковы были

непреложные условия их бытия; таковы, может быть, условия всякого человеческого бытия.

Кульминацией бомбардировок 1940 года стал самый знаменитый и разрушительный из всех налетов, произошедший в воскресенье 29 декабря. Сирены воздушной тревоги загудели в начале седьмого вечера, и затем градом посыпались зажигательные бомбы. Целью атаки был лондонский Сити. Вспыхнул новый Великий пожар. Весь район от Олдерсгейта до Каннон-стрит, весь Чипсайд и Мургейт были в огне. Один наблюдатель, находившийся на крыше Английского банка, затем вспоминал: «Казалось, горит весь Лондон! Вокруг, куда ни взгляни, сплошная стена огня». Было разрушено девятнадцать церквей, шестнадцать из которых построил Кристофер Рен после первого Великого пожара; из тридцати четырех зданий гильдий уцелело три; улица издателей и книготорговцев Патерностер-роу была уничтожена полностью, сгорело около пяти миллионов книг; Гилдхолл был сильно поврежден; собор Св. Павла оказался в кольце огня, но уцелел. «Кто видел — тот никогда не забудет, — писал Уильям Кент в „Утраченных сокровищах Лондона“, — своих ощущений в ту ночь, когда Лондон пылал и купол собора казался плывущим по огненному

морю». Почти треть Сити была превращена в обломки и пепел.

По любопытной случайности, однако, пострадали главным обратом исторические и культовые здания старого Сити, деловые же улицы — такие, как Корнхилл и Ломбард-стрит, — остались более или менее невредимыми, и все крупные финансовые центры уцелели. Городские божества, уподобясь геральдическим грифонам Сити, ревностно стерегущим свое сокровище, уберегли Английский банк и Фондовую биржу.

Один лондонец, прошедший разрушенными улицами на следующий день после налета, вспоминал: «Воздух точно выгорел. Я дышал пеплом… Повсюду, где мы шли, в воздухе стояла гарь». Сохранилось много описаний воронок, развороченных подвалов, рушащихся стен, рассыпавшейся кладки, газовых факелов, тротуаров под слоем пыли и битого стекла, кирпичных выступов диковинной формы, разбитых и висящих в воздухе лестниц. «Церковные стены дымились несколько дней», — писал Джеймс Поуп-Хеннесси в книге «История в огне». Но работники Сити — дневные обитатели делового центра — наутро вернулись. После налета «весь Сити, казалось, отправился в поход»: клерки, секретарши,

конторские служащие кружными путями добирались сквозь руины до места работы. Многие, придя, обнаруживали свою контору полностью выгоревшей или разрушенной, но на следующее утро являлись туда опять, ибо — «что им еще оставалось делать?» Их поведение демонстрировало власть Сити над людьми; они напоминали узников Ньюгейтской тюрьмы, сожженной во время мятежа лорда Гордона, которые возвращались на пепелище бродить среди развалин своих камер.

Сити превратился в незнакомую территорию. Пространство между церковью Сент-Мэри-ле-Боу на Чипсайде и собором Св. Павла стало пустырем, где среди высокой травы шли утоптанные тропы, носившие старые названия — Олд-чейндж, Фрайди-стрит, Бред-стрит, Уотлинг-стрит. Чтобы люди не плутали, были прибиты таблички с названиями улиц — этих и других. Даже краски города и те изменились: бетон и гранит приобрели цвет «жженой умбры», а развалины церквей — «желтого хрома». Сохранились замечательные фотографии, сделанные Сесилом Битоном после декабрьского налета. Патерностер-роу превратилась в кучу обломков с торчащими там и сям среди кирпича и камня кусками железных конструкций; было уничтожено тридцать из-

дательств. Во время Великого пожара XVII века здесь произошло примерно то же самое, и, по словам Пипса, «все крупные книгопродавцы только что не пошли по миру». У церкви Св. Джайлса в Криплгейте взрывной волной повалило статую Мильтона, но церковная башня и стены, как и почти четыреста лет назад, устояли. Сохранилась запись от 12 сентября 1545 года: «Церковь Св. Джайлса выгорела вся целиком, кроме стен и колокольни, как это вышло — Богу известно»; теперь каким-то чудом церковь снова уцелела. Было сделано немало фотографий изуродованных церковных интерьеров с упавшими статуями, разбитыми перегородками, разбросанными по полу головами херувимов; имеются снимки поврежденного Гилдхолла, пострадавшего от бомб Миддл-Темпла, воронок и обваливающихся крыш. Многим тогда казалось, что раз слава и гордость Лондона могли погибнуть за одну ночь, то осязаемая, физическая история города лишена всякого смысла; они слишком хрупка и уязвима, чтобы на нее полагаться. Незримый, неосязаемый дух Лондона — вот что уцелело и даже процвело в дни разрухи и бедствий.

Были сделаны между тем неожиданные открытия. В Криплгейте бомбардировка обнажила

фрагмент древнеримской стены, который был погребен многие сотни лет. Под алтарем церкви Сент-Мэри-ле-Боу обнаружилось вымощенное плиткой подземное помещение, а и церкви Сент-Ведаст на Фостер-лейн после налета увидели «заложенный кирпичом готический дверной проем». На Остин-Фрайерз были найдены предметы древнеримских времен, в том числе плитки пола со следами лап собаки, гнавшейся за кошкой. За органом церкви Всех Святых была обнаружена арка VII века, образованная плитками римской эпохи и доселе скрытая под стенной обшивкой. По свидетельству приходского священника, «из стены по соседству с аркой выпали громадные куски, которые по крайней мере восемьсот лет были включены в капители мощных нормандских колонн того времени. Некоторые из этих камней представляют чрезвычайный интерес… Мы не имеем других образцов этой школы камнеобработки. Они составляли часть величественного креста, который возвышался на Тауэр-хилле до вторжения Вильгельма Завоевателя». Символическое значение этого открытия несомненно: взрывы немецких бомб привели к обнаружению саксонского креста, воплощавшего непокорство перед лицом захватчика. И значит,

ошибались те, кто считал, что городскую историю легко уничтожить; она открывалась на более глубоких уровнях, косвенно заверяя людей в том, что, подобно древнему кресту, Лондон восстанет вновь. Аналогию можно было увидеть даже в мире природы. Из-за повреждений, причиненных бомбардировками Музею естествознания, некоторые семена в его гербариях отсырели и начали прорастать, в том числе мимоза, привезенная из Китая в 1793 году. Растение ожило после 147-летней спячки.

Был, кроме того, любопытный промежуток времени, когда природа стала утверждать себя в ином смысле. Один лондонец писал, что «на многих акрах самого знаменитого из городов мира кипучая и шумная людская деятельность прекратилась и возникли пустыри с яркими цветами, с таинственной жизнью дикой природы». Перемена была «чрезвычайно впечатляющей». На Бред-стрит и Милк-стрит цвели крестовник, ландыш, белая и лиловая сирень. «Тихие улочки вели к лужайкам, заросшим дикими цветами и кустарником, каких здесь не видели со времен Генриха VIII». Сравнение с XVI веком тут уместно, поскольку эта часть Лондона состояла тогда из садов, между которыми шли дороги; однако по-

страдавший от бомбежек город наводил на мысли и о более давних, доисторических временах, когда здесь была просто болотистая местность. Р. С. Фиттер, автор «Естественной истории Лондона», заявил после войны, что «обилие диких цветов, птиц и насекомых на пострадавших от бомбардировок участках города — это сейчас одна из достопримечательностей Лондона»; по его словам, после 1939 года здесь возникло «диких цветов, трав и папоротников — 269 видов, млекопитающих — 3, птиц — 31, насекомых — 56, других беспозвоночных — 27». На пустыре около разрушенной Крипплгейтской церкви держали свиней и выращивали овощи; эта земля не утратила естественного плодородия, хоть и была застроена более семи столетий. Косвенно это, возможно, свидетельствует о мощи Лондона, способного так долго не давать своей почве воли. Город и природа вели неравную борьбу, пока город не был ранен третьей силой; тогда вернулись растения и птицы.

После ужасающего налета в конце декабря 1940 года атаки стали более спорадическими, но от этого не менее губительными. Лондон бомбили в январе 1941 года, затем, после короткой февральской передышки, сильные бомбардировки были

в марте. 16 апреля город перенес то, что немцы назвали «мощнейшим воздушным налетом за все времена»; бомбардировщики вернулись три ночи спустя. Число жертв ночных атак, от которых страдали такие разные районы, как Холборн и Челси, неизменно переваливало за тысячу. Лондон сделался хаотичен и уродлив, на лицах горожан читались тревога и бессонница. Сильней всего давило ощущение бессмысленности и нереальности происходящего; усталость, соединенная с разрухой, порой рождала в людях легкомыслие на грани бреда. «Пикирующие бомбардировщики летели так низко, — говорил очевидец, — что я сперва принял их за такси». Самый тяжелый и продолжительный налет из всех произошел в субботу 10 мая 1941 года, когда бомбы падали на Кингсуэй, Смитфилд, Вестминстер и по всему Сити; погибло почти 1500 человек. Пострадали Дом правосудия и Тауэр, от здания палаты общин осталась только оболочка. Церковь Сент-Клемент-Дейт была разрушена настолько, что приходский священник месяц спустя умер «от потрясения и горя». Его жена скончалась еще через четыре месяца. Это, возможно, лишь малая толика страдания по сравнению с огромной массой тогдашних бедствий, но здесь проявился один

существенный аспект лондонских разрушений: люди иной раз оказываются так тесно связаны с определенными зданиями, что гибель здания ведет к смерти человека. И в счастье, и в несчастье город и его жители слиты воедино. После налета лондонцы отметили, что «запах гари никогда не был таким сильным, как в то воскресное утро». Казалось, еще чуть-чуть — и город сломается, не устоит перед натиском. Американский журналист Ларри Ру обратил внимание на то, что работающие в Сити мужчины едут на службу небритые. «Я начал понимать, — писал он, — до какой глубины лондонцы потрясены и поколеблены налетом 10 мая. Это было уже чересчур». Как оказалось, это был последний из массированных ударов по Лондону перед трехлетним затишьем.

Немецкое вторжение в Россию косвенным образом спасло Лондон от дальнейших разрушений, и настало относительное спокойствие. «Жизнь» возобновилась. Город, казалось, вернулся к своему обычному бытовому ритму с почтальонами и автобусами, с развозчиками молока и рассыльными; но после красочного в своей смертоносности «блица» в столице ощущались странная тоска и упадок духа. Филип Зиглер в «Лондоне военных лет» назвал это время «обессиливающей паузой».

Конфликт разворачивался в других городах и в других небесах, а «лондонцы, чувствуя себя оттесненными на обочину, испытывали скуку и подавленность». Те, кто по-прежнему использовал метро как укрытие, образовали сеть дружбы и товарищества, и это совместное подземное бытие стало проявлением общего состояния Лондона, который находился, по словам Элизабет Боуэн, в «темной середине туннеля», испытывал неудобства и тяготы военного времени, но не имел возможности влиять на ход событий. Житейские лишения удручали горожан, раздражали их. И это, в свой черед, влияло на атмосферу самого Лондона, на его характер. Люди обносились — и, проявляя глубинную, инстинктивную солидарность, обветшали и поблекли их жилища. Треснувшие стекла не заменялись, штукатурка обваливалась, на обоях темнели пятна сырости. Общественные здания тоже несли на себе знаки усталости и депрессии, фасады их облупились и потускнели. Общая атмосфера была унылая, и в проявлениях странного симбиоза между городом и его обитателями угадывалась близость живого, страдающего организма, о чем говорил еще Дефо во время Великой чумы.

Затем, в начале 1944 года, бомбардировки воз-

обновились. Этот так называемый «малый блиц» был угрюмым завершением неоконченного дела; всего было четырнадцать налетов, самые крупные — в феврале и марте, и мишенью их был город, уставший от долгого конфликта с неясным исходом и до некоторой степени деморализованный. «Лондон, кажется, выведен из равновесия налетами и не так задирист, как в 1940–1941 годах», — отметил Джон Колвилл.

Но тут возникло нечто новое. В июне 1944 года в лондонском небе появились беспилотные ракетные самолеты-снаряды «фау-1», называвшиеся еще «жужжалками», крылатыми бомбами, управляемыми бомбами и бомбами-роботами. Их распознавали по пронзительному жужжанию двигателя, внезапно сменявшемуся тишиной, когда двигатель выключался и начиналось пикирование. «Фау-1» прилетали днем с большими промежутками, и выносить их было, может быть, тяжелее всего. «Когда летит жужжалка, прислушиваешься затаив дыхание, — писал один лондонец, — и молишься, чтобы летела дальше… Обстановка в Лондоне изменилась. Снова Большой Блиц. Тревога висит в воздухе. Вечером автобусы полупусты. На улицах малолюдно — это бросается в глаза. Тысячи уехали, многие

стараются пораньше уйти в укрытие». Писатель Энтони Поуэлл, дежуря в составе пожарной дружины, смотрел, как «фау-1» летят по небу к своим неведомым целям — летят «странными дергаными рывками… испуская снопы искр». Он сравнил их с драконами («в воображении запахло серой»), так что Лондон, на который сыпались удары, снова стал городом фантазий и мифических персонажей. За десять месяцев на столицу упало почти две с половиной тысячи крылатых бомб — «по-шмелиному гудящих штуковин, безжалостно прущих прямо на тебя — густо и стремительно, днем и ночью». Страх усиливался из-за безличной неодушевленности снарядов, которые часто сравнивали с огромными летучими насекомыми. Потенциальные жертвы тоже, конечно, обезличивались, так что жить в городе означало теперь быть не человеком, а чем-то меньшим. По словам Сирила Коннолли, лондонцы «делаются все более затравленными и противными; настоящие жабы — каждая потеет и пульсирует под своим камнем». Преобладающими состояниями были «напряжение, усталость, страх и уныние». «Избавьте меня от этого» — такое невысказанное желание было написано на каждом утомленном и беспокойном лице, в то время как жители Лон-

дона продолжали делать свою работу, исполнять свои обязанности. Механизм действовал по-прежнему, правда, теперь куда более отвлеченно; мир свелся к инерции разрушения и усталого выживания.

В начале осени 1944 года крылатые бомбы стали падать реже, но на британскую столицу тут же обрушились «фау-2». Впервые в истории войн город обстреливался ракетами дальнего радиуса действия, скорость которых составляла примерно три тысячи миль в час. Ни на объявление воздушной тревоги, ни на перехват времени не было, Первая ракета ударила по Чизику, и взрыв был слышен в Вестминстере — на расстоянии семи миль. Мощность взрывов была такова, что «целые улицы превращались в развалины». Один житель Излингтона признался: «Я подумал, что пришел конец света». В истории Лондона эти слова звучали и раньше — в дни мятежей и страшных пожаров. По столице была выпущена почти тысяча ракет, половина достигла цели. На месте улиц возникали пустыри. Одна ракета попала в Смитфилдский рынок, другая — в универсальный магазин на Нью-кросс; пострадала Королевская больница в Челси. «Неужели мы никогда не избавимся от разрухи и гибели? — со-

крушался один лондонец, — Не довольно ли для города пяти лет страданий?»

Настала самая холодная за много лет зима, а ракеты продолжали падать. В воздухе витала зараза, как это бывало всегда на протяжении неспокойной лондонской истории; ходили слухи об эпидемии и растущем количестве смертей. Чувствовалась, однако, и некая беззаботность: «фау-2» были настолько непредсказуемы, что воскресили в лондонцах дух азартной игры. Спать ложились, не зная, проснутся утром или нет.

А потом внезапно все кончилось. В конце марта 1945 года одна ракета упала на Степни, другая — на сектантский молитвенный дом на Тоттнем-корт-роуд. И больше взрывов не было: пусковые площадки перешли в руки союзников. Небо очистилось. Битва за Лондон была в конце концов выиграна. Погибло почти 30 000 горожан, полностью разрушено было более 100 000 строений; треть лондонского Сити исчезла с лица земли.

8 мая 1945 года в Лондоне была отпразднована победа на европейском театре войны — на сей раз, в отличие от 1918 года, без всякой помпы и истерической радости. После пяти лет перемежающихся бомбежек и смертей участники торжеств были более усталыми, чем их предшественни-

ки на тех же улицах двадцать семь лет назад; к тому же еще шла война с Японией (победу в ней праздновали 15 августа 1945 года). Лондон тоже был теперь другим. По бытовавшему тогда выражению, «из него вышибло начинку» — то есть реальность истончилась, стала худосочной. Безусловно, город утратил немалую часть своей энергии и задора; он стал таким же потрепанным, как его обитатели, и, каким, ему нужно было время, чтобы оправиться.

ОБНОВЛЕНИЕ ГОРОДА

Глава 77
Судьба, а не расчет

В книге Ч. Б. Пердома «Как нам отстроить Лондон?» послевоенный город охарактеризован так: «Приходишь в полное уныние от этой всеобщей серости, однообразия, запущенности и нищеты». «Серость» («блеклость», «бесцветность»), о которой часто говорится в воспоминаниях о Лондоне 1950-х годов, была обусловлена бедностью: в первые годы после Второй мировой войны большинство товаров первой необходимости распределялось по карточкам. Но с другой стороны, это была сумеречная серость неопределенности. Если одним естественным ответом на военную разруху было желание создать «новый мир», к чему стремились городские планировщики, то другим была попытка восстановить старое, как будто ничего особенного не случилось. Говоря в той части книги «Лондон: история общества», что посвящена 1950-м годам, о «веселых посиделках в пабах» и о «довольных жизнью обитателях пригородов», Рой Портер ведет речь именно об этой атавистической склонности Лондона про-

должать делать все то, что он делал до бомбежек. Попытка эта не имела, да и не могла иметь успеха. Стремление наложить на новые обстоятельства систему привычных условий вело лишь к созданию неясно-гнетущей, сковывающей атмосферы.

Двумя крупнейшими лондонскими спектаклями, выдержанными в традиционном духе, стали Фестиваль Британии 1951 года и коронация Елизаветы II в 1953-м. Связанное с ними представление о Лондоне как о преуспевающем, полном энтузиазма сообществе, чудесным образом воссоздавшемся после войны, неявно подкреплялось воскрешением традиционных ценностей и былых форм времяпрепровождения. Пышно цвели детские и подростковые организации — такие, как скауты и «волчата»; то было великое время для «клубов мальчиков» восточного и южного Лондона. Посещаемость футбольных матчей выросла до довоенного уровня; кинотеатры тоже были полны — возможно, потому, вспоминал один лондонец, что «больше практически нечего было делать». Чувство некоторой несвободы, похожее на похмелье после экстаза войны, усиливалось из-за молчаливого, но согласованного стремления ужесточить нормы сексуального и социального поведения, которые за военные го-

ды стали намного либеральней. Относительная сексуальная свобода женщин и товарищеский эгалитаризм вынужденной межклассовой близости должны были остаться в недавнем прошлом. И это, в свой черед, вело к нарастанию смутного недовольства, особенно в молодом поколении. Порядки 1930-х годов насаждались заново в совершенно изменившемся обществе. Проявлением общей атмосферы скованности и принуждения стало введение двухлетней воинской повинности — так называемой «национальной службы». Это была обратная сторона создававшегося «государства всеобщего благосостояния».

Итак, Лондон был в ту пору непригляден. По сравнению с другими крупнейшими городами — Римом, Парижем, Нью-Йорком — он казался уродливым и запущенным; впервые в истории британской столицы ее можно было устыдиться. Однако уже тогда начали ощущаться ветерки перемен, повеявшие из неожиданного источника, «Тедди-бойз» — молодые «пижоны» Элефант-энд-Касла и других южных районов Лондона, — как и стильные юнцы Челси и битники Сохо, навлекли на себя, едва возникнув, негодование моралистов. Представляется существенным, что эти разнообразные группы были тесно связаны с

определенными частями города, словно на них, помимо прочего, работали силы местной истории. Все они стремились вырваться из унылого однообразия городской жизни, по-прежнему основанной на устаревших системах верований и классовых градаций. Мертвые зоны Уолуорта и Актона, Излингтона и Стоук-Ньюингтона бросали обществу молчаливый упрек. Территориальный дух выражался, в частности, в том, что носили эти молодые люди; одежда «тедди-бойз», как и их последователей — «модз», — являлась главным и часто единственным знаком самобытности. Фактически «тедди-бойз» были обязаны своим обликом респектабельным портным Сэвил-роу и Джермин-стрит, старавшимся популяризовать среди мужской клиентуры образ «эдуардианской»[150] изысканности. Имя Эдуард превратилось в уменьшительное Тедди, и новый гибрид был сотворен. На смену привычной в конце XIX и начале XX века фигуре бедно одетого рабочего парня в стандартной кепчонке пришел образ юнца в бархатном пиджаке и брючках-дудочках. Беспечная, свободолюбивая дерзость, уже продемонстрированная детьми «блица», по-

[150] Примечания: 150
Имеется в виду эпоха короля Эдуарда VII (1901–1910).

прежнему давала себя знать. В XVIII и XIX веках одежда, спускаясь по коммерческой спирали, «передавалась» от вышестоящих классов нижестоящим, однако в данном случае инициаторами передачи были именно нижестоящие. Здесь в очередной раз проявился природный лондонский эгалитаризм, соединенный с самоуверенностью и агрессией и хорошо различимый еще в средневековых учениках ремесленников. По существу многие «тедди-бойз» как раз и были подобными учениками.

Благоприятствовало этим тенденциям то, что Лондон опять становился городом юных. Рост рождаемости и повышение уровня жизни в Лондоне 1950-х годов способствовали созданию более молодого общества, желавшего освободиться от ограничений и скованности послевоенной столицы. Иначе говоря, переход к «Swinging Sixties» («веселым шестидесятым») не был внезапным. В Сохо за годы до расцвета бутиков и дискотек действовали кафе, безалкогольные бары и джаз-клубы, в Челси — магазины одежды и маленькие бистро. Лондон постепенно молодел, и в середине 1960-х оказалось, что возраст 40 % его населения — 25 лет и меньше. Это примерно соответствует состоянию города в римскую эпоху, когда

только 10 % населения доживало до 45 лет, и напрашивается предположение о сходном уровне сексуальной энергии. Подобным возрастным составом населения Лондон отличался и в XVI веке, когда, судя по данным истории, он пережил вспышку интереса к моде. Если условия схожи, то близки будут и предпочтения горожан.

«До „блица“, — пишет С. Э. Расмуссен в книге „Лондон: уникальный город“, — лондонцы воспринимали неприглядность своих улиц как нечто само собой разумеющееся, как неизбежное проявление судьбы». Но, увидев, как от одной бомбы валятся целые террасы, они пришли к мысли, что даже Лондон поддается разрушению и что в нем должны произойти перемены. Грязный и обветшалый, он принадлежал к цивилизации, на счету которой было две мировые войны. Лондонская газета «Ивнинг стандард» писала, что ему пойдет ни пользу добавочная порция динамита. Еще шла война, когда региональный градостроитель Патрик Аберкромби подготовил два предложения — «Проект для Лондонского графства» и «Проект для Большого Лондона», которые должны были сделать Лондон «упорядоченным, эффективным, красивым и просторным» городом и положить конец «исступ-

лению конкуренции». Извечная мечта, извечная иллюзия — что каким-то образом город можно принудить к изменению своей природы, к отказу от всего, на чем он цвел и богател до сих пор.

Однако в топографическом смысле проекты Аберкромби имели огромное значение. Они предполагали существенную переброску населения в пределах самого города, с тем чтобы «создать сбалансированные сообщества, каждое из которых состоит из нескольких малых территориальных единиц»; восстановление разрушенных бомбами районов должно было сопровождаться рассредоточением жителей перенаселенных участков на основе представления о «зонах плотности». Следовало соблюдать равновесие между строительством жилья, промышленным развитием и сохранением «свободного пространства»; связать воедино все разноликие сообщества должны были ключевые магистрали. Ограничимся для примера тремя случаями из многих. Немалая часть жителей Бетнал-грин была переселена в муниципальные жилые массивы «низкой плотности» — такие, как Вудфорд в Эссексе; на месте пострадавших от бомбежек частей Поплара был возведен огромный жилой массив Лансбери, застроенный как многоквартирными, так

и односемейными домами. В Брикстоне, принадлежащем к внутреннему Лондону, возник жилой массив Лафборо, в основном состоящий из одиннадцатиэтажных зданий. Элементы Лондона перераспределялись так, чтобы у горожан стало больше света и воздуха. Старые улицы, которые характеризовались как «отживающие», «обветшалые», «узкие» и «тесные», уничтожались, чтобы на их месте возникли современные, более крупные и опрятные жилые комплексы. Установление муниципального контроля над обширными частями города имело, однако, свои минусы. Этот контроль изменял реальность Лондона, мешая действию его природных законов роста и развития. Малые предприятия, составлявшие жизненную основу города, не могли больше процветать. Районные советы внутреннего Лондона пошли наперекор тенденциям городской жизни, действовавшим на протяжении почти тысячи лет. То, что старый лондонский Сити выдвинул иные идеи, было неизбежно; авторы альтернативного плана для Сити предлагали «консервацию, где возможно, всего значимого с точки зрения традиций и археологии» и сохранение «романтики и истории, которыми дышат сами названия улиц». Но эти призывы к осто-

рожности противоречили современному духу обновления и широкомасштабного городского планирования; они были отвергнуты правительством страны, и Совет Лондонского графства получил «добро» на реконструкцию районов вокруг собора Св. Павла и Тауэра, на постройку нынешнего Барбикана.

Были приняты и другие элементы проектов Аберкромби; наиболее явственно это отразилось в парламентском акте «О городской и сельской местности» 1947 года. Аберкромби предложил придать Лондону «круговую структуру непортового города», с тем чтобы он состоял из четырех кольцевых зон — внутреннего городского кольца, пригородного кольца, «зеленого пояса» и внешнего загородного кольца. Это был способ сдерживания неблагополучного «внутреннего города», которому нельзя было позволить расти, который надо было запереть, как некий опасный или заразный организм. На большинстве карт он закрашен черным. Следовало также вывести из этой срединной тьмы как можно больше предприятий и людей в надежде, что от этого она станет менее опасной. Чтобы обеспечить переселение миллиона человек, в другом разделе своего доклада Аберкромби предложил создать во

внешнем загородном кольце новые «города-спутники». Таких городов было построено восемь, и они процветают, но воздействие принятых мер на Лондон как таковой не вполне соответствует тому, что ожидалось и планировалось. Как мог бы объяснить разнообразным советам по городскому планированию любой историк Лондона, сдержать его не способны никакие схемы и ограничения. Предлагалось ограничить его промышленный и коммерческий рост размещением новых предприятий в городах-спутниках, но после войны лондонская коммерция пошла в гору. Производство автомобилей, автобусов, грузовиков и самолетов выросло до беспрецедентного уровня; через лондонский порт пошли рекордные массы товаров, в нем было занято 30 000 человек; «экономика офисов» оживила лондонский Сити, и там произошел бум недвижимости. После переезда многих лондонцев в пригороды и города-спутники население столицы слегка уменьшилось, но, с другой стороны, в городе внезапно и резко выросла рождаемость. Ничто не могло ни противостоять тяге города к омоложению, ни сдержать его рост.

Новые города-спутники — такие, как Стивенейдж, Харлоу и Бэзилдон, — сами стали частью

исторического процесса, который был слишком инстинктивным и мощным, чтобы его можно было повернуть вспять. Лондон всегда рос за счет присоединения соседних городков и деревень, принимая их в мощные свои объятия. Эта черта была присуща его развитию с XI века. И новосозданные города он тоже поглотил.

Велика мощь исторического императива: Патрик Аберкромби и его коллеги неосознанно создавали такой же рисунок расселении, что и строители Блумсбери и Ковент-гардена в XVII веке. «Новые города» с неизбежностью стали такими же частями Лондона, как и их предшественники; вместо того чтобы ограничить размеры городи, послевоенные градостроители неизмеримо расширили его — так что весь юго-восток страны сделался «Лондоном». «Внешняя муниципальная зона» обнаруживает все признаки современной городской жизни с ее неустанным движением. Но ведь это — извечное обыкновение Лондона. Если есть возможность и свободное место, он воспроизводит сам себя. В этом отношении он — слепая сила, невосприимчивая к увещаниям градостроителей и политиков. Исключение, как мы видели, составляют те случаи, когда они предлагают возможности дальнейшего роста.

Итак, «зеленый пояс» не стал для городской жизни барьером; в каком-то смысле это просто обширная пустота, по случаю занимающая некую кольцевую часть Большого Лондона. Чисто физически, правда, он ограничил расширение центрального Лондона и его ближайших пригородов, которым, чтобы продолжать свое неотвратимое наступление, надо теперь перешагивать через зеленые массивы. Другой стороной этого явления стал любопытный частичный внутренний откат города. Возникла обратная связь. Лишенный пространства для непосредственного локального расширения, город взялся за переоценку собственных структур и возможностей. Сооружение огромных новых жилых массивов внутреннего Лондона, возрождение интереса к реставрации старинных зданий, процесс «джентрификации»[151], переделка под жилье чердачных помещений, упор на обновление в широком смысле — все это прямые следствии создания «зеленого пояса», который заставил Лондон и лондонцев больше смотреть внутрь и

[151] Примечания: 151

«Джентрификация» (от «gentry» — мелкопоместное дворянство) — повышение статуса изначально бедных городских районов и улиц с постепенным их благоустройством и заселением более состоятельными людьми.

меньше — наружу.

Императивы лондонской истории дали еще один результат. Послевоенные градостроители, помимо прочего, запланировали громадную кольцевую дорожную сеть, имея в виду во многом те же цели, что и Рен и Эвелин, когда они после Великого пожара 1666 года предлагали проложить в Лондоне широкие авеню. Но, как и в XVII веке, планы так и остались планами; их реализации помешали политическое давление, экономические ограничения и бешеное противодействие на местном уровне. Лондон остался чуть ли не единственным городом Англии, отразившим натиск проектировщиков с их попытками рационализации дорожного сообщения; здесь в очередной раз проявилась его способность успешно провалить любой широкомасштабный или грандиозный план. Общих структурных перемен не произошло и произойти не могло. Город неизменно сохраняет свой характер еще с тех тюдоровских времен, когда были проигнорированы первые указы, касавшиеся «городского планирования».

Но в 1960-е годы это не все понимали, и Лондон был тогда особенно сильно заражен забывчивостью. Американский еженедельник «Тайм»

провозгласил на первой странице обложки: «ЛОНДОН — ВЕСЕЛЫЙ ГОРОД». Его благоденствие было вполне очевидно; за двадцать послевоенных лет реальные доходы горожан выросли примерно на 70 %, и высокая рождаемость в первые мирные годы привела к тому, что Лондон теперь производил впечатление города, где доминирует молодежь. Для юношей и реальное, и символическое освобождающее значение имела отмена в 1960 году «национальной службы». Возвращение музыки и моды происходило в беспрецедентных масштабах. Модельер Мэри Куонт заявляла, что стремится создавать одежду, которая «в гораздо большей мере будет предназначена для жизни, для реальных людей, для того, чтобы быть в ней юными и живыми». В определенных, четко очерченных районах Лондона пышно расцвели бутики; молодых «модз» с их обычной для лондонцев страстью ко всему новенькому и «классному» как магнит притягивала Карнаби-стрит, а Кингс-роуд в Челси сделалась вожделенным местом для молодых женщин, старавшихся не отстать от моды. Лондон стал и центром популярной музыки — можно вспомнить такие группы, как «Ху», «Кинкс», «Смолл фейсез» и «Роллинг стоунз», многие участники

которых окончили лондонские музыкальные учебные заведения. Иногородние группы — в частности, «Битлз» — с неизбежностью перебирались в столицу. Преобладающее настроение улавливали и дизайнеры. Теренс Конран впоследствии вспоминал: «Я всегда считал, что красивые вещи должны быть доступны всему населению, что они не должны быть достоянием одной элиты. И в этом, я думаю, со мной были согласны очень и очень многие, к то стремился получить образование и был недоволен существующим положением». Итак, в создании атмосферы недовольства, о которой говорит Конран, играло роль расширение доступа к высшему образованию. Протест вызывал главным образом послевоенный мир иерархии и ограничений, вызывала его и явная неприглядность и унылость Лондона. Необходимо было высветлить обстановку. Реальной природе города, его характеру не придавалось тогда никакого значения. На несколько лет Лондон стал «столицей стиля», где музыка и мода притягивали к себе вспомогательные отрасли — такие, как издание журналов, фотография, рекламное дело, моделирование, радио- и киноиндустрия. Создавался новый, яркий город.

По существу, конечно, «веселый Лондон» вовсе

не был новым. Вековые инстинкты города не переставали действовать. В частности, коммерческие императивы городской жизни выявили «рынок» новой молодежи, которую к тому же при умном подходе к делу вполне можно было эксплуатировать. К примеру, инфраструктура музыкального бизнеса была тут как тут. Фактически во всех сферах юношеского бунта юные бунтари эксплуатировались в рамках обширного коммерческого проекта. Это было до мозга костей лондонское предприятие. Феномен 1960-х был, кроме того, по самой сути своей театральным и искусственным; подобно множеству других лондонских «эффектов», он скользил над глубинной, фундаментальной жизнью столицы. Чтобы ясно увидеть это десятилетие, необходимо смотреть на него твердым взглядом и как на цельное явление, не упуская никаких его сторон.

Существенно, к примеру, то, что эпоха бутиков и дискотек были также эпохой многоэтажек, публичного вандализма и растущей преступности. Все это в достаточной мере взаимосвязано. О многоэтажках 1960-х годов написано немало. Они были любимым детищем проектировщиков и архитекторов, движимых как эстетическими, так и социальными мотивами. Казалось, что

в этих домах обретает очертания город нового типа; многие георгианские и викторианские террасы были снесены муниципальными властями, расчищавшими место для градостроительного эксперимента, в рамках которого замышлялось создание нового, «вертикального» сообщества. Популярность многоэтажных башен — в конце 1960-х их было построено в Лондоне около четырехсот — определялась также экономическими причинами. Они были стандартизованы, поэтому возводить их можно было быстро и задешево. Так много людей значилось в списках нуждающихся в жилье, так много их проживало в частях «внутреннего города», признанных непригодными для обитания, что строительство «высотных микрорайонов» казалось в то время единственным эффективным и экономически доступным средством перемещения горожан из зон относительного неблагополучия в зоны относительного комфорта.

То была эпоха застройщика, когда громадные деньги делались за счет передачи Совету Лондонского графства пригодных для освоения участков в обмен на право строительства в «деликатных» зонах. Имя им легион: Сентерпойнт, Лондон-Уолл, Юстон-центр, Элефант-энд-Касл — весь

Лондон, казалось, изменился превыше всякой меры и до неузнаваемости. Это был вандализм, соучастниками которого с радостью стали правительство страны и муниципальные власти. С лица земли исчезли обширные участки Лондона — Принтинг-Хаус-сквер, Каледониан-маркет, больница Св. Луки, отрезки Пиккадилли, куски Сити. Все это было разрушено в ходе так называемой «комплексной перестройки». По духу своему этот акт преднамеренного изглаживания и забвения вполне соответствовал той атмосфере «веселых шестидесятых», что ярко проявлялась в других частях Лондона. Словно и время, и лондонская история на практическом уровне перестали существовать. В погоне за прибылью и за немедленным удовлетворением возникающих потребностей люди превратили собственное прошлое в некое зарубежье.

Можно ограничиться тремя примерами из 1960-х годов. В 1962 году был разрушен Лондондерри-хаус на Парк-лейн, чтобы освободить место для отеля «Хилтон». В 1966 году ради строительства муниципального микрорайона были уничтожены георгианские улицы, составлявшие Пакингтон-эстейт в Излингтоне; в 1963 году в соответствии с планом «модернизации» был

снесен громадный Юстон-арч — портик вокзала Юстон. Мир музыки и мир моды были охвачены возбуждением «ультрасовременности», и точно такое же отрицание, отвержение прошлого господствовало в архитектуре и градостроении. «Веселый» Лондон шестидесятых — «Лондон на качелях» — был един во всех своих проявлениях, и немалой долей своего «качания» он был обязан орудиям бригад, занимавшихся сносом.

Лондон всегда был уродливым городом. Это черта его естества. Его постоянно перестраивали, рушили, калечили — это свойство его истории. В этом городе никогда не соблюдалась древняя заповедь: «Проклят будь тот, кто сдвинет старые межевые знаки». На протяжении столетий лондонских градостроителей отличала беспечность, с какой они разрушали городское прошлое. Это отразилось даже в песнях былых веков:

Снесут, порушат Лондон наш,
И я ему с тоской
Спою за упокой…

В 1960-е годы нечто подобное могли бы спеть вокзал Виктории, Найтсбридж и Сент-Джайлс-серкус.

И этот милый наш приют —
Он тоже в Лету канет.
Его без лишних слов снесут,
Когда черед настанет…

В 1260-е годы в ходе полной перестройки уорда (городского округа) Бридж-уорд были уничтожены старые «обветшалые» строения прежних веков. В 1760-е годы были разрушены все средневековые городские ворота, поскольку они якобы «препятствовали свободному течению воздуха»; в том же десятилетии «благоустройства» в одиннадцати уордах Сити сносились дома ради прокладки новых улиц. Это была крупнейшая единовременная перемена в Лондоне после Великого пожара, произошедшего столетием раньше. Далее, в 1860 году парламентский акт об объединении приходов дал добро на снос четырнадцати городских церквей, часть из которых была возведена Реном после того пожара. 1860-е вообще были годами великого разрушения, когда, как пишет Гэвин Стамп в книге «Меняющаяся столица», «перестраивали половину Лондона… город, судя по всему, был настоящим кошмаром — пыль, грязь, леса, суета». Прокладка Куин-Виктория-стрит и постройка Холборнского виадука

сопровождались масштабным разрушением старейших частей Лондона; городской ландшафт изуродовали пути и станции разнообразных железных дорог — в частности, Лондонско-Чатемско-Дуврская железная дорога прошла над улицей Ладгейт-хилл и испортила вид на собор Св. Павла. В подобном же пренебрежении собором обвиняли и застройщиков 1960-х годов, так что создается впечатление, что разрушение Лондона происходило непрерывно.

То, что эти волны великого вандализма накатывали на город в 60-е годы каждого столетия, может показаться простым совпадением — если только вы не склонны верить тому, что развитие города подчиняется некой циклической закономерности. В этом случае можно ожидать, что в 2060-е годы будет разрушено многое из того, что построено в XX веке.

И другие аспекты 1960-х годов видятся ныне взаимосвязанными. Необычайно и поистине беспрецедентно выросла преступность, которая за 1955–1967 годы утроилась и не проявляла признаков уменьшения к концу десятилетия. В подталкивании малообеспеченных молодых людей к воровству и грабежам большую роль, по всей видимости, сыграли культ юношеской силы

и установка на немедленное удовлетворение потребностей. Однако свой вклад в атмосферу явной и неявной агрессии внесли и многоквартирные башни, и спекуляция недвижимостью, и кричаще-яркие моды. Были сняты ограничения, касавшиеся градостроительных проектов и возведения административных зданий, но сняты они были и со всех прочих проявлений лондонского бытия. Позднейшие волны молодежных протестов — от хиппи и «детей-цветов» конца 1960-х до панков 1970-х — были выражением смятения и тревоги в чрезвычайно неустойчивом городском обществе.

Административное тело Лондона продолжало неуклонно расти, подобно некоему подводному чудищу. В 1965 году был создан Совет Большого Лондона (СБЛ), в ведении которого находились 32 административных района, занимавших около 610 квадратных миль территории; как всегда в административной истории Лондона, это был плод политического компромисса, касающегося полномочий различных уровней власти. Пример путаницы — идея о том, что за «дороги городского значения» должен отвечать СБЛ, за «магистральные дороги» — министерство транспорта, а за «местные дороги» — административные рай-

оны. Однако «путаница», вероятно, неточное слово для характеристики того, что является фундаментальным состоянием лондонской администрации. Соперничество дорожных служб очень похоже на соперничество приходских советов и городских властей в первые десятилетия XIX века по вопросам освещения и санитарии. В Лондоне всегда царил бардак — потому-то, возможно, ом и выжил. Так или иначе, на СБЛ была возложена ответственность за новый «план развития» Лондона, включавший в себя вопросы рассредоточения населения, занятости, транспорта и реконструкции городских районов, — план, отражавший все ту же старую иллюзию, что город можно каким-то образом подчинить воле администраторов, политиков и проектировщиков. Но у Совета Большого Лондона уже в момент его образования были коротки руки для контроля и надзора за ростом города, который, по крайней мере по части населения и занятости, успел вовлечь в себя весь юго-восток Англии. Область административной ответственности СБЛ уже тогда была слишком мала, планы его были бессмысленны. Иначе и быть не могло.

Но происходило и другое, ничьему контролю не поддающееся. Убывала торговля. Производ-

ственные предприятия переводились из Лондона в другие места или закрывались; стремительно выросла безработица. Самые важные перемены произошли на Темзе: очень быстро, один за другим, лондонские доки были сочтены ненужными и неуместными. Их размеры не позволяли управляться с новыми контейнеровозами, и в любом случае торговля со странами Содружества быстро уменьшалась. Ост-Индский док прекратил работу в 1967 году, его примеру два года спустя последовали док Сент- Кэтрин и Лондонский док. В 1970 году были закрыты Суррейские коммерческие доки — и так далее, пока берега Темзы не сделались пустыми и оголенными, лишь гулкими складами и пустырями напоминая о былой гордости Лондона. Куинхайтский док, чья история не прерывалась с саксонских времен, был разрушен весной 1971 года, на его месте вырос роскошный отель. В определенном смысле это одно из проявлений движения Лондона — города, в котором одни виды коммерции должны уступать место другим. Но запустение в районе доков, прежде служившем центром и средоточием городской коммерции, в некоем более важном смысле стало символом Лондона 1970-х годов.

Некоторые обозреватели назвали 1960-е годы

временем «невинности» — хотя тогдашний уровень преступности и вандализма мог бы дать основание для иных выводов; так или иначе, вся невинность, какая еще существовала, улетучилась в следующем десятилетии, когда вернулись старые проблемы Лондона. Экономический бум конца 1960-х сменился спадом середины 1970-х. Лондон утратил и веселость, и немалую часть энергии. В городе торговли и коммерции внезапный их упадок породил изрядное смятение и тревогу. На какое-то время показалось, что жизнь Лондона остановилась. Это, в свою очередь, обеспокоило городскую администрацию. Лондон был болен и нуждался в притоке свежих жизненно-торговых сил.

Долгому эксперименту с жилыми муниципальными башнями пришел конец; его ознаменовал несчастный случай на стройке в Ронан-Пойнте в 1968 году, когда погибло несколько человек, но самое главное-эксперимент противоречил и духу времени, и, безусловно, духу Лондона. Ставку теперь сделали на возведение жилых микрорайонов «высокой плотности» и «низкой этажности», что в определенном смысле означает попытку воспроизвести атмосферу былых городских террас. В то же время были приняты

меры для оживления лондонского центра; новые планы предусматривали защиту городской среды и улучшение работы общественного транспорта. В частности, прекратился снос викторианских и георгианских зданий — наоборот, стали выделяться субсидии на реставрацию старых и обветшалых строений. Разрушение города вновь сменилось успокоением и консолидацией. Это породило так называемую «джентрификацию», когда представители среднего класса и хорошо оплачиваемые профессионалы переселялись в ветхие дома и захудалые части города с тем, чтобы отреставрировать их и вдохнуть в них новую жизнь. Примерами районов, извлекших пользу из подобной перемены в составе владельцев и общей направленности, могут послужить Излингтон и Спитлфилдс. «Зеленый пояс» повернул город лицом к самому себе. Границы Большого Лондона отодвинулись теперь в такую даль, что лондонцы взялись за благоустройство более близких частей города. Лондон уплотнялся и укреплялся — возможно, готовился сполна реализовать свой внутренний потенциал.

В период спада и мрачных ожиданий возникли, помимо прочего, страхи, что Лондон может стать ареной социальных конфликтов. В число задач

администрации вошли поэтому профилактика и лечение городских хворей. Так, в конце 1970-х Совет Большого Лондона финансировал новые коммунальные проекты, целью которых была поддержка уязвимых и маргинальных слоев населения; помощь получили, в частности, этнические и сексуальные меньшинства. Это была не только дань лондонским демократически-эгалитаристским инстинктам, но и необходимая в трудные времена мера. Начали удовлетворяться подлинные нужды города, которые в прежние годы игнорировались или эксплуатировались. Важно также, что в период реставрационных субсидий и джентрификации сохранность Лондона стала предметом серьезной и все возрастающей общественной озабоченности. Была отвергнута идея опоясать Лондон автомагистралями; активное противодействие на местном уровне не дало провести в жизнь проект реконструкции Ковент-гардена, предполагавший строительство пешеходных мостков над транспортным потоком. К середине 1970-х в Лондоне уже было около 250 «заповедных зон», расположенных во всех частях города и свидетельствующих о новом уровне внимания к лондонской «ткани» и социальной истории. Наконец-то прекратились враждебные

действия против города. Ликвидация в 1986 году Совета Большого Лондона оставила его без объединяющего органа власти, но он этого как будто и не заметил; по сути дела Лондон вернулся к старинному укладу жизни, когда у каждого уорда было свое особое лицо. Город при этом начал обретать былую мощь. Введение должности мэра и учреждение ассамблеи для всего Лондона никак существенно не изменят ни его природу, ни направление его движения[152]. Он не поддается директивному управлению и централизованному планированию. Легче контролировать отдельные его элементы.

Ярчайшим подтверждением этому стало проектирование и создание Доклендс. В 1981 году для обновления и возрождения района лондонских доков, пребывавшего в запустении после их закрытия, была учреждена компания «Доклендс девелопмент корпорейшн», В территорию ее деятельности вошли Уоппинг, Розерхайт, Айл-оф-Догс, Силвертаун, северный Вулидж и Бектон; там был выделен ряд требовавших особого внимания

[152] Примечания: 152

На референдуме 1998 г. большинство лондонцев высказалось за введение общегородской должности мэра и учреждение выборной ассамблеи Большого Лондона. Первые выборы мэра и ассамблеи состоялись в мае 2000 г. Традиционные полномочия лорд-мэра Сити остаются при этом прежними.

«предпринимательских зон», где не взимались ни местные, ни государственные налоги. Для транспортного сообщения должны были служить аэропорт Сити, городская железная дорога Доклендс и продолженная Юбилейная линия метро. Но, как и у большинства лондонских проектов, результаты оказались во многом отличны от запланированных и предсказывавшихся.

Символична в этом смысле судьба набережной Канари-уорф. Ее главной достопримечательностью стал 800-футовый небоскреб, венчаемый пирамидой (которая рождает имперские ассоциации) и предоставляющий съемщикам около десяти миллионов квадратных футов офисной площади. Первая компания-застройщик отказалась от реализации проекта, а пришедшая ей на смену фирма «Олимпия энд Йорк» обанкротилась, когда строительство башни близилось к завершению. Достраивать ее взялся третий консорциум, хотя избыток офисной площади в других частях столицы не сулил быстрого покрытия издержек. И все же каким-то образом проект удался. Съемщики нашлись, и весь комплекс Канари-уорф процветает.

Судьба всего района Доклендс была примерно такой же. Сумасшедшие колебания городской

экономики не раз заставляли его балансировать между триумфом и катастрофой. Жилье там один год считалось фешенебельным, на другой выходило из моды; звучали жалобы на устарелый и несовершенный транспорт, на нехватку магазинов — и тем не менее развитие района не прекращалось. Майкл Хебберт в книге «Лондон» отмечает, что «мало кто брался предугадать, чем это все кончится», и что «подход, основанный на невмешательстве, породил диковинно пеструю городскую среду». Но именно так большей частью и происходил рост Лондона, именно этому он, без сомнения, обязан своими успехами. Район Доклендс «не имел общей концепции в отношении масштабов зданий и характера их скоплений, в отношении планировки свободных пространств», но именно поэтому он стал органическим и узнаваемым продолжением Лондона. Доклендс ругали за «эстетический разнобой» и за «диктуемое рынком пренебрежение социальной сферой», но именно такими всегда были условия и обстоятельства, в которых город ширился и преуспевал. Он не приемлет иных жизненных начал.

Таково окружение, в котором громадный небоскреб Канари-уорф, доминирующий ныне на

лондонском горизонте, завоевал, по словам Хебберта, «мгновенное признание и расположение». Этот исполинский столб, так хорошо вписавшийся в контуры города, теперь конкурирует с Монументом и Биг-Беном за право считаться символом Лондона. Он также знаменует самый важный за много веков единовременный сдвиг в городской топографии: коммерческие и социальные силы всегда толкали город на запад, но развитие Докленд проложило для Лондона путь, который был назван его «восточным коридором» и в историческом и структурном смысле открывает ему доступ в Европу — открывает именно теперь, когда лондонская экономика становится более тесно связанной с континентом. Уже зародилось подозрение, что лондонский Сити наряду с банками и брокерскими фирмами, недавно переместившимися в Докленд, рано или поздно подчинит себе финансовые рынки Европейского Сообщества. Это неуклонное продвижение на восток дает нам почувствовать инстинктивную, почти первобытную тягу Лондона к деньгам и торговле.

Здесь уместно вспомнить о «большом взрыве» осенью 1986 года, преобразившем Сити; эта реформа в работе Лондонской фондовой бир-

жи превратила ее в Международную фондовую биржу, сделала возможным слияние банков и брокерских домов, покончила с системой фиксированных комиссионных и внедрила практику «электронных сделок». Правда, триумфаторские замашки Сити чувствовались и раньше; феномен «яппи» (молодых городских профессионалов), стремившихся, как любили тогда выражаться, «разбогатеть по-быстрому», пока «топливо не прогорело», был впервые замечен в 1984 году. Но события 1986 года ознаменовали резкую перемену в положении лондонского Сити. Его международный фондовый рынок ныне самый передовой и высокоразвитый в мире, на нем заключается примерно треть всех мировых сделок. Сити, где в банковском деле и связанных с ним отраслях заняты 600 000 человек, — теперь крупнейшая биржа на свете. Вновь исполняя свое историческое предназначение, Лондон стал возвращать себе то главенствующее положение, которое он занимал в XVIII и XIX веках. Это достижение исторично и в другом смысле: как пишет Хебберт, «по счастливой случайности компактность 2000-летнего городского ядра как нельзя лучше подходит для деятельности глобального финансового обслуживающего центра». Правда,

случайность ли это — вопрос особый: как представляется, само естество этой квадратной мили территории уникальным образом заряжено духом коммерции. Были подъемы и спады, но Сити удержал за собой верховенство.

Между тем новые формы коммерческой деятельности потребовали новых типов зданий. Так, при неизменности своей натуры Сити меняет облик. Потребовались большие свободные площади, где могут разместиться электронные терминалы, мили и мили соединительных кабелей и тысячи служащих, которые работают в условиях соответствующего психологического давления. Что ж, такова нынешняя человеческая цена доступа к мировой торговле. В конце 1980-х годов к офисным площадям Сити добавилось около четырех миллионов квадратных метров — не в последнюю очередь благодаря Бродгейтскому комплексу. Светочувствительные жалюзи и призматическое сине-зеленое стекло отгораживают от внешнего мира ревнителей финансов, день и ночь поглощенных своими сделками и операциями. Их оберегают все божества, все грифоны Сити.

Что же это за божества? Кому это ведомо? В датируемом 1986 годом отчете, составленном под

эгидой архиепископа Кентерберийского и озаглавленном «Вера в Сити», говорится: «Бедные, как работающие, так и безработные, — вот кто вынес главную тяжесть экономического спада. Однако именно их некоторые называют „тунеядцами, живущими на пособие“, бременем для страны, мешающим оживлению экономики. Вот вам жестокий пример того, как валят вину на жертву». Это один из великих и продолжающихся парадоксов лондонской жизни: богатый всемирный город являет вместе с тем самые мрачные образцы бедности и лишений. Но может быть, в этом заключено значение Лондона. Может быть, судьба его — показывать противоречия человеческого состояния, служа одновременно примером и предостережением.

В отчете также описаны те муниципальные микрорайоны, где «налицо совершенно иная социально-экономическая система — система выживания, действующая в условиях крайней бедности и полностью зависимая от социального сектора… упадок многих таких районов зашел уже так далеко, что фактически они стали „сепаратными территориями“ вне главного потока нашей общественной и экономической жизни». Подобные ощущения были знакомы тем, кто

на протяжении столетий изучал социальную топографию Лондона. На сходные мысли могла натолкнуть, например, «карта бедности» за 1889 год, составленная Чарлзом Бутом, — с той лишь разницей, что тогда не было социального сектора, чтобы оказать помощь нуждающимся и неудачникам. Вновь описывается не что иное, как состояние Лондона как такового. Если бы город имел голос, он мог бы сказать: «Всегда были и будут проигравшие и невезучие, всегда были и будут такие, кто не может совладать с миром, каков он есть, — но я вмещаю всех».

В частности, десятилетие, когда возникли «яппи», ознаменовано также ростом числа нищих и бродяг, ночующих на улицах или в подъездах домов; бездомные вновь, после 150-летнего перерыва, оккупировали Линкольнс-инн-филдс, а в таких местах, как окрестности моста Ватерлоо и набережная Виктории, возникли «картонные города». Стрэнд стал великой магистралью обездоленных. Несмотря на все меры городских и центральных властей, они по-прежнему здесь. Они узнаваемы, они составляют часть городского населения; они — лондонцы, участники бесконечного парада. Или, может быть, сидя вдоль обочин, они напоминают всем остальным, что

это именно парад.

И все-таки что это сейчас означает — быть лондонцем? Карта города в очередной раз перерисована, она включает теперь «внешнюю муниципальную зону», равно как и «Большой Лондон», и «внутренний Лондон»; хотим мы того или нет, в зону его влияния попал весь юго-восток Англии. Может быть, тогда Лондон — это просто состояние души? Границы его все расплывчатей, натура — все переменчивей, и не стал ли он теперь совокупностью человеческих установок и предпочтений? На протяжении его истории не раз говорили, что он содержит в себе целый мир или миры. Теперь его называют «глобальным городом», Хебберт пишет о нем как о «вселенной со своими собственными законами, которая поистине уже вырвалась из национальных рамок». Да, он действительно заключает в центре своем некую сумеречную вселенную, подобную плотному вращающемуся облаку. Именно по этой причине миллионы и миллионы людей называют себя лондонцами, пусть даже они живут за много миль от внутреннего города. Лондонцами они считают себя потому, что испытывают чувство принадлежности. Лондон уже две с лишним тысячи лет служит местом человеческого оби-

тания — в этом его сила и притягательность. Он дает ощущение постоянства, твердой земли под ногами. Потому-то бродяги и нищие лежат на его улицах; потому-то жители Харроу и Кройдона называют себя лондонцами. Их влечет история города, знают они ее или нет. Перед ними город-видение.

ВИДЕНИЯ КОКНИ

Глава 78
Нереальный город

Лондон всегда был городом видений и пророчеств. Основан он был якобы после вещего сна, увиденного Брутом, и воображение античных поэтов тревожил образ великого города «в чужой зеленой стране». Можно вспомнить слова Овидия в «Метаморфозах»:

> *Вижу столицу уже, что фригийским назначена внукам.*
>
> *Нет и не будет такой и в минувшие не было годы!*[153]

Его призрачность, его мифичность сделали его непостоянным и неосязаемым. По выражению Т. С. Элиота, он стал «нереальным городом», на протяжении всей своей истории населенным мифологическими персонажами. На берегах его рек видели нимф, в его кирпичных лабиринтах — минотавров. Его ставил и в один ряд с Ниневией и Тиром, Содомом и Вавилоном, и во времена огня и мора очертания этих городов возникали

---

[153] Примечания: 153
Перевод С. В. Шервинского.

среди его улиц и зданий. Лондонская топография — это палимпсест, на котором можно обнаружить признаки всех самых величественных и чудовищных городов мира. Он был жилищем ангелов и дьяволов, сражающихся за верховенство. Он был и местом, где творились чудеса, и рассадником дикарского язычества. Кому под силу измерить лондонские глубины?

Вещий сон Чосера в «Доме славы», когда ему почудилось, будто он находится «в стеклянном храме» со «множеством металлических колонн», относили ко многим лондонским зданиям; но самые поразительные пророчества содержатся в Апокалипсисе. На северной стороне ворот Олдерсгейт были начертаны слова пророка Иеремии: «Воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида… и город сей будет обитаем вечно». Даже для его жителей он был библейским городом; святость удостоверялась его историей, простирающейся «дальше памяти человеческой». Однако лондонцев осеняли и иные видения. О чосеровских паломниках, направлявшихся в Кентербери по Боро-Хай-стрит, Уильям Блейк сказал, что они «заключают в себе все возрасты и нации». В городе нашлось место каждой расе, племени и народу, каждой рели-

гии и каждому наречию. Песчинка лондонской жизни содержит вселенную. «Небесные врата» церкви Сент-Бартоломью-де-Грейт располагались подле смитфилдской скотобойни. Если Лондон — священный город, то такой, который включает в себя беду и страдание. Бог разверз гузно и излил на Лондон дождь дерьма.

Порой подле сияющего богатства и благоденствия можно видеть жалчайшую бедность и заброшенность. Город, однако, нуждается в своих бедных. Что, если их лишения и смерти нужны для того, чтобы город мог жить? Это был бы страннейший из лондонских контрастов. Жизнь и смерть встречаются и расстаются — невзгода и удача подают друг другу руки, — беда и счастье обитают под одной крышей. «Без противоположностей, — писал Блейк, — нет движения». Истину эту он постиг благодаря неустанным наблюдениям за Лондоном. Этот город всегда древен и вечно юн, и сама его двойственность служит закваской обновления и неугомонной изобретательности. Новое ли дает старому защиту, старое ли оберегает новое — трудно сказать, но ясно одно: в самом факте их единства заключен секрет лондонской сущности, сияющей сквозь времена.

И все же, куда в городе ни пойдешь, тебя повсю-

ду будут атаковать различия, и может создаться впечатление, что город только из них и состоит, что он просто сумма своих противоречий. Эти контрасты и разграничения создаются не чем иным, как самой универсальностью Лондона, который заключает в себе все стороны человеческой жизни и поэтому способен к постоянному обновлению. Но обитают ли богатые и бедные в одном и том же городе? Возможно, каждый из горожан сотворил мысленно свой собственный Лондон, так что семь миллионов различных городов существуют одновременно. Не раз отмечалось, что даже коренные лондонцы, оказавшись в незнакомой части города, испытывают страх или тревогу. Отчасти это боязнь заблудиться, но на нее накладывается и страх перед чужим, не своим.

Однако же этот город, где столько различий, — разве он весь пронизан страхом?

Это видение всеобщности, полноты жизни может быть окрашено и в оптимистические тона. Босуэлл писал, что «человека умственно развитого Лондон поражает зрелищем жизни людской во всем ее многообразии — для созерцания предмет поистине неисчерпаемый». Видение было явлено ему, когда он ехал по Хеймаркету в начале 1763

года: «Воображение мое преисполнилось богатством лондонских картин… я мало кому смог бы изъяснить сильное чувство, коим я охвачен. Кровь моя пылает, сознание счастливо возбуждено». Полнота Лондона — вот что волнует его и радует; соединение всевозможных рас, способностей, судеб рождает атмосферу, насыщенную ожиданием и восторгом.

Лондон демонстрирует все возможности рода человеческого и становится поэтому образом всего мира. Стил испытывал «великую любовь к человечеству», и однажды близ Корнхилла «при виде преуспевающего и счастливого многолюдства… я не мог удержаться и выдал радость мою слезами, что поползли по щекам». Столетие спустя Чарлз Лэм писал: «Нередко на ярко-пестром Стрэнде при виде такой полноты жизни на глаза мои наворачиваются слезы радости». Толпы изумляли его, казались ему чудом; они — не лишенная связи масса, не скопление чуждых друг другу элементов, а текучая, изменчивая множественность.

И английский театр, и английский роман — детища лондонского бытия. У Бена Джонсона, у Смоллетта, у Филдинга поэзия улиц обретает наивысшую полноту воплощения. Их зрительное

воображение не уступает в богатстве воображению Чосера и Блейка, и это специфически лондонское зрение, насыщенное образами театра и тюрьмы, коммерции и столпотворения, образами жизнелюбия, ненасытности и забывчивости.

От лондонского зрения рождается чувствительность особого рода. В городе, возведенном под сумрачной сенью денег и властной мощи, все эти авторы — и многие другие, подобные им, — были захвачены образами света и тьмы. В городе, тесно наполненном людьми и институтами, энергично и беспрестанно демонстрирующими самих себя, все они были неравнодушны к сцене и зрелищности. Они понимали энергию Лондона, его многоликость — и они понимали его мрак. Неудивительно, что они так высоко ценили спектакль, мелодраму. Этих подлинно городских художников более всего занимала жизнь внешняя, движение толп, великая общая драма человеческого духа. Они наделены ощущением энергии и великолепия, ритуала и зрелища — ощущением, которое порой имеет очень мало общего с этическим суждением или моральной озабоченностью. В какой-то мере они разделяют величественное равнодушие Лондона, где бесчисленные множества как приходят, так и уходят.

И этот взгляд на мир верен, сколь бы жестким и театральным он ни казался. Есть знаменитое выражение: «Лондон меня сотворил». Но раз так, он не может быть совсем уж твердокаменным — ведь «сотворенные им» Стил и Лэм оказались способны расчувствоваться до слез.

Закономерно в таком случае, что Лондон рождал и видения бедствий — образы города в развалинах, города, задохнувшегося до смерти от собственных дымов и нечистот. У французского писателя Мирбо возникает город «кошмара, сновидения, тайны, пожара, топки, хаоса, плавучих садов, незримого, нереального… эта особенная натура исполинского города». Образ топки часто является в лондонских видениях. В «Иерусалиме» Блейка «Примроуз-хилл — жерло Топки, проем Железной Двери»; Артур Макен в книге «В Лондоне, когда я был молод» рисует такую картину: «Оглянувшись, можно было увидеть в небе смутное отражение всех огней Лондона, точно вдалеке кто-то отодвинул заслонку ужасающей топки». Лондон прозвали «духовкой», словно ощущение искусственного жара порождало странное представление о жителях, которых пекут и съедают. Впрочем, его называли и «храмом огнепоклонников», так что, возможно, его

обитатели обожествляют средство своего уничтожения.

В XIX веке один наблюдатель лондонского тумана увидел солнце как «таинственное и отдаленное свечение, словно бы пытавшееся проникнуть в этот неподвижный мир». Вот еще одно правдивое лондонское видение — видение города, в котором вдруг утихли весь шум и вся суета. Когда он лежит, приумолкший и присмиревший, до поры втянувший свою энергию внутрь, он кажется какой-то природной силой, которая переживет все дела человеческие. Он огромен, чудовищен, и в самих его исполинских размерах ощущается некая первозданность. У поэта Тома Мура есть такой рефрен:

Куда б ни вели нас земные пути —
От вечного Лондона нам не уйти.

Вечность может оборачиваться к нам по-всякому. Одна из ее сторон — бесконечная повторяемость: горожане на одних и тех же улицах произносят одни и те же слова, делают одни и те же движения. Поскольку никто не может сотни лет наблюдать за каким-нибудь перекрестком или частью улицы, истинность этого утверждения никогда не будет проверена. Однако, возможно,

читателю стало ясно, что определенные виды деятельности принадлежат или тяготеют к определенным участкам города, как будто само время подвластно некоему неизвестному силовому источнику. Если и это кажется слишком причудливым, есть еще одна сторона «вечного Лондона». Он постоянен. Он непреходящ. В основе своей он неизменен. Он — состояние вселенной. Как писал автор «Лондонских ночей», «Лондон — это любой город из всех, что когда-либо были и будут». Близ Ладгейт-хилла Вордсворту было явлено

Волшебное виденье — мостовая,
Вокруг дома в рассветной тишине,
Безлюдье, неподвижность, пустота…

Эта тишина — тишина постоянства. Все бренные поколения отпели свои песни и ушли, а тихая жизнь города продолжается. Лондон без горожан — поистине «волшебное виденье», ибо тогда нам открывается иная реальность. Вот почему было так много видений Лондона в руинах. На рисунках и гравюрах, даже на киноэкране он напоминает некий потерянный континент — или город, только что поднявшийся из глубины морской. Это не развалины Вавилона или Рима — скорее это Атлантида или какая-то другая

мифическая земля. Эти камни — символ некой неумирающей потребности или устремления.

Среди них можно, однако, увидеть ушедшие поколения. Лондон «вечен», ибо заключает в себе их все. Надгробия Вестминстерского аббатства навели Аддисона на такие мысли: «Читая высеченные на гробницах даты, порой возвещающие о вчерашней смерти, порой — о смерти, случившейся шестьсот лет назад, я думаю о том великом дне, когда мы все станем современниками и явимся рука об руку». Не исключено, что Лондон один из всех городов рождает такие мысли, ибо здесь мертвые словно бы наступают живым на пятки. Для некоторых это ободряющее, вселяющее надежду видение; оно сулит долгожданный мир между богатством и бедностью, между здоровьем и болезнью, разрешение всех разительных противоречий города. Дурное невозможно отделить от хорошего. Так, Тернер увидел «самые ангелоподобные из всех существ лондонского мира» в городских доках, среди грязи и бедности.

Были и видения иного рода. Как писал Джеффри Григсон, Лондон «означал — *делать*, по меньшей мере он означал — *взяться*». Брануэлл Бронте[154],

[154] Примечания: 154

Брануэлл Бронте (1817–1848) — брат писательниц Шарлотты, Эмили и Энн Бронте.

живя в доме отца — приходского священника в Хауорте (Йоркшир), — собирал все карты Лондона, какие мог найти, изображающие всевозможные «переулки, закоулки, проходы»; как пишет Джулиет Баркер в книге «Семья Бронте», он «штудировал их так пристально, что выучил наизусть», и поэтому мог показаться «коренным лондонцем», «лучше знающим бесчисленные входы и выходы этого исполинского Вавилона, нежели многие, прожившие всю жизнь среди его стен». Это пытливое чтение Лондона было для Брануэлла формой освобождения; в картах воплотились все его надежды на новую жизнь, все устремления к ней. Он словно бы вчитывался в свою собственную судьбу. У других, однако, видение могло стать болезненным, когда кажется, будто Лондон давит на тебя всем своим весом. В финале диккенсовского «Холодного дома», этого погребального песнопения среди лондонских лабиринтов, Ричард Карстон, чья несчастливая жизнь подошла к концу, спрашивает: «Все это был мучительный сон?» Для многих такой образ города верно отражал их действительность.

Элементы новизны и перемены прихотливо перемешиваются, соединяясь с радостным возбуждением от того, что ты — один из неис-

числимого множества. Ты можешь стать кем угодно. В иных из великих лондонских историй встречаются люди, надевшие новую личину или изменившие свое «я»; начать с чистого листа, родиться заново — одна из великих возможностей, даруемых городом. Это часть его нескончаемо театрального бытия. Можно даже, пусть на мгновение, войти в жизнь проходящего мимо, почувствовать то, что чувствует он. Это коллективное переживание может, в свой черед, стать источником восторга. Именно об этом говорил Фрэнсис Томпсон, описывая свое видение:

> *Лестница Иакова — оживленное сообщение*
>
> *Между Небесами и Чаринг-кроссом.*

Это завораживающее зрелище миллиона золотых душ, движущихся туда и сюда между небом и городом, каждая из которых неповторима и благословенна. Это видение, даруемое и тем, кто слышит музыку Лондона, нотный узор грандиозной, вздымающейся и опадающей мелодии, под которую согласно движутся все городские улицы и авеню. Город тогда создает «географию, которая выходит за пределы естественного и становится метафизической, поддающейся описанию только

на языке музыки или абстрактной физики». Так пишет Майкл Муркок в книге «Лондон, город-мать». Некоторые из жителей слышат эту музыку постоянно (это мечтатели и антиквары), прочим же она доступна лишь урывками, кратковременно. Это может быть случайный жест, внезапно услышанная фраза, мимолетное воспоминание. Лондон полон таких образов-осколков: он являет нам то смех, уже слышанный раньше, то заплаканное лицо, которое мы когда-то видели, то улицу, одновременно знакомую и незнакомую.

Глава 79
Resurgam

Если пройти через Айл-оф-Догс, где ныне высится небоскреб Канари-уорф, если миновать все эмалированные панели, всю облицовку из распыленной гранитной крошки, всю посеребренную сталь и все изогнутые стеклянные стены, можно увидеть фрагменты иных реальностей. Там и сям стоят поздневикторианские пабы, фиксируя углы норовящих разбежаться улиц. Попадаются муниципальные жилые массивы 1930-х и 1970-х. Кое-где призраками выплывают куски террасной застройки XIX века. Иными словами, Айл-оф-Догс сотворен по образу и подобию всего Лондона. Некоторые новые постройки декорированы либо под викторианские склады, либо под георгианские террасы, либо под пригородные жилища XX века, усиливая тем самым ощущение разнородности и контраста. И это тоже лондонская черта. Вот почему было сказано, что в действительности существует смесь сотен городов, каждый из которых — Лондон.

Здесь сосуществуют разные миры, разные вре-

мена; Уайтхолл и Вест-Хем, Уайт-сити и Стритем, Харинджи и Излингтон — все эти районы уникальны и не похожи один на другой. Однако в последние годы XX столетия каждый из них вносит вклад в общую яркость Лондона. Если свет движется волнами, то, видимо, можно говорить об «эффекте расходящейся ряби», который состоит в распространении новизны и молодости из внутреннего ядра наружу. Лондон как бы открылся — здесь теперь больше простора и воздуха. Он просветлел. Небоскребы Сити одеты в голубовато-серебристое отражающее стекло, стирающее грань между зданием и небом; в Клаптоне и Шеперде-Буше дома реставрируют и красят.

Будь Лондон живым существом, мы сказали бы, что к нему вернулись прежний оптимизм и уверенность в себе. В каком угодно культурном или социальном смысле он вновь сделался «столицей столиц». Мир течет к нему, и он опять стал юным городом. Такова его судьба. *Resurgam*: «Снова восстану». Слово было обнаружено на обломке камня, когда Рен начинал строительство нового собора Св. Павла; он поместил этот камень в центр своего детища.

Последней осенью XX века на площади Экс-чейндж-сквер в Бродгейтском комплексе, рас-

положившись на площадке для представлений, играл вест-индский эстрадный оркестр; рядом служащие Сити, прежде чем отправиться по домам, выпивали в пабе. Под громадной аркой Биржи мужчина и женщина танцевали под музыку оркестра. Чуть ниже беспрерывно журчала вода, стекая неглубоким каскадом; сбоку, склонясь, замерла статуя, называемая «бродгейтской Венерой». Ниже площади виднелись платформы станции Ливерпуль-стрит, у которых останавливались поезда, а за зданием Биржи на фоне неба ясно вырисовывался шпиль церкви Сент-Ленард-Шордич. Можно было только гадать, сколько разных времен, сколько ритмов сосуществует на этом малюсеньком участке. На железнодорожный ритм XIX века здесь накладывался ритм музыки, на непрекращающееся движение воды — движение танца. Среди этого оживления великая статуя склонившейся обнаженной выглядела почти сверхъестественно неподвижной, пребывая в покое, сходном с покоем церкви Сент-Ленард на отдалении. И еще были служащие со стаканами в руках — они в этот миг, как их предки, находились вне времени. Так что Бродгейт этим ранним вечером заключал в себе многие времена, которые незримо смешивались между

собой наподобие воздушных струй.

В тот же вечер, пройдя оттуда шагов двести в восточном направлении, я попал на другую лондонскую площадку. Рядом со старым рынком Спитлфилдс археологи обнаружили место, где в Средние века стояла больница Сент-Мэри-Спитл. На этом крохотном участке были найдены: каменный римский саркофаг IV века с останками женщины; склеп и кладбище XIV века; галерея XV века, где городские начальники слушали так называемую «проповедь в Спитл»; остатки артиллерийского стрельбища XVI века; городские укрепления XVII века; жилые строения XVIII века; и, наконец, участок улицы XIX века. Со временем обнаружится и что-нибудь еще, хотя само время в таких местах отличается сгущенной и непрозрачной атмосферой. Слои разных столетий, спрессованные вместе, выявляют историческую плотность Лондона. При этом древний город и город нынешний в буквальном смысле соседствуют друг с другом; их нельзя вообразить по отдельности. Здесь — один из секретов лондонской силы.

Эти останки прошлого ныне существуют как часть настоящего. Городу по самой природе его свойственно содержать в себе все. Поэтому, когда спрашивают, как может Лондон быть го-

родом-триумфатором при таком обилии бедных и бездомных, в ответ можно лишь высказать предположение, что и они всегда составляли часть городской истории. Возможно, они — часть лондонского триумфа. Эти слова, при всей их суровости, лишь отражают суровость самого Лондона. Он выходит за любые рамки, нарушает любые правила. Он заключает в себе каждое желание или мнение, когда-либо высказанное, каждое телодвижение или действие, когда-либо совершенное, каждое грубое или благородное чувство, когда-либо нашедшее выражение. Он не имеет границ. Это — Бесконечный Лондон.

Сокращенная библиография[155]

M. *A Guide to the Structure of London* (Bath, 1972)

Ash R. *The Londoner's Almanac* (London, 1985)

Babbington A. *The English Bastille (London,* 1971)

Barker F., Jackson P. *The History of London In Maps* (London, 1990)

Barton N. *The Lost Rivers of London* (London, 1962)

Beames T. *The Rookeries of London* (London, 1850)

Bell W. G. *London Rediscoveries* (London, 1929)

Bell W. G. *Unknown London* (London, 1919)

Besant W. *East London* (London, 1901)

Besant W. *London* (London, 1904)

Besant W *London North of the Thames* (London, 1901)

Besant W. *Medieval London* (London, 1906)

Besant W. *South London* (London, 1899)

Biddle M., Hudson D. *The Future of London's Past* (London, 1977)

Bone J. *The London Perambulator* (London, 1931)

Braybrooke N. *London Green* (London, 1959)

---

[155] Примечания: 155

В конце книги автор поместил подробное «Эссе об источниках». Мы приводим из него список основных используемых Акройдом публикаций научного, документального и эссеистического характера.

Brentnall M. *Old Customs and Ceremonies of London* (London, 1975)

Bridgen S. *London and the Reformation* (Oxford, 1989)

Brooks J. A. *The Ghosts of London* (Norwich, 1982)

Burford E. J. *The Synfulle Citie* (London, 1990)

Burke T. *The Streets of London Through The Centuries* (London, 1940)

Brooke C. N. L. *London 800—1216: The Shaping of a City* (London, 1975)

Camden-Pratt A. T. *Unknown London* (London, 1897)

ClunnH. P. *The Face of London* (London, 1932)

Cook E. T. *Highways and Byways in London* (London, 1906)

Cross R. *Curious London* (London, 1966)

Davies A. *Literary London* (London, 1988)

Dodd G. *The Food of London* (London, 1856)

Douglas N. *London Street Games* (London, 1931)

Earle P. *A City Full of People: Men and Women of London, 1650–1750*(London, 1994)

Ekwall E. *Street Names of the City of London* (Oxford, 1954)

Elsden J. V., Howe J. A. *The Stones of London* (London, 1923)

Fido M. *Murder Guide to London* (London, 1986)

Fitter R. S. R. *London's Natural History* (London, 1945)

Fitter R. S. R., Lousley J. F. *The Natural History of the City* (London, 1953)

Fletcher G. *The London Nobody Knows (London,* 1962)

Focus on London P7 (London, 1996)

Ford F. M. *The Soul of London* (London, 1905)

Forshaw A., Bergstrom T. *Smithfield Past and Present* (London, 1980)

Wfeightman G., Humphries S. *The Making of Modem London, 1815–1914* (London, 1983)

George M. D. *London Life in the Eighteenth Century* (London, 1925)

George Schaifs London, with a text by P. Jackson (London, 1987)

Gomme L. *The Governance of London* (London, 1907)

Gomme L. *The Making of London* (London, 1912)

Graham S. *London Nights* (London, 1925)

Green D. M. *People of the Rookery* (London, 1986)

Grifliths A. *The Chronicles of Newgate* (London, 1984)

Haining P. *The Legend and Bizarre Crimes of Spring-Heeled Jack* (London, 1977)

Harding S. *London* (London, 1993)

Hebbert M. *London* (Chichester, 1998)
Heckthome C. W. *London Memories* (London, 1900)
Heckthome C. W. *London Souvenirs* (London, 1891)
Hobhouse H. *Lost London* (London, 1971)
Holden C. H., Holford W. G. *The City of London* (London, 1947)
Hollaender A. E. J., Kellaway W. *Studies in London History* (London, 1969)
Hollingshead J. *Ragged London in 1861* (London, 1986)
Holmes M. *Elizabethan London* (London, 1969)
Holmes T. *London's Underworld* (London, 1912)
Home G. *Medieval London* (London, 1927)
Humphries S., Taylor J. *The Making of Modem London* (London, 1986)
Inwood *S. A History of London* (London, 1998)
Jackson A. A. *Semi-Detached London* (London, 1973)
Jerrold B., Dore G. *London: A Pilgrimage (London,* 1872)
Kent W. *London for the Literary Pilgrim* (London, 1949)
Kent W. *London Mystery and Mythology* (London, 1952)
Kent W. *The Lost Treasures of London* (London, 1947)

Knight C. *London* (London, 1841)

Linebaugh H. *The London Hanged: Crime and Civil Society in Eighteenth-Century London* (London, 1991)

London 1066–1914, Literary Sources and Documents, ed. by X. Baron (London, 1997)

London 1: The City of London, ed. by S. Bradley and N. Pevsner (London, 1997)

London in Flames, London in Glory, ed. by R. A. Aubin (New Brunswick, 1943)

London in Paint, ed. by M. Gallinou and J. Hayes (London, 1996)

London World City 1800–1840, ed. by C. Fox (London, 1992)

London: a New Metropolitan Geography, ed. by K. Hoggartand D. R. Green (London, 1991)

Lovett E. *Magic in Modem London* (Croydon, 1925)

Mackay C. *Memoirs of Extraordinary Popular Delusions* (London, 1841)

Marshall H. *Twilight London* (Plymouth, 1971)

Merrifield R. *London: City of the Romans* (London, 1983)

Merriman N. *Prehistoric London* (London, 1990)

Milne G. *The Great Fire of London* (London, 1986)

Morton H. V. *The Spell of London* (London, 1926)

Nevill R. *Night Life in London and Paris* (London, 1926)

Nicholson E. M. *Bird Watching in London* (London, 1995)

Norman P. *London Vanished and Vanishing* (London, 1905)

Old and New London, ed. by W. Thombury and E. Walford (London, 1883–1885)

Olsen D. J. *The Growth of Victorian London* (London, 1976)

Pendrill C. *London Life in the Fourteenth Century* (London, 1925)

Phillips T. and M. *Windrush* (London, 1999)

Picard L. *Restoration London* (London, 1997)

Pinks H. J. *The History of Clerken well* (London, 1865)

Pope-Hennessy J. *History Under Fire* (London, 1941)

Porter R. *London: A Social History* (London, 1994)

Porter S. *London and the Civil War* (London, 1996)

Raban J. *Soft City (Lonion,* 1974)

Rasmussen S. E. *London: The Unique City* (London, 1934)

ReddawayT. F. *The Rebuilding of London after the Great Fire* (London, 1940)

Rude G. *Hanoverian London, 1714–1808(London,* 1971)

Rumbelow D. *The Triple Tree* (London, 1971 and

1982)

Schneer J. *London* 7900 (New Haven, 1999)

Schofield J. *The Building of London* (London, 1984)

Schwarz L. D. *London in the Age of Industrialization* (Cambridge, 1992)

Sharp E. *The London Child* (London, 1927)

Sheppard F. *London 1808–1870: The Infernal Wen* (London,1971)

Smith B. R. *The Acoustic World of Early Modem England* (Chicago, 1999)

Smith C. M. *The Little World of London* (London, 1857)

Sorensen C. London on Film (London, 1996)

Spence L. *Legendary London: Early London in Tradition and History* (London, 1937)

Stamp G. *The Changing Metropolis* (London, 1984)

Stewart W. *Characters of Bygone London* (London, 1960)

Summerson J. *Georgian London* (London, 1945)

The Bibliography of Printed Works on London History, ed. by Heather Creaton (London, 1994)

The Cries and Hawkers of London: The Engravings of Marcellus Laroon, ed. by S. Shesgreen (Aldershot, 1990)

The Image of London: Views by Travellers and Emigres 1550–1920, ed. by M. Wtaier (London, 1987)

The London Encyclopaedia, ed. by B. Weinreb and C. Hibbert (London, 1983)

The London Eyre of 1244, ed. by H. M. Chew and M. Weinbaum (London, 1970)

The Newgate Calendar, ed. by N. Birkett (London, 1951)

The Victorian City, ed.by H. J. Dyos and M. WolfF(London, 1973)

Thompson C. J. *The Quack Doctors of Old London* (London, 1928)

Thresshing W. B. *The London Muse* (Georgia, 1982)

Timbs J. *The Curiosities of London* (London, 1855)

Waller M. *1700: Scenes from London Life* (London, 2000)

Werner A. *London Bodies* (London, 1998)

Williams G. A. *Medieval London: From Commune to Capital* (London, 1963)

Wolfreys J. *Writing London (*London, 1998)

Wright P. *A Journey Through Ruins: The Last Days of London* (London, 1991)

Ziegler P. *London at War (London,* 1995)

Именной указатель

Августин св. (ум. между 604 и 609) — первый архиепископ Кентерберийский: 11, 57

Агриппа, Генрих Корнелий (1486–1535) — немецкий врач, алхимик и философ: 579

Аддисон, Джозеф (1672–1719) — английский писатель, просветитель и журналист: 208, 215, 355, 416, 454, 465, 789, 793, 873

Аллен, Эдвард (1566–1626) — английский актер, исполнитель главных ролей в пьесах К. Марло: 197

Аристотель (384–322 до н. э.) — древнегреческий философ: 487

Арнольд, Мэтью (1822–1888) — английский поэт, педагоги критик: 113, 304, 475, 812

Асквит, Герберт Генри (1852–1928) — английский политический деятель, в 1908–1916 гг. премьер-министр от Либеральной партии: 813

Ашмол, Илайес (1617–1692) — английский антиквар и астролог: 580

Базалджетт, сэр Джозеф Уильям (1819–1891) — английский инженер, создатель лондонской канализационной системы: 13, 397, 654

Батлер, Сэмюэл (1835–1902) — английский писатель-сатирик; 270

Безант, сэр Уолтер (1836–1901) — английский романист, социолог и филантроп: 100, 121, 153, 158, 353, 378

Беллок, Хилэйр (наст, имя и фам. Джозеф Хилари Пьер, 1870–1953) — английский поэт, прозаик и журналист: 255

Бен, Афра (1640–1689) — английская романистка, поэтесса и драматург: 713

Беннетт, Арнольд (1867–1931) — английский писатель: 528, 541–542

Беньян, Джон (1628–1688) — английский писатель, пуританин. Автор аллегорических романов: 22, 355

Бербедж, Джеймс (ок. 1530–1597) — английский актер, создатель первого в стране театра: 66, 197

Берлиоз, Гектор (1803–1869) — французский композитор: 212, 468

Бессемер, Генри (1813–1898) — английский изобретатель: 584

Бечемен, сэр Джон (1906–1984) — английский поэт: 826

Бичер-Стоу, Гарриет Элизабет (1811–1896) — американская писательница: 367

Блейк, Уильям (1757–1827) — английский поэт

и художник, иллюстратор собственных книг: 29, 37, 40, 64, 233, 250, 260, 535, 557, 600, 870–872

Бодлер, Шарль (1824–1867) — французский поэт: 621

Бойль, Роберт(1627–1691) — английский химик и физик: 581

Бомонт, Фрэнсис (1584–1616) — английский драматург: 324, 401

Босуэлл, Джеймс (1740–1795) — английский писатель-мемуарист, биограф Сэмюэла Джонсона: 104, 187, 191, 199, 233, 291, 295, 343, 432–433, 486, 508, 517, 551, 628, 871

Боудикка (Боадикея, Бондука) (ум. в 62) — жена вождя британского племени иценов. Возглавила мятеж против римлян: 11, 47, 252, 601, 728

Брадло, Чарлз (1833–1891) — английский атеист и политический агитатор, сторонник общественных реформ: 534

Браунинг, Элизабет Барретт (1806–1861) — английская поэтесса: 500

Бронте, Шарлотта (1816–1855) — английская писательница, сестра Эмили Бронте: 106, 374, 523

Бронте, Эмили (1818–1848) — английская писательница, сестра Шарлотты Бронте: 374

Бруно, Джордано (1548–1600) — итальянский мыслитель: 136, 488

Брюнель, Марк Изамбард (1769–1849) — английский инженер: 639

Булвер-Литгон, Эдуард Джордж Эрл (1803–1873) — английский писатель и политический деятель: 325

Бут, Чарлз (1840–1916) — английский социолог: 140, 173, 212, 375, 409, 436, 445, 481, 576, 595, 629, 660, 678, 681–683, 736, 795, 865

Бэббидж, Чарлз (1792–1871) — английский математики механик, создатель вычислительной машины: 466, 584, 693

Валлис, Джон (1616–1703) — английский математик: 582

Ван Гог, Винсент (1853–1890) — голландский живописец: 487

Верлен, Поль (1844–1896) — французский поэт: 408, 483, 573, 578, 621, 655, 661, 716

Во, Ивлин Артур Сент-Джон (1903–1966) — английский писатель: 834

Вольтер (наст, имя и фам. Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778) — французский писатель: 582

Вордсворт, Уильям (1770–1850) — английский поэт-романтик: 185–187, 303, 471, 483, 487, 585, 751, 793, 873

Вудхауз, Пэлем Грэнвил (1881–1975) — английский писатель: 235

Вулф, Вирджиния (урожд. Стивен, 1882–1941) — английская писательница, жена Леонарда Вулфа: 108, 260, 270, 486, 514, 576, 677, 835

Вулф, Леонард Сидни (1880–1969) — английский писатель и общественный деятель: 576

Гайдн, Йозеф (1732–1809) — австрийский композитор: 103

Галлей, Эдмунд (1656–1742) — английский астроном и геофизик: 261, 582

Гарвей, Уильям (1578–1657) — английский врач, основатель современной физиологии: 21

Гарибальди, Джузеппе (1807–1882) — деятель итальянского национально-освободительного движения: 794

Гауэр, Джон (1330? — 1408) — английский поэт, современники друг Чосера: 233

Гей, Джон (1685–1732) — английский поэт, баснописец и драматург: 171, 216, 322, 324, 356, 433, 516, 518, 549

Гейне, Генрих (1797–1856) — немецкий поэт: 234, 498, 626, 628

Гексли, Томас Генри (1825–1895) — английский биолог, пропагандист учения Дарвина: 660

Гендель, Георг Фридрих (1685–1759) — немецкий композитор: 207, 539, 628

Геррик, Роберт (1591–1674) — английский поэт:

486, 615

Герцен, Александр (1812–1870) — российский революционер, писатель, философ: 794

Гиббон, Эдуард(1737–1794) — английский историк античности: 152

Гиссинг, Джордж Роберт (1857–1903) — английский писатель: 67, 194, 419, 457, 519, 528, 540, 740, 765, 783

Гитлер (наст. фам. Шиклъгрубер), Адольф (1889–1945) — глава германского фашистского государства: 834

Гоббс, Томас (1588–1679) — английский философ: 270

Голдсмит, Оливер (1728–1774) — английский писатель-сентименталист и драматург: 338, 404, 479

Голсуорси, Джон (1867–1933) — английский писатель: 607

Готорн, Натаниел (1804–1864) — американский писатель: 111–112, 140, 376, 497, 628, 640

Грей, Томас (1716–1771) — английский поэт-сентименталист: 454

Григсон, Джеффри Эдуард Харви (1905–1985) — английский поэт, литературный критик и редактор: 874

Гримальди, Джозеф (1779–1837) — великий ан-

глийский клоун и пантомимист: 404

Грин, Роберт (1558–1592) — английский писатель, драматурги памфлетист: 306 — 307

Гуд, Томас (1799–1845) — английский поэт и иллюстратор собственных произведений: 234

Данбар, Уильям (1460/65 — не позднее 1530) — шотландский поэт и священник: 42

Данс, Джордж (1741–1825) — английский архитектор: 45, 296, 591, 658

Данте, Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт: 291

Дарвин, Чарлз (1809–1882) — английский естествоиспытатель: 497, 583, 650, 784

Даусон, Эрнест Кристофер (1867–1900) — английский поэт: 517

Де Куинси, Томас (1785–1859) — английский писатель, публицист и критик: 313, 316, 353–354, 433, 437, 472, 605, 621, 662–663, 668–669, 764

Деккер, Томас (1570? — 1632) — английский драматург, автор нравоучительных и сатирических произведений: 100–101, 289, 306–307, 339, 401, 686, 700, 712, 785, 796

Дефо, Дэниел (1660–1731) — английский писатель, политический деятель: 21, 119, 166, 234, 236–240, 243, 259, 281, 291, 344, 452, 454, 493, 527, 617, 677, 700, 821, 843

Джеймс, Генри (1843–1916) — писатель. Родился в США, с 1870-х гг. жил в Англии: 140, 149, 152, 377, 487, 491, 514, 531, 652, 666–667

Джерролд, Уильям Бланшар (1826–1884) — английский журналист, драматург и биограф: 411, 474, 484, 501, 627, 649, 671, 694, 767, 769

Джонс, Иниго (1573–1652) — английский архитектор: 12, 190

Джонсон, Бен (1572/3 — 1637) — английский драматург: 122, 182, 194, 201, 360, 401, 463, 570, 871

Джонсон, Лайонел Пигот (1867–1902) — английский поэт: 270, 517

Джонсон, Сэмюэл (1709–1784) — английский писатель и лексикограф, автор «Словаря английского языка»: 82, 102, 202, 209, 247, 250, 270, 338, 343, 422, 434, 486, 517, 557, 559–561, 628–629, 696

Ди, Джон (1527–1608) — английский астролог и математик: 579, 581

Дигби, сэр Кенелм (1603–1665) — английский естествоиспытатель, дипломат и военный моряк: 581

Дизраэли, Бенджамин, 1-й граф Биконсфилд (1804–1881) — английский государственный деятель и писатель. Премьер-министр в 1868, 1874–1880 гг.: 397, 666 — 667

Диккенс, Чарлз (1812–1870) — английский пи-

сатель: 30, 111, 141, 169–170, 187, 193, 199, 211, 218–219, 225, 269, 274, 296–297, 349, 367, 393, 408, 479, 481, 484, 492, 496, 500, 518, 524, 552–553, 556, 559–560, 578, 602–603, 627, 649–650, 693, 702, 715–716, 727, 732, 735

Дойл, Артур Конан (1859–1930) — английский писатель: 327–328, 499, 799

Доре, Гюстав (1832–1883) — французский график и книжный иллюстратор неоромантического направления: 260, 411, 485, 501, 622, 657

Достоевский, Федор (1821–1881) — русский писатель: 234, 300, 408, 438, 455, 661

Драйден, Джон (1631–1700) — английский поэт, драматург-классицист, критик и переводчик: 210, 254, 270, 282, 546–547, 585, 605

Драйзер, Теодор (1871–1945) — американский писатель: 378, 439, 479

Дрейтон, Майкл (1563–1631) — английский поэт: 270, 615

Жерико, Теодор (1791–1824) — французский живописец: 691

Ирвинг, Вашингтон (1783–1859) — американский писатель: 111, 248

Ирвинг, сэр Генри (наст, имя и фам. Джон Генри Бродрибб) (1838–1905) — английский актер и режиссер, исполнитель шекспировских ролей: 809

Йейтс, Уильям Батлер (1865–1939) — ирландский поэт и драматург: 824

Казанова, Джованни Джакомо (1725–1798) — итальянский писатель: 291, 403, 433, 451, 605

Камю, Альбер (1913–1960) — французский писатель: 473

Каналетто, Джованни Антонио (1697–1768) — итальянский живописец: 359, 605, 618-619

Карлейль, Томас (1795–1881) — английский публицист, философ и историк: 106, 499, 655, 793

Кетт, Генри (1761–1825) — английский религиозный писатель: 589

Кин, Эдмунд (1787–1833) — английский актер-трагик: 199

Китс, Джон (1795–1821) — английский поэт-романтик: 261

Киплинг, Редьярд Джозеф (1865–1936) — английский писатель: 518

Коббетт, Уильям (1763–1835) — английский журналист, публицист и историк: 273, 532

Коллинз, Уильям Уилки (1824–1889) — английский писатель: 318

Колридж, Сэмюэл Тейлор (1772–1834) — английский поэт-романтик: 270, 570, 621

Конгрив, Уильям (1670–1729) — английский драматург: 82, 407

Коннолли, Сирил Вернон (1903–1974) — английский журналист, критик и писатель: 844

Конрад, Джозеф (наст, имя и фам. Юзеф Теодор Конрад Коженёвский) (1857–1924) — английский писатель польского происхождения: 141, 585, 626–627

Конран, Теренс (род. в 1931) — английский дизайнер: 856

Констебл, Джон (1776–1837) — английский живописец-пейзажист: 256, 491

Кошут, Лайош (1802–1894) — венгерский общественный деятель: 794

Крабб, Джордж (1754–1832) — английский поэт: 296, 557

Кропоткин, Петр (1842–1921) — деятель и теоретик анархизма: 534, 767, 793

Крукшенк, Джордж (1792–1878) — английский иллюстратор, карикатурист и издатель: 297, 739

Купер, Уильям (1731–1800) — английский поэт-сентименталист: 557, 582, 652

Кэкстон, Уильям (14227 — 1491) — английский первопечатник, издатель и переводчик: 724

Лайамон — английский монах и поэт, автор стихотворной истории Британии «Брут» (ок. 1205): 54

Лансбери, Джордж (1859–1940) — английский

левый политический деятель, депутат парламента, лидер Лейбористской партии (1931–1935), мэр Поплара (1919–1920, 1936–1937): 767

Ларон, Марцеллус (1653–1705) — нидерландский художник. Некоторое время работал в Англии: 183, 188, 208, 324, 364, 711

Леман, Джон (1907–1987) — английский поэт, издатель и редактор: 413

Ленгленд, Уильям (ок. 1330 — ок. 1386) — английский поэт: 67, 399, 430

Ленин (наст. фам. Ульянов), Владимир (1870–1924) — российский политический и государственный деятель: 176, 454, 534, 540–541, 767

Ли, Натаниел (1653–1692) — английский драматург: 404

Лидгейт, Джон (1370? — 1449) — английский поэт: 81

Литвинов (наст, имя и фам. Макс Валлах), Максим (1876–1951) — российский революционер, дипломат: 767

Локк, Джон (1632–1704) — английский философ: 252, 702

Лондон, Джек (наст, имя и фам. Джон Гриффит) (1876–1916) — американский писатель: 679, 765

Лоуренс, Дэвид Герберт (1885–1930) — английский писатель: 108

Лоуэлл, Джеймс Расселл (1819–1891) — американский поэт, публицист и критик: 105, 497

Луллий, Раймунд (ок. 1235 — ок. 1315) — каталанский поэт, миссионер, философ и теолог: 579-580

Лэм, Чарлз (1775–1834) — английский поэти эссеист: 114, 150–151, 184, 187, 270, 318, 404, 408, 422, 500, 602, 693, 871–872

Лэндон, Летиция Элизабет (1802–1838) — английская романистка и поэтесса: 104

Мадзини, Джузеппе (1805–1872) — итальянский революционер: 794

Макен, Артур (наст, имя и фам. Артур Ллуэллин Джонс) (1863–1947) — английский романист и эссеист: 37, 260, 512, 527, 573–574, 652, 662, 872

Маколей, Роуз (1881–1958) — английская романистка и эссеистка: 152, 426

Маколей, Томас Бабинггон (1800–1859) — английский историк, публицист и государственный деятель: 150, 187, 280–281, 370, 463, 581, 657, 664, 712

Максим, Хайрам (1840–1916) — американский конструктор и предприниматель: 584

Малларме, Стефан (1842–1898) — французский поэт: 426

Маркс, Карл (1818–1883) — мыслитель и обще-

ственный деятель: 541, 605, 650, 680, 794

Маркс (Эвелинг) Элеонора (1855–1898) — деятельница социалистического движения в Великобритании, дочь Маркса: 534, 540

Марло, Кристофер (1564–1593) — английский драматург: 195, 570

Мейхью, Генри (1812–1887) — английский писатель и журналист, автор четырехтомного исследования «Труженики и бедняки Лондона» (1851): 113, 176, 211, 226, 367, 395–396, 408, 435–436, 480, 629, 643, 649, 656, 660–661, 666, 691, 727, 738

Мендельсон-Бартольди, Якоб Людвиг Феликс (1809–1847) — немецкий композитор, дирижер и пианист: 657

Мердок, Айрис (1919–1999) — английская писательница: 139

Мередит, Джордж (1828–1909) — английский писатель и журналист: 517

Миддлтон, Томас (1570? — 1627) — английский драматург: 712

Милль, Джон Стюарт (1806–1873) — английский экономист, философ и логик: 534

Мильтон, Джон (1608–1674) — английский поэт и политический деятель: 38, 152, 472, 487, 550, 840

Мирбо, Октав (1848–1917) — французский романисти драматург: 260, 872

Моне, Клод (1840–1926) — французский живописец-импрессионист: 260, 501

Монтегю, леди Мэри Уортли (1689–1762) — английская светская дама, автор «Путевых писем», опубликованных посмертно: 714

Мор, Томас (1478–1535) — английский гуманист, государственный деятель и писатель: 12, 88, 221, 303, 388, 391, 685, 698–699, 710, 723-724

Мор, Ханна (1745–1833) — английская писательница и драматург, автор трактатов на социальные темы: 714

Мориц, Карл Филипп (1757–1793) — немецкий писатель: 139

Моррис, Уильям (1834–1896) — английский художник и писатель, социалист: 304

Моррисон, Артур (1863–1945) — английский писатель социально-критического направления: 28, 298, 312, 375, 419, 684, 716, 765, 811

Мосли, сэр Освальд (1896–1980) — английский правый политический деятель, в 30-е годы лидер Британского фашистского союза: 459, 767

Моцарт, Вольфганг Амадей (1756–1791) — австрийский композитор: 207

Мур, Генри (1898–1986) — английский скульптор: 641–642

Мур, Джордж Эдуард (1873–1958) — английский

философ: 190

Мур, Фрэнсис («Старый Мур») (1657–1714) — английский астролог и врач, основатель альманаха «Олд Мурз»: 241, 580

Найт, Чарлз (1791–1873) — английский литератор и издатель: 218, 242, 308, 410, 464, 466, 540, 638, 782

Наполеон I (наст, имя Наполеон Бонапарт) (1769–1821) — французский император: 468, 593

Ненний (кон. VII — нач. IX вв.) — валлийский писатель, историк: 53

Несбит, Эдит (1858–1924) — английская детская писательница и поэтесса: 255

Николсон, сэр Гарольд Джордж (1886–1968) — английский дипломат, политический деятель, эссеист, автор литературно-критических и биографических произведений: 749

Норт, Роджер (1653–1734) — английский юрист и биограф: 278

Ньютон, Исаак (1643–1727) — английский математик, механик, астроном и физик: 580-582

Нэш, Джон (1752–1835) — английский архитектор: 12, 190, 279, 593–594, 763

Нэш, Томас (1567–1601) — английский писатель и поэт: 233

Обри, Джон (1626–1697) — английский анти-

квар и биограф: 270, 580, 662, 725, 727

Овидий, Публий Овидий Назон (43 до н. э, — 17 н. э.) римский поэт: 869

Оден, Уистен Хью (1907–1973) — английский поэт, с 1939 г. в США: 238

Олдем, Джон (1653–1683) — английский поэт-сатирик: 102

Оруэлл, Джордж (наст, имя и фам. Эрик Блэр) (1903–1950) — английский писатель и публицист: 28, 220, 375, 413, 445, 480, 573, 603, 768, 816, 825

Отуэй, Томас (1652–1685) — английский драматург: 270

Оупи, Айона Маргарет Бэлфур (род. 1923) и Оупи, Питер Мейсон (1918–1982) — исследователи английского детского фольклора: 725 — 727

Паницци, Антонио (сэр Энтони) (1797–1879) — итальянский политический эмигрант, после переезда в Англию — главный библиотекарь и реорганизатор Британского музея: 260

Парис, Мэтью (ум. 1259) — английский монах и историк: 85, 790

Певзнер, сэр Николаус Бернард Леон (1902–1983) — английский искусствовед и издатель: 190, 808

Пейн, Томас (1737–1809) — американский просветитель: 272 — 273

Петти, сэр Уильям (1623–1687) — английский политический экономист, автор трактата «Политическая арифметика»: 581, 763

Пиль, сэр Роберт (1788–1850) — премьер-министр Великобритании в 1834–1835, 1841–1846 гг. Основатель Консервативной партии: 332–333, 533

Пипс, Сэмюэл (1633–1703) — чиновник Адмиралтейства, автор знаменитых дневников: 61, 102, 167, 198, 206, 252, 256–257, 282, 391–392, 403, 416, 442–443, 473, 493, 516, 549, 730, 839

Пиранези, Джованни Баттиста (1720–1778) — итальянский гравер и архитектор: 621 — 622

По, Эдгар Аллан (1809–1849) — американский писатель: 455, 662

Порсон, Ричард (1759–1808) — знаток античной словесности, издатель пьес Еврипида: 405

Поуп, Александр (1688–1744) — английский поэт-классицист: 38, 81, 186, 615, 701

Пристли, Джон Бойнтон (1894–1984) — английский писатель: 426, 816

Притчетт, сэр Виктор Содон (1900–1997) — английский писатель и критик: 151, 201, 303, 491, 769, 783

Пюклер-Мускау фон, Герман (1785–1871) — немецкий писатель: 199, 593, 736

Расселл, Бертран Артур (1872–1970) — английский философ, логик и математик: 832

Рафаэль, Санти (1483–1520) — итальянский живописец и архитектор: 749

Рембо, Жан Артюр (1854–1891) — французский поэт: 621

Рейнолдс, сэр Джошуа (1723–1792) — английский живописец-портретист: 212

Рен, Кристофер (1632–1723) — английский архитектор, математик и астроном: 29, 40, 48, 146, 171, 261, 276–277, 282–283, 481, 746, 784, 838, 855, 858, 877

Рёскин, Джон (1819–1900) — английский писатель и искусствовед: 619, 657

Ричард Девизесский — английский хронист конца XII века: 82–83, 569, 790

Ричардсон, Сэмюэл (1689–1761) — английский писатель-сентименталист: 701

Роджерс, Сэмюэл (1763–1855) — английский поэт и коллекционер: 405

Ромер, Сакс (наст, имя и фам. Артур Сарсфилд Уорд) (1883–1959) — английский писатель, автор триллеров: 799

Россетти, Данте Габриель (1828–1882) — английский поэт и художник: 657

Роулендсон, Томас (1756–1827) — английский

художник-карикатурист: 184, 509

Рэли, сэр Уолтер (1554? — 1618) — английский мореплаватель, писатель и историк: 210, 247, 421, 480, 601

Саймонс, Артур Уильям (1865–1945) — английский поэт, литературовед и издатель: 503, 511, 513

Саути, Роберт (1774–1843) — английский поэт: 204, 570, 663

Сведенборг, Эмануэль (1688–1772) — шведский философ: 535

Свифт, Джонатан (1667–1745) — английский писатель и общественный деятель: 28, 270, 324, 355, 372, 467, 488, 727

Сейла, Джордж Огастус Генри (1828–1895) — английский журналист и иллюстратор: 523

Селин (наст. фам. Детуш), Луи-Фердинан (1894–1961) — французский писатель: 30

Ситуэлл, сэр Осберт (1892–1969) — английский поэт и прозаик: 814

Скогг, Вальтер (1771–1832) — английский писатель: 212

Слоун, сэр Хэнс (1660–1753) — английский врач и естествоиспытатель, секретарь Королевского общества: 201

Смит, Стиви (наст, имя Флоренс Маргарет)

(1902–1971) — английская поэтесса и романистка: 485

Смоллетт, Тобайас Джордж (1721–1771) — английский писатель: 82, 103, 170, 191, 203, 243, 364–365, 405, 655, 702, 871

Спенсер, Эдмунд (1552? — 1599) — английский поэт: 38, 615

Сталин (наст. фам. Джугашвили), Иосиф (1879–1953) — российский политический и государственный деятель: 767

Стивенсон, Роберт Льюис (1850–1894) — английский писатель: 106, 499

Стил, сэр Ричард (1672–1729) — английский писатель и журналист: 434, 521, 871–872

Стоу, Джон (1525–1605) — английский хронист и антиквар: 12, 36, 40, 89, 100, 127–134, 142, 150, 152, 154, 200, 266, 362–363, 400, 441, 472, 489, 601, 605, 762-763

Страбон (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.) — древнегреческий географ и историк: 37

Талейран (Талейран-Перигор), Шарль Морис (1754–1838) — французский дипломат: 595

Тацит (ок. 58 — ок. 117) — римский историк: 47, 495, 503

Теккерей, Уильям Мейкпис (1811–1863) — английский писатель: 193, 234, 347–350, 409, 484, 739

Теннисон, Альфред (1809–1892) — английский поэт: 106, 517, 662

Тернер, Джозеф Мэллорд Уильям (1775–1851) — английский живописец: 218, 256, 491, 619, 873

Тойнби, Арнольд (1852–1883) — английский экономист и филантроп: 766

Толстой, Лев (1828–1910) — русский писатель: 736

Томпсон, Фрэнсис (1859–1907) — английский поэт: 874

Томсон, Джеймс (1834–1882) — английский поэт и эссеист: 113–114, 515, 656

Традескант, Джон (1608–1662) — английский натуралист: 580

Трахерн, Томас (1637–1674) — английский поэт и религиозный писатель: 701

Трейл, Эстер Линч (урожд. Солсбери) (1741–1821) — английская писательница: 510, 560

Три, сэр Герберт Бирбом (1853–1917) — английский актер и театральный режиссер: 809

Троцкий (наст. фам. Бронштейн), Лев (1879–1940) — российский государственный и политический деятель: 767

Тэн, Ипполит (1828–1893) — французский литературовед и философ: 140, 514, 654, 678

Уайльд, Оскар (1854–1900) — английский писа-

тель: 799, 809

Уиклиф, Джон (ок. 1330–1384) — английский религиозный реформатор: 36

Уилкс, Джон (1727–1797) — английский журналист и политический деятель популистского толка: 12, 202, 265, 273, 451, 531

Уильям Малмсберийский (ум. в 1143) — английский историк: 61

Уистлер, Джеймс Эббот Макнил (1834–1903) — художник. Родился в США, с 1859 г. жил в Англии): 114, 500, 619, 621

Уиттингтон, Дик (Ричард) (ум. в 1423) — английский купец и трижды лорд-мэр Лондона, согласно легенде — чудом разбогатевший бедный подмастерье: 12, 117, 287, 290, 390, 481, 756

Уоллес, Эдгар (1875–1932) — английский писатель и драматург, автор триллеров:

318 Уолпол, сэр Роберт, 1-й граф Орфордский (1676–1745) — лидер партии вигов, премьер-министр Великобритании в 1715–1717, 1721–1742 гг. Отец Хораса Уолпола: 797, 813

Уолпол, Хорас, 4-й граф Орфордский (1717–1797) — английский писатель, автор первого в английской литературе «готического» романа «Замок Отранто»: 324, 357, 468, 559–560, 657, 714

Уорд, Мэри Огаста (1851–1920) — английская

писательница: 768

Уорд, Эдвард («Нед») (1667–1731) — английский содержатель таверны и автор очерков о лондонской жизни: 181, 183, 402, 417, 516, 539, 631, 749

Уоттс, Джордж Фредерик (1817–1904) — английский живописец, мастер портрета: 662

Уэбб, Беатриса (1858–1943) и Сидни Джеймс (1859–1947) — английские экономисты и историки, муж и жена: 629

Уэбстер, Джон (ок. 1578 — ок. 1632) — английский драматург: 401, 700

Уэллс, Герберт Джордж (1866–1946) — английский писатель: 575, 663, 669, 782, 812, 824

Уэсли, Чарлз (1707–1788) — деятель английской методистской церкви, брат основателя этой церкви Джона Уэсли: 272

Фарадей, Майкл (1791–1867) — английский ученый, исследователь электричества и магнетизма: 247

Фицджеральд, Перси Хедерингтон (1834–1925) — ирландский скульптор и писатель: 598

Фицстивен, Уильям — автор жизнеописания св. Фомы Беккета (ок. 1180 г.): 78–82, 368, 472, 601, 722

Филдинг, Генри (1707–1754) — английский писатель: 82, 170, 173, 215, 310, 331, 406, 450–451, 655, 871

Флетчер, Джон (1579–1625) — английский драматург: 324

Фонтане, Теодор (1819–1898) — немецкий писатель: 739

Форд, Форд Мэдокс (1873–1939) — английский писатель: 354, 466, 475, 646

Фрай, Элизабет (1780–1845) — английская общественная деятельница, филантроп: 296

Фрит, Уильям Пауэлл (1819–1909) — английский художник: 457

Фруассар, Жан (ок. 1337 — ок. 1410) — французский хронист и поэт, живший в ряде европейских стран: 299

Хаксли, Олдос (1894–1963) — английский писатель: 219

Хант, Джеймс Генри Ли (1784–1859) — английский поэт и эссеист: 150, 152, 532

Харди, Джеймс Кейр (1856–1915) — шотландский политический деятель. В 1900 г. основал Независимую лейбористскую партию: 273, 304

Харди, Томас (1840–1928) — английский прозаик и поэт: 151

Хартлиб, Сэмюэл (ум. в 1662) — английский просветитель и публицист немецкого происхождения: 581

Хенли, Уильям Эрнест (1849–1903) — англий-

ский поэт, драматург, редактор видных периодических изданий: 585

Хикки, Уильям (1749? — 1830) — английский мемуарист: 404, 416, 552

Хогарт, Уильям (1697–1764) — английский живописец и график, мастер сатирического бытового жанра: 103, 107, 165, 169, 173, 184–185, 190, 206, 242, 321–324, 359, 405–406, 432, 440, 509, 734

Хоксмур, Николас (1661–1736) — английский архитектор: 250, 573, 592, 658

Холиншед, Рафаэль (ум. в 1580?) — английский историк, автор «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии»: 489, 495

Холкрофт, Томас (1745–1809) — английский драматург-сентименталист, автор мемуаров: 558

Холлар, Вацлав (1607–1677) — чешский гравер и рисовальщик: 144–145, 236, 259, 385, 471, 616-617

Хоун, Уильям (1780–1842) — английский публицист и книготорговец: 631

Хоуэллс, Уильям Дин (1837–1920) — американский писатель: 427

Хук, Роберт (1635–1703) — английский философ, естествоиспытатель и изобретатель: 483, 583

Хэзлитт, Уильям (1778–1830) — английский критик и искусствовед: 407, 602

Чапек, Карел (1890–1938) — чешский писатель:

Чапмен, Джордж (1559–1634) — английский драматург и поэт: 197

Чаттертон, Томас (1752–1770) — английский поэт. Выдавал свои стихи за сочинения средневековых авторов. Покончил с собой: 372–374

Черчилль, Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965) — английский государственный деятель: 727, 833

Честертон, Гилберт Кит (1874–1936) — английский писатель: 251, 266, 491, 597, 645

Чосер, Джеффри (1340? — 1400) — английский поэт, основоположник английского литературного языка: 12, 128, 362, 399, 478–479, 785, 869, 871

Шадуэлл, Томас (1642? — 1692) — английский драматург: 360, 516

Шарф, сэр Джордж (1820–1895) — английский художник: 139, 218, 386, 595, 754

Шатобриан, Франсуа Рене (1768–1848) — французский писатель: 468, 748

Шафтсбери, Энтони Эшли Купер, 7-й граф (1801–1885) — английский социальный реформатор и филантроп: 233, 438

Шекспир, Уильям (1564–1616) — английский драматург и поэт: 122, 195, 197–198, 201, 329, 400, 441

Шелли, Перси Биши (1792–1822) — английский поэт-романтик: 27, 105, 657, 714

Шенстоун, Уильям (1714–1763) — английский поэт и эссеист: 550

Шопенгауэр, Артур (1788–1860) — немецкий философ: 692

Эвелин, Джон (1620–1706) — деятель английской культуры, автор известных мемуаров: 138, 146, 201, 257–258, 276, 280, 308, 357, 492, 496, 546, 855

Эдисон, Томас Алва (1847–1931) — американский электротехник и предприниматель: 512

Эйнсуорт, Уильям Харрисон (1805–1882) — английский романист исторически-приключенческого жанра: 325

Элиот, Джордж (наст, имя и фам. Мэри Энн Эванс) (1819–1880) — английская писательница: 280

Элиот, Томас Стернз (1888–1965) — английский поэт, драматург и теоретик литературы: 105, 869

Энгельс, Фридрих (1820–1895) — немецкий мыслитель и общественный деятель: 454, 595, 649, 653, 656, 680–681, 794

Эскам, Роджер (1515/16 — 1568) — английский педагог, наставник будущей королевы Елизаветы I, секретарь Марии Тюдор: 724


Librusec